This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

+ *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
+ *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
+ *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
+ *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at `http://books.google.com/`

Google

Это цифровая коиия книги, хранящейся для иотомков на библиотечных иолках, ирежде чем ее отсканировали сотрудники комиании Google в рамках ироекта, цель которого - сделать книги со всего мира достуиными через Интернет.

Прошло достаточно много времени для того, чтобы срок действия авторских ирав на эту книгу истек, и она иерешла в свободный достуи. Книга иереходит в свободный достуи, если на нее не были иоданы авторские ирава или срок действия авторских ирав истек. Переход книги в свободный достуи в разных странах осуществляется ио-разному. Книги, иерешедшие в свободный достуи, это наш ключ к ирошлому, к богатствам истории и культуры, а также к знаниям, которые часто трудно найти.

В этом файле сохранятся все иометки, иримечания и другие заииси, существующие в оригинальном издании, как наиоминание о том долгом иути, который книга ирошла от издателя до библиотеки и в конечном итоге до Вас.

Правила использовапия

Комиания Google гордится тем, что сотрудничает с библиотеками, чтобы иеревести книги, иерешедшие в свободный достуи, в цифровой формат и сделать их широкодостуиными. Книги, иерешедшие в свободный достуи, иринадлежат обществу, а мы лишь хранители этого достояния. Тем не менее, эти книги достаточно дорого стоят, иоэтому, чтобы и в дальнейшем иредоставлять этот ресурс, мы иредириняли некоторые действия, иредотвращающие коммерческое исиользование книг, в том числе установив технические ограничения на автоматические заиросы.

Мы также иросим Вас о следующем.

- Не исиользуйте файлы в коммерческих целях.
  Мы разработали ирограмму Поиск книг Google для всех иользователей, иоэтому исиользуйте эти файлы только в личных, некоммерческих целях.

- Не отиравляйте автоматические заиросы.
  Не отиравляйте в систему Google автоматические заиросы любого вида. Если Вы занимаетесь изучением систем машинного иеревода, оитического расиознавания символов или других областей, где достуи к большому количеству текста может оказаться иолезным, свяжитесь с нами. Для этих целей мы рекомендуем исиользовать материалы, иерешедшие в свободный достуи.

- Не удаляйте атрибуты Google.
  В каждом файле есть "водяной знак" Google. Он иозволяет иользователям узнать об этом ироекте и иомогает им найти доиолнительные материалы ири иомощи ирограммы Поиск книг Google. Не удаляйте его.

- Делайте это законно.
  Независимо от того, что Вы исиользуйте, не забудьте ироверить законность своих действий, за которые Вы несете иолную ответственность. Не думайте, что если книга иерешла в свободный достуи в США, то ее на этом основании могут исиользовать читатели из других стран. Условия для иерехода книги в свободный достуи в разных странах различны, иоэтому нет единых иравил, иозволяющих оиределить, можно ли в оиределенном случае исиользовать оиределенную книгу. Не думайте, что если книга иоявилась в Поиске книг Google, то ее можно исиользовать как угодно и где угодно. Наказание за нарушение авторских ирав может быть очень серьезным.

О программе Поиск кпиг Google

Миссия Google состоит в том, чтобы организовать мировую информацию и сделать ее всесторонне достуиной и иолезной. Программа Поиск книг Google иомогает иользователям найти книги со всего мира, а авторам и издателям - новых читателей. Полнотекстовый иоиск ио этой книге можно выиолнить на странице `http://books.google.com/`

Slav 2 B 4

Confined to Library

PG3467.K74.P47 (1-2)

302664855$

Владиміръ Ивановичъ
ѲЕОКРИТОВЪ.

ПЕТЕРБУРГСКІЯ ТРУЩОБЫ.

ТОМЪ I.

ПЕТЕРБУРГСКІЯ ТРУЩОБЫ.

КНИГА О СЫТЫХЪ И ГОЛОДНЫХЪ.

РОМАНЪ ВЪ ШЕСТИ ЧАСТЯХЪ

ВСЕВОЛОДА КРЕСТОВСКАГО.

ТОМЪ I.

Изданіе книгопродавца-типографа Маврикія Осиповича Вольфа.

САНКТПЕТЕРБУРГЪ, въ Гостиномъ Дворѣ, №№ 18, 19 и 20.

МОСКВА, на Кузнецкомъ Мосту, д. Руднева.

1867.

Печатано въ типографіи Министерства Внутреннихъ Дѣлъ.

ОТЪ АВТОРА
КЪ ЧИТАТЕЛЮ.

Прежде чѣмъ читатель раскроетъ первую страницу предлагаемаго романа, я нахожу не лишнимъ сказать ему нѣсколько словъ.

Когда еще до появленія въ «Отечественныхъ Запискахъ» первой части моего романа, которая сама по себѣ составляетъ какъ бы введеніе, прологъ къ нему, я читалъ ее нѣкоторымъ друзьямъ и знакомымъ—мнѣ приходилось неоднажды выслушивать вопросъ: да неужели все это такъ, все это правда?

Вопросъ относился предпочтительно къ темному міру трущобъ. Весьма можетъ статься, что онъ же придетъ въ голову и незнакомому съ дѣломъ читателю. Поэтому позвольте мнѣ разсказать, какимъ образомъ пришла мнѣ первая мысль настоящаго романа, что натолкнуло на нее и что побудило меня приняться за мой трудъ. Въ этомъ будетъ заключаться маленькая исторія романа и отвѣтъ на вопросъ: точно ли это правда?

Идея предлагаемаго романа давно уже сдѣлалась самой любимой, самой задушевной моей идеей. Первая мысль ея явилась у меня въ 1858 году. Натолкнулъ меня на нее случай.

Часу въ двѣнадцатомъ вечера, я вышелъ отъ одного знакомаго, обитавшаго около Сѣнной. Путь лежалъ мимо Таировскаго переулка; можно бы было безо всякаго ущерба и обойти его, но мнѣ захотѣлось поглядѣть, что это за переулченко, о которомъ я иногда слышалъ, но самъ никогда не бывалъ и не видалъ, ибо ни проходить, ни проѣзжать по немъ не случалось. Отправился. Первое, что поразило меня, это—кучка народа, изъ середины которой слышались крики женщины. Ражій мужчина, повидимому отставной солдатъ, билъ полупьяную женщину. Зрители поощряли его хохотомъ. Полицейскій на углу пребывалъ въ олимпійскомъ спокойствіи.

«Подерутся и перестанутъ—не въ первой»! отвѣчалъ онъ мнѣ, когда я обратилъ его вниманіе на безобразно возмутительную сцену.—«Господи! нашу дѣвушку бьютъ»! прокричала шмыгнувшая мимо оборванная женщина, и юркнула въ одну изъ дверокъ подвальнаго этажа. Черезъ минуту выбѣжали оттуда шесть или семь такихъ же женщинъ и общимъ своимъ крикомъ, общими усиліями отратовали товарку. Все это показалось мнѣ дико и ново. Что это за жизнь, что за нравы, какія это женщины, какіе это люди? Я рѣшился переступить порогъ того гнилого, безобразнаго пріюта, гдѣ прозябали въ чисто-животномъ состояніи эти жалкія, всѣми обиженныя, всѣми отверженныя созданія. Тамъ шла отвратительная оргія. Вырученная своими товарками, окровавленная женщина съ восмъ металась по низенькой, тѣсной комнатѣ, наполненной людьми, плакала и произносила самыя циническія ругательства, мѣшая ихъ порою съ французскими словами и фразами. Это обстоятельство меня заинтересовало. «Она русская?» спросилъ я одну женщину. — «А чортъ ее знаетъ, надо быть русская». Какъ попала сюда, какъ дошла до такого состоянія эта женщина? Очевидно, у нея было свое *лучшее* прошлое, иная сфера, иная жизнь. Что же за причина, которая наконецъ, довела ее до этого послѣдняго изъ послѣднихъ пріютовъ? Какъ хотите, но вѣдь ни съ того ни съ сего человѣкъ не доходитъ до такого моральнаго паденія. Мнѣ стало жутко, больно и гадко, до болѣзненности гадко отъ всего, что я увидѣлъ и услышалъ въ эти пять—десять минутъ. Я думалъ, что это уже послѣдняя грань петербургской мерзости и разврата — и я ошибся. Это былъ одинъ только легонькій мотивецъ, одинъ только уголокъ той громадной картины, о которой я тогда не имѣлъ еще ни малѣйшаго понятія, съ которой познакомился поближе и покороче только впослѣдствіи, ибо картина эта прячется отъ офиціальной, показной жизни нашего города, и вообразить ее трудно, почти невозможно безъ нагляднаго, непосредственнаго знакомства съ нею лицомъ къ лицу.

Оставаться долѣе въ этомъ пріютѣ у меня не хватило

силы: кромѣ нравственнаго, гнетущаго чувства, начинало мутить физически. Я уже направился къ двери, какъ вдругъ двѣ кутившія личности мужескаго пола и весьма подозрительной наружности замѣтили синій околышъ моей фуражки и мое студентское пальто. Одинъ изъ нихъ безъ всякой церемоніи подошелъ ко мнѣ.—«Слышьте, студентъ, есть у васъ деньги?» — «Есть. А что?» — «Дайте мнѣ взаймы — сколько есть; у насъ не хватило, а выпить хочется». Я понялъ, что тутъ ничего не подѣлаешь, вынулъ бумажникъ, въ которомъ на тотъ разъ находилось только два рубля серебромъ, и отдалъ ихъ подозрительному господину. Подозрительный господинъ поблагодарилъ и предложилъ выпить съ ними вмѣстѣ. Я попытался-было отказаться.—«Что же вы, брезгуете, что-ли?» обидѣлся онъ. После этого, конечно, надо было остаться; и вотъ за стаканомъ скверной водки я узналъ мимоходомъ, урывками, кое-что изъ жизни побитой женщины и ея товарокъ; но черезъ эти урывки для меня скользила цѣлая драма— такая драма, въ кототорой «за человѣка страшно» становится.

Да, милостивые государи, живемъ мы съ вами въ Петербургѣ долго, коренными потербуржцами считаемся, и часто случалось намъ проѣзжать по Сѣнной площади и ея окрестностямъ, мимо тѣхъ самыхъ трущобъ и вертеповъ, гдѣ гніетъ падшій людъ, а и въ голову вѣдь, пожалуй, ни разу не пришелъ намъ вопросъ: что творится и дѣется за этими огромными каменными стѣнами? Какая жизнь коловращается въ этихъ грязныхъ чердакахъ и подвалахъ? Отчего эти голодъ и холодъ, эта нищета разъѣдающая, въ самомъ центрѣ промышленнаго, богатаго и элегантнаго города, рядомъ съ палатами и самодовольно сытыми физіономіями? Какъ доходятъ люди до этого позора, порока, разврата и преступленія? Какъ они нисходятъ на степень животнаго, скота, до притупленія всего человѣческаго, всѣхъ нетолько нравственныхъ чувствъ, но даже иногда физическихъ ощущеній страданія и боли? Отчего все это такъ совершается? Какія причины приводятъ человѣка къ такой жизни? Самъ ли онъ, или другое что виной всего этого? Обвинить легко, очень легко—гораздо легче

чѣмъ вдуматься и вникнуть въ причину вины, розыскать предшествовавшія «подготовительныя и предрасполагающія» обстоятельства. Но вотъ въ томъ-то и вопросъ: какъ взглянуть на падшаго человѣка: одинъ ли онъ, самъ по себѣ, виноватъ и причиненъ въ своемъ безобразіи и несчастіи? А если не одинъ, то виноватъ ли еще, наконецъ, при его невѣжественности относительно самыхъ первичныхъ нравственныхъ основаній, при его грубой неразвитости, при той ужасающей насъ обстановкѣ, которою онъ окруженъ безъисходно, часто съ первой минуты своего рожденія на свѣтъ? Если же все это такъ, то не тяготѣетъ ли часть этой вины на каждомъ изъ насъ, на всемъ обществѣ нашемъ, столь щедромъ на филантропическіе возгласы, обѣды и теоріи.

«Es ist eine alte Geschichte» всѣ эти вопросы, которые я предложилъ: не я ихъ выдумалъ и не я первый повторяю ихъ. Да, «es ist eine alte Geschichte, doch bleibt sie immer neu», быть можетъ, для иного читателя, которому и въ голову они не приходили. А у насъ таковыхъ — надо сознаться — не занимать-стать пока.

Въ тотъ достопамятный — лично для меня — вечеръ, когда я впервые случайно попалъ въ одну изъ трущобъ, вопросы эти и мнѣ пришли въ голову. Та невидимая драма, которая освѣтилась для меня — частью по услышаннымъ и подхваченнымъ налету урывкамъ, частію же по собственной догадкѣ и соображеніямъ — невольно какъ-то сама собою натолкнула меня, вмѣстѣ съ вышеизложенными вопросами, на мысль романа.

Я тогда же принялся за писанье и окрестилъ свое произведеніе *Содержанкой*. Принялся я за работу съ жаромъ, исписалъ цѣлую толстую тетрадь, но... ничего изъ этого путнаго не вышло. Задача оказалась слишкомъ велика и широка для той рамки, которая была первоначально избрана мною. При томъ, я спасовалъ передъ дѣйствительностью: я не зналъ, не имѣлъ ни малѣйшаго понятія о той жизни, за изображеніе которой такъ опрометчиво взялся — подготовки у меня не было никакой, отношеніе слишкомъ диллетантическое — и я бросилъ свою работу, не покидая, однако, мысли объ этомъ романѣ.

Мнѣ эта мысль уже представлялась въ видѣ общаго физіологическаго очерка не однихъ только трущобъ и вертеповъ, но петербургской жизни вообще. Я принялся за изученіе этой жизни и ея типовъ, съ тѣхъ сторонъ, которыя оказывались пригодными, подходящими для моей идеи. Черезъ нѣсколько лѣтъ исподвольныхъ наблюденій, я увидѣлъ ясно, что трущобы кроются не исключительно около Сѣнной, что онѣ весьма многоразличны, и поэтому далъ своему роману его настоящее названіе.

Многимъ изъ читателей многое, быть можетъ, покажется въ немъ страннымъ, преувеличеннымъ и даже невѣроятнымъ; но это оттого, что мы не привыкли еще къ гласному, публичному обсужденію такого рода фактовъ и обстоятельствъ. Открытыя судебныя камеры незамедлятъ познакомить насъ со множествомъ неизвѣстныхъ еще большинству явленій. Измѣненіе системы тюремнаго заключенія также принесетъ громадную нравственную пользу тѣмъ несчастнымъ, которые теперь неизбѣжно являются самыми закоренѣлыми орудіями и двигателями порока и преступленія. Люди компетентные, приходящіе, по роду своихъ обязанностей, въ ближайшее соприкосновеніе съ этимъ міромъ, очень хорошо понимаютъ истину моихъ словъ, ибо знаютъ, что достаточно посидѣть въ тюрьмѣ за проступокъ какой-нибудь одинъ мѣсяцъ, чтобы человѣкъ, хотя и честный, но неимѣющій твердыхъ нравственныхъ основъ, вышелъ бы оттуда полнымъ и формально-готовымъ негодяемъ, который при первомъ удобномъ случаѣ сдѣлается уже преступникомъ. Наконецъ, справедливость требуетъ сказать, что въ послѣднее время многое уже сдѣлано относительно міра трущобъ. Старыя язвы мало-по-малу уничтожаются; въ центральной нашей трущобѣ — домѣ князя Вяземскаго, есть уже кое какая возможность для нищаго человѣка *жить* хоть немножко человѣческимъ образомъ.

Я считаю при этомъ первою и пріятною обязанностью принести мою благодарность лицамъ, которыя своимъ содѣйствіемъ помогли мнѣ ознакомиться съ тѣми многоразличными отраслями нашей жизни, что вошли въ програму предла-

гаемаго романа—лицамъ, въ слѣдственной камерѣ которыхъ я знакомился съ характеромъ и личностями преступниковъ, съ фактами преступленій, подлежавшихъ юридическому разрѣшенію, и которые дали мнѣ возможность спуститься въ темный міръ трущобъ, чтобы самому, лицомъ къ лицу, узнавать эту жизнь и нравы.

Къ глубокому моему сожалѣнію, романъ не выходитъ въ свѣтъ въ томъ видѣ, въ какомъ написанъ, и въ какомъ бы мнѣ, какъ автору, всегда хотѣлось печатать. Отъ этого нѣкоторые эпизоды являются передъ читателемъ въ крайне неполномъ и неряшливомъ видѣ, такъ что отсутствіе эстетическаго, а во многихъ мѣстахъ и просто логическаго смысла, ни для кого не можетъ остаться незамѣченнымъ.

Я надѣялся избѣжать всѣхъ этихъ погрѣшностей въ отдѣльномъ изданіи моей книги; но надежды мои не оправдались.

Итакъ, «Петербургскія Трущобы» и нынѣ, въ отдѣльномъ изданіи, являются съ прежними пробѣлами. Прошу читателя извинить ихъ... Впрочемъ, поставя своимъ долгомъ — относиться къ печатному слову честно, я остаюсь и навсегда останусь при глубоко неизмѣнномъ убѣжденіи, что прямое слово правды никогда не можетъ подрывать и разрушать того, что законно и истинно; а если наноситъ оно вредъ и ущербъ, то только одному злу и беззаконію. Мною же — могу сказать по совѣсти и смѣло — руководило одно лишь добросовѣстное желаніе добра и пользы. Но, какъ бы то ни было, я еще и еще разъ прошу читателя извинить не мнѣ, а этой книгѣ ея пробѣлы.

Кромѣ общаго наименованія «Петербургскія Трущобы», я назвалъ еще романъ мой «книгою о сытыхъ и голодныхъ». Надѣюсь, что этимъ достаточно охарактеризовано ея содержаніе. Напрасно бы сталъ кто-нибудь въ этомъ послѣднемъ названіи выискивать какую-нибудь затаенную мысль. Оно означаетъ почти непосредственно то, что и должно означать по самому смыслу употребленныхъ въ немъ словъ. Объяснимся. Я остаюсь совершенно чуждъ въ моей книгѣ какихъ бы то ни было сословныхъ пристрастій, симпатій и антипа-

тій. Я беру только то, что мнѣ даетъ жизнь. Вкусно подносимое ею блюдо — я отмѣчаю, что оно вкусно; отвратительно — такъ и говорю, что отвратительно. Для меня, въ этомъ отношеніи не существуетъ никакихъ кастъ и сословій. — Писатель-романистъ долженъ стоять внѣ кружковыхъ пристрастій къ тому или другому. Для меня нѣтъ ни аристократовъ, ни плебеевъ, ни баръ, ни мѣщанъ,—для меня существуютъ одни только *люди—человѣкъ* существуетъ. И этихъ людей, вмѣсто всякихъ кастъ, я дѣлю на сытыхъ и голодныхъ, пожалуй, надобрыхъ и злыхъ, на честныхъ и безчестныхъ и т. д.

Если книга эта заставитъ читателя призадуматься о жизни и участи петербургскаго бѣдняка и отверженной паріи — трущобной женщины; если въ средѣ нашихъ филантроповъ и въ средѣ административной онъ возбудитъ хотя малѣйшее существенное вниманіе къ изображенной мною жизни, я буду много вознагражденъ сознаніемъ того, что трудъ мой, кромѣ развлеченія для читателя, принесъ еще и частицу существенной пользы для той жалкой, темной среды, гдѣ голодная мать должна воровать кусокъ хлѣба для своего голоднаго ребенка, гдѣ источникомъ существованія двѣнадцати-тринадцатилѣтней дѣвочки является нищенство и продажный развратъ; гдѣ голодный и оборванный бѣднякъ, тщетно искавшій честной работы, нанимается для совершенія преступленія мошенникомъ сытымъ и болѣе комфортабельно обставленнымъ въ жизни, причемъ этотъ ничѣмъ почти не рискуетъ, а тотъ, за самую ничтожную цѣну, ради требованій своего непослушнаго желудка, гибнетъ на каторгѣ; гдѣ, наконецъ, люди болѣютъ, страдаютъ, задыхаются въ недостаткѣ чистаго, свѣжаго воздуха и иногда рѣшаются, если не на преступленіе, то на самоубійство, чѣмъ ни попало и какъ ни попало, лишь бы только избавиться отъ безнадежно-мрачнаго существованія, буде до этого крайняго исхода не успѣютъ зачерствѣть и оскотиниться на столько, чтобы потерять всякую способность къ какимъ бы то ни было человѣческимъ ощущеніямъ, какъ нравственнымъ, такъ и физическимъ, кромѣ инстинктовъ голода, сна и, часто,

ненормально удовлетворяемой половой потребности. Здѣсь-то вотъ кроется наша невидимая язва, здѣсь наша горькая скорбь вавилонская, которая даже не вопіетъ о спасеніи, объ исходѣ, по причинѣ очень простой и несложной: она ихъ не знаетъ.

Быть можетъ, кто либо найдетъ, что изображеніе этихъ язвъ слишкомъ цинично и даже неблагопристойно.—Что жь дѣлать, таковъ ужь предметъ, избранный мною. Да впрочемъ, книга вѣдь и не предназначается къ чтенію въ пансіонахъ и институтахъ для благородныхъ дѣвицъ. Въ этомъ случаѣ я могу отвѣтить только словами покойнаго Помяловскаго: «если читатель слабъ на нервы и въ литературѣ ищетъ развлеченія и элегантныхъ образовъ, то пусть онъ не читаетъ мою книгу. Докторъ изучаетъ гангрену, опредѣляетъ вкусы самыхъ мерзкихъ продуктовъ природы, живетъ среди труповъ, однако, его никто не называетъ циникомъ; стряпчій входитъ во всѣ тюрьмы, видитъ преступниковъ по всѣмъ пунктамъ нравственности: отцеубійцъ, братоубійцъ, дѣтоубійцъ, воровъ, поддѣлывателей фальшивыхъ бумагъ и т. п. личностей, изучаетъ ихъ душу, проникаетъ въ самый центръ разложенія нравственности человѣческой, однако, и его никто не называетъ циникомъ, а говорятъ, что онъ служитъ человѣчеству; священникъ часто поставленъ въ необходимость выслушивать ужасающую исповѣдь людей, желающихъ примириться съ совѣстью, но и онъ не циникъ. Позвольте же и писателю принять участіе въ этой же самой работѣ и такимъ образомъ обратить вниманіе общества на ту массу разврата, безнадежной бѣдности и невѣжества, которая накопилась въ нѣдрахъ его». Слова уважаемаго мною писателя пусть служатъ моимъ отвѣтомъ и оправданіемъ въ глазахъ читателя элегантно-слабонервнаго; если же таковой симъ не удовлетворится, то можетъ на этихъ же страницахъ покончить чтеніе моего романа—и я, въ такомъ случаѣ, только почту своимъ долгомъ извиниться передъ нимъ въ томъ, что утруждалъ его прочтеніемъ этого нѣсколько длиннаго предисловія.

Всеволодъ Крестовскій.

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

СТАРЫЕ ГОДЫ И СТАРЫЕ ГРѢХИ

I

Корзинка съ цвѣтами

5-го мая 1838 года, часовъ около девяти утра, у подъѣзда дома князя Шадурскаго остановилась молодая женщина и дернула за ручку звонка. Судя по ея наружности и костюму, въ ней нетрудно было узнать горничную изъ порядочнаго дома. Она бережно держала въ рукахъ корзинку, покрытую широкимъ листомъ бѣлой бумаги и перевязанную вдоль и поперегъ широкою розовою лентою. Изъ подъ бумаги пробивались свѣжіе и душистые цвѣты.

Черезъ минуту въ двери щелкнулъ замокъ, и на порогѣ появился толстый швейцаръ, въ утреннемъ своемъ дезабилье, съ половою щеткою въ рукахъ, и, увидя совершенно незнакомую женщину, спросилъ весьма нелюбезнымъ тономъ:

— Кого надо?

Женщина слегка измѣнилась въ лицѣ и, торопливо отдавая корзинку, проговорила слегка дрожащимъ и будто тревожнымъ голосомъ:

— Передайте князю и княгинѣ... тутъ цвѣты... Скажите, что отъ бельгійскаго консула... Приказали кланяться и отдать...

— Ладно: будетъ отдано! отвѣтилъ швейцаръ уже менѣе суровымъ тономъ (вѣроятно, слова: *отъ бельгійскаго консула* были тому причиной) и, принявъ съ рукъ на руки корзинку, скрылся за захлопнувшейся стеклянной дверью.

Женщина опрометью бросилась бѣжать до перваго попавшагося извощика, прыгнула, не торгуясь, въ дрожки и быстро исчезла за угломъ улицы.

Швейцаръ, въ ожиданіи пробужденія своихъ господъ, поставилъ корзинку на массивную, рѣзную дубовую скамейку, служившую необходимымъ дополненіемъ къ великолѣпнымъ сѣнямъ съ мраморными колоннами княжескаго дома, и принялся за свою утреннюю работу — подметать гранитный мозаичный полъ.

Вдругъ, черезъ нѣсколько времени, въ сѣняхъ, неизвѣстно откуда, послышался слабый крикъ младенца. Швейцаръ былъ очень изумленъ этимъ совершенно необычайнымъ обстоятельствомъ, и сталъ прислушиваться. Крикъ повторился еще, и на этотъ разъ уже совершенно явственно изъ принесенной корзинки.

— Вотъ-те и бельгійскій консулъ!... Эко дѣло какое! пробурчалъ себѣ подъ носъ маститый привратникъ, и тотчасъ же бросился на улицу, вдогонку за неизвѣстной женщиной. Но это было уже совершенно тщетная попытка, такъ-какъ той и слѣдъ давнымъ-давно простылъ. Въ раздумьѣ о случившейся «оказіи», потряхивая головою и разводя руками, возвратился онъ въ свои сѣни, и поднявшись вверхъ по роскошной лѣстницѣ, кликнулъ, съ подобающею таинственностью, княжескаго камердинера и камеристку княгини.

Всѣ втроемъ остановились они передъ таинственной корзинкой, но никто изъ нихъ не осмѣлился дотронуться и раскрыть ее—«на барское-де имя прислано», и потому на тройственномъ совѣтѣ своемъ положили они — доложить обо всемъ немедленно же господамъ.

Камердинеръ направился на половину князя, а камеристка въ спальню княгини.

— Ваше сіятельство!... а ваше сіятельство! Богъ милости прислалъ...

— А?... что?... пробормоталъ князь съ просонокъ.

— Богъ милости прислалъ вашему сіятельству, почтительнѣйше повторилъ камердинеръ.

— Какой милости?

— Корзинку съ цвѣтами-съ...

— Что ты врешь? какую корзинку?

— Отъ бельгійскаго консула... приказали кланяться и отдать вашему сіятельству.

— Отъ какого бельгійскаго консула? въ недоумѣніи допытывалъ князь, протирая заспанные глаза. — Что это, ты пьянъ, что ли?

— Никакъ нѣтъ, ваше сіятельство, а только я докладываю, что отъ бельгійскаго консула... Богъ милостью посѣтилъ... корзинка съ цвѣтами...

Князь Шадурскій глядѣлъ во всѣ глаза на своего камердинера и только пожималъ плечами.

— Да объяснись ты, братецъ, почеловѣчески. Въ чемъ дѣло?

— Младенецъ-съ...

— Какой младенецъ?

— Надо полагать, подкидышъ... Въ корзинкѣ этой самой положенъ... мы безъ вашего сіятельства не осмѣлились...

—А!... произнесъ князь Шадурскій, и личные мускулы его какъ-то кисло передернуло отъ замѣтнаго неудовольствія. Князь понималъ и догадывался о томъ, чего не понималъ и не могъ догадаться его камердинеръ.

— Княгиня знаетъ? торопливо и озабоченно спросилъ онъ, подымаясь съ постели.

— Мамзель Фани пошла докладывать ихъ сіятельству.

— А!... и лицо князя опять передернуло.

Когда камеристка доложила о случившемся княгинѣ, то княгиня ничего не сказала ей на это, и только какъ-то саркастически и коварно улыбнулась, но такъ легко, что эту улыбку почти невозможно было подмѣтить. Казалось, и княгиня, подобно князю, понимала и догадывалась о томъ, чего не понимала ея горничная, и нельзя сказать, чтобъ супруги остались особенно довольны посѣтившею ихъ божіею милостію.

— Поздравляю васъ, князь, съ приращеніемъ вашего семейства, сказала княгиня при входѣ мужа въ ея будуаръ, и сказала это такъ мило и любезно, что всѣ колкія шпильки произнесенной ею фразы показались Шадурскому втрое колючѣе, такъ что онъ, закусивъ съ досады нижнюю губу, процѣдилъ ей въ отвѣтъ сквозь зубы, весьма сухимъ и холоднымъ тономъ:

— Мнѣ кажется, что это относится столько же и къ вамъ, сколько ко мнѣ... Корзинка прислана на наше общее имя.

— Я, по крайней-мѣрѣ, нисколько не виновата въ этомъ, столь же колко и какъ-бы про себя замѣтила княгиня.

Шадурскій пристально и сухо посмотрѣлъ ей прямо въ глаза.

— Въ *этомъ*—да, нисколько! но въ *другомъ*... произнесъ князь съ немалою выразительностью и остановился.

— Въ чемъ другомъ? съ живостью перебила его жена:—въ чемъ?...

— Вы сами очень хорошо понимаете, о чемъ я говорю; такъ не заставляйте же меня хоть ради приличія называть вещи настоящими ихъ именами! сказалъ онъ, не сводя глазъ съ лица жены и потомъ добавилъ:

— Пять мѣсяцевъ назадъ, меня не было въ Петербургѣ... Да потомъ, вы очень хорошо должны помнить, что три мѣсяца я одинъ, безъ васъ, прожилъ въ деревнѣ.

Княгиня смутилась и покраснѣла. Теперь ей, въ свою очередь, пришлось глотать мужнины шпильки. Она сидѣла на калёныхъ угольяхъ, и видимо искала случая дать другое направленіе разговору.

— А гдѣ же корзинка, однако? что̀ это ее не несутъ? сказала она, озабоченно поднимаясь съ мѣста.

Корзинка была внесена камеристкою въ комнату. Княгиня сама развязала узлы розовой ленты и приподняла листъ бѣлой бумаги.

Всѣ втроемъ съ любопытствомъ наклонились надъ корзинкой. Тамъ, среди цвѣтовъ, лежала дѣвочка, родившаяся, повидимому, дня два-три назадъ. На ней были надѣты сорочка тончайшаго батиста и чепчикъ, отороченный настоящими кружевами. Лежала она, со всѣхъ сторонъ, какъ пухомъ, обложенная бѣлою и теплою ватой. При ней находилась записка, весьма лаконическаго содержанія: «Родилась втораго мая. Еще не крещена»—и только. Склонъ буквъ ложился на лѣвую сторону, очевидно для того, чтобъ нельзя было узнать, чья рука писала записку. По всей обстановкѣ этой корзинки можно было предположить, что дитя принадлежало не совсѣмъ бѣдной матери и что, значитъ, не голодъ и нищета, а другія, неизвѣстныя причины заставили ее разстаться съ своимъ ребенкомъ.

Подкидышъ немедленно же былъ сданъ на руки камеристкѣ до пріисканія ему болѣе опредѣленнаго положенія, и унесенъ изъ будуара княгини, которая опять осталась съ глазу на глазъ съ своимъ мужемъ. Нѣсколько времени оба молчали. Видно было, что и тотъ, и другая крѣпко раздумались о чемъ-то въ эту критическую минуту.

Княгиня первая прервала неловкое молчаніе.

— Что̀ же вы намѣрены дѣлать съ этимъ ребенкомъ? спросила она.—Вѣдь, кажется, надо объявить, что̀-ли, кому-то объ этомъ?

— Вздоръ!... Никому ничего объявлять не надо, а надо просто...

И князь опять остановился и задумался.

— Что же надо? переспросила его жена.

Надо намъ объясниться съ вами! наконецъ выговорилъ онъ, собравшись съ силами.

— Извольте; я готова...

— Дѣло вотъ въ чемъ, началъ князь, какъ-бы пріискивая болѣе удобныя, подходящія выраженія:—дѣло вотъ въ чемъ: у насъ съ вами, княгиня, есть нашъ собственный сынъ и наслѣдникъ моего имени—князь Владиміръ Шадурскій, и потому... я не желаю, чтобы въ домѣ нашемъ находились и воспитывались, рядомъ съ нашимъ сыномъ, какія-бы то ни были посторонніе дѣти. Вполнѣ ли вы меня понимаете? спросилъ онъ, придавая какъ-бы особенное значеніе этому послѣднему вопросу.

Княгиня потупила глаза и утвердительно кивнула головою.

— Не угодно ли вамъ будетъ отправиться за границу? какъ-бы неожиданно и безцѣльно спросилъ онъ.

— Пожалуй... я подумаю.,.

— То-то, подумайте... А объ участи *этого* подкидыша вы не безпокойтесь, добавилъ онъ, вставая и выходя изъ комнаты.—Я сдѣлаю для него все, что могу.

II

Мать

Проскакавъ по выбоинамъ петербургской мостовой со всею возможной скоростью, на какую только способна полузаморенная извощичья кляча, дрожки повернули въ болѣе глухую часть города, и остановились въ малолюдномъ Свѣчномъ переулкѣ, передъ небольшимъ деревяннымъ домомъ. Сидѣвшая въ нихъ женщина, поспѣшно и не разбирая, сунула въ руку извощика какую-то ассигнацію, при чемъ тотъ не преминулъ ввернуть обычное «маловато!... на чаекъ бы надо». Еще поспѣшнѣе соскочила она съ дрожекъ, и тревожно оглядываясь назадъ и по сторонамъ — словно боясь погони — скрылась въ низенькой калиткѣ деревяннаго дома.

Пробѣжавъ черезъ дворикъ по настланнымъ, ради грязи, доскамъ, она остановилась у небольшаго флигелька, на стѣнѣ котораго была прибита скромная вывѣска съ надписью «Hebamme—*повивальная бабка*», и осторожно постучалась въ дверь. Къ ней вышла женщина чистоплотно-нѣмецкой наружности, въ бѣломъ чепцѣ и любопытно, чуть не къ самому носу, подставила ей, съ вопросомъ, свою востренькую физіономію.

— Что̀, спитъ?... Можно войти? шопотомъ спросила ее пріѣхавшая, хотя этотъ шопотъ ровно ни къ чему не былъ тутъ нуженъ.

— Нѣтъ, не спитъ, все васъ дожидается, отвѣчала ей, также шопотомъ, нѣмка.—Слава-богу, что скоро пріѣхали, а то я уже за нее боялась: очень много ужь она безпокоилась...

Отворивъ осторожно дверь, женщина на цыпочкахъ вошла въ темную комнату больной. При видѣ ея, больная съ нетерпѣніемъ приподнялась на подушкахъ, и съ жаднымъ ожиданіемъ, пытливо вперила въ нее свои черные, выразительные глаза.

— Ну, что̀, Наташа? съ замираніемъ сердца спросила она.— Снесла?

— Ничего, слава-богу, все хорошо... ничего... Снесла и отдала...

— Взяли они? съ возрастающимъ нетерпѣніемъ допрашивала больная.

— Надо полагать, что взяли... Не выкинуть же младенца на улицу, какъ-то деревянно разсудила въ успокоительномъ тонѣ Наташа.

— Слава тебѣ Господи! съ восторгомъ прошептала больная, и слезы закапали изъ ея прекрасныхъ глазъ.

— Что̀ же вы плачете? Вѣдь все, слава тебѣ Господи, удалось, какъ не надо быть лучше! утѣшала ее, между тѣмъ, Наташа, стараясь показать участіе, въ которомъ, однако, болѣе проницательный человѣкъ могъ бы подмѣтить всю ту же деревянную подкладку, не то что равнодушія, а какого-то скрытаго недоброжелательства.

— Я не отъ горя, Наташа; я отъ радости... Я теперь почти совсѣмъ вѣдь счастлива... Вѣдь, понимаешь ли ты, я могу, буду у нихъ видѣть ее... хоть издали, хоть какъ чужую, а все-таки видѣть, знать... вѣдь все же лучше, чѣмъ совсѣмъ не видѣть-то!... Что̀ дѣлать!...

Наташа равнодушно, какъ совершенно посторонній человѣкъ, слушала эту исповѣдь больной, полную и радости, и надеждъ, и грусти.

Ну, а что̀ *тамъ*... у насъ, дома? Не слыхала ты? неожиданно спросила больная, послѣ минутнаго раздумья.

— Ничего... все, кажись, пока спокойно, отвѣтила съ маленькой запинкой Наташа, съ запинкой потому, что на самомъ дѣлѣ было далеко неспокойно.—Да вы не тревожьтесь, прибавила она:— авось, богъ-дастъ, все какъ нибудь обойдется!

Больная раздумчиво покачала головой.

— Едва-ли, Наташа!... не вѣрится мнѣ что-то! со вздохомъ сказала она:—ужь гдѣ тамъ обойдтись!... Мнѣ, вѣрно, на роду написано не знать ни покоя, ни счастья... Вотъ и ребёнокъ мой въ маѣ родился—вѣрно тоже весь вѣкъ будетъ маяться, бѣдняжка...

— Это все одни пустяки; такъ только... старые люди занимаются—болтаютъ. А то вотъ увидите, все перемелется—мука̀ будетъ, разсѣянно замѣтила Наташа, какъ человѣкъ, котораго занимаютъ совсѣмъ посторонніе и давно уже преслѣдующіе его скрытые помыслы.

Больная сначала закрыла глаза ладонями и потомъ махнула рукой, сдѣлавъ головою такое движеніе, какъ словно хотѣла бы отогнать преслѣдующую ее мысль.

— Ну, что думать объ этомъ!.. сказала она, стараясь обмануть самоё себя какъ-бы беззаботностью и равнодушіемъ.—Умѣла сдѣлать грѣхъ, умѣй и нести его!... А вотъ, что-то *онъ* не ѣдетъ?... И не пишетъ ничего...

— Авось ныньче заѣдетъ... Ныньче-то, ужь кажись бы, навѣрное долженъ былъ заѣхать...

— Да что̀-жь онъ до сихъ-то поръ ждалъ? зачѣмъ онъ до сихъ поръ не пріѣзжалъ ни разу?... Вѣдь вотъ ужь третій день сегодня, какъ я здѣсь!... Вѣдь я писала ему... Онъ знаетъ! съ тоскливымъ и недоумѣвающимъ укоромъ спрашивала больная свою горничную, словно бы та могла ей дать какой-либо отвѣтъ на это и разрѣшить ея сомнѣнія.

— Нѣтъ, ужъ послѣ сегодняшняго—непремѣнно пріѣдетъ! утѣшала Наташа тономъ очень искусно поддѣланнаго участія.

— Дай-то богъ, дай-то богъ! отвѣчала больная все съ тѣмъ же

недовѣрчивымъ и раздумчивымъ покачиваніемъ головы.—Грустно мнѣ безъ него, Наташа, очень грустно!... И что я за сумасшедшая! продолжала она, минуту спустя, какъ-бы сама съ собою. И за что я только такъ полюбила его!... Какъ вѣдь полюбила-то! все позабыла, на все рѣшилася!... И за что все это? — сама не знаю... Такъ какъ ты думаешъ, Наташа, пріѣдетъ? неожиданно добавила она.

— Непремѣнно пріѣдетъ! Вотъ подождите, увидите сами!

— Ну, буду ждать!

Но больная тщетно прождала цѣлый день: *онъ* не пріѣзжалъ. Она мучилась, терялась въ догадкахъ и, конечно, всѣмъ этимъ страшно вредила своему положенію. Наконецъ, къ вечеру она получила письмо. Отъ кого? — это была для нея совершенная неожиданность.

III

Тайный пріютъ

За три дня до описаннаго нами происшествія съ корзинкой, въ кабинетъ старой княгини Чечевинской, одѣтой въ трауръ по мужѣ, вошла ея дочь, княжна Анна, что̀ вызвало на лицѣ старухи знаки видимаго неудовольствія: она терпѣть не могла, чтобы кто-либо неожиданно прерывалъ мирное теченіе ея занятій. Это было утромъ, часовъ около двѣнадцати. Занятія старой княгини по утрамъ состояли въ провѣркѣ приходо-расходныхъ книгъ и разсчетовъ, въ перечисленіи наличныхъ денегъ и т. п. Княгиня — если взглянуть на нее съ оборотной стороны медали, то-есть съ той, которая, будучи сокровенной принадлежностью души, ускользаетъ или умѣетъ прятаться отъ посторонняго, свѣтскаго глаза — была то, что̀ называется кулакъ-баба, да притомъ и просто-таки снабжена отъ матери-натуры достаточною долею скупости. Подъ старость, и особенно съ тѣхъ поръ, какъ покойный князь Чечевинскій растратилъ, и растратилъ, по мнѣнію княгини, самымъ эксцентричнымъ образомъ, больше чѣмъ двѣ трети своего состоянія, эти качества въ ней усилились весьма замѣтно. Но предаваться имъ она любила

келейно, въ кабинетѣ, безъ помѣхи чьихъ бы то ни было постороннихъ глазъ — она старалась, чтобъ не замѣчали ея наклонности — и потому неудивительно, если неожиданный приходъ дочери вызвалъ въ ея лицѣ оттѣнокъ неудовольствія.

— Что̀ тебѣ, зачѣмъ ты меня безпокоишь? Ты знаешь, что я этого не люблю... проговорила она, подвигая на лобъ очки и поспѣшно закрывъ разсчетную книгу.

— Я къ вамъ.... мнѣ надо...

— Что̀ тебѣ надо?... Ничего не надо!... отъ васъ только одно безпокойство...

Старухѣ видимо хотѣлось поскорѣе избавиться отъ посторонняго лица.

— Я получила записку отъ Зины. Она проситъ меня пріѣхать, отвѣтила княжна, съ трудомъ скрывая въ лицѣ невольные знаки какой-то страшной внутренней боли.

Зачѣмъ это?... возразила старуха.—Вѣдь они всѣмъ семействомъ, кажется, хотѣли быть къ намъ нынче вечеромъ — развѣ ты забыла?

— Я знаю... Но она пишетъ, чтобъ я пріѣзжала къ нимъ съ утра, а потомъ всѣ вмѣстѣ и будемъ къ вечеру... Она очень проситъ — ей что-то очень нужно...

— Пустяки какіе нибудь!... Закладывать экипажъ, безпокоить людей и лошадей понапрасну — и все изъ-за пустяковъ! какъ будто нельзя обождать...

— Я пѣшкомъ пройду...

— Этого только и недоставало! Пѣшкомъ... очень хорошо!... Все-таки человѣка безпокоить — ливрею надѣвать... Да куда тебѣ ѣхать? — взгляни, бога-ради, на тебѣ лица нѣтъ—та̀къ ты блѣдна, прибавила она, взглянувъ на лицо дѣвушки, которое дѣйствительно сквозило страшной болѣзненною блѣдностью.

— У меня голова болитъ немного... На воздухъ выйду, такъ и пройдетъ.

— Ну, хорошо, хорошо, только не безпокой меня, пожалуйста: у меня бездна дѣлъ... Прикажи человѣку проводить себя.

— Меня моя горничная проводитъ.

— Это еще что̀ за новости? что̀ ты, чиновница, что̀ ли?

— Да она у меня отпросилась сегодня на цѣлый день, такъ ей все равно... а человѣка что̀ же безпокоить, возразила княжна, стараясь послѣднимъ своимъ замѣчаніемъ поддѣлаться въ тактъ матери.

— Скажите, какъ велико безпокойство!... Вздоръ, прикажи человѣку. Ты ужъ одѣта? спросила она, оглядывая платье дочери.— Могла бы одѣть попроще что нибудь—хоть старое траурное платье: утромъ вѣдь не къ чему. (Это былъ тоже голосъ скупости).

— На мнѣ и то довольно простое платье, возразила дочь.

— Ну, это хорошо... бережливость никогда не мѣшаетъ, продолжая оглядывать княжну, замѣтила старуха.—Что̀ это оно на тебѣ какъ будто дурно сидитъ?

— Нѣтъ, ничего... это вамъ такъ кажется...

— Въ таліи какъ будто... что-то неловко...

— Нѣтъ, ничего... я въ корсетѣ... оно сидитъ, какъ нельзя лучше.

Талія княжны, дѣйствительно, до-нельзя была перетянута корсетомъ.

— Ну, хорошо, хорошо! только оставь меня, не мѣшай мнѣ, пожалуйста, поспѣшила отдѣлаться старуха, и по уходѣ дочери сейчасъ же опять принялась за свою работу.

Вернувшись къ себѣ въ комнату, княжна въ изнеможеніи опустилась въ кресла.

— Ну, что?... какъ? спросила поджидавшая ее тутъ горничная.

— Приказала проводить человѣку... Что̀ дѣлать съ этимъ, ужъ я и не знаю!... черезъ силу отвѣчала княжна, очевидно подавленная какимъ-то большимъ горемъ.

— Ну, это еще ничего... Я пойду прикажу Петру... этотъ мой— не выдастъ!... Ужь я обдѣлаю, вы не безпокойтесь!...

— Только ка̀къ я пойду?... Мнѣ кажется, я не въ силахъ... съ отчаяніемъ проговорила княжна.

— Ничего, до кареты-то дойдемъ! ободряла ее горничная: — вы не сидите только, а старайтесь ходить полегоньку: ходить-то лучше, сказываютъ.

И она шмыгнула изъ комнаты отдать Петру приказаніе княгини.

Черезъ десять минутъ княжна Чечевинская вышла на улицу, въ сопровожденіи ливрейнаго лакея.

— Ты, Петя, ступай себѣ куда знаешь! вполголоса сказала ему горничная, нагнавшая ихъ за угломъ.

— Да куда жь я пойду?... проводить велѣно...

— Ну, лѣшій! не твое дѣло! Сказано — ступай, такъ и ступай!... А черезъ часъ вернись; да смотри у меня: молчокъ! а проврешься — такъ только ты меня и зналъ!

Лакей любезно ухмыльнулся въ отвѣтъ на приказаніе горничной и, отставъ отъ княжны шаговъ на двадцать, незамѣтно свернулъ себѣ въ сторону, до ближайшаго трактира.

— Онъ ушелъ? спросила княжна, когда горничная поровнялась съ нею, и получивъ удовлетворительный отвѣтъ, тотчасъ же спустила на лицо густой черный вуаль.

— Я рѣшительно не въ силахъ идти! сказала она, остановившись въ изнеможеніи: — далеко еще до кареты?

Горничная въ отвѣтъ кивнула головой на уголъ и побѣжала въ томъ же направленіи.

Полчаса спустя извощичья карета, со спущенными шторами, ѣхавшая все время съ большой осторожностью, шагомъ, остановилась въ Свѣчномъ переулкѣ, у воротъ деревяннаго дома.

Княжна и горничная вошли въ сѣренькій надворный флигелекъ, съ знакомою уже читателю скромною вывѣской — «Hebamme».

Вамъ надо раздѣться, сударыня, и лечь, вы такъ утомлены, говорила востроносенькая женщина въ бѣломъ чепцѣ, съ нѣмецко-чистоплотною наружностью, заботливо помогая княжнѣ скидать ея платье. — Боже мой, да вы въ корсетѣ! чуть не съ крикомъ добавила она и съ выраженіемъ ужаса покачала головкой.

— Чтó дѣлать? надо было скрывать, отвѣтила Наташа: — я ужь и то всѣ платья, по ночамъ тайкомъ, понадставляла.

— Но это нехорошо, это очень нехорошо! продолжала покачивать своимъ чепчикомъ нѣмка.

— Скажите: можетъ все это окончиться къ вечеру? спросила ее княжна.

— Это какъ богъ дастъ, отвѣтила она, въ затрудненіи, пожимая плечами.

— Но мнѣ необходимо надо быть сегодня къ вечеру дома.

— Это очень опасно...

— Чтó дѣлать, но если иначе нельзя!

— Конечно, бываетъ иногда и такъ, но это очень опасно, говорю вамъ. — Впрочемъ, посмотримъ; можетъ, вы и въ силахъ будете... теперь еще неизвѣстно... Но только вы очень рискуете, сударыня... Вашъ корсетъ много бѣды тутъ надѣлалъ. Вы въ первый разъ? спросила она.

— Въ первый.

— Ну, такъ почти навѣрное, что нельзя. Надо будетъ остаться... Вы будете слишкомъ слабы, ужь повѣрьте моей опытности.

— Чтó же мнѣ дѣлать! Боже мой, чтó дѣлать мнѣ!... Это, значитъ, узнаютъ... Я не скрою!... съ отчаяніемъ говорила княжна, ломая себѣ руки, тогда какъ сильныя схватки болей донимали ее ежеминутно, еще увеличивая собою невыносимое страданіе нравственное. У нѣмки на глазахъ показались слёзки. Она только пожала плечами и продолжала раздѣвать больную.

— Все бы ничего, только вотъ старая барыня... безпокойства много будетъ, если не вернемся къ вечеру, заботливо проговорила Наташа и поспѣшила отвернуться, чтобъ скрыть невольно порывавшуюся на губы усмѣшку: она какъ будто была бы рада, еслибъ княжна не вернулась къ вечеру.

— Ну, мой грѣхъ, мой и отвѣтъ! съ рѣшимостью проговорила княжна. — Я знаю, чтò надо дѣлать. Есть у васъ чернила и бумага?

Нѣмка подала то и другое. Княжна сѣла къ столу и написала двѣ записки; запечатавъ, она отдала ихъ горничной, съ приказаніемъ отправить тотчасъ же на городскую почту.

— И какъ это вы, право, такъ, до послѣдней минуты ходили! удивлялась нѣмка, укладывая больную въ постель.

— Я ничего не знала... я думала, что еще не время... Сегодня утромъ внезапно почувствовала, и тò она мнѣ сказала, а я и не знала бы, отвѣтила княжна, указавъ на Наташу.

Нѣмка вышла изъ комнаты сдѣлать необходимыя приготовленія.

— Она знаетъ, кто я такая? шопотомъ спросила княжна по-французски.

Горничная отрицательно покачала головою.

— Ты какъ ей сказала?

— Сказала, что вы и просто такъ... дѣвушка средняго круга, что надо скрыть отъ родныхъ... ну, и ничего.

— Она не разспрашивала больше?

— Тридцать рублей дала въ задатокъ, такъ и спрашивать не стала: «это намъ все равно», говоритъ.

— Ну, слава-богу!... Только что-то будетъ дома, какъ нынче вечеромъ Шипонина съ дочерьми пріѣдетъ!... Вѣдь я сказала, что къ нимъ пойду...

— Ай-ай, какъ же вы это такъ, не подумавши! заботливо замѣтила Наташа.

— Гдѣ ужь тутъ было думать! Я и себя-то не помнила! Что первое взбрѣло на умъ, то и сказала.

— Неравно узнаютъ, продолжала та притворно опасаться.

— Не узнаютъ, если письмо раньше вечера дойдетъ; а если и узнаютъ, такъ... Княжна на минуту остановилась въ тяжеломъ раздумьѣ.

— Лишь бы *онъ* любилъ, а до остальныхъ... богъ съ ними! Мнѣ все равно! добавила она съ глубокимъ и тяжелымъ вздохомъ.

Часовъ около шести вечера, въ комнатѣ съ закрытыми ставнями, сквозь щели которыхъ слабо пробивался тонкій лучъ дня и сливался съ матовымъ свѣтомъ настольной лампочки, впервые раздался крикъ новорожденнаго младенца. Больная, услыхавъ этотъ первый звукъ жизни своего ребёнка, тоже слабо, но радостно вскрикнула и, изнеможенная страданьемъ и избыткомъ волновавшихъ ее чувствъ, тотчасъ же впала въ легкій обморокъ.

IV

Ударъ фамильной гордости

Просчитавъ еще около часа по уходѣ дочери, княгиня встала съ мѣста, очень довольная собою и своими «дѣлами». Она была скупа и на деньги, и на платье, и на кусокъ. Впрочемъ, приличіе всегда соблюдала съ отмѣнною строгостью. Кодексъ приличій и

всемогущее que dira le monde? властвовали надъ душою старухи въ равномѣрной степени со скупостью и скопидомствомъ. Она покорялась имъ всѣмъ существомъ своимъ и всѣмъ существомъ трепетала передъ роковою силою этого страшнаго *что скажутъ*?... Съ тѣмъ ужь она родилась, тѣ понятія всосала съ молокомъ матери, на томъ воспитывалась, прожила вѣкъ свой и подъ конецъ почти-что на томъ и помѣшалась. Ея домъ, ея образъ жизни, образъ мыслей — все это могло служить, на глаза людей и близкихъ и постороннихъ, образцомъ безукоризненнѣйшаго приличія, и все это заставляла ее дѣлать неизлѣчимая, болѣзненная боязнь этого que dira le monde? Еслибъ что либо въ жизни княгини хотя на шагъ отступило отъ установленнаго кодекса условій и приличій, еслибъ хотя малѣйшая вина легла на ея фамильное достоинство, старуха рѣшительно не перенесла бы этого. Для нея уже былъ одинъ подобный ударъ въ ея жизни — ударъ, нанесенный ея мужемъ, который, увы! часто позволялъ себѣ непростительныя отступленія отъ приличій, но княгиня скрыла этотъ ударъ въ сердцѣ своемъ и съумѣла довольно удачно замаскировать его передъ обществомъ. Впрочемъ, объ этомъ еще рѣчь впереди.

Это была женщина даже съ замѣчательной силой характера. Бывъ уже замужемъ, она сильно влюбилась въ одного великосвѣтскаго франта, gant jaune, какъ ихъ тогда называли, блиставшаго въ десятыхъ годахъ; но нетолько что ему, а, кажись, даже самой себѣ не призналась въ этомъ, и задавила въ душѣ своей чувство, не давъ о немъ свѣтской молвѣ ни малѣйшаго намёка, ни малѣйшей догадки. Она, напримѣръ, совсѣмъ не любила своего мужа, но всю жизнь осталась безукоризненно вѣрна ему. Вы думаете, отчего? сознаніе долга? — нѣтъ, не столько долга, сколько боязни этого *что скажутъ*? Она не допускала, чтобы *о ней, княгинѣ Чечевинской*, осмѣлился бы кто либо заикнуться съ легкой улыбкой. Она не могла представить себѣ безъ ужаса свою фамильную репутацію съ какимъ либо тёмнымъ пятнышкомъ; репутація ея должна была быть чиста, какъ кристалъ — того требовалъ кодексъ условій, усвоенный ею еще съ ранняго дѣтства. И дѣйствительно, тёмное свѣтское злословіе, какъ извѣстно, нещадящее почти ни одного имени хорошенькой женщины, умолкало передъ именемъ княгини Чечевин-

ской. Въ теченіе всей ея жизни о ней не ходило ни одной тёмной сплетни, и всѣ глубоко уважали ее за ея безукоризненно-чистую репутацію, а для самой княгини это былъ источникъ неисчерпаемой внутренней гордости.

По положенію своему въ свѣтѣ, она держала домъ свой на соотвѣтственную ногу. На посторонніе глаза скупость ея была рѣшительно незамѣтна. Она умѣла, въ этомъ отношеніи, поддержать достоинство своего рода и состоянія. Но за то, съ глазу на глазъ со своею душою, княгиня постоянно мучилась неотступнымъ призракомъ расходовъ и издержекъ, всегда, впрочемъ, поневолѣ, склонявшимся передъ другимъ сильнѣйшимъ призракомъ: que dira le monde? Она, напримѣръ, безъ постороннихъ постоянно приказывала дочери носить скромное шерстяное платье, на томъ мудромъ основаніи, что «бережливость никогда не мѣшаетъ и, почемъ знать, что́ еще можетъ случиться и ожидать ее въ жизни». Она даже себѣ очень часто отказывала въ прогулкѣ, на томъ основаніи, что неравно еще шина въ колесѣ кареты лопнетъ, или ось сломается— придется отдавать въ починку и деньги платить, да и ливрея новая у лакея и армякъ у кучера, отъ излишняго употребленія, будутъ портиться и приходить въ вѣтхость; а новые дѣлать — опять таки деньги платить. Въ отношеніи дочери она маскировала этотъ послѣдній разсчетъ тѣмъ, что «зачѣмъ излишне и людей, и лошадей безпокоить» — слѣдовательно, выставляла причину достаточно филантропичную и дѣлавшую честь ея прекрасному сердцу. Такъ и теперь, по уходѣ дочери, она стала обдумывать, что некчему лишній кусокъ къ обѣду готовить и потому, подъ предлогомъ нездоровья, приказала сдѣлать себѣ только бульонъ куриный, изъ коего мясо подать себѣ подъ легкимъ соусомъ. Всѣ эти мелочи доходили въ ней до болѣзни, до маніи какой-то; но, что всего страннѣе, княгиня очень хорошо сознавала это, и потому тщательно старалась скрывать отъ всѣхъ свой недостатокъ, покоряясь своей другой равносильной и уже извѣстной читателю маніи — *что скажутъ*?

Была у нея одна только слабость, передъ которой иногда смирялась даже и манія скупости; эта слабость — слѣпая, безграничная

любовь къ своему сыну, которому она кое-когда даже деньги, кромѣ положеннаго содержанія, давала и который съумѣлъ себя поставить въ нѣсколько независимое положеніе. Онъ жилъ въ домѣ матери, но на отдѣльной квартирѣ, которая нужна была ему въ сутки минутъ на десять — не болѣе, потому что застать его можно было вездѣ, кромѣ дома. Сынокъ кутилъ, давалъ векселя на весьма порядочныя суммы и прикидывался предъ матерью почтительнымъ сыномъ, а мать ничего не подозрѣвала и души въ немъ не чаяла.

Пообѣдавъ очень скромно куринымъ бульономъ, старуха удалилась въ свою молельню (она очень была благочестива) и принялась за чтеніе какой-то душеспасительной книги, надъ которою вскорѣ и задремала, что̀ продолжалось до того времени, пока ей не объявили о пріѣздѣ m-me Шипониной съ дочерьми и племянницей. Племянница эта и была та самая Зина, подруга княжны Анны, къ которой та и отпросилась нынѣшнимъ утромъ.

У престарѣлой m-me Шипониной, кромѣ хорошенькой племянницы, были еще три нехорошенькія и престарѣлыя же дочери — три перезрѣлыя и потому злющія дѣвы, которыхъ за глаза называли тремя граціями. Отличительныя черты ихъ были: наивная скромность, строгая нравственность, голубиная невинность и сантиментальная любовь къ небесному цвѣту. Кромѣ этихъ трехъ, и, безъ всякаго сомнѣнія, прекрасныхъ качествъ, ходили о нихъ еще слухи, будто каждая злющая великосвѣтская сплетня истекала невидимымъ образомъ непремѣнно изъ источника трехъ грацій. Къ этому послѣднему источнику пылали онѣ еще бо̀льшею любовію, чѣмъ къ небесному цвѣту.

Хозяйка очень любезно вышла въ гостиную къ пріѣхавшему семейству и, послѣ обычныхъ привѣтствій, не находя между ними своей дочери, спросила нѣсколько удивленнымъ тономъ:

— А гдѣ же моя Анна?... Или вы, mesdames, ее дома бросили?

Тѣ не совсѣмъ ясно поняли послѣднюю шутку старухи.

— Ка̀къ дома? спросила одна изъ трехъ грацій.

— Ну да, дома, продолжала любезно-шутливымъ тономъ княгиня. — Я ее что-то не вижу съ вами.

— А гдѣ она, въ самомъ дѣлѣ? спросила хорошенькая Зина.

— Вы это должны лучше знать, отшучивалась княгиня. —

Впрочемъ, неужели это она прямо къ себѣ прошла?... какая глупая! нѣжно-материнскимъ тономъ добавила она, хотя внутренно и вознегодовала на дочь за сдѣланную ею неловкость.

— Поди, попроси княжну поскорѣе сюда, къ намъ, приказала она вошедшему на ея звонокъ человѣку.

Тотъ пошелъ и черезъ минуту воротился, объявивъ, что княжны нѣтъ дома.

Княгиня встревожилась.

— Что же это значитъ? Гдѣ же вы ее оставили, mesdames?... Что съ нею? Ужь не больна ли она?... Скажите мнѣ, бога ради!

— Извините, княгиня, я не совсѣмъ понимаю васъ, возразила удивленная Шипонина.

— Какъ не понимаете! Да вѣдь она у васъ же была?

— Когда?

— Сегодня! Съ двѣнадцати часовъ утра отправилась! съ возрастающимъ безпокойствомъ доказывала княгиня.

Три граціи вытянули шеи и ядовито навострили уши.

— Нѣтъ; она не была у насъ сегодня, отвѣтила Шипонина.

— Но вѣдь вы ей писали? продолжала старуха, обращаясь къ Зинѣ.

— Я?... нѣтъ... да, я ей писала, въ замѣшательствѣ отвѣтила Зина, понявшая, что тутъ, должно быть, нѣчто не совсѣмъ-то ладно и незахотѣвшая выдать подругу, хотя рѣшительно не знала, въ чемъ дѣло.

Три граціи подозрительно поглядѣли на хорошенькую Зину, которую онѣ ненавидѣли отъ всей своей кроткой души.

— Кто проводилъ княжну? Позови сюда! обратилась княгиня къ лакею — и черезъ минуту вошелъ Петръ, блѣдный, какъ скатерть.

— Ты провожалъ Анну Яковлевну?

— Я, ваше сіятельство.

— Съ городской почты.

Княгиня дрожащими пальцами быстро сорвала печать, стала глазами пробѣгать письмо, и мгновенно поблѣднѣвъ, безъ звука, какъ снопъ, рухнула на полъ.

Ударъ ея фамильной гордости былъ нанесенъ.

Всѣ тотчасъ же бросились къ безчувственной старухѣ; поднялась бѣготня, суматоха, и въ этой-то суматохѣ одна изъ трехъ грацій ловко подхватила съ пола полученную записку, и въ то время, какъ княгиню уносили на рукахъ въ ея спальню, быстро и жадно пробѣжала ее глазами.

На желтоватомъ лицѣ ея заиграла злорадная улыбка.

— C'est charmant! c'est charmant! шепелявила она какимъ-то захлёбывающимся шопотомъ, закатывая подъ лобъ свои крысиные глазки.

— Что? что такое? приступили къ ней вмѣстѣ съ матерью двѣ остальныя граціи.

— Послѣ... послѣ скажу вамъ все! съ наслажденіемъ проговорила она, роняя письмо на прежнее мѣсто, и потомъ принявъ видъ оскорбленной нравственности, присовокупила весьма величественнымъ и даже строгимъ тономъ:

— Maman! Мы ни одной минуты болѣе не должны оставаться въ этомъ домѣ!

И семейство грацій немедленно же удалилось изъ дома княгини Чечевинской.

Вотъ короткое содержаніе письма, столь поразившаго старую княгиню:

«Я солгала, сказавъ вамъ утромъ, что иду къ Зинѣ. Если есть время, то найдите предлогъ предупредить Шипониныхъ, чтобъ онѣ не пріѣзжали. Постарайтесь скрыть отъ всѣхъ мое отсутствіе, если это возможно... Я не могла признаться вамъ раньше — вы меня слишкомъ мало любите. Сегодня я сдѣлаюсь матерью».

Подписи не было, но рука княжны. Писано пофранцузски.

V

Княжна Анна

Ей исполнилось уже двадцать-пять лѣтъ; слѣдовательно, она давно перешла ту пору, когда дѣвушки надѣваютъ чепецъ и переименовываются въ дамъ, что обыкновенно случается съ ними лѣтъ въ девятнадцать, въ двадцать, или около того. А между тѣмъ, княжна Анна была хороша собою — и все-таки осталась въ дѣвуш-

нахъ. Причиною этому послужило одно исключительное обстоятельство, въ которомъ, впрочемъ, она нисколько не была виновата.

Отецъ ея, князь Яковъ Чечевинскій, по отзывамъ того общества, къ которому принадлежалъ по положенію своему, былъ весьма странный человѣкъ. Мы скажемъ вѣрнѣе: онъ былъ русскій человѣкъ, но человѣкъ надорванный. И дѣдъ, и прадѣдъ, и отецъ его принадлежали къ разряду старыхъ, кряжевыхъ натуръ. Эти же кряжевыя свойства перешли и къ князю Якову. Отецъ его, вмѣсто того, чтобъ отправлять сына въ раннемъ еще дѣтствѣ для воспитанія за границу, что̀ водится-таки за нашими барами, оставилъ его рости и воспитываться дома, у себя въ деревнѣ. Первый учитель его былъ старый дядька, потомъ старый попъ, а затѣмъ уже русскіе учителя и, въ силу всемогущаго обычая, иностранный гувернёръ. Князь Яковъ отправился за границу не начинать, а доканчивать свое образованіе уже на двадцатомъ году своей жизни. Былъ онъ въ нѣсколькихъ германскихъ университетахъ, получилъ даже магистерскій дипломъ и вернулся въ Россію, объѣздивъ изъ конца въ конецъ почти всю Западную Европу. Въ университетскіе свои годы онъ познакомился съ теоріями французскихъ энциклопедистовъ, но особенно пристрастился къ ученію массоновъ и самъ былъ посвященъ въ *каменьщики* одной ложи. Въ Россіи для него готовилась уже видная карьера, но онъ предпочелъ остаться частнымъ человѣкомъ. Вдругъ, декабрьскія событія двадцать-пятаго года весьма скомпрометировали, въ извѣстномъ отношеніи, личность князя Чечевинскаго, который былъ уже въ то время женатъ болѣе двѣнадцати лѣтъ и имѣлъ дочку, княжну Анну, и шестилѣтняго сына. Вся бѣда, однако, ограничилась для князя только безвыѣзднымъ жительствомъ въ его собственной деревнѣ. Жена и дѣти отправились туда вмѣстѣ съ нимъ. Въ весьма непродолжительномъ времени послѣ этой ссылки, характеръ князя замѣтно измѣнился. Онъ сдѣлался угрюмъ и мраченъ, по цѣлымъ днямъ не выходилъ изъ кабинета, или бродилъ по пустырямъ, упорно молчалъ и тоскливо, озлобленно грустилъ о чемъ-то. Въ это же время началась и эксцентричная (по мнѣнію княгини) растрата состоянія. Князь отсылалъ большія суммы на изданіе какихъ-то книгъ, заводилъ по всему околодку крестьянскія школы да больницы, давалъ деньг-

своимъ и чужимъ крестьянамъ и многимъ инымъ лицамъ, которыя только приходили къ нему съ просьбой по нуждѣ, либо на какое-нибудь полезное предпріятіе. Очень многіе, конечно, злоупотребляли при этомъ добротой и довѣрчивостію князя Якова. Но, при всемъ томъ, онъ не могъ терпѣть изліянія благодарности. Чуть, бывало, начнетъ кто-нибудь, по полученіи просимаго куша: «благодѣтель вы нашъ! чѣмъ и какъ благодарить васъ?!» — князь тотчасъ же сумрачно нахмуривалъ брови и тономъ, рѣшительно недопускающимъ дальнѣйшихъ возраженій, произносилъ: «ну, будетъ! довольно!» и тотчасъ же уходилъ въ свой кабинетъ. Такимъ образомъ, были растрачены имъ болѣе чѣмъ двѣ трети его состоянія. Княгиня все это видѣла и злилась, мучимая своею природною скупостью. Неоднократно пыталась она вступать съ мужемъ въ горячія объясненія по этому поводу; но тотъ никогда не отвѣчалъ ей ни слова, только молча, бывало, взглянетъ на нее строгимъ, стальнымъ своимъ взглядомъ и сдѣлаетъ новыя траты, да затоскуетъ еще угрюмѣе. Все это сносила еще кое-какъ княгиня; одного только не могла она снести: князь сталъ пить — молча, съ мрачною сосредоточенностію пить простую водку, запершись въ кабинетѣ, одинъ на одинъ со своимъ стаканомъ. Она съ ужасомъ узнала объ этой новой слабости своего мужа — и эта слабость была уже для нея непереносна: она рѣшительно вопіяла противу цѣлаго цикла всѣхъ приличій и условій, созданныхъ себѣ княгиней, аристократическіе нервы которой нетолько что не могли выносить присутствія пьянаго человѣка, но ее коробило даже при одномъ разсказѣ о пьянствѣ и пьяницахъ. А тутъ вдругъ пьяница, горькій, упорный пьяница... и кто же?—ея собственный мужъ, *ея—княгини* Чечевинской!... Княгиня, безспорно, была умная женщина, но умная аристократическимъ умомъ; по этому-то послѣднему свойству она никакъ не могла понять своего мужа и потому она стала внутренно презирать его. Это скрытое, подавленное въ глубинѣ души презрѣніе освоилось вскорѣ съ какимъ-то гадливо-нервнымъ чувствомъ при одной только мысли объ этомъ человѣкѣ. Понятно, что, при подобныхъ условіяхъ, жизнь подъ одною кровлей дѣлалась невозможна. Княгиня, долго раздумывавшая, какъ ей быть и что дѣлать, рѣшилась, наконецъ, оставить своего мужа. Но какъ оста-

вить? Неужели разъѣхаться такимъ образомъ, чтобъ дать поводъ свѣтскому злословію, предполагать не совсѣмъ доброкачественныя причины этого разъѣзда, или, что еще хуже, заставить его догадаться о причинѣ настоящей, истинной? Самолюбіе княгини и ея «que dira le monde?» рѣшительно не допускали ничего подобнаго. Она рѣшилась оставить его подъ предлогомъ необходимости воспитывать сына въ столицѣ и необходимости общества для дочери, княжны Анны. Но въ послѣднемъ встрѣтила упорное и настойчивое сопротивленіе со стороны мужа. Единственное существо, къ которому онъ сохранилъ видимую привязанность, и привязанность нѣжную, сильную, несокрушимую, это была его дочь. Ей одной только были доступны движенія его сердца; съ нею одною только повременамъ онъ былъ разговорчивъ и откровененъ; она одна только имѣла на него нѣкоторое вліяніе. Не однажды, напримѣръ, уговаривала она его не пить и просила дать ей слово, что онъ будетъ удерживаться отъ водки. Князь слова ей въ этомъ никогда не давалъ, потому что свято чтилъ его; но отъ рюмки, дѣйствительно, воздерживался нѣкоторое время —и это было для него мучительно: онъ проклиналъ себя и свою слабость, и все-таки шелъ къ дочери, умоляя ее на колѣняхъ и чуть не со слезами простить его, не приневолить его и позволить ему пить снова. Пьянство обратилось у него въ непреодолимую мучительную страсть — и одна только дочь его вѣдала, какое неотступное горе топилъ онъ въ стаканѣ водки... И какъ становился онъ ласковѣе съ нею, чувствуя себя передъ ней виноватымъ! Но ласковость свою не любилъ онъ показывать передъ посторонними глазами — она выливалась у него наединѣ съ дочерью, въ кабинетѣ или въ полѣ. Здѣсь онъ разсказывалъ ей свое прошлое, передавалъ свои знанія, свои столкновенія съ людьми, житейскіе опыты, раскрывалъ передъ нею всю свою душу со всѣми ея завѣтными вѣрованіями и мечтами, и дочка понимала его. Странное дѣло: еще съ колыбели, она была болѣе привязана къ отцу, нежели къ матери — и мать менѣе любила ее за это. Впослѣдствіи, когда черты лица и характера дѣвочки стали пріобрѣтать разительное сходство съ чертами отца, эта обоюдная любовь росла все болѣе, а вмѣстѣ съ тѣмъ росла и холодность матери, обратившаяся мало-по-малу даже въ затаенное нерасполо-

женіе къ дочкѣ. Въ эпоху, когда въ князѣ Яковѣ проявилась его несчастная наклонность къ пьянству, въ этомъ семействѣ образовалось нѣчто въ родѣ двухъ противоположныхъ лагерей: одинъ составляли отецъ и дочь, другой — мать съ сыномъ, къ которому страстная привязанность ея увеличивалась по мѣрѣ ненависти къ мужу.

Когда она объявила князю Якову, что жить съ нимъ долѣе не имѣетъ силъ и уѣзжаетъ подъ извѣстнымъ уже благовиднымъ предлогомъ, князь только спросилъ ее:

— А Анна?

— Анну я беру съ собою... Ей уже шестнадцать лѣтъ, ей необходимо быть въ свѣтѣ.

— Спроси ее, согласится ли она ѣхать съ тобою?

— Полагаю, что должна согласиться.

— А я полагаю, что, напротивъ, никакъ не согласится... Да и я безъ нея не останусь... намъ разстаться нельзя.

Объявили Аннѣ о намѣреніи ея матери. Анна отвѣтила, что не чувствуетъ особеннаго влеченія къ свѣту и предпочитаетъ остаться съ отцомъ, послѣ чего этотъ послѣдній рѣшительно уже сказалъ княгинѣ, что не позволитъ ей взять дочь съ собою, не отдастъ ее. Княгиня, впрочемъ, и не тужила объ этомъ нисколько. Для свѣтскихъ распросовъ на сей конецъ она сразу нашла благовидный отвѣтъ, что дочь, дескать, осталась съ отцомъ, который ее такъ любитъ, услаждать дни его заточенія и т. п. Разъѣздъ ихъ случился въ 1829 году, послѣ четырехлѣтней мученической жизни княгини въ деревнѣ; и когда дорожный дормезъ ея выѣхалъ изъ воротъ усадьбы, князь Яковъ, вмѣстѣ съ дочерью, какъ-то легче, какъ то свободнѣе вздохнули.

Князь самъ воспитывалъ свою дочку. Онъ отчасти слѣдовалъ системѣ жан-жаковскаго Эмиля, и держалъ маленькую княжну какъ можно ближе къ простой, здоровой природѣ, стараясь, чтобъ она прежде всего забыла, что она барышня и княжна. И дѣйствительно, міръ сказокъ и пѣсенъ, міръ сельскаго и полевого быта были знакомы ей въ совершенствѣ. Отецъ ея былъ поклонникъ и чтитель *тихой, мирной и чистой древности*, и вмѣстѣ съ тѣмъ мистикъ, какъ массонъ. То и другое невольнымъ образомъ отразилось

и на характерѣ его дочери. Она мало могла назваться свѣтской дѣвушкой: близость къ природѣ мѣшала ей сдѣлаться ею, и, напротивъ, помогла развиться впечатлительности, энергіи и страстности ея характера. Жизнь ея съ отцомъ была весьма однообразна, и надо было имѣть сильную привязанность къ нему, чтобъ эта скучная жизнь не показалась бы невыносимою, особенно при непрерывномъ, мрачномъ запоѣ отца, который съ годами все усиливался, увеличивая и мрачную меланхолію. Такимъ образомъ, княжна Анна прожила, со времени отъѣзда матери, цѣлыя восемь лѣтъ, почти никуда не выѣзжая и никого не видя. Ей, наконецъ, стукнуло двадцать-четыре года.

Въ это время въ сосѣднее свое имѣніе пріѣхалъ по какимъ-то обстоятельствамъ князь Шадурскій. Обстоятельства эти потребовали визита къ князю Чечевинскому и неоднократныхъ бесѣдъ и соглашеній съ нимъ, такъ-какъ дѣло было отчасти общее и касалось обоюдныхъ интересовъ. Княжна Анна, естественно, не могла не встрѣтиться съ Шадурскимъ, и къ тому же она была слишкомъ хороша собою, для того, чтобъ тотъ не обратилъ на нее вниманія. Они познакомились.

Княжна была слишкомъ исключительно поставлена; ея обстановка, жизнь, красота и характеръ—все это своею оригинальностью бросалось въ глаза Шадурскому, который, среди свѣтской жизни, привыкъ къ совсѣмъ инымъ образцамъ женщинъ и дѣвушекъ. Княжна Анна, почти невидавшая дотолѣ мужчинъ, осталась болѣе чѣмъ пріятно поражена умѣньемъ говорить интересно и наружностью князя, который вполнѣ являлъ собою типъ великосвѣтскаго comme il faut того времени. Пусть вспомнитъ читатель, что то было время байронизма, Чайльд-Гарольдовъ, Онѣгиныхъ и прочихъ героевъ, которымъ старалось все подражать въ Европѣ и которыхъ пародировали, иногда очень удачно, очень близко къ оригиналу, нѣкоторые изъ нашихъ тогдашнихъ баръ. Шадурскій принадлежалъ къ ихъ числу. Внутреннюю пустоту, полутатарскіе инстинкты и мелочное ничтожество свое онъ какъ-то удачно умѣлъ прикрывать байроническо-великосвѣтскою внѣшностью.

Со всѣми этими данными нетрудно было произвести сильное впечатлѣніе на душу дѣвушки созрѣлой, полной силы, здоровья и стра-

сти, но совсѣмъ неопытной и незнакомой съ жизнью. Задавшись байронизмомъ, князь, естественно, долженъ былъ кое-что почитать, кое-чего понахвататься по верхушкамъ, такъ что могъ «блистать» поверхностнымъ разговоромъ и на неопытный глазъ казаться даже умнымъ человѣкомъ. Это, конечно, еще усиливало впечатлѣніе, произведенное имъ на дѣвушку.

Россійскаго Чайльд-Гарольда въ деревнѣ одолѣвала скука смертная. Все дѣла да дѣла — а это вовсе не въ привычкахъ великосвѣтскаго барина. Князю нужно было развлеченіе. А тутъ, кстати, и развлеченіе подъ рукою. Попечительная судьба и на сей разъ позаботилась о прихотяхъ князя. Большіе черные глаза княжны Анны ему очень нравились; ея стройный бюстъ, ея цвѣтущія щоки и губы обѣщали ему много соблазнительно-пріятныхъ ощущеній — а князь любилъ-таки льстить своимъ ощущеніямъ; наконецъ, вся ея исключительная обстановка какъ нельзя болѣе заманивала его начать отчасти «байроническій» и отчасти «сельскій» романъ. Отчего же князю и не развлечься на время? Отчего же и не пощекотать свое самолюбіе сознаніемъ въ себѣ героя? Онъ и развлекся. Съ его бывалою ловкостью и ловласовскою опытностью въ дѣлахъ этого рода, ему нетрудно было окончательно увлечь княжну Анну. Князь не думалъ о послѣдствіяхъ, да и не боялся ихъ. Княжна живетъ въ глуши, въ деревнѣ, съ пьянымъ и потому ничего незамѣчающимъ отцомъ; ей нечего бояться общественно-свѣтскаго скандала: ее никто не знаетъ; ей, въ этой глуши, легче будетъ схоронить концы печальныхъ послѣдствій; отецъ ее такъ любитъ, что проклинать и затѣвать шума вѣрно не станетъ, а самъ еще, можетъ быть, поможетъ скрыть все отъ постороннихъ глазъ. Самъ же онъ, князь Шадурскій, къ тому времени уже уѣдетъ изъ деревни, слѣдовательно, все это произойдетъ безъ него. Да, наконецъ, что же такое значатъ для него и самыя послѣдствія-то? Вѣдь онъ человѣкъ женатый — слѣдовательно, съ него взятки гладки. А если и пойдетъ глухая молва, то для его же самолюбія не зазорная, а напротивъ, очень лестная. Значитъ, о чемъ же тутъ думать? А главное, новый оригинальный романъ, при поэтической обстановкѣ, и онъ — герой этого романа... какъ тутъ не соблазниться?

Князь и соблазнился...

Чайльд-Гарольдъ необходимо долженъ быть разочарованъ — безъ того онъ и не Чайльд-Гарольдъ. Онъ дожилъ до тридцати-шести лѣтъ и все время скучалъ своею жизнію. Таковымъ онъ прикидывался передъ княжною. Онъ говорилъ ей о какихъ-то страданіяхъ, о несчастіи его въ своей супружеской жизни, говорилъ, что радъ «своей пустынѣ» (такъ именовалъ онъ родовое помѣстье), гдѣ, наконецъ, разбитый и усталый, онъ нашелъ существо свѣжее, неиспорченное, чистое, которому и т. д. Однимъ словомъ, всѣ тѣ общеизвѣстныя пошлости, которыми щеголяли во время оно наши россійскіе Чайльд-Гарольды, но которыя для княжны Анны были новы, казались искренними и заставляли ее еще болѣе симпатизировать ему.

Княжна беззавѣтно, безъ оглядки назадъ и впередъ, отдалась ему всею цѣлостью своей дѣвственной любви, всею нетронутой страстью своей натуры—страстью, которая такъ долго, безвыходно зрѣла въ ея сердцѣ. И, естественно, чѣмъ дольше зрѣла она въ этой здоровой и сильной натурѣ, тѣмъ сильнѣе было ея пробужденіе.

Князь научилъ ее скрыть отъ отца ихъ отношенія, да отецъ, впрочемъ, и не замѣчалъ ничего. Она вся подчинилась нравственному вліянію своего любовника, и Шадурскій былъ счастливъ и доволенъ собою ровно два мѣсяца, а затѣмъ...

Затѣмъ онъ уѣхалъ въ Петербургъ.

Спустя полторы недѣли послѣ отъѣзда князя, въ жизни княжны Анны произошла первая катастрофа: отецъ ея опился и умеръ отъ апоплексическаго удара. Эстафетой дано было знать въ Петербургъ. Старая княгиня Чечевинская съ сыномъ не поспѣли уже на похороны—они пріѣхали поздно и, пробывъ въ деревнѣ менѣе недѣли, увезли въ Петербургъ княжну Анну.

Шадурскій никакъ не ожидалъ подобной развязки. Это его и озадачило, и огорчило. Княгиня Чечевинская была знакома съ нимъ и его женою домами, слѣдовательно, встрѣча съ княжною становилась для него неизбѣжной. Онъ успѣлъ уже обдумать, какъ ему слѣдуетъ теперь держать себя съ нею—и бѣдная дѣвушка съ перваго же раза не узнала своего горячаго, нѣжнаго любовника въ этой холодной, прилично почтительной и сухой фигурѣ. О старомъ не было помина и намека, какъ будто его вовсе и не бывало. Однако, она нашла случай объясниться съ нимъ откровенно. Онъ объявилъ, что Пе-

тербургъ не деревня, что свѣтскія условія и страхъ за ея безукоризненную репутацію заставляютъ его держать себя съ нею такимъ образомъ, и что дольше продолжать имъ старыя отношенія, до болѣе удобнаго времени, невозможно. Она сказала ему, что чувствуетъ себя беременною. Князь очень испугался, старался ее, да и себя вмѣстѣ съ тѣмъ, разувѣрить въ ея предположеніи, однако посовѣтывалъ на всякій случай, какимъ образомъ слѣдуетъ скрывать это отъ окружающихъ. Матери своей княжна, и безъ его совѣта, никогда не рѣшилась бы открыться — на столько-то она уже знала свою мать. Онъ обѣщалъ ей изрѣдка, урывками, видѣться съ нею, и когда настанетъ финалъ послѣдствій ихъ любви, то позаботиться объ участи ребёнка и придумать «что нибудь такое, какой-нибудь исходъ», который бы не скомпрометировалъ ея репутацію. Во всемъ этомъ для бѣдной дѣвушки было весьма мало утѣшительнаго. Она поняла, что отъ князя ждать больше нѐчего и что ей самой придется позаботиться о скрытіи страшныхъ послѣдствій этой связи. Но разгадавъ его на половину, она все еще такъ сильно любила, что ей и въ голову не пришло обвинять его въ чемъ либо. Если кого и укоряла она во всемъ случившемся, то это только самоё себя. Князь, однако, послѣ этихъ объясненій, тщательно старался не возобновлять ихъ, даже избѣгать съ нею дальнѣйшихъ, хотя сколько нибудь интимныхъ, разговоровъ, и при встрѣчѣ всегда держалъ себя самымъ офиціяльнымъ образомъ, вѣжливо и холодно. Княжна съ горечью замѣтила это — и уже не докучала ему болѣе собою, стараясь увѣрить себя, что онъ дѣлаетъ все это для пользы ея же собственной репутаціи.

А ему давно уже все это надоѣло: и его «байронически-сельская» любовь и сама княжна съ ея привязанностью. Онъ сильно-таки сталъ побаиваться скандала, и потому рѣшился держать себя совсѣмъ постороннимъ человѣкомъ, котораго бы не коснулась свѣтская молва. Онъ зналъ, что эта молва — страшное, обоюдоострое оружіе; она могла и польстить его ловласовскому самолюбію, а могла тоже и поставить его въ весьма невыгодномъ свѣтѣ, какъ честнаго, порядочнаго человѣка. А кто ее знаетъ, кàкъ она, эта страшная, прихотливая молва, отнесется къ его милому поступку?

VI

Горничная княжны Анны

Часа два спустя послѣ рожденія дѣвочки, княжна подозвала къ себѣ Наташу.

— Ты поѣзжай теперь къ намъ, домой, тихо сказала она. — Я не хочу, чтобъ они знали, что ты помогала мнѣ... Тебѣ и безъ того много достанется... Я сказала, что ты нынче отпросилась у меня... Впрочемъ, прибавила она, послѣ раздумья — дѣлай какъ знаешь... Тамъ ужь сама увидишь по обстоятельствамъ, можно ли сказать, гдѣ я... или ничего не говорить. Узнай, какъ и что̀ дѣлается... Завтра утромъ я жду тебя...

И Наташа простилась съ княжною. Она вернулась домой, въ самый разгаръ исторіи, когда старая княгиня, допытывая, гдѣ ея дочь, получила съ городской почты письмо. Ухаживая и суетясь вмѣстѣ съ прочею прислугою около безчувственной старухи, Наташа случайно вошла въ гостиную и увидѣла на коврѣ записку, брошенную одной изъ трехъ уѣхавшихъ грацій. Она поняла, что это было письмо княжны Анны и поспѣшно припрятала его въ свой карманъ.

Судьба этой дѣвушки была не совсѣмъ-то обыкновенна.

Въ одной изъ поволжскихъ губерній жилъ въ деревнѣ баринъ, и жилъ въ свое удовольствіе: ѣздилъ на тоню ловить рыбу, травилъ съ компаніей зайцовъ, угощалъ сосѣдей обѣдами и ужинами и на выборахъ клалъ всѣмъ бѣлые шары — потому, значитъ, былъ благодушный человѣкъ. Баринъ этотъ доводился княгинѣ Чечевинской роднымъ братцемъ и, по родственнымъ чувствамъ, они искренно ненавидили другъ друга еще отъ юности своея, и никогда почти другъ съ другомъ не видались. У барина была экономка изъ его крѣпостныхъ, которая, несмотря на приближенное свое званіе, по безпечности барина, такъ и оставалась крѣпостною. А у экономки была дочка, которую баринъ очень любилъ, очень деликатно воспитывалъ, баловалъ, рядилъ въ шолкъ и бархатъ, выписалъ для нее старушку-гувернантку французскаго происхожденія, училъ танцовать и играть на фортепіано, словомъ, что называется, «давалъ обра-

зованіе». Эта-то экономкина дочка и была Наташа. Она съ дѣтства еще отличалась капризнымъ, своенравнымъ и настойчивымъ характеромъ, вертѣла какъ хотѣла и бариномъ и дворней — и баринъ исполнялъ всѣ ея прихоти, а дворня подобострастно цаловала у нея ручки и звала «барышней».

Между тѣмъ въ одинъ прекрасный день баринъ накушался свиного сычуга и приказалъ долго жить, по безпечности своей, не отпустивъ на волю экономку и не сдѣлавъ никакихъ распоряженій на счетъ «молодой барышни». А баринъ былъ холостъ, и потому все имѣніе его перешло немедленно къ прямой наслѣдницѣ — сестрицѣ, княгинѣ Чечевинской, которая и пріѣхала туда вводиться во владѣніе.

Наушничества и сплетни дворни сдѣлали то, что сестрица, ненавидѣвшая братца, возненавидѣла и экономку, которую сослала на скотный дворъ, а дочку ея въ видѣ особенной милости, оставила при своей особѣ въ горничныхъ и увезла въ Петербургъ.

Когда Наташа пришла прощаться къ матери въ ея свѣтёлку на скотномъ дворѣ, та, съ истерическимъ воемъ, грохнулась на полъ и долго не могла очувствоваться.

— Вотъ они что, ироды, наколдовали! всхлипывала она, обнимая дочку, которая съ молчаливымъ, озлобленнымъ чувствомъ глядѣла на горе матери. — Чѣмъ мы были, и что̀ стали! Всякая посконница — судомойка послѣдняя — и та надъ тобой нычьче кочевряжется, какъ чумичкой какой помыкаетъ!... А тебя, краля ты моя распрекрасная, забывши то, какъ руки допрежъ сего цаловали, теперечa за ровню свою почитаютъ да наругаются!... Ироды лютые!...

Наташа слушала и мрачно кусала ногти отъ безсильной злобы.

— Хорошо! нервически проговорила она. — Мое нигдѣ не пропадетъ!... будетъ и на моей улицѣ праздникъ, буду и я опять въ бархатѣ ходитъ!... А ужь только и ей, старой вѣдьмѣ, не пройдетъ это даромъ, какъ она меня унизила! Умирать буду, а не прощу ей этого!

Мать пытливо посмотрѣла на нее при этой многозначительной угрозѣ.

— Что̀ жь это ты такое задумала, мое дитятко?

— А ужь что задумала — это мое дѣло... Слушай, матушка! раздраженно прибавила она съ сверкающими глазами и необыкновенно одушевленнымъ лицомъ. — Слушай, что я тебѣ стану теперь говорить: прокляни ты меня на мѣстѣ, если я не отмщу старой вѣдьмѣ и всему ея роду за это оскорбленіе! Прокляни ты меня тогда! Вотъ тебѣ мое слово! Ужь такъ ихъ всѣхъ ненавидѣть, какъ я, кажется, и нельзя уже больше! До тѣхъ поръ не успокоюсь, пока не вымещу всего имъ!

И прямо изъ свѣтёлки Наташа отправилась къ старой княгинѣ.

— Ваше сіятельство, проговорила она кроткимъ голосомъ и скромно опустивъ глаза (она умѣла хорошо притворяться и владѣть собою):—я счастлива и благодарна вамъ, что вы пожелали приблизить меня къ себѣ... Я очень хорошо понимаю, что я такое... Я умѣю чувствовать ваше расположеніе и никогда не позволю себѣ забыться, зная свое мѣсто... Я вамъ буду вѣрной и преданной слугою... Только позвольте попросить у васъ за мою мать.

У Наташи, во время ея монолога, навернулись даже слезы, которыми она думала тронуть княгиню.

Но тронуть ее вообще было не такъ-то легко.

— Моя милая, отвѣчала ей старая барыня: — на васъ и то уже всѣ очень жалуются, что вы при покойникѣ притѣсняли всю дворню... Я для матери твоей ничего больше не могу сдѣлать, а тебя, если будешь покорна и услужлива, стану хвалить и поощрять.

Послѣ этого рѣшенія, Наташа, проговоривъ, что она всѣми силами будетъ стараться, поцаловала руку княгини и вступила въ новую свою должность. Много пришлось вынести ей нравственныхъ страданій и всяческихъ униженій—ей, которая съ дѣтства привыкла повелѣвать и считать себя полной госпожей, «барышней» — ей, которая и образомъ жизни, и понятіями, и воспитаніемъ—этимъ лоскомъ и бойкой французской болтовней была уже сама по себѣ истая барышня! Переходъ былъ слишкомъ крутъ и потому ужасенъ. Но какъ дѣвушка положительно умная и съ сильнымъ характеромъ, она, понявъ всю безвыходность своего положенія, съумѣла сразу переломить себя и только въ душѣ затаила непримири-

мую ненависть къ княгинѣ, съ убѣжденіемъ, рано или поздно, отмстить ей.

Она была очень хороша собою. Высокій, статный ростъ и роскошно развитыя формы, при бѣломъ, какъ кровь съ молокомъ, цвѣтѣ лица, умные и проницательные сѣрые глаза подъ сросшимися широкими бровями, каштановая густая коса и надменное, гордое выраженіе губъ дѣлали изъ нея почти красавицу и придавали ей характеръ силы, коварства и рѣшимости. На первый же взглядъ казалось, что если эта женщина поставить себѣ какую-нибудь цѣль, то какими бы то ни было путями она достигнетъ ее непремѣнно. Физіономистъ опредѣлилъ бы ее такъ: либо королева, либо преступница.

Въ описываемую эпоху ей было восьмнадцать лѣтъ.

Когда, послѣ смерти князя Якова, молодую княжну перевезли въ Петербургъ, Наташѣ приказано отнынѣ быть ея горничной и въ самое короткое время она своею вкрадчивостью успѣла пріобрѣсти ея полное довѣріе, сдѣлаться наперсницей и почти подругой княжны Анны, конечно втайнѣ отъ ея матери, а для этой послѣдней даже составляла предметъ нѣкоторой гордости. Извѣстно, что большія барыни любятъ выписывать себѣ камеристокъ изъ-за границы, преимущественно француженокъ. Когда старую княгину спрашивали, при случаѣ, откуда она добыла себѣ такую горничную, старая княгиня не безъ самодовольства отвѣчала:

— Своя собственная... изъ крѣпостныхъ, изъ деревни привезена... Зачѣмъ отыскивать людей за границей, когда и своихъ православныхъ, можно хорошо приготовить?

И вслѣдъ за этимъ не безъ нѣкоторой патріотической гордости прибавляла съ улыбкой:

— О, изъ русскаго человѣка можно все сдѣлать! русскій человѣкъ на все способенъ и на все годится!

Такимъ образомъ Наташа, никогда отнюдь не выходившая изъ строгой почтительности и покорства, съумѣла пріобрѣсти даже нѣкоторое расположеніе самой княгини.

А злоба и ненависть между тѣмъ все глубже и крѣпче залегали въ ея оскорбленномъ сердцѣ.

VII

Послѣдняя воля Княгини

Обморокъ старухи Чечевинской былъ весьма продолжителенъ и угрожалъ немалой опасностью. Наконецъ, съ помощью доктора, ее удалось привести въ чувство, хотя она тотчасъ же впала въ безпамятство. Нервы ея были страшно потрясены и болѣзнь становилась весьма серьёзна. При ней день и ночь не отлучно дежурили три женщины: старая нянька ея сына, ея горничная и Наташа, которыя по часамъ чередовались между собою. Между прислугой ходили разные темные слухи и предположенія, но никто, кромѣ Наташи, не зналъ настоящей причины этой внезапной болѣзни, а Наташа молчала и тоже притворялась ничего незнающей. Безпамятство княгини продолжалось двое сутокъ. Наконецъ, на третьи сутки въ ночь она очнулась и пришла въ себя. У ея изголовья сидѣла дежурною Наташа.

— Ты знала? строго и шопотомъ спросила ее княгиня.

Дѣвушка вздрогнула и не сообразясь съ мыслями, испуганно-недоумѣвающимъ взглядомъ глядѣла на нее. Матовый отсвѣтъ ночной лампочки неровно колебался на ея блѣдномъ, исхудаломъ обликѣ и рѣзко выдѣлялъ углы носа и скулъ изъ затѣненныхъ глазныхъ впадинъ, въ которыхъ старческіе, строгіе глаза горѣли утомленно-лихорадочнымъ блескомъ. Больная была страшна и казалась гробовымъ привидѣніемъ.

— Ты знала про дочь, я тебя спрашиваю? повторила старуха, вперяя въ Наташу глаза еще пристальнѣе, и съ усиліемъ стараясь приподняться локтями на батистовыхъ, отороченныхъ кружевами, подушкахъ.

— Знала... еще тише прошептала дѣвушка, въ смущеніи опустя глаза и стараясь оправиться отъ перваго страшливаго впечатлѣнія.

— Отчего же ты раньше не сказала мнѣ? продолжала еще строже старуха.

Наташа уже успѣла окончательно придти въ себя и потому подняла на нее невинный взоръ и съ непритворнымъ, искреннимъ чистосердечіемъ отвѣтила:

— Княжна и отъ меня скрывала все до послѣдняго дня... И развѣ смѣла я сказать вамъ?... И развѣ вы мнѣ повѣрили бы?... Это не мое дѣло, ваше сіятельство.

Больная съ саркастической улыбкой, медленно и недовѣрчиво покачала головой.

— Змѣя... прошипѣла она со злобою, глядя на горничную, и потомъ быстро прибавила:

— Люди знаютъ?

— Никто, кромѣ меня, клянусь вамъ!...

— А письмо? продолжала старуха, припоминая всѣ подробности случившагося съ нею.

— Вотъ оно. Его никто не замѣтилъ; я подняла его на полу и спрятала, сказала дѣвушка, вынимая записку.

— И ты не лжешь, это точно оно?

— Увѣряю васъ.

— Я хочу удостовѣриться... Прочти.

Наташа подошла къ лампочкѣ и прочитала записку.

— Да, это точно оно, какъ-бы про себя пробормотала старуха, тогда какъ нервная дрожь пробѣгала по всему ея тѣлу во время этого чтенія.—Сожги его... Или нѣтъ!... ты, пожалуй, обманешь... Подай сюда лампу—я сама сожгу.

И она дрожащею, костлявою рукою стала держать скомканную бумажку надъ колпачкомъ лампы, и жадными взорами слѣдила, какъ бумажка коробилась и тлѣла на медленномъ огнѣ.

— Къ кому она ушла? гдѣ она теперь? снова начала допытывать старуха, когда письмо истлѣло уже совершенно, и допрашивала такъ строго и такъ настоятельно, глядя въ упоръ такимъ страшнымъ взглядомъ, что не сказать правду даже и для Наташи было невозможно.

— У акушерки, въ Свѣчномъ переулкѣ, отвѣтила она, находясь подъ неотразимымъ, магнетическимъ вліяніемъ этого старческаго, пронзающаго взгляда.

— Дай мнѣ перо и бумагу, да придерживай пюпитръ... я писать хочу.

И княгиня, едва удерживая въ рукахъ перо и поминутно изнемогая отъ слабости, написала слѣдующую записку:

«Можете не возвращаться въ мой домъ и не называться княжной Чечевинской. У васъ нѣтъ болѣе матери. Проклинаю!»

Далѣе она не имѣла уже силъ продолжать, перо вывалилось изъ ея руки и, совершенно изнеможенная, она опустилась на подушки, прошептавъ едва слышно:

— Напиши адресъ и отправь... сама отправь... утромъ...

— Я лучше снесу, возразила Наташа.

— Не смѣть... Чтобы и видѣть ее не смѣла ты больше и не поминать мнѣ объ ней!...

И съ этими словами старуха, изнеможенная волненіемъ, впала въ прежнее забытье.

Порученіе ея въ точности было исполнено Наташей, которая, однако, несмотря на запрещеніе, все-таки забѣжала, пользуясь свободными часами, въ сѣренькій домикъ съ вывѣской «Hebamme».

Къ полудню княгиня опять очнулась, приказала позвать сына, который, къ счастію, на этотъ разъ находился дома, и послала за управляющимъ своими дѣлами.

Любящій сынъ тихо и почтительно вошелъ въ комнату матери.

Княгиня выслала вонъ дежурную горничную и осталась съ нимъ наединѣ.

— У тебя нѣтъ болѣе сестры, обратилась къ нему мать, съ тою нервическою дрожью, которая возвращалась къ ней каждый разъ, при воспоминаніи о дочери.—Она для насъ умерла... она опозорила насъ... я ее прокляла... Ты—мой единственный наслѣдникъ...

При этихъ послѣднихъ словахъ молодой князекъ чутко навострилъ уши и еще почтительнѣе нагнулся къ матери. Извѣщеніе объ этомъ единонаслѣдіи столь пріятно и неожиданно поразило его, что онъ даже и не поинтересовался узнать, чѣмъ и какъ опозорила ихъ сестра, и только съ сокрушеннымъ вздохомъ замѣтилъ, подделываясь въ ладъ матери:

— Она, maman, всегда была непочтительна къ вамъ. Она никогда не любила васъ.

— Я дѣлаю завѣщаніе въ твою пользу, продолжала княгиня, сообщивъ ему, по возможности кратче, обстоятельства княжны.

— Да, въ твою пользу—только съ однимъ условіемъ... Чтобы ты никогда не зналъ своей сестры... Это—моя послѣдняя воля.

— Ваше воля для меня священна, заключилъ сынокъ, нѣжно цалуя ея руки.

Управляющій въ тотъ же день формальнымъ порядкомъ поторопился составить духовную, княгиня подписала ее, и такимъ образомъ послѣдняя воля ея была исполнена къ вящему удовольствію князька, который, въ глубинѣ своей нѣжной, сыновней души, сладко помышлялъ только о томъ, скоро ли матушка протянетъ ноги и тѣмъ дастъ ему возможность, что́ называется, «протереть глаза» ея банковымъ билетамъ и поставить, при случаѣ, *на не* родовыя помѣстья?

VIII

Литографскій ученикъ

Въ тотъ же самый день, въ маленькой, узенькой кануркѣ одного изъ огромныхъ и грязныхъ домовъ на Вознесенскомъ проспектѣ, сидѣлъ рыжеватый молодой человѣкъ. Сидѣлъ онъ у стола, понадвинувшись всѣмъ корпусомъ къ единственному тусклому окну и съ напряженнымъ вниманіемъ разглядывалъ «бѣленькую» двадцатипятирублевую бумажку.

Комнатка эта, отдававшаяся отъ жильцовъ, кромѣ пыли и копоти, не отличалась никакимъ комфортомъ. Два убогіе стула, провалившійся волосяной диванъ съ брошенной на него засаленной подушкой, да простой столъ у окна — составляли все ея убранство. Нѣсколько разбросанныхъ литографій, двѣ-три гравюры, два литографскіе камня на столѣ и гравёрскія принадлежности достаточно объясняли спеціальность хозяина этой конурки. А хозяиномъ ея былъ рыжеватый молодой человѣкъ, по имени Казиміръ Бодлевскій, по званію польскій шляхтичъ. На стѣнѣ, надъ диваномъ, между висѣвшими халатомъ и сюртукомъ, выглядывалъ рисованный карандашомъ портретъ молодой дѣвушки, личность которой уже знакома читателю: это былъ портретъ Наташи.

Молодой человѣкъ такъ долго и съ такимъ сосредоточеннымъ вниманіемъ былъ углубленъ въ разсматриваніе ассигнаціи, что когда

раздался легкій стукъ въ его дверь, онъ испуганно вздрогнулъ, словно очнувшись отъ забытья, даже поблѣднѣлъ немного и поспѣшно сунулъ въ карманъ двадцати-пятирублевую бумажку.

Стукъ повторился еще—и на этотъ разъ лицо Бодлевскаго просіяло. Очевидно, это былъ знакомый и обычно-условный ударъ въ его дверь, потому что онъ съ привѣтливою улыбкой отомкнулъ задвижку.

Въ комнату вошла Наташа.

— Что ты тутъ мѣшкалъ, не отпиралъ-то мнѣ? ласково спросила она, скинувъ шляпу съ бурнусомъ и садясь на провалившійся диванъ:—занимался, что̀ ли, чѣмъ?

— Извѣстно, чѣмъ!

И вмѣсто дальнѣйшихъ объясненій, онъ вынулъ изъ кармана бумажку и показалъ Наташѣ.

— Нынче утромъ разсчетъ отъ хозяина за работу получилъ, да вотъ и держу при себѣ, продолжалъ онъ тихимъ голосомъ и снова защелкивая задвижку: — ни за квартиру, ни въ лавочку не плачу, а все сижу да изучаю.

— Нéчего сказать, сто̀итъ, съ презрительной гримаской улыбнулась Наташа.

— А то̀, по твоему, не сто̀итъ? возразилъ молодой человѣкъ:— погоди, научусь—богаты будемъ.

— Будемъ, коли въ Сибирь не уйдемъ! шутливо подтвердила дѣвушка.—Это что̀ за богатство! продолжала она: — игра свѣчъ не сто̀итъ. Я вотъ—раньше тебя буду богата.

— Ну да, толкуй!

— Чего толкуй? Я къ тебѣ не съ пустяками, а съ дѣломъ нынче пришла... Ты вотъ помоги-ка мнѣ, такъ—честное слово—въ барышахъ будемъ!

Бодлевскій съ недоумѣніемъ смотрѣлъ на свою подругу.

— Я вѣдь тебѣ говорила, что съ моей княжной скандалъ случился... Мать ужь и отъ наслѣдства сегодня утромъ отрѣшила ее, разсказала съ злорадной улыбкой Наташа:—а я нынче у нея въ комнатѣ порылась въ ящикахъ, да кое-какія бумажонки съ собою захватила.

— Какія бумажонки?

— А такъ—письма да записки разныя... Всѣ до одной рукою княжны писаны. Хочешь, я тебѣ ихъ подарю? шутила Наташа.— А ты поразгляди-ко ихъ хорошенько, попристальнѣй; изучи ея почеркъ, да такъ, чтобы каждая буковка была похожа. Тебѣ это дѣло знакомое: копировщикъ ты отличный—значитъ, и задача какъ разъ по мастеру.

Гравёръ слушалъ и только пожималъ плечами.

— Нѣтъ, шутки въ сторону! серьёзно продолжала она, усѣвшись поближе къ Бодлевскому.—Я задумала не простую вещь: будешь благодаренъ! Объяснять всего теперь некогда—узнаешь послѣ... Главное—ты получше изучи почеркъ.

— Да зачѣмъ же все это? недоумѣвалъ Бодлевскій.

— Затѣмъ, что ты долженъ написать нѣсколько словъ, но написать подъ руку княжны такъ, чтобъ почеркъ похожъ былъ... А что́ именно нужно писать, это я тебѣ сейчасъ же продиктую.

— Ну, а потомъ?

— Потомъ поторопись достать мнѣ какой-нибудь видъ или паспортъ, подъ чужимъ именемъ и свой держи наготовѣ. Да руку-то изучи поскорѣе. Отъ этого все зависитъ!

— Трудно. Едва-ли съумѣю... процѣдилъ сквозь зубы Бодлевскій, почесавъ у себя за ухомъ.

Наташа вспыхнула.

— А любить меня умѣешь? энергично возразила она, вскинувъ на него сверкавшіе досадой глаза. — Ты говоришь, что любишь, такъ сдѣлай, если не лжешь! Бумажки же учишься дѣлать?

Молодой человѣкъ, въ раздумьѣ, зашагалъ по своей конурѣ.

— А ка́къ скоро надо, спросилъ онъ, послѣ минутнаго размышленія: — дня этакъ черезъ два, что́ ли?

— Да, не позже какъ черезъ два дня, или все дѣло пропало! рѣшительнымъ и увѣреннымъ тономъ подтвердила дѣвушка. — Черезъ два дня я приду за запиской и паспортъ чтобъ былъ уже готовъ мнѣ.

— Хорошо, будетъ сдѣлано! согласился Бодлевскій.

И Наташа стала диктовать ему содержаніе записки.

Тотчасъ же по ея уходѣ, гравёръ принялся за работу.

Весь остальной день и всю ночь напролетъ прокорпѣлъ онъ надъ принесенными ею листками, вглядывался въ характеръ почерка, свѣрялъ буква съ буквою, слово съ словомъ, и надъ каждымъ штрихомъ практиковался самымъ настойчивымъ образомъ, копируя и повторяя его чуть ли не по сту разъ, пока наконецъ, достигалъ желаемой чистоты; онъ перемаралъ нѣсколько листовъ бумаги и самымъ упорнымъ, что называется, микроскопическимъ трудомъ одолѣвалъ каждую букву. Онъ достигъ уже того, что измѣнилъ свой почеркъ; оставалось еще придать ему непринужденную легкость и естественность. Отъ натуги кровь бросилась ему въ голову, въ ушахъ звенѣло и въ глазахъ давно уже рябили зеленыя мушки — а онъ все еще, не разгибая спины, продолжалъ работать...

Наконецъ, уже утромъ записка была кончена и подъ нею подписано имя княжны. Исполненіе отличалось истиннымъ мастерствомъ и превзошло даже собственныя ожиданія Бодлевскаго. Легкость и чистота отдѣлки были изумительны. Гравёръ, взглянувъ на почеркъ княжны, сличилъ его съ своею работою и самъ удивился — до какой степени поразительно было сходство.

И долго послѣ этого любовался онъ на свое произведеніе, съ тѣмъ отраднымъ, отеческимъ чувствомъ, которое такъ знакомо каждому творцу-художнику, и лишь здѣсь-то, надъ этой записочкой, впервые съ гордостью созналъ въ себѣ истиннаго артиста.

XI

Ирка

— Половина дѣла сдѣлано! рѣшилъ онъ самъ съ собою, вскочивъ съ провалившагося дивана, послѣ нервно-безпокойнаго часового полусна.

— Ну, а паспортъ? Вотъ тебѣ и осѣчка! огадачился гравёръ, вспомнивъ вторую часть непремѣннаго порученія Наташи. — Паспортъ... Да... осѣчка... долго бормоталъ онъ въ раздумьѣ, опустивъ голову и уперевъ худощавыя руки въ угловатыя колѣна свои. Наконецъ, перебирая въ умѣ разное возможное и невозмож-

ное, подходящее и неподходящее, набрелъ онъ, случайно, на воспоминаніе объ одномъ землякѣ, сапожномъ подмастерьѣ Юзичѣ, который, по собственному откровенному сознанію въ хмѣльную минуту— «больше чувствуетъ охоты къ швецамъ-рукодѣльникамъ и къ портняжному искусству, чѣмъ къ сапожному ремеслу» [1]). Малый,

---

[1]) У воровъ и мошенниковъ существуетъ своего рода условный языкъ (argot), извѣстный подъ именемъ «музыки» или «байковаго языка». Этотъ языкъ, между прочимъ, представляетъ много интереса и въ филологическомъ отношеніи. Въ немъ, кромѣ необыкновенной образности и лаконической сжатости, отличительныхъ качествъ его, замѣтенъ сильный наплывъ словъ, звучащихъ очевидно неславянскими звуками. Не говоря уже о звукахъ отчасти польскихъ, отчасти малорусскихъ, вы весьма часто слышите въ *музыкѣ* слова вполнѣ восточнаго происхожденія, иногда попадаются намеки на корни романскіе и нѣмецкіе, хотя и не такъ часто, какъ татарскіе, финскіе или цыганскіе. Это смѣшеніе объясняется самымъ составомъ мошенническаго сословія, служащаго широкимъ стокомъ для всѣхъ національностей. Характеръ московскаго argot уже нѣсколько разнится отъ петербургскаго: въ немъ менѣе, и даже совсѣмъ почти нѣтъ звуковъ нерусскихъ и только одни татарскіе допускаются въ него, и это точно такъ же зависитъ оттого, что составъ *жульническихъ (мазурническихъ)* обществъ въ Москвѣ болѣе петербургскаго носитъ на себѣ характеръ почвенный, россійскій. Москва какъ будто вездѣ и во всемъ старается проводить свои собственныя, славяно-московскія тенденціи. Впослѣдствіи, при выходѣ въ свѣтъ всего романа, авторъ намѣренъ сдѣлать болѣе подробное изслѣдованіе о байковомъ языкѣ съ приложеніемъ словаря. Читателю неоднократно еще встрѣтится эта *музыка*, которая иногда потребуетъ не одного только перевода байковыхъ словъ на русскій языкъ, но разъясненія историческаго, либо даже филоологическаго смысла заключающаго въ нихъ. Примѣръ—чтобы не ходить за нимъ далеко—заключается въ тѣхъ самыхъ выраженіяхъ, по поводу которыхъ сдѣлана настоящая выноска. *Швецъ* на бѣлорусскомъ и малорусскомъ нарѣчіи значитъ—портной. Это еще ровно ничего не объясняетъ читателю. Швецовымъ или портняжнымъ искуствомъ называются на байковомъ языкѣ цѣлая отрасль воровскаго промысла. Воры и мошенники дѣлятся на категоріи и градаціи, смотря по характеру своего промысла, какъ, напримѣръ: карманники, комнатные или домашніе, паркетники, уличники, скамьевщики (конокрады), ночники—это ихъ общее раздѣленіе; за нимъ слѣдуетъ дѣленіе болѣе частное: швецы (по части платья), скорняки (по части мѣховъ), ювелиры (золотыя вещи), финажники, сорники или бабочники (ворующіе чистыя деньги). Нельзя сказать, чтобы воры поименованныхъ категорій строго держались каждый своей спеціальности. Въ общемъ характерѣ своемъ они безъ исключенія слѣдуютъ правилу «не клади плохо», воруя все, что попало подруку, и такимъ образомъ швецъ весьма легко можетъ забраться въ область финажника, ювелиръ—въ область скорняка или скамьевщика и т. д. Но каждый изъ нихъ—по душевному ли расположенію, или по сноровкѣ и умѣнію—какую-нибудь отрасль предпочитаетъ, чувствуетъ

значитъ, отчасти, подходящій, и въ задуманномъ дѣлѣ какія нибудь лазейки указать можетъ. Онъ, ужь съ годъ назадъ, былъ прогнанъ отъ «честнаго сапожнаго нѣмца Окерблюма» за пьянство съ буйствомъ и безобразіемъ, да за то еще, что сосѣднему цѣловальнику стали ужь больно часто «приходиться по нраву» окерблюмовскія голенища, подошвы и прочій выростковый и опойковый товаръ. Съ тѣхъ самыхъ поръ Юзичъ рѣшилъ, что не слѣдуетъ заниматься такимъ неблагодарнымъ ремесломъ, за которое хозяева выгоняютъ въ шею, да еще воромъ обзываютъ всеартельно, а лучше-де призаняться искуствомъ свободнымъ — хотя бы на первый случай *карманнымъ*, а тамъ *швецовымъ* или *скорняжнымъ*, а затѣмъ, при дальнѣйшемъ развитіи, можно и въ *ювелиры* на чистоту записаться [1]). И сталъ онъ, рабъ божій, вольною птицею лыжи свои направливать съ площади на улицу, съ улицы въ переулокъ, изъ трактира въ кабакъ, изъ кабака въ «заведеніе», и все больше *задними невоскресными ходами* [2]) норовилъ, съ тѣхъ темныхъ, незамѣтныхъ лѣсенокъ, по которымъ спускается и подымается *секретъ*, то-есть свои, темные людишки, кои не сѣютъ не жнутъ, и пожинаемое цѣловальникамъ да барышникамъ-перекупщикамъ сбываютъ. Полюбился ему какъ-то особенно душевнымъ образомъ нѣкій пріютъ, въ просторѣчіи неофиціально *Ершами* называемый; тамъ онъ и резиденцію свою основалъ, и незамѣтнымъ образомъ присталъ къ *ершовскому хороводику* [3]). Любили ер-

---

къ ней болѣе симпатіи и такимъ образомъ зачисляетъ себя въ ювелиры, или въ швецы, стараясь, конечно, болѣе оріентироваться въ избранной имъ спеціальности.

[1]) «Ходить на чистоту по музыкѣ»—выраженіе, означающее искуство de la haute école. «Ходить по музыкѣ», значитъ, просто воровать; но «на чистоту» заставляетъ подразумѣвать въ себѣ ловкость, проворство пріемовъ и опытность.

[2]) Каждое заведеніе, будетъ ли то трактиръ или питейный домъ, имѣетъ непремѣнно два входа: одинъ съ улицы, наружный, показной, надъ которымъ, по обычаю, красуется вывѣска; другой—черный, непремѣнно со двора, старается (особенно въ кабакахъ) замаскироваться какимъ-нибудь хламомъ, въ родѣ порожнихъ пивныхъ ящиковъ, дровъ, или чего нибудь подобнаго. Мазурики эти послѣдніе ходы называютъ «*невоскресными*», то-есть непраздничными, непарадными.

[3]) Въ Петербургѣ мошенники не составляютъ такой обширной и такъ правильно организованной общины, каковою является лондонская «Семья», если въ-

шовцы посѣщать александринскій театръ — благо не очень далеко отъ *Ершей* онъ находится — и Юзичъ вмѣстѣ съ ними театраломъ сдѣлался. Ершовцы же въ александринскомъ театрѣ не столько искуствомъ артистовъ плѣнялись, сколько рыболовному промыслу себя посвящали — «удили *камбалы* и *двухглазымъ* спуску не давали» [1]).

Вотъ про этого-то самаго Юзича, земляка и сотоварища по первой школѣ, и вспомнилъ такъ упорно задумавшійся Бодлевскій. Вспомнилъ, что мѣсяца три назадъ встрѣтилъ онъ Юзича на улицѣ, зашелъ съ нимъ въ первый же трактиръ и тамъ, за бутылкою пива, которымъ великодушно угостилъ его Юзичъ, разговорился съ нимъ по душѣ о превратностяхъ судебъ вообще и своихъ незавидныхъ обстоятельствахъ въ особенности. Совѣта Юзича на счетъ *хороводика* Бодлевскій не принялъ, ибо намѣревался посвятить себя искуству самой высшей школы — превращать чистыя бумажки въ кредитные билеты государственнаго банка. Юзичъ, между прочимъ, радушно пожимая руку на прощаньѣ, сказалъ своему товарищу:

А если я тебѣ, другъ любезный, на что нибудь понадоблюсь, или просто повидаться захочешь, такъ приходи въ Разъѣзжую ули-

---

рить автору «Лондонскихъ тайнъ», А. Троллопу. У насъ они либо живутъ и промышляютъ въ отдѣльности, каждый самъ по себѣ, независимо отъ прочихъ, либо составляютъ ассоціаціи, шайки, число членовъ которыхъ можетъ быть различно: отъ трехъ или пяти до шестидесяти и болѣе. Каждая такая ассоціація непремѣнно сгруппируется въ какомъ-нибудь кабакѣ или трактирѣ, куда стекается въ сборъ для обсужденія и совѣщанія по своимъ дѣламъ, и для кутежа послѣ работы. Такія шайки, какъ подмѣтилъ авторъ, называются «хороводами», которые они въ большинствѣ случаевъ окрещиваютъ прилагательнымъ названіемъ по имени своего трактира, какъ, напримѣръ, *ершовскій* хороводъ, *пекинскій*, *малиновскій* и проч. Члены такой ассоціаціи подчиняются уже извѣстнымъ законамъ относительно дѣлежа и нѣкоторыхъ обязанностей своихъ къ товарищамъ, что читатель увидитъ впослѣдствіи.

[1]) *Камбала*—лорнетъ, *двухглазая*—бинокль. У нѣкоторыхъ воровъ, отправляющихся по вечерамъ въ театръ, съ спеціальною цѣлью—воровать бинокли и лорнеты, промыселъ этотъ называется «рыболовнымъ»; причиною этого эпитета, конечно, послужила *камбала*. Впрочемъ, можно предположить, что названіе *рыболовный промыселъ* не есть общепринятое и усвоенное въ музыкѣ. Авторъ, по крайней мѣрѣ, слышалъ его только разъ и то совершенно случайно— и на этомъ основываетъ свое послѣднее предположеніе.

цу, спроси тамъ заведеніе «Ерши», а въ «Ершахъ» Юзича — тамъ тебѣ и покажутъ. Я, братъ, тамъ *завсегдатаемъ* [1]). А ежели буфетчикъ притворяться станетъ, что не знаетъ такого имени, наставительно прибавилъ Юзичъ: — такъ ты только шепни ему, что «секретъ», молъ, прислалъ — тотчасъ тебя и допустятъ.

Все это очень ясно и очень подробно припомнилъ Бодлевскій въ эту затруднительную для него минуту, припомнилъ и воспрянулъ просвѣтленнымъ духомъ своимъ. Надежда на скорое и удачное исполненіе второй части наташинаго порученія начала блистать передъ нимъ яркими лучами. Улыбаясь, сталъ онъ одѣваться, улыбаясь сбѣжалъ съ лѣстницы, и улыбаясь же, фертомъ пошелъ по улицѣ, направляясь къ Загородному проспекту, въ который у Пяти-Угловъ впадаетъ Разъѣзжая улица.

Продолженіемъ Разъѣзжей улицы служитъ Чернышевъ переулокъ. Поэтому и та и другой—не что иное, какъ одна и та же артерія, соединяющая два такіе пункта, какъ Толкучка, съ одной стороны, и съ другой—Глазовъ кабакъ, находящійся на Лиговкѣ, по Разъѣзжей же улицѣ, въ тѣхъ первобытныхъ странахъ, извѣстныхъ подъ именемъ Ямской, гдѣ обитаетъ преимущественно староверческая, раскольничья и скопческая часть петербургскаго населенія. Туда же тянется и татарская.

Странное, въ самомъ дѣлѣ, явленіе представляютъ осадки петербургской осѣдлости. Въ Мѣщанскихъ, на Вознесенскомъ и въ Гороховой сгруппировался преимущественно ремесленный, цеховой слой съ сильно преобладающимъ нѣмецкимъ элементомъ. Близь Обухова моста и въ мѣстахъ у церкви Вознесенья, особенно на канавѣ, и въ Подьяческихъ, лѣпится населеніе еврейское — тутъ вы на каждомъ почти шагу встрѣчаете пронырливо-озабоченныя физіономіи и длиннополыя пальто съ камлотовыми шинелями дѣтей Израиля. Васильевскій Островъ—это своего рода status in statu—отличается совсѣмъ особенной, пустынно-чистоплотной внѣшностью съ негоціантски-коммерческимъ и какъ-бы англійскимъ характеромъ. Окраины городского центра, какъ, напримѣръ, Англійская, Дворцовая и Га-

---

[1]) *Завсегдатай*—постоянный, обычный посѣтитель, habitué.

гаринская набережныя, и съ другой стороны Сергіевская, и параллельно съ нею идущія широкія улицы представляютъ царство различныхъ палаццо, въ которыхъ засѣлъ отсадокъ аристократическій и вѣчно-лѣпящійся къ нему, какъ паразитное растеніе, элементъ quasi-аристократическій или откупной. Впрочемъ, та часть этого послѣдняго разряда, которая резюмируется Сергіевской улицей, кромѣ аристократическаго, имѣетъ еще характеръ отчасти военный и именно учено-военный съ артиллерійскимъ оттѣнкомъ. Но все то, что носитъ на себѣ характеръ почвенный, великороссійскій — все это осѣло въ юго-восточной окраинѣ города, все это какъ-то невольно тянетъ къ Москвѣ и даже, по преимуществу, сгруппировалось въ части, которая и названіе-то носитъ *Московской*.

Загородный проспектъ и особенно Разъѣзжая улица съ Чернышовымъ переулкомъ являются самыми живыми, самыми сильными и дѣятельными артеріями этой послѣдней части.

Мы уже сказали, что Разъѣзжая съ Чернышовымъ соединяютъ два такіе пункта, какъ Толкучка и Глазовъ кабакъ. Поэтому они вѣчно кишатъ снующимъ взадъ и впередъ народомъ. Но это не народъ Невскаго проспекта—«чистой публики» вы здѣсь не встрѣтите. Изящный экипажъ и модный джентльменъ, или изящно-одѣтая дама составляютъ здѣсь рѣдкое исключеніе (мы не говоримъ о Загородномъ проспектѣ). Публика Чернышова и Разъѣзжей, въ общей массѣ своей, носитъ сѣроватый характеръ съ примѣсью громкаго, крѣпкаго говора и запаха пироговъ, продающихся на лоткахъ подъ тряпицею. Тутъ все народъ, заботящійся о черствыхъ повседневныхъ нуждахъ, о работишкѣ, да кускѣ насущнаго хлѣба.

На всемъ пространствѣ этихъ двухъ улицъ, отъ Толкучки до Глазова, вы встрѣтите отчасти странныя личности, то въ чуйкахъ, то въ халуйскихъ пальтишкахъ, то отставныхъ солдатъ съ ворохомъ разнаго стараго платья, перекинутаго на руку. Эти странныя личности, съ пытливымъ, бойкимъ и бѣгло-безпокойнымъ, какъ-бы вѣчно-ищущимъ, взглядомъ называются «маклаками» или «барышниками-перекупщиками». Мѣсто дѣйствія ихъ не одинъ Чернышовъ да Разъѣзжая.—Щербаковъ переулокъ, дворъ мѣщанской гильдіи, Садовая, лѣстницы средней и низшей руки трактировъ и площадки театровъ, во время спектаклей—служатъ имъ постоянною ареною дѣятельно-

сти. На театральныхъ площадкахъ, гдѣ нѣсколько маклаковъ стараются перебить другъ другу товаръ, дѣло иногда доходитъ до такой запальчивости, что они, подхватывая выносимую имъ добычу, вырываютъ ее другъ у друга изъ рукъ, ломаютъ часы и театральныя трубки и рвутъ платки пополамъ. Дѣло зачастую доходитъ до драки, а въ накладѣ остается все-таки—мазурикъ, у котораго вырвали и перепортили добытую имъ вещь. Маклаки постоянно находятся въ тѣсныхъ и непосредственныхъ сношеніяхъ съ тѣмъ теплымъ людомъ. къ которому принадлежалъ Юзичъ, и эксплуатируютъ этотъ людъ самымъ безчеловѣчнымъ образомъ. У тѣхъ и у другихъ очень много общаго и между прочимъ этотъ взглядъ, по которому вы очень легко можете признать маклака и мазурика. Таковой характеръ взгляда выработывается жизнью и промысломъ, которые ежедневно подвержены столькимъ превратностямъ всяческихъ случайностей.

Если вы — прохожій и несете что-нибудь въ рукахъ — маклакъ тотчасъ же оглядитъ васъ своимъ пытливымъ взглядомъ—нѣтъ ли у него «подходящаго»? и тихо, но внятно спроситъ: «продаете, что́-ль?»

Если идетъ пріѣзжій мужичонко, купившій для себѣ на Толкучкѣ порты, маклакъ непремѣнно предложитъ ему смѣняться. Мужичонко часто не прочь отъ такого рода операціи. Маклакъ беретъ его порты, разглядываетъ ихъ на свѣтъ и такъ и эдакъ, выворачиваетъ на изнанку, растягиваетъ матерію, третъ ее и щупаетъ между пальцами. Это называется «крѣпость ошмалашить». А мужичонко все время съ пытливымъ недоумѣніемъ тупо смотритъ на всѣ эти продѣлки, послѣ которыхъ маклакъ въ озабоченномъ раздумьѣ, перебрасывая совсѣмъ новенькій, крѣпкіе и хорошіе порты съ ладони на ладонь, словно бы измѣривая вѣсъ ихъ, съ страдательной рожею цмокаетъ языкомъ и цѣдитъ сквозь зуды:

— Эхъ!... жаль, паря!

— Чего жаль? тупо вопрошаетъ, съ испуганнымъ лицомъ, ничего непонимающій мужичонко.

— «Чево!»... Извѣстно, чево!—тебя жаль! Что́ далъ за порты?

— Сорокъ копеекъ на серебро выходитъ...

— Сорокъ на серебро?!... ну, братъ, дрянь твое дѣло! Надули,

совсѣмъ надули! Экой народъ шельмовскій въ Питерѣ живетъ!... Вотъ, гляди самъ—пестрядь-то какъ есть гнилье выходитъ.

— Да гдѣ же гнилье?

— «Гдѣ!»... все-то тебѣ *гдѣ!*... Значитъ, я чувствую! — подъ пальцами некрѣпко шуршитъ—вотъ те гнилье-то гдѣ!

— Эко горе какое! грустно-досадливо произноситъ мужичонко, совсѣмъ увѣровавши въ силу приведеннаго аргумента, и ударивъ руками объ пóлы зипунишка.

— Что за горе! горю, милый человѣкъ, помочь можно, утѣшаетъ маклакъ, успѣвшій своими ловкими пріемами сразу огорошить простоватаго мужичонку.—Давай, чтó ли, мѣняться! Вотъ тебѣ порты, такъ ужь порты! какъ есть въ самомъ разѣ настоящее дѣло! Одно слово—красота!... Пощупай-ко?

— Да что... я, вѣдь, не тово... возражаетъ мужичонко.

— Нѣтъ, ты, братъ, пощупай! ты разницу, значитъ, почувствуй—потому я на чистоту, изъ одной только жалости выходитъ.

Мужичонко щупаетъ, ровно ничего не понимая.

— Ну, видишь самъ теперь! Мозги, чай, есть въ головѣ! спѣшитъ убѣдить его перекупщикъ. — Давай, что ли, порты, да въ придачу двугривенникъ мѣноваго—и дѣло съ концомъ! По рукамъ, чтó ли! заключаетъ онъ, ловя мужичонкину руку и норовя хлопнуть по ней ладонью.

— Да какъ же это?... еще двугривенникъ?

— Вотъ-тъ Христосъ — свою цѣну беру! съ мѣста не сойдти! лопни глаза мои!... Я вѣдь съ тобой по божескому — поди, чай вѣдь тоже хрещеные и хрестъ, значитъ, носимъ — занапрасну божиться не стану. А беру свою цѣну изъ жалости значитъ, потому, шельмы—хорошаго человѣка надули! Да и порты же, прахъ ихъ дери! лихіе порты вѣдь!—износу не будетъ!

Мужичонко раскошеливается и лѣзетъ за двугривеннымъ. Маклакъ пронзительно устремляетъ взоръ свой въ глубину его замшевой машонки, и чуть замѣтитъ тамъ относительное обиліе *бабокъ* [1])—какъ оно тамъ, значитъ, *финалы* [2]) шуршатъ, либо *цари-колесе-*

---

[1]) *Бабка* или *сора*—деньги вообще, какого рода или вида онѣ ни были.

[2]) *Финалы*—бумажки, ассигнаціи. Нѣкоторые произносятъ *финаги*, вмѣсто *финалы*.

ки [1]) маломальски вертятся, позвякиваютъ—тотчасъ же дружески хлопаетъ онъ мужичонку по плечу и говоритъ ему необыкновенно мягко и задушевно:

— Милый человѣкъ! Чтó мнѣ съ тебя деньги брать!... Я, значитъ, по душѣ... Лучше пойдемка вотъ—раздавимъ косушечку помалости, али пивка пару слакáемъ. Чѣмъ мнѣ деньги съ тебя въ придачу брать, такъ мы лучше на мѣсто того магарычъ разопьемъ. Идетъ, что ли?

— Ладно! соглашается мужичонко, который отъ косушки никогда не прочь, а самъ думаетъ себѣ «экаго человѣка честнаго да хорошаго Господь-то послалъ мнѣ — совсѣмъ бы пропащее дѣло, кабы не онъ выручилъ».

И ведетъ маклакъ мужичонку такъ-таки прямо въ «Ерши». Съ буфетчикомъ у нихъ давно уже *печки-лавочки—дѣло заручоное*—свои люди—только глазомъ мигнетъ, такъ у того ужь и *смекалка соотвѣтствуетъ:* несетъ онъ имъ графинъ, мужичонку «почтеннымъ» величаетъ и рѣчь свою съ нимъ *«на вы* по чистотѣ столичной, по политикѣ держитъ». Мужичонко съ нѣсколькихъ стаканчиковъ, гляди, раскочевряжится, видя такое почтеніе отъ питерскихъ къ своей сиволапой особѣ. Напоитъ его маклакъ до забвенія, заведетъ его съ половымъ въ *квартиру* [2]) и облущитъ тамъ дочиста, даже и порты въ обратную придачу возьметъ, да потомъ и вытолкаютъ мужичонку на вольный воздухъ прохлаждаться; а сами примутся межъ тѣмъ «сламъ растырбанивать», то-есть дѣлить на законныя доли благопріобрѣтенную добычу.

Къ такому-то милому мѣсту направлялся Казиміръ Бодлевскій.

Дойдя до Пяти-Угловъ, онъ остановился въ раздумьѣ, окинувъ глазами окрестную мѣстность, и къ счастію, увидѣлъ будочника, который, опершись на алебарду, сонливо позѣвывалъ, прислонясь къ стѣнѣ спиною, поотдаль отъ размалеванной черными и бѣлыми полосами будки. Сей градской стражъ представился теперь Бодлевскому чѣмъ-то въ родѣ путеводнаго столпа въ пустынѣ, и потому онъ прямо направился къ нему съ вопросомъ:

---

[1]) *Колесо-царь* — рубль серебряный, *цари-колесики* — серебряныя деньги.

[2]) Такъ называется одна комната, съ которою читатель познакомится нѣсколько ниже.

— А гдѣ тутъ заведеніе «Ерши»?

Будочникъ недовѣрчиво и съ проницательной подозрительностью посмотрѣлъ на Бодлевскаго.

— Какое заведеніе? неторопливо переспросилъ онъ

— «Ерши».

— «Ерши»? Нѣтъ такого! недовѣрчиво отвѣтилъ онъ Бодлевскому, продолжая вглядываться въ него своими сонными глазами и какъ-бы соображая: «какого, молъ, полета можетъ быть эта птица?»

— Да какъ же это нѣтъ? съ безпокойствомъ заговорилъ Бодлевскій, котораго сталъ покидать свѣтлый лучъ надежды.—Какъ же, братецъ мой, нѣтъ, когда мнѣ за вѣрное сказали, что есть?

— А кто сказалъ-то? отнесся къ нему недовѣрчивый стражъ.

— Пріятель одинъ сказалъ...

Будочникъ ухмыльнулся, и хотя все еще не совсѣмъ-то довѣрчиво, но перемѣнилъ свой офиціальный тонъ на болѣе фамильярный и безцеремонный.

— А зачѣмъ-те «Ерши-то»? спросилъ онъ.

— Надо... по своему дѣлу... Пріятеля тамъ сыскать надо...

— Ишь ты!... пріятеля... продолжалъ стражъ, все съ тою же ухмыляющейся харей, но уже безъ оттѣнка сомнѣнія и недовѣрчивости.

— Ну, такъ что же, служивый? скажи, братъ, пожалуйста! Мнѣ некогда...

— Ишь ты, какой скороспѣлый!... А ты дай на уху, такъ скажу, гдѣ ерши водятся.

Бодлевскій полѣзъ къ себѣ въ карманы отыскивать какую-нибудь мелочь.

— Что? аль свищетъ? съ издѣвкой поддразнилъ его будочникъ: но тотъ, къ счастію своему, отыскалъ въ жилетѣ гривну мѣди и сунулъ въ секретно протянутую руку градского стража, который тотчасъ же поспѣшно опустилъ его по шву, какъ будто ни въ чемъ не бывало, и дружелюбно указалъ ему дорогу:

— Ступай вонъ наперекоски... Второй домъ отъ угла... Вишь, деревянный-то домишко — вотъ-те и будутъ «Ерши».

Бодлевскій перешолъ улицу, въ указанномъ ему направленіи, и очутился передъ входною дверью деревяннаго домишки. Надъ этою

дверью коротала свой старческій вѣкъ полинялая отъ времени вывѣска, гдѣ былъ изображенъ чайникъ, бильярдъ и рыба какая-то, а надписано просто: «растерація». Надпись же «Ерши», которую Бодлевскій ожидалъ встрѣтить на вывѣскѣ, онъ, къ удивленію своему, не нашелъ. Въ то время граверскій ученикъ еще не зналъ, что названіе это усвоено «растераціею» не офиціально, а придано ей гласомъ народа. Генеалогію свою неофиціальное названіе это ведетъ, по сказанію однихъ, отъ той причины, что «растерація» нѣкоторое время славилась своею дешевою и отмѣнною ухою изъ ершей, которыхъ она, будто бы, даже поджаривала какимъ-то особеннымъ образомъ; по сказанію другихъ — названіе *Ерши* имѣетъ смыслъ метафорическій, происходящій оттого, что ершовскіе habitués или *завсегдатаи* больно ужь были щетинисты и на языкъ и на кулаки, съ тѣми, кого они въ особой потаенной комнатѣ, извѣстной у нихъ подъ именемъ «квартиры», лущили въ карты и кто вздумывалъ протестовать противу этого очевиднаго лущенья. Во время оно секретная картёжная игра весьма сильно процвѣтала въ семъ достолюбезномъ заведеніи.

Домишко этотъ существуетъ еще до сихъ поръ. Въ немъ все такъ же помѣщается заведеніе, перемѣнившее кличку «растерація» на новую кличку — «трактирное заведеніе». Это уже значитъ степенью выше, и значитъ, что прогрессъ и для него существуетъ, но консервативный гласъ народа по старому продолжаетъ именовать его «Ершами».

Прогрессъ «Ершей» выказался, впрочемъ, не въ одной только поновленной вывѣскѣ да въ перемѣнѣ клички. Теперь и сами «Ерши» во всемъ своемъ составѣ поновились, не смотря на то, что болѣе чѣмъ двадцатилѣтній срокъ времени долженъ былъ бы привести ветхій домишко въ еще бо́льшую ветхость. Теперь они напоминаютъ собою старуху подбѣленную и подрумяненную, а въ то время находились еще въ состояніи старухи неподрумяненной.

«Ерши» — это длинное деревянное, одноэтажное зданіе, со стѣнами, которыя отъ времени осѣлись въ землю, такъ что окна высятся надъ тротуаромъ немного болѣе чѣмъ на поларшина. По вечерамъ эти окна всегда завѣшивались красными кумачевыми зана-

вѣсочками, каковыми и до сихъ поръ продолжаютъ завѣшиваться. Крыша, приведенная теперь въ болѣе благоустроенное состояніе, въ то время безпрепятственно позволяла бурьяну и различнымъ сорнымъ травамъ рости въ расщелинахъ своего ветхаго и прогнившаго до черноты тёса. Входная «парадная» дверь, вдѣланная посреди главнаго фасада, теперь приходится въ уровень съ тротуаромъ; а тогда — неопытный посѣтитель, прежде чѣмъ войти, непремѣнно долженъ былъ клюнуться въ нее носомъ, особенно по вечерамъ, если предварительно онъ не замѣчалъ довольно глубокой ступенки, спускавшейся гораздо ниже уровня тротуара. Теперь и самые полы и самые обои въ «Ершахъ» — давно передѣланы и возобновлены въ болѣе современномъ вкусѣ, а тогда стѣны сохраняли патріархальную живопись — въ родѣ какихъ-то фантастическихъ деревьевъ и райскихъ птицъ. Въ настоящее время только одна небольшая комната, выходящая единственнымъ окномъ своимъ въ маленькій садикъ и смежная съ «квартирой», сохраняетъ пока еще свой тогдашній первобытный видъ: сѣрыя стѣны ея разрисованы сѣрою же мѣловою краскою и являютъ собою различныя картины миѳологическихъ сюжетовъ. Въ этой комнатѣ искони помѣщается биксъ. Вообще надо замѣтить, что время, прогрессируя «Ерши» во внѣшности, во многомъ способствовало безвозвратной утратѣ ихъ первобытной оригинальности.

Бодлевскій, клюнувшись предварительно носомъ въ дверь, очутился въ комнатѣ, носящей наименованіе буфета. За стойкой стоялъ высокій, видный и весьма красивый мужчина, лѣтъ сорока, степенно-благообразнаго и необыкновенно честнаго выраженія въ открытомъ лицѣ. Высокая лысина его обрамлялась мягкими и курчавыми волосами. Широкая, аккуратно подстриженная, черная борода начинала уже замѣтно серебриться. Умные, слегка улыбающіеся глаза глядѣли спокойно, добродушно и въ то же время весьма проницательно. Ярославскій типъ съ перваго взгляда давалъ себя знать въ этомъ субъектѣ. Бѣлая миткалевая рубаха, бѣлый, какъ снѣгъ передникъ и башмаки на босу-ногу — эта трактирная чистота и харчевенное изящество среди обычной грязи посѣтителей и неопрятной обстановки, совокуплявшіяся съ внушительной важностью физіономіи ярославца — ясно говорили всѣмъ и каждому,

что онъ особа не простая, что онъ — «буфетчикъ», «старшой», которому подчинены половые и который въ своей особѣ соединяетъ всю администрацію заведенія. — Власть его простирается даже нѣкоторымъ образомъ и на посѣтителей или «гостей», еслибъ они вздумали учинить что нибудь неподобное, въ родѣ буйства и дебоша.

Встрѣтя Бодлевскаго солиднымъ поклономъ — болѣе глазами, чѣмъ головой, онъ указалъ ему рукою направо, примолвя:

— Пожалуйте на чистую половину.

Но Бодлевскій, вмѣсто чистой половины, предпочелъ подойти къ его стойкѣ и освѣдомиться о Юзичѣ.

Въ отвѣтъ на это освѣдомленіе послѣдовалъ недоумѣвающій, но втайнѣ весьма осторожный и проницательный взглядъ.

— Какъ вы изволите спрашивать? Юзича-съ?... очень вѣжливо переспросилъ онъ, опершись пальцами на стойку и принимая корпусомъ наклонное положеніе впередъ, что̀ составляетъ извѣстнаго рода ярославско-трактирную галантность и буфетческій бонтонъ. — Юзича?... Нѣтъ-съ такого не знавали...

— Да вѣдь онъ у васъ тутъ постоянно бываетъ! возражалъ ему удивленный, по неопытности своей, Бодлевскій, для котораго каждое новое затрудненіе въ его поискахъ было — острый ножъ, подрѣзывавшій радужную нить его надежды.

— Не знаемъ-съ... Можетъ, оно и точно, что бываетъ — мало ли тутъ гостей-то перебываетъ за день! гдѣ же намъ всѣхъ ихъ узнать-то — посудите сами-съ! отбояривался между тѣмъ буфетчикъ.

— Да меня «секретъ» прислалъ! ляпнулъ вдругъ безъ всякой осторожности и нескромнымъ голосомъ Бодлевскій.

Отвѣтомъ на это опять-таки былъ взглядъ, весьма удивленнаго и подозрительнаго качества — взглядъ, который предварительно въ мигъ, подобно молніи, обѣжалъ всѣ углы комнаты: нѣтъ ли, молъ, кого лишняго? — и тотчасъ же уклончиво и неопредѣленно установился между бровями Бодлевскаго.

— Какой вы изволили сказать-съ? съ улыбочкой спросилъ буфетчикъ.

— «Секретъ» прислалъ, повторилъ Бодлевскій.

— Это что же-съ такое значитъ?

Гравёръ, неожидавшій такого переспроса, смѣшался и отчасти даже струхнулъ немного.

— Ужь будто вы не знаете? возразилъ онъ несмѣлымъ тономъ.

— Почемъ же намъ знать-съ... Помилуйте-съ!... Мы объ эфтимъ никакого пониманія имѣемъ... Гдѣ же намъ загадки отгадывать?... Мы, значитъ, при своемъ дѣлѣ, у стойки стоимъ, а что касаемое до чего другаго, такъ эфто не по нашей части.

Бодлевскій, видя, что тутъ ничего не подѣлаешь, прикусилъ съ досады губу и нервно заходилъ по комнатѣ.

Буфетчикъ незамѣтно, но зорко слѣдилъ за нимъ глазами.

— Вамъ, можетъ статься, знакомый вашъ этотъ въ нашемъ заведеніи свиданіе назначилъ? спросилъ онъ послѣ минуты молчаливаго наблюденія.

— Да, свиданіе, машинально подтвердилъ гравёръ, котораго уже начинала шибко пронимать сосущая тоска отъ видимой неудачи задуманнаго дѣла.

— Такъ вы пожалуйте-съ на чистую половину-съ, предложилъ ему обязательный ярославецъ, указывая на правую дверь, изъ темныхъ разноцвѣтныхъ стеколъ: — пообождите тамъ маненько-съ; можетъ, они тѣмъ часомъ подойдутъ, а можетъ, ужь тамъ и дожидаются.

Бодлевскій послѣдовалъ совѣту буфетчика и прошелъ на «чистую половину»; а этотъ послѣдній тотчасъ же, вслѣдъ за нимъ, поспѣшно юркнулъ въ низенькую дверцу, которая незамѣтно пряталась въ стѣнѣ, за стойкой, о-бокъ съ полками буфета, заставленнаго неизмѣримымъ количествомъ стакановъ и росписныхъ чайниковъ.

Комната, въ которую вступилъ Бодлевскій, хотя и представляла собою «чистую половину» заведенія, отличалась весьма грязноватою внѣшностью. Это была довольно большая зала, въ пять оконъ, съ неизмѣнными красными занавѣсочками. Доски закоптѣлыхъ стѣнъ покоробились отъ времени и петербургской сырости. Когда-то онѣ были выкрашены бѣлою мѣловою краской, и по этому фону смѣлая фантазія маляра-художника пустила зелено-черныя пальмы и папи-

русы, стоявшіе, яко-бы аллеей, въ рядъ, какъ солдаты во фронтѣ; на пальмахъ и между ними помѣщались розовыя райскія птицы, въ которыхъ палили изъ ружей и пускали стрѣлы изъ луковъ какіе-то лиловые охотники. Но время набросило на все это свой сѣровато-бурый колоритъ. Покоробившійся досчатый потолокъ, по самой серединѣ комнаты, представлялъ широкое, расползающее черное, какъ сажа, пятно, которое образовалось отъ копоти изъ висящей на крючкѣ лампы. Вдоль стѣнъ и у оконъ лѣпились маленькіе четырехугольные столики, покрытые грубоватыми салфетками не весьма-то опрятнаго качества отъ какихъ-то пятенъ, и на каждой такой салфеткѣ была опрокинута верхъ дномъ полоскательная чашка съ синенькимъ ободочкомъ. Расщелистый полъ, носившій еще кое-гдѣ скудные слѣды желтой краски, весь уснащался мокрыми, натоптанными слѣдами посѣтителей, мохорочной золой и плесками чаю, которые дѣлали всѣ тѣ же безцеремонные посѣтители, предпочитая для этого трактирный полъ, вмѣсто полоскательныхъ чашекъ. Атмосфера этого милаго пріюта, несмотря на вентиляторы въ окнахъ, неисходна была пропитана крѣпкимъ, першащимъ въ горлѣ, запахомъ махорки, жукова и «цыгарокъ». Въ довершеніе всей обстановки, какъ необходимое украшеніе къ ней, по стѣнамъ помѣщалось нѣсколько старыхъ портретовъ и картинъ, въ когда-то позолоченныхъ рамахъ. Портреты являли собою какихъ-то генераловъ въ пудрѣ и архіереевъ въ мантіяхъ, а картины изображали нѣчто изъ буколико-миѳологическихъ и священныхъ сюжетовъ. И тѣ и другія лоснились мѣстами зеленымъ лакомъ, а мѣстами совсѣмъ исчезали въ густо-насѣвшей на нихъ пыли, грязи и копоти. Богъ-знаетъ, гдѣ, какъ и когда, и кѣмъ писаны такіе картины и портреты, но извѣстно только то, что найдти ихъ можно единственно въ «ресторацiяхъ» и, кажется, будто они ужъ такъ самою судьбою предназначены для того, чтобы украшать закоптѣлыя стѣны низшей руки трактировъ и харчевенъ.

Бодлевскій, хотя и не былъ избалованъ жизненнымъ комфортомъ, но ему еще ни разу не случалось присутствовать въ столь милыхъ мѣстахъ, и потому его немного покоробило, особенно, когда онъ, усѣвшись у крайняго грязнаго столика, оглядѣлъ присутствующихъ посѣтителей.

Въ одномъ углу, за двумя составленными вмѣстѣ столами, помѣщалась компанія мастеровыхъ, въ пестрядинныхъ халатахъ, съ испитыми лицами, на которыхъ установился неопредѣленный сѣро-блѣдный колоритъ—вѣрный признакъ спертаго воздуха душной мастерской, тѣснаго спанья артелью, непосильнаго труда и невоздержанной жизни. Эту коллекцію небритыхъ и длинноволосыхъ, по большей части украшенныхъ усами физіономій съ наглыми взглядами, какъ-бы говорившими: «мы—не мы и хозяинъ—не хозяинъ!»—угощалъ пивомъ такой же пестрядинный халатъ, вмѣщавшій въ себѣ какого-то спицеобразнаго мальченку лѣтъ шестнадцати. Мальченка тотъ видимо желалъ показать, что онъ взрослый и чувствуетъ свое достоинство—потому капиталъ имѣетъ и угощать можетъ. Онъ то и дѣло старается представиться пьянымъ, и потому громче всѣхъ кричалъ, поминутно и безъ всякой нужды ругался, какъ-бы самоуслаждаясь гармоническими звуками этой брани, поминутно размахивалъ своими истощенными, худыми, какъ щепки, руками и вообще ломался, «задавая форсу». Компанія мастеровыхъ поощряла его то обниманіями, то словами, то, наконецъ, пріятельской руготней и во всю глотку нестройно горланили солдатскую пѣсню:

...и графъ Башкевичъ Ириванскай
Подъ Аршавой состоялъ—

пѣсню, бывшую въ то время, ради близкой своей современности, въ особенной модѣ между солдатами и фабричнымъ народомъ.

Другой уголъ, на нѣсколькихъ отдѣльныхъ столахъ, занимали извозчики, которые днемъ очень любятъ посѣщать Ерши и тамъ чаепійствовать. Дворъ ершовскій, гдѣ помѣщается нѣсколько поильныхъ колодъ, въ теченіе дня, то-есть пока не начинается смеркаться, постоянно занятъ извозчичьими клячами и загроможденъ то дрожками, то санями—смотря по времени года. Клячамъ этимъ извощики задаютъ корму и пойла, а себя—«по малости чайкомъ побалываютъ». Въ этомъ второмъ углу господствовали трезвость, «кипяточекъ» и до багровости распарившіяся чайкомъ физіономіи.

Тутъ уже былъ слышенъ свой особый говоръ.

За однимъ столомъ сообщали, что Игнатку въ часть взяли, а Пароену-дядѣ офицеръ въ кипажѣ ѣхамши колесо отшибъ, а замеднись у одного извозчика лошадь съ дрожками мазурики угнали;

только-что отвернулся, а они и угнали, проклятые; хозяинъ теперь вычитать поди-ка станетъ, а дома-то, въ деревнѣ, можетъ, и голодно и холодно. И начинается по этому поводу разговоръ про распроклятую жисть извозчичью, питерскую. За другимъ же столомъ идетъ бесѣда такого рода:

— Ты хозяину какъ отдаешъ? поди-ка-ся всю выручку? спрашиваетъ плутоватая харя извозчика изъ тертыхъ калачей у извозчика еще нетертаго, двѣнадцатилѣтняго мальчишки.

— Извѣстно всю! а то какъ же? отзывается дѣтскимъ голосенкомъ этотъ послѣдній, съ тяжелымъ переводомъ духа, неистово втягивая въ себя съ блюдца струю горячаго чая.

— Эхъ ты, михря!... «всю!» презрительно подхватываетъ первый.—Пошто же всю отдавать? Ты бы себѣ каку часть оставлялъ!

— Ишь ты—себѣ!... а грѣхъ? возражаетъ мальчишка.

— Ну, такъ что-жъ, что грѣхъ?—грѣхъ не бѣда!

— Эвося—не бѣда!... какъ же!

— А то бѣда? эка ты рѣпа какая, паря, какъ я погляжу! Въ грѣхѣ на духу покаешься—и баста! На то и батька, значитъ, приставленъ; а ты бы, по крайности, себѣ каку деньгу оставилъ...

— А хозяинъ ругаться станетъ?

— Такъ пòшто жъ тебѣ говорить ему, сколько выручки привезъ? Коли ты, значитъ, цалковый-рупь выѣздилъ, такъ отдавай семь гривенъ, а либо восемь гривенъ, коли ужъ почестнѣе захочешъ. Вотъ такъ и вертись на этомъ.

— Да я не умѣю...

— Не умѣешь? а наука на что? Ставь пару чаю—такъ разомъ выучу!

И мальчишка точно ставитъ пару чаю и начинаетъ первые шаги своего развитія на поприщѣ столь занимательной науки.

Остальную публику составляли два-три дворника, нѣсколько солдатъ, которые проникали сюда задними ходами, такъ-какъ съ наружныхъ пускать ихъ было строго запрещено, да двѣ-три темныя личности, изъ коихъ одна, въ порванномъ, истертомъ виц-мундирѣ, углублялась въ чтеніе полицейской газеты.

Нравственное чувство Бодлевскаго, неискусившагося еще въ сладости познанія различныхъ трущобъ житейскихъ, начинало уже да-

вить и сосать что-то боязливо-непріятное. Ему все казалось, будто кругомъ его сидятъ воры и мошенники, можетъ и убійцы даже; а воображеніе помогало разрисовывать все это еще болѣе мрачными красками, хотя вся обстановка этой комнаты была не болѣе, какъ обстановка каждой харчевни. Сознаніе, что и самъ онъ идетъ на рискованное дѣло и эта неизвѣстность, гдѣ и съ кѣмъ онъ, и какъ все это кончится; потомъ неотступное, томительное чувство одиночества, чувство разобщенности съ окружающимъ міромъ — все это производило на него особаго рода нервное впечатлѣніе, такъ что ему казалось—вотъ-вотъ войдетъ полиція и заберетъ ихъ всѣхъ тотчасъ, или что всѣ эти господа разомъ накинутся на него, ограбятъ и убьютъ, пожалуй... Подобное чувство при первомъ посѣщеніи незнакомаго еще вертепа необходимо испытываетъ каждый неофитъ, каждый будущій кандидатъ на Владимірку, только что задумавшій свой первый шагъ къ преступленію.

А изъ низенькой дверцы въ буфетѣ выходилъ между тѣмъ застоечный ярославецъ, въ сопровожденіи темной личности съ физіономіей, отчасти перетревожившейся.

— Ну, полно спать! аль не прочухался еще? ползи, что-ль, чортъ! говорилъ онъ, оборачиваясь въ полспины къ этому темному субъекту, который подвигался впередъ весьма неохотно.

— Да кто спрашивалъ-то? послышался его хриплый, заспанный голосъ.

— А мнѣ почемъ знать—тебя спрашивалъ!... *Возьми зеньки въ граблюхи, да и зеть вонъ сквозь звенья*! Можетъ и *фигарисъ* какой! [1]) отвѣчалъ ярославецъ, становясь за стойку и принимая такой видъ, какъ будто ничто до его милости не касается.

Темная личность подошла къ правой двери, плотно приблизила лицо свое къ темнымъ цвѣтнымъ стекламъ и осторожно стала смотрѣть сквозь нихъ въ «чистую половину».

— Который это? что въ *шельмѣ* [2]) камлотной сидитъ, что ли? спросилъ онъ, разглядывая посѣтителей.

---

[1]) *Зеньки*—глаза, *граблюхи*—руки, *зетить*—смотрѣть, *звенья*—стекла, *фигарисъ, фига, подлипало*—полицейскій лазутчикъ, сыщикъ. «Возьми глаза въ руки, да и смотри сквозь стекла; можетъ и шпіонъ какой».

[2]) *Шельма*—шинель.

— Тотъ самый... Гляди, не фигарисъ ли *каплюжный*? [1]) предостерегъ его буфетчикъ.

— Нѣтъ, своя *гамля* [2])! успокоилъ смотрѣвшій субъектъ, и смѣло направился въ «чистую половину».

Свиданіе друзей, какъ и должно предполагать, было весьма радостно, особенно со стороны Бодлевскаго. За порціей селянки, сопровождавшейся цѣлымъ графиномъ померанцевой, онъ объяснилъ Юзичу свою настоятельную нужду.

И ни тотъ, ни другой не замѣтили, какъ сидѣвшій поодаль неизвѣстнаго званія человѣкъ все время незамѣтно наблюдалъ за ними, стараясь вслушаться въ каждое ихъ слово.

Юзичъ, по выслушаніи дѣла, сейчасъ же скорчилъ изъ себя солидно-важнаго человѣка, въ которомъ нуждаются и отъ воли котораго зависитъ надлежащее рѣшеніе, и сталъ озабоченно потирать свой лобъ, какъ-бы обдумывая затруднительное дѣло. Мазурики вообще любятъ въ этакихъ случаяхъ напускать на себя важность и дѣтски-рисоваться (хотя бы передъ самимъ собою) своимъ выдуманнымъ значеніемъ. Люди всегда склонны обманывать и себя и другихъ тѣмъ, чего у нихъ не хватаетъ.

— Это я могу, наконецъ, заговорилъ онъ съ разстановкой, стараясь придать каждому своему слову и вѣсъ, и значеніе.—Н-да-съ... это въ нашей власти... Только съ однимъ человѣчкомъ повидаться надобно... Трудно, но могу — за то ужъ магарычъ съ тебя! да и другимъ заплатить придется.

Бодлевскій безпрекословно согласился на всѣ условія, и тогда Юзичъ всталъ и подошелъ пошептаться къ той темной личности въ виц-мундирѣ, которая водила краснымъ носомъ своимъ по строкамъ полицейской газеты.

— Другу Борисычу! проговорилъ Юзичъ, подавая ему свою руку.— *Клей* [3]) есть!

---

[1]) *Каплюжный*—полицейскій; *каплюжникъ*—общее названіе для всѣхъ лицъ и чиновъ служащихъ въ полиціи.

[2]) *Гамля*—собака.

[3]) *Клей*—имѣетъ нѣсколько значеній въ «музыкѣ». Клеемъ, во-первыхъ, называется всякая ворованная вещь; во-вторыхъ, всякое выгодное воровское предпріятіе, всякая аферa, дѣльцо, сдѣлка; въ третьихъ — «*идти тырить на клей*»,

— Ой-ли? *клевый* аль *яманный* [1])? отозвался другъ-Борисычъ, изобразивъ на широкихъ губахъ своихъ улыбку алчной акулы.

— Небойсь, чортова пéречница! Коли я говорю, такъ значитъ клёвый!

— А какъ пойдетъ, *въ сламъ* или въ *рòзницу* [2])?

— Извѣстно, въ сламъ! Тебѣ, коли самъ работить станешь, *двойную растырбанимъ*. Вонъ, видишь *мухорта* [3]), чтó со мной сидѣлъ? пояснялъ ему Юзичъ:—такъ вотъ ему *темный глазъ* [4]) нуженъ.

— На кого? на себя? спросилъ Борисычъ.

значитъ—идти воровать на готовое, то-есть когда дѣло подготовлено заранѣе, съ помощью прислуги или кого-либо изъ домашнихъ, или же, наконецъ, съ помощью кого нибудь изъ *своихъ*, если этотъ свой успѣлъ вкрасться въ домъ, и иногда и въ довѣріе къ избираемой жертвѣ и подстроилъ дѣло такъ, что оно не представляетъ никакого риска, никакой опасности.

[1]) *Клевый*—хорошій, красивый, дорогой, выгодный, подходящій. *Яманный*—негодный, нехорошій, скверный, невыгодный, неподходящій.

[2]) *Сламъ*—доля добычи. Между мазуриками есть свои законы, которымъ они вполнѣ подчиняются. Законы дѣлежа соблюдаются особенно строго, причемъ доля каждаго участника опредѣляется съ большою точностью и правильностью. *Жуликъ*, то-есть ученикъ, если онъ, по пріобрѣтеніи нѣкоторой сноровки, допускается въ видѣ опыта на практику, получаетъ отъ малоцѣнной вещи половину, отъ болѣе цѣнной—треть. Всякій другой товарищъ или *подрушный*, то-есть помощникъ—половину; простой зритель—четвертую долю, а иногда и треть, если есть опасеніе, что онъ *прозвонится*, то-есть проговорится кому нибудь или выдастъ; въ этомъ случаѣ, дабы нѣсколько обезопасить себя на сей конецъ, мазурики этою долей хотятъ сдѣлать его какъ-бы соучастникомъ въ воровствѣ. *Мазъ* (мастеръ, распоряжающійся планомъ дѣла или производящій воровство), а равно и атаманъ (въ тѣхъ шайкахъ, гдѣ онъ есть) получаетъ двойную долю. Мазъ обыкновенно и *растырбаниваетъ сламъ*, то-есть распредѣляетъ вырученную сумму на равныя части и выдаетъ ихъ соучастникамъ или по заранѣе выговореннымъ условіямъ, или же по обыкновеннымъ законамъ. Если дѣло идетъ *въ разницу*, то это значитъ, что всю выручку возьметъ кто-нибудь себѣ одному, а товарища проситъ оказать одну безкорыстную помощь.

[3]) *Мухортомъ* въ общемъ смыслѣ называется всякій партикулярный человѣкъ; *барчукомъ* же именуютъ воры каждаго прилично-одѣтаго джентльмена, или господина, одѣтаго во фракъ, а также чиновника и дворянина.

[4]) *Темный глазъ*—фальшивый паспортъ; *безъ глазъ ходить*—безъ паспорта; *безглазый*, *темный*, *слѣпымъ* — безпаспортный. Есть въ музыкѣ еще одинъ терминъ — «бирка», который означаетъ всякій, какой бы то ни былъ письменный видъ и по преимуществу видъ законный, настоящій, нефальшивый.

— Нѣтъ, *марушій* [1]) нужно...

И они ушли въ другую комнату — продолжать свое секретное совѣщаніе. Черезъ нѣсколько минутъ, Юзичъ возвратился къ Бодлевскому и объявилъ, что вечеромъ будетъ все готово, чтобы онъ къ девяти часамъ являлся въ Ерши, а пока вручилъ-бы ем узадатокъ — «на извощика, молъ, надо съѣздить въ Полтарацкій переулокъ въ Сухаревскій домъ къ виленцамъ изъ тридцать-перваго нумера [2]), потому тотъ, кто станетъ поддѣлывать пачпортъ, весь свой струментъ и матеріалъ проигралъ въ трынку одному человѣку изъ виленцовъ — ну, такъ и того, значитъ, надо будетъ выписать, чтобы съ матеріаломъ явился».

Замѣчательно, что мазурики нетолько съ посторонними, но даже и между собою въ разговорѣ о какомъ-либо отсутствующемъ товарищѣ постоянно избѣгаютъ назвать его по имени, а всегда говорятъ нѣсколько неопредѣленно, стараясь выражаться болѣе мѣстоимѣніями: *тотъ*, *этотъ*, *нашъ* или существительными въ родѣ: *знакомый человѣкъ*, *нужный человѣкъ* и т. п.

Бодлевскій щедро далъ задатокъ, и выйдя за дверь, напутствуемый привѣтливымъ (уже безъ недовѣрчивости) поклономъ буфетчика, опрометью бросился домой, не будучи въ силахъ сдержать свою радостную улыбку, такъ что узнавшій его сонливый будочникъ только крякнулъ да ухмыльнулся и послалъ ему въ спину такой смѣшливо-лукавый взглядъ, который какъ-бы говорилъ: «погоди-ка, другъ любезный, сорвалъ я съ тебя нынче уху съ ершами, а попадешься ко мнѣ на лапу, такъ стяну и на леща со щукой!»

X

Квартира для трынки и темныхъ глазъ

Вечеромъ Ерши измѣняются, принимая совсѣмъ новый характеръ. Это уже не то, что Ерши днемъ. Какъ только зажгутся въ нихъ коптильныя лампы и бросятъ свои мутные лучи на всю ершовскую

---

[1]) *Маруха*—женщина; *клева-маруха*—публичная женщина; *марушій*—женскій, бабій и дѣвичій.

[2]) О виленцахъ и ихъ спеціальной профессіи будетъ говориться нѣсколько ниже. Сухаревскимъ домомъ назывался нынѣшній домъ князя Вяземскаго (3 Адм.

обстановку, такъ тотчасъ ловкая рука побѣгушника-половаго быстро позадергиваетъ красныя занавѣсочки въ окнахъ — и это задергиваніе служитъ уже вѣрнымъ признакомъ того, что Ерши открыли свою вечернюю дѣятельность. Главнымъ и, такъ-сказать, всепритягивающимъ центромъ этой дѣятельности становится степенный, благообразный буфетчикъ Провъ Викулычъ, и тутъ-то разностороннее и разнохарактерное умѣнье его, по истинѣ, становится замѣчательнымъ.

Какъ только начнетъ смеркаться — Толкучка прекращаетъ свою промышленную дѣятельность. По Чернышову переулку, какъ стаи черныхъ мухъ, торопятся и перегоняютъ другъ друга, въ направленіи къ Пяти-Угламъ, толкучники-сидѣльцы. Между ними шныряютъ взадъ и впередъ темные людишки, покончившіе свой дневной промыселъ на Толкучкѣ и неначавшіе еще промысла ночного. Кто изъ нихъ засвѣтло не успѣлъ сбыть съ рукъ благопріобрѣтеннаго товара ни маклакамъ, ни купцамъ- поощрителямъ, тотъ по близости несетъ его въ Ерши, черезъ задній ходъ, гдѣ всегда уже для такого желаннаго гостя находится на сторожѣ Провъ Викулычъ.

Провъ Викулычъ — человѣкъ добрый, разсудительный и не привередникъ: онъ ничѣмъ не побрезгуетъ и за все дастъ положенную цѣну. Неси къ нему *мягкій товаръ*, то-есть мѣха—онъ возьметъ съ благодарностью, неси *красный товаръ*, то-есть золотыя, или иныя драгоцѣнныя вещи—тоже возьметъ и съ благодарностью же; табакерку добудешь—и ее туда же; платокъ карманный добудешь—и на платокъ отказу нѣтъ; словомъ сказать, Провъ Викулычъ—человѣкъ вполнѣ покладистый и сговорчивый, милый человѣкъ, съ которымъ пріятно и полезно вести всякое дѣло. Его и маклаки, извѣстные у мазуриковъ подъ именемъ *мѣшковъ*, весьма уважаютъ, а это—очень замѣчательный фактъ, ибо маклаки вообще никого не уважаютъ. Провъ же Викулычъ заслужилъ себѣ отъ нихъ такую глубокую дань уваженія ничѣмъ инымъ, какъ допущеніемъ свободнаго сбыта. Иные буфетчики и половые, занимающіеся маклачествомъ, ни за что не пустятъ «мѣшка» за порогъ своего заведенія, а

части 4-го квартала). Ресторація, помѣщающаяся въ немъ (въ первомъ этажѣ, выходящемъ на Обуховъ проспектъ, рядомъ съ домомъ Котомина), и до сихъ поръ еще сохранила названіе «Сухаревки».

Провъ Викулычъ впускаетъ безпрепятственно. Какъ же послѣ этого и не уважать Прова Викулыча?

Впрочемъ, ему самому отъ этого допущенія мѣшковъ было мало убытку: мазурики все-таки предпочитали къ нему нести свой товаръ для сбыта.

Итакъ, только что смеркнется, и Ерши освѣтятся своими коптилками — къ нимъ начинаютъ стекаться мѣшки и мазурики. Входная дверь на блокѣ ни на минуту не перестаетъ визжать, хлопать и напускать въ комнату свѣжаго воздуха, который тамъ вообще никогда не бываетъ лишнимъ. Вмѣстѣ съ мазуриками, набивается сюда изрядное количество мастеровыхъ и фабричныхъ, также покончившихъ свои дневныя занятія; увеличивается и элементъ военный, которому въ вечернемъ мракѣ менѣе представляется опаски отъ начальства; немного попозже начинаютъ мелькать и женскія физіономіи; за то замѣчается полнѣйшее отсутствіе извозчиковъ.

Въ эту дѣятельную минуту, Провъ Викулычъ становится вездѣсущъ. Онъ и за стойкой вѣжливо кланяется глазами разнымъ посѣтителямъ; онъ и на кухнѣ отдаетъ приказанія на счетъ провизіи повару; онъ и въ погребъ спустится за новою, непочатой корзиной холоднаго пива; онъ и на чистую половину заглянетъ: все ли-де тамъ въ порядкѣ; и на половыхъ за нерасторопность прикрикнетъ, и съ гостемъ краснымъ словцомъ перекинется; онъ, наконецъ, улучитъ минуту, и, юркнувъ въ свою дверцу, очутится на «квартирѣ».

Но пора, наконецъ, читателю узнать, что̀ это за *квартира*.

Низенькая, маленькая, дверца, въ которую такъ часто юркаетъ Провъ Викулычъ, ведетъ изъ буфета въ кухню, гдѣ прежде всего бросается въ носъ чадъ отъ масла, и паръ столбомъ; а потомъ уже сквозь эту атмосферу выступаютъ силуэты огромныхъ мѣдныхъ котловъ съ кипяткомъ и огромной же, словно бы навуходоносоровой печи, которая, пожалуй, и побольше чѣмъ трехъ отроковъ поглотитъ. Изъ кухни, налѣво, взору посѣтителя представляется дверь въ однооконную комнату, куда имѣютъ право входа только одни «завсегдатаи» да особы прекраснаго пола, дарящія ее почему-то особенною своей симпатіей, преимущественно передъ прочими чертогами заведенія. Поэтому, ершовскіе habitués эту комнату такъ ужъ и прозвали «марушьемъ угломъ». Здѣсь, въ этомъ «марушьемъ

углѣ», можно постоянно найдти женщинъ въ количествѣ нѣсколькихъ персонъ, занимающихся мирнымъ чаепитіемъ, или не менѣе мирною руганью, и тараторливымъ перезвономъ. Изъ этой комнатки маленькая, низенькая дверца ведетъ въ другую, которая-то собственно и носитъ наименованіе «квартиры».

Это даже не комната, а скорѣе какой-то темный чуланъ, безъ оконъ, но съ парою дверокъ, содержащихся постоянно на запорѣ. Вторая дверка выходитъ въ узенькій сквозной корридорчикъ, изъ котораго вы, по желанію своему, можете спуститься либо во дворъ, либо въ крохотный садикъ. Съ внутренней стороны дверь эта представляется какъ-бы заколоченной, но это нисколько не мѣшаетъ ей, въ случаѣ нужды, очень скоро и ловко отпираться и выпускать изъ себя, во время полицейскихъ осмотровъ, разныхъ теплыхъ людишекъ, которымъ изъ корридорчика — скатертью дорога либо во дворъ, либо въ садикъ, да черезъ заборъ на сосѣдній задворокъ. Съ наружной же стороны этой дверки, на верхнемъ брускѣ ея, и до сихъ поръ еще можно видѣть намалеванную чорною краскою надпись: *квартира*.

Въ этой канурѣ темно — хоть глазъ выколи; иначе какъ со свѣчой тамъ никто и не бываетъ. Въ ней помѣщаются двѣ-три постели, столъ да нѣсколько стульевъ. Подъ постелями и въ углахъ сваливается вечеромъ все *натыренное* [1]), которое, стараніями Прова Викулыча, рѣдко когда залеживается до слѣдующаго утра. Пріобрѣтаетъ онъ тыренное — то на смарку трактирнаго долга, то на *хрястанье съ канновкой* [2]), то на какіе-нибудь ничтожные гроши, которые иногда нужнѣе самой жизни уличному вору, когда голоднымъ дѣтямъ нужно принести хоть корку хлѣба. Сбываетъ же Провъ Викулычъ это «тыречное» только на чистыя деньги и на деньги немалыя. Отсчитываетъ онъ въ этомъ случаѣ *гроникъ да канику*, а получаетъ *колесами* [3]).

Итакъ, мы уже говорили, около осьми часовъ вечера темные лю-

---

[1]) Наворованное.

[2]) *Хрястать*—ѣсть, *хрястанье*—ѣда, кушанье, обѣдъ, завтракъ или ужинъ, *Канна* на байковомъ языкѣ значитъ кабакъ; поэтому нѣкоторые мазурики водку называютъ *канновкой*.

[3]) *Гроникъ*—грошъ, *каника*—копѣйка, *колесо*—рубль.

дишки съ «вольнымъ товаромъ» подъ полою, начинаютъ мало по малу проюркивать въ ершовскія ворота, на задній «невоскресный» ходъ заведенія, и стекаются обыкновенно въ смежной съ кухнею комнатѣ.

Провъ Викулычъ держитъ себя въ этомъ случаѣ весьма замѣчательнымъ образомъ: онъ и тутъ, какъ всегда и вездѣ, свою особую политику и строгій этикетъ соблюдаетъ. Всѣмъ, напримѣръ, собравшимся въ «марушьемъ углу» мазурикамъ очень хорошо извѣстно, что Провъ Викулычъ занимается *спуркой* [1]), всѣ они именно и собрались сюда не зачѣмъ инымъ, какъ только *пропурить* ему *тыренное*. Провъ Викулычъ, въ свою очередь, хорошо знаетъ, что теплые ребятки пришли сюда единственно ради его милости, и не однажды ужъ онъ со всѣми ими дѣла этого рода обдѣлывалъ, а между тѣмъ, Провъ Викулычъ, передъ глазами всей этой обычно-собравшейся компаніи, никогда не рѣшится явно показать, что онъ занимается «спуркой» или вообще имѣетъ съ ними какія-либо общія дѣла и интересы относительно вольнаго товару.—«Потому, значитъ, дѣло—дѣломъ, а честь — честью, разсуждаетъ себѣ Провъ Викулычъ, и честь свою, значитъ, ты никакъ обронить не моги».

Провъ Викулычъвъ нѣкоторомъ родѣ—сила, «капиталомъ ворочаетъ», держитъ въ рукахъ своихъ весь этотъ темный людъ, и потому третируетъ его нѣсколько en canaille. Онъ не сразу выходитъ къ нимъ въ марушій уголъ, а такъ-себѣ урывками, заглянетъ туда, какъ будто мимоходомъ, идя по своему дѣлу; и вообще заставляетъ себя дожидаться.

— Провъ Викулычъ, дѣльце есть до вашей милости! говоритъ ему обыкновенно какой-нибудь мазурикъ, заискивающимъ и даже просительнымъ тономъ, кланяясь чуть не въ поясъ.

— Како тако дѣльце? суровымъ голосомъ, важно-занятаго человѣка, возражаетъ буфетчикъ, почти не удостоивая взглядомъ своего просителя.

— Такъ-съ... просьбица, одна... по секрету-съ...

---

[1]) *Спурка*—скупка и перепродажа краденыхъ вещей; *спурить*, *пропурить*—продать, сбыть ворованное.

— Ну, да! еще чего не выдумай! Некогда мнѣ тутъ съ вами секретничать-то! бурчитъ онъ себѣ подъ носъ съ большимъ неудовольствіемъ.—Ну, да! инъ — ладно! Пойдемъ! Эй! Анчутка!

— Чиво-съ? откликается юркій трактирный мальчишка, съ развращеннымъ лицомъ и плутовскими глазами, выросшій словно грибъ изъ-подъ земли передъ Провомъ Викулычемъ.

Буфетчикъ на это «чиво-съ», только глазомъ мигнетъ незамѣтно—и Анчутка опрометью бросается къ заднему ходу на сторóжку.

За симъ слѣдуетъ удаленіе Прова Викулыча съ просителемъ въ секретную квартиру.

А мазурики, между тѣмъ, въ «марушьемъ углу», ожидая каждый очереди, въ полголоса межъ собой о своихъ дѣлахъ разговариваютъ. Они, въ этомъ отношеніи, менѣе Прова Викулыча церемонятся.

— *Чтò стырилъ* [1])? освѣдомляется одинъ у другого.

— Да что, другъ любезный, до нынече все было *яманъ* [2]), хоть бросай совсѣмъ дѣло! а сегодня, благодаренье господу-богу, *клево* [3]) пошло! Зашелъ этта ко Владимірской. Народу за всенощной тьма-тьмущая—просто, братъ, лафа!

— Ну, и что жь ты? маху не далъ?

— Еще бъ тѣ маху! *Шмеля срубилъ, да выначилъ скуржаную лоханку* [4])! самодовольно похвалянется мазурикъ.

— *Мѣшокъ во что кладетъ веснухи* [5])? спрашивается въ то же время въ другой группѣ, на противоположномъ концѣ комнаты.

— Во чтó кладетъ! да гляди, чуть не въ гроникъ! ропщетъ темная личность съ крайне истомленнымъ, больнымъ и печальнымъ лицомъ.—*Клей* [6]) недешоваго стоитъ; поди-ка, сунься въ магазинъ у нѣмца купить—колесъ въ пятьдесятъ станетъ.

---

[1]) Что укралъ? *Тырить*—воровать.

[2]) Скверно, плохо.

[3]) Хорошо, удачно.

[4]) *Выначить*, *срубить*—вынуть изъ кармана. *Шмель*—кошелекъ съ деньгами. *Скуржаная лоханка*—серебряная табакерка. *Скуржа*—серебро. «Вынулъ кошелекъ, да вытащилъ серебряную табакерку».

[5]) Барышникъ во что цѣнитъ золотые часы? *Класть*—цѣнить, опредѣлять стоимость. *Веснуха*, *веснушки*—золотые часы.

[6]) Терминъ для обозначенія всякой ворованой вещи.

— А какой клей-то?

— Да *канарейка съ путиной*, какъ есть цѣликомъ *веснушныя* [1]). Такъ онъ что̀, песъ эдакій, мѣшонъ-то? Я по чести, какъ есть, *три рыжика правлю* [2]).

— Какими? *рыжею Сарой* [3])?

— Ну, вѣстимо, что Сарой, а онъ, пёсъ, только четыре *царя* [4]) кладетъ. А мнѣ вѣдь тоже хрястать что-нибудь надо! жена тоже вѣдь, дѣти... голодно, холодно...

И голосъ мазурика, нервно дрогнувъ, обрывается, задавленный горькою внутреннею слезою.

Въ третьемъ углу — молодой воръ, повидимому изъ апраксинскихъ сидѣльцевъ, тоненькой фистулой, молодцовато повѣствуетъ о своихъ ночныхъ похожденіяхъ:

— Просто, братцы, страсть! Вечоръ-было совсѣмъ-таки *влопался* [5])! да спасибо, мазурикъ со стороны каплюжника *дождевикомъ* [6]) проздравилъ—тѣмъ только и отвертѣлся! А Гришутка —

---

[1]) Часы съ цѣпочкой, какъ есть цѣликомъ золотые; *канарейка* — карманные часы—названіе общее и для золотыхъ и для серебрянныхъ часовъ, въ отличіе отъ всякихъ другихъ, какъ-то: стѣнныхъ, столовыхъ и пр., для которыхъ существуетъ названіе *стуканы*, *стуканцы*. *Путина*, *перязь* — цѣпочка, *веснушный* или *рыжій*—золотой.

[2]) *Рыжикъ*—червонецъ. *Править*—просить, запрашивать.

[3]) *Рыжая Сара*—полуимперіалъ.

[4]) *Царь*—рубль серебряный.

[5]) Для народа, *ходящаго по музыкѣ*, то-есть принадлежащаго къ воровскому сословію, имѣютъ важное значеніе слова: *влопаться*, *облопаться* и *сюрьмить*. *Влопаться*—значитъ попасться въ воровствѣ, но неопасно, если попавшійся тутъ же на мѣстѣ освобождается, благодаря или своей увертливости, или своей силѣ, или снисхожденію поймавшаго, или же, наконецъ, отсутствію *поличнаго*, то-есть ворованной вещи, которая у вора крадущаго никогда почти въ рукахъ не остается, а тутъ же мгновенно передается изподтишка *подручному*, то-есть помощнику. Подручный же немедленно удаляется съ нею на безопасный пунктъ. *Облопаться*—это уже степенью выше. Если мазурикъ облопался, то это значитъ, что онъ попался болѣе опаснымъ образомъ, взятъ полиціей, и отведенъ въ часть или тюрьму, и находится подъ слѣдствіемъ, однакоже съ надеждой на освобожденіе. Когда же говорится про «музыканта», что онъ *сюрьмлъ*, то это означаетъ либо дальній путь его по Владимірке, либо, по мѣньшей мѣрѣ, препровожденіе по этапу на мѣсто родины.

[6]) *Дождевикъ*—камень булыжникъ, для случайной обороны. Нѣкоторые воры, если не имѣютъ какихъ-либо другихъ орудій, носятъ его постоянно при себѣ,

совсѣмъ облопался, поминай какъ звали! Сталъ-было, *хрять* [1]) въ другую сторону, да лихъ, вишь ты, *не стремилъ* [2]), опосля какъ съ *фараономъ* [3]) справились; а тутъ *стрѣла* [4]) подоспѣла въ догонку — ну, и конецъ! Теперь *потѣетъ* [5]); гляди, *къ дядѣ на поруки попадетъ* [6]), коли хороводъ не выручитъ.

— Значитъ, *скупъ* [7]) надо? озабоченно спрашиваютъ мазурики, ибо это — вопросъ, весьма близко касающійся ихъ сердца и карманныхъ интересовъ.

— Значитъ, скупъ! Парень, братцы, клёвый, нужный парень! *Отначиться* [8]) безпремѣнно надо.

— Сколько сламу потребуется? вопрошаютъ члены хоровода, почесывая у себя въ затылкѣ.

— Обыкновенно *на гуртъ: сламъ на крючка, сламъ на выручку да на ключая*—троимъ, значитъ, какъ есть полный сламъ отваливай [9]).

— Надо подумать! отвѣтствуютъ хороводные, соображая свои средства на выкупъ товарища.

А степенный, важный и благообразный Провъ Викулычъ межъ тѣмъ обдѣлываетъ на квартирѣ свою выгодную спурку.

отправляясь на дѣло, и есть между ними мастера, владѣющіе очень ловко искусствомъ пускать дождевика на довольно значительномъ разстояніи, и при этомъ мѣтко и вѣрно попадать именно въ то самое мѣсто, которое избрано цѣлью удара, какъ напримѣръ, рука, плечо, колѣно.

[1]) *Хрять*—бѣжать.

[2]) *Стрѣмить*—смотрѣть, наблюдать, остерегаться. Возгласъ *стрѣма!* означаетъ: берегись! будь осторожнѣй—смотрятъ!

[3]) *Фараонъ*—будочникъ.

[4]) *Стрѣла*—казакъ патрульный.

[5]) *Потѣть*—сидѣть въ части.

[6]) *Попасть къ дядѣ на поруки*—значитъ, попасть въ тюрьму.

[7]) *Скупомъ* называется общая складчина товарищей на выкупъ попавшаго товарища.

[8]) *Отначиться*—откупиться отъ полиціи, отыграться въ карты.

[9]) *Дать сламу на гуртъ*—значитъ, посредствомъ общей складки товарищескихъ долей, дать взятку полицейскимъ чинамъ. *Сламъ на крючка* называется взятка полицейскаго письмоводителя; *сламъ на выручку*—взятка квартальнаго надзирателя, который на байковомъ языкѣ не безъ остроумія называется *карманъ* или *выручка*. *Сламъ на ключя* или *на ключая*—взятка на долю слѣдственнаго пристава.

Въ одинадцатомъ часу, показался въ Ершахъ и Бодлевскій, захвативъ съ собою весь свой капиталъ, заключающійся въ двадцатипятирублевой бумажкѣ и кой-какой мелочи. Сердце его довольно-таки неровно постукивало. Онъ не боялся дѣлать ассигнацію *наединѣ*, запершись въ своей комнатѣ, и боялся теперь предстоящаго ему дѣла, потому что оно должно было обдѣлаться между нѣсколькими сообщниками. Эта черта, на первый взглядъ какъ будто и трусливая, предвѣщала, однако, въ Бодлевскомъ великаго будущаго мастера. Не боятся сообщничества только одни заурядные мазурики, изъ которыхъ никогда ничего замѣчательнаго не выработается. А въ Бодлевскомъ, напротивъ, таился своего рода геній...

Провъ Викулычъ, обрѣтавшійся на сей разъ за буфетною стойкой, степенно поклонился ему, по обычаю своему, больше глазами, чѣмъ головой, и пригласительно указалъ рукою на узорную дверь чистой половины, а самъ, конечно, не замедлилъ сію же минуту юркнуть въ свою дверцу, на квартиру за Юзичемъ.

Послѣ короткихъ переговоровъ о томъ, что дѣло будетъ стоить двадцать рублей, Юзичъ получилъ впередъ съ Бодлевскаго деньги и ввелъ его въ заповѣдную квартиру черезъ наружную ея дверку, мимо буфетчика, который сдѣлалъ видъ, будто ничего не замѣчаетъ. Тамъ, на столѣ, тускло горѣлъ сальный огарокъ, едва освѣщая фигуры семи человѣкъ, сгруппировавшихся вокругъ стола, за которымъ возсѣдалъ красноносый чиновникъ—тотъ самый, что поутру на чистой половинѣ углублялся въ полицейскую газету. Онъ тасовалъ замасленную колоду картъ, и умоляющимъ голосомъ обращался къ рыжему, угрюмому господину съ портфелемъ въ рукахъ.

— Ну, сдѣлай ты мнѣ такое божеское одолженіе! Сорокъ грѣховъ тебѣ за это простится, мошенникъ ты эдакій! говорилъ онъ ему. — Ну, что́ тебѣ стоитъ! Душечка моя! сваляемся на одну игорку.

— Сказано, нѣтъ! зарычалъ на него рыжій, сверкая изподлобья своими угрюмыми глазами.—Нашелъ дурака: сваляйся съ нимъ до дѣла, а онъ, пожалуй, отначится — такъ я, значитъ, двойнаго сламу долженъ лишиться! Ишь ты вицмундирникъ какой? губа-то у тебя не дура! Ты прежде дѣло сдѣлай, а тамъ, пожалуй, ступнемся на счастье.

— Все струментъ свой отыграть хочетъ, пояснилъ Юзичу одинъ изъ семерыхъ, лукаво подмигивая на красноносаго чиновника, который, вѣроятно, чувствуя себя очень огорченнымъ отвѣтомъ рыжаго, только вздохнулъ отъ глубины души и смиренно, съ видомъ угнетенной невинности, воздѣлъ къ потолку глаза свои, какъ-бы говоря этимъ: «Ты видишь, Господи, сколь много и неправо обиженъ я»!

Никто изъ присутствующихъ не поклонился Бодлевскому при входѣ, и вообще не выразилъ ни словомъ, ни знакомъ какимъ-либо привѣтствія; но всѣ очень внимательно и безцеремонно вымѣряли его своими взглядами.

Эти семь человѣкъ были виленскіе и витебскіе мѣщане, извѣстные въ трущобахъ подъ общимъ именемъ «виленцовъ», и занимавшіеся спеціально поддѣлкой паспортовъ. Профессія эта преемственно и до сихъ поръ продолжается въ Петербургѣ между выходцами изъ двухъ означенныхъ губерній.

— Готово! сказалъ Юзичъ, обращаясь безлично ко всей компаніи.

— Значитъ, можно въ ходъ *помадку* [1]) пускать? спросилъ чиновникъ, съ добродушной улыбкой, въ которой, однако, такъ и просачивалась алчность акулы.

— А ты, голова, зачѣмъ мухорта съ вѣтру привелъ? безцеремонно вмѣшался рыжій, бросая непріязненные взгляды на Бодлевскаго. — Зачѣмъ морды казать? Не всякой вѣдь рожѣ калитки ѣсть!

— Ничего, мухортъ съ нами заодно поѣстъ, благодушнымъ тономъ успокоивалъ его чиновникъ.

— А коли облопается, да клюю прозвонитъ [2]).

— А мы на сей конецъ не дураки: прикосновенность учинимъ, къ дѣлопроизводству притянемъ — и выйдетъ дѣвица того же хоровода. На себя не всякъ вѣдь показывать-то охочь, возразилъ на это канцелярско-крючковатымъ тономъ чиновникъ.

---

[1]) *Помадой* называется извѣстная система, манера, метода дѣйствія и пріемовъ при совершеніи воровства. *Пустить въ ходъ помаду*—значитъ, производить самый актъ воровскаго или иного подходящаго къ этому роду дѣйствія. *Помадой* также называется долото.

[2]) А если попадется, да на слѣдствіи приставу разскажетъ?

Рыжій, вѣроятно, восчувствовавъ силу послѣдняго аргумента, ничего не отвѣтилъ, только сплюнулъ въ сторону.

Чиновникъ, потирая свои красныя, дрожащія руки, всталъ съ мѣста, и съ особеннымъ, какимъ-то сладенькимъ подходцемъ приблизился къ Бодлевскому.

— Намъ надо познакомиться, сказалъ онъ весьма любезно. — Вмѣстѣ уху станемъ стряпать — вмѣстѣ хлебать; значитъ, дѣло товарищеское. Честь имѣю рекомендоваться! присовокупилъ онъ, отдавая скромный поклонъ: — отставной губернскій секретарь Пахомъ Борисовъ Пряхинъ. Нынѣ приватно въ конторѣ квартальнаго надзирателя письмоводствомъ занимаюсь.

Бодлевскій, при этомъ послѣднемъ сообщеніи, сдѣлалъ весьма удивленную мину, такъ что Пахомъ Борисычъ поспѣшилъ пояснить ему, съ обычнымъ, добродушнымъ вздохомъ:

— Что дѣлать-сь! бываютъ обстоятельства, когда всякъ человѣкъ на предлежащемъ ему мѣстѣ къ пользѣ ближняго нуженъ бываетъ. А это-съ — прибавилъ онъ, указывая на членовъ своей компаніи: — это — ближніе мои. Такъ-то-съ!...

Бодлевскій слегка поклонился, но ближніе не удостоили его поклонъ ни малѣйшимъ вниманіемъ. Они вообще были не совсѣмъ-то довольны присутствіемъ при дѣлѣ посторонняго человѣка.

— Предварительно, началъ опять чиновникъ: — позвольте попросить у васъ рюмку водки, а то у меня трясучка съ перепою: рука нетверда-съ. Я, повѣрьте, не столько для себя, сколько собственно для руки прошу. Позвольте монетку-съ!

Бодлевскій далъ ему сколько-то мелочи, которую чиновникъ тотчасъ же опустилъ въ свой карманъ, и подойдя къ полочкѣ, гдѣ стоялъ заранѣе купленный имъ же самимъ полштофъ водки, налилъ себѣ рюмку, и, нацѣлясь, проглотилъ ее залпомъ.

— А теперь — приступимъ благословясь, ибо всякое доброе начинаніе напутственнаго благословенія требуетъ, говорилъ онъ со своею улыбкою, творя крестное знаменіе и, потирая руки, сѣлъ на прежнее мѣсто.

Угрюмый рыжій молча положилъ передъ нимъ портфѣль, и вынулъ изъ кармана какія-то двѣ стклянки. Въ одной заключалась жидкость черная, въ другой — чистая, какъ вода.

— Мы вѣдь — химики: наукой тоже занимаемся! шутливо пояснилъ Бодлевскому Пахомъ Борисычъ, и вслѣдъ затѣмъ скомандовалъ:

— Чижикъ! *на стрему* [1]).

Молодой парень поднялся съ постели, на которой было-развалился, и вышелъ изъ «квартиры» въ наружную дверку.

— Ну-съ, а теперь *затыньте-ка* [2]), братцы, хорошенько! предложилъ чиновникъ остальнымъ—и вся компанія тѣсно стала, локоть къ локтю, вокругъ стола. — А мы газетку вынемъ, да на столикъ положимъ — тутъ же вотъ, рядышкомъ съ портфелькой. Это, изволите ли видѣть, пояснилъ онъ Бодлевскому: — собственно на тотъ конецъ дѣлается, еслибы, избави насъ Боже, посторонній человѣкъ въ нашу келейную бесѣду ворвался — такъ мы, какъ будто ничего, яко агнцы какіе непорочные, сидимъ и мирно извѣстія съ политическаго горизонта читаемъ. Понимаете-съ?

— Какъ не понять!

— Извѣстно-съ... А теперь не угодно ли?... Извольте намъ со всею откровенностію, яко предъ зерцаломъ, объявить: къ какому званію и состоянію желаете вы приписать извѣстную вамъ особу— по купечеству ли, или въ дворянское сословіе?

— Я думаю, въ дворянское лучше будетъ, замѣтилъ Бодлевскій.

— Всеконечно такъ! по крайней-мѣрѣ, пріобрѣтается право безпрепятственнаго проѣзда во всѣ города и селенія россійской имперіи. Посмотримъ, нѣтъ ли у насъ чего подходящаго?

И Пахомъ Борисычъ, раскрывъ портфѣль, наполненный всевозможными паспортами, плакатами, увольнительными свидѣтельствами и иными видами, сталъ перебирать эти бумаги, не вынимая, впрочемъ, ни одной изъ портфѣля: все на этотъ конецъ — если какая тревога случится, такъ чтобъ немѣшкотно спрятать ихъ.

— Ага! новенькій! воскликнулъ онъ, разглядывая какой-то видъ.— Откуда это?

— Отъ одного человѣка пріѣзжаго добылъ, пробурчалъ себѣ подъ носъ рыжій.

---

[1]) *На стрёму*—на сторожку.

[2]) *Затынить*—скрыть, заслонить.

— Те-те-те! совсѣмъ подходящее дѣльце! Дворяночка-съ! съ удовольствіемъ говорилъ чиновникъ, продолжая разсматривать видъ.— Очевидно, нынѣ самъ Господь-Богъ помогаетъ — вотъ оно что значитъ благословенье-то! А Вольтеры-поди жь ты вонъ! — другое толкуютъ! (Пахомъ Борисычъ видимо старался блеснуть своимъ образованіемъ). Нда-съ... «Дано сіе изъ ярославскаго губернскаго правленія», продолжалъ онъ, уже читая текстъ вынутаго имъ вида: «дано сіе вдовѣ коллежскаго ассесора Маріи Солонцовой на свободное прожительство» и т. д., какъ слѣдуетъ быть по надлежащей формѣ. Здѣсь, что ли, добыто? обратился онъ снова къ рыжему.

— Въ Москвѣ, сказывалъ...

— Нешто стыренъ?

— Амба! лаконично и еще угрюмѣе обыкновеннаго выговорилъ рыжій.

— *Амба*! повторилъ серьёзнымъ тономъ чиновникъ, какъ-бы преисполнясь особеннымъ уваженіемъ къ той бумагѣ, которую онъ держалъ въ рукахъ. — Амба!... такъ вотъ какъ! Въ домухѣ опатрулено [1]).

— Клёвѣй, братъ! почти-что *на гопъ* [2]): у Рогожскаго, сказывалъ.

— Ну, это точно что клёвѣй; потому, значитъ, только и послѣдствій, что въ вѣдомостяхъ пропечатаютъ: того-то, молъ, числа усмотрѣно неизвѣстнаго званія и состоянія...

— А ты ѣшь пирогъ съ грибами! сурово перебилъ его рыжій.— Видно, съ одной рюмки-то мѣлево расшатало?

— Что жъ! Я — ничего! кочевряжился въ отвѣтъ на это замѣчаніе Пахомъ Борисычъ. — Я только говорю, что отпусти Господи

---

[1]) *Амба*—убить; собственно означаетъ ударъ, или еще ближе—то движеніе, которое дѣлаетъ рука, нанося ударъ. Подъ словомъ *амба* исключительно подразумѣвается ударъ на смерть, наносимый сразу и съ такою силой, чтобы жертва, даже и не вскрикнувъ, падала мертвою. Собственно же убить—значитъ, *зарикнуть*, зарѣзать—*осежевать скотинку* (свѣжинца), *освѣжуемъ*—зарѣжемъ. Языкъ, какъ видите, довольно образный и выразительный. *Домуха*—домъ; *опатрулить*—обобрать или вообще обдѣлать подходящее дѣло въ дому, въ квартирѣ.

[2]) *На гопъ*—въ полѣ или въ лѣсу.

рабу твоему, потому что, въ силу 332-й и 727-й статей Свода уголовныхъ узаконеній, за это надо сгорѣть.

Едва успѣлъ онъ выговорить эти слова, какъ ударъ съ размаху по головѣ, который молча нанесъ ему рыжій, заставилъ его стукнуться затылкомъ въ стѣну и ужь, конечно, замолчать на минуту — такъ-что онъ только глазами заморгалъ отъ боли.

— Это что же? оскорбленіе чести можно сказать... заборматалъ оторопѣлый Пахомъ Борисычъ: — теперь я и работать не могу: въ головѣ трескъ и темень... Ей-богу, не могу... Надо, по крайности, рюмку для прояснения...

— Ну! чортъ, ступай, пей! разрѣшилъ ему рыжій: — да гляди: если еще разъ мелево пустишь — не заставь руку расходиться! — *ломату* задамъ добрую! [1]).

Оскорбленный Пахомъ Борисычъ молча пропустилъ въ себя рюмку, молча воротился на мѣсто и молча же принялся за работу.

Онъ откупорилъ стклянку съ безцвѣтною, чистою жидкостью и вынулъ изъ портфеля тщательно завернутую въ бумажку рисовальную кисточку.

— Ну, полно, дядинька! развеселись-ко! Стоитъ изъ-за пустяковъ такихъ? утѣшалъ его Юзичъ, ободрительно похлопывая по плечу—и Пахомъ Борисычъ дѣйствительно развеселился.

— Извѣстно, не стоитъ! заговорилъ онъ своимъ обычнымъ тономъ, въ которомъ, однако, замѣтно слышалось чувство собственнаго достоинства:—я и вниманія не хочу обращать, потому честь и амбицію свою несравненно выше того полагаю. Меня это обидѣть не можетъ. Военные за это между собою на поединки выходятъ, гражданскіе чины по закону деньгами безчестіе взыскиваютъ, а съ него что взять? Одно остается—простить ему это.

Это означало, что Пахомъ Борисычъ въ глубинѣ сердца своего былъ очень оскорбленъ.

— Ну, вотъ ты и прости! предложилъ ему Юзичъ.

— Я и простилъ!.. махнувши рукой произнесъ Пряхинъ.—Такъ вамъ угодно ли будетъ извѣстную особу переименовать въ Марію

---

[1]) *Ломата*—побои; *задать ломату*—выраженіе, равносильное трепкѣ.

Солонцову—вдову коллежскаго ассессора? обратился онъ къ Бодлевскому.

XI

Капитанъ золотой роты

Бодлевскій не успѣлъ еще въ отвѣтъ на это утвердительно кивнуть ему головою, какъ вдругъ наружная дверка быстро распахнулась, и въ комнату стремительно влетѣлъ высокаго роста мужчина, статный, сильный и красивый блондинъ, немного косоватый, съ золотыми очками и въ форменномъ военномъ сюртукѣ.

Компанія испуганно повернула къ нему головы, но не тронулась съ мѣста: какъ стояла она, тѣсно сплотившись вокругъ стола, такъ и теперь осталась.

— Здорово, соколики, виленцы почтенные! Вы это что тутъ? какими дѣлами занимаетесь? заговорилъ онъ, въ одно мгновеніе подлетая къ столу и садясь на стулъ вскочившаго Нахома Борисыча.

— Это что такое? продолжалъ онъ, захватывая одною рукою стклянку съ безцвѣтною жидкостью, а другою видъ вдовы коллежскаго ассессора.—Это у васъ, значитъ, хлористая жидкость для вытравливанія чернилъ? Хорошо-съ! А это чей-то видъ—значитъ, мы тутъ пачпортики поддѣлываемъ? Важно! Отмѣнно важно! Ай-да молодцы! Что дѣло, то—дѣло! Гей! Свидѣтели!

И блондинъ довольно рѣзко свиснулъ. Изъ наружной дверки появились двѣ лихія физіономіи, торчавшія на плечахъ весьма внушительнаго свойства.

Рыжій, молча, подошелъ къ блондину и яростно схватилъ его за воротъ. Остальные, въ тотъ же моментъ, моразобрали — кто стулъ, кто палку, кто желѣзный ломъ и приготовились къ защитѣ.

Блондинъ, между тѣмъ, отнюдь не измѣняя въ лицѣ самоувѣренно-хладнокровнаго и спокойнаго выраженія, быстро опустилъ руки въ карманы и вынулъ пару маленькихъ двухствольныхъ пистолетовъ. Въ наступившей тишинѣ, которою сопровождалась вся эта сцена, ясно было слышно, какъ щелкнули на двухъ взводахъ курки подъ его пальцами. Онъ поднялъ правую руку и направилъ дуло въ упоръ къ груди своего противника.

Рыжій отпустилъ его воротъ, и презрительно скося на него свои глаза, сверкавшіе ненавистью и злостью, молча отошелъ въ сторону.

— Сколько надо будетъ дать? глухо спросилъ онъ.

— Ага!... Вотъ этакъ-то лучше! и давно бы такъ слѣдовало! заговорилъ блондинъ, спокойно усѣвшись на стулѣ и слегка поигрывая своими пистолетами.—А вы за сколько работаете?

— За одну красную, отвѣтилъ рыжій.

— Мало. Мнѣ гораздо больше надо; да впрочемъ, вы, милый мой, врёте; я вѣдь знаю васъ: вы менѣе какъ за бѣленькую и рукъ марать не станете.

— Благодаримъ за комплиментъ! вмѣшался Пахомъ Борисычъ.

Блондинъ съ усмѣшкой кивнулъ ему головою.

— Мнѣ надо гораздо больше, настойчиво и съ внушительной разстановкой повторилъ онъ:—и если вы мнѣ не дадите, по крайней-мѣрѣ, двадцати-пяти —такъ я сію же минуту донесу на васъ полиціи, а вотъ—и двое свидѣтелей кстати.

— Сергѣй Антонычъ! господинъ Ковровъ! помилосердствуйте! откуда жь взять намъ столько! Какъ передъ Богомъ, такъ и передъ вами говорю! вѣдь насъ десять человѣкъ. Да васъ трое; да кромѣ того троимъ: мнѣ, Юзичу и Грѣчкѣ двойной сламъ слѣдуетъ, убѣждалъ его умоляющимъ голосомъ Пахомъ Борисычъ.

— Грѣчкѣ, за то, что осмѣлился меня за воротъ схватить— вовсе сламу не полагается; впередъ наука! порѣшилъ Сергѣй Антонычъ.

— Господинъ Ковровъ! началъ снова чиновникъ:—мы съ вами люди благородные...

— Что-о? что́ ты такое сказалъ? презрительно перебилъ его Ковровъ.—Себя на одну доску со мною поставилъ! Ха-ха-ха! Нѣтъ, братъ, я пока еще на царской службѣ состою и съ мундиромъ честь свою ношу! Я, братъ, себя порокомъ или воровствомъ какимъ не маралъ еще, слава-богу! а *ты* что́ такое?

— Гм!... а Золотая-то рота? кто капитаномъ-то считается? злобно и какъ-бы про себя замѣтилъ Грѣчка.

— Кто считается? Я—поручикъ черноярскаго драгунскаго полка Сергѣй Антоновичъ Ковровъ! Слышали? — Я считаюсь! гордо и высокомѣрно сказалъ онъ, окидывая компанію своими самоувѣрен-

ными взглядами.—А вы всѣ еще и не доросли до Золотой-то роты, потому вы—трусишки! Чупровъ! крикнулъ онъ одному изъ своихъ:—ступай, сними маску съ Чижика, а то мальчишка, пожалуй, еще задохнется, и руки развяжи ему кстати, да дай еще добраго подзатыльника, чтобъ впередъ получше караулилъ.

«Маска», которую употреблялъ въ подобныхъ обстоятельствахъ Ковровъ, была не что иное, какъ клеёнка, вырѣзанная въ величину человѣческаго лица и съ одной стороны густо смазанная липкимъ варомъ, посредствомъ терпентиннаго масла приведеннымъ въ нетвердѣющее состояніе. Ковровскіе молодцы употребляли этотъ «струментъ» съ изумительной сноровкой: обыкновенно дѣлалось такъ, что одинъ изъ нихъ, тихо подкрадываясь сзади къ избранной жертвѣ, ловкимъ ударомъ влѣплялъ ей въ физіономію липкую клеёнку—и жертва тотчасъ же становилась нѣма и слѣпа, задыхаясь отъ недостатка воздуха; за симъ, если представлялась надобность, скрученныя назадъ руки перетягивались бичевой и начиналась дальнѣйшая «помада», смотря по тому, нужно ли было ограбить или совершить что-либо иное.

Золотая рота образовалась въ половинѣ тридцатыхъ годовъ. Первыми основателями ея были три польскіе дворянина. Она никогда не отличалась многочисленностью своихъ членовъ, за то всѣ ужь они могли съ честью назваться отчаяннѣйшими головорѣзами, которые нигдѣ и ни въ чемъ не знали преградъ для своихъ самыхъ дерзкихъ подвиговъ. Настоящій вожакъ этой шайки, поручикъ Ковровъ, былъ въ полномъ смыслѣ то, что́ называется triple canaile. Дерзкій, храбрый и самоувѣренный, онъ обладалъ, кромѣ того, еще красотою, манерами и свѣтскимъ лоскомъ, извѣстнымъ подъ именемъ образованія. Передъ членами Золотой роты и въ особенности передъ Ковровымъ трепетали всѣ остальные хороводы. Онъ повсюду имѣлъ своихъ тайныхъ агентовъ, которые незамѣтно, но зорко слѣдили за каждымъ предпріятіемъ мазуровъ. Въ моментъ исполненія такого предпріятія, на мѣсто дѣйствія вдругъ нежданно-негаданно являлся Ковровъ съ кѣмъ-либо изъ своихъ и требовалъ контрибуцію, грозя въ противномъ случаѣ тотчасъ же донести полиціи—и мошенники, для того, чтобы «смирить ему звонокъ», невольно должны были жертвовать часть сламу, какую онъ самъ заблаго-

разсуждалъ себѣ назначить. Дѣйствуя необыкновенно ловко и тонко во всѣхъ своихъ предпріятіяхъ, онъ велъ себя такъ, что подъ него никакъ нельзя было подпустить иголки, и такимъ образомъ грабилъ вдвойнѣ: и мирныхъ обывателей града С.-Петербурга, и мазуриковъ вмѣстѣ. Подобный промыселъ искони существуетъ въ мазурничьемъ мірѣ: между ними есть разрядъ людей, которые сами никогда не пускаются на воровство, но промышляютъ собственно тѣмъ, что узнаютъ о всякой покражѣ, и за одно это знаніе, за одно отрицательное соучастіе свое, получаютъ извѣстную долю—лишь бы только молчали, да полиціи не выдали. Впрочемъ, надо прибавить, что подобныхъ людей въ этомъ мірѣ очень немного, и всѣ они пользуются у самихъ мазуриковъ глубочайшимъ презрѣніемъ. Не пользовался имъ только Ковровъ, но это потому, что онъ вообще дѣйствовалъ en grand и пускался со своею Золотой ротой на такіе отчаянные, рискованные подвиги, о какихъ остальные хороводы и мечтать не дерзали. Мазурики, какого бы разряда они ни были, вообще очень уважаютъ рискъ, хитрость и силу — поэтому они и Коврова уважали, боясь и ненавидя его въ то же время до послѣдней степени.

— Кому это пачпортъ изготовляете? спросилъ онъ, взявъ со стола бумагу и преспокойно запихивая ее въ свой карманъ.

Грѣчка кивнулъ головой на Бодлевскаго.

— Ага, такъ это для васъ? очень пріятно слышать! сказалъ Ковровъ, смѣривая его глазами. — Итакъ, господа, двадцать-пять рублей, или прощайте — до пріятнаго свиданія въ слѣдственной камерѣ.

— Господинъ Ковровъ! позвольте съ вами говорить по чести! вмѣшался опять Пахомъ Борисычъ. — Мы взяли за дѣло двадцать рублей—вамъ весь хороводъ дастъ въ этомъ свое честное слово!— вѣдь не подлецы же мы какіе! Вѣдь не станемъ же мы изъ-за двадцати какихъ-нибудь паршивыхъ рублишекъ лгать вамъ и марать честь своего хоровода!

— Вотъ это—дѣло! это хорошо сказано! Хорошее слово я люблю и всегда готовъ уважить! поощрительно замѣтилъ Сергѣй Антоновичъ.

— Ну, такъ сообразите же сами, продолжалъ чиновникъ: — со-

образите, что, отдавши вамъ всю выручку, мы всѣ на нищахъ должны остаться! За что же нашему труду пропадать занапрасно?

— Пусть вотъ они заплатятъ! сказалъ Ковровъ, вскинувъ глаза на Бодлевскаго.

Бодлевскій снялъ съ себя золотые часы — единственное наслѣдство отъ своего отца, и вмѣстѣ съ оставшимися пятью рублями, бросилъ ихъ на столъ передъ Ковровымъ.

Ковровъ опять вымѣрялъ его глазами и улыбнулся.

— Вы—благородный молодой человѣкъ, сказалъ онъ: — вашу руку! Я вижу, вы далеко пойдете...

И онъ съ чувствомъ пожалъ руку гравёру.

— Только надобно вамъ знать на будущее время, прибавилъ онъ дружески-внушительнымъ тономъ:—что я въ своихъ сношеніяхъ съ *этимъ* народомъ никогда не пользуюсь вещами, а всегда заставляю платить контрибуцію чистыми деньгами. Эй, вы! крикнулъ онъ, обращаясь къ компаніи:—ступайте кто нибудь съ часами къ вашему святошѣ Прову Викулычу—пусть онъ мнѣ размѣняетъ ихъ по совѣсти—слышите ли, *по совѣсти*?! на двѣ трети того, что стоютъ: вещь хорошая, въ магазинѣ надо шестьдесятъ рублей заплатить. Да пусть приготовитъ мнѣ *ерша въ салфеткѣ* [1]); я приду къ нему въ гости, а иначе—плохо будетъ! крикнулъ онъ въ догонку удалявшемуся Юзичу, который черезъ минуту возвратился и подалъ Коврову сорокъ рублей. Ковровъ пересчиталъ и положилъ себѣ двадцать въ карманъ, а остальные молча, но съ джентльменской улыбкой возвратилъ Бодлевскому.

— Одно вынимается, а другое кладется на смѣну, сказалъ онъ, подавая Бодлевскому видъ вдовы коллежскаго ассесора. — Теперь старый плутъ Пахомка можетъ и за дѣлопроизводство свободно приниматься.

— Да что жь тутъ приниматься? съ улыбочкой замѣтилъ Пахомъ Борисычъ.—Видъ вѣдь чистенькій, дворянскій; особыхъ примѣтъ, якобы глаза сѣрые, носъ умѣренный, писать по закону не требуется—значитъ, и такъ сойдетъ полегоньку. А теперь бы мнѣ вотъ рюмочку, да потомъ и за трыночку, заключилъ онъ, направ-

[1]) Такъ спеціально въ Ершахъ называется бутылка шампанскаго, которую подаютъ обернутую въ салфеткѣ.

ляясь къ штофу и на пути пригласительно показывая Грѣчкѣ колоду картъ.

— Мы съ вами будемъ знакомы; мнѣ ваше лицо понравилось, и потому, надѣюсь, сдѣлаемся друзьями, сказалъ Ковровъ, вторично пожимая Бодлевскому руку.—А теперь пойдемте—выпьемъ. Вы мнѣ за стаканомъ разскажете, для чего вамъ нуженъ этотъ пачпортъ, а я, за вашъ поступокъ съ часами, зла вамъ не пожелаю. Въ этомъ даетъ вамъ свое честное слово поручикъ Сергѣй Ковровъ! Я тоже умѣю быть великодушнымъ! заключилъ онъ—и новые друзья, въ сопровожденіи всей компаніи, направились въ «чистую половину».

Ночная оргія въ Ершахъ находилась уже въ полномъ своемъ разливѣ. Былъ двѣнадцатый часъ ночи. Чистая половина вполнѣ представляла собою смѣшеніе языковъ. Грязь ея обстановки какъ-то сама собою утроилась къ этому заповѣдному часу ночной ершовской жизни. Публику составляли почти исключительно мазурики, покончившіе дневные счеты и съ горя, обсчитанные мѣшками, а наипаче Провомъ Викулычемъ, угарно пропивали ему же свои послѣдніе гроши. Подлѣ каждаго почти сидѣла женщина весьма непрезентабельной наружности. Компанія мастеровыхъ—все та же, которая и днемъ тутъ засѣдала, по сію пору разваливалась на прежнемъ своемъ мѣстѣ, за двумя составленными столами; только почтенные члены ея, что называется, «лыка не вязали», обрѣтаясь въ томъ вяломъ состояніи, когда человѣкъ становится уже «непомнящимъ родства». Одинъ только угощатель-мальчонка сохранялъ еще кое-какіе безсознательно-нервные признаки усиленной жизненной дѣятельности. Онъ, закрывъ свои отяжелѣвшіе глаза, какъ-то конвульсивно размахивалъ въ безпорядкѣ руками, опрокидывая на скатерть пивныя бутылки и стаканы, судорожно моталъ головою и повременамъ съ большимъ усиліемъ выкрикивалъ какіе-то дикіе, безмысленные звуки.

Одинъ только Провъ Викулычъ, посреди этого всеобщаго хаоса, невозмутимо сохранялъ свою благоразумную степенность за буфетною стойкой; и чѣмъ солиднѣе казался онъ, тѣмъ рѣзче являлъ собою этотъ контрастъ со всѣмъ окружающимъ. А на «квартирѣ», гдѣ, при нагорѣломъ сальномъ огаркѣ, Пахомъ Борисычъ и Грѣчка

азартно рѣзались въ трынку, шла своя обычная дѣятельность, подъ бдительнымъ присмотромъ и руководствомъ вездѣсущаго Прова Викулыча, неперестававшаго съ извѣстными интервалами юркать въ свою дверцу. Тамъ поминутно уходили и приходили его довѣренные люди: ювелиры, которымъ онъ продавалъ золотыя вещи; портные и скорняки, покупавшіе платье и мѣха, и, наконецъ, еще одинъ разрядъ личностей, преимущественно изъ евреевъ, промыселъ которыхъ состоялъ въ томъ, чтобы нѣкоторыя вещи, какія почему-либо неудобно или опасно было оставить въ Петербургѣ, увозить въ Москву и въ другіе города, гдѣ ужь онѣ сбывались безъ всякаго опасенія и за хорошія деньги. Занятія этого послѣдняго рода требуютъ особенной честности — и, надо отдать справедливость Прову Викулычу—онъ умѣлъ выбирать людей. Впрочемъ, честность эта обусловливалась и самою выгодой такого промысла, требующаго особенной ловкости, предусмотрительности и сноровки: надо знать — гдѣ, что, когда и какъ и кому выгоднѣй сбывается и какими куда путями удобнѣе добираться.

Между тѣмъ говоръ и восклицанія перекрещивались межъ собою по всѣмъ угламъ «чистой половины», и мѣшались съ звуками пѣсни, подъ акомпаниментъ торбана и ложекъ. Эти послѣдніе звуки производили два артиста, которые въ то время, къ одинадцати часамъ ночи, постоянно являлись въ Ерши, развлекать своимъ искуствомъ ночныхъ посѣтителей. Торбанистъ — Мосей Маркычъ, сухощавый высокій брюнетъ, очень серьёзнаго и меланхолическаго вида, былъ точно истинный артистъ: его пальцы съ необыкновенною быстротою и художественнымъ тактомъ бѣгали по струнамъ торбана, и когда увлекался онъ извлекаемыми имъ звуками, все лицо его какъ будто преображалось: свѣтлѣло или туманилось, съ каждымъ музыкальнымъ переходомъ. Не менѣе художникомъ въ душѣ былъ и товарищъ его, пѣвецъ и ложечникъ—Иванъ Родивонычъ, курносый, рябой, приземистый и широкоплечій костромичъ, въ поддёвкѣ и красной рубахѣ. Когда онъ своимъ немножко гнусявымъ теноркóмъ «отхватывалъ» какую-нибудь *чибирячку* [1])—всѣ поджилки и сустав-

---

[1]) Чибирячкою называется каждая веселая пѣсня съ скандалезнымъ характеромъ.

чики его, словно на пружинкахъ, ходенемъ ходили: ходили брови и скулы, ходили плечи, и руки, и пальцы, и коротенькія полѣшки-ноги; ходила, наконецъ, грудь, и даже самый животъ, которыми онъ выдѣлывалъ удивительныя штуки, къ общему удовольствію столпившихся слушателей. Мы потому такъ обращаемъ вниманіе читателя на Мосея Маркыча съ Иваномъ Родивонычемъ, что ему еще придется впослѣдствіи встрѣчаться съ этими двумя личностями, составляющими необходимое звено трущобной жизни, и даже ея свѣтлую сторону, если въ ней таковая только возможна.

«Что ты черенъ воронъ вьешься
Надъ моею головой?»—

чувствительно гнусилъ Иванъ Родивонычъ, а Мосей Маркычъ баскомъ подтягивалъ ему:

«Ты добычи не дождешься
Я не твой, нѣтъ, я не твой!»

«Мое тѣло здѣсь не тлѣетъ—
Тлѣетъ лишь одна душа»—

еще чувствительнѣе выводилъ свои верхнія нотки Иванъ Родивонычъ.

И она-то разумѣетъ
Сколько ты, Маша, хороша!—

вторилъ ему басокъ Мосея Маркыча. Слушатели оставались въ полномъ восторгѣ.

— Здорово, ребята! гаркнулъ съ авторитетомъ лихого ротнаго командира Ковровъ, молодцовато входя въ комнату, подъ руку съ Бодлевскимъ.

— Разъ, два, ваше-ство! крикнули въ отвѣтъ артисты. Почти вся остальная публика, которой хотя бы и по слухамъ былъ только извѣстенъ Сергѣй Антоновичъ, почтительно привстала съ мѣстъ и поклонилась.

— Садись, ребята! пей и гуляй, не стѣсняясь! снова скомандовалъ Ковровъ и обратился къ музыкантамъ:

— Ершовскую! да живѣе!

Мосей Маркычъ, встряхнулъ своей черной, курчавой головой, ударилъ по струнамъ , а Иванъ Родивонычъ звякнулъ ложками и пошелъ въ припляску:

Какъ на гору, значитъ, ежъ ползетъ—
Подъ горою горемыка йдетъ.
Ты куды же, куды ежъ ползешь?
Ты куды же горемыка йдешь?
Я иду-ползу на барскій дворъ,
Ко Агафьѣ свѣтъ-Ивановнѣ,
Къ Серафинѣ Сарафановнѣ.

И вдругъ на этомъ послѣднемъ стихѣ онъ какъ-то конвульсивно встряхнулся всѣмъ тѣломъ, лихо топнулъ ногами, еще лише подзвякнулъ ложками—и вся компанія, наполнявшая эту комнату, съ гикомъ, свистомъ и какимъ-то жиганьемъ, подхватила вслѣдъ за нимъ, стуча и топая каблуками:

Ахъ, ерши, ерши, ерши, ерши, ерши—да!
Все по четверти ерши, ерши, ерши—да
По полу-вершку ерши, ерши, ерши—да
Запущу такъ и держи, держи, держи!

— Тукъ-тукъ, у воротъ! выкрикнулъ Иванъ Родивонычъ, стараясь перекричать весь этотъ шумъ, гамъ и топотъ.

— Кто тутъ? вопросилъ его Мосей Маркычъ.

— Ёжъ!

— Зачѣмъ пришелъ?

— Попить-погулять съ вашимъ дѣвкамъ баловать.

— Чтó принесъ?

— Грошъ.

— Ступай прочь: хвостъ нехорошъ!

— Тукъ-тукъ, у воротъ! повторилъ опять Иванъ Родивонычъ.

— Кто тутъ? своимъ заученымъ тономъ снова отвѣтилъ Мосей Маркычъ.

— Ёжъ!

— Чтó принесъ?

— Пятакъ!

— Шишки! идешь не такъ! порѣшилъ торбанистъ—и ложечникъ снова пустился въ припляску:

Загуляла тутъ ежова голова,
На чужой сторонѣ живучи,
Много горя принимаючи,
Свою участь проклинаючи!

— Ахъ, ерши, ерши, ерши—да все по четверти ерши! подхватила въ отвѣтъ ему честная компанія съ новымъ неистовымъ гикомъ и жиганьемъ, еще сильнѣе прежняго, приходя въ какой-то дикій, шальной экстазъ отъ тѣхъ ловкихъ, размашистыхъ тѣлодвиженій, которыми сопровождались Ерши Ивана Родивоныча.

Оргія въ этомъ родѣ длилась далеко за полночь. Бодлевскій, все щупавшій свой боковой карманъ — тамъ ли его паспортъ, вышелъ наконецъ, изъ заведенія, словно въ какомъ-то чаду, съ крайне разстроенными нервами. Онъ чувствовалъ себя какъ-то тяжело-счастливымъ; его давило и сознаніе этого счастія, и чувство неизвѣстности того, что задумала Наташа, и вопросъ: какъ-то еще все это кончится, и убѣжденіе, что первое преступленіе имъ уже *сдѣлано*. Всѣ эти ощущенія свинцовымъ наплывомъ ложились на его душу, тогда-какъ въ ушахъ его свѣжо отдавался дикій отзвукъ ершовской пѣсни.

XII

Ключи старой княгини

Было девять часовъ вечера. Наташа засвѣтила ночную лампу въ спальной княгини Чечевинской и осторожно вышла въ смежную комнату приготовить ей передъ сномъ пріемъ успокоительныхъ порошковъ, которые только что прописалъ докторъ.

Княгиня все еще была очень слаба. Хотя безпамятство ея и миновалось, но повременамъ съ нею начинали дѣлаться истерическіе припадки; повременамъ она впадала въ забытье, и то нервно вздрагивала, то продолжительно дрожала всѣмъ тѣломъ. Мысль объ ударѣ, нанесенномъ ей дочерью, не покидала ее ни на минуту.

Наташа только что смѣнила съ дежурства горничную старуху. Ей предстояло просидѣть надъ больной до полуночи. Въ домѣ княгини всегда господствовала тишина, а во время болѣзни ея эта тишина удесятерилась. Всѣ ходили на цыпочкахъ и говорили шопотомъ, боясь кашлянуть или звякнуть въ буфетѣ чайной ложечкой. Дверные звонки были завязаны полотенцами и вся улица передъ домомъ широко и мягко устлана соломой. Къ девяти часамъ до-

машніе уже расходились по своимъ уголкамъ и ложились спать; одна только дежурная тихо сидѣла у изголовья старухи.

Наливъ полрюмки воды, Наташа всыпала туда порошокъ и вынула изъ домашней аптеки маленькую стклянку съ блѣдножелтоватою жидкостью. Это былъ опіумъ. Осторожно осмотрѣвшись вокругъ, она медленно приложила къ рюмкѣ горлышко стклянночки и вылила туда счетомъ десять капель. — «Будетъ достаточно», подумала она и усмѣхнулась. Лицо ея, какъ и всегда, было холодно-спокойно, и ни малѣйшая тѣнь какого-либо ощущенія не пробѣгала по немъ въ эту минуту.

Старуха, приподнятая подъ спинку Наташиной рукою, поморщась, проглотила поднесенное ей лекарство — и черезъ нѣсколько минутъ опіумъ оказалъ свое дѣйствіе: время отъ времени конвульсивно подергивая нижнею губою, она впала въ глубокій и тяжелый сонъ. Наташа чутко вытянувъ шею, неподвижно и внимательно изъ-за угла подушки глядѣла на ея лицо, слѣдя за симптомами одуренія, и когда убѣдилась, что сонъ окончательно оковалъ ея члены и что старуха вполнѣ уже лишена на нѣсколько часовъ возможности услышать что-либо и очнуться, она медленно пододвинула ближе къ изголовью больной свое кресло, и не сводя спокойно-внимательнаго взора съ ея лица, тихо запустила руку подъ нижнюю подушку. Подвигаясь впередъ съ величайшею осторожностью и не болѣе какъ на нѣсколько линій, рука ея поминутно останавливалась, чуть только оттѣнокъ малѣйшаго нервнаго движенія пробѣгалъ по лицу старухи, къ которому неотводно были прикованы глаза Наташи. Но старуха спитъ непробудно — и рука опять на какіе-нибудь полвершка тихо подвигается впередъ. Прошло уже около получаса, а глаза горничной все еще напряженно вперялись въ сонное лицо и рука все еще подвигалась впередъ подъ подушкой, уклоняясь повременамъ нѣсколько въ стороны и какъ-бы нащупывая тамъ что-то. Выраженіе Наташи было въ высшей степени спокойно и сосредоточенно, но въ этомъ спокойствіи, въ то же время, крылось нѣчто другое, заставлявшее предполагать, что если — не дай Богъ — очнется какъ-нибудь въ эту минуту старуха, то другая, свободная рука, въ то же мгновеніе задушитъ ея горло.

Наконецъ, кончики пальцевъ нащупали тамъ что-то твердое. «Это онъ!» подумала Наташа, и остановилась перевести духъ. Черезъ минуту, ухватясь за свою находку, рука ея также медленно и осторожно стала подвигаться назадъ.

Прошло еще съ добрыхъ десять минутъ, когда, наконецъ, Наташа увидала маленькую мошонку изъ разноцвѣтнаго сафьяна, какими обыкновенно торгуетъ городъ Торжокъ наряду съ другими своими сафьянными и золотошвейными издѣліями. Въ этой мошонкѣ у старой княгини хранились два ключа, съ которыми она никогда не разставалась: днемъ носила въ карманѣ, а ночью клала къ себѣ подъ подушку. Одинъ ключъ — обыкновенный — былъ отъ ея комода, другой — изящный, маленькій — отъ ея заповѣдной шкатулки.

Около часу спустя, ключи эти тѣмъ же порядкомъ и съ тою же осторожностью были положены на свое обычное мѣсто подъ подушку княгини.

Наташа тщательно вытерла рюмку своимъ носовымъ платкомъ, чтобы въ ней не оставалось ни малѣйшаго запаха опіуму, и спокойно, какъ и всегда, досидѣла часы своего дежурства.

XIII

Отомстила

Старуха проснулась на другой день часу въ первомъ. Докторъ, заѣзжавшій уже два раза утромъ, былъ даже доволенъ столь продолжительнымъ сномъ, котораго больная почти не знала со времени полученнаго ею удара, и который, по его мнѣнію, долженъ былъ произвести благодѣтельный переломъ болѣзни.

Княгиня издавна уже сдѣлала себѣ привычку—переглядывать свои финансовые документы, и повѣрять приходорасходныя книги. Всесильная привычка, образуя собою въ человѣкѣ нѣчто органическое, не пожидала ее и въ болѣзни; по крайней-мѣрѣ, въ то время, когда сознаніе и спокойствіе возвращались къ ней, она выдавала ключъ отъ комода, приказывала подать себѣ завѣтную шкатулку и затѣмъ, выславъ дежурную вонъ изъ комнаты, предавалась наединѣ

своему любимому занятію, превратившемуся теперь въ нѣчто весьма близкое къ дѣтской забавѣ. Она вынимала свои банковые билеты, именные и безъименные, и — то любуясь ихъ цвѣтными рисунками, то перекладывая съ мѣста на мѣсто—щупала толщину пачекъ, пересчитывала ихъ и нѣсколько тысячъ наличныхъ денегъ, на всякій случай лежавшихъ дома, и, наконецъ, бережно, въ порядкѣ опять укладывала все это въ шкатулку. Горничная, возвращаясь въ спальню по ея звонку, ставила шкатулку на старое мѣсто — и княгиня, послѣ этой забавы, чувствовала себя еще на нѣкоторое время спокойной и довольной.

Дежурныя уже успѣли достаточно познакомиться съ этою прихотью, и потому каждодневная подача шкатулки казалась имъ совершенно въ порядкѣ вещей, дѣломъ заведеннаго обыкновенія.

Принявъ какое-то лекарство, и обтеревъ лицо и руки полотенцемъ, смоченнымъ въ какомъ-то освѣжающемъ винегрѣ, княгиня приказала прочесть ей нѣсколько молитвъ, съ тою главой евангелія, которая слѣдовала на нынѣшній день, и затѣмъ приняла визитъ своего сына. Со времени ея болѣзни, то-есть съ тѣхъ поръ, какъ была сдѣлана духовная, утверждающая его единонаслѣдіе, онъ поставилъ себѣ не совсѣмъ-то веселою обязанностью являться къ матери каждое утро минутъ на пять; причемъ, ни разу не заводя разговора о сестрѣ, освѣдомлялся только о здоровьѣ, являлъ себя почтительнымъ сыномъ, и въ заключеніе нѣжно, со вздохомъ сокрушенія поцаловавъ руку, уносился на рысакѣ поторчать въ пріемной какой-нибудь танцовщицы или въ ресторанъ.

По уѣздѣ сына, старуха приказала достать себѣ шкатулку и, по обыкновенію, выслала вонъ изъ спальни дежурную женщину.

Это была великолѣпная шкатулка изъ чернаго дерева съ инкрустаціей изящнѣйшей отдѣлки.

Ключъ щелкнулъ въ замкѣ, пружинная крышка отскочила — и глаза княгини остановились неподвижно, пораженные недоумѣніемъ и ужасомъ.

Двадцати-четырехъ тысячъ наличными деньгами, которыя она сама своими руками положила вчера поверхъ прочихъ бумагъ—сегодня въ шкатулкѣ не было. Всѣхъ безъименныхъ банковыхъ билетовъ тоже не было. Билеты на имя дочери, княжны Анны, такж

исчезли. Оставались только именные — старухи и сына, да кое-какіе векселя. На мѣсто всего пропавшаго была положена записка съ надписью:

à madame
madame la princesse Tchetchevinsky.

Пальцы старой княгини такъ трепетали, что долгое время она не могла развернуть эту записку. Потерянные глаза ея дико бѣгали, какъ у помѣшанной. Наконецъ ей какъ-то удалось-таки развернуть почтовый листокъ — и она стала читать:

«Вы меня прокляли, прогнали и несправедливо лишили наслѣдства. Я у васъ краду мои деньги. Можете доносить полиціи; но въ то время, когда вы прочтете эту записку — ни меня, ни того, кто по моему порученію сдѣлалъ покражу, уже не будетъ въ Петербургѣ.

«Ваша дочь
«княжна Анна Чечевинская».

У старухи руки не опустились, но какъ нѣчто совсѣмъ ей непринадлежащее, безжизненное брякнулись на ея колѣни. Бѣгающіе, сумасшедшіе глаза остановились, и въ нихъ другъ появилось глубоко-осмысленное выраженіе. Княгиня дѣлала страшное, нечеловѣческое въ ея положеніи, усиліе, чтобы собрать все присутствіе духа и владѣть собою. Одинъ только слабый, глухой стонъ вырвался изъ ея груди, да зубы скрежетали. Она стала искать глазами огня, но лампа была потушена: матовый, синеватый просвѣтъ дня, сквозь опущенныя гардины, достаточно освѣщалъ эту комнату. Тогда старуха дикимъ, неровнымъ движеніемъ, напоминавшимъ подобныя же движенія перепуганныхъ обезьянъ, скомкала это письмо рукою, быстро положила его въ ротъ и конвульсивно, съ усиліемъ двигая челюстями, стала жевать его, стараясь проглотить поскорѣе.

Минута — и письмо уже не существовало. Княгиня заперла шкатулку и позвонила дежурную. Отдавши ей спокойнымъ голосомъ обычное приказаніе, она имѣла еще достаточно силы, приподнявшись на локтѣ, глядѣть, какъ та запирала комодъ, и потомъ положить къ себѣ подъ подушку на всегдашнее мѣсто торжковскую

шонку съ ключами. Послѣ этого она опять приказала ей выйдти.

Когда, спустя два часа, пріѣхавшій въ третій разъ докторъ захотѣлъ, наконецъ, поглядѣть больную и вошелъ въ ея спальню — тамъ уже лежалъ только вытянувшійся, окоченѣлый трупъ старухи.

Дочь княгини Чечевинской, послѣдняя отрасль древняго и никогда ничѣмъ незапятнаннаго рода — распутная женщина и воровка!

Наташа отомстила.

XIV

Ближайшія послѣдствія покражи

Въ тотъ же самый день утромъ, къ девяти часамъ, въ коммерческій банкъ хорошо одѣтая дама представила нумера нѣсколькихъ безъименныхъ билетовъ. Одновременно съ нею молодой человѣкъ, тоже весьма изящно одѣтый, представилъ билеты именные, на оборотѣ которыхъ былъ сдѣланъ рукою владѣтельницы передаточный бланкъ: «княжна Анна Чечевинская». По сличеніи съ подписью того же самого имени въ банковыхъ книгахъ, бланкъ признанъ дѣйствительнымъ — надпись дѣлала одна и та же рука.

Къ двѣнадцати часамъ, банковскій казначей хорошо одѣтой дамѣ выдалъ полтораста тысячъ наличными деньгами, а изящному молодому человѣку—семьдесятъ. Дама подписалась французскою подданной Терезой Доре, а молодой человѣкъ—костромскимъ купеческимъ сыномъ Иваномъ Афанасьевымъ.

Въ тотъ же самый день, только нѣсколько позднѣе, а именно въ началѣ второго часу, по парголовской дорогѣ — легковой извощикъ везъ двухъ сѣдоковъ: скромно-одѣтую молодую женщину, и скромно-одѣтаго молодого человѣка. Къ вечеру эти же самые путешественники ѣхали уже въ чухонской раткѣ по каменистой, горной финляндской дорогѣ, въ направленіи къ городу Або. Вёзъ ихъ вольнонаемный финскій крестьянинъ изъ-подъ Парголова, промышлявшій извозомъ.

Черезъ четыре дня хоронили въ Невскомъ монастырѣ старую

княгиню Чечевинскую. Провожающихъ было очень много, и между прочими m-me Шипонина съ тремя граціями. Всѣ съ нѣсколько таинственнымъ любопытствомъ перешоптывались между собою. Въ кругу дамъ особенно много шептались съ тремя граціями. Князь Шадурскій тоже присутствовалъ на похоронахъ, только безъ жены: m-me la princesse была нездорова, и тоже съ любопытствомъ разспрашивалъ и шептался. Хоронилъ старуху молодой сынъ ея, все старавшійся сдѣлать офиціально-печальную физіономію, и все забывавшій поминутно про это стараніе.

Княжны Анны на похоронахъ не было. Когда одна изъ трехъ грацій съ благороднымъ участіемъ спросила молодого Чечевинскаго, почему ее нѣтъ?—тотъ неопредѣленно и кратко отвѣтилъ, что сестра очень больна. Всѣ почему-то ждали на похоронахъ какого-то скандала; но скандала никакого не было.

Возвратясь изъ монастыря, молодой княжёкъ первымъ дѣломъ открылъ завѣтную шкатулку, которую до этого времени онъ видалъ только мелькомъ, и то очень рѣдко. Онъ ожидалъ найдти тамъ гораздо болѣе, но нашелъ — лишь полтораста тысячъ: сто на имя покойницы, и пятьдесятъ—на свое. Эти деньги составляли личное ея достояніе, полученное въ приданое. Молодой княжёкъ сдѣлалъ кисленькую мину — этихъ денегъ могло для него хватить года на три, не болѣе. Никто никогда не зналъ при жизни старухи, до какой именно цифры простирается ея состояніе, и потому молодому князьку и въ голову даже не пришло—не было ли у нея еще какихъ-нибудь денегъ? Въ счетныя же ея книги, онъ, по безалаберной вѣтренности своей, даже и не заглянулъ, считая ихъ сухою матеріей, гдѣ только записывалось со всей аккуратностью, сколько куда истрачено, да какіе проценты получены.

Въ этотъ же день дворникъ одного изъ огромныхъ и грязныхъ домовъ на Вознесенскомъ проспектѣ снесъ въ кварталъ отмѣтку, въ которой было прописано, что польскій уроженецъ Казиміръ Бодлевскій выбылъ за городъ; а управляющій домомъ покойной княгини Чечевинской объявилъ полиціи, что крѣпостная дѣвица Наталья Павловна пропала безъ вѣсти, о чемъ онъ, управляющій, по прошествіи трехдневнаго срока, и доводитъ до надлежащаго свѣдѣнія.

А въ это время уже по Ботническому заливу легко скользило маленькое судёнышко нѣкоего финна, отважнаго мореходца, промышлявшаго подъ рукой невинною контрабандой. Финнъ стоялъ на кормѣ, а молодой сынишко его заправлялъ парусами. На палубѣ сидѣли молодой человѣкъ и молодая женщина. На груди у женщины висѣлъ, спрятанный подъ сорочкой, мѣшочекъ, хранившій въ себѣ двѣсти-сорокъ-четыре тысячи наличными деньгами, а въ карманахъ у той и у другого было по парѣ заряженныхъ пистолетовъ— на всякій случай, ради предосторожности противъ добрыхъ людей. Имѣвшіеся же при нихъ паспорты гласили, что женщина была дворянка, вдова коллежскаго ассесора Марья Солонцова, а мужчина— польскій уроженецъ Казиміръ Бодлевскій.

Судно перерѣзывало Ботническій заливъ по направленію къ шведскому берегу.

XV

Генеральша фон-Шпильце

Мы должны будемъ теперь вернуться къ самому началу нашего разсказа, то-есть къ тому именно дню, въ утро котораго семейство князя Шадурскаго посѣтила божія милость, въ видѣ подкинутаго младенца.

Выйдя изъ будуара жены, князь тотчасъ же приказалъ закладывать коляску, одѣлся и поѣхалъ къ генеральшѣ фон-Шпильце. Генеральша фон-Шпильце жила въ Морской, на одномъ изъ лучшихъ ея мѣстъ. Она нанимала большую, помѣстительную квартиру, съ немножко страннымъ расположеніемъ и характеромъ комнатъ. Тутъ были и зала съ колоннами, и гостиная съ изящнѣйшимъ каминомъ, и великолѣпная лѣстница со статуями; и въ то же время другая, тоже чистая лѣстница, только попроще, безъ швейцара, цвѣтовъ и статуй, которая вела съ другого подъѣзда въ ту же самую квартиру. Только съ этой уже стороны квартира генеральши фон-Шпильце отличалась не изящно-аристократическимъ, но удобно-индустріальнымъ характеромъ—и именно была приспособлена къ тѣмъ условіямъ, какихъ требуютъ, такъ называемыя, chambres garnies: тем-

ная прихожая, темный корридоръ, и не прямой корридоръ, а какой-то изломанный, который шелъ разными закоулками и зигзагами. Направо и налѣво по бокамъ этого корридора помѣщались разныя двери, которыя вели каждая въ отдѣльную комнату, очень изящно умеблированную разными драпри и весьма покойною, комфортабельною, мягкою мебелью. Каждая изъ нихъ могла назваться не то кабинетомъ, не то будуаромъ, не то гостиной, и вообще являла собою какой-то смѣшанный, но очень милый, удобный и привлекательный характеръ. На всемъ лежала печать роскоши, и опять-таки роскоши не аристократически-показной, а интимно-комфортабельной. Можно бы было подумать, что все это отдается въ наймы разнымъ лицамъ, какъ обыкновенныя chambres garnies, а между тѣмъ жильцовъ тутъ никогда не было; комнаты, очень тщательно прибиравшіяся каждодневно прислугою, оставались нежилыми, ибо сама генеральша занимала половину аристократическую. На этой послѣдней половинѣ господствовала прислуга мужская, въ ливрейныхъ или черныхъ фракахъ; вторая же половина оставалась подъ присмотромъ исключительно женщинъ. Три или четыре горничныя, весьма миловидныя, постоянно молчаливыя, скромныя и очень опрятно одѣтыя въ простыя холстинковыя платья, имѣли обязанностью прислуживать на этомъ отдѣленіи и содержать его въ постоянной чистотѣ и опрятности. Генеральша самолично каждое утро дѣлала осмотръ всей своей квартиры, наблюдая, все ли въ порядкѣ. Она паче всего любила порядокъ. Прислуга ея, необыкновенно ловко выдрессированная, являла собою одну только, нѣсколько странную особенность: вся она, начиная съ швейцара, отставнаго усача-гвардейца, наряженнаго въ ливрею, и кончая скромными горничными, при каждомъ посѣщеніи посторонняго человѣка, такъ пронырливо заглядывала ему въ глаза, какъ словно бы прицѣливалась, нельзя ли сорвать съ него что-нибудь на чай? Вѣроятно, ее издавна пріучили къ этому сами же знакомые генеральши фон-Шпильце.

Сама генеральша—особа лѣтъ тридцати-пяти. Зовутъ ее—Амалія Потаповна. Это — очень полная, дородная дама, средняго роста, одѣтая всегда не иначе, какъ въ шелковое, шумящее, широкое платье. Лицо ея носитъ чуть замѣтные слѣды очень тонкихъ косметиковъ, а черты этого лица являютъ какой-то смѣшанный ха-

рактеръ. Рыжіе нѣмецкіе волосы; каріе, жирные глаза — въ толстыхъ вѣкахъ съ еврейскимъ прорѣзомъ; нѣсколько вздернутый французскій носъ; крупныя русскія губы, и слегка калмыцкія скулы — все это очень неправильное, хотя и характерное въ отдѣльности, въ цѣломъ являло собою отчасти комическое соединеніе спѣси съ пронырливымъ лукавствомъ, и въ то же время не было лишено не то красоты, а такъ себѣ, извѣстнаго рода пріятностей и привлекательности, которыя иногда очень цѣнятъ нѣкоторые любители. Генеральша говорила на нѣсколькихъ языкахъ, но на всѣхъ дурно и съ какимъ-то особеннымъ, несовсѣмъ пріятнымъ акцентомъ, такъ-что изъ разговора ея выходилъ какой-то винигретъ, въ которомъ, подобно кускамъ дичи и говядины, огурцовъ и картофелю, свеклы и прочей винигретной приправы, мѣшались между собою фразы и слова французскія, нѣмецкія и русскія съ еврейскимъ оттѣнкомъ. Кто и что́ она, за какимъ генераломъ была замужемъ и когда, въ какое именно время была—того никто не зналъ; знали только, что она—генеральша фон-Шпильце и подъ этимъ именемъ испоконвѣку была всѣмъ извѣстна. Какъ, когда и откуда она появилась на петербургскомъ горизонтѣ—это также для всѣхъ была темна вода во облацѣхъ; но, казалось, какъ будто тоже испоконвѣку она пребывала въ семъ городѣ. Нѣкоторые старожилы передавали, и то какъ темные слухи, что въ началѣ двадцатыхъ годовъ, то-есть во времена своей первой цвѣтущей юности, она пользовалась покровительствомъ одной весьма важной и значительной особы, черезъ что́ пріобрѣла тогда, вмѣстѣ съ вѣсомъ и вліяніемъ, весьма большое состояніе. Но что́ это была за особа, что́ за вѣсъ и вліяніе и каково состояніе, благопріобрѣтенное ею — объ этомъ никто и никогда не могъ дать яснаго, положительнаго отвѣта. Одни утверждали, будто генеральша фон-Шпильце родомъ эльзасская француженка; другіе говорили, что она рижская нѣмка, а не то и чухонка; третьи—что она варшавская полька; четвертые подозрѣвали въ ней житомірскую жидовку; пятые — нѣжинскую гречанку или женевскую швейцарку; шестые, наконецъ, выдавали за достовѣрный слухъ, что она, во-первыхъ, дочь какого-то киргиз-кайсацкаго хана, а во-вторыхъ, симбирская дворянка. Какъ ужъ все это вязалось между собою и на сколько присутствовала тутъ истина—

сіе только одному Господу-Богу извѣстно! Выходила же изъ всего этого загадочная, но всѣмъ извѣстная личность, называемая генеральшей Амаліей Потаповной фон-Шпильце. И дѣйствительно, будучи не то нѣмка, не то француженка, не то еврейка, не то, наконецъ, русская—она соединяла въ своей особѣ всего понемножку. Даже самое имя ея было какое-то смѣшанное: *Амалія*—и вдругъ *Потаповна!* Казалось, какъ будто коренные представители всѣхъ національностей собрались между собою и каждый бросилъ свою посильную лепту въ общую сокровищницу, изъ которой и произросъ столь замѣчательный фруктъ, какъ генеральша фон-Шпильце.

У ней была бездна знакомыхъ. Серебряная плоская ваза, стоявшая на изящномъ мозаичномъ столикѣ въ ея гостиной, вѣчно была переполнена всевозможными визитными карточками. Тутъ мѣшались между собою карточки мужскія и женскія, мѣшались титулованныя имена извѣстнѣйшихъ фамилій и сильныхъ тузовъ міра сего — съ тузами откупной, золотопромышленной и вообще финансовой колоды; карточка великосвѣтской Діаны — съ карточкой извѣстнѣйшей блестящей лоретки; имена художниковъ и артистовъ — съ именами сыновъ Ѳемиды и Марса: фамилія строгаго, нравственнаго отца семейства—съ фамиліей какой-нибудь темной личности, какого-нибудь извѣстнаго шулера, афериста, шарлатана или chevalier d'industrie. Словомъ, весь свѣтъ зналъ генеральшу фон-Шпильце, и она весь свѣтъ знала.

Но пріемныхъ дней у нея не было. Каждый, у кого только имѣлась до нея какая-либо надобность, долженъ былъ дѣлать ей визитъ и писать письмо, въ которомъ испрашивалъ себѣ свиданіе. Тогда генеральша назначала особую аудіенцію, на которой и можно было изложить ей свою надобность. Вѣроятно, этихъ различныхъ надобностей было достаточное количество, потому что генеральшѣ приходилось давать ежедневно весьма много аудіенцій. Иногда случалось такъ, что она принимала съ девяти часовъ утра до часу ночи—и всегда посѣтители одинъ за другимъ сидѣли въ ея пріемной, пріѣзжая каждый въ заранѣе назначенный самою генеральшею часъ и ожидая, пока ливрейный лакей раскроетъ дверь и скажетъ: «пожалуйте-съ!» Иногда же случалось и такъ, что посѣтитель, входившій съ параднаго подъѣзда, по лѣстницѣ со статуями, выходилъ

изъ подъѣзда непараднаго, дабы избѣжать какой-нибудь отчасти неловкой или не совсѣмъ пріятной встрѣчи, что̀ всегда очень обстоятельно умѣла предупреждать генеральша фон-Шпильце. А для этого, въ томъ случаѣ, если у нея находилась уже съ визитомъ какая-нибудь особа, то о вновь прибывшемъ посѣтителѣ докладывалъ не лакей, какъ обыкновенно, а собственная горничная генеральши, которая подходила къ ней будто что нибудь по хозяйству, шептала ей на ухо. Генеральша, подумавъ и быстро сообразивъ, тоже шопотомъ отдавала горничной свои инструкціи, которыя та уже и сообщала офиціальному лакею. Кругъ ея дѣятельности былъ очень обширенъ и весьма разнообразенъ; она всегда была занята и поэтому очень дорожила своимъ временемъ, избѣгая на аудіенціяхъ лишнихъ посторонних словъ и давая самые ясные и короткіе отвѣты. У нея былъ великолѣпный поваръ, а въ буфетѣ всегда имѣлся большой запасъ самыхъ тонкихъ и дорогихъ винъ, но обѣдовъ или ужиновъ генеральша никогда не давала и открытыхъ вечеровъ не дѣлала. У нея бывали иногда (если предстояла надобность) вечера интимные, маленькіе, на которыхъ присутствовали двѣ-три, много четыре особы, которыя сами, по своимъ собственнымъ надобностямъ, пожелали бы быть на такомъ вечерѣ, уже заранѣе условясь съ хозяйкою на счетъ избраннаго дня и часа. На большихъ вечерахъ и балахъ большого свѣта генеральша никогда не показывалась; но инкогнито, въ простые дни и вечера, карета ея очень часто останавливалась иногда у подъѣзда какой-нибудь великосвѣтской львицы или строгой Діаны, недоступной и цѣломудренно-гордой въ блескѣ общественной обстановки. Въ это время обыкновенно отдавалось приказаніе никого не принимать, что̀ и было исполняемо швейцаромъ весьма строго до тѣхъ поръ, пока не кончался интимный визитъ. А еслибы кто-либо изъ непринятыхъ полюбопытствовалъ узнать, чей это экипажъ стоитъ у подъѣзда? то заранѣе выдрессированный кучеръ генеральши отвѣчалъ лаконически: «господскій», или еще проще, ровно ничего не отвѣчая, посвистывалъ да глазѣлъ себѣ въ сторону.

Генеральша была особа, въ своемъ родѣ, весьма многозначительная. Ее всѣ побаивались, показывали передъ нею знаки глубокаго уваженія и всѣ почти, хоть разъ въ своей жизни, чувствовали въ

ней настоятельную надобность. Причина довольно простая: генеральша знала всѣ тайны свѣта, да и не одного только свѣта: тайны, какого бы рода онѣ ни были, и мистеріи цѣлаго города были извѣстны ей въ совершенствѣ. Разныя семейныя отношенія, дѣла между мужемъ и женою, пріязни и непріязни, стремленія и намѣренія, образъ мыслей и убѣжденія, аферы и продѣлки и, наконецъ, вся скандалёзная потаенная хроника Петербурга — вотъ тѣ богатства, коими обладала генеральша. Но при этомъ надобно замѣтить, она рѣшительно была лишена извѣстной женской добродѣтели, называемой слабостью язычка. Сплетни или болтовни безцѣльной, безпричинной, никто никогда не слыхалъ изъ устъ Амаліи Потаповны: она знала-вѣдала про-себя и никому не открывала своихъ свѣдѣній. Другое дѣло, если кому либо представлялась настоятельная нужда въ этихъ свѣдѣніяхъ, тогда генеральша могла кое-что сообщить или разузнать, розыскать, но и то не иначе, какъ при сильныхъ побудительныхъ причинахъ, на которыя бы могла разсчитывать навѣрное.

Какія нити, какія пружины употребляла она для всего этого, читатель узнаетъ впослѣдствіи, когда онъ болѣе интимнымъ образомъ познакомится съ различными спеціальными отраслями многосторонней дѣятельности генеральши фон-Шпильце.

XVI

Рыцарь безъ страха и упрека

Шадурскій давно уже, еще до женитьбы своей, былъ знакомъ съ Амаліей Потаповной и неоднократно имѣлъ нужду въ ея аудіенціяхъ. Она даже очень благоволила къ нему и выражалась о немъ не иначе, какъ «князь Шатурски — das ist un vrai gentilhomme». Написавъ на своей визитной карточкѣ, что имѣетъ самую крайнюю и безотлагательную нужду, онъ отправилъ ее съ швейцаромъ наверхъ къ генеральшѣ и минутъ черезъ десять былъ принятъ.

— Вообразите, ко мнѣ нынче утромъ подкинули дѣвочку! началъ онъ, усаживаясь подлѣ нея, какъ добрый и старый знакомый.

Амалія Потаповна отвѣтъ на это замѣнила кивкомъ головы, который словно-бы выражалъ собою: «такъ-съ!...»

— Я очень не радъ такому сюрпризу, продолжалъ онъ.

— А то жь объявить до полиціи, продолжала ему генеральша.

— Fi donc! махнулъ рукою Шадурскій. — Радъ-не-радъ, а дѣлать нечего: подкинули, такъ ужъ и позаботься о ребёнкѣ.

— O, ja!... aber das zeugt ihre edles Herz, похвалила Амалія Потаповна, изъявляя ему знакъ благоволенія рукою. — А то жь я вамъ буду находить une bonne nourrisse pour cet enfant, s'il vous plait, monsieur? предложила она.

— Нѣтъ, не то! Я бы васъ попросилъ о другомъ, возразилъ Шадурскій.

— Ganz zu ihren Dinsten, ganz! ganz! любезно поклонилась генеральша, которая, благоволя къ Шадурскому «за его изящныя манеры» — иногда для него даже время свое на лишнія слова разточала.

— Я его хочу отдать на воспитаніе въ какія нибудь хорошія руки и буду просить васъ — позаботиться объ этомъ, предложилъ онъ.

— А зачѣмъ нельзя? — Хоть въ минутъ! Nè! cela est tout à fait possible pour moi! согласилась генеральша.

— Чѣмъ скорѣй, тѣмъ лучше!

И тò правда! А какія кондиціи ваши? спросила она, принимая дѣловой тонъ, который въ мигъ и ужь какъ-то невольно, самъ собою появлялся у нея, чуть только разговоръ начиналъ касаться денегъ, условій и т. п.

— Я вамъ дамъ единовременно десять тысячъ, говорилъ Шадурскій:—распорядитесь ими для этого ребенка какъ будетъ лучше— ужь это вы сами знаете; а мнѣ — чтобъ ужь больше никогда никакихъ заботъ и безпокойствъ не знать съ нимъ; хоть и не слыхать о немъ вовсе; десять тысячъ, надѣюсь, это слишкомъ достаточно и даже роскошно для какого-нибудь подкидыша.

— O, ja! certainement, согласилась фон-Шпильце. — Но скажите, vous ne sonpçonnez personne? съ подозрительной разстановкой добавила она.

— Personne, madame, отвѣтилъ, пожавъ плечами, Шадурскій.

— Und haben sie nichts gehört?

— То-есть, насчетъ чего это? переспросилъ онъ.

— Un petit scandale, qui est arrivè dans le grand monde...

— Какой скандалъ? притворился Шадурскій, начавъ съ первыхъ же словъ догадываться, въ какую сторону клонитъ генеральша, въ намѣреніи выпытать отъ него что-нибудь подходящее.

— Ахъ, такъ вы не слыхали? равнодушно и разсѣянно проговорила она.

— Ничего не слыхалъ, а что́?

— Нѣтъ, а то жь такъ!

— Однако?

— Non, comérage! и говорить не стоитъ! поспѣшила замять генеральша, видя, что онъ ничего еще не знаетъ и опасаясь, какъ бы не обмолвиться чѣмъ-нибудь лишнимъ. — «Пусть отъ другихъ сплетни узнаютъ, лишь бы отъ меня безъ нужды и безъ цѣли ничто не выходило», было постояннымъ ея правиломъ.

Шадурскій, оставшійся немало доволенъ тѣмъ, что она, повидимому, не имѣетъ на него никакихъ подозрѣній, въ свою очередь тоже поспѣшилъ отклониться отъ дальнѣйшаго разговора на счетъ скандала.

— Послушайте, Амалія Потаповна! по старой дружбѣ, у меня къ вамъ будетъ еще одна маленькая просьба! сказалъ онъ съ тѣмъ рѣшительнымъ выраженіемъ въ лицѣ и въ голосѣ, съ какимъ обыкновенно говоритъ человѣкъ, у котораго долгое время не хватало духу начать высказывать что-либо затруднительное или неловкое, и котораго, наконецъ, по пересиленіи самого себя, что называется— прорвало.

— Дѣло для меня очень близкое и интересное, добавилъ онъ, стараясь говорить небрежнѣе и равнодушнѣе, чтобы смаскировать этимъ то маленькое волненіе, которое заставило посильнѣе забиться его сердце отъ нѣкоторой щекотливости предстоящей просьбы.

— Н-ну? протянула генеральша, вытянувъ впередъ свою мордочку.

— Я бы попросилъ васъ разузнать кое-что́... по секрету...

— Ага!... je comprend... je comprend bien ça! съ живостью подмигнула ему Амалія Потаповна.

— Нѣтъ... да вы что думаете? спросилъ Шадурскій, который искалъ какъ бы половчѣе объяснить ей свое дѣло.

— Eine Damme, glaube ich? jung und charmant? опять подмигнула генеральша.

— Нѣтъ, не совсѣмъ такъ... Мнѣ бы — вотъ видите-ли — хотѣлось бы знать... какъ вамъ сказать-то это?... хотѣлось бы знать, *кто* интересовалъ мою жену въ нынѣшнюю зиму? выговорилъ наконецъ Шадурскій, стараясь принужденными улыбками смягчить смыслъ своей фразы и потупясь, чтобы не встрѣтиться со взглядомъ генеральши.

Эта послѣдняя, дѣйствительно, глядѣла на него во всѣ свои толстые, изумленные глаза.

— Какъ!... воскликнула она: — aber sie selbst — такой прекрасній, красивій мужчинъ! Est-ce possible?

Шадурскій покраснѣлъ и еще болѣе потупился. Ему окончательно стало неловко. Онъ закусилъ губу и пожалъ плечами.

— Non! vous vous trompez, monsieur! сказала она, рѣшительнымъ и разубѣждающимъ тономъ. — Я жь ничего не знаю, а я бы все знала, кабы что было... Et dans le monde on n'a jamais parlé de cela!

— Да въ свѣтѣ-то, можетъ, и точно никто не знаетъ, согласился Шадурскій: — но... я имѣю нѣкоторыя причины предполагать...

— Да! а то жь я и забыла! вѣдь васъ не было по зимѣ! домекнулась m-me фон-Шпильце.

— Ну, вотъ то-то же и есть!... Я не то, чтобы изъ ревности... а такъ собственно...

— Ah, oui! monsieur est un peu curieux! ich verschtee! любезно поддакнула генеральша.

— Ну, понятное дѣло!... подхватилъ Шадурскій.—Спросить ее самоё, согласитесь, не совсѣмъ-то ловко: можетъ быть, я и ошибаюсь; а между тѣмъ, хотѣлось бы знать, *кто*... Дѣло прошлое, продолжалъ онъ, какъ бы оправдывая не то себя, не то супругу:— дѣло прошлое — и я нисколько не претендую... въ нашъ вѣкъ... тѣмъ болѣе Жорж-Зандъ... Вы понимаете!

— N-nu ja-a!... понимай!

— Тѣмъ болѣе, что и самъ я не безгрѣшенъ бывалъ иногда,

говорилъ князь, стараясь улыбаться и думая отговорками своими смягчить дѣло настоящей, голой истины — и передъ генеральшей (какъ-будто ее можно было провести этими смягченіями!), и передъ своимъ собственнымъ самолюбіемъ. Его ужь давно-таки помучивалъ вопросъ: кто любовникъ жены? чѣмъ прельстилъ онъ ее—умомъ ли, красотой или положеніемъ? и не разыгрываетъ ли онъ, мужъ, передъ нимъ комической роли, благодаря незнанію своему? Впрочемъ, надо прибавить, что еслибы въ этомъ любовникѣ нашелъ онъ человѣка, равнаго ему по положенію въ свѣтѣ, то смотрѣлъ бы сквозь пальцы на отношенія жены, позволяя себѣ самому *гласно* дѣлать втрое болѣе для спасенія своего самолюбія, и только потребовалъ бы, чтобы этотъ избранный не скомпрометировалъ передъ обществомъ честь его имени, если не желаетъ подставить лобъ свой подъ дуло пистолета. Но, въ то же время, нельзя не прибавить, что ревность оскорбленнаго самолюбія повременамъ испускала самовольные и—охъ! — какіе болѣзненные крики въ его сердцѣ, крики, которые онъ старался заглушать, обманывая это же самое самолюбіе тѣмъ, будто ему рѣшительно все-равно, что̀ бы ни дѣлала супруга, и что онъ почитаетъ себя неизмѣримо выше всего окружающаго міра — и потому смотритъ на все презрительными глазами.

— Только — ваше честное слово, что это умретъ между нами! прибавилъ Шадурскій, побаивавшійся, чтобы генеральша какъ-нибудь при случаѣ, подъ рукой, не сболтнула бы кому о его просьбѣ и о томъ обстоятельствѣ, которое ее вызвало.

Генеральша даже обидѣлась при этомъ. И въ самомъ дѣлѣ, зачѣмъ ей болтать въ ущербъ своимъ собственнымъ интересамъ?

— Я надѣюсь на васъ, по старой нашей дружбѣ! Вы узнаете обо всемъ подробнѣе и обстоятельнѣе; понимаете? сказалъ онъ заискивающимъ и ласковымъ тономъ.

Генеральша покивала головой и съ нѣжной сантиментальностью посмотрѣла на Шадурскаго.

— O, si j'étais votre femme! вымолвила она со вздохомъ.

— Такъ что̀ жь бы? спросилъ князь, видя, что она пріостановилась и не договариваетъ.

— Je vous aurais aimé! je vous serais fidèle!... томно и тихо про-

говорила она, покачивая въ ладъ головою и въ заключеніе опять вздохнула.

Шадурскій молча поклонился; но вдругъ сообразивъ, что эта струнка можетъ ему быть также полезна, вскинулъ на генеральшу такой взглядъ, который очень краснорѣчиво говорилъ: «а почемъ знать? быть можетъ, оно еще и будетъ такъ!»

Генеральша очень скромно, но кокетливо улыбнулась на это...

Для читателя сомнѣвающагося, еслибы такой нашелся — мы можемъ отъ себя прибавить, что Шадурскій не былъ первый, да не онъ и послѣдній, а много, очень много весьма солидныхъ мужей не разъ обращались къ генеральшѣ съ подобными порученіями.

— Итакъ, вы постарайтесь же обдѣлать; я буду очень, очень благодаренъ, сказалъ князь, подымаясь и глядя на свои часы: — а что касается до подкидыша—такъ горничная жены привезетъ его къ вамъ въ моей каретѣ часа черезъ полтора.

— S'gu-ut! протянула Амалія Потаповна.

— Сегодня же я и пакетъ съ деньгами завезу вамъ! присовокупилъ Шадурскій, дружески пожимая ея мягкія, потныя руки.

— Sehr gut! повторила генеральша: — Mais envoyez seulement la voiture nach andren подъѣздъ, присовокупила она, съ улыбкой, подмигнувъ ему глазками, какъ человѣку, которому таинственная роль этого «andren подъѣздъ» была уже давно и очень коротко знакома.

«Теперь бы надо *къ ней* заѣхать; успокоить тамъ, что́ ли... Она писала, а я и не собрался еще ни разу», размышлялъ самъ съ собою Шадурскій, медленно проходя мимо лѣстничныхъ статуй. — «Непріятно, чортъ возьми; ну, да одинъ-то разъ куда ни шло! Только то́ скверно, что экипажъ открытый: неравно увидятъ еще какъ нибудь... развѣ во дворъ приказать ему тамъ въѣхать?» думалъ онъ, садясь въ коляску и справляясь по письму княжны Анны объ адресѣ ея тайнаго пріюта.

Его сіятельство, тридцати-семилѣтній мужъ и соблазнитель, сей гордый, демоническій Чайльд-Гарольдъ россійскій — стыдно сказать! — чувствовалъ теперь какой-то школьническій, заячій страхъ за свою романическую продѣлку!

На Невскомъ проспектѣ съ нимъ поровнялся одинъ изъ извѣст-

нѣйшихъ вѣстовщиковъ большого свѣта, и граціозно пославъ ему рукою воздушный поцалуй, поѣхалъ, не отставая, рядомъ.

— Une grande nouvelle! кричалъ онъ Шадурскому.—Вы не слышали?

— Что такое?

— Какъ! Вы спрашиваете, что такое? Вы ничего не слыхали о скандалѣ?

— Ничего...

— Мой Богъ! Объ этомъ говоритъ уже весь свѣтъ... Это — вещь небывалая!...

— Что же такое?

— La jeune princesse Tchetchevinsky...

— Ну?

Сплетникъ, вмѣсто отвѣта, сдѣлалъ руками нѣсколько пантомимныхъ, очень выразительныхъ и понятныхъ жестовъ.

— Что за вздоръ! этого быть не можетъ! съ улыбкой возразилъ Шадурскій, хотя сердчишко его и сильно-таки ёкнуло при этой пантомимѣ.

— Mais... Comment «быть не можетъ?!» Говорятъ, будто есть особы, которыя читали даже письмо ея къ свой матери и предерзкое, пренепочтительное письмо!—Pauvre mère! elle est bien malade pour le moment! Это ее убило.

— Кого же обвиняютъ въ этомъ? спросилъ Шадурскій.

— Voilà une question! Конечно, княжну! — помилуйте! Вѣдь это кладетъ пятно нетолько на семейство, mais... même sur toute la noblesse! Это... это une femme tout-à-fait perdue! О ней иначе и не говорятъ, какъ съ презрѣніемъ; съ ней никто болѣе незнакомъ, ее принимать не станутъ!...

— Oui, si cela est vrai... конечно, такъ и слѣдуетъ! съ пуристическимъ достоинствомъ римской матроны проговорилъ Шадурскій, трусившій въ душѣ отъ всѣхъ этихъ слуховъ и убѣжденный въ эту минуту, что дѣйствительно такъ слѣдуетъ. — Et qui suppose-t-on être son amant? спросилъ онъ.

— Вотъ въ томъ-то и загадка, что не знаютъ. Во всякомъ случаѣ, это—подлецъ! заключилъ благородный сплетникъ.

— О, безъ всякаго сомнѣнія! подтвердилъ Шадурскій. А сердчишко его снова сжалось и ёкнуло при этомъ роковомъ словѣ.

— Но у нея есть братъ; онъ, вѣроятно, розыщетъ. — C'est une affaire d'honneur, продолжалъ сплетникъ.

— Что же, дуэль?

— Или дуэль, или пощечина!

Шадурскій даже поблѣднѣлъ немного, несмотря на свое образцовое умѣнье и привычку владѣть собою и скрывать свои настоящія чувства.

— Du reste, adieu! мнѣ въ Караванную! Ѣду къ баронессѣ Дункельтъ—узнать, что тамъ говорятъ объ этомъ, заключилъ сплетникъ и, пославъ Шадурскому еще одинъ воздушный поцалуй, скрылся за поворотомъ въ Караванную улицу.

— Пошелъ домой! закричалъ между тѣмъ этотъ своему кучеру.

Кучеръ, получившій, за пять минутъ передъ тѣмъ приказаніе ѣхать въ Свѣчной переулокъ, остался очень изумленъ столь неожиданнымъ поворотомъ дѣла, и не вполнѣ на сей разъ довѣряя своему слуху, обратилъ вопросительную мину къ своему патрону.

— Пошелъ домой, говорю тебѣ, скотина! закричалъ этотъ послѣдній, вѣроятно торопясь сорвать на кучерѣ безсильный гнѣвъ свой за слово «подлецъ», произнесенное сплетникомъ.

Возница тотчасъ же повернулъ лошадей въ обратную сторону.

«Вотъ такъ-то лучше будетъ», подумалъ Шадурскій, и черезъ нѣсколько минутъ коляска остановилась передъ подъѣздомъ его собственнаго дома.

— Можешь откладывать: я больше никуда не поѣду сегодня! оборотился онъ къ кучеру, и скрылся въ дверяхъ не безъ внутренняго удовольствія за счастливую встрѣчу и за все свое предъидущее поведеніе съ княжною, которое отклоняло всякое подозрѣніе отъ его ничѣмъ незапятнанной личности.

XVII

Двѣ пощочины

Шадурскій прямо прошелъ на половину жены. Онъ хотѣлъ сообщить ей, что участь подкидыша обезпечена, полагая въ то же время найдти у нея своего управляющаго г. Морденко, который ежедневно являлся съ отчетами и докладами — утромъ, въ девять часовъ къ князю, а въ первомъ, или въ началѣ втораго—къ самой княгинѣ. Она съ нѣкотораго времени вообще стала очень интересоваться дѣлами. Шадурскій намѣревался взять у Морденки десять тысячъ, обѣщанныя имъ генеральшѣ.

Быстрыми и неслышными въ мягкихъ коврахъ шагами подошелъ онъ къ дверямъ будуара, распахнулъ одну половину и вдругъ окаменѣлъ на минуту, пораженный страннымъ и неожиданнымъ дивомъ...

Супруга его лежала въ объятіяхъ г. Морденко.

Князь, не двигаясь съ мѣста и не спуская съ нихъ холоднаго взора, въ которомъ тускло засвѣчивалось какое-то ледяное бѣшенство, сталъ натягивать и застегивать на пуговку свою палевую перчатку, которую, подходя къ будуару, уже стянулъ-было до половины руки.

Княгиня, пораженная еще болѣе, чѣмъ мужъ, въ первую минуту, дрожала всѣмъ тѣломъ, приникнувъ къ диванной подушкѣ и закрывъ лицо своими блѣдными, тонкими руками. Морденко, ошалѣлый и нѣмой отъ страха, глядѣлъ во всѣ глаза на это, повидимому хладнокровное, застегиваніе перчатки, тогда какъ рука его машинально и неудачно искала на краю стола принесенныя къ докладу бумаги. Это былъ высокій, нѣсколько сутуловатый и сангвинически-худощавый мужчина лѣтъ сорока, породистый брюнетъ, съ бронзово-блѣднымъ, энергическимъ лицомъ и глубокими темно-карими глазами.

Застегнувъ, наконецъ, свою пуговку, князь подошелъ къ нему медленными шагами и съ размаху далъ сильную и звонкую пощочину.

— Вонъ, животное!... тихо прошипѣлъ онъ, скрежеща зубами.— Сегодня же сдать всѣ дѣла и чтобы къ вечеру духу твоего тутъ не было!... Вонъ!

Уничтоженный, убитый и перетрусившій, Морденко отыскалъ, наконецъ, свои бумаги, почтительно согнулся и на цыпочкахъ вышелъ изъ будуара.

Князь затворилъ за нимъ двери.

— Хоть бы это-то изъ предосторожности сдѣлать догадались! укоризненно посовѣтовалъ онъ, кидая на жену убійственно-презрительный взглядъ.

Княгиня начала уже истерически, но сдержанно и глухо рыдать, не отрываясь отъ своей подушки.

— Съ кѣмъ?!... съ хамомъ... съ халуёмъ... съ лакеемъ!... И это—русская аристократка! шипѣлъ онъ, задыхающимся голосомъ.

На этихъ словахъ, видно ужь черезчуръ задѣтая за живое, княгиня словно очнулась, и стремительно вскочивъ со своего дивана, ринулась къ мужу.

— Tu vois par là, misérable, ce que tu as fait de ta femme! Tu es un lâche!! злобно прорыдала она, съ наглымъ трагизмомъ потрясая руками своими, въ самомъ кратчайшемъ разстояніи отъ физіономіи князя. Это была единственная и какъ-будто оправдательная мысль, на какую только могла она теперь найтись.

Тому это показалось ужь черезчуръ отвратительно. Онъ позабылъ себя отъ бѣшенства и вдругъ, въ отвѣтъ на укоризненное восклицаніе княгини, раздался хлясткій звукъ новой пощочины.

Княгиня взвизгнула и навзничъ грохнулась на полъ.

Шадурскій съ минуту постоялъ надъ нею, молча и холодно глядя на ея рыданія, и тихо вышелъ изъ будуара.

Онъ уже успѣлъ овладѣть собою.

— Сними съ меня эту перчатку! спокойно и твердо сказалъ онъ лакею, войдя въ кабинетъ свой.

Тотъ аккуратно исполнилъ это экстраординарное приказаніе.

— Брось ее въ огонь! сказалъ онъ еще болѣе равнодушнымъ тономъ—и лайка тотчасъ же затлѣлась въ пламени камина.

Князь чувствовалъ, что онъ «разыгралъ хорошо», что онъ долженъ быть необыкновенно эфектенъ и величественъ въ эту минуту.

Жалкій человѣчишко!... онъ рисовался передъ самимъ собою своимъ quasi-байроническимъ демонизмомъ!

XVIII

Князь и княгиня Шадурскіе

Князь Дмитрій Платоновичъ Шадурскій и супруга его, княгиня Татьяна Львовна, были уже шестой годъ женаты. Супружество ихъ могло назваться вполнѣ приличнымъ супружествомъ. Въ офиціальныхъ случаяхъ, когда того требовали обстоятельства, они являлись въ свѣтъ вмѣстѣ, или принимали у себя, соблюдая съ вѣрнымъ тактомъ и съ самой безукоризненной полнотою всѣ условія, какихъ требовали этикетъ и понятія той жизни, въ замкнутомъ кругу которой они вращались. Князь всегда представлялся солидно-вѣжливымъ, почтительнымъ мужемъ; княгиня—уважающей своего мужа супругой. Никогда ни малѣйшаго косого взгляда или слова, которые, вырываясь иногда почти невольно изъ надсаженнаго сердца, могли бы хоть какъ-нибудь, хоть чуть замѣтно обнаружить ихъ истинныя чувства! Другъ о другѣ они относились всегда не иначе, какъ съ полнымъ уваженіемъ,—съ уваженіемъ, замѣтьте, но не съ любовью: на столько они имѣли ума и такта, чтобы не «изъявлять» любви своей. Да, впрочемъ, любви-то никакой у нихъ и не было. Въ замѣнъ ея было уваженіе къ внѣшнему супружеству: князь уважалъ жену потому, что она носила его имя; княгиня, не уважая князя, уважала самое имя, которое отнюдь не позволила бы себѣ скомпрометировать передъ «свѣтомъ». *Свѣтъ*, это фиктивное понятіе, между прочимъ, является чрезвычайно страннымъ въ представленіи большинства женщинъ, принадлежащихъ къ нему: онѣ считаютъ *свѣтомъ* тотъ замкнутый кругъ общества, который организовался здѣсь, на мѣстѣ, въ Петербургѣ или въ Москвѣ. Авторитетъ и сила этого свѣта дѣйствительны и могучи только на мѣстѣ. Отъ этого очень часто происходитъ то, что цѣломудренныя Діаны въ Петербургѣ — перерождаются въ шаловливыхъ Кипридъ въ Парижѣ; но по возвращеніи непремѣнно дѣлаются опять цѣломудренными Діанами — по крайней-мѣрѣ, по внѣшности представляютъ себя таковыми своему свѣту.

О княгинѣ пытались кое-что сплетничать, но это были сплетни глухія, темныя, неимѣвшія никакого дѣйствительнаго основанія — и потому имъ не давали ходу, о нихъ не думали, на нихъ не обра-

щали особеннаго вниманія, считая ихъ только сплетнями, и, наконецъ, скоро забывали. Сама же княгиня Татьяна Львовна своимъ внѣшнимъ поведеніемъ не подавала къ нимъ ни малѣйшаго повода: она никого не отличала, никому не отдавала предпочтенія — напротивъ, была рѣшительно со всѣми равна и любезна. Поэтому ей никого не могли исключительно приписать въ любовники. У князя Дмитрія Платоновича были кое-какіе грѣшки и по части актрисъ, и по части Діанъ; но и тѣ и другіе, какъ человѣкъ солидный и опытный, онъ умѣлъ окутывать достодолжно-приличнымъ флёромъ. О его грѣшкахъ иногда интимно поговаривали въ томъ тонѣ, который могъ только пріятно щекотать его ловласовское самолюбіе, и никогда никто не заикался въ тонѣ оскорбительномъ, или компрометирующемъ. На эти грѣшки смотрѣли, какъ на легкія и милыя шалости, которыя за кѣмъ же изъ мущинъ не водятся? Главное дѣло въ томъ, что всѣ формы внѣшняго приличія отмѣнно были соблюдаемы этою четою; вся внутренняя, домашняя сторона медали отмѣнно скрывалась отъ постороннихъ глазъ и потому ихъ всѣ уважали, всѣ были довольны, и они сами также были довольны своей внѣшнею, показной стороною.

Князю Шацурскому пошелъ уже тридцать-восьмой годъ, княгинѣ — двадцать-пятый. Онъ женился сильно уже поистраченный и поистертый заграничною жизнью; она вышла за него съ силами еще довольно свѣжими; только румянецъ начиналъ немножко блекнуть отъ безсонныхъ ночей, которыя она проводила на балахъ, танцуя до упаду. Татьяна Львовна болѣе всего на свѣтѣ любила балъ и танцы. Князь былъ хорошъ собою; и она могла назваться красавицей. Оба были блондины — князь болѣе съ рыжеватымъ отливомъ, княгиня — съ оттѣнкомъ пепельнымъ. Онъ свою блазированную физіономію очень успѣшно старался устроить на англійскій покрой; физіономія княгини, когда она была дѣвушкой, напоминала эфирнаго, непорочнаго ангела, а когда сдѣлалась дамой — выраженіе невинности смѣнилось характеромъ гордой и недоступной Діаны. И то и другое было вполнѣ прекрасно. Она въ раннемъ дѣтствѣ была увезена за границу, нарочно для того, чтобы тамъ воспитываться, и возвратилась оттуда восьмнадцати лѣтъ, ни слова не разумѣя по-русски, такъ что когда выходила замужъ, то должна бы-

ла скопировать русскую подпись своего имени для внесенія въ церковную книгу. Всѣ знанія ея въ русскомъ языкѣ простирались только до двухъ-трехъ молитвъ, смысла которыхъ она не понимала, а тараторила въ долбяжку, какъ попугай ученый. Впрочемъ, знала еще слова *caracho*, *strastouy* и *kacha*. Когда, во время вѣнчанія, попъ спросилъ ее обычно-формальную фразу: «не обѣщалась-ли еси другому?» — то Татьяна Львовна такъ странно и безсмысленно поглядѣла на него, что шаферъ поспѣшилъ ей подшепнуть на ухо: «нѣтъ», и невѣста, долго немогшая совладать съ этимъ односложнымъ звукомъ, наконецъ съ большимъ усиліемъ выговорила: *niette*. Однако, въ три года она довольно порядочно выучилась этому варварскому языку, и выражалась на немъ съ книжной отчетливостью въ звукопроизношеніи, какъ истая иностранка, которая по книгамъ выучилась говорить порусски. Впрочемъ, съ годами, княгиня дѣлала все болѣе и болѣе успѣховъ.

Съ перваго появленія своего въ свѣтѣ, тотчасъ по пріѣздѣ изъ Италіи, она произвела необыкновенный фуроръ, бывши съ разу же всѣми замѣченной и оцѣненной по достоинству. Многія матушки смотрѣли на нее съ завистью, юныя и дѣвственныя ихъ дочери — съ завистью еще большею: первыя боялись за отбой жениховъ, вторыя ненавидили опасную и первенствующую соперницу. Молодыя дамы приняли ее подъ свое милостивое покровительство, впрочемъ, до тѣхъ поръ, пока оставалась дѣвушкой. Съ выходомъ замужъ роли перемѣнились: матушки сдѣлались равнодушны, дочки преданны, а сверстницы-дамы преисполнились дружественной злобой и завистью. Молодые люди, изъ которыхъ десятка два, если не больше, были влюблены въ нее безъ памяти, всѣ безъ исключенія остались ея поклонниками, какъ до свадьбы, такъ и послѣ свадьбы, если даже не усилили свое поклонничество послѣ этого обстоятельства. Почтенные старички, старцы и старикашки не менѣе молодыхъ людей изъявляли Татьянѣ Львовнѣ свое благоволеніе, а съ тѣхъ поръ, какъ она надѣла на себя чепецъ, очень любили разговаривать съ нею о предметахъ немножко игривыхъ, причемъ масляно улыбались и даже облизывались. Татьяна Львовна, съ своей стороны, относилась весьма благосклонно къ этимъ невиннымъ обожателямъ, и также любила разговаривать съ ними объ игривыхъ

предметахъ. Это было единственное преимущество старцевъ передъ молодёжью.

Сердце Татьяны Львовны, по пріѣздѣ въ Россію, пребывало свободнымъ и ничѣмъ незаинтересованнымъ: она оставила его въ Миланѣ одному молодому итальянскому графу — по крайней-мѣрѣ, ей самой такъ казалось. Изъ соотечественниковъ влюбленныхъ и невлюбленныхъ, никто не удостоился чести быть замѣченнымъ ею. Князь Шадурскій, однако, не былъ влюбленъ, даже и увлеченъ то не былъ нисколько, а женился такъ себѣ, почти ради того, чтобы насолить благопріятелю. Татьяну Львовну любилъ до безумія одинъ флигель-адъютантъ, лучшій представитель военнаго дендизма того времени, молодой, красивый, пылкій, отличный и ловкій вальсёръ, недурной каламбуристъ, добрый товарищъ, и любимецъ весьма многихъ особъ прекраснаго пола. Къ сожалѣнію, при довольно кругломъ состояніи, онъ былъ человѣкъ безъ громкаго титула, а просто старый дворянинъ, и въ добавокъ еще съ вульгарной, плебейской фамиліей— Еремѣевъ. Не смотря, однако, на незвучную, безтитульную фамилію, онъ, благодаря своимъ внѣшнимъ блистательнымъ качествамъ— съ гордымъ достоинствомъ и честью носилъ титулъ великосвѣтскаго льва. Военная молодежь рѣшительно ставила Еремѣева для себя образцовымъ и почти недосягаемымъ идеаломъ, учась у него носить эксельбанты и перенимая изящныя манеры вмѣстѣ съ изящнымъ покроемъ сюртуковъ. Если m-sieur Еремѣевъ былъ левъ военный, то князь Шадурскій вполнѣ имѣлъ право считать себя львомъ гражданскимъ. Поэтому послѣдній ненавидѣлъ въ душѣ своего соперника и дружески пожимая ему руку, мысленно посылалъ его ко всѣмъ чертямъ въ преисподнюю, не упуская ни малѣйшаго случая насолить и напакостить доброму пріятелю. Видя, что Еремѣевъ страстно влюбленъ въ Татьяну Львовну, и того гляди сдѣлаетъ ей предложеніе, Шадурскій рѣшился перегородить ему дорогу. Доставъ себѣ за два бала впередъ мазурку молодой красавицы, онъ успѣлъ своимъ напускнымъ байронизмомъ и оригинальничаньемъ блестящей болтовни остановить на себѣ нѣсколько ея вниманіе. Затѣмъ въ остальную половину мазурки съ десятокъ ловкихъ, мѣткихъ и довольно ядовитыхъ фразъ насчетъ Еремѣева, брошенныхъ мимоходомъ, успѣли на минуту сдѣлать послѣдняго смѣшнымъ въ

глазахъ Татьяны Львовны, такъ что, когда онъ, послѣ ужина, явился ангажировать ея на туръ вальса — Татьяна Львовна, поймавшая въ этотъ самый мигъ тонко-ироническій взглядъ Шадурскаго, отказала m-sieur Еремѣеву. Засимъ, дня черезъ четыре, въ мазуркѣ же, князь сдѣлалъ ей предложеніе и... она обѣщалась подумать.

Это чистое, эфирное созданіе, этотъ неземной, обаятельно-идеальный ангелъ, на дѣлѣ былъ весьма практически-разсчетливъ. Ангелъ сообразилъ, что, вопервыхъ, надо же выйдти замужъ, чтобы пользоваться свободой независимаго положенія, а вовторыхъ, черезъ родителей и постороннихъ, несвѣтскихъ людей, навелъ нѣкоторыя необходимыя справки, по которымъ оказалось, что состояніе Шадурскаго гораздо круглѣе состоянія еремѣевскаго, и втретьихъ, наконецъ, несравненно привлекательнѣе быть княгиней Шадурской, чѣмъ m-me Еремѣевой. Два послѣднія обстоятельства рѣшили выборъ Татьяны Львовны — и черезъ два съ половиной мѣсяца, хоръ конюшенныхъ пѣвчихъ гремѣлъ ей «гряди, голубице».

Еремѣевъ не дождался этого хора: онъ, какъ только узналъ о помолвкѣ, такъ тотчасъ же перечислился въ армію и черезъ недѣлю уѣхалъ на Кавказъ.

Шадурскій торжествовалъ и весь сезонъ былъ необыкновенно доволенъ собою. Да и было чѣмъ: вопервыхъ, побѣдилъ Еремѣева, и въ лицѣ его всю влюбленную великосвѣтскую молодёжь, а вовторыхъ, сдѣлался мужемъ и обладателемъ прелестнѣйшей и блистательнѣйшей женщины, которой всѣ удивлялись, сходили съ ума, завидовали, и о красотѣ которой говорилъ цѣлый городъ. Какова пища для его чуткаго самолюбія!

Не далѣе, однако, какъ черезъ полгода, обнаружилась обоюдная холодность молодыхъ супруговъ, и они же сами—первые замѣтили это. Ну, и ничего: замѣтили и разошлись, каждый въ свою сторону, какъ кому было удобнѣе, опредѣливъ, впрочемъ, разъ навсегда свои условныя отношенія передъ глазами свѣта, о чемъ мы уже сказали нѣсколько выше.

Князь Дмитрій Платоновичъ жуировалъ по сторонамъ, подъ извѣстнымъ только флёромъ приличія и скромности, и не обращалъ рѣшительно никакого вниманія на жену свою, какъ на женщину,

Это ее сначала бѣсило. Она чувствовала, что хороша собою, и молода, и богата страстною жаждой жизни, любви, наслажденья, и между тѣмъ остается одна, и все одна, безъ всякаго удовлетворенія этому избытку молодой своей силы. Ей было горько, тяжело, она плакала, и не разъ таки вспомнила вульгарную фамилію такъ романически влюбленнаго въ нее Еремѣева. Вскорѣ у нея родился сынъ — князь Владиміръ Шадурскій, но это обстоятельство нимало не возвратило къ ней сердце мужа, и только самоё ее развлекло на нѣкоторое время, чтобы черезъ нѣсколько мѣсяцевъ потомъ дать еще бо́льшій просторъ тоскѣ и скукѣ, и этой неудовлетворенной жаждѣ переживать свои юныя силы. Болѣе четырехъ лѣтъ длились скрытыя страданія молодой, покинутой мужемъ женщины. Тщеславіе Шадурскаго было вполнѣ удовлетворено женитьбой — чего еще требовать отъ него? Любви? но развѣ могъ онъ давать то, чего у него никогда и не бывало? Достаточно и того, что онъ дозволилъ себѣ увлечься на нѣкоторое время. Маленькая ревность и маленькія сцены, которыя выводила ему сначала супруга, сдѣлали только то, что она ему окончательно надоѣла. А онъ къ тому же еще такъ любилъ напускать на себя чувство неудовлетворительности, такъ любилъ показывать, что все ему надоѣдаетъ въ жизни, что все находитъ онъ пошлымъ, и ни къ чему привязаться на долго не можетъ. Найдти себѣ «друга» весьма легко могла бы княгиня среди окружающей ее и всегда готовой на «дружбу» молодёжи; но тутъ-то искать не хотѣла Татьяна Львовна. Она знала, что всѣ друзья этого рода на языкъ невоздержны, и на самолюбіе отчасти щеголевато-хвастливы; что при случаѣ, послѣ нѣсколькихъ бутылокъ вина въ пріятельской бесѣдѣ, ни за одного изъ нихъ, пожалуй, нельзя бы было поручиться, что онъ вдругъ, par hasard, не скомпрометируетъ какъ-нибудь имя тайной дамы своего сердца. А княгиня пуще всего дорожила своимъ именемъ. Она, наконецъ, обратила вниманіе на мужнина управляющаго, г. Морденко. Энергически красивый плебей (онъ былъ изъ вольноотпущенныхъ отца Шадурскаго) занялъ прочное мѣсто въ сердцѣ княгини. Темный, никому неизвѣстный человѣкъ, ничтожный управляющій, онъ поневолѣ долженъ быть скроменъ; лѣта его давно перешли тотъ возрастъ, когда человѣкъ любитъ болтать о своихъ побѣдахъ, значитъ, похвастаться

своими отношеніями ему негдѣ и некому, да и небезопасно, въ разсужденіи управительскаго мѣста. По всѣмъ этимъ соображеніямъ княгиня нашла, что его можно приблизить къ себѣ — и Морденко всегда оставался глубоко-почтителенъ съ нею. Какъ умный хохолъ, и какъ человѣкъ прежде всего зашибающій копейку, онъ понималъ, что положеніе его и очень выгодно, и вмѣстѣ съ тѣмъ очень шатко. Поэтому, будучи всегда безпрекословно покоренъ волѣ и желаніямъ своей патронессы, онъ былъ крайне остороженъ, и одна только случайность—и то, по винѣ самой княгини, слишкомъ стремительно бросившейся къ нему навстрѣчу—сдѣлала возможнымъ такое неожиданное и непріятное столкновеніе, какое произошло у нихъ съ княземъ Шадурскимъ. Татьяна Львовна, переродившаяся по прошествіи четырехъ лѣтъ совсѣмъ уже въ практическую, ловкую и опытную барыню, умѣла хорошо скрывать свои отношенія, которыя особенно сплотились во время отсутствія мужа въ деревню. Нѣкоторыя услужливыя руки изъ деревенской дворни нашли нелишнимъ сообщать матушкѣ-барынѣ-княгинѣ о грѣхѣ или — что̀ то же — о «байронически-сельскомъ» романѣ ея мужа. Такимъ образомъ Татьяна Львовна знала про связь супруга своего съ княжною Чечевинской, тогда-какъ этотъ послѣдній и не догадывался объ отношеніяхъ ея къ г. Морденкѣ, и только тогда убѣдился въ существованіи *какой то* связи, когда увидѣлъ уже несомнѣнные признаки беременности своей жены. Но... онъ могъ представить себѣ все, что̀ угодно, только — не г. Морденку!

Татьянѣ Львовнѣ пошелъ между тѣмъ восьмой мѣсяцъ; однако, положеніе ея было замѣтно только тремъ человѣкамъ: Морденкѣ, камеристкѣ мамзель Фанни и князю Дмитрію Платоновичу Шадурскому.

XIX

Неожиданное и не совсѣмъ пріятное послѣдствіе второй пощочины

Принявъ дѣла отъ Морденки, причемъ во время сдачи разговоры ограничивались только самыми необходимыми, дѣловыми фразами князь Шадурскій мрачно ходилъ по своему кабинету и съ досадой безпощадно грызъ свои прекрасно обточенные, розовые ногти. Стыдъ

презрѣніе, злоба и ревность одновременно сосали теперь его сердце. Цѣлый день онъ не выходилъ изъ кабинета, и даже обѣдать не садился. Однако, подкидыша не забылъ отправить въ каретѣ со всѣми достодолжными инструкціями къ генеральшѣ фон-Шпильце.

Былъ уже часъ одинадцатый вечера, когда въ кабинетъ вошелъ лакей и объявилъ Шадурскому, что княгиня изволятъ просить ихъ пожаловать къ себѣ.

— Хорошо... пошелъ вонъ! проговорилъ князь, и направился-было къ дверямъ, но вдругъ остановился, подумалъ и вернулся назадъ.

Черезъ четверть часа — новый посланный, который получаетъ тотъ же отвѣтъ, но Дмитрій Платоновичъ на сей разъ уже не направляется къ дверямъ, а продолжаетъ себѣ изъ угла въ уголъ шагать по комнатѣ. Онъ твердо рѣшилъ не сдаваться ни на мольбы, ни на убѣжденія, и потому положилъ не ходить къ супругѣ. «Все кончено между мной и этой женщиной! и только для свѣта мы — мужъ и жена!» мысленно рѣшалъ онъ самъ съ собою, не безъ наслажденія предаваясь рисовкѣ мрачнаго трагизма. Прошло еще минутъ десять — и на порогѣ кабинета, изъ-за тяжелой портьеры, показалась сама княгиня. Блѣдная, больная, съ покраснѣлыми и припухшими отъ слезъ глазами, нетвердо вошла она, шатаясь, въ комнату, и въ изнеможеніи опустилась на кресло.

— Что̀ вамъ угодно? сухо, но вѣжливо спросилъ ее князь.

— Я очень дурно себя чувствую, съ усиліемъ проговорила Татьяна Львовна.

— Тѣмъ хуже для васъ! ядовито улыбнулся онъ.

— И для васъ столько же: я чувствую, что должна буду выкинуть...

Шадурскій опѣшился.

— Какъ!... но это невозможно!... бормоталъ онъ, совсѣмъ растерявшись отъ этого новаго сюрприза.

Княгиня только улыбнулась на сказанную имъ глупость.

— Я чувствую, говорю вамъ! подтвердила она: — я пришла спросить: угодно вамъ, чтобъ это все здѣсь, у васъ въ домѣ, произошло?

— Боже сохрани! какъ можно въ домѣ? испугался Дмитрій Платоновичъ.

— Такъ везите же меня куда нибудь, твердо и настойчиво порѣшила княгиня.

— Но какъ же это?... куда?... я, право, не знаю... говорилъ онъ въ недоумѣніи стоя передъ женою.

— Вы, кажется, теряетесь еще больше меня! Стыдитесь! Мужчина! съ злобнымъ презрѣніемъ проговорила Татьяна Львовна.

Князь дѣйствительно во всѣхъ почти экстренныхъ случаяхъ жизни, если только они производили на него угрозливое или страшливое впечатлѣніе, мигомъ терялъ присутствіе духа, и изъ гордаго аристократа Чайльд-Гарольда становился мокрою курицей. Однако, послѣднее замѣчаніе жены не шутя задѣло его за живое.

— Извольте, я готовъ; только куда прикажете? спросилъ онъ, оправившись и даже встряхнувшись немного, почему немедленно же принялъ опять свой прежній сухой и вѣжливый тонъ.

— Куда прикажете! Понятное дѣло, къ акушеркѣ какой нибудь! пояснила жена, начинавшая уже терять терпѣніе.

Князь вспомнилъ о Свѣчномъ переулкѣ — и весь демонизмъ его тотчасъ же возвратился къ своему хозяину. По правдѣ-то сказать, впрочемъ, онъ и не зналъ, куда бъ иначе кинуться, еслибъ не Свѣчной переулокъ. Бѣгать по городу и отыскивать самому ночью какую нибудь акушерку, было бы болѣе чѣмъ неудобно, да и рисковано въ отношеніи времени для больной. И потому, тутъ ничего уже больше не оставалось дѣлать, какъ только остановиться на Свѣчномъ переулкѣ, давши затѣмъ полную волю разыгрываться своему демонизму.

«Въ довершеніе всего только этого недоставало!» думалъ онъ, пуская на губы мефистофельски-ироническую улыбку: «недоставало только свести этихъ двухъ женщинъ подъ одной кровлею... и гдѣ же?... въ какомъ мѣстѣ?... Вотъ случай-то съ его игрою!... Вотъ она гдѣ настоящая-то иронія судьбы!» заключилъ онъ мысленно, и съ тою же улыбкой прибавилъ вслухъ:

— Извольте идти одѣваться — черезъ десять минутъ карета будетъ готова.

Княгиня поблагодарила наклоненіемъ головы, и холодно вышла изъ кабинета. Она вполнѣ поняла сего Чайльд-Гарольда, и потомъ

презирала его. Впрочемъ, и Чайльд-Гарольдъ не оставался въ долгу: онъ тоже презиралъ супругу за г. Морденко.

А что, еслибы на мѣстѣ этого г. Морденко былъ кто нибудь другой, въ родѣ титулованнаго камер-юнкера или флигель-адъютанта? Вѣдь князь, пожалуй, что и не презиралъ бы тогда свою супругу?

Даже навѣрное не презиралъ бы, осмѣлимся увѣрить мы сомнѣвающагося читателя.

— Есть у васъ свободная комната? я привезъ больную, вполголоса и почти шопотомъ говорилъ князь востроносенькой нѣмецкой женщинѣ въ бѣломъ чепцѣ, боясь, чтобы голосъ его не услышала какъ-нибудь княжна Анна. Демонизмъ и игра въ герои все-таки не мѣшали ему потрухивать непріятнаго столкновенія.

Удобная, запасная комната отыскалась тотчасъ-же, на противоположномъ концѣ отъ той, которую занимала княжна Чечевинская. Князь высадилъ изъ кареты жену свою и подъ руку ввелъ ее въ предназначенную горницу.

— Бога-ради, только поскорѣй! употребите всѣ зависящія отъ васъ средства, чтобы это скорѣе кончилось! шопотомъ упрашивалъ онъ востронесенькую нѣмку, и осторожно выйдя въ смежную комнату, закурилъ сигару и преспокойно усѣлся на диванъ дожидаться финала всей этой исторіи.

Прошло часа три. Князь починалъ уже третью сигару. У него было очень скверно на душѣ, ибо тамъ боролось чувство оскорбленнаго самолюбія (въ самомъ дѣлѣ, непріятно мужу находиться въ подобномъ положеніи у акушерки) и чувство страха за возможность столкновенія съ княжной, боязнь, чтобы все это какъ нибудь не раскрылось, не было узнано въ свѣтѣ, боязнь титула почтеннаго рогоносца — словомъ, князю было очень нехорошо. Его повременамъ била дрожь нервной лихорадки; въ особенности, когда страдальческіе вопли жены становились громче и, стало-быть, слышнѣе въ другихъ комнатахъ сѣренькаго домика. Мимо его раза два прошмыгнула востроносенькая нѣмка и разъ пять ея помощница. При каждомъ скрыпѣ отворявшейся двери Шадурскій вздрагивалъ, и, весь обданный жаромъ, тревожно вскидывалъ глаза на роковую

дверь. Нѣмка мимоходомъ бормотала ему что нибудь успокоительное и Шадурскій, по уходѣ ея, повергался въ прежнее состояніе внутренней борьбы вышеозначенныхъ чувствъ, боязней и соображеній, до новаго неожиданнаго стука дверной ручки. Утомленный всѣми этими ощущеніями, онъ уже впадалъ въ легкое забытье. Окружающая обстановка комнаты съ нѣмецкими литографіями въ рамкахъ, стоны жены, воспоминаніе всего случившагося въ этотъ день, княжна, Морденко, акушерка, фон-Шпильце, подкидышъ—все это мѣшалось между собою и сливалось въ какіе-то отрывочные, мутно-неопредѣленные образы; пальцы его уже слабѣли, безсознательно еще кое-какъ удерживая потухшую сигару; нерво-нойное, болѣзненное чувство подъ ложечкой тоже смирялось и затихало, подобно больному зубу передъ усыпленіемъ — какъ вдругъ скрыпнула дверь... Князя будто кольнуло что: онъ вздрогнулъ, очнулся и поднялъ глаза.

На порогѣ стояла княжна Анна. Колебавшееся пламя свѣчи, которую держала она, кидало неровный отсвѣтъ на ея блѣдное, встревоженное лицо. Сквозь ночной бѣлый шлафрокъ видно было, какъ дрожали ея руки, какъ тревожно вольновалась грудь. Она увидѣла князя — и Боже мой, чего только нельзя было прочесть на этомъ любящемъ, страдающемъ лицѣ въ одно только это мгновеніе! Тутъ было и удивленіе и безотчетный порывъ *къ нему*, и страхъ, и надежда, и гордое чувство матери, и радость свиданія, и горькій укоръ за невниманіе, за равнодушіе—много и сильно говорило это лицо, эти глаза, эта улыбка.

— Дмитрій... Бога въ тебѣ нѣтъ! Можно ли такъ забыть, оставить меня!... Дмитрій!... Милый, ненаглядный... Ты видѣлъ ее... видѣлъ... нашу дѣвочку, дочку нашу? лепетала она обрывавшимся отъ волненія голосомъ, кинувшись къ князю, и, какъ слѣпая, трогая, ощупывая его руками, словно бы хотѣла убѣдиться — точно ли это онъ стоитъ передъ нею?

Князь, безсознательно вскочившій съ мѣста при ея появленіи, какъ провинившійся школьникъ, стоялъ неподвижно — смущеный, озадаченный, растерянный до послѣдней крайности. Онъ не могъ собраться съ мыслями, не могъ сказать ни одного слова. А тутъ еще изъ сосѣдней комнаты обличающіе стоны жены раздаются. Онъ струсилъ и искренно желалъ провалиться сквозь землю.

— Что̀ жь ты не пріѣзжалъ ко мнѣ?... вѣдь я одна, совсѣмъ одна, пойми ты это!... Я вѣдь измучилась, ждавши тебя, продолжала лепетать больная, не замѣчая, отъ наплыва своихъ ощущеній, этого неподвижнаго смущенія и холодности князя.—Мнѣ та̀къ хотѣлось, та̀къ хотѣлось видѣть тебя, взглянуть бы только на тебя, слово услышать — вѣдь мнѣ тяжело, невыносимо... я, какъ въ лѣсу, ничего тутъ не знаю... А ты — хорошъ, и не ѣдешь, и слова не напишешь!... Ну, да я не сержусь теперь... я не сержусь... Я люблю тебя... Я — мать. Ну, обними, ну, поцалуй свою Анну!... цалуй меня — теперь вѣдь мы одни съ тобою. — Да что̀ жь ты стоишь? что̀ это съ тобою?... Дмитрій, что съ тобою? отшатнулась она черезъ минуту, съ изумленіемъ вглядываясь въ смущенную фигуру опѣшившаго князя, ни однимъ словомъ, ни однимъ взглядомъ и движеніемъ не отвѣтившаго сочувственно на ея беззавѣтно-искренній порывъ.

— Княжна... извините... я не одинъ, я не одинъ... уйдите... насъ могутъ увидѣть... уйдите, княжна... бормоталъ онъ, кое-какъ собравшись съ силами. Слова дрожали, путались на его языкѣ.

— Княжна... уйдите... Да что̀ это съ тобою, Дмитрій, что̀ это за слова ты говоришь?... Господь съ тобою, опомнись!... еще порывистѣе отшатнулась Анна, глядя во всѣ глаза на Шадурскаго.

— Уходите же, бога-ради, я васъ прошу!... настаивалъ, между тѣмъ, тотъ, стараясь отвести отъ себя ея протянутыя руки... Вы забываетесь... насъ увидятъ... что̀ могутъ подумать...

Перетрусившій Чайльд-Гарольдъ говорилъ уже окончательныя глупости, которыя какими-то проблесками мелькали у него въ головѣ, и сами собою, безсознательно какъ-то, подвертывались на языкъ.

У княжны опустились руки.

— Такъ это-то твой привѣтъ матери твоего ребёнка? проговорила она, повидимому спокойно, однако, въ сущности, съ колюче-горькимъ чувствомъ въ душѣ.

— Я не одинъ... я не одинъ здѣсь, повторялъ князь, со страхомъ озираясь на дверь, изъ которой каждую минуту могла появиться акушерка.

— А! ты не одинъ здѣсь?... Да, я слышала!... я по голосу

узнала ее... по этимъ крикамъ догадалась, что это — ваша жена, говорила княжна все тѣмъ же наружно ровнымъ и спокойнымъ голосомъ.

У князя все лицо передернуло, словно отъ внезапной ожоги. Этого-то только онъ и боялся... «Чортъ-возьми, узнала!... стало-быть, не скроется... стало-быть, узнаютъ всѣ!» мелькало у него въ головѣ — и это мельканіе прожигало мозгъ, вызывало краску стыда и хватало за сердце. Паче всего князь страшился, чтобы не пронюхали какъ нибудь скандала съ его законною супругой.

— Стало быть, кончено. Все кончено между нами. Покорно благодарю, что вы наконецъ-то раскрыли мнѣ глаза... Жаль, что поздно немного... Ну, да все равно! Теперь я хочу знать, гдѣ мой ребёнокъ, что̀ сдѣлали вы съ моимъ ребёнкомъ? спрашивала княжна уже строгимъ и холоднымъ тономъ.

— Завтра... завтра все узнаете... завтра я напишу... заѣду... только уйдите, умоляю васъ!... Уйдите же! почти крикнулъ онъ, выведенный, наконецъ, изъ себя своимъ отчаяннымъ положеніемъ. Онъ боялся также, чтобы нѣмка не застала его вмѣстѣ съ княжною, и чтобы черезъ это не открылся настоящій виновникъ беременности этой дѣвушки.

Княжна холодной и презрительно-сострадательной улыбкой встрѣтила его отчаянную выходку.

— Вы очень боитесь моей встрѣчи съ княгиней Шадурской? не безъ ироніи спросила она. — Извольте. Я васъ избавлю отъ нея. Можете быть покойны: того, что̀ происходитъ съ нею въ той комнатѣ, черезъ меня никто не узнаетъ: я честнѣе васъ.

Анна направилась къ двери, Шадурскій на цыпочкахъ шелъ за нею, стараясь выпроводить поскорѣе непріятную гостью. Въ корридорѣ, куда вышелъ вмѣстѣ съ княжною, притворивъ за собой дверь, онъ почувствовалъ нѣкоторое радостное спокойствіе: «наконецъ-то, слава тебѣ Господи, счастливо отдѣлался, и кажись — навсегда». Тутъ уже, видя, что главная бѣда почти миновалась, ему вдругъ захотѣлось немножко порисоваться съ романической стороны, хоть чѣмъ нибудь скорчить изъ себя порядочнаго человѣка, хоть какъ нибудь сгладить гнусное впечатлѣніе послѣдней сцены.

— Прости... прости меня, Анна! нарочно поглуше и подраматичнѣе прошепталъ онъ, стараясь схватить руку дѣвушки.

Она увернулась отъ князя и отвела его руку.

— Богъ съ тобой, Дмитрій! прорвалось у нея рыданье. — Я твоего зла не хочу помнить... Только дочку... бога-ради, дочку мнѣ!

И съ этими словами она скрылась за дверью своей комнаты.

Часъ спустя все уже было кончено.

Княгиня разрѣшилась мальчикомъ. Ребёнокъ, несмотря на преждевременное появленіе свое на свѣтъ, былъ живъ и даже здоровъ.

Шадурскій сунулъ сторублевую ассигнацію въ руку нѣмкѣ, бережно укуталъ въ шаль и салопъ свою супругу и почти на рукахъ снесъ ее въ карету, къ вящему изумленію акушерки, которая, глядя на все это, только ахала, да чепчикомъ своимъ изъ стороны въ сторону покачивала.

Ребёнокъ остался у нея на воспитаніе. Больная, повидимому, была спокойна и молча сидѣла, откинувшись въ уголъ кареты.

— Вы никогда больше не увидите вашего ребёнка, холодно и внятно проговорилъ наконецъ Шадурскій, стараясь сдѣлать голосъ свой тверже и металичнѣе. Онъ и тутъ рисовался.

— Но гдѣ же этотъ несчастный ребёнокъ будетъ находиться, по крайней-мѣрѣ? слабо спросила больная.

— Этого вы также никогда не узнаете! порѣшилъ Дмитрій Платоновичъ.

— Но это безчеловѣчно!

— Совершенно согласенъ съ вашимъ мнѣніемъ...

— Наконецъ, это гнусно шутить такимъ образомъ!

— Не гнуснѣе вашего поступка! съ улыбочкой въ голосѣ возразилъ Шадурскій. — Впрочемъ, все, что я могу сказать вамъ, прибавилъ онъ, минуту спустя: — такъ это то, что вы были у той самой акушерки и подъ тою самою кровлею, гдѣ находится теперь княжна Чечевинская. Такимъ образомъ — вы совершенно сравнялись съ этою женщиной. Впрочемъ, нѣтъ! Виноватъ! вы хуже ея! вы — любовница лакея! заключилъ онъ съ ядовитою желчностью, и послѣ этого, во всю остальную дорогу, не проронилъ болѣе ни одного уже слова.

XX

Ареопагъ непогрѣшимыхъ

Черезъ десять дней послѣ этого происшествія, княгиня Татьяна Львовна чувствовала себя уже на столько хорошо, что могла въ постели принимать визиты добрыхъ своихъ пріятельницъ, являвшихся къ ней освѣдомиться о здоровьѣ.

Для свѣта княгиня была больна какою-то febris или чѣмъ-то въ родѣ застуженія, воспаленія и т. п. — словомъ, одною изъ тѣхъ болѣзней, которыми всегда удобно можно прикрываться.

Около ея постели сидѣла m-me Шипонина съ старшею граціей, сорокалѣтнею дѣвою, баронесса Дункельтъ и еще два-три дипломата въ юбкахъ — особы всѣ вѣскія, досточтимыя, авторитетныя и вообще очень компетентныя въ дѣлахъ міра сего.

Князь Дмитрій Платоновичъ, все время неговорившій съ женою, только изъ приличія отправлялъ къ ней ежедневно своего камердинера освѣдомляться о здоровьи. Теперь же онъ въ первый разъ нашелъ нужнымъ придти къ ней лично — потому, нельзя же: княгиня уже принимала своихъ пріятельницъ.

— Какъ вы чувствуете себя ныньче? спросилъ онъ, вѣжливо цалуя ея руку и съ видомъ участія—въ той, однако, дозѣ, на сколько это было нужно и прилично.

— Сегодня мнѣ гораздо лучше, мило отвѣтила княгиня, и мило опять-таки на столько, на сколько могло это быть допущено въ приличномъ супружествѣ.

— Пароксизмъ не возобновлялся? съ заботливымъ участіемъ продолжалъ Шадурскій.

— Благодаря Бога, нѣтъ... Садитесь и слушайте, предложила ему супруга, указывая на кресло у своихъ ногъ. — Мнѣ сообщаютъ чрезвычайно интересныя новости.

— Ахъ, да, да! это ужасно, это невообразимо! говорилъ ареопагъ компетентныхъ судей. — Мы говорили о скандалѣ...

— Да! скажите пожалуйста, что̀ это такое? любопытно подхватилъ Шадурскій. — Я слышалъ кое-что; но, признаюсь, никакъ не могу повѣрить.

— Можете нетолько вѣрить, но даже вѣровать какъ въ исти-

ну, докторальнымъ тономъ замѣтилъ одинъ изъ дипломатовъ въ юбкѣ.

— Неужели же правда! воскликнулъ Шадурскій, растягивая въ знакъ удивительный свою физіономію, которая такъ и блистала въ это мгновеніе могучимъ чувствомъ непогрѣшимаго достоинства.

— Къ стыду и къ несчастію—правда! отчетливо сказала Шипонина, печально покачавъ головой. — Я сама видѣла несчастную мать, сама читала письмо.

Замѣчательно, что сей достопочтенный ареопагъ, говоря о скандалѣ, не только не объяснилъ, въ чемъ онъ заключается, но даже въ разговорѣ между собою избѣгалъ самого слова «скандалъ», замѣняя его безличными мѣстоимѣніями *то* и *это*. Можетъ быть « ужасность » самаго « проступка », а можетъ и присутствіе сорокалѣтней дѣвственницы связывали ареопагу органы болтливости.

— Подобной безнравственности никогда еще не бывало въ нашемъ обществѣ! горячо разглагольствовала баронеса Дункельтъ, считавшая десятками своихъ любовниковъ и въ томъ числѣ присутствующаго князя, который тоже во время оно отдалъ ей должную дань.

— Неужели послѣ этого кто нибудь согласится принять ее? вопрошалъ одинъ изъ дипломатовъ.

— Я надѣюсь, что ни одна порядочная женщина не позволитъ себѣ этого! рѣшительнымъ и авторитетнымъ тономъ проговорила княгиня Шадурская. — По крайней-мѣрѣ, мой домъ навсегда закрытъ для нея, какъ и для каждой потерянной женщины. Я стыжусь, что была даже знакома съ нею!

— Конечно, такихъ поступковъ прощать никогда не слѣдуетъ: они чернымъ пятномъ ложатся на цѣлое сословіе! съ благороднымъ негодованіемъ заключилъ Дмитрій Платоновичъ.

И всѣ остальные вполнѣ согласились съ его справедливымъ мнѣніемъ.

Такимъ образомъ въ силу безапеляціоннаго приговора ареопага непогрѣшимыхъ, княжна Анна Чечевинская была подвергнута вѣчному остракизму.

XXI

Пробужденіе

Получивъ письмо старой княгини, Анна поняла, что всѣ ея связи со свѣтомъ окончательно порваны. Но ничего кромѣ полнѣйшаго и равнодушнаго презрѣнія не шевельнулось въ ея сердцѣ при мысли объ этомъ разрывѣ. Да и что жь кромѣ презрѣнія могло тамъ шевельнуться? Что̀ далъ ей этотъ свѣтъ, что нашла она въ немъ? — Одинъ только холодъ, ни капли искренняго чувства, ни одного искренняго слова, наконецъ гнусный, вѣроломный обманъ— и ничего болѣе! Но въ обманъ она еще не хотѣла повѣрить, она все еще старалась обманывать самую себя и ожидала свиданія съ княземъ. Но князь не пріѣзжалъ. Въ достопамятную для княгини Шадурской ночь, княжна, услышавъ изъ своей комнаты крики больной, какъ-то невольно, инстинктивно почувствовала, что это именно звукъ голоса Татьяны Львовны. «Онъ тоже долженъ быть здѣсь?... Что̀ все это значитъ?» мелькало у нея въ головѣ. Нѣмка, между дѣломъ, вошла навѣстить и ее. Тутъ-то, по разсказу ея о внезапномъ ночномъ посѣщеніи и изъ ея описанія «кавалера» и «дамы», пріѣхавшихъ къ ней, княжна догадалась что это именно были Шадурскіе. Послѣдовавшая сцена уже извѣстна читателю.

Между тѣмъ, положеніе ея было весьма печально. Денегъ ни копейки, платья — только то, что̀ было на себѣ; извѣстій, послѣ письма матери — никакихъ, отъ Шадурскаго — тоже, и наконецъ Наташа, обѣщавшая заложить для нея кое-какія вещи, также пропала неизвѣстно куда. Послѣдній разъ она видѣлась съ нею въ утро, передъ полученіемъ письма, и затѣмъ словно въ воду канула. Нѣмку эти обстоятельства весьма сильно безпокоили, и только по добротѣ душевной она ничего пока еще не высказывала своей паціенткѣ, что̀, однакоже, не мѣшало той очень хорошо замѣчать и чувствовать все это. Она рѣшилась, наконецъ, еще разъ написать письмо Шадурскому, въ которомъ заклинала открыть ей, что̀ сталось съ ихъ ребенкомъ; но князь разорвалъ и сжегъ это письмо вмѣстѣ съ предыдущимъ, дабы не оставлять никакихъ существенныхъ доказательствъ своихъ отношеній къ ней.

Княжна мучилась и терзалась невыносимо. Эта неизвѣстность все больше и больше томила ея душу, наводя только мрачныя мысли, которыя не покидали ея ни на минуту. Она уже отъ всего отрѣшилась въ своей прежней жизни, и даже отъ самой мысли о любовникѣ, въ которомъ такъ долго не хотѣла разочароваться, и котораго наконецъ стала презирать; одно только, что̀ страстно привязывало ее къ жизни, это — жажда узнать, что̀ сталось съ ея ребёнкомъ, жажда увидѣть его еще разъ, вырвать изъ чужихъ рукъ и всецѣло отдаться безумной любви къ этому младенцу, котораго никогда, ни на минуту не выпускать изъ своихъ объятій. Этотъ ребёнокъ былъ теперь для нея *все* — все ея богатство, все счастье — и радость и мука въ одно и то же время. Жажда видѣть свое дитя дошла въ ней, наконецъ, до какого-то отчаянія, почти до помѣшательства, и породила, наконецъ, непреклонную рѣшимость, во что̀ бы то ни стало, добиться своей цѣли, которая вполнѣ уже сдѣлалась для нея единственной цѣлью всей жизни.

Она написала письмо къ самой княгинѣ Шадурской. Это были не слова, а слезы наболѣлой, истерзанной души. Она, ни слова не упомянувъ о Шадурскомъ и своихъ отношеніяхъ къ нему, раскрыла только съ полной откровенностью, что она *мать* подкинутаго къ нимъ ребёнка, и умоляла сказать ей, гдѣ онъ и что̀ съ нимъ сдѣлалось? Но отвѣта на это письмо не было. Княжна подождала, или, лучше сказать, всѣмъ существомъ своимъ прострадала тоской ожиданія два дня — и все-таки отвѣта не было. Она написала къ ней новое, еще отчаяннѣе перваго, письмо, отправивъ его лично съ востроносенькой нѣмкой — и результатъ вышелъ все тотъ же.

Тогда княжна Анна оставила свой тайный пріютъ. Она, наконецъ, совершенно пробудилась, и вполнѣ уже поняла, что̀ такое тотъ свѣтъ и тѣ люди, которые до сихъ поръ ее окружали. Всѣ связи съ этою жизнью отъ той же минуты были окончательно порваны въ ея сердцѣ. Въ немъ жило одно только чувство, одно стремленіе — во что̀ бы то ни стало видѣть и отнять своего ребёнка, и съ этой неотступною мыслью она впервые вышла за порогъ сѣренькаго домика въ Свѣчномъ переулкѣ.

XXII

Дѣти

Слова князя Шадурскаго о томъ, что жена его никогда не увидитъ и не будетъ знать своего новорожденнаго сына, были ни что иное, какъ одна только эфектная фраза.

Г. Морденко написалъ ей письмо, гдѣ извѣщалъ о новомъ своемъ адресѣ. Княгиня Татьяна Львовна отвѣтила тотчасъ же, и, разсказавъ подробно всю послѣдующую исторію, приказала ему развѣдать подъ рукой у кучера, въ какую улицу ѣздилъ онъ съ господами ночью. Такимъ образомъ адресъ акушерки изъ Свѣчнаго переулка сдѣлался извѣстенъ и княгинѣ, и г. Морденкѣ.

Мужъ просилъ ее готовиться къ отъѣзду вмѣстѣ съ нимъ за границу, что̀ должно было послѣдовать недѣли черезъ полторы. Княгиня тайкомъ отъ него переслала Морденкѣ довольно значительную сумму денегъ, съ приказаніемъ взять ребёнка отъ акушерки и помѣстить его въ хорошія руки. Генеральша Фон-Шпильце съ своей стороны сдѣлала то же самое.

Въ Средней Мѣщанской улицѣ, «близь пожарнаго депо», жилъ нѣкоторый «бѣдный, но честный майоръ» въ отставкѣ, «будучи обремененъ многочисленнымъ семействомъ и женой, болѣзненнымъ состояніемъ одержимой». Это, однако, нисколько не мѣшало ему брать «на воспитаніе» постороннихъ дѣтей. «Бѣдный, но честный» майоръ назывался — Петръ Кузьмичъ Спица.

На Петербургской сторонѣ, въ Гулярной улицѣ, можно сказать, среди древесъ и злаковъ сельскихъ, обиталъ въ собственномъ домишкѣ одинъ изъ вѣчныхъ титулярныхъ совѣтниковъ и присяжныхъ столоначальниковъ, по фамиліи Повѣтинъ. Жилъ онъ скромно, тихо и богобоязненно вмѣстѣ съ женою, но безъ чадъ и домочадцевъ, въ коихъ отказала имъ попечительная судьба.

Къ бѣдному, но честному майору былъ помѣщенъ, стараніями г. Морденки, сынъ княгини Шадурской, во святомъ крещеніи нареченный именемъ Іоанна Ветхопещерника, и того же мѣсяца приписанный въ мѣстное мѣщанское сословіе, подъ фамиліей Вересова.

Къ титулярному совѣтнику Петру Повѣтину, стараніями генеральши фон-Шпильце, была отдана на воспитаніе дочь князя Шадур-

скаго, во св. крещеніи именемъ святыя Маріи Магдалины нареченная, и записанная въ мѣщанское сословіе подъ фамиліей Повѣтиной, по воспріемному отцу и воспитателю ея.

Пятилѣтній князь Владиміръ Шадурскій приготовлялся, со своимъ штатомъ нянекъ и гувернантокъ, къ отъѣзду съ родителями за границу, гдѣ предполагалось начать и кончить курсъ его воспитанія и образованія, которое должно было пріуготовить и дать русской землѣ русскаго гражданина.

XXIII

Великосвѣтская Діана

Былъ холодный, весенній вечеръ. Петербургъ изобилуетъ ими. По небу ходили низкія и хмурныя тучи; съ моря дулъ порывистый, гнилой вѣтеръ и засѣвалъ лица прохожихъ мелко-моросившею дождевою пылью. Надъ всѣмъ городомъ стояла и спала тоска неисходная. На улицахъ было темно и уныло отъ мглистаго тумана. Фонарей, по весеннему положенію, не полагалось.

Часовъ около восьми, у подъѣзда дома князя Шадурскаго остановилась женщина, закутанная въ большую шаль, съ густымъ темнымъ вуалемъ на лицѣ, и робко дернула за ручку звонка.

— Мнѣ необходимо надо видѣть княгиню—отдайте ей эту записку, сказала она отворившему ей швейцару и вслѣдъ за нимъ вошла на площадку парадной лѣстницы.

Княгиня прочла поданную ей записку и улыбнулась. Въ ней загорѣлось Эвино любопытство и желаніе поглядѣть, какова-то стала княжна Анна послѣ всего случившагося съ нею.

— Проси сюда эту женщину, сказала она человѣку и, подойдя къ зеркалу, поправила на себѣ какую-то шемизетку, пригладила отдѣлившуюся прядку волосъ и, повернувшись въ полоборота, оглядѣла общій видъ свой.

Сердце ея билось какимъ-то особеннымъ, самодовольнымъ злорадствомъ. Она даже почему-то была рада этому неожиданному посѣщенію.

Черезъ минуту робко, съ замирающимъ сердцемъ, вошла княжна Анна въ будуаръ Шадурской, и только тутъ, оставшись съ ней

наединѣ, подняла съ лица свой черный вуаль. Это лицо было блѣдно, смертельно блѣдно; на черныхъ рѣсницахъ глубокихъ прекрасныхъ глазъ искрились двѣ крупныя слезы; блѣдныя и сухія губы чуть-чуть дрожали нервною дрожью. Стройная, высокая фигура ея, охваченная мягкими складками черной шали и платья, походила скорѣе на призракъ, чѣмъ на живое существо. Она была грустно, тоскливо-прекрасна, какъ подсудимая, которая ожидала послѣдняго своего приговора, долженствовавшаго разрѣшить для нея роковое *быть или не быть*.

Княгиня Шадурская встрѣтила ее вопросительной миной, не забывъ предварительно устроить себѣ холодное и нравственно-строгое лицо.

Княжна Анна молчала. Она была слишкомъ смущена и взволнована для того, чтобы сказать что либо.

— Что вамъ отъ меня угодно? съ ледяною вѣжливостью спросила, наконецъ, Шадурская, которая ни сама не садилась, ни посѣтительницѣ не указала на кресло.

— Вы это уже знаете, прошептала несчастная дѣвушка.

— Я знаю только то, что поступаю, можетъ быть, слишкомъ опрометчиво, дозволивъ себѣ принять васъ, возразила княгиня своимъ прежнимъ тономъ. — Вы должны знать, что болѣе не существуете уже для общества—и вѣрьте, только изъ одного христіанскаго чувства я принимаю васъ нынче... Только покорнѣйше прошу, чтобы это былъ послѣдній разъ, поспѣшила добавить она.

— Мнѣ свѣта не нужно: мнѣ нуженъ ребёнокъ мой! твердо сказала дѣвушка.

— Какъ!... и вы рѣшаетесь такъ прямо говорить объ этомъ? Гдѣ же дѣвическая скромность? благонравно удивилась княгиня, которой стало уже не въ моготу притворяться строгою христіанкой, а такъ и подмывало явиться въ настоящемъ своемъ образѣ безпощадно-строгой Діаны.

— Зачѣмъ говорить слова? возразила Анна; — я прошу у васъ моего ребёнка!

— Къ сожалѣнію, я ничего не могу сказать вамъ о немъ. Я его почти и не видала.

— О, сжальтесь! не мучьте же меня! простонала мать, лежа

съ мутящей тоской свои руки и, вдругъ зарыдавъ, опустилась на колѣни передъ гордой княгиней.—Отдайте, отдайте мнѣ его! Скажите, гдѣ онъ! умоляла она, захлебываясь отъ глухихъ и тяжелыхъ рыданій.

— Я уже сказала вамъ, промолвила Шадурская, не дѣлая ни малѣйшаго движенія, чтобы поднять съ полу несчастную.

— Вспомните, вѣдь вы тоже мать!... Мать... Поймите же меня! стонала княжна, въ изступленіи подползая къ ней на колѣняхъ и судорожно ловя ея руки.

— Встаньте! повелительно сказала княгиня.— Между нами нѣтъ и не можетъ быть ничего общаго... Вы сами захотѣли упасть въ ту пропасть, которая навѣки отдѣлила васъ отъ всѣхъ честныхъ и порядочныхъ женщинъ—ну, такъ на себя и пеняйте же! съ жосткой, желѣзной холодностью говорила она, безжалостно измѣряя глазами ползавшую передъ ней жертву и гордѣе, чѣмъ когда либо, сознавая въ себѣ все величіе своего достоинства.

— И у васъ хватаетъ духу читать мнѣ мораль въ эту минуту! съ горькимъ упрекомъ прервала ее княжна Анна.

— Ошибаетесь, я не мораль читаю вамъ, сухо возразила княгиня. — Я хочу только сказать, чтобы вы не писали ко мнѣ болѣе писемъ: они могутъ компрометировать меня.

Княжна тотчасъ же послѣ этихъ словъ поднялась съ полу и гордо выпрямилась.

— Вы не скажете мнѣ, гдѣ мой ребёнокъ? рѣшительнымъ тономъ спросила она.

— Въ послѣдній разъ говорю вамъ—нѣтъ! и покорнѣйше прошу оставить меня! поклонилась Татьяна Львовна.

— Такъ будь же вы прокляты! всѣ прокляты! задыхающимся шопотомъ проговорила княжна, страшно дрожа всѣмъ своимъ тѣломъ и повернулась къ двери.

— Вы слышали, что княгиня Чечевинская скончалась? Третьягодня ее хоронили и... вы—ея убійца! безжалостно-равнодушно сказала Шадурская, спокойно отходя къ своему дивану.

Княжна вздрогнула, на минуту остановилась неподвижно на мѣстѣ, потупя свою голову такъ, какъ будто ожидала сейчасъ удара сѣкиры, и вслѣдъ за этимъ тотчасъ же молча вышла изъ будуара.

Морской вѣтеръ хлесталъ одежду прохожихъ и пробѣгалъ по крышамъ все съ тѣми же пронзительными порывами. Туманъ и дождливая холодная изморозь густо наполняли воздухъ, въ которомъ царствовали мгла и тяжесть.

Нева плескала волнами своими въ гранитную набережную, за рѣкой крѣпостные часы съ безысходною тоской медленно играли «Коль славенъ нашъ Господь» и пробили девять. По пустынной набережной шибко шла противъ вѣтра высокая, стройная женщина, закутанная въ черную шаль, и шла, казалось, безъ всякой опредѣленной цѣли, безъ всякаго пути.

— Кажется, недурна, процѣдилъ себѣ сквозь зубы безпутный шатунъ-гуляка и, подумавъ съ минуту, повернулся и пошелъ въ догонку за молодой женщиной, темный очеркъ которой, съ каждымъ шагомъ, все болѣе и болѣе терялся въ холодномъ и моросящемъ туманѣ петербургской ночи...

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

НОВЫЕ ОТПРЫСКИ СТАРЫХЪ КОРНЕЙ

I

Изъ-за границы

1858 года, мѣсяца сентября, числа не упомню какого, въ «Вѣдомостяхъ С.-Петербургской Городской Полиціи», подъ рубрикою *пріѣхавшіе* было пропечатано:

ИЗЪ-ЗА ГРАНИЦЫ.

Его сіятельство князь Дмитрій Платоновичъ Шадурскій съ супругою.

Князь Владиміръ Дмитріевичъ Шадурскій, гвардіи корнетъ.

Коллежскій совѣтникъ Давыдъ Георгіевичъ Шиншѣевъ съ дочерью Дарьей Давыдовной.

Баронесса фон-Дсринъ, ганноверская подданная.

Янъ-Владиславъ Карозичъ, австрійскій подданный.

Далѣе за симъ въ полицейской газетѣ слѣдовала рубрика: *выѣхавшіе*, которая для сущности нашего разсказа не представляетъ ровно никакой надобности, и потому мы оставляемъ въ покоѣ полицейскую газету.

По этой выпискѣ и собственно по году, къ которому она относится, читатель можетъ видѣть, что отъ начала нашего повѣствованія до пріѣзда изъ-за границы вышеименованныхъ личностей, прошло двадцать лѣтъ. Воды утекло много. Старые годы и старые грѣхи замѣнились годами новыми и новыми грѣхами. Въ жизнь

вышли новые отпрыски старыхъ корней. Они-то главнѣйшимъ образомъ и составятъ предметъ предлагаемаго повѣствованія.

За два дня до появленія въ полицейской газетѣ извѣстнаго уже вамъ объявленія, къ Петербургу на всѣхъ парахъ подходилъ пассажирскій поѣздъ варшавской желѣзной дороги, на которую въ то время пересаживались во Псковѣ изъ почтовыхъ экипажей, принимавшихъ путниковъ на русской границѣ.

Въ одномъ изъ отдѣленій перваго класса сидѣли три дамы и четверо мужчинъ. Всѣ они, очевидно, составляли одно общество, и, казалось, были болѣе или менѣе коротко знакомы другъ съ другомъ.

Впрочемъ, бесѣду ихъ нельзя было назвать общею; она имѣла разрозненный и интимный характеръ, ибо все это маленькое société дѣлилось на три отдѣльныя группы.

Первую группу составляли двѣ личности: дама, весьма элегантно одѣтая въ дорожный костюмъ, съ бѣлымъ, тюлевымъ вуалемъ на пепельныхъ волосахъ, который, обрамляя ея довольно полное лицо, придавалъ нѣкоторую свѣжесть поблекшей кожѣ. На видъ ей было лѣтъ за сорокъ-пять, и каждый маломальски прозорливый и опытный человѣкъ, при взглядѣ на это лицо, непремѣнно бы замѣтилъ про себя; «ахъ, матушка, а и пожила же ты, однако!» Лицо это видимо блекло и увядало, несмотря на все стараніе, на всѣ хитрости и уловки удержать былую свѣжесть; но всякій бы сознался, что оно во время оно принадлежало красавицѣ, и красавицѣ гордой, великосвѣтской, ибо на немъ и до сихъ поръ еще во всей неприкосновенности сохранялся холодный отблескъ характера строгой Діаны. Мужчина, сидѣвшій подлѣ нея, на видъ имѣлъ тоже лѣтъ около сорока, и глядѣлъ джентльменомъ того покроя, который пріобрѣтается посредствомъ долгаго шатанья по бѣлу-свѣту, гдѣ человѣкъ, не то что воспринимаетъ, но всасываетъ въ себя характеръ послѣдней модной картинки, послѣднихъ модныхъ потребностей, привычекъ и взглядовъ. Довольно плотной и красивой наружностью своей, онъ вполнѣ являлъ типъ того, что называется bel homme et brave homme; второму качеству въ особенности способствовали рыжіе усы, густая, рыжая борода довольно объемистаго свойства, и умные, проницательные глаза. Поблекшая ех-красавица,

сколько можно было догадаться изъ нѣкоторыхъ взглядовъ, улыбокъ и словъ, была заинтересована рыжебородымъ bel homm'омъ, а этотъ въ свою очередь интересовался поблекшей красавицей, хотя (внутренно-то), быть можетъ, и вовсе не съ той стороны, съ какой она предполагала.

У противоположнаго окна расположилась другая группа: дама на видъ лѣтъ тридцати, не болѣе, хотя на самомъ дѣлѣ ей было тридцать-восемь, одѣтая съ такою же элегантно-роскошною простотою, какъ и первая, съ тою только разницею, что первая уже увядала, а эта еще проходитъ періодъ второй молодости, блистая созрѣлой красотой и женственной силой. Высокій статный ростъ и роскошно-развитыя формы, при бѣломъ, какъ кровь съ молокомъ, цвѣтѣ лица, умные и проницательные сѣрые глаза, подъ сросшимися широкими бровями, каштановая густая коса и надменное, гордое выраженіе губъ—дѣлали изъ нея почти красавицу, и придавали характеръ силы, коварства и рѣшимости. «Либо королева, либо преступница», сказалъ бы физіономистъ, при взглядѣ на это лицо.

Подлѣ нея расположились въ довольно интимныхъ позахъ двое стариковъ, и нельзя сказать, чтобы красота и маленькое кокетство ихъ собесѣдницы не производили бы на нихъ достодолжнаго воздѣйствія: старческія улыбки и масляные взгляды краснорѣчиво убѣждали въ силѣ впечатлѣнія. Одинъ изъ стариковъ являлъ изъ себя мужчину еще довольно бодраго; его небольшой ростъ, презёмистость и нѣкоторая коренастость говорили въ пользу его здоровья: одѣтъ онъ былъ весь въ черное; бѣлье отмѣнной тонкости и бѣлизны, на шеѣ красовался, даже и въ дорогѣ, орденъ Станислава, на брюшкѣ массивная золотая цѣпочка, на пальцахъ многоцѣнные перстни. Дорогая, артистической работы палка, и золотая табакерка составляли атрибуты этой особы. О лицѣ его распространяться много нечего; развѣ сказать только то, что оно носило плебейскій, армянско-восточный характеръ и старалось бакенбардами своими походить на лица солидно-вліятельныхъ петербургскихъ чиновниковъ. Въ другомъ старцѣ, напротивъ, съ перваго же взгляда невольно давалъ себя чувствовать прирожденный аристократизмъ, которымъ весь онъ былъ проникнутъ. Но несмотря на этотъ аристократизмъ-*pur-sang*,

несмотря на солидные годы (ему было подъ шестьдесятъ), въ старцѣ проглядывало нѣчто комическое, нѣчто не совсѣмъ-то солидное, что̀ происходило отъ желанія молодиться и *выглядѣть* юношей, даже въ нѣкоторомъ родѣ *гаменомъ*: пестрый, легеньскій галстухъ, коротенькій пиджакъ, полосатые панталоны, легкія, изящныя ботинки, и наконецъ, стеклышко въ глазу ясно изобличали въ немъ если не былого ловласа, то, во всякомъ случаѣ, настоящаго любителя балета и стереоскопныхъ картинокъ. Во всей фигурѣ его было что-то истощенное, болѣзненное, въ лицѣ же порою мелькало даже нѣчто идіотическое. Старецъ страдалъ размягченіемъ мозга. Члены этой послѣдней группы, для препровожденія времени, играли въ «четъ или нечетъ». Оба старца, скомкавъ въ кулакѣ по ассигнаціи, наперерывъ старались, чтобы собесѣдница угадала четное или нечетное число. Она, смѣясь, весьма небрежно и кокетливо произносила то или другое слово — и каждый разъ ассигнація котораго либо изъ старцевъ переходила въ ея дорожную сумку. Тамъ ужь лежало немалое количество этихъ выигранныхъ ассигнацій.

Третью группу составляли: молодая дѣвушка, смуглая и некрасивая собой, и молодой человѣкъ, наружности напротивъ весьма красивой, въ которой, несмотря на европейскій партикулярный костюмъ, сквозило нѣчто кавалерійско-военное. Въ восточномъ типѣ дѣвушки ясно сказывалось фамильное сходство съ кавалеромъ Станислава, а въ молодомъ человѣкѣ—съ пепельно-кудрой, полною дамой въ бѣломъ вуалѣ и со старцемъ-гаменомъ. И дѣвушка и молодой человѣкъ, мало какъ-то интересовались другъ другомъ — совершенный контрастъ двумъ остальнымъ группамъ. Дѣвушку больше занималъ романъ Поля-Феваля, а молодого человѣка — красота собесѣдницы двухъ старцевъ. Его болѣе тянуло все къ этой послѣдней, чѣмъ къ своей сосѣдкѣ, но незамѣтный взглядъ пепельной дамы каждый разъ останавливалъ его подлѣ некрасивой дѣвицы. Отъ зоркаго глаза рыжебородаго джентльмена не ускользалъ этотъ нѣмой разговоръ, и онъ каждый разъ только чуть-чуть улыбался про себя, какою-то двусмысленной улыбкой, незамѣтно перекидываясь взглядомъ съ собесѣдницею старцевъ.

Наконецъ, пепельная дама не выдержала, и подозвала къ себѣ молодого человѣка.

— Вольдемаръ, ты забываешь нашъ разговоръ, сказала она ему тихо, весьма близко подвинувшись къ его лицу.

— Какой это, maman? спросилъ онъ небрежно.

— Наши планы...

— Но вѣдь это скучно!

— Тò отъ тебя никогда не уйдетъ, а тутъ — состояніе... Ты забываешь...

— Brigadier, vous avez raison! шутливо отвѣтилъ онъ, цалуя ея руку и усѣлся на прежнее мѣсто, затѣмъ, чтобы снова не обращать почти никакого вниманія на смуглую дѣвицу.

— Господа, мы у пристани — конецъ игрѣ! сказала красивая дама своимъ обязательнымъ старцамъ, захлопывая пружину дорожной сумки.

— Игрѣ, но не знакомству, баронесса? замѣтилъ гаменъ, и вставилъ стеклышко.

— Такъ не забудьте же имя... генеральша фон-Шпильце, весьма тихо сказала княгиня рыжему джентльмену, выходя съ помощью его изъ вагона.

Тотъ отвѣтилъ молчаливымъ, но многозначительнымъ пожатіемъ руки.

На платформѣ все это маленькое общество, перезнакомившееся между собою за границей, и еще тѣснѣе сплоченное теперь путешествіемъ, весьма дружески продолжало болтовню и прощанья, въ ожиданіи своихъ людей и экипажей. Наконецъ, кавалеръ Станислава вмѣстѣ съ некрасивой дѣвицей сѣли въ щегольскую двумѣстную карету, запряженную кровными рысаками; въ столь же щегольской коляскѣ помѣстились гаменъ съ пепельной дамой и молодымъ человѣкомъ, а рыжебородый джентльменъ и баронесса — въ наемномъ экипажѣ, со всѣми чемоданами отправились вдвоемъ въ отель Демута.

— Ну, какъ твои дѣла? спросилъ онъ ее въ каретѣ.

— Успѣшны; девятьсотъ-тридцать въ выигрышѣ, да впереди тысяча шансовъ: тремъ дуракамъ головы вскружила. А ты какъ?

— Такъ же, какъ и ты... Вообще петербургскій сезонъ, кажется, обѣщаетъ... У тебя не бьется сердце?

— Нисколько?

— Да чего жь ему биться? удивилась она.

— Какъ!... а воспоминанія?... Тогда и теперь — боже-мой, какая разница!...

Баронесса опять улыбнулась своею презрительною минкой, и ничего болѣе не отвѣтила.

Кажется, не для чего прибавлять, что рыжебородый джентльменъ, котораго баронесса фон-Дёрингъ называла своимъ братомъ, былъ Янъ-Владиславъ Карбовичъ, какъ значилось въ отмѣткѣ полицейской газеты. Въ кавалерѣ Станислава и его некрасивой спутницѣ, тоже нетрудно узнать коллежскаго совѣтника Давыда Георгіевича Шиншѣева съ дочерью Дарьей Давыдовной. За то рѣдко бы кто, послѣ двадцатилѣтняго разстоянія, рѣшился признать въ разслабленномъ гаменѣ, въ этомъ полушутѣ гороховомъ, страдающемъ размягченіемъ мозга, прежняго гордаго Чайльд-Гарольда, и великосвѣтскаго льва — князя Дмитрія Платоновича Шадурскаго.

Sic transit gloria mundi...

II

Старый другъ — лучше новыхъ двухъ

На другой день утромъ, часовъ около одинадцати, Карбовичъ спустился изъ своего нумера въ общую залу — пробѣжать свѣжія новости. Едва отыскалъ онъ въ кучѣ русскихъ и иностранныхъ газетъ Indépendance Belge, какъ къ нему очень учтиво подошелъ неизвѣстный, но весьма изящно одѣтый господинъ, съ висками и черненькой бородкой à la Napoleon III, и съ предупредительной, галантной вѣжливостью спросилъ по французски, съ нѣсколько еврейскимъ акцентомъ:

— Вы пріѣзжій иностранецъ?

— Такъ точно. Я полякъ... А вамъ что угодно?

— Я коммиссіонеръ, къ вашимъ услугамъ... Если вамъ нужно въ сенатъ или другое присутственное мѣсто, на биржу, къ банкирамъ, осмотрѣть ли городъ и достопримѣчательности, указать ли магазины, сдѣлку промышленную устроить, свести съ какимъ-нибудь че-

ловѣкомъ, однимъ словомъ всё, что касается до петербургской жизни и потребностей — я вашъ покорнѣйшій слуга, можете пользоваться моей спеціальной опытностью. Я въ этотъ часъ утра постоянно пью здѣсь мой кофе.

Коммиссіонеръ проговорилъ все это быстро, но необыкновенно плавно, отчетливо, сознавая собственное достоинство, и съ послѣднимъ словомъ своего монолога выжидательно поклонился.

— Очень радъ, отвѣтилъ Карозичъ:—мнѣ нужно будетъ узнать одинъ адресъ.

— Адресъ? и это могу! подхватилъ коммиссіонеръ:—мнѣ почти всѣ дома въ Петербургѣ и всѣ адресы сколько-нибудь замѣчательныхъ лицъ вполнѣ извѣстны.

— Генеральшу фон-Шпильце, знаете?

— Амалью Потаповну? — боже-мой, да кто жь ее не знаетъ! Такъ этотъ-то вамъ адресъ нуженъ?

— Этотъ самый; вы меня очень много обяжете, если сообщите...

— Отчего же не сообщить? — всегда могу! Конечно, вы могли бы и сами узнать въ адресномъ столѣ, но это не совсѣмъ-то удобно, и мѣшкотно для иностранца, и при томъ вы не знаете даже, гдѣ адресный столъ помѣщается; тогда-какъ я могу сообщить сію же минуту, значитъ, вамъ двойной выигрышъ: время и спокойствіе.

— Ну, такъ сдѣлайте одолженіе; мнѣ очень нужно знать.

— Хорошо, хорошо, съ удовольствіемъ. А не угодно ли вамъ осмотрѣть Эрмитажъ, напримѣръ, Исакіевскій соборъ, къ Излеру вечеромъ отправиться? Послѣднее въ особенности я вамъ рекомендую.

— Мнѣ нуженъ адресъ, только адресъ и пока — больше ничего! съ легкой настойчивостью возразилъ Карозичъ, ясно замѣтивъ, что господинъ отлынивается отъ дѣла, и старается заговаривать о вещахъ постороннихъ.

— Ахъ, однако, мой кофе совсѣмъ простылъ, да и газету еще не дочелъ я! скороговоркой пробормоталъ коммиссіонеръ, быстро направляясь въ противоположный конецъ комнаты, къ своему мѣсту, откуда весьма любезно кивнулъ изъ-за газеты Карозичу:

— Извините, я одну только минуту.

Но прошло и цѣлыхъ десять, а онъ все еще не двигался съ

кресла, уткнувъ носъ въ свою газету и словно совсѣмъ позабылъ нетолько объ адресѣ, но и о существованіи самого-то Карозича.

Этотъ послѣдній наконецъ понялъ, что предварительно надо дать денегъ, а потомъ уже спрашивать, что̀ нужно, и потому, вынувъ изъ кармана бумажникъ, направился къ столику коммиссіонера.

— Ваша спеціальность — вашъ трудъ, началъ онъ, сжавъ уже въ кулакѣ трехрублевую ассигнацію. — Всякій трудъ долженъ вознаграждаться. Поэтому, такъ-какъ я неоднократно буду еще пользоваться имъ — позвольте мнѣ...

За недоговоренной фразой послѣдовала обычно-секретная передача, въ родѣ извѣстныхъ передачъ *за визитъ* малознакомымъ докторамъ.

— Ахъ, помилуйте, что̀ это вы! какъ будто ужь и нельзя безъ этого? Мнѣ очень совѣстно, право, смущенно заговорилъ коммиссіонеръ, пряча въ карманъ (тоже маскированно и незамѣтно) полученную бумажку. — Извините меня, я такъ заинтересовался политикой: изъ Италіи весьма интересныя новости, прибавилъ онъ, радушно пожимая его руку. — Такъ вамъ нуженъ адресъ m-me фон-Шпильце? Позвольте, я вамъ запишу: «Большая Морская, домъ № 00, имя — Амалія Потаповна». Вамъ ее самоё нужно видѣть? спросилъ онъ, отдавая клочокъ.

— Ее лично.

— Ну, такъ ступайте въ правый подъѣздъ, гдѣ швейцаръ стоитъ, а въ лѣвый не ходите...

Карозичъ хотя и не понялъ, почему это не должно ходить въ лѣвый подъѣздъ, если есть надобность лично до самой генеральши, однако, не продолжая далѣе распросовъ, рѣшился послѣдовать совѣту коммиссіонера.

Лишнія двадцать лѣтъ на плечи хоть кого измѣнятъ. Генеральша фон-Шпильце тоже отдала свою дань времени. Хотя на калмыцко-скуластомъ лицѣ ея все такъ же лежалъ слой очень тонкихъ косметиковъ, но это уже была набѣленная и нарумяненная старуха пятидесяти-пяти лѣтъ отъ роду. Дородная полнота ея разбухлась въ тучность. Одни только широкія шелковыя платья шумѣли на ней по старому. Впрочемъ, и рыжіе нѣмецкіе волосы, и каріе жирные

глаза въ толстыхъ вѣкахъ съ еврейскимъ прорѣзомъ, такъ же пребывали въ благополучной неизмѣнности; за то вздернутый французскій носъ — увы! преобразился въ сущую картошку, и напоминалъ плохо пристегнутую пуговку. Но апломбъ, важность и манера держать себя съ кліентами и посѣтителями — какъ и во время оно, остались все тѣ же, если еще не усилились, ибо, какъ извѣстно, ничто столько не способствуетъ къ умноженію въ человѣкѣ гордости, важности и самолюбиваго апломба, какъ сознаніе своихъ преклонныхъ лѣтъ, своей почтенной и безукоризненной старости. А m-me фон-Шпильце нетолько старость, но и всю жизнь свою считала вполнѣ почтенною и безукоризненною.

Генеральша осталась очень удивлена, когда ей передали визитную карточку съ надписью «Jann Wladislav Karositch» — имя ей совершенно неизвѣстное. Это ея весьма заинтриговало, такъ что она рѣшилась тотчасъ же принять его.

— Я къ вамъ отъ княгини Шадурской, началъ Карозичъ, отдавъ ей джентльменски-изящный поклонъ. — Она проситъ васъ принять меня подъ свое покровительство, добавилъ онъ съ мило-игривою улыбкой.

Генеральша осмотрѣла всю его фигуру испытующимъ взглядомъ.

— Княгиня принимаетъ это дѣло близко къ своему сердцу? спросила она неторопливо.

— Весьма близко, сударыня.

— Очень рада быть ей полезной; только попросите княгиню пріѣхать въ модный магазинъ, здѣсь же въ этомъ самомъ домѣ — вы, вѣроятно, замѣтили внизу?...

— Зеркальныя стекла? подхватилъ Карозичъ.

— Онъ самый. Попросите княгиню перемѣнить свою портниху и впередъ заказывать шляпки и платья внизу. Скажите ей, что послѣзавтра въ два часа я сама буду тамъ ожидать ее, а васъ попрошу явиться ко мнѣ за полчаса до ея пріѣзда.

— Проговоривъ это, генеральша слегка поклонилась солиднымъ, сдержаннымъ поклономъ, который ясно говорилъ: «можете удалиться» — и Карозичъ тотчасъ откланялся.

— Ба! Это вы?! Вы здѣсь?... Какими судьбами?... Вотъ неожиданная встрѣча!... Давно ли?

Карозича внутренно передернуло отъ этой дѣйствительно неожиданной встрѣчи, застигшей его врасплохъ на лѣстницѣ генеральши фон-Шпильце, однако онъ весьма любезно улыбнулся и еще любезнѣе пожалъ протянутую ему руку.

— Ну, что̀? какъ дѣла, батюшка мой? Вѣрно, швахъ, коли въ Россію перебрались! О, родина святая! Какое сердце не дрожитъ, тебя благословляя! Признайтесь-ка, ваше, вѣрно, тоже немножко встряхивалось, когда черезъ заставу переѣзжали? Впрочемъ — pardon! съ этой стороны я вашихъ качествъ не знаю! безцеремонно говорилъ Карозичу его знакомецъ, не выпуская руки его изъ своихъ радушныхъ ладоней.

— Ну, что̀ Баден-Баденъ, рулетка? Что̀ cercle des Lapins, cercle des poignards? продолжалъ онъ, остановясь на площадкѣ.

— Да что̀, въ самомъ дѣлѣ плохо, вздохнулъ Карозичъ.—Принужденъ былъ уѣхать.

— То-есть какъ же это? *митъ гроссъ шкандаль?*

— Ну, нѣтъ, это ужь послѣднее дѣло; но... надо было сохранить честь своего имени — благоразуміе того требовало, сквозь зубы процѣдилъ Карозичъ.

— Это правильно. Однако, что же мы стоимъ-то тутъ? Отправимьтесь лучше позавтракать въ Дюссо, да потолкуемъ, предложилъ знакомецъ, взявъ Карозича подъ руку и сводя его съ лѣстницы.— Я васъ сегодня не выпущу, зане мы другъ другу зело полезны быть надлежимъ. Эй! швейцаръ, крикнулъ онъ мимоходомъ отставному усачу въ ливреѣ: — скажи генеральшѣ, что я къ ней послѣ заѣду, а теперь кликни мою коляску.

Знакомецъ Карозича — высокій блондинъ, съ великолѣпною русой бородой и усами, немного косоватый, въ золотыхъ очкахъ, казался мужчиною лѣтъ сорока-восьми, впрочемъ, необыкновенно крѣпкимъ, бравымъ и бодрымъ. Одѣтъ онъ былъ столь же джентльменски-модно, какъ и Карозичъ, только во всей фигурѣ его какъ-то сразу давала себя чувствовать старо-военная, кавалерійская складка. Это былъ также одинъ изъ числа нашихъ знакомыхъ — Сергѣй Антоновичъ Ковровъ.

— Ну, что, вы все еще по старому продолжаете держаться теоріи экономистовъ-собственниковъ и принципа одиночности? полушутливо разспрашивалъ Ковровъ, трудясь надъ холодной пулярдой за завтракомъ, который былъ поданъ нашимъ знакомымъ въ одномъ изъ отдѣльныхъ кабинетовъ ресторана Дюссо.

— Я нахожу это практичнѣе, прожевалъ Карозичъ, въ глубинѣ души крайне досадовавшій на свою встрѣчу.

— Вы ошибаетесь. Совсѣмъ отжившій принципъ! Девятнадцатый вѣкъ, батюшка мой — вѣкъ соціализма, и я нахожу гораздо практичнѣе теоріи ассоціацій.

— То-есть въ отношеніи зеленаго поля?

— О зеленомъ полѣ нечего и говорить: тутъ ужь безъ крѣпкой и, замѣтьте, хорошо организованной ассоціаціи и шагу ступить нельзя. Но нѣтъ, я нахожу, что и во всѣхъ остальныхъ отрасляхъ индустріи она необходима въ наше время.

— А языки? а малодушіе? съ улыбкой замѣтилъ Карозичъ.

— Стало-быть, вы полагаете, что по пословицѣ: «одинъ въ дѣлѣ — одинъ и въ изворотѣ» гораздо лучше выходитъ? Не спорю; тутъ, конечно, есть своя доля справедливости; но вѣдь для этого у насъ — голова, а въ головѣ мозги — надо разсудить да зорко разглядѣть сначала, кого принимаешь въ долю, каковъ онъ, значитъ, гусь изъ себя выходитъ. Люди, батенька мой, въ этомъ случаѣ берутся не зря, а съ разборомъ. Онъ у меня, канальа, сперва сорокъ искусовъ да двадцать мытарствъ пройдетъ, прежде чѣмъ я-то приму его. Вотъ оно что-съ!

— Все-таки это менѣе надежно, возразилъ Карозичъ.

— За то болѣе гуманно! отпарировалъ Ковровъ. — Сами ѣдите — давайте ѣсть другимъ! а иначе — что жь это? своего рода плантаторство, эксплуатація! Да и наконецъ, чортъ-возьми, мнѣ безъ риску скучно работать! да и не то что «скучно», просто гадко, противно! Вотъ что-съ! Я вамъ скажу откровенно: для меня то дѣло, гдѣ нѣтъ ни малѣйшаго риску—не дѣло, а дрянь!

Карозичъ улыбнулся.

— Ну, вотъ, вы улыбаетесь, а улыбаться тутъ, право нечему: я говорю дѣло, замѣтилъ Ковровъ. — Вспомните два года назадъ въ Гомбургѣ, когда и вамъ и мнѣ порознь весьма-таки плохо при-

ходилось — ну, не встрѣться мы на ту пору, не узнай по случайной старинѣ другъ друга, да не соединись наконецъ вмѣстѣ — что̀ бы вышло? Вѣдь слава-богу, еслибы только конечное разореніе, а могло бы вѣдь и сырыми стѣнами попахнуть.

— Это такъ, вздохнулъ Карозичъ послѣ минутнаго размышленія.

— Ну, вотъ вамъ и ассоціація! Примѣръ, кажется, довольно нагляденъ. А теперь позвольте васъ спросить — вы пріѣзжаете въ Петербургъ въ первый разъ послѣ двадцатилѣтняго отсутствія — вѣдь вы, все равно, что въ чужой городъ пріѣхали. Спрашивается: какъ вы начнете свою дѣятельность, безъ связей и поддержки со стороны ассоціаціи?

— У меня есть уже нѣкоторыя знакомства въ свѣтѣ, пояснилъ Карозичъ.

— Кто это? Генеральша фон-Шпильце, что ли?

— Положимъ хоть бы и она.

— Хорошо-съ. Персона доброкачественная, въ нѣкоторомъ родѣ ингредіентъ, необходимый въ дѣлахъ міра сего. А что̀ вы скажете, батенька мой, заговорилъ онъ вдругъ, неторопливо возвышая тонъ и пристально прищурясь на Карозича: — что̀ вы скажете, какъ если при посредствѣ той же самой благодѣтельной генеральши, васъ въ одно прекрасное утро административнымъ порядкомъ изъ городу вонъ отправятъ. Что̀ вы мнѣ скажете на это?

— То-есть какъ же это, однако? въ недоумѣніи откинулся Карозичъ на спинку стула.

— А такъ-съ, что эта самая генеральша — особа весьма многостороннняя и связи у нея почище нашихъ съ вашими. Генеральша сія — изволите ли видѣть, пояснилъ Ковровъ, медленно прожовывая кусокъ и въ то же время не переставая наблюдать своего собрата: — генеральша сія есть въ нѣкоторомъ родѣ мечъ, и мечъ не простой, но обоюдоострый, и чего для насъ съ вами невозможно сотворить, то̀ она созидаетъ весьма легко и удобно.

— Но у меня вѣдь не одна генеральша, защищался Карозичъ: — у меня есть много и другихъ — людей порядочнаго общества — и людей состоятельныхъ, съ которыми я былъ знакомъ за границею, а вѣдь это, согласитесь — поле довольно широкое.

— Да, но все это общество столько же ваше, сколько и мое, возразилъ Ковровъ: — вамъ еще нужно вступать въ него здѣсь, въ Петербургѣ, тогда какъ я уже давнымъ-давно членъ этого общества, живу въ немъ и дѣйствую. Какъ видите, шансы немножко неравны. И наконецъ, я — человѣкъ открытый, и какъ порядочный человѣкъ буду съ вами откровененъ: я вамъ буду вредить въ этомъ обществѣ, да и во всякомъ, гдѣ бы вы ни показались.

— Это, однако, почему же? полухмуро, полуулыбаясь спросилъ Карозичъ.

— Потому, объяснилъ Ковровъ: — что вы — сила, вы — такая же сила, какъ и я; вы такъ же умны и почти такъ же опытны, какъ я. Порознь мы будемъ только мѣшать и портить другъ другу; вмѣстѣ — мы можемъ обдѣлывать великолѣпныя дѣла. Не спорю, вы въ свою очередь такъ же можете мнѣ нагадить и подстроить невкусную каверзу, но пока — большинство шансовъ на моей сторонѣ: вы одни, одни, не забудьте! а у меня — цѣлая партія... Если, впрочемъ, вы пріѣхали сюда съ цѣлью сдѣлаться мирнымъ гражданиномъ, забыть свое прошлое, то помогай вамъ Господи! прибавилъ онъ, дружески взявъ Карозича за руку. Я вамъ мѣшать и смущать васъ не стану; если же нѣтъ, то выбирайте сейчасъ между враждой и дружбой. Кѣмъ мнѣ прикажете считать васъ?

— Карозичъ съ минуту похмурился, провелъ по лицу ладонью и, наконецъ, рѣшительно сказалъ ему:

— Другомъ!

— Оно гораздо удобнѣе для обоихъ. Теорія ассоціаціи, значитъ, торжествуетъ! Браво! Я радуюсь столько же за идею, сколько за васъ самихъ, говорилъ Ковровъ. — Повѣрьте, милый Карозичъ, намъ выгоднѣе быть друзьями; положимъ, продолжалъ онъ: — въ то время, когда вы только выступали на поприще, я уже былъ капитаномъ, но... время и люди уравняли нашу опытность, недаромъ же я и тогда еще предрекъ, что вы далеко пойдете. Но, знаете ли, хотя вы въ тысячу разъ сдержаннѣе, уклончивѣе, сосредоточеннѣе меня — я, чортъ-возьми, слишкомъ открытъ! — но это, мой милый, отнюдь не помѣшаетъ мнѣ очень тонко понимать васъ, и видѣть насквозь ваша внутренняя — видите ли, какъ я безцеремонно и простовато откровененъ съ вами?

— То-есть, вы мнѣ даете этимъ понять, что надо мною и моими поступками будетъ контроль? серьёзно спросилъ Карозичъ.

— Да, мой другъ, маленькій тайный контроль, вы не ошиблись! И это, повѣрьте, нелишнее съ такою силой, какъ вы!

— Значитъ, вы мнѣ не довѣряете? сухо-оскорбленнымъ тономъ спросилъ Карозичъ.

— Нисколько, равно какъ и вы мнѣ, надѣюсь, очень просто и равнодушно отвѣтилъ Ковровъ.

— Но вѣдь я надъ вами контроля не учреждаю?!

— Потому, что не имѣете возможности; а будь у васъ средства, да надежная партія — тогда, позвольте мнѣ въ томъ увѣрить васъ, непремѣнно бы учредили, и даже постарались бы меня, какъ лишняго человѣка, что называется, *подвести подъ амбу*.

Ковровъ при этомъ сдѣлалъ весьма выразительный жестъ столовымъ ножомъ.

«Амба!»... При словѣ «амба» въ памяти Карозича мелькнуло какъ-будто что-то знакомое, но далекое, когда-то и гдѣ-то имъ слышанное и давно позабытое. Однако, изъ выразительнаго жеста ножомъ, онъ понялъ, что такое означаетъ «подвести подъ амбу», и личные мускулы его слегка передернуло.

— Успокойтесь, съ вами этого не случится, если вы не шпіонъ, утѣшилъ его Ковровъ. — А шпіономъ вамъ быть здѣсь, кажись, нѣсколько мудрено, если принять въ соображеніе ваше прошлое и вашу заграничную жизнь. Да наконецъ, оно и менѣе выгодно... Вы сколько разъ мѣняли свое имя и паспортъ? неожиданно прибавилъ онъ: — раза три было вѣдь?

— Что же изъ этого? недовольнымъ тономъ возразилъ Карозичъ.

— Я ни разу! Я какъ былъ, такъ и есть отставной поручикъ черноярскаго полка Сергѣй Антоновъ сынъ Ковровъ? Ergo: я ловчѣе васъ, и однако, вотъ, предлагаю вамъ, какъ благородный человѣкъ, дружбу, равное значеніе и равную долю въ барышѣ и въ несчастіи.

— Хороша дружба! иронически замѣтилъ Карозичъ.

— Conte qui conte, mon cher! товаръ лицомъ продаю, пожалъ плечами, согласился Сергѣй Антоновичъ. — Современемъ, когда мы

нашими общими аферами запутаемся съ вами въ одинъ неразрывный гордіевъ узелъ, эта дружба можетъ перейдти въ дружбу Кастора и Полукса — истинную, настоящую, если который-нибудь изъ насъ не захочетъ сдѣлаться Александромъ Македонскимъ. А теперь, для добраго начала, мы съ вами задушимъ одного младенца неповиннаго.

— Младенца?! выпучилъ глаза Карозичъ.

— Да, задушимъ младенца, въ честь нашей дружбы и союза! подтвердилъ Ковровъ. — Это на моемъ собственномъ argôt значитъ — роспить бутылку шампанскаго. Хоть я этого брандоклысту и никогда не употребляю, но на сей разъ готовъ сдѣлать исключеніе.

— Итакъ, договоръ рѣшенъ и подписанъ! пять минутъ спустя заключилъ Сергѣй Антоновичъ, чокаясь съ Карозичемъ стаканами.— Мы съ вами старые друзья, а старый другъ и по пословицѣ — лучше новыхъ двухъ выходитъ!

III

Промежутокъ

Читатель до сихъ поръ остается въ полной неизвѣстности относительно судьбы нѣкоторыхъ лицъ, брошенныхъ авторомъ за двадцать лѣтъ тому назадъ, кто на суднѣ контрабандиста среди Ботническаго залива, кто — среди приготовленій къ отъѣзду за границу, кто — такъ себѣ, позабытымъ въ толкотнѣ и суетнѣ Петербурга. Что̀, напримѣръ, сталось съ бѣглянкою Наташей и ея спутникомъ Казиміромъ Бодлевскимъ? Что подѣлывала во всё это время почтенная чета Шадурскихъ? Что̀, наконецъ, остальные? Объ остальныхъ— еще рѣчь впереди: судьбу ихъ читатель узнаетъ въ надлежащемъ мѣстѣ; о Шадурскихъ же съ Бодлевскимъ и Наташей мы намѣрены повѣдать вкратцѣ сію же минуту, для чего собственно и начали эту главу.

Судно перерѣзывало Ботническій заливъ по направленію къ шведскому берегу. Поздно вечеромъ прокралось оно на стокгольмскій рейдъ, и отважный финнъ въ легкомъ челнокѣ, лавируя въ тѣни

между крутыми смолёными боками многочисленныхъ судовъ — дѣло было для него привычное — причалилъ съ своими пассажирами къ берегу, въ одномъ укромномъ мѣстечкѣ, близь одной укромной таверны, куда рѣдко проникала бдительность таможенныхъ надсмотрщиковъ. Бодлевскій, заранѣе пріуготовя надлежащую, весьма скромную сумму для расплаты за провозъ, очень жалостливо сталъ увѣрять финна, посредствомъ пояснительныхъ жестовъ, минъ и русскихъ словъ, на сколько тотъ могъ понимать ихъ, что онъ весьма бѣдный человѣкъ, и даже не имѣетъ возможности заплатить вполнѣ условленныя деньги. Недочетъ былъ невеликъ, всего какихъ нибудь два рубля, и добродушный финнъ оказалъ ему великодушіе: хлопнувъ его по плечу, назвалъ добрымъ камратомъ и сказалъ, что съ бѣднымъ человѣкомъ спорить не станетъ и услугу оказать всегда готовъ. Онъ даже пріютилъ его съ Наташей на ночлегъ въ укромной таверне, подъ своимъ покровительствомъ. Финнъ былъ въ самомъ дѣлѣ очень честнымъ контрабандистомъ. На другое утро, окончательно распростившись съ своимъ понадутымъ перевозчикомъ, наша чета направилась въ домъ англійскаго консула и выпросила себѣ аудіенцію. Здѣсь уже главнымъ дѣятелемъ явилась Наташа.

— Мой мужъ — полякъ, говорила красавица, сидя противъ консула въ его кабинетѣ: — я же сама по отцу — русская, по матери англичанка... Мой мужъ замѣшанъ въ политическихъ дѣлахъ; ему предстояла Сибирь, но намъ случайно удалось бѣжать въ то самое время, когда явились его арестовать. Теперь мы политическіе бѣглецы и отдаемся правительству и защитѣ англійскихъ законовъ. Будьте человѣколюбивы, пріютите насъ и отправьте въ Англію!

Обманъ посредствомъ хитро-сплетенныхъ и очень правдиво-разсказанныхъ подробностей дѣла, удался какъ нельзя лучше — и черезъ два-три дня первое же попутное судно подъ англійскимъ флагомъ увозило въ Лондонъ совершенно счастливыхъ путниковъ.

Бодлевскій уничтожилъ и свой собственный паспортъ, и видъ вдовы коллежскаго ассесора Маріи Солонцовой, который былъ нуженъ Наташѣ только на всякій случай, пока она находилась въ предѣлахъ Россіи. Въ Англіи гораздо удобнѣе казалось имъ назваться новыми именами. Но въ новомъ положеніи и съ этими новыми явилось одно большое неудобство: рѣшительно нельзя было пустить въ ходъ своихъ

капиталовъ, не навлекая на себя весьма опасныхъ подозрѣній. Разностороннее искуство лондонскихъ мошенниковъ извѣстно всему свѣту: въ клубѣ ихъ, Бодлевскому, который не замедлилъ свести тамъ необходимыя и пріятныя знакомства, удалось еще разъ добыть себѣ и Наташѣ удивительно-поддѣланные паспорты, опять-таки съ новыми именами и званіями. Съ ними-то, нѣсколько времени спустя, и появились они на континентѣ. Молодость и страстная охота пожить и наслаждаться ключомъ кипѣли въ обоихъ; въ горячихъ головахъ роилось много золотыхъ надеждъ и плановъ: хотѣлось, во-первыхъ, пристроить куда-нибудь понадежнѣе свои капиталы, потомъ поѣздить по Европѣ, избрать себѣ гдѣ-нибудь уголокъ и поселиться для мирной и безпечальной жизни. Можетъ быть, все это такъ бы и случилось, кабы не карты, и не рулетка, да не желаніе ненасытное пріумножить на счетъ фортуны свои капиталы — и попали они, рабы божіи, въ лапы одной доброй компаніи, агенты которой обыгрывали ихъ и въ парижскомъ Frascati, и въ Гамбургѣ, и на различныхъ водахъ, такъ что не прошло и года, какъ Бодлевскій въ одну прекрасную ночь вполнѣ могъ примѣнить къ себѣ извѣстное изреченіе: «яко нагъ, яко благъ, яко нѣтъ ничего». Впрочемъ, годъ-то пожили они блистательно, появленіе ихъ въ каждомъ городѣ производило нѣкоторый эфектъ и въ особенности съ тѣхъ поръ, какъ Наташа стала титулованной особой: въ теченіе этого года ей удалось пріобрѣсти, по случаю, очень дешево австрійское баронство, конечно только на бумагѣ. Спустивъ все свое состояніе, Бодлевскому ничего болѣе не оставалось, какъ только самому вступить въ члены той же самой компаніи, которая такъ успѣшно перевела въ свои карманы его деньги. Красота Наташи и качества Бодлевскаго явились аргументами такого рода, что признать обладателей ихъ своими сочленами — компанія нашла весьма полезнымъ. Дорого заплатила чета за науку, за то наука пошла въ прокъ и стала приносить порою плоды, весьма обильные. И пошли тутъ дни за днями и годы за годами, рядъ самыхъ мучительныхъ, тревожныхъ ночей, цѣлый адъ сильныхъ ощущеній, волненій душевныхъ, самыхъ тонкихъ и ловкихъ хитросплетеній, вѣчная гимнастика ума, ради уловокъ, обмана и изворотливости, цѣлый циклъ аферъ и

мошенничествъ, цѣлая наука хоронить въ воду концы и вѣчный призракъ суда, тюрьмы и... можетъ быть — эшафота. Бодлевскій, съ его упорнымъ, настойчивымъ и сосредоточеннымъ характеромъ достигъ до высшей школы въ искуствѣ вольтовъ и тому подобныхъ штукъ. Онъ могъ обыграть на чемъ угодно: и на зеленомъ полѣ ломбернаго стола, и на зеленомъ полѣ билліарда, въ лото, въ кегли, въ орлянку. Тридцати лѣтъ отъ роду онъ казался старше по крайнеймѣрѣ десятью годами: эта жизнь, эти упорныя усилія и вѣчная работа ума, вѣчная тревога ощущеній перешла въ немъ въ какое-то фанатическое служеніе своему дѣлу — факирство передъ своимъ идоломъ. Онъ явно сохнулъ физически и старѣлъ нравственно, одолѣвая всѣ трудности своей профессіи, и только тогда успокоился и просвѣтлѣлъ духомъ своимъ, когда во всѣхъ многоразличныхъ отрасляхъ своего призванія достигъ до послѣдняго совершенства, почти до идеала. Съ этой минуты онъ переродился: онъ помолодѣлъ, онъ самоувѣренно и солидно ободрился, даже поздоровѣлъ весьма замѣтно, и именно съ этихъ поръ принялъ вполнѣ уже джентльменскій видъ и выдержку. Что касается до Наташи, то жизнь и стремленія, общія съ Бодлевскимъ, вовсе не имѣли на нее такого сильнаго, сокрушающаго вліянія, какъ на этого послѣдняго. Ея гордая, рѣшительная натура принимала иначе всѣ эти впечатлѣнія. Она отнюдь не переставала разцвѣтать, хорошѣть, наслаждаться и плѣнять собою. Все то, что̀ вызывало столько глухой внутренней борьбы и нравственныхъ страданій у ея любовника, въ ней встрѣчало полнѣйшее равнодушіе, и только. Происходило это вотъ отчего: рѣшаясь на что нибудь, она всегда рѣшалась сразу и необыкновенно твердо; весьма немного времени на очень вѣрное и тонкое соображеніе, чтобы быстро взвѣсить всѣ выгоды и невыгоды дѣла — и затѣмъ уже безъ устали непреклонно и холодно идти къ задуманной цѣли. Первая цѣль ея жизни была месть, потомъ — блескъ и комфортъ, расплата за нихъ — можетъ быть плаха. Наташа твердо знала, что это такъ, да иначе почти и быть не можетъ, и потому вступивши на избранный однажды путь, уже постоянно оставалась спокойной и равнодушною, продолжая блистать и плѣнять собою мошенниковъ и честныхъ. Ея умъ, образованіе, ловкость, находчивость и прирожденный тактъ дали ей возможность за границею, вездѣ, гдѣ она

ни показывалась, быть постоянно въ средѣ избраннаго аристократическаго общества, да и мѣсто-то занимать тамъ далеко не изъ послѣднихъ. Многія красавицы завидовали ей, ненавидѣли, злословили ее, и все-таки искали ея дружбы, потому что она почти всегда первенствовала въ обществѣ. Ея дружба и участіе казались такъ теплы, такъ искренны и нѣжны, а ея эпиграммы—такъ ядовиты и безжалостно колки, что каждое злословіе меркло передъ этимъ солёно-ядовитымъ огнемъ, и стало быть, ничего уже лучше не оставалось, какъ только искать ея дружбы и расположенія. Если, напримѣръ, въ Баденѣ дѣла шли хорошо, то всегда можно было навѣрное предсказать, что по окончаніи воднаго сезона, Наташа будетъ въ Ниццѣ или въ Женевѣ царицею сезона зимняго, явится львицей львицъ и законодательницей моды. И она, и Бодлевскій всегда держали себя такъ умно, такъ осторожно, что ни малѣйшая тѣнь не ложилась на честь и достоинство вымышленнаго имени Наташи. Бодлевскому, впрочемъ, раза два приходилось перекрещивать себя въ новыя кличи и совершать внезапныя экскурсіи съ юга Европы на сѣверъ — но таковъ ужъ былъ самый родъ его занятій, что необходимо требовалъ этихъ внезапныхъ перемѣнъ мѣстностей— иногда по чутью денегъ и выгодной аферы, а иногда и по чутью полицейскихъ коммиссаровъ. Доселѣ все ему сходило съ рукъ благополучно и до «чести его имени» неприкосновенно, какъ вдругъ открылся одинъ маленькій подложецъ; дѣло пустячное, да бѣда—произошло-то оно въ Парижѣ: могло судомъ и галерами попахнуть — и вотъ, новая, необыкновенно быстрая перемѣна паспорта и новая экскурсія—въ Россію, возвратъ на родину, послѣ двадцатилѣтняго отсутствія, съ именемъ новымъ, почтеннымъ и никакою фальшью незапятнаннымъ.

Такимъ-то вотъ образомъ въ полицейской газетѣ значилось, что прибыли въ С.-Петербургъ Янъ-Владиславъ Карозичъ съ баронессою фон-Дёрингъ.

Очередь за Шадурскими.

Жизнь этой великосвѣтской четы представляетъ весьма немного интереса въ теченіе двадцатилѣтняго промежутка. Нравственный

ударъ, нанесенный князю господиномъ Морденкой, былъ, конечно, очень силенъ; но это оттого, что нанесъ его именно господинъ Морденко. Что̀ касается до его супруги, то «онъ помирился съ ней по размышленіи зрѣломъ», ибо прежде всего, приличіе было сохранено, тайна происшествія не нарушена, отъѣздъ за границу еще болѣе укрѣпилъ эту тайну, и князь Дмитрій Платоновичъ остался совершенно доволенъ, на сколько могло только простираться довольство въ подобномъ положеніи. Но княгиня Татьяна Львовна совершенно не̇ удовольствовалась такою развязкою. Она не простила мужу второй пощочины, и съ этихъ поръ считала себя вправѣ поступать и распоряжаться собою, какъ ей угодно. До исторіи съ г. Морденкой и до этой пощочины они полагали, что уважаютъ другъ друга, а послѣ сихъ многозначительныхъ обстоятельствъ начали полагать, что перестали другъ къ другу питать уваженіе. Впрочемъ, жили вмѣстѣ, и всѣ внѣшнія формы соблюдали неукоснительно, по прежнему; значитъ, въ накладѣ осталось одно только фиктивное чувство взаимнаго уваженія, отъ котораго ни тому, ни другому теплѣе или холоднѣе не было и, слѣдовательно, можно сказать съ достовѣрностью, что теченіе ихъ жизни ни мало не измѣнилось, за исключеніемъ развѣ того, что супруги, въ отношеніи своихъ сердечныхъ дѣлъ, совершенно перестали чиниться другъ передъ другомъ, особенно же во время своихъ заграничныхъ поѣздокъ. Разница между ними замѣчалась только та, что супруга занималась своимъ сердцемъ, ни на минуту не переставая быть строгою Діаной, занималась имъ въ камер-обскурѣ приличія, гдѣ для ея только глазъ отчетливо и ясно мелькали фигуры какого-нибудь гарсона или виконта, ея парикмахера и опернаго тенора. Супругъ же изображалъ все это въявѣ, стараясь пріобрѣсти славу женатаго повѣсы и ловласа, подобно тому, какъ прежде старался пріобрѣсти славу россійскаго Чайльд-Гарольда, но, увы! вслѣдствіе означенныхъ стараній, подъ старость дней своихъ, достигъ до размягченія мозга и до комической наружности моднаго гамена. Словомъ сказать, эта обоюдная жизнь, въ теченіе двадцатилѣтняго промежутка, не была ни возмущена, ни потрясена чѣмъ-либо особеннымъ и, отличаясь уже извѣстными читателю качествами, шла себѣ ровно и гладко по

колѣ обыденной пошлости. Но въ этотъ же самый промежутокъ успѣлъ вырости и отлиться въ особую форму сынъ ихъ —

IV

Князь Владиміръ Шадурскій

У князя Владиміра въ дѣтствѣ не было дѣтства, не было того, что мы привыкли обыкновенно понимать и называть дѣтствомъ. Оттого-то и въ юные годы у него не было юности. Онъ остался какимъ-то страннымъ выродкомъ. У него не было дѣтства, говоримъ мы, и оттого никогда впослѣдствіи не было зрѣлости. Княземъ Владиміромъ еще и въ колыбели уже всѣ любовались. Съ тѣхъ поръ, какъ только не сталъ онъ проносить ложки мимо рта и началъ коекакъ смыслить человѣческія слова, ему постоянно приходилось слышать необыкновенные похвалы и восторги въ свою пользу. Всѣ восхищались его наружностью, называли красавцемъ, и дѣйствительно онъ былъ красивый ребёнокъ. Всякая его шалость и всякая вовсе некрасивая выходка служили поводомъ къ похваламъ и восторгамъ. Мальчишку, напримѣръ, возьметъ кто-нибудь поласкать на колѣни, а онъ ручонкой или зубами цапнетъ за щеку, и начинаются «ахи»: «ахъ, какой смѣлый ребёнокъ! puelle indépendance! И какой умный ребёнокъ, какъ онъ все это понимаетъ!» и т. д.— безконечные разсказы объ умѣ, смѣлости и тому подобныхъ прекрасныхъ качествахъ. Князьку хочется въ пескѣ покопаться, а его останавливаютъ: «mon prince, mon prince! que faites vous! est ce convenable? это прилично дѣтямъ мужика или чиновника какого-нибудь, а не княжескому сыну!» И князь, убѣжденный послѣднимъ аргументомъ, перестаетъ копаться. Затѣмъ, напримѣръ, хочется ему чего-нибудь такого, что никакъ не можетъ быть удовлетворено въ данную минуту — князь тотчасъ же хлопъ на полъ! начинаетъ злиться, терзать свое платье, съ крикомъ и плачемъ катается по паркету, брыкаясь руками и ногами, а окружающіе предстоятъ въ умиленіи, взирая на эти продѣлки, и удивляются: «какой необыкновенный, сильный характеръ у этого ребёнка, какая настойчивость»!

Около пятилѣтняго возраста его личныя качества начали выясняться рельефнѣе. Обозначались они по большей части въ Лѣтнемъ саду, на этой первой аренѣ дѣтской общественной жизни, куда отправлялся онъ на гулянье вмѣстѣ съ своей нянькой и гувернанткой. Подходитъ къ нему мальчикъ и приглашаетъ играть. Князёкъ окидываетъ его смѣлымъ взглядомъ и говоритъ: «я не пойду играть съ тобою: у тебя панталоны грязные». Мальчикъ отходитъ отъ него огорченный, сконфуженный, чтобы дать мѣсто другому, одѣтому столь же изящно, какъ и князёкъ. Второй зоветъ его играть точно такъ же.

— А вы кто такой? спрашиваетъ князь.

— Я?... Ваня...

— А вашъ папà кто?

— Онъ... офицеръ...

— Онъ князь или генералъ?

— Нѣтъ, не генералъ...

— А!...

И маленькій князёкъ не обращалъ болѣе ни малѣйшаго вниманія на офицерскаго сына. Онъ сразу примкнулъ къ кружку аристократическому, куда, впрочемъ, привела его гувернантка, ибо въ Лѣтнемъ саду няньки и гувернантки, принадлежащія аристократическимъ семействамъ, всегда держатся отдѣльно, составляютъ свой кружокъ и съ остальными не мѣшаются. Въ кружкѣ дѣтей аристократической породы маленькій князёкъ сразу одержалъ верхъ надъ остальными дѣтьми. Онъ разъигрывалъ роль маленькаго царька и деспотствовалъ въ играхъ, какъ ему было угодно. Изъ дѣвочекъ старался всегда выбирать ту, которая лучше всѣхъ одѣта, красивѣе всѣхъ лицомъ, выше ростомъ и старше годами. Въ дѣтяхъ такого характера необыкновенно рано пробуждаются безсознательные инстинкты.

Однажды, на дачѣ, онъ далъ пощочину ровеснику своему, сыну садовника, за то, что тотъ не смѣлъ по его приказанію выдернуть изъ грядки какое-то растеніе. Княгинѣ Татьянѣ Львовнѣ это показалось уже слишкомъ для такого ребёнка, и она пожелала внушить своему сыну примѣръ христіанскаго смиренія.

— Проси у него прощенія! сказала она ему, подозвавъ обоихъ.

— У кого? съ удивленіемъ спросилъ маленькій князёкъ.

— У этого мальчика... ты его обидѣлъ, и я требую, чтобы ты просилъ прощенія.

— *Madame*! vous oubliez, que je suis le prince Chadursky! гордо отвѣтилъ князёкъ, и, круто повернувшись, отошелъ отъ своей матери. Княгиня ничего не нашлась возразить противъ такого сильнаго и неоспоримаго аргумента.

И это говорилъ шестилѣтній ребёнокъ! Такимъ образомъ, маленькій Шадурскій, съ самаго ранняго возраста, былъ убѣжденъ въ трехъ вещахъ: во-первыхъ, что онъ — князь и что равныхъ ему никого нѣтъ на свѣтѣ; во-вторыхъ, что онъ—красавецъ, и въ-третьихъ, что онъ можетъ желать и дѣлать все, что̀ ему угодно, ибо за красоту и за всѣ тѣ качества, которыя почитались въ немъ милыми и умными, ему многое прощалось. Однажды его побили, т.-е. драку началъ онъ первый, и хватилъ въ ухо того же садовничьяго сына. Садовничій сынъ, спустившій ему прежнюю оплеуху, на этотъ разъ распорядился иначе, и порядкомъ-таки помялъ задирчиваго князька, надававши ему въ свой чередъ оплеушинъ. Съ князькомъ въ тотъ же день сдѣлалась нервная горячка, и долго послѣ этого обстоятельства не могъ онъ слышать о садовничьемъ сынѣ и его побояхъ безъ того, чтобы не задрожать всѣмъ тѣломъ и не засверкать глазами отъ безсильной злости и оскорбленнаго самолюбія. Урокъ этотъ послужилъ ему единственно въ томъ отношеніи, что онъ на будущее время не дрался уже безъ разбору, а вступалъ въ бой только съ слабѣйшими себя. Его упражняли въ гимнастикѣ, которая приходилась ему очень не понутру: онъ былъ изнѣженный мальчишка. Но когда ему сказали, что гимнастика развиваетъ силу, князёкъ предался ей со всѣмъ жаромъ, имѣя тайную цѣль — уничтожить садовничьяго сына, какъ только сдѣлается силенъ. Хотя уже этого садовничьяго сына давнымъ-давно не было на мѣстѣ, но князёкъ повременамъ съ дѣтскимъ злорадствомъ предавался мечтамъ о томъ, какъ онъ отыщетъ этого негодяя и какимъ образомъ и сколько именно будетъ бить его. Эти мечты всегда сопровождались злостнымъ раздраженіемъ и слезами. Восьми лѣтъ отъ роду онъ прекрасно болталъ по французски и по ан-

гайски, съ трудомъ пополамъ понималъ порусски, ловко гимнастировалъ и ѣздилъ на лошади, граціозно танцовалъ, стараясь подражать словамъ и манерамъ взрослыхъ, отмѣнно хорошо зналъ, что у m-me N. фальшивые волосы, а у m-lle M. три вставныхъ зуба, о чемъ подслушалъ однажды у кого-то, и потомъ постоянно сплетничалъ другимъ; а не зналъ ни читать, ни писать, и заставить его учиться не было никакой возможности. Свѣдѣнія его объ отечествѣ простирались, впрочемъ, на столько, что онъ зналъ qu-il y a un pays, qui s'appelle la Russie, habituè par des moujiks. Зналъ онъ также, что есть на свѣтѣ Paris et les provinces; а когда его спрашивали, что̀ же это за provinces? — князекъ отвѣчалъ: «on dit, que c'est Tamboff». Этимъ и ограничивались пока всѣ его научныя познанія. Впрочемъ, ради безпристрастія, мы должны сообщить, что и въ двадцать лѣтъ ихъ прибавилось весьма немного противъ прежняго. Вообще, маленькій князёкъ зналъ много такого, чего дѣти не должны знать, и не зналъ того, что̀ всѣ дѣти обыкновенно знаютъ. Это была какая-то тройная смѣсь пародіи на взрослыхъ, enfant terrible и барчукскаго тупоумія. Десяти лѣтъ отъ роду, онъ былъ сданъ на попеченіе почтеннаго старца-гувернёра, monsieur *Poрò* или *Coсò*, что̀, впрочемъ, совершенно все равно. Monsieur Poрò былъ старичокъ добродушно-почтеннаго вида, отмѣнной нравственности и безъ масляной улыбки не могъ видѣть свѣжихъ, розовыхъ щокъ молодыхъ мальчиковъ и дѣвушекъ, что̀, безъ сомнѣнія, относилось къ его добродушію. Monsieur Poрò плотно кушалъ, безмятежно почивалъ и умѣренно водилъ гулять своего питомца, но — какъ ни бился и какъ ни старался — за букварь усадить его не могъ. Однажды, возвращаясь къ себѣ въ комнату, старецъ застигъ въ ней своего воспитанника, который предавался прилежному разсматриванію коллекціи игривыхъ картинокъ съ подписями и объясненіями весьма двусмысленнаго свойства. Старецъ сначала было испугался, потомъ принялъ видъ суровый, а потомъ — не выдержалъ: мгновенная суровость уступила мѣсто обычному благодушію, и на лицѣ его заиграла масляная улыбка. Князёкъ, съ раскраснѣвшимся лицомъ и сверкающими глазками, сталъ упрашивать старца прочесть ему подписи, чтобы вполнѣ уяснить себѣ смыслъ и значеніе картинокъ. Monsieur Poрò прочесть ему все сразу не

захотѣлъ, ибо смекнулъ, что это любопытство и эти литографіи могутъ послужить благимъ и завлекательнымъ предлогомъ для обученія молодого князька чтенію и письму, и дѣйствительно, первый урокъ былъ данъ имъ тотчасъ же по подписямъ, которыя такъ хотѣлось узнать питомцу. Старецъ убѣдилъ его никому не говорить объ этихъ занятіяхъ, и обѣщалъ, если воспитанникъ съумѣетъ молчать, показать ему впослѣдствіи множество картинокъ и книжекъ еще лучше настоящихъ. Такимъ образомъ князь Владиміръ выучился читать по игривымъ картинкамъ.

Ему было не болѣе двѣнадцати лѣтъ, когда онъ читалъ уже la Justine, маркиза Сада. Это было одно изъ первыхъ сочиненій, которыя прочелъ онъ, благодаря библіотекѣ monsieur Poрò. Съ однимъ изъ томовъ la Justine поймала его однажды сама княгиня Татьяна Львовна.

— Чтó это у тебя за книга? Какъ ты смѣешь это читать! Кто тебѣ далъ ее?

— Signor Rigotti, рѣзко и смѣло отвѣтилъ мальчикъ, смотря въ глаза своей матери.

— Лжешь! не можетъ быть! Я скажу твоему отцу и monsieur Poрó, какія ты книги читаешь, безнравственный мальчишка! возмутилась княгиня, ибо signor Rigotti, пѣвецъ итальянской оперы, былъ въ то время очень близокъ ея нѣжному сердцу.

— А вы развѣ читали ее? невозмутимо спрашивалъ юный князекъ.

— Я не читала, но я знаю!... Я непремѣнно пожалуюсь и гувернёру и отцу, я все разскажу имъ! волновалась княгиня.

— А когда такъ, такъ я и разскажу! возразилъ князь Владиміръ.

— Чтó ты разскажешъ, дерзкій мальчишка?

— Вы думаете, я боюсь ихъ? нисколько не боюсь! А вотъ я знаю, чтò у васъ съ Риготти! нагло отвѣтилъ онъ. — Я знаю... я видѣлъ... и тоже все разскажу отцу, и... и всѣмъ разскажу!

Княгиня, никакъ неожидавшая подобной развязки, разрыдалась, подверглась продолжительному припадку истерики, но про Justine маркиза Сада никому не сказала ни слова.

Двѣнадцатилѣтній мальчикъ понялъ, что съ этой минуты мать

до нѣкоторой степени у него въ рукахъ, что поэтому онъ можетъ командовать ею, и еще болѣе — дѣлать все, что̀ ему угодно. Четырнадцати лѣтъ, онъ тайкомъ посѣщалъ, вмѣстѣ съ добродѣтельнымъ и на видъ такимъ пуристически-строгимъ monsieur Poro̧, различныхъ героинь загородныхъ баловъ и мѣста въ родѣ знаменитаго Rue Joubert № 4. Въ эти молодые годы князь Владиміръ Шадурскій былъ уже развращенъ совершенно, развращенъ такъ, какъ иному не приходится и въ сорокъ лѣтъ развращаться. Словомъ сказать, это былъ вполнѣ достойный ученикъ достойнаго monsieur Poro̧. Все это въ совокупности съ блистательною наружностью, съ потворственными восторгами и отношеніями къ нему окружающихъ, сдѣлало изъ князя Владиміра заклятаго эгоиста, деспота, вспыльчиваго человѣка, цинически-развратнаго втайнѣ и элегантно-приличнаго въ явѣ. Никогда не встрѣчая противорѣчія своимъ прихотямъ, онъ не зналъ, не понималъ, что̀ значитъ слова: «нельзя» и «невозможно» — для него все было «можно», все было доступно и достижимо, стоило только пожелать хорошенько. Это убѣжденіе поддерживалось еще болѣе сознаніемъ того, что онъ богатъ и знатенъ. Воспитаніе и образованіе свое князь Владиміръ получалъ преимущественно заграницей — въ Парижѣ и въ Италіи.

Къ двадцати годамъ прибылъ онъ, наконецъ, въ Россію, съ тѣмъ, чтобы поступить на службу въ кавалерію. Всѣ окружающіе его — а онъ самъ болѣе всѣхъ — были убѣждены, что ему стоитъ только захотѣть, и онъ весьма легко и удобно сдѣлается чѣмъ угодно: и бюрократомъ, и администраторомъ, и финансистомъ, и дипломатомъ, и по любой изъ этихъ отраслей непремѣнно займетъ постъ видный и соотвѣтственный его званію и положенію въ свѣтѣ; но князь Владиміръ предпочелъ военную службу, ибо, вопервыхъ, ему болѣе всего нравился блестящій мундиръ, а вовторыхъ, болѣе всего на свѣтѣ, послѣ себя самаго, любилъ онъ лошадей, собакъ и оружіе. Съ протекціей да съ помощью извѣстныхъ убѣдительныхъ аргументовъ выдержалъ онъ кое-какъ, съ грѣхомъ пополамъ, экзаменъ и надѣлъ красивую форму. Форма окончательно развязала ему руки, и вступленіе свое на жизненное поприще князь Владиміръ ознаменовалъ тѣмъ, что черезъ полторы недѣли, послѣ пріобрѣтенія пол-

ной самодѣятельности, проигралъ на бильярдѣ десять тысячъ серебромъ, да на пятнадцать надавалъ векселей въ разныя руки.

Онъ положительно сталъ блистать въ петербургскомъ обществѣ. Его кровныя лошади и великолѣпные экипажи красовались на Невскомъ проспектѣ, на дворцовой набережной и на елагинской стрѣлкѣ — повсюду, гдѣ только хотя сколько-нибудь пахло beau-mond'омъ. Толпа пріятелей, сеидовъ и поклонниковъ всегда окружала молодаго князя, ибо рада была поѣсть на его счетъ у Дюссо, покататься рядомъ съ нимъ въ его лондонскомъ тюльбюри и съ независимымъ видомъ поглазѣть на француженокъ изъ его литерной ложи. Князь олицетворялъ въ своей особѣ типъ новѣйшаго великосвѣтскаго денди военнаго покроя. Къ женщинамъ относился онъ пренебрежительно, и при своемъ непомѣрномъ сластолюбіи измѣрялъ женскія достоинства не чувствомъ и умомъ, а единственно ихъ стоимостью, количествомъ бросаемыхъ на нихъ денегъ. Двадцатипятилѣтній молодой человѣкъ выработалъ себѣ какой-то старческій, гнусненькій взглядъ на эти отношенія: онъ ни разу не любилъ, ни разу даже влюбленъ не былъ порядочно, потому что слишкомъ рано привыкъ *покупать* себѣ наслажденія, а *брать* ихъ чувствомъ не могъ, не умѣлъ и вообще считалъ слишкомъ скучнымъ и продолжительнымъ.

Послѣдняя заграничная поѣздка его, вмѣстѣ съ отцомъ и матерью, ясно показала этому почтенному семейству, что состояніе ихъ приходитъ въ разстройство. Княгиня Татьяна Львовна, которая вѣрнѣе всѣхъ понимала настоящее положеніе дѣлъ, составила въ головѣ своей вѣрный планъ поправленія обстоятельствъ. Мишенью для своихъ цѣлей она мысленно избрала дочь господина Шиншѣева, уже извѣстную читателямъ, некрасивую девицу, которую мечтала соединить узами законнаго брака съ своимъ сыномъ, и черезъ то наложить искусными маневрами нѣкоторыя узы на состояніе Давыда Георгіевича Шиншѣева. Планъ атаки былъ открытъ ею князю Владиміру, но этотъ послѣдній какъ-то мало обратилъ на него вниманія, хотя и призналъ всю его практическую справедливость. Князя Владиміра въ то время болѣе всего занимала баронесса фон-Дёрингъ, которая казалось столь обольстительной двумъ старцамъ и въ особенности разслабленному гамену. Въ отношеніи этой обольстительной особы молодого князя разбирала

сильная досада за то, что она видимо отдавала преимущество не ему, а его поврежденному батюшкѣ. Впрочемъ, молодой князь, не теряя отчасти изъ виду плановъ своей матери—въ будущемъ, но не въ настоящемъ—надѣялся на успѣхъ и у баронессы фон-Дёрингъ.

V

Раутъ у г. Шиншѣева

Мѣсяцъ спустя по пріѣздѣ Давыда Георгіевича, всѣ его знакомые получили великолѣпно литографированное на отласной бумагѣ краткое посланіе, приглашавшее ихъ провести вечеръ въ его домѣ.

Давыдъ Георгіевичъ очень любилъ представительность и блескъ, поэтому давалъ обѣды, балы, и кромѣ своихъ обычныхъ jours fixes дѣлалъ иногда большіе рауты.

Около десяти часовъ вечера половина широкой улицы передъ его домомъ сплошъ была заставлена рядами экипажей. Къ ярко-освѣщенному подъѣзду, то и дѣло подкатывали щегольскія кареты, изъ которыхъ, мгновенно мелькая передъ глазомъ изящной ножкой и блестящей головкой, выпархивали дамы, подобравъ свои платья, и тотчасъ же исчезали въ парусинѣ подъѣзда. Подъѣзжали и изящныя кареты-мастодонты, изрыгая изъ своихъ темныхъ пастей также хорошенькихъ женщинъ; подплетались, наконецъ, и дребезжащія дрожки несуразныхъ ванекъ, съ которыхъ одиноко и необыкновенно быстро спрыгивалъ какой нибудь господинъ, уткнувъ кончикъ носа въ поднятый воротникъ пальто, торопился расплатиться со своимъ автомедонтомъ и еще проворнѣе скрывался за парусину, какъ-бы боясь, чтобы кто не замѣтилъ его общипаннаго ваньку. У подъѣзда важно распоряжались два красивые городовые, бородатый дворникъ и помощникъ швейцара. Самъ же швейцаръ, особа очень жирная и надменно-важная, съ гладко-выбритымъ подбородкомъ, двумя ярусами возвышавшимся надъ бантомъ бѣлаго галстуха, красовался въ своемъ блистательномъ костюмѣ на внутренней площадкѣ сѣней, близь пылающаго камина, и при каждомъ новомъ посѣтителѣ слегка дергалъ ручку проведеннаго вверхъ звонка, выкрикивая имя новоприбывшаго.

Тонкое, чуть замѣтное благоуханіе еще внизу охватывало обоня-

ніе гостя и сопровождало его вверхъ по изящно-легкой, бѣломраморной лѣстницѣ, убранной дорогими коврами и декорированной древними вазами, статуями, экзотами, цвѣтущими камеліями и цѣлымъ рядомъ ливрейныхъ лакеевъ, неподвижно стоявшихъ въ нѣкоторомъ растояніи другъ отъ друга по широкимъ ступенькамъ и на двухъ верхнихъ зеркальныхъ площадкахъ.

Цѣлая анфилада освѣщенныхъ комнатъ открывалась съ обѣихъ сторонъ площадокъ, и въ этой анфиладѣ мелькали чорные фраки, шлейфы раскошныхъ платьевъ, блестящіе мундиры, красивыя бороды и красивые усы, пышныя куафюры и пышныя плечи — и носился надо всѣмъ этимъ какой-то смутный, мягкій шелестъ, въ которомъ мѣшались между собою и нѣжный свистъ шелковыхъ платьевъ, и разнорѣчивый говоръ, и легкое звяканье шпоръ и гдѣ-то, въ отдаленіи, виртуозные звуки рояля.

Давыдъ Георгіевичъ, по пріѣздѣ изъ-заграницы, въ первый разъ парадно принималъ гостей въ своемъ вновь отдѣланномъ домѣ. Онъ внутренно очень гордился эфектомъ, который производитъ на посѣтителей это изящное великолѣпіе. Его самого слишкомъ сердечно занимали и радовали переходы отъ ярко-освѣщенныхъ залъ къ умѣреннымъ гостиннымъ, украшеннымъ настоящими гобеленами, китайскими болванчиками и этрусскими вазами, дорогими бронзами и еще болѣе дорогими картинами. Онъ любилъ думать, что понимаетъ толкъ въ искуствахъ, тратилъ на искуства огромныя деньги и, дѣйствительно, среди дюжинныхъ произведеній, купленныхъ имъ отъ шарлатановъ за настоящихъ Тиціановъ, Ван-Дейковъ и Поль-Поттеровъ, красовались и настоящіе, неподдѣльные Гвидо-Рени, Дель-Сарто, Каламы и др. Почти каждая изъ нихъ была освѣщена особопринаровленными для картинъ лампами, и на каждой въ великолѣпной рамѣ неукоснительно присутствовала дощечка съ знаменитымъ именемъ художника. Но болѣе, чѣмъ гостиныя во вкусахъ Людовика XIV, XV, Renaissance и Имперіи, болѣе, чѣмъ маленькая комнатка со стрѣльчатымъ сводомъ и разноцвѣтнымъ окномъ, въ стилѣ Moyen age, освѣщенная вверху однимъ фонарикомъ, Давыда Георгіевича занимала обширная столовая, вся изъ рѣзного дуба, въ русскомъ вкусѣ, съ полками, гдѣ тѣснились севрскіе фарфоры, богемскій хрусталь, старое, тяжелое серебро и золото въ стопахъ, куб-

кахъ и блюдахъ — столовая, украшенная картинами Снейдерса и медальонами, изъ которыхъ выглядывали чучелы медвѣжьихъ, кабаньихъ, лосьихъ и оленьихъ головъ. Еще болѣе радовала его диванная, въ персидскомъ вкусѣ, мягкая, низенькая мебель которой, составляя рѣзкій переходъ отъ дубовой столовой, въ соединеніи съ пріятнымъ розовымъ полумракомъ, господствовавшимъ въ ней, такъ манила къ лѣни, нѣгѣ и послѣобеденной дремотѣ. Этой послѣдней въ особенности помогалъ ровный и тихій плескъ фонтановъ, бившихъ рядомъ съ диванной, въ роскошномъ зимнемъ саду Давыда Георгіевича.

Общество, собиравшееся на его обѣды, балы и рауты, носило на себѣ нѣсколько смѣшанный характеръ; въ немъ не было ничего исключительнаго, ничего кастоваго и, несмотря на то, каждый членъ этого общества непремѣнно желалъ изобразить, что онъ привыкъ принадлежать къ самому избранному и высшему кругу. Самъ Давыдъ Георгіевичъ, почитая себя въ нѣкоторомъ родѣ финансовой знаменитостью, любилъ окружать себя тоже знаменитостями всевозможныхъ родовъ, но болѣе всего льнулъ къ титуламъ и звѣздамъ, питая къ нимъ нѣкую сердечную слабость. Благодаря своему богатству, онъ считалъ себя человѣкомъ, принадлежащимъ къ великому свѣту. Въ его гостиныхъ, въ его пріемной и въ кабинетѣ всегда было разбросано нѣсколько визитныхъ карточекъ съ титулованными и великосвѣтскими именами, хотя самыя густыя сливки аристократическаго общества, сливки, держащія себя слишкомъ замкнуто и исключительно, вообще говоря, не были знакомы съ золотопромышленно-откупнымъ Давыдомъ Георгіевичемъ, и только нѣкоторыя изъ пѣнокъ отъ этихъ сливокъ, въ родѣ князей Шадурскихъ, удостоивали его своихъ посѣщеній. Бо́льшая же часть титулованныхъ именъ, красовавшихся въ домѣ г. Шиншѣева, принадлежали людямъ, посвятившимъ себя различнымъ промышленнымъ, акціонернымъ и тому подобнымъ спекуляціямъ. Впрочемъ, молодые и холостые люди grand mond'а почти всѣ, за весьма немногими исключеніями, ѣздили въ домъ его и упитывались отмѣнными яствами и питіями его стола. Рядомъ со звѣздами и титулами вы бы могли здѣсь встрѣтить разныхъ тузовъ и знаменитостей бреннаго міра сего. Тутъ ораторствовалъ о благодѣтельной гласности и либеральныхъ реформахъ

извѣстный патріотъ Василій Андреевичъ Штукаревъ, умилялся духомъ своимъ и г. Термаламаки, Эмануилъ Захаровичъ Галкинъ разсказывалъ съ чувствомъ, что онъ «истинный зловянинъ, знаменитъ въ сабѣ и въ дзѣтяхъ своихъ и на дацу къ сабѣ ѣздитъ не инаце, какъ на тройкѣ сведокъ». Тутъ же, скромно покуривая драгоцѣнную сигару, съ благодушною ироніей улыбался на все это извѣстный баронъ — царь нашихъ финансовъ, всегда самымъ скромнымъ и незамѣтнымъ образомъ одѣтый въ черное платье. Давыдъ Георгіевичъ съ него-то именно и бралъ примѣръ въ своей солидной, постоянно черной одеждѣ. Рядомъ съ этими господами помѣщались нѣкоторые тузики міра бюрократическаго, обыкновенно предпочитавшіе болѣе одежды пестро-полосатыя и всегда слѣдовавшіе самой высшей модѣ, благодаря тому отпечатку лицея и правовѣдѣнія (это не то, что университетскій отпечатокъ), который, не сглаживаясь «по гробъ жизни», всегда самоувѣренно присутствуетъ въ ихъ физіономіи, манерахъ и сужденіяхъ. Они съ большимъ апломбомъ разсуждали въ умѣренно-либеральномъ тонѣ о self-governement и сопрано Бозіо, о политикѣ Росселя и передавали слухи о новомъ проектѣ, новыхъ мѣрахъ и новомъ изреченіи bon-mot Петра Александровича.

Всѣ эти господа составляли преимущественно публику кабинета Давыда Георгіевича — кабинета, украшеннаго бюстами нѣкоторыхъ весьма высокихъ особъ, и картинами двоякаго содержанія: однѣ изображали нѣкоторыя баталіи, прославившія оружіе россійскаго воинства; другія представляли сюжеты болѣе игриво-пикантнаго свойства. Было даже одно изображеніе, всегда очень тщательно задернутое шелковою шторкой.

Комната, отведенная подъ библіотеку Давыда Георгіевича, представляла зрѣлище другого рода. Какія книги заключались въ этихъ великолѣпныхъ дубовыхъ шкапахъ — Давыдъ Георгіевичъ по большей части не вѣдалъ; онъ зналъ только, что богатые переплеты ихъ стоили очень дорого, да зналъ еще, что на карнизахъ шкаповъ красовались бронзовые бюсты седьми древнихъ греческихъ мудрецовъ міра сего, пѣвца богоподобныя Фелицы, да холмогорскаго рыбаря. Знать же что либо болѣе этого, Давыдъ Георгіевичъ не находилъ нужнымъ. На огромномъ овальномъ столѣ, занимавшемъ

всю середину этой комнаты, были разбросаны изящные альбомы и кипсеки, краски, кисти и прочія принадлежности живописи. Вокругъ стола сидѣло нѣсколько извѣстныхъ нашихъ художниковъ, которые украшали своими рисунками альбомы Давыда Георгіевича. За плечами каждаго изъ нихъ поминутно мѣнялись группы мужчинъ и хорошенькихъ женщинъ, съ любопытствомъ заглядывавшихъ сквозь лорнеты на рождающіеся рисунки нашихъ знаменитостей.

Общество артистовъ, приглашаемыхъ на всевозможные рауты — по большей части не ради пріятныхъ ихъ качествъ, но собственно ради увеселенія почтеннѣйшей публики—дѣлилось на двѣ категоріи: тутъ были артисты-боги, которыхъ нужно было упрашивать сыграть что либо, и они милостиво снисходили на просьбы общества; и были артисты-пѣшки, паріи, которымъ обыкновенно вскользь говорилось: «а что̀ бы вамъ сыграть намъ что-нибудь» — и артистъ скромно пробирается на цыпочкахъ вдоль стѣнки, съ футляромъ подъ мышкой, и съ неловкимъ смущеніемъ начинаетъ потѣшать равнодушное и невнимательное общество. Между артистами этой послѣдней категоріи обыкновенно всегда есть одинъ или два, покровительствуемые хозяиномъ, и всѣми ими вообще никто не занимается, а лакеи смотрятъ на нихъ съ высока, при чемъ иногда обносятъ чаемъ. Артисты эти, исполнивъ свою должность, то-есть отыгравъ передъ почтеннѣйшею публикой, робко стушевываются или, какъ говорятъ они обыкновенно, «уходятъ внизъ *покурить*», куда, въ случаѣ надобности, за ними посылаютъ человѣка: «поди, молъ, братецъ, кликни тамъ артистовъ».

Но вотъ наступаетъ нѣкоторый антрактъ; въ обществѣ залы нѣсколько затихъ разноязычный говоръ, какъ будто источникъ попугаечной болтовни начинаетъ изсякать понемногу. Минутъ десять тому назадъ только-что отзвучалъ «неподражаемый» ut-diez Тамберлика, когда онъ къ общему, прочно-сдержанному аханію и восторгу пропѣлъ свое «Скашитэ ей» и «Ея ушь нэтъ» — и, казалось, что изъ-подъ сводовъ этой двусвѣтной залы не успѣлъ еще испариться отзвукъ его ut-diez'а, какъ толпа хорошенькихъ женщинъ уже обступила рояль и кидаетъ томно-просящіе взгляды на одного молодого «любителя» изъ восточныхъ человѣковъ, съ наружностью французскаго парикмахера, который можетъ пѣть à la Тамберликъ, и à

la Кальцолари. И вотъ упрошенный и умоленный «любитель», поломавшись предварительно предъ дамами, начинаетъ пѣть. Дамы таютъ и приходятъ въ восторгъ.

Но не успѣваетъ онъ еще кончить свой плохо спѣтый романсъ, какъ вдругъ

Ва-а-зьми въ ручки пи-и-мстале-этимъ!

раздается неподдѣльно-мужицкій голосъ изъ сосѣдней гостиной — и вся толпа спѣшитъ въ эту комнату «посмѣяться» разсказамъ Горбунова изъ невиданнаго и только по этимъ разсказамъ знакомаго ей простонароднаго быта.

Неувлеченными общимъ потокомъ остаются только два графа: графъ Скалозубъ, да графъ Рёдереръ—двѣ геніальныя и аристократическо-артистическія звѣзды большого свѣта. Подлѣ нихъ пребываютъ также неувлеченными подсѣвшіе къ нимъ два литератора невеликосвѣтскіе: одинъ фёльетоностъ, обличающій въ демократическомъ журналѣ иннувшую губернаторшу, другой — кисло-желчный публицистъ, карающій въ газетахъ монополію, откупа и аристократизмъ «съ демократическо-соціальной точки зрѣнія». Оба они слушаютъ, какъ графъ Рёдереръ (артистъ, каррикатуристъ, бонмотистъ, поэтъ и фокусникъ вмѣстѣ) и графъ Скалозубъ (французско-нижегородскій литераторъ) обдумываютъ экспромтомъ нѣкоторый сюрпризъ къ отъѣзду графини Александрины—сюрпризъ, заключающійся въ нѣкоторой proverbe съ куплетами, танцами, живыми картинами и превращеніями на четырехъ языкахъ.

— Ахъ, это очень остроумно, прекрасно, безподобно и такъ тонко вмѣстѣ съ тѣмъ! восхищаются и поддакиваютъ два литератора невеликосвѣтскіе, прислушиваясь къ рѣчамъ двухъ литераторовъ великосвѣтскихъ.

— N'est-ce-pas? Вы находите? откликаются имъ съ благодушною улыбкой два графа.

— Экое абсолютное, китайское тупоуміе! Не постигаю, какъ могутъ быть у людей подобные кретиническіе интересы! шепчетъ публицистъ фельетонисту, отходя съ нимъ отъ двухъ графовъ къ сигарному столику и пряча незамѣтнымъ образомъ въ свой карманъ хозяйскую сигару.

— Аристократишки, баре! ужь я вѣдь хорошо знаю ихъ! презрительно отвѣчаетъ фельетонистъ публицисту, и тоже зоркимъ окомъ своимъ норовитъ стянуть хорошую сигару.

«Ва-азьми въ ручки пистолетикъ» производилъ на публику очень утѣшительное дѣйствіе, и только три граціи, наши старыя знакомки mesdemoiselles Шипонины, не были имъ довольны «parce que ça sent trop le mougik». Три граціи, коимъ въ сложности было около ста-семидесяти лѣтъ, такъ и продолжали именоваться, по преданію, тремя граціями и сохраняли во всей неприкосновенности свои локоны, свою сантиментальную любовь къ небесно-голубому цвѣту и добродѣтельную цѣломудренность весталокъ, почему все боялись, что ихъ кто нибудь похититъ. Онѣ попрежнему продолжали сплетничать и страстно посѣщать общество, хотя уже и не подъ эгидой своей матушки, по смерти которой съ непритворною горестью называли себя всѣмъ и каждому «тремя сиротками».

— Какъ дѣла? тихо спросилъ Бодлевскій, улучивъ удобную минутку и садясь въ кресло рядомъ съ баронессою фон-Дерингъ.

— Какъ видишь, произвела общій эфектъ, столь же тихо отвѣтила баронесса; но отвѣтъ ея сопровождался такой разсѣянной миной и столь равнодушнымъ видомъ, что можно было подумать, будто она произноситъ одну изъ самыхъ общихъ, ничего незначущихъ фразъ.

Надо прибавить, что этотъ вечеръ былъ первымъ парароднымъ и офиціальнымъ выѣздомъ баронессы въ общество петербургскаго beau mond'a. И дѣйствительно ея красота, соединенная съ такимъ живымъ умомъ и любезностью и облеченная въ такой восхитительный нарядъ, произвела общій, весьма замѣчательный эфектъ. О ней заговорили, ею заинтересовались, и первый же вечеръ доставилъ уже ей нѣсколько весьма хорошо позированныхъ въ обществѣ поклонниковъ.

— А я все болѣе около солидныхъ капиталовъ, продолжалъ Бодлевскій. — Ныньче мы въ роляхъ практическихъ дѣятелей дебютировали. Ну, а тѣ что? прибавилъ онъ, незамѣтно скосивъ глаза въ сторону стараго Шадурскаго, который на другомъ концѣ

комнаты лорнировалъ баронессу, стоя рядомъ съ самимъ хозяиномъ и, казалось, велъ разговоръ о ней же.

— Въ паутинкѣ, коварно улыбнулась она.

— Значитъ, скоро и мозги сосать можно?

— Скоро — затянуть только покрѣпче... Однако, здѣсь не мѣсто для такихъ разговоровъ, сухо прибавила баронесса, и Бодлевскій почтительно удалился.

Татьяна Львовна Шадурская втайнѣ очень тревожилась. Ея нѣжное вниманіе и матерински-аристократическая любезность очень тонко были обращены на Дарью Давыдовну Шиншѣеву. Ей такъ хотѣлось видѣть ее соединенною узами законнаго брака со своимъ сыномъ, что это желаніе сдѣлалось наконецъ любимою и завѣтною мечтою княгини Татьяны Львовны, старавшейся даже при этихъ мечтахъ позабыть о своемъ прирожденномъ аристократизмѣ. Да и какъ не мечтать, если черезъ соединеніе ихъ является возможность привести въ хорошее положеніе свои колеблющіяся дѣла, или, по крайней-мѣрѣ, разъ на всегда отвязаться отъ князя Владиміра, который перестанетъ безвозвратно пожирать родительскія деньги на свои прихоти и расходы. Татьяна Львовна знала, какъ дѣйствовать на слабую струнку Дарьи Давыдовны. Дарья Давыдовна была очень некрасива, неловка, неграціозна и до болѣзненности самолюбива. Самолюбіе съ честолюбіемъ могли почесться ея отличительными качествами, ибо они же оставались отличительными качествами и ея батюшки, нигдѣ и никогда неразлучавшагося со своимъ Станиславомъ. При этихъ двухъ свойствахъ ея души, судьба вдобавокъ надѣлила ее еще весьма влюбчивой и пылкой натурой. Къ сожалѣнію, Дарья Давыдовна постоянно влюблялась въ столь аристократически-блистательныхъ молодыхъ людей, что ни одинъ изъ нихъ не обращалъ на нее никакого вниманія. И самолюбіе Дарьи Давыдовны вѣчно уязвлялось. Въ князя Шадурскаго она почему-то не влюбилась, но выйдти за него замужъ была бы весьма непрочь, для пріобрѣтенія соотвѣтственнаго положенія въ большомъ свѣтѣ. Не прочь бы отъ этого былъ и коллежскій совѣтникъ Шиншѣевъ. Одна бѣда: молодой князь Шадурскій, на ихъ взглядъ, рѣшительно не оказывалъ

никакой склонности къ женитьбѣ, Дарьѣ же Давыдовнѣ дарилъ свое вниманіе ровно на столько, на сколько требовали приличія, ибо все оно было поглощено надменно-холодною красотою баронессы фон-Дёрингъ — красотою, которая подъ своей ледяною оболочкой заставляла иногда предполагать нѣчто противоположное. Вотъ это-то обстоятельство — это черезчуръ исключительное внимаціе и тревожило такъ княгиню Шадурскую. Оно отдаляло осуществленіе ея заѣтныхъ цѣлей. Княгиня не терпѣла баронессу, не терпѣла за ея красоту, еще неуспѣвшую поблекнуть, за своего мужа и особенно за сына, отдававшихъ ей такое исключительное предпоятеніе, а между тѣмъ, она принуждена была принимать ее, сама ѣздить къ ней и оказывать самую дружескую любезность, ибо сердце Татьяны Львовны расположилось черезчуръ уже нѣжно въ пользу брата баронессы — Владислава Карозича. Всѣ эти обстоятельства въ общей сложности и тревожили ее такъ сильно.

Княгиня случайно сидѣла въ уединенномъ уголкѣ одной изъ гостиныхъ, откуда могла черезъ растворенную дверь очень хорошо обозрѣвать все, что происходило въ смежной комнатѣ, гдѣ помѣщалась ея антипатія — баронесса фон-Дёрингъ: тогда какъ самое ее совершенно заслонялъ отъ постороннихъ глазъ роскошный трельяжъ, весь опутанный картинно-ползучими растеніями. Ей очень хотѣлось, чтобы въ ея уединеніе заглянулъ Карозичъ; но Карозичъ не догадывался о желаніи княгини, которая вдругъ, о-бокъ съ собою услышала за трельяжемъ весьма интересный для нея разговоръ. По голосамъ она узнала графа Рёдерера и графа Скалозуба.

— Полюбуйся-ко, это очень интересно, говорилъ одинъ другому, подходя къ двери. — Оба Шадурскіе — старецъ-молокососъ и молокососъ-старецъ изволятъ таять передъ баронессой.

— Ахъ, это въ самомъ дѣлѣ очень любопытно! отозвался другой со смѣхомъ. — Вотъ прекрасный сюжетъ для водевиля! Напишемъ-ка! Водевиль подъ названіемъ: «Два ловца за однимъ звѣремъ или папенька и сынокъ — соперники».

— Браво! подхватилъ Скалозубъ: — брависсимо! Я сочиню куплеты, ты сдѣлаешь музыку, и поставимъ у княгини Александрины на сцену.

— Но вѣдь всѣ узнаютъ, догадаются, возразилъ Рёдереръ.

— Пусть узнаютъ! Зато смѣху-то сколько будетъ, смѣху! Вѣдь это очень комично!

И два графа солидно прошли въ смежную комнату продолжать на болѣе близкомъ разстояніи свои наблюденія для будущаго водевиля.

Слова обоихъ графовъ, съ первыхъ же фразъ ихъ разговора, словно ножомъ рѣзнули по-сердцу Татьяну Львовну. Она бросила глаза въ сторону баронессы и съ горечью увидѣла подлѣ нея своего супруга, опершагося на руку князя Владиміра. Ей сдѣлалось жутко, тѣмъ болѣе жутко, что она очень хорошо понимала на сколько, въ самомъ дѣлѣ, было комическаго въ этомъ соперничествѣ сынка и батюшки. Намѣреніе двухъ графовъ касательно водевиля побудило ее серьёзно и немедленно переговорить со своимъ сыномъ.

— Я отнимаю отъ васъ одного поклонника, любезно улыбнулась она баронессѣ, подавъ руку князю Владиміру и отводя его отъ красавицы.

Красавица отвѣтила столь же любезнымъ кивкомъ головы, который въ сущности означалъ, что ей это рѣшительно все равно, а князь Владиміръ не безъ удивленія всмотрѣлъ вопросительный взглядъ на свою матушку.

— Мнѣ надо серьёзно переговорить съ тобою, тихо сказала она, уводя его по анфиладѣ комнатъ къ зимнему саду, который представлялъ болѣе удобствъ для интимныхъ разговоровъ.

— Ты ставишь себя въ весьма непріятное и смѣшное положеніе, продолжала княгиня, принявъ озабоченно-строгій и холодный видъ.— Надъ князьями Шадурскими, слава-богу, до сихъ поръ никто еще не смѣялся, а теперь начинаютъ, и имѣютъ полное право. Я не назову тебѣ кто говорилъ, но вотъ что я слыхала сію минуту.

И она отъ слова до слова передала ему разговоръ двухъ графовъ. Молодого князя сильно-таки передернуло. Онъ былъ и взбѣшонъ и сконфуженъ въ одно и то же время.

— У тебя ни на грошъ нѣтъ самолюбія, заключила княгиня уже съ нѣкоторою желчью въ голосѣ. — Она на тебя и вниманія не обращаетъ, а ты, какъ мальчишка, вздыхаешь передъ нею! Это стыдно, князь!. Я, признаюсь, была о васъ лучшаго мнѣнія.

Княгиня договаривала свою грозную проповѣдь, выходя изъ темной, извилистой аллейки лавровыхъ и миртовыхъ деревьевъ. Молодой князь, совершенно уничтоженный, слушалъ ее, закусивъ свою губу и немилосердо комкая въ рукѣ замшевую перчатку. Вдругъ на одномъ изъ поворотовъ, въ самомъ устьѣ этой аллейки, оба они невольно остановились въ пріятномъ изумленіи.

Шагахъ въ пятнадцати разстоянія, на чугунной скамейкѣ, сидѣла незнакомая имъ женщина. Она, очевидно, ушла сюда освѣжиться и отдохнуть отъ жара залитой огнями залы. Безпредѣльное, тихое спокойствіе ясно выражалось въ ея полуутомленной улыбкѣ, въ ея большихъ голубыхъ глазахъ и во всей ея непринужденно-граціозной позѣ. По обѣимъ сторонамъ скамейки и вокругъ небрежно-закинутой головки молодой женщины, необыкновенно эфектными пятнами на темномъ фонѣ окружающей зелени, выглядывали бѣлыя вѣнчики нарциссовъ и лилій. А надъ этой головкой, въ видѣ не тó — навѣса, не тó — какого-то фантастичнаго ореола, красиво разсыпались прихотливо-зубчатыя листья экзотовъ—пальмъ и папирусовъ, банановъ и музы, перевитыя игриво-смѣлыми побѣгами цвѣтущихъ ліанъ, кисти которыхъ тихо колебались въ воздухѣ, спускаясь очень близко къ головкѣ отдыхавшей подъ ними женщины. Голубые лучи отъ матоваго шара солнечной лампы, спрятанной въ этой купѣ растеній, пробивались сквозь просвѣты широкихъ, длинныхъ и лапчатыхъ листьевъ и падали необыкновенно прихотливой, неясной сѣткой на лицо и бюстъ красавицы, черные волоса которой, несмотря на свое роскошное обиліе, были зачесаны совершенно просто, и вся она, такая чистая и прекрасная, среди этой зелени, напоминала античную Дріаду — какъ та мраморная нимфа, на которой дробилась крупными алмазами струя фонтана, и которая легкимъ изгибомъ своего тѣла и изящнымъ поворотомъ головы, казалось, хотѣла любопытно заглянуть въ лицо отдыхавшей красавицѣ.

Шадурскіе съ минуту оставались въ томъ молчаливомъ онѣмѣніи, которое всегда производитъ на человѣческую душу внезапный видъ необыкновенной красоты. Оба они, скрытые въ тѣни миртовыхъ вѣтвей, не были видны.

— Чтó, какова? самодовольно прошептала княгиня.

Шадурскій только головой покачалъ, съ дилеттантскимъ наслажденіемъ разсматривая сквозь pince-nez незнакомую женщину.

— Кто это? едва слышно спросилъ онъ.

— Не знаю, и никогда не встрѣчала.

— Странно... Une femme inconnue... Очень странно!... Надо будетъ узнать непремѣнно!

— А какъ хороша-то?!

— Изумительно!

— А кто лучше: баронесса или она?

— Какое же тутъ сравненіе! отвѣтилъ князь, пренебрежительно двинувъ губою. — И какъ это я до сихъ поръ не замѣтилъ ее! Vraiment c'est un sacrilège de ma part! продолжалъ онъ, тихо поворачивая назадъ въ темную аллею, чтобы появленіемъ своимъ не потревожить уединенный отдыхъ красавицы.

— Послушайте, господа, не знаете ли вы, кто эта дама? спрашивалъ онъ, полчаса спустя, у двухъ своихъ пріятелей, когда поразившая его особа появилась въ залѣ, подъ руку съ Дарьей Давыдовной.

— Знаемъ, отвѣчали въ голосъ оба пріятеля, изъ которыхъ одинъ въ своемъ кругу звался просто — Петькой, а другой, съ академическимъ эксельбантомъ — княземъ Гапетовымъ.

— Кто же она? Скажите мнѣ, бога-ради?

— Никто! съ глупымъ нахальствомъ прохохоталъ Петька.

Рапетовъ серьёзно покосился на него.

— Ее зовутъ: Юлія Николаевна Бероева, сказалъ онъ.

— Въ первый разъ слышу, замѣтилъ Шадурскій.

— Не мудрено: elle n'est pas des notres, объяснилъ Петька. — Мужъ служитъ чѣмъ-то у Шиншѣева, а Шиншѣевъ, говорятъ, ухаживаетъ за женою, и на вечера свои приглашаетъ, какъ декорацію, ради красоты ея.

— Donc c'est une conquête facile! примемъ къ свѣденію, фатовато замѣтилъ Шадурскій.

— Ну, не совсѣмъ-то «facile»! возразилъ Рапетовъ. — Вы слишкомъ скоры на заключенія, любезный князь, позвольте вамъ замѣтить.

— Это почему же? съ усмѣшкой обернулся Шадурскій. — Въ

ваніемъ тонѣ, какъ будто маленькая ревность есть! шутливо прищурился онъ на Рапетова.

— Ревности нѣтъ никакой, а если хотите знать, почему вы тутъ ничего не добьетесь, мой милый Ловласъ, такъ я вамъ объясню пожалуй.

— Очень интересно послушать.

— Госпожа Бороева — честная женщина; любитъ немножко свой очагъ, много своего мужа и безконечно своихъ дѣтей, отчетливо-докторальнымъ тономъ проговорилъ Рапетовъ.

— И потому? снова усмѣхнулся Шадурскій съ самоувѣреннымъ задоромъ.

— И потому — ухаживайте-ка вы лучше за баронессой фон-Дерингъ! Это, кажись, благонадежнѣе будетъ.

— Благодарю за совѣтъ! съ колкою сухостью пробормоталъ князь Владиміръ. — Только *мнѣ* сдается, что черезъ нѣсколько времени и я въ свой чередъ посовѣтую вамъ — не давать опрометчивыхъ совѣтовъ.

— Это, кажется, вызовъ? спокойно спросилъ защитникъ Бороевой.

Князекъ немножко осѣкся: онъ совсѣмъ не ожидалъ подобнаго оборота, ибо вызова и въ помышленіи своемъ, опричь романовъ, никогда не имѣлъ.

— Какой тамъ вызовъ! есть изъ-за чего! постарался улыбнуться онъ съ натянутой небрежностью. — Я только говорю про то, что не прочь на дѣлѣ доказать вамъ... ну, хоть la possibilité d'une conquête.

— Коли есть охота — не препятствую, коротко поклонился ему Рапетовъ.

— А я пари держу, что ничего изъ этого не выйдетъ, вмѣшался Петька. — Въ нашъ положительный вѣкъ, женщины, братъ, только на карманъ полагаются, пошло сострилъ онъ и самъ расхохотался.

Самолюбіе князя было сильно задѣто, въ особенности же подстреканьями Петьки.

— Пари? — Идетъ! на сколько? предложилъ онъ протягивая ему руку.

— Ужинъ съ квасомъ у «Дюсы», сторговался тотъ.

— Ладно! Князь Рапетовъ, разнимите руки.

— Можете разнять сами, господа, отвѣтилъ Рапетовъ съ замѣтною сухостью. — Между такими порядочными и честными людьми свидѣтелей не надо, добавилъ онъ, отходя отъ пріятелей.

Пари состоялось безъ его посредничества.

— Графъ Каллашъ! возгласилъ человѣкъ, стоявшій у главнаго входа въ большую залу.

При новомъ и почти неизвѣстномъ, но громкомъ имени, многіе взоры обратились къ дверямъ, въ которыя долженъ былъ войдти новоприбывшій. Легкій говорокъ побѣжалъ между присутствующими:

— Графъ Каллашъ...

— Кто такой?...

— Венгерское имя... Какъ будто что-то слышалъ.

— Въ первый разъ появляется?...

— Что это за Каллашъ! Ахъ, да это одна изъ старыхъ венгерскихъ фамилій!...

— Интересно!...

Подобныя вопросы и замѣчанія бѣглымъ огнемъ перекрещивались между собою въ многочисленныхъ группахъ гостей, наполнявшихъ залу, когда въ дверяхъ ея появился молодой человѣкъ...

Онъ замедлился на минуту, чтобы окинуть взоромъ окружающую обстановку и присутствующихъ; затѣмъ, какъ-бы чувствуя замѣчанія и взоры, устремленные на его личность, но совершенно «игнорируя» ихъ, безъ застѣнчивости, ровной и самоумѣренно-скромной походкой прошелъ черезъ залу; Давыдъ Георгіевичъ съ пріятной улыбкой поспѣшалъ ему на встрѣчу.

Люди опытные, привыкшіе къ обществу и приглядѣвшіеся къ жизни и нравамъ большаго свѣта, часто по первому шагу очень вѣрно судятъ о той роли, которую будетъ играть человѣкъ въ средѣ ихъ. Люди опытные по первому взгляду молодого человѣка, по первой походкѣ его, по тому, какъ онъ только вошелъ въ эту залу, рѣшили уже, что роль его въ свѣтѣ будетъ блистательна, что не одно женское сердце затрепещетъ впослѣдствіи при его появле-

ніи, и не одна-то дендическая желчь взбудоражится отъ его успѣховъ.

— Какъ хорошъ! смутнымъ шопотомъ проносилось индѣ между дамами. Мужчины по большей части молчали, нѣкоторые только пощипывали кончикъ бакенбарда и всѣ вообще дѣлали видъ, что не замѣчаютъ новаго гостя. Одно уже это могло почесться блистательнымъ началомъ самаго вѣрнаго успѣха.

Дѣйствительно, наружность его нельзя было оставить безъ вниманія; между тысячью молодыхъ людей, онъ все-таки былъ бы замѣтенъ. Высокій, стройный ростъ и необыкновенная соразмѣрность всѣхъ членовъ такъ и напрашивались на сравненіе съ Антиноемъ. Матовая блѣдность постоянно была разлита по его красивому, немного истомленному лицу. Высокій лобъ, надъ которымъ отъ природы вились, заброшенные назадъ, черные волосы, и тонкія сдвинутыя брови носили печать страстно-тревожной и постоянно напряженной мысли. Цвѣтъ глубокихъ, немного запавшихъ глазъ опредѣлить вполнѣ было невозможно. Это были какіе-то темные глаза, которые порою загорались южно-лихорадочнымъ огнемъ, чтобы вслѣдъ затѣмъ потухать и заволакиваться тѣмъ неопредѣленнымъ туманомъ, сквозь который, кажется, чуешь глубину безконечную. Небольшіе усы и небольшая же узкая борода отчасти скрадывали непріятно-саркастическую улыбку, сдержанно мелькавшую иногда на его сладострастно очерченныхъ губахъ. Естественная грація хорошихъ манеръ и вполнѣ скромный, но необыкновенно изящно сдѣланный костюмъ довершали наружность молодого человѣка, который — несмотря на всю свою кажущуюся скромность,—гдѣ таилось, однако, глубокое, гордое сознаніе своей силы и достоинства,—несмотря на эту кажущуюся мѣрку подъ общій ранжиръ, на желаніе незамѣтно затеряться въ толпѣ — былъ все-таки замѣтенъ и оригиналенъ. Таково уже, значитъ, магнетическое вліяніе силы и красоты человѣческой. Лѣтъ его, точно такъ же какъ и глазъ, опредѣлить вполнѣ было невозможно — казалось около тридцати, но могло быть гораздо меньше или значительно больше. Онъ сохранилъ наружность человѣка молодого, но съ тѣмъ благороднымъ отпечаткомъ, который показывалъ ясно, что тутъ было пережито, перечувствовано и переиспытано вволю. Болѣе тонкій психологъ и физіономистъ въ

этомъ холодномъ, мало выдающемъ свои помыслы лицѣ, быть можетъ, разгадалъ бы вмѣстѣ съ сильной волей и непреклонной энергіей — натуру гордую, упорно-страстную, неблагодарную, которая беретъ отъ людей все, что захочется, требуя отъ нихъ это все, какъ должное и за то даже головой никогда не кивнетъ имъ. Таковъ былъ графъ Николай Каллашъ.

Графъ являлся совершенно новымъ свѣтиломъ въ петербургскомъ обществѣ, на горизонтѣ котораго появился не болѣе недѣли. До этого вечера его видѣли только раза два въ оперѣ, да разъ на дворцовой набережной. Проходя по залѣ съ Давыдомъ Георгіевичемъ, онъ то кланялся кивкомъ головы, то протягивалъ руку шести-семи личностямъ, съ которыми познакомился дня за два, у Сергѣя Антоновича Коврова, гдѣ сошелся съ нимъ и г. Шиншѣевъ, ѣзжавшій къ Коврову играть въ карты. Давыдъ Георгіевичъ тотчасъ же представилъ его своей дочери и нѣкоторымъ изъ самыхъ высокихъ звѣздъ и знаменитостей обоего пола, на которыхъ къ концу вечера графъ произвелъ самое выгодное впечатлѣніе. Съ Тамберликомъ онъ очень разносторонне говорилъ на итальянскомъ языкѣ объ оперѣ; съ однимъ изъ attaché англійскаго посольства, который неизмѣнно показывается всюду съ неизмѣннымъ стеклышкомъ въ глазу и слишкомъ безцеремонными позами, весьма остроумно разсуждалъ поанглійски о послѣдней каррикатурѣ Понча; съ графомъ Рёдереромъ и Скалозубомъ пофранцузски о русской литературѣ и могуществѣ русской державы; съ тузами міра финансового вставлялъ весьма практическія замѣчанія о какомъ-то новомъ проектѣ какого-то общества. Наконецъ, блистательнымъ образомъ разыгралъ ноктюрнъ собственнаго сочиненія, причемъ нѣкоторые артисты-боги остались пріятно-изумлены, а дамы даже совсѣмъ забыли своего идола изъ восточныхъ человѣковъ; послѣ ноктюрна шутя набросалъ на альбомѣ премилый эскизъ, въ какіе нибудь четвертъ часа; за эскизомъ прошелъ въ комнату, гдѣ на зеленомъ полѣ шла значительная игра, шутя поставилъ значительную карту и проигралъ; проигравши, скромно вынулъ изъ бумажника пачку ассигнацій, отсчиталъ что было нужно, доложилъ еще часть золотомъ и равнодушно удалился отъ стола, словно бы подходилъ туда не болѣе, какъ выпить стаканъ лимонада.

Графъ Каллашъ — новое лицо съ аристократическимъ именемъ, графъ уменъ, остеръ, образованъ, графъ такъ талантливъ и такъ хорошъ собою и, наконецъ, графъ такъ богатъ, такъ мило, такъ джентльменски умѣетъ проигрывать. — Графъ не могъ не произвести самаго блестящаго впечатлѣнія, и сильнѣе всѣхъ это впечатлѣніе отразилось на некрасивой Дарьѣ Давыдовнѣ, которой онъ оказывалъ препочтительное вниманіе, при каждомъ удобномъ, подходящемъ случаѣ.

Княгиня Шадурская, спустя нѣсколько времени послѣ разговора съ сыномъ, вернулась на свое старое уединенное мѣсто — за зелень трельяжа. Вкорѣ подлѣ нея появился Бодлевскій. Онъ былъ не въ духѣ, повременамъ досадливо, пощипывалъ бороду и явно старался принять угрюмо-разсѣянный видъ, отвѣчая княгини только односложными словами. Это, наконецъ, ее встревожило. Безпокойство и маленькая ревность копошились въ ея сердцѣ.

— Что съ вами? отчего вы такъ разсѣяны, такъ не въ духѣ? Не скрывайтесь, отвѣчайте мнѣ! говорила она, устремляя на него, съ нѣжнымъ участіемъ, свои влюбленные, хотя и не юные взоры.

Бодлевскій только пожалъ плечами.

— Отчего вы не были вчера *тамъ*... въ Морской?... Я ждала васъ, продолжала княгиня съ безпокойно-ревнивою ноткой въ голосѣ. — Послушайте, Владиславъ, вы второй разъ уже не сдерживаете обѣщаній, вы два раза уже не были тамъ... Я знаю... Я уже... надоѣла вамъ, не правда ли?

Бодлевскій вскинулъ на нее притворно-удивленный взглядъ; княгиня горько улыбнулась.

— Вы удивляетесь моимъ словамъ... удивляетесь, конечно, до какого униженія можетъ дойти женщина, съ горечью говорила она.—Я знаю, я немолода, мнѣ уже тридцать-семь лѣтъ (княгинѣ было за сорокъ-пять), поэтому вамъ кажется смѣшною любовь старухи... Вамъ нравится кто нибудь лучше, моложе меня... Слушайте, не скрывайтесь!

— Перестаньте, княгиня! въ мои года позволительно имѣть болѣе прочныя привязанности, отвѣтилъ Бодлевскій, поцаловавъ ея руку.

Лицо княгини просіяло.

— Ну, такъ что же! о чемъ вы задумываетесь, что тревожитъ васъ? пристала она съ большей энергіей.

— Мало ли что можетъ тревожить меня! загадочно проговорилъ Бодлевскій, уклоняя въ сторону неопредѣленный взглядъ.

— Скажите, откройте мнѣ, настаивала она.

— Къ чему же? Это васъ нисколько не касается.

— Мнѣ кажется, я имѣю нѣкоторое право на вашу откровенность, съ укоризной улыбкой замѣтила Татьяна Львовна. — Наконецъ, я хочу, я требую, чтобы вы сказали мнѣ.

Бодлевскій молчалъ, какъ-бы обдумывая что-то и словно борясь самъ съ собою.

— Я жду, настойчиво повторила княгиня.

— Извольте, если это васъ такъ интересуетъ! выговорилъ онъ наконецъ съ тѣмъ полнымъ вздохомъ, который иногда обозначаетъ у людей рѣшимость.—Видите ли... я проигрался къ карты, а мой банкиръ не прислалъ еще Капгеру телеграмму на выдачу мнѣ денегъ... Я, впрочемъ, уже телеграфировалъ ему, но... отвѣта нѣтъ... Вотъ что тревожитъ меня, и вотъ почему вчера я не былъ тамъ, заключилъ Бодлевскій, стараясь не глядѣть на княгиню.

— Только-то и всего? удивалась она. — И вы молчали, вы не могли прямо сказать мнѣ тотчасъ же!... Сколько вы проиграли?

— Десять тысячъ, сквозь зубы процѣдилъ Бодлевскій.

— Пріѣзжайте завтра туда, въ магазинъ; около двухъ часовъ я привезу вамъ деньги.

— Но, княгиня...

— Безъ всякихъ *но*!... Я не люблю возраженій... сказала она съ такою кокетливостью и съ такой милой миной, что Бодлевскому не оставалось ничего болѣе, какъ только вновь поцаловать ея руку, въ знакъ своего полнаго согласія.

Это были первыя деньги, добытыя имъ отъ княгини.

«Экой дуракъ! не хватилъ цифры побольше!» разсуждалъ онъ мысленно, слушая влюбленныя рѣчи пожилой красавицы. «Экой дуракъ, а она бы дала непремѣнно! Впрочемъ, мое отъ меня не уйдетъ и впослѣдствіи», успокоительно заключилъ онъ свое самоугрызеніе.

Молодой Шадурскій изъявилъ Давыду Георгіевичу желаніе быть представленнымъ Бероевой. Г. Шиншѣевъ тотчасъ же исполнилъ это желаніе и князь Владиміръ черезъ полчаса успѣлъ уже надоѣсть ей до зѣвоты своей пошло-ловласовской болтовней. Князь Владиміръ помнилъ, что передъ нимъ женщина «не его общества», и потому отчасти держалъ себя несовсѣмъ такъ, какъ сталъ бы держаться передъ особой своего круга. Бероева это поняла и раза два довольно тонко оборвала юнаго ловласа, но именно потому, что это было тонко, юный ловласъ не домекнулся о настоящемъ значеніи ея словъ, или не желалъ домекнуться. Петька, не перестававшій наблюдать за своимъ пріятелемъ, отъ души радовался его неуспѣху, предвкушая уже наслажденіе выиграннаго ужина. Это только бѣсило молодого Шадурскаго. Зѣвокъ Бероевой, и случайно пойманная при этомъ иронія во взглядѣ князя Ранетова, наконецъ торжествующая улыбка Петьки, коля его самолюбіе, въ то же время разжигали до злости настойчивое желаніе добиться своей цѣли.

— Такъ или иначе, рано или поздно, но я выиграю пари! говорилъ онъ Петькѣ, стараясь рѣшительной самоувѣренностью тона прикрыть вопль самолюбія и донимавшее его бѣшенство.

— А я ужь было-думалъ, что ты послѣ кораблекрушенія повезешь меня кормить ужиномъ, со вздохомъ обманутой надежды замѣтилъ ему Петька.

— Обдѣлывай скорѣй свои дѣла, Наташа, обдѣлывай! самодовольно потиралъ руки Бодлевскій, уѣзжая въ каретѣ со своей сестрой, баронессой фонъ-Дёрингъ съ шиншѣевскаго раута.—Я тебя порадую, говорилъ онъ:—завтра мы начинаемъ осуществлять наши проекты: десять тысячъ у меня въ карманѣ!

— Какъ такъ?... изумилась Наташа.

— Очень просто: старуха Шадурская къ двумъ часамъ привезетъ ихъ къ генеральшѣ фон-Шпильце.

Баронесса, вмѣсто отвѣта, обвила руками шею Бодлевскаго и поцаловала въ лобъ.

VI

Ключи старой княгини

По Большой Подъяческой улицѣ уже нѣсколько дней сряду прохаживался неизвѣстнаго званія человѣкъ и все останавливался передъ воротами одного и того же каменнаго дома. Подойдетъ, поглядитъ, нѣтъ ли билетовъ съ извѣстною надписью *«одаеца комната»*—видитъ, что нѣтъ, и пройдетъ себѣ далѣе. Неизвѣстнаго званія человѣкъ аккуратно два раза въ день совершалъ свои экскурсіи по Большой Подъяческой улицѣ: пройдетъ разъ утромъ и не показывается до вечера; пройдетъ разъ вечеромъ и скроется до слѣдующаго утра. Наконецъ, на седьмыя или осьмыя сутки, труды хожденій его увѣнчались успѣхомъ. У воротъ болтались прилѣпленныя кое-какъ жеваннымъ мякишемъ хлѣба двѣ бумажки. Одна гласила, что «одаетца кватера о двухъ комнатахъ съ кухней» а другая изображала объ отдачѣ «комнаты снебилію атъ жильцовъ». Прочтя это извѣщеніе, неизвѣстный человѣкъ тотчасъ же повернулъ назадъ и быстро направился къ канавѣ, куда очевидно влекла его настоящая причина осьмидневныхъ хожденій. Эта настоящая причина привела его въ Среднюю Мѣщанскую улицу, подъ ворота грязно-желтаго, закоптѣлаго дома, гдѣ безъисходно пахло жестяною посудой и слышался непрерывный стукъ слесарей и кострюльщиковъ. Означенная причина заставила его подняться въ третій этажъ по кривымъ обтоптаннымъ ступенямъ темной, промозгло-затхлой каменной лѣстницы, и войдя въ общипанную дверь небольшой, но скверной квартиры, убранной однако съ неряшливымъ поползновеніемъ на комфортъ. По всему замѣтно было, что квартира эта служитъ обиталищемъ особы, неотличающейся цѣломудренностью своихъ привычекъ.

—Кто тамъ? послышался рѣзко-сиплый, непріятный голосъ женщины, изъ-за притворенныхъ дверей другой комнаты, откуда разило смѣшаннымъ запахомъ цикоріи, зажженной монашенки и табачищемъ.

— Все я же-съ! крякнувъ отвѣтствовалъ неизвѣстнаго званія человѣкъ.

— А, Зеленковъ! Войди сюда!

— Оно самое и есть: Иванъ Иванычъ господинъ Зеленковъ! проговорилъ тотъ входя съ кабацкимъ разлетцомъ, потряхивая волосами, подергивая плечами и вдобавокъ подмигивая глазомъ, что̀ въ сложности выходило препротивно.

— Что̀, песъ этакой! съ ругательной любезностью обратился къ нему сорокалѣтній нарумяненный лимонъ, въ распашномъ шелковомъ капотѣ и съ крѣпкой папироской въ зубахъ.—Опять, поди-ка, ни съ чѣмъ пришелъ?

— Анъ вотъ-съ нѣтъ, коку съ сокомъ принесъ! поддразнилъ языкомъ Иванъ Ивановичъ.

— Говори дѣло: есть билеты?

— Па̀ра! крикнулъ господинъ Зеленьковъ и съ торжествующимъ видомъ вытянулъ два свои пальца къ носу нарумяненнаго лимона.

— Слава тебѣ, тѐтереву! съ удовольствіемъ улыбнулся лимонъ:— а то ужь мнѣ куды-какъ надоѣло ходить-то съ докладами каждое утро! Подходящее, что ль? обратился онъ къ Зеленькову.

— Самая центра! потому какъ одна отъ жильцовъ комната при небели, а другая—фатера, на всю стать, съ кухней и двѣ комнаты при ней.

— Ладно! Это, значитъ, годится, сказалъ лимонъ, и зажегши съ окурка новую папироску, принялся, размахивая руками, шагать по комнатѣ, тою особенной походкой, съ перевальцемъ, которая у особъ подобнаго рода называется *«распаше»*. Иванъ Ивановичъ тоже вынулъ изъ кармана обсосаный окурокъ сигарки, очевидно про запасъ припрятанный, подулъ на него, закурилъ и небрежно разсѣлся на линяломъ, штофномъ диванѣ.

— Таперича ты вотъ что, заговорилъ лимонъ, дѣлая свои соображенія:—въ эфтимъ самомъ доми живетъ...

Неопрятная особа, остановившись на этихъ словахъ, подошла къ туалетцу, и вынувъ изъ ящика клочокъ бумаги, прочла написанное на немъ.

— Живетъ Егоръ Егорычъ Бероевъ, а у него жена Юлія Николавна, продолжала она. — Такъ ты вотъ что, какъ будешь нанимать квартеру, либо комнату тамъ что-ли, старайся вызнать напередъ, по какой лѣстницѣ живетъ этотъ самый Бероевъ, и коли квартера придется по той самой лѣстницѣ, бери ее безпремѣнно.

— Значитъ, фатеру брать? спросилъ Иванъ Ивановичъ.

— Фатеру, либо комнату—это одинъ чортъ выходитъ; платежъ вѣдь не твоего карману дѣло, такъ и разсуждать тебѣ нѣчего. Ты, главное, старайся узнать, по какой лѣстницѣ; а тамъ, коли богъ поможетъ на наше счастье сиротское, что придется эта квартера по одной лѣстницѣ, такъ ты и занимай ее сразу.

— Это мы, Сашенька-матушка, можемъ; капиталу въ головѣ на столько-то хватитъ! похвалился Зеленьковъ, тряхнувъ волосами.

— Опосля этого, внушала Сашенька-матушка: — какъ ты переѣдешь туда, говори всѣмъ, что былъ господскій человѣкъ; господа, значитъ, вольную написали, и теперь, какъ ты при своемъ капиталѣ состоишь, такъ хочешь заняться по торговой части.

— Это столь же очинно можно! согласился Иванъ Иванычъ. — Коли господскій, такъ и господскій, я не перѣчу. Оно къ тому же у меня и рожа ничего... какъ слѣдствуетъ быть... одно слово — халуйственная-съ—такъ это сюда же дѣло подходячее и, значитъ, намъ на руку, говорилъ Зеленьковъ, охорашивая передъ зеркаломъ свои бѣлобрысые жесткіе усы, придававшіе его физіономіи дѣйствительно нѣчто ухарски-лакейское и именно халуйственное.

— Потомъ, продолжала Сашенька-матушка свои наставленія: — сойдись ты мнѣ безпремѣнно въ пріятномъ знакомствѣ съ прислугой этихъ самыхъ Бероевыхъ; коли тамъ куфарка, либо горничная— самъ ужь будешь видѣть — такъ ты старайся до марьяжу знакомство довести, чтобъ она, значитъ, къ тебѣ ходила безпремѣнно въ гости; подарковъ да кофіёвъ не жалѣй, потому опять же, говорю, не твоего карману дѣло. Ты только знакомство амурное своди поскорѣй, а я къ тебѣ тёткой на новоселье пріѣду и навѣщать стану, и ты ко мнѣ каждый день въ акуратъ являйся съ лепортомъ, насчетъ дѣловъ этихъ самыхъ. Ну, вотъ тебѣ и все пока! А это на задатокъ, заключила она, вручивъ Ивану Ивановичу трехрублевую ассигнацію.

Иванъ Ивановичъ философски посмотрѣлъ на зеленую рубашку ассигнаціи и горько улыбнулся.

— Александра Пахомовна! заговорилъ онъ униженно-обиженнымъ протестомъ; — что же это такое значитъ? Какой же я такой вы-

хожу вольноотпущенный человѣкъ и при своемъ капиталѣ состою, а костюмчика по званію своему не имѣю — и сейчасъ всякій меня мазурикомъ обзоветъ. А вы взгляньте-съ: вѣдь сюртучонокъ-то у меня — масляница! весь засалимшись, словно резинковый-непромокаемый лоснится. Такъ это на что же похоже-съ?

Александра Пахомовна съ серьёзнымъ видомъ оглядѣла весьма неказистый костюмъ господина Зеленькова.

— И теперича вы знаете, продолжалъ господинъ Зеленьковъ:— что я завсегда какъ вамъ, такъ и ихъ превосходительству по гробъ жисти своей преданный рабъ, и о костюмчикѣ не для себя собственно выговариваю; потому, мнѣ это дѣло нестоющее, мнѣ все равно, въ чемъ ни ходить: Зеленьковъ и въ рогожкѣ щеголемъ будетъ и всегда будетъ — «Иванъ Иванычъ Зеленьковъ!» а костюмчикъ пристойный, собственно по вашему же дѣлу, требуетца—такъ вы подумайте-съ и на гардеропъ мнѣ вручите.

Александра Пахомовна подумала и вручила на гардеробъ три пятирублевыхъ бумажки, съ внушеніемъ не пропить ихъ.

Господинъ Зеленьковъ не безъ достоинства отвѣтилъ, что онъ дѣло свое завсегда понимать можетъ, и, откланявшись съ обычно-ухорскими ужимками, направился на Толкучку — покупать себѣ новое платье.

Въ тотъ же самый день, къ шести часамъ вечера, онъ переѣхалъ въ комнату, отдающуюся отъ жильцовъ, которая на сиротское счастье Александры Пахомовны пришлась какъ разъ надъ квартирой Бероевыхъ.

Это все совершилось спустя двѣ недѣли послѣ раута Давыда Георгіевича Шиншѣева, а побудительной причиной къ совершенію послужили нижеслѣдующія обстоятельства:

Князь Владиміръ Шадурскій провелъ прескверную ночь: уязвленное самолюбіе лишало его сна, взбудораженная досада и до дѣтскости капризная, избалованная настойчивость въ своихъ желаніяхъ, настойчивость, въ этомъ случаѣ, пока еще совершенно тщетная, безсильная, не давали ему ни минуты покою; онъ все думалъ, какъ бы этакъ гласно, героически, дон-жуански достичь своей цѣли,

чтобы натянуть носъ и Рапетову, и Петькѣ — и все-таки ничего не выдумалъ...

Между тѣмъ, полнѣйшая невозможность встрѣтить въ скоромъ времени Бероеву, очевидный неуспѣхъ у нея, слишкомъ замѣтная, даже какъ будто презрительная сухость князя Рапетова и ежедневно-возрастающее подтруниваніе Петьки — заставили его черезъ три-четыре дня рѣшиться на послѣднее, слишкомъ рискованное средство: онъ поѣхалъ къ генеральшѣ фон-Шпильце. Генеральша обѣщала увѣдомить его о результатахъ, и на другой день утромъ князь Владиміръ получилъ письмо слишкомъ лаконическаго содержанія — въ немъ значилось только шесть письменныхъ знаковъ:

2000 р. с.

Князь, не думая ни минуты, схватилъ перо и на той же бумажкѣ написалъ: *«согласенъ»*. Бумажка съ тѣмъ же самымъ посланнымъ отправилась въ обратное путешествіе, а господинъ Зеленьковъ получилъ приказаніе выжидать объявленія о квартирахъ у воротъ указаннаго ему дома.

XVII

«На чашку кофію»

Иванъ Ивановичъ Зеленьковъ благодушествовалъ. Онъ уже около мѣсяца занималъ свою «комнату снебилью», а хозяйка его апартамента — курьерская вдова Троицына, оказывала ему всякое уваженіе, потому что Иванъ Ивановичъ Зеленьковъ, при самомъ переѣздѣ своемъ въ новое помѣщеніе, вручилъ ей сразу впередъ за мѣсяцъ свою квартирную плату. Это обстоятельство, паче словъ самого Зеленькова, убѣдило курьерскую вдову Троицыну, что постоялецъ ея — человѣкъ отмѣнный, точный и взаправду при капиталахъ своихъ состоитъ. Иванъ Ивановичъ казался ей истиннымъ щеголемъ, да и самому себѣ таковымъ же казался: онъ носилъ на бекрень пуховую шляпу, вмѣсто прежней потертой фуражки; драповая бекеша, съ нѣмецкимъ бобрикомъ, предохраняла отъ стужи его бренное тѣло, которое въ комнатѣ украшалось темнозеленымъ

сюртукомъ, съ отложными широкими бортами и металлическими пуговицами, шелковымъ жилетомъ и широкими панталонами невыразимо-палеваго цвѣта. Иванъ Ивановичъ, аккуратно, каждое утро посѣщалъ мелочную лавочку, гдѣ проводилъ полчаса и болѣе въ пріятныхъ разговорахъ съ прикащикомъ. Прикащикъ тоже оказывалъ Ивану Ивановичу уваженіе, и удовлетворялъ его разспросамъ. Всѣмъ петербургскимъ жителямъ уже давнымъ-давно извѣстно, что мелочныя лавочки служатъ своего рода клубами, сборными пунктами для всевозможной прислуги. Иванъ Ивановичъ Зеленьковъ успѣлъ заслужить благоволеніе и отъ этихъ посѣтителей, ибо разсказывалъ имъ разныя исторіи, балагурилъ и иногда почитывалъ «Пчелку». Зоркое око его вскорѣ запримѣтило, между многочисленными посѣтителями, курносую дѣвушку Грушу, отправлявшую обязанность прислуги у Бероевыхъ. Курносая дѣвушка Груша, солдатская дочь, являла собою вполнѣ порожденіе Петербурга: она могла быть и горничной, и кухаркой, и бѣлошвейкой, и всѣмъ чѣмъ угодно, и въ сущности ничѣмъ. Хотя курносая Груша никакими особенно пріятными качествами души и наружности не отличалась, однако Иванъ Ивановичъ началъ преимущественно передъ нею «точить свои лясы». Курносая Груша сначала отвѣтствовала молчаніемъ, пренебрегала лясами Ивана Ивановича, отвертывалась отъ своего искателя, а потомъ, видя такое его постоянство, начала улыбаться, отвѣчать на лясы лясами же, и наконецъ мягкое сердце ея не выдержало. Пріятныя качества Ивана Ивановича вполнѣ побѣдили курносую Грушу, особенно когда онъ, догнавъ разъ ее на лѣстницѣ, подарилъ шелковый фуляръ, а въ другой — золотыя сережки. Курносая Груша вдругъ ощутила потребность болѣе обыкновеннаго подыматься наверхъ къ курьерской вдовѣ Троицыной, то за одолженіемъ спичками-сѣрниками, то за угольками. Наконецъ она появилась и въ апартаментѣ гостепріимнаго Ивана Ивановича. Иванъ Ивановичъ, съ тѣхъ самыхъ поръ, какъ уловилъ въ свои сѣти некрѣпкое, но доброе сердце дѣвицы Груши, и самъ нѣсколько измѣнился: онъ по утрамъ, передъ тѣмъ, какъ отправляться къ Александрѣ Пахомовнѣ съ отчетомъ о своихъ дѣйствіяхъ, неукоснительно забѣгалъ въ цырюльню, гдѣ приказывалъ брить свою бороду, уснащать *гонруазомъ* усы, и покруче завивать кокам

свои бѣлобрысые волосы. Разноцвѣтные галстухи также стали принадлежностью его костюма. Словомъ сказать, грязненькій Иванъ Ивановичъ Зеленьковъ преобразился въ совершеннаго сердцеѣда, ради курносой дѣвушки Груши.

Однажды утромъ, онъ встрѣтился съ нею въ мелочной лавочкѣ, и сказалъ съ поклонцемъ:

— Послушайте, Аграфена Степановна, какъ я собственно желаю рѣшить судьбу на счетъ своего сердца, такъ не побрезгуйте нониче ко мнѣ на чашку кофію — притомъ же моя тётенька будутъ.

— Очинно пріятно, отвѣчала Груша и обѣщала быть безпремѣнно.

Когда къ шести часамъ вечера она вошла къ господину Зеленькову—комната его уже представляла вполнѣ праздничный видъ. На окошкѣ не валялось ни сальныхъ огарковъ, ни оторванныхъ оловянныхъ пуговокъ, ни сапожной щотки, ни даже полштофовъ— все это было выметено, вычищено и запрятано куда-то. Передъ высокоспиннымъ, волосянымъ диваномъ стоялъ покрытый расписной салфеткою столъ; на столѣ самоваръ съ кофейникомъ, сдобныя булки съ сухарями, селедка и огурцы съ копченой колбасой, пряники и орѣхи съ малиновымъ вареньемъ. Все это было разложено на тарелкахъ, между которыми возвышались штофъ и бутылка.

На диванѣ возсѣдала Александра Пахомовна, одѣтая скромнѣе обыкновеннаго, хотя и съ неизмѣнною папироской въ зубахъ. Иванъ Ивановичъ почтительно сгибался передъ нею на стулѣ, уткнувъ между колѣнъ свои сложенные пальцы.

— Вотъ-съ, тётенька, и онѣ-съ! позвольте рекомендовать! съ торопливой развязностію вскочилъ онъ при входѣ Груши.

— Честь имѣю представить, продолжалъ Зеленьковъ, расшаркиваясь и размахивая руками:—Аграфена Степановна, очень хорошія дѣвицы, а это—моя тётинька!

Тётинька съ величественною важностью поклонилась Аграфенѣ Степановнѣ, а Аграфена Степановна очень сконфузилась и не знала какъ сѣсть, и куда дѣвать свои руки.!

— Садитесь, пожалуйста! безъ церемоніи! шаркалъ и лебезилъ Иванъ Ивановичъ.—Чѣмъ угощать прикажете? Тутъ всякихъ питаньевъ наставлено—кушайте-съ!

Обѣ гостьи тяжело откланивались, но къ питаніямъ не прикасались.

— Тётинька-съ!... Аграфена Степановна! Сладкой водки не прикажете ли-съ, али теперифцу? Выкушайте рюмочку, это вѣдь лёгонькое, самое дамское!

Гостьи жеманно отказываются; Иванъ Ивановичъ, однако, не отстаетъ, атакуя ихъ съ новою силой, и наконецъ побѣждаетъ: гостьи выкушали по рюмкѣ сладкой водки, и посмаковали теперифцу.

— Ахъ!... ахъ, разлюбезное это дѣло! восторженно умиляется и самъ не зная чему Иванъ Ивановичъ, при чемъ егозитъ на стулѣ, всплескиваетъ руками, и щелитъ свои и безъ того уже узкіе, масляно-бѣгающіе глазки.

— Нѣтъ, чортъ-возьми! вскакиваетъ онъ съ мѣста, и схвативъ со стула гитару, запѣваетъ разбито-сладостнымъ теноркомъ, со своими ужимками:

И-вы, ды-рузья, моей красотки
Не встрѣчали-ль гдѣ порой?
Въ цѣлымъ нашимъ околодки
Нѣтъ красоточки такой!
Эта дѣвушка-шалунья,
Это Грунюшка-игрунья—
Только юбка за душой!

Тётенька сосредоточенно куритъ папироску, пуская дымъ черезъ ноздри; Аграфена Степановна конфузится и краснѣетъ, а Иванъ Ивановичъ снова уже швырнулъ на диванъ гитару, и въ какомъ-то экстазѣ, ударяя себя кулакомъ въ перси, говоритъ:

— Тётинька! распропащій я человѣкъ, потому круглый сирота! И при моемъ сиротствѣ горькіемъ, только вы однѣ у меня и остались... Добродѣтельная, можно сказать, сродственница! Хоша я и при своемъ капиталѣ, однако же проживаю въ уединеніи. Только и услады одной, что чижа вотъ съ клѣткой купилъ, и преотмѣнно, я вамъ скажу, поетъ, бестія, индо всѣ уши прожужжитъ! Одначе-жъ онъ не человѣкъ, а какъ есть, по всему чижъ, такъ и выходитъ глупая онъ птица; а мнѣ, при такомъ моемъ чувствіи къ коммерческимъ оборотамъ, требуетца теперича подругу. Правильно ли я полагаю, Аграфена Степановна?

Аграфена Степановна потупилась, покраснѣвъ еще болѣе прежняго. Тётенька ободрительно улыбнулась, и съ важностью приступила къ разспросамъ:

— Вы, значитъ, здѣсь въ услуженіи проживаете, при своехъ господахъ?

— По наймамъ... внизу тутъ—у Бероевыхъ, отвѣтила Груша, кое-какъ, оправляясь отъ смущенія, и радуясь, что насталъ разговоръ посторонній.

— По наймамъ?... Такъ-съ. А сколько жалованья вамъ кладутъ они?

— Три рубля въ мѣсяцъ, да полтину на горячее. Только двое прислуги: куфарка, да я при барынѣ и при дѣтяхъ.

— Такъ-съ. Стало-быть, господа-то небогатые?

— Гдѣ ужь тамъ богатые! Живутъ себѣ помаленьку.

— И большое семейство?

— Нѣтъ, не такъ-то: самъ хозяинъ, да жена при немъ, да двое дѣтей: мальчикъ и дѣвочка.

— Значитъ, четверо. А самъ-то въ чиновникахъ, али такъ гдѣ служитъ?

— Онъ, этта, сказывали, по золотой части какой-то у Шиншѣева—богачъ-то, знаете?

— Слыхала. Такъ это, стало-быть, мѣсто доходное?

— Ужь христосъ ихъ знаетъ! Слышала я точно, что другіе больно ужь наживаются, а онъ—нѣтъ; однимъ жалованьемъ доволенъ. И притомъ же должность его такая, что на мѣстѣ не живетъ, а побудетъ, сколько мѣсяцевъ придется, здѣсь съ семействомъ, а тамъ и уплютъ въ Сибирь на полгода, и больше случается. Вотъ и теперь уѣхамши, недѣль съ пять ужь есть. Барыня-то одна осталась.

— Гм... А можетъ, онъ и получаетъ какіе доходы, да куда нибудь на сторону ихъ относитъ? съ подозрительно—лукавою миной спросила тётенька.

— Ахъ, нѣтъ, какъ можно! совѣстливо вступилась Груша.— Онъ всякую копѣйку, что только добудетъ, все въ семейство несетъ, даже и оттуда, изъ Сибири-то присылаетъ. Нѣтъ, для семейства онъ завсегда большой попечитель.

— Ну, а какъ живутъ-то, не ругаются?

— Ой, что́ вы! душа въ душу живутъ. Вотъ уже шесть годовъ они женаты, да я пятый годъ при нихъ служу, такъ вѣрите ли

богу—ни разу то-ись не побранилися между собою; а чтобы это ссоры, неудовольствія какого—и въ поминѣ нѣтъ! Оченно любятъ другъ дружку, ужь такъ-то любятъ—на рѣдкость, со стороны смотрѣть пріятно. И такой-то у нихъ миръ да тишина, что повѣкъ, кажися, не отойду отъ мѣста. И мать такая хорошая она; дѣтокъ своихъ до смерти любитъ; обоихъ сама выкормила.

— А можетъ такъ, одно притворство? попыталась тётенька смутить разказчицу.—Можетъ, у нее какіе ни на есть амуры на сторонѣ заведены! Вѣдь тутъ у насъ это не на рѣдкость бываетъ!

— Ну, ужь нѣтъ! съ гордымъ достоинствомъ, горячо перебила Груша.—Можетъ, у другихъ гдѣ—оно и такъ, а у насъ не водится! Наша-то безъ мужа, ровно монашенка живетъ, все съ дѣтьми занимается, сама обшиваетъ ихъ, да учитъ шутемъ въ книжку читать, и коли куда погулять выдти, такъ все съ дѣтьми же. Нѣтъ, ужь такой-то домосѣдки поискать другой! Вонъ этта, какъ-то балъ ономнясь у Шиншѣева былъ. Такъ что̀-жь бы вы думали? Мужъ еле-еле упросилъ поѣхать, а то сама и слышать не хотѣла: что̀, говоритъ, тамъ дѣлать мнѣ? А не ѣхать тоже нельзя, потому—самъ Шиншѣевъ просить пріѣзжалъ.

— Что-жь, развѣ она образованности не имѣетъ, если ѣхать не хотѣла? опять ввернула тётенька свое замѣчаніе.

— Нѣтъ, она оченно, можно сказать, образованная, вступилась Груша:—все въ книжку читаетъ, и на фортопьянѣ до жалости хорошо играть умѣетъ, и на всякихъ языкахъ, доподлинно можетъ—это сама я слышала. А только не любитъ этого, баловъ-то. Она, чу, сама барскаго рода, у родителевъ жила въ Москвѣ, да родители разорились, въ бѣдности живутъ, такъ она теперича съ мужемъ, при всѣхъ недостаткахъ, отъ себя урываютъ да имъ помощь оказываютъ.

— Что-жь, это хорошо, похвалила тётенька, затягиваясь папироской. — А почему это самъ Шиншѣевъ пріѣзжалъ къ нимъ звать-то? продолжала она.—Ужь онъ вѣрно даромъ, для блезиру, не позоветъ вѣдь служащаго, потому — какая ему компанія служащій?

Груша на минуту раздумчиво остановилась.

— Вѣрно, ужъ онъ это не спроста! не ухаживаетъ ли онъ за

самой-то, подарковъ какихъ, гляди, не дѣлаетъ ли, тайкомъ отъ мужа-то? допытывала Александра Пахомовна.

Груша опять подумала.

— Это было, утвердительно сказала она.—Шиншѣевъ-то больше норовилъ пріѣзжать къ нашей, безъ мужа. Пріѣдетъ, бывало, дѣтямъ игрушекъ, конфетъ навезетъ; а она, моя голубушка, сидитъ, словно въ воду опущенная. Разъ, я-таки подслушала, грѣшнымъ дѣломъ: сидитъ этта онъ у нее, да и говоритъ: вамъ, говоритъ хорошо будетъ, и мужу вашему хорошо; а теперь, хоша онъ и честный человѣкъ, а вы въ бѣдности живете; лучше, говоритъ, въ богатствѣ жить. Такъ она индо поблѣднѣла вся, затряслася, сама чуть не падаетъ, и уйдти его попросила. Всю-то ночь потомъ проплакала, такъ что просто сердце изныло, на нее глядючи. Онъ ей опослѣ этого браслетку прислалъ золотую, съ каменьемъ разнымъ— такъ что жь бы вы думали, моя матушка? Назадъ вѣдь ему отослала: я сама и относила вѣдь! — Право!...

— Стало быть, она дура, коли отъ фортуны своей отказывается, солидно и съ сознаніемъ полной своей правоты замѣтила тётенька.

— Нѣтъ, не дура, возразила дѣвушка: — а только въ законѣ жить хочетъ, да Егора Егорыча своего любитъ, только и всего. А мужу про Шиншѣева не сказала, продолжала Груша: — потому горячій онъ человѣкъ, и могъ бы мѣста своего рѣшиться. Отчего ей и труднѣе, что все сама въ себѣ переноситъ. Вотъ и теперь тоскуетъ, сердечная.

— Къ чему же тосковать-то? апатично спросила Александра Пахомовна, наливая кофе.

— Какъ, къ чему, дорогая моя! Шуточное ли дѣло теперича, нужда какая!... Должишки у нихъ есть, ну платятъ по малости; въ Москву тоже посылаютъ, самимъ жить надо. Егоръ-то Егорычъ теперь уѣхалъ, когда-то еще пришлетъ денегъ — богу извѣстно, а ей вѣдь всего пятьдесятъ рублей оставилъ; выслать обѣщался, да вотъ и не пишетъ ничего, а она убивается — ужь не случилось ли чего съ нимъ недобраго?

— Ну, у Шиншѣева бы спросила, посовѣтовала тётенька.

— Да, легко сказать-то, у Шиншѣева! возразила Груня. — У него ужь и такъ они сколько жалованья-то впередъ забрали — чай,

отслуживать надо! А спросить еще — совѣстится, особливо знаши тб, какъ приставалъ-то онъ. Да и скареда же человѣкъ-то! съ негодованіемъ воскликнула дѣвушка. — Сперва этта давалъ-давалъ деньги, а теперь и прижался: пущай, молъ, сама придетъ да попроситъ; пущай, молъ, надоѣстъ нужда, такъ авось съ пути свернется. Вотъ вѣдь каково-то золото онъ! Мы хоша люди маленькіе, а тоже понимаемъ. А она къ нему — хоть умри, не пойдетъ, продолжала Груня. — Теперича, управляющій за фатеру требуетъ, сами кой-какъ перебиваемся вторую недѣлю; Егоръ Егорычъ не пишетъ: такъ она ужь, моя голубушка, серёжки бральянтовыя да брошку свою продавать хочетъ, чтобы пока-то извернуться какъ-нибудь.

При этомъ послѣднемъ извѣстіи, внезапная мысль пробѣжала по лицу Александры Пахомовны. Она въ минуту сообразила кое-что въ мысляхъ и неторопливо приступила къ новымъ маневрамъ.

— Такъ вы говорите, что она очень нуждается... Гм... это видно, что женщина должно быть хорошая, даже вчужѣ слушать-то жалко, заговорила она, съ сострадательной миной покачивая головою. — Вы говорите, что она даже вещи продавать хочетъ? продолжала тётенька. — И хорошія вещи, брильянтовыя?

Груня подтвердила свои слова и завѣрила въ достоинствѣ брильянтовъ.

— Барыня сказывала, что мало-мало рублей двѣсти за нихъ дать бы надо, сообщила она.

— Такъ-съ, утвердила тётенька. — Въ этомъ я могу, пожалуй, помочь ей.

Дѣвушка съ удивленіемъ выпучила глаза на Александру Пахомовну.

— Теперича ежели продать ихъ брильянщикамъ, продолжала эта послѣдняя: — такъ вѣдь они работы не цѣнятъ и за камень самое ничтожество даютъ вамъ. А вы вотъ что, душенька, скажите вашей барынѣ: коли она хочетъ, я могу продать ей за настоящую цѣну, потому у меня случай такой есть.

— Это точно-съ! у тётеньки — случай! поддакнулъ, крякнувъ въ рукавъ, Иванъ Ивановичъ.

— Потому какъ я состою при своей генеральшѣ въ экономкахъ, говорила тётенька: — и не столько въ экономкахъ, сколько соб-

ственно при ея особѣ, можно сказать, въ компаньонкахъ живу, такъ надо вамъ знать, что генеральша имѣетъ свои странности. Ну, вотъ просто не повѣрите, до смерти любитъ всякія драгоцѣнности и вездѣ, гдѣ только можно, скупаетъ ихъ по самой деликатной цѣнѣ, потому это она не по нуждѣ, а собственно прихоть свою тѣшитъ. Такъ если вашей барынѣ угодно будетъ, заключила Александра Пахомовна: — я могу генеральшѣ своей сегодня же сказать, и она даже, если вещи стоющія, можетъ и болѣе двухсотъ рублей дать — это ей все единственно.

Совершивъ такимъ образомъ послѣдній маневръ, тётенька успокоилась на лаврахъ, и закуря новую папироску, окончательно уже предоставила поле посторонней болтовни Ивану Ивановичу Зеленькову.

Груша въ тотъ же вечеръ передала Бероевой предложеніе зеленьковской тётьки.

VIII

Неожиданный визитъ

На другой день, около двухъ часовъ пополудни, во дворъ того дома, гдѣ обитали господинъ Зеленьковъ и Юлія Николаевна Бероева, съ грохотомъ въѣхала щегольская карета и остановилась у выхода ихъ общей лѣстницы. Ливрейный лакей поднялся вверхъ и дернулъ за звонокъ у дверей Бероевыхъ.

— Дома барыня?

— Дома.

— Скажите, что генеральша фон-Шпильце пріѣхала и желаетъ ихъ видѣть по дѣлу.

Извѣстіе это застигло Юлію Николавну въ ея маленькой, небогатой, но со вкусомъ и чистотою убранной гостиной, гдѣ она, сидя въ уголкѣ дивана, одѣтая въ простое шерстяное платье, занималась какимъ-то домашнимъ рукодѣльемъ; а у ногъ ея, на коврѣ, играли двое хорошенькихъ дѣтей. Мебель этой комнаты была обита простымъ ситцемъ; нѣсколько фотографическихъ портретовъ на стѣнахъ, нѣсколько книгъ на столѣ, горшки съ цвѣтами на

окнахъ, да піанино противъ дверей—составляли все ея убранство, на которомъ, однако, явно ложилась печать женской руки, отмѣченная чистотой и простымъ изяществомъ вкуса. Въ этой скромной домашней обстановкѣ, съ этими двумя розовыми, свѣтлоглазыми малютками у ногъ, она казалась еще прекраснѣе, еще выше и чище, чѣмъ тамъ, на раутѣ, въ пышной, фантастической обстановкѣ тропическаго сада. Мирно-свѣтлое, благоговѣйное чувство невольно охватило бы каждаго и заставило почтительно склонить голову передъ этимъ честнымъ очагомъ жены и матери. Стоило поймать только одинъ ея добрый, безконечно-любящій взглядъ на этихъ веселыхъ, плотныхъ ребятишекъ, чтобы понять, какою великою силой здоровой и страстной любви привязана она къ своему мужу, какъ гордо чтитъ она весь этотъ скромный, семейный бытъ свой, несмотря на множество скрытыхъ нуждъ, лишеній и недостатковъ матеріальныхъ. Она умѣла твердо бороться съ этими невзгодами, умѣла побѣждать ихъ и устроивать жизнь своего семейства, по возможности, безбѣдно и безпечально. Она глубоко уважала мужа за его твердость и дон-кихотскую честность. Читатель знаетъ уже нѣсколько обстоятельства Бероевыхъ изъ добродушной болтовни курносой дѣвушки Груши. Въ поясненіе мы можемъ прибавить, что Егоръ Егоровичъ Бероевъ—бывшій студентъ московскаго университета и во время оно учитель маленькихъ братьевъ Юліи Николаевны—женился на ней, не кончивъ курса, въ ту самую минуту, когда разорившагося отца ея посадили за долги въ яму, а старуха мать готова была отправиться за насущнымъ хлѣбомъ по добрымъ людямъ. Эта женитьба поддержала нѣсколько безпомощное семейство, которое перебивалось кое-какъ уроками Бероева, пока, наконецъ, онъ, по рекомендаціи одного богатаго школьнаго товарища, получилъ мѣсто по золотопромышленной части у Давыда Георгіевича Шиншѣева. Дѣлецъ онъ оказался хорошій, Давыдъ Георгіевичъ имѣлъ неоднократно случай убѣдиться въ его безкорыстной честности, и потому поручалъ ему довольно важныя части своей золотопромышленной операціи. Обязанности Бероева были такого рода, что требовали ежегодныхъ отлучекъ его въ Сибирь на промыслы, а Давыдъ Георгіевичъ, по правилу, свойственному почти всѣмъ людямъ его категоріи, эксплуатируя трудъ своего работника, попри-

держивалъ его въ черненькомъ тѣльцѣ относительно матеріальнаго вознагражденія. Онъ всегда былъ необыкновенно любезенъ съ Егоромъ Егоровичемъ, приглашалъ его къ себѣ на вечера и обѣды, самъ иногда ѣздилъ къ нему, не безъ тайныхъ, конечно, умысловъ на красоту Юліи Николаевны; но весьма туго дѣлалъ прибавки къ его жалованью, несмотря на то, что не задумался бы кинуть нѣсколько тысячъ въ вечеръ ради баронессы фон-Дёрингъ. Бероевъ же, считая вознагражденіе за свой трудъ достаточнымъ, по дон-кихотскимъ свойствамъ собственной натуры, и не помыслилъ когда либо объ умноженіи своихъ достатковъ. Жалованье его сполна уходило на нужды семейства, а такъ-какъ этихъ нуждъ было немало, то и въ кассовой книгѣ Шиншѣева значилось, что этого жалованья забрано Бероевымъ уже впередъ за три мѣсяца. Неожиданная отлучка въ Сибирь, спустя недѣлю послѣ шиншѣевскаго раута, захватила его врасплохъ, такъ что онъ могъ удѣлить только очень незначительную сумму изъ своихъ прогоновъ, надѣясь извернуться и выслать ей деньги въ самомъ скоромъ времени. Но... должно быть, изворотъ оказался неудаченъ, и Юлія Николаевна уже нѣсколько времени находилась въ весьма затруднительныхъ обстоятельствахъ, которыя, наконецъ, вынудили ее на продажу двухъ вещицъ, непочитавшихся ею необходимыми. Она искала только случая, какъ бы сбыть ихъ по возможности выгоднѣе. Въ такомъ-то положеніи застигъ ее визитъ Амаліи Потаповны фон-Шпильце.

Не успѣла она еще опомниться отъ недоумѣнія при новомъ, незнакомомъ имени и значеніи самого визита, какъ въ комнату вошла уже генеральша, въ бѣлой шляпѣ съ перьями, завернутая въ богатую турецкую шаль, съ собольей муфтой въ рукахъ, украшенныхъ кружевами и браслетами, и съ любезнымъ апломбомъ особы, знающей себѣ цѣну, поклонилась Юліѣ Николаевнѣ.

— Я слишала, ви желайтъ продать брильянты? начала она своимъ обычнымъ акцентомъ.

Юлія Николаевна вспомнила слова Груши, сообщившей ей вчера о предложеніи зеленьковской тётки, и потому отвѣчала утвердительно, прося присѣсть свою гостью.

— Могу смотрѣть ихъ? продолжала генеральша, незамѣтно оглядывая обстановку гостиной.

Бероева вынесла ей изъ спальни сафьяный футляръ съ брошемъ и серьгами.

— Ah, cela me plait beaucoup! процѣдила генеральша, любуясь игрою брильянтовъ. — Je dois vous dire, que j'ai une passion pour toutes ces bagatelles... Это ваши малютки? съ любезной нѣжностью вдругъ спросила она, дѣлая видъ, что сердечно любуется на двухъ ребятишекъ.

— Да, это мои дѣти, отвѣтила Бероева.

— Ah, quels charmants enfants, que vous avez, madame! deux petits anges!... Поди ко мнѣ, моя душинька, поди къ тётинька! маленька! нѣжно умилялась генеральша и, притянувъ въ себѣ дѣтей поцѣловала каждаго въ щеку.—O, les enfants! c'est une grande consolation! А тожь я это понимай... сама мать! покачивала головой фон-Шпильце и въ заключеніе даже глубо вздохнула.—Мнѣ нравятся ваши бездѣлушки... Я хочу купить ихъ, свернула генеральша на прежнюю колею, снова принимаясь любоваться игрою каменьевъ.— А чтà цѣна имъ? спросила она.

— Заплачены были двѣсти-восемьдесятъ, а я хотѣла бы взять хоть двѣсти, отвѣчала Бероева.

— O ce n'est pas cher! согласилась Амалія Потаповна. — Такà деньги почѐму не дать! Я буду просить васъ завтра до себя, продолжала она, возвращая футляръ вмѣстѣ съ своей карточкой, гдѣ былъ ея адресъ: — demain à deux heures, madame. Я пошлю за ювелиръ и посовѣтуюсь съ племянникомъ, а тамъ — и деньги на столъ, заключила она, любезно протягивая Бероевой руку.

Юлія Николаевна съ покойнымъ, свѣтлымъ и довольнымъ лицомъ проводила ее до прихожей, гдѣ ожидалъ генеральшу ливрейный гайдукъ съ богатой бархатной, собольей шубой.

IX

Выигранное пари

На слѣдующій день, въ назначенное время, Бероева пріѣхала къ генеральшѣ.

Петька, предувѣдомленный молодымъ Шадурскимъ, нарочно въ это самое время прохаживался тамъ мимо дома, чтобы быть сви-

дѣтелемъ ея прибытія, и видѣлъ, какъ она, распросивъ предварительно дворника, гдѣ живетъ генеральша, по его указанію, вошла въ подъѣздъ занимаемой ею квартиры. Петька все это слышалъ собственными ушами и видѣлъ собственными глазами. Теперь въ его головѣ не осталось ни малѣйшаго сомнѣнія въ существованіи связи между Бероевой и Шадурскимъ. Онъ созналъ себя побѣжденнымъ.

Лакей проводилъ Бероеву до пріемной, гдѣ ее встрѣтила горничная и отъ имени Амаліи Потаповны попросила пройдти въ будуаръ: генеральша, чувствуя себя нынче не совсѣмъ здоровой, принимаетъ тамъ своихъ посѣтителей.

«Въ будуаръ — такъ въ будуаръ; отчего жь не пройдти?» подумала Бероева и отправилась вслѣдъ за нею.

— Ахъ! я отчинь рада! поднялась генеральша. — Жду ювелиръ и племянникъ... Племянникъ въ полчаса будетъ — les affaires l'ont retenu, говорила она, усаживая Бероеву на софу, рядомъ съ собою.

— Et en attendant, nous causerons, nous prendrons du café, s'il vous plait, madame! Снимайте шля-апа! съ милой, добродушно-безцеремонной простотой предложила генеральша, дѣлая движеніе къ шляпнымъ завязкамъ Бероевой.

Юлія Николаевна уступила ея добродушнымъ просьбамъ и обнажила свою голову.

— Я эти часъ всегда пью ко-офе — vous ne refuserez pas? спросила любезная хозяйка.

Бероева отвѣтила молчаливымъ наклоненіемъ головы и генеральша, дернувъ сонетку, отдала приказаніе лакею.

Будуаръ госпожи фон-Шпильце, въ которомъ она такъ интимно на сей разъ принимала свою гостью, явно говорилъ о ея роскоши и богатствѣ. Это была довольно большая комната, раздѣленная лѣпнымъ альковомъ на двѣ половины. Мягкій персидскій коверъ разстилался во всю длину будуара, стѣны котораго, словно диванныя спинки, выпукло были обиты дорогой голубою матеріей. Голубой полусвѣтъ, пробиваясь сквозь опущенныя кружевныя занавѣси, сообщалъ необыкновенно нѣжный, воздушный оттѣнокъ лицамъ и какую-то эфирную туманность всѣмъ окружающимъ предметамъ:

этому роскошному туалету подъ кружевнымъ пологомъ, заставленному всевозможными бездѣлушками; этому огромному трюмо и всей этой покойной, мягкой, низенькой мебели, очевидно перенесенной сюда непосредственно изъ мастерской Гамбса. Въ другомъ концѣ комнаты, изъ-за полуприподнятой занавѣси алькова, привѣтно мигатъ огонекъ, въ изящномъ, мраморномъ каминѣ и выставлялась часть роскошной, пышно убранной постели. Вообще, весь этотъ богато-уютный уголокъ, казалось, естественнымъ образомъ предназначался для нѣги и наслажденій, такъ что Юлія Николаевна невольно какъ-то пришла въ нѣкоторое, минутное недоумѣніе: зачѣмъ это у такой пожилой особы, какъ генеральша фон-Шпильце, будуаръ вдругъ отдѣланъ съ восточно-французскою роскошью балетной корифейки?

Человѣкъ внесъ кофе, который былъ сервированъ нѣсколько странно, сравнительно съ обстановкой генеральши: для Амаліи Потаповны предназначалась ея обыденная чашка, отличавшаяся видомъ и вмѣстимостію; для Бероевой же — чашка обыкновенная. Когда кофе былъ выпитъ, явившійся снова лакей тотчасъ же унесъ со стола чашки.

Прошло около получаса времени — и въ будуарѣ неожиданно появился новый посѣтитель, которому немало удивилась Бероева.

Это былъ князь Владиміръ Дмитріевичъ Шадурскій.

— Меня прислалъ вашъ племянникъ, обратился онъ къ генеральшѣ, успѣвъ между тѣмъ и Бероевой поклониться, какъ знакомый. — Онъ просилъ меня заѣхать и передать вамъ, что непремѣнно пріѣдетъ черезъ полчаса — никакъ не позже...

— Il ne sait rien, soyez tranquille, успѣла шепнуть генеральша Бероевой.

— Вы мнѣ позволите немного отдохнуть? продолжалъ Шадурскій, опускаясь въ кресло и вынимая изъ золотаго порт-сигара тоненькую, миніатюрную папироску. Генеральша подвинула ему японскаго болванчика со спичками.

Князь Владиміръ курилъ и болталъ что-то о новомъ балетѣ Сен-Леона и новой собакѣ князя Черносельскаго, но во всей этой болтовнѣ примѣтно было только желаніе наполнить какими-нибудь звуками пустоту тяжелаго молчанія, которую естественно рождало натянутое положеніе Бероевой. Амалія Потаповна старалась, по воз-

можности, оживленно поддакивать князю Владиміру, который съ каждой минутой очевидно усиливался выискивать новые мотивы для своей бесѣды. Генеральша не переставала улыбаться и кивать головою, только при этомъ поминутно кидала украдкой взоры на лицо Бероевой.

— Что это, какъ у меня щоки разгорѣлись, однако? замѣтила Юлія Николаевна, прикладывая руку къ своему лицу.

— Отъ воздуху, успокоительно пояснила генеральша, и бросила на нее новый наблюдательный взглядъ.

— Ваше превосходительство, васъ просятъ... на минутку! почтительно выставилась изъ-за двери физіономія генеральской горничной.

— Что̀ тамъ еще? съ неудовольствіемъ обернулась Амалія Потаповна.

— Н...надо... тамъ дѣло, съ улыбкой затруднилась горничная.

— Pardon! пожала плечами генеральша, подымаясь съ мѣста:— je vous quitte pour un moment... Pardon, madame! повторила она снова, обращаясь къ Бероевой, и удалилась изъ комнаты, мимоходомъ, почти машинально, притворивъ за собою двери.

Князь продолжалъ болтать, но Бероева не слышала и не понимала, что̀ говоритъ онъ. Съ нею дѣлалось что-то странное. Щоки горѣли необыкновенно яркимъ румянцемъ; ноздри расширились и нервно вздрагивали, какъ у молодой дикой лошади подъ арканомъ; всегда свѣтло-спокойные, голубые глаза вдругъ засверкали какимъ-то фосфорическимъ блескомъ и орбиты ихъ то увеличивались, то смыкались, на мгновеніе заволакивая взоры истомной, туманной влагой, чтобы тотчасъ же взорамъ этимъ вспыхнуть еще съ большею силой. Въ этихъ чудныхъ глазахъ свѣтилось теперь что-то вакхическое. Изъ полураскрытыхъ, воспаленно-пересохшихъ губъ съ трудомъ вылетало порывистое, жаркое дыханіе: его какъ будто захватывало въ груди, гдѣ такъ сильно стучало и съ такимъ щекотнымъ ощущеніемъ замирало сердце. Съ каждымъ мгновеніемъ эта экзальтація становилась сильнѣе, сильнѣе — и въ нѣсколько минутъ передъ Шадурскимъ очутилась какъ будто совсѣмъ другая женщина. Отъ порывистыхъ, безотчетныхъ метаній головой и ру-

ками, волоса ея пришли въ безпорядокъ и тѣмъ еще болѣе придали красотѣ ея сладострастный оттѣнокъ. Она хотѣла подняться, встать— но какая-то обаятельная истома приковывала ее къ одному мѣсту; хотѣла говорить — языкъ и губы не повиновались ей болѣе. Въ послѣдній разъ смутно-мелькнувшее сознаніе заставило ее обвести глазами всю комнату: она какъ-будто искала генеральшу, искала ея помощи и къ то же самое время ей почему-то безотчетно хотѣлось, чтобы ее не было, чтобъ она не приходила. И точно: генеральша не показывалась больше. Одинъ только Шадурскій, переставшій уже болтать, глядѣлъ на нее во всѣ глаза и, казалось, диллетантски любовался на эту опьяняющую, чувственную красоту.

Но вотъ онъ поднялся со своего кресла и пересѣлъ на диванъ, рядомъ съ Бероевой. По жиламъ ея пробѣгало какое-то адское пламя, передъ глазами ходили зелёно-огневые круги, въ ушахъ звенѣло, височныя, голубоватыя жилки наливались кровью и нервическая дрожь колотила всѣ члены.

Онъ взялъ ее за руку—и въ этотъ самый мигъ, отъ одного этого магнетическаго прикосновенія — жгучая, бѣшеная страсть заклокотала во всемъ ея тѣлѣ. Минута — и она, забывъ стыдъ, забывъ свою женскую гордость, и внѣ себя, конвульсивно сцѣпивъ свои жемчужные зубы, съ какимъ-то истомно-замирающимъ воплемъ, сама потянулась въ его объятія...

Долго длился у нея этотъ экстазъ, и долго смутно ощущала и смутно видѣла она, словно въ чаду, черты Шадурскаго, пока наконецъ глубокій, обморочный сонъ оковалъ ея члены.

Въ тотъ же самый вечеръ, проигравшій пари свое Петька угощалъ Шадурскаго ужиномъ у Дюссо и, съ циническимъ ослабленіемъ слушая столь же циническій разсказъ молодого князя, провозглашалъ тостъ за успѣхъ его побѣды.

X

Счастливый исходъ

Было семь часовъ вечера, когда Бероева очнулась. Она раскрыла глаза и съ удивленіемъ обвела ими всю комнату: комната знакомая — ея собственная спальня. У кровати стоялъ какой-то низенькаго роста пожилой господинъ еврейскаго типа, въ черномъ фракѣ и золотыхъ очкахъ, сквозь стекла которыхъ внимательно глядѣли впалые, умные глаза, устремленные на минутную стрѣлку карманныхъ часовъ, что̀ держалъ онъ въ лѣвой рукѣ, тогда какъ правая щупала пульсъ паціентки. Ночной столикъ былъ заставленъ нѣсколькими пузырьками съ разными медицинскими средствами, которыя докторъ, очевидно, привезъ съ собою, на что указывала стоявшая тутъ же домашняя аптечка.

— Что̀ жь это, сонъ? съ трудомъ проговорила больная.

Докторъ вздрогнулъ.

— А!... наконецъ-то подѣйствовало!... очнулась! прошепталъ онъ.

— Кто здѣсь? спросила Бероева.

— Докторъ, отвѣчалъ господинъ въ золотыхъ очкахъ: — только успокойтесь, бога-ради, не говорите пока еще... Вотъ я вамъ дамъ сейчасъ успокоительнаго — тогда мы поболтаемъ.

И съ этими словами, онъ налилъ въ рюмку воды нѣсколько капель изъ пузырька, и съ ободрительной улыбкой подалъ ихъ паціенткѣ. Прошло минутъ десять послѣ пріема. Нормальное спокойствіе понемногу возвращалось къ больной.

— Какъ же это я здѣсь? спросила она, припоминая и соображая что-то: — вѣдь, кажется, я была...

— Да, вы были у генеральши фон-Шпильце, перебилъ ее докторъ: — я и привезъ васъ оттуда въ каретѣ, вмѣстѣ съ двумя людьми ея. Бѣдная старушка, она ужасно перетрусила, замѣтилъ онъ съ спокойною улыбкой.

— Скажите, что̀ же было со мною? Я ничего не помню, проговорила она, приходя въ нервную напряженность при смутномъ воспоминаніи случившагося.

— Во-первыхъ, успокойтесь, или вы повредите себѣ, отвѣчалъ докторъ: — а во-вторыхъ — съ вами былъ обморокъ, и довольно сильный, довольно продолжительный. Мнѣ говорила генеральша, продолжалъ онъ разсказывать: — что она едва на пять минутъ вышла изъ комнаты, какъ ужь нашла васъ безъ чувствъ. Ну, конечно, сейчасъ за мною — я ея домашній докторъ — долго ничего не могли сдѣлать съ вами, наконецъ заложили карету и перевезли васъ домой — вотъ и все пока.

— Вы говорите, что только на пять минутъ уходила? переспросила больная.

— Да, не болѣе, а воротясь нашла васъ уже въ обморокѣ, подтвердилъ докторъ.

— Стало-быть, это сонъ былъ, прошептала она.

— Какой сонъ... не знаю, не помню... только страшный, ужасный сонъ.

— Гм... Странно... Какой же сонъ? глубокомысленно раздумывалъ докторъ. — Вы хорошо ли это помните?

— Не помню; но знаю, что было что-то — на яву ли, во снѣ ли — только было...

— Гм... Вы не подвержены ли галлюцинаціямъ? или эпилепсіи? медицински допрашивалъ онъ.

Больная пожала плечами.

— Не знаю; до сихъ поръ, кажется, не была подвержена.

— Ну, можетъ быть, теперь, вслѣдствіе какихъ-нибудь предрасполагающихъ причинъ... Все это возможно. Но только, если вы помните, что былъ какой-то сонъ, то это навѣрное галлюцинація, съ видомъ непогрѣшимаго авторитета заключилъ докторъ.

«Сонъ... Галлюцинація—слава-богу!» успокоенно подумала Юлія Николаевна, и попросила доктора кликнуть дѣвушку, чтобы освѣдомиться про дѣтей.

Вошла Груша и вынула изъ кармана почтамтскую повѣстку.

— Почтальонъ приносилъ, надо быть съ почты, пояснила она, хотя это и безъ поясненія было совершенно ясно.

Юлія Николаевна слабою рукою развернула бумагу, и прочитала извѣщеніе о присылкѣ на ея имя тысячи рублей серебромъ.

— Отъ мужа... Слава тебѣ господи! радостно проговорила она:— теперь я совершенно спокойна.

— Однако, дней пять-шесть вы должны полежать въ постели, методически замѣтилъ докторъ, убравъ свою аптечку и берясь за шляпу. — Тутъ вотъ оставлены вамъ капли, которыя вы попьете, а мы васъ полечимъ, и вы встанете совсѣмъ здоровой, продолжалъ онъ: — а пока — до завтра прощайте.

И низенькій человѣчекъ отиланялся съ докторски-солидною любезностью, какъ подобаетъ истинному сыну Эскулапа.

— Въ Морскую! крикнулъ онъ извощику, выйдя за ворота — и покатилъ къ генеральшѣ фон-Шпильце.

— Nun, was sagen sie doch, Herr Katzel? совершенно спокойно спросила его Амалія Потаповна.

— О, вполнѣ удачно! могу поздравить съ счастливымъ исходомъ, сообщилъ самодовольный сынъ Эскулапа.

— Она помнитъ?

— Мм... немножко... Впрочемъ, благодаря мнѣ, убѣждена, что все это сонъ, галлюцинація.

— S'gu-ut, S'gu-ut! протянула генеральша, съ поощрительной улыбкой, словно котъ прищуривая глазки.

— Ну-съ?! рѣшительно и настойчиво приступилъ межъ тѣмъ Герр-Катцель, отдавъ короткій поклонъ за ея поощреніе.

Амалія Потаповна, какъ нельзя лучше поняла значеніе этого выразительнаго «ну-съ», и опустила руку въ карманъ своего платья.

— Auf Wiedersehen! поклонилась она, подавая доктору кулакъ для потрясенія, послѣ котораго тотъ ощутилъ въ пальцахъ своихъ шелестъ государственной депозитки.

Амалія Потаповна поклонилась снова, и торопливой походкой стала удаляться изъ залы. Сынъ Эскулапа еще торопливѣе развернулъ врученную ему бумажку: оказалась радужная.

— Эй, ваше превосходительство! пожалуйте-ка сюда! закричалъ онъ въ догонку.

Генеральша вернулась, вытянувъ шею и лицо съ любопытно-серьёзнымъ выраженіемъ.

— Это что̀ такое? вопросилъ Герр-Катцель, приближая денозитку къ ея физіономіи.

— Это?—сто! отвѣчала она, съ такимъ наивно-невиннымъ видомъ, который ясно говорилъ: что̀ это, батюшка, какъ будто самъ ты не видишь?

— А мнѣ, полагаете вы, слѣдуетъ сто?

— Ja, ich glaube, «сто».

— А я полагаю—триста.

— Зачѣмъ такъ?! встрепенулась Амалія Потаповна.

— А вотъ зачѣмъ, принялся онъ отсчитывать по пальцамъ: сто за составленіе тинктуры, сто за поданіе медицинской помощи, да сто за знакомство съ вами, то-есть мою всегдашнюю долю, по старому условію.

Генеральша поморщилась, вздохнула отъ глубины души, и молча достала свое портмонне, изъ котораго еще двѣ радужныя безвозвратно перешли въ жилетный карманъ Эскулапа.

— Вотъ теперь такъ! и я могу сказать auf Wiedersehen! съ улыбкой проговорилъ Герр-Катцель и, поправляя свои золотые очки, удалился изъ залы.

XI

Два невинные подарка

Докторъ Катцель, нѣсколько дней сряду навѣщавшій Бероеву, нашелъ наконецъ, что она поправилась и можетъ встать съ постели. Хотя Юлія Николаевна чувствовала нѣкоторую слабость въ ногахъ и повременамъ небольшую дрожь въ колѣняхъ, но докторъ Катцель увѣрилъ ее, что это ничего не значитъ, ибо есть прямое, нормальное слѣдстіе бывшаго съ нею припадка, которое пройдетъ своевременно, послѣ чего ощутивъ въ рукѣ пріятное шуршаніе десятирублевой бумажки, онъ откланялся съ обычной докторски-солидной любезностью.

Позволеніе встать съ постели пришлось какъ нельзя болѣе кстати для Юліи Николаевны: это былъ день рожденія ея дочки. Прежде всего она одѣлась и поѣхала въ почтамтъ — получить присланныя

деньги. Мужъ писалъ ей, что оборотъ, который онъ предполагалъ сдѣлать, удался совершенно и вслѣдствіе этого, высылаются деньги; что вскорѣ и еще будетъ выслана нѣкоторая сумма, ибо промысловыя дѣла идутъ отлично, а съ весной, на самыхъ пріискахъ, есть надежда пойдти имъ еще лучше. Все это могло задержать Бероева на неопредѣленное время и поэтому онъ полагалъ, что вернется едва-ли ранѣе семи-осьми мѣсяцевъ.

— Лиза, что тебѣ подарить сегодня? приласкала Бероева дочку, возвратясь изъ гостинаго двора съ цѣлымъ ворохомъ разныхъ покупокъ.

— Что хочешь, мама, отвѣчала дѣвочка, кидая взглядъ на магазинные свертки, откуда, между прочимъ, заманчиво торчали ножки разодѣтой лайковой куклы.

— Я тебѣ съ братишкой привезла гостинецъ, по игрушкѣ купила, съ тихой любовью продолжала болтать она, лаская обоихъ ребятишекъ.—Отецъ цалуетъ васъ и пишетъ, чтобы я тебѣ, Лиза, для рожденія, подарила что-нибудь!—Чего ты хочешь?

— Не знаю, застѣнчиво сказала дѣвочка, кидая новый взглядъ на соблазнительные свертки.

— Видишь-ли что, говорила Юлія Николаевна:—ты теперь дѣвочка большая, умница, тебѣ уже пять лѣтъ сегодня минуло. Я для тебя хочу сдѣлать особенный подарокъ.

— Какой же, мама? любопытно подняла на нее Лиза свои большіе свѣтлые глазенки.

— А вотъ постой, увидишь. Когда я сама была маленькой дѣвочкой и когда мнѣ, точно такъ какъ тебѣ, минуло пять лѣтъ, такъ пана съ мамой подарили мнѣ старый - престарый серебряный рубль. Онъ и до сихъ поръ еще цѣлъ у меня. Подай мнѣ вонъ ту шкатулочку съ туалета...

Дѣти бросились за маленькой, палисандровой шкатулкой.

— Вотъ видишь ли, какой онъ старый, продолжала Бероева, показывая большую серебряную монету еще петровскаго чекана:—старѣе тебя и меня, старѣе бабушки съ дѣдушкой, да и прадѣдушки вашего старѣе: этому рублю сто-пятьдесятъ-два года—видишь ли, какой онъ старикъ!—Такъ вотъ, я теперь дарю его тебѣ.

Лиза обвила пухлыми ручонками ея шею и принялась крѣпко ца-

ловать все лицо: носъ, ротъ, глаза, подбородокъ и щоки, какъ обыкновенно любятъ выцаловывать дѣти.

Она была въ восторгѣ отъ подарка, цѣлый день не выпускала его изъ рукъ; ночью положила съ собою спать подъ подушку, рядомъ съ новою куклой, и только на другой день, къ вечеру, спрятала въ свою собственную шкатулку—на память.

Прошло около двухъ мѣсяцевъ со дня внезапной болѣзни Бероевой. Семейная жизнь ея текла мирно и тихо, въ своемъ укромномъ углу, среди занятій съ дѣтьми, кой-какого рукодѣлья да книгъ съ нотами. Почти нигдѣ не бывая и почти никого не принимая къ себѣ, она жила какою то вольной затворницей, переписывалась съ мужемъ да московскими родными, и была совершенно счастлива въ этомъ ничѣмъ несмущаемомъ свѣтломъ покоѣ, словно улитка въ своей скорлупкѣ. Одно только, что̀ изрѣдко тревожило ее, это — воспоминаніе о внезапномъ припадкѣ у генеральши фон-Шпильце, воспоминаніе, которое всегда ставило ее втупикъ и поселяло страхъ: что̀, если начало этой болѣзни, этихъ галлюцинацій есть уже у нея въ организмѣ и разовьется впослѣдствіи до серьёзныхъ размѣровъ. Бероева была убѣждена, что это — галлюцинація. Мужу она ничего не написала пока о случившемся, зная, что это его будетъ постоянно грызть и тревожить.

Между тѣмъ къ концу второго мѣсяца ее подстерегалъ страшный, неожиданный ударъ: она явно почувствовала и явно убѣдилась, что припадокъ не былъ галлюцинаціей, что все испытанное ею и казавшееся сномъ была голая дѣйствительность, дѣло гнуснаго обмана, коварная ловушка, западня, въ которую, когда потребуется, ловила честныхъ женщинъ генеральша фон-Шпильце. Въ ней поселилось теперь твердое убѣжденіе, что это такъ, хотя существенныхъ доказательствъ она никакихъ не имѣла и не могла разгадать всѣхъ нитей и пружинъ этой дьявольской интриги. Бероева почувствовала себя беременною. Горе, стыдъ, оскорбленіе женскаго достоинства и ненависть за поруганіе ея лучшихъ, святыхъ отношеній — одновременно закипѣли въ ея сердцѣ.

«А если она невиновата, если я сама причиной всему, если во

мнѣ самой загорѣлось тогда это гнусное желаніе», думала иногда Бероева, и эта мысль только усиливала ея безъисходное горе. Были минуты, когда она ненавидѣла и презирала самоё себя, обвиняя только себя во всемъ случившемся. И это естественно — потому что, не имѣя никакого понятія о трущобахъ подобнаго рода и агентствахъ добродѣтельной генеральши, ей и въ голову не могъ придти заранѣе обдуманный планъ: назначеніе господина Зеленькова, счастливая мысль мнимой тётушки Александры Пахомовны и все прочее, что̀ послужило къ осуществленію прихоти молодаго князя. Она была слишкомъ хорошій и честный человѣкъ, для того, чтобы допустить явную, неопровержимую возможность такого чернаго дѣла. И вотъ эта-то двойственность въ предположеніяхъ: то обвиненіе себя самой, то подозрѣніе на генеральшу и князя — мучили ее нестерпимо. И между тѣмъ она должна была терпѣть, молчать и таиться. Образъ мужа и эти веселыя дѣти стали для нея какимъ-то урокомъ; чѣмъ нѣжнѣй были письма Бероева, чѣмъ веселѣй и счастливѣе ласки ребятишекъ, тѣмъ больше и больнѣе давилъ ее этотъ укоръ, хотя и сама себѣ она не могла дать вѣрнаго отчета: что̀ именно это за укоръ и почему онъ ее донимаетъ?

«Какъ быть? открыться ли мужу»? приходило ей въ голову — «открыться, когда сама не знаешь и не помнишь и не понимаешь, какъ было дѣло — какой дать ему отвѣтъ на это? себя ли винить, или другихъ? Поселить въ немъ сомнѣніе, быть можетъ, убить вѣру въ нее, въ жену свою, отравить любовь, подорвать семейныя отношенія, и наконецъ — этотъ будущій ребёнокъ, если онъ останется живъ — чѣмъ онъ будетъ въ семьѣ? какими глазами станетъ глядѣть на него мужъ, который не будетъ любить его? И какъ взглянутъ на нее самоё законныя дѣти, когда выростутъ на столько, что станутъ понимать вещи»? — Вотъ вопросы, которые неотступно грызли и сосали несчастную женщину. Наконецъ—худо ли, хорошо ли — она рѣшилась скрывать, скрывать отъ всѣхъ и прежде всего отъ мужа. — «Пусть будетъ, что будетъ», рѣшила Бероева: «а будетъ такъ, какъ захочетъ случай. Если откроется все и онъ узнаетъ — пусть узнаётъ и поступаетъ какъ ему угодно, но я сама не сдѣлаю перваго шага, не напишу и не скажу ни слова».

Таково было ея рѣшеніе, которое не покажется страннымъ, если вспомнить сильную, страстную любовь этой женщины къ мужу и боязнь поколебать ее какимъ бы то ни было сомнѣніемъ, если вспомнить, что у нея были дѣти, для счастія которыхъ она считала необходимою эту полную, взаимно-вѣрующую и взаимно-уважающую любовь. Она предпочла лучше мучиться одна, но не отравлять, быть можетъ, мученіями его жизни. Она рѣшилась лучше скрыть, то-есть обмануть, лишь бы не поколебать свое семейное счастье. Изъ-за одной уже этой боязни у нея нехватало духу и энергіи открыть мужу то, что для нее самой было темной и сбивчивой загадкой. Въ этомъ случаѣ Бероева поступила какъ эгоистка, но эгоизмъ такой сильно любящей женщины и понятенъ и простителенъ.

«А если и откроется — божья воля — все же не черезъ меня», порѣшила она, и все-таки продолжала втайнѣ ждать, страдать и сомнѣваться.

XII

Практическіе дѣятели

Читатель вѣрно не забылъ еще обѣщанія княгини Шадурской относительно десяти тысячъ, которыя такъ безкорыстно и самоотверженно посулила она Бодлевскому на раутѣ у Шиншѣева. Мы должны сообщить, что посулъ этотъ не остался однимъ посуломъ. На другой день Татьяна Львовна нарочно проснулась ранѣе обыкновеннаго, то-есть неслыханно рано — въ восемь часовъ утра; тотчасъ же послала за управляющимъ, подробно справилась у него о состояніи своихъ собственныхъ (не общихъ съ мужемъ) фондовъ и приказала непремѣнно доставить ей десять тысячъ къ часу пополудни. Управляющій поморщился, озабоченно почесалъ у себя за ухомъ, однако обѣщалъ исполнить.

Въ домѣ, который занимала генеральша фон-Шпильце, нижній этажъ отдавался подъ магазины. Въ одномъ изъ помѣщеній этого этажа находился магазинъ модный, подъ какою-то французскою фирмой. Зеркальныя окна, изящные станки для платьевъ, манто и

шляпокъ, изящные шкафы дубоваго дерева и всегда изящно-наряженныя мастерицы представляли взорамъ посѣтителя весьма пріятную и привлекательную картину. Не будучи компетентными судьями въ тонкостяхъ женскихъ нарядовъ, мы не можемъ сказать, что именно привлекало сюда заказчиковъ и заказчицъ, особенно послѣднихъ; но судя по тому, что передъ подъѣздомъ этого магазина весьма часто останавливались довольно богатые экипажи, изъ которыхъ выпархивали любительницы нарядовъ — и пожилыя, и молодыя, мы можемъ предположить, что, вѣроятно, магазинъ этотъ удовлетворялъ ихъ вкусамъ и потребностямъ.

Нѣкоторые утверждали, что содержитъ его все та же самая неизмѣнная и достолюбезная генеральша, но содержитъ не офиціально, а на имя какой-то вышедшей изъ привлекательныхъ лѣтъ француженки, которая, состоя на лицо, заправляла дѣлами магазина.

Не беремся опять-таки судить — на сколько это достовѣрно, хотя и не можемъ не замѣтить, что въ этомъ предположеніи заключается нѣкоторая доля истины, если принять во вниманіе, во-первыхъ, то обстоятельство, что изъ домашнихъ комнатъ магазина была продѣлана дверь на вторую лѣстницу генеральши, не на ту, гдѣ помѣщался швейцаръ и экзоты, а на ту, которая вела во второе и уже извѣстное читателю отдѣленіе генеральской квартиры, съ болѣе индустріально-комфортабельнымъ характеромъ. Во вторыхъ, предположеніе о прикосновенности m-me фон-Шпильце къ магазину получало еще нѣкоторую достовѣрность и отъ того, что вышедшая изъ привлекательныхъ лѣтъ француженка занимала два аппартамента во второй квартирѣ генеральши. Вѣроятно, особѣ этой было вредно часто спускаться и подыматься по лѣстницѣ, потому что нѣкоторыя заказчицы, желая переговарить о фасонахъ и отдѣлкахъ или расплатиться по счету, просили обыкновенно дежурную мастерицу проводить ихъ къ m-me Фанни.

Такъ поступила на сей разъ и Татьяна Львовна, пріѣхавшая въ условный часъ съ обѣщанною суммой. Бодлевскій уже дожидался ее въ отдѣльномъ кабинетѣ. Она сполна вручила ему привезенныя деньги и только нѣжно просила при этомъ не манкировать впредь ихъ свиданіями изъ-за такихъ пустяковъ, какъ карточный проигрышъ, котораго въ сущности и не воображалъ дѣлать Бодлевскій.

Бѣдная Діана! она любила самоотверженно, пылко и боязливо, со страхомъ потерять взаимность, и потому приносила даже капитальныя жертвы. Такова, между прочимъ, всегда бываетъ любовь преклонныхъ женщинъ. Послѣдняя любовь пожилой красавицы и первая любовь семнадцатилѣтней дѣвушки — двѣ разительныя крайности, которыя, однако, сходятся между собою въ этомъ пылкомъ самоотверженіи, съ тою, впрочемъ, маленькой разницей, что тамъ самоотверженіе и жертвы — моральныя, а здѣсь онѣ — чисто матеріальны, и по большей части касаются «презрѣннаго, но благороднаго металла».

Ощупавъ полновѣсную пачку въ своемъ боковомъ карманѣ, Бодлевскій въ тотъ же день приступилъ къ необходимымъ операціямъ. Онъ нашелъ большую и прекрасно мёблированную квартиру въ Моховой улицѣ, съ двумя отдѣльными ходами — для себя и для баронесы, куда перебрался съ нею въ тотъ же вечеръ, ибо проживаніе въ отелѣ Демута, гдѣ два нумера обходились имъ шесть рублей въ сутки, было весьма накладно. Деньги Шадурской пришлись теперь, какъ нельзя болѣе кстати: фонды ихъ находились въ столь плохомъ состояніи, что дажѣ тѣ девятьсотъ-тридцать рублей, которые баронеса выиграла въ «четъ-нечетъ» у двухъ старцевъ на желѣзной дорогѣ, были уже на исходѣ. Теперь, съ переѣздомъ на приличную, независимую квартиру, да съ такимъ кушемъ въ запасѣ — можно было приняться за дѣла на широкую ногу.

На другой день, Сергѣй Антоновичъ Ковровъ привезъ къ Бодлевскому графа Каллаша.

— Вы, господа, еще незнакомы — такъ прошу познакомиться: дольщики и ассоціаторы должны быть вполнѣ извѣстны другъ другу, говорилъ Ковровъ, рекомендуя одного другому.

— Очень пріятно, отвѣчалъ венгерскій графъ, и, къ удивленію Бодлевскаго, порусски: — очень пріятно! Я уже имѣлъ честь слышать о васъ неоднократно... Вѣдь у васъ, кажется, дѣло было въ Парижѣ по части фальшивыхъ ассигнацій?

— О, нѣтъ, Вы ошибаетесь, любезный графъ, возразилъ съ пріятною улыбкой Бодлевскій. — Дѣло это не стоитъ ни малѣйшаго вниманія — такъ себѣ, ничтожный подлогъ, да и притомъ же оно

тотчасъ позабылось, такъ-какъ я не пожелалъ присутствовать въ ассизномъ судѣ.

— А предпочелъ отвояжировать въ Россію — это такъ, это вѣрно! вклеилъ свое замѣчаніе Сергѣй Антоновичъ.

— Вообще, если у меня и случались въ жизни маленькія непріятныя столкновенія, такъ это именно больше по части подлоговъ... Есть, знаете, у каждаго свой камень претиновенія, говорилъ Бодлевскій, не обративъ большого вниманія на ковровскую вклейку. — А у васъ, отнесся онъ съ польской любезностью къ графу: — если не ошибаюсь — по части векселей...

— Ошибаетесь! безцеремонно перебилъ его графъ.—У меня было разное. А впрочемъ, я не люблю говорить объ этомъ!

— Равно, какъ и дѣлать? улыбнулся Бодлевскій.

Графъ пристально посмотрѣлъ ему въ глаза.

— Да, равно какъ и дѣлать, потому что я презираю все это, твердо сказалъ онъ.

— Ба!... Рисуетесь, милый графъ, рисуетесь! лукаво кивнулъ Бодлевскій:—презирали бы, такъ не были бы въ нашей ассоціаціи.

— Это двѣ вещи совершенно розныя, скороговоркой и какъ-бы про себя, процѣдилъ графъ Каллашъ.

— Ну, этого я, признаюсь, не понимаю!

— Ахъ, другъ ты мой любезный! пожалъ плечами Сергѣй Антоновичъ, беря обоихъ за руки:—да если намъ нельзя иначе! Пойми ты: вѣдь надо же поддерживать честь своей фамиліи! Вѣдь онъ— графъ Каллашъ!

— А это настоящая фамилія графа? освѣдомился Бодлевскій.

— Въ настоящую минуту—настоящая, холодно и раздѣльно отчеканилъ графъ:—а что касается до прошлой, прибавилъ онъ:— то ни вамъ, ни ему, ни мнѣ самому знать ее не слѣдуетъ.

— А! это дѣло десятаго рода! почтительнымъ склоненіемъ головы удовлетворился Бодлевскій.

— Вообще, господа, мы собрались сюда не для того, чтобы экзаменоваться и хвалить личныя качества другъ друга, замѣтилъ графъ Каллашъ.—Я по крайней-мѣрѣ, полагалъ, что ѣду къ m-sieur Карозичу для переговоровъ и условій по общему дѣлу... Я полагаю, заключилъ онъ, вставая съ мѣста:—что пора обдумать нашъ

проектъ и потому желалъ бы видѣть баронесу фон-Дёрингъ.

— Баронеса сейчасъ выйдетъ, предупредилъ Бодлевскій и торопливо направился на ея половину.

По первому взгляду казалось, и онъ на графа и графъ на него произвели не совсѣмъ-то выгодное впечатлѣніе. Но что до личныхъ впечатлѣній тамъ, гдѣ въ виду общій интересъ всей ассоціаціи?

Черезъ пять минутъ вышла баронеса—и ассоціаторы открыли совѣщаніе о предстоящемъ выгодномъ дѣлѣ.

XIII

Исповѣдникъ

— Вы не слыхали père Вильмена?

— O, quel beau style! quelle éloquence quelle extase!

— Vraiment, cet homme est doué du feu sacré!

— Поѣдемте слушать Вильмена!

— Но вѣдь надо рано вставать для этого?

— Ну, вотъ! ужь будто нельзя поспѣть къ двѣнадцати часамъ!

— До что дѣлать тамъ?

— Какъ что? Помилуйте! слушать, наслаждаться, prendre des lecons de morale et de religion! И вы еще спрашиваете, «что дѣлать»!

— Но вѣдь мы не католики...

— O, какой вздоръ! Это ничего не значитъ—Dieu est seul partout et pour tous; et de plus tous les notres y sont, почти весь beau monde бываетъ... C'est à la mode enfin!

— A! это дѣло другое! поѣдемъ, поѣдемъ непремѣнно!

— Ну, что, какъ вамъ понравился Вильменъ?

— Oh, superbe, charmant! nous sommes toutes enchanteès! и т. д. и т. д.

Таковъ былъ перекрестный огонь восторговъ, вопросовъ, аханья и замѣчаній, которыя съ нѣкотораго времени волновали петербургскій beau-monde. Россійскія дамы православнаго вѣроисповѣданія, обыкновенно почивавшіе сладкимъ и безмятежнымъ сномъ во время своей собственной обѣдни, наперерывъ спѣшили теперь вмѣстѣ съ петербургскими католичками слушать элоквенцію père Вильмена. И

точно: слушали и умилялись. Хотя père Вильменъ, случалось, ораторствовалъ почти по два битыхъ часа, но дамы все-таки слушали и умилялись или, по крайней-мѣрѣ, старались достойнымъ образомъ изображать видъ сердечнаго умиленія. То-то была выставка благочестивыхъ, восторженныхъ, кокетливо-тронутыхъ экспресій лицъ и утреннихъ нарядовъ! Діагональный ли столбъ солнечнаго свѣта, падавшій изъ купола во внутрь прохладнаго храма; густые ли звуки органныхъ аккордовъ, сливавшіеся съ звучными голосами пѣвцовъ итальянской оперы, производили на православныхъ петербургскихъ дамъ такое умиленіе, или же умилялись онѣ просто потому, что такъ слѣдуетъ, потому что «cela était à la mode?» — навѣрное не знаемъ, но полагаемъ, что послѣднее предположеніе имѣетъ на своей сторонѣ бо́льшую долю вѣроятія и даже истины.

Когда père Вильменъ, смиренно опустя очи долу и сложивъ на груди свои руки, пробирался къ каѳедрѣ—выраженіе его физіономіи носило разительную печать іезуитизма: оно такъ и напоминало собою одну изъ гравюръ Каульбаха къ гётевскому «Reineke-Fuchs», на которой сей знаменитый Рейнеке изображенъ въ ту минуту, какъ въ іезуитскомъ костюмѣ и въ смиренномудрой позѣ изволитъ выслушивать отъ пѣтуха-прокурора формальное чтеніе своего приговора. Но войдя на каѳедру, père Вильменъ преображался. Когда ощутивши достаточную дозу экстаза, онъ кидалъ громы своего краснорѣчія — обликъ его принималъ совсѣмъ иной характеръ: онъ напоминалъ собою грозно-вдохновенный, сурово-фанатическій ликъ Савонаролы. Жесты его принимали величественность паѳоса, черные глаза какъ-то углублялись и метали искры, а громкія французскія фразы лились неудержимо-театральнымъ потокомъ.

И дамы плакали и умилялись.

За то по окончаніи проповѣди и службы, или въ свѣтской гостиной—съ père Вильменомъ совершалась новая метаморфоза. Здѣсь какъ-то сами собою проступала на первый планъ его умѣренная толстота, съ маленькимъ, но солиднымъ брюшкомъ пятидесятилѣтняго человѣка; и плавную, изящную рѣчь его, всегда сопровождала методическая понюшка душистаго табаку «гарé», и самая благодушная улыбка. Онъ такъ и напоминалъ собою блаженной памяти придворныхъ французскихъ аббатовъ XVIII вѣка. Такъ и казалось,

что вотъ-вотъ возьметъ онъ флейту, сядетъ къ пюпитру, и разыграетъ арію моцартовскаго Дон-Жуана или изъ «Волшебной флейты»; или продекламируетъ отрывокъ изъ Расина, а не то—пожалуй, подъ шумокъ, съ самымъ добродушнымъ видомъ, разскажетъ вамъ нѣчто во вкусѣ Лакло и Кребилльона-сына.

Почтенный père Вильменъ считался въ Петербургѣ лицомъ временно-пріѣзжимъ. У него былъ какой-то ничтожный, офиціальный предлогъ, который именно и послужилъ ему причиной пріѣзда въ Россію; но нѣкоторыя лица петербургскаго католическаго духовенства не совсѣмъ-то его долюбливали, и особеннаго благорасположенія сему патеру не выказывали: ибо, помимо офиціальной его причины, провидѣли иную, постороннюю цѣль его пребыванія въ Петербургѣ. Они подозрѣвали въ добродѣтельномъ père Вильменѣ тайнаго іезуитскаго агента.

Лица эти основали частію свои соображенія и на томъ еще обстоятельствѣ, что père Вильменъ явился въ Россію не одинъ, а со своимъ слугой, который часто показывался вмѣстѣ съ нимъ тамъ, гдѣ по всѣмъ житейскимъ соображеніямъ, въ слугѣ не было ни малѣйшей надобности: онъ сопровождалъ его и въ церковь, и въ консисторію, и въ коллегію — словомъ, почти повсюду, куда офиціально показывался père Вильменъ. Даже и въ неофиціальныхъ посѣщеніяхъ нѣкоторыхъ свѣтскихъ гостиныхъ, этотъ слуга каждый разъ старался втереться въ прихожую. Такое ревностное хожденіе, повидимому, безъ всякой нужды, за своимъ господиномъ и подало поводъ къ догадкѣ о тайной, іезуитской миссіи père Вильмена—ибо извѣстно, что братіямъ приснодостойнаго ордена Лойолы никогда не дается одиночныхъ, самостоятельныхъ порученій: въ каждую миссію ихъ отправляютъ непремѣнно по трое, дабы они наблюдали и выслѣживали дѣйствія другъ друга, о которыхъ своевременно дѣлали бы тайныя, шпіонскія донесенія своей орденской власти. Таковой-то шпіонъ, всегда равноправный съ миссіонеромъ братъ ордена, часто принимаетъ на себя роль слуги, если обстоятельства не позволяютъ ему взять роли сотоварища. Третій тайный братъ-наблюдатель принадлежалъ къ постояннымъ петербургскимъ жителямъ. Это былъ нѣкій благочестивый старичокъ, получившій особое тайное предписаніе для своихъ наблюденій. Догадка на этотъ

разъ вполнѣ оправдалась. Назойливый слуга рѐге Вильмена, въ сущности былъ шпіонъ и орденскій сотоварищъ его — братъ Жозефъ.

Съ нѣкотораго времени достойный отецъ Вильменъ сталъ весьма стѣсняться наблюденій брата Жозефа, и даже не шутя, побаивался ихъ; но—вскорѣ его совершенно успокоило одно постороннее обстоятельство: братъ Жозефъ сталъ оказывать страстное влеченіе и сердечную привязанность къ россійской очищенной, извѣстной тогда подъ популярнымъ и балладо-романтическимъ названіемъ Свѣтланы. Маленькій пріемъ ея утромъ продолжался удвоеннымъ пріемомъ къ обѣду, и оканчивался исчезновеніемъ брата Жозефа къ вечеру. Свѣтскій костюмъ, который носилъ онъ въ качествѣ слуги, гарантировалъ его страстныя отношенія къ Свѣтланѣ, отъ соблазну людей постороннихъ. Братъ Жозефъ послѣ ежевечерняго исчезновенія часа на три на четыре, очень скромно и тихо возвращался во свояси, кое-какъ сваливался на свое иноческое ложе, и тотчасъ же засыпалъ мертвымъ сномъ до радостнаго утра. Братья, казалось, поняли другъ друга: они безъ словъ заключили между собою взаимный договоръ—не препятствовать своимъ эпикурейскимъ склонностямъ, ибо эти индивидуальныя качества души и сердца нисколько не касались принциповъ и сущности ихъіезуитской миссіи. За то въ сферѣ этой послѣдней, обоюдное шпіонство неослабно поддерживалось полнымъ разгаромъ.

Рѐге Вильменъ, въ короткое время, пріобрѣлъ себѣ, вмѣстѣ съ огромною популярностью, довольно значительный кружокъ католическихъ исповѣдницъ. Онъ любилъ чаще всего исповѣдывать на дому, въ молельняхъ или будуарахъ, гдѣ ревностныя католички откровенно слагали съ себя весь грузъ своихъ прегрѣшеній. Рѐге Вильменъ особое вниманіе оказывалъ богатымъ, свѣтскимъ дамамъ, и преимущественно богатымъ старушкамъ. Всѣ ужасы ада и все блаженство рая фигурировали въ его келейныхъ поученіяхъ этимъ особамъ, въ поученіяхъ, направленныхъ преимущественно на бренность земныхъ благъ и стяжаній, и на отреченіе отъ нихъ въ пользу благъ душевныхъ. Посильнымъ результатомъ поученій было то, что нѣсколько благочестивыхъ старушекъ, устрашась ужасовъ вильменова ада и прельстясь его раемъ, великодушно отказались отъ

имѣній своихъ въ пользу почтеннаго ордена, къ которому имѣлъ честь принадлежать добродѣтельный pater. Въ его портфелѣ уже хранились два-три духовныя завѣщанія, да наличными деньгами и драгоцѣнными вещами тысячъ на пятьдесятъ съ излишкомъ. Все это были благочестивые плоды, собранные имъ на пользу и процвѣтаніе завѣтнаго ордена.

Père Вильменъ, и самъ того не подозрѣвая, нашелъ себѣ сильнаго пропагандиста въ молодомъ графѣ Каллашѣ.

Графъ Николай Каллашъ занялъ довольно видную роль въ обществѣ. Предположенія опытныхъ свѣтскихъ людей, сдѣланныя о немъ на раутѣ Шиншѣева, оправдались. Графъ блисталъ въ весьма многихъ модныхъ гостиныхъ; пользовался пріятельствомъ и дружбой лучшихъ изъ свѣтскихъ молодыхъ людей; имѣлъ неограниченный кредитъ у Шармера, у Никельсъ и Плинке, у Дюссо и Елисѣева; Сабуровъ поставлялъ ему помѣсячно лучшій экипажъ и лучшихъ рысаковъ своихъ; двѣ-три лучшія камеліи до вражды поругались между собою за право ходить съ нимъ въ маскарадѣ; нѣсколько свѣтскихъ барынь съ замираніемъ сердца ждали — кому изъ нихъ этотъ Парисъ отдастъ завѣтное яблоко, и всѣ вообще восхищались его красотой, умомъ, его французскими стихами, его романсами и рисунками въ альбомахъ. Старушки тоже полюбили его. Одни только мужчины — въявѣ друзья и пріятели были тайными врагами графа, и иные изъ нихъ не задумывались подъ сурдинку распускать про него разныя неблаговидныя сплетни. Но — странное дѣло!— это только увеличивало обаяніе графа въ глазахъ женщинъ. Онъ зналъ свою силу, свое могущество надъ ними, и пока пользовался ими для весьма тонкой, краснорѣчивой пропаганды въ пользу père Вильмена, который его же стараніямъ былъ обязанъ и большей частью своей популярности. Не одна изъ особъ прекраснаго пола, увлеченная разсказами графа, отправлялась на исповѣдь, или для религіозной бесѣды къ père Вильменю и, можно сказать съ достовѣрностью — ни одна изъ нихъ не выходила отъ патера безъ того, чтобы послѣ нѣсколькихъ визитовъ не оставить ему своей посильной лепты. И это были не однѣ католички—весьма многія изъ русскихъ православныхъ барынь, очень уже возлюбя французское краснорѣчіе, дѣлали свои вклады, то золотыми ве-

щами, то кой-какими деньгами, въ пользу разныхъ филантропическихъ цѣлей, выставляемыхъ или Вильменомъ, или графомъ Каллашомъ.

Время шло своимъ чередомъ, а французскій іезуитъ, благодаря своимъ личнымъ достоинствамъ и ловкой, почти невидимой пропагандѣ графа Каллаша, пріобрѣталъ все больше и больше вліянія на умы нѣкоторыхъ изъ русскихъ барынь.

XIV

Назидательныя бесѣды

Рѐге Вильменъ хотя избралъ себѣ для виду, такъ сказать, офиціально, скромную келію въ одномъ изъ тѣхъ мѣстъ, гдѣ обыкновенно останавливается пріѣзжее католическое духовенство, однако, секретнымъ образомъ предпочелъ нанять для себя вмѣстѣ со своимъ слугою, частную, свою собственную и совершенно отдѣльную квартиру, взятую третьимъ братомъ-наблюдателемъ на свое имя. Сдѣлать это было нетрудно, такъ-какъ третій братъ-наблюдатель принадлежалъ къ ордену тайно, жилъ въ мірѣ и даже числился на службѣ въ одномъ изъ присутственныхъ мѣстъ. Квартира нужна была сему добродѣтельному тріумвирату для особыхъ важныхъ совѣщаній по дѣламъ своей секретной миссіи. Подозрительная осторожность, вообще прежде всего свойственна истиннымъ сынамъ Лойолы, которые въ настоящемъ случаѣ опасались дѣлать свои совѣщательныя сходбища въ офиціальной келіи отца Вильмена: тамъ — мало ли что случится — ихъ могли подглядѣть, подслушать, да и сами они могли подать поводъ къ излишнимъ толкамъ. Всѣ эти соображенія побудили ихъ взять отдѣльную квартиру. Она была очень невелика: всего-на-всего двѣ комнаты съ передней и кухней, и вдобавокъ весьма скромно убрана. Нѣсколько плетеныхъ стульевъ, ломберный столъ да кожаное высокое кресло составляли мебель пріемной комнаты. Украшеніемъ же ей служили: черное распятіе да черная библія и нѣсколько католическихъ священныхъ гравюръ въ простыхъ рамкахъ, между которыми висѣли два портрета: генерала іезуитскаго ордена, и Игнатія Лойолы — его основателя.

Въ этомъ-то скромномъ жилищѣ преподобнаго отца появилась однажды баронесса фон-Дёрингъ.

Появилась она съ своей соблазнительной красотою. Красота эта, казалось, еще увеличивалась отъ противоположности съ богатымъ, но вполнѣ скромнымъ нарядомъ, который во время визитовъ ея къ отцу Вильменю всегда былъ одинъ и тотъ же: роскошное, черное платье и никакого посторонняго цвѣта въ аксесуарахъ. Предстала она предъ него ревностною католичкой, жаждущей испить живой воды отъ прохладнаго источника его поученій. Весь умъ тонкаго, искуснаго кокетства опытной въ этомъ дѣлѣ баронессы былъ постепенно употребленъ ею противъ своего пазидателя. И чѣмъ казалась она скромнѣе, недоступнѣе, тѣмъ распалительнѣе дѣйствовало кокетство ея на воображеніе сластолюбиваго старца. Она открылась ему, что съ тѣхъ поръ, какъ поучается откровенію религіи въ его высокихъ бесѣдахъ, ею овладѣла одна завѣтная мечта, къ осуществленію которой стремится всѣмъ сердцемъ, но... но осуществить которую можетъ единственно содѣйствіе Вильмена. Эта мечта—самой сдѣлаться іезуиткой и своимъ вліяніемъ, своей красотой и положеніемъ въ свѣтѣ — тайно вести іезуитскую пропаганду.

— Мнѣ недостаетъ только одного, говорила она, съ пылающими глазами и порывистымъ чувствомъ католическо-религіозной экзальтаціи: — мнѣ недостаетъ знанія... знанія тѣхъ идей, правилъ и принциповъ, на которыхъ зиждется храмъ іезуитизма; я не знаю пріемовъ, которыми успѣшнѣй можно дѣйствовать; помочь въ этомъ можетъ мнѣ только мой добрый исповѣдникъ и наставникъ.

Уловка удалась какъ нельзя лучше. Умная, вліятельная и прекрасная пропагандистка іезуитскихъ интересовъ, пропагандистка въ Россіи—была для монаха чистѣйшій кладъ, упустить который онъ почелъ бы великимъ прегрѣшеніемъ. Старческая страсть къ молодому, сильному и красивому тѣлу помогала еще при этомъ закрыть ему глаза, чтобы не имѣть никакого сомнѣнія или недовѣрія въ своей проселитке.

Черезъ нѣсколько такихъ визитовъ и поученій, крѣпость его сердца со всѣмъ гарнизономъ нравственныхъ сентенцій и благо-

разумнаго опыта сдалась на капитуляцію незамѣтно осаждавшему непріятелю. Непріятель былъ своего рода паукъ, опутавшій въ конецъ іезуитскую мушку. Патеръ Вильменъ совсѣмъ потерялъ благоразуміе, совсѣмъ забывался передъ своей искусительницей, и пріуготовляя въ ней почву для уразумѣнія іезуитской пропаганды, откровенничалъ съ нею даже въ такихъ вещахъ, которыхъ бы никому, кромѣ пославшихъ его, открывать былъ не долженъ. И все это нравственное кораблекрушеніе произвела въ немъ одна только грѣшная красота его духовнаго чада.

— Мы—члены великой семьи. Я—тайный агентъ великаго ордена, открывался онъ баронессѣ со своимъ обычнымъ краснорѣчіемъ. Насъ много: наше братство непрерывною сѣтью покрываетъ всю Европу и Азію и Америку, но... насъ мало въ Россіи. У насъ нѣтъ родины, нѣтъ отечества, наша задача—міръ. И онъ будетъ нашъ, потому, мы—сила! Мы уже были, нѣсколько лѣтъ тому назадъ, въ Россіи, мы были сильны, имѣли тайное, но огромное вліяніе; наши коллегіи украшали многіе города, напримѣръ, въ Оршѣ—какой монастырь принадлежалъ ордену! А здѣсь, въ Петербургѣ, у насъ тоже былъ свой домъ, мы уже взяли-было въ руки воспитаніе русскаго юношества, мы готовы были совсѣмъ вкорениться въ Россіи; но... насъ выгнали за границу! Однако, мы снова вкоренимся здѣсь, потому, мы—сила, мы живые корни, родникъ, который какъ ни заваливай камнями, а онъ все-таки просачивается. Насъ гонятъ и преслѣдуютъ, а мы межъ тѣмъ строимъ громадные дворцы, держимъ въ рукахъ несметные капиталы; и мы побѣдимъ, потому—у насъ великая задача и великій духъ. Мы достигнемъ, что въ мірѣ не будетъ ни Россіи, ни Франціи, ни Германіи, ни папы, а будетъ едино стадо и единъ пастырь, будетъ одинъ нашъ орденъ и одинъ генерал-командоръ...

— Вотъ, продолжалъ онъ, вынимая изъ портфеля длинный реэстръ:—вотъ плоды моей недолгой пропаганды въ Россіи! Я здѣсь всего четвертый мѣсяцъ, а между тѣмъ пріобрѣлъ уже въ пользу ордена четыре завѣщанія отъ одного старика и трехъ праведныхъ старушекъ-полекъ. По этимъ завѣщаніямъ намъ отказано полтораста тысячъ, и всѣ эти записи составлены нами и одного тайнаго нашего брата... есть тутъ одинъ старичокъ... я черезъ своихъ

познакомился и сошелся съ нимъ... А вотъ въ этомъ хранилищѣ, говорилъ онъ, указавъ глазами на черную шкатулку, служившую фальшивымъ пьедесталомъ для распятія:—хранятся посильныя приношенія деньгами и вещами на пятьдесятъ-три тысячи. Вотъ мои плоды! восторгался старикъ, пожирая сладострастными глазами роскошный бюстъ баронессы. — А мои кліенты, мои духовныя дѣти, которыхъ я съ каждымъ днемъ пріобрѣтаю здѣсь! Въ нынѣшній пріѣздъ свой, надѣюсь, немало завербовалъ новобранцевъ въ нашу духовную паству.

До слѣпоты влюбленный старецъ и не воображалъ, какую ловушку пріуготовилъ самъ себѣ своей откровенною болтовнею. Надо отдать справедливость баронессѣ: чуть ли это была не единственная женщина, которая такъ ловко умѣла превращать въ мягкій воскъ такихъ хитрыхъ и крѣпкихъ іезуитскихъ кремней, да еще и лѣпить изъ нихъ все, что угодно, по своему произволу.

Она, впрочемъ, показывала видъ, что совсѣмъ отреклась, отверглась себя и своей воли, что она вся и нравственно и физически подчинена вліянію и волѣ монаха и съ религіознымъ фанатизмомъ безпрекословно готова исполнять все, по первому его слову, по первому взгляду, и рѐге Вильменъ, въ самодовольномъ ослѣпленіи воображалъ себя полнымъ владыкой надъ своей фанатически преданной и покорною прозелиткой.

XV

Искушеніе

Послѣ пятинедѣльнаго знакомства, баронесса дѣлала уже третій визитъ рѐге Вильменю не въ обычную пору. По взаимному соглашенію, они условились видѣться другъ съ другомъ вечеромъ, съ девяти часовъ, такъ-какъ въ эту пору наступали исчезновенія брата Жозефа. Рѐге Вильменъ третій разъ уже находилъ благовидный предлогъ удалять, на нѣсколько часовъ, свою неіезуитскую прислугу, состоявшую изъ весьма пожилой и непривлекательной женщины,

французскаго происхожденія. Въ отсутствіе ея, онъ самъ, лично, впускалъ и выпускалъ свою тайную посѣтительницу.

Квартира его находилась во второмъ этажѣ одного каменнаго дома и четырьмя окнами стоими выходила на улицу. Въ угольной, смежной съ пріемною, комнатѣ, служившей père Вильменю для отдохновенія послѣ его теологическихъ занятій, баронесса уже третій разъ находила прекрасно-зажаренную холодную пулярку и холодную бутылку добраго шампанскаго. Добрый père Вильменъ былъ уроженецъ Шампаньи, и потому нѣтъ ничего мудренаго, что онъ любилъ шампанское и пулярки.

Третій разъ уже онъ раздѣлялъ съ баронессой свою скромную трапезу, и на сегодня рѣшительно не замѣтилъ, какъ она, зажигая свою сигаретку, словно невзначай, переставила свѣчу со стола на окошко.

Вдругъ съ внезапнымъ шумомъ растворились двери и въ комнату быстро влетѣли три нежданные гостя.

— Мужъ!... Боже! мой мужъ! пронзительно взвизгнула баронесса и цѣпко повисла на шеѣ несчастнаго патера.

— Да, мужъ, измѣнница! закричалъ во все горло Бодлевскій, стараясь придать своему голосу возможно бо́льшую громогость. — Мужъ, который пришелъ сюда съ законною властью! продолжалъ онъ, указывая на стоявшихъ посреди комнаты постороннихъ господъ.

Весь дрожащій и ошалѣлый отъ страха, патеръ поднялъ глаза свои по направленію руки мнимаго мужа и съ ужасомъ увидѣлъ русскаго полицейскаго офицера и за нимъ городоваго сержанта.

— Простите! пощадите!... Онъ обольстилъ меня! истерически кричала между тѣмъ баронесса, не отрывая рукъ своихъ отъ шеи Вильмена.

— Тише... тише... Бога ради, не кричите такъ—вы меня погубите! умолялъ перепуганный іезуитъ, тщетно стараясь выбиться изъ крѣпкихъ объятій.

— Какъ!... ты, старикъ, и ты забылъ свой санъ! ты громишь порокъ проповѣдями и обольщаешь чужихъ женъ! усиливалъ свой голосъ Бодлевскій.—Людей сюда, свидѣтелей!

— Тише же, тише... Берите все, что̀ хотите, только не губите

меня... ради Бога! ради моихъ сѣдинъ! умолялъ Вильменъ трепещущимъ голосомъ.

— Послушайте, крикъ напрасенъ, посреднически обратился къ двумъ сторонамъ полицейскій надзиратель.— Я здѣсь законная власть и законный свидѣтель; слѣдовательно, сейчасъ же могу безъ шуму кликнуть понятыхъ и составить актъ на мѣстѣ преступленія. Но дѣло вотъ въ чемъ, продолжалъ онъ, стараясь успокоить и мужа и любовника.—Зачѣмъ вамъ ссориться и подымать уголовное дѣло, которое во всякомъ случаѣ окончится весьма скверно для бѣднаго старика?... Онъ ужь и такъ наказанъ! Онъ предлагаетъ мировую сдѣлку; говоритъ, что вы можете взять что угодно— не помириться ли вамъ и въ самомъ дѣлѣ? Пощадите его честь и его сѣдины!

Бодлевскій и слышать ничего не хотѣлъ, продолжалъ кричать и бѣсноваться и каждымъ воплемъ своимъ повергать въ неисчерпаемую пучину ужаса рѐге Вильменя, который умиралъ при мысли, что на крикъ могутъ собраться люди, можетъ случайно воротиться братъ Жозѐфъ и увидѣть его въ такомъ видѣ, застать въ такомъ положеніи... При одной этой мысли у несчастнаго трещала и сумасбродно кружилась голова, захватывался духъ и сжималось сердце.

— Все, все берите... безумно повторялъ онъ, вырвавшись, наконецъ, отъ баронессы и указывая свидѣтелямъ своего позора на завѣтный пьедесталъ подъ распятіемъ.

— Плачь, плачь, несчастный старикъ, проси, умоляй его, чтобъ онъ сжалился, иначе тебя ждетъ позоръ, уголовный судъ и каторга! говорилъ надзиратель, силою ставя іезуита на колѣни передъ Бодлевскимъ и нагибая для поклона его голову. Затѣмъ, онъ снова, вмѣстѣ съ Вильменемъ, принялся убѣждать неумолимаго супруга.

Баронесса все время продолжала рыдать въ истерикѣ, и тѣмъ только увеличивала крикъ и суматоху.

Наконецъ, послѣ долгихъ убѣжденій и послѣ того, какъ злосчастный патеръ открылъ свою черную шкатулку, Бодлевскій согласился на мировую.

— Мы подѣлимся самымъ честнымъ и безобиднымъ образомъ, говорилъ полицейскій офицеръ, провѣряя реэстръ іезуитскихъ при-

обрѣтеній.—Чэтыре завѣщанія и вещи на шесть тысячъ оставимъ вамъ, а остальныя сорокъ-семь тысячъ наличными деньгами — ужъ извините, святой отецъ — возьмемъ себѣ, по законному праву за безчестіе.

Старикъ былъ такъ огорошенъ случившимся, такъ смущенъ и перепуганъ, что даже не нашелся ничего возразить на это требованіе и безусловно согласился отдать свои деньги.

— А для вѣрности, продолжалъ офицеръ: — садитесь и пишите подъ мою диктовку, что вы на полюбовной сдѣлкѣ заплатили сорокъ-семь тысячъ мужу обольщенной вами женщины. Это хотя и никому не покажется, но останется, для вѣрности, въ карманѣ барона фон-Дёрингъ.

Совсѣмъ убитый патеръ и на это согласился, не прекословя и машинально сталъ писать подъ диктовку полицейскаго. Онъ считалъ какимъ-то сверхъестественнымъ чудомъ и карой неба внезапное появленіе трехъ неизвѣстныхъ, сквозь лично имъ самимъ замкнутыя двери. Патеръ и не подозрѣвалъ, что въ семъ бренномъ и грѣшномъ мірѣ существуютъ нѣкіе инструменты, «перьями» и «фомками» у мошенниковъ называемые, а въ просторѣчіи извѣстные подъ общепринятымъ именемъ отмычекъ и ломиковъ, съ благодѣтельною помощью которыхъ всякая дверь растворяется безшумно и безпрепятственно.

— Теперь, padre, вы можете благословить и отпустить насъ съ миромъ, сказалъ надзиратель, почтительно подставляя руку подъ отческое благословеніе père Вильмена.

Но père Вильменъ не двигался съ мѣста и глядѣлъ на все безумными глазами.

— Благословите же, padre! настойчиво повторилъ полицейскій.

— Dominus vobiscum! безсознательно пролепеталъ іезуитъ, машинально дѣлая въ воздухѣ какое-то безсильное движеніе рукою.

— Ну, вотъ теперь позвольте пожелать вамъ покойной ночи и пріятныхъ сновидѣній, заключилъ откланиваясь офицеръ — и вся компанія немедленно же удалилась, и черезъ минуту на улицѣ послышался грохотъ быстро удалявшейся четырехмѣстной кареты.

Нечего, кажется, прибавлять, что роль полицейскаго разыгралъ

переодѣтый Сергѣй Антоновичъ Ковровъ, а хожалаго сержанта — весьма удачно гримированный графъ Каллашъ.

Ассоціаторы поровну раздѣлили между собою благопріобрѣтенныя деньги, а добродѣтельный іезуитскій агентъ черезъ недѣлю незамѣтно скрылся изъ Петербурга.

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

ДВА УГОЛОВНЫЯ ДѢЛА

I

У Спаса на Сѣнной

Была пятница — день постный.

На Сѣнной площади торговля кончилась, ибо со спасовской колокольни давно уже пробило шесть — урочный часъ для прекращенія зимней торговой дѣятельности на Сѣнной.

Съ лѣвой стороны этой площади (если направляться отъ Невскаго къ Покрову) дремали какими-то безобразными глыбами навѣсы мясныхъ, зеленыхъ и посудныхъ рядовъ, укутанные на ночь грязными рогожными полостями: справой тянулась неопредѣленная, слившаяся въ одну гряду, масса розвальней съ рыбой и сѣномъ, надъ которою, подобно частоколу, торчали поднятыя вверхъ оглобли. Самая площадь, то-есть центръ торговли, давно уже спала, а вдоль Садовой улицы, разсѣкающей Сѣнную на двѣ разныя половины, подобно быстрому потоку рѣки, пронизывающей своимъ теченіемъ воды большаго и тихаго озера, кипѣла неугомонная дѣятельность: укутанные кое-какъ и кое во что пѣшеходы шлепали взадъ и впередъ по лужамъ; извощичьи сани глубоко ухали въ ухабы, наполненные грязной и жидкой кашицей песку и снѣгу; громыхали проносящіяся кареты, которыя направлялись къ Большому театру. По краямъ площади, въ громадныхъ, многоэтажныхъ и не менѣе улицы грязныхъ домахъ мигали огоньки въ окнахъ и фонари надъ входными дверями, означая собою цѣлый рядъ харчевенъ, трактировъ, съѣстныхъ, перекусочныхъ подваловъ, винныхъ погребовъ, кабаковъ съ портерными и тѣхъ особенныхъ пріютовъ, гдѣ лѣпится, прячется, болѣетъ и умираетъ всѣми отверженный

развратъ, изъ котораго почти нѣтъ возврата въ болѣе чистую сферу и гдѣ знаютъ только два исхода: тюрьму да кладбище. По этимъ окраинамъ Сѣнной площади тоже кипитъ своего рода жизнь и дѣятельность. Вонъ хрипящіе звуки трехъ шарманокъ: одна изъ нихъ поетъ съ акомпаниментомъ слѣпца-кларнетиста безконечную «Лучинушку»; другая сипитъ подъ бубенъ и разбитыя выкрикиванья шарманщика развеселую пѣсню «Вдоль какъ по рѣчкѣ еще ль по Казанкѣ» — пѣсню, которая особенно нравится гулящему люду Сѣнной; третья — итальянской конструкціи съ флейтой — вибрируетъ «Casta diva»; и всѣ эти разнородные, разнокалиберные звуки стоятъ въ мглисто-неподвижномъ воздухѣ гнилого вечера и своимъ дикимъ диссонансомъ—какою-то кричащею тоскою врываются въ душу: въ этихъ диссонансахъ, среди этого мрака, вамъ невольно слышится убійственный голодъ и холодъ — это какіе-то вопли отчаянія, а не музыкальные звуки... Но не однѣ шарманки оглашаютъ собою окраины Сѣнной: изъ низенькихъ подваловъ темнаго Таировскаго переулка, какъ изъ глухой пропасти, порою вторятъ имъ то скрипка съ клавикордами, отжившими мафусаиловъ вѣкъ, то подобный скрипу несмазанной двери голосъ беззубой женщины:

Моя рушая коша-да
Вшиму городу краша!

на мгновеніе донесется вдругъ оттуда съ попутнымъ порывомъ вѣтра и тотчасъ же затеряется въ закоулкахъ торговыхъ навѣсовъ да въ высокихъ выступахъ и углахъ каменныхъ громадъ — затеряется и смолкнетъ, заглушенное громыханьемъ каретъ, ухабнымъ уханьемъ ванекъ и другими, не менѣе выразительными звуками. Вонъ на другомъ концѣ площади, около знаменитаго Малинника *, раздается крупный говоръ и руготня, которые съ каждой минутой становятся все громче и крупнѣе, собираютъ кучку праздныхъ, прохожихъ зрителей; кучка растетъ, прибываетъ и превращается наконецъ въ цѣлую толпу, изъ середины которой разлетается во всѣ концы обширной площади тараторливая женская перебранка, издали очень похожая на кряханье всполошенныхъ утокъ. Что это за крики и что за толпа? на что она смотритъ и порою разражается такимъ поощрительнымъ рыготаньемъ? — Пьяная драка... клочья...

* О томъ, что значитъ Малинникъ, читатель узнаетъ впослѣдствіи.

кровь... Вотъ раздается призывный свистокъ полицейскаго-хожалаго, которымъ онъ зоветъ на помощь подчаска, а въ эту самую минуту съ противоположной стороны, у Полторацкаго переулка, новые крики... «Караулъ! караулъ! слышится оттуда и, судя по короткому, обрывающемуся выкрику, можно съ достовѣрностью предположить, что человѣка взяли за горло и душатъ...

Вы смущены этимъ крикомъ? Онъ скверно, зловѣще подѣйствовалъ на ваше ухо и болѣзненно на ваше сердце? Но вотъ прошла минута—и его не слыхать, онъ донесся до васъ только урывкомъ, на одно мгновенье, послѣ котораго успѣлъ уже, подобно всѣмъ этимъ разнороднымъ звукамъ, затеряться и утонуть въ обычномъ гулѣ городской жизни...

И вотъ надо всѣми этими звуками, надо всей этой невеселой картиной мрачной, слякотной площади—низко виситъ непроницаемо-черное сырое небо и сыплетъ легкій снѣжокъ, который, не успѣвъ еще долетѣть до земли, превращается въ мелкій, моросящій дождикъ.

Былъ восьмой часъ въ исходѣ.

На гауптвахтѣ шагалъ по платформѣ часовой съ ружьемъ, укутанный въ свою сѣрмягу, а противъ него, съ другой стороны улицы, мокли и дрожали разнородныя группы нищихъ, на паперти Сѣнного Спаса. Въ церкви кончалась служба. Нищихъ на этотъ разъ собралось изрядное количество: завтра родительская суббота — значитъ, сегодня за всенощной изобиліе купчихъ и прочихъ молельщиковъ, щедрыхъ на подаяніе, по случаю предстоящаго помина родителей и сродниковъ.

Вотъ группа простоволосыхъ, босоногихъ дѣвчонокъ и мальчиковъ, отъ пяти до двѣнадцати лѣтъ, въ лохмотьяхъ, со спущенными рукавами, въ которыхъ они отогрѣваютъ свои закоченѣлыя отъ холоду руки, то-есть одну какую-нибудь руку, потому что пока лѣвая грѣется, правая остается протянутой къ вамъ за подаяньемъ. Бежитъ у нихъ отъ холоду не то слезы изъ глазъ, не то изъ носу посторонніе капли; и стоятъ эти дѣти на холодномъ каменномъ мостѣ не полюдски, а больше все на одной ногѣ толкутся, ибо пока одна ступня совершаетъ свое естественное назначеніе — другая, конвульсивно съёжась и скорчась, старается отогрѣться въ

висящихъ лохмотьяхъ. Чуть выходитъ изъ церкви богомолецъ — эта орава маленькихъ нищихъ накидывается на него, разомъ, всей гурьбою, не взирая на весьма чувствительные тычки и пинки нищихъ взрослыхъ, обступаетъ его съ боковъ, и спереди, и сзади, иногда теребитъ за платье и протягиваетъ вверхъ посинѣлыя ручонки, прося «христа-ради копѣечку» своимъ надоѣдливо-писклывымъ речитативомъ. Она мѣшаетъ ему идти, провожаетъ со ступеней паперти и часто шаговъ на двадцать отъ мѣста стоянки преслѣдуетъ по мостовой свою жертву, въ тщетномъ ожиданіи христорадной копѣечки. Копѣечка, по обыкновенію, выпадаетъ имъ очень рѣдко, и вся орава въ перегонку бросается снова на паперть, стараясь занять болѣе выгодныя мѣста въ ожиданіи новыхъ богомольцевъ. Это —самый жалкій изъ всѣхъ родовъ нищенствующей братіи. Не одинъ изъ этихъ субъектовъ успѣлъ уже побывать въ исправительномъ домѣ, откуда выпущенъ на поруки людей, съ которыми сходятся въ стачку по этому поводу нищіе взрослые, всегда почти эксплуатирующіе нищихъ-малолѣтныхъ. Всѣ эти мальчишки и дѣвчонки, еще съ пелёнъ обреченные на подобную жизнь, являются будущими жертвами порока и преступленія; это — либо будущіе кандидаты въ тюрьму и на каторгу, либо добыча разврата, который застигаетъ ихъ очень рано, если еще раньше разврата не застигнетъ ихъ смерть. Часто случается, что нищая дѣвочка, едва дойдя до двѣнадцати-тринадцатилѣтняго возраста, а иногда еще и раньше, начинаетъ уже въ мрачныхъ трущобахъ Сѣнной площади, за самую ничтожную цѣну, отдаваться разврату...

Нищіе взрослые держатъ себя нѣсколько солиднѣе малолѣтковъ. Если проходитъ богомолецъ неподающій, взрослые встрѣчаютъ его только протянутой рукою и просительнымъ склоненіемъ головы. Но чуть изъявитъ онъ малѣйшее желаніе совершить обрядъ христіанскаго милосердія, взрослые точно такъ же обступаютъ со всѣхъ сторонъ доброхотнаго дателя и нѣсколько десятковъ сморщенныхъ, грязныхъ рукъ, съ громкимъ христорадчаньемъ, жадно протягиваются къ нему во всѣ промежутки и скважины сплоченной толпы, гдѣ только можетъ протискаться промышленная пятерня пальцевъ. Часто случается, что доброхотный датель, послѣ такого маневра со стороны нищей братіи, по приходѣ домой, не досчитывается платка,

копелька или часовъ съ цѣпочкой. Эти обступанія цѣлымъ кагаломъ производятся преимущественно за вечерними и всенощными службами, гдѣ рано наступившій мракъ зимняго вечера, по возможности, скрываетъ такія эволюціи нищей братіи отъ зоркаго ока полицейскихъ хожалыхъ, имѣющихъ иногда обыкновеніе забирать ее въ арестантскія сибирки. Истинная бѣдность и нищета рѣдко показывается въ средѣ патентованныхъ надворныхъ и «притворныхъ» (то-есть стоящихъ въ церковныхъ притворахъ) попрошаекъ. Истинная бѣдность и нищета прежде всего совѣстлива, застѣнчива и робка; она держится одиноко, отдѣльно, и если рѣшается обратиться съ просьбою къ прохожимъ, то просьба эта звучитъ прямымъ физіологическимъ голодомъ и дѣйствительной нуждою.

Первый планъ между взрослыми попрошайками занимаютъ бабы. Тѣ же платья, какъ и у малолѣтнихъ, тѣ же, кое-какъ сшитые, лоскутья и расползающіеся швы лохмотьевъ, тотъ же офиціально-нищенскій, какъ пѣсня выработанный и заученный речитативъ, и на рукахъ — завернутые въ тряпки младенцы, часто, за неимѣніемъ собственныхъ, взятые напрокатъ. Вотъ стоятъ двѣ безобразныя, безносыя старухи, которыхъ, во время оно, не пощадила отвратительная болѣзнь, но пощадила смерть, дозволивъ имъ перейти лѣтами за ту грань, гдѣ на Сѣнной, по большей части, оканчивается промыселъ разврата и начинается промыселъ нищенства. Онѣ не успѣли добыть себѣ младенцевъ напрокатъ, а потому, вмѣсто ихъ, завернули въ тряпье по полѣну, и баюкаютъ его, какъ ребёнка. Въ потьмахъ не видно, да и кто станетъ заглядывать, что тамъ такое лежитъ у старухи?

Второй планъ, ближе къ притвору, заняло все то, что̀ посильнѣе физически. Тутъ го̀рбятся и хро̀мятся попрошайки мужескаго пола съ ходебщиками на построеніе. Третій планъ, въ самомъ притворѣ, завоевала себѣ аристократія нищенства, всегда отличающаяся какими-нибудь особенностями и по преимуществу уродствомъ. Вонъ, въ самомъ мрачномъ, темномъ углу дрожитъ и жмется высокая, худощавая старуха, съ вытянутымъ длиннымъ носомъ и впалыми глазами, которые зорко высматриваютъ добычу; клокъ черныхъ съ сѣдиною волосъ выбился ей на лобъ изъ-подъ мокраго платка и

придаетъ еще болѣе дикій видъ этой, и безъ того уже дикой, физіономіи. Она тоже что-то кутаетъ въ лохмотья, но это не ребёнокъ и не полѣно — это безобразная старуха-карлица-идіотка, которую она, какъ младенца, держитъ у себя на рукахъ для привлеченія людскаго состраданія. Идіотка очень мала и страшно-худощава; сѣдые космы волосъ ея спутались въ безпорядкѣ и мѣшаютъ смотрѣть тупымъ бельмамъ — на выкатѣ. Трусливо-порывистыя ужимки и движенія сопровождаютъ каждый взглядъ идіотки, которая, чуть выдастся ей спокойная минута — быстро схватываетъ въ ротъ бахромку платка своей няньки, либо втянетъ пуда же клокъ своихъ собственныхъ волосъ, либо, наконецъ, съ апетитомъ принимается жевать комокъ штукатурки, сколупнутый ею отъ мокрой отсырѣлой стѣны. Нищая старуха, со своей странною ношей, боится быть все время на виду; она прячется и жмется въ темномъ углу отъ людскихъ, а наипаче отъ полицейскихъ взоровъ; но это прятанье заставляетъ ее еще зорче высматривать добычу. Чуть появится въ дверяхъ доброхотный датель, нищая съ идіоткой бросается, съ быстротой и ловкостью дикой кошки, въ толпу собратовъ и, продираясь впередъ, подставляетъ свою измозженную, высохшую руку. Едва эта морщинистая рука ощутитъ на закарузлой корѣ своей ладони поданную копѣйку, какъ уже старуха съ тою же быстротой удаляется въ темноту своего обычнаго мѣста, изъ котораго она, словно паукъ изъ гнѣзда, жадно кидается на добычу.

Вотъ у внутреннихъ церковныхъ дверей расположился не человѣкъ, а какое-то подобіе человѣка, скорѣе намекъ на человѣческій организмъ, безотрадно представляющійся взорамъ въ видѣ кривого, горбатаго и безногаго существа, которое держится на деревянныхъ колодкахъ, прикрѣпленныхъ къ бывшимъ лядвеямъ, а нынѣ обрубкамъ человѣческаго тѣла, обрубкамъ выше колѣнъ, и движется съ помощью рукъ, замѣняющихъ ему ноги. Вся фигура его необыкновенно живо напоминаетъ ежа или дикобраза, а въ маленькихъ, глубоко-ушедшихъ глазахъ, которыми существо это поводитъ изъ стороны въ сторону, свѣтится что-то мышиное.—«Господи, Исусе Христе, владычица Тифинская!» безсознательно произноситъ оно съ какимъ-то высвистомъ своимъ фальцетнымъ голосенкомъ, и правая рука его при этомъ необыкновенно быстро болтается, какъ-бы то-

ропясь надѣлать возможно большее количество крестныхъ знаменій.— «Касьянчику-старчику Христа-а-ради!» выпѣваетъ онъ дрожащимъ козелкомъ, силясь повыше вытянуть за подаяньемъ свою руку — и подаянье, по большей части, благодаря выгодѣ перваго мѣста, попадаетъ прежде другихъ на ладонь Касьянчика-старчика. Касьянчику-старчику никогда не удалось бы занять лучшаго нищенскаго мѣста, еслибы у него не было сильной и близкой поддержки. Поддержка эта являлась въ образѣ сосѣда и сотоварища его, извѣстнаго подъ именемъ Ѳомушки-блаженнаго. Ражій, коренастый мужичина, лѣтъ тридцати-пяти, росту выше чѣмъ средняго, плечистый и плотный — онъ представлялъ дѣйствительно весьма внушительный и надежный оплотъ для такого жалкаго существа, какъ Касьянчикъ-старчикъ. Ѳомушка никогда не мылся и никогда не стригся. Порыжѣлая бархатная скуфейка, на манеръ монашеской, частію прикрывала спутанныя, длинныя космы его рыжихъ и жесткихъ волосъ. Одутловато-мясистыя жирныя щеки и клюквенно-пухлый носъ служили первыми характерными признаками его лупоглазой, отчасти свиной физіономіи; физіономія эта украшалась рыжею щетиной вмѣсто усовъ и клоками неопрятной бородищи, которая отдѣльными щепотьями произрастала у него въ различныхъ направленіяхъ. Стальной обручъ, замѣняя собою поясъ блаженнаго, охватывалъ въ таліи его черную хламиду, которая также старалась походить на монашескую ряску. Полы хламиды, вися оборванными клочьями, были насквозь пропитаны обильнымъ слоемъ уличной грязи, которая, не будучи никогда счищаема, закорузла тутъ въ видѣ цѣлыхъ пластовъ, комковъ и наростовъ. Отъ этого костюма и отъ самого Ѳомушки разило на три шага невыносимымъ смрадомъ. Но въ этомъ смрадѣ и въ этой грязи своей, Ѳомушка находилъ особенную усладу, а почитатели его относили все это къ подвижничеству. Ѳомушка бойко и независимо стоялъ себѣ на своемъ мѣстѣ, ежеминутно почесываясь и тяжело сопя носомъ на весь притворъ церковный. Вся остальная братія чувствовала достодолжное почтеніе къ его внушительному кулачищу, съ которымъ, въ самомъ дѣлѣ, нехорошо бы было повстрѣчаться въ пустомъ, уединенномъ мѣстѣ.

Совершенный контрастъ съ Ѳомушкой-блаженнымъ представляла кривошейка — vis-à-vis ежа-Касьянчика, женщина лѣтъ уже за сорокъ, съ выраженіемъ благообразно-постнаго смиренія въ желтоватомъ лицѣ. Съ головы ея спускался большой черный платокъ, а остальной костюмъ, отличаясь своей опрятностью, составлялъ нѣчто среднее между костюмомъ монашенокъ и полусвѣтскимъ платьемъ мірскихъ странницъ, возлюбившихъ хожденіе по обителямъ. Особа эта, подобно Ѳомушкѣ-блаженному, покровительствомъ котораго пользовалась наравнѣ съ Касьянчикомъ-старчикомъ, составляла своего рода авторитетъ и была извѣстна подъ именемъ Макриды-странницы. Она рѣзко отдѣлялась отъ остальной братіи, къ которой ее даже и нельзя было причислить. Макрида стояла съ книжкой — и стало-быть, подвизалась доброхотными сборами на построеніе храма. Говорила, будто ей по этому поводу сонное видѣніе было. Эта Макрида-странница, купно съ Ѳомушкой-блаженнымъ и Касьянчикомъ-старчикомъ, составляли одно цѣлое, какъ-бы одну семью и преслѣдовали однѣ и тѣ же цѣли.

Позади всѣхъ этихъ группъ разнородной нищей братіи, бжилась отъ холоду еще одна новая личность, которая, крадучись кошачьею походкой, прохаживалась за спинами своихъ сотоварищей, видимо стараясь быть незамѣченной ими. Но нищіе вообще народъ очень зоркій: крадущуюся личность они встрѣчали и провожали градомъ крупныхъ насмѣшекъ, отъ которыхъ та отбивалась стоически-терпѣливымъ молчаніемъ. Эта личность являлась въ видѣ высокаго, длиннаго, сухого старика, въ ветхомъ халатишкѣ, подпоясанномъ дырявымъ фуляромъ. Энергически сжатыя губы и брови, нависшія надъ тускло неподвижными глазами, придавали ему какое-то странное, безсердечно-черствое выраженіе, которое сосредоточенно присутствовало безъ малѣйшей перемѣны на его пергаментно-блѣдной, выцвѣвшей и давно небритой физіономіи.

Служба кончилась; изъ церкви повалилъ народъ.

Вышелъ благочестивый блюститель порядка, и толпа нищихъ ребятишекъ, издали еще завидя приближеніе врага, на время его прохода разбѣжалась въ темные закоулки, по близости церкви; а нищіе взрослые постарались притвориться не нищими, и сдѣлали

видъ, будто тоже выходятъ изъ церкви. Но блюститель порядка скрылся во мракѣ—и публика паперти заняла свои прежнія роли.

Вышелъ чахоточный купецъ и сунулъ грошъ въ руку Касьянчика-старчика.

— Не плошай! ткнулъ его пальцемъ въ голову Ѳомушка и протянулъ къ дателю свою широкую лапу. Макрида потянулась туда же съ книжкой, на переплетѣ которой «для близиру» [1]) лежало нѣсколько мѣдяковъ. А въ это самое время высокій сухощавый старикъ въ халатѣ, пользуясь тѣснотою образовавшейся вокругъ дателя толпы, незамѣтно стянулъ грошъ съ Макридиной книги, и съ судорожной поспѣшностью сунувъ въ карманъ, протянулъ изъ-подъ локтей какого-то нищаго обѣ свои руки въ надеждѣ, что подающій купецъ приметъ ихъ за двѣ отдѣльныя руки двухъ отдѣльныхъ личностей, и въ каждую положитъ по грошу. Эта продѣлка иногда удавалась худощавому старику; но она-то именно и вызывала безконечныя насмѣшки и покоры попрошаекъ. Едва Ѳомушка-блаженный очутился за спиною купца, какъ его тяжеловѣсная лапища легонько давнула загривокъ старика.

— Ты что, лѣшій? опять двурушничать? [2]) просопѣлъ онъ ему шопотомъ.

Старикъ только окрысился, защолкалъ зубами, да часто замигалъ вѣками со злости и перебрался подальше отъ блаженнаго.

Вышла молодая купчиха, охотница до раздачъ — и на паперти повторился тотъ же самый процесъ. Старикъ въ отдаленіи отъ Ѳомушки снова двуручничалъ.

Вышла купчиха пожилая, толстая, сонная, съ благочестиво-тупымъ и забито-апатическимъ выраженіемъ въ лоснящемся отъ поту лицѣ и, какъ къ знакомой, привѣтливо обратилась къ Макридѣ:

— Здравствуй, Макридушка, здравствуй, голубушка! заговорила она на полужалобный распѣвъ. — Приходитко завтра на блинки... родителевъ помянуть... Не побрезгуй... да вотъ — и блаженнаго упроси съ собою.

Ѳомушка, при появленіи этой особы, мгновенно преобразилъ выраженіе своей физіономіи, сдѣлавъ его необыкновенно глупымъ и

---

[1]) На воровскомъ argot «для близиру»—то же, что для виду.

[2]) Подставлять обѣ руки.

безсознательно улыбающимся, что̀ означало у него вступленіе въ амплуа юродиваго.

— Раба Степанида! забормоталъ онъ, крестясь: — ангели ликуютъ, на Москвѣ колоколамъ трезвонъ... Ставь столы дубовые, пеки кулебяку съ блинами: я те, раба Степанида, къ небеси предвосхищу!

— Предвосхищи, Ѳомушка, предвосхищи, блаженненькій! слезно умилялась низколобая толстуха, уловивъ только звукопроизношеніе, но не понявъ значенія послѣдней фразы юродиваго, и сунула пятакъ въ его лапу.

Ободренный Ѳомушка уже нараспѣвъ скороговоркой доканчивалъ свою мысль:

— Предвосхищу, мать моя, предвосхищу, идеже вси святіи упокояются; на вѣнчикахъ красныя, христосскія яица, въ яицахъ Ѳомушкина копѣечка мотается — тукъ-тукъ-тукъ молоточкомъ!

При фразѣ насчетъ упокоенія и молоточка, безсмысленный, овечій страхъ отразился на физіономіи толстухи. Макрида, замѣтивъ это, толкнула въ бокъ своего пріятеля Ѳомушку, и строго повела на него бровями.

— Не печалуйся, раба, не печалуйся! снова забормоталъ блаженный: — гряди домой съ миромъ, хозяинъ твой пьянъ лежитъ, надо полагать, бить будетъ; а ты, раба Степанида, сто лѣтъ проживешь.

Раба Степанида успокоилась и воздыхнула.

— Это точно что, это ты правильно, голубчикъ, божью волю предсказываешь, заговорила она въ минорномъ тонѣ: — пожалуй, и въ правду бить станетъ, потому, надо быть, вѣрно хмѣльной воротился да самовару не нашелъ... Охъ-тихъ-тихъ! житье-то наше!

— Блаженный, мать моя, въ просвѣтленіи теперь находится, въ просвѣтленіи! благочестиво пояснила ей Макрида. — А то тоже бываетъ, что на него затмѣніе находитъ, яко мертвъ лежитъ — это значитъ — душа его съ Богомъ бесѣдуетъ...

— Касьянчику-ста̀рчику копѣечку христа-а-ради! прерываетъ ее дребезжащій козелокъ безногаго.

Кунчиха, повторивъ свое приглашеніе на блинки, одѣляетъ пи-

такими Макриду съ Касьянчикомъ и продолжаетъ свое тучное шествіе далѣе, съ такимъ же надѣломъ прочей братіи. Сухощавый старикъ, озираясь на Ѳомушку, изъ-за чьей-то дальней спины, протягиваетъ свои длинныя руки.

Изъ церкви почти всѣ уже вышли, когда на паперти появился невысокаго роста плотный старичонко, повидимому—изъ отставныхъ военныхъ, въ сѣрой шинели и въ солдатски-скроенной фуражкѣ съ кокардой. Чувство амбиціи и чувство самодовольства оживляли фигуру старичонки, необыкновенно ярко сочетаясь между собою и высказываясь въ свиныхъ глазахъ и въ закрученныхъ кверху, нафабренныхъ щеточкахъ-усахъ,

— Осипу Захарычу—нижайшій поклонъ! неожиданно обратился онъ къ худощавому старику:— что̀ подѣлываете, батенька, добраго?

— Да вотъ... страдаю все... почечуй... какъ-то глухо, ненаходчиво и болѣзненнымъ тономъ отвѣчалъ старикъ, видимо конфузясь отъ неожиданной и притомъ нежеланной встрѣчи. — Молиться вышелъ, продолжалъ онъ, стараясь неопредѣленно глядѣть куда-то въ сторону.—Благолѣпіе—въ храмѣ-то... истинно сказать...

— Да что̀ это вы въ такомъ легкомъ костюмѣ-то? а еще больны! и не бережетесь! укорилъ отставной, съ участіемъ покачавъ головою.

Старикъ кинулъ взглядъ на полы своего халатишка и окончательно сконфузился.

— Это я... такъ... ничего... «не пецытеся» сказано... торопился къ молитвенному бдѣнію... не успѣлъ...

— Да! торопился онъ! укорливо стали обличать его кое-какія бабёнки изъ нищихъ, затараторя всѣ разомъ.—Поди, чай, нарочно натянулъ на себя!...

— Богачей этакой, да чтобъ одежины хорошей у него не было.

— Скареда, одно слово!

— Торопился!... А самъ промежь нашего брата двурушничалъ—только хлѣбушки сиротскіе перебиваетъ!

— У самого-то, поди, посчитай-ка добра! сундуки, чу, ломятся... Тоже вѣдь, сиротское все!

— Что̀ и говорить! Кащей-человѣкъ!

Старикъ еще въ самомъ началѣ этого потока обличающихъ за-

мѣчаній, торопливо поклонился отставному и, стараясь ни на кого не глядѣть, бѣгомъ спустился со ступеней на площадь.

— Ну, вы, тётки! чего стоите?! что́ младенцевъ домой не несете?! поди-ко переколѣли всѣ отъ холоду — маршъ домой! Живо! заговорилъ самодовольный отставной, обратившись въ нѣсколько начальственномъ тонѣ къ двумъ бабамъ съ младенцами на рукахъ.

— Пётра Кузьмичъ! господинъ Спица! майоръ ты нашъ милостивый! просительски заклянчили бабёнки: — ужь уважь ты, насъ, сиротъ—оставь младенцовъ-ту до завтрева!... Опослѣ обѣденъ—вотъ те христосъ — принесемъ!

— Ну, ну, ладно, ладно! безъ разговоровъ! это вздоръ, этого нельзя! строго отрѣзалъ господинъ Спица.

— Почему жь те нельзя? Мы вѣдь прокату твоей милости завсялды вѣрно, со всѣмъ уваженіемъ...

— Неси домой, сказано! перебилъ майоръ, начальственно топнувъ ногою.—Отдайте тамъ барынѣ, женѣ моей, да скажите, чтобъ накормила ихъ! А то вы—твари безчувственныя! на васъ положись только, такъ вы мнѣ всѣхъ младенцевъ переморите!

— Да завтра мы бы и за ранней и за поздней постояли бы... ноне выручки не больно-то казисты: еле-еле гривну въ обѣдню настоишь—самъ знаешь!...

— Врёте, колотовки! завтра родительская!—выручка лихая будетъ—поэтому назавтра прокату—сорокъ копѣекъ съ младенца, коли кто брать хочетъ! рѣшительнымъ тономъ объявилъ для всеобщаго свѣдѣнія майоръ Спица.

— Что́ жь такъ дорого? Несообразно больно! завсялды по пятнадцати, много-много ужь по двадцати брали; а нонѣ — нака-ся! Сорокъ! возражали недовольныя нищенки.

— Ну, стойте безъ младенцевъ, мнѣ все равно, заключилъ майоръ, показывая намѣреніе удалиться.

— Да ты что́, батюшко, больно кочевряжешься со своеми младенцами-ту? замѣтилъ ему косоглазый и криворукій слюняй.—Твой товаръ нашимъ бабамъ небольно-то еще и подходячій. — Потому у твоехъ младенцевъ лицо чистое, а намъ на руку то́, коли младенцу все лицо язва источила... За язвленнаго въ родительскую точно

что, можно копѣекъ тридцать-пять, а за твоехъ — больше четвертака не моги!

Майоръ отвѣтилъ слюняю только юпитеровскимъ, презрительно скошеннымъ взглядомъ.

— Опять же вонъ у Мавры и не горлодёра совсѣмъ, пояснила одна изъ заинтересованныхъ въ дѣлѣ бабёнокъ.

— Такъ что не горлодёра?! возразилъ недовольный майоръ. — Ну, щиини его, подлеца, полегоньку, или булавкой чуточку ткни—онъ тебѣ и будетъ кричать, сколько хочешь!

— Такъ какъ же, Пётра Кузьмичъ, возьми по четвертаку со штуки! пристали опять бабёнки.

— Тридцать-пять — и ни одной копѣйки меньше! порѣшилъ майоръ.

— Мы-те надбавимъ, ты намъ спусти—вѣстимо, дѣло торговое, полюбовное... Хочешь тридцать, да на косушку взадатокъ?

Майоръ колебался. Косушка дѣйствовала соблазнительно.

— Ну, ужь такъ и быть, черти! Право, черти! согласился Петръ Кузьмичъ, махнувъ рукою. — Себѣ въ убытокъ отдаю... Вынимай же, что ль, на косушку, да тащи ребятъ къ барынѣ... Скажи, что я скоро буду—знакомаго встрѣтилъ, чаю напиться зашелъ...

На гауптвахтѣ барабанщикъ пробилъ повѣстку къ вечерней зорѣ. Публика паперти очнулась и побрела въ разныя стороны, направляясь преимущественно къ Полтарацкому кабаку и перекусочнымъ подваламъ.

II

Перекусочный подвалъ

Въ промежуткѣ торговыхъ навѣсовъ и каменныхъ домовъ лѣвой стороны образовалось нѣчто въ родѣ переулка, который въ теченіе дня переполненъ группами закусывающаго люда. Закусываютъ на ходу или стоя, передъ грязноватыми лотками со всякой всячиной. Днемъ тутъ — неугомонное, непрерывное движеніе; вечеромъ же царствуетъ тьма и пустота, ибо тѣ же самыя, вѣчно стоящія и вѣчно бродящія группы сѣраго народа передвигаются нѣсколько дальше —

къ Полтарацкому дому и Тапровскому переулку. Тьма перекусочнаго ряда всегда пребываетъ неизмѣнною, потому что крыши зеленыхъ навѣсовъ заслоняютъ собою свѣтъ газовыхъ рожковъ. Этотъ импровизованный переулокъ служилъ для нищей братіи обычнымъ, переходнымъ путемъ отъ паперти Спаса до Полтарацкаго дома *).

Мокрый снѣгъ пополамъ съ мелкимъ дождемъ зарядили надолго. Туманъ и холодъ... Дикій воздухъ, дикій вечеръ и все какое-то дикое, угрюмое...

Вонъ потянулась нищая братія.

Впереди всѣхъ — голодною походкой, и частыми, широкими шагами забираетъ прямо по лужамъ высокая тощая фигура старухи. Она кое-какъ прикрываетъ дырявымъ платкомъ свою идіотку. Идетъ потупясь, ни на кого не глядитъ, и только сжимаетъ въ кулакѣ нѣсколько собранныхъ грошей, словно боясь, чтобы у ней кто не отнялъ ихъ. Вслѣдъ за этимъ, далеко опередившимъ остальныхъ, авангардомъ, подпрыгивали мальчишки и дѣвчонки, разбрасывая ногами брызги во всѣ стороны; тянулись и ковыляли убогіе кривыши, костыльники, сухоруки, нѣмтыри, и такъ называемые — слѣпенькіе. Салопницы — также аристократія нищенства — отдѣлились гораздо раньше и пошли въ разбродъ: кто на Вознесенскій, кто въ Гороховую: зато ходебщики «на построеніе» оставались при главномъ корпусѣ кривышей и костыльниковъ, купно съ Ѳомушкой-блаженнымъ и Макридой-странницей. Шествіе всей этой оравы убогихъ, грязныхъ, дырявыхъ заплатъ и вопіющаго о хлѣбѣ безобразія замыкало собою, въ видѣ аріергарда, безногое, цѣпко-ползущее существо, какое-то пресмыкающееся, скорѣе гномъ, нежели человѣкъ — гномъ, напоминающій чернаго большого жука, что̀ съ тяжкимъ усиліемъ, медленно и бочко̀мъ забираетъ впередъ своими неуклюжими лапами. Это былъ горбатый ёжъ, называвшій себя Касьянчикомъ-ста̀рчикомъ.

— Ѳома, а, Ѳома? пискнулъ онъ своей болѣзненно-надорванной

*) Нынѣ одна часть принадлежитъ князю Вяземскому, другая — Котомину, у старожиловъ Сѣнной до сихъ поръ извѣстенъ подъ именемъ Полтарацкаго дома.

фистулой, остановясь на краю широко-разлившейся лужи, словно тараканъ, обведенный кружкомъ воды.

Ѳома не слышалъ и продолжалъ шлёпать сапожищами.

— Ѳомка-чортъ! съ раздраженіемъ крикнулъ безногій, пустивъ ему вдогонку рыхлый комокъ снѣгу.

— Я-у! отозвался какимъ-то лаемъ блаженный.

— Кулькóмъ хочу — чижалó ползти: лужица... отрывисто и съ передышкой пояснилъ свою надобность Касьянчикъ.

Ѳомушка-блаженный захватилъ безногаго своею сильною лапищей, и словно куль муки взвалилъ его сразу къ себѣ на спину, зашагалъ черезъ лужу кратчайшимъ путемъ къ главному корпусу.

— Ночуемъ нóне какъ? По купечеству къ кому, что ли, пойдемъ, али такъ, въ ночлежныхъ? Госвѣдомился старчикъ за плечами.

— Нѣ! Увеселиться желаю! порѣшилъ блаженный, чтò означало у него всеночный загулъ въ честной компаніи. — А тебѣ только бы кочерыжки свои распаривать по хозяйскимъ лежанкамъ! презрительно укорилъ онъ безногаго, спускаясь съ нимъ въ преисподняя перекусочнаго подвала по облѣденелой и сплошь забитой нанесеннымъ снѣгомъ лѣстницѣ.

— Сàла! Сàла!... Горшковъ! Молока! завопилъ Ѳомушка продавщицкимъ речитативомъ, въ припрыжку вертясь по подвалу со своимъ кулькòмъ-Касьянчикомъ.

— Продай молока! Молока давай! приступила къ нему почти вся сбродная орава дѣтей и взрослыхъ, и къ спинѣ старичка потянулось нѣсколько десятковъ рукъ и ручонокъ, причемъ каждая норовила дернуть, щипнуть или колупнуть безногаго.

— Стопъ-машина! скомандовалъ Ѳомушка, поднявъ кверху указательный палецъ. — Вамъ чего? Молока?

— Молока, Ѳомушка, молока! опять приступила орава.

— Погоди, народъ! Еще не доили быка! съострилъ блаженный, спуская на полъ Касьянчика — и орава дружно зарыгогала.

Въ перекусочномъ подвалѣ столпилось изрядное количество народа, такъ что становилось весьма тѣсновато и душно.

Подвалъ являлъ собою низкую, почти квадратную комнату со

сводами, узенькія тусклыя оконца которой приходились какъ разъ подъ потолкомъ, въ уровень съ тротуаромъ, ибо стѣны этой комнаты были выведены въ землѣ подъ уровнемъ уличнаго грунта. Правый уголъ занимала огромная русская печь, пылавшая красными языками жаркаго пламени, которое замѣняло собою освѣщеніе. Тамъ нагрѣвались чугуны съ похлебкой и горохомъ, и шипѣла на сковородѣ салакушка. Пареная треска вмѣстѣ съ горькимъ запахомъ жарящагося масла и кислой, квашеной капустой исполняли этотъ трикликіумъ такого аромата, что у голодной оравы нищихъ отъ аппетита судорожно передергивало скулы. Паръ отъ печи, масла и дыханія валилъ густыми клубами въ настежь растворенную дверь, служившую съ улицы, между прочимъ, проводникомъ грязи, дождя и снѣга, которые свободно залетали сквозь нея въ этотъ пріютъ голодныхъ отребьевъ петербургской жизни. Низенькія стѣны, по которымъ убійственная сырость расписала свои темно-зеленыя жилы, потёки и цѣлые оазисы прыщевидныхъ пупырышковъ-грибковъ, украшались, кромѣ этой естественной живописи, еще и суздальскими литографіями, гдѣ сквозь густые слои сурика и охры съ трудомъ можно было разобрать «геену огненную и «царя Соломона-премудраго».

У печи возился поваръ, скорѣе похожій на пароходнаго кочегара, чѣмъ на повара, и въ суровомъ молчаніи удовлетворялъ требованія своихъ потребителей, зачерпывая жестянымъ ковшомъ кому похлебки, кому гороху, причемъ предварительно взималась условная плата, полторы копѣйки съ порціи. Немногія мѣста у стѣнъ на скамейкахъ были уже заняты, такъ что большинство должно было стоя лакать свою похлебку прямо изъ деревянныхъ посудинъ. Въ одномъ углу сидѣла высокая старуха и кидала огрызки своей идіоткѣ, которая, не разбирая, пожирала ихъ съ торопливой жадностію шарманочной обезьяны.

Вообще весь этотъ подвалъ представлялъ какую-то дикую берлогу, озаренную краснымъ отблескомъ мигающаго пламени—берлогу, гдѣ совершалось не менѣе дикое кормленіе голодныхъ звѣрей. Тутъ насыщали себя только паріи нищенства, которые не могутъ тратить на свое пропитаніе заразъ болѣе полуторы или много—двухъ копѣекъ. Все же прочее забирало въ подвалѣ только перекуску,

въ родѣ студеня, бычачьихъ гусаковъ, да трески пареной и, завернувъ эти снѣди, если не въ бумагу, то въ полу одежды, отправлялось ужинать въ Полтарацкій, который являлъ въ себѣ несравненно болѣе комфорта, ибо, по естественному своему предназначенію, изобиловалъ водкой, вмѣщалъ пріятное общество и даже иногда оглашался звуками приватнаго гитариста.

III

Полтарацкій

Въ Полтарацкій надо было не спускаться въ преисподняя, но подыматься почти что въ бель-этажъ—и вотъ туда-то, подъ предводительствомъ Ѳомушки, направилась теперь изъ перекусочнаго подвала ватага ходебщиковъ, калѣкъ и убогихъ.

Чуть передъ этой компаніей завизжала на блокѣ гостепріимная дверь кабака, чуть только обдало ее спиртуозными испареніями, какъ вдругъ свершилось великое чудо: слѣпые прозрѣвали, нѣмтыри получали прекрасный даръ слова, кривыши выпрямлялись, сухоруки, костыльники и всякіе другіе калѣки убогіе нежданно-негаданно исцѣлялись, становились здоровыми, крѣпкими людьми, и вся эта метаморфоза, все это чудо великое совершалось вдругъ, въ одно мгновеніе ока отъ одного лишь чудодѣйственнаго вѣянія полтарацкой атмосферы. Одинъ только ёжъ—Касьянчикъ-старчикъ не измѣнялъ своему убожественному горбу и безножію—и то потому, что, въ самомъ дѣлѣ, былъ человѣкъ горбатый и безногій.

— А! Грызунчики! Грызуны! Грызуны привалили! Много ль находили, много ли оконъ изгрызли? Псковскіе баре, витебскіе баратники! *) Ахъ вы братія—парчовое платіе! Наше вамъ, съ китткомъ одинадцать, съ рѣдькой пятнадцать! Добро пожаловать, грызунчики! Милости просимъ, камерцыю поддержать!

---

*) Грызуны—общее прозваніе нищихъ. Грызть окна—просить милостыню—примѣняется преимущественно къ нищимъ, что слоняются по деревнямъ подъ окнами; но отъ нихъ перешло, какъ ироническое дразненье, и на всѣхъ нищихъ вообще, которыми снабжаютъ Петербургъ по преимуществу губерніи Псковская и Витебская.

Таковъ былъ привѣтственный взрывъ восклицаній, которыми полтарацкіе завсегдатаи встрѣтили нищенскую ораву, неперестававшую одинъ за другимъ подваливать къ стойкѣ, съ лаконическими требованіями косушекъ. Нѣкоторые изъ братіи недостававшую сумму денегъ дополняли карманными платками; одинъ даже предъявилъ очень хорошій портсигаръ, что, безъ сомнѣнія, составляло негласные трофеи «притворнаго» стоянія. Трофеи эти мгновенно исчезали за кабацкою стойкой.

Сивушный паръ; густая толпа передъ стойкой; многочисленныя группы за отдѣльными столиками; крупный, смѣшанный говоръ, женскія восклицанія, порою хлёстъ побоевъ и вопли; копоть отъ непокрытой стеклянным колпакомъ лампы; въ сторонѣ — маркитантъ съ горкой разныхъ закусокъ—преимущественно ржаныхъ сухариковъ, ржавой селедки и соленыхъ огурцовъ, раздробленныхъ на мелкіе кусочки — наконецъ, шмыганье подозрительныхъ личностей съ *темнымъ товаромъ*; суетливая бѣготня подручныхъ да подносчиковъ, собирающихъ порожнія посудины, и обычныя отвратительныя сцены въ конецъ опьянѣвшихъ субъектовъ, изъ которыхъ нѣкоторымъ тутъ же гласно, всенародно обчищаютъ карманы, сдираютъ одежду и обувь—вотъ та мутная, непривлекательная картина, какую съ перваго взгляда представляетъ знаменитый въ лѣтописяхъ петербургскихъ трущобъ—кабакъ Полтарацкій.

Нищіе разсѣлись какъ попало: кто на подоконникъ со своимъ студнемъ, кто, за недостаткомъ столовъ, даже и на полу, въ уголокъ приткнувшись; одна только компанія Ѳомушки, состоявшая изъ Макриды съ Касьянчикомъ, и криворукаго, косоглазаго слюняя съ двумя нѣмтырями, заняла отдѣльный столъ для своей трапезы. Эти ужины нищей братіи возбуждали сильное неудовольствіе маркитанта, видѣвшаго въ нихъ подрывъ своей коммерціи.

Въ компаніи Ѳомушки щелъ разговоръ о двуручничаньѣ худощаваго старика-халатника въ то время, какъ къ блаженному подошелъ, одѣтый въ партикулярное платье высокій, рыжій человѣкъ, угрюмаго выраженія въ злобныхъ глазахъ изподлобья, и безцеремонно опустился подлѣ него на скамейку, отодвинувъ для этого, словно какую вещь, Касьянчика-старчика.

— Чего тебѣ, Грѣчка? отнесся къ нему своимъ обычнымъ лаемъ Ѳомушка.

— Ничего; звони, знай, какъ звонилось [1]), а мы послушаемъ, отрѣзалъ Грѣчка и разсѣлся такимъ образомъ, что явно обнаружилъ намѣреніе слушать и присоединиться къ разговору.

— Надоть ему безпремѣнно ломку, чтобъ не двуручничалъ, продолжалъ косоглазый слюняй.

— Кому это? освѣдомился Грѣчка.

— Хрычъ тутъ одинъ есть такой — богачей, сказываютъ, а самъ промежь насъ кажинную субботу за всенощной христарадничаетъ— такъ, вотъ, говорю, ломку ему надо.

— Какой богачей?

— А вотъ — Ѳому спроси, онъ его знаетъ.

— Какой-такой богачей-то? повторилъ Грѣчка, отнесясь къ блаженному.

— Есть тутъ такой, неохотно отвѣчалъ этотъ: — Морденкой прозывается... скупердяище, не приведи богъ.

— Все это одна жадность человѣческая, любостяжаніе, замѣтила Макрида въ назидательномъ тонѣ.

— Да богачей-то онъ какъ же? добивался настойчивый Грѣчка.

— А тебѣ-то что «какъ же»? дѣтей крестить хочешь, что ли? Небось, на зубокъ не положитъ!

— Нѣтъ, потому — любопытно, объяснилъ Грѣчка.

— Любопытно... ну, въ ростъ капиталъ даетъ подъ проценту да подъ закладъ — вотъ-те и богачей!

— И много капиталу имѣетъ?

— Поди посчитай!

На этомъ разговоръ прекратился, и Грѣчка сосредоточенно сталъ что-то обдумывать.

— Подь-ка сюда! хлопнулъ онъ по плечу блаженнаго.

Они отошли въ сторону.

— Половину *сламу* [2]) хочешь? вполголоса предложилъ Грѣчка.

— За какой товаръ? притворился Ѳомушка.

---

[1]) *Звонить*—говорить.

[2]) Доля добычи.

— Ну, за вашего... какъ его... Морденку, что ли?

— А какъ шевелишь, другъ любезный: на сколько онъ ворочаетъ? прищурился нищій.

— *Косуль* [1]) пять зелёжныхъ будетъ — и ладно.

— Мелко плаваешь!... Сто, а не то два ста — вонъ она штука! Грѣчка выпучилъ глаза отъ изумленія.

— *Труба!... зубы заговариваешь* [2])! пробурчалъ онъ.

— Вотъ-те святая пятница — вѣрно! забожился Ѳомушка.

— Ну, такъ *лады!* [3]) на половину, что чи?

— *Стачка* [4]) нужна, раздумчиво цмокнулъ блаженный.

— Вотъ-те и стачка, согласился Грѣчка. — Первое: — твое дѣло — сторона; за *подводъ* половину сламу; ну, а остальное беру на себя: я, значитъ *въ помадѣ* [5]), я и въ отвѣтѣ.

— А коли *на фортункѣ къ Смольному затылкомъ* [6]), тогда какъ? попробовалъ огорошить его Ѳомушка. Грѣчка презрительно скосилъ на него свои маленькіе злые глаза.

— Что, *слаба* [7]) вѣрно? усмѣхнулся онъ.—Трусу празднуемъ? Не бойся, милый человѣкъ: свою порцыю миногъ сами съѣдимъ [8]), съ тобою дѣлиться не станемъ! аппетиту хватитъ!

Ѳомушка подумалъ. Товарищъ казался подходящимъ и надежнымъ.

— Миноги, стало быть, за себя берешь? торговался онъ.

— Сказано, съѣмъ! огрызся товарищъ. — Мы-то еще поѣдимъ, либо нѣтъ — бабушка надвое говорила... Раньше насъ — пущай другихъ покормятъ; много и безъ насъ на эту ваканцыю найдется,

---

[1]) *Косуля*—тысяча.

[2]) *Труба!*—вздоръ, пустяки. *Зубы заговаривать*—сбивать съ толку, отводить глаза.

[3]) *Лады*—идетъ! хорошо, согласіе.

[4]) *Стачка*—сдѣлка, уговоръ, условіе.

[5]) *Сдѣлать подводъ*—устроить предварительную подготовку для дѣла, указать всѣ необходимые пути, дать нити въ руки. *Помада*—самое дѣлопроизводство во время воровства.

[6]) *Проѣхать на фортункѣ къ Смольному затылкомъ*—на петербургскомъ argot означаетъ торжественный поѣздъ преступника къ эшафоту, на Конную площадь. *Фортунка*—позорная колесница.

[7]) *Слаба!*—восклицаніе, выражающее укоръ въ нерѣшительности и трусости.

[8]) *Ѣсть миноги*—принять наказаніе плетьми.

а мы по вольному свѣту покружимся, пока Богъ грѣхамъ терпитъ! разсуждалъ онъ, ухмыляясь.

— Ну, коли такъ, такъ лады! порѣшилъ Ѳомушка и ладони ихъ соединились.

— Майора Спицу знаешь? продолжалъ онъ уже интимнымъ тономъ. — Этотъ самый майоръ, значитъ, первый ему другъ и пріятель... Отъ него мы всю подноготную вызнаемъ насчетъ нашего клею.

— Какъ! и ему тырбанить? [1]) съ неудовольствіемъ насупился Грѣчка. Онъ уже считалъ деньги Морденки, въ нѣкоторомъ родѣ, своею законною собственностью.

Ѳомушка свиснулъ и показалъ шишъ.

— Насъ съ тобой мать родная нешто дураками рожала? возразилъ онъ. — Больно жирно будетъ всякому съ дуру тырбанить — этакъ, гляди, и къ дядѣ на поруки до дѣла попадешь [2]). А мы вотъ какъ: *у херова* дочиста вызнаемъ, потому какъ онъ *запивохинъ*, такъ мы ему только селяночку, да штофъ померанцовой горькой — и готово [3]).

— *Ходитъ!* согласился и одобрилъ Грѣчка. — А гдѣ же поймать-то его? домекнулся онъ. — Надо бы *работить* поживѣе [4]).

— Въ секунтъ будетъ! съ убѣжденіемъ увѣрилъ блаженный. — Онъ, значитъ, *осюшникъ* [5]) на косушку сгребалъ, за младенцевъ заручился — и теперича нигдѣ ему нельзя быть окромя какъ въ Сухаревкѣ.

— Стало быть махаемъ? предложилъ Грѣчка.

— Махаемъ! охотно согласился Ѳомушка — и два новые друга немедленно же удалились изъ полтарацкаго.

---

[1]) И съ нимъ дѣлиться долей добычи?

[2]) *Попасть къ дядѣ на поруки* — угодить въ тюрьму.

[3]) *Херый* — пьяный, *запивохинъ* — пьяница.

[4]) *Ходитъ!*—то же, что *лады*—идетъ! согласенъ. *Работить*—обдѣлывать дѣло.

[5]) *Осюшникъ*—двугривенный.

IV

Сухаревка

Высокая надворная стѣна четырехъэтажнаго дома, который съ уличнаго фасада смотритъ еще нѣсколько сносно, представляла почти невозможное и весьма опасное явленіе. Человѣку свѣжему и непривычному трудно было бы взглянуть безъ невольнаго ужаса на этотъ уголъ, выходящій на первый изъ многочисленныхъ и лабиринтообразныхъ дворовъ Вяземскаго дома. Представьте себѣ этотъ уголъ, образуемый двумя громадными каменными стѣнами, который далъ трещины во всю вышину четырехъэтажнаго зданія, и вслѣдствіе этихъ трещинъ вы видите, какъ покоробило эти двѣ соприкасающіяся стѣны, какъ одна изъ нихъ выдалась впередъ, наружу — цементъ не выдержалъ — и связь между кирпичами двухъ сосѣдокъ порвалась — того и гляди, что въ одинъ прекрасный часъ, вся эта гниль, вся эта насквозь пробрюзгшая стѣна рухнетъ на вашу голову. Она и то разрушалась себѣ понемножку. Штукатурка давнымъ-давно отстала и почти вся отвалилась. Нѣтъ-нѣтъ, да гляди, и упадетъ откуда-нибудь новый кусище, обнаружа послѣ себя неопредѣленнаго цвѣта кирпичи, которые, словно червь источила и проѣла насквозь прѣлая сырость. Вмѣстѣ со штукатуркой валится иногда и гнилой кирпичикъ. Въ крѣпкіе морозы, вся стѣна бываетъ покрыта слоемъ льда, а въ оттепели — извилистыми потёками воды, которую источаютъ изъ себя эти самые кирпичи, до новой заморози. И вотъ къ этой-то стѣнѣ прилажена снаружи каменная лѣстница, болѣе удобная для увеселительнаго спуска на салазкахъ, чѣмъ для всхода естественнымъ способомъ, ибо вся была покрыта толстымъ слоемъ намерзлой и никогда несоскабливаемой грязи. Лѣстница эта, примыкавшая лѣвою стороною къ стѣнѣ, съ правой стороны своей не была защищена никакими перилами, а вела она довольно крутымъ подъёмомъ во второй этажъ этого огромнаго дома, такъ что въ темную ночь, въ особенности хмѣльному человѣку, не было ничего мудренаго поскользнуться или взять немного въ сторону, для того чтобы неожиданно грохнуться внизъ и размозжить себѣ голову о камни. Но, несмотря на это видимое

неудобство, по головоломной лѣстницѣ то и дѣло спускались и поднимались разные народы, во всякое время дня и ночи. Лѣстница оканчивалась наверху узенькой, и точно также ничѣмъ неогороженной площадкой, передъ входною дверью, которая вела на корридоръ, въ благодатную Сухаревку.

Гниль и промозглая брюзгость — вотъ два необходимые и притомъ единственные эпитеты, которыми можно характеризовать все и вся этой части Вяземскаго дома. Прѣлая кислятина и здѣсь является необходимымъ суррогатомъ воздуха, какъ и во всѣхъ подобныхъ мѣстахъ, куда струя воздуха свѣжаго, неиспорченнаго, кажись, не проникала еще отъ самаго начала существованія этихъ пріютовъ. Некрашенные полы точно также давно уже прогнили, и половицы въ иныхъ мѣстахъ раздались на столько, что образовали щели, въ которыхъ могла бы весьма успѣшно застрянуть нога взрослаго человѣка, а ужь ребёнка и подавно. Ходить по этимъ поламъ тоже надобно умѣючи, ибо доски столь много покоробились, покривились, иныя вдались во внутрь, иныя выпятились наружу, что на каждомъ шагу являли собою капканы и спотычки каждому проходящему неофиту. Грязныя, дырявыя лохмотья и клочья какой-то матеріи замѣняли собою занавѣски на окнахъ, а эти послѣднія отличались такою закоптѣлостью, что въ самый яркій солнечный день тускло могли пропускать самое незначительное количество свѣта; по этой-то причинѣ, мутный полумракъ вѣчно господствовалъ въ Сухаревкѣ. Рваныя, поотстававшія и засырѣлыя обои — неопрятными полотнищами висѣли по стѣнамъ въ самомъ неуклюже-безобразномъ видѣ. Вся остальная обстановка, со всѣми харчевенными атрибутами, какъ нельзя болѣе гармонично соотвѣтствовала этимъ обоямъ, поламъ и занавѣскамъ.

Въ средней, то-есть наиболѣе чистой комнатѣ — если только можно примѣнить къ ней слово «чистая», ибо и тутъ стояла полуразрушенная, почернѣлая отъ копоти и сажи голландская печь— возсѣдали двѣ личности, уже нѣсколько извѣстныя читателю. Это были: майоръ Спица и Иванъ Ивановичъ Зеленьковъ, сохранившій еще доселѣ свой «приличный костюмчикъ» и неизмѣнно «халуйственную» физіономію. Оба знакомца разговаривали о чемъ-то, какъ

видно было, весьма по душѣ. Майоръ взиралъ на Ивана Ивановича милостивымъ окомъ веселаго Юпитера, ибо Иванъ Ивановичъ угощалъ майора пивомъ.

— Доброму сосѣду на бесѣду! подойдя къ столу вмѣстѣ съ Грѣчкой, сказалъ Ѳомушка, обратившись къ майору:—примешь, что-ль, въ компанію, ваше высокоблагородіе? Штофъ померанцовой поставлю, потому сказано — нынѣ увеселимся духомъ своимъ.

Сладостное извѣстіе о померанцовой подѣйствовало, какъ и надо было ожидать, достодолжнымъ, то-есть самымъ благопріятнымъ образомъ. Ѳомушка съ Грѣчкой присоединились къ обществу майора. Двѣ-три рюмки еще болѣе умаслили надменно-свиные глазки господина Спицы и развязали ему языкъ. Онъ сталъ увѣрять Ѳомушку въ своей истинной любви и дружествѣ.

— А вѣдь мы двурушника-то побьемъ — вотъ-те колъ, а не свѣчка, коли не побьемъ! сказалъ между прочимъ Ѳомушка, ударивъ кулакомъ по столу.

Грѣчка притворился, будто не знаетъ о комъ и о чемъ заводитъ рѣчи блаженный, и потому поинтересовался узнать, кто этотъ двуручникъ. Ѳомушка сообщилъ. Зелёньковъ очень изумился.

— Какъ!... Такъ неужто онъ милостыню сбираетъ? воскликнулъ онъ.

— А ты его знаешь? вопросилъ блаженный, который имѣлъ привычку *тыкать* всѣмъ и каждому безъ разбору.

— Оченно даже, можно сказать, коротко, амбиціозно замѣтилъ Иванъ Ивановичъ, нѣсколько задѣтый этимъ тыканьемъ.

Ѳомушка налилъ ему рюмку. Амбиція господина Зеленькова смягчилась: онъ почувствовалъ даже нѣкоторую всепрощающую теплоту относительно Ѳомушки.

— Знакомъ, стало быть? въ видѣ поясненія спрашивалъ послѣдній.

— Личнымъ пользуюсь... комисіи всякія справлялъ, какъ, значитъ, закладывать поручали господишки разные.

— Къ самому, стало быть, хаживалъ?

— Хаживалъ, и на фатерѣ бывалъ; а живетъ же мерзостно — скупость-то что значитъ!

— Большую фатеру держитъ?

— Три комнаты, да кухня.

— Бобылемъ живетъ, али есть кто при немъ.

— Окромѣ куфарки — никого; двѣ персоны, стало быть; да сынъ иногда захаживаетъ.

Ѳомушка слегка толкнулъ Грѣчку. Тотъ какъ-бы невзначай крякнулъ, «смѣкаемъ, молъ». Но отъ зоркаго глаза Ивана Ивановича, это незамѣтное движеніе не ускользнуло. «Что-нибудь да не спроста», сообразилъ онъ мысленно и покосился на Спицу; но захмѣлѣвшій майоръ очень благодушно почивалъ, откинувшись на спинку стула.

— А недурно бы эдакъ тово... запустить лапу въ сундучокъ къ Морденкѣ-то? Кабы добрый человѣкъ нашелся! прицмокнувъ языкомъ, схитрилъ Иванъ Ивановичъ, не относясь собственно ни къ кому изъ присутствующихъ.

— Соблазнъ! со вздохомъ и столь же безотносительно откликнулся Ѳомушка.

Грѣчка ни словомъ, ни знакомъ не выразилъ своего участіе въ мысли Зеленькова; онъ только сдвинулъ свои брови, да понуро потупился.

Прошла минута размышленія.

— А гдѣ онъ живетъ? неожиданно спросилъ блаженный.

Зеленьковъ быстро, но пристально вскинулъ на него сообразительный взглядъ.

— Н... не знаю, право, гдѣ теперь... давно ужъ не былъ... не знаю... Слыхалъ, что переѣхалъ, нехотя отвѣчалъ онъ какимъ-то сонливо-апатическимъ тономъ, и для пущей натуральности даже зѣвнулъ.

Ѳомушка опять толкнулъ локтемъ своего сосѣда и наполнилъ рюмки.

— Это вы для меня-съ? Чувствительнѣйше благодаренъ и на томъ угощеніи, отказался Иванъ Ивановичъ, рѣшась быть осторожнѣе.

— Да ты пей, милый человѣкъ... будемъ мы съ тобою други называться, убѣждалъ нищій, насильно тыча ему расплесканную рюмку.

— Душа мѣру знаетъ... Какъ передъ Богомъ — не могу, вѣж-

ливо расшаркался Зеленьковъ съ видомъ сердечнаго сожалѣнія, и застѣнчиво сталъ тереть обшлагомъ свою пуховую шляпу.

— Ну, была бы честь предложена—отъ убытку Богъ избавилъ, полуобидчиво заключилъ блаженный и съ розмаху хлобыстнулъ одну за другой обѣ рюмки.

Иванъ Ивановичъ окончательно расшаркался и отошелъ къ китайскому бильярду, именуемому во всѣхъ заведеніяхъ этого рода «биксомъ».

— А вѣдь мухортикъ-то — штука [1]), вполголоса отнесся блаженный къ своему товарищу. — Смекалку, ишь-ты, какъ живо распространилъ... Изъ какихъ онъ?

— Надо полагать, изъ Алёшекъ [2]), сказалъ Грѣчка.

— А можетъ, и изъ Жоржей [3])?

— Гм!... Можетъ, и оно! Я его кой-когда встрѣчалъ-таки... Коли изъ Жоржей, такъ стало быть на особняка идетъ [4]), размышлялъ Грѣчка.

— А мы его, милый человѣкъ, захороводимъ [5]), потому—польза.

Грѣчка подумалъ и согласился на это предложеніе. Ѳомушка пожелалъ повѣрить свои соображенія и узнать обстоятельнѣе, кто и что̀ за птица сидѣвшій съ ними человѣкъ, для чего растолкалъ почивавшаго майора.

— Отмѣнный человѣкъ, полированный человѣкъ, хрипло пробормоталъ майоръ, пытаясь снова уснуть безмятежно. Остальныя свѣдѣнія кое-какъ добытыя отъ него Ѳомушкой, заключались въ фа-

---

[1]) *Мухортъ*, *мухортикъ*—партикулярный человѣкъ.

[2]) *Алёшка*—лакей.

[3]) *Жоржъ*—мошенникъ. Надо замѣтить, что мошенники наши никогда не именуютъ себя и свое сословіе мазуриками. Мазурикъ употребляется между ними только въ обидномъ, оскорбительномъ смыслѣ, какъ брань. Этимъ именемъ окрестило ихъ петербургское общество (въ Москвѣ—*жуликами*). Сами же себя мошенники называютъ *жоржами*, *военными артистами и жохами*. Послѣднее названіе прилагается къ мошенникамъ, временно находящимся въ крутыхъ, безденежныхъ обстоятельствахъ. *Ходить жохомъ*—въ нищетѣ, въ безденежьѣ, безъ пріюта.

[4]) *Ходить на особняка*—заниматься профессіей въ одиночку, безъ товарищей, не принадлежа къ ассоціаціи.

[5]) Примемъ въ компанію, запутаемъ, подговоримъ на воровство. *Захороводить*—спеціально означаетъ—подговорить на воровство прислугу въ домѣ, преимущественно посредствомъ напоенія.

миліи Ивана Ивановича, да въ томъ, что Иванъ Ивановичъ—человѣкъ нигдѣ неслужащій, а занимающійся разными коммиссіями.

— Дѣло на руку, рѣшили товарищи и отправились къ Зеленькову съ безцеремоннымъ предложеніемъ на счетъ Морденкиныхъ сундуковъ, основываясь на его же мнѣніи, что недурно бы запустить туда лапу.

Подобный опрометчивый поступокъ со стороны такихъ обстрѣленныхъ воробьевъ, для человѣка, незнакомаго съ нравами и бытомъ людей этого разряда, можетъ показаться болѣе чѣмъ страннымъ. А между тѣмъ, не взирая на великую свою хитрость и осмотрительность, заурядные мошенники отличаются часто совсѣмъ дѣтскою, поражающей наивностью. Но въ этомъ случаѣ не совсѣмъ-то наивность и опрометчивость руководили поступкомъ двухъ пріятелей. «Онъ насъ не знаетъ, мы его не знаемъ; деньги нужны всякому — никто себѣ не врагъ; а попадется да проболтается — знать не знаемъ, вѣдать не вѣдаемъ; и съ поличнымъ люди попадаются, да, вывертываются, благодаря *незнайкѣ*, такъ и мы авось увернемся, богъ милостивъ». Такимъ, или почти такимъ образомъ формулируются соображенія мошенниковъ въ обстоятельствахъ, подобныхъ настоящему. Убѣжденіе, что смѣлость города беретъ и возможность отпереться и не сознаваться, при самыхъ очевидныхъ уликахъ, помогаютъ имъ сходиться для общаго дѣла, съ людьми почти имъ незнакомыми, но въ которыхъ они провидятъ извѣстную долу существенной пользы.

Иванъ Ивановичъ, никакъ нождавшій столь прямаго подхода, сначало-было опѣшилъ, даже перетрухнулъ немного; «что-то вы, господа, какія шутки шутите»? Потомъ, видя, что товарищи отнюдь не шутятъ, а очень серьёзно и обстоятельно предлагаютъ ему весьма выгодную сдѣлку, Иванъ Ивановичъ впалъ въ своего рода гамлетовское раздумье: «быть, или не быть?» рѣшалъ онъ самъ съ собою.

— Ты, милый человѣкъ, не бойсь, ты только подводъ сдѣлай, укажи да разскажи, а дѣлопроизводствомъ другіе заниматься станутъ. Наше дѣло съ тобой — сторона; мы, знай, только деньгу получай, а черную работу подмастерья сварганятъ, убѣждалъ блаженный.

— Они въ дѣлѣ, они и въ отвѣтѣ, пояснилъ Грѣчка.

Иванъ Ивановичъ колебался. Хорошее дѣло деньги, а хорошій кушъ и того лучше; брючки бы новые сдѣлать, фрачекъ, жилетку лохматую, при часахъ съ цѣпочкой, и вообще всю приличную пару... пальто съ искрой пустить, кольцо съ брильянтомъ. Въ Екатерингофъ поѣхать... вина пить... Хорошо, чортъ-возьми, все это! А попадешься? Что жь такое попадешься? Дураки попадаются, а умный человѣкъ никогда не долженъ даже этого подумать себѣ, не токмо-что допустить себя до эдакова поношенія, можно сказать!»

Такія-то соображенія и картины относительно разныхъ удовольствій и костюмовъ — молніей мелкали въ головѣ Зеленькова.

«Кабы мы тебя на убивство подбивали, ну, ты тогда не ходи; а то вѣдь мы не убивать же хотимъ человѣка, а только деньжатъ перехватить малость, стало быть, тутъ грѣха на душу нѣтъ, убѣждалъ блаженный.

«И въ самомъ дѣлѣ, согласился мысленно Иванъ Ивановичъ:— вѣдь украсть — не убить! А въ эвтимъ дѣлѣ, кто Богу не грѣшенъ, царю не виноватъ?»

— Кабы онъ еще былъ человѣкъ семейный, въ потѣ лица питаяйся, продолжалъ Ѳомушка, пуская въ ходъ свое краснорѣчіе, которое обыкновенно очень умиляло людей, вѣрующихъ въ его подвижничество и юродство: — ну, тогда бы посягнуть, точно что грѣхъ: у нища и убога сиротское отъяти. А вѣдь онъ аспидъ, кровопивца, неправымъ стяжаніемъ владаетъ; а въ писаніи что сказано? — лихоимцы, сребролюбцы, закладчики — въ геену огненную! Вотъ ты и суди тутъ!.... Вѣдь онъ, не сегодня-завтра помретъ— съ собой не возьметъ, все здѣсь же оставитъ, волкамъ на расхищеніе — такъ не все-ль одна штука выходитъ? Лучше же пущай намъ, чѣмъ другимъ достается.

Это точно что, это вы правильно, мотнувъ головой, поддакивалъ Иванъ Ивановичъ, и въ концѣ-концовъ далъ свое согласіе на дѣло. Передъ нимъ еще ярче, еще привлекательнѣе замелькали разные брючки, фрачки и тому подобные изящные предметы.

V

Патріархъ мазовъ

Въ это время мимо вновь созданнаго тріумвирата прошелъ самоувѣренно-тихою и степенно-важною поступью благообразный маститый старикъ, въ долгополомъ кафтанѣ тонкаго синяго сукна. Видно было человѣка зажиточнаго, солиднаго, который знаетъ себѣ цѣну и умѣетъ держаться съ ненарушимымъ достоинствомъ. Этотъ высокій лысый лобъ, на который падала вьющаяся прядка мягкихъ серебристыхъ волосъ, эти умные и проницательные глаза, широкая и длинная борода, столь же сѣдая какъ и волосы, наконецъ строгій и въ то же время благодушный ликъ придавали ему какой-то библейскій характеръ—кажись, такъ бы взять да и писать съ него Моисея, какого-нибудь пророка или апостола. При появленіи его, нѣкоторые изъ присутствующихъ почтительно встали и поклонились. Старикъ отвѣтствовалъ тоже поклономъ, молчаливымъ и благодушнымъ.

— А, патріархъ!... Се, патріархъ грядетъ, воскликнулъ Ѳомушка, и скорчивъ умильную рожу, съ ужимками подошелъ къ нему, заградивъ собою дорогу.

Старикъ пріостановился и медленно поднялъ на него свои полуопущенные взоры.

— Что чертомелишь-то, кощунъ! дурень! тихо сказалъ старикъ внушительнымъ тономъ и строго сдвинулъ свои сѣдыя, умныя брови.

— Потому нельзя, никакъ нельзя иначе, оправдывался нищій.

Старикъ болѣе не удостоилъ блаженнаго никакимъ словомъ, но слегка отстранилъ его рукою и прошелъ въ смежную комнату, откуда, сквозь затворенную дверь, слышна была циническая пѣсня, которую горланили около десятка дѣтскихъ голосовъ.

— Ваше степенство! Провъ Викулычъ! не откажи въ совѣтѣ благомъ—дѣло есть, остановилъ его въ дверяхъ вновь подскочившій Ѳомушка и подалъ знакъ своимъ двумъ товарищамъ, чтобы тѣ слѣдовали за нимъ въ смежную комнату.

Въ этомъ высокомъ, сановитомъ старикѣ читатель можетъ узнать

стараго знакомаго—ершовскаго буфетчика. Провъ Викулычъ, по всей справедливости, могъ носить титулъ патріарха мазовъ *). Нѣсколько лѣтъ назадъ онъ оставилъ свою буфетческую должность и «отошелъ на покой». Извѣстно было, что онъ сколотилъ себѣ весьма изрядный капиталецъ; но гдѣ и какъ хранились его деньги—того никто не вѣдалъ. Онъ, будучи одинокимъ человѣкомъ, занималъ со своею кухаркою небольшую, но опрятную квартиру въ одномъ изъ сосѣднихъ домовъ и главнымъ украшеніемъ жилища его служило божіе милосердіе въ серебряныхъ окладахъ, съ вербными херувимами, страстными свѣчами, фарфоровыми яйцами и неугасимой лампадой. На полкѣ присутствовали избранныя книги, служившія постояннымъ и любимымъ чтеніемъ хозяину. Тутъ были святцы, четіи-минеи въ корешковыхъ переплетахъ съ застежками, и два тома изъ Свода Законовъ—десятый и пятнадцатый. Провъ Викулычъ былъ отмѣнный начетчикъ, искусный диспутантъ и великій юристъ. Онъ съ полнымъ убѣжденіемъ и вѣрою исполнялъ обряды религіи, очень усердно посѣщалъ въ каждый праздникъ храмъ божій, соблюдалъ среды и пятницы и всѣ посты, а говѣлъ четырежды въ годъ, неукоснительно. И это — по чистой совѣсти, никто изъ знавшихъ его не могъ бы назвать фарисейскимъ лицемѣріемъ: все сіе творилъ онъ по внутреннимъ побужденіямъ, совершенно искренно. Великимъ грѣшникомъ также себя не считалъ, ибо въ жизнь свою не сотворилъ ничего противъ заповѣдей «не убій» и «не укради»; а перекупку завѣдомо-краденыхъ вещей, которую съ перемѣною званія совсѣмъ оставилъ, онъ не почиталъ подходящею подъ осьмую заповѣдь, тѣмъ болѣе, что все стяжаніе свое намѣревался по смерти завѣщать въ разные монастыри, буде самъ не успѣетъ принять санъ монашескій, о чемъ всегда любилъ мечтать съ особенной усладой душевной. Любимымъ занятіемъ Прова Викулыча были религіозныя препиранія съ раскольниками; здѣсь онъ входилъ въ истинный, даже ожесточенный паѳосъ, особенно когда могъ побивать противника на основаніи текстовъ писанія. Капи-

*) *Мазами* называются мастера, опытные во всѣхъ отношеніяхъ воры, прошедшіе многоразличный практическій и юридическій курсы. Они заправляютъ, распоряжаются дѣломъ во время производства воровства, дѣлятъ добычу, обучаютъ молодыхъ воровъ, стоятъ во главѣ шайки, и вообще играютъ роль главнокомандующаго, атамана.

тала своего Провъ Викулычъ не трогалъ, а жилъ, такъ-сказать, на общественномъ иждивеніи. Мы уже сказали, что онъ былъ великій юристъ. Всевозможные статьи, параграфы и пункты, особенно пятнадцатаго тома, были знакомы ему въ совершенствѣ. Знаніемъ всей казуистики, всѣхъ ходовъ и закорючекъ полицейскихъ и судебныхъ мѣстъ, владѣлъ онъ съ замѣчательною прозорливостію. Но «хожденій по дѣламъ» и стряпчества Провъ Викулычъ на себя не принималъ. Онъ обучалъ только приходящихъ къ нему за совѣтомъ мошенниковъ. Если который изъ нихъ попадался подъ слѣдствіе—училъ всевозможнымъ отводамъ, указывалъ тайныя лазейки и всѣ тѣ пункты закона, которые хотя мало-мальски могли послужить въ пользу подсудимаго. Слѣдуя словамъ писанія, которое повелѣваетъ посѣщать въ темницѣ заключенныхъ, онъ навѣщалъ иногда знакомыхъ арестантовъ, для освѣдомленія о ходѣ ихъ дѣлъ и подачи благихъ совѣтовъ. Если арестанту хотѣлось на поруки—Провъ Викулычъ, какъ личность ни въ чемъ зазорномъ незамѣченная и подъ судомъ и слѣдствіемъ несостоящая, являлся поручителемъ, даже деньги свои давалъ иногда въ долгъ, когда подсудимый могъ отдѣлаться взяткою, а наличныхъ не имѣлъ. И кажется, не было примѣра, чтобы деньги эти впослѣдствіи ему не возвращались. Если задумывалось какое-нибудь ловкое, сложное и рискованное предпріятіе, знакомые мошенники почти всегда предварительно шли къ нему за совѣтомъ. Провъ Викулычъ сметливымъ окомъ своимъ соображалъ и обдумывалъ дѣло, давалъ опытный и умный совѣтъ, какъ ловче, тоньше и безопаснѣе его обдѣлать, приводилъ закорючки и пункты, которые могутъ служить и pro и contra, въ данномъ случаѣ, и какъ скоро предпріятіе удавалось—получалъ свою долю благодарности. Такимъ-то способомъ и жилъ онъ на общественномъ иждивеніи. Крайне осторожный и осмотрительный, онъ сохранилъ себѣ офиціально «честное имя» и былъ твердо увѣренъ, что никогда и ни въ чемъ не попадется. Еслибъ вы назвали его мошенникомъ, онъ бы до глубины души оскорбился, ибо съ полнымъ убѣжденіемъ почиталъ себя честнымъ человѣкомъ и истиннымъ христіаниномъ. «Возлюби ближнія своя», неоднократно повторялъ онъ, какъ свое нравственное убѣжденіе, и на этомъ основаніи помогалъ мошенникамъ, раздавалъ нищимъ ми-

лостыню. Жоржи чтили въ немъ истиннаго своего благодѣтеля и называли патріархомъ мазовъ.

Мое тѣло — тѣло бѣло
Разгуляться захотѣло —

отхватывали сиплые дѣтскіе голосенки въ отдѣльной непроходной комнатѣ, когда за порогъ ея ступилъ Провъ Викулычъ и компанія Ѳомушки.

Опрокинутые стулья, чайный приборъ, пивныя бутылки и водка служили признаками оргіи, происходившей въ этомъ уголкѣ. Съ десятокъ мальчишекъ отъ десяти до пятнадцатилѣтняго возраста, въ самыхъ разнокалиберныхъ костюмахъ, наполняли небольшую горницу. Нѣкоторые изъ нихъ были положительно пьяны. Посрединѣ происходила пляска. Двѣнадцатилѣтній мальчикъ отхватывалъ въ присядку трепака передъ женщиной, еще молодой и даже недурной когда-то, на которой, однако, уже неизгладимо лежало отталкивающее клеймо разврата. Ея испитое, горящее хмѣльнымъ румянцемъ лицо вполнѣ гармонировало съ такими же испитыми лицами мальчишекъ. Подлѣ танцующей пары ухарски возсѣдалъ на табуретѣ одинъ взрослый и своими восклицаніями поощрялъ безобразную пляску.

— Цыцъ, вы, чертенята! Брысь подъ печку! топнулъ на нихъ Провъ Викулычъ.—У добрыхъ людей пятница, а они срамныя пѣсни орутъ!

— Бѣса плясовицею и скаканіемъ тѣшатъ! примолвилъ отъ себя богобоязненный Ѳомушка.

Ребятишки немного притихли, взрослый почтительно привсталъ съ табурета, а плясунья удалилась за двери даже съ нѣкоторою робостью, потому Провъ Викулычъ бабъ не любилъ.

— Что у васъ за кагалъ тутъ жидовскій? нѣсколько благосклонѣе спросилъ онъ, съ достоинствомъ разсѣвшись на диванѣ.

— А вотъ — звонковъ *) обучаю... Хотите — икзаметъ можно сдѣлать? съ улыбкой отозвался взрослый, красивый парень лѣтъ двадцатипяти, въ камлотовомъ пиджакѣ.

— Не «икзаметъ», а экзаменъ; слово греческое, докторальное

---

*) *Звонокъ*, *звонъ*, *малольтокъ*, *жуликъ* — ученикъ мошенника. Жулики называются уже тѣ изъ учениковъ, которые могутъ ходить на дѣло.

педантически и совсѣмъ уже благосклонно поправилъ патріархъ, любившій иногда щегольнуть своимъ знаніемъ и начитанностью.

Камлотовый пиджакъ, сознавая ученое превосходство патріарха, скромно ухмыльнулся и провелъ рукой подъ носомъ.

— Ну, дѣлай, пожалуй; а я погляжу, да вотъ съ добрыми людьми покалякаю, согласился старикъ, приглашая компанію Ѳомушки подсѣсть поближе къ дивану.

Ѳомушка «сдѣлалъ уваженіе» ему рюмкой мадеры, которою всегда эти господа угощаютъ такихъ сановитыхъ людей, и которую очень любилъ Викулычъ, хотя сначала и отказывался пригубить по случаю пятницы. Затѣмъ, представя ему Зеленькова, Ѳомушка вполголоса приступилъ къ изложенію задуманнаго дѣла съ Морденкой, а камлотовый пиджакъ началъ экзаменъ.

Онъ поставилъ табуретъ посрединѣ комнаты и вынулъ изъ кармана ременный жгутъ.

— Вы, новички, слушай! обратился онъ къ тремъ мальчикамъ, изъ которыхъ одинъ блѣдный, худощавый ребёнокъ, лѣтъ десяти, стоялъ позади всѣхъ у окна, и не то со страхомъ, не то съ удивленіемъ глядѣлъ на все происходившее въ этой комнатѣ.

Видно было, что онъ дичился, что все это казалось ему страннымъ и чѣмъ-то новымъ, невиданнымъ.

— Слушай! повторилъ камлотовый пиджакъ. — Вотъ Сенька будетъ у меня форточничать, а вы — чуръ! — глядѣть да учиться! Когда, значитъ, пойдемъ на работу и случится при эфтимъ дѣлѣ въ форточку пролѣзть, такъ надо, чтобъ было аккуратно и безъ шуму. А коли нашумимъ, ребятки, такъ березовой каши въ части похлебаемъ! Ну, Сенька, полѣзай! скомандовалъ онъ плясавшему мальчишкѣ: — да гляди у меня, пострѣлъ: буде чуточку только сдвинешь табуретку — жгутъ!

Сенька скинулъ сюртучонокъ и ловко полѣзъ между ножками и нижней перекладиной табурета. Камлотовый пиджакъ—жгутъ наготовѣ—въ наблюдательной позѣ сталъ надъ мальчишкой.

Сдвинулъ.

Раздался ударъ по спинѣ и крикъ, слившійся со смѣхомъ мальчишекъ.

— Ахъ, ты, дѣвчонка!.. Онъ еще голосить тутъ вздумалъ!

— Да вѣдь больно... не приноровишься сразу... простоналъ со слезами на глазахъ пролаза, вскочивъ на ноги.

— Затѣмъ и бьютъ, чтобъ было больно, прояснилъ менторъ.— Дастъ-богъ, на Конной попадешься къ Кирюшкѣ въ лапы — еще больнѣе будетъ—значитъ, съ младости пріучаться надо [1]).

Мальчикъ, убѣжденный этимъ аргументомъ, полѣзъ опять, и опять сдвинулъ на полвершка табуретку. Новый, еще сильнѣйшій ударъ, но на этотъ разъ уже ни малѣйшаго крика.

— Молодецъ!.. Валяй съизнова, да дѣлай на чистоту! ободряетъ менторъ — и ученикъ его съ изумительною ловкостью пролѣзаетъ наконецъ между ножекъ—туда головой, а потомъ обратно ногами— ни на одну линію не сдвинувъ табуретки.

— Молодецъ, Сенька! ай-да молодецъ! восклицаетъ менторъ, приходя въ истинный восторгъ. — Пошелъ, налей себѣ стаканъ водки въ награду!

Провъ Викулычъ слушаетъ Ѳомушку съ компаніей и въ то же время, самодовольно поглаживая свою прекрасную бороду, съ благоволивой улыбкой смотритъ на искусство юнаго Сеньки. Одно только не совсѣмъ-то нравится ему: «зачѣмъ мальчуга водку дуетъ?— потому пятница и опять же нравственности ущербъ, хотя, съ другой стороны, трудно и не испивать въ этакомъ положеніи». Такъ разсуждаетъ Провъ Викулычъ; а камлотовый пиджакъ ужь представляетъ на его благоусмотрѣніе новые плоды своей ланкастерско-педагогической дѣятельности. Онъ сѣлъ на табуретъ, положилъ къ себѣ въ карманъ довольно узкихъ панталонъ, кошелекъ съ деньгами и кликнулъ новаго мальчишку.

— Начинаю! сказалъ мальчишка и, немного засучивъ рукавъ, осторожно запустилъ пальцы въ карманъ учителя.

Черезъ минуту онъ подалъ ему кошелекъ.

— Ну, братъ, чистота!... Вотъ ужь подлинно можно сказать золотая тырка [2]) изумился менторъ:—гляди-ко, чортъ, безъ ошиб

---

[1]) Въ Петербургѣ былъ нѣкогда палачъ, прозывавшійся Кирюшкой. Онъ отличался особенной ловкостью и сноровкой «въ дѣлѣ», такъ что пріобрѣлъ себѣ огромную популярность въ мірѣ мошенниковъ, и даже самое имя его на петербургскомъ argot сдѣлалось синонимомъ палача.

[2]) Золотая тырка—выраженіе, довольно трудно переводимое на обыкновенный

лашу [1]) прямо полѣзъ, да еще говоритъ: «начинаю» и хошь бы чуточку трёкнулъ!... [2]) И знаю вѣдь, что тащитъ, бестія, а хошь убей — ничего не слыхалъ!...

— Чисто! очень чисто! похвалилъ Провъ Викулычъ, который успѣлъ уже выслушать планъ задуманнаго дѣла и дать надлежащій, добрый совѣтъ, сущность котораго читатели узнаютъ въ надлежащемъ мѣстѣ.

— Первый хорошій праздникъ, сказалъ камлотовый пиджакъ молодому воришкѣ: — я тебя беру съ собой въ Казанскій. Это— словно бы ужь и не жуликъ, а цѣлый мазъ выходитъ. П-шелъ, собака, выпей водки!

— Клугинъ! обратился Сенька къ своему ментору: — скажи Прову Викулычу, что мы нынче новичка привели.

Клугинъ вывелъ изъ толпы блѣднаго ребенка въ пестрядиномъ халатѣ, того самаго, который озирался на все съ робкимъ изумленіемъ, и подвелъ его къ патріарху.

— Какъ зовутъ? отнесся къ нему этотъ послѣдній, въ томъ солидно-благодушественномъ тонѣ, какъ относятся обыкновенно законоучители ко вновь поступившимъ гимназистамъ.

языкъ; означаетъ—очень удачно произведенное воровство. *Тырить*—воровать, красть.

[1]) *Ошмалашъ*—слово, которое звучитъ очевидно не русскимъ, а восточнымъ, и скорѣе всего, кажется, татарскимъ происхожденіемъ. *Ошмалашъ*—ощупка, *ошмалать*—ощупать. Обыкновенно передъ тѣмъ чтобы украсть (напримѣръ, часы, бумажникъ, при застегнутой одеждѣ, мошенникъ предварительно дѣлаетъ наружную рекогносцировку, слегка и очень осторожно, ощупываетъ мѣсто и соображаетъ положеніе, въ какомъ вещь лежитъ въ карманѣ. Маневръ этотъ производится съ самымъ невиннымъ видомъ, какъ-бы нечаяннымъ, машинальнымъ прикосновеніемъ руки. Сообразительность въ подобныхъ случаяхъ у опытныхъ мошенниковъ развита необыкновенно тонко: достаточно одного только легкаго прикосновенія, чтобы сообразить, въ какомъ положеніи находится вещь и какъ будетъ лучше, какъ удобнѣе можно ее украсть. Это-то называется *ошмалашъ*. Если часы или бумажникъ лежитъ подъ сюртукомъ, плотно застегнутымъ на всѣ пуговицы, то здѣсь уже употребляется нѣсколько болѣе рискованное средство, именно берется *жуликъ*—не малолѣтокъ, а небольшой, весьма острый ножикъ, употребляемый для подрѣзанія снаружи боковыхъ кармановъ, отпарыванія у шубъ и салоповъ воротниковъ, и рукавовъ и т. п. Главная штука въ томъ, чтобы неслышно, незамѣтно для жертвы сдѣлать наружный прорѣзъ сюртука— тамъ уже вещь сама-собою въ рукахъ мошенника.

[2]) *Трёкнуть*—неосторожно толкнуть, дотронуться до жертвы во время самаго производства воровства.

— Миколкой, чуть не задыхаясь отвѣтилъ мальчуга.

— Изъ мастеровыхъ, надо полагать? продолжалъ Викулычъ, взглянувъ на его пестрядиный халатикъ.

— Сказывалъ, у сапожника въ ученье жилъ, да убѣгъ отъ него третёва-дни, объяснялъ бойкій Сенька. — Мы нонче дрова таскать лазали, и видимъ — въ пустой канурѣ собачьей сидитъ кто-то... Смотримъ — а это онъ... Ну, вытащили да и привели... Голодный былъ...

— Есть родители, али сродственники какіе? допрашивалъ новичка Провъ Викулычъ.

Мальчикъ дрожалъ и готовъ былъ разрыдаться. Нижняя губа и подбородокъ его нервно трепетали — предвѣстіе близкихъ, но сдерживаемыхъ слезъ.

— Не бойся, милый, отвѣчай... Мы худа не сдѣлаемъ, погладилъ его по головкѣ Викулычъ. — Есть, что ли, родители?

— Нѣту... никого... съ трудомъ отвѣтилъ нѣсколько ободренный мальчикъ.

— Кто жь тебя въ ученье-то отдалъ?

— Господа отдали...

— Такъ... А зачѣмъ же ты убѣжалъ отъ хозяина?

— Билъ меня... все билъ... ѣсть не давалъ.

— Какъ же онъ тебя билъ-то?

Мальчикъ отстегнулъ халатъ и показалъ грудь, плечи и часть спины. Ременная шпандра оставила на нихъ синяки полосами. Видно было, что эта хозяйская шпандра безъ разбору и долго и часто гуляла по его щедушному тѣлу: не успѣвали сглаживаться полосы старыхъ побоевъ, какъ поперегъ ихъ накипали новые синяки.

— За что же это онъ такъ? продолжалъ Провъ, покачавъ головою.

— За разное... Пьяный все больше... Молочникъ вотъ разбилъ... въ лавочку долго бѣгалъ... клейстеръ переварилъ, припоминалъ онъ причины побоевъ, а слезы не выдержали и покатились.

— Ну, не плачь, малецъ, не пускай нюни! утѣшалъ его старикъ, подымаясь съ мѣста и откланиваясь присутствующимъ. — Поживешь съ нашими ребятами, поправишься, молодцомъ станешь.

— Хочешь водки? предложилъ ему Клугинъ, по уходѣ патріарха. — Хвати-ка стаканъ! веселѣе будешь!

Ребёнокъ отнѣкивался.

— У! бабье какое! учи его, ребята! лей ему въ глотку! скомандовалъ опытный педагогъ, и мальчишки разомъ накинулись на своего новаго товарища, хвативъ его голову и руки.

— Пей, а не то къ хозяину сведу! постращалъ менторъ, у котораго однимъ изъ первоначальныхъ педагогическихъ пріемовъ было — систематическое пріученіе питомцевъ къ пьянству, разврату и праздной жизни.

Угроза насчетъ хозяина подѣйствовала сильно: несчастный мальчикъ, весь дрожа отъ наплыва столь разнородныхъ ощущеній, съ отвращеніемъ проглотилъ большой стаканъ водки и безъ чувствъ повалился на полъ.

— Урра-а! закричали мальчишки — и черезъ минуту опять появилась тамъ испитая женщина и опять раздавалась прежняя пѣсня.

Такимъ-то вотъ образомъ изъ неиспорченнаго ребёнка, котораго разные хозяева ни за-что ни про-что истязали и морили голодомъ, какъ послѣднюю собаку, приготовляется негодяй и воришка, а впослѣдствіи, быть можетъ, кандидатъ на каторжную работу, котораго мы, въ пылу благороднаго негодованія и съ утѣшительнымъ сознаніемъ своей собственной, высокой честности, будемъ клеймить своимъ презрѣніемъ, говоря, что подѣломъ вору мука, и что законъ еще слишкомъ снисходителенъ къ подобнымъ негодяямъ.

Я полагаю, что мы будемъ совершенно правы, сограждане! Не правда ли, и вы вѣдь полагаете то же?

VI

Нищій-богачъ

На другой день, за вечернею службой, Морденко, по вчерашнему, слонялся въ притворѣ за спинами нищей братіи и по вчерашнему же двуручничалъ, съ какимъ-то волчьимъ выраженіемъ въ стеклянныхъ глазахъ, которое появлялось у него постоянно при видѣ

денегъ или какой бы то ни было добычи. Ѳомушка на сей разъ не донималъ его тычками. И однако, Морденко все-таки спустился съ паперти раньше остальной нищей братіи, преслѣдуемый градомъ критическихъ и обличительныхъ замѣчаній со стороны косоглазаго слюняя и бабъ-попрошаекъ. Угрюмо понуривъ голову, шелъ онъ въ своемъ дрянномъ, развѣвающемся халатишкѣ, направляясь къ Средней Мѣщанской, гдѣ было его обиталище. Въ саженяхъ десяти разстоянія за нимъ шагалъ высокій человѣкъ, ни на минуту не упуская изъ виду понурую фигуру старика.

У воротъ грязно-желтаго дома, того самаго, гдѣ обитала Александра Пахомовна, мнимая тетушка Зеленькова, и гдѣ неисходно пакло жестяною полудой, старикъ Морденко столкнулся съ молодымъ человѣкомъ.

— Здравствуйте, папенька, сказалъ этотъ послѣдній, тѣмъ болѣзненно-несмѣлымъ голосомъ, который служитъ признакомъ скрытой нужды и подавляемаго горя.

Неожиданность этихъ словъ заставила вздрогнуть старика, погруженнаго въ свои невеселыя думы. Онъ исподлобья вскинулъ тусклые глаза на молодого человѣка и глухо спросилъ его ворчливо-недовольнымъ тономъ:

— Что тебѣ?... чего пришелъ, чего надо?...

— Я къ вамъ... навѣстить хотѣлъ...

— Навѣстить... Зачѣмъ навѣщать?... не къ чему навѣщать!... Я человѣкъ больной, одинокій... веселаго у меня мало!...

— Да вѣдь все жь... я сынъ вамъ... повидать хотѣлось...

— Повидать... а чего видать-то? — все такой же, какъ былъ! небойсь, не позолотился!... Участіе, что ли, показывать?... Зачѣмъ мнѣ это?... Развѣ я прошу?... Не надо мнѣ этого! ничего не надо!...

— Я къ вамъ за дѣломъ...

— Да, да! знаемъ мы эти дѣла, знаемъ!... Денегъ вѣрно надо?... Нѣту у меня денегъ. Слышишь-ли, нѣту!... Самъ безъ копѣйки сижу!... Вотъ оно участье-то ваше! только изъ-за денегъ и участье, а по сердцу не жди!

У молодого человѣка сдержанно сорвался горькій и тяжелый вздохъ.

— Хоть обогрѣться-то немного... позвольте, сказалъ онъ, тщетно

кутаясь въ свое холодное, короткое пальтецо, и видно было, что ему тяжела, сильно тяжела эта просьба.

— Развѣ холодно?... Мнѣ — такъ нисколько не холодно, возразилъ старикъ: — и дома не топлено нынче... два дня не топлено.

— Ну, Богъ съ вами... Прощайте, проговорилъ юноша, и медленно пошелъ отъ старика, какъ человѣкъ, которому рѣшительно все равно, куда бы не идти, ибо впереди нѣтъ никакой цѣли.

Тѣнь чего-то человѣческаго раздумчиво пробѣжала по блѣдно-желтому, неподвижному лицу Морденки.

— Иванъ!.... ей, Ваня! вернися!... Я ужь, пожалуй, чаемъ тебя напою нынче, сказалъ онъ вдогонку молодому человѣку.

Тотъ машинально какъ-то повернулся назадъ и прошелъ вслѣдъ за старикомъ въ калитку грязно-желтаго дома.

Высокій человѣкъ, неуклонно слѣдившій за Морденкой еще отъ самой паперти Спаса, сдѣлалъ видъ, будто разсѣянно остановился у фонаря, а самъ между тѣмъ слушалъ происходившій разговоръ, и теперь вслѣдъ за вошедшими юркнулъ въ ту же самую калитку.

Въ глубинѣ грязнаго двора, въ самомъ послѣднемъ углу, въ который надо было пробираться черезъ закоулокъ, образуемый дровянымъ сараемъ и грязною ямой, одиноко выходила темная лѣстница. Она вела во второй этажъ каменнаго двухъяруснаго флигеля, гдѣ находилась квартира Морденки. Низъ былъ занятъ подъ сараями и конюшней.

— Постой-ка... надо вынуть ключи, сказалъ онъ, остановясь у входа и досталъ изъ-за пазухи два ключа довольно крупныхъ размѣровъ, захвативши ихъ въ обѣ руки такимъ образомъ, чтобы они могли служить оружіемъ для удара.

— Лѣстница темна, неровёнъ часъ, лихой человѣкъ попадется, пробурчалъ Морденко, и осторожно занесъ уже было ногу на ступеньку, какъ вдругъ опять остановился...

— Ступай-ка ты, Иванъ, лучше впередъ... а я за тобою.

Молодой человѣкъ безпрекословно исполнилъ это желаніе подозрительнаго старика.

— Развѣ вы Христину отпустили? спросилъ онъ, нащупывая ногами ступеньки.

— Нѣтъ, держу при себѣ... нельзя безъ человѣка; уходить со двора иной разъ приходится, пояснялъ Морденко, отыскивая на двери болтъ съ висячимъ замкомъ.

— Да гдѣ жь она у васъ теперь-то?

— А я ее запираю въ квартирѣ, пока ухожу — такъ-то вѣрнѣе выходитъ, по крайности знаю, что не уйдетъ... А тебѣ-то что это такъ интересно? вдругъ спросилъ онъ подозрительно.

— Такъ. Вижу, что вы съ ключами...

— То-то «такъ» ли?... У васъ все «такъ»... А на свѣтѣ «такъ» — ничего не бываетъ...

Онъ отомкнулъ сначала висячій замокъ, а потомъ другимъ ключомъ отперъ уже самую дверь, и вошелъ съ сыномъ въ темную комнату, откуда пахнуло на нихъ сыростью кладовой, гдѣ гніетъ всякая рухлядь.

Высокій человѣкъ, какъ кошка, неслышно все крадучись за ними, вошелъ наконецъ въ нижнія сѣни, гдѣ плотно прижался къ стѣнѣ. Сюда долетѣлъ до него и послѣдній разговоръ отца съ сыномъ.

Растрепанная, заспанная женщина внесла въ комнату сальный огарокъ.

— А ты зачѣмъ палила свѣчку? Я развѣ затѣмъ покупаю, чтобы она у тебя даромъ горѣла? обратился къ ней съ выговоромъ Морденко.

— Чего горѣла?... гдѣ она горѣла?... И то въ потьмахъ цѣльный вечеръ сидишь, проворчала чухонка.

— А вотъ я удостовѣрюсь, вражья дочка, я вотъ тебя поймаю! Ты думаешь, у меня не замѣчено? — нѣтъ, братъ, шалишь!...

И найдя на окнѣ бумажную мѣрочку съ отмѣтиной, Морденко приложилъ ее къ огарку; пришлась вразъ — и старикъ успокоился: Христина, точно, просидѣла въ потемкахъ.

— Поставь-ко самоваръ намъ... обогрѣться хочу, сказалъ онъ ей уже болѣе дружелюбнымъ тономъ; но Христина не оказала къ

дружелюбію особеннаго расположенія: это глуповатое, скотски-терпѣливое существо пришло, наконецъ, въ нѣкоторое негодованіе.

У Морденки люди обыкновенно не выживали болѣе двухъ недѣль; одна только Христина какъ-то умудрялась выносить свою пытку уже въ теченіе трехъ мѣсяцевъ, да и у той начинало лопаться терпѣніе. Она находилась чисто въ плѣну, въ заточеніи у Морденки. Уходя утромъ за провизіей онъ запиралъ ее на ключъ въ своей квартирѣ. То же самое было, если шелъ куда-либо по дѣлу или вечеромъ въ церковь — послѣднее въ особенности хуже всего, такъ-какъ онъ запрещалъ жечь свѣчку, и несчастная чухонка принуждена была сидѣть въ совершенной темнотѣ часа два или три сряду. Вырваться и уйдти отъ него было весьма затруднительно, потому что разсчетливый старикъ отбиралъ обыкновенно паспортъ, и пряталъ его въ потаенное, ему одному извѣстное мѣсто. Отходы прислуги совершались почти всегда со вмѣшательствомъ полиціи, которая вынуждала наконецъ Морденку къ разсчету и отдачѣ паспорта. Оставаясь одинъ въ своей квартирѣ, онъ становился совершеннымъ мученикомъ, сидѣлъ запершись на всѣ замки, боялся, что кто нибудь войдетъ и убьетъ его, еще больше боялся отлучиться изъ дому, потому что, пожалуй, ворвутся безъ него лиходѣи въ безлюдную квартиру и оберутъ все до-чиста. Тогда онъ сквозь форточку посылалъ дворника за майоромъ Спицой, обитавшемъ въ томъ же самомъ домѣ, и умолялъ найдти ему какую-нибудь прислугу. Майоръ, старый однодомчанинъ съ Морденкой, былъ, кажется, единственный человѣкъ, сохранившій къ скупому аскету нѣсколько благопріятныя отношенія, въ силу особаго обстоятельства, о которомъ вскорѣ подробно узнаетъ читатель. Майоръ обыкновенно бралъ на себя порученіе Морденки, и доставлялъ ему какую-нибудь старую Домну или Палагею, чтобы эта недѣли черезъ полторы смѣнилась, по майорскому же отысканію, какою нибудь Матреной или Христиной.

Итакъ, Христина не оказала особеннаго расположенія къ дружелюбному тону Морденки.

— Чего тутъ самоваръ!... лучше печку затопить — третій день нетоплена, протестовала она:—крысъ морозимъ въ фатерѣ... жить нельзя... пачпортъ мой подавай сюда—уйду совсѣмъ!..

— Уйди, уйди; я погляжу, какъ ты уходить станешь, кивая головой, полемизировалъ Морденко.

— Думаешь, не знаю, куда ты въ халатишкѣ шатаешься?—Христарадничать ходишь, милостыней побираешься!

— Дура, и видно, что дура! возразилъ Морденко.—Побираюсь... ну, точно, что побираюсь; такъ вѣдь это богоугодное и душеспасительное дѣло, потому — униженіе пріемлешь! Вотъ и ты — поругайся побольше, а я со смиреніемъ выслушаю; тебѣ-то — мученіе вѣчное, а мнѣ—душѣ своей ко спасенію.

Христина въ кухнѣ закопошилась съ самоваромъ; Морденко ушелъ въ другую горницу переодѣться. Халатъ служилъ ему только для вечернихъ хожденій на паперть Сѣннаго Спаса; для дневного же выхода въ люди или по дѣламъ, старикъ имѣлъ костюмъ совершенно приличный, состоявшій изъ синяго сюртука стариннаго покроя, узкихъ панталонъ, и стариннаго же покроя пуховой шляпы съ козырькомъ, какія лѣтъ пятнадцать тому назадъ можно еще было встрѣтить на нѣкоторыхъ старикашкахъ; за то костюмъ домашній, обыденный представлялъ нѣчто совсѣмъ оригинальное. Въ него-то именно и облекся Морденко въ другой горницѣ. Это была грязная рубаха, заплатанное нижнее бѣлье, больничныя шлепанцы-туфли на босу-ногу, и какая-то порыжѣлая отъ времени шелковая женская мантилья—очевидно изъ заложенныхъ ему когда-то и невыкупленныхъ вещей — которая совершенно по-женски была накинута на его сутуловато-старческія плечи.

Въ комнатѣ былъ страшный холодъ, паръ отъ дыханія ходилъ густыми клубами; но старикъ оставался какъ-то нечувствителенъ къ этому холоду, тогда какъ сынъ его, кутаясь въ пальтишко, дрожалъ какъ въ лихорадкѣ; эта затхлая сырость пронимала гораздо хуже сырости уличной. Морденко вышелъ изъ другой комнаты съ жестянымъ фонаремъ, и переставилъ въ него изъ подсвѣчника сальный огарокъ. Комната осталась въ густомъ полумракѣ; по стѣнамъ легли радіусами три свѣтлыя полосы, на потолкѣ тускло замигали пятнами нѣсколько кружковъ — отсвѣтъ отъ дырочекъ на крышкѣ фонаря.

— Такъ-то лучше, безопаснѣе, замѣтилъ онъ: — а то, оборони богъ, заронится какъ-нибудь искра—пожаръ случится — всѣ пого-

ринъ... Что дрожишь-то? или тебѣ въ самомъ дѣлѣ холодно? обратился онъ къ сыну.

Тотъ въ затрудненіи не отвѣтилъ ни слова.

— Жаль, затопить нельзя: вчера только что топлена, а у меня правило: черезъ день... регулярность люблю.

— Анъ врешь, не вчера, а третёводни! оспорила его Христина изъ кухни.

— Анъ врешь, вчера!

— Анъ третёводни!

— А побожись!

— Чего божись—самъ безъ божьбы знаешь!

— Вре-ешь, меня не надуешь, у меня записано... Сейчасъ справку наведемъ, говорилъ онъ, взявъ съ окна какую-то тетрадочку, и просматривая по ней свои отмѣтки. — А вѣдь и вправду третёводни... ошибся... Ну, такъ стало быть затопимъ.

И онъ пошелъ къ изразцовой печкѣ.

Морденко, кромѣ кухни, которая служила и прихожею, занималъ квартиру въ три комнаты. Первая, въ которой теперь находился онъ съ сыномъ, служила пріемной. Это была большая горница въ три окошка, сырая, закоптѣлая и почти пустая. Посрединѣ стоялъ столъ да три стула; у окна клѣтка съ попугаемъ; по стѣнѣ, близь печки, сложено съ полсажени сосновыхъ дровъ. Дверь съ висячимъ замкомъ вела въ смежную одноконную комнату, называвшуюся спальней; изъ этой смежной комнаты виднѣлась дверь въ третью, замкнутая большими замками на двухъ желѣзныхъ болтахъ и запечатанная двумя печатями. Это была кладовая, гдѣ хранились заложенныя вещи.

На столѣ появился, наконецъ, грязнѣйшій зазеленѣлый самоваръ; Морденко насыпалъ въ чайникъ какихъ-то травъ изъ холщеваго мѣшечка.

— Чаю я не пью, пояснилъ онъ при этомъ:—чай грудь сушитъ, а у меня вотъ — настой хорошій изъ цѣлебныхъ пользительныхъ травъ... лѣтомъ самъ собираю... оно немного терпко на вкусъ, зато для желудка здорово и грѣетъ тоже — никакихъ дровъ не нужно.

Въ печкѣ между тѣмъ затрещали четыре полѣна, но сырыя дрова

не загорались, а только тлѣли и вскорѣ совсѣмъ потухли. Морденко воспользовался этимъ обстоятельствомъ, и поспѣшилъ закрыть трубу. Изъ печки повалилъ ѣдкій дымъ. «Авось, послѣ чаю скорѣй уберется, какъ глаза-то заѣстъ», подумалъ старикъ, взглянувъ сквозь свои круглыя большія очки на закашлявшагося сына. Въ немъ какъ-то странно боролось человѣческое чувство къ своему родному, и нелюбовь къ обществу, желаніе отдѣлаться поскорѣй отъ лишняго человѣка,

— Что дыму-то напустилъ?... зачѣмъ трубу закрываешь?—угаръ пойдетъ! огрызлась на него Христина.

— Дура, молчи!... Угаръ... что жь такое угаръ! Жаръ въ комнатѣ вреденъ для здоровья, а небольшой угаръ — ничего не значитъ, ибо комнаты большія — разойдется.

— Вотъ такъ-то и всегда!... Эка жисть-то чертовская! ворчала Христина, удаляясь въ свою холодную кухню.

Въ это время что-то странное стукнуло въ форточку, словно бы о стекло хлопнулись два птичьи крыла.

Морденко обернулся и какъ-то загадочно проговорилъ съ улыбкой:

— А!... прилетѣлъ!...

— Кто прилетѣлъ? отозвался Ваня, покосясь на окошко.

— *Онъ* прилетѣлъ...

И съ этимъ словомъ, старикъ, кряхтя и кашляя отворилъ форточку. Въ нее впорхнуло какое-то странное существо, и хлопая крыльями, усѣлось на плечо Морденки. Въ полумракѣ сначала никакъ нельзя было разглядѣть, что это такое. Оно поднялось на воздухъ, съ шумомъ описало нѣсколько тяжелыхъ круговъ по комнатѣ, шарыгая крыльями о стѣны, задѣло попугаечью клѣтку и снова усѣлось на плечо.

«Безносый», неожиданно крякнулъ попугай, встрепенувшись на своемъ кольцѣ.

Морденку очевидно утѣшило это восклицаніе.

— А ты не осуждай! съ улыбкой обратился онъ къ попугаю въ наставительномъ тонѣ. Птица, сидѣвшая у него на плечѣ, продолжала хлопать крыльями и, какъ-бы ласкаясь, вытягивала свою странную, необыкновенную голову, прикасаясь ею къ шеѣ старика.

Вглядѣвшись въ нее, можно было догадаться, что это голубь, у котораго совершенно не имѣлось клюва: онъ былъ отбитъ или отрѣзанъ такъ ловко, что и слѣдовъ его не осталось; торчалъ только одинъ высунутый языкъ, и это придавало птичьей физіономіи какой-то необыкновенно странный и даже непріятный характеръ.

— Это мои друзья, говорилъ старикъ, качая головой:—больше друзей у меня нѣтъ никого—только Попка да Гулька... На улицѣ птенцомъ нашелъ, самъ воспиталъ, самъ воскормилъ, а онъ теперь благодарность чувствуетъ...

И старикъ подставилъ голубю наполненную какою-то мякотью чашку, въ которую тотъ окунулъ свою безклювую голову и такимъ образомъ кормился. Этотъ голубь вмѣстѣ съ попугаемъ гуляли прежде на волѣ по всѣмъ комнатамъ; но, однажды, между ними произошла баталія и попугай откусилъ голубю клювъ, такъ что этотъ уже поневолѣ долженъ былъ за дневнымъ пропитаніемъ прилетать къ старику.

И эти три существа составляли между собою нѣчто цѣлое, совершенно замкнутое въ самомъ себѣ, изолированное отъ всего остальнаго міра; даже полудикая Христина звучала между ними какимъ-то диссонансомъ, который, несмотря на всю свою дикость, все же таки хоть какъ-нибудь напоминалъ жизнь человѣческую, ближе подходилъ къ ней, чѣмъ эта странная троица. Голубь никогда не издавалъ воркованья, ниже какого звука, кромѣ хлопанья крыльевъ; попугай, напротивъ, былъ птица образованная и любилъ иногда по-часу крякать цѣлыя фразы, коимъ обучалъ его Морденко.

Временемъ старикъ начиналъ бояться даже свою Христину: чудилось ему, что она «злой умыселъ на него держитъ», и онъ запирался тогда на замокъ въ свои комнаты, не имѣя въ теченіе сутокъ никакого сообщенія съ кухней. Впрочемъ, на ночь онъ и постоянно замыкался такимъ образомъ.

И вотъ тогда-то оставаясь уже вполнѣ принадлежащимъ своему особому міру, дѣлаясь живымъ членомъ своей собственной семьи, помѣщался онъ обыкновенно въ глубокое старинное кресло; голубь садился ему на плечо, попугай вертѣлся въ клѣткѣ—и были тутъ свои ласки: шли свои интимные разговоры, начилась своя собственная жизнь.

«Разорились мы съ тобой, Морденко!» пронзительно кричала птица изъ своего заточенія.

— Разорились, попинька, совсѣмъ разорились! со вздохомъ отвѣчалъ обыкновенно Морденко, глядя и цалуя безклюваго Гульку. И голоса этихъ двухъ существъ до такой степени походили другъ на друга своей глухотою и хриплой дряхлостью, что трудно было отличить — который попугай, который Морденко; казалось, будто это говоритъ одно и то же лицо.

Человѣкъ, кажется, не можетъ зачерствѣть и одеревенѣть до такой степени, чтобы не питать хотя сколько-нибудь *живого* чувства къ *живому* существу. Часто человѣконенавидцы привязываются къ какой-нибудь собакѣ, кошкѣ и т. п. Я слыхалъ объ одномъ убійцѣ, который «въ тринадцати душахъ повинился, да шесть за собой оставилъ». Этотъ человѣкъ, безъ малѣйшаго содраганія плавшій «голову на рукомойникъ» людямъ, то-есть рѣзавшій и убивавшій ихъ — во время своего заключенія «въ секретной», до такой степени привязался къ пауку, свившему свою ткань въ углу надъ его изголовьемъ, что когда этого убійцу погнали по Владиміркѣ — онъ затосковалъ и долго не могъ забыть своего безсловеснаго, но живого сожителя по секретному нумеру. Одну изъ подобнаго рода странныхъ привязанностей питалъ Морденко къ двумъ своимъ птицамъ. Онъ совсѣмъ не любилъ сына; иногда только мелькали у него кое-какіе проблески человѣческаго чувства къ этому юношѣ, но и тѣ мгновенно же угасали. Любилъ онъ только голубя да попугая; полюбилъ также подъ старость и деньги, къ которымъ сперва былъ почти равнодушенъ. Но привязаться къ нимъ заставило его одно исключительное обстоятельство. Впрочемъ, здѣсь отнюдь не была любовь денегъ для денегъ, своего рода искусство для искусства—нѣтъ, Морденко былъ лишенъ этой маніи кащея и гарпагона. Онъ въ деньгахъ видѣлъ только средство къ достиженію своей цѣли, но не самую цѣль.

Морденко во всю свою жизнь не могъ позабыть одного оскорбленія—пощочины князя Шадурскаго, полученной имъ въ присутствіи Татьяны Львовны—единственной женщины, въ отношеніи которой у него шевельнулось когда-то нѣчто похожее на человѣческое чув-

ство, шевельнулось единственный разъ въ теченіе всей его жизни. Въ первую минуту онъ даже не понялъ этого оскорбленія; въ первую минуту онъ до того потерялся, до того струсилъ встрѣчи со своимъ бывшимъ бариномъ, что пощочина только ошеломила его и еще болѣе обезкуражила. Да и что могъ онъ сдѣлать? Отвѣтить князю тѣмъ же?—Такая мысль и въ голову не могла придти ошеломленному Морденкѣ, который очень хорошо еще помнилъ себя холопомъ, крѣпостнымъ его сіятельства, облагодѣтельствованнымъ его высокими милостями до званія управляющаго. Морденко все-таки былъ рабъ въ душѣ, и въ минуту роковаго столкновенія постигалъ только то, что передъ нимъ стоитъ самъ его сіятельство.

Нравственное значеніе пощочины понялъ онъ позднѣе, когда все уже было покончено съ княземъ, когда переѣхавъ изъ княжескаго дома на свою собственную квартиру, сдѣлался уже вполнѣ лицомъ самостоятельнымъ. Тутъ только, въ тишинѣ да въ уединеніи, вдумался онъ въ смыслъ предшествовавшихъ обстоятельствъ — и въ душѣ его закипѣла вѣчная, непримиримая ненависть къ Шадурскому. Это столкновеніе перевернуло верхъ дномъ всѣ планы, всю карьеру, всю судьбу Морденки, который сколотилъ себѣ на управительскомъ мѣстѣ нѣкоторый капиталецъ, мечталъ о мирномъ преумноженіи его, мечталъ современемъ взять за себя замужъ «образованную дѣвицу дворянскаго происхожденія», дочь коллежскаго ассесора, стало-быть въ нѣкоторомъ родѣ штабъ-офицера. Самолюбіе его рисовало уже привлекательныя картины, какъ разные «господа» будутъ пріятельски жать ему руку, заискивать, пріѣзжать на поклоны; потому что онъ будетъ человѣкъ богатый, денежный—капиталомъ ворочать станетъ — какъ онъ будетъ обходиться съ ними «запанибрата», даже иногда, при случаѣ, въ нѣкоторомъ родѣ третировать этихъ «господъ», онъ—бывшій лакей, вольноотпущенный человѣкъ его сіятельства. Все это были сладкія, отрадныя мечты, питавшія и поддерживавшія его самолюбіе; а извѣстно, что ни одно самолюбіе неспособно расширяться до такихъ безобразно-громадныхъ, невыносимыхъ размѣровъ, какъ самолюбіе холопа, пробивающагося изъ своей колеи въ денежное барство. Близкія отношенія къ княгинѣ еще болѣе возвысили его высокое мнѣніе о себѣ. Хотя при посѣщеніи знакомыхъ князя—онъ и долженъ былъ почтительно поды-

маться съ своего мѣста и почтительно отвѣшивать имъ поклоны, чего тѣ знакомые невсегда удостоивали и замѣтить; однако это не мѣшало самолюбивому хохлу тѣмъ болѣе презирать ихъ, мечтать о томъ, что дескать «поклонитесь и намъ когда-нибудь пониже», не мѣшало считать себя чѣмъ-то особеннымъ, необыкновеннымъ. Онъ признавалъ только двухъ человѣкъ: себя да князя Шадурскаго, не упуская случая вставлять повсюду свою любимую фразу: *мы съ княземъ*; остальное же человѣчество втайнѣ презиралъ и игнорировалъ, хотя и не осмѣливался еще, по положенію своему, высказывать это въявѣ. «Только бы капиталишку сколотить, а тамъ ужь я вамъ покажу себя!» злобствовалъ онъ порою.

И вдругъ, все это зданіе, воздвигаемое имъ съ такимъ примѣрнымъ и долголѣтнимъ терпѣніемъ, съ такимъ ловкимъ тактомъ и осторожностью—рухнуло въ одну минуту, отъ одного взмаха княжеской руки. Прощай мечты о панибратствѣ съ господами, о всеобщемъ уваженіи и заискиваніи, о благородной и образованной дѣвицѣ!—все это растаяло яко воскъ отъ лица огня, и отъ прежняго Морденки, управляющаго и повѣреннаго князя Шадурскаго, тайнаго любовника самой княгини Шадурской — остался ничтожный мѣщанинишко, вольноотпущенный человѣкъ Морденко. Вся прислуга, вся дворня княжеская, которую онъ держалъ въ струнѣ, которая лебезила передъ нимъ, стараясь всячески угодить, и трепетала одного его взгляда, ибо могъ онъ сдѣлать съ каждымъ изъ нихъ все что ему угодно—стоило только шепнуть самому князю—теперь эта самая дворня знать его не хочетъ, шапки передъ нимъ не ломаетъ, съ наглостью смотритъ въ глаза, подсмѣивается, не упускаетъ случая сдѣлать какую-нибудь дерзость, насолить чѣмъ ни попало—съ той самой минуты, какъ пронюхала, что онъ болѣе не управляющій. Каждая послѣдняя собака норовила теперь хоть какъ-нибудь облаять его, хоть чѣмъ-нибудь насолить ему за прежнее долготерпѣніе и поклоны. Вся дворня ненавидѣла втайнѣ этого деспота: не могла забыть и простить ему того, что онъ—«свой братъ-холопъ», такъ вознесся надъ прежними своими сотоварищами. Да, много пережилъ Морденко въ одни только сутки, съ минуты роковой встрѣчи! Въ волосахъ его, съ одной ночи, появилось значительное количество сѣдяковъ, лицо осунулось и похудѣло, и самъ

онъ весь осунулся, погнулся какъ-то. Ему неловко было поднять глаза, на людей взглянуть—боялся встрѣтить ненависть и наглую насмѣшку.

Въ тотъ же день перебрался онъ на свою отдѣльную квартиру, въ Среднюю Мѣщанскую улицу, гдѣ и поднесь проживаетъ.

Онъ думалъ, что княгиня любитъ его. Въ прежнее еще время, являясь къ ней иногда съ докладами (не болѣе, какъ управляющій), умный и смѣтливый хохолъ понималъ, въ чемъ кроется суть настоящаго дѣла: видя тоску одинокой, покинутой мужемъ женщины, замѣчая часто слѣды невысохшихъ слезъ на ея глазахъ; онъ постигъ, что у нея есть свое скрытое горе, причина котораго кроется въ вѣтренной невнимательности князя. Онъ понялъ, что эта женщина оскорблена — оскорблена въ своемъ чувствѣ, въ своей молодости, въ своей потребности жить и любить. Ему стало жалко ея. Княгиня, провѣряя отчеты, часто замѣчала остановившійся на ней сострадательно-симпатичный, грустный взглядъ управляющаго. Ей некому было высказаться, вылить свое горе, чтобы хоть сколько-нибудь облегчить душу. Жаловаться роднымъ или пріятельницамъ — княгиня была слишкомъ горда и слишкомъ самолюбива для этого. Однажды только намекнула она матери своей о холодности мужа.

— Ну, что же, мой другъ, это — пустяки! Кто изъ нихъ не вѣтреничаетъ? — Они всѣ такіе, на это не надо обращать вниманія... Старайся сама чѣмъ-нибудь развлечься и не думай объ этомъ.

Такой былъ отвѣтъ ея матери, послѣ котораго Татьяна Львовна закрыла для нея свою душу. Пріятельницамъ своимъ, какъ мы говорили уже, она не рѣшилась бы сказать изъ гордости и самолюбія. Разъ какъ-то въ ея присутствіи одна изъ великосвѣтскихъ пріятельницъ открылась въ подобной же холодности своего супруга другой общей ихъ пріятельницѣ, и именно баронессѣ Дупкельтъ.

— Милая, ты слишкомъ хороша собой, чтобы сокрушаться о такой глупости, отвѣчала баронесса. — Хорошенькой женщинѣ стыдно даже и признаваться въ этомъ: значитъ, она сама виновата, если не съумѣла удержать привязанности мужа. Смотри, какъ я,

полегче на эти вещи: за тобой многіе ухаживаютъ въ свѣтѣ—выбирай и даже почаще перемѣняй своихъ друзей; право, будетъ недурно!

Татьяна Львовна, готовая уже было сочувственно протянуть руку оскорбленной пріятельницѣ, и сама разсказать ей свое такое же горе — прикусила языкъ послѣ практическихъ словъ баронессы Дункельтъ. Совѣту ея, однако, она не послѣдовала по той причинѣ, что о баронессѣ ходили весьма несомнительные слухи о томъ, какъ она ужинаетъ по маскарадамъ, уѣзжаетъ оттуда съ посторонними мужчинами и даже посѣщаетъ son amore квартиры своихъ холостыхъ друзей. Княгиня, какъ извѣстно уже читателю, слишкомъ уважала носимое ею имя, и потому въ результатѣ этого разговора для нея осталась прежняя замкнутость, прежнее одинокое, безраздѣльное горе.

Однажды нравственное состояніе ея, подъ гнетомъ этихъ мыслей и ощущеній, дошло до нервности почти истерической. Морденко явился со своими отчетами. Въ это утро она уже въ третій разъ замѣчала на себѣ его грустно-сочувственный взглядъ.

Княгиня наконецъ вскинула на него свои пристальные глаза.

— Что вы на меня такъ смотрите, Морденко?

Управляющій вздрогнулъ, покраснѣлъ и смутился.

— Скажите же, зачѣмъ вы на меня такъ смотрите?...

— Извините, ваше сіятельство... я... я ничего... я...

— Вамъ жалко меня? перебила она, взявши въ обѣ свои ладони его мускулистую, красную руку.

Морденко опустилъ глаза. По этой жилистой рукѣ пробѣгала нервная дрожь.

— Ну, скажите прямо, откровенно, вамъ жалко меня? повторила она особенно мягко, и въ голосѣ ея дрогнули тщетно-сдерживаемыя слезы. На глазахъ показались двѣ крупныя росинки.

— Да, жалко, ваше сіятельство, съ усиліемъ пробормоталъ управляющій.

— Ахъ, жалѣйте меня!... меня никто не жалѣетъ! зарыдала она, безсознательно приникнувъ головою къ своимъ рукамъ, которыя все еще держали, не выпуская, пальцы Морденки. Эти пальцы увлажнились ея истерическими слезами.

— Вы у насъ такая молодая... такая хорошая, говорилъ управляющій, почтительно стоя передъ княгиней.

Ему, въ самомъ дѣлѣ, было очень жутко и жалко ее въ эту минуту.

— Хорошая я... Вы говорите: я хорошая, я молодая? подняла она опять на него свою голову. — За что жь меня не любятъ?... За что же онъ оставилъ меня?...

— Богъ не безъ милости, ваше сіятельство... вы все-таки законная ихъ супруга... не крушитесь? все же къ вамъ вернутся, полюбятъ...

— Кто полюбитъ?... Онъ?... — Пускай полюбитъ, да я-то ужь не полюблю его!

— Зачѣмъ такъ говорить, ваше сіятельство?

— Нѣтъ, ужь будетъ!... довольно съ меня! Я много молчала и терпѣла, а теперь не стану!...

— Да вѣдь этимъ не обратите сердца-то ихъ къ себѣ.

— И обращать не хочу!... Я полюблю, Морденко, да только не его! Слышите-ли вы — не его!

И она опять зарыдала истерическими слезами.

Это былъ послѣдній пароксизмъ, послѣдняя вспышка ея женскаго чувства къ своему мужу. Онъ именно съ этой минуты и могъ бы вернуть къ себѣ ея любовь, которая еще всецѣло принадлежала ему, все бы могло быть прощено и позабыто этою женщиной, еслибы только онъ обратился къ ней. Но... князь Дмитрій Платоновичъ и не домекнулся о той глухой борьбѣ, которая кипѣла въ сердцѣ его супруги. Она подождала, поглядѣла—видитъ, что ничто не беретъ— оскорбленіе еще пуще засѣло въ ея душу — да со злости сама и отдалась г-ну Морденкѣ, единственному человѣку, проявившему къ ней участіе...?

Морденко думалъ, что она любитъ его. Въ головѣ хохла загвоздилась мысль, что отношенія ихъ могутъ продолжаться и послѣ разрыва съ княземъ. Этимъ онъ думалъ сначала мстить своему бывшему патрону и потому, перебравшись на новую квартиру, тотчасъ по городской почтѣ увѣдомилъ княгиню о своемъ новомъ помѣщеніи. Татьянѣ Львовнѣ это извѣщеніе послужило поводомъ только къ разузнанію, гдѣ находится ея ребёнокъ. Князь Шадурскій, оставя его на время у акушерки, думалъ съѣздить туда самъ съ приказаніемъ отправить его въ воспитательный домъ. Онъ хотѣлъ только

обождать нѣсколько дней, чтобы опять не столкнуться какъ-нибудь съ княжной Чечевинской. Въ это время къ Морденкѣ подоспѣли письмо и деньги княгини, вслѣдствіе чего онъ и предупредилъ князя, взялъ ребёнка и помѣстилъ его въ другія, частныя руки. Послѣ этого уже все было кончено между нимъ и княгиней. То маленькое чувство кровной аристократки къ кровному плебею, которое затеплилось-было въ ея душѣ, разомъ угасло послѣ полученной имъ пощочины. Быть можетъ, оно бы могло еще продолжаться и впредь, ибо она ждала, она надѣялась, что ея любовникъ отвѣтитъ на оскорбленіе тѣмъ же самымъ ея мужу. Морденко вмѣсто того струсилъ, согнулся—и съ этой минуты она уже презирала его. Ей было стыдно передъ собою за свою связь, за свое ошибочное мнѣніе, будто онъ «достойнъ ея». Вторая пощочина князя сдѣлала только то, что княгиня, оставшаяся вѣрной супругой своему мужу до Морденки и немного-было полюбившая самого Морденку, со злости вполнѣ уже послѣдовала теперь практическому совѣту баронессы Дункельтъ и стала дарить свою привязанность каждому, кто только мало-мальски имѣлъ честь понравиться ей. Этимъ она мстила своему мужу за все, чѣмъ онъ былъ неправъ передъ нею. Таковою мы уже видимъ ее въ настоящее время—таковою и изображаемъ въ нашемъ разсказѣ. Черты довольно непривлекательны; но прошу покорно каждаго изъ васъ безусловно обвинить единственно только женщину въ ея развратѣ — женщину, которая во время своей еще честной жизни видитъ добрый примѣръ мужа, постоянно слышитъ добрые совѣты довольно легкаго свойства, и эти совѣты даютъ ей всѣ, начиная съ родной матери и кончая пріятельницами. Бросайте послѣ этого въ нее камень!

Окончательный разрывъ съ княгиней произвелъ на Морденку сильное впечатлѣніе. Это было для него первое и послѣднее разочарованіе. Онъ инстинктивно догадывался, что причиной разрыва должна непремѣнно служить все та же проклятая пощочина. Злость его мучила, грызла, подступала къ горлу и душила. Онъ заболѣлъ разлитіемъ желчи. Сознавши разъ, что все старое кончено, что къ прежнему нѣтъ уже возврата, а виной всему случившемуся — одна только прихоть, капризъ скучающей барыни, которая вдобавокъ не имѣетъ къ нему, «пострадавшему», ни малѣйшаго чувства — онъ

возненавидѣлъ ихъ всѣхъ до послѣдней степени, на какую только способна душа человѣческая. Паче всего вопіяли мечты самолюбія о панибратствѣ съ господами, о всеобщемъ почтеніи. Съ этими грезами тяжелѣе всего было разстаться.

Тогда Морденко вздумалъ мстить.

Но какъ мстить? Что̀ можетъ сдѣлать онъ, ничтожный мѣщанинъ, темный вольноотпущенный, раздавленный холопъ, что̀ можетъ сдѣлать онъ его сіятельству князю Дмитрію Платоновичу Шадурскому? Убить его?—за это въ Сибирь пойдешь, плети примешь, да и что̀ это за мщеніе убійствомъ? Хлопсъ человѣка—и все покончено мгновеніемъ! Нѣтъ, надо мстить такъ, чтобы онъ чувствовалъ, мучился, каялся, ненавидѣлъ бы, злился на тебя до бѣшенства—и все-таки ничего бы съ тобою подѣлать не могъ. Надо, чтобы онъ почувствовалъ все то, что̀ я теперь чувствую — это вотъ будетъ месть, такъ ужь месть! Не то, что убійство!

Морденко думалъ-думалъ и, наконецъ, выдумалъ.

Черезъ нѣсколько времени въ полицейскихъ вѣдомостяхъ появилось объявленіе, гласившее, что въ Средней Мѣщанской, домъ такого-то, въ квартирѣ № 24, ссужаются деньги подъ залогъ золотыхъ, серебряныхъ и иныхъ вещей. Заклады принимаются съ восьми часовъ утра до двѣнадцати ночи.

VII

Благодѣтель рода человѣческаго

Этимъ объявленіемъ Морденко вступилъ въ новый фазисъ своей жизни, сопричтясь къ многочисленному классу петербургскихъ благодѣтелей рода человѣческаго.

Кто не знаетъ этихъ благодѣтелей? кому изъ петербуржцевъ хоть разъ не приходилось имѣть съ ними дѣла? Не знаете ихъ вы, баре, питающіе себя у Дюссо и Мартена, содержащіе Бертъ и Луизъ; но не знаете потому, что у васъ есть свои собственные, особые благодѣтели, благодѣянія коихъ суть гораздо горьче тѣхъ, что выпадаютъ на долю люда мелкоплавающаго. Впрочемъ, одно стоитъ дру-

того. Всѣ эти Бланы, Розенберги и Кохи — родные братья Бековъ Карповичей, Алтуховыхъ и прочихъ. Разница та, что первые ареной дѣятельности избрали почву элегантную, вторые — почву голода и холода, плача и скрежета зубнаго. Первые даютъ вамъ деньги подъ вѣрное обезпеченіе на пять и даже на десять процентовъ въ мѣсяцъ, такъ что за тысячу рублей вы черезъ годъ уплатите двѣ тысячи-двѣсти и все-таки будете благодарны Блану и Коху за его благодѣяніе. Вторые подъ залогъ вещи, стоющей пятьдесятъ рублей, дадутъ вамъ пятнадцать, много двадцать и возьмутъ непремѣнно уже по десяти процентовъ въ мѣсяцъ. Для первыхъ обезпеченіе бываетъ двоякаго рода: либо это—собственность, домъ, земля, фамильныя драгоцѣнности; либо очень скверная, въ высшей степени безнравственная, воровская продѣлка, состоящая въ томъ, что корнета, занимающаго деньги, заставляютъ, sine qua non, подписываться на векселѣ ротмистромъ, несовершеннолѣтняго—совершеннолѣтнимъ и т. п. Это по большей части дѣлается съ богатыми наслѣдниками, послѣ чего такой опрометчивый господчикъ совсѣмъ уже попадается въ лапы ростовщика, который стращаетъ его уголовной палатой, вопіетъ о подлогѣ, съ наглостью изображаетъ себя невинной, обманутой жертвой и тянетъ уже со своего кліента сумму, какая заблагоразсудится. Бывали примѣры, что за двадцать-пять тысячъ черезъ три года отдавали сто, лишь бы выручить подложную подпись, которую заставляли ихъ дѣлать въ нетрезвомъ видѣ, благодаря ростовщичьему завтраку съ обильными возліяніями.

Обезпеченіе ростовщиковъ второй категоріи состоитъ исключительно изъ вещей. Доброму вору — все въ пору; неси къ нему платье, мѣхъ, бѣлье, золотую или серебряную вещицу — благодѣтель рода человѣческаго тотчасъ же приметъ не обинуясь, оцѣнитъ вещь самъ, по собственному благоусмотрѣнію, и выдастъ ничтожную сумму, часто съ вычетомъ «законныхъ» десяти процентовъ за мѣсяцъ впередъ. Тутъ долгихъ сроковъ не бываетъ: мѣсяцъ, полтора, много три и затѣмъ — проститесь со своею вещицей навсегда, буде не выкупите въ срокъ, опредѣленный самимъ благодѣтелемъ. Разница между ростовщиками большой и малой руки та, что первые начинаютъ дѣло съ капиталомъ въ двадцать-пять тысячъ, вторые — съ

тысячи, а иногда и того меньше. Въ результатѣ черезъ пять-шесть лѣтъ у первыхъ оказывается уже капиталъ во сто, у вторыхъ въ десять тысячъ. Уличнаго воришку, крадущаго у васъ изъ кармана платокъ или табакерку, ради голода, вы считаете негодяемъ, подлежащимъ законному наказанію. Ростовщику — вы любезно протягиваете руку, любезно разговариваете съ нимъ, считаете, въ самомъ дѣлѣ, благодѣтелемъ рода человѣческаго и сами, давая ему связывать себя по рукамъ и ногамъ, какъ-бы говорите: ограбь меня, батюшка! будь благодѣтелемъ, обери въ конецъ! — и благодѣтель, стоящій внѣ закона, обираетъ васъ — да и самъ, не шутя, считаетъ себя добродѣтельнымъ и нравственнымъ человѣкомъ, ибо онъ помощь вамъ оказываетъ, Богу молится, храмъ господень по праздникамъ посѣщаетъ и душу свою питаетъ назидательнымъ чтеніемъ библіи и книгъ высокаго, духовно-нравственнаго содержанія.

У Морденки было сколочено пятнадцать тысячъ капиталу. Но на первый разъ онъ началъ дѣло только съ тремя. Черезъ годъ у него было до шести, еще черезъ годъ — до десяти. Легко составляется состояніе ростовщика, но трудно дойти до такого состоянія и не всякій можетъ, ибо для этого надо родиться. Морденко, можетъ быть, и не былъ рожденъ съ ростовщичьими наклонностями, но сдѣлался самымъ злѣйшимъ изъ петербургскихъ ростовщиковъ, квинт-эссенціей этого благодѣющаго міра. Больше сухости и безсердечія, болѣе эгоистической преданности своимъ интересамъ, въ жертву которымъ приносилось все, врядъ-ли можно бы было встрѣтить. Ни малѣйшаго человѣческаго движенія, ни малѣйшаго состраданія къ своему должнику — одинъ только разсчетъ, разсчетъ и разсчетъ.

Какъ же, однако, совершается съ человѣкомъ такая рѣзкая метаморфоза?

А вотъ какъ:

Послѣ появленія въ полицейской газетѣ извѣстнаго объявленія о принятіи въ закладъ различныхъ вещей, Морденко нѣсколько успокоился. Цѣль его новой жизни была уже опредѣлена; вѣрный планъ мести за пощочину разсчитанъ, какъ нельзя лучше. Время должно

было привести его въ исполненіе. Передъ этой задачей своей жизни— все остальное попятилось назадъ, на послѣднюю ступень, все это принималось Морденкой потолику, поколику могло служить его главной цѣли, быть подходящимъ для его главнаго интереса. Какъ дрогнуло его сердце, когда у дверей квартиры его раздался первый звонокъ, возвѣстившій о первой вещи, принесенной ему въ закладъ! Онъ вышелъ въ пріемную; тамъ печально стояла красивая женщина, одѣтая очень бѣдно. Лицо ея показалось даже какъ будто нѣсколько знакомымъ ему. Отъ всей фигуры ея вѣяло скромнымъ, благороднымъ достоинствомъ, по лицу же нетрудно было разгадать, что на душѣ ея лежитъ какое-то большое горе.

— Вы публиковали, что принимаете вещи въ закладъ, начала она, поклонясь Морденкѣ.

— Такъ точно, сударыня, принимаемъ...

Она сняла съ шеи золотую цѣпочку, на которой висѣлъ массивной работы золотой крестикъ, и подала ее ростовщику. Морденко внимательно осмотрѣлъ пробу, принесъ изъ другой комнаты маленькіе вѣсы, въ родѣ аптекарскихъ, и бросилъ вешь на одну чашку. Женщина не слѣдила за всѣми этими эволюціями: она сидѣла на стулѣ у окна, подперши ладонью подбородокъ и неопредѣленно глядѣла въ дворъ. Морденко мимоходомъ вскинулъ на нее нѣсколько взоровъ. Лицо ея все болѣе и болѣе казалось ему знакомымъ; онъ старался припомнить, гдѣ и когда видѣлъ эту женщину.

— Я могу, сударыня, дать вамъ за эту вещь двадцать-пять рублей, вѣжливо сказалъ онъ.

— Только двадцать-пять?!... изумилась она. — Помилуйте, за нее ломбардъ дастъ семьдесять-пять — она заплачена двѣсти.

— Въ ломбардѣ сегодня не принимаютъ: пріемъ будетъ послѣзавтра; а больше дать не могу.

На глазахъ ея навернулись слезы.

— Бога-ради, сказала она дрогнувшимъ голосомъ: — бога-ради, дайте мнѣ больше... Это — все, что я имѣю... моя послѣдняя вещь.

— Надо быть, фамильная? замѣтилъ Морденко, взглянувъ исподлобья на женщину. Ему было жаль ее. Онъ уже подумывалъ: «не дать-ли, въ самомъ дѣлѣ, больше? вещь она тово... стоющая».

— Это... благословеніе моего отца... съ трудомъ, наконецъ, рѣшилась выговорить женщина. — Мнѣ она очень дорога... не хотѣлось бы потерять ее...

— Такъ вы лучше ужь снесите ее въ ломбардъ: сохраннѣе будетъ, посовѣтовалъ онъ.

— Но вѣдь вы же сами говорите, что сегодня нѣтъ пріему, а мнѣ необходимо сегодня же... Бога-ради, помогите мнѣ!

Тотъ тонъ, которымъ сказаны были эти послѣднія слова, сильно шевельнулъ душу Морденки: онъ понялъ, что эта женщина стоитъ на страшномъ рубежѣ, что не помоги онъ ея нуждѣ, ея голоду — быть можетъ, завтра же она махнетъ рукою и пойдетъ на улицу продавать самоё себя, свою красоту, свою молодость. Сердце его сжалось... «Дамъ-ка я ей безъ залога денегъ», мелькнуло въ его головѣ. Онъ уже запустилъ-было руку въ свой боковой карманъ, какъ вдругъ брови его судорожно сжались и энергическое лицо передернулось нервнымъ движеніемъ. «А моя цѣль, а мщеніе?» всталъ передъ нимъ роковой вопросъ. «Къ чорту состраданіе! Этакъ вѣдь допусти себя только съ перваго разу, такъ потомъ и пойдетъ... Всѣхъ нищихъ вѣдь не надѣлить копѣйкой»!

— Больше двадцати-пяти рублей никакъ не могу, сударыня, сухо поклонился онъ.

— Она не пропадетъ у васъ? рѣшительно спросила женщина.

— Это будетъ зависѣть отъ васъ, отвѣтилъ онъ съ прежнею сухостью.

Та стояла въ рѣшительномъ раздумьѣ.

— Ну, нечего дѣлать!... давайте двадцать-пять.

Морденко вынулъ изъ ящика двѣ записныя книги. Въ одну внесъ онъ число, мѣсяцъ, годъ и сдѣлалъ помѣтку: «*№ 1-й*», при чемъ рука его нервно дрогнула. «Первый нумеръ! сколько-то ихъ будетъ потомъ?... Благослови, Господи, начало!» подумалъ онъ въ эту минуту. Затѣмъ обозначилъ названіе вещи и сумму — 25 р. с.

— Пишите росписку, сударыня, предложилъ онъ, подавъ ей другую книгу и обмокнувъ въ чернило перо.

— Что же нужно писать? спросила женщина.

— Я вамъ сейчасъ продиктую... Пишите: «такого-то года, такого-то числа и мѣсяца, я, нижеподписавшаяся, заложила господину

Морденкѣ собственно мнѣ принадлежащую золотую цѣпочку съ золотымъ крестомъ за двадцать-семь рублей пятьдесятъ копѣекъ (пишите прописью, сударыня, словами, а не цыфрами).

— Какъ, за двадцать-семь? вѣдь я... за двадцать-пять?... въ замѣшательствѣ спросила женщина.

— А законные проценты, вы какъ полагаете? улыбнулся онъ.— Мнѣ-то вѣдь жить чѣмъ нибудь надобно?... безъ профиту нельзя-съ.

Женщина поникла головой и опять опустила перо на бумагу.

— За двадцать-семь рублей пятьдесятъ копѣекъ, продолжалъ ростовщикъ своимъ казеннымъ тономъ. — Написали-съ?

— Готово.

— Извольте продолжать, сударыня: «срокомъ на одинъ мѣсяцъ, по прошествіи коего, буде не внесу въ уплату вышеозначенной суммы, то лишаюсь всякаго права на обратное полученіе оной вещи»...

— Но... какъ же это такъ?... Помилуйте! изумленно вскинула она на него голову.

— «То лишаюсь всякаго права на обратное полученіе оной вещи», докторально-методическимъ и сухимъ тономъ повторилъ Морденко.

Женщина вздохнула и написала требуемое.

— Далѣе-съ!... «и обязуюсь нигдѣ не искать судомъ на такія дѣйствія господина Морденки, признавая ихъ, съ своей стороны, совершенно правильными». Теперь выставьте, сударыня, внизу, въ сторонкѣ-съ, годъ, число и часъ. Который часъ у насъ теперь? добавилъ онъ, взглянувъ на карманные часы. — Безъ семнадцати минутъ одиннадцать. Итакъ, напишите-съ: «десять часовъ и сорокъ-три минуты полуночи».

— Это для чего же? спросила женщина.

— Для того-съ, что какъ ежели черезъ мѣсяцъ явитесь въ означенный срокъ съ уплатой—то и вещицу свою получите, объяснилъ ростовщикъ и подалъ своей кліенткѣ нѣсколько ассигнацій и нѣсколько мелочи, присовокупивъ:

— Перечтите-съ!

— Вы ошиблись, сказала та, пересчитавъ врученную ей сумму.

— Никакъ нѣтъ-съ, сударыня, я не могу ошибиться, улыбнулся

онъ, съ несокрушимымъ сознаніемъ полной своей непогрѣшимости.

— Но тутъ только двадцать-два съ полтиной?!

— Такъ точно-съ: двадцать-два съ полтиной. Проценты за мѣсяцъ вычтены впередъ.

— Но вѣдь въ роспискѣ уже написаны проценты?

— То само собою, а это для вѣрности, на тотъ конецъ, ежели вы не выкупите вещь — такъ за что же пропадать моему законному? Согласитесь сами!...

Женщина горько улыбнулась, Морденко отвѣтилъ тоже улыбкой, только самаго ростовщицки-любезнаго свойства.

— Теперь не угодно-ли вамъ подписать свое имя, фамилію и званіе, предложилъ онъ.

Женщина, очевидно, пришла въ большое затрудненіе. Она колебалась. Морденко опять подалъ ей обмокнутое перо.

— Зачѣмъ же это? нерѣшительно спросила она.

— Помилуйте-съ, какъ же это «зачѣмъ»?—Вѣдь это документъ... безъ того силы не имѣетъ.

Женщина взяла перо, и Морденко сталъ слѣдить за ея рукою:— *княжна Анна Чечевинская*, прочелъ онъ и отшатнулся. Теперь уже онъ вспомнилъ, почему ея лицо показалось ему знакомымъ, и на губахъ его мелькнула злорадная улыбка. Морденко видѣлъ ее раза два у Шадурскихъ, и зналъ отъ Татьяны Львовны объ отношеніяхъ Анны къ своему патрону. «А!... барская кровь!...» подумалъ онъ съ нервическою дрожью. «Это неспроста... Самъ Богъ помогаетъ моей цѣли... Начало доброе!» И онъ въ волненіи сталъ ходить по комнатѣ, не замѣтивъ даже, какъ княжна молча ему поклонилась и вышла за двери. Морденко былъ мнителенъ и суевѣренъ. Въ этой случайности онъ видѣлъ доброе предзнаменованіе, нѣчто таинственное, мистическое, и съ этой минуты уже твердо далъ себѣ клятву—до конца преслѣдовать свои цѣли. Прошелъ мѣсяцъ; княжна не явилась за выкупомъ, и цѣпочка навсегда осталась у Морденки, который хранилъ ее, какъ первый памятникъ своей индустріи, какъ начало задуманной мести. Да, ему трудно было только начало, трудно было задавить только первый человѣческій порывъ своего сердца, а потомъ ужь стало все легче и легче,

такъ что чрезъ годъ, когда много уже довелось ему видѣть въ своей квартирѣ и скорби, и нужды, и горя, и слезъ человѣческихъ, сердце его было уже сухо и глухо, и самъ онъ весь зачерствѣлъ, превратясь въ какую-то ходячую, желѣзную машину, въ автомата, выдающаго деньги и принимающаго заклады. Теперь уже ни одинъ стонъ человѣческій не въ состояніи былъ дойти до его сердца, ни одна горькая слеза не могла прожечь черствую кору, подъ которой гнѣздилась только одна мысль, одно лихорадочное желаніе—отомстить его сіятельству, князю Шадурскому.

Привычка—дѣло великое! Но паче всего, и легче всего можно привыкнуть къ человѣческому горю и страданію. Въ подобной школѣ, человѣкъ скорѣе всего становится закоренѣлымъ циникомъ. Такъ привыкъ и Морденко къ сценамъ, почти каждодневно повторявшимся у него въ квартирѣ.

Сына своего, тотчасъ же по взятіи отъ акушерки, помѣстилъ онъ къ майору Спицѣ. Отсюда его знакомство съ Петромъ Кузьмичомъ, который, имѣя свою спеціальную отрасль промышлености, дававшую ему кое-какой доходецъ, не приходилъ съ Морденкой въ столкновеніе по части ссудъ и закладовъ, а потому оба сіи мужа и состояли въ благопріятельскихъ отношеніяхъ. Они иногда навѣщали другъ друга, но Морденко чаще захаживалъ къ майору, подъ предлогомъ взглянуть на сына, а въ сущности затѣмъ, чтобы даромъ напиться чужого чаю. Къ сыну онъ былъ совсѣмъ равнодушенъ, даже втайнѣ находилъ, что лучше бы было, еслибъ мальчикъ поскорѣй протянулъ ноги: тогда по крайней-мѣрѣ, за воспитаніе не платить бы, и сумму, данную на этотъ конецъ княгиней, отчислить навѣки къ своему капиталу. Но мальчикъ жилъ—и, волей-неволей—приходилось его одѣвать, обувать и платить за ученье. Въ отношеніи этого ребенка, въ сердцѣ отца существовала какая-то странная двойственность: иногда пробивалась въ немъ теплота родительскаго чувства, голосъ крови; иногда-же безпричинно переносилъ онъ на него свою ненависть къ «барынѣ - матери», которая все-таки этого ребенка родила на свѣтъ, все-таки онъ *сынъ* ей приходился. Изъ этого источника и истекала его постоянная холодность.

Время шло—дни за днями, годы за годами — капиталъ ростов-

щика накоплялся и принесъ уже плоды сторицею противъ своей первоначальной стоимости; а вмѣстѣ съ тѣмъ накоплялась и ненависть. Это уже было единственное живое существо, наполнившее собою, если можно такъ выразиться, весь организмъ старика. Внѣ этого чувства и внѣ задуманнаго плана, для него ничего не существовало. Капиталъ его возросъ уже до двухсотъ тысячъ, а онъ, еженедѣльно сводя свои счеты, все еще бормоталъ своими старческими губами: «мало... мало... мало ли...», все еще считалъ недостаточнымъ для осуществленія своей цѣли.

Это постоянное преслѣдованіе одной и той же мысли перешло у него, наконецъ, въ родъ помѣшательства. Онъ никому, никогда не высказался въ ней—и тѣмъ-то, стало быть, сильнѣе и глубже развивалась его idée fixe. Подъ вліяніемъ ея онъ состарѣлся преждевременно, погнулся, высохъ, какъ мумія, пожелтѣлъ, какъ пергаментъ. Повременамъ на него находилъ страхъ смерти, и онъ мучился, терзался, и до изступленія молился Богу, чтобы не послалъ ему смерти преждевременной, ранѣе окончанія задуманной цѣли. Страшно-бы было взглянуть тогда на эти сверкающіе глаза и шевелящіяся губы посреди почти мертвенно-неподвижнаго лица полуумнаго старичишки. Думая, что денегъ все еще мало и мало, онъ сталъ отказывать себѣ во всемъ, даже въ необходимомъ—въ пищѣ, въ одеждѣ, въ теплѣ и подъ конецъ сдѣлался отчаяннымъ скрягой, даже началъ ходить по вечерамъ за христорадною милостыней, мечтая этими скудными грошами пополнить свой капиталъ.

Въ Петербургѣ есть нѣсколько особаго рода магазинчиковъ, пріютившихся большею частію по подвальнымъ этажамъ на улицу. Въ маленькихъ окнахъ этихъ магазинчиковъ вы можете увидѣть и хорошую картинку, писанную масляными красками, и оружіе въ дорогой оправѣ, бронзу, и хрусталь съ севрскимъ фарфоромъ, женскую шляпу и мужской пиджакъ. Тутъ же лежитъ черешневый чубукъ, рядомъ съ отдѣланнымъ въ кружева зонтикомъ и биноклемъ, разбросаны всевозможныя бездѣлушки, въ родѣ яшмовыхъ пресс-папье, костяныхъ точеныхъ шахматъ, малахитовыхъ подсвѣчниковъ и тому подобныхъ вещей комфортабельнаго домашняго обихода. Войдите во внутрь такого магазинчика (дверь обыкновенно съ пронзительнымъ колокольчикомъ), и вы увидите куски матерій, лампы,

статуэтки, блонды и кружева, мѣха и книги, женскія платья, нѣсколько стѣнныхъ и столовыхъ часовъ, мебель и даже цвѣты. Вы бы навѣрное не поняли, что это за сбродъ продается тутъ, еслибъ не вывѣска надъ входомъ. А вывѣска эта обыкновенно гласитъ, что «здѣсь покупаютъ, перепродаютъ и берутъ на коммиссію различныя вещи», а иногда она ограничивается весьма остроумнымъ и лаконическимъ: «продайте и купите». Въ эти-то магазинчики преимущественно сбываютъ ростовщики остающіяся у нихъ за невыкупомъ вещи, которыя иногда сбываются ими и въ другія руки— ювелирамъ, портнымъ, мѣховщикамъ и тому подобнымъ ремесленникамъ. Продается вещь всегда за цѣну вдвое или втрое больше той суммы, какая была отпущена подъ ея залогъ, и все-таки покупатель остается въ барышахъ очень хорошихъ.

Морденко всѣ свои вещи точно такъ же сбывалъ въ одну изъ подобныхъ лавчонокъ, съ хозяиномъ которой велъ дѣла уже въ теченіе многихъ лѣтъ, и оба были какъ нельзя болѣе довольны другъ другомъ, ибо, при взаимной помощи, сильно пріумножили капиталы свои.

Пятнадцать лѣтъ спустя послѣ начала ростовщицкой дѣятельности, въ рукахъ Морденки появилось нѣсколько значительныхъ векселей князя Шадурскаго. Долгіе годы слишкомъ роскошной жизни понизили кредитъ князя Дмитрія Платоновича. Многіе заимодавцы его съ нѣкотораго времени стали весьма призадумываться въ возможности полученія съ него всей суммы сполна съ слѣдуемыми процентами. Морденко, неперестававшій исподоволь наблюдать за ходомъ денежныхъ дѣлъ и обстоятельствъ своего ех-патрона, ловко воспользовался минутой раздумья этихъ заимодавцевъ и понемножку сталъ скупать у нихъ по выгодной для себя цѣнѣ векселя князя. Дмитрій Платоновичъ, узнавъ объ этомъ, очень обезпокоился и послалъ къ Морденкѣ своего повѣреннаго, провѣдать, съ какою цѣлью дѣлается имъ эта скупка и что онъ намѣренъ предпринять? Морденко, во всякомъ случаѣ ожидавшій со стороны князя подобныхъ вопросовъ, принялъ на себя умильно-огорченный видъ и, съ чувствомъ видимаго чистосердечія, просилъ передать своему «благодѣтелю», что онъ не забылъ, сколь много былъ взысканъ, во время оно, княжескими милостями, благодаря которымъ имѣетъ теперь

нѣкоторый капиталецъ; но что въ жизни его было «нѣкоторое обстоятельство», вслѣдствіе котораго онъ сознаетъ, что безконечно виноватъ передъ своимъ благодѣтелемъ и, чувствуя угрызенія совѣсти и искреннее раскаяніе, желаетъ хоть сколько-нибудь загладить свою прошлую вину.

— Скажите его сіятельству, пусть они не изволятъ безпокоиться, говорилъ онъ повѣренному.—Я взысканіями своими тревожить ихъ не стану, а скупилъ бумажки эти по той собственно причинѣ, какъ провѣдалъ я, что недоброжелатели ихъ сіятельства хотѣли-было потѣснить моего благодѣтеля—такъ пускай же лучше находятся бумажки эти въ моихъ рукахъ, чѣмъ причинять огорченіе князю. Я съ ними дѣлать ничего не хочу.

Прошло болѣе двухъ лѣтъ. Морденко, дѣйствительно, ничего не предпринималъ противъ князя: онъ былъ спокоенъ, потому что векселя передъ отходомъ въ его руки, уже протестовались прежними заимодавцами, стало-быть, для него имѣлось впереди еще десять лѣтъ полнаго спокойствія. Не тревожился также и Шадурскій, увидѣвшій изъ двухлѣтняго бездѣйствія своего бывшаго управляющаго—подтвержденіе словъ, сказанныхъ имъ повѣренному.

VIII

Иванъ Верисовъ

Доводилось ли вамъ когда-нибудь наблюдать характеры людей, съ дѣтства потерявшихъ отца и мать, выросшихъ на чужихъ рукахъ, въ чужихъ людяхъ, лишенныхъ материнской ласки, заботы и вліянія? Въ такихъ характерахъ, сообразно личному темпераменту господствуютъ двѣ рѣзкія противоположности.

Сангвиникъ какъ-то спартански закаляется въ этой суровой житейской школѣ. Въ немъ развивается сильный, стойкій, энергическій характеръ, желѣзная, непреклонная воля. Къ людямъ у него какое-то инстинктивное недовѣріе, иногда и нѣкоторая мизантропія даже; онъ ни въ чемъ на нихъ не полагается, потому что вѣритъ только въ себя и въ свои силы. Онъ не согнется ни предъ какой грозою, и безъ протекцій, безъ поддержекъ, пробиваетъ себѣ дорогу въ жизни, своимъ умомъ, своими боками. Такіе люди—попреимуще-

ству вѣчные борцы нашей жизни; имъ ничто не дается даромъ: каждый шагъ, каждый глотокъ свободнаго воздуха они должны отстаивать и брать себѣ съ бою, должны завоевывать себѣ право жить. Изъ нихъ, при счастливомъ направленіи, часто выходятъ государственные мужи, полководцы, законодатели; ими же, при направленіи неблагопріятномъ, укомплектовываются сибирскіе рудники и каторжныя арестантскія роты.

Лимфатикъ представляетъ явленіе совершенно противоположное. Мнѣ сдается, что именно про него-то и была сложена пословица: «на бѣднаго Макара все шишки валятся». Это — человѣкъ приниженный, робкій, забитый, никогда несмѣющій гордо поднять свою голову, смѣло возвысить свой голосъ. Его удѣлъ—вѣчно терпѣть, вѣчно томиться своимъ одиночествомъ и пассивно выносить суровые тычки людей и житейскихъ обстоятельствъ. Все, что можетъ выйдти изъ него для жизни—это честный труженикъ, который тихо и незамѣтно сойдетъ въ могилу, среди своихъ кропотливыхъ и часто неблагодарныхъ занятій. Въ немъ, точно такъ же какъ и въ первомъ, съ младенчества засѣло недовѣріе къ людямъ, даже боязнь людей; но сердце его всегда остается мягкимъ, добрымъ, сострадательнымъ. Первый, для достиженія своей цѣли, не задумается свалить десятки, сотни людей, чѣмъ-либо замедляющихъ его ходъ. Второй—даже мухи никогда не обидитъ. Онъ никогда и ни съ чѣмъ не борется, какъ баранъ на закланіе подставляетъ свою безотвѣтную голову; протестъ его слабъ, сокрытъ въ глубинѣ его души и развѣ тѣмъ только иногда проявляется, что бѣдняга либо запьетъ себѣ мертвую, либо руки на себя наложитъ, но... никогда никому не выскажется. Сердце его часто полно любовію, хочется кому-нибудь протянуть свои братскія объятья, и случается, что во всю его неприглядную жизнь никто не откликнется на эту любовь— такъ весь вѣкъ и пройдетъ въ тщетныхъ исканіяхъ. — Это наши тихіе, смирные обыденные люди, разыгрывающіе въ жизни плачевную роль библейскаго ковла отпущенія.

Къ этой послѣдней категоріи принадлежалъ сынъ Морденки и княгини Шадурской — Иванъ Вересовъ.

Вскормленъ былъ онъ у майора Спицы на соскѣ да на коровьемъ молокѣ и, какъ извѣстно уже читателю, съ самой минуты своего

рожденія на свѣтъ, лишенъ материнской ласки и заботы. У майора имѣлись свои собственныя дѣти, такъ что майоршѣ и со своими-то пострѣлятами по горло было возни, а маленькому пріемышу, по обыкновенію, доставались первая колотушка и послѣдній кусокъ. Ходилъ онъ, кое-чѣмъ прикрытый отъ вліянія стихій, вѣчно въ обноскахъ: старая рубашонка и старые башмачонки его сверстниковъ для него сходили за новые, да и за то еще воспитательскую руку въ благодарность цаловать заставляли. Бывало, майорскіе пострѣлята нашумятъ, нашалятъ, разобьютъ что-нибудь — а первому все же Ванькѣ достается. Когда же подросли всѣ они на столько, что маломальски смыслить стали, такъ и сами начали то щипкомъ, то тычкомъ ублажать своего сотоварища. Ребёнокъ вѣчно чувствовалъ свое одиночество и съ этихъ уже поръ пріучался видѣть людскую неправду.

Отъ отца тоже не видалъ ласки, потому если тотъ и придетъ къ майору провѣдать своего сынишку и внести слѣдуемую за воспитаніе сумму, такъ первымъ вопросомъ у него было: «Не шалитъ ли, пострѣлёнокъ? а буде шалитъ, такъ драть его, каналью, розгачами, да духу слушать: — живъ — дери его снова!» Во всемъ этомъ было очень мало утѣшительнаго — недоставало родной души, привязаться сердцемъ нé къ кому.

Разъ какъ-то вздумалъ онъ приласкаться къ отцу — тотъ поглядѣлъ съ суровымъ удивленіемъ: черты ребёнка живо напоминали черты матери — Морденку зло разобрало.

— Это чтó за нѣжности! съ чего это? притворяться, поди-ка, вздумалъ? Врешь, меня не надуешь! Садись-ка лучше за букварь! проворчалъ онъ — и ребенокъ съ этой минуты боялся уже подходить къ нему.

Другой разъ, возвращаясь домой, засталъ онъ его на дворѣ въ слезахъ; остальные ребятишки дразнили своего сотоварища.

— Чего нюни распустилъ? остановился Морденко.

Мальчикъ отнѣкивался.

— Ну, отвѣчай, не скрывайся!

Оказалось, что они его побили.

— А! побили? а ты не дерись, веди себя скромненько, не задирничай! Вотъ пойдемъ-ка къ Петру Кузьмичу, пускай онъ тебя

взъерепенитъ по военному, для острастки, да и своихъ пострѣлятъ тоже, чтобъ не дрались!

Но пострѣлятамъ ничего не досталось, а Ванюшку, по уходѣ родителя, точно взъерепенили на всѣ четыре корки, потому — жаловаться не смѣй.

Другого бы все это ожесточало, а забитаго Вересова только пуще запугивало, да какъ улитку заставляло еще сильнѣе замыкаться въ свою тѣсную скорлупку.

Очень рано, между прочимъ, сталъ занимать его вопросъ: почему это у другихъ дѣтей есть матери, а у него нѣтъ? отчего это нѣтъ? гдѣ она находится? зачѣмъ про нее никто никогда не упоминаетъ? Однажды какъ-то онъ рѣшился спросить объ этомъ отца, въ одну изъ рѣдкихъ минутъ его ласковости.

Отецъ тотчасъ же нахмурился и отвѣчалъ:

— У тебя не было матери.

— Какъ же это не было... у другихъ есть вѣдь.

— То — другіе, а то — ты!... у тебя не было, и молчи, значитъ.

— Она умерла? рѣшился мальчикъ еще на одинъ вопросъ.

Морденко задумался, помолчалъ съ минуту и отрывисто отвѣтилъ:

— Умерла.

— Какъ же она умерла?... отчего умерла?

— Молчать! закричалъ онъ, стукнувъ кулаколъ по столу, такъ что мальчикъ, весь дрожа въ испугѣ, отскочилъ отъ него на нѣсколько шаговъ — и съ тѣхъ поръ разспросы о матери болѣе уже не возобновлялись.

Однажды старикъ пришелъ къ майору въ особенно пріятномъ расположеніи духа.

— Ну, Ваня, поди сюда! обратился онъ къ сыну: — тебѣ теперь пошелъ десятый годъ, грамотѣ ты знаешь, каракули тоже строчишь кой-какъ — пора, братъ, въ науку. Отецъ вотъ за тебя ходи тутъ, да клянчай, да кланяйся у начальства въ прихожихъ, чтобы сынка на казенный счетъ приняли, а сынокъ, пожалуй, и не чувствуетъ... А все зачѣмъ?—чтобъ изъ тебя человѣкъ вышелъ, а не болваномъ бы выросъ. Учись же, каналья, а станешь лѣниться—три шкуры спущу, заморю подъ лозанами!... Ступай, одѣвайся!

И наградивъ сына родительскимъ благословеніемъ, онъ тотчасъ же отвелъ его «въ казну» гдѣ и сдалъ на попеченіе дежурнаго чиновника.

Этою «казною» было училище театральной дирекціи.

Для Вѐресова началась новая эпоха, новая жизнь, нѣсколько лучшая въ матеріальномъ отношеніи, но въ сущности столько же неприглядная, какъ и прежде. Одѣли его въ синюю курточку и повели пробовать голосъ; голосу не оказалось никакого, слуху тоже; вмѣсто скрипичнаго *ut*, Ваня издалъ звукъ, напомнившій скрыпъ несмазанной двери; учитель выругался, классъ откликнулся хохотомъ — и сконфуженнаго Ваню послали вонъ изъ учебной комнаты, съ замѣчаніемъ, что въ хоры онъ совершенно негоденъ. Тѣ же результаты были и въ музыкѣ, и танцахъ. Наука *батмановъ* и всевозможныхъ *па* оказалась рѣшительно непримѣнимой къ великому и вдобавокъ сильно застѣнчивому мальчику, который отъ нетерпѣливыхъ криковъ француза-учителя и смѣха товарищей терялся уже окончательно, дѣлаясь дѣйствительно смѣшнымъ и жалкимъ. Оставалось послѣдняя надежда на искуство драматическое. Спустя уже года четыре по вступленіи въ школу, ему предстояло въ первый разъ выйти на подмоски домашняго школьнаго театра.

Готовилъ роль добросовѣстно, надѣялся отличиться, и — провалился... Какъ вышелъ на сцену, да увидѣлъ блестящіе первые ряды, какъ услышалъ въ послѣднихъ рядахъ сдержанное хихиканье товарищей — такъ до того оробѣлъ и потерялся, что смѣшавшись на первомъ же словѣ, сталъ истуканомъ и уже не произнесъ больше ни одного звука. Занавѣсъ тотчасъ же велѣно опустить, учителю сдѣланъ строгій выговоръ, а Вѐресовъ отправленъ въ карцеръ для исправленія. Насмѣшки удесятерились съ этой злосчастной минуты и не прекращались до самаго выпуска изъ заведенія.

Это полное фіаско такъ подѣйствовало на мальчика, что онъ заболѣлъ. Отецъ, дня черезъ два придя въ дирекцію, узнать каковъ былъ дебютъ, нашелъ сына въ лазаретѣ и страшно озлился.

— Ишь ты, барская кровь! нѣженка какой! ворчалъ онъ, стоя передъ его постелью: — болѣть умѣешь, а трудиться нѣтъ!

Вѐресовъ ничего не отвѣчалъ ему на эти укоры и лежалъ, съ

головой укутавшись въ байку. Отецъ постоялъ, плюнулъ и ушелъ; а между тѣмъ въ головѣ сына гвоздемъ засѣли его слова «барская кровь». Вспомнилъ онъ, что въ дѣтствѣ еще Морденко подъ сердитую минуту презрительно обзывалъ его иногда «барчонкомъ» — и въ душѣ мальчика тревожно возникъ прежній вопросъ: кто же наконецъ была его мать, и отчего ему не говорятъ про нее? Почему фамилія отца — Морденко, а его — Вéресовъ? И ужь отецъ ли онъ ему?

Чѣмъ дальше вдумывался онъ во всѣ эти вопросы, тѣмъ болѣе терялся; по однимъ соображеніямъ казалось, что Морденко точно его родной отецъ, даже нѣкоторое фамильное сходство убѣждало въ этомъ; по другимъ — Вéресовъ склоненъ былъ думать, что онъ, не сынъ ему, что тутъ кроется какая-то тайна, загадка, которую тщетно силился онъ разгадать. Но ничего не узналъ онъ ни до выхода, ни послѣ выхода своего.

Выпустили его изъ школы, какъ неспособнаго — *«на выходъ»*, то-есть на безсловесныя амплуа народа и гостей, и назначили четырнадцать съ полтиной въ мѣсяцъ жалованья. На эту сумму надлежало ему жить: нанимать комнату, кормиться и «прилично одѣваться».

Отецъ ни одной копейкой не помогъ ему при выпускѣ, и жить къ себѣ тоже не принялъ, такъ что Вéресовъ первое время долженъ былъ ходить ночевать все въ ту же театральную школу. Старый скряга ограничился однимъ только родительскимъ наставленіемъ, что ты, молъ, теперь взрослый человѣкъ, получаешь казенное жалованье, стало быть пріучайся жить аккуратнѣе и не ропщи. Ужь если старшіе положили тебѣ такое жалованье, значитъ и съ нимъ жить можно: я молъ, въ твои лѣта и этого не имѣлъ. Ступай себѣ съ богомъ, а отъ меня помощи не проси: я баловству не потворщикъ.

И сталъ себѣ Вéресовъ съ тѣхъ поръ перебиваться изъ кулька въ рогожку.

Былъ у него одинъ только талантъ — рисовать и лѣпить — и онъ отдался ему съ жаромъ, не пропускалъ ни одного класса въ рисовальной школѣ, а у себя дома почти все свое время проводилъ надъ кускомъ глины или за картономъ. Въ этомъ искуствѣ видѣлъ

онъ для себя единственный честный кусокъ хлѣба, единственный исходъ изъ своего грустнаго положенія. А положеніе, въ самомъ дѣлѣ, было донельзя грустное. Чтобы хоть какъ-нибудь хватало денегъ — дотянуть до конца мѣсяца, расплатиться съ лавочникомъ и квартирною хозяйкой, онъ принужденъ былъ работать на уличныхъ продавцовъ гипсовыхъ статуэтокъ. Но знаете ли вы, какъ ничтожно оплачивается этотъ трудъ? Есть въ Петербургѣ нѣсколько антрепренёровъ, изъ нѣмцевъ и изъ нашихъ православныхъ, которые ведутъ торговлю гипсовыми вещицами. Всякій изъ нихъ имѣетъ двухъ-трехъ несчастныхъ, закабаленныхъ художниковъ, да кромѣ того держитъ еще нѣсколькихъ ходебщиковъ, которые, шатаясь по городу, обязаны сбывать его товаръ покупателямъ. Каждая Венера или Нимфа, проданная за цѣлковый, навѣрное была пріобрѣтена антрепренёромъ за десять, много за пятнадцать копѣекъ серебромъ. Мелкія же вещицы оплачиваются тремя, а иногда и одною копѣйкой. Но, несмотря на столь скудную плату, мѣста у антрепренёровъ постоянно заняты охочими работниками, такъ-что приходится еще добиваться постоянныхъ заказовъ, и къ каждому антрепренёру обыкновенно похаживаютъ два-три голодные бѣдняка, въ ожиданіи милостиваго позволенія брать постоянную помѣсячную работу, которая, въ общей сложности, приноситъ труженнику пять-шесть рублишекъ въ мѣсяцъ. Изъ-за-этихъ-то вотъ пяти-шести лишнихъ рублишекъ и бился Иванъ Вёресовъ.

Въ послѣднее время ему особенно круто пришлось. Жалованье въ дирекціи забрано впередъ; антрепренёръ требуетъ вылѣпки какихъ нибудь новыхъ фигурокъ, потому старыя Венеры да Купидоны уже надоѣли; буде не выдумаетъ новыхъ, то совсѣмъ перестанетъ пользоваться заказами. Хозяйка тоже требуетъ за квартиру, не топитъ печку и грозитъ выгнать, если не принесетъ хоть сколько-нибудь деньжишекъ. Вёресовъ уже вторыя сутки не обѣдалъ; его начинала бить лихорадка. Боязнь заболѣть и черезъ то окончательно лишиться заказовъ у антрепренёра, побудила его обратиться къ одному товарищу по рисовальной школѣ. Товарищъ, на бѣду, самъ сидѣлъ безъ гроша, но къ счастію пользовался обѣдомъ въ кредитъ. Вёресовъ, утоливъ кое-какъ свой двухсуточный голодъ,

нашелъ у товарища цѣлый портфѣль фотографическихъ снимковъ съ замѣчательнѣйшихъ статуй европейскихъ музеевъ. Изданіе было изящное и стоило порядочныхъ денегъ, а къ товарищу попало по случаю очень дешево. Разглядывая фотографіи, Вéресовъ схватился за возможность вылѣпить по нимъ новыя группы, и вмѣстѣ съ этою счастливою мыслью, представилась ему перспектива полученія новыхъ денегъ и новыхъ заказовъ отъ антрепренёра. Онъ выпросилъ себѣ у товарища на время, для работы, его дорогое изданіе и уже совсѣмъ почти успокоенный, пошелъ-было къ себѣ домой, какъ вдругъ вспомнилъ угрозу хозяйки выгнать его съ квартиры, и повернулся въ обратную сторону.

«Безъ денегъ нечего и думать возвращаться. А хорошо бы теперо прямо засѣсть за работу—да какъ работать въ холодной комнатѣ и безъ свѣчи?» Размышляя такимъ образомъ, пошелъ къ своему антрепренёру — но не засталъ его дома; значитъ, и эта надежда лопнула. Оставалось послѣднее, и уже самое крайнее средство—попросить у отца.

Вéресовъ долго не рѣшался; но вѣдь не бродить же цѣлую ночь по улицамъ въ одномъ холодномъ пальтишкѣ, и—нечего дѣлать—онъ направился къ Средней Мѣщанской.

Встрѣча его съ Морденкой у воротъ грязно-желтаго дома уже извѣстна читателю.

IX

Чающіе движенія воды

Едва успѣлъ старикъ налить себѣ стаканъ настою изъ цѣлебныхъ, пользительныхъ травъ, какъ въ прихожей раздался стукъ въ наружную дверь.

— Алчущіе и жаждущіе, замѣтилъ онъ не безъ довольной улыбки.

Вошла бѣдно-одѣтая женщина, съ лицомъ, истощеннымъ заботою и нуждою.

— Чѣмъ могу служить? произнесъ Морденко свою обычную въ этихъ случаяхъ фразу.

— Пришла вещь свою выкупить.

Лицо ростовщика приняло угрюмый оттѣнокъ: онъ очень не жаловалъ выкуповъ.

— Фамилія? отрывисто спросилъ Морденко.

— Иванова.

— Что̀ заложено?

— Кольцо обручальное.

— Это, матушка, не отвѣтъ. Мнѣ надо знать, какое: золотое или серебряное?—у меня вѣдь не одна ваша вещь хранится, внушительно выговаривалъ онъ.

— Золотое, сообщила женщина.

— Когда было заложено?

— Мѣсяцъ назадъ.

— Ровно мѣсяцъ?... Стало-быть, сегодня срокъ... Хорошо, поглядимъ, поищемъ, говорилъ онъ, вынувъ изъ ящика большую конторскую книгу, и отыскивая въ ней нужную ему запись; женщина съ спокойнымъ равнодушіемъ слѣдила за его указательнымъ пальцемъ.

— Что жь вы, матушка, понапрасну меня безпокоите? съ неудовольствіемъ поднялъ онъ на нея свои совиныя очки.

Женщина чутко встрепенулась.

— Срокъ вашему закладу давно уже прошелъ, а вы требуете, сами не зная, чего!

— Какъ прошелъ?! да вѣдь ровно же мѣсяцъ?! тревожно изумилась та.

— Гм... мѣсяцъ... Извольте взглѣнуть. Онъ подалъ ей другую книгу, по величинѣ и виду совершенно равную первой.—Это ваша росписка? ваша рука?

— Моя... Что̀ жь изъ этого?

— Мѣсяцъ истекъ вчера... прошли уже цѣлыя сутки... Стало-быть, вы изволили просрочить и, по закону, лишаетесь своей вещи. Съ этими словами, онъ заперъ книги въ свой ящикъ и сухо поклонился выкупщицѣ.

— Господи!... Да неужели же вы за такую малость захотите отнять у меня вещь? тихо проговорила она.

— Я невиноватъ, сударыня, я невиноватъ... Сами на себя пе-

няйте — зачѣмъ просрочили... Я люблю аккуратность и точность: двухъ минутъ противъ срока не потерплю; а дѣлай-ка я поблажки, такъ самому съ рукой ходить придется... Не могу, матушка, извините!

— Такъ неужели жь ему пропадать за два цѣлковыхъ?

Морденко пожалъ плечами.

— Я вамъ сдѣлалъ одолженіе, возразилъ онъ: — я вамъ оказалъ довѣріе, а вы довѣрія моего не оправдали... сами просрочили, да сами на меня и плачетесь. Это, матушка, нехорошо-съ! Эдакъ я отъ васъ въ другой разъ, пожалуй и не приму закладу.

— Да ужь мнѣ и закладывать больше нечего—послѣднее снесла, проговорила женщина съ глубокимъ вздохомъ и какою-то подавленной горькой ироніей.

— Это ужь ваше дѣло, матушка, ваше дѣло; вамъ ужь про то и вѣдать.

— Да вѣдь это — обручальное... это вѣдь нà вѣкъ человѣку! приступила она къ нему съ мольбою.

— Для меня это всё-единственно, матушка, всё-единственно, возражалъ Морденко. — Я ужь тутъ ничего больше не могу для васъ сдѣлать и прошу васъ — оставьте меня пожалуйста!... — Я человѣкъ хворый, а вы меня раздражаете... Уйдите лучше, матушка, уйдите!...

Женщина съ минуту еще молча стояла на своемъ мѣстѣ. По щекамъ ея покатились обильныя, крупныя слезы; она тихо повернулась и тихо ушла изъ квартиры Мордепки.

Вся эта сцена произвела на Вéресова томительно-тяжелое впечатлѣніе. Сердце его болѣзненно сжалось и щемило. Онъ на себѣ самомъ чувствовалъ печальное положеніе ушедшей женщины.

— Вотъ и дѣлай людямъ добро! вотъ и одолжай ихъ! расхаживалъ Морденко по комнатѣ. — Сами же нечестно съ тобою поступятъ, а потомъ мытаремъ да лихоимцемъ, процентщикомъ обзываютъ!... Мытарь... А мытарь-то Господу Богу угоденъ былъ—вотъ оно что!...

Не успѣлъ онъ еще кончить своего монолога, какъ въ прихожей раздался новый стукъ въ двери.

— Экъ ихъ нелегкая тамъ разносила!... Чтò ни говорятъ, а все

къ мытарю... все къ мытарю ползутъ!... Охъ, люди, люди — фарисеи вы!...

Въ комнату робко вошелъ мужчина и, отвѣсивъ почтительный поклонъ, остановился у дверей. Морденко, взглядываясь, поднялъ на него свой фонарь — и лучь свѣта упалъ на рыжую физіономію пришедшаго, освѣтивъ особенно его глаза, которые какъ-то озабоченно бѣгали въ разныя стороны, словно бы искали чего. Наружность новаго гостя и преимущественно его странные глаза показались старику подозрительными.

— Что̀ надо? весьма нелюбезно возвысилъ онъ голосъ, запахивая на груди порыжѣлую мантилью.

— Къ вашей милости, несмѣло и тихо заговорилъ рыжій, что̀ — на опытный глазъ — не совсѣмъ-то согласовалось съ его внушительною фигурой. — Явите божеское одолженіе, не дайте помереть съ голоду...

— Я, братъ, подаяній не творю: не изъ чего. Ступай себѣ съ Богомъ — Богъ подастъ! перебилъ Морденко, замахавъ рукою.

— Я не за подаяніемъ, поспѣшилъ объясниться пришедшій: — я собственно по той причинѣ, что не откажите принять въ закладъ... вещь принесъ... съ себя заложить хочу.

— Какая такая вещь тамъ? приподнялся Морденко, опершись объ столъ кулаками. Пришедшій скинулъ свое кургузое пальто и сталъ растегивать жилетку.

— Вотъ ее самую и заложить хочу.

— Жилетку-то?... Нѣтъ, братъ, не принимаю! рѣшительно отказался Морденко.

— Что жь такъ, ваша милость? за что эдакая напасть на бѣднаго человѣка? взмолился рыжій: — вѣдь вы же платье всякое берете. За что же-съ мнѣ-то отказъ?

— Не то, что платье, милый человѣкъ, а и пуговицу мѣдную, гвоздикъ желѣзный приму, внушительно пояснилъ ему старикъ: — принеси ты мнѣ костяжку отъ портокъ — и на ту отказу не будетъ: положенную цѣну дамъ, потому и пуговка и костяжка въ своихъ деньгахъ ходитъ; а ты нѐ въ пору пришелъ — я не въ пору не приму! Вотъ тебѣ и сказъ!

— Будьте благодѣтелемъ! ребятишки малые неѣмши сидятъ! Не откажите! жалобно умолялъ рыжій со слезами въ голосѣ.

— Чего тутъ, другъ любезный, «не откажите»? — ужь я отказалъ; стало-быть, и просить нечего! Ступай себѣ съ Богомъ! порѣшилъ Морденко — и рыжій удалился.

По уходѣ его, старикъ еще тревожнѣе зашлепалъ своими туфлями изъ угла въ уголъ; физіономія просителя шибко казалась ему подозрительною, недоброю, такъ что онъ только ради этого обстоятельства и отказалъ его просьбѣ; а съ другой стороны извѣстная уже скаредность и жадность напѣвали другую пѣсню: «эхъ, братъ, напрасно отказалъ!... жилетка все жь-таки вещь; за нее дашь грошъ, а возьмешъ гривну!» И вслѣдствіе всѣхъ этихъ соображеній, старикъ былъ теперь недоволенъ и жизнью, и людьми и собою.

Вересову стало больно и тяжело оставаться съ нимъ дольше. Послѣ двухъ видѣнныхъ имъ сценъ, онъ рѣшился уже не заикаться старику ни о своей нуждѣ, ни о своей просьбѣ. — «Будь, что будетъ; пойду и такъ къ хозяйкѣ!» рѣшилъ онъ, и минуту спустя по уходѣ рыжаго, распростился съ Морденкой.

Спускаясь по темной лѣстницѣ, онъ наткнулся въ самомъ низу на какое-то живое существо, и вглядясь нѣсколько пристальнѣе, различилъ, что кто-то сидитъ на нижней ступенькѣ, подперевъ руками свою голову. По голосу, которымъ этотъ кто-то отозвался на окликъ, Вересовъ узналъ въ немъ рыжаго.

— Что вы здѣсь дѣлаете? зачѣмъ вы сидите здѣсь? съ участіемъ спросилъ его молодой человѣкъ.

— Да идти некуды, отвѣтилъ рыжій, голосомъ, полнымъ отчаяннаго горя. — Домой не пойду... не охота глядѣть, какъ дѣти помирать станутъ...

Вересову какъ-то стыдно стало въ эту минуту, что онъ сынъ Морденки: онъ жалѣлъ и презиралъ его въ одно и то же время.

— Спасите, выручите меня! обратился къ нему рыжій. — Вѣдь вы сынокъ ихній, васъ они послушаютъ... мнѣ хоть сколько нибудь-бы денегъ... Ей-богу въ канаву, въ прорубь кинусь!...

— Пойдемте! рѣшительно сказалъ ему Вересовъ, въ минуту обдумавшій что-то.—Пойдемте... Мнѣ самому дозарѣзу нужны деньги; авось успѣемъ, тогда подѣлимся съ вами.

Морденко сильно озадачился и даже струсилъ отъ этого нежданнаго возвращенія сына вмѣстѣ съ подозрительнымъ рыжимъ.

— Папенька, дайте ему денегъ подъ жилетку, началъ Вéресовъ въ сильномъ волненіи. — Побойтесь Бога: у человѣка дѣти помираютъ!... Если вамъ мало жилетки, такъ вотъ — альбомъ съ фотографіями: онъ стоитъ рублей пятьдесятъ... Примите его въ залогъ и дайте намъ сколько-нибудь... я самъ теперь въ страшной крайности — на квартиру показаться не смѣю.

Старикъ молча развернулъ альбомъ, пересмотрѣлъ на свѣтъ жилетку и подалъ сыну записную книгу, проговоривъ:

— Для порядку, пиши росписку: «мы нижеподписавшіеся» и далѣе...

Выйдя въ другую комнату, онъ сталъ оттуда диктовать продолженіе. Возвратъ сына и его слова до того поразили старика, что онъ не нашелъ причины къ отказу, да притомъ и заклады оказались хорошими, особенно альбомъ фотографій, такъ-что Морденко спѣшилъ только поскорѣе раздѣлаться со своими посѣтителями и потому безъ дальнихъ разговоровъ отправился въ смежную горницу— доставать деньги.

Пока молодой человѣкъ сидѣлъ, погруженный въ писаніе росписки, рыжій напрягалъ все свое зрѣніе, чтобы слѣдить за старикомъ, который, продолжая диктовать, черкнулъ спичку и зажегъ огарокъ. Смежная комната освѣтилась. Рыжій перемѣстился на такой пунктъ, съ котораго ему удобнѣе было обозрѣвать комнату и слѣдить за движеніями старика. Сквозь притворенную дверь онъ замѣтилъ два болта, замки и печати на дверяхъ, ведущихъ въ заднюю горницу, и видѣлъ, какъ Морденко снялъ съ себя толстый кожаный поясъ, носимый имъ на тѣлѣ, подъ сорочкой, и сталъ рыться въ этомъ потайномъ чемоданчикѣ. По извѣстному всѣмъ шелесту, рыжій догадался, что въ чемоданчикѣ мирно покоились ассигнаціи.

— За жилетку полтинникъ, да за альбомъ два рубля пятьдесятъ, и того три рубля; а росписку пиши въ три рубля тридцать, сказалъ Морденко, войдя черезъ минуту въ комнату съ зелененькой бумажкой въ рукахъ.

Сначала росписался Вéресовъ, а за нимъ приложилъ свою руку и рыжій.

«Виленскій мѣщанинъ Осипъ Грѣчка» — гласила подпись рыжаго.

— Выкупать будете вмѣстѣ, что ли? спросилъ Морденко, отдавая деньги.

— Я выкуплю все, вызвался Вéресовъ: — а жилетку вы мнѣ потомъ возвратите.

Черезъ минуту дворникъ выпустилъ ихъ въ калитку и видѣлъ, какъ они вмѣстѣ спустились въ мелочную лавочку, помѣщавшуюся въ томъ же самомъ домѣ, толкуя о томъ, что надо размѣнять деньги и раздѣлиться поровну.

Въ лавочкѣ спросили они себѣ по фунту ситника съ колбасой, тутъ же на мѣстѣ закусили имъ, и подѣливъ между собою сдачу, очень дружелюбно простились другъ съ другомъ.

X

Голову на рукомойникъ

Сѣю-вѣю, руки грѣю, чисто брею — не потѣю! съ приплясской, потирая ладони, ворвался Грѣчка въ заднюю комнату Сухаревки, гдѣ вчерашній день происходило секретное совѣщаніе съ патріархомъ Провомъ Викулычемъ, во время ланкастерскаго обученія звонковъ.

— Что *звякало-то разнуздалъ*? [1]) чему обрадовался? степенно покачалъ головой владыко. — «Помни деня субботній» сказано!

— Ну, ужь ты, ваше степенство, проповѣди-то отложи до завтрева: нонѣ *клей* есть! [2]) Я про дѣло повѣстить пришелъ, возразилъ ему Грѣчка, подавая руку Зеленькову и Ѳомушкѣ, которые въ этой уединенной комнатѣ, вмѣстѣ съ совѣтникомъ-патріархомъ, поджидали его прихода.

— Отъ двурушника, что ли? обратился къ нему блаженный.

— Оттоль-таки прямо и *прихрялъ!* [3]) Все какъ есть, по совѣту его степенства, исполнилъ: дѣти, молъ, помираютъ, примите жилетку въ закладъ! рапортовалъ Грѣчка.

---

[1]) Что языкъ-то распустилъ?

[2]) Воровское дѣло.

[3]) Пріѣхалъ. *Хрять*—ѣхать.

— Стало-быть, по патріаршему изволенію и благо ти есть! замѣтилъ Ѳомушка.

— Прижался въ сѣняхъ, смотрю — женщина какая-то идетъ... къ нему, значитъ, прошла, а я себѣ жду, продолжалъ рыжій. — Глядь черезъ мало времени — выходитъ все та же самая женщина. Сама идетъ, а сама плачетъ, ну вотъ навзрыдъ рыдаетъ, просто сердцу невтерпежъ... Ахъ ты *псира*, [1]) думаю, старая! при древности-то лѣтъ да народъ эдакъ-то грабить! И столь мнѣ это стало обидно, что, думаю себѣ, не будетъ же тебѣ, голубчику, спуску! и сейчасъ поднялся наверхъ.

Грѣчка сталъ сообщать компаніи свои дальнѣйшія дѣйствія и наблюденія, и компанія вполнѣ одобрила столь блистательно исполненную имъ миссію.

— Только, вотъ что̀, братцы! всебъ оно было *рахманно*, [2]) да въ одномъ *яманъ*, [3]) выходитъ — загвоздка есть! прищмокнулъ языкомъ разскащикъ. — Старикъ *шишку-то* [4]) на себѣ вѣдь носитъ, поясомъ она у него сдѣлана, при тѣлѣ лежитъ. Какъ быть-то тутъ?

— *Нелады, баринъ!* [5]) озабоченно отозвался блаженный. — *Бабки*, сталъ-быть, *финажками* такъ въ ёмъ и набиты? — Умѣнъ, бестія: боится, чтобъ не *сворочили*, при себѣ содержитъ... Нешто бы *на шарапъ* [6]) взять? предложилъ онъ послѣ минутнаго раздумья.

— Не дѣло, сватъ, городишь, замѣтилъ на это благоразумный Викулычъ. — Съ шарапомъ недолго и *облопаться да за буграми сгорѣть*. [7]) Лучше пообождать да попридержаться — по тиху, по сла̀дку выслѣдить звѣря, а тамъ — и пользуйся.

---

[1]) Собака.

[2]) Прекрасно.

[3]) Скверно.

[4]) *Шишка*—портмоне, мѣшокъ, киса, чемоданчикъ, гдѣ хранится деньги.

[5]) Нехорошо, товарищъ.

[6]) *Бабка* — деньги, *финажки* — ассигнаціи, *сворочить* — одинъ изъ синонимовъ, выражающихъ слово *красть*; *брать на шарапъ*—приступомъ, грудь на грудь, на ура!

[7]) Попасться да въ Сибири пропасть. *Идти за бугры* или просто *за бугры* (то-есть за уральскій хребетъ) значитъ—въ Сибирь.

— А не лучше-ль бы поживѣе? *притнкнуть* чѣмъ ни попало — и баста!... У меня *Фомка*[1]) востеръ!... похвалился Грѣчка.

— *Лады!* [2]) согласился блаженный: — покрайности дѣло потише обойдется и расправа короче.

При этихъ словахъ, Иванъ Ивановичъ Зеленьковъ, догадавшійся, въ чемъ заключается смыслъ послѣдняго предложенія Грѣчки, невольно вздрогнулъ и измѣнился въ лицѣ.

— *Слаба!* [3]) прищурясь глазомъ, кивнулъ на него блаженный, сразу замѣтившій эту внезапную блѣдность. — Что̀ жь, брате мой, это ужь не дѣло! по нашему — взялся за гужъ, не говори, что не дюжъ, товарищества не рушь и отъ дѣла не отступай.

— Правильно! подтвердилъ Грѣчка: — думали варганить такъ, а выходитъ эдакъ; стало-быть, божья воля такая, чтобъ быть тому дѣлу, и какъ есть ты нашъ товарищъ, такъ съ обчествомъ соглашайся!

— Да что̀ тутъ долго толковать! перебилъ блаженный. — Имя нашъ господнимъ благослови, отче — хорошее дѣло вѣршать. — Лиходѣевъ внизъ по матушкѣ спущать! отнесся онъ къ Викулычу, подставляя, какъ-бы подъ благословеніе, свою руку.

Провъ медленно поднялся съ мѣста и отрицательно покачалъ головою.

— Нѣтъ, судари мои! сказалъ онъ рѣшительно: — на экое дѣло нѣтъ вамъ моего благословенія: это ужь уголовщиной называется — *дѣло мокрое*, [4]) смертоубійство есть.

— Да вѣдь мы все ему же какъ-бы получше, поспособнѣе хотимъ, оправдывался рыжій: — потому, ежели обокрасть его, все равно съ тоски повѣсится, руку на себя наложитъ; безъ капиталу ему — ровно, что не жить.

— А мы, ему же въ облегченіе, поддакнулъ Ѳомушка: — отъ великаго грѣха душу его стариковскую слободимъ, да еще мученическій вѣнецъ пріяти сподобимъ; покрайности, кончина праведная.

---

[1]) *Притнкнуть* — убить, лишить жизни вообще. *Фомка* — небольшой желѣзный ломикъ для сворачиванья замковъ, засовъ, а также и для обороны.

[2]) Идетъ! дѣло! хорошо!

[3]) Восклицаніе, выражающіе укоръ въ трусости и малодушіи.

[4]) *Мокро*—опасно.

— Ужь быть тебѣ, кощуну эдакому, быть кончену *Кирюшкиной кобылѣ*, [1]) попомни мое слово! постучалъ пальцемъ о край стола Викулычъ. — И благодарности мнѣ своей не несите: не надо мнѣ, не хочу я съ крови благодарность принимать; и не знаю я васъ совсѣмъ, и про дѣло ваше не слышалъ, совѣтовъ и вамъ не давалъ никакихъ — слышите?

— Это — какъ вашей милости угодно будетъ, мы и въ троемъ повершимъ, а за вами ужь будемъ благонадежны; не прозвоните, коли ничего не знаете — это вѣрно! сказалъ Грѣчка, запирая двери за ушедшимъ Викулычемъ.

— Какъ же вершать-то станемъ? Кто̀ да кто̀! совѣщался Ѳомушка, относясь къ обоимъ сотоварищамъ.

— Я и одинъ покончу, дѣло нетрудное, вызвался Грѣчка. — Барахтаться, чай, не будетъ, потому—старъ человѣкъ.

— Да вѣдь впервой, поди-ка?

— Что̀-жь, что впервой? когда-жь нибудь привыкать-то надо!— авось *граблюха* [2]) не дрогнетъ...

— Такъ надо бы поскорѣй, не по тяжелой почтѣ, а со штафетой бы отправить.

— Чего тутъ проклажаться? — послѣ-завтра утромъ, раненько, часовъ эдакъ въ шесть, и порѣшу.

— А чѣмъ полагаешь рѣшить-то? полюбопытствовалъ блаженный.

— На храпо̀къ. Взять его за горлецъ, да дослать штуку подъ душецъ, чтобы онъ, значитъ, не кричалъ «къ покрову»!—Голову на рукомойникъ — самое вольготное будетъ! [3]) завершилъ Грѣчка, очень выразительно махнувъ себя поперегъ горла указательнымъ пальцемъ.

---

[1]) Кирюшкой, какъ извѣстно уже читателю, звался одинъ изъ петербургскихъ палачей, который на мошенническомъ argot, оставилъ послѣ себя это слово въ наслѣдство палачамъ, какъ общее нарицательное имя. *Кирюшкина кобыла*—инструментъ, на которомъ наказывали плетьми.

[2]) *Граблюха*—рука.

[3]) Взять его за горло да пырнуть ножомъ (въ горло, подъ сердце, подъ ложечку—все это называется—*душецъ*), чтобы онъ не кричалъ: «караулъ». *Голову на рукомойникъ*—зарѣзать; выраженіе, принадлежащее собственно къ тюремному argot, употребляется преимущественно мошенниками опытными, прошед-

XI

Фига

Условились такъ, что Грѣчка одинъ отправится на дѣло, покончитъ кухарку и старика, заберетъ всѣ наличныя деньги и всѣ драгоцѣнности, которыя могутъ быть удобно запрятаны за голенища и въ карманы; мѣховъ же и тому подобнаго «крупнаго товару» забирать не станетъ, дабы не возбудить въ комъ либо разныхъ подозрѣній, и съ награбленнымъ добромъ явиться въ Сухаревку, въ извѣстную уже непроходную отдѣльную комнату, гдѣ его будутъ поджидать Ѳомушка съ Зеленьковымъ, и гдѣ, при замкнутыхъ дверяхъ, произойдетъ полюбовный дѣлежъ. Сговорившись такимъ образомъ, товарищи разстались.

Два человѣка уходили изъ Сухаревки въ совершенно противоположномъ настроеніи духа и мысли.

«Коево черта я стану дѣлиться? изъ-за чего!» размышлялъ Грѣчка, направляясь въ ночлежныя Вяземскаго дома.—Одинъ дѣло работить стану, одинъ, пожалуй, миноги жрать, а съ ними дѣлись!... Нѣтъ, братъ, дудки! шалишъ кума, въ Саксоніи не бывала! Съ большимъ капиталомъ отъ судей праведныхъ отдѣлаемся— какъ не отдѣлаться нашему брату? инымъ же удается; а ежели и нѣтъ, такъ по крайности знаешь, что за себя варганилъ, за себя и конфузъ принимаешь... все-жь не такъ обидно... Коли клёво сойдетъ — латыты зададимъ: ты прощай, значитъ, распримкрасная матерь Рассея! Морген-фри носъ утри! А вы, ребята теплые, сидите въ Сухаревкѣ — дожидайтесь! — такъ вотъ сейчасъ я къ вамъ взялъ да и пришелъ! Какъ же! И Грѣчка, махнувъ рукою, очень выразительно свистнулъ.

А Иванъ Ивановичъ сильно волновался и безпокоился. Убить человѣка — не то, что обокрасть... Стало быть, очень опасное

шими универсальный курсъ высшей школы въ камерахъ «Литовскаго замка». *На храпокъ*—выражается насильственное дѣйствіе на горло жертвы, то-есть если при грабежѣ или убійствѣ стянутъ горло, чтобы въ первомъ случаѣ—затруднять крикъ, во второмъ—задушить. Маневръ производится посредствомъ трехъ пальцевъ, черезъ давленіе на переднюю часть горла (въ боковыя стѣнки такъ называемаго адамова яблока).

дѣло, если самъ патріархъ возмутился, и отъ благодарности даже отказался... А кнутъ? а Сибирь?—Ивана Ивановича колотила нервная дрожь; въ каждомъ проходящемъ сзади его человѣкѣ, онъ подозрѣвалъ погоню; думалось ему, что ихъ подслушали и теперь догоняютъ, схватываютъ, тащатъ въ тюрьму—и онъ ускорялъ шаги, торопясь поскорѣе убраться отъ мѣстъ, близкихъ къ Сѣнной площади, стараясь незамѣтнѣе затереться въ уличной толпѣ, а самъ поминутно все оглядывался, ёжился и вздрагивалъ каждый разъ, когда опережавшій прохожій невзначай задѣвалъ его рукавомъ или локтемъ. Для бодрости онъ зашелъ въ кабачокъ и порядочно выпилъ; но бодрость къ нему не возвращалась. Въ страшнѣйшей ажитаціи, словно бы преступленіе уже было совершено, закутался онъ съ головой въ одѣяло, и чутко прислушивался къ каждому звуку на дворѣ, къ случайному шлепанью чьихъ-то шаговъ, къ стуку сосѣднихъ дверей и все ждалъ, что его сейчасъ арестуютъ. Охотно соглашаясь принять пассивное участіе въ воровствѣ, онъ ужасался мысли объ убійствѣ.

Замѣчателенъ фактъ, что многіе мошенники, считая простое воровство ровно ни во что, признавая его либо средствомъ къ пропитанію, либо похваляясь имъ, какъ удалью — съ отвращеніемъ говорятъ объ убійствѣ и убійцахъ — «потому тутъ кровь: она вопіетъ, и въ душѣ человѣческой одинъ токмо Богъ воленъ и повиненъ». Такое настроеніе мыслей, сколько мнѣ удавалось замѣтить, господствуетъ по большей части у мошенниковъ, неуспѣвшихъ еще побывать въ тюрьмѣ, ибо мошенникъ до тюрьмы и тотъ же мошенникъ послѣ тюрьмы — два совершенно различные человѣка, и для этого послѣдняго убійство уже является дѣломъ очень простымъ и обыкновеннымъ, какъ фактъ удали или кратчайшій путь къ поживѣ. Такъ цивилизуетъ мошенника наша тюрьма. И въ этомъ нѣтъ ровно ничего мудренаго, потому что тутъ уже человѣкъ приходитъ въ непосредственное и постоянное соприкосновеніе съ самыми закоренѣлыми злодѣями. Впрочемъ, объ этомъ предметѣ, и подробнѣе и нагляднѣе, читатель узнаетъ впослѣдствіи.

Наконецъ, Иванъ Ивановичъ заснулъ. Но и во снѣ ему нелегче было. Всѣ эти брючки и фрачки, всѣ эти пальто съ искрой, о которыхъ онъ столь сладостно мечталъ, представлялись ему забрыз-

ганными кровью. «Вотъ это на фрачкѣ — Морденкина кровь, а на жилеткѣ—кухаркина, а это ваша собственная, «Иванъ Ивановичъ господинъ Зеленьковъ», говоритъ ему квартальный надзиратель—и видитъ Иванъ Ивановичъ, что везутъ его, раба божьяго, на колесницѣ высокой, со почетомъ великимъ—*къ Смольному затылкомъ*, *); Кирюшка, въ красной кумачовой рубахѣ, низкій поклонъ ему отдаетъ: «пожалуй, молъ, Иванъ Ивановичъ, господинъ Зеленьковъ, къ намъ на шафотъ, на нашей кобылкѣ поѣздить, нашихъ миногъ покушать, да не дозволите ли намъ ваше тѣло-бѣло порушить?»— И трясетъ Иванъ Ивановича злая лихоманка; чувствуетъ онъ, какъ ему руки-ноги, да шею подъ-загривкомъ крѣпкими ремнями перетягиваютъ, какъ его палачи кренделемъ перегнули, да тонку-бѣлую сорочку пополамъ разодрали... И рѣдко-рѣдко, размѣренно стукаетъ сердчишко Иванъ Ивановича, словно помирать собирается... Вынулъ Кирюшка изъ мѣшка красное кнутовище, и слышитъ Иванъ Иванычъ, какъ зловѣще посвистываетъ что-то въ воздухѣ — это значитъ, Кирюшка плетью играетъ, руку свою розминаетъ, изловчается да пробуетъ, форсисто ли пробирать будетъ. А сердчишко Иванъ Ивановича все тише, да рѣже ёкаетъ. Ничего-то глазами своими не видитъ онъ, только слышитъ, что молодецки разошелся по эшафоту собачій сынъ Кирюшка и зычнымъ голосомъ кричитъ ему: «бер-гись! — ожгу!»—сердце Иванъ Иваныча перестало биться, замерло — словно бы висѣло оно тамъ внутри на одной тонкой ниточкѣ и эта ниточка вдругъ порвалась...

Онъ проснулся въ ужасѣ, весь въ холодномъ поту.

— Господи! спаси и помилуй всяку душу живую! крестясь, прошепталъ онъ трепещущими губами. — Нѣтъ, баста! будетъ ужь такую муку мученскую тернѣть!

Глянулъ Иванъ Ивановичъ въ окошко — на дворѣ еле-еле свѣтъ начинаетъ брезжиться... На какой-то колокольнѣ часы пробили шесть. «Ровно черезъ сутки покончатъ его, сердечнаго... человѣка зарѣжутъ», подумалъ онъ— и при этой мысли снова задрожалъ всѣмъ тѣломъ.

Иванъ Ивановичъ скорёхонько вскочилъ съ постели, умылся, одѣлся и трижды перекрестясь, вышелъ со двора.

---

[1]) *Ѣхать на фортункѣ къ Смольному затылкомъ*---означаетъ поворотъ возъ на Конную площадь къ эшафоту.

Теперь ужъ онъ зналъ, какъ ему быть, и что надо дѣлать.

Бывали-ли вы, когда-нибудь, рано утромъ, въ конторѣ квартальнаго надзирателя? Помѣщается она, по большей части, въ надворныхъ флигеляхъ; подыматься въ нее надобно по черной лѣстницѣ— а ужъ извѣстно, что такое у насъ въ Петербургѣ эти черныя лѣстницы! — Входите вы въ темную прихожую, мёблированную однимъ только кривымъ табуретомъ, либо скамьей да длиннымъ крашенымъ ларемъ, на которомъ, въ безцеремонной позѣ, дремлетъ вѣстовой, какой-нибудь Максимъ Черныхъ, или Хома Перерепенко; во время же бдѣнія, этого Черныха или Перерепенку можно застать обыкновенно либо за крошкой махорки, либо за портняженьемъ надъ старыми заплатами къ старому мундиру. Слѣдующая комната уже называется конторой. За двумя или тремя покрытыми клеенкой столами, сидятъ въ потертыхъ сюртукахъ, а иногда во фракахъ, три-четыре «чиновника». Подбородки небритые, голоса хриплые, физіономіи помятыя — надо полагать съ переною да съ недосыпу, и украшены эти физіономіи по большей части усами, въ знакъ партикулярности, ибо владѣльцы этихъ усовъ занимаются здѣсь письмоводствомъ «приватно», то-есть по найму. Двое изъ небритыхъ субъектовъ занимаются за паспортнымъ столомъ, заваленнымъ отмѣтками, контромарками, плакатами и мѣдяками. Одинъ субъектъ съ серьёзно-нахмуренной физіономіей (опохмѣлиться хочется), очевидно напущаетъ на себя важности, ибо онъ «прописываетъ пачпорта», и подъ командой у него состоитъ цѣлая когорта дворниковъ, въ шерстяныхъ полосатыхъ фуфайкахъ, съ разсыльными книгами въ рукахъ. Другой субъектъ — физіономія меланхолическая — занимается копченьемъ казенной печати надъ сальнымъ огаркомъ; онъ, очевидно, подъ началомъ у перваго, который небрежно и молча, съ начальственно-недовольнымъ видомъ, швыряетъ ему бумагу за бумагой для прикладки полицейскихъ печатей. Другой столъ ведетъ «входящія и исходящія»; за третьимъ помѣщается красноносый письмоводитель, постоянно почему-то одержимый флюсомъ, и потому одѣвзанный бѣлымъ платкомъ; онъ одинъ по преимуществу имѣетъ право входа въ кабинетъ самаго квартальнаго надзирателя. Обстановка этого кабинета обыкновенно, полуофиціальная, полусемейная:

старые стѣнные часы въ длинномъ футлярѣ, планъ города С.-Петербурга, на первой стѣнѣ — портретъ царствующей особы; наконецъ, посрединѣ комнаты — письменный столъ, съ изящною чернильницей (контора довольствуется оловянными, или просто баночками); на столѣ — Сводъ полицейскихъ постановленій, довершаетъ обстановку офиціальную. Обстановка неофиціальная заключается въ мягкомъ диванѣ и мягкихъ креслахъ, въ какомъ нибудь простѣночномъ зеркалѣ, у котораго на столикѣ стоитъ, подъ стеклянным колпакомъ, какой-нибудь солдатикъ изъ папьемаше, съ ружьемъ на караулъ, да въ литографированномъ портретѣ той особы, которая временно находится во главѣ городской администраціи. Этотъ портретъ имѣетъ цѣлью свидѣтельствовать добрыя чувства подчиненности квартальнаго надзирателя, и потому, съ перемѣной особъ, перемѣняются и портреты.

Немного ранѣе осьми часовъ утра, въ прихожую канторы начинаютъ набиваться разные народы. Хома Перерепенко такъ ужь и не подметаетъ половъ — «потому, нехай имъ бисъ! все-едыно — загыдятъ!» Вотъ привалила цѣлая артель мужиковъ разбираться съ маслянистымъ, плотнымъ подрядчикомъ, и въ ожиданіи этой разборки цѣлые два часа неутомимо переругивается и считается съ нимъ. Вотъ два плюгавыхъ полицейскихъ солдата привели «честную компанію» всякаго пола и возраста, званія и состоянія: тутъ и нищіе, забранные на улицѣ, и пьяницы-пропѣицы, подобранные на панели, и «буяны» со скрученными назадъ руками, и мазурики, нѣсколько деликатнѣе связанные попарно «шелковымъ шнурочкомъ» повыше локтя. Тутъ и нѣмецкій мастеръ Шмитъ съ своимъ подмастерьемъ Слезкинымъ: Шмитъ, какъ нѣкую святыню, держитъ въ рукахъ клокъ собственныхъ волосъ — доказательство его побоища съ «русски свинъ» Слезкинымъ, а «русски свинъ» всей пятерней старается побольше размазать рожу свою кровью — «чтобъ оно супротивъ нѣмца чувствительнѣе было». Тутъ же зачѣмъ-то появилось и нѣкое погибшее, но скверное созданье въ раздувномъ кринолинѣ; и мѣщанка Перемыкина поближе къ дверямъ «конторы» протискивается, всхлипывая нарочно погромче, все для того же, чтобы до сердца начальство пронять, потому пришла она просить и «жалиться» на своего благовѣрнаго, что ни сколько онъ ее, тигра

эдакая; не почитаетъ, а только все пьянствуетъ, и — эва какихъ фонарёвъ подъ глазами настроилъ, индо раздушилъ да расплющилъ всю, и потому надо, чтобы начальство наше милосливое въ части отпороло его, пса эково!.. При этомъ, она всѣмъ и каждому очень пространно повѣствуетъ о своемъ горѣ несообразномъ. Одинъ за другимъ появляются красивые городовые, въ каскахъ, и молодцовато проходятъ «съ рапортицыями» въ самую контору. Тутъ же, наконецъ, присутствуетъ и Иванъ Ивановичъ Зеленьковъ, забравшійся сюда съ самаго ранняго утра, къ сильному неудовольствію заспаннаго Перерепенки. Иванъ Ивановичъ, съ выраженіемъ гнетущей мысли въ лицѣ, нетерпѣливо и озабоченно похаживаетъ отъ угла до угла передней. Онъ просилъ, умаливалъ и давалъ четвертакъ на чай Перерепенкѣ, чтобы тотъ разбудилъ надзирателя, «по самоэкстренному дѣлу»; но Хома Перерепенко оставался стоически-непреклоненъ, потому — «ихъ благородье почиваты зволятъ, бо поздно поляглы и нэма у свити, ни якого такого дила, щобы треба було взбудыты ихню мылость». Такъ Иванъ Ивановичъ ничего съ нимъ и не подѣлалъ; но Гермесъ надзирательской прихожей, умилостивленный Зеленьковскимъ четвертакомъ, особо доложилъ объ Иванѣ Ивановичѣ «ихъ благородыю», когда «оно зволыло проснуться».

Надзиратель—лѣтъ пятидесяти, плотный и полный мужчина, высокаго роста, съ густыми черными бровями и сивыми волосами, которые у него были острижены подъ гребенку, съ осанкой выпускнаго сокола, возсѣдалъ въ большомъ креслѣ за своимъ письменнымъ столомъ. На немъ были надѣты персидскій халатъ и бухарскіе сапоги. Паръ отъ пуншеваго стакана и дымъ жукова, испускаемый изъ длиннаго черешневаго чубука, наполняли комнату особеннымъ благоуханіемъ. Надзиратель имѣлъ очень умный, пристальный и проницательный взглядъ, носилъ бакенбарды по модѣ двадцатыхъ годовъ, т. е. колбасиками, кончавшими протяженіе свое неподалеку отъ носа, говорилъ густымъ басомъ, по утрамъ очень много, очень долго и хрипло откашливался и поминутно отплевывался.

Съ извѣстной уже и столь идущей къ нему осанкой встрѣтилъ онъ робко вошедшаго въ кабинетъ Зеленькова.

— Ты зачѣмъ? бархатно прозвучалъ его густѣйшій басъ.

— По самоэкстренному дѣлу, ваше скородіе... секретъ-съ... Прикажите припереть дверцы-съ...

— А ты не пьянъ?

— Помилуйте-съ... могу ли предстать не соотвѣтственно...

— То-то, братъ! Пьянство есть—мать всѣхъ пороковъ!... Притвори двери, да сказывай скорѣй, какое тамъ у тебя дѣло?

— Большое-съ дѣло, ваше скородіе!... Съ одного слова и не скажешь: очинно ужь оно экстренное.

— Да ты не чертомель, а говори толкомъ, не то—въ кутузку велю упрятать!

— Вся ваша воля есть надо мной!... Злоумышленіе открыть вашей милости явился...

— А!... стало быть, опять въ сыщики по старому хочешь? въ фигарисы каплюжные?

— Что жь, это самое разлюбезное для меня дѣло! ободрился Зеленьковъ.—Однажды ужь мы своей персоной послужили вашему скородію въ розыскной части, и преотмѣнно-съ, такъ что и по сей моментъ никто изъ воровъ не догадался—право!

— А вѣдь ты, братъ, самъ тоже мошенникъ?

— Мошенники-съ, ухмыльнулся, заигривая, Зеленьковъ.

— И большой руки мошенникъ?

— Никакъ нѣтъ-съ, ваше скородіе, шутить изволите: мы въ крупную не ходимъ, а больше все по мелочи размѣниваемся: съ мошенниками—точно что мошенникъ, а съ благородными — благородный человѣкъ... Я—хорошій человѣкъ, ваше скородіе: за меня вельможи подписку дадутъ, прибавилъ Зеленьковъ, окончательно уже ободрившись и вступивъ въ свою всегдашнюю колею.

— Да ты кто такой, самъ по себѣ-то? шутилъ наизпратель, смерть любившій, какъ выражался онъ, «балагурить съ подлымъ народомъ».

— Я-то-съ?... Я—природный лакей: я тычками взращенъ! съ гордостью и сознаніемъ собственнаго достоинства отвѣтилъ Иванъ Ивановичъ.

— Дѣло!... Ну, такъ сказывай, какое злоумышленіе у тебя?

Иванъ Ивановичъ многозначительно ухмыльнулся, крякнулъ, провелъ рукой по волосамъ и началъ вполнѣ таинственнымъ тономъ:

— Бывши приглашенъ я извѣстными мнѣ людьми къ убійству человѣка-съ... и мнѣ блеснула эта самая мысль, чтобы развѣдать и донести вашему скородію...

— И ты не брешешь, пёсій сынъ?

— Зачѣмъ брехать-съ?... Я — человѣкъ махонькій: мнѣ только руки назадъ—вотъ я и готовъ. А убивство, изволите ли видѣть, сочиняется надъ Морденкой, еще таинственнѣе прибавилъ Зеленьковъ:—изволите знать-съ?...

— Знаю... Губа-то у васъ не дура—разумѣете тоже, гдѣ раки зимуютъ...

— Это точно-съ, потому — какой же ужь это и мошенникъ, у котораго губа дура, такъ что и рака отъ таракана не отличитъ?

— А ужь будто ты, въ душѣ, такъ и откагался? кушикъ-то вѣдь, братъ, недуренъ? Поди, чай, просто на просто струсилъ? а?

Зеленьковъ вздрогнулъ и на минуту смѣшался. Соколъ смотрѣлъ на него въ упоръ и затрогивалъ самые сокровенные, дѣйствительные мотивы его души.

— Ну, вотъ такъ и есть! По глазамъ ужь вижу, что изъ трусости *фигой* *) сталъ! И надзиратель, въ свою очередь запгривая съ Зеленьковымъ, съ усмѣшкой погрозилъ пальцемъ.

Иванъ Ивановичъ опять ободрился.

— Помилосердствуйте-съ, ваше скородіе! отбоярывался онъ:— кабы это еще обворовать—ну, совсѣмъ другое дѣло, оно куда бъ ни шло... а то—убивство—какъ можно!... деликатность не позволяетъ... Ни разу со мной эдакаго конфузу не случалось, и при всемъ-съ томъ за такой проступокъ страшному вѣдь суду подвергаешься.

— Такъ, господинъ философъ, такъ!... Ну, такъ сказывай, фига, какъ и чѣмъ его приткнуть намѣреваетесь—вѣрно на счетъ убоины да свѣжанины? а?

— Такъ точно-съ ваше скородіе, проницательно угадать изволили! Такъ точно-съ, потому, значитъ, голову на рукомойникъ, ухмылялся господинъ Зеленьковъ, гнусненько подлещаясь къ выпускному

*) *Фига*, *подлипало*, *фигарисъ*—шпіонъ, сыщикъ, иногда—доносчикъ.

соколу.—Да позвольте, ужь я лучше разскажу вамъ все, какъ есть, по порядку, предложилъ онъ:—только вы, ваше скородіе, одолжите мнѣ на полштофъ, и какъ я, значить, надрызгаюсь дотолѣ, что въ градусъ войду, такъ вы явите ужь такую божескую милость, прикажите сержантамъ немедленно подобрать меня на пришнехтѣ и сволочить въ часть, въ сибирку, за буйство, примѣрно, и безобразіе, потому, значитъ, чтобы пригласители мои на меня никакого подозрѣнія не держали, а то въ супротивномъ случаѣ—живота рѣшатъ; какъ пить дадутъ—рѣшатъ, ваше скородіе!... Одолжите *стремчаговый* *).

И ощутивъ въ рукѣ своей просимую сумму, Иванъ Ивановичъ, совершенно уже успокоенный, приступилъ къ своему обстоятельному разсказу.

XII

Облава

На слѣдующій день, еще до разсвѣту, когда Иванъ Ивановичъ покоился уже безмятежнымъ сномъ въ арестантской сибиркѣ, къ грязно-желтому дому въ Средней Мѣщанской торопливо подходили четыре человѣка. Это были: соколъ и его приспѣшники—три геркулеса въ броняхъ сермяжныхъ.

Одинъ изъ хожалыхъ былъ оставленъ въ дворницкой для наблюденія за воротами и охраненія этого пункта; остальные, вмѣстѣ съ соколомъ и дворникомъ, поднялись на лѣстницу Морденки. Надзиратель чиркнулъ восковую спичку и внимательно оглядѣлъ мѣстность; одинъ изъ хожалыхъ постучался въ дверь.

— Кто тамъ? раздался заспанный голосъ кухарки.

— Дворникъ... воду принесъ, отворяй-ко.

Послышался стукъ отпираемыхъ замковъ, крючковъ и засововъ. Городовые отстранились на темный, задній планъ. Чухонка, пріотворивъ немного дверь и увидя незнакомаго человѣка въ формѣ, рядомъ съ домовымъ дворникомъ, боязливо и подозрительно спросила:

— Чего нужно?

— Нужно самого господина Морденку.

*) Трехрублевый.

— Да вы съ чѣмъ? съ закладомъ, что ли?

— Съ закладомъ, тётушка.

— А съ какимъ закладомъ? Красныя вещи, али мягкій товаръ?

— И то и другое.

— Что-то ужь больно рано приходите... Ну, да ладно! мнѣ все равно... Сказать пойдти, что ли...

Съ этими словами она подошла къ двери, замкнутой большимъ желѣзнымъ болтомъ, и мѣрно стукнула въ нее три раза. Отвѣта не послѣдовало. Черезъ минуту она столь же мѣрно стукнула два раза. Это былъ условный телеграфическій языкъ между Морденкой и его прислугой, посредствомъ котораго послѣдняя давала ему знать о приходящихъ. Дѣлалось это или раннимъ утромъ, или позднимъ вечеромъ, то есть въ ту пору, когда Морденко запирался. Три удара означали посторонняго посѣтителя, послѣдующіе два—«интересъ», то есть, что посѣтитель пришелъ за дѣломъ, стало быть, съ залогомъ; одинъ же ударъ послѣ первыхъ трехъ оповѣщалъ, что посѣтитель является выкупить свою вещь.

Въ отвѣтъ на два послѣдніе удара, изъ глубины комнаты послышался старчески продолжительный, удушливый кашель, и глухой голосъ простоналъ:

— Лбомъ толкнись!

Послушная чухонка немедленно исполнила это странное приказаніе и слегка стукнулась лбомъ объ двери.

— Это что́ же значитъ? спросилъ ее удивленный надзиратель.

— А то, батюшка, что надо такъ полагать, скоро совсѣмъ уже съ ума спятитъ: хочетъ знать, правду ли я говорю, такъ для этого ты ему лбомъ стукнись...

Соколъ только плечами пожалъ отъ недоумѣнія; вѣроятно, вслѣдъ за соколомъ и многіе читатели сдѣлаютъ то же, ибо имъ покажется все это черезчуръ уже страннымъ и дикимъ; но... таковымъ знавали многіе то лицо, которое въ романѣ моемъ носитъ имя Морденки, и которое я описываю со всѣми его эксцентричными, полупомѣшанными странностями.

Какъ только Христина стукнулась объ дверь, послышалось изъ спальни медленное, тяжелое шарканье туфель и отмыканіе замковъ да задвижекъ въ первой двери, что́ вела изъ пріемной въ спальню.

Затѣмъ снова удушливый кашель и снова шарканье—уже по смежной комнатѣ.

«Морденко, здравствуй»!

— Здравствуй, милый! здравствуй, попинька!

«Разорились мы съ тобой, Морденко»! крикнулъ опять на встрѣчу хозяину голосъ попугая, очень похожій на голосъ самаго старика, который, по заведенному обыкновенію, незамедлилъ со вздохомъ отвѣтить своему любимцу:

— Разорились, попинька, въ конецъ разорились!

— Съ кѣмъ это онъ тамъ разговариваетъ? полюбопытствовалъ соколъ у кухарки.

— Съ птицей... это онъ каждое утро...

«Господи, что за чудной такой домъ! лбомъ стукаются, съ птицами разговариваютъ—нѣчто совсѣмъ необыкновенное!» размышлялъ самъ съ собою надзиратель.

— Отмыкай у себя! сказалъ Морденко — и Христина взялась за желѣзный засовъ той самой двери, объ которую стучалась, и отодвинула его прочь; въ то же самое время, Морденко съ другой стороны отмыкалъ замки и задвижки, и точно такъ же снималъ желѣзные засовы.

— Это у васъ тоже постоянно такъ дѣлается? спросилъ надзиратель, съ каждой минутой все болѣе и болѣе приходя въ недоумѣніе.

— Кажную ночь, а ино и днемъ запирается.

— Ну, признаюсь, это хоть бы и на одиннадцатую версту ко всѣмъ скорбящимъ впору, пробурчалъ надзиратель.

— На порогѣ появился Морденко, съ фонаремъ и ключами, въ своемъ обычномъ костюмѣ—кой-какъ наброшенной старой мантильѣ.

— Что вамъ угодно? спросилъ онъ съ явнымъ неудовольствіемъ.

— Есть дѣло кое-какое до васъ.

— Заложить что-либо желаете?

— Нѣтъ, я не насчетъ закладовъ, а явился собственно предупредить васъ... Позвольте войдти?

— Да зачѣмъ же... это... входить?... Можно и здѣсь... и здѣсь вѣдь можно объясняться, затруднился Морденко, ставъ нарочно въ самыхъ дверяхъ, съ цѣлью попрепятствовать входу незваного гостя.

— Мнѣ надобно сообщить нѣчто *вамъ*, именно, вамъ—по секрету... Вы видите, кажется, что я—полицейскій чиновникъ?...

— Не вижу; мундиръ этотъ ничего особаго не гласитъ: можетъ, и другаго какого вѣдомства, а можетъ, и полицейскій — господь васъ знаетъ..: Я зла никому никакого не сдѣлалъ...

— Да противъ васъ-то есть зло?... Позвольте, наконецъ, войдти мнѣ и объясниться съ глазу на глазъ.

Морденко видимо колебался: онъ недовѣрялъ незнакомому человѣку, пришедшему въ такую раннюю пору; наконецъ, бросивъ вскользь соображающій взглядъ на тяжелую связку весьма внушительнаго вида и свойства ключей, онъ проговорилъ, съ оттѣнкомъ даже нѣкоторой угрозы въ голосѣ:

— Ну, войдите... войдите! — буде ужь вамъ такъ хочется объясниться.

Надзиратель вошелъ въ извѣстную уже читателю пріемную комнату, и помѣстился на одномъ изъ немногихъ, крайне убогихъ стульевъ.

— Неизвѣстно ли вамъ, приступилъ онъ къ дѣлу:—не было ли когда на васъ злого умыслу?

Морденко встрепенулся, остановясь на мѣстѣ, и раздумывая о чемъ-то, склонилъ немного на бокъ голову, неопредѣленно установивъ глаза въ уголъ комнаты.

— Былъ и есть... всегда есть, рѣшительно отвѣтилъ онъ, подумавъ съ минуту.

— Не злоумышляли ль, напримѣръ, на жизнь вашу?

— Злоумышляли. Вотъ скоро годъ, какъ у наружной двери былъ выломанъ здмокъ... Я отлучался изъ дому — у меня вѣдь все на болтахъ, на запорѣ: коли ломать, такъ нуженъ дьявольскій трудъ и сила отъ дьявола сообщенная, а человѣку нельзя, невозможно; такъ въ мое отсутствіе и своротили. А двери вотъ въ эту комнату выломать не удалось — силы не хватило... Такъ и удрали. Объ этомъ и дѣло въ полиціи было... слѣдствіе наряжали и актъ законный составили.

— Ну, такъ вотъ и нынче на вашу жизнь злоумышляютъ, любезно сообщилъ надзиратель.

Морденко нахмурился и пристально, серьёзно посмотрѣлъ на него.

— А!... я это зналъ! протянулъ онъ, кивая головой: — я это зналъ... Но *вы-то* почему знаете?

— Я-то?... Я былъ извѣщенъ.

— А кто извѣстилъ васъ?

— Это ужь мое дѣло.

— Нѣтъ-съ, позвольте!... Ваше дѣло... А зачѣмъ вы пришли ко мнѣ? Кто васъ послалъ? допытывалъ онъ, строго возвышая голосъ — Есть у васъ бумага какая-нибудь, предписаніе отъ начальства, по коему вы явились не въ обычную пору?

— Нѣтъ, бумаги никакой не имѣется, улыбнулся надзиратель со своей соколиной осанкой.

— А!... ни-ка-кой?... Никакой, говорите вы?... Такъ зачѣмъ же вы безъ бумаги приходите? Почему я долженъ вамъ вѣрить? Почемъ я могу васъ знать? А можетъ быть, *вы* именно и держите злой умыселъ на меня? наступалъ на него, весь дрожащій, Морденко, тусклые глаза котораго свѣтились въ эту минуту какимъ-то тупымъ и кровожаднымъ блескомъ глазъ голодной волчихи, у которой отымаютъ ея волченятъ. Онъ поставилъ на столъ свой фонарь и судорожнымъ движеніемъ крѣпко сжалъ въ кулакѣ связку ключей.

«Ого»! подумалъ про себя квартальный: «да тутъ, пожалуй, раньше чѣмъ его убьютъ, такъ онъ меня, чего добраго, на смерть по виску хватитъ».

— Какъ вамъ угодно, сухо поклонился онъ, поднявшись со своего мѣста. — Я пришелъ съ моими людьми только предупредить васъ и, можетъ быть, преступленіе... Но, если вамъ угодно быть убитымъ, въ такомъ случаѣ, извините... Люди мои спрятаны будутъ на лѣстницѣ и мы, во всякомъ случаѣ, успѣемъ захватить, кого намъ надобно... хоть, можетъ быть, и нѣсколько поздно... Извините, что потревожилъ васъ. Прощайте.

Тонъ, которымъ были произнесены эти слова, и присутствіе домового дворника въ прихожей разсѣяли нѣсколько сомнѣнія Морденки.

— Нѣтъ, ужь коли пришли, такъ останьтесь, проворчалъ онъ глухимъ своимъ голосомъ, въ раздумчивомъ волненіи шагая по комнатѣ и не выпуская изъ руки ключей.

— Въ такомъ случаѣ, предложилъ надзиратель:—позвольте ужь мнѣ ввести моихъ людей и размѣстить ихъ, какъ слѣдуетъ. Одного мы спрячемъ въ кухнѣ, а другого въ этой комнатѣ.

Онъ указалъ на спальню.

Морденко съ тоскливою недовѣрчивостью подумалъ съ минуту и—

— Вводите, пожалуй! махнулъ рукою.

Люди были впущены въ квартиру и спрятаны. Кухаркѣ отдано приказаніе — впустить немедленно и безпрекословно каждаго, кто бы ни постучался въ дверь.

— Я знаю... я знаю, что меня нынче убить хотятъ... Я все знаю! ворчалъ Морденко, измѣряя шагами отъ угла до угла пространство своей пріемной комнаты.

— А, это очень любопытно, подхватилъ надзиратель. — Черезъ кого же вы это знаете?

— Черезъ кого?

Остановка посреди комнаты и долгій испытующій взглядъ.

— Черезъ ясновидѣнье, государь мой... Мнѣ ясновидѣніе было такое... Я знаю даже, кто и злоумышленники.

— А кто же, вы полагаете? спросилъ собеседникъ, уже сильно начинавшій сомнѣваться, не съ помѣшаннымъ ли имѣетъ онъ дѣло?

— Я не *полагаю*, а *удостовѣряю*! подчеркнулъ старикъ безъапелляціоннымъ образомъ.

— Ну, такъ сообщите; интересно знать.

— Извольте, милостивый государь. Это — она, кухарка, Христина, указалъ онъ на кухню, произнося свои слова таинственнымъ шопотомъ: — она, и пріемный сынъ мой, называющійся Иваномъ Вересовымъ — въ актёрахъ живетъ, стало-быть прямой блудникъ и безнравственникъ!... Они ужь давно сговорившись — убить меня! продолжалъ онъ, расхаживая въ сильной ажитаціи: — мнѣ сегодня всю ночь такое ясновидѣнье было, что сынъ большой топоръ точить, а она зелье въ котелкѣ варила. Допросите ее, какое именно она зелье варила? Непремѣнно допросите!

— Да вѣдь это только одно ясновидѣнье, замѣтилъ надзиратель.

— Ну, да, ясновидѣнье! Потому-то значитъ, она и взаправду варила, что мнѣ царь-небесный этакое ясновидѣнье послалъ!

— Ну, на сей разъ — извините — оно обмануло васъ: ни кухарка, ни сынъ вашъ не участвуютъ здѣсь. Это мнѣ положительно извѣстно.

— Нѣтъ, участвуютъ! Ужь это я знаю, и вы меня не разувѣрите!... Положительно... Да *положительно* токмо единъ Господь Богъ и можетъ знать что-либо; а мнѣ самъ Господь Богъ это въ ясновидѣньи открылъ — такъ ужь тутъ никакія мудрованія меня не разувѣрятъ!... Незаконнорожденный сынъ мой давно уже на меня умыселъ держитъ; я вотъ потому хочу начальство упросить, чтобы его лучше на Амуръ сослали... Развѣ мнѣ это легко?... Какъ вы полагаете, легко мнѣ все это? Мнѣ — старику... отцу... одинокому?... Легко, я васъ спрашиваю! остановился онъ, сложа на груди руки, передъ своимъ собесѣдникомъ, и старческій голосъ его дрогнулъ, а на сухихъ и тусклыхъ глазахъ вдругъ просочились откуда-то тощія слезы.

Но прошла минута; онъ замолчалъ — только еще суровѣе, съ сосредоточеннымъ видомъ сталъ ходить по комнатѣ своими медленными и тяжелыми шагами.

Нѣсколько времени длилось полнѣйшее молчаніе, одинъ только маятникъ стучалъ, да Морденко ходилъ. Сырость и холодъ этой квартиры порядкомъ-таки стали пронимать квартальнаго.

— Однако, у васъ тово... холодновато... Нельзя ли затопить? попросилъ онъ, поёживаясь и растирая руки.

Морденко, при этой неожиданной просьбѣ, искоса взглянулъ на него, какъ-бы на своего личнаго врага.

— Затопить нельзя... вчера топлено, сухо возразилъ онъ: — а вотъ чаю не угодно ли? У меня настой хорошій изъ цѣлебныхъ травъ...

— Нѣтъ, этого не хочу, отказался квартальный: — а нѣтъ ли у васъ эдакъ тово... насчетъ бы водочки?

Старикъ встрепенулся, и такъ поглядѣлъ вокругъ себя, словно бы услыхалъ что-нибудь очень оскорбительное для нравственности и даже кощунственное.

— Боже меня упаси! отрицательно замоталъ онъ головою: — никогда не пью и въ домѣ не держу... Въ водкѣ есть блудъ и соблазнъ. Я плоть и духъ свой постомъ и молитвой питаю, такъ ужь какая тутъ водка!

Квартальный полюбопытствовалъ оглядѣть Морденкину квартиру, что̀ старику не больно-то правилось; однако, нечего дѣлать — пошелъ за нимъ съ фонаремъ. «Кстати», подозрительно думалось ему: «огляжу хорошенько, не хапнулъ ли чего въ спальнѣ тотъ-то... спрятанный?»

Они вошли въ эту комнату. Тамъ особое вниманіе посѣтителя обратило на себя висѣвшее на стѣнѣ довольно странное росписаніе:

Понедѣльникъ. — Картофель.
Вторникъ. — Овсянка.
Среда (день постный). — Хлѣбъ и квасъ.
Четвертокъ. — Капуста кислая.
Пятокъ (день постный). — Хлѣбъ и квасъ.
Суббота. — Крупа гречневая.
Воскресенье. — Супъ молочный и крупа ячневая.

— Что̀ это у васъ за таблица? освѣдомился квартальный.

Морденко нежножко замялся и закашлялся.

— Гм... это... гм... э... обиходное росписаніе стола моего, объяснилъ онъ: — въ какіе дни какую пищу вкушать надлежитъ... Я во всемъ люблю регулярность — поэтому у меня и распредѣлено.

— Но неужели же этимъ можно быть сыту? изумился надзиратель, поѣдавшій ежедневно весьма почтенное количество разныхъ жирныхъ снѣдей нашей россійской кухни.

— Кто, подобно мнѣ, дни свои въ постѣ и молитвѣ проводитъ, съ глубокимъ и серьёзнымъ смиреніемъ замѣтилъ старикъ: — тотъ и объ этой пищѣ забудетъ... Ибо онъ насыщенъ уже тѣмъ, что духомъ своимъ съ творцомъ бесѣдуетъ.

— А это что̀ за комната у васъ, подъ замками и печатями?

Вопросъ шелъ о кладовой.

— Это?... гм... гм... Это — моя молельня, поморщился Морденко. — Туда я отъ суетъ мірскихъ уединяюсь и дни свои въ духовномъ созерцаніи провождаю... Тамъ мнѣ Господь-Богъ и ясновидѣніяпосылаетъ.

«Врешь, старый хрычъ, тамъ-то, надо-быть, у тебя раки-то зимуютъ!» усомнился про себя выпускной соколъ.

Старая стѣнная кукушка, маятникъ которой, словно старикъ на костыляхъ, спотыкаясь отбивалъ секунды, захрипѣла и прокуковала

шесть. Старый попугай въ своей клѣткѣ захрипѣлъ точно такимъ же образомъ, и тоже началъ кукокать. Надзиратель не выдержалъ и расхохотался. Морденко очень обидѣлся.

— Надъ безсловесной тварью грѣхъ смѣяться, заворчалъ онъ, отвернувшись въ сторону: — безсловесная тварь на обиду не можетъ отвѣтствовать обидою же; а почемъ знать, можетъ она тоже чувствуетъ... Онъ у меня птица умная... все понимаетъ...

Прошло еще нѣкоторое время среди молчанія и ожиданій. Надзиратель уже начиналъ сердиться и подумывать, что слѣдуетъ задать Зеленькову изрядную вспушку за ложное показаніе, какъ вдругъ въ наружную дверь слегка постучали. Часы показывали половину седьмого. Всѣ встрепенулись при этомъ внезапномъ стукѣ, у всѣхъ слегка дрогнуло сердце. Кухарка пошла отворять и въ ту же минуту раздался ея короткій пронзительный крикъ и глухой звукъ паденія человѣческаго тѣла.

Убійца тотчасъ же былъ схваченъ и связанъ двумя силачами.

Грѣчкѣ неудалось. — За то совершенно удалась облава выпускного сокола.

XIII

Дознаніе и казнь на мѣстѣ

Связанный Грѣчка молчалъ — только мрачно глядѣлъ исподлобья, поводя вокругъ злобными глазами, да тихо покачивался со стороны на сторону, какъ медвѣдь, пойманный въ тенёта. Его, хоть и скрученнаго, не выпуская, держалъ за шиворотъ одинъ изъ городовыхъ сержантовъ. Остальные отправились въ прихожую поглядѣть, что сталось съ кухаркой. Она лежала въ обморокѣ, съ раскроенной шекой. Рана, хотя и не очень опасная, нанесена была желѣзнымъ орудіемъ. Вскорѣ, посредствомъ вспрыскиванья холодной водой, женщину эту удалось привести въ чувство.

Тогда одинъ изъ людей былъ посланъ за понятыми, которые набираются въ этихъ экстренныхъ случаяхъ изъ живущихъ въ томъ же домѣ. Началось полицейское дознаніе.

— Кто таковъ? вопросилъ надзиратель, взявъ у Мордени перо чернила и листъ бумаги.

— Виленскій мѣщанинъ Осипъ Ивановъ Грѣчка, бойко отвѣчалъ связанный.

— Лѣта?

— Сорокъ-пять.

— Исповѣданія?

— Ну, ужь этого не знаю, а надо полагать — христьянской вѣры.

— Зачѣмъ приходилъ въ квартиру господина Морденки?

— Жилетку свою выкупать... у меня тутъ жилетка въ закладѣ— въ полтинѣ серебра заложена.

— Правду онъ показываетъ? отнесся допросчикъ къ Морденкѣ.

Старикъ молчалъ, переминаясь съ ноги на ногу, и не зналъ, что отвѣчать.

— Правду ли онъ показываетъ? повторилъ квартальный.

— Да ужь всеконечно правду, ваше благородіе, отозвался Грѣчка: — жилетка моя, надо такъ полагать, лежитъ у него вонъ въ той запертой комнатѣ.

— Тамъ нѣтъ никакой жилетки! никакой жилетки нѣту! тревожно забормоталъ встрепенувшійся Морденко.

— Нѣтъ, есть! оппонировалъ Грѣчка. — Коричневая плюшевая, въ желтую клѣтку, съ бронзовыми пуговками. Да прикажите отпереть, ваше благородіе, такъ и увидите сами; а то что жь человѣка занапрасну вязать? Я не разбойникъ какой, а пришелъ вещію свою выкупить.

— Такъ, другъ любезный, такъ!... А кухаркѣ-то щеку зачѣмъ раскроилъ?

— Сама подвернулась... Она первая съ кулачищами на меня накинулась, а я только оборонямшись, призадѣлъ ее маленько...

— Что и говорить! Не видалъ я, что ли? вмѣшался державшій его городовой.

— А ты молчи, милый человѣкъ, потому, ты по закону не свидѣтель; а какъ есть ты нашъ тѣлохранитель, значитъ — ты и молчи! наставительно поучалъ его Грѣчка.

— Ишь ты, законникъ какой уродился! балагурилъ выпускной околъ, съ удовольствіемъ потирая свои красныя, полныя ладони.— Надо быть, на юридическомъ факультетѣ экзаменъ держалъ? а?

— Это что̀ пустяки толковать, ваше благородіе! А вы прикажите лучше отпереть ту комнату, потому я вамъ дѣло докладываю.

— Пожалуй, будь по твоему... Господинъ Морденко, отоприте! предложилъ надзиратель, который, занимаясь спеціально розыскной частью, очень хорошо зналъ, что къ ростовщикамъ часто приносятся краденыя вещи. Онъ, собственно для себя, хотѣлъ оглядѣть коллекцію Морденки, въ чаяніи, не встрѣтится ли тамъ что-нибудь подходящее, за что можно бы уцѣпиться при случаѣ, во многихъ изъ производимыхъ имъ розысковъ, гдѣ часто по одной случайно-попавшейся ниткѣ, разматывается цѣлый запутанный клубокъ.

Старикъ еще пуще сталъ морщиться и заминаться отъ его предложенія.

— Да на что вамъ она, эта комната? упрашивалъ онъ жалобнымъ голосомъ: — ничего тамъ интереснаго для васъ нѣту... Тамъ образа мои хранятся.

— Однако, вы слышали показаніе этого человѣка? — надо же мнѣ удостовѣриться! Я — законъ! внушительно произнесъ онъ, со своей осанкой: — а законъ безпристрастенъ.

— Я не отворю ее, рѣшительно сказалъ Морденко.

— Въ такомъ случаѣ, когда придутъ понятые, я самъ буду отворять при свидѣтеляхъ.

Послѣдній аргументъ подѣйствовалъ. — «Пусть лучше ужь одинъ оглядитъ, чѣмъ при людяхъ-то — соблазну меньше» — и со вздохомъ глубокаго сокрушенія, снялъ старикъ дрожащею рукою печати, отомкнулъ висячій и дверной замки, отодвинулъ засовъ — и дверь растворилась.

Большая двухоконная комната снизу до̀верху была заставлена шкафами и по̀лками, гдѣ хранились всевозможныя вещи. Противъ дверей висѣла на стѣнѣ вышитая гарусомъ картина: какой-то швейцарецъ съ мушкетомъ. Эта картина, подобно стеклянной рамѣ въ кіотахъ, ходила на петляхъ и, отпираясь посредствомъ особаго маленькаго механизма, открывала за собою цѣлый потайной шкафчикъ, наполненный золотыми вещами, часами карманными, брильянтами и тому подобными драгоцѣнностями. На вѣшалкахъ висѣли мѣха и множество всякаго платья. Къ каждой вещи былъ привязанъ ярлыкъ, на которомъ стариннымъ почеркомъ помѣченъ нумеръ и сдѣлана лаконическая надпись *«не укради»*!

— Для чего же у васъ эти надписи? спросилъ слѣдователь.

— А это такой талисманъ, пояснилъ Морденко. — Ежели, оборони богъ, заберется сюда мошенникъ, да протянетъ къ нимъ руку— такъ рука у него тутъ же и отсохнетъ.

— Это вы тоже по ясновидѣнью?

Морденко состроилъ кислую физіономію: ему крайне непріятны были всѣ эти вопросы.

— И по ясновидѣнью, поморщась, отвѣчалъ онъ съ большой неохотою: — и по секрету отъ одного опытнаго человѣка, добродѣя моего.

— Ваше благородіе! вотъ моя желетка! А вотъ и книжка, которую при мнѣ отдавалъ имъ въ закладъ ихній же сыночекъ! воскликнулъ тѣмъ временемъ Грѣчка, по приказанію слѣдователя введенный въ ту же комнату подъ конвоемъ городового. Надзиратель очень озадачился послѣднимъ сообщеніемъ преступника, а Морденко пристально поглядѣлъ на него весьма многозначительнымъ взглядомъ, который ясно вопрошалъ: «а что; не моя ли правда выходитъ»?

— Кто же были твои сообщники? продолжалъ слѣдователь свои вопросные пункты.

— Никакихъ такихъ сообщниковъ у меня нѣтъ и не было, ваше благородіе, и не знаю я, зачѣмъ вы меня это спрашиваете? твердо отвѣтствовалъ Грѣчка.

— Ну, а Ѳомка-блаженный?... Этотъ какъ тебѣ придется? вздумалъ огорошить его допросчикъ.

Грѣчка вздрогнулъ, но въ тотъ же мигъ оправился и уставилъ на него недоумѣлые глаза.

— Въ первый разъ слышу имя такое, ваше благородіе, убѣдительно возразилъ онъ:—и никакого такого Ѳомки не знаю я. Такъ и запишите.

Грѣчка строго хранилъ всѣ условія договора, заключеннаго въ Полтарацкомъ.

Въ эту минуту въ комнату вошло новое лицо.

Старикъ встрѣтилъ его злобной, торжествующей усмѣшкой.

— Я пришелъ выкупить альбомъ и жилетку — вчера вечеромъ деньги кой-какія получилъ, началъ Вересовъ, обращаясь къ отцу и

не различая еще въ слишкомъ слабо-освѣщенной комнатѣ постороннихъ людей.

— Опоздалъ, другъ любезный, опоздалъ! кивалъ головою старикъ съ какою-то злорадной ироніей:—очень жаль, но что жь дѣлать! на себя пеняй; опоздалъ... Надо бы раньше было, тогда бъ удалось, а теперь опоздалъ... опоздалъ!...

— Ваше благородіе! раздался голосъ Грѣчки:—что жь тутъ таиться! Пишите показаніе, повиненъ, молъ; а вотъ и сообщникъ мой! прибавилъ преступникъ, нагло указавъ на Вересова: — чай, сами изволили слышать, что пришелъ мою желетку выкупать?

Вересовъ ничего еще не понималъ, но уже догадался, что здѣсь, должно быть, произошло что нибудь недоброе, страшное. Вспомнилъ онъ, что проходя переднюю, слышалъ стоны кухарки; теперь же—видитъ полицію и связаннаго человѣка. Онъ поблѣднѣлъ, смутился и, ослабѣвъ, опустился на стулъ.

— Пишите же, ваше благородіе, пока на меня такой стихъ нашелъ, а буде не запишите, такъ раздумаю и откажусь, пожалуй! торопилъ Грѣчка, въ умѣ котораго, при входѣ Вересова, блеснула такого рода мысль: «махну-ка, что молодецъ, молъ сообщникъ мой! Отецъ авось не захочетъ подымать на родного сына уголовщину и потушитъ дѣло, по крайности цѣлъ отвертишься». Какъ задумалъ, такъ и махнулъ.

— Пишите же, ваше благородіе! понукалъ онъ: — хоша отъ вашего акта завсегда *въ немогу-знайку* можно отыграться потомъ: одпаче жь, такъ-какъ ваша милость, при этой оказіи, ни одной зуботычины мнѣ не закатили, такъ хочу я, по крайности, уваженіе оказать вамъ: пущай вамъ за поимку вора Грѣчки награду пожалуютъ! Пишите, что въ субботу вечеромъ мы съ сынкомъ нихнимъ вотъ—на лѣстницѣ внизу, на убивство уговоръ держали.

Вошли понятые, между которыми находился и прикащикъ изъ мелочной лавки. У Грѣчки сдѣланъ обыскъ, при чемъ найдено: за голенищемъ — большой складной ножикъ, какъ видно, весьма недавно наточенный; въ карманахъ—небольшой желѣзный ломикъ, съ заостреннымъ концомъ и рублевая бумажка. Во время дознанія, въ суетѣ, эта бумажка куда-то вдругъ исчезла, затерялась, такъ-что никакъ не могли отыскать. Она покоилась за пазухой Морденки,

который, воспользовавшись удобной минутой, очень ловко стащилъ ее со стола, при мысли, что «вотъ, молъ, ты убить меня хотѣлъ, такъ вотъ же тебѣ»!

Кромѣ Осипа Грѣчки, о случившемся происшествіи показали: с.-петербургскій мѣщанинъ Осипъ Захаровъ Морденко, что «воспитанникъ» его былъ всегда грубъ, дерзокъ и непочтителенъ; что онъ, Морденко, подозрѣваетъ его, Вересова, въ зломъ умыслѣ на себя, потому что онъ закладывалъ вещи вмѣстѣ съ Грѣчкой, какъ видно изъ собственноручной росписки ихъ въ записной книгѣ.

Выборгская мѣщанка Христина Ютсола, согласно Морденкѣ, показала: что самолично впускала и выпускала изъ квартиры Ивана Вересова съ неизвѣстнымъ ей человѣкомъ, за котораго она, однако, ясно признаетъ Осипа Грѣчку.

Дворникъ дома видѣлъ, какъ въ субботу вечеромъ Морденко встрѣтился у воротъ съ Вересовымъ, и какъ они, поговоривъ между собою, вошли въ калитку, а непосредственно за ними, вошелъ въ ту же калитку высокій человѣкъ въ короткомъ пальто. Око часу спустя, онъ же, дворникъ выпускалъ изъ калитки Вересова съ высокимъ человѣкомъ и видѣлъ, что спустились они въ мелочную лавочку, откуда вскорѣ выйдя, дружелюбно между собою распрощались и пошли въ разныя стороны. Въ высокомъ человѣкѣ дворникъ признаетъ Грѣчку.

Прикащикъ мелочной лавки заявилъ, что приходившіе къ нему два человѣка, въ коихъ онъ ясно узнаетъ Вересова и Грѣчку, купили по фунту ситнаго хлѣба и колбасы, мѣняли трехрублевую бумажку, сдачей поровну раздѣлились между собою, съѣли купленные ими припасы, при чемъ разговоръ шелъ о постороннихъ предметахъ, и наконецъ, дружелюбно простясь, удалились изъ мелочной лавки.

— Что вы на это скажете, молодой человѣкъ? въ начальственно менторскомъ духѣ отнесся къ Вересову надзиратель.

— Что показанія кухарки, дворника и сидѣльца — сущая правда! отвѣчалъ Вересовъ голосомъ, который видимо старался сдѣлать спокойнѣе. Онъ былъ очень блѣденъ и слегка дрожалъ.

— Стало-быть, вы при свидѣтеляхъ чистосердечно признаете себя виновнымъ?

— Нѣтъ, я невиноватъ, съ твердымъ убѣжденіемъ возразилъ молодой человѣкъ.

— Тутъ есть явное противорѣчіе, по крайней-мѣрѣ, такъ учитъ насъ логика, замѣтилъ надзиратель, многозначительно шевельнувъ толстыми бровями, и, принявъ свою повелительную осанку, офиціально звучнымъ голосомъ проговорилъ Вересову:

— Именемъ закона — вы арестованы!

По этой фразѣ читатель можетъ судить, что соколъ «въ часы досуга» былъ любитель французскихъ романовъ, изъ коихъ и почерпнулъ свое имя закона», которымъ очень любилъ эфектно поражать, въ иныхъ подходящихъ случаяхъ.

XIV

Новая героиня

Въ уютномъ и хорошо убранномъ будуарѣ горѣлъ каминъ. Языки краснаго пламени кидали мигающій, колеблющійся отблескъ на стѣны и потолокъ, съ котораго спускался посерединѣ комнаты шаровидный фонарикъ, разливая мягкій матово-синій полусвѣтъ на близь-стоящіе предметы.

Передъ теплымъ каминомъ, развалясь въ креслѣ и протянувъ ноги къ рѣшоткѣ, сидѣлъ молодой кавалеристъ и какъ-то тупо, безъ малѣйшаго оттѣнка какой-либо мысли, смотрѣлъ на огонь. Видно было, что его донимала одуряющая скука. Сидѣлъ онъ почти неподвижно и только изрѣдка барабанилъ по ручкѣ кресла своими удивительно обточенными ногтями.

Позади его, на покрытой дорогимъ ковромъ кушеткѣ, лежала молодая женщина и разсѣянно разсматривала англійскій кипсекъ, облокотясь на свои бѣлыя, тонкія, аристократически очерченныя руки. Она была блѣдна, или, быть можетъ, только казалась блѣдною, отъ безпрестанной игры на ея лицѣ свѣта и тѣни, мгновенныхъ отблесковъ краснаго пламени и синяго отлива лучей висячей лампы. Свѣтлорусыя кудри порою падали ей на лицо, затрудняя разсматриваніе картинокъ — тогда она встряхивала красивою головкой, и открывала правильный овалъ миловиднаго, симпатичнаго лица, оживленнаго нетерпѣливо-досадливою мимикой маленькихъ губъ и такимъ

же выраженіемъ въ яркихъ, большихъ голубыхъ глазкахъ. Во всей ея фигурѣ сказывалось что-то безконечно-дѣтское, начиная съ этихъ недоразвившихся формъ и кончая наивно-капризной игрою лица и движеній, которыя замѣчаются у хорошенькихъ, болованныхъ дѣвочекъ. Она казалась слабымъ, тонкимъ, граціознымъ ребёнкомъ, а между тѣмъ ей было уже двадцать лѣтъ. Глаза ея какъ-то машинально блуждали по раскрытому кипсеку и порою, съ мимолетнымъ выраженіемъ тоскливой грусти, останавливались на молодомъ человѣкѣ, который вовсе не обращалъ вниманія на ея присутствіе, казалось даже совсѣмъ не замѣчалъ ее, словно бы она и въ комнатѣ не была, и продолжалъ себѣ тупо глядѣть на уголья да барабанить по ручкѣ кресла. По глазамъ этой женщины можно было замѣтить, что она очень еще недавно плакала.

Часа полтора между ними длилось глубокое непрерывное молчаніе, и чѣмъ дальше тянулось время, тѣмъ чаще и тревожнѣе взглядывала молодая женщина на своего сомолчальника; наконецъ, не выдержала: тихо поднявшись съ кушетки и надѣвъ мимоходомъ давно упавшую съ ноги туфлю, она подошла къ спинкѣ кресла, на которомъ сидѣлъ кавалеристъ, и облокотилась на нее, наклонивъ къ нему свою голову такъ, что тихо качавшіяся кудри ея съ легкимъ щекотаньемъ коснулись его красиваго лба. Этимъ шаловливо-кокетливымъ движеніемъ она думала пробудить вниманіе молодаго человѣка; но онъ только отмахнулъ ихъ рукою, какъ отгоняютъ надоѣдливую муху, и попрежнему продолжалъ тихо барабанить.

Женщина затаила дыханіе и чрезъ его голову заглянула въ каминное зеркало, стараясь поймать выраженіе его лица и встрѣтиться тамъ съ глазами молодого человѣка. Но глаза все такъ же тупо были устремлены въ каминъ, на красивой, хотя и нѣсколько поношенной физіономіи все такъ же не появлялось ни малѣйшаго присутствія мысли... женщина пожала плечами и съ нѣмою тоской оглядѣлась вокругъ. Но въ ту же минуту, поборовъ въ себѣ это проявленіе тоскливаго чувства, попыталась весело улыбнуться, и неожиданно запустивъ свои тонкіе пальцы въ волосы молодаго человѣка, загнула назадъ его голову и звонко поцѣловала его въ лобъ.

— Машка... Что это за телячьи нѣжности... апатично пробурчалъ онъ себѣ подъ носъ, скосивъ глаза и въ новомъ положеніи своей головы — все въ тотъ же огонь камина, какъ будто тамъ открывалось для него нѣчто особенно интересное.

Женщина тотчасъ же опустила руки и минуту стояла въ самомъ нерѣшительномъ раздумьѣ.

— Что ты сегодня опять такой хмурый? наконецъ произнесла она несмѣлымъ голосомъ, въ которомъ дрожали слезы и душевное волненіе.

— Скучно... сказалъ кавалеристъ, зѣвая и даже не взглянувъ на нее.

— Скучно... хм... прежде не было скучно... а теперь... богъ съ тобой, Володя! сорвалась у нея тихая, подавленная укоризна.

Кавалеристъ досадливо цмокнулъ языкомъ.

— Послушай, Мери, ты, право, надоѣла мнѣ со своими вздохами! нетерпѣливо проговорилъ онъ:—все одно и то же—это чортъ-знаетъ что, наконецъ!... Сперва я не скучалъ съ тобою, а теперь скучаю—что жь изъ этого?... пожалуйста, не говори мнѣ больше такихъ глупостей: это несносно!

Мери, насильственно задержавъ въ груди перерывчатый вздохъ, молча отошла отъ его кресла и сѣла на свое прежнее мѣсто... Въ глазахъ ея показались слезы.

Минуты черезъ двѣ кавалеристъ вдругъ обернулся.

— Ну, да!... такъ и зналъ! проговорилъ онъ съ сильной досадой:—опять слезы!... Чего же ты хочешь отъ меня, наконецъ?... Кажется, все есть: сыта, одѣта, долги по магазинамъ заплачены—чего еще? Чего хныкать-то? — глаза на мокромъ мѣстѣ устроены? Или прикажешь мнѣ лизаться съ тобою, что ли?... Это скучно и глупо... прощай!

— Куда же ты?!.. Останься! стремительно кинулась къ нему съ нѣжной мольбой молодая женщина, стараясь заградить дорогу къ двери: — останься... полно!... ну, прости меня! ну, я... я буду весела!... Куда же ты?

— Къ Бертѣ: она пикникъ даетъ сегодня — всѣ наши будутъ, равнодушно проговорилъ онъ, зашагавъ, руки въ карманы, по комнатѣ.

— Къ Бертѣ... почти безсознательно повторила она, совершенно убитая, стоя посреди комнаты.

— Н-да-съ, къ Бертѣ! не безъ язвительности подтвердилъ онъ, и черезъ минуту, какъ-бы собравшись съ духомъ, началъ:

— Послушайте, милѣйшая моя Марья Петровна, я хочу объясниться съ вами окончательно. До сихъ поръ я былъ на столько деликатенъ, что говорилъ одними только намеками; но вамъ неугодно было понимать ихъ; такъ теперь я стану говорить съ вами прямо.

Мери, стоя на прежнемъ мѣстѣ и нервичесски не отымая отъ угла губъ своихъ скомканный батистовый платокъ, изумленно глядѣла на него во всѣ свои большіе глаза.

— Мнѣ этихъ сладостей отъ васъ ненужно, продолжалъ онъ:— если угодно играть въ буколику, такъ играйте съ кѣмъ-нибудь другимъ, а не со мной. Мнѣ нужна не идиллическая любовница, а содержанка, камелія—понимаете ли?—ка-ме-лія! — Этого требуетъ мое положеніе въ полку и въ обществѣ. Такъ если угодно, чтобы наши близкія отношенія продолжались—извольте одѣваться и ѣхать со мною въ общество камелій, а нѣтъ—такъ чортъ съ вами!

Послѣднее оскорбленіе было уже черезчуръ велико. Сильно закусивъ нижнюю губу, чтобы не выдать наружу все то, что происходило внутри, Мери тихо отошла къ своей кушеткѣ и машинально сѣла на прежнее мѣсто.

Кавалеристъ прошелся еще раза два, искоса кидая взгляды на молодую женщину, и, круто повернувшись, вышелъ изъ комнаты.

Мери чутко прислушивалась къ его удалявшимся шагамъ. Черезъ минуту она услышала стукъ затворившейся за нимъ двери—и долго подступавшія къ горлу рыданія прорвались наконецъ наружу.

— Такъ неужели же все, все уже кончено? буравилъ мозгъ неотступный вопросъ, и ничто не давало на него утѣшительнаго отвѣта.

XV

Идиллическія страны Петербурга

Петербургъ имѣетъ свои идиллическія страны; цѣлый кварталъ этого холоднаго, промышленнаго, офиціальнаго города взялся, съ давнихъ временъ, разъигрывать роль петербургской Аркадіи и не

безъ успѣха фигурируетъ въ своемъ амплуа, убѣждая всѣхъ и каждаго, что петербургская жизнь, въ одномъ укромномъ уголкѣ, не взирая на всю свою черствую сухость, имѣетъ таки буколическую сторону.

Страна эта лежитъ на юго-западной оконечности обширнаго острова, извѣстнаго во время до-петровскія подъ именемъ Койвисари, а въ послѣ-петровскія — подъ именемъ стороны Петербургской. Граничитъ эта вышеназванная буколическая страна: къ сѣверу — рѣчкой Карповкой, къ юго-востоку — Большимъ проспектомъ, къ югу — рѣчкой Ждановкой, къ западу — Большой Невкой. Въ полиціи извѣстна подъ именемъ 2-го квартала Петербургской части; у извощиковъ и старожиловъ—подъ именемъ Колтовской. Изобилуетъ многочисленными породами чиновниковъ, отъ коллежскаго регистратора до надворнаго совѣтника включительно, кои подраздѣляются на бѣгающихъ къ отправленію служебныхъ обязанностей и небѣгающихъ, то-есть покоящихся въ лонѣ семействъ своихъ, по окончаніи поприща служебнаго. Обитательницы, въ большинствѣ своемъ, оказываютъ пристрастіе къ кофею и къ чесанію языка, обыкновенно на счетъ ближняго своего, или на счетъ благовѣрнаго, невпору загулявшаго, «среди долины ровныя, въ компаніи прохладной». Достопримѣчательности страны: Колтовской Спасъ — очень древняя деревянная церковь, дача съ жестянымъ куполомъ, и еще другая дача, нынѣ совсѣмъ почти заброшенная, за то весьма блиставшая въ первой четверти девятнадцатаго столѣтія. Колтовскіе старожилы помнятъ еще необыкновенной вышины шестъ, принадлежавшій къ этой дачѣ: на него въ извѣстное время выкидывался флагъ, который можно было видѣть за нѣсколько верстъ—изъ оконъ домовъ дворцовой набережной. Теперь ужь ничего этого не осталось: дача принадлежитъ другому владѣльцу, строеніе все болѣе и болѣе приходитъ въ ветхость, садъ заглохъ, запустѣлъ... одна только деревянная мостовая (тоже достопримѣчательность Колтовской), служащая нынѣ на пагубу извощичьихъ дрожекъ, напоминаетъ собою мѣстнымъ жителямъ то время, когда процвѣтала покинутая дача, когда гремѣла тамъ знаменитая роговая музыка и съ нею вмѣстѣ — вся страна Колтовская.

15 сентября 1864 года Колтовская торжественно праздновала свое обновленіе: она вымостилась. До этого же времени, безъ со-

мнѣнія, составляющаго важную эпоху въ жизни Колтовской, узенькія улицы и закоулки ея представляли обильное царство густой, глубокой, неисчерпаемой и вовѣки невысыхающей грязи. Были мѣста, въ которыя ни одинъ извощикъ не соглашался везти васъ, какую бы вы плату ни давали — изъ опасенія застрянуть среди колтовскихъ грязей, гдѣ для пѣшехода требовалось особенное искусство и гимнастическая сноровка, чтобы кое-какъ пробраться вдоль стѣнъ, цѣпляясь за ставни и заборы. За то, однако, и осю-пору отважный путешественникъ-изслѣдователь можетъ открыть такія улицы и переулки, въ коихъ кромѣ обрушившихся плетней и заборовъ не имѣется ни одного строенія. За заборомъ, съ одной стороны — какой-нибудь безконечный огородъ; съ другой вѣчно дремлетъ заглохшій, тихій садъ, безмятежный притонъ тысячи воронъ и галокъ, о чемъ свидѣтельствуютъ ихъ неуклюжія, черныя гнѣзда на высокихъ березахъ и пронзительные крики съ тревожными перелётами, подъ сумеречную пору. Еслибы вы спросили меня: проѣзжалъ ли когда по такой улицѣ хоть одинъ экипажъ? — я, почти съ увѣренностію, отвѣчалъ бы вамъ: нѣтъ; потому — за какимъ чортомъ и кого понесетъ нелегкая въ эту безлюдную трущобу? На улицѣ — ни малѣйшихъ слѣдовъ колесной колеи: зимой она занесена глубокимъ, полутора-аршиннымъ снѣгомъ; лѣтомъ — сплошь покрыта обильною растительностію: лопухами, колючимъ репейникомъ, травою, которая служитъ безвозмедною пищей для двухъ-трехъ коровъ, неизвѣстно кому принадлежащихъ, да для рыжей свиньи съ поросятами. Кромѣ этой дачной публики, вы никого не встрѣтите на такой улицѣ — хоть простойте тамъ отъ зори до зори.

Колтовская, по преимуществу — страна дворянская, семейственная, тогда какъ, наприм., Спасская, бывшая третья адмиралтейская часть города — по преимуществу плебейская и холостая. Въ Колтовской, какъ уже сказано выше, мирно живутъ всевозможные чиновники со чады и домочадцы. Пройдите хоть по любой улицѣ — и наворотныя дощечки поминутно будутъ гласить вамъ: домъ коллежскаго секретаря Миронова, домъ жены титулярнаго совѣтника Агафьи Ивановны Упокойкиной, домъ надворнаго совѣтника Пахомова и кавалера, и т. д. и т. д. Даже видъ самыхъ строеній от-

личается буколически-семейственнымъ характеромъ: маленькіе домики, въ три или пять оконъ, съ мезониномъ, съ зелеными ставнями, съ неизмѣннымъ садикомъ и цѣпною собакой во дворѣ. Въ окнахъ за кисейными занавѣсками увидите вы горшки съ геранiемъ, кактусомъ и китайскою розой, какую-нибудь канарейку или чижа въ клѣткѣ— словомъ, куда ни обернись, на что ни взгляни — все напоминаетъ царство жизни мирной, тихой, скромной, семейственной и патрiархальной. Есть даже такія семейства, которыя и знать ни о чемъ, кромѣ Колтовской, не хотятъ, которыя роднятся, кумятся и женятся между собою, между своими коренными колтовчанами. Это— мiръ совершенно особый, замкнутый, почти совсѣмъ изолированный отъ остальной городской жизни; спокойствiе его нѣсколько возмущается только въ лѣтнiе мѣсяцы, когда изъ города перебираются туда дачники; во все же остальное время безмятежный миръ и тишина царствуютъ надъ колтовской страною.

Въ этой-то буколической странѣ обиталъ одинъ изъ вѣчныхъ титулярныхъ совѣтниковъ, Петръ Семеновичъ Повѣтинъ съ женою Пелагеей Васильевной. Супруги были однолѣтки, то-есть каждому по шестидесяти-пяти (въ эпоху послѣднихъ событiй нашего разсказа), и казалось, что они въ одинъ часъ зачались, въ одинъ родились на свѣтъ, и въ одинъ должны сойти со свѣта. Мнѣ нигдѣ не приводилось встрѣчать пары, болѣе созданной другъ для друга, чѣмъ Петръ Семеновичъ съ Пелагеей Васильевной. Оба кругленькiе, маленькiе, у обоихъ кожа на лицѣ лоснится красненькимъ румянцемъ, и все это лицо какъ-то постоянно улыбается: улыбаются глаза, брови, ноздри, щоки и губы, такъ что при взглядѣ на Петра Семеновича съ Пелагеей Васильевной — вы сами невольно улыбнетесь и подумаете: «Господи, какiе это безконечно-добродушные люди»! Дѣйствительно, безконечное добродушiе было отличительнымъ качествомъ этой четы; всѣ знакомые и сосѣди звали ихъ не иначе, какъ голубками, и только нѣкоторые сатирическiе умы къ голубкамъ прилагали эпитетъ «сизоносые» — эпитетъ совсѣмъ неосновательно-сатирическiй, ибо если носы Петра Семеновича и его супруги и отличались наряду съ пухлыми ихъ щочками нѣкоторою прiятною красноватостью, то виновата въ этомъ была одна только создавшая

ихъ природа, а никакъ не та всеобщая причина, что̀ сандалитъ носъ у человѣка пьющаго. И Петръ Семеновичъ и Пелагея Васильевна испивали въ количествѣ весьма умѣренномъ: по рюмкѣ сладкой наливки за обѣдомъ было совершенно достаточно для того, чтобы увеселить сердца ихъ. Рюмка — это была положенная мѣра, далѣе которой никогда не переступали супруги. Зато, если неоснователенъ былъ эпитетъ, то самое названіе — «голубки» — придалось имъ какъ нельзя болѣе кстати. Оба супруга принадлежали къ кореннымъ, исконнымъ колтовчанамъ, то-есть въ Колтовской родились, выросли, встрѣтились, слюбились, повѣнчались и, повѣнчавшись, зажили себѣ, помаленьку, въ ненарушимомъ мирѣ и согласіи. Сожительствовали они уже около сорока-пяти лѣтъ, разлучаясь другъ съ другомъ только на то время, пока Петръ Семеновичъ обрѣтался въ «должности», за канцелярскимъ столомъ, въ мѣстѣ своего служенія, и во все долгое время этого супружества сосѣди ихъ рѣшительно не запомнятъ, чтобы между Петромъ Семеновичемъ и Пелагеей Васильевной вышла когда какая-нибудь ссора или неудовольствіе: они вѣчно оставались довольны другъ другомъ, ибо общность желаній, помысловъ и стремленій столь была велика между ними, что рѣшительно невозможно и придумать даже малѣйшихъ поводовъ къ возраженіямъ и размолвкѣ съ той или другой стороны. Жили они, что̀ называется, «своимъ домкомъ», въ наслѣдственномъ домикѣ Пелагеи Васильевны. Домикъ былъ маленькій, деревянный, съ мезонинчикомъ. Комнатки походили скорѣе на клѣтушки; но клѣтушки эти отличались необыкновеннымъ уютомъ, домовитостью, опрятностью, такъ что въ нихъ именно «жилось», тогда какъ часто въ большихъ и хорошихъ квартирахъ «не живется», хотя, казалось бы, весь комфортъ, всѣ удобства — съ изысканной предупредительностью сосредоточены въ нихъ, такъ что только бы жить, да и жить, а все-таки, глядишь, не живется почему-то... Какіе-то невидимые Лары и Пенаты покровительствовали маленькому домику въ Колтовской и берегли его спокойствіе. На дворѣ, охраняемомъ цѣпною Валеткой, сосредоточивалось все обиходное хозяйство Пелагеи Васильевны: тутъ были и сарайчики, и чуланчики, и коровниковъ для бурёнки, и ледничокъ для сливокъ и всякой живности. Тутъ же въ корытѣ, врытомъ въ землю, безмятежно полоска-

лось семейство утятъ, чесался о заборъ и хрюкалъ откармливаемый поросенокъ, рылись въ навозной кучѣ куры, пользовавшіяся особенной симпатіей домовой хозяйки, которая каждой изъ нихъ даже отдѣльное имя присвоила: тутъ были и чернушка съ рябушкой, и хохлушка съ махнонóжкой, и ушатка, и желтошейка. Конечно, всю эту живность гораздо удобнѣе можно бы было закупать на Сытномъ рынкѣ, но Пелагея Васильевна рѣдко захаживала въ рынокъ — она именно любила «свой домокъ», свое собственное хозяйство. Съ другой стороны, къ надворнымъ строеніямъ примыкалъ тѣнистый садикъ, въ которомъ Петръ Семеновичъ копалъ грядки, сажалъ кукурузу, постоянно неудававшуюся, и табакъ, тоже недостигавшій полнаго роста. Тутъ же у него произрастали разнородные маки, шпанская земляника съ клубникой, турецкіе бобы и огурцы, пышные подсолнечники и дыни. Петръ Семеновичъ собственноручно смастерилъ, во-первыхъ, маленькую тепличку, а во-вторыхъ, сколотилъ столъ и настлалъ дерновую скамью подъ группой трехъ плакучихъ березъ. Въ двухъ-трехъ клумбахъ являлось царство резеды, левкоя, настурцій, георгины и мальвы, а далѣе шли яблонька и кусты малины, смородины и крыжовника. 6-го августа, когда Колтовская празднуетъ свой приходскій праздникъ, Петръ Семеновичъ собственноручно снималъ съ яблони лучшіе плоды и несъ ихъ «на освященіе плодовъ земныхъ» къ Спасу къ обѣднѣ. Всѣ оставшіеся за симъ яблоки, Пелагѣя Васильевна мочила съ брусникой, пріуготовляя на зиму салатъ къ жаркому. Малина со смородиной шла у нея на изготовленіе наливокъ, которыя выходили отмѣнно вкусными изъ-подъ опытной руки колтовской хозяйки.

Жизнь этой четы протекла съ невозмутимымъ однообразіемъ: вчера, какъ сегодня — сегодня, какъ вчера. Утромъ — встанутъ себѣ съ пѣтухами, умоются, причешутся, богу помолятся и подходятъ къ столу, гдѣ ужь кипитъ свѣтлый самоваръ и ждетъ разливки кофей въ жестяномъ кофейникѣ.

— Здравствуйте, попочка!

— Здравствуйте, цыпинька!

Петръ Семеновичъ цалуетъ ручку Пелагеи Васильевны; Пелагея Васильевна, наоборотъ, ручку Петра Семеновича, за симъ поцалуются въ губы и садятся подкрѣплять свои силы.

Съ первыхъ дней счастливаго супружества, они почтили другъ друга разными кличками, и эти клички оставались за ними неизмѣнно до конца ихъ жизни.

— Вы, попинька, что желаете нынче къ обѣду?

— Къ обѣду-та? а зажарьте мнѣ, цыпленокъ мой, курочку съ грибками, да ватрушечекъ съ лучкомъ.

И къ обѣду непремѣнно являются означенныя блюда.

Когда рюмка наливки взвеселитъ сладкія сердца престарѣлыхъ супруговъ, и они, возблагодаривъ создателя своего милостиваго за насыщеніе ихъ благами земными, поцѣлуютъ ручки и губки другъ друга — глаза ихъ увлажняются пріятно-веселою нѣгой, и нѣга эта вызываетъ новые разговоры:

— Попушка любитъ свою цыпиньку?

— Любитъ.

— Очень любитъ?

— Очень.

— Да?

— Да!... А цыпинька любитъ попушку?

— Любитъ.

— Очень?

— Очень.

— Милая попушка!

— Славный пѣтушонокъ мой!

И за симъ новое лобзаніе, весьма нѣжнаго супружескаго свойства.

Странно судьба распоряжается съ людьми: она не можетъ дать имъ полнаго счастія и всегда вставитъ въ жизнь человѣческую какую-нибудь вѣчную колючку, которая имѣетъ назначеніе отравлять собою источникъ человѣческихъ радостей. Это ироническое отношеніе судьбы отразилось и въ жизни колтовской четы добродѣтельныхъ супруговъ. Трудно бы было найдти двухъ людей, болѣе ихъ расположенныхъ къ супружеской, семейной жизни, болѣе ихъ желавшихъ плодиться, размножаться и населять землю, и — увы! этому завѣтному желанію никакъ не суждено было исполниться. Но отъ первыхъ до послѣднихъ дней своего супружества, Петръ Семеновичъ съ Пелагеей Васильевной не переставали утѣшать себя тщетной надеждой, что авось, богъ-дастъ, у нихъ что-нибудь и родится.

— Попушка! скажетъ, бывало, иногда Пелагея Васильевна, съ застѣнчивымъ и таинственнымъ видомъ, положа руку на плечо супруга: — милушка мой! кажется, меня поздравить надо!

— Ну, да, толкуй, ухмыльнется Петръ Семеновичъ, пріучившійся уже въ теченіе тридцати-пяти лѣтъ понимать, къ чему обыкновенно клонитъ такой приступъ у его дрожайшей половины, а самому такъ вотъ и хочется всѣмъ сердцемъ, всей душою повѣрить въ истину словъ ея.

— А что жь, развѣ невозможно? выражаетъ престарѣлая Бавкида: — и по описанію даже возможно выходитъ! — Вспомните-ка про Захарію и Елисавету, да про Авраама съ Сарой?

— Ахъ, вы, глупушка-попушка! такъ вѣдь на то они и патріархами нарицались, и обитали въ Палестинѣ, а мы съ вами въ Колтовской — вотъ вы и сообразите тутъ.

— Что жь, по человѣчеству все едино выходитъ... Опять же я чувствую...

И оба ухмыляются, необыкновенно довольные другъ другомъ.

— А какъ назовемъ-то мы новорожденнаго? спустя нѣсколько минутъ начинаетъ Петръ Семеновичъ, котораго такъ и подмываетъ свести разговоръ на достолюбезную ему тэму.

— А ужь конечно подъ число: подъ какое число родится, подъ такого святого и назовемъ.

— А я желаю Петромъ назвать... Пусть его Петръ Петровичъ будетъ!

— Ну, да! что и говорить! Развѣ не знаете, что коли по отцу назвать, такъ ребёнокъ несчастливый уродится?

— Это все пустяки одни: вонъ у насъ въ департаментѣ Ѳома Ѳомичъ по отцу названъ — а какой счастливый! Въ рангѣ статскаго состоитъ, начальникъ отдѣленія...

— Ахъ, вотъ, что, ципенька! восклицаетъ Пелагея Васильевна такимъ тономъ, словно бы сдѣлала Архимедову находку: — окрестимъ-ка его Ѳомой, въ честь Ѳомы Ѳомича! — Пускай онъ будетъ такой же счастливый! Опять же и для начальства это очень лестно, что въ честь младенца нарицаютъ—все-таки видно, что чувствуетъ человѣкъ.

— Вотъ что дѣло, то дѣло, старуха! соглашается, наконецъ,

Петръ Семеновичъ, и за симъ начинаются разговоры «о приданомъ» для новорожденнаго. Впрочемъ, Пелагея Васильевна на сей конецъ давно ужь обезпечена: у нея, богъ-вѣсть съ какихъ поръ еще нащито всего вдоволь — и пеленокъ, и распашонокъ, и одѣяльце и подушечка — все это уже до малѣйшей подробности сообразилъ ея предусмотрительный умъ, обо всемъ она позаботилась, все это имѣется у нея въ наличности, въ комодѣ; одного только нѣтъ — новорожденнаго... Для нея истинное наслажденіе составляло — перебирать, пересматривать, повременамъ, имущество будущаго ребёнка и ремонтировать его, замѣняя новыми погнившія отъ долговременнаго лежанія вещи. Это была ея завѣтная мечта, самое завѣтное наслажденіе, источникъ надеждъ, ожиданій и огорченій отъ слишкомъ продолжительной несбывчивости этихъ надеждъ. Но главное утѣшеніе все-таки въ томъ, что Пелагея Васильевна до конца дней своихъ не переставала съ убѣжденіемъ мечтать объ осуществленіи въ своей особѣ новой Сары, которая произведетъ на свѣтъ новаго Исаака. Объ этой завѣтной мечтѣ знали всѣ сосѣди, вся улица и при удобномъ случаѣ, покачивая головой, непремѣнно замѣчали:

«— Экіе чудасѐи, прости-господи, согрѣшеніе одно съ ними, да и только! До старости дожили, зубы всѣ, почитай, стёрли, а все еще амурятся!... голубки, одно слово»!

Петръ Семеновичъ съ Пелагеей Васильевной, весь избытокъ своихъ матримоніальныхъ чувствъ, по необходимости, изливали на чужихъ, постороннихъ дѣтей, одинъ видъ которыхъ производилъ въ нихъ сердечное умиленіе и сокрушенный вздохъ о собственномъ безчадіи. И дѣти необыкновенно любили ихъ: они, какъ собаки, инстинктивно чуютъ добрую душу. Бывало, лѣтнимъ вечеромъ выйдетъ Петръ Семеновичъ на улицу, запросто, подомашнему, въ старенькомъ халатикѣ, усядется за воротами на скамеечкѣ — и гурьба ребятишекъ, гляди, вокругъ него трется. Мастеритъ онъ имъ пѣтушковъ бумажныхъ, стругаетъ какую-нибудь палочку, кораблик ъ дѣлаетъ; а Пелагея Васильевна, которая успѣла уже, нарочно по тому случаю, набить карманы пестрыми лоскутками и какимъ-нибудь сладкимъ домашнимъ печеньемъ, съ нѣжностью одѣляетъ ими каждаго мальчугана и каждую чумазую дѣвчонку.

Въ 1837 году жила на дачѣ въ Колтовской одна особа, которую въ околодкѣ всѣ звали «генеральшей». Генеральша по сосѣдству познакомилась случайно съ «голубками». Хотя знакомство это состояло въ перекидкѣ двумя-тремя словами въ теченіе всего лѣта, да въ поклонѣ при встрѣчѣ на прогулкахъ, однако генеральша знала о сокрушеніи голубковъ по поводу безчадія и видѣла ихъ нѣжную любовь къ постороннимъ дѣтямъ. На слѣдующій годъ, въ одно весеннее утро, у воротъ маленькаго домика остановилась щегольская карета, изъ которой вышла все та же блистательная генеральша и, къ крайнему удивленію и переполоху буколическихъ супруговъ, вошла въ ихъ парадную клѣтушку, носившую обычное наименованіе «залы». Генеральша предложила имъ—не желаютъ ли они взять къ себѣ на воспитаніе маленькую дѣвочку, за которую она будетъ платить имъ ежегодно по двѣсти рублей серебромъ? Предложеніе это принесло Повѣтинымъ радость великую, придясь какъ нельзя болѣе по сердцу, такъ что они немедленно же изъявили полное свое согласіе. Тогда генеральша вынула назначенную сумму и взяла съ Повѣтиныхъ росписку въ полученіи — «за воспитаніе дѣвочки». Въ тотъ же день, къ вечеру, въ квартирѣ ихъ помѣстилась, въ мезонинчикѣ, маленькая люлька рядомъ съ кроватью для мамки — и домикъ огласился пискотней ребёнка, необыкновенно гармонически услаждавшей слухъ чадолюбивыхъ супруговъ.

— А неправда ли, цыпушка, веселѣе какъ-то стало? умилялся Петръ Семеновичъ: — и кинареечка на окнѣ щебечетъ и ребёнокъ гулитъ.

И цыпушка отъ души соглашалась съ мнѣніемъ своего супруга.

Дѣвочку окрестили и назвали Марьей. Кажется, незачѣмъ говорить о томъ, что росла она въ холѣ, въ теплѣ, да въ довольствѣ, что ей всѣ въ глаза глядѣли и наглядѣться не могли.

Ежегодно у воротъ колтовскаго домика останавливалась генеральская карета, что на цѣлый день подавало тэму для сосѣдскихъ разговоровъ: генеральша привозила условную плату за воспитаніе, брала росписку и провѣдывала дѣвочку. Каждый разъ она оставалась не болѣе десяти минутъ и, несмотря на то, что Пелагея Васильевна, какъ угорѣлая, начинала метаться изъ комнаты въ кухню

и изъ кухни въ комнату, торопясь приготовить кофе для дорогой гостьи—дорогая гостья ни разу не соблаговолила отвѣдать его подъ кровлей Пелагеи Васильевны.

— Что жь это такое, попчикъ мой, съ неудовольствіемъ замѣчала Пелагея Васильевна, по уѣздѣ генеральши: — никогда-то она моего угощенія принять не хочетъ, словно брезгуетъ... Ужь право, мнѣ это не по сердцу... У покойницы матушки (царство небесное!) примѣта была, коли ужь отъ радушнаго хлѣба - соли человѣкъ отказывается—недобрый онъ, значитъ, человѣкъ...

— Ну, глупелъ вы эдакой! миролюбиво отвѣтствуетъ Петръ Семеновичъ, торопясь потушить возстающія въ сердцѣ супруги сомнѣнія, хотя самъ вполнѣ чувствуетъ то же:—не видала она, что ль, нашего кофею! У нея—чу, такой, какого мы съ тобой и отродясь не пивали, у нея — мокка аравійская, а у насъ — цыкорій... А все жь она доброе дѣло намъ сдѣлала, что дѣвчонку-то отдала: жизнь-то вѣдь скрасила.

И дѣйствительно, это было единственное доброе дѣло, сотворенное генеральшей фон-Шпильце, которая, впрочемъ, отдавая ребёнка, о добрыхъ дѣлахъ и не воображала, а думала только о томъ, какъ бы, въ уваженіе просьбы князя Шадурскаго, поудобнѣе пристроить его подкидыша.

Пелагея Васильевна каждый разъ выводила Машу напоказъ генеральшѣ—и генеральша, гладя ее по головкѣ и цалуя въ розовую щочку, не безъ удовольствія про себя замѣчала, что дѣвочка все болѣе выравнивается и хорошѣетъ. Однажды, когда ей пошелъ уже семнадцатый годъ, Амалія Потаповна, съ особеннымъ вниманіемъ оглядывала наружность воспитанницы, и, выславъ ее изъ комнаты, очень заботливо обратилась къ Пелагеѣ Васильевнѣ съ совѣтомъ: беречь и хранить, какъ можно строже, ея нравственность, чтобы не вздумала влюбиться, потому она теперь уже дѣвушка на возрастѣ... Пелагея Васильевна даже нѣсколько оскорбилась этимъ предостерегательнымъ совѣтомъ.

— Что жь, сердце дѣвическое! возразила она: — полюбитъ такъ запрёту не положишь; на то теперь и годы ея такіе. А коли самоё полюбитъ хорошій человѣкъ, такъ и замужъ возьметъ.

На это генеральша съ увѣренностью замѣтила, что она сама

знаетъ за кого Машѣ слѣдуетъ выдти, и «сама будетъ отыскивать ей хорошій женихъ».

— Впрочемъ, она еще почти ребёнокъ... слаба... мало развита— надо подождать еще: пускай вполнѣ разовьется — такъ лучше станетъ; да и пристроить ее надо повыгоднѣй, половчѣй, мысленно разсуждала Амалія Потаповна, уѣзжая отъ Повѣтиныхъ.

Маша съ первыхъ еще лѣтъ какъ-то инстинктивно, подѣтски не возжаловала генеральшу; хотя Пелагея Васильевна и говорила ей, что ее «надо любить, потому она ей благодѣтельница», но Маша какъ-то туго понимала это и оставалась при своемъ безотчетномъ нерасположеніи къ Амаліи Потаповнѣ.

У нея было мягкое, доброе сердце, которому, впрочемъ, мудрено бы было и сдѣлаться инымъ посреди окружающей обстановки—въ образѣ Петра Семеновича съ Пелагеей Васильевной. Съ десятилѣтняго возраста Машу стали водить въ пансіонъ, который держала на Большомъ проспектѣ одна старушка-француженка изъ отставныхъ гувернантокъ, и эти пансіонскіе годы продолжались у нея до семнадцатилѣтняго возраста. Стало быть, она училась «понемногу чему нибудь и какъ-нибудь»; какъ учатся вообще наши русскія дѣвушки. Впрочемъ, Пелагея Васильевна приходила въ неописанный и даже нѣсколько горделивый восторгъ, видя какъ ея «дочурка» читаетъ разныя книжки, «и даже пофранцузскому; а говоритъ-то, говоритъ съ мадамой—хоть ни словечка не понимаешь, а сердцемъ чувствуешь, что хорошо говоритъ: безъ запиночки эдакъ складно выходитъ.» Такъ повѣствовала Пелагея Васильевна всѣмъ своимъ сосѣдямъ, не упуская малѣйшаго удобнаго случая распространиться передъ кѣмъ бы то ни было объ успѣхахъ своей воспитомки.

Петръ Семеновичъ очень любилъ «почитать что нибудь», а Пелагея Васильевна «послушать книжку занимательную». Бывало, подъ вечеръ, вставши отъ послѣ-обѣденной высыпки, усядется онъ за большой «аппетитной» чашкой чая и примется читать вслухъ, а Пелагея Васильевна съ Машей вяжутъ чулокъ, либо штопаютъ что нибудь и слушаютъ чтеніе Петра Семеновича. А Петръ Семеновичъ читалъ всякія книжки, какія только подъ руку попадались: и «Юрія Милославскаго» и «трехъ мушкатеровъ», и разныя аббатства съ таинствами Анны Редклифъ, и водевиль «Жена или карты», и

Гоголя, и старый истрепанный нумеръ «Современника», либо «Отечественныхъ Записокъ» — все это поглощалось имъ съ равнымъ удовольствіемъ. Маша, глядючи на него, тоже полюбила чтеніе, и читала съ наслажденіемъ, съ увлеченіемъ непосредственнаго «читателя» все — безъ разбору. Это, конечно, не прошло безъ весьма значительной доли вліянія на ея внутренній міръ и впечатлительное воображеніе. Маша всею душой любила свою мирную, тихую, безвѣстную жизнь съ отцомъ и матерью — такъ называла она своихъ воспитателей, которые въ двадцать лѣтъ безраздѣльной жизни до того сроднились съ нею, что привыкли думать, будто она и взаправду ихъ собственная родная дочь, будто ничто въ мірѣ разлучить ихъ не можетъ. У Маши была въ мезонинѣ своя отдѣльная дѣвическая келья, окошками въ садикъ, и въ эти окошки засматривали вѣтви березы и лапчатыя листья клена, сквозь которые, бывало, пробивается по весеннимъ утрамъ горячій лучъ солнца и обливаетъ камнатку зеленоватозолотистымъ свѣтомъ. Комодъ съ зеркальцемъ и нѣсколькими книжками, бонбоньерка, бюстикъ Наполеона, желѣзная кровать подъ бѣлымъ ткапьёвымъ одѣяломъ, да столикъ со множествомъ коробочекъ и блюдечекъ съ разными сѣменами, которыми былъ заставленъ и подоконникъ, рядомъ съ двумятремя горшками цвѣтовъ—вотъ и вся обстановка, являвшая скромную гòренку молодой дѣвушки. Но въ этой скромной гòренкѣ жилось беззаботно и счастливо: въ ней и молилось по душѣ, и мечталось пó сердцу, и работалось по волѣ.

А между тѣмъ незамѣтно подступила и та пора, когда впервые смутно, безсознательно начинаетъ ощущаться потребность чувства, потребность молодой жизни, молодой любви... И чувствовала Маша, что душа чего-то проситъ, какъ будто чего-то недостаетъ ей, а чего недостаетъ ей, чего проситъ она—богъ вѣсть!... Нѣтъ яснаго отвѣта. Она поняла только, что внутри ея произошелъ какой-то переворотъ, но не поняла еще его сущности, не могла еще ясно сознать его и поневолѣ таила въ себѣ эту смутную просьбу дѣвической души.

Года два спустя послѣ извѣстнаго уже читателю разговора о хорошемъ женихѣ и строгомъ сбереженіи дѣвической нравственности,

генеральша внезапно появилась въ квартирѣ Повѣтиныхъ и безапелляціонно объявила, что срокъ воспитанія конченъ, что теперь настало время, когда она можетъ взять Машу къ себѣ, поэтому пусть ее сейчасъ же одѣвается и ѣдетъ.

Слова эти громомъ пришибли стариковъ. Они растерялись, поблѣднѣли, и въ первую минуту даже не поняли хорошенько, о чемъ это говоритъ генеральша, и возможно ли, на самомъ дѣлѣ, не въ шутку, такое объявленіе съ ея стороны? Однако, генеральша не чувствовала въ себѣ расположенія къ шуткамъ, ибо ею руководили весьма важныя побужденія относительно Маши, и во имя этихъ побужденій ничто уже не могло измѣнить ея намѣренія.

— Матушка!... Ваше превосходительство!... не обидьте вы насъ, стариковъ! со слезами умоляли ее Повѣтины: — не надо намъ вашихъ денегъ... Мы вамъ отдадимъ... у насъ есть одна тысьчонка въ сберегательной, да сгоношимся еще кое-какъ, продадимъ кое-что — всѣ деньги, что̀ потратили вы на нее, съ радостью выплатимъ вамъ — только не берите вы ее отъ насъ... Пожалѣйте вы насъ, матушка!...

Пелагея Васильевна, совсѣмъ растерявшись отъ неожиданнаго горя, даже въ ноги кланялась генеральшѣ, руки ея цаловала — но все было, напрасно: воля Амаліи Потаповны осталась неизмѣнной. Она сказала, что везетъ Машу къ отцу и матери, что теперь подошли такія обстоятельства, когда ея настоящимъ родителямъ уже незачѣмъ скрываться, и можно взять ее открыто въ свой домъ, что для счастія самой Маши—это необходимо, что родители, наконецъ, имѣютъ на нее законное право, такъ-какъ Маша находилась у Повѣтиныхъ только на воспитаніи, за деньги, въ чемъ имѣются ихъ собственноручныя росписки и—слѣдственно, никакихъ больше разговоровъ по этому поводу быть не можетъ.

— Что жь, матушка Пелагея Васильевна, рѣшительно, хотя и съ великой грустью, началъ старикъ Повѣтинъ, обратясь къ женѣ:— видно, ужь такъ богу угодно... надо смириться... Коли родители свое дѣтище къ себѣ взять желаютъ, такъ намъ съ тобой грѣхъ противиться сердцу родительскому... дѣло-то ужь оно больно святое да кровное... Тяжело — что̀ дѣлать! — а надо... надо... Ступай, собирай дочурку...

И у старика побѣжали по щекамъ горькія слезы: въ эту минуту онъ отрывалъ у себя самый больной и самый завѣтный кусокъ своего сердца.

Генеральша предложила имъ сто рублей въ награду—но старики наотрѣзъ отказались принять эти деньги, и только умоляли объ одномъ, чтобы имъ позволено было навѣщать Машу у родителей. Генеральша охотно изъявила свое согласіе, и даже обѣщала сама заѣхать за ними и свезти ихъ дня черезъ два или три, когда все уже устроится для Маши въ ея новомъ положеніи. Молодая дѣвушка совсѣмъ обезумѣла отъ горя. Она привыкла думать, что живетъ съ родными отцомъ и матерью, а тутъ вдругъ оказываются какіе-то новые... Да и правда-ли еще все это? Ей что-то больно не вѣрилось этой генеральшѣ, въ отношеніи которой у нее еще съ дѣтства закралось антипатичное чувство. Она и теперь какъ-то невольно чуяла, что не быть ничему доброму изъ этой разлуки, изъ этой внезапной перемѣны жизни. Но — дѣлать нечего: въ слезахъ, почти безъ чувствъ, почти совсѣмъ больную положили ее въ генеральскую карету; дверца захлопнулась и колеса грузно потащились по клейкимъ колтовскимъ грязямъ.

У воротъ стояли двое стариковъ. Пелагея Васильевна дрожала какъ въ лихорадкѣ, и бесмысленно глядѣла по сторонамъ, какимъ-то убитымъ, пришибленнымъ взглядомъ; Петръ Семеновичъ смотрѣлъ во слѣдъ удалявшейся кареты, и долго еще осѣнялъ ее крестными знаменіями. Сосѣди выглядывали изъ оконъ и форточекъ, дѣлая догадки и соображенія: что̀ бы это такое могло у сизоносыхъ случиться?

XVI

Благія намѣренія

Дѣлами князей Шадурскихъ заправлялъ нѣкто Поліевктъ Харлампіевичъ Хлѣбонасущенскій, надворный совѣтникъ и кавалеръ двадцатилѣтняго безпорочія и ордена святаго Станислава третьей степени. Толстенькій старецъ былъ многоученый энциклопедистъ по части сутяжничества, крючкотворства, стряпчества, финатизма,

администратизма и тому подобныхъ высоко-практическихъ предметовъ. Дѣлишки свои обдѣлывалъ необыкновенно тонко и кругло. Поступилъ къ Шадурскимъ непосредственно послѣ Морденки, и въ теченіе двадцатилѣтняго безкорыстнаго служенія интересамъ княжеской фамиліи, исподволь сколотилъ себѣ капитальчикъ тысячъ во сто. Княжеская фамилія, во многихъ критическихъ казусахъ, обращалась непосредственно къ Поліевкту Харлампіевичу, который и ссужалъ ее, изъ собственнаго кармана, самымъ благодушнѣйшимъ образомъ, зная, что первыя деньги, проходящія прежде всего черезъ его собственныя руки, первому ему же и пойдутъ въ уплату. Онъ былъ знакомъ со всѣмъ свѣтомъ, ибо въ каждомъ провидѣлъ «нужнаго человѣка», который, рано-ли—поздно-ли, на что нибудь да пригодится. Любилъ слушать конюшенныхъ и почтамтскихъ пѣвчихъ, изъ храмовъ же предпочиталъ—Казанскій. Въ мірѣ искусства отдавалъ преимущество высокимъ трагедіямъ, съ большой похвалой относился о «Жизни игрока»; «Велизаріѣ» и «Рукѣ Всевышняго», которая отечество спасла, не безъ гордости присовокупляя при этомъ, что во время оно даже лично знавалъ Нестора Васильевича Кукольника и многихъ сочинителей. Изъ газетъ любилъ «Пчелку»; ѣздилъ по городу не иначе какъ въ дышло, на парѣ рыженькихъ шведокъ, въ широкихъ крытыхъ пролеткахъ, именуемыхъ обыкновенно «докторскими», иногда давалъ «нужнымъ людямъ» обѣды, на которыхъ по преимуществу красовался цвѣтъ губернскаго правленія, управы благочинія и надворнаго суда. Въ заключеніе можно прибавить, что Поліевктъ Харлампіевичъ былъ человѣкъ необыкновенно мягкій, привѣтливый, сладостно-улыбающійся, съ чувствомъ руки пожимающій, и самый ревностный христіанинъ.

Вскорѣ послѣ извѣстнаго уже читателю происшествія съ Юліей Николаевной Бероевой, Поліевктъ Харлампіевичъ появился на секретной аудіенціи въ пріемной Амаліи Потаповны фон-Шпильце. Онъ былъ присланъ съ весьма немаловажнымъ порученіемъ отъ самой княгини Татьяны Львовны, которая возложила на него это порученіе, зная его тонкія дипломатическія способности.

Причина, вызвавшая таковую секретную миссію, была нижеслѣдующаго рода.

Молодой князь Шадурскій, выигравъ съ Петьки пари, заключав-

шеся въ ужинѣ у Дюссо, и поставивъ для этого на карту честь и судьбу женщины, на нѣкоторое время успѣлъ удовлетворить свое самолюбивое тщеславіе, а за тѣмъ — снова обратился къ баронессѣ фон-Дёрингъ, за которой неукоснительно продолжалъ ухаживать и его разслабленный батюшка.

Все это крайне досаждало княгинѣ Татьянѣ Львовнѣ, и повергало ее въ немалую печаль. Не говоря уже о томъ, что она замѣчала порою двусмысленные, ироническіе взгляды, которые кидались иногда на двухъ соперниковъ, и которые до глубины души пронзали ея чуткое самолюбіе, княгиня Татьяна Львовна имѣла еще другую, болѣе практическую и тяжеловѣсную причину ооязни за поведеніе ея сына относительно баронессы фон-Дёрингъ. Разслабленный гаменъ почти совсѣмъ не занимался дѣлами, сынъ его точно также: они умѣли только подписывать векселя, да поручать Поліевкту Харлампіевичу Хлѣбонасущенскому, чтобы онъ, откуда бы то ни было, доставалъ имъ денегъ. Одна только княгиня понимала настоящее положеніе дѣлъ, существенно интересовалась имъ, и изыскивала всяческія средства, лишь бы извернуться и поддержать достоинство и кредитъ Шадурскихъ въ обществѣ. Задача была нелегкая, стоившая княгинѣ многихъ горькихъ минутъ и размышленій. Но чѣмъ болѣе размышляла она, тѣмъ неотразимѣе приходила къ заключенію, что единственное спасеніе состоитъ въ женитьбѣ князя Владиміра на Дарьѣ Давыдовнѣ Шиншѣевой. Это былъ бы исходъ, некомпрометирующій ея сына, за котораго теперь приходилось почти каждый мѣсяцъ, то тамъ, то здѣсь, уплачивать весьма значительныя суммы. Князь не хотѣлъ убѣдиться никакими резонами, считая рѣшительно невозможнымъ посократить свои широкія потребности, то и дѣло давалъ новые векселя, занималъ деньги—и деньги необыкновенно быстро проскользали между его рукъ, уподобляясь водѣ, въ рѣшето наливаемой. Татьяна Львовна неоднократно приступала къ нему съ рѣшительнымъ объясненіемъ, тщетно усиливаясь втолковать въ эту голову весьма некрасивое и опасное положеніе семейства, если дѣла будутъ продолжаться такимъ образомъ; но князь Владиміръ, какъ на зло, ничего не хотѣлъ ни слушать, ни понимать.

— Э, полно, maman! поповичъ выручитъ! онъ вѣдь не мало

накралъ у насъ денегъ, возражалъ онъ ей обыкновенно, съ изумительной беззаботностью.

— Женись, настаивала княгиня.—Не все ли равно тебѣ? Женись поскорѣе!

— На комъ это? на уродѣ?

— Тутъ ужь нечего думать о красотѣ: красоту можно всегда найдти и потомъ, а денегъ не найдешь.

— Урода я приберегаю напослѣ, comme dessert, pour la bonne bouche, когда ужь совсѣмъ плохо придется; а пока еще кредитъ мой держится—слуга покорный!

— Но ты нисколько не думаешь о насъ—что съ нами-то будетъ тогда?

— Ну, тогда объ этомъ и подумаемъ.

— У тебя нѣтъ ни жалости, ни сыновняго чувства, укоряла княгиня со слезами материнскаго чувствительнаго огорченія:—ты разсуждаешь, какъ эгоистъ!

— А что жь, эгоизмъ—дѣло недурное, отшучивался князь Владиміръ, ни мало не поддаваясь на практическіе доводы своей матушки.

— Если такъ—такъ знай же! попробовала она пустить въ ходъ тяжеловѣсную угрозу:—ты вынудишь меня и отца опубликовать тебя въ газетахъ, что мы по твоимъ векселямъ не плательщики.

Но князь не смутился.

— Merci pour le scandale, хладнокровно поблагодарилъ онъ:—только знайте и вы, что можетъ изъ этого выйти. Во-первыхъ, вы замараете мою репутацію, какъ порядочнаго человѣка; во-вторыхъ, испортите мою карьеру; въ-третьихъ, окончательно подорвете свой собственный кредитъ; въ-четвертыхъ, на бракъ съ уродомъ нечего ужь будетъ и разсчитывать, послѣ такого милаго скандала, et enfin—que dira le monde?

Княгиня, и безъ этого объясненія понимавшая всю силу столь неотразимыхъ аргументовъ, увидѣла, что придуманная ею угроза не попала въ цѣль, и окончасельно упала духомъ.

Да впрочемъ, и было отчего. Она знала и видѣла, что главная причина безпутныхъ тратъ — баронесса фон-Дёрингъ, которой въ Петербургѣ не особенно-то посчастливилось: она не попала въ сливки

высшаго общества и осталась въ молокѣ, то-есть въ томъ свѣтѣ, который составляетъ слой, лежащій непосредственно подъ этими густыми сливками, и къ которому, между прочимъ, принадлежалъ домъ Давида Георгіевича Шиншѣева. Такъ было относительно сливокъ женскаго рода; сливки же рода мужескаго считали даже за нѣкоторую модную честь быть принятыми въ кружокъ баронессы. Она разсчитывала, что будетъ введена въ высшее общество при посредствѣ княгини Шадурской, но сильно ошиблась въ разсчетѣ. Княгиня, кажется, скорѣй бы удавилась, чѣмъ рѣшилась бы на такой подвигъ въ отношеніи женщины, затмѣвавшей ее красотой— женщины, которую она считала своею соперницей во всемъ, которую ненавидѣла отъ всей души, и наконецъ — благосклонности которой добивались два слишкомъ близкіе ей человѣка—мужъ и сынъ. Все это ставило между ними неодолимыя преграды относительно ввода въ высшее общество. Съ другой стороны этому помѣшала ассоціація Бодлевскаго и Коврова. Для дѣйствія на сливки прекраснаго пола, ассоціація имѣла гораздо болѣе полезнаго агента въ лицѣ графа Каллаша, чѣмъ въ лицѣ Наташи. Прекрасная женщина нужна была для дѣйствія на сливки пола непрекраснаго, которыя, будучи у ея ногъ, тѣмъ удобнѣе могли попадаться въ руки ассоціаторовъ. Для этого требовалось положеніе нѣсколько изолированное, независимое. которое трудно сохранить женщинѣ, попавшей въ тѣсный кружокъ сливокъ, гдѣ каждое дѣйствіе ея могло подвергаться строгому, безпощадному контролю явныхъ пріятельницъ—тайныхъ завистницъ и соперницъ. Наташѣ весьма удобно было разыгрывать видныя роли между сливками за границей, гдѣ она дѣйствовала одна, съ Бодлевскимъ; въ Петербургѣ же, съ образованіемъ ассоціаціи, ей предстояло быть въ одно и то же время и свѣтскою женщиной, и необыкновенно тонкой куртизанкой, то-есть вѣчно плыть между Сциллой и Харибдой — положеніе далеко не изъ легкихъ; но того требовали ближайшіе интересы ассоціаціи. Она держала себя такимъ образомъ, что свѣтская молва никому не могла приписать титулъ ея любовника, а между тѣмъ, благодаря своему исключительному, «эмансипированному» положенію и тонко-завлекательному кокетству, Наташа могла всѣмъ и каждому подавать эту сладкую надежду. Короче сказать, ея ловкое воженье за носъ имѣло результатомъ

только ущербъ для кармановъ непрекрасной половины сливокъ аристократическихъ и финансовыхъ. Она составила свой собственный кругъ, въ которомъ блистали всевозможныя титулованныя имена мужчинъ, и между ними—оба князя Шадурскіе. Кромѣ того, что каждый изъ ея знакомыхъ проигрывалъ ей въ карты (игру баронесса всегда затѣвала у себя какъ-бы экспромтомъ, отъ нечего дѣлать), и проигрывалъ весьма значительные куши, она ухитрялась съ одного и того же вола драть по двѣ и даже по три шкуры. Мы уже сказали, что почти каждый изъ этихъ господъ льстилъ себя тайной надеждой добиться ея благосклонности. На этой-то стрункѣ и играла подъ сурдинку опытная баронесса. Поводомъ обыкновенно служилъ какой-нибудь уединенный визитъ, интимный пріемъ съ глазу на глазъ въ своемъ будуарѣ, и какъ-бы невзначай, между прочимъ—ловкій подводъ разговора на временно-затруднительныя обстоятетьства, сводящіяся къ невозможности уплаты по какимъ-нибудь пустячнымъ счетамъ (тысячи въ три, въ пять, а иногда и болѣе). Предупредительный искатель обыкновенно съ любезностію предлагалъ услуги своего кармана; баронесса награждала за это милымъ пожатіемъ руки, обворожительнымъ взглядомъ, и послѣ нѣкотораго колебанія, соглашалась на предлагаемый ей «заемъ», прося только чтобъ эта пріятельская услуга осталась въ тайнѣ. Искатель, конечно, самымъ искреннимъ образомъ давалъ свое слово и уѣзжалъ, вполнѣ увѣренный, что получилъ новый шансъ къ крѣпкимъ бастіонамъ ея сердца. Стоило, напримѣръ, баронессѣ на одномъ изъ подобныхъ интимныхъ визитовъ замѣтить, что ей очень нравится какая-нибудь драгоцѣнная вещь, видѣнная ею въ такомъ-то магазинѣ—и очень часто случалось, что дня черезъ два, эта самая бездѣлушка являлась на ея каминѣ или туалетѣ, незамѣтно поставленная туда, въ ожиданіи будущихъ благъ, рукою предупредительнаго обожателя. Оба Шадурскіе были одними изъ самыхъ ревностныхъ ея данниковъ. Татьяна Львовна все это знала, и потому вполнѣ справедливо опасалась за свое состояніе, ибо въ теченіе одной только зимы батюшка съ сыномъ починали уже тратить пятнадцатую тысячу на прихоти очаровательной акулы—а что же предстоитъ еще дальше, если дѣла пойдутъ такимъ образомъ? Княгиня, конечно, могла бы принять болѣе энергическія мѣры,

то-есть секретно попросить вліятельныхъ людей о временномъ удаленіи сына изъ Петербурга по какимъ-нибудь подходящимъ порученіямъ, хоть о срочномъ переводѣ его на Кавказъ, а разслабленнаго гамена увезти, по совѣту докторовъ, лечиться за границу, но... участь ея собственнаго сердца препятствовала употребленію столь энергической мѣры: образъ Владислава Карозича (Бодлевскій тожь) слишкомъ нѣжно царствовалъ въ этомъ сердцѣ и парализовалъ собою всякія рѣшительныя начинанія. Вѣдь это ужь, можетъ быть, послѣдній... послѣдній! и — какъ знать? отъищется ли кто нибудь еще, равный ему по достоинствамъ и положенію, кто бы согласился впослѣдствіи вступить въ амплуа поклонника ея увядшей красоты?

Стало быть, объ энергическихъ мѣрахъ нечего и думать, а надо поискать другія, болѣе удобныя, которыя привели бы къ желаннымъ утѣшительнымъ результатамъ.

Княгиня знала диллетантическую слабость своего сына къ женщинамъ. Она понимала, что отвлечь его отъ баронессы можетъ только одна женщина, которая бы явила собою какія-нибудь новыя, оригинальныя стороны, могущія служить контрастомъ качествамъ баронессы, но контрастомъ столь же обольстительнымъ и завлекательнымъ, какъ и эти качества. Словомъ, требовалось увлеченіе въ другую сторону, и его-то предстояло отыскать въ возможно-скоромъ времени.

Среди такихъ размышленій, однажды засталъ княгиню Поліевктъ Харлампіевичъ Хлѣбонасущенскій, явившійся къ ней доложить о весьма затруднительномъ обстоятельствѣ: по двумъ векселькамъ молодого князя надо было произвести плату, въ три тысячи рублей серебромъ, да кромѣ того ихъ сіятельство призывали его, Хлѣбонасущенскаго, съ требованіемъ въ займы четырехъ тысячекъ, которыхъ, какъ передъ истиннымъ-богомъ, нельзя достать.

— Да скоро ли же этому конецъ? вспылила княгиня, выслушавъ представленіе управляющаго. — Куда же поглощаются всѣ эти деньги?

— Вашему сіятельству ужь небезъизвѣстно, куда именно, хитростно ухмыльнулся Поліевктъ Харлампіевичъ, прилизывая ладонью свои височки: — все туда же-съ... Конечно, ихъ сіятельство при-

хоть свою тѣшатъ: говорятъ, что изволили госпожѣ-баронессѣ въ карты проиграть... Оно извѣстно, долгъ обязательный; а только нашимъ-то дѣламъ тяжеленько становится: не вытянемъ, матушка ваше сіятельство, какъ передъ истиннымъ говорю — не вытянемъ, потому квинту натягиваешь-натягиваешь, она тебѣ пищитъ-пищитъ да и лопнетъ.

— Я придумала средство — можетъ быть, подѣйствуетъ... слышала я, что тутъ есть одна особа, которая можетъ помочь... Посовѣтуемся, предложила Татьяна Львовна — и вслѣдствіе этого совѣщанія Поліевктъ Харлампіевичъ Хлѣбонасущенскій отправился на секретную аудіенцію къ Амальѣ Потаповнѣ фон-Шпильце.

— Я беру большое участіе въ молодомъ князѣ, говорилъ онъ ей: — потому какъ я зналъ его еще вотъ эдакимъ (примѣрное указаніе рукою на аршинъ отъ полу), такъ мнѣ извѣстенъ вполнѣ его характеръ... Молодой князь нисколько не жалѣетъ себя, здоровью его вредъ наносится, а родители сокрушаются, въ особенности ея сіятельство. А мнѣ, по моей близости къ ихъ семейству, поручено, такъ-сказать, спасеніе молодого князя. Спасеніе можетъ произойдти отъ особы прекраснаго пола, которая съумѣла бы на время развлечь ихъ душу... Только надо все это обдѣлать какъ можно политичнѣе... Княгиня ужь не останется въ долгу на счетъ благодарности... А намъ, изволите ли видѣть, ваше превосходительство, нужно дѣвицу юную, непорочную, богобоязненную, такъ сказать, и притомъ образованную — чтобы, значитъ, для молодаго князя новость въ этомъ предметѣ была...

Генеральша подумала, сообразила, и дала обѣщаніе исполнить просьбу Поліевкта Харлампіевича, предваривъ его, что въ случаѣ удачи, нужно будетъ дать за труды три тысячи серебромъ. Поліевкту Харлампіевичу внутренно очень непонравилась такая почтенная сумма, однако, онъ отвѣчалъ, что за этимъ дѣло не станетъ, только какъ человѣкъ пунктуальный и сообразительный, почелъ нужнымъ освѣдомиться, что̀ именно слѣдуетъ разумѣть «удачей» въ настоящемъ разѣ. Амалія Потаповна пояснила, что, по ея разумѣнію, удача будетъ заключаться въ томъ, если князю понравится избранная ею особа и онъ обратитъ на нее существенное вниманіе. Поліевктъ Харлампіевичъ сообщилъ, что и по

его личному разумѣнію подъ удачей слѣдствуетъ понимать то же самое, и отклонялся, заявивъ надежду, что ея превосходительство не оставитъ его своимъ посильнымъ содѣйствіемъ, ибо чрезъ то самое она поможетъ совершенію даже очень добраго дѣла на счетъ спасенія жизни молодого человѣка.

На другой день Амалія Потаповна поѣхала въ Колтовскую.

XVII

Въ театрѣ

Большой театръ былъ полонъ. Зала горѣла тысячью огней, радужно игравшихъ въ хрусталѣ огромной люстры. Всѣ ярусы ложъ представляли непрерывную, пеструю шпалеру женскихъ головокъ и нарядовъ. Еслибы наблюдатель захотѣлъ прослѣдить по выраженіямъ этихъ лицъ тѣ чувства, которыя пробуждаютъ въ этихъ душахъ звуки итальянской оперы, то увидѣлъ бы онъ слишкомъ большую разницу между низомъ и верхомъ огромной залы. Въ бенуарѣ и бельэтажѣ — выставка пышныхъ куафюръ, открытыхъ плечъ, блестящихъ нарядовъ... Однѣ физіономіи блещутъ безцеремоннымъ, гордо-самоувѣреннымъ нахальствомъ — это оперная принадлежность самыхъ модныхъ, гремящихъ камелій. Здѣсь господствуетъ слишкомъ большая откровенность бюста, рукъ, плечъ и спины. Здѣсь изъ каждой бѣздѣлки, изъ каждаго брильянтика, ленты, кружевной оборки такъ и выглядываютъ убитыя на нихъ и нетрудно достав шіяся тысячи. Другія физіономіи носятъ характеръ элегантной скромности и невозмутимаго достоинства римскихъ матронъ; онѣ такъ и стремятся изобразить, будто наслаждаются звуками, но, увы! — внимательный глазъ наблюдателя непремѣнно подмѣтилъ бы, что наслажденіе это не истинно-сердечное, а дѣланное, фальшивое, сочиненное — ибо такъ уже надлежитъ, такъ «принято», что хотя бы мы и ничего, кромѣ страусовой польки въ музыкѣ не смыслили, но находясь въ числѣ абонентовъ итальянской оперы, обязаны изображать наслажденіе мотивами Россини и Мейербера. Эти физіономіи принадлежатъ Діанамъ большаго свѣта и представительницамъ золотыхъ мѣшковъ.

Переведите свой бинокль ярусомъ выше—и вы явно придете къ заключенію, что женскія личики какъ-бы говорятъ своими взглядами:

«И мы тоже абонированы въ итальянской оперѣ, потому что и мы тоже принадлежимъ къ порядочному обществу».

Это — ярусъ блаженнаго самообольщенія и бюрократически-превосходительныхъ самолюбій. Наряды, что есть [illegible]ни, стремятся подражать бельэтажу и уравняться съ нимъ.

Подымайте бинокль выше и выше — и глаза [illegible]ни прослѣдятъ сознательное вниманіе въ музыкѣ, сознательное наслажденіе ею. Ложи переполнены зрителями, глаза и шеи тянутся къ сцѣнѣ, въ куафюрахъ отсутствіе пышности, въ нарядахъ господство чернаго и сѣрыхъ цвѣтовъ; на физіономіяхъ все менѣе и менѣе написано дутыхъ претензій — вы начинаете мириться съ оперой, вы приходите къ мысли, что здѣсь не исключительно только выставка волосъ, бюстовъ, нарядовъ и косметиковъ. Но закиньте совсѣмъ назадъ свою голову, чтобы узрѣть тропическія страны горныхъ мѣстъ, гдѣ самой судьбою предназначено быть блаженному раю — и, боже мой, какой искренній, увлекательный, юношески-пылкій восторгъ прочтете вы на лицахъ этихъ студентовъ, кадетовъ, бѣдненькихъ чиновниковъ, гувернантокъ, ученицъ консерваторіи! Вы увидите уже ясно, что не внизу, а вверху помѣщаются истинные дилетанты и настоящіе, искренніе цѣнители музыки, и тѣмъ сильнѣе, тѣмъ жалче покажутся вамъ роскошно-комфортабельные нижніе ярусы.

Въ изображаемый нами вечеръ, особенное вниманіе элегантныхъ рядовъ партера привлекали двѣ ложи. Одна приходилась почти противъ другой, съ тою только разницей, что одна — принадлежала бельэтажу, а другая — литерная, приходилась ярусомъ выше. Изъ обѣихъ выглядовало по прелестной женской головкѣ, на которыя въ антрактахъ были устремлены почти всѣ бинокли черныхъ фраковъ и блестящихъ мундировъ.

Обѣ вполнѣ прекрасны, неподдѣльно свѣжи, неподдѣльно молоды, чего — увы! — никакъ нельзя было сказать про тѣхъ Аспазій бельэтажа, которыя молодость покупаютъ въ косметическихъ магазинахъ, и скорѣе годятся на амплуа театральныхъ Мегеръ, чѣмъ на роли Фриннъ и Ламсъ нашего времени.

— Кто эта особа? спрашивали въ партерѣ, указывая на головку бельэтажа.

— Какъ! вы не знаете?... О, barbare! да гдѣ живете вы послѣ этого?! Незнать хорошенькой женщины въ Петербургѣ!.. Это — танцовщица, mademoiselle Гравъ...

— А чье она приобрѣтеніе, чья собственость?

— Князя Желторѣцкаго.

— Il n'a pas un mavais goût, la prince!

— Да вотъ и онъ... Глядите, входитъ въ ея ложу...

— Гм... а вѣдь недурно быть обладателемъ такой женщины?

— Еще бы! А вы слыхали, какой онъ ей праздникъ задалъ?...

— Magnifique, mirobolant!

— А тамъ кто такая? вонъ, видите — въ литерной? Une tête de Greuse! говорили указывая на другую головку.

— А! въ самомъ дѣлѣ, это совсѣмъ новинка!... Кто она? съ кѣмъ она? Кто знаетъ?

Но о послѣдней никто въ партерѣ не могъ сообщить надлежащихъ свѣдѣній. Между тѣмъ, впечатлѣніе было произведено весьма замѣтное — новинкой заинтересовались.

— Съ нею кто-то есть, однако, продолжались партерныя наблюденія: — кажется, дама — постойте-ка, поглядѣть, что ли, въ бинокль...

— Ea! да это извѣстная генеральша!... Ну, такъ и есть: она!

— Она? те-те-те... Стало быть, дѣло въ куплѣ и продажѣ.

— Разумѣется, такъ!

— Понимаемъ...

И говоръ, въ томъ же родѣ, расходится далѣе, по всему партеру.

Общее впечатлѣніе, производимое двумя головками, не безслѣдно отразилось на молодомъ князѣ Шадурскомъ. Самолюбіе его, привыкшее сознавать въ себѣ чувство постояннаго первенства, тотчасъ же засосалъ неугомонный червячокъ. Молодая, почти дѣвочка, mademoiselle Гравъ являла собою слишкомъ разительный контрастъ съ тѣми блеклыми женщинами, которыя давно уже не представляли ничего новаго для князя и людей его категоріи. Отношенія ея къ Желторѣцкому показались Шадурскому чѣмъ-то новымъ, оригинальнымъ, и потому уже привлекательнымъ. Желторѣцкій былъ его то-

варищъ и даже весьма сильный соперникъ въ общественномъ положеніи, поэтому князь Владиміръ втайнѣ очень его недолюбливалъ. Теперь же, видя въ театрѣ всеобщее вниманіе къ ложѣ бельэтажа, слыша этотъ говоръ, расточавшій похвалы молодой дѣвушкѣ, подлѣ которой, въ одномъ изъ антрактовъ, появился самъ Желторѣцкій, тогда какъ никто кромѣ его не переступалъ за порогъ той ложи— князь Владиміръ поддался сильной досадѣ, подстрекнувшей въ немъ ревнивые помыслы: «зачѣмъ, дескать, онъ, а не я первый, выдумалъ эту штуку? Зачѣмъ я нѣсколько мѣсяцевъ понапрасну торчу у баронессы фон-Дёрингъ, тогда какъ, по своему положенію могъ бы, даже долженъ имѣть свою собственную любовницу, о которой бы всѣ говорили, любовались и завидовали бы мнѣ»?

Сама судьба являлась на помощь молодому князю. Онъ не упустилъ изъ виду и литерной ложи, гдѣ сидѣла другая, никому неизвѣстная, но точно такъ же всѣми замѣченная дѣвушка, за которою вырисовывался силуэтъ генеральши фон-Шпильце.

«А чѣмъ чортъ не шутитъ?» рѣшилъ самъ съ собою Шадурскій, и тихо удалился изъ партера.

XVIII

Страна фантастическая, но безъ примѣси идиліи

— Eh bien, calme toi, calme toi, mon enfant, mon petit bijou!... Ну, что жь, ну зачѣмъ плакать? нѣжно утѣшала генеральша фон-Шпильце, на пути изъ Колтовской, увозя въ каретѣ рыдающую Машу.—Вить я тебѣ тётинька, родной тётинька, я жь тебѣ люблю, mon ange! У меня хорошо тебѣ будетъ...

Но Машѣ какъ-то противны были эти ласки.

— Зачѣмъ, зачѣмъ вы увезли меня оттуда? рыдала она.

— А то жь нельзя иначе; мы вмѣстѣ жить будемъ; старики приходить будутъ и мы до стариковъ пріѣзжать будемъ, объясняла Амалія Потаповна.

Послѣднее обѣщаніе нѣсколько утѣшило молодую дѣвушку, такъ что она уже гораздо спокойнѣе доѣхала до квартиры генеральши.

Эта роскошная лѣстница, швейцаръ, цвѣты и вся обстановка великолѣпнаго жилища г-жи фон-Шпильце, произвели сильное и новое впечатлѣніе на Машу: она еще въ жизнь свою не видала ничего подобнаго, ибо вообще о роскоши и богатствѣ составила себѣ смутное понятіе только по книжкамъ. Генеральша показала ей предназначенную для нея комнату, на второмъ отдѣленіи своей квартиры—и комната эта, послѣ бѣдной дѣвической кельи, показалась Машѣ верхомъ изящнаго комфорта. Тотчасъ же по пріѣздѣ было послано внизъ за модисткой, которая сняла съ Маши мѣрку и принесла цѣлый выборъ шляпокъ, манто и прочихъ нарядовъ.

Маша дивилась и не вѣрила глазамъ своимъ, не понимая даже, почему все это вдругъ такъ случилось и зачѣмъ, по какой причинѣ, все это внезапно является къ ея услугамъ только теперь, тогда какъ до этой минуты она должна была жить въ бѣдномъ колтовскомъ домикѣ? Что все это значитъ? и неужели генеральша ей родная тётка, и кто были ея настоящіе родители, гдѣ они теперь? допытывала она самоё себя—и ни на одинъ изъ множества подобныхъ вопросовъ не могла доискаться положительнаго отвѣта, ибо генеральша очень коротко, хоть и весьма нѣжно сказала ей: «такъ нужно было» и затѣмъ, посредствомъ новаго притока ласкъ, отстранила дальнѣйшія объясненія.

Обѣденный столъ былъ накрытъ только для двоихъ, но сервированъ такъ великолѣпно, что бѣдной дѣвушкѣ, не шутя, показалось все это какимъ-то сномъ, фантастической сказкой — начиная отъ массивныхъ серебряныхъ канделябровъ, отъ хрустальной вазы съ дорогими фруктами, и кончая блюдами, которыхъ она никогда еще не ѣдала. Маша едва прикасалась до кушанья (ей было не до ѣды), но чувствовала, что простому кулинарному искусству Пелагея Васильевны далеко до этихъ артистическихъ поварскихъ произведеній.

Въ домѣ генеральши поражало Машу все, что ни попадалось на глаза — все для нея казалось новымъ, невиданнымъ, заставляло взглядываться, размышлять и въ первыя минуты настолько разсѣяло, что тоска разлуки и воспоминаніе о Повѣтиныхъ примолкли въ ея сердцѣ. Наплывъ ощущеній, испытанныхъ ею въ теченіе этого дня, былъ слишкомъ великъ и разнообразенъ, такъ что ей необходимо надо было успокоиться. Генеральша проводила Машу въ ея комнату

и спросила, не хочетъ ли она почитать чего-нибудь? Маша согласилась. Амалія Потаповна прислала ей французскій романъ — одно изъ тѣхъ произведеній, которыя завлекательно дѣйствуютъ на молодое воображеніе, раскрывая передъ нимъ заманчивый міръ сладострастныхъ образовъ и ощущеній, и незамѣтно, капля за каплей, вливаютъ соблазнительный ядъ въ свѣжую, ко всему чуткую душу.

Амалія Потаповна, въ своей сферѣ, была тонкимъ и опытнымъ стратегикомъ. Романъ дѣйствительно увлекъ молодую дѣвушку, такъ что она безотчетно поддавалась нравственному обаянію тѣхъ инстинктовъ, на которые жгуче дѣйствовали эти страницы, необыкновенно быстро и жадно поглощаемыя ею. Генеральша нѣсколько разъ осторожно, на цыпочкахъ, подходила къ ея двери, заглядывала въ замочную скважину, и каждый разъ отходила необыкновенно довольная собою: медикаментъ дѣйствовалъ — дѣвушка читала.

Часу во второмъ ночи она закрыла книгу, кончивъ послѣднюю страницу, и съ сладкимъ чувствомъ необыкновенной истомы и нѣги, улыбаясь, потянулась на своей новой, эластически-мягкой постели, ощущая холодъ чистаго батистоваго бѣлья.

Она закрыла глаза — и въ разгоряченномъ воображеніи ея соблазнительно зарѣяли картины только-что конченнаго романа, туманно проносилась цѣлая вереница сценъ и образовъ, изъ которыхъ каждый вводилъ молодую дѣвушку въ новый, неизвѣданный ею міръ, раскрывая его заманчивыя тайны. Ею овладѣло какое-то странное чувство, странное состояніе нервовъ, такъ что случайное прикосновеніе своей же руки къ собственному тѣлу заставляло ее какъ-то электрически вздрагивать и испытывать въ эти минуты такого рода небезпріятное ощущеніе, какъ будто прикасалась и, гладя, поводила по тѣлу не ея собственная, а чья-то другая, посторонняя рука. Маша крѣпко обняла свою подушку, прильнувъ къ ней пылающей щекою, и черезъ минуту заснула подъ неотразимымъ вѣяніемъ тѣхъ же образовъ и ощущеній.

Проснулась она рано; въ комнатѣ было еще темно, только ночная лампа чуть мерцала потухающимъ свѣтомъ. Нервы ея поугомонились, и тутъ-то, въ этой передразсвѣтной тишинѣ, напало на нее раздумье. Ей показалась чуждою, холодной, неродною эта роскош-

ая комната — какъ будто какая тюрьма, непривѣтно огородили ее эти оклеенныя дорогими обоями стѣны — и на Машу напалъ даже страхъ какой-то. Вздумалось ей, что ее навѣки разлучили съ Петромъ Семеновичемъ и Пелагеей Васильевной, что она ужь больше никогда ихъ не увидитъ — и сердце ея мучительно сжалось. «Зачѣмъ это она прислала мнѣ вчера такую книгу? Я никогда еще такихъ не читала», подумалось ей между прочимъ: «что̀ это, хорошая или дурная книга? Отчего это вчера мнѣ было такъ пріятно читать ее, а сегодня какъ будто стыдно... какъ будто совѣсть мучитъ? Отчего я боюсь этой женщины — все какою-то недоброй кажется она мнѣ... Какая моя жизнь здѣсь будетъ, что̀-то предстоитъ мнѣ тутъ?» раздумывала Маша; и чѣмъ больше вдавалась она въ такія мысли, тѣмъ безотраднѣе представлялись картины этой будущей жизни. Становилось тяжело на груди, подступали слезы. Маша встала съ постели, бросилась на колѣни и долго молилась, безъ словъ, безъ мысли — однимъ нѣмымъ религіознымъ порывомъ.

Легкій скрипъ двери вывелъ ее изъ этого экстаза. Она чутко вздрогнула и оглянулась: на дворѣ уже совсѣмъ свѣтло, и у порога стоитъ горничная генеральши и объявляетъ, что ихъ превосходительство уже встали, ждутъ кофе пить, и просили поскорѣе одѣваться, чтобы ѣхать вмѣстѣ съ ними въ Колтовскую.

Всѣ сомнѣнія Маши мигомъ разсѣялись, комната снова показалась привѣтливой и свѣтлой, жизнь такой легкой, веселой, генеральша такою доброй, хорошей женщиной—даже полюбила ее Маша въ эту минуту — и быстро вскочивъ съ колѣнъ, набросила на себя утренній пеньюаръ, нѣсколько сконфузясь при мысли, что посторонній человѣкъ подглядѣлъ ея молитву.

Свиданіе со стариками необыкновенно весело и счастливо настроило Машу на нынѣшній день. Въ первый разъ въ своей жизни, она съ такимъ сладостнымъ-трепетомъ подъѣзжала къ родному деревянному домику, въ первый разъ обнимала такими крѣпкими объятіями дорогихъ ей людей. Генеральша увѣрила, что станетъ каждую недѣлю привозить ее въ Колтовскую — и Маша была уже вполнѣ счастлива однимъ этимъ обѣщаніемъ. Немного взгрустнулось

ей только тогда, когда поднялась наверхъ, въ свою покинутую комнату, гдѣ и зеркальцо, и Наполеонъ съ бонбоньеркой, и столъ съ сѣменами стояли попрежнему, и казалось, такъ привѣтливо глянули ей на встрѣчу.

«Все по старому... одной меня только нѣтъ!» подумала Маша, и смахнула рукой выкатившуюся на рѣсницы слезку. Нѣсколько вещицъ она взяла съ собою, на память о прежней жизни.

Потомъ рысаки генеральши помчали ее по Невскому проспекту, который кипѣлъ экипажами и пестрымъ гуляющимъ людомъ. Машѣ рѣдко доводилось посѣщать Невскій, такъ что теперь она съ дѣтскимъ наслажденіемъ высовывала головку въ каретное окно, и любопытно оглядывала встрѣчные предметы. Генеральша завезла ее въ кандитерскую Rabon и купила конфектъ въ дорогой бонбоньеркѣ; потомъ заѣхали онѣ въ два-три роскошные магазина, гдѣ Амалія Потаповна приказала завернуть для Маши нѣсколько цѣнныхъ туалетныхъ бездѣлушекъ, а по пріѣздѣ домой, ихъ ожидалъ уже по-вчерашнему сервированный столъ, которому на сей разъ счастливая дѣвушка оказала гораздо болѣе существеннаго вниманія. Роскошно отдѣланное платье, принесенное ей къ вечеру изъ магазина, и объявленіе генеральши, что онѣ вмѣстѣ поѣдутъ въ театръ, въ итальянскую оперу, довершили ея неописанный восторгъ: Маша еще никогда не бывала въ театрѣ.

Когда она изъ полуосвѣщенной аван-ложи вступила въ залитую яркими огнями залу, то даже попятилась назадъ, даже испугалась чего-то — столь поразилъ ее весь этотъ блескъ, громадность размѣровъ театра, копошащійся внизу партеръ и ряды ложъ, унизанные зрителями. О звукахъ нечего уже и говорить. Музыка и голоса въ сочетаніи съ оптическимъ обманомъ декорацій и блестящими костюмами, произвели на нее такое сильное впечатлѣніе, что она млѣла и замирала въ переливахъ этихъ мелодій, считая все происходящее передъ ея глазами волшебной грезой изъ какого-то фантастическаго міра. Сердце сладко и трепетно запывало въ груди, яркіе образы прочитаннаго вчера романа съ новою силой возстали въ ея экзальтированномъ воображеніи, и въ эти мгновенья впервые сознательно захотѣлось ей жить, чувствовать, любить — любить всею душою, всею волею, всѣмъ составомъ своимъ.

Дверь въ ложу осторожно пріотворилась, и въ ней показался красивый молодой человѣкъ, въ блестящей военной формѣ.

— Князь Шадурскій, отрекомендовала его генеральша восторженной и смущенной дѣвушкѣ.

XIX

Конвенція

— Ты, Marie, слушай, а я выйду, мнѣ жарко, наклонилась къ ней Амалія Нотапевна, спустя минуты двѣ послѣ рекомендаціи и, кивнувъ изъ-за спины ея Шадурскому, удалилась вмѣстѣ съ нимъ въ аван-ложу.

— Н-ну?... Was sagen sie denn dazu, mon prince? обратилась она къ нему съ улыбкой.

— Кто это съ вами? спросилъ онъ шопотомъ.

— C'est mon élève... А вамъ нравится?

— Влюбиться готовъ.

— Oro!... такъ скоро?... Eh bien, pourquoi pas?

— Да вѣрно ужь влюбленъ кто-нибудь раньше?

— Personne, mon prince, personne!

— Въ самомъ дѣлѣ? Такъ вѣдь я готовъ влюбиться надолго — matrimonialement.

— Comme de raison.

— А условія?

— Avant tout—la modestie: das ist ein adles Mädchen, et surtout—une innocence irrèprochable.

Глаза Шадурскаго блеснули тѣмъ удовольствіемъ, въ которомъ проявляется достигаемое удовлетвореніе самолюбія. Эфектъ, произведенный танцовщицей Бравъ, подстрекнулъ его, во что бы ни стало, самому добиться того-же: «пускай, молъ, и у меня будетъ женщина, которая станетъ производить такой же эфектъ своей молодостью, своимъ именемъ моей любовницы; пускай и мнѣ завидуютъ, какъ этому Желторѣцкому!» Одного подобнаго побужденія было уже совершенно достаточно для того, чтобы князь Владиміръ сталъ преслѣдовать вновь загорѣвшуюся мысль, забывъ все остальное.

— И такъ, ваши условія? повторилъ онъ генеральшѣ.

— Условія?... Ich habe schohn gesagt.

— Какъ! только-то и всего? изумился Шадурскій.

— Н-ну, што ишо тамъ?... Vous voulez en faire votre maîtresse, n'est ce pas.

— Понятное дѣло.

— Ну, и коншинъ балъ!

— А вашъ гонораръ?

— Фуй!... за кого вы меня берете? оскорбилась генеральша, то-есть сдѣлала видъ, будто оскорбилась, ибо гонораръ былъ обусловленъ уже заранѣе, въ разговорѣ съ Поліевктомъ Харлампіевичемъ Хлѣбонасущенскимъ. Въ подобныхъ подходящихъ обстоятельствахъ, генеральша любила иногда изображать собою женщину, въ нѣкоторомъ родѣ, добродѣтельную и благородную.

Наступилъ антрактъ. Маша появилась на порогѣ аван-ложи. Ея глаза блистали тѣмъ живымъ восторгомъ, которому поддается чуткая душа подъ обаяніемъ музыкальныхъ звуковъ. На лицѣ играла улыбка — это лицо все сіяло, все улыбалось, дышало полною жизнью и ярко говорило о томъ счастіи, о тѣхъ новыхъ ощущеніяхъ, подъ обаяніемъ которыхъ она ходила цѣлый день, и которыя, что дальше, то шли для нея все crescendo и crescendo. У нея закружилась голова. Прислонясь рукой къ дверному косяку, она чувствовала во всемъ тѣлѣ какую-то истомную слабость, какое-то легкое качаніе—будто полъ подъ нею плавно колыхался, и Маша крѣпче держалась за косякъ, потому ей казалось, что сейчасъ силы оставятъ ее и она упадетъ. Полуоткрытые глаза блуждали по малиновымъ бархатнымъ драпировкамъ аван-ложи, мимоходомъ скользнули по зеркалу — и Маша не безъ самодовольнаго удивленія замѣтила, что она никогда еще не была такъ хороша собою, какъ сегодня, какъ въ эту минуту.

«Любить, любить надо!» смутно шептало ей сердце, какъ будто кто другой переселился въ ея душу и говорилъ ей оттуда эти слова. «Любить, любить надо!» вслѣдъ за своимъ сердцемъ повторяла Маша почти безсознательно, чуть слышнымъ шопотомъ, и невольно

какъ-то остановила глаза на молодомъ человѣкѣ, который тоже не спускалъ съ нея пристальнаго взора и видимо любовался ею.

Въ ложу вошли двое старикашекъ—люди высокосолидные и высокозначительные, что́ било въ носъ каждому, съ перваго же взгляда на ихъ наружность. Одинъ былъ гражданинъ, другой — воинъ, и оба въ сложности имѣли за сто-тридцать лѣтъ.

— Ah, merci, merci, madame! заговорилъ одинъ изъ нихъ сладостно разбитымъ, дрожащимъ голосомъ, поминутно кихикая,— Vous êtes si aimable, si spirituelle!... je ne puis oublier jusqu'à present cette nuit athénienne, que vous nous avez donnée... кхе, кхе, кхе!... Quelles femmes superbes! Et quelles formes antiques a cette petite poularde de Pauline.

Но вдругъ замѣтивъ присутствіе молодого Шадурскаго, въ нѣкоторомъ родѣ «молокососа», старецъ осѣкся, немножко сконфузился и тотчасъ же перемѣнилъ тонъ и манеру держать себя: папильонъ мгновенно преобразился въ его превосходительство.

— Кто эта особа... съ вами въ ложѣ? солидно спросилъ онъ указавъ на стоявшую дверяхъ Машу, которая хотя и слышала его восторги, но не поняла ихъ по причинѣ полнаго невѣденія касательно прелестей этой nuit athénienne, приводившей въ такой экстазъ почтеннаго старца.

— Моя племянница, Marie, представила ее Амалія Потаповна. — Баронъ фон-Шибзикъ, графъ Оксенкопфъ, указала она затѣмъ на обоихъ старцевъ.

Маша поклонилась.

«Какіе у нея все важные знакомые, все графы да князья, и на визитныхъ карточкахъ въ гостиной все больше знатныя фамиліи», подумала она въ простотѣ сердечной.

Дрожащій баронъ подошелъ къ ней и, сладко щурясь, отечески потрепалъ по ея свѣженькой щочкѣ. Черезъ минуту, оба старца, такъ неожиданно стѣсненные присутствіемъ «молокососа», удалились изъ ложи, весьма недовольные тѣмъ, что нигдѣ проходу нѣтъ отъ этихъ мальчишекъ, забывшихъ всякое почтеніе и дисциплину. Шадурскій же, со своей стороны, остался, напротивъ, необыкновенно доволенъ появленіемъ старцевъ, ибо понялъ причину, приведшую ихъ сюда.

«Значитъ, она въ самомъ дѣлѣ замѣчена всѣми, если ужь и эти двѣ падагры не задумались притащиться во второй ярусъ», рѣшилъ онъ самъ съ собою и обратился къ молодой дѣвушкѣ совсѣмъ безцеремоннымъ, дружескимъ тономъ:

— А мы съ вами, Mademoiselle Marie, надѣюсь, будемъ, хорошіе друзья, потому что отчасти даже родственники... Я тоже нѣсколько довожусь племянникомъ вашей тётушкѣ.

— Ахъ, какой повѣсъ! ахъ какой повѣсъ! закативъ жирные глазки, начала головой генеральша. — Marie, il est amoureux déjà! Je vous félicite! пошло вздохнула она.

Дѣвушка-сконфузилась и потупила глаза. Пошлость генеральши врѣзалась какимъ-то непрошеннымъ диссонансомъ въ ея свѣтлое, поэтическое настроеніе. «Любить... его бы можно любить, да зачѣмъ она говоритъ объ этомъ!» мелькнуло у ея въ головѣ.

— Marie, снова обратилась къ ней Амалія Потаповна: — князь предлагайтъ намъ катиться на тройкѣ — за городъ, а потомъ къ намъ ужинать. Ты согласна?

Дѣвушка отвѣтила улыбкой, и воспользовавшись первымъ аккордомъ оркестра, удалилась въ ложу.

XX

На брудершафтъ

Ночь была славная, синяя, морозная — одна изъ рѣдкихъ петербургскихъ ночей, гдѣ по зимамъ чаще всего господствуютъ туманъ и прѣлая слякоть. Небо искрилось необыкновенно яркими звѣздами; прохваченный добрымъ морозцемъ, и потому крѣпкій и бѣлый, снѣгъ хрустѣлъ и визжалъ подъ полозьями лихого троечника, который, съ ямщицкими пóкриками, кругло помахивая кнутомъ, ухарски заставлялъ своихъ сѣропѣгихъ выносить широкія, красивыя сани—только паръ валилъ столбомъ, да снѣжная пыль подымалась изъ-подъ копытъ — и съ какою-то бодрящей, пріятной колючестью иглы этой блестящей пыли рѣзали зарумянившіяся щеки укутанной Маши, которая сидѣла рядомъ съ Шадурскимъ. Генеральша, ради простору и спокойствія, выбрала себѣ переднее сидѣнье, за спиной ямщика. Петербургскіе троечники знали молодого князя, и ѣздя съ нимъ,

животовъ не жалѣли: потому — баринъ богатый, на водку по красненькой иной разъ швыряетъ — только бы ему, значитъ удовольствіе предоставить.

Мигомъ оставили они за собой ярко освѣщенныя улицы, мигомъ промелькнуло передъ глазами мрачно — высокое, угрюмо-громадное зданіе 4-й части, напоминающее собою какой-то замокъ или, скорѣе, тюрьму. Вотъ и Циммермановъ мостъ на Обводномъ каналѣ, а въ сторонѣ, направо — очень эфектный видъ огромной фабрики, представляющей по вечерамъ славную иллюминацію, когда все пять или шесть этажей ея заблещутъ длинными рядами газовыхъ огней въ многочисленныхъ окнахъ. Вотъ и громадная чугунная арка тріумфальныхъ воротъ; въ просторѣчіи извѣстныхъ подъ именемъ «нарвскихъ трухмальныхъ» — а тамъ, за воротами, ужь и городу конецъ, тамъ ужь пошло петергофское шоссе, съ нескончаемымъ рядомъ дачъ по обѣимъ сторонамъ. Кое-гдѣ огоньки мелькаютъ... Пѣсня доносятся откуда-то... Тянется обозъ съ сѣномъ въ городъ... Вотъ въ сторонѣ три цвѣтныхъ фонаря надъ воротами одной дачи, и съ случайнымъ вѣтромъ донеслось оттуда нѣсколько аккордовъ модного вальса... А тройка мчится-себѣ мимо и мимо, обгоняя другихъ попутныхъ троечниковъ, съ которыми ямщикъ перекидывается бойкимъ замѣчаніемъ или выкрикомъ. И видитъ Маша, что напёхано тамъ, въ этихъ попутныхъ саняхъ, много народу, словно сельдей въ бочкѣ, мужчинъ въ шубахъ и женщинъ въ нарядныхъ капорахъ — и, надо полагать, очень тамъ весело, потому слышиться оттуда беззаботный хохотъ и женскій визгъ, и пошленькій мотивъ фолишона. Ничего-то подобнаго не видала еще Маша — а въ этотъ день, какъ нарочно, ей суждено было испытывать все новыя и новыя ощущенія. Любо ей было мчаться впервые такъ шибко мчаться на тройкѣ, любо глядѣть на это глубоко-ушедшее, забрызганное звѣздами небо, на эти высокія деревья, запушенныя свѣжимъ инеемъ и облитыя блѣднымъ свѣтомъ мѣсяца, который падалъ и на дремавшую генеральшу. Надо полагать — спала отъ усталости, а вѣрнѣе что притворялась спящей. Сердце замирало у Маши отъ ощущенія быстрой ѣзды, дыханіе чуть-чуть спиралось отъ бодраго морознаго воздуха, а въ ушахъ звенѣли лихо подобранные бубенцы — и овладѣло ею въ эту минуту такое широкое,

удалое чувство, отъ котораго жизнь неудержимымъ ключомъ закипаетъ, восторженная слёзка просится на глаза изъ тяжело-переполненнаго счастіемъ сердца — такое чувство, когда душа проситъ простору, когда человѣку птицей хочется быть, или такъ бы вотъ взять и закричать во всю грудь отъ этого наплыва свѣтлыхъ, восторженныхъ ощущеній, когда, кажись, міра цѣлаго мало для того, чтобы высказаться, и хочется всѣмъ и каждому броситься на шею, обнять, цаловать — до самозабвенія, до одури какой-то.

— Господи! какъ хорошо! какъ хорошо все это!... Ночь-то какая славная! тихо шепчетъ Маша, закрывая глаза и слышитъ, что близко наклонился къ ней молодой князь, чувствуетъ, что смотритъ онъ на нее во всѣ глаза — этой радостной красотой любуется. Нашептываетъ ей что-то внутри, что онъ красивъ и молодъ, что его можно любить, и рисуетъ себѣ она его черты, его взглядъ, улыбку — а сама между тѣмъ все болѣе и болѣе слышитъ близость его: правую щеку ея холодомъ опахиваетъ вѣтеръ съ морозною пылью, а по лѣвой тепло скользитъ его дыханіе... «Вотъ-вотъ поцалуетъ... вотъ поцалуетъ», трепетно думаетъ Маша, а самоё охватываетъ тревожный страхъ, боязнь этого поцалуя, и въ то же время тревожно-застѣнчивое желаніе его.

Но князь на первый разъ былъ очень скроменъ.

— Marie, je veux vous faire encore une surprise, нѣжно обратилась генеральша къ дѣвушкѣ, когда та, по пріѣздѣ съ катанья, вошла въ залу, переодѣтая въ новый изящный пеньюаръ, заранѣе дожидавшійся ее въ уборной самой генеральши, по желанію которой и было совершено это переодѣванье. Она, съ видомъ авторитета, внушила на ухо Машѣ, что «такъ слѣдуетъ по вечерамъ между своими, а передъ кузеномъ и тѣмъ болѣе нечего церемониться». Маша была столь много счастлива въ этотъ день, и къ тому же пеньюаръ, какъ новый нарядъ, на столько занялъ ее, что безъ разсужденій, тотчасъ же исполнила желаніе Амаліи Потаповны, лишь бы въ свою очередь сдѣлать ей что-нибудь пріятное.

— Какой сюрпизъ? подняла она свои удивленные глазки.

— Тётушка хочетъ отпраздновать ваше новоселье, объяснилъ за генеральшу Шадурскій; — и потому мы будемъ ужинать въ вашей ком-

натѣ: тамъ уже и столъ приготовленъ. Вы, стало-быть—наша хозяйка; ведите же насъ.

Ужинъ былъ дѣйствительно превосходный. Генеральша не желала ударить лицомъ въ грязь передъ молодымъ княземъ, и потому заѣзжая изъ театра домой, передъ катаньемъ на тройкѣ, успѣла распорядиться обо всемъ самымъ предусмотрительнымъ образомъ.

Три бокала шампанскаго, выпить которые она убѣдила Машу, привели эту послѣднюю въ крайне веселое расположеніе. Глазки ея заблистали еще ярче прежняго, изъ пересохшихъ губъ порывисто вылетало жаркое дыханіе. Она чувствовала жажду, а князь совѣтывалъ утолять ее шампанскимъ, и Амалія Потаповна вполнѣ соглашалась съ его мнѣніемъ, не забывая сама, для примѣра и поощренія «племянницы», наполнять свою рюмку. Маша чувствовала себя необыкновенно легко и пріятно, она уже безъ застѣнчивости болтала съ княземъ и генеральшей, звонко смѣялась и пѣла, вскакивала на стулъ, со стула на диванъ, прыскалась водой и бѣгала по комнатѣ. Шампанское было для нея дѣло непривычное, и потому весьма скоро произвело надлежащее дѣйствіе.

— Ну, я пойду уже спать, а ты, Marie, занимай кузена, сказала Амалія Потаповна, грузно подымаясь съ мѣста, и поцаловала въ лобъ молодую дѣвушку.

— Послушайте-ка, ma tante, мнѣ что-то не хочется ѣхать домой: лѣнь, да и поздно, прикажите мнѣ тамъ гдѣ нибудь сдѣлать постель, предложилъ Шадурскій, на что Амалія Потаповна съ улыбкою отвѣтила: «bon!» и удалилась изъ комнаты. Машѣ, послѣ нѣсколькихъ бокаловъ шампанскаго, нисколько не показалось страннымъ послѣднее предложеніе молодого князя.

Она продолжала прыгать, смѣяться и не оказывала особеннаго сопротивленія, когда тотъ, поймавъ ее за руки, начиналъ покрывать ихъ поцалуями; ее очень забавляло, если она успѣвала выдернуть свою ладонь изъ-подъ его губъ въ то время, какъ онѣ готовилась прикоснуться къ ней. Ей весело было съ какимъ-то наивно-граціознымъ, кошачьимъ кокетствомъ дразнить молодого человѣка.

— Послушайте, кузина, мы съ вами вѣдь родня — такъ выпьемте на брудершафтъ! вдругъ пришла ему фантазія.

— На брудершафтъ?... А что это значитъ, выпить на брудершафтъ?

— А вотъ, я васъ научу. Это значитъ, что мы поцалуемся, и послѣ этого будемъ *ты* говорить. — Согласны?

— Нѣтъ, не хочу... Вѣдь это только мужъ да жена говорятъ, или братъ съ сестрою...

— А мы съ вами кузены — не все ли равно?

— Ну, выпьемте, пожалуй!... Какъ же это?

— А вотъ какъ, объяснилъ князь, наливъ два бокала: — давайте сюда вашу руку...

— Нате хоть обѣ!

— Нѣтъ, надо правую, которая съ бокаломъ. Садитель ближе ко мнѣ — сюда, на диванъ.

— Ну, а теперь что?

— А теперь мы скрестимъ наши руки, какъ кольцо съ кольцомъ и выпьемъ... Пейте, кузина! — разомъ только! разомъ! да и все до дна — вотъ такъ! Молодецъ, кузина!

Маша выпила залпомъ, и весело засмѣялась.

— Теперь я тебѣ буду *ты* говорить, замѣтилъ Шадурскій.

— «Ты» говорить?... А я-то какъ же?

— И ты мнѣ тоже.

— Ахъ, какъ это странно — «ты»!... Владиміръ — ты... Володя, Воля — ты, словно сама съ собою тихо говорила она въ полузабытьи, медленно выговаривая слова и какъ-бы вслушиваясь въ гармонію ихъ произношенія. — А вѣдь это хорошо *ты* говорить! вдругъ съ живостью вскочила она съ мѣста.

— Еще бъ не хорошо! только ты постой, ты сиди — мы еще не кончили нашъ брудершафтъ! притянулъ онъ ее къ себѣ за руку.

— Какъ не кончили! да вѣдь мы ужь на *ты*? старалась она вывернуться.

— А цаловаться-то, развѣ забыла?

— Э, нѣтъ, я цаловаться не хочу... не хочу... и не хочу!

— Мало ли чего ты не хочешь!... Теперь ужь нельзя, теперь надо, говорилъ онъ, насильно обнявъ ее одной рукой за талію, а другой стараясь повернуть къ себѣ ея головку, которую она порыв-

висто и граціозно то опускала низко на грудь, то вдругъ закидывала кверху, или отводила въ стороны, закрывая ладонями свои сиѣющіяся губки, чтобы увернуться изъ-подъ его поцалуевъ, покрывавшихъ уже ея глаза, лобъ, и шею, и щоки...

Наконецъ ему удалось отвести отъ лица ея руки и она, изнеможенная этой борьбою, уже не сопротивлялось болѣе его долгому, впивающемуся поцалую.

Это былъ еще первый подобный поцалуй въ ея жизни, и подъ неотразимымъ его обаяніемъ она, безъ силъ, безъ движенія, въ какомъ-то чудномъ забытьи, ощущая все это словно сквозь сонъ, опрокинулась на державшую ее руку.

Князь чувствовалъ на этой рукѣ и на своей груди нечастыя конвульсивныя вздрагиванія всѣмъ тѣломъ молодой дѣвушки, видѣлъ томленіе, разлившееся по ея красивому лицу — и съ видомъ диллетанта, сдѣлавшимъ бы честь пятидесятилѣтнему ловласу, любовался на свою добычу.

И вотъ эта добыча чувствуетъ ужь, какъ раскрылся воротъ ея пеньюара, ощущаетъ чужую щеку на своемъ обнаженномъ плечѣ... болѣзненное, но безсильное чувство стыда вынуждаетъ у нея послѣднія сопротивленія, послѣднія усилія. Она, полная неизвѣстности о томъ, что̀ съ ней дѣлается, что̀ съ ней будетъ — безъ словъ, однимъ только краснорѣчивымъ взглядомъ, полнымъ слезъ, молитъ его отсрочить роковой мигъ и старается стыдливо прикрыть свою грудь и плечи.

Подъ утро ее разбудили новыя ласки любовника. Здѣсь только она опомнилась и съ крикомъ ужаса вырвалась изъ его объятій.

— Князь... я — бѣдная дѣвушка... Стыдно! черезъ силу проговорила она, давя въ груди истерическія рыданія.

Но князь былъ не изъ стыдливаго десятка.

— Прочь!... подите прочь отъ меня! не подходите! возвысила она голосъ, отстраняя его рукою. — Господи, господи! что̀ они со мною сдѣлали! Какъ я людямъ-то въ глаза погляжу теперь!... О, какая подлость!... Несчастная я, несчастная! И она, рыдаючи бросилась въ свою подушку.

Князю еще никогда не доводилось быть свидѣтелемъ подобной сцены. Онъ испугался, струсилъ, и ставъ передъ ней на колѣни, началъ просить прощенія, увѣрять въ своей любви, клясться, что онъ все это загладитъ, говорить, что хочетъ жениться на ней, и всѣ прочія глупыя и пошлыя слова, которыя обыкновенно говорятся подобными героями въ такія критическія минуты.

Но Машѣ слышались въ его словахъ искренность и страсть, и нѣжность — она мало по малу повѣрила его увѣреніямъ, потому что вообще дѣвушкѣ въ ея положеніи легко вѣрится словамъ и клятвамъ человѣка, къ которому расположено ея собственное сердце. Его мольбы и кроткія, несмѣлыя ласки успокоили Машу, она довѣрчиво подняла его съ колѣнъ и проговорила съ глубокимъ вздохомъ:

— Ну, что кончено, того не воротишь... Ты отъ меня взялъ все — у меня ничего больше нѣтъ теперь, такъ люби же меня.

Бѣдная душа отъ той самой минуты покорилась своей печальной необходимости. Ей какъ-то и вѣрилось, и не вѣрилось князю, что онъ на ней женится, и скорѣе даже не вѣрилось—почему?—она сама не знала, а хотѣлось ей только, чтобы онъ любилъ ее, чтобы среди новой жизни ея у тётушки-генеральши была бы хоть одна близкая, теплая и любящая душа, которой бы можно было довѣряться. И она съ дѣтской откровенностью разсказала ему про свою прежнюю тихую и безвѣстную жизнь въ Колтовской, про своихъ стариковъ, про то нѣсколько странное участіе, которое принимала генеральша въ ея судьбѣ, чуть что не съ перваго дня рожденія.

Князь слушалъ ее съ интересомъ, обдумывая въ то же время, какимъ образомъ отдѣлаетъ для нея квартиру, куда перевезетъ ее, какъ свою содержанку. Онъ, между прочимъ, сообщилъ Машѣ и о своемъ намѣреніи переселить ее отъ генеральши, увѣряя, что впослѣдствіи и старики къ ней переѣдутъ, и будутъ жить они попрежнему всѣ вмѣстѣ, что непремѣнно случится послѣ женитьбы — стоитъ только выпросить позволеніе отца и матери, которые навѣрное согласятся безпрекословно. Предположеніе о жизни вмѣстѣ со стариками такъ обрадовало Машу, что она разомъ все простила и все позабыла своему нечаянному любовнику, сердечно привязавшись къ нему за это доброе обѣщаніе.

Часамъ къ девяти утра онъ тихо простился съ нею, оставя молодую дѣвушку наединѣ раздумывать обо всемъ, что случилось въ теченіе роковой для нея ночи. Эту ночь она считала только странной случайностью—«видно-де ужь судьба такая» — и не подозрѣвала, что все это было не болѣе, какъ однимъ изъ обыкновенныхъ петербургскихъ способовъ обольщенія.

XXI

Содержанка

Князь каждый день началъ бывать у генеральши, проводя почти все время съ Машей. Амалія Потаповна притворилась, будто ничего не знаетъ и не замѣчаетъ, говорила съ ней о Шадурскомъ, какъ о своемъ родственникѣ, восторгаясь его благородными и возвышенными качествами, красотою и прочимъ, и замѣчая при этомъ, что хорошо бы было, когда-бъ онъ на Машѣ женился, въ чемъ нѣтъ ничего невѣроятнаго, потому что князь Владиміръ самъ признавался ей, будто влюбленъ и намѣренъ просить позволенія на бракъ. Все это говорилось для того, чтобы возможно большее время продолжить заблужденіе дѣвушки и окончательно поселить въ ней любовь и безграничное довѣріе къ молодому князю, который, выйдя изъ Машиной комнаты, въ то же утро разсказалъ генеральшѣ сцену, послѣдовавшую за пробужденіемъ.

Маша, ежедневно слушая эти сладкія напѣванія Амаліи Потаповны и новыя увѣренія Шадурскаго, все болѣе и болѣе подчинялась ихъ баюкающему дѣйствію. Ей уже теперь вѣрилось въ возможность ихъ осуществленія. Она только скрывала отъ мнимой тетушки свои окончательно близкія отношенія къ мнимому кузену, полагая, что та ничего не подозрѣваетъ, а допускаетъ близость между ними единственно ради родственныхъ отношеній. О своихъ старикахъ она перестала напоминать генеральшѣ. Жгучее чувство боли и стыда наполняло ея душу, каждый разъ какъ только приходила на умъ близость свиданія съ ними. Маша чувствовала, что у нея не хватитъ рѣшимости взглянуть прямо въ глаза этимъ честнымъ и прямодушнымъ людямъ, что съ первой же встрѣчи разскажетъ имъ все какъ было, а это страшно огорчитъ, даже убьетъ ихъ окончательно.

Ей почему-то безсознательно казалось, что они не такъ-то легко повѣрятъ намѣренію князя касательно женитьбы и, можетъ быть, станутъ увѣщать ее забыть его, не видѣться съ нимъ болѣе, а это уже она считала рѣшительно невозможнымъ, потому что съ каждымъ днемъ все болѣе и болѣе привязывалась къ нему. Словомъ, дѣвушка чувствовала, что свиданіе съ ними было бы слишкомъ горько и тяжело для нея, чувствовала, что она невольно преступила тѣ завѣты, который внушала ей добрая старушка, а все, что исходило изъ ея помысловъ и поступковъ—она привыкла считать добрымъ, честнымъ, хорошимъ, и потому въ глубинѣ души сознавала себя сильно виноватою передъ нею и ея завѣтами. Все это начинало мучить ее, какъ только оставалась она наединѣ сама съ собою, и затихло лишь въ тѣ минуты, когда пріѣзжалъ Шадурскій. Она всячески отдаляла возможность свиданія и была рада, что Амалія Потаповна не напоминаетъ ей про Колтовскую. Ей не хотѣлось видѣть своихъ стариковъ до того времени, пока она не станетъ женою Шадурскаго. Тогда она поѣдетъ къ нимъ, перевезетъ ихъ къ себѣ и, счастливая, окончательно облегчитъ свою душу откровенною, честною исповѣдью. Князь Владиміръ постоянно былъ ласковъ и нѣженъ съ нею. Немудрено — онъ еще впервые обладалъ такою молодой, чистою дѣвушкой, да и къ тому же мечта его о заведеніи своей собственной содержанки не успѣла еще осуществиться. А вѣдь въ послѣднее время онъ только и наслаждался этой самолюбивою мечтою.

Между тѣмъ Поліевктъ Харлампіевичъ не дремалъ. Амалія Потаповна внушила князю, чтобы онъ поручилъ Хлѣбопасущенскому отыскать и омеблировать квартиру «для своей новой любовницы» — и князь не безъ самодовольной гордости передалъ это распоряженіе управляющему. Юное самолюбіе его требовало, чтобы весь свѣтъ поскорѣе узналъ, что у молодаго князя Шадурскаго есть своя собственная содержанка. Поліевктъ Харлампіевичъ поусердствовалъ желаніямъ князя. Онъ нанялъ очень милую, изящную квартиру изъ четырехъ или пяти комнатъ и омеблировалъ ее вполнѣ комфортабельно, впрочемъ, не на чистыя деньги: съ мебельщикомъ и иными поставщиками заключено было условіе, что мебель, лошади съ экипажемъ и вся утварь домашняя берутся напрокатъ, съ платой по-

мѣсячно. Молодой князекъ ужъ и безъ этихъ послѣднихъ расходовъ достаточно-таки понагрѣлъ карманы Хлѣбонасущенскаго, у котораго наличныхъ оставалось теперь немного, а дѣлать для него новые займы—Поліевктъ Харлампіевичъ до времени не находилъ удобнымъ, такъ-какъ за княжескимъ семействомъ въ послѣдніе мѣсяцы накопился весьма изрядный долгокъ, который слѣдовало получить ему изъ первыхъ суммъ, имѣющихъ прибыть изъ имѣній.

Въ недѣлю все было устроено. Князь заѣхалъ къ генеральшѣ часу въ девятомъ вечера и предложилъ Машѣ попрежнему прокатиться съ нимъ на тройкѣ. Генеральша отказалась отъ катанья, по причинѣ будто-бы головной боли, и отпустила молодую дѣвушку, которую послѣ загородной прогулки, князь Владиміръ привезъ прямо уже въ новою предназначенную для нея квартиру.

— Вотъ, Мери, это все — твое; съ нынѣшняго вечера ты живешь здѣсь, сказалъ онъ, вводя ее въ комнаты, походившія на изящную и милую игрушку. — Вотъ это твоя гостиная, вотъ столовая, будуаръ, ванна мраморная — неправда ли, мило?

Дѣвушка глядѣла на все изумленными и дѣтски-радостными глазами.

— Какъ это ты говоришь, что я здѣсь останусь — а тётушка-то? возразила она.

— О тётушкѣ не безпокойся; это все ужъ я беру на себя, ужъ я знаю, что дѣлаю, успокоивалъ князь: — вѣдь я же тебѣ говорилъ раньше, что увезу тебя отъ нея — ну, и увезъ!

Машѣ показался нѣсколько страннымъ такой родъ успокоенія, но она смолчала и только задумалась нѣсколько.

Князь замѣтилъ это.

— Ну, что же, ты какъ-будто не рада? спросилъ онъ, вглядываясь въ ея глаза: — вѣдь тутъ тебѣ лучше будетъ — ты теперь полная хозяйка — все это твое, говорю тебѣ.

— Это все такъ... А что подумаетъ тётка, когда узнаетъ, что я ушла отъ нея?

— Опять-таки повторяю — это не твое дѣло. Тётка знаетъ, что я женюсь на тебѣ, и женюсь очень скоро; какъ видишь, даже и квартира для насъ готова.

Чѣмъ болѣе раздумывала Маша надъ его словами, тѣмъ болѣе казалось ей какъ-то страннымъ все это.

— А гдѣ же старики мои будутъ? рѣшилась наконецъ спросить она: — тутъ для нихъ вѣдь нѣтъ помѣщенія...

Шадурскій не задумался.

— Само собою нѣтъ, сказалъ онъ: — для нихъ готовится другая квартира въ этомъ же домѣ... Теперь она занята жильцами, но скоро очистится... Однимъ словомъ, нечего тебѣ тутъ раздумывать и безпокоиться, воскликнулъ онъ весело: — я знаю, что дѣлаю, а вы, вопервыхъ, извольте не разсуждать, вовторыхъ, снимайте свою шляпку и — маршъ хозяйничать за чайный столъ!

Князь былъ необыкновенно веселъ весь вечеръ: самолюбіе его начинало удовлетворяться. Онъ мечталъ, какъ будетъ хвастаться теперь передъ пріятелями своею содержанкой, какъ будутъ собираться они иногда въ этой самой квартиркѣ, какъ онъ введетъ Машу въ общество ихъ женщинъ, какъ она будетъ появляться на улицѣ въ щегольской коляскѣ и сидѣть въ бель-этажѣ Большого и Михайловскаго театровъ — много подобныхъ сладкихъ мечтаній рисовало ему услужливое воображеніе, и чѣмъ отраднѣе были мечтанія, тѣмъ веселѣе становился молодой князь. Онъ былъ очень нѣженъ, очень ласковъ съ молодою дѣвушкой и казался ей такимъ любящимъ, что она невольно вѣрила всѣмъ его словамъ и обѣщаніямъ, прогоняя отъ себя сомнѣніе и холодный анализъ. Да и прогнать-то ихъ не было ничего мудренаго, потому что она любила молодой, беззавѣтно-горячей, первой и потому вѣрующей любовью.

Цѣлый вечеръ онъ строилъ передъ нею планы ихъ будущей семейной жизни, и — надо отдать ему справедливость — весьма искусно лавировалъ между Сциллой и Харибдой, мѣшая вымышленныя мечты о женитьбѣ и послѣдующей жизни, служившія для вящшаго обмороченія довѣрчивой дѣвушки, съ мечтами дѣйствительными о жизни не жены, но содержанки. Впрочемъ, эти послѣднія мечты открывалъ онъ ей весьма осторожно, не проговариваясь, и только урывками, настолько, насколько это было возможно, чтобы какимъ-либо противорѣчіемъ не возбудить въ ней ненужныхъ подозрѣній. И дѣвушка къ концу вечера была уже совершенно счастлива, мечтала и сама вмѣстѣ съ нимъ, строя множество воздушныхъ замковъ, которые онъ, въ свой чередъ, старался еще какъ можно болѣе

изукрасить; она слушала его игру на прекрасномъ роялино, пѣла, смѣялась и съ дѣтскою радостью разглядывала каждую мебель, каждую драпировку и вещицу своей новой квартиры.

На другой день Маша въ нарядной шляпкѣ и щегольской шубѣ каталась, по просьбѣ и настоянію князя, по Невскому проспекту и Дворцовой набережной. Экипажъ и рысаки были вполнѣ прекрасны. Князь почти все время скакалъ рядомъ съ нею верхомъ на своей пѣгой кобылѣ, составлявшей предметъ зависти записныхъ кавалеристовъ и спортсменовъ. Чуть усматривалъ онъ какого-нибудь пріятеля, идущаго или ѣдущаго на встрѣчу — тотчасъ же съ фамильярной улыбкой наклонялся нѣсколько въ сторону молодой дѣвушки и начиналъ съ нею болтать. Проѣхалъ Желторѣцкій, кинулъ бѣглый взглядъ на Машу и на Шадурскаго, перекинулся съ нимъ поклономъ — и сердчишко князя Владиміра ёкнуло самолюбивой и тревожною радостію. Это были первыя публичныя минуты его торжества.

Вторыя минуты подобнаго же свойства настали для него въ Михайловскомъ театрѣ, куда поѣхала Маша, опять-таки по его просьбѣ и настоянію. Ей было теперь нѣсколько неловко сидѣть одной-одинешенькѣ въ ложѣ, особенно во время антрактовъ, когда на эту ложу устремлялось достаточное количество безцеремонныхъ биноклей. Она чувствовала застѣнчивое смущеніе, которое, отражаясь и на ея лицѣ, придавало ей необыкновенно милый и граціозный характеръ, что̀ заставляло еще болѣе обращать вниманіе диллетантовъ, ибо эта застѣнчивая скромность вновь созданной фаворитки являла слишкомъ выгодный для нея контрастъ съ наглостью записныхъ куртизанокъ. О ней уже начинали поговаривать, какъ о содержанкѣ молодого Шадурскаго; одного этого было вполнѣ достаточно, чтобы Маша явила собою интересную новость.

Князь Владиміръ съ совершенно равнодушнымъ видомъ сидѣлъ въ партерѣ, будто не замѣчая этихъ биноклей, и съ тѣмъ же самымъ внѣшнимъ равнодушіемъ не преминулъ на нѣсколько минутъ появиться въ Машиной ложѣ. Все сіе сдѣлано было съ цѣлію, дабы утвердить начинавшее распространяться мнѣніе, что молодая, застѣнчивая дѣвушка — новое пріобрѣтеніе князя.

— Послушай-ка, князь, кто эта такая? спрашивали его потомъ въ партерѣ нѣсколько любопытныхъ и ближайшихъ его пріятелей.

— Женщина.

— Это мы видимъ... и вдобавокъ—прелестная женщина. А ты, какъ кажется, весьма близокъ къ ней?

— Не знаю... можетъ быть, уклончиво отвѣтилъ Шадурскій, нарочно прекративъ дальнѣйшій разговоръ, ради пущаго эфекту и, внутренно довольный собою болѣе чѣмъ когда-либо, направился къ своему креслу.

Теперь цѣль его была почти достигнута, самолюбіе начинало все болѣе и болѣе удовлетвориться — оно радовалось и ликовало, предчувствуя дальнѣйшее распространеніе желаннаго говора.

Маша съ каждымъ днемъ все глубже и сильнѣе привязывалась къ князю. Въ этой первой и восторженной любви она забыла все остальное, даже ея старики стали для нея теперь какъ-то дальше и чужѣе. Боль укора сдавливала ея сердце при мимолетномъ воспоминаніи о колтовскомъ домикѣ; но такъ-какъ новое чувство ея было слишкомъ свѣтло и радостно, то она старалась отгонять отъ себя эти воспоминанія, утѣшаясь и баюкаясь надеждой, что скоро явится къ нимъ замужнею женщиной и принесетъ съ собой великую радость, которая вполнѣ вознаградитъ всѣхъ трехъ за теперешнюю разлуку.

Между тѣмъ, чѣмъ больше разросталась ея любовь и чѣмъ больше проходило время, тѣмъ меньше князь говорилъ о скорой женитьбѣ и планахъ будущей жизни. Вскорѣ онъ замолкъ объ этомъ совершенно, однако по прежнему былъ нѣженъ, предупредителенъ и ласковъ, показывался иногда на улицѣ рядомъ съ ея экипажемъ и въ театральной ложѣ, а Маша, поглощенная наплывомъ своего новаго чувства, казалось, и сама позабыла про свадьбу. Для нея существовалъ только одинъ идолъ, на котораго она молилась; въ каждой повѣсти, въ каждомъ романѣ, прочитанномъ ею, въ лицѣ героя постоянно рисовался онъ — прекрасный, возвышенный, храбрый и благородный; и не было той идеальной добродѣтели, не было того идеальнаго качества, которыхъ бы втайнѣ она не приписала ему. Это была какая-то дѣтски-слѣпая любовь, слившаяся всею

своей горячей глубиной съ совсѣмъ ребяческой, безпечной веселостью, такъ что Маша необыкновенно стройно и гармонично казалась въ одно и то же время и граціозно-прихотливымъ, наивно-милымъ ребёнкомъ, и глубоко-любящей женщиной.

Еслибъ меня спросилъ кто-либо: какъ, почему и за что, за какія качества, за какія достоинства нравственныя, за какой поступокъ наконецъ полюбила такъ эта дѣвушка молодого князя? — я бы, признаюсь, пришелъ въ немалое затрудненіе касательно отвѣта, столь категорическаго. Есть два рода любви—и любви совершенно искренней, хорошей и честной. Одна любитъ за что-нибудь и вслѣдствіе чего-нибудь, другая—ни за что и безъ всякихъ причинъ. Та любовь, которая зарождается вслѣдствіе сознанія какихъ-либо нравственныхъ достоинствъ человѣка, не выходитъ непосредственно изъ сердца; она первоначально логически складывается въ умственномъ сознаніи и уже изъ головы сознательно переходитъ въ чувство. Другая же зарождается непосредственно въ сердцѣ, безъ всякаго вмѣшательства головы, которая начинаетъ работать уже потомъ, изобрѣтая всяческія достоинства и нравственныя совершенства для избраннаго субъекта. Это именно «влеченье—родъ недуга», по меткому слову поэта. Но спросите въ началѣ у этой послѣдней любви, за что̀ именно она любитъ?—и вы никогда не получите иного отвѣта, какъ только слѣдующій: люблю за то, что любится. И это будетъ единственно искренній отвѣтъ, потому что подобная любовь сама себѣ цѣль и причина, сама себѣ оправданіе. Это — любовь чисто-физическая. Она — фактъ и отрицать ее невозможно какъ невозможно и отыскать логически правильныхъ причинъ, за что и почему именно она любитъ. Такова была любовь Маши.

Однажды князь заѣхалъ къ ней, часовъ около четырехъ дня, и нашелъ ее очень грустною. Хотя она и старалась невысказывать этого, напуская на себя веселость, однако отъ его взгляда не скрылся тайно сосущій ее червякъ. Распросы, участіе, настоянія—ничто не помогло ему допроситься причины ея скрытой тревоги и грусти. Наконецъ, послѣ неотвязныхъ и долгихъ просьбъ съ его стороны, Маша нехотя разсказала, въ чѣмъ дѣло.

Дѣло было въ томъ, что она отправилась гулять одна, пѣшкомъ, и торопясь домой, въ надеждѣ застать у себя дожидающаго князя, обогнала двухъ, повидимому, весьма приличныхъ молодыхъ людей.

— Ба, да это Мери! сказалъ одинъ другому: — обрати, другъ любезный, вниманіе на эту женщину: премилое созданіе — рекомендую!

— Какая Мери? кто она? откликнулся другой, идя съ товарищемъ непосредственно вслѣдъ за нею.

— Мери — содержанка молодого Шадурскаго.

— Да?! а онъ ужь развѣ обзавелся?

— Какъ же, недѣли двѣ ужь есть.

— А! стало быть, одною камеліею больше?

— Надо полагать такъ.

— Гм... А должно быть, она оберетъ его въ конецъ, какъ ты полагаешь?

— Если не дура, такъ оберетъ, конечно — c'est une profession, comme une autre.

— Eh bien, filons, je veux la voir.

И молодые люди, обогнавъ въ свою очередь спѣшившую Машу, забѣжали нѣсколько шаговъ впередъ и безцеремонно оборачивались на нее, оглядывая съ ногъ до головы сквозь свои pince-nez.

Она слышала ихъ разговоръ, который бросилъ ей всю кровь къ головѣ, болѣзненно защемилъ сердце стыдомъ и негодованіемъ, и всю ее кинулъ въ нервическую дрожь. Не будучи въ состояніи совладать съ собою и желая поскорѣй избавиться отъ назойливыхъ лорнетовъ двухъ вполнѣ приличныхъ молодыхъ людей, она прыгнула въ сани перваго встрѣчнаго извощика и поскакала домой.

— Какъ бы я желалъ знать, кто эти господа, чтобы вытянуть ихъ хорошенько хлыстомъ по физіономіи! вскричалъ Шадурскій, напуская на себя горячность благороднаго негодованія.

— Нѣтъ, они правы, мой другъ! возразила Маша, вскинувъ на него взоръ свой, необыкновенно оживленный въ эту минуту волненіемъ. — Что жь, развѣ ты не тратишься на меня? развѣ вся эта комната, всѣ эти бездѣлушки, наряды мои не стоили тебѣ денегъ? развѣ не правда все это?... Я не хочу, чтобы ты тратился на меня

больше. Слышишь-ли — не хочу!... Я не подумала объ этомъ раньше, а словно вотъ ребёнокъ принимала игрушки... Знаешь-ли, какъ человѣку живется хорошо, такъ онъ и глаза на все закрываетъ, пока не разбудятъ его. И какъ мнѣ это въ голову не приходило! тихо и стыдливо кручинилась она, припавъ на его плечо и опустя глаза свои въ землю.

— Очень сожалѣю, что теперь пришли такія глупости, возразилъ Шадурскій: — я дѣлалъ все это столько же и для себя, сколько для тебя, мой другъ, и тутъ вовсе нечѣмъ такъ огорчаться.

— Нѣтъ, есть чѣмъ! Они изъ моей любви сдѣлали какую-то подлость, считаютъ продажной...

— Экіе вѣдь люди какіе есть на свѣтѣ! продолжала потомъ Маша, нѣсколько поуспокоясь отъ своего волненія:—все-то они съумѣютъ загрязнить да оклеветать!... Зачѣмъ все это? Ну, что̀ имъ до насъ? чѣмъ мы имъ жить мѣшаемъ? кому какое зло мы дѣлаемъ нашей любовью? Нѣтъ-таки, нужно бросить грязью!... И кто это старается, право?

Бѣдная, вѣрующая душа и не подозрѣвала, что первый постарался тотъ, кого она почитала высшимъ своимъ идоломъ, кому отдала все свое сердце.

— Однако, все это пора кончить... До свиданья, Маша, скоро никто не посмѣетъ говорить о тебѣ такимъ образомъ... Прощай—я ѣду къ отцу, заключилъ Шадурскій, желая этими словами подать ей надежду на исполненіе давно обѣщанной женитьбы, и стало-быть, утѣшить ее, а въ сущности чувствуя только потребность избавиться поскорѣе отъ непріятной сцены, да отъ сознанія своего двусмысленнаго нравственнаго положенія послѣ ея послѣднихъ словъ. Это былъ первый упрекъ совѣсти, который на мгновеніе почувствовалъ онъ въ отношеніи этой женщины.

Но натура князя Владиміра была такого свойства, что не принимала глубоко никакихъ впечатлѣній: на первомъ планѣ, какъ извѣстно уже читателю, стояло въ ней одно только всепожирающее самолюбіе. Ѣдучи домой, онъ уже размышлялъ не объ этомъ невольномъ упрекѣ, а о намѣреніи Маши не принимать отъ него никакихъ тратъ на ея прихоти. Ему любовница нужна была не для сердца, а для свѣта, поэтому она должна остаться таковою, какъ

была до послѣдняго дня, то-есть показываться въ публику въ качествѣ его любовницы. Онъ въ сущности даже остался очень доволенъ уличнымъ разговоромъ двухъ молодыхъ людей: извѣстность такого рода весьма льстила его самолюбію; не нравилось только мнѣніе на счетъ того, что если Маша не промахъ, то оберетъ его совершенно, ибо этимъ мнѣніемъ особа князя характеризовалась, въ нѣкоторомъ родѣ, близорукой и безхарактерной пѣшкой — самолюбіе вопіяло.

Однако — хочешь-не хочешь — а надо чѣмъ-нибудь покончить свое фальшивое положеніе относительно обѣщанной женитьбы. Князь, наконецъ, пришелъ къ заключенію, что далѣе нельзя уже тянуть такую канитель, и потому рѣшилъ приступить, безъ откладываній въ дальній ящикъ, къ несовсѣмъ-то пріятному объясненію съ Машей.

Остатокъ дня онъ употребилъ на обдумываніе этого объясненія, которое предстояло устроить какъ можно ловче, дабы выйдти изъ него полнымъ джентльменомъ, сохранивъ къ женщинѣ свои настоящія отношенія.

На другой день онъ нарочно постарался не видѣться съ Машей, и пріѣхалъ къ ней уже поздно вечеромъ, принявъ на себя крайне встревоженный, угрюмый и озабоченный видъ.

— Что съ тобою нынче? спросила удивленная дѣвушка, когда на ея привѣтствіе онъ только крѣпко-крѣпко пожалъ ей руку и, не сказавъ ни слова, какъ усталый, опустился въ кресло.

— Послушай, Мери, вперилъ онъ въ нее долгій, испытующій взглядъ.

Дѣвушка чутко вытянула шею.

— Ты всегда была откровенна со мною — стало-быть, будешь и сегодня... Скажи мнѣ, ты хочешь быть моей женою?

— Ты это знаешь, отвѣтила Маша, недоумѣвая, какой смыслъ и значеніе имѣетъ предложенный имъ вопросъ, соединенный съ такимъ экстраординарнымъ вступленіемъ.

— Нѣтъ, ты отвѣчай мнѣ положительно!... Я этого требую.

— Быть твоей женой... проговорила дѣвушка, въ какомъ-то мечтательно-свѣтломъ раздумьѣ: — да! Я была бы тогда счастливѣйшей женщиной! подтвердила она, съ восторгомъ, на мгновеніе сверкнувшимъ въ ея глазахъ.

— А развѣ теперь ты несчастна? неожиданно нахмурясь, огорошилъ Шадурскій.

Такой внезапный вопросъ нѣсколько смутилъ ее. «Какъ! неужели я несчастлива?» внутренно спросила она самое себя. И эта мысль отозвалась въ ней какимъ-то нехорошимъ укоромъ.

— Нѣтъ, нѣтъ!... Счастлива, совсѣмъ счастлива! воскликнула она, въ отвѣтъ и ему и самой себѣ въ одно и то же время, влюбленно бросаясь ему на шею, словно бы хотѣла этимъ движеніемъ затушить сдѣланный внутренно самой себѣ упрекъ.

— Такъ что́ жь?... ласково взялъ онъ ее за руки, стараясь говорить и глядѣть задушевнѣе:—послушай... бога-ради, будь же ты откровеннѣй! Скажи, чего ты *болье* хочешь: выйдти за меня замужъ, или любить меня?

— Но... послушай...

— Одно изъ двухъ! настойчиво перебилъ Шадурскій: да или нѣтъ?

Краска гордости выступила на лицо дѣвушки.

— Я не понимаю, что́ ты говоришь, произнесла она твердымъ голосомъ: — вѣдь вотъ теперь я не жена твоя... а кажется... умѣла любить.

— И любишь?

— Да, люблю! честно и открыто вскинула она на него свои взоры.

— Ты хорошая дѣвушка, грустно вздохнулъ Шадурскій, наклоняя къ себѣ ея голову.—Ну, а вотъ скажи-ка мнѣ, любила-ль бы ты меня и впредь, еслибъ... вышли такія обстоятельства... еслибъ я долженъ былъ отложить нашу свадьбу на неопредѣленный срокъ... на очень долгій срокъ, а можетъ быть... и совсѣмъ не жениться на тебѣ.—Тогда какъ?

— Все-таки любила бъ, отвѣчала Маша, вполнѣ просто и съ ясныимъ сознаніемъ, что иначе это и быть не можетъ.

— И для тебя не было бы оскорбительно имя моей любовницы, имя содержанки? настойчиво допытывалъ князь, продолжая ее гладить по головѣ и играть мягкими кудрями.

Машѣ вспомнилось вчерашнее уличное столкновеніе. Она подумала съ минуту объ этомъ вопросѣ, и еще ближе, еще нѣжнѣе прижалась къ Шадурскому.

— Я знаю и люблю только тебя одного, а до другихъ — какое намъ дѣло! съ увлеченіемъ проговорила она.

— И ты думаешь, что когда-нибудь не станешь каяться?

— Ахъ, какой ты странный сегодня! удивилась Маша, пожавъ плечами: — да въ чемъ же мнѣ каяться?... Любила — ну, и довольно съ меня!... Вѣдь мы же счастливы... Не разлюби только... Да нѣтъ! ты не такой, ты не разлюбишь!

И она покрывала его поцалуями, съ наслажденіемъ любуясь на правильныя черты этого красиваго лица.

Шадурскій успокоился внутренно: тревожившій его вопросъ былъ порѣшенъ благополучно. Теперь уже онъ принялъ на себя видъ негодующій и огорченный, съ которымъ объявилъ Машѣ, что свадьба ихъ дѣйствительно должна отложиться на неопредѣленный срокъ — до смерти отца, потому что тотъ и слышать не хочетъ объ этой женитьбѣ, грозясь лишить его наслѣдства въ будущемъ, поддержки въ настоящемъ и намѣренъ, въ случаѣ надобности, просить высшую власть о формальномъ запрещеніи вступать ему въ бракъ, несмотря на всѣ усиленныя просьбы и мольбы, которыми онъ, князь Владиміръ, цѣлыя сутки будто бы осаждалъ своихъ батюшку съ матушкой. Однимъ словомъ, разсказанная имъ исторія, со многими частными подробностями, была сплетена очень ловко и изобличала въ немъ большія авторскія и актерскія способности.

Маша вѣрила и слушала его совершенно спокойно.

Проводивъ его отъ себя, уже поздно вечеромъ, дѣвушка долго еще ходила взадъ и впередъ по комнатѣ. По сосредоточенному и мрачному выраженію ея лица можно было предположить, что въ этой головѣ бродятъ далеко невеселыя думы, которыя только теперь наединѣ одолѣли ее всецѣло. Главнымъ укоромъ вставалъ передъ нею образъ двухъ колтовскихъ стариковъ, забытыхъ, покинутыхъ ею, но... чѣмъ дольше длилась разлука, тѣмъ невозможнѣе казалась мысль о свиданіи. Это часто случается съ нами. Если мы чувствуемъ себя передъ кѣмъ либо виноватыми, и вмѣсто того, чтобы сразу, скорѣе покончить дѣло — медлимъ личнымъ свиданіемъ, личнымъ объясненіемъ, то чѣмъ болѣе будетъ проходить время, тѣмъ тяжелѣй начнетъ представляться минута этого свиданія, которую мы, наконецъ, внутренно передъ самимъ собой начинаемъ отдалять подъ

всевозможными предлогами. Это, конечно, малодушіе, но, къ сожалѣнію, оно свойственно чуть ли не большей половинѣ рода человѣческаго.

Маша долго раздумывала о предстоящемъ ей положеніи—офиціальной любовницы князя Шадурскаго. Краска стыда кидалась ей въ лицо при этой мысли—она предчувствовала, что ей предстоитъ вынести еще много наглости и много безцеремонныхъ толковъ и сплетень отъ разныхъ вполнѣ приличныхъ господчиковъ, но—она любила прежде всего и больше всего одного только князя Владиміра—и потому всѣ эти невеселые призраки, въ концѣ концовъ, стушовывались передъ ея свѣтлымъ чувствомъ.

— Что жь съ этимъ дѣлать—теперь уже поздно, рѣшила она сама съ собою, и покорно склонилась передъ своей участью.

XXII

Особый міровъ

Петербургская jeunesse dorée, къ которой сопричисляютъ себя и и многіе изъ нашихъ vieux garçons, дѣлится въ своихъ ловласовскихъ похожденіяхъ на двѣ категоріи. Одну изъ нихъ составляютъ «отшельники камелій», другую — поклонники балета. Впрочемъ, нельзя сказать, чтобы мужская половина этихъ двухъ категорій придерживалась слишкомъ строгой исключительности: часто отшельникъ камелій становится чтителемъ какой-нибудь богини хореграфическаго искусства, а балетоманъ—поклонникомъ махровыхъ цвѣтовъ безъ запаху. Разнообразіе здѣсь ничему не мѣшаетъ; означенныя же категоріи составляютъ, такъ-сказать, только личныя симпатіи каждаго: одинъ отдаетъ предпочтеніе цвѣтамъ, другой — прелестнымъ ножкамъ, посвященнымъ искусству *па* и *батмановъ*, подобно тому, какъ одинъ любитъ трюфели, другой—омары, изъ чего никакъ не слѣдуетъ, чтобы тотъ или другой стали отказываться отъ цѣлаго обѣда, въ который входятъ и тѣ и другія снѣди. А вотъ иное дѣло трюфели и омары, то-есть—самыя снѣди. Что касается прелестныхъ ножекъ и махровыхъ цвѣтовъ, то можно сказать съ достовѣрностію, что первыя отнюдь не смѣшиваются съ послѣдними: онѣ составляютъ свой собственный, особый, замкнутый міровъ, въ который допускаются одни лишь посвященные. Посвященнымъ же

можетъ быть всякій, причисляющій себя къ избранной jeunesse dorée—стоитъ только быть введеннымъ туда кѣмъ-либо изъ прежде посвященныхъ.

Каждая изъ болѣе выдающихся корифеевъ-солистокъ непремѣнно имѣетъ «свою партію», своихъ поклонниковъ, кои совершаютъ для нея надлежащія идоложертвеныя требы—и боже мой, сколько озабоченности, сколько хлопотъ выказываютъ эти балетные факиры въ критическія минуты своего поклоненія! А критическими минутами бываютъ обыкновенно эпохи передъ бенефисомъ «предмета» или передъ дебютомъ какой-нибудь новой соперницы, или же, наконецъ, просто такъ, ни съ того, ни съ сего, когда вдругъ придетъ богатая фантазія поднести «предмету» драгоцѣнный подарокъ, либо лавровый вѣнокъ со множествомъ великолѣпныхъ букетовъ. Глядя то на серьёзно-озабоченныя, то на пылающія увлеченіемъ физіономіи этихъ поклонниковъ, слыша ихъ горячіе споры и сообщенія «по секрету» съ необыкновенно серьёзнымъ и важнымъ видомъ, видя эту суетню, рысканіе по городу отъ одного факира къ другому—вы смѣло подумаете, что это люди, готовящіеся къ совершенію какого-нибудь государственнаго переворота, что міру угрожаетъ какая-нибуть опасность, или же готовится ужь нѣчто до того великое и торжественное, что у васъ не найдется даже и словъ надлежащимъ образомъ изобразить это великое «нѣчто» — ничуть не бывало: поклонники заняты пріуготовленіемъ пышной оваціи на послѣ-завтрашній спектакль своему хорошенькому идолу. Для нихъ это дѣло вполнѣ серьёзное, дѣло первой и величайшей важности, передъ которымъ—круглое *ничто* всѣ остальныя дѣла бреннаго міра сего. И добро бы юноши—а то вѣдь нѣтъ; сильную долю въ этихъ казусахъ берутъ на себя дрожащіе, облизывающіеся старцы, наши vieux garçons, наши разслабленные гамены..

А въ театрѣ, въ театрѣ-то что дѣлается? Боги!... что это за трескъ и шумъ, что за добросовѣстное отбиваніе каблуковъ и ладоней! Взгляните вы на эти первые ряды партера, взгляните сзади—и вы узрите великолѣпные англійскіе проборы рядомъ съ великолѣпными и пространными лысинами, волоса всѣхъ родовъ и оттѣнковъ, отъ смоли воронова крыла до тощихъ сѣдинъ снѣговидныхъ. Взгляните спереди и полюбуйтесь, съ какимъ напряженіемъ, съ ка-

нимъ слюняво-сладострастнымъ дрожаніемъ устремлены эти огромные бинокли въ одну извѣстную точку—на соблазнительныя ножки танцовщицы. Право, можно бы было подумать, что здѣсь собрался многоученый ареопагъ астрономовъ, силящихся открыть и разглядѣть новую планету.

Картина, по истинѣ, умилительная!

Какъ въ настоящее время у насъ существуютъ *муравьисты* и *ветипасты*, а въ послѣдніе дни начинаютъ слагаться *мадаевисты*, такъ и въ былыя времена всегда существовали эти различные *исты*. Каждый сезонъ, даривший Петербургу новую танцовщицу, производилъ на свѣтъ и новыхъ *истовъ*. Такъ у насъ были «розатисты», «чериттисты», «ферраристы», «іеллисты», «эйслеристы» и т. д., и т. д. Все это были истинные и присяжные поклонники балета. Многихъ изъ нихъ уже нѣтъ на свѣтѣ, а многіе еще и до нашихъ дней, достигнувъ почти семидесятилѣтняго возраста, остаются неизмѣнно вѣрными своему «любительскому» призванію, которое составляетъ для нихъ въ нѣкоторомъ родѣ серьёзную цѣль и задачу всей жизни.

Этимъ-то вотъ господамъ извѣстно все, что только мало-мальски можетъ касаться балетнаго міра. Они посвящены во всѣ закулисныя тайны; имъ «вѣдоми и знаеми всѣ пути и яругы», которыми нужно добираться до интимности съ той или другой жрицею Терпсихоры; они извѣщаются о всевозможныхъ закулисныхъ и интригахъ, въ коихъ иногда и сами принимаютъ косвенное участія; до нихъ, изъ первыхъ рукъ, доходятъ всевозможныя сплетни, скандальчики и интрижки этого особаго мірка. Со многими изъ жрецовъ и жрицъ вышеозначенной музы эти господа входятъ даже въ духовное родство, идутъ къ нимъ въ кумовья, сватья и посаженые отцы, дабы закрѣпить узы своего авторитета въ закулисномъ мірѣ. Для этой же самой цѣли они у себя повременамъ и праздненства устрояютъ, на которыхъ блещутъ всѣ habitués балетнаго міра, и которыя отличаются совсѣмъ особеннымъ, своеобразнымъ характеромъ.

Князь Желторѣцкій, познакомясь съ mademoiselle Бравъ, тоже примкнулъ къ этому міру, куда стремятся многіе индивидуумы изъ нашей блистательной jeunesse dorée, у которыхъ еще не совсѣмъ прорвались карманы.

Въ этотъ же самый мірокъ, совершенно отличный отъ міра присяжныхъ махровыхъ цвѣтовъ, хотѣлъ и Владиміръ Шадурскій ввести свою Машу, имя которой было имъ англизировано въ Мери, ради вящаго благозвучія.

Они съ Желторѣцкимъ были явные пріятели и даже *на ты*, стало быть это являлось вовсе нетруднымъ, тѣмъ болѣе, что самъ Желторѣцкій сдѣлалъ первый шагъ, пригласивъ его «съ барыней» пріѣхать къ себѣ на дачу, гдѣ, по прихоти своей Бравъ, онъ устраивалъ для нея катанье съ горъ и на конькахъ, а потомъ ужинъ съ танцами.

Машѣ не хотѣлось ѣхать. Ей такъ полюбилось свое одиночество, это отсутствіе постороннихъ лицъ, что положительно не хотѣлось разставаться съ нимъ, хотя бы на недолгое время. Кромѣ князя Владиміра, она никого не желала ни знать, ни видѣть — чувство, хорошо знакомое всѣмъ любящимъ много и сильно. Она чувствовала, что будетъ всѣмъ чужая на этомъ вечерѣ — и не ошиблась.

Въѣздъ на дачу ярко былъ освѣщенъ пылающими плошками. На дворѣ тѣснились кареты и ямскія тройки. Изъ дома раздавалась музыка. Въ яркихъ окнахъ мелькали силуэты гостей.

Маша вошла въ большую, стариннаго покроя, залу, съ расписнымъ потолкомъ и египетскою мебелью, временъ консульства. Царица пикника встрѣтила ее очень привѣтливо и повела къ дамамъ, которыя, напротивъ, оказали ей пріемъ весьма холодный, такъ что бѣдная дѣвушка и сама почувствовала холодъ какой-то во всѣхъ членахъ и томительную неловкость. Дамы безцеремонно бросали косвенные взгляды на ея нарядъ; но нарядъ былъ вполнѣ безукоризненъ, чего нельзя сказать про наряды этихъ дамъ, несмотря на всю ихъ пышную роскошь, яркость, богатство и шикарность. Маша, отъ нечего дѣлать, поневолѣ стала наблюдать собиравшееся общество.

Тутъ были представители и петербургскаго спорта, и морскаго яхт-клуба, и шахматной игры (развлеченіе вполнѣ элегантное), и клуба англійскаго. Послѣдніе преимущественно были извѣстны тѣмъ, что вели огромную игру на зеленомъ полѣ —

И выигрывали,
И отписывали
Мѣломъ—

Болѣе сказать про нихъ нечего, такъ-какъ дальнѣйшая біографія ихъ обществу неизвѣстна, а пріятная наружность съ самоувѣренно пріятными менерами служитъ достаточно убѣдительнымъ аргументомъ, чтобы ихъ вездѣ охотно принимали.

Въ залу, между тѣмъ, время отъ времени, входили вновь пріѣзжающіе гости; большая часть приглашенныхъ являлась «съ семействомъ» (разумѣй, съ лѣвой стороны): напримѣръ графъ Алимовъ и съ нимъ подруга холостыхъ дней его, съ нею сестрица или какая-нибудь кузина, еще непристроенная. Иныя появлялись съ братцами, дядюшками и матушками — и представители великосвѣтской златой юности необыкновенно мило и даже съ нѣжно-братственной фамильярностью относились къ этимъ братцамъ и дядюшкамъ своихъ дамъ. Они трепали ихъ по плечу, съ нѣкоторыми были *на ты*, что необыкновенно льстило самолюбію братцевъ и дядюшекъ: «вотъ мы, дескать, каковы! запанибрата съ князьями-графами!» и не отказывались отъ распитія съ ними бокала вина или стакана пуншу, къ которому особенно оказывали пристрастіе дядюшки. Словомъ, златая юность смотрѣла благосклонно на дядюшекъ съ братцами, а братцы съ дядюшками благосклонно, и даже иногда сквозь пальцы, на златую юность. И всѣ были довольны и счастливы.

Братцы и дядюшки, по большей части, пребывали въ области буфета и около зеленыхъ столовъ, а серебряные эксельбанты, шитыя венгерки и шармеровскіе фраки около сестрицъ и племянницъ.

Терраса, спускавшаяся къ широкому пруду, горѣла разноцвѣтными фонарями; по угламъ катка̀ пылали смоляныя бочки; за купами близь стоящихъ деревьевъ, то и дѣло, вспыхивали бенгальскіе огни и шара̀хались въ морозную высь длиннохвостыя ракеты, при звукахъ трубачей, гремѣвшихъ въ павильонѣ разные польки и марши. На каткѣ раздавался визгъ и хохотъ. — Золотая юность веселилась.

— Ахъ, душка, что̀ это вы говорите!... Ай-ай, дѣвицы, какой противный мужчинка!... Ай, нѣтъ, страсти какія!... Ай, нѣтъ, дѣвицы, умираю! Это ужасть... до смерти просто смѣшитъ! визжали дамы, перешептываясь повременамъ одна съ другою и съ громкимъ хохотомъ наивничая, въ отвѣтъ на любезности своихъ кава-

леровъ. Въ обществѣ этихъ дамъ слышался исключительно русскій говоръ, ибо «по французскому» онѣ не разумѣютъ — совершенный контрастъ съ махровыми цвѣтами безъ запаху, гдѣ полновластно царитъ вульгарный жаргонъ Парижа, да изрѣдка нѣмецкія фразы.

Шадурскій, боясь, чтобы кто не подумалъ, будто онъ черезчуръ нѣжный и даже ревнивый любовникъ, совершенно покинулъ свою Машу на произволъ судьбы и хозяйки, и избѣгалъ даже часто попадаться ей на глаза; а хозяйка слишкомъ была занята, вопервыхъ, своимъ собственнымъ удовольствіемъ, вовторыхъ — многочисленными гостьми и особенно гостьями, составлявшими ея прямое, родное ей общество — такъ что Маша весь вечеръ почти была одна. Дамы какъ-то чуждались и не сходились съ нею; она же сама, по робости и непривычкѣ къ такому большому обществу, тоже держалась какъ-то въ сторонкѣ. Грудь ея томило какое-то безпокойно-сосущее, тоскливое чувство, которое испытываетъ самолюбіе человѣка, попавшаго въ чуждое ему общество, вдобавокъ еще считаемое имъ почему-то выше себя. Въ этихъ случаяхъ одинъ уже видъ чужаго веселья; при сознаніи своего полнаго одиночества, наводитъ на душу тоску невыразимую. Она тщетно искала глазами Шадурскаго и не находила: князь заблагоразсудилъ удалиться къ одному изъ карточныхъ столовъ, гдѣ потѣшался надъ нѣкоимъ индивидуумомъ, изъ категоріи братцевъ, который числился прихлебателемъ въ этомъ обществѣ и употреблялся на посылки, играя часто роль Гермеса въ отношеніи сердецъ златой юности и героинь балета. Этотъ юноша, съ очень важнымъ видомъ, отдавалъ приказанія оркестру, поилъ водкой кучеровъ и пивомъ музыкантовъ, подставлялъ стулья титулованнымъ господчикамъ, провожая и указывая имъ дорогу, когда кому-либо изъ нихъ заблагоразсуждалось выдти на террасу, либо въ другое мѣсто, и поправлялъ плохо горѣвшіе фонарики — и все это съ необыкновеннымъ сознаніемъ своего достоинства и близости къ такимъ свѣтлымъ особамъ.

Маша, закутанная въ теплую, ангорскую шаль, стояла на тетерассѣ, когда къ ней подошелъ разслабленный, падагрической походкой, одинъ изъ старцевъ-гаменовъ, скрывавшихъ подъ завитымъ парикомъ и нарумяненными щеками свой шестой десятокъ.

— Что вы, милочка, стоите тутъ?... Пойдемте, я васъ покатаю, предложилъ онъ, безцеремонно, по праву своего солиднаго возраста, взявъ ее за талію и норовя поцаловать въ щеку своими отвисло-мягкими губами.

Маша, никакъ не ждавшая такого пріема, быстро отшагнула отъ него въ сторону и смѣряла старца холоднымъ и строгимъ взглядомъ.

Нѣсколько дамъ сгрупировавшихся на другомъ концѣ террасы, при видѣ этого маневра, разразились безцеремонно-громкимъ хохотомъ.

Маша вспыхнула: она не могла понять — надъ нею, или надъ старцемъ захохотали онѣ.

— Охъ, какая гордая «мадамъ»! запахнулся тотъ въ свое богатое мѣховое пальто, отходя отъ Маши и направляясь на противоположный конецъ, къ хохотавшей группѣ: — вы, птички, будете подобрѣе ея, вы поцалуете старичка? а? не правда ли?

— Поцалуемъ, дѣдинька! поцалуемъ! защебетали птички.

— Я зналъ, что не откажетесь!... Вы вѣдь любите старикашекъ...

— Какой вы старикашка, дѣдинька?... Что, это, душка, какъ вы на себя сочиняете. — Вы еще совсѣмъ молодой — вамъ всѣ дѣвицы скажутъ! — Вы еще лучше иного молодого будете... Тѣ — мальчишки, и вы — мужчина хоть куда!

— Хе, хе?... Н-да!... Мы еще постоимъ за себя... постоимъ... Ну, кто же хочетъ цаловать меня?

— Я!... я!... я, дѣдинька!... Я!... завизжали всѣ онѣ въ одинъ голосъ — и дѣдинька сталъ по порядку подходить къ каждой изъ нихъ и со всѣми перецаловался въ губы.

— Спасибо, дѣвочки, спасибо... merci, наградили, не обидѣли старичка! говорилъ онъ разслабленнымъ голосомъ, совсѣмъ размякнувъ, какъ булка въ чаѣ, отъ этихъ молодыхъ поцалуевъ.

— Мы вѣдь, дѣдинька, добрыя, мы не гордыя, мы не такія дикія — не то что другія, затараторила одна изъ птичекъ этой группы.

— Чтой-то, дѣвицы, нынче иныя, какія недотроги становятся, просто ужасти! Не прикоснися къ нимъ...

— Ну, ну, ну, полно, полно... уговаривалъ дѣдинька, по незлопамятности своей уже позабывшій «обиду» Маши, будучи вполнѣ вознагражденъ за нее ея антагонистками.

— Да нѣтъ, право, дѣдинька, перебила его шпилька: — мы ужь и то сидимъ себѣ да думаемъ: зачѣмъ это къ намъ, къ театральнымъ вдругъ постороннія лѣзутъ?

— Ну, кто же, кто же посторонній?... развѣ я посторонній?

— Да мы, душка, не про васъ; вы — нашъ совсѣмъ, съ нами въ колыбельку, съ нами и въ могилку, вы — нашъ родной, дѣдинька, а вотъ другія...

— Да кто же другія?... Все вѣдь свои, кажись...

— Нѣтъ, ужь есть; мы знаемъ, кто!... И зачѣмъ это?... Мало имъ что-ли содержанокъ-то по городу? — И знакомились бы себѣ!

Взрывъ бурака, возвѣстившаго начало фейерверка, прервалъ этотъ разговоръ, наполнивъ всю террасу визгомъ и пискомъ неимовѣрными. Все общество изъ комнатъ повалило сюда. Маша увидала наконецъ Шадурскаго и бросилась къ нему. Онъ стоялъ рядомъ съ двумя фраками и весело разговаривалъ съ ними.

— Князь, сдѣлайте честь, представьте насъ, заговорили фраки, какъ только она приблизилась.

Шадурскій назвалъ того и другого, прибавя, что оба — его хорошіе пріятели.

Маша мелькомъ взглянула на нихъ, и узнала въ обоихъ тѣхъ самыхъ вполнѣ приличныхъ молодыхъ людей, которые такъ нахально лорнировали ее однажды на улицѣ и выражали весьма нелестное для нея мнѣніе, какъ о «содержанкѣ» Шадурскаго. Въ ней закипѣла наконецъ какая-то нервическая злость, которая такъ и подмывала ее высказаться.

— Я васъ нѣсколько помню, господа, начала она дрожащимъ отъ волненія голосомъ:—вы какъ-то разъ очень много оглядывали меня на улицѣ... Помните, князь, я вамъ тогда еще говорила... Я никакъ не ожидала, что вы — пріятели его.

— Tais toi!... prist, осторожно дернулъ дернулъ онъ ее за руку, съ шопотомъ наклонясь къ самому уху, а у самого все лицо передернуло отъ сильнаго неудовольствія.

Пріятели ухмыльнулись, переглянулись и, какъ ни въ чемъ не

бывало, продолжали прежній веселый разговоръ съ княземъ Шадурскимъ, который, повидимому, сталъ еще любезнѣе къ своимъ собесѣдникамъ, желая сгладить впечатлѣніе Машиныхъ словъ: оба были сыновья весьма важныхъ и чиновныхъ сановниковъ.

За прудомъ, на полянѣ, загорѣлся фейерверкъ, приковавъ къ себѣ общее вниманіе и взоры.

Маша снова осталась одна.

Сердце ея тоскливо щемило, грудь подымалась отъ волненія. Она слышала весь разговоръ птичекъ и особенно колкія замѣчанія шпильки, которыя вполнѣ приняла на свой счетъ, да къ тому же еще этотъ дѣдинька, со своими мягкими губами, наконецъ поведеніе Шадурскаго съ двумя его пріятелями, послѣ ея словъ — все это произвело на нее слишкомъ тяжелое, грустное впечатлѣніе. Она готова была заплакать. Внутренняя дрожь взбудораженныхъ нервовъ такъ и подымала рыданія къ горлу. Маша призывала всю силу воли, чтобы удержаться.

«Зачѣмъ же онъ съ такимъ негодованіемъ хотѣлъ тогда дать имъ пощочину хлыстомъ, а теперь знаетъ и... такъ любезно говоритъ съ ними... Что̀ же это значитъ?» думала Маша, испытывая горькое чувство недоумѣнія, которое всегда предшествуетъ первому разочарованію. Ей сдѣлался невыносимъ и противенъ весь этотъ праздникъ, всѣ эти самодовольныя лица, все это веселье, трескъ ракетъ и звуки музыки — и захотѣлось прочь отсюда, бѣжать, уѣхать, какъ можно скорѣе, чтобъ остаться одной — одной совершенно.

— Другъ мой, я совсѣмъ больна... бога-ради... увези меня... голубчикъ, отсюда, уѣдемъ... Я не могу... робко шептала она, взявъ Шадурскаго за руку и сдерживая слезы.

Тотъ съ неудовольствіемъ и досадой скосилъ на нее голову.

— Что это за капризы еще?... Съ чего это?

— Пожалѣй меня... бога-ради... я такъ ослабѣла... я упаду сейчасъ... уѣдемъ.

Онъ подалъ ей руку и поспѣшно увелъ съ террасы. Черезъ двѣ-три минуты, когда всѣ еще любовались разноцвѣтными звѣздами римскихъ свѣчей и бураковъ, отъ треску которыхъ непривычныя

лошади храпѣли и бились на дворѣ, карета князя Шадурскаго выѣхала за ворота дачи.

XXIII

Первое разочарованіе

Нѣсколько времени они ѣхали молча. Маша поминутно взглядывала на Шадурскаго, и въ то время, какъ свѣтъ отъ рѣдкихъ фонарей, западая въ каретное окошко, слабо освѣщалъ лицо ея сосѣда, она замѣчала, что лицо это было пасмурно, выражало досаду и неудовольствіе.

— Володя... ты сердишься? тихо спросила она изъ своего уголочка.

Князь не отвѣчалъ и сдѣлалъ видъ, будто не слыхалъ ея словъ.

Дѣвушка наклонилась къ нему, какъ-бы желая разглядѣть его черты—засмотрѣть въ его взоры, и повторила вопросъ свой.

— Я терпѣть не могу подобныхъ штукъ, сказалъ онъ съ желчью въ голосѣ: — это — пошлые капризы, и больше ничего!

— Нѣтъ, не капризы, милый! далеко не капризы, горячо вступилась за себя дѣвушка: — еслибъ ты зналъ, что́ я вытерпѣла, еслибъ ты зналъ, ка́къ мнѣ горько было!

И она, сквозь слезы, разсказала ему все, что́ было съ ней на террасѣ.

Шадурскій упорно молчалъ, ни однимъ звукомъ и движеніемъ не выразивъ участія къ ея разсказу.

— Бога-ради, заключила она, кротко припавъ къ его плечу: — бога-ради, не вывози ты меня на эти балы, не знакомь ты меня ни съ кѣмъ!... Зачѣмъ намъ навязываться? Пусть ихъ веселятся, а мнѣ и съ тобой хорошо; мнѣ, кромѣ тебя, никого и ничего не надо. Вѣдь ты послушаешься меня? да? неправдали?

Шадурскій попрежнему молчалъ и хмурился.

— Володя, ты слышишь, что́ я тебѣ говорю? взяла она его за руку послѣ минутнаго молчанія.

Отвѣта не было. Маша съ безпокойствомъ бросила на него нѣсколько взглядовъ. Такое молчаніе — отзывъ на ея кроткую, полную любви исповѣдь — начинало становиться обиднымъ, жесткимъ,

оскорбительнымъ. Она, затаивъ тяжелый вздохъ, робко и тихо отодвинулась въ свой уголокъ и во всю дорогу уже не проронила болѣе ни одного слова. Слезы невольно потекли по ея щекамъ, и дѣвушка спирала себѣ дыханіе, закусывала губы, лишь бы не показать ему этихъ горькихъ слезъ. Ей не хотѣлось, чтобы онъ замѣтилъ ихъ.

Оба чувствовали себя нехорошо. У нея въ мысляхъ и въ сердцѣ съ каждой минутой скапливалось все болѣе и болѣе горечи; а у него на душѣ было какъ-то скверно и досадно. Князь злился на Машу— и только на одну ее: онъ ждалъ, что появленій ея, въ первые разъ, среди такого большого общества, произведетъ хорошій эфектъ, что она будетъ блистать, по крайней мѣрѣ, наравнѣ съ mademoiselle Бравъ и затмить собою всѣхъ остальныхъ женщинъ; а Маша, вмѣсто того, какъ-то стушовывалась въ теченіе всего вечера, какъ-то съёжилась и умалилась морально, въ сравненіи съ самыми заурядными изъ героинь балета. Въ ней не было ни того шику, ни того нѣсколько безцеремоннаго лоску, который составляетъ принадлежность этихъ дамъ. Князь не понималъ, что подобныя натуры могутъ только сильно и честно любить, но не блистать. А для него-то именно и требовалось лишь это послѣднее; потому онъ и злился на безвинную виновницу оскорбленія своему самолюбію, и готовъ былъ надѣлать ей бездну мелкихъ, колкихъ непріятностей, но на первый разъ поудержался, въ надеждѣ скоро переработать ее на нужный ему ладъ — дескать, глупа и дика еще. Но, какъ бы то ни было, онъ испытывалъ первое разочарованіе въ отношеніи своей любовницы.

Равнымъ образомъ и она впервые познакомилась съ тѣмъ же самымъ чувствомъ, только у Маши оно шло совсѣмъ изъ другого источника. Ей казалось страннымъ, что князь, все-таки оказывавшій ей до сихъ поръ вездѣ видимое угаженіе, рѣшился повезти ее въ такое общество, гдѣ она не была ограждена отъ пассажа съ мягкогубымъ старичишкой. Еще страннѣе показалось то, что узнавъ объ этомъ пассажѣ и о тѣхъ грубыхъ, аляповатыхъ намекахъ, какіе дѣлала на ея счетъ шпилька, онъ не выразилъ ни удивленія, ни негодованія. «Что же все это значитъ?» думалось ей: «или я,

въ самомъ дѣлѣ, для него не болѣе, какъ просто содержанка? Неужели же и онъ, *онъ*-то за всю мою любовь платитъ мнѣ такимъ презрѣніемъ?—Быть не можетъ»!

Князь молчалъ и, стало быть, ничто не могло опровергнуть эти невеселыя думы. Ей было больно, что тотъ, кого она почитала своимъ идоломъ и нравственнымъ совершенствомъ, такъ грубо, такъ апатично принялъ ея задушевную исповѣдь, ея оскорбленіе—оскорбленіе, нанесенное женщинѣ, которая думала, что она для него — любимая женщина. Хоть бы одно какое слово, одинъ какой знакъ участія, утѣшенія!—полнѣйшее ничего—и только.

Онъ довезъ ее до дому, постоялъ пока отворили подъѣздъ, и даже не кивнувъ ей головою, укатилъ къ себѣ, чуть только наглухо захлопнулись за ней двери.

Съ тѣхъ самыхъ поръ начался для обоихъ рядъ постепенныхъ разочарованій, несмотря на которыя, одна все-таки любила крѣпко и горячо, а другой не разставался еще съ надеждой переработать честную дѣвушку въ своего рода камелію, какъ того требовалъ идеалъ, созданный его самолюбіемъ. Маша, однако, упорно отказывалась отъ дальнѣйшихъ выѣздовъ въ общество женщинъ нашей jeunesse dorée, что́ каждый разъ непремѣнно бѣсило Шадурскаго. Она сдѣлала для него одну уступку: согласилась принимать у себя его пріятелей, когда того хотѣлось князю, не выключая даже и двухъ вполнѣ приличныхъ молодыхъ людей, хотя внутренно ее весьма-таки коробило отъ ихъ присутствія, да и вообще отъ всего общества этихъ «пріятелей», которые, послѣ нѣсколькихъ бутылокъ за ужиномъ, либо за завтракомъ, забывали, что передъ ними находится женщина, а помнили только въ лицѣ Маши «содержанку», и потому далеко не церемонились въ своихъ разговорахъ и выраженіяхъ.

Такимъ образомъ дѣло тянулось около года. Наконецъ, Маша положительно надоѣла Шадурскому, такъ что онъ только искалъ благовиднаго предлога, чтобы отдѣлаться отъ нея окончательно.

Читатель знаетъ уже (изъ разсказа нашего про тотъ вечеръ, когда впервые познакомили его съ Машей), какого рода ультиматумъ предложилъ ей Шадурскій, намѣреваясь отправиться на пи-

никъ къ Бертѣ. Вѣроятно также не забыто и то гнетущее впечатлѣніе, которое произвели на эту дѣвушку его жесткія слова и насмѣшки надъ ея искреннимъ чувствомъ.

Поведеніе его съ нею въ послѣднее время показывало ясно, что онъ идетъ къ прямому разрыву. Маша видѣла это, съ каждымъ днемъ убѣждаясь все болѣе и болѣе въ близости этого разрыва, въ полномъ исчезновеніи любви со стороны князя и, несмотря на всю осязательную очевидность фактовъ, старалась обманывать сама себя, отыскивая для него всевозможныя оправданія его поступковъ съ нею, и нарочно закрывая глаза, чтобы не такъ страшна казалась та пропасть, надъ которой стояла она.

XXIV

Книжъ

Лампа начинала тускнуть, а Маша, часа полтора спустя по уходѣ князя, уже не плакала, и только повременамъ надрывисто вздыхала судорожно-глубокимъ вздохомъ, какъ дышется всегда послѣ тяжелыхъ слезъ, долго надсаживавшихъ грудь. Теперь ей, поневолѣ, было уже ясно, что князь ее не любитъ; но не подозрѣвала она только одного, что онъ никогда не любилъ ее. Маша обвиняла сама себя въ томъ, что онъ утратилъ въ ней чувство, терялась въ догадкахъ — отчего бы это могло такъ случиться, искала причинъ, выдумывала даже эти причины, которыя, послѣ нѣкотораго размышленія, оказались вполнѣ несостоятельными и даже несуществующими, кромѣ одной, вполнѣ дѣйствительной, настоящей: зачѣмъ она, по его настоянію, не сдѣлалась полной камеліей.

Ей было страшно рѣшиться на такую жертву, страшно и больно махнуть рукою на все завѣтное, доброе и честное, что съизмалѣтства жило въ ея сердцѣ, отказаться отъ сознанія въ себѣ честно-любящей женщины и, ради одной прихоти человѣка, сдѣлаться записной куртизанкой, вступить въ ихъ общество, быть соучастницей этихъ блистательно-циническихъ оргій, на каждомъ шагу подвергая себя зависти, сплетнямъ, клеветамъ, униженіямъ и интригамъ своихъ новыхъ товарокъ, и безцеремоннымъ оскорбленіямъ своего че-

ловѣческаго достоинства, которыя безнаказанно могъ бы нанести ей каждый наглецъ, непремѣнный членъ этихъ кутежей и оргій, пріятель того избраннаго общества мужчинъ, что вращаются среди подобныхъ женщинъ.

И вотъ теперь, во время долгой, бозсонной ночи, когда множество подобныхъ думъ перебродило въ ея головѣ, когда сердце ясно говорило ей, что, несмотря на всѣ оскорбленія, нанесенныя ея чувству любимымъ ею человѣкомъ, она все еще любитъ его, Маша почти готова была согласиться на эту послѣднюю и самую тяжелую для нея жертву — лишь бы удержать за собою его привязанность. Ей надо было только знать, любитъ ли онъ ее хоть на сколько-нибудь. Если любитъ, такъ вернется — и тогда первымъ словомъ услышитъ ея полное и покорное согласіе на всѣ его прихотливыя требованія; а если не любитъ, если не вернется — тогда... Машѣ страшно было подумать объ этомъ; она всей душой, всѣмъ существомъ своимъ желала вѣрить, что не все еще кончено между ними и нетерпѣливо ждала его пріѣзда.

Цѣлыя трое сутокъ, не дѣлая шагу изъ своей квартиры, проходила она словно въ какомъ-то чаду, съ часу на часъ ожидая возвращенія князя. Каждый стукъ подъѣхавшаго экипажа, каждые шаги на лѣстницѣ заставляли ее чутко вздрагивать, съ тревожнымъ замираніемъ сердца бросаться къ окну, отъ окна въ прихожую, къ двери — и все напрасно. Теперь ей уже захотѣлось увидѣть хоть кого-нибудь изъ посѣщавшихъ ее пріятелей Шадурскаго, чтобы разспросить ихъ, узнать, что̀ съ нимъ сдѣлалось; но и изъ этихъ господъ, какъ нарочно, ни одинъ не заѣхалъ къ ней въ это время.

Маша, наконецъ, сѣла къ своему письменному столику и начала писать къ нему письмо, умоляя пожалѣть ее и возвратиться; но не дописавъ даже до половины, положила перо и задумалась.

— Нѣтъ, не надо!... Пожалуй, подумаетъ, что навязываюсь, подсказалъ ей внутренній голосъ женскаго самолюбія:—не надо!... ужь если не любитъ, такъ никакія письма не заставятъ вернуться... не къ чему унижаться!

И разодранный въ клочки листикъ почтовой бумаги полетѣлъ подъ столъ, въ плетеную корзинку.

Прошло еще три мучительныхъ дня — о Шадурскомъ ни слуху, ни духу. Машу взяла тоска и одурь страшная. Нигдѣ и ни въ чемъ утѣшенія, ни откуда участія. Мысль о томъ, чтобы обратиться къ «тётушкѣ» фон-Шпильце, ей и въ голову не могла придти, потому что въ теченіе того времени, которое Маша прожила съ Шадурскимъ, она пріобрѣла на столько опытности, чтобы не сомнѣваться въ значеніи той роли, которую приняла на себя генеральша, знакомя ее съ княземъ; тѣмъ болѣе, что и этотъ послѣдній признался однажды въ своемъ обманѣ, когда дѣвушка, при какомъ-то разговорѣ, назвала Амалію Потаповну его тёткой. Прирожденный аристократизмъ князя Шадурскаго возмутился при одной только мысли о родствѣ чертъ-знаетъ съ кѣмъ — когда въ томъ миновала практическая надобность.

— Ты, пожалуйста, не вздумай еще при комъ-нибудь сказать это, остановилъ онъ Машу: — она столько же мнѣ родня, сколько мой сапогъ доводится братцемъ этой лампѣ.

— Какъ!... значитъ, вы меня обманывали? въ недоумѣніи воскликнула Маша.

— Значитъ.

— Но... какъ же это такъ!...

— Очень просто; отчего же немножко и не обмануть хорошенькую дѣвочку, если она нравится, если мы ее даже любимъ? объяснилъ Шадурскій, смягчая своею лаской ту непріятную и горькую пилюлю, которую должна была проглотить дѣвушка при столь неожиданномъ открытіи. И вслѣдъ затѣмъ, шутя и лаская, онъ разсказалъ ей всю исторію этого «невиннаго» обмана.

Машѣ, какъ женщинѣ, и притомъ женщинѣ любящей беззавѣтно, безъ размышленій, не пришло и въ голову ни малѣйшаго упрека, какой могла бы сдѣлать своему любовнику за его невинную шутку, Она даже вполнѣ оправдала его, въ силу совершенно особой женской логики, оправдала потому, что любила и была убѣждена, что и его побудила на такой поступокъ тоже одна только любовь. Но въ силу той же самой женской логики, все затаенное негодованіе и горечь она перенесла сполна и непосредственно на свою мнимую тётушку, къ которой, еще и прежде, никакъ не могла побѣдить въ себѣ безотчетно-антипатичнаго чувства.

Теперь она ее презирала, испытывая при одной мысли объ этой тётушкѣ то нервическое ощущеніе, которое возбуждаетъ прикосновеніе къ холодной и скользкой лягушѣ. Съ отчаянія она надумала ѣхать въ Колтовскую, выплакать передъ стариками все свое горе, покаяться и жить съ ними вмѣстѣ, постарому, въ тишинѣ, да въ безъизвѣстности. Какъ надумано, такъ и сдѣлано. Не медля ни минуты, одѣла она салопъ, взяла извощика и поѣхала. Это дѣйствительно былъ единственный исходъ изъ ея тяжелаго нравственнаго состоянія, послѣдняя надежда на облегченіе своего горя.

Пока извощикъ-ванька усердствовалъ, погоняя свою лошадку, Машѣ все казалося, будто ѣдетъ онъ необыкновенно тихо; она досадовала и торопила его, потому что самой хотѣлось не ѣхать, а летѣть скорѣе въ Колтовскую. Вотъ и знакомая улица, и родной домикъ съ мезониномъ виднѣется. У Маши какъ-то болѣзненно заныло въ груди. Въ каждомъ прохожемъ ей чудился сосѣдъ или знакомый—и какъ-то совѣстно было ей глядѣть этимъ встрѣчнымъ въ глаза, словно бы стыдилась чего. Ей все казалось, что каждый непремѣнно узнаётъ ее, а Машѣ очень не хотѣлось, чтобы ее узнавалъ кто-либо, и потому, только еще подъѣзжая къ Колтовской, она поторопилась опустить на лицо свой вуаль.

Съ замираніемъ сердца переступила она за порогъ калитки, оглядѣлась: ни куръ, ни утятъ, ни Валетки не видать во дворѣ, и конура собачья полуразрушена — какъ будто и признаковъ нѣтъ прежняго домовитаго хозяйства. Что̀ же это значитъ все?

Еще съ большей тревогой въ душѣ ступила она на деревянное крылечко и постучалась у двери. Изъ комнаты доносились до нея гитарные аккорды, и чей-то сиплый басъ громко выкрикнулъ:

— Entrez!

Маша вошла въ комнату и не узнала скромнаго и чистенькаго обиталища своихъ старйковъ. Тамъ, гдѣ прежде стояли на окнахъ геранй и кактусы съ китайскою розой, нынѣ помѣщаются пустые полуштофы, косушки и пивныя бутылки; бѣлыхъ кисейныхъ занавѣсокъ и слѣда нѣтъ; полъ захарканъ, засыпанъ табачною золою и давнымъ-давно уже немытъ; вмѣсто веселаго, звонкаго щебетанья канареекъ, раздается сиплый романсъ, подъ акомпаниментъ гитары:

О ты, что въ горести напрасно
На Бога ропчешь, человѣкъ!
Воззри, сколь жизнь ведешь ужасно!
Онъ къ Іову изъ тучи рекъ:
«Не уѣзжай, не уѣзжай, голубчикъ мой!»

Нѣту также и стариковъ: вмѣсто ихъ поселился какой-то новый обитатель, который съ гитарою въ рукахъ лежитъ на диванѣ — офицерская шинель въ рукава, поверхъ рубашки — длинные бѣлобрысые усы, красное и одутловатое рыло, а въ головѣ, очевидно, изрядное количество винныхъ паровъ, о чемъ свидѣтельствуетъ стоящій рядомъ на столѣ полуштофъ и кислая капуста въ тарелкѣ.

Маша отшатнулась и стояла, словно пришибленная своимъ недоумѣніемъ, не зная, что̀ и подумать обо всемъ увидѣнномъ ею. Офицерская шинель, при ея появленіи, вскочила съ дивана, изобразила наипріятнѣйшую улыбку, расшаркалась туфлями и прилично запахнулась.

— *М-медамъ!* произнесъ хриплый басъ, налегая особенно на букву *е*, вѣроятно ради пущаго шику: — *же сюи шарме!* Чему обязанъ счастіемъ зрѣть...

— Я хотѣла видѣть Повѣтиныхъ... Петра Семеныча съ Пелагеей Васильевной, несмѣло сказала Маша, едва оправляясь отъ перваго впечатлѣнія.

— Я за нихъ!... Я за нихъ, на лицо, *м-медамъ!* Или, можетъ быть, *медемуазель?* Позвольте честь имѣть рекомендоваться: ихній племянникъ, отставной капитанъ Закурдайло, по рожденію—благородный человѣкъ, по убѣжденіямъ—кникъ;—прошу садиться! говорилъ онъ, продолжая шаркать и поминутно запахиваясь.

— Вы... племянникъ? едва могла выговорить изумленная Маша.

— Такъ точно-съ; *ву заве резонъ!*... А васъ, кажется, это удивляетъ?—Такова была сила обстоятельствъ и законное наслѣдіе: у меня есть права и акты.

Послѣднія слова капитана зловѣщимъ предчувствіемъ кольнули сердце дѣвушки.

— Гдѣ же они... старики-то? спросила она, желая и въ то же время боясь предложить этотъ вопросъ, въ ожиданіи рокового отвѣта.

— Тётинька моя, Пелагея Васильевна, волею божьею помре, а

дядинька Петръ Семенычъ—Обуховской больницы въ отдѣленіи умалишенныхъ.

Извѣстіе это до того поразило Машу, что она, съ помутившимися глазами, въ изнеможеніи опустилась на первый попавшійся стулъ.

— Вы, смѣю предполагать, не воспитанница-ли ихняя? вопросилъ капитанъ, раскуривая трубку.

Маша не въ силахъ была отвѣчать и только утвердительно кивнула головой.

— Такъ-съ... слыхалъ... слыхалъ... Стало быть, чувствуете потерю? Это дѣлаетъ вамъ честь. Не забывай отца твоего и матерь твою, даже еслибы ты сидѣлъ между принцами. Таково мое правило. Не прикажете ли закусить, чѣмъ богъ послалъ? Нѣтъ? Ну, такъ я одинъ закушу, съ вашего позволенія, заключилъ капитанъ, глотая рюмку водки.

— Разскажите... что̀ это... ка̀къ это все случилось? обратилась къ нему дѣвушка, чувствуя въ эту минуту полное свое сиротство.

— Очень просто: всѣ люди смертны. Я—человѣкъ, значитъ—я смертенъ. Такъ говоритъ философъ. Все, что̀ я знаю — ничего не знаю. Наслышанъ же отъ сосѣдей такимъ образомъ: послѣ отъѣзда воспитанницы, то-есть —васъ, медмуазель, тётинька Пелагея Васильевна (царство небесное) впала въ тоску; жаловалась, что желаетъ васъ видѣть, и не знаетъ, гдѣ вы обрѣтаетесь, и совсѣмъ забыли ее. Даже была сна и апетита лишившись, заболѣла вскорѣ горячкою и отошла въ предѣлъ всевышняго. Такъ повѣствуютъ наши хроники. Дядинька же Петръ Семенычъ, послѣ такого пассажа съ тётинькиной стороны, предался пагубной страсти насчетъ крѣпительнаго напитка, и лишился умственныхъ способностей. Вызыгали наслѣдниковъ. Я на ту пору, прочтя извѣщеніе «Сенатскихъ Вѣдомостей» о вызовѣ наслѣдниковъ и находясь временно въ Санктпетербургѣ, предъявилъ свои права, такъ-какъ я довожусь тётинькѣ роднымъ племянникомъ по мужской линіи — и, по наведеніи достодолжныхъ справокъ, былъ введенъ въ пользованіе. Вотъ и весь мой анекдотъ въ томъ заключается.

— Гдѣ же она похоронена? спросила Маша, съ трудомъ глотая подкатывавшія къ горлу рыданія.

— Мѣста погребенія съ точностію указать не могу, но наслышанъ, что на кладбищѣ Смоленскія богоматери. Впрочемъ, человѣку послѣ смерти — все равно, гдѣ бы ни былъ погребенъ онъ. А вотъ вамъ, медамъ, не угодно-ли купить у меня кое-какіе остатки мебели? продолжалъ Закурдайло, указывая на столъ, диванъ и два-три убогіе стула: — я все сбываю понемногу, потому, говорю вамъ, я — киникъ. Меня и въ полку всѣ кинникомъ звали — и я горжусь. Это все вещи и потому — излишнее; какъ человѣкъ, я только обязанъ удовлетворять мои физическія потребности; а это все, заключилъ онъ, кивнувъ глазами на мебель: — это все — комфортъ и суета. Я помышляю такъ, чтобы мнѣ въ монахи идти. Какъ вы полагаете?

— Вы говорите, старикъ въ Обуховской?... Его можно тамъ видѣть? сказала Маша, подымаясь съ мѣста.

— Хоть сію минуту; на это, кажется, запрёту тамъ не полагается, расшаркался Закурдайло, и когда Маша ступила за порогъ, въ прихожую, остановилъ ее благородно-просительнымъ жестомъ руки.

— Я не прошу взаймы, потому что не имѣю привычки отдавать, началъ онъ съ достоинствомъ: — но, м-медамъ! Отъявленному пьяницѣ и негодяю капитану Закурдайлѣ на выпивку!... На выпивку пожалуйте нѣчто!... Нѣчто на выпивку!

Маша опустила руку въ карманъ и подала ему рублевую бумажку.

Капитанъ снова запахнулся и сталъ расшаркиваться.

— *Же сюи шарме*!... *Же сюи аншанте де вотръ бонте, м-медамъ*! и непремѣнно поцаловалъ бы вашу ручку, еслибы вамъ не скверно было протянуть ее такой ска-а-тинѣ, какъ вашъ покорнѣйшій слуга. *Адью медамъ, адью. Ж-жевузанпри*!

И капитанъ любезно захлопнулъ за нею двери.

— Въ Обуховскую больницу, сказала Маша извощику, не помня себя отъ щемящаго горя и рыданій.

XXV

XIV-е отдѣленіе обуховской больницы

Каждому петержбурцу очень хорошо знакомо по наружности длинное зданіе, на Фонтанкѣ, близь Обухова моста — зданіе въ совершенно-безцвѣтномъ, казенномъ стилѣ, съ фронтономъ, на которомъ въ высокомъ слогѣ изображено: «градская обуховская больница», вмѣсто «городская», что́, безъ сомнѣнія, составляло бы слогъ обыкновенный, тривіальный.

Если вы войдете въ эту градскую больницу съ ея главнаго подъѣзда, то пройдя шаговъ двадцать по площадкѣ сѣней, очутитесь въ поперечномъ корридорѣ, передъ дверью, гдѣ прибита доска съ надписью: «XIV-е отдѣленіе». Для человѣка, который, не будучи знакомъ съ назначеніемъ этого отдѣленія, переступилъ бы за порогъ ведущей въ него двери, неожиданно предстало бы, въ иную пору, очень грустное зрѣлище. Первое, что́ могло бы непріятно поразить его — это отчаянные крики ужаса и страданія, корчи и борьба человѣка, подставленнаго коротко остриженной, а иногда и совсѣмъ бритою головою подъ холодныя струи душа, имѣющія назначеніе освѣжать его больную голову. Онъ рвется, мечется подъ сильными руками трехъ-четырехъ служителей и наконецъ, изнеможенный, покоряется своей участи.

Видъ страданія, каково бы оно ни было, неотразимо дѣйствуетъ на каждаго болѣзненно-грустнымъ впечатлѣніемъ: но грустнѣе всего и обиднѣе всего для нравственнаго и разумнаго достоинства человѣческаго — это видъ умалишеннаго и его страданій. Грустнѣе всего то, что, несмотря на всю тяжесть впечатлѣнія, вы порою не удержитесь отъ самой неожиданной и вполнѣ невольной улыбки.

Старуха Повѣтина умерла отъ тоски. Когда такъ нежданно и быстро разлучили ее съ Машей, когда эта послѣдняя совершенно потерялась у нея изъ виду, такъ что та совсѣмъ уже не знала ни гдѣ она, ни что съ нею — бѣдная старуха не выдержала такого испытанія и упала духомъ. Любящая и привязчивая душа ея не сжилась съ этимъ сиротствомъ, затосковала, захирѣла, и — вскорѣ одной незначительной простуды было совершенно достаточно, чтобы Пелагея Васильевна, обезсиленная уже своимъ моральнымъ горемъ и

каждодневной, скрытою тоскою, отправилась къ праотцамъ, въ болотистую почву Смоленскаго кладбища.

Горе и сиротство старухи были вполнѣ равносильны и для ея мужа. Но со смертью ея, тяжелый грузъ этой печали удесятерился. Повѣтинъ остался круглымъ бобылемъ и, какъ извѣстно уже читателю, запилъ весьма нешуточнымъ образомъ. За нетрезвость и безполезность выгнали изъ службы — старикъ сошелъ съ ума.

И вотъ въ одно утро очутился онъ въ ваннѣ, подъ холодной струей воды, принялъ эту купель посвященія, которая неукоснительно встрѣчаетъ каждаго, грядущаго въ домъ умалишенныхъ; затѣмъ облекли его въ больничный халатъ сѣраго сукна, на ноги надѣли шлёпанцы-туфли и впустили въ длинный, довольно широкій, но полутемный корридоръ, по одной сторонѣ котораго идетъ рядъ дверей съ окошечками отъ отдѣльныхъ нумеровъ. Въ одномъ изъ нихъ ему указали желѣзную кровать, подъ тощимъ и довольно грязноватымъ байковымъ одѣяломъ, и сказали, что это его мѣсто и что здѣсь онъ можетъ спать. Старикъ очень любезно поклонился и не прекословилъ.

— Скажите, пожалуйста, вѣдь это здѣсь родильный домъ, не такъ-ли? отнесся онъ тотчасъ же къ своему сотоварищу по нумеру, который, сидя на кровати передъ маленькимъ столикомъ, писалъ какія-то бумаги.

— Здѣсь-то? отозвался съ необыкновенной важностью и достоинствомъ сотоварищъ, тоже весьма уже пожилой человѣкъ: — нѣтъ, здѣсь отдѣленіе умалишенныхъ, сумасшедшій домъ, а не родильный.

— Это неправда, это не можетъ быть, я знаю навѣрное, что здѣсь родятъ; съ тѣмъ меня и привезли сюда, оспорилъ Повѣтинъ.

— Что́-о? строго поднялся съ мѣста сотоварищъ:—ты осмѣлился опровергать меня? Ты знаешь ли, кто я таковъ и какой санъ на мнѣ? Я — императоръ! Императоръ Петръ первый, великій преобразователь Россіи, посаженъ сюда хитростію и происками бунтовщиковъ-измѣнниковъ. Кланяйся мнѣ! я довѣрю тебѣ мою тайну—пойдемъ!

И онъ, всемилостивѣйше взявъ Повѣтина подъ руку, повелъ его изъ нумера въ длинный корридоръ, гдѣ ходили на свободѣ человѣкъ до двадцати больныхъ. Какихъ только звуковъ и голосовъ не было слышно въ этомъ корридорѣ!

— Ку-ка-реку-у! кричитъ одинъ несчастный, сидя на корточкахъ и воображая въ себѣ курицу, которая испорчена злыми людьми и потому поетъ пѣтухомъ.

— La mia leticia! раздавалось на противоположномъ концѣ, мѣшаясь съ декламаціей оды «Богъ» Державина.

— Аксеновскій падé, подержи, по-дер-жи на умѣ! убѣждалъ пустое пространство четвертый субъектъ, помѣшавшійся въ роковой моментъ своей жизни, когда нежданно-негаданно засталъ свою жену съ ея любовникомъ.

— Пой акафистъ мнѣ, пой! настаивалъ пятый, тщедушный человѣчекъ, приставая къ угрюмому дьякону.

— Зачѣмъ акафистъ? Я тебѣ матку-рѣпку спою, мрачно отвѣтствовалъ помѣшанный дьяконъ.

— Нѣтъ, ты мнѣ акафистъ споешь! Стойте! взялъ онъ за руки Повѣтина съ императоромъ: — ангелы и архангелы мои, Варахіилъ и Михаилъ! казните его, каналью! жупеломъ, жупеломъ его хорошенько!

— Ну, что же, развѣ это не сумасшедшій домъ? очень разсудительно и, повидимому, совершенно здраво обратился къ Повѣтину императоръ:—этотъ несчастный воображаетъ, будто онъ богъ... И я обреченъ томиться между ними!...

— Да, богъ; вы правы! А и усталъ же я сегодня, господа! ухъ, какъ усталъ — моченьки нѣту! сказалъ, руки въ боки, тщедушный.

— Отчего же вы устали? благодушно отнесся къ нему императоръ, какъ здравомыслящій къ помѣшанному, и толкнулъ при этомъ слегка Повѣтина:—дескать, слушай, слушай, какую дичь понесетъ!

— А какъ вы думаете? въ нынѣшнюю ночь дважды смахалъ на небо и къ обѣду—какъ видите, вернулся! а къ вечеру опять-таки — *фить!* отвѣтилъ тщедушный, взмахнувъ рукою кверху.

— А далекò это до неба?

— Да, порядочный таки конецъ! Прямымъ путемъ, по столбовой дорогѣ сорокъ-пять, а въ объѣздъ, пожалуй, верстъ семьдесятъ будетъ.

— Зачѣмъ же вы такъ часто катаетесь?

— Да вѣдь нельзя же: администрація! Я въ перепискѣ съ Авраа-

момъ; знаю, что тамъ пружина въ замкѣ испортилась, а онъ мнѣ депешу не шлетъ; ну, я и поѣхалъ! Моли меня, человѣче, о чемъ хочешь—все тебѣ дамъ, все исполню! прибавилъ онъ, вдругъ обратясь къ Повѣтину.

— Да вотъ... скоро срокъ мнѣ... на сносяхъ хожу — родить скоро надо, кланялся Петръ Семеновичъ: — такъ ужь нельзя ли, чтобы дѣвочку родить, дѣвочку Машу...

— Этого не могу; не въ законахъ природы, и ты сумасшедшій! серьёзно подумавъ съ минуту, отвѣтилъ тщедушный:—для этого я создалъ женщину, Эву; а вотъ росту тебѣ прибавить вершка четыре или пять — изволь! Это могу хоть сію минуту.

— Ты опять кощунствуешь!? укоризненно подошелъ къ тщедушному молодой человѣкъ очень симпатичной наружности.—Міръ создалъ не ты. Этотъ міръ, эта природа, звѣзды, солнце, луна, всѣ эти моря и горы, деревья и цвѣты — вѣдь все это такъ хорошо, говорилъ онъ, одушевляясь и постепенно приходя въ бо́льшій и бо́льшій экстазъ: — все это такъ прекрасно, что не могло быть создано грубою рукою мужчины. Міръ создала женщина, прекрасная, чудная женщина. Только рукою женщины и могло все это такъ создаться... Она моя богиня, я въ нее влюбленъ, я ей поклоняюсь... Я — секретарь созданія... Вотъ вамъ, люди, завѣтъ моей богини: не ѣшьте мяснаго, не носите кожанаго, потому всякій послѣдній червячекъ жить хочетъ; убить его мы не имѣемъ права. У насъ есть медъ, коренья и плоды. Лю́бите мою богиню, обожайте ее!

Въ эту минуту тщедушный, оскорбясь пропагандой, которая шла въ разрѣзъ съ пунктомъ его помѣшательства, влѣпилъ сильную и звонкую пощочину секретарю созданія. Пошла потасовка. Два служителя, мирно игравшіе доселѣ въ шашки, вскочили со скамейки и бросились къ дерущимся. Тотчасъ же поспѣшились на помощь къ нимъ еще трое, съ холщевой сумашедшей рубашкой, кожанными рукавицами и ножными браслетами.

Черезъ минуту оба бойца были уже лишены возможности продолжать поединокъ: руки тщедушнаго человѣка мигомъ упрятались въ длинныя рукава рубашки, а руки секретаря созданія [1]) очути-

[1]) Такъ называется этотъ молодой человѣкъ въ больницѣ. Вообще, большая

лись въ толстѣйшихъ кожанныхъ нарукавникахъ, которые словно хомутъ надѣвались на шею и плечи, и стягивались на поясницѣ крѣпчайшими ремнями. Секретарь созданія, въ минуты бѣшеной экзальтаціи, становился необыкновенно силенъ, такъ что рубашка оказывалась для него мѣрою недѣйствительною, ибо прочные швы ея трещали на немъ, какъ опорки. Когда оба увидѣли себя въ невозможности продолжать побоище руками, то ярость тщедушнаго обратилась на себя самого: онъ упалъ навзничь и сталъ колотиться затылкомъ объ полъ, а секретарь, воспользовавшись какъ-то минутой оплошности сторожей, вырвался изъ ихъ рукъ и кинувшись на своего противника, принялся пинать его ногами. Въ минуту на томъ и другомъ очутились ножные браслеты, съ которыми они могли только стоять, но ужь никакъ не ходить, почему оба были унесены въ темную комнату, которая вся обита мягкимъ войлокомъ, и пристегнуты ремнями къ желѣзнымъ кольцамъ.

Вся эта сцена и энергическая расправа произвела столь сильное впечатлѣніе на старика Повѣтина, что онъ не нашутку перепугался и трусливо побѣжалъ съ свой нумеръ, откуда уже боялся выходить. И эта боязнь осталась у него постоянною. Онъ уже и носу не показывалъ въ общій корридоръ, трепеталъ при одномъ видѣ служителей, и съ утра до ночи, сидя на своей кровати, перебиралъ пеленки и распашонки, заготовленныя еще покойницей Пелагеей Васильевной, въ ожиданіи будущаго сына или дочери. Старику не препятствовали захватить эти вещи съ собою въ больницу, да онъ бы и не разстался съ ними, такъ-какъ онѣ служили для него теперь единственнымъ развлеченіемъ, предохраняя отъ мучительной тоски. Помѣшательство его было тихое, кроткое и заключалось въ томъ, что онъ перебиралъ, раскладывалъ, гладилъ, развѣшивалъ и гладилъ, развѣшивалъ и вновь складывалъ свои ребячьи принадлежности, ожидая скораго разрѣшенія себя отъ бремени. Онъ сладко мечталъ о томъ днѣ, когда родитъ на свѣтъ дѣвочку Машу, увѣрялъ всѣхъ, что ходитъ уже на сносяхъ и чувствуетъ, какъ ребенокъ играетъ у него въ животѣ.

часть слегка очерченныхъ нами субъектовъ дѣйствительно находятся, или находились въ обуховскомъ отдѣленіи умалишенныхъ.

Сумасшедшіе весьма основательно улыбались на эту идею и, по большей части съ искреннимъ сожалѣніемъ, находили его помѣшаннымъ.

Маша со слезами бросилась къ нему на шею.

Врачъ, спеціально завѣдывающій отдѣленіемъ умалишенныхъ, ждалъ благодѣтельныхъ послѣдствій для больнаго отъ этой встрѣчи.

Но Повѣтинъ не узналъ свою пріемную дочку.

— Ахъ, наконецъ то мнѣ васъ привели!... Вѣдь вы акушерка? застѣнчиво обратился онъ къ дѣвушкѣ.

— Папочка, голубчикъ, вѣдь я Маша! Маша! — неужели вы меня не узнаете? рыдала та, стараясь заставить его поглядѣть на себя.

— Маша?... Нѣтъ, вѣдь это я еще долженъ сперва родить Машу; вы потрудитесь освидѣтельствовать меня, убѣждалъ Повѣтинъ.

— Да вы помните, какъ мы жили съ вами въ Колтовской — вы, я и Пелагея Васильевна — мама моя?

— Въ Колтовской?... Пелагея Васильевна? Цыпушка? — Да, да, помню... помню... какъ не помнить?... Пелагея то Васильевна — тю-тю!... И Маша, дочка наша — тоже тю-тю?... Утки въ воду, комарики ко дну!... Вотъ стало-быть я и долженъ родить себѣ Машу снова. Да, это такъ!... У меня пеленки, у васъ распашонки; калоши распрекрасныя хораши, сапоги для ноги, — новеньки сосновеньки, березовые; а Пелагея Васильевна тю-тю!...

— Да вѣдь я не умерла, меня только увезли отъ васъ... Помните генеральшу-то?... Она и увезла, говорила Маша, стараясь дать его памяти и сознанію всѣ нити воспоминанія о прошломъ.

— Увезла?... повторилъ Повѣтинъ: — ну, вотъ то-то и есть! Поставилъ бы тире, да чернилъ нѣтъ на перѣ!... Увезла да похоронила, и конченъ балъ, конченъ балъ, конченъ!

Тоскливо глядѣла Маша на эти мутные глаза, въ которыхъ несмотря на всю кротость и мягкость ихъ выраженія, не свѣтилось никакой опредѣленной, сознательной мысли, на всю его жалкую, болѣзненную и коротко остриженную фигурку; и долго еще стара-

лась она привести его хоть въ минутное сознаніе; но все было напрасно: старикъ мѣшался въ мысляхъ и словахъ, копошился въ своемъ узлѣ и настоятельно просилъ освидѣтельствовать его.

— Нѣтъ, не удалось, со вздохомъ проговорилъ докторъ, безнадежно пожавъ плечами, и эти слова какимъ-то тупымъ отчаяніемъ повѣяли на Машу: до этой минуты она все еще ждала и надѣялась; теперь ей оставалось только навѣщать безумнаго да приносить ему чаю и булку.

Пришибленная чувствомъ этого отчаянія, вышла она изъ больницы, съ мучительными угрызеніями совѣсти: ей все казалось, что виновата во всемъ случившемся единственно только она одна: зачѣмъ было оставлять стариковъ, забыть ихъ, не видѣться съ ними? И эти угрызенія слишкомъ уже тяжело легли на ея душу.

XXVI

Аукціонъ

Маша занемогла. Обстоятельства послѣднихъ дней сокрушили ее и морально, и физически. На третьи или на четвертыя сутки болѣзни, она услышала у дверей своей квартиры весьма безцеремонный звонокъ, и черезъ минуту столь же безцеремоные и вполнѣ незнакомые ей голоса. Кто-то и зачѣмъ-то желалъ ее видѣть, а горничная отбояривалась, какъ могла, и не хотѣла допустить пришедшихъ до барыни.

Маша позвала ее звонкомъ, узнать въ чемъ дѣло. Горничная замялась и не находила удовлетворительнаго отвѣта, боясь обезпокоить больную непріятнымъ извѣстіемъ.

— Позвольте-съ войти, постучались въ эту минуту въ дверь будуара: — дѣвушка ваша впущать не желаютъ.

— Кто тамъ?

— Мы-съ... надо будетъ счетецъ одинъ подписать; дѣло коммерческое. Изъ княжеской конторы къ вашей милости присланы, отъ ихъ сіятельства-съ.

Одного имени князя было уже совершенно достаточно, чтобы Маша съ нетерпѣливою поспѣшностью накинула на себя пень-

юаръ и черезъ силу вышла бы къ дожидавшимся. Ей такъ сердечно хотѣлось узнать хоть что-нибудь про все еще любимаго человѣка, услышать хоть какую бы то ни было вѣсть про него, которая смѣнила бы ей собой эту томительную неизвѣстность.

Въ гостинной стояли мёбельщикъ, бакалейщикъ и прикащикъ отъ хозяина, помѣсячно отпускавшаго для Маши экипажъ. Дѣло было въ томъ, что Хлѣбонасущенскій, устраивавшій «для метресы ихъ сіятельства апартаментъ» и забиравшій все нужное напрокатъ, выплачивалъ поставщикамъ деньги ежемѣсячно изъ конторы Шадурскихъ. За два мѣсяца до разрыва князя съ Машей, практическій человѣкъ пронюхалъ, что фонды ея сильно падаютъ у Шадурскаго и потому позадержалъ платежъ поставщикамъ, прося ихъ пообождать до слѣдующаго срока. А какъ пришелъ этотъ слѣдующій срокъ, такъ и отправилъ ихъ всѣхъ къ Машѣ: «тамъ-де получите, а князь больше за нее не плательщикъ».

— И болѣе ничего не говорили вамъ про него? съ напряженнымъ безпокойствомъ спросила она.

— Больше и ничего.

— Чего же хотите вы теперь?

— Извѣстное дѣло, насчетъ уплаты: свое зарабочее получить желательно.

— У меня денегъ нѣтъ... Я ничего этого не знала... Что жь съ этимъ дѣлать теперь?

— Это не бѣда-съ, коли денегъ нѣтъ... Можетъ, кто другой за васъ пожелаетъ уплатить — это вѣдь дѣло завсегдашнее.

— Нѣтъ, никто не пожелаетъ, вспыхнула маша, догадавшись по улыбкѣ, съ которой была произнесена послѣдняя фраза, куда бьетъ намёкъ мёбельщика.

— Такъ, можетъ статься, поручится кто-нибудь?

— И поручиться некому.

— Опять же и въ этомъ родѣ препятствія намъ нѣтъ; вы только подпишите намъ счетецъ, тогда мы будемъ покойны.

— Зачѣмъ же это? вѣдь подпись не деньги?

— А ужь это такъ, для проформу такого требуется, чтобы, зна-

чить, быть намъ благонадежными на счетъ того, что отъ уплаты не откажетесь.

— Я заплачу; я продамъ всѣ вещи свои...

— А на много ли вещей-то будетъ? И въ какихъ качествахъ онѣ?

— Много: платья, бѣлье, золотыя вещи, брильянты, высчитывала Маша, которая въ эту минуту ничего не хотѣла имѣть отъ Шадурскаго — даже этотъ пеньюаръ — и тотъ, казалось, теперь будто давитъ ей горло.

— Что жь, это самое любезное дѣло, замѣтилъ одинъ изъ претендентовъ: — тысячи на полторы хватитъ?

— Больше, гораздо больше! Хотите, берите сейчасъ же, все, что есть, въ уплату? какъ-то стремительно предложила дѣвушка.

— Нѣтъ-съ, это дѣло не модель—поступать такъ, чтобы самимъ брать, какъ вздумаешь: а вы вотъ какъ-съ, вразумляли претенденты: — вы подпишите эти самые счеты маненечко заднимъ числомъ, а мы завтра же, пожалуй, представимъ на васъ ко взысканію; вещи законнымъ порядкомъ опишутъ и назначутъ къ продажѣ съ аукціоннаго торга.

— Хорошо, согласилась Маша.

— Тогда, за уплатой намъ, буде выручится съ продажи остатокъ какой, въ видѣ утѣшенія говорилъ мебельщикъ, первымъ подсовывая ей свой счетъ для подписанія: — такъ онъ сполна къ вашему же профиту пойдетъ.

— Мнѣ ничего не нужно, сухо возразила Маша, выставляя, одну за другою, свои подписи на поданныхъ ей бумагахъ.

Она говорила и дѣлала все это полубезсознательно, и совсѣмъ почти машинально: въ головѣ ея гвоздемъ засѣла теперь одна уже всепоглащающая мысль о совершившемся разрывѣ, и чуть только успѣли уйдти эти господа, какъ напряженно-нервное состояніе ея разрѣшилось сильнѣйшимъ истерическимъ припадкомъ.

Послѣ этого случая, Маша прохворала недѣли двѣ. При ней, безотлучно, находилась ея дѣвушка, Дуня, которая распоряжалась и насчетъ хозяйства, и насчетъ аптеки съ докторомъ.

Пришелъ помощникъ надзирателя съ письмоводителемъ и оцѣнщикомъ—производить опись, пришли и кредиторы. Докторъ, пользуясь болѣзнію Маши, хотѣлъ законнымъ предлогомъ отклонить это обстоятельство; Маша рѣшительно воспротивилась, и требуя какъ можно скорѣе описи, сама указывала и вспоминала горничной вещи, почему либо позабытыя тою при осмотрѣ. Ей все скорѣе и скорѣе хотѣлось развязаться со всѣмъ, что хоть сколько нибудь напоминало Шадурскаго, и время прожитое съ нимъ вмѣстѣ.

Казалось, всѣ эти вещи, вся обстановка, словно какой невыносимый гнетъ, давили бѣдную дѣвушку. Менѣе чѣмъ въ часъ съ четвертью все уже было описано, и казенныя печати приложены.

Дѣло оставалось только за продажей съ аукціоннаго торга.

Съ одинадцати часовъ утра, въ квартиру Маши сталъ набираться особаго рода людъ, спеціально посѣщающій аукціоны. Явилась власть, въ лицѣ того же квартальнаго помощника, съ портфелькой подъ мышкой; явилась сила пассивная, въ образѣ аукціониста, съ деревяннымъ молоткомъ въ карманѣ; привалила, наконецъ, и сила активная—особаго рода торговое братство, семья маклаковъ, ходебщиковъ по аукціонамъ, которые составляя, въ самомъ дѣлѣ, заправскую силу, являются царями каждаго аукціона, и ворочаютъ тамъ весьма нешуточными дѣлами. У нихъ есть свои законы, свои обычаи, и даже отчасти свой собственный техническій языкъ. Стоитъ вглядѣться въ эту толпу, когда она наполняетъ аукціонную комнату: тутъ и чуйки, и «пальты», костюмы зажиточные и убогіе, физіономіи одутловато-сытыя и тоще-голодныя; но на тѣхъ и другихъ ярко написана пронырливая жажда рублишка. Укомплектовываютъ эту корпорацію обыкновенно толкучники и апраксинцы, которые проторговались вконецъ, и обанкротившись, примазываются кое-какъ, ради насущнаго хлѣба, къ маклаковскому обществу, куд вступаютъ, по большей части, *племянниками*, что обязываетъ ихъ, за какой-нибудь гривенникъ или пятиалтынный, справлять подручную работу на *хозяевъ*, то-есть бѣгать за ломовиками и отправлять, подъ своимъ присмотромъ, купленное добро въ *складочныя* на толкучій рынокъ. Члены этого братства искони раздѣлил себя на двѣ категоріи. Къ первой принадлежатъ физіономіи сытыя,

въ «пальтахъ» и лисьихъ купецкихъ шубахъ; ко второй — физіономіи испитыя и голодныя, въ пальтишкахъ и чуйкахъ. Первые ворочаютъ всѣмъ дѣломъ и называютъ себя *хозяевами*; вторые батракуютъ и *племянничаютъ*. Хотя нѣтъ того дня, чтобы между членами не выходило ссоры и даже потасовки, однако, мудрое правило «рука руку моетъ» всевластно царитъ надъ маклаковскимъ обществомъ. Тутъ всѣ труждающіеся и обремененные *прогаромъ*, то-есть банкротствомъ, находятъ для себя, въ нѣкоторомъ родѣ, мирное и тихое пристанище, ибо аукціонный промыселъ, во всякомъ случаѣ, даетъ своимъ адептамъ-племянникамъ возможность хлѣбъ жевать; а хозяева иногда сколачиваютъ и капитальцы весьма почтеннаго свойства.

Наконецъ появились въ Машиной квартирѣ и кредиторы съ нѣсколькими посторонними покупателями, и двумя-тремя толкучными жидовками, что торгуютъ подержанымъ платьемъ и разнымъ тряпьемъ. Таковъ обычный характеръ публики, присутствующей на всевозможныхъ аукціонахъ. Помощникъ съ аукціонистомъ взглянули на часы, и послали за хозяйкой. Маша вышла къ нимъ, блѣдная и смущенная: она не ждала такого большаго сборища.

Гурьба маклаковъ встрепенулась — по комнатѣ пошелъ легкій, полушопотливый говорокъ. Аукціонистъ, даже съ нѣкоторой подобающей торжественностью, сталъ на свое мѣсто за столомъ, постучалъ для начала молоткомъ своимъ. и заглянувъ въ реэстръ, внятно-монотоннымъ голоскомъ началъ выкрикивать:

— Шубка на лисьемъ мѣху, воротникъ соболій — три рубля; кто больше?

Корпорація маклаковъ тотчасъ же выслала изъ своей среды пять «выборныхъ хозяевъ», назначеніе которыхъ, въ этомъ случаѣ— торговаться, то-есть справлять службу за «обчество», пребывающее на сей конецъ въ полномъ безмолвіи.

Подручный аукціониста вытащилъ и понесъ на показъ публикѣ продающуюся вещь.

— Три рубля—кто больше? повторилъ аукціонистъ, флегматически постукивая слегка молоткомъ, и обводя взорами публику.

— Съ копейкой! пискнулъ чей-то голосъ въ углу, за многочисленными спинами покупателей.

— Мартынъ на алтынъ, а Ѳедосья съ денежкой, пробасилъ, въ видѣ остроты, одинъ изъ выборныхъ, и острота эта очень утѣшила братію.

— Три съ копейкой—кто больше?

— Десять рублёвъ!

— Съ пятачкомъ!

— Гривна!

— Полтинка!

— Съ семиткой!

— Тринадцать рублей, семъ гривенъ—кто больше? монотонитъ, между тѣмъ, аукціонистъ.

Изъ публики, непринадлежащей къ маклаковскому «обчеству», продирается впередъ солидныхъ лѣтъ господинъ, съ явнымъ намѣреніемъ набивать цѣну, чтобъ оставить вещь за собою.

— Куды-те лѣшаго прётъ? стой на мѣстѣ! дерзко ворчатъ на него ближайшіе племянники, нарочно заслоняя дорогу: — чего толкаешься? барскаго форсу показывать, что ли, захотѣлъ?

Солидный господинъ оскорбился, и подымаетъ перебранку съ ближайшимъ изъ оттиравшихъ его маклаковъ. А тѣмъ только того и надо. Пускается въ ходъ первая изъ обычныхъ маклаковскихъ уловокъ: господина обступаютъ нѣсколько человѣкъ, и своимъ смѣхомъ да новыми дерзостями неослабно поддерживаютъ начатую перебранку, стараясь, во что бы то ни стало, отвлечь вниманіе солиднаго господина отъ молотка аукціониста. А молотокъ этотъ межъ тѣмъ все постукиваетъ-себѣ полегоньку, и не успѣлъ еще солидный господинъ сдѣлать маклакамъ достодолжное внушеніе насчетъ своего ранга и сана, какъ молотокъ громко пристукнулъ послѣдній разъ—и вещь осталась за однимъ изъ выборныхъ обчества, въ двадцати рубляхъ, тогда какъ стоила триста. Маклаки утѣшаются. Господинъ—съ носомъ; видитъ, что поддался на уловку, и даетъ себѣ слово впредь на таковую болѣе уже не поддаваться, а стойко выдерживать характеръ, не отвлекая вниманія отъ аукціониста. Маклакъ—народъ зоркій: взглянетъ на физіономію и нюхомъ чуетъ уже, какъ лягавая собака, въ чемъ кроется дѣло.

— Бурнусъ-манто бархатный, стеганый, на гагачьемъ пуху—два рубля. Кто больше? снова постукиваетъ аукціонистъ.

— Рубль!

— Пятачекъ!

— Три копейки!

— Пять рублевъ!

— Шесть!

— *Продалъ!* замѣчаетъ, обращаясь къ сосѣду, маклакъ, предлагавшій пять рублей, что̀ на языкѣ маклаковъ значитъ — отступился и больше торговаться не намѣренъ.

— Четырнадцать рублей восемь копеекъ—кто больше.

— Десять рублей! возглашаетъ солидный господинъ, стоя въ кучкѣ маклаковъ, все-таки недопускающихъ его продраться впередъ къ аукціонисту.

— Съ рублемъ, спокойно замѣчаетъ въ отвѣтъ ему одинъ изъ выборныхъ.

— Еще десять! настаиваетъ солидный.

— Еще съ рублемъ, отпарировалъ другой выборный.

— Ишь ты—голь, шмоль и компанія, а какъ форсится! дерзко смѣются въ глаза солидному господину окружающіе маклаки, съ цѣлью подстрекнуть его на продолженіе торга.

Аукціонистъ придерживается и не выкрикиваетъ вновь-надбавившуюся сумму.

Одинъ изъ выборныхъ изподтишка одобрительно мигаетъ ему глазкомъ: хорошо-дескать, дружище, порадѣй на міръ! — не оставимъ!

— Десять рублей! горячась, набиваетъ межъ-тѣмъ антагонистъ маклаковъ, явно задѣтый за живое.

— Забастуйте-ко лучше, ваше благородіе! неравно карманъ у васъ съ дырамъ: проторгуетесь.

— Кто больше? вопрошаетъ аукціонистъ.

— Пятакъ!

— Пятнадцать рублей! настойчиво кричитъ солидный, начиная «зарываться».

— Рубликъ!

— Еще пятнадцать!

— Продали! съ предательской усмѣшкой слышится на сторонѣ маклаковъ.

Въ концѣ-концовъ, послѣ пятимитнутнаго торга, незамѣтно оказывается весьма почтенная цифра.

— Сто-сорокъ-три рубля, пять копеекъ. — Кто больше? кричитъ аукціонистъ.

Молчаніе.

—Разъ! ударъ молотка.—Кто же больше?

Опять молчаніе.

— Два!... Никто, что ли, не хочетъ? — Сто-сорокъ-три рубля, пять копеекъ —больше кто?

Опять-таки полнѣйшее молчаніе. У солиднаго господина начинаетъ сильно вытягиваться физіономія: видитъ, что зарвался, и снова попался на удочку.

— Три! возглашаетъ аукціонистъ, пристукнувъ молоткомъ.— Вещь за вами, позвольте получить деньги.

Въ гурьбѣ маклаковъ раздается громкій хохотъ.

— Честь имѣемъ съ дешевой покупкой проздравить! апраксински вѣжливо обращаются нѣкоторые изъ нихъ къ своему антагонисту:— позвольте вамъ, господинъ, билетикъ съ адресомъ нашихъ складовъ вручить: у насъ такое манто при безобидной уступочкѣ за девяносто-пять можете получить всенепремѣнно-съ!

— Штука-то, братецъ, важнѣцкая!... Лихо на перебой поддѣли! Впередъ не суйся! слышится говоръ въ гурбѣ — и дѣйствительно, проученный такимъ образомъ солидный господинъ — можно сказать съ достовѣрностью — ужь больше не сунется на аукціонную продажу, и не заставитъ повторить надъ собою вторую изъ обычныхъ маклаковскихъ продѣлокъ, извѣстную подъ именемъ *перебоя*.

Маша съ полнѣйшимъ равнодушіемъ глядѣла на этотъ сбытъ ея имущества. Съ выздоровленіемъ, прежняя тоска не возвращалась къ ней болѣе; напротивъ, ею овладѣла какая-то безсознательно-разсѣянная и глубокая апатія, совершенная нечувствительность ко всему, что бы съ ней ни случилось. Этотъ апатическій покой былъ похожъ на неодолимый сонъ человѣка, котораго привели съ пытки, но который знаетъ, межь-тѣмъ, что завтра его снова поведутъ на нее и убѣжденъ, что въ концѣ-концовъ нѣтъ спасенія, и ждетъ его одна только смерть неизбѣжная. Она сидѣла и словно не замѣчала того, что вокругъ нея происходитъ — ни этого шума, ни этой

тараторливой перебранки, которая поднялась между жидовками и маклаками, когда дѣло дошло до шалей, кружевъ, мантилій и шляпокъ.

Къ двумъ часамъ пополудни все уже было кончено. Маклаки, по обыкновенію, пошли въ трактиръ *вязку вязать*, то-есть производить между собою свой собственный, круговой торгъ, на пріобрѣтенныя вещи. Власть забрала выручку для отправки въ «надлежащее мѣсто» на удовлетвореніе кредиторовъ, которыхъ, кромѣ прежнихъ трехъ, понабралось еще человѣка четыре. Управляющій домомъ явился за полученіемъ двухмѣсячныхъ квартирныхъ денегъ. Но съ этимъ Маша уже сдѣлалась сама: всѣ вещи, невошедшія въ опись— бѣлье и платья, она предложила ему взять на квитъ. Афера была слишкомъ выгодна, чтобы отказаться — и управляющій забралъ все остальное имущество Маши, внеся за нее хозяину квартирныя деньги. А она даже рада была поскорѣе развязаться со всѣмъ, что̀ напоминало ей о недавнемъ образѣ жизни. Когда и дѣло съ управляющимъ было кончено, Маша случайно заглянула въ свой кошелекъ: отъ прежнихъ достатковъ, теперь покоилось тамъ пять рублей и нѣсколько копеекъ, составлявшихъ, въ данную минуту, почти все ея достояніе.

— Небиль вамъ, сударыня, на предки не требуетцы? обратился къ ней кредиторъ мѣбельщикъ.

— Нѣтъ.

— Ну, такъ вытаскивай, ребята! обернулся онъ къ приведеннымъ на всякій случай, носильщикамъ: — да глядите у меня, бережнѣй, объ косяки не шарыга̀й — не попорти!

Черезъ полчаса, Маша прошлась уже по совершенно пустымъ комнатамъ. Какое-то неизъяснимо-грустное чувство охватило ее, при видѣ этихъ оголенныхъ стѣнъ и оконъ. Шаги раздавались рѣзче, голосъ гулче и звучнѣе, съ явно замѣтнымъ эхомъ. И необыкновенно живо, полно и ярко представила себѣ Маша всю эту уютную, милую обстановку, которая, не далѣе еще, какъ за два, за три часа наполняла эти комнаты, вспомнила князя, его мѣсто у камина, и первое счастливое время своей жизни въ этой самой квартирѣ. — И это грустное чувство — чувство хозяина надъ сво-

лцъ разрушеннымъ пепелищемъ и минувшимъ счастьемъ, заныло въ ней еще сильнѣе, впервой послѣ болѣзни пробивъ кору ея безразличной апатіи.

Маша отошла къ окну, и тихо-тихо заплакала горячими и горькими слезами, приложивъ къ холодному стеклу свой лобъ, и безсознательно глядя на пестрѣвшую движеніемъ улицу.

Въ это время въ прихожей опять позвонили, и вошелъ пожилой господинъ, весьма джентельменской наружности.

— Чтó вамъ угодно? обратилась къ нему удивленная Маша.

— Я... позвольте рекомендоваться: домохозяинъ здѣшній — и потому...

— Я покончила уже всѣ разсчеты съ вашимъ управляющимъ, возразила дѣвушка.

— Но, сударыня... я желалъ бы...

— Квартиру очищу завтрашній же день непремѣнно, снова перебила она.

— И, помилуйте, чтó такое квартира! — Это все пустяки!... Я къ вамъ вовсе не съ тѣмъ намѣреніемъ.

— Я не понимаю, чтó жь иначе могло васъ привести сюда? рѣзко спросила его Маша, которой въ эту минуту было несносно каждое постороннее лицо, и хотѣлось остаться одной совершенно, въ полной тишинѣ и безлюдномъ молчаніи.

— Привело сочувствіе, улыбнулся пожилой господинъ: — сочувствіе къ вамъ, ну и... къ вашимъ стѣсненнымъ обстоятельствамъ. Я вовсе не намѣренъ гнать васъ съ этой квартиры—я, напротивъ, хочу предложить вамъ остаться въ ней.

— Я не имѣю средствъ на это, сухо отвѣтила Маша, которой эти слова показались однимъ изъ двухъ: либо пошлой и круглой глупостью, либо весьма аляповатой насмѣшкой надъ ея положеніемъ.

— Вотъ именно съ тѣмъ-то я и явился сюда! самодовольно подхватилъ хозяинъ: — я человѣкъ прямой... пришелъ предложить вамъ свои услуги, относительно средствъ и прочаго... Вы теперь лишены удовольствія кататься по Невскому — у васъ завтра же снова явится пара рысаковъ, и ложа, и мебель... стоитъ только пожелать вамъ, сказать мнѣ одно слово — я человѣкъ слишкомъ богатый, для меня это — сущая бездѣлица...

— Я васъ попрошу удалиться отсюда, съ вѣжливой сухостью поклонилась ему оскорбленная дѣвушка.

— Но, подумайте, сударыня, вѣдь вы отказываетесь отъ собственнаго счастія; я могу предложить вамъ вдвое болѣе, чѣмъ вы получали отъ Шадурскаго.

— Я повторяю вамъ, извольте выдти отсюда.

— Но, вѣдь — мнѣ кажется — право, все равно, у кого ни быть на содержаніи?... И что́ жь тутъ такого оскорбительнаго!

— Вонъ! возвысила голосъ Маша, строго и энергично сдвинувъ свои брови — и въ этомъ жестѣ, въ этихъ сверкнувшихъ гнѣвомъ глазахъ, и въ звукѣ ея голоса, сказалось столько неотразимо-повелѣвающей силы, что нахальный господинъ съежился, умалился какъ-то, и, невольно покоряясь этой силѣ, поспѣшно скрылся за дверью.

— Кто больше дастъ... Тоже аукціонъ своего рода! съ горькимъ чувствомъ негодованія проговорила Маша, злобно закусивъ нижнюю губу, и въ волненіи шагая по комнатѣ: — тамъ торгуютъ вещи— здѣсь, человѣка торгуютъ.

XXVII

На новую дорогу

Лишь въ эту минуту обнаружилось передъ нею, во всей своей цинической наготѣ, то незавидное соціальное положеніе, въ которомъ стояла она, даже и въ то время, какъ князь притворялся влюбленнымъ, и называлъ ее, съ глазу на глазъ, своею невѣстою. Маша убѣдилась наконецъ, что служила для него только вещью, которую покупаютъ, когда она нравится и бросаютъ, какъ несвѣжія перчатки, когда пройдетъ минутная прихоть. Ей сдѣлалось больно за свое человѣческое достоинство. Нѐчего ужь было закрывать себѣ глаза попрежнему, и тѣшиться иллюзіями. Послѣ столькихъ ударовъ, упавшихъ на нее всею тяжестью своего гнета, и сильно надломившихъ эту свѣжую натуру, Маша перестала быть беззаботно-милымъ ребёнкомъ, и переродилась въ женщину, въ *человѣка*, который просто и прямо взглянулъ въ лицо печальной дѣйствительности.

— Что же мнѣ дѣлать теперь? какъ распорядиться собою? задала она себѣ роковой вопросъ: — я ничего не умѣю, ничему, какъ слѣдуетъ, неучена; въ няньки — молода, въ гувернантки... по совѣсти сказать, не гожусь... Да и кто возьметъ? — гувернантка изъ камелій! На сцену идти? — талантъ нуженъ; да и съ талантомъ-то попробуй-ко, пробейся!... Шить въ магазины? — это бы скорѣе всего; да поди, поищи сперва работы! Развѣ не видѣла я, развѣ не при мнѣ приходили къ этимъ магазинщицамъ такія же несчастныя, какъ я, выпрашивать работы? Что же, находили онѣ работу? брали ихъ, не отказывали имъ? Какъ же, дожидайся! Но, что же дѣлать, однако? Распутничать?... Господи, да неужели же тутъ нигдѣ ужь нѣтъ честнаго куска хлѣба? — Быть не можетъ! съ отчаяніемъ воскликнула дѣвушка.

Эта дѣйствительность, неприкрытая розовымъ флёромъ, при первомъ взглядѣ испугала ее. Недешево далась ей борьба со своимъ внутреннимъ міромъ, да недешевою казалась и предстоящая — съ дѣйствительной и суровою жизнью.

На другой день въ холодной, нетопленной квартирѣ, сидѣла Маша на подоконникѣ, не обращая вниманія на то, что отъ окна дуло чувствительнымъ холодомъ. Передъ нею стояла горничная дѣвушка, которая одна не покидала ее въ это время.

— Прости меня, Дуня, сказала она, протянувъ ей руку: — я виновата передъ тобою... Мнѣ, право, совѣстно...

— Ой, полноте, Марья Петровна, чтой-то вы! чѣмъ это вы виноваты передо мною-то? перебила нѣсколько удивленная дѣвушка.

— Да какъ же, за два мѣсяца вотъ — жалованье не заплатила.

— Ну, такъ что жь, коли нѣтъ? откуда жь взять? надо такъ судить, по человѣчеству. На нѣтъ, и суда нѣтъ. Вѣдь я тоже чувствую; а вамъ объ этомъ и безпокоиться нечего.

— Нѣтъ, Дуня, все же такъ нельзя... Это вѣдь заработанное... Вотъ у меня осталось тутъ пять рублей — мнѣ теперь ничего не нужно; возьми ихъ.

— Что вы, сударыня! Господь съ вами!... Я всегда найду про себя копейку: городъ, слава-те господи, не клиномъ сошелся.

— Не клиномъ... Нѣтъ, Дуня, клиномъ, да еще какимъ клиномъ-то! съ грустнымъ одушевленіемъ покачала Маша головою. —

Я-то вотъ, вчера и сегодня ходила работы искать, въ шести магазинахъ была — и нигдѣ ничего! въ одномъ — просто отказываютъ, въ другомъ — говорятъ, что все уже полнò — зайдти черезъ недѣлю предлагаютъ, въ третьемъ — спрашиваютъ, у кого училась да гдѣ работала; отъ извѣстныхъ, вишь ты, принимаютъ только: а въ одномъ, такъ и вспомнить-то гадко!—оскорбленій наглоталась... француженка содержитъ; узнала меня: «что это — говоритъ — изъ содержанокъ, да въ швейки? Мало развѣ своего дѣла?...» Э! да и говорить-то не стоитъ! съ горечью махнула Маша рукою: — а ты воображаешь еще, «не клиномъ сошелся!»

— У меня два мѣста есть, сообщила Дуня: — выбирай хоть любое: одно къ полковницѣ на островъ: я еще прежде жила у ей — хорошая очень полковница. Пять рублей въ мѣсяцъ, горячее со стола, да фунтъ кофію отсыпного; а другое мѣсто выходитъ въ Коломну, къ чиновницѣ...

— Ахъ, знаешь ли, Дуня! радостно перебила ее Маша — и по лицу ея стало замѣтно, что какая-то внезапная свѣтлая мысль озарила ея голову. — Знаешь, чтò? Тебѣ вѣдь не два же мѣста разомъ брать — дай мнѣ какое-нибудь!... Порекомендуй меня, скажи тамъ, что знаешь одну дѣвушку... Я пойду!

Дуня пришла въ изумленіе.

— Чтой-то вы, Марья Петровна! заговорила она: — ну, развѣ можно вамъ въ услуженіе идти? — Ни съ чѣмъ даже несообразно!

— Отчего же нельзя?

— Да вѣдь это только нашей сестрѣ впору, а вамъ-то и дѣло оно совсѣмъ непривычное, да и... неприлично даже.

— Пустяки, привыкну!... а неприличнаго — чтò же тутъ неприличнаго? На содержаньи приличнѣй, что ли! Нѣтъ, ей-богу, Дуня, рекомендуй меня! — сходи сегодня же; чѣмъ скорѣй, тѣмъ лучше Я ужь порѣшила.

Машѣ стало какъ-то свѣтлѣй и легче на душѣ: она увидѣла! что не все еще хорошее потеряно для нея въ жизни, что еще есть честный исходъ, есть трудъ — и мирное затишье снизошло въ ея душу. О князѣ и своей недавней жизни старалась она не думать, потому что при каждомъ мимолетномъ воспоминаніи, начинало болѣзненно занывать ея сердце, словно разбережонная рана.

Къ вечеру того же дня былъ приведенъ извощикъ, и на его неуклюжія дрожки уложила Дуня скромный и довольно тощій чемоданчикъ, тюфякъ, ущедренный отъ себя управляющимъ въ замѣнъ прежняго роскошно-эластичнаго, да подушку своей бывшей госпожи, которая, съ узелкомъ въ рукахъ, отправилась пѣшкомъ, вслѣдъ за извощикомъ, въ Коломну, къ Сухарному мосту, гдѣ ожидало её мѣсто. Дуня выговорила ей у хозяйки-чиновницы четыре рубля въ мѣсяцъ жалованья, «съ горячимъ», и теперь отправилась вмѣстѣ, для окончательнаго устройства ея въ новомъ и непривычномъ еще положеніи.

— Ну, Господи, благослови! на новую жизнь, да на добрую дорогу! перекрестилась Маша, выходя за ворота богатаго дома, гдѣ оставляла столько горечи, любви, воспоминаній—свѣтлыхъ, заманчивыхъ, и столько тяжелаго разочарованія...

XXVIII

У Дорота съ камеліями

Теперь мы попросимъ читателя вернуться нѣсколько назадъ, къ тому самому вечеру, когда князь Шадурскій уѣхалъ отъ Маши, объявивъ, что отправляется на пикникъ къ Бертѣ. Прежде чѣмъ катить къ Дороту, онъ завернулъ домой, чтобы послать за тройкой, и на столѣ у себя нашелъ небольшое письмо, съ городской почты:

«Сегодня, въ часъ ночи, васъ ждутъ въ маскарадѣ. Черное домино, въ волосахъ бѣлая, живая камелія».

«Маска»

«Мистификація, или нѣтъ?» подумалъ Шадурскій, взглядываясь въ почеркъ: «рука женская; но неизвѣстно, чья. Во всякомъ случаѣ, это интересно. Поѣду!» рѣшилъ онъ, и заблаговременно одѣлся въ надлежащую для маскарадовъ форму. «А пока, убить до часу время — къ Бертѣ».

У каждой почти изъ нашихъ извѣстныхъ камелій бываютъ въ жизни весьма сильные критическіе моменты, которые проходятъ и опять возвращаются, чуть не періодически.

Какая нибудь Клемансъ или Берта пользуется покровительствомъ какого нибудь златорогаго барана. Шкура и шерсть этого барана служатъ для нея, въ нѣкоторомъ родѣ, руномъ Язоновымъ, и потому Берта соритъ-себѣ деньгами напропалую, кидаетъ ихъ зря, туда и сюда, направо и налѣво, и справедливо думаетъ, что Колхидское дно неисчерпаемо и создано, дабы удовлетворять каждому ея минутному капризу и взбалмошной прихоти. Но вдругъ, какими нибудь судьбами, златоносный источникъ изсякаетъ: либо Язонъ находитъ Медею, либо руно подверглось черезчуръ уже неумѣренной стрижкѣ — и вотъ бѣдный цвѣтокъ безъ запаху остается безъ всякой поливки — Берта сидитъ на бобахъ.

Хорошо, если вмѣсто златорогаго барана подвернется на выручку златорогій быкъ, либо златохвостый боровъ—Берта спасена и снова соритъ-себѣ деньгами.

Но если не наклёвывается ни одно изъ подходящихъ животныхъ— положеніе Берты, черезъ нѣсколько времени, становится критическимъ до трагизма. Эти промежутки отъ одного покровителя до другого суть ея смутное время, періодъ междуцарствія, со всѣми его горестями и неудобствами. Берта въ унынiи — Берта въ безденежьи, Берта лишается своего кредита. Въ прихожей ея съ самаго ранняго утра появляются непріятныя ей личности: магазинщицы, модистки, каретники, комми изъ всевозможныхъ лавокъ, кредиторы, которые, во дни сытные, любезно открывали ей карманы, а во дни глада нелюбезно предъявляютъ ей заемныя письма. И весь этотъ тяжкій людъ назойливо пользетъ со счетами, съ требованіемъ уплаты. Берта атакована, Берта въ осадномъ положеніи и, ради требованій своего избалованнаго желудка, обыкновенно весьма прожорливаго, принуждена закладывать алчнымъ заимодавцамъ свои кружева, брильянты, серебро и все эти petits riens, которыхъ въ квартирѣ любой камеліи находится всегда вдесятеро болѣе, чѣмъ самыхъ обыденно-необходимыхъ вещей. Берта, наконецъ, въ отчаяніи: на нее представлено нѣсколько векселей—ей грозитъ даровое помѣщеніе, со столомъ, освѣщеніемъ и отопленіемъ въ 1-й ротѣ Измайловскаго полка, въ знаменитомъ Hôtel de Tarasoff, гдѣ для вящаго почета стоитъ форменная будка и къ будкѣ приставленъ гвардейскій часовой съ ружьемъ. Что тутъ дѣлать Бертѣ? какъ ей извернуться?

Мы, впрочемъ, взяли почти крайнюю грань злосчастнаго положенія Берты. Прежде чѣмъ достичь до сихъ красивыхъ степеней, она перепробуетъ разные способы спасенія. Тутъ пойдутъ въ ходъ и соблазнительныя жертвоприношенія кредиторамъ, буде который податливъ на этотъ счетъ—въ нѣкоторомъ родѣ сцены жены Пентефрія съ Іосифами цѣломудренными, и обращенія за участіемъ къ особамъ, въ родѣ генеральши фон-Шпильце; но самымъ простѣйшимъ способомъ, по большей части, являются пикники, которые служатъ также однимъ изъ средствъ для временной поддержки существованія камелій, вполнѣ ужь увядшихъ.

И вотъ, Берта заказываетъ въ литографіи билеты «для входа» на отличной гласированной, бристольской бумагѣ, за симъ ѣдетъ ко всѣмъ своимъ пріятельницамъ и каждой вручаетъ билетовъ по тридцати; пріятельницы, сознавая, что съ каждой изъ нихъ можетъ случиться, если уже не случалась, подобная же проруха — volens nollens, навязываютъ эти билеты пріятелямъ, пріятели—своимъ пріятелямъ, и т. д. Кромѣ того, Берта и сама не плошаетъ: она тоже раздаетъ ихъ своимъ пріятелямъ, а нѣкоторымъ, особенно тароватымъ, разсылаетъ при особенно милыхъ, любезныхъ и раздушенныхъ письмахъ. Цѣна билету отъ десяти до двадцати-пяти рублей; бываетъ и больше, но, впрочемъ, рѣдко. Двадцать-пять назначаютъ камеліи цвѣтущія; десять—камеліи увядшія.

И вотъ, такимъ образомъ, составляется пикникъ, съ ужиномъ и *столовыми* винами, обыкновенно у Огюста или Дорота. Ужинъ по большей части скверненькій, да и тотъ подается, изъ экономіи, часу въ пятомъ утра, когда бо̀льшая часть «гостей» поразъѣдется, или соскучившись томить свой апетитъ, упитается ранѣе, на свой собственный счетъ. А въ результатѣ у Берты, за покрытіемъ расходовъ—глядишь—оказывается въ карманѣ нѣсколько сотенъ. Все жь таки поддержка. У Берты, кромѣ того, въ пикникѣ кроется и другая, затаенная цѣль: можетъ быть, кто-нибудь плѣнится ею и — счастливый случай—междуцарствію конецъ, кредиторы долой, существованіе, до новаго критическаго момента, обезпечено.

Поэтому камеліи очень любятъ пикники, какъ средство выручающее.

Такого же свойства былъ и тотъ пикникъ, на который отправился Шадурскій.

Народу—ни особенно много, и ни особенно мало; впрочемъ, красовалось нѣсколько представительныхъ субъектовъ изъ гаменовъ и jeunesse dorée. Общество смѣшанное: кто заплатилъ двадцать-пять цѣлковыхъ, тотъ и правъ, ходи себѣ полнымъ хозяиномъ, и повѣствуй потомъ, что я-де былъ на пикникѣ съ княземъ N, съ графомъ X и т. д. Словомъ, все обстояло благополучно: десять музыкантовъ, что называется, «наяривали» изо всей мочи фолишонный кадриль; какой-то неуклюже-тучный господинъ бѣгалъ по всѣмъ угламъ ресторана, и навязывалъ всѣмъ и каждому, знакомымъ и незнакомымъ, билеты на слѣдующій, посторонній пикникъ; Эрмини стрѣляла своими громадными сѣрыми глазами; Жозефина какъ-то изловчалась сантиментальничать по-французски, что, дѣйствительно, штука довольно мудреная—француженка и сантиментальность! Жюли, ради своей далеко не первой молодости, брала болѣе на счетъ скромности; Луиза Ивановна на счетъ нѣмецкаго «ach!» и шампанскаго; Прозерпина отчаянно-ловко канканировала и подпѣвала французскіе куплеты, а одна французская актриса щеголяла своимъ знаніемъ русскаго языка, даже съ извѣстнаго рода пикантностью. Но вѣнецъ всего собранія является въ образѣ набѣленой, нарумяненой, и всячески раскрашенной кубышки, которая хотя тоже называется Прозерпиной, но соотвѣтственно весьма преклоннымъ лѣтамъ своимъ, извѣстна болѣе подъ именемъ бальзамированной египетской мумія, и если годится на роль Прозерпины, то развѣ только въ собачью комедію. И она тоже танцовала, и даже—о, ужасъ!—канканировала! Въ качествѣ танцующихъ кавалеровъ фигурировали болѣе кунчики, да вновь испеченные прапорщики. Однимъ словомъ—повторяемъ—все было какъ всегда, ничѣмъ не хуже, ничѣмъ не лучше—въ концѣ можно было, по обыкновенію, ожидать какого-нибудь легонькаго скандальчика, и все это обѣщало нѣкоторый дивидентъ злосчастной Бертѣ, которая, несмотря на свои кружева и брильянты, быть можетъ, взятые напрокатъ, по случаю спуска собственныхъ, никакъ не могла утерпѣть, чтобы попутно не бѣгать въ прихожую, гдѣ какая-то кривоглазая особа, нѣмецкой рассы, продавала и обирала входные билеты.

Въ одной изъ уютныхъ и довольно изящныхъ бесѣдокъ зимняго сада, освѣщенныхъ висячими шарами, засѣдала компанія блистательныхъ молодыхъ людей. Шампанскаго, судя по бутылкамъ, добросовѣстно истреблено изрядное количество. Разговоры шли «завсегдашніе», то-есть самые обыкновенные, которые, однако, надо полагать, отличаются для этихъ господъ особенною занимательностью и интересомъ, ибо тэма ихъ останется неизмѣнной во вѣки вѣковъ. Это—всегда одна и та же, постоянная и никогда ненадоѣдающая имъ тэма—гдѣ бы, и какъ бы они не сошлись—о лошадяхъ, женщинахъ, собакахъ и новомъ производствѣ. Надо удивляться только той необыкновенной общности, которая господствуетъ въ ихъ понятіяхъ, касательно этихъ разнородныхъ, но достолюбезныхъ предметовъ.

— Князь! здоровье твоей Мери! обратился къ Шадурскому его vis-à-vis, бѣлогубый юноша, протягивая черезъ столъ свой бокалъ, чтобы чокнуться.

— Это съ какой стати? спросилъ князь, притворяясь удивленнымъ.

— Эге!... да ты, братъ, тово... Ужь не ревнуешь ли? улыбнулись два-три человѣка сосѣдей.

— Я?... Да мнѣ-то что̀ ревновать ее?

— Ну, нѣтъ, такую женщину отчего жь и не поревновать немножко?... Да, кстати, что ее нигдѣ не видать? что̀ она у тебя подѣлываетъ?

— А кто ее знаетъ! сгримасничалъ князь.

— Вотъ мило! «кто знаетъ!» Да кому жь больше и знать, какъ не тебѣ?

— Я не знаю.

— Ха, ха, ха!... Почему?

— Да такъ... Очень просто: я ее бросилъ.

— Бросилъ! Это слово вмигъ облетѣло весь столъ и привлекло къ Шадурскому общее вниманіе:—бросилъ!... Ну, полно, любезный другъ, шутишь! усумнился одинъ изъ состольниковъ.

— Parole d'honneur, безъ всякихъ шутокъ... Да и что̀ жь тутъ особеннаго? съ достоинствомъ истинно-порядочнаго человѣка возразилъ Шадурскій.

— А, въ такомъ случаѣ, это—новость. Да, впрочемъ, за что же? помилуй!...

— А такъ-себѣ, просто бросилъ... Надоѣла.

— Но развѣ можетъ такая женщина надоѣсть? съ цинически-двусмысленной улыбкой вмѣшался бѣлогубый юноша, предлагавшій выпить за ея здоровье.

— Почему же нѣтъ? Какъ и всякая женщина.

— Однако, чѣмъ же она успѣла надоѣсть-то? Вѣдь это еще не слишкомъ древняя исторія?

— Черезчуръ ужь сахару много — тѣмъ и надоѣла, и потомъ— какъ-то странно держитъ себя... будто и въ самомъ дѣлѣ порядочная женщина, опять сгримасничалъ князь. — Ну, однако, вѣдь это скучно—тянуть все одну канитель, добавилъ онъ, для перемѣны разговора:—здоровье моей пѣгой кобылы, господа!

— Браво, князь! это — дѣло существенное! подхватила блистательная компанія, единодушно сдвигая стаканы.

— Кто хочетъ отправиться со мной въ маскарадъ?—сейчасъ ѣду, предложилъ Шадурскій, взглянувъ на часы.

— Да что тамъ дѣлать, въ маскарадѣ?

— А здѣсь-то что? Скука вездѣ одна и та же; но все-таки разнообразнѣе.

— Нѣтъ, ужь оставайся-ка лучше и ты съ нами! Стоитъ ли ѣздить?... Погибнемъ всѣ вмѣстѣ—«мертвые сраму не имутъ», такъ вѣдь это, кажется, говорится? уговаривали Шадурскаго.

— Нѣтъ, мнѣ нельзя... Я долженъ ѣхать, значительно возразилъ этотъ, и возразилъ съ цѣлью, чтобы дать понять, будто у него есть серьёзная интрига въ маскарадѣ.

По правдѣ же говоря, и весь разговоръ то затѣялъ онъ съ тѣмъ, что ужь больно хотѣлось похвастать анонимнымъ приглашеніемъ.

— Меня, кажется, сбираются мистифировать, съ иронической миной замѣтилъ онъ, помолчавъ минуту, и бросилъ на столъ вынутое изъ кармана письмо маски.

— Кто же это, не знаешь? полюбопытствовали нѣкоторые.

— Не знаю... Но по этому письму, по рукѣ, доберусь потомъ до правды!... Знаю только одно, que c'est une femme du monde, и

кажется, какъ будто Варинька Корсарова, съ самодовольной улыбкой сдѣлалъ онъ предположеніе.

— Ты думаешь?...

— Почти увѣренъ, сказалъ Шадурскій, и сказалъ такимъ тономъ, что каждый долженъ былъ понимать:—не *почти*, а *совсѣмъ* увѣренъ.

— Почему жь ты полагаешь, что это мистификація?

— Н...не знаю... можетъ быть, и нѣтъ, замялся онъ, и опять таки замялся такимъ образомъ, что выходило—*навѣрное* нѣтъ.

— Счастливецъ! вздохнулъ бѣлогубый:—желаю полнаго успѣха! И самъ остался необыкновенно доволенъ, потому что назавтра есть еще одна новая тэма для разговора, кромѣ лошадей и производства, о томъ, какъ Варинька Корсарова влюблена въ Шадурскаго, пишетъ ему письма, была вчера для него въ маскарадѣ и т. д.

Это—самый обыкновенный и самый невинный способъ пустить, ни съ того, ни съ сего, по вѣтру имя порядочной женщины — способъ, на который очень падки блистательные юноши подобнаго сорта.

XXIX

Маскарадъ Большаго театра

Самые популярные изъ петербургскихъ маскарадовъ, безспорно— маскарады Большого театра. Хотя, порою по всѣмъ заламъ атмосфера доходитъ тамъ почти до банной температуры, хотя въ столовой постоянно накурено табачищемъ до того, что нетолько съѣсть что либо, но и дохнуть невозможно, чтобы не закашляться до удушья, хотя, наконецъ, по всѣмъ лѣстницамъ распространяется вонь нестерпимая отъ жарящихся на кухнѣ рябчиковъ и бифстексовъ — однако, петербургская «публика» весьма усердствуетъ и благоволитъ къ театральнымъ маскарадамъ. Что въ нихъ особенно заманчиваго— не знаю; но театральный маскарадъ служитъ пунктомъ безразличнаго вмѣщенія всѣхъ кастъ и сословій. Вы думаете, напримѣръ, что эта великосвѣтская дама (блистающая на словахъ своей наивностью и цѣломудріемъ, относительно нѣкоторыхъ предметовъ житейской опытности), въ то время, какъ она съ любопытствомъ

спрашиваетъ, что̀ такое маскарадъ, и сожалѣетъ, что никогда не видала его — вы думаете, она и въ самомъ дѣлѣ никогда не бывала тамъ? Жестоко ошибаетесь: бываетъ, довольно часто, почти постоянно бываетъ; но ѣздитъ съ предосторожностями и фокусами: она нарочно подобрала себѣ для этого камеристку, одного роста съ собой, подобрала глупенькую великосвѣтскую пріятельницу, тоже подходящаго роста; и вотъ, втроемъ, отправляются въ то заманчивое мѣсто, о которомъ въ салонѣ обѣ говорятъ, что не имѣютъ ни малѣйшаго понятія. У камеристки въ запасѣ есть нѣсколько паръ перчатокъ и нѣсколько бантиковъ. Втроемъ появляются онѣ въ маскарадной залѣ, каждая порознь интригуетъ кого вздумается, потомъ сходятся всѣ трое въ женской уборной, чтобы перемѣниться своими домино и капюшонами, отстегнуть какой нибудь старый и пристегнуть новый бантикъ и затѣмъ — снова появиться, въ новомъ образѣ, среди маскарадной залы. Увы! теперь одной изъ нихъ нельзя уже притвориться невѣдѣніемъ маскарадныхъ таинствъ, потому что одна камелія, увидя ее въ ложѣ со своимъ покровителемъ, разыграла сцену ревности и учинила велій скандалъ, сорвавши въ корридорѣ маску съ лица простоватенькой пріятельницы цѣломудренной дамы.

Да, между этими Діанами большого свѣта выходятъ иногда въ маскарадныхъ ложахъ прелюбопытныя стычки, при чемъ каждая злобно и ревниво замѣчаетъ въ глазу другой малѣйшую соринку, а на завтра, безъ масокъ, обѣ будутъ казаться милѣйшими пріятельницами и удивляться одна передъ другой: что̀ это, дескать, наши мужья находятъ въ этихъ маскарадахъ, и увѣрять одна другую, что обѣ не имѣютъ о запретномъ плодѣ никакого понятія.

А эта престарѣлая матрона, считающая себѣ подъ шестьдесятъ лѣтъ, хотя и говоритъ, что ей только сорокъ? Глядя на нее въ гостиной и слушая тамъ ея рѣчи, вы останетесь убѣждены, что это — пирамида строгой, непоколебимой нравственности, а между тѣмъ эта пирамида, скрывши подъ капюшономъ и маской свое разрушающееся безобразіе, изъ темной литерной ложи высматриваетъ себѣ поклонниковъ, очень юныхъ и вполнѣ ей неизвѣстныхъ.

А этотъ почтенный старичокъ? Весь на пружинахъ, станъ въ корсетѣ, шея на подпоркахъ — дабы голова не качалась черезчуръ уже шибко, лицо и волосы раскрашены, одна нога въ гробу, другая — на маскарадномъ паркетѣ.

— Ваше превосходительство! живой покойникъ! вы зачѣмъ пожаловали сюда!

— Отдохнуть отъ важныхъ моихъ занятій.

Такъ, совершенно правильно: два часа ночи — самое удобное время для отдыха.

— Я, впрочемъ, больше для внука, какъ-бы въ оправданіе замѣчаетъ старичокъ.

А внукъ, должно быть, тоже больше для дѣдушки, который очень усердно и внимательно лорнируетъ проходящихъ подъ масками внучекъ.

И онъ постоянный посѣтитель маскарада!

Маскарадъ, какъ и все въ Петербургѣ, имѣетъ своихъ «завсегдатаевъ». Есть личности, которыхъ вы видите вездѣ и повсюду, а другія, которыхъ можно встрѣтить только въ маскарадѣ.

Вонъ необыкновенно важной, суровой походкой шагаетъ какой-то друзъ или маронитъ, въ національномъ своемъ костюмѣ, котораго извѣстнаго сорта маски называютъ «туркой». Онъ — первый изъ первыхъ посѣтителей маскарада: появляется добросовѣстно и буквально первымъ, какъ только еще начинаютъ зажигать лампы, и уходитъ послѣднимъ, когда онѣ уже потушены. Иные изъ завсегдатаевъ пріѣзжаютъ «для моціону», другіе — «для возбужденія аппетита», третьи — «для сна». чтобы задать гдѣ нибудь въ уголку добрую высыпку, четвертые — для исканія приключеній съ особами въ родѣ пирамиды; но пирамиды предпочитаютъ больше приключенія съ «восточными человѣками» изъ армянской породы, которые тоже расхаживаютъ по залѣ, въ пестрыхъ нарядахъ, и всѣми силами стремятся походить на «конвойныхъ князей», хотя сами только живутъ въ прикащикахъ по «азіатскимъ магазинамъ».

Вонъ слоняются изъ угла въ уголъ, по залѣ, по фойе и по всѣмъ корридорамъ, плюгавенькая рыжая личность въ очкахъ. Это— самый усерднѣйшій изъ всѣхъ усердныхъ фланеровъ петербургскихъ. Чуть происходитъ гдѣ нибудь чтеніе, концертъ, лекція, спектакль,

даже гулянье — можете быть твердо увѣрены, что вы встрѣтите этого господина. Надо удивляться только, какъ хватаетъ времени и терпѣнія, чтобы выработать себѣ такое исключительное вездѣсущіе, такъ-что просто кажется, будто оно для него священнѣйшій долгъ, въ нѣкоторомъ родѣ, обязанность служебная. Еслибы за ужиномъ онъ какъ нибудь случайно подсѣлъ къ вамъ, изъявя желаніе вступить въ разговоръ, то не вступайте и удалитесь благоразумно, потому — что̀ за охота говорить съ незнакомымъ человѣкомъ? — у васъ въ маскарадѣ, вѣроятно, и безъ того отыщется много своихъ собственныхъ, вполнѣ вамъ извѣстныхъ знакомыхъ.

Тутъ же, вѣчно окруженный масками, болтаетъ на всевозможныхъ языкахъ нашъ вѣчный жидъ, который съ незапамятныхъ временъ живетъ въ Петербургѣ и чуть ли не былъ графомъ Каліостро. Онъ не старѣется и не измѣняется нисколько: какимъ знавали его наши дѣды, а быть можетъ и внуки даже. Иные — богъ ихъ прости! — говорятъ, будто Антонъ Антонычъ Загорѣцкій былъ съ него списанъ Грибоѣдовымъ, другіе — называютъ папашей покойницы Юліи Пастраны.

Вотъ, между прочимъ, проходятъ не совсѣмъ-то твердой походкой мрачныя физіономіи нечесаннаго свойства, въ очкахъ, съ претензіей на изображеніе сатирическаго ума въ глазахъ и улыбкѣ. Они, вопреки принятому обыкновенію, пропагандируютъ сюртуки и пиджаки въ маскарадѣ, стало-быть, нѣкоторымъ образомъ, заявляютъ свою «борьбу съ предразсудками» и «приносятъ служеніе прогресу и обществу». У нѣкоторыхъ изъ нихъ, какъ выраженіе уже самой крайней борьбы съ рутиной, а быть можетъ и съ коньякомъ, изъ-подъ неопрятнаго жилета виднѣется полоса бѣлой сорочки. Это— жалкая литературная и «обличительная» тля, благодаря которой слово «литераторъ» сдѣлалось, въ послѣднее время, какимъ-то презрительно-ругательнымъ прозвищемъ.

Вонъ шныряетъ, словно гончая собака, достолюбезнѣйшая личность «всеобщаго дядички», котораго останавливаетъ на каждомъ шагу тысяча знакомыхъ и бездна масокъ. Нѣкоторыя изъ нихъ, ради нѣжности, называютъ его даже «тётичкой». Можете быть увѣрены, что къ концу маскарада «всеобщій дядичка» не успѣетъ еще раскланяться со всѣми своими знакомыми — до того ихъ много.

Но всѣхъ завсегдатаевъ не перечтешь. Изъ женщинъ можно отмѣтить одинъ только вновь народившійся маскарадный типъ, еще несуществовавшій въ ту эпоху конца пятидесятыхъ годовъ, къ которой пока еще относится теченіе событій нашего разсказа. Это— особаго рода маски, которыя называютъ себя, богъ ужь ихъ знаетъ съ какой стати, «нигилистками», хотя между заправскими нигилистками и ими такая же разница, какъ... Выбирайте сами любое сравненіе изъ двухъ совершенно противоположныхъ предметовъ. Тѣ, по крайней-мѣрѣ, несмотря на всѣ свои странности, думаютъ о чемъ нибудь серьёзномъ и добросовѣстно рѣжутъ себѣ лягушекъ, а эти всю свою жизненную задачу полагаютъ въ шныряньѣ по маскарадамъ, ходятъ тамъ съ «литераторами», но чуть завидятъ какого нибудь кавалергарда или гусара — опрометью бросаются къ нему и разсказываютъ о томъ, какъ имъ надоѣли литераторы, а когда сами онѣ надоѣдятъ кавалергарду, то удаляются подъ сѣнь «литераторовъ» и повѣствуютъ о томъ, какъ имъ надоѣли кавалергарды. Вообще эти маски чувствуютъ влеченье къ личностямъ двухъ означенныхъ категорій и убѣждены почему-то, что это именно и есть нигилизмъ.

Хотя въ нашемъ маскарадѣ и тѣни нѣтъ того, чѣмъ являются парижскіе Большой Оперы, но все-таки и это довольно пестрый калейдоскопъ. Огни люстръ, звуки музыки, бродящая толпа, пестрые наряды, впрочемъ, съ преобладаніемъ чернаго цвѣта, шляпы, мѣдныя каски, гусарскія венгерки, и бѣлые султаны уланскихъ шапокъ, фраки и эполеты, восточные человѣки и комическіе уроды въ эксцентричныхъ костюмахъ, въ которые наряжаютъ театральныхъ статистовъ, наконецъ, отчаянный канканъ, на поприщѣ котораго подвизаются личности обоего пола, составившія себѣ изъ этого танца китейскую спеціальность и получающія «за труды» по два рубля награжденія да бѣлыя перчатки въ придачу—все это представляетъ довольно живую, яркую и пеструю картину.

— Такъ ты дашь мѣсто моему мужу? слышится въ проходящей толпѣ.

— Я уже далъ тебѣ честное слово...

— Ну, если онъ будетъ опредѣленъ, въ слѣдующій маскарадъ— твоя...

И пара затирается толпою.

— Я тебя знаю!

— И я тебя знаю.

— А кто я такая?

— Маска, ищущая ужина.

Это одинъ варьянтъ маскарадныхъ разговоровъ; другой — нѣсколько короче, за то разнообразнѣе:

— Я тебя знаю.

— Знаешь? Ну, это не дѣлаетъ тебѣ чести. Убирайся.

За симъ можно самымъ невольнымъ образомъ подслушать множество фразъ, увѣреній и возгласовъ:

— Душка штатскій, дай рубль на память.

— Ты мнѣ не вѣрь, я подлецъ, право, подлецъ!

— Вѣрю.

— Знаешь, зачѣмъ у тебя усы въ струнку вытянуты?

— Зачѣмъ?

— Ты воображаешь, что они у тебя стрѣлы амура; только венгерская помада вѣдь некрѣпка: кончики гнутся и не пронзятъ ничьего сердца.

— А ты читала мой «Переулокъ»?

— Нѣтъ, не читала.

— Ну, стало-быть — дура... А ты прочти: это дикенсовская вещь, право. Всѣ въ восторгъ приходятъ, одобряютъ.

— А ты угостишь меня ужиномъ?

— Гм... Коньяку бы выпить...

— А у меня Пупковъ сегодня былъ.

— Съ чѣмъ тебя и поздравляю.

— Такъ ты меня любишь?

— Люблю... только ты привезешь мнѣ завтра браслетку?

— А я его обличу!

— Обличи, обличи, каналью! распечатай его на всѣ четыре корки... Коньячку не хочешь ли?

— Можно!

— И за сто зе это меня всѣ маски такъ любятъ?... такъ любятъ, такъ любятъ, сто право зе дазе усталъ! восторженно говоритъ Эммануилъ Захаровичъ Галкинъ, обращая свое свиное рыльце къ маскѣ съ длиннѣйшимъ и потому давно уже ободраннымъ шлейфомъ.

— Отчего? — оттого, что ты красавецъ.

— Ой! узе будто и красавецъ?... А впроцемъ, говорятъ, у меня славьянскій типъ...

— Совершенно славянскій.

И Эммануилъ Захаровичъ чуть не прыгаетъ отъ восторга.

— Дядичка, ты мнѣ дашь рольку въ любительскомъ спектаклѣ?

— А что̀ за рольку?

— Отчего ты такъ озабоченъ?

— Онъ жену поймалъ въ маскарадѣ.

— Гм... Поздравляю!

Перекрестный огонь подобныхъ фразъ и разговоровъ во всѣхъ концахъ неотразимо преслѣдуетъ наблюдателя, который подъ этими черными масками можетъ разгадать, по одной только интонаціи голоса, оттѣнки множества чувствъ, надеждъ, желаній, а паче всего пустоты съ самолюбивою суетою, одолѣвающихъ души человѣческія; можетъ догадаться о десяткахъ житейскихъ драмъ, комедій и водевилей, которые, то начинаются, то приходятъ къ развязкѣ подъ сводами этой большой маскарадной залы.

Къ князю Шадурскому подошла маска въ черномъ домино, съ бѣлой камеліей въ волосахъ, и съ молчаливой робостью взяла его подъ руку.

Князь пристально оглядывалъ ея фигуру, очеркъ лица, губъ и подбородка, ея глаза и кисть руки, стараясь по этимъ признакамъ догадаться, кто бы могла быть подошедшая къ нему особа.

По рукѣ ея замѣтно пробѣгала дрожь внутренняго волненія, большіе голубые глаза глядѣли изъ-подъ маски грустно и томно, а губы какъ-то нервически были сжаты. Она нисколько не походила на привычныхъ маскарадныхъ посѣтительницъ, бойкихъ искательницъ приключеній, и, казалось, была необыкновенно хороша собою.

Шадурскій никакъ не могъ догадаться, кто она такая.

— Мнѣ надо говорить съ тобою, начала маска нервнымъ голосомъ и почти шопотомъ отъ сильнаго волненія.

— Ну, говори, апатично отвѣтилъ Шадурскій.

— Дѣло слишкомъ серьезное... Я попрошу полнаго вниманія.

— Это довольно мудрено въ маскарадѣ.

— Мнѣ больше негдѣ говорить съ тобою.

«Начало весьма недурно и, кажется, обѣщаетъ», подумалъ князь съ самодовольной улыбкой, любуясь изящной рукою и стройной фигурой своей маски.

— Ты одна здѣсь? спросилъ онъ.

— Одна совершенно... Но не въ томъ дѣло... пойдемъ куда нибудь, гдѣ народу меньше.

— Въ такомъ случаѣ, уѣдемъ отсюда, предложилъ Шадурскій.

— Какъ уѣдемъ?... куда?... Ты забываешь, я должна говорить съ тобою, тревожно изумилась маска.

— Ну, вотъ и прекрасно! Поѣдемъ къ Дононъ, къ Борелю, къ Дюссо, куда хочешь; тамъ и поговоримъ. Я, кстати же, ѣсть хочу.

— Ты шутишь, а мое намѣреніе видѣть тебя вовсе не шуточное.

— Тѣмъ лучше. Я о серьёзныхъ дѣлахъ иначе не толкую, какъ за бутылкой шампанскаго.

— Князь!... Бога-ради... сказала маска умоляющимъ голосомъ, въ которомъ прорвалось затаенное страданіе.

— Я уже сказалъ. Не хочешь—какъ хочешь! категорически порѣшилъ онъ, высвобождая свою руку, съ явнымъ намѣреніемъ удалиться. Это былъ не болѣе какъ ловкій маневръ: онъ замѣтилъ по всему, что маска отъ него не отстанетъ, что во всемъ этомъ обстоятельствѣ кроется нѣчто большее, чѣмъ обыденная маскарадная интрижка и, какъ человѣкъ самодовольно-самолюбивый, заключилъ, что поступками несмѣлой маски явно руководитъ страсть къ его особѣ, и только одно неумѣнье, одна непривычка къ дѣлу и во

вость положенія заставляютъ ее относиться къ нему такимъ страннымъ, необычнымъ образомъ. А удобной минутой страсти и увлеченія какой бы то ни было хорошенькой женьщины почему же ему не воспользоваться? Онъ только по голосу старался догадаться, кто она: голосъ этотъ смутно казался ему какъ-будто знакомымъ. Князь ужь совсѣмъ-было высвободился отъ нея, намѣреваясь подойти къ случайно попавшейся на встрѣчу знакомой маскѣ, какъ вдругъ первая стремительно схватила его за руку.

— Я умоляю... останься!... Ты не уйдешь отъ меня, встревоженно заговорила она.

— Ты капризна, зѣвая замѣтилъ князь:—это скучно. Если хочешь говорить со мною, такъ поѣдемъ, а иначе прощай.

— Женщина остановилась въ раздумьѣ. Это была для нея минута мучительной, нравственной борьбы и тревоги.

Князь, отвернувшись, разсѣянно глядѣлъ по сторонамъ.

— Я согласна... ѣдемъ, едва слышно выговорила она черезъ силу, словно бы давилъ ее нестерпимый гнётъ, и обезсиленная этой минутной, но страшной борьбой, подала ему свою руку.

Шадурскій торжествовалъ, хотя и самъ бы себѣ не могъ дать отчета — почему именно онъ торжествуетъ.

XXX

Второе уголовное дѣло

Въ каретѣ она молча сидѣла, завернувшись въ салопъ, и не снимала маски. Князь насвистывалъ какой-то куплетецъ.

— Въ чемъ же дѣло? спросилъ онъ съ улыбкой, стараясь отыскать ея руки.

— Послѣ, коротко отвѣтила маска и завернулась еще крѣпче, стараясь этимъ движеньемъ положить предѣлъ его исканію.

— Ну, теперь мы можемъ говорить спокойно: сюда больше никто не войдетъ, сказалъ онъ, запирая на задвижку дверь, за ушедшимъ татарниомъ, который принесъ имъ, въ отдѣльный кабинетъ ресторана, ужинъ съ замороженной бутылкой вина въ серебряной вазѣ, и затопилъ каминъ.

Женщина сняла свою маску — и князь Шадурскій, при первомъ

взглядѣ на ея лицо, невольно отшатнулся нѣсколько въ сторону отъ неожиданнаго изумленія.

Передъ нимъ стояла Бероева.

Читатель помнитъ, конечно, что одна изъ невинныхъ шалостей молодого князя Шадурскаго выпала на долю Юліи Николаевны Бероевой, и была разыграна съ нею въ блестящемъ будуарѣ генеральши фон-Шпильце, при непосредственномъ участіи этой добродѣтельной особы, купно съ докторомъ Катцелемъ. Вѣроятно, незабыты также и тѣ печальныя послѣдствія, какія шалость эта принесла за собою Бероевой.

Мужъ ея предполагалъ вернуться изъ Сибири не ранѣе семи-восьми мѣсяцевъ, но подошли такія обстоятельства съ промысловыми дѣлами, что задержали его не на восьми, а на одиннадцати-мѣсячный срокъ.

Юлія Николаевна, всѣми силами скрывавшая отъ окружающихъ свою беременность, разрѣшилась мальчикомъ въ его отсутствіе. Она сказала домашнимъ, что ѣдетъ недѣли на двѣ въ Москву, къ роднымъ своимъ, оставила деньги на содержаніе дѣтей и дома, а сама отправилась къ одной изъ петербургскихъ акушерокъ. Мучительная боязнь подорвать свое тихое, невозмутимое счастье семейное, боязнь за странную участь ребёнка, если бы онъ остался непрошеннымъ членомъ въ семьѣ, и страхъ за то невольное сомнѣніе, которое, быть можетъ, затаенно заронилось бы въ душу такъ много любимаго ею мужа, не покинули ее и до послѣдней минуты. Вмѣстѣ съ ними не покинуло и разъ принятое рѣшеніе—скрыть всѣ эти грустныя обстоятельства отъ окружающихъ и прежде всего отъ мужа.

Ребёнокъ родился хилый, слабый—и боже мой, съ какою гнетущею тоскою посмотрѣла на него мать въ первую минуту облегченія послѣ родовъ, когда акушерка поднесла къ ней показать его! Какое-то странное, раздвоенное чувство проснулось въ ея наболѣлой душѣ: мрачная ненависть къ отцу, и теплое чувство материнской любви къ неповинному ни въ чемъ ребёнку.

— Что жь, какъ вы думаете, отправить бы намъ его поскорѣй въ воспитательный? по крайней-мѣрѣ, разомъ концы въ воду? предложила акушерка.

Бероева, до рожденія на свѣтъ младенца, и сама думала тоже. Она еще прежде совѣтовалась на этотъ счетъ съ нею и вполнѣ соглашалась на ея предложеніе, какъ на самое удобное и благоразумное средство. Но теперь, держа въ объятіяхъ своего ребенка, она какъ-то невольно испугалась, услыша эти слова, словно бы что кольнуло ее въ сердце какимъ-то болѣзненнымъ укоромъ — и почувствовала она, что любитъ этого несчастнаго мальчика столько же, какъ и другихъ своихъ дѣтей, что было бы безжалостно, безчеловѣчно бросить его почти на произволъ судьбы, на чужія холодныя руки, когда завезутъ да сдадутъ его въ какую-нибудь деревню на воспитаніе, да и рѣшимости и силъ не хватало подавить въ себѣ невольное материнское чувство, отказаться на вѣки отъ своего ребёнка, вычеркнуть его совсѣмъ изъ памяти и сердца. Душа щемила и надрывалась при одной этой мысли, и стало ей мучительно жаль теперь этого хилаго, болѣзненнаго мальчика.

— Нѣтъ... онъ такой слабенькій, нерѣшительно возразила она, глядя полными ожиданія глазами на повивальную бабку, потому что думала услышать ея согласіе.

— Такъ неужто жь оставлять его? спросила эта съ холоднымъ удивленіемъ.

— Да, я думаю, оставить лучше будетъ... Жаль вѣдь бѣдняжку.

— Ой, чтой-то вы! Есть чего жалѣть! Да и стоитъ ли оставлять-то? Вѣдь только была бы охота, а этихъ поросятъ всегда вдоволь будетъ, шутила акушерка.

— Нѣтъ, ужь я оставлю, положительно сказала Бероева:—больно бросить его, да и грѣхъ... Посмотрите, какой онъ больной.

— Да, кажись, не живучій.

— Такъ ужь если умирать ему—пусть лучше умретъ на своихъ глазахъ... Все же спокойнѣе, да и совѣсть не такъ мучить будетъ... Мы хоть сколько нибудь похолимъ его, говорила она, тихо цалуя младенца.

— Что жь, стало-быть, вы его съ собой брать хотите? спросила акушерка.

— Н-нѣтъ, раздумчиво проговорила больная: — еслибъ вы такъ добры были... я хотѣла бы лучше у васъ; вѣдь вы принимаете иногда на воспитаніе? Я платить вамъ буду.

— Отчего же не принять? Мы беремъ иногда, согласилась акушерка. — Двадцать-пять рублей въ мѣсяцъ; деньги помѣсячно впередъ: а уходъ за младенцемъ — ужь вы не безпокойтесь — хорошій будетъ, объявила она, употребивъ минуту на соображеніе: стоитъ ли игра свѣчъ, то-есть брать или отказаться?

Бероева пожала ей руку и отъ души поблагодарила за это согласіе.

Ребёнокъ остался у акушерки. Мать очень часто ходила и навѣщала его. Но надо было подумать, изъ какихъ доходовъ платить за воспитаніе? Гдѣ взять денегъ на это? Средства Бероевыхъ были довольно ограничены, да и нравственное чувство ея возмущалось при мысли употреблять деньги мужа на чуждаго ему ребёнка. Первый мѣсяцъ она попробовала заложить кое-какія вещицы свои и заплатила положенную сумму. Ей пришла мысль переводить статьи въ журналы. Она сдѣлала опытъ — переводъ оказался удаченъ, но ни одна редакція не согласилась принять его и отказала въ работѣ на будущее время, такъ-какъ эти «мѣста» бываютъ постоянно заняты своими собственными, привилегированными сотрудниками. Тогда Бероева обратилась къ моднымъ магазинамъ, прося у нихъ поденныхъ заказовъ — неудача и здѣсь. Одна только лавка въ гостинномъ дворѣ вошла съ нею въ соглашеніе, и за довольно скудную плату поручила доставлять на себя вышиваніе по батисту. Все это оказалось весьма ничтожно и далеко не пополняло необходимую на воспитаніе сумму.

Между тѣмъ пріѣхалъ мужъ, и съ его пріѣздомъ прекратились даже и тѣ скудные ресурсы, которые она могла заработывать въ его отсутствіе.

Акушерка, съ замедленіемъ платы, стала изъявлять сильное неудовольствіе и предупредила, что если дѣла пойдутъ такимъ образомъ, то она должна будетъ отказаться отъ воспитанія ребёнка и передастъ его съ рукъ на руки, по принадлежности—матери.

— Вѣдь у него же есть какой-нибудь отецъ, говорила она: — ну, отецъ и долженъ позаботиться, обезпечить...

Бероева разсказала ей все дѣло — сколько она помнила и понимала его.

— Вы видите, заключила она: — что я его совсѣмъ почти не знаю, а встрѣтиться съ нимъ мнѣ рѣшительно негдѣ.

— Ой, какъ «негдѣ»? Помилуйте!... Да вотъ вамъ первое мѣсто — хоть бы маскарадъ... Вамъ, конечно, лучше всего самолично переговорить съ нимъ. Напишите ему *бильеду*, назначьте *рандеву* — онъ и пріѣдетъ.

Бероева поразмыслила надъ этимъ предложеніемъ: оно показалось ей достаточно основательнымъ — и она рѣшилась.

Мужъ ея, вмѣстѣ съ Шиншѣевымъ, долженъ былъ ѣхать на нѣсколько дней въ Москву.

Отсутствіемъ его воспользовалась Юлія Николаевна и, дождавшись кануна перваго маскарада, написала Шадурскому извѣстную читателю записку.

— Я не стану корить васъ тѣмъ, что̀ вы со мною сдѣлали — богъ вамъ судья за это, говорила Бероева, съ полными слезъ глазами, объяснивъ уже князю всѣ обстоятельства: — но ребёнокъ.., онъ вѣдь вашъ... о немъ позаботиться надо.

— Пожалуй, я не прочь, равнодушно прожевалъ князь Владиміръ, запивая шампанскимъ котлету: — только съ условіемъ, прибавилъ онъ, съ двуслысленной усмѣшкой.

— Съ какимъ условіемъ? выпрямилась Бероева.

— Весьма легкимъ для женщины.

— Князь, говорите яснѣе, съ строгимъ достоинствомъ замѣтила она, сдерживая въ себѣ то чувство мрачной ненависти, которое почти неудержимо заклокотало въ ней, съ первой минуты маскарадной встрѣчи.

— Я говорю довольно ясно, отвѣтилъ онъ, наливая новой стаканъ.

— Въ такомъ случаѣ, мы не понимаемъ другъ друга.

— Ну, объяснимся еще яснѣе. Я обезпечу этого... ребёнка, говорилъ онъ съ прежнимъ невозмутимымъ равнодушіемъ элегантно «порядочнаго» человѣка, которое все болѣе и болѣе возмущало Бероеву: — что касается до васъ—вы вѣдь женщина небогатая, можете располагать мною, какъ вамъ угодно... А условіе—ваша благосклонность.

Глаза Бероевой какъ-то зловѣще засверкали. Раненая волчиха поднялась со своего мѣста.

— Ваше сіятельство, произнесла она тѣмъ нервно-звучнымъ голо-

сомъ, которымъ особенно ярко высказывается у человѣка чувство глубочайшаго презрѣнія:—все, сказанное вами, до такой степени низко и грязно, что мнѣ гадко даже дышать съ вами однимъ воздухомъ.

Она сдѣлала движеніе къ двери. Шадурскій остановилъ ее.

— Ne vous échauffez pas, madame, сказалъ онъ, ставъ между ею и дверью: — я, право, не понимаю, что̀ же тутъ особенно оскорбительнаго?...

Онъ, дѣйствительно, не постигалъ, чѣмъ можетъ оскорбляться женщина, непринадлежащая къ его избранному сословію, жена какого-то господина, служащаго на конторѣ у какого-нибудь Шиншѣева.

— Впрочемъ, прибавилъ Шадурскій, повинно наклоняя свою голову: — если я сказалъ что либо непріятное, беру назадъ свои слова и приношу тысячу извиненій... Но послушайте же, продолжалъ онъ, дѣлая поворотъ на прежнюю тэму, потому что чудная красота стоявшей передъ нимъ женщины распалила его голову, и безъ того уже сильно разгоряченую виномъ: онъ не могъ теперь уже давать себѣ яснаго отчета ни въ словахъ, ни въ поступкахъ. Винные пары сняли ту гладенькую и чистенькую оболочку порядочности и сдержанности, которая такъ присуща людямъ этой категоріи, въ трезвомъ ихъ состояніи, и по большей части, покидаетъ ихъ въ состояніи, противоположномъ трезвости, обнажая всю грубую, животненную сторону ихъ натуры, отмѣнно полированной, но совсѣмъ неразвитой человѣчески.

— Послушайте, говорилъ онъ:—вы не совсѣмъ правы... Если я соглашаюсь обезпечить ребёнка, то вѣдь только для васъ... Почемъ же я знаю, мой ли это ребёнокъ? И кто меня убѣдитъ въ этомъ?

— Подлецъ! задыхающимся отъ бѣшенства шопотомъ сказала ему Бероева, и сдѣлала новое рѣшительное движеніе къ двери.

Шадурскій опять загородилъ дорогу.

— Подлецъ? повторилъ онъ съ улыбкой. — А знаете-ли, чѣмъ каждый порядочный человѣкъ обязанъ отвѣтить хорошенькой женщинѣ, если она дастъ ему пощочину или скажетъ подлеца. Онъ долженъ обнять и поцаловать ее тутъ же... Pardon, madame: noblesse oblige! говорилъ князь, внезапно схвативъ ее въ свои объятія и цалуя въ лицо.

Бероева вырвалась и закричала.

Шадурскій, вконецъ уже опьяненный этимъ близкимъ прикосновеніемъ къ женщинѣ, позабылъ все, и съ помутившимися отъ хмѣльной страсти глазами, бросился на нее снова.

Вся старая ненависть и всѣ тѣ чувства, которыя возбудили въ ней его слова, вмѣстѣ съ самохраненіемъ и оскорбленнымъ достоинствомъ честной женщины — съ новой и стремительной силой поднялись въ ней въ это мгновенье. Внѣ-себя, схватила она со стола серебряную вилку — и съ то время, какъ Шадурскій снова успѣлъ уже поймать ее въ свои объятія, Бероева съ неимовѣрной для женской руки силой, вонзила ему вилку въ горло и потомъ въ грудь.

Князь Владиміръ, съ отчаяннымъ крикомъ, повалился на полъ. Кровь ручьями брызнула изъ раны.

Въ ту же минуту, сильнымъ натискомъ съ наружной стороны, задвижка отскочила, и дверь отворилась, къ ужасу и переполоху вбѣжавшихъ на крикъ людей.

Бероеву застали стоящею посреди комнаты, съ окровавленной вилкой въ рукѣ. Она вся дрожала и безсознательно водила кругомъ мутными, но грозными глазами. Кисть руки такъ конвульсивно-крѣпко держала свое оружіе, что казалось, будто закоченѣла въ этомъ положеніи.

Тотчасъ же явилась полиція.

Когда Шадурскаго подняли съ пола и Бероева увидѣла кровь — мгновенный отблескъ сознанія и какой-то гнетущей мысли тоскливо мелькнулъ въ ея взорахъ. Она выронила вилку, зашаталась и упала безъ чувствъ.

Въ то время, какъ раненаго Шадурскаго положили въ карету, чтобъ отвезти домой, Бероева была уже арестована.

КОНЕЦЪ ПЕРВАГО ТОМА

ОГЛАВЛЕНІЕ ПЕРВАГО ТОМА.

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ.

Стран.

I. Корзинка съ цвѣтами 3
II. Мать. 7
III. Тайный пріютъ 10
IV. Ударъ фамильной гордости 15
V. Княгиня Анна 20
VI. Горничная княгини 29
VII. Послѣдняя воля княжны Анны 33
VIII. Литографскій ученикъ 36
IX. Ерши 39
X. Квартира для трынки и темныхъ глазъ 59
XI. Капитанъ золотой роты 73
XII. Ключи старой княгини 82
XIII. Отомстила 84
XIV. Ближайшія послѣдствія покражи 87
XV. Генеральша фон-Шпильце 89
XVI. Рыцарь безъ страха и упрека 94
XVII. Двѣ пощочины 102
XVIII. Князь и княгиня Шадурскіе 104
XIX. Неожиданное и не совсѣмъ пріятное послѣдствіе второй пощочины 110
XX. Ареопагъ непогрѣшимыхъ 118
XXI. Пробужденіе 120
XXII. Дѣти 122
XXIII. Великосвѣтская Діана 123

ЧАСТЬ ВТОРАЯ.

I. Изъ-за границы 129
II. Старый другъ — лучше новыхъ двухъ 134
III. Промежутокъ 143
IV. Князь Владиміръ Шадурскій 149
V. Раутъ у г. Шиншѣева 156
VI. Ключи старой княгини 175
VII. «На чашку кофію» 179
VIII. Неожиданный визитъ 187
IX. Выигранное пари 190
X. Счастливый исходъ 195

Стран.
XI. Два невинные подарка 198
XII. Практическіе дѣятели 202
XIII. Исповѣдникъ 206
XIV. Назидательныя бесѣды 211
XV. Искушеніе 214

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ.

I. У Спаса на Сѣнной 221
II. Перекусочный подвалъ 233
III. Полторацкій 237
IV. Сухаревка 242
V. Патріархъ мазовъ 249
VI. Нищій богачъ 257
VII. Благодѣтель рода человѣческаго 273
VIII. Иванъ Верссовъ 283
IX. Чающіе движенія воды 290
X. Голову на рукомойникъ 296
XI. Фига 300
XII. Облава 308
XIII. Дознаніе и актъ на мѣстѣ 316
XIV. Новая героиня 322
XV. Идиллическія страны Петербурга 325
XVI. Благія намѣренія 339
XVII. Въ театрѣ 347
XVIII. Страна фантастическая, но безъ примѣси идиллій 350
XIX. Конвенція 355
XX. На будершафтъ 358
XXI. Содержанка 365
XXII. Особый міровъ 375
XXIII. Первое разочарованіе 386
XXIV. Кинникъ 389
XXV. 14-е отдѣленіе Обуховской больницы 396
XXVI. Аукціонъ 402
XXVII. На новую дорогу 412
XXVIII. У Дорота съ камеліями 415
XXIX. Маскарадъ Большаго театра 421
XXX. Второе уголовное дѣло 429

ПЕТЕРБУРГСКІЯ ТРУЩОБЫ.

ТОМЪ II.

ПЕТЕРБУРГСКІЯ

ТРУЩОБЫ.

КНИГА О СЫТЫХЪ И ГОЛОДНЫХЪ.

РОМАНЪ ВЪ ШЕСТИ ЧАСТЯХЪ

ВСЕВОЛОДА КРЕСТОВСКАГО.

ТОМЪ II.

Изданіе книгопродавца-типографа Маврикія Осиповича Вольфа.

САНКТПЕТЕРБУРГЪ, въ Гостинномъ Дворѣ, №№ 18, 19 и 20.

МОСКВА, на Кузнецкомъ мосту, д. Рудакова.

1867.

Печатано въ типографіи Министерства Внутреннихъ Дѣлъ.

ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ

ЗАКЛЮЧЕННИКИ

I

Дядинъ домъ [1])

Между петербургскими каналами, есть одинъ, называемый Крюковымъ. Отличительныхъ достоинствъ не имѣетъ, если не считать достоинствомъ его ноголомную набережную. Каждый добросовѣстный петербуржецъ, движимый чувствами человѣколюбія, конечно, не посовѣтуетъ ни одному вновь-пріѣзжему прогуляться темнымъ вечеромъ по этой гранитной набережной, если только, изъ личнаго мщенія, не пожелаетъ, чтобы тотъ свернулъ себѣ шею. Эта достопримѣчательная набережная имѣетъ столь своехарактерный видъ, что любой человѣкъ, незнакомый съ геологическими свойствами петербургской формаціи, ни на минуту не усумнится отнести Крюкову набережную къ плачевнымъ слѣдамъ недавняго землетрясенія— дотого осѣлись въ глубь, разщелились и повыдались торчащими косяками ея массивныя гранитныя плиты. Это—память 7-го ноября 1824 года [2]).

Крюковъ каналъ служитъ границей между нарядной, показной частью города и тою особенной стороной, которая извѣстна подъ именемъ Коломны.

---

[1]) Первыя одиннадцать главъ четвертой части не заключаютъ въ себѣ исключительно романическаго интереса. Это — такъ сказать, этнографическій очеркъ быта и жизни петербургской тюрьмы. Такое же значеніе отчасти имѣютъ и тѣ главы, которыя впослѣдствіи коснутся женскаго отдѣленія тюремнаго замка. Дядинымъ домомъ, на воровскомъ argot, называется тюрьма; сидѣть у дяди на поруках — сидѣть въ тюремномъ заключеніи.

[2]) Наводненіе.

Морскіе солдаты, да ластовые рабочіе, часто подъ хмѣлькомъ; лабазники изъ Литовскаго рынка, которые прутъ передъ собою двухколесныя ручныя тележки, съ кладью; театральныя мастодонты-колымаги, развозящія съ репетицій балетныхъ статистовъ и оперныхъ хористокъ; мелкій чиновничекъ съ кокардой на фуражкѣ, гурьба гимназистовъ, гулящій «майстровой человѣкъ» да фабричный съ Бердова завода—вотъ характерные признаки уличнаго движенія Коломны. Впрочемъ, и здѣсь есть обитатели весьма комфортабельныхъ бельэтажей, даже красуются пять-шесть барскихъ домовъ, напоминающихъ «вѣкъ нынѣшній и вѣкъ минувшій», но главный-то слой населенія все-таки составляютъ тѣ классы, представителей которыхъ мы только-что показали читателю.

Чуть перевалитесь вы черезъ любой изъ горбатыхъ, неуклюжихъ мостовъ Крюкова канала, особенно вечеромъ, какъ разомъ почувствуете, что васъ охватываетъ иной міръ, отличный отъ того, который оставили вы за собою. Вы ѣдете по Офицерской: улица узкая, сплошныя каменныя грамады, въ окнахъ газъ, бездна магазинчиковъ и лавочекъ, по которымъ сразу видно торговлю средней руки; посерединѣ улицы то и дѣло снуютъ извощики, по нешироким тротуарамъ еще чаще сталкивается озабоченный, разночинный народъ—и это вѣчное движеніе ясно говоритъ вамъ про близость къ городскому центру, про жизнь дѣятельную, всепоглощающую, промышленную—однимъ словомъ, про жизнь большого, многолюднаго города. Но вотъ узкая улица съ ея шумомъ и суетней впала въ окраину громадной площади. Тутъ движеніе еще сильнѣй, еще быстрѣе. Огни газовыхъ фонарей пошли еще чаще. Ярко освѣщенные подъѣзды и еще ярче залитые свѣтомъ ряды оконъ двухъ огромныхъ театровъ, быстрый топотъ рысаковъ, отовсюду торопливое громыханіе каретъ, ряды экипажей, «берегись» и «пади» кучеровъ да начальственный крикъ жандармовъ — все говоритъ вамъ, что элегантный Петербургъ торопится убивать свое многообильное праздностью время. Но чуть перевалились вы за горбъ литовскаго моста, какъ вдругъ запахло не центромъ, а близостью къ окраинѣ города. Офицерская улица, кажись, и та же—да не та. Пошла она гораздо шире, просторнѣе; дома въ общей массѣ менѣе высоки и громадны; инде виднѣются сады, инде постройки деревянныя. Свѣту—вдесятеро

меньше, народу тоже, и нѣтъ ни этого снованья, ни этого грохоту экипажей.

Въ самомъ дѣлѣ, какой рѣзкій контрастъ! Тамъ, за вами — шумъ и движеніе, блескъ огней и блескъ суетливой жизни, балетъ и опера, всѣ признаки веселья и праздности; а здѣсь — тишина, и мракъ, и безлюдье; здѣсь первое, что́ встрѣчаетъ васъ за мостомъ — это казенно-угрюмое зданіе городской тюрьмы, которую вечеромъ, подъѣзжая къ одному изъ двухъ театровъ, и не замѣтите вы въ окутавшемъ ее мракѣ.

Если бы кто вздумалъ вообразить себѣ нашу тюрьму чѣмъ-нибудь въ родѣ Нюгетъ или Бастильи, тотъ жестоко бы ошибся. Внѣшность ея совсѣмъ не носитъ на себѣ того грандіозно-мрачнаго характера, который вѣетъ воспоминаніями и стариной, этимъ мхомъ и плесенью исторіи, этою поэзіей мрачныхъ легендъ былого времени и эпизодами картинныхъ страданій. Наша тюрьма, напротивъ, отличается сѣро-казеннымъ, казарменнымъ колоритомъ обыденно-утвержденнаго образца. Такъ и хочется сказать, что «все, молъ, обстоитъ благополучно» — при взглядѣ на эти безконечно-скучныя прямыя линіи, напоминающія своею правильностью одну только отчетистую правильность ружейныхъ темповъ «разъ-два»! Но знаете ли, мнѣ кажется, что впечатлѣніе нашей тюрьмы чуть ли не будетъ еще потяжелѣе впечатлѣнія, производимаго лондонскимъ Нюгетъ, или какой-либо другой изъ средневѣковыхъ европейскихъ тюремъ. Тамъ — эта архитектура, эти воспоминанія наводятъ на васъ хотя и тяжелое, но все-таки, благодаря нѣкоторымъ изъ картинныхъ историческихъ эпизодовъ, своего рода поэтическое впечатлѣніе. Здѣсь же ничего подобнаго нѣтъ, и вотъ именно эта-то самая казенность и давитъ вашу душу какимъ-то тягуче-скучнымъ гнетомъ.

Неправильный и не особенно высокій четырехугольникъ, нѣчто въ родѣ каменнаго ящика, съ выступающими пузатымъ полукругомъ и угольными башнями, низкими, неуклюжими — зданіе, выкрашенное въ ровато-бѣлою краскою; ряды черныхъ оконъ за толстыми, желѣзными рѣшотками; — внизу — форменныя будки и апатично бродящіе часовые — таковъ наружный видъ главной петербургской тюрьмы. Только два ангела съ крестомъ, на фронтонѣ передняго фаса, нѣсколько разнообразятъ этотъ обще-казенный, скучный видъ всего

зданія. Въ передней башнѣ, выходящей къ литовскому мосту, вдѣланы низкія и тяжелыя ворота, обокъ съ ними—образъ Спасителя въ темницѣ и въ узахъ, да нѣсколько кружекъ «для арестантовъ, христа-ради», и надъ воротами—черная доска съ надписью: «тюремный замокъ». Въ народѣ, впрочемъ, онъ слыветъ исключительно подъ именемъ «литовскаго замка»—названіе, данное отъ сосѣдства съ литовскимъ рынкомъ.

Надъ домомъ вѣчнаго позора
Стоятъ два ангела съ крестомъ,
И часовые для дозора
Внизу съ заряженнымъ ружьемъ.
Сѣро, мрачно... Въ окнѣ рѣшетка,
За нею — воля впереди —
Но звукъ шаговъ считаешь четко,
То будто звукъ: «сиди, сиди, сиди»!...

Такъ когда-то сложилъ стихи про тюремный замокъ одинъ изъ арестантовъ, и стихи эти сдѣлались весьма популярны въ средѣ заключенниковъ.

Около трехъ часовъ пополудни со скрыпомъ растворились ворота литовскаго замка, за ними завизжали на несмазанныхъ петляхъ ворота внутреннія—желѣзныя, рѣшетчатыя—и въ низкую, полутемную подворотню въѣхалъ запряженный понурою клячей четырехколесный, черный ящикъ съ нумеромъ, окруженный шестью штыками военнаго эскорта. Не успѣлъ арестантъ въ послѣдній разъ черезъ маленькое рѣшетчатое оконце ящика бросить взоръ «на волю», то-есть на міръ затюремный, на эту жизнь городскую, какъ ворота снова захлопнулись, съ грохотомъ желѣзнаго засова—и въ сводчатой подворотнѣ стало еще темнѣе.

Конвойный унтер-офицеръ отомкнулъ желѣзную задвижку въ дверцѣ ящика и крикнулъ:

— Живѣе, вы!... Маршъ, въ контору!

Изъ двери вылѣзли три-четыре человѣка, въ безобразныхъ сѣрыхъ шапкахъ, а одинъ — въ своемъ «вольномъ» партикулярномъ платьѣ.

Пока тюремный служитель, извѣстный въ замкѣ подъ именемъ Подворотни, осматривалъ внутренность фургона и ощупывалъ воз-

ницу: нѣтъ ли чего запрещенаго, въ родѣ картъ, табаку или водки—военный эскортъ повелъ пріѣхавшихъ арестантовъ по звучному корридору.

— Отвести на второй этажъ [1])! распорядился письмоводитель тюремной конторы, прочтя бумагу, при которой былъ присланъ молодой арестантъ въ «вольномъ» платьѣ.

— При себѣ ничего нѣтъ? отнесся онъ къ послѣднему.

— Ничего.

— Осмотрѣть! кивнулъ письмоводитель.

Одинъ изъ сторожей выворотилъ карманы арестанта и приказалъ разуть ему ноги. Оказались: карандашъ, клочка четыре бумажки, какая-то веревочка и въ старомъ портмоне рублевая ассигнація, да копѣекъ шесть мѣди.

Всѣ эти вещи, за исключеніемъ мѣдяковъ, были записаны и оставлены въ конторѣ [2]).

Дежурный повелъ арестанта черезъ главный тюремный дворъ, посерединѣ котораго стоитъ голубятня, поставленная на собственный счетъ однимъ изъ «благородныхъ» подсудимыхъ, ради общаго развлеченія заключенныхъ. Кое-гдѣ, за рѣшотками оконъ виднѣются ихъ невеселыя лица. Вокругъ двора идетъ бревенчатый палисадъ, болѣе двухъ сажень вышиною; за нимъ разбиты маленькіе садики, отгороженные одинъ отъ другого точно такимъ же высокимъ палисадомъ, и служащіе единственнымъ офиціальнымъ развлеченіемъ арестантовъ. То тамъ, то сямъ, въ разныхъ концахъ огромнаго двора прохаживались часовые съ ружьями, а «первое частное» съ

---

[1]) На второмъ этажѣ тюремнаго замка помѣщаются камеры *татебнаго отдѣленія*, куда сажаютъ *по тяжкимъ преступленіямъ*. Первый этажъ занятъ бродяжнымъ отдѣленіемъ, тамъ же и татаре. Третій этажъ — *по подозрѣнію* въ воровствѣ, мошенничествѣ и кражѣ; четвертый — по воровству, мошенничеству и кражѣ. Второй, третій и четвертый слывутъ въ тюрьмѣ просто подъ именемъ этажей.

[2]) Деньги, менѣе рубля, отдаются на руки арестанту, съ рубля же отбираются въ конторѣ. Арестантъ еженедѣльно можетъ брать нѣкоторую сумму на свои житейскія потребности, на чай, булку и т. п. Мелкія вещи, цѣнныя или ничего не стоющія, отбираются сполна, особенно бумага чистая, хоть будь это простой клочокъ. Почему, для чего послѣдняя строгость? — неизвѣстно, тѣмъ болѣе, что по камерамъ бумага все-таки есть, и иногда въ изрядномъ количествѣ.

красными воротниками на сѣрыхъ пиджакахъ, пилило дрова и таскало ихъ на всю тюрьму, по камерамъ [1]).

— Деньги есть? вполголоса обратился «провожатый» къ своему спутнику, покосясь на него въ полоборота, что̀ явно обозначало интимно-секретное свойство вопроса.

— Отобрали, коротко отвѣчалъ арестантъ.

— Экой дурень! И чему васъ, право, учатъ въ этихъ сибиркахъ по частямъ?... Отобрали!... А того не знаетъ, что на экое дѣло мутузка [2]) есть: замоталъ въ нее сигнацыю да и обвяжи поясомъ

---

[1]) Отдѣленія отличаются по воротникамъ: татебное отдѣленіе — черный воротникъ. По этому случаю татебныхъ называютъ «егарями». По подозрѣнію въ воровствѣ — синій; по воровству — желтый. Первыхъ зовутъ «гарнизономъ», послѣднихъ — «уланами».

1-е частное отдѣленіе, куда забираютъ попреимуществу безпаспортныхъ, изъ Вяземскаго дома и т. п., носитъ красные воротники. Военнаго названія не имѣетъ, но, какъ видно изъ одной арестантской рукописи, находящейся у автора, прозывается «мрачнымъ свѣтомъ».

2-е частное отдѣленіе — малиновый воротникъ, извѣстно подъ именемъ «стараго благороднаго»; называютъ его также «безхлопотнымъ». Сидятъ тамъ иностранцы, купцы, мѣщане и даже крестьяне случаются; но попасть на это отдѣленіе преимущественно можно по протекціи, потому что со втораго частнаго не гоняютъ ни на какую работу и позволяютъ ходить въ собственномъ «вольномъ» платьѣ.

Бродяжное — воротникъ зелёный — «чобъ, значитъ, вольныя поля да лѣса напоминало», говорятъ арестанты.

Подсудимое отдѣленіе — сѣрый; прозывается, по той же рукописи, «халовымъ отродьемъ», потому что изъ этого отдѣленія назначаются люди въ прислугу на благородное и секретное отдѣленія, въ баньщики, кашевары, портные, хлѣбопёки, сопожники.

На благородномъ отдѣленіи — черные пиджаки съ чернымъ отложнымъ воротникомъ; допускается также и свой собственный костюмъ. Тюремная работа заключается въ качаньѣ воды да въ пилкѣ и разносѣ дровъ. Третій и четвертый этажи таскаютъ сами на себя; для прочихъ же отдѣленій — эту обязанность исполняетъ первое частное. А работаютъ первые два «по перемѣнкамъ»: сегодня 4-й, напримѣръ, воду качаетъ, а 3-й пилитъ дрова; завтра наоборотъ. Этимъ только и разнообразится работа по замку.

[2]) Мутузка — поясокъ, которымъ служитъ веревочка тоненькая. Есть два способа протаскивать съ собою деньги. О наиболѣе употребительномъ, благодаря его оригинальности, нѣтъ никакой возможности сказать что-либо не въ строго-спеціальномъ трактатѣ. Второй же способъ представляетъ именно мутузка или мутузо̀къ. Вокругъ нея свертывается ассигнація и заматывается ниткою. Впрочемъ для арестантовъ невыгодно брать съ собой болѣе крупныя деньги, потому денежное воровство сильно развито между арестантами и часто соединяется ка-

по тѣлу: тамъ не щупаютъ!... Дурень! право дурень! А сколько денегъ-то? спросилъ онъ еще тише.

— Рубль... да шесть копѣекъ еще—этихъ не взяли.

— Фю! презрительно свиснулъ солдатъ: — шесть копѣекъ! Туды же деньгами величаетъ!... Ну, да богъ съ тобой, давай ужь и ихъ что-ли сюда, а я словцо такое замолвлю за тебя приставнику.

Арестантъ отдалъ, не прекословя.

— Живѣе, маршъ! прикрикнулъ дежурный, подымаясь съ нимъ по лѣстницѣ, на площадкѣ которой у дверей налѣво виднѣлась каска и штыкъ часоваго—спеціальная привиллегія татебнаго отдѣленія, куда сажаютъ «по тяжкимъ преступленіямъ», и тутъ сдалъ приведеннаго съ рукъ на руки приставнику, дюжему солдату, съ чорными погонами и въ высокой фуражкѣ. Корридорный, по приказу послѣдняго, выкликнулъ изъ камеры старосту, «сидѣлаго человѣка» съ широкими калмыцкими скулами, и поздравилъ его «съ новымъ жильцомъ». Приставникъ показалъ старостѣ «новичка», переговорилъ гдѣ поспособнѣе посадить его, то-есть въ какомъ нумерѣ имѣется незанятая койка и, получивъ надлежащее свѣдѣніе, вмѣстѣ съ «сидѣлымъ человѣкомъ» провелъ «новаго жильца» по корридору, въ дверь небольшой конурки, которая зовется «приставницкой». Сюда же былъ «выкликанъ» и «дневальный» той камеры, гдѣ предполагалось помѣстить приведеннаго [1]). Въ приставницкой

же съ открытымъ грабежомъ. Былъ случай, что одинъ, съ помощью нецензурнаго способа, протащилъ съ собою на этажъ триста рублей и зашилъ ихъ тамъ въ жилетку. Объ этомъ провѣдали трое арестантовъ и подкараулили его однажды въ корридорѣ, при выходѣ изъ ретираднаго мѣста. Они кинулились на него, двое схватили за руки, третій — сорвалъ жилетку и затѣмъ давши ему тумакъ въ голову, отъ котораго тотъ упалъ безъ чувствъ, грабители успѣли скрыть жилетку. Все это дѣлается на глазахъ приставниковъ и корридорныхъ, которыхъ ни въ грошъ не ставятъ арестанты, и которые, стоя частенько въ сообщей дѣлежкѣ, находятъ, что такая кража весьма даже законное явленіе, «потому не бери съ собой много денегъ, коли начальство запретило». Ну, опытные арестанты и точно не берутъ, а не то прячутъ такъ ловко и осторожно чтобъ ужь никто не догадался.

[1]) На каждое отдѣленіе полагается по одному приставнику, который играетъ роль гувернёра при арестантахъ: присутствуетъ при ихъ обѣдѣ, два раза въ сутки ходитъ въ лавочку за припасами для желающихъ; выгоняетъ на работу, наблюдаетъ въ реакреаціонное время, на прогулкѣ по садикамъ, по средамъ и пятницамъ сопровождаетъ въ контору желающихъ писать о себѣ прошенія. У

обыкновенно совершается переодѣваніе «въ новые виды», то-есть первое посвѣщеніе въ жизнь заключенную. Новичка заставили снять съ себя вольное платье съ бѣльемъ, а взамѣнъ выдали костюмъ арестантскій.

Черезъ минуту молодой человѣкъ очутился въ толстѣйшей дерюгѣ-сорочкѣ, сѣрыхъ штанахъ грубаго сукна и въ такомъ же пиджакѣ.

— Вотъ, ты, стало быть, въ егаря поступилъ, замѣтилъ солдатъ, указавъ на черный воротникъ пиджака, и кидая ему плетеныя лапти съ неуклюжею сѣрою шапкой. — Береги вещи, потому онѣ казенныя: взыскивать будутъ. Видишь?

И онъ ткнулъ пальцемъ на нумеръ и клеймо, выставленное на каждой принадлежности костюма: «РАЗ. Т. З.».

— Это значитъ, ты — «разночинецъ тюремнаго замка» — такъ оно и обозначено. Понимаешь? пояснилъ дневальный. — А теперь пойдемъ на «татебное», къ милымъ пріятелямъ, познакомиться.

За арестантомъ затворилась дверь предназначенной для него камеры—и хриплое щелканье запираемаго замка возвѣстило ему окончательное вступленіе въ міръ новый, своебытный, оригинальный и мало кому знакомый «на волѣ».

У вновь приведеннаго помутилось въ глазахъ: его ошибло этою духотою и вонью, этимъ прокисло-затхлымъ и спертымъ воздухомъ тюремной камеры. Дневальный далъ ему толстую суконную подстилку да тощій тюфячокъ съ подушчёнкой и указалъ мѣсто на одной изъ свободныхъ коекъ, которыя тѣсно идутъ по двумъ про-

---

него есть два помощника: корридорный и подчасокъ, обязанность которыхъ главнѣйшимъ образомъ заключается въ томъ, чтобы во время обходовъ начальства, двери въ камерахъ, ради порядка, были заперты на ключъ. Во внутреннемъ управленіи арестантовъ искони ведется выборное начало. Большинствомъ голосовъ на каждое отдѣленіе выбирается староста, а въ каждой камерѣ — дневальный и поддневальный. На работу они не ходятъ, за то обязаны принимать на свое попеченіе «новичковъ», получаетъ бѣлье на всю камеру, ходятъ за хлѣбомъ, принимаютъ со старостой подаянье, каждый день подметаютъ у себя полъ, а по субботамъ моютъ его. Обязанность старосты довольно мудреная: онъ — судья и вершитель междуусобныхъ недоразумѣній и споровъ, отвѣтчикъ передъ начальствомъ за духъ своего отдѣленія и за разныя происшествія, проступки и т. п. Ему нужно потрафлять и на начальство и на арестантовъ, чтобъ и тѣ и другіе были довольны, по пословицѣ: волки сыты, и овцы цѣлы.

тивоположнымъ стѣнамъ. Почти безсознательно сталъ онъ оглядывать настоящее свое жилище, избѣгая взглянуть на лица новыхъ товарищей.

Это была не особенно простонародная комната, въ два окна съ давно-потускнѣлыми стеклами, съ низкимъ закоптѣлымъ сводомъ и желѣзною печью въ углу. Кое-гдѣ, по стѣнкамъ, торчали убогія, маленькія полочки съ хлѣбомъ и «подаянными» сайками да разной посудой, въ родѣ чашекъ и кружекъ; кое-гдѣ надъ койками красовались прилѣпленныя картинки и вырѣзанныя изъ бумаги пѣтушки, то и другое — издѣлія самихъ арестантовъ. На передней стѣнѣ висѣлъ темный образъ и лампада, замѣняющая собою ночникъ; въ углу — боченокъ съ водою, а на дверяхъ, повыше надзирательской форточки, росписаны были ряды цифръ и слѣдующіе знаки:

В. П. В. С. Ч. П. С.

Это — календарь, лежащій, по приговору членовъ камеры, на обязанности дневальнаго, который отмѣчаетъ мѣломъ начальныя буквы дней недѣли, и подъ каждою ставитъ цифру. На утро каждаго дня стирается цифра, обозначавшая вчерашнее число, и такъ до конца мѣсяца. Въ камерѣ помѣщалось тридцать человѣкъ заключенныхъ. На двухъ побрякивали цѣпи. Это — «рѣшонные»; сидятъ и ждутъ себѣ скораго и дальняго странствія въ палестины забайкальскія. Иныя спятъ въ растяжку какимъ-то тяжелымъ, безжизненнымъ сномъ, какой мнѣ случалось подмѣчать доселѣ у однихъ арестантовъ, да у людей натруженыхъ. Иные «дуются» въ шашки, «на антересъ», которымъ служитъ грошъ, или милостынная булка. Шашечницу устроить нехитро: взялъ ножъ да и наскоблилъ имъ клѣтки на коечной доскѣ, а изъ сосноваго полѣна повырѣзывалъ кружки да квадратики — и готовое дѣло. Нѣсколько человѣкъ книжку читаютъ и предаются этому занятію съ видимымъ наслажденіемъ. Книжками снабжаетъ ихъ тюремный священникъ; но «божественныя» если и читаютъ арестанты, то больше подъ праздникъ, а въ мірскіе дни предпочитаютъ чтеніе «съ воли» и ищутъ въ немъ то, что позанятнѣе. А съ воли можетъ протащить книжку, хоть тюремный солдатъ, хоть любой посѣтитель; и тутъ есть всякая книжка: и историческая, и нумеръ стараго жур-

нала, и путешествіе, и романъ, какой попадется; все это поглощается съ равнымъ удовольствіемъ, которое выражается въ своеобразныхъ коментаріяхъ и поощрительныхъ возгласахъ. Иногда очень ужь занятную книжку цѣлая камера, какъ одинъ человѣкъ, слушаетъ, никто слова сторонняго не шепнетъ, никто не спитъ, никто даже въ кости не играетъ, а объ картахъ, на этакую пору, и помину нѣтъ [1]).

А лица, а физіономіи? Какихъ тутъ только нѣтъ, между этими тридцатью существами, которыхъ случайная судьба свела, на неопредѣленное время, подъ низкіе своды тѣсной камеры и заставила денно и нощно пребывать всѣхъ вкупѣ, нераздѣльно! Лица старыя и молодыя, по которымъ угадаешь всѣ степени человѣческаго возраста, за исключеніемъ дѣтскаго да глубоко-старческаго, угадаешь разныя національности и оттѣнки личнаго характера въ каждомъ. Вотъ открытая, добродушная и красивая физіономія молодого парня. Это—убійца. Спросите его, не офиціально, а по душѣ, за что онъ содержится?

— А изъ ружья стрѣлили, откровенно отвѣтитъ вамъ парень, если только на ту пору будетъ въ добромъ юморѣ и захочетъ отвѣтить.

— Какъ стрѣлили? кого?

— А начальства своево стрѣлили—потому жонку скралъ, подъ свою милость. Теперичи рѣшенья ждемъ.

---

[1]) Это показываетъ, какъ сильна у арестантовъ потребность къ чтенію и вообще къ умственной дѣятельности. Между прочимъ, надо замѣтить, что арестанты очень любятъ стихи читать. Я знаю нѣсколькихъ, которые говорили мнѣ на память стихотворенія нѣкоторыхъ современныхъ поэтовъ, а одинъ валялъ даже въ прозѣ цѣлый отрывокъ изъ «Мертваго дома» Ѳ. Достоевскаго. Замѣчательно еще то, что предпочитаютъ стихи не юмористическіе, которыми такъ богаты нынѣшніе сатирическіе листки, а сантиментальные, чувствительные, элегическіе, или же такіе, гдѣ говорится про горе людское, страданья, неволю; особенно въ ходу Лермонтовъ, Кольцовъ, Никитинъ, Некрасовъ, Полежаевъ, наравнѣ со своими собственными тюремными произведеніями. Преимущественно же литература и потребность чтенія развита на четвертомъ и третьемъ этажахъ. Это даже можетъ замѣтить каждый случайный наблюдатель — стоитъ только, для сравненія, хоть разъ обойти всѣ отдѣленія замка. А между тѣмъ тюремной библіотеки не имѣется, да едва-ли и думаетъ кто объ этомъ, кромѣ священника, снабжающаго книгами духовно-нравственнаго содержанія.

Рядомъ съ нимъ чухна изъ-подъ Выборга. Этого какъ ужь ни спрашивай, вѣчно получишь одинъ только отвѣтъ: «*еймуста*, ничего не знаю!» А содержится «по подозрѣнію» будто въ убійствѣ. Но стоитъ только взглянуть на эту неуклюже-обтесанную, словно дубовый обрубокъ, приземистую, коренастую и крѣпкую фигурку, ростомъ меньше чѣмъ въ два аршина, на этотъ приплюснутый книзу черепъ, на эти узенькія, маленькія щелки-глаза и апатично-животненное выраженіе лица, чтобы съ полнымъ внутреннимъ убѣжденіемъ сознать въ немъ убійцу.

Вонъ тамъ, въ углу, растянувшись, руки подъ голову, лежитъ на койкѣ литвинъ, промышлявшій на пограничномъ кордонѣ смѣлою контрабандой. Что за беззаботно-отважная физіономія! А тамъ вотъ нѣмецъ, Bairische Unterthan, который сидитъ-себѣ сиднемъ семь лѣтъ уже въ одной и той же камерѣ; поступилъ—ни слова не зналъ по русски, а теперь рѣжетъ, какъ истый русакъ, безъ малѣйшаго акцента—въ тюрьмѣ научился.

Далѣе выглядываетъ тоненькій носикъ черненькаго жидка: на фальшивой монеткѣ попался.

А это что̀ за крупныя, сладострастно очерченныя губы? Что̀ за ненормальное развитіе задней части черепа? И спрашивать нечего! Съ разу угадаешь тебя, богатырь Чурило Опленковичъ. Только ты не тотъ хорошій Чурило, не древній Донъ-Жуанъ земли русской; никакая-то княжа̀я жена Опраксія у души своей тебя не держала, и не было у тебя своей Катерины Микуличны, Бермятиной жонки купецкой; и когда поведутъ тебя, раба божьяго, на мѣсто лобное, высокое, такъ кіевскія бабы не взмолятся: «оставь-де Чурилу намъ хоть на семена!» не взмолятся потому, что не горѣла къ тебѣ ни одна-то душа бабья, ни одно сердце дѣвичье, хотя и тебя, какъ древняго Чурилу, тоже, быть можетъ, погубила какая-нибудь дѣвка-чернавка. А не горѣла ничья душа потому, что ужь больно неказистъ ты съ поличья; сластолюбіе твое было и есть въ тебѣ явленіе уродливое, болѣзненное: лютымъ звѣремъ на межѣ да въ перелѣскѣ кидался ты на прохожую, полонилъ ее себѣ не красными словами, не ухваткой молодецкою, а насильствомъ да ножовой угрозою. Ну, за то за самое, другъ любезный, и обрѣтаешься теперь «въ домѣ дядиномъ» вмѣсто дома сумасшедшаго.

Рядомъ съ Чурилой, пригорюнился еще одинъ обитатель тюремный. Этотъ — краснаго пѣтуха пущалъ на всю деревню родимую, когда стала она для него пуще ворога лютаго. Было время, что вились его кудерки, вились-завивались, да пришла на кудри черная невзгода, сбрили съ головы его красу свѣтлорусую и повели въ городъ во солдаты. Изъ города парень убѣгъ; осеннею ночью на деревню вернулся, стукнулъ подъ окошко, брякнулъ во колечко: «пустите, родимые, сына—обогрѣться!» — Не пустилъ батюшко—бурмистра испужался, не покрыла матушка—хозяина побоялась. — «Ты жь гори огнемъ, батюшкино подворье, пропадай пропадомъ, матушкина свѣтлица!»—И пошелъ мытариться по бѣлу-свѣту, разные виды на себя принимать, пока не изымали въ городѣ Петербургѣ. Что-то думаетъ онъ да гадаетъ, про то знаетъ одна голова его забубенная, а что напередъ приключится и тѣмъ покончится—про то Богъ святой вѣдаетъ.

Всякаго народу въ этой камерѣ вдосталь, и есть представители многихъ родовъ преступленья. Тутъ и святотатцы, и корчемники, и убогой мужичонко, что казенную сосёнышку съ казеннаго бору срубилъ, и покусители на самоубійство: сидятъ и за воровство большое и за «угонъ скамеекъ», то-есть лошадей, и за грабежъ съ разбоемъ; тутъ же и отцеубійца-раскольникъ, котораго мать родная, старуха древняя, сама упрòсомъ-просила отвести ее въ моленную и тамъ порѣшить топоромъ душу ея окаянную, многогрѣшную, чтобы черезъ страстотерпную кончину праведную мученическій вѣнецъ пріяти. Сынъ такъ и исполнилъ матерній завѣтъ, да и самъ помышлялъ о такомъ же блаженномъ концѣ черезъ своего сына, какъ до старости доживетъ, а тутъ начальство, на грѣхъ, не сподобило: таскало, гоняло по разнымъ судамъ и острогамъ, пока не попалъ, какими-то судьбами, въ петербургскій.

И на каждой изъ этихъ физіономій своя печаль и своя дума—а дума одна: какъ бы вынырнуть изъ дѣла да изъ когтей острожныхъ. Иныя лица, впрочемъ, кромѣ полнѣйшей, безразличной апатіи, ничего не выражаютъ; на другихъ—животненная тупость; иныя же дышутъ такимъ добродушемъ и откровенностью, что невольно рождается вопросъ: «да ужь полно, точно ли это преступникъ?» Но за то есть и такого сорта физіономіи, на которыхъ явно лежитъ

печать отверженія. Приплюснутый сверху черепъ, съ сильнымъ развитіемъ задней его части, на счетъ узкаго, низкаго и маленькаго лба, узкіе же глаза изподлобья, широкія, вздутыя ноздри, широкія скулы и групно выдавшіяся губы являются по большей части характерными признаками такихъ преступниковъ. Это—преступники грубой, звѣрской силы и животныхъ инстинктовъ — совершенный контрастъ съ мошенниками и ворами городскими, цивилизованными, изъ которыхъ, если вы спросите любого: кто онъ таковъ? — то можете почти навѣрное услышать въ отвѣтъ: «кронштадтскій мѣщанинъ». Мнѣ кажется, что больше трети петербургскихъ мошенниковъ называютъ себя кронштадтскими мѣщанами. Почему ужь у нихъ такая особенная привязанность къ Кронштадту?—навѣрное не знаю, но чуть-ли не оттого, что легка приписка въ общество этого города. Контрастъ между физіономіей убійцы или грабителя по профессіи, и между физіономіей плутяги-мошенника, то-есть такъ-называемаго «мазурика», слишкомъ легко замѣтенъ: у этого послѣдняго умный, хитрый, уклончиво-бѣгающій и проницательный взглядъ, который и всему лицу придаетъ выраженіе пронырливаго ума, изворотливой хитрости и смѣтки.

Но каковы бы ни были эти тюремныя физіономіи, сколь бы ни разнообразенъ являлся ихъ характеръ, однако на всѣхъ ихъ лежитъ нѣчто общее, и это именно — тотъ болѣзненный, сѣрый колоритъ съ легкимъ изъ-зелена-желтымъ оттѣнкомъ, который устанавливается на лицѣ, вслѣдствіе тюремнаго заключенія. Воздуху, свѣту, движенія проситъ организмъ, а ихъ-то вотъ и нѣтъ, въ надлежащей степени. Впрочемъ, верхніе этажи тюремнаго замка, относительно, представляютъ нѣсколько болѣе выгодныя условія для сидѣнья, по-крайней-мѣрѣ, въ отношеніи свѣта. Но попробуйте войдти въ этажъ подвальный, куда вводитъ васъ низкая дверь съ надписью надъ нею: *«по бродяжеству»* — вы очутитесь въ темномъ и узкомъ корридорѣ, въ который еле-ле западаетъ слабый дневной свѣтъ, проходя черезъ родъ маленькихъ стѣнныхъ трубъ, примыкающихъ къ крохотнымъ оконцамъ (не болѣе четверти въ квадратѣ), находящимся выше уровня корридорнаго потолка. Комната, въ одно окно, весьма щедро заслоненное желѣзною рѣшоткой, и въ этой комнатѣ живетъ порою до двадцати и болѣе человѣкъ. Рядомъ — камера

татарская, гдѣ группируютъ ихъ въ одну семью «на высѣдкахъ» [1]).

II

Тюремный день

Да, невеселая это жизнь. Скучно, томительно-однообразно тянется день заключеннаго — вчера, какъ сегодня, сегодня, какъ вчера—и такъ проходятъ многіе недѣли и мѣсяцы, а для иныхъ даже и многіе годы.

Чуть остановится поутру стрѣлка зàмковыхъ часовъ на цифрѣ VII – во дворѣ раздаются три удара въ колоколъ. Тюремный день начался—прозвонили утреннюю провѣрку. Унтер-офицеръ отъ военнаго караула вмѣстѣ съ Подворотней [2]) обходятъ всѣ отдѣленія зàмка. На двери каждой камеры прибита снаружи красная доска, съ цифрой, которая показываетъ число заключенныхъ. Отмыкается замòкъ, и Подворотня начинаетъ считать людей, свѣряясь съ надверною цифрой. Если случился ночной побѣгъ, отвѣчаетъ офицеръ караульный; за побѣгъ же, совершенный въ теченіе дня, винà падаетъ на тюремное начальство. Впрочемъ, арестанты знаютъ «добрыхъ» офицеровъ и стараются приноравливать дѣло такъ, чтобъ ужь если бѣжать, то бѣжать, коли можно, въ «злое дежурство»— «чтобы, значитъ, добраго да хорошаго человѣка въ отвѣтъ подъ сумленіе не ввести».

Изъ прѣлой температуры, которая въ теченіе ночи сдѣлалась совсѣмъ уже банною въ этой герметически закупоренной камерѣ, выбѣгаетъ распотѣвшій народъ въ настуженныя сѣни—мыться у мѣдныхъ умывалень, и это выбѣганье на холодокъ очень нравится арестанту, потому послѣ долгой ночи, даже и воздухъ сѣней покажется необыкновенно чистымъ и живительнымъ: «по крайности хоть

---

[1]) «На высѣдкахъ» на тюремномъ argot значитъ заключеніе на извѣстный срокъ, по приговору суда.

[2]) Прозваніе, данное помощнику фельдфебеля тюремной команды, которое вошло въ тюремный argot, какъ общее нарицательное имя для служителя, исполняющаго обязанность главнаго привратника.

вздохнешь послободнѣе». А дневальный въ это время по обязанности подметаетъ полъ. Пока арестантъ умылся, да лобъ перекрестилъ —глядишь—прошелъ уже часъ времени, и вотъ въ восемь «кипятокъ звонятъ». У кого есть щепотка чаю да кусокъ сахару, тотъ бѣжитъ на кухню съ посудиной; у кого нѣтъ — добрый человѣкъ изъ товарищей подѣлится, напоитъ. Послѣ «кипятка»—кто хочетъ —въ школу, а остальные дрова пилить да воду качать, до одиннадцати часовъ. Въ школу, которою служитъ столовая замка, ходитъ какой-то чиновникъ, чтобы учить, а въ сущности только перья да бумагу раздавать учащимся, потому арестантъ предпочитаетъ учиться у своего же брата арестанта-грамотѣя. И ходятъ туда они добровольно, по своей охотѣ, когда десять, когда двадцать, а когда и пятьдесятъ человѣкъ. А тѣ, что выгнаны къ дровамъ на работу, отбываютъ свое дѣло по задачѣ: на каждыхъ четырехъ человѣкъ полагается урокъ — распилить полсажени дровъ, и кто отбылъ задачу раньше одинадцати часовъ, тотъ продираетъ себѣ въ садикъ своего отдѣленія. Эти садики очень пришлись по нраву заключеннымъ: они, въ большинствѣ своемъ, очень любятъ ухаживать за тощенькими кустиками и садовыхъ клумбахъ; иные достаютъ себѣ съ воли разныхъ сѣмянъ и по веснѣ сажаютъ ихъ въ землю, ростятъ и холятъ молодые всходы съ необыкновенной заботливостью, и — странное дѣло! — есть неоднократные примѣры, что самые зачерствѣлые преступники съ искреннимъ удовольствіемъ предаются этому буколическому уходу за своими цвѣтами.

Вотъ какъ описывается тюремный садикъ въ одной рукописи, создавшейся въ тюрьмѣ и весьма популярной между арестантами четвертаго этажа, гдѣ и слагались помѣщенныя въ ней пѣсни: [1])

Сѣлъ къ окну я.—Голубь сизокрылый
Прилетѣлъ и что-то мнѣ воркуетъ;
О голубкѣ, вѣрно, все о милой —
Какъ и я, онъ, бѣдненькій, тоскуетъ.
Взялъ я хлѣба, на окно посыпалъ —
Не клевалъ онъ, къ крошкамъ не касался...
Я заплакалъ—и кусокъ вдругъ выпалъ —

[1]) Рукопись эта называется «Домомъ позора». О ней нѣсколько говорится послѣдствіи, въ самомъ текстѣ романа.

И вспорхнулъ мой голубь, испугался.
А внизу-то садикъ зеленѣетъ
На кусточкахъ свѣжіе листочки —
И желтѣютъ, вижу, и алѣютъ
Раскрасавчики цвѣты-цвѣточки.
Въ томъ садочкѣ узники гуляютъ:
На скамейкахъ тамъ сидятъ иные,
А другіе въ косточки играютъ —
Много ихъ—все больше молодые;
Лица желты, лица у нихъ блѣдны —
Не красива сѣрая одежда! и т. д.

Любимое занятіе арестантовъ, во время этихъ послѣурочныхъ прогулокъ въ садикѣ — игра въ кости; ей отдается столько же симпатіи, сколько и уходу за цвѣтами... Вокругъ зеленой скамейки «отабунятся» нѣсколько человѣкъ, и изъ среды ихъ то и дѣло вылетаетъ взрывъ горячихъ восклицаній: «очкó!... кушъ! двѣнадцать очковъ! пяткà! шестòкъ»! и все это съ необыкновеннымъ увлеченіемъ, съ азартомъ, въ которомъ выражается — то удовольствіе отъ удачи, то крѣпкая досада на проигрышъ.

— А что, нынче горохогый день? интересуются арестанты, замѣчая, что время близится къ обѣденному сроку.

— Не надо быть гороховому: день сегодня, кажись, у Бога скоромный стоитъ: вторникомъ просывается.

— То-то; совсѣмъ ужъ смоталися съ пищіей-то съ этой, ажно и забыли. Стало быть, щи?

— Кабы щи! хоть и сѣряки они — эти щи-то наши, а все жь нутро чувствуетъ, какъ чемоданъ напрёшь. А то вотъ Гришка Сапоговъ на кухню бѣгалъ, сказывалъ — потёмчиха! [1])

— Ой, ее къ чорту! совсѣмъ щенячья это пища, а не людская, право!

— Это точно что! соглашаются арестанты и, въ ожиданіи потёмчихи, апатично тянутъ время до обѣденнаго часа.

---

[1]) Этимъ прозваніемъ окрестили арестанты похлебку изъ овсяной крупы съ картофелемъ, которая введена была предварительно на женскомъ отдѣленіи, и которую заключенники весьма не одобряютъ. Распредѣленіе блюдъ на недѣлю таково: понедѣльникъ — щи, вторникъ — потёмчиха, среда, постный день — горохъ и т. д., а въ воскресенье — щи да каша и то, впрочемъ, не всегда, а смотря по обилію приношеній, которыя дѣлаются иногда и припасами.

Бьетъ одиннадцать — и раздается звонокъ къ обѣду. Народъ валитъ въ столовую, захвативъ съ собою изъ камеръ деревянныя ложки и свои порціи хлѣба [1]). На столахъ уже дымятся горячимъ паромъ большіе мѣдные баки — на восемь человѣкъ по одному — между баками разставлены жестянки съ квасомъ.

— Го-го̀! ребята, щами пахнетъ, словно бы вкуснѣе: не столь кисло̀.

— Начальство будетъ... вѣрно начальства ждутъ...

— Ой-ли? радости-веселости мои! давай, на счастье, *сламу ловить*, ребята — только чуръ, по разу не плутуй [2])! раздается говоръ между арестантами, въ разныхъ концахъ столовой, пока гурьба усаживается на длинныя скамейки.

— Ну-у! селитра [3]) привалила! съ явнымъ неудовольствіемъ замѣчаютъ кое-гдѣ по столамъ, при входѣ военнаго караула.

Въ столовой появляются восемь человѣкъ солдатъ, съ ружьями и офицеромъ. Четверо становятся у однѣхъ дверей, четверо у другихъ, противоположныхъ. Таково тюремное обыкновеніе, котораго весьма не жалуютъ арестанты: оно оскорбляетъ ихъ самолюбіе.

— Чтой-то, словно къ тигрѣ какой лютой приставляютъ!... И зачѣмъ это, право?

— А затѣмъ, чтобъ память не отшибло съ ѣды: пожалуй, забудешь, что у дяди на порукахъ сидишь. Гляди еще, бунту затѣешь какую.

— Какъ же, *гарнизонъ* да *уланы*, что ни есть, первые бунтовщики; это ужь завсегда; на то ихъ и караулятъ.

И много еще слышится у нихъ, промежь себя, замѣчаній въ подобномъ же родѣ. Офицеръ, межъ тѣмъ, шагаетъ себѣ по середнему

---

[1]) Хлѣбъ черезъ дневальныхъ получается отдѣльно на каждую камеру дневными порціями по 2½ фунта на человѣка.

[2]) Это—одинъ изъ арестантскихъ обычаевъ: берется складной ножикъ, а за неимѣніемъ его ложка и погружается въ бакъ со щами. Это—лотерея на кусокъ говядины, которая попадается не въ особенномъ изобиліи, а иногда и вовсе не обрѣтается въ бакѣ. Ловятъ на счастье, и потому каждый погружаетъ ножикъ или ложку только по разу, причемъ остальные семь человѣкъ наблюдаютъ, чтобы «ловитель» не старался выискивать мясо, а въ какое мѣсто попрузилъ, съ того непосредственно и вынимай наружу.

[3]) Такъ заключенные и ссыльные называютъ гарнизонныхъ и этапныхъ солдатъ.

проходу, вдоль столовой, и часто поневолѣ урывками слышитъ недовольныя рѣчи; поэтому, многіе изъ нихъ, зная, что большой караулъ выказываетъ точно бы какое-то недовѣріе къ арестантамъ, входятъ въ столовую не съ восемью, а только съ четырьмя людьми, и то лишь ради соблюденія формальности. Арестанты — какъ дѣти: имъ льститъ это довѣріе, они цѣнятъ его, ибо очень тонко умѣютъ понимать человѣчность отношеній къ себѣ, которая служитъ для нихъ первою отличкой «добраго, хорошаго офицера».

Тюремный начетчикъ Китаренко (изъ заключенныхъ же), стоитъ у налоя и толково читаетъ, своимъ внятнымъ, монотоннымъ голосомъ Четьи-минеи, которыхъ, однако, ни одна душа спасенная не слушаетъ, потому — либо занимается она ѣдою, либо разговоръ пріятный съ сосѣдями ведетъ; Китаренко же читаетъ такъ-себѣ, «для близиру», чтобы начальство ублагодушествовать, потому оно разъ ужь такъ постановило, и значитъ, нечего тутъ разсуждать.

Отъ обѣда до двухъ часовъ — время вальготное. Двери въ камерахъ не на замкѣ, а только приперты для виду. Арестанты дѣлаютъ визиты: приходятъ, по сосѣдству изъ камеры въ камеру, сидятъ, балагурятъ, сплетничаютъ. Люди смирные занимаются чтеніемъ, либо спать завалются на койки, а для людей азартныхъ — существуютъ карты, да кости, да шашки въ придачу. И вотъ, раздается хоровая пѣсня. Это запѣвало Симакинъ, собралъ охочихъ людей въ одну камеру, и заправляетъ голосами. А пѣсни здѣсь не вольныя, а свои тюремныя, арестантскія — и первая пѣсня поется про Ланцова; слышно, будто онъ самъ про себя и сложилъ ее, на утѣху заключенниковъ. Вторая пѣсня, про общую недолю тюремную, про то, какъ.

Сидитъ воронъ на березѣ.
Кричитъ воинъ про войну.

А третья пѣсня называется «душевною». Но если вы услышите послѣднюю, то навѣрное придете въ немалое удивленіе. Это ни болѣе, ни менѣе, какъ Farewell байроновскаго Чайльд-Гарольда, въ искаженномъ видѣ. Какими судьбами попали эти стихи въ заключенный міръ, а оттуда перешли на волю, въ міръ мошенниковъ, и — главное — почему они такъ сильно пришлися имъ всѣмъ по

душѣ, что даже самая пѣсня получила названіе «душевной»? [1]) Всѣ три издавна уже составляютъ любимое пѣніе всѣхъ арестантовъ. Попоютъ они себѣ до двухъ часовъ, а тамъ—отъ двухъ до четырехъ — либо воду качать, либо дрова пилить, да «на этажъ» таскать ихъ. Въ четыре опять «кипятокъ прозвонятъ», и хоть спи,

---

[1]) Вотъ эти три арестантскія пѣсни:

Пѣсня про Ланцова.

Звонитъ звонокъ—на счетъ сбирайся!
Ланцовъ задумалъ убѣжать.
Не ставъ зари онъ дожидаться,
Поспѣшно печку сталъ ломать.
Въ трубу онъ тѣсную пробрался —
И на церковный на чердакъ;
По стѣнкѣ тихо прокрадался
На стариковскій банный дворъ.
Пришлось на разумъ распроститься,
Послѣдній разъ взглянуть на дворъ.
Прощай ты, главная абвахта!
Прощай губернскій корридоръ!
Трубу обвязывалъ, самъ трясся —
Съ ограды страсть была смотрѣть.
Перекрестился, сталъ спущаться —
Солдатъ увидѣлъ, закричалъ.
Въ казармахъ сдѣлалась тревога,
На-бвахтѣ пробилъ барабанъ.
Въ частяхъ давно было извѣстно:
Ланцовъ изъ зáмку убѣжалъ.
Казакъ на сѣрыемъ на кóнѣ
Съ конвертомъ къ князю поскакалъ.
И онъ бѣжалъ до самыхъ пáрокъ (?)
Потомъ и скрылся въ темный лѣсъ.
Три года онъ по волѣ шлялся —
Чтó пилъ, чтó ѣлъ онъ, что хотѣлъ;
Съ п... д... онъ связался,
Черезъ нее опять попалъ.
П... д... доказала —
Ланцова взяли во полночь.
Тутъ руки-ноги заковали,
Потомъ отправили въ острогъ. —
Тутъ дѣлать нечего Ланцову,
Давай секреты открывать:
Въ семи душахъ онъ повинился,

хоть гуляй до шести, когда вторично наступаетъ штыковый церемоніалъ въ столовой, за ужинными щами, либо горохомъ; а тамъ, послѣ ужина — вечерняя провѣрка, да выкличка — кому назавтра

Потомъ подъ слѣдствіе попалъ;
Недолго слѣдствіе ходило —
И скоро выслушалъ указъ.

Въ хору арестанты поютъ ее обыкновенно до словъ: «Ланцовъ изъ замку убѣжалъ», а въ одиночку — всю до конца. Ланцовъ, молодой человѣкъ, по преданію, былъ писарь кавалергардскаго полка и сложилъ эту пѣсню про свой побѣгъ изъ московскаго замка. Эту тюремную эпопею доводилось мнѣ слышать и «на волѣ» отъ «жоржей», которыхъ научили, конечно, «сидѣлые». Она довольно-таки распространена въ этой кастѣ общества.

Вторая пѣсня болѣе всѣхъ популярна и давно уже прошла даже въ народъ; заключенники называютъ ее «арестантскою». Вотъ она:

Сидитъ воронъ на березѣ,
Кричитъ воинъ про войну.
Запропалъ бѣдный мальчишка
Въ чужой дальней сторонѣ.
Ты зачѣмъ, зачѣмъ, мальчишка,
Своей родины бѣжалъ?
Никого ты не спросился,
Кромѣ сердца своего.
Жилъ мальчишка, веселился,
Какъ имѣлъ свой капиталъ,
Капиталу я рѣшился —
Во неволю жить попалъ.
Трудно, трудно жить въ неволѣ,
Да кто знаетъ про нее?
(*Вар.* Хороша она, неволя,
Кто не знаетъ про нее).
Насъ не видно за стѣнами,
Каково мы здѣсь живемъ,
Богъ, Творецъ небесный съ нами —
Мы и здѣсь не пропадемъ.

Одни оканчиваютъ пѣсню на этомъ стихѣ, а иные поютъ и далѣе:

Свѣтъ небесный только возсіяетъ,
Поутру рано встаемъ;
Корридорный двери отворяетъ,
Писарь съ требованьемъ идетъ,
Всѣхъ по имени называетъ,
По мѣстамъ назначаетъ.

ѣхать въ судъ или къ слѣдствію: затѣмъ — внесетъ дневальный парашку (ушатъ), и — дверь на запоръ, на всю долгую ночь, до утренней переклички.

Третья пѣсня — байроновское Farewell; основаніемъ ея послужилъ переводъ Ивана Козлова. Называется она:

Душевная.

Послѣдній день красы моей
Украсилъ божій свѣтъ.
Увижу море, небеса,
А родины ужь нѣтъ.
Отцовскій домъ спокинулъ я —
Травою зарощонъ,
Собачка вѣрная моя
Залаетъ у воротъ.
На кровлѣ филинъ прокричалъ —
Раздайся по лѣсамъ!
Заноетъ сердце, загруститъ —
Не будетъ меня тамъ,
Ахъ, въ той странѣ, странѣ родной,
Въ которой и рожóнъ.
Терплю мученья безъ вины,
На вѣки осужденъ.
Малютки спросятъ про меня —
Расплачется жена,
Потомъ и вся семья,
Судьба несчастная моя
Къ разлукѣ привела —
И разлучала молодца
Чужая сторона.

«Голосъ, которымъ ее поютъ — протяжный, грустный, заунывный, прежалостный голосъ, ровно что жизнь наша». Такъ коментировалъ эту пѣсню передавшій мнѣ арестантъ.

Кромѣ этихъ трехъ, по преимуществу тюремныхъ пѣсенъ, поютъ еще лермонтовскія: «По синимъ волнамъ океана», «Отворите мнѣ темницу», «Спи, младенецъ мой прекрасный» и двухсмысленную пѣсенку, издѣліе московскихъ грачишинскихъ погребковъ: Что ты черенъ воронъ вьешься надъ моею головой». Вообще арестанты очень любятъ пѣніе; а лѣтомъ, когда окна растворены и въ нихъ долетаютъ мотивы бродящихъ по сосѣднимъ домамъ музыкантовъ или маршъ проходящихъ солдатъ — арестанты чутко и съ удовольствіемъ начинаютъ прислушиваться, часто бросая все, чѣмъ бы до той минуту ни занимались. Звуки, повидимому, вліяютъ на нихъ очень мягко и благотворно.

Въ этомъ порядкѣ и протекаетъ тюремная жизнь. Изрѣдка развѣ навѣститъ начальство какое-нибудь, обойдетъ два-три этажа — все, конечно, обстоитъ благополучно — и начальство уѣзжаетъ... Въ недѣлю разъ или два подаяніе кто-нибудь изъ купечества сайками принесетъ, да изрѣдка буйство произойдетъ какое-нибудь, или согрубленіе — согрубителя, сутокъ на пять, въ «карцыю» посадятъ, хотя вообще, буйному народу вальготнѣе живется, чѣмъ смирному; къ буйному — и приставникъ и корридорный уваженіе даже какое-то чувствуютъ, потому, надо полагать, боятся: съ шальнымъ человѣкомъ, въ недобрый часъ не шути. А въ «карцыѣ» житье неприглядное: первое дѣло — потёмки, второе — пройтися негдѣ, третье дѣло — ни скамейки, ни подстилки нѣтъ: валяйся на каменномъ полу, какъ богъ приведетъ, да услаждайся хлѣбомъ съ водою. И все-таки, несмотря на всѣ эти неудобства, случаются желающіе «на посѣдки». Иной нарочно, мимоидущему начальству (своему тюремному) закричитъ вдогонку: «блинникъ!» или сгрубитъ чѣмъ-нибудь, или въ корридоръ покурить выйдетъ — лишь бы только посадили его въ «карцыю». Дѣло понятное: сидитъ-сидитъ человѣкъ, денно и нощно, все въ томъ же самомъ разнокалиберномъ обществѣ тридцати человѣкъ — индо одурь возьметъ его: уединенія захочется, которое въ этомъ случается является чисто психической потребностью. Какъ попасть въ уединеніе? Просить, что̀ ли? — Никто во вниманье не приметъ. Одно только средство: пакость-какую-нибудь сдѣлать. Ну, такъ и дѣлаютъ.

И вотъ въ этомъ заключается все дневное разнообразіе тюремной жизни.

Но чуть, послѣ вечерней повѣрки, щелкнетъ послѣдній затворный поворотъ дверного замка̀ — въ камерѣ спочинается развеселая жизнь заключенника. Покой, просторъ, отсутствіе приставничьяго глаза — «гуляй арестантская душа во всѣ лопатки»!

III

Продажа преступленій

— Вотъ вамъ, заключеннички почтенные, начальство милосливое новаго жильца жалуетъ! обратился дневальный къ обитателямъ одной изъ камеръ татебнаго отдѣленія, введя туда молодого человѣка, послѣ переодѣванья въ приставницкой, и указавъ ему койку.

— Нашего полку прибыло, замѣтилъ на это одинъ изъ сидящихъ. Прочіе ничего не сказали. Иные, ради форсу, даже не удостоили его взглядомъ, а иные, кто полюбопытнѣе, стали молча, каждый со своего мѣста, глазѣть на приведеннаго.

— А тебѣ, другъ, продолжалъ дневальный, обратясь уже непосредственно къ новичку: — коптѣть — не робѣть, судиться — не печалиться, терпѣть — не жалиться, потому, у насъ такой заказъ, чтобы пѣла, да не ѣла, съ пѣсни сыта бѣла [1]). Слышишь?... Какъ звать-то тебя?

Молодой человѣкъ, пришибленный впечатлѣніемъ новаго своего жилища съ его атмосферой и обитателями, сидѣлъ, какъ ошалѣлый, и либо не слыхалъ, либо не понялъ вопроса дневальнаго, который ткнулъ его въ бокъ, для пущаго вразумленія, и спросилъ вторично:

— Какъ звать?... Иванъ Вересовъ, отвѣтилъ тотъ, очнувшись отъ наплыва своихъ тяжелыхъ ощущеній.

— Ты за кѣмъ сидишь? за палатой, аль за магистратомъ, аль можетъ за голодной [2])?

— Подъ слѣдствіемъ... изъ части.

— А за какія дѣла?

— Не знаю.

— Ой, врешь, гусь! Чудакъ-человѣкъ, врешь! никакъ этому нельзя быть, чтобъ не зналъ, взятъ же вѣдь ты въ какомъ подозрѣніи... Ты не скрывайся—народъ у насъ теплый—какъ разъ начнемъ по всѣмъ статьямъ и пунктамъ отвѣтъ держать—гляди, чистъ выйдешь, съ нашимъ нижайшимъ почтеніемъ отпустятъ, только и

---

1) Одна изъ арестантскихъ поговорокъ.

2) Голодной называется у арестантовъ уголовная палата.

всего [1]). Недаромъ нашъ дядинъ домикъ университетомъ слыветъ, мазовой академіей называется. Мы съ тобой въ недѣлю всю курсу пройдемъ.

Вересовъ не подался на увѣщаніе дневальнаго, и это возбудило противъ него неудовольствіе арестантовъ.

— Ишь-ты, брезгуетъ, ворчливо замѣтили иные: — погоди, кума, поживешь — такова же будешь, къ намъ же придешь да поклонишься! Оставь, Сизой! Ну, его!... Не видишь, что ли, что самъ на рогожкѣ сидитъ, а самъ съ ковра мѣчетъ!

Сизой отошелъ отъ Вересова, тоже видимо оскорбленный.

Все это не предвѣщало ничего хорошаго новому арестанту.

Когда онъ нѣсколько поуспокоился и пріобыкъ къ настоящему своему положенію, къ нему лисицей подсѣлъ человѣчекъ среднихъ лѣтъ, съ меланхолической физіономіей, по имени Самонъ Фаликовъ, по профессіи крупный воръ и мошенникъ.

— Что ты, словно статуй какой сидишь, милый человѣкъ, не двинумшись? началъ онъ съ участіемъ; — ты скажи, по чемъ у тебя душа горитъ, да что за дѣла твои? Всѣ мы — люди-человѣки, иной безъ вины коптитъ; стыда въ этомъ промежь себя нѣту никакого.

Фаликовъ говорилъ тихо, и явно билъ на то, чтобы придать разговору своему интимное значеніе. Остальные дѣлали видъ, будто не обращаютъ на него никакого вниманія, а тотъ, пользуясь этимъ, очень искусно строилъ жалкія рожи и говорилъ жалкія слова, приправляя ихъ слезкой и сочувственными вздохами.

Вересову показалось очень жалкой и несчастненькой фигурка человѣчка Фаликова. Ему давно уже не приходилось слышать ласковое слово, обращенное лично къ нему — въ памяти оставались свѣжи только офиціальные допросы слѣдователя на нуканье полицейскихъ солдатъ, такъ-какъ теперь, послѣ жалкихъ словъ Самона Фаликова, онъ весьма склоненъ былъ видѣть въ немъ такого же несчастнаго, какъ и самъ, и разсказать ему свое горе. Такъ и случилось.

---

[1]) «Отпущенъ съ нашимъ почтеніемъ» — на байковомъ языкѣ мошенниковъ значитъ: оставленъ въ подозрѣніи; «съ нижайшимъ почтеніемъ» — въ сильномъ подозрѣніи.

— Эхъ, милый человѣкъ, тебѣ еще горе — не горе, а только полгоря! вздохнулъ Фаликовъ: — ты — какъ перстъ, одинъ-одинешенекъ, а у меня семейство: баба да ребятокъ четверо, такъ мнѣ-то каково оно сладко?

Вересовъ сочувственно покачалъ головой.

— Слышь-ко, голубчикъ, съ таинственнымъ шопотомъ подвинулся къ нему арестантъ:—сотвори ты мнѣ, по христіанству, одолженіе! Ты — человѣкъ молодой, одинокій... Мы тебя выручимъ, сгорѣть не дадимъ... Ужь будь ты надеженъ, наши пріятели такъ подстроятъ дѣло, что сухо будетъ; много-много, коли подъ подзоръ обчества маленько предоставять тебя; такъ вѣдь это не бѣда. А теперича по твоему дѣлу невѣсть еще куды хуже рѣшать тебя: можетъ, запрещенъ въ столицѣ будешь, а можетъ и тово.

Фаликовъ пріостановился, наблюдая, какое впечатлѣніе производятъ слова его на Вересова; но этотъ не понимая, въ чемъ еще дѣло, смотрѣлъ на него недоумѣлыми глазами.

— А я — человѣкъ семейный, хворый человѣкъ; дѣтямъ пропитаніе нужно, продолжалъ еще тише Фаликовъ: — на волю хочется: помрутъ вѣдь безъ родителя... Будь ты мнѣ другомъ, купи ты мое дѣло!... Я тебѣ пятьдесятъ рублей за него съ рукъ на руки дамъ. Выручи ты меня теперь, христа-ради, а ужь мы потомъ всѣ вкупѣ, тебя выручать станемъ.

— То-есть какъ же это купить? не понялъ Вересовъ.

— А вотъ я теперича, примѣромъ сказать, будто бы за кражу содержусь — ну, и... таскаютъ меня по судамъ, принялся объяснять Фаликовъ: — я тебѣ, съ добраго согласія, и продаю свое дѣло; ты, значитъ, прими на себя мою кражу и объявись о томъ слѣдственному... Меня, стало быть, выпустять на поруки, а не то и совсѣмъ слободятъ; а тебѣ вѣдь всё равно, по одному ли, али по двумъ дѣламъ показанья давать... Потомъ завсегда отречься можешь, скажи: въ потемнѣніи разсудка, молъ, показаніе на себя ложное далъ. Они за меня, конечно, тутъ хватятся; а меня — *фю*! ищи-свищи! И дѣлу капутъ!

Вересовъ молчалъ. Онъ, по неопытности своей, никакъ не ждалъ отъ несчастненькаго человѣчка такого подхода и молча удивлялся.

— Такъ что же, душа, берешь, что ли, за пятьдесятъ-то цѣл-

ковыхъ? обнялъ его Фаликовъ:—я тебѣ, значитъ, все дѣло скажу и всѣ дѣла — какъ быть, то-есть, надо — зарàзъ покажу. Есть тутъ у меня одинъ арестантикъ, самъ напрашивается, христомъ-богомъ: продай да продай; а я не хочу, потому если ужь дѣлать такое одолженіе, такъ я, по крайности, любезному мнѣ человѣку сдѣлать желаю. А охочихъ-то людей на куплю эту у насъ навсегда много найдется! Такъ какъ же, другъ, по рукамъ ударимъ, что ли?

— Нѣтъ, ужь ты лучше тому, другому продавай, а я не хочу, рѣшительно отклонился Вересовъ.!

Арестантъ поглядѣлъ на него пытливо и присвистнулъ.

— Эге, да ты видно тово... на молокѣ-то жжёный! дерзко-вызывающимъ тономъ проговорилъ онъ, разомъ сбрасывая съ себя личину угнетенной забитости и несчастія, которая, своей кажущейся искренностью, успѣла было обмануть Вересова на первыхъ порахъ.

Какъ у ссыльныхъ въ Сибирь, есть обыкновеніе продавать на пути охочему товарищу свое имя и съ именемъ дальнѣйшую участь, такъ и у тюремныхъ подсудимыхъ арестантовъ водится продажа дѣла, то-есть преступленія. На эту продѣлку ловятся обыкновенно неопытные новички, которыми пользуются люди, основательно «прошедшіе курсу», ублажая ихъ обѣщаніемъ денегъ и надеждой выпутать впослѣдствіи изъ дѣла. Если согласіе получено, начинается обученіе: какъ и чтó показывать, кого запутывать въ дѣло, кого чѣмъ уличать и какъ, наконецъ, отвертываться отъ прямыхъ статей закона, примѣняя въ свою пользу разные пункты и закорючки. Словомъ начинается основательный курсъ «юридическаго образованія», которымъ постоянно отличаются и даже весьма гордятся мошенники, «откоптѣвшіе свой терминъ у дяди на порукахъ.

V

Развеселая жизнь

... Вечеръ. Слышно, часъ девятый въ исходѣ. Дверь давно ужь на замкѣ, и коли подойти къ ней да послушать въ тишинѣ—можно различить, какъ похрапываетъ-себѣ корридорный, обреченный по службѣ на неукоснительное бдѣніе. Въ камерѣ тоже започивали ужь

ные, только мало; бо́льшая часть ловитъ свои свободныя минуты и предпочитаетъ высыпаться днемъ. На одномъ изъ спящихъ «ножные браслетики» позвякиваютъ, какъ перевернется во снѣ съ боку на бокъ.

Передъ образомъ тускло мигаетъ лампада и при ея слабомъ освѣщеніи въ одномъ углу собрались игроки. На полу разсѣлся тѣснѣй кружокъ, за нимъ навалились зрители, и съ увлеченіемъ жадно слѣдятъ, какъ тѣ рѣжутся «въ три листика»—любимую игру арестантовъ.

— Ну, скинь, что ли, конъ, да затемни ставку — по чѐреду! раздаются оттуда азартныя восклицанія.

— Козыри вскрышные: вини! бардадымъ — крѐсти.

— Прошелъ! возвѣщаетъ одинъ, и кидаетъ нà конъ семитку.

— Съ нашимъ! отвѣтствуетъ противникъ, бросая четыре копѣйки.

— Жирмàшникъ подъ васъ [1]).

— Ой, баринъ, пужать хочешь! У самаго, гляди, пустая! Ну, да лады подъ васъ ламышникъ [2]).

— Сталъ-быть, въ гору? Да нешто и впрямъ тридцать-два съ половинкой? Ой, гляди, зубы заговариваешь, по ярославскому закону!

— Это ужь наши дѣла!

— Замирилъ!

— То-то! кажи карты!

— Тузъ, краля, бардадымъ!

— Фаля!

— Хлюстъ, лядъ его дери!

— Проюрдонилъ!

— Мишка! Разломай! Водки да табаку давай сюда; псира [3])!

И Мишка Разломай съ большой предусмотрительностью отпускаетъ играющимъ свои спеціальные продукты, получая тутъ же за нихъ и наличную плату. Больше всѣхъ одушевленъ одинъ молодой

---

[1]) Гривенникъ.

[2]) Полтинникъ. Все это — техническіе термины игры, обозначающіе возвышеніе ея.

[3]) Собака.

арестантикъ, прозванный товарищами «Вулочкой» за то, что не имѣя ни гроша за душою, сталъ однажды играть на булку подаянную, и съ этой булки въ годъ разжился игрою на семьдесятъ рублей — деньги, для тюрьмы, весьма-таки немалыя; поэтому смышленый Разломай ему и особенное «поваженье съ великатностью оказываетъ». Разломай — проныра-человѣкъ: онъ майданъ содержитъ, то-есть отпускаетъ въ долгъ разные припасы, а за деньги водку, вино и карты, иногда вѣрнаго человѣка и взаймы ссудитъ непрочь за жидовскіе проценты, а запретные продукты свои получаетъ особымъ, контрабанднымъ образомъ [1]).

Вересову не спится. Заложивъ руки подъ голову, лежитъ онъ пластомъ на своей убогой койкѣ. Въ душѣ какое-то затишье, въ головѣ—ни одной неотвязной думы, словно она устала мыслить, а душа занывать тоскою, да и самъ-то онъ словно бы жить усталъ, подъ этимъ гнётомъ неволи, даже тѣло—такъ и то какая-то усталая потягота разбираетъ, а сна между тѣмъ нѣтъ какъ нѣтъ. Лежитъ-себѣ человѣкъ и поневолѣ прислушивается къ говорю арестантовъ.

Это часъ, въ который они особенно любятъ потѣшаться сказками да похвальбой о бывалыхъ приключеніяхъ на волѣ.

— Теперича эти самые фараоны [2])—тьфу! вниманія нестоющіе! никакого дѣла не сваришь съ ними, потому порча какая-то напала на нихъ: маленькимъ людишкомъ нашимъ брезгуютъ, сѣтуетъ жи-

---

[1]) Мишка разломай и «дворянскій поваръ» татаринъ Бабай — были тюремные ростовщики и снабдители запретнымъ плодомъ. У мошенниковъ даже до сихъ поръ осталась поговорка: Къ Бабаю на блины», что равносильно выраженію «къ дядѣ на поруки». Нельзя сильно обвинять за это арестантовъ. Водка въ тюрьмѣ очень дорога, сравнительно со средствами, и ночное пьянство развито въ весьма почтенномъ количествѣ, собственно потому, что вино—плодъ запретный. Между тѣмъ, рюмка водки передъ обѣдомъ—для большей половины составляетъ органическую потребность; точно также и табакъ, который, при настоящихъ гигіеническихъ условіяхъ нашей тюрьмы, былъ бы даже до извѣстной степени полезенъ, какъ противоскорбутное средство. Иные арестанты говорили, что еслибы въ замкѣ была допущена свободная продажа вина отъ маркитанта, въ умѣренномъ количествѣ и даже подъ оффиціальнымъ надзоромъ, пьянство значительно уменьшилось бы, сравнительно съ нынѣшнимъ — «потому иной нарочно оттого и напивается, что запрещено».

[2]) Полицейскіе.

денькій Фаликовъ, среди собравшейся около него кучки: — а вотъ въ прежніе годы — точно, замиряли дѣла отмѣнныя! Былъ этта, братцы мои, годовъ съ десятокъ тому, пріятель у меня квартальный, Тимоѳейкинымъ прозывался. Такъ вотъ ужь жилъ за нимъ, что у Христа за пазухой—помирать не надо! И какія мы съ нимъ штуки варганили—то-ись просто чертямъ на удивленіе! Раздобылся я разъ темными финажками и прихожу къ нему: такъ и такъ, ваше благородіе, желательно клей хорошій заварить? — «Заваримъ, говоритъ, я не прочь.» Прошлися мы съ нимъ по пунштамъ. Вѣдь вотъ тоже, хотя и власть-человѣкъ былъ, а простой; нашимъ братомъ-мазурикомъ не брезгалъ. Показалъ я ему финаги [1])—все какъ есть трёки да синьки [2]), и до сотни ихъ у меня было. «Какой же ты съ ними оборотъ шевелить думаешь?» спрашиваетъ.—«А продавать станемъ, ваше скородіе! Я продавать, а вы — накрывать насъ по закону, сламъ пополамъ, а барыши выгорятъ хорошіе».—Разцаловалъ меня, право! «Тебѣ бы, говоритъ, по твоему разуму, не жохомъ, а министромъ финащыи быть»!—«Много чувствительны, говорю, на ласковомъ словѣ.»—И стали мы съ нимъ это дѣло варганить. Подыщу я покупателя—все больше по торговцамъ: хочешь, молъ, за полтину пять рублевъ пріобрѣсть? — «Какъ такъ?» — «А такъ, молъ, темныя, да только вода такая, что и не различишь съ настоящей-то, а у тебя сойдетъ — въ сдачѣ покупателю подсунешь.» — Ну, плутяга-торговецъ и радъ. Условимся назавтра объ мѣстѣ, куда то-ись товаръ принести. А Тимоѳейкинъ при продажѣ-то и тутъ какъ тутъ! — «Здравія, молъ, желаемъ, на уголовномъ дѣлѣ накрываемъ!» — Ну, покупатель, извѣстно, ужь и платитъ, только не губи, родимый, потому подъ плети живая душа идетъ. И этакъ мы съ нимъ гдѣ пять рублевъ продадимъ, тамъ сто возьмемъ, а ино и больше случалось.

— Важнецъ-дѣло! Волшебно, право волшебно! съ истиннымъ удовольствіемъ замѣчаютъ арестанты, которымъ необыкновенно нравятся подобнаго рода «развивающіе» и умудряющіе человѣка разсказы.

---

[1]) Ассигнаціи.

[2]) Трехрублевыя и пятирублевыя.

— Взятки онъ шибко бралъ, бестія, продолжаетъ поощренный Фаликовъ:—въ квартирѣ у него вещей этихъ разныхъ, ровно что въ любомъ магазинѣ. Такъ вотъ тоже клёвыя дѣла съ этими вещами-то у насъ бывали. Отдастъ онъ мнѣ, примѣрно, либо часы, либо ложки серебрянныя съ вензелемъ своимъ, либо изъ одежи что, ну, и пойдешь съ этимъ самымъ товаромъ на толкунъ, продавать; коли не продашь, такъ ухитришься въ лавку подбросить, въ темное мѣсто, а онъ потомъ нагрянетъ и—обыскъ. «А, молъ, такой-сякой, ты краденое перекупать? Лавку печатать! въ тюрьму тебя, злодѣя!» Ну, и тутъ, конечное дѣло, сдеретъ, сколько душа пожелаетъ, тоже вѣдь охулки на руку не клалъ. Никто себѣ не врагъ—и дѣлился потомъ, честно дѣлился! Да бѣда, званія рѣшили и со службы долой, а кабы не это—не сидѣть бы мнѣ съ вами, братцы! А ты вотъ слушай да учись у старшихъ, наука-то эта пригодится! обратился онъ въ заключеніе къ молодому парнишкѣ, лѣтъ шестнадцати, который содержался за то, что въ ссорѣ съ товарищемъ хватилъ его въ грудь булыжникомъ, чуть не до смерти.

— Поди-ка, скоро двѣнадцать часовъ, замѣчаетъ кто-то.

— Полночь... скоро домовой пойдетъ.

— А можетъ, ужь и пошелъ... Страсть вѣдь теперь на четвертомъ-то этажѣ: вѣдь какъ разъ надъ ними.

— Н-да, коптѣлъ я разъ тамъ: натерпѣлся... Кажинную ночь, какъ пойдетъ этта по чердаку—ровно ядра катаетъ, возня поднимется—страсть... Одначе, тамъ ужь привыкли.

— Ой, не приведи ты, господи [1])!

— А что, братцы, кабы этакъ сказку послушать какую, пока сонъ не сморилъ? предлагаетъ кто-то изъ слушателей, зѣвая и «печатая» ротъ крестнымъ знаменіемъ.

— Что̀ сказку, лучше разговоры?

— Нѣтъ, сказку смурлыкать невпримѣръ лучше! почти общимъ голосомъ откликается кружокъ, необыкновенно охочій до этого дѣла.—

---

[1]) Арестанты увѣряютъ и искренно божатся, что сами слышали, какъ надъ четвертымъ этажемъ, на чердакѣ, каждый разъ, около полуночи, начинается шумъ и возня. Отчего этотъ шумъ — неизвѣстно. Арестанты говорятъ, что домовой ходитъ. Фактъ.

Иная сказка десяти разговоровъ стоитъ, да и заснешь подъ нее хорошо—покрайности, во снѣ увидишь.

— Ну, сказку, такъ сказку! Это все едино... Облако! валяй!—міръ приговорилъ!

Кузьма Облако, человѣкъ лѣтъ подъ тридцать, съ нѣсколько задумчивымъ, симпатичнымъ лицомъ, необыкновенный мастеръ сказывать сказки. За что̀ онъ сидитъ въ тюрьмѣ—этого и самъ хорошенько не знаетъ, только сидитъ давно ужь, лѣтъ около осьми, и потому въ шутку говоритъ, что давно позабылъ свои провинности. Все, что̀ выжилъ онъ въ заключеніи — это тюремныя сказки, которыя составляютъ исключительное достояніе тюрьмы: въ ней онѣ задумались, въ ней онѣ сложились, отлились въ извѣстную форму и черезъ старожиловъ, въ родѣ Кузьмы Облака, передаются изъ одного тюремнаго поколѣнія въ другое [1]).

Кузьма Облако любитъ сказки и отъ мірского приговора никогда не отказывается. Онъ хоть цѣлую ночь радъ говорить, лишь бы слушали. Поэтому и теперь, встряхнувъ волосами, Кузьма пріосанился, вздохнулъ какъ-то особенно и началъ.

V

Сказа про вора Тараску

У одного господина былъ поваръ Тараска. Тараскѣ что хлѣбъ сожрать, то вещь своровать. Что̀ ни дѣлалъ господинъ, чтобы отучить Тараску отъ скверной его привычки къ воровству—ничто не беретъ! «Ну, думаетъ господинъ, либо совсѣмъ отучить, либо совсѣмъ погубить»!—Зоветъ къ себѣ Тараску.

— Что, Тараска, хорошо ли научился воровать?

---

[1]) Двѣ тюремныя сказки переданы здѣсь почти съ буквальною точностью такъ, какъ были записаны мною со словъ разсказчика, со всѣми ихъ полуграмотными оборотами. Ту и другую сдва-ли кому доводилось слышать гдѣ-нибудь стѣнами тюремнаго зàмка, и кажется, что обѣ онѣ совсѣмъ неизвѣстны волѣ».

— Хорошо, да не совсѣмъ. А вотъ ежели бы вы отдали меня въ ученіе къ дядѣ моему жоху, извѣстному вору, тогда бы я точно-что, вполнѣ научился.

Господинъ весьма этому обрадовался, чтобы, значитъ, сбыть Тараску съ рукъ, и на другой же день, снабдивъ его всѣмъ нужнымъ, отправилъ съ богомъ въ дорогу. Случился Тараска съ дядею жохомъ и предался практиковкѣ своего искусства. Послѣ непродолжительнаго времени бездѣйствія, наконецъ дядя предлагаетъ Тараскѣ въ лѣсъ сходить. Пошли. Отыскалъ дядя жохъ нужное для себя дерево, и указывая на макушку дерева, началъ говорить:

— Видишь на макушкѣ дерева воронье гнѣздо?

— Ну, хорошо, дядя жохъ, вижу.

— Въ которомъ, значитъ, ворона на яйцахъ сидитъ?

— Она, теперича спитъ, и нужно сподъ-ней яйца тѣ украсть.

— Ну, хорошо, дядя жохъ, украсть—такъ украсть.

— Стало-быть, учись у меня: я полѣзу на дерево и скраду ихъ такъ, что ворона восняхъ и не услышитъ.

Полѣзъ. Ни мало, ни много — пять минутъ прошло — глядь — яйца въ рукахъ у дяди.

— Молодецъ, дядя жохъ! У сонной вороны не шутка яйца скрасть: а вотъ ты и не спалъ-не дремалъ, а гдѣ у те подметки сподъ-сапогъ?

Дядя глядь—анъ подметокъ и нѣтути! Пока онъ лазилъ, Тараска подметки сгладилъ, попросту, отрѣзалъ жуликомъ [1]).

— Ну, братъ Тараска, тебя нечему учить — ты самъ поучить любого маза можешь.

* * *

Черезъ нѣвкоторое время, дядя жохъ позвалъ Тараску на клей въ монастырь, недалеко-стоящій [2]). И короче сказать, обчистили они обитель спасенную, и чуть выбрались за ограду — Тараска въ задоръ: давай на мѣстѣ добычу тырбанить! Дядя—уговаривать, потому безразсудно дѣлить на мѣстѣ похищенное, а можно раздѣлить

---

[1]) Маленькій острый ножикъ.

[2]) Мы, ради удобства читателя, поневолѣ принуждены повторять объясненіе нѣкоторыхъ словъ, уже прежде нами приведенныхъ. Клей — воровавшія вещи.

въ мѣстѣ безопасномъ. Но, однако, Тараска упрямъ — на своемъ стоитъ. Нечего дѣлать, начали дѣлёжку, подѣлили весь клей—дошелъ чередъ до настоятельской шубы. Дядя говоритъ: «моя! потому я кралъ, а ты только принималъ кражу». А дядя завѣряетъ, что не тотъ воръ, который воруетъ, а тотъ, который принимаетъ, бабкой-повитушкой при кражѣ состоитъ.

— Когда такъ, говоритъ Тараска: — пойдемъ къ настоятелю, пускай онъ насъ по божеской правдѣ разсудитъ; и кому, значитъ, самъ онъ предназначитъ, тотъ и владай!

Пошли. А настоятель любилъ, чтобы ему на сонъ грядущій сказки сказывали, и объ ту самую пору какъ придти дядѣ съ Тараской къ кельѣ настоятельской, изъ оныей монахъ-сказочникъ выходитъ. Дядя съ племянникомъ и шасть туда украдучись. Настоятель совсѣмъ ужъ засыпаетъ, а Тараска и хлопъ его легонько по плечу:

— Ну, такъ слышь, отецъ святой, говоритъ ему: — жили-были дядя съ племянникомъ и задумали монастырь, обитель честную обокрасть. Выкрали между прочiимъ и шубу настоятельскую. Пошелъ изъ-за шубы споръ, кому то-ись владать ею. Одинъ говоритъ: «моя, потому кралъ», а другой: «моя, потому принималъ». Ну, такъ слышь, отецъ святой! Гы чу, какъ думаешь, по правдѣ божеской, по закону, кому крадей шубой владать?

— Кто кралъ, тотъ и владай, мычитъ восняхъ настоятель.

Какъ порѣшилъ онъ, такъ дядя жохъ съ Тараской по этому разсчету и подѣлились честно.

* * *

Пошелъ Тараска къ прежнему своему господину. Не по скусу тому этотъ гость, и зоветъ онъ къ своей милости Тараску.

— Ну, что, Тараска, хорошо-ль теперь умѣешь воровать?

— Хорошо ли, худо ли—не хвалюсь, а только не клади плохо.

— А что̀ я велю тебѣ украсть, ты украдешь ли?

— Съ нашимъ удовольствiемъ, охулки на руку не положимъ.

— Ну, хорошо. Украдешь — твоя фортуна, не украдешь — въ солдаты сдамъ. Видишь, вонъ попъ корову ведетъ? Выкради ты мнѣ корову, чтобы поповскiе глаза того не видѣли.

— Можно, говоритъ Тараска: — только дайте мнѣ пару маленькихъ сапожковъ.

Дали ему, и пошелъ Тараска. Вотъ, попъ ведетъ корову по дорогѣ, а воръ забѣжалъ пролѣскомъ, и не доходя попа саженъ пятьдесятъ, выбросилъ сапожокъ на дорожку. Поднялъ его попъ.

— Ой, кабы парочка—такъ моему поповскому сыну годилось бы, а какъ одинъ, такъ пусть его тутъ и остается.

А Тараска, слѣдомъ за нимъ, поднялъ сапожокъ съ дороги и побѣгъ впередъ пролѣскомъ. Забѣжалъ впередъ: и не доходя попа саженъ пятьдесятъ, выбросилъ сапожокъ на дорожку. Поднялъ его попъ:

— Экой дурень, не подобралъ давишняго! Воты, была бы пара! Ну, да я его найду!

И за словомъ, привязалъ корову къ дереву, а самъ побѣгъ взадъ по дорогѣ. Тараска, тѣмъ часомъ, веревку пополамъ, корову за рога и привелъ на господскій дворъ.

— Ну, молодецъ Тараска! говоритъ баринъ: — нà тебѣ отпускную, ступай, воруй себѣ на волѣ. Такъ вотъ Тараска оттолѣ и благодушествуетъ [1]).

---

[1]) Далѣе, эта сказка варьируется слѣдующимъ образомъ:

Послѣ того, какъ Тараска привелъ попову корову, баринъ ему и говоритъ: «а украдешь ли у меня со стола серебро за обѣдомъ?» А Тараска отвѣчаетъ: «безпремѣнно украду».—«Ладно, коли украдешь—молодецъ, не украдешь—въ солдаты!» На другой день въ барскомъ домѣ много было гостей. Тараска суетился на кухнѣ, обѣдъ готовилъ, а самъ промежду-тѣмъ нужнаго человѣчка для себя изготовилъ. Вымазалъ его медомъ, вывалялъ въ пуху да въ перьяхъ птичьемъ, и велѣлъ ему залѣзть въ трубу и исполнять все такъ, какъ онъ ему прикажетъ. Вотъ садятся гости обѣдать, садится и настоятель, тотъ самый, что шубу свою праведно присудилъ. А сѣлъ онъ насупротивъ камина, гдѣ въ трубѣ-то человѣкъ Тараскинъ залѣзши. Вотъ только послѣ кулебяки благословенной, изъ камина и выглянь чучела. Настоятель-то и замѣтъ. Черезъ мало времени чучела опять оттолѣ перье свое кажетъ да языкомъ настоятеля дразнитъ. Настоятель перекрестился и думаетъ-себѣ: «Ужь не удостоился ли, молъ, я Господу, что сподобился нечистую силу видѣть?» Не успѣлъ онъ еще и до конца это додумать, какъ чучела выскочила изъ камина да и ну бѣгать вокругъ стола! Дамы всѣ: «ахъ, ахъ!» господа всѣ: «страхъ, страхъ!» иныя въ обморокъ попадали. Хозяинъ схватилъ пистолетъ и побѣгъ за чучелой, а за нимъ и всѣ остальные. Но чучела успѣлъ скрыться, а Тараска тѣмъ часомъ все серебро смахнулъ со стола—и правъ. Приходитъ хозяинъ съ гостями въ столовую обѣдъ доѣдать—глядь—онъ чисто! Позвалъ баринъ Тараску:—«Честь, молъ, имѣю рекомендоваться, по вашему приказу барскому строжающее сдѣлано!» Гдѣ же серебро? спрашиваетъ баринъ. «Да продалъ». А деньги гдѣ?—Да пропилъ». Ну, дѣлать нечего, отвѣтъ коротокъ. Зоветъ баринъ опять на

— Важная сказка! одобряютъ арестанты, только эта ужь больно занятная: никакъ не заснешь съ нея, а ты смурлычь другую, про Ваньку-горюна; покрайности, поучительная, ну, и... сонъ поскорѣй одолѣетъ.

Кузьма Облако снова встряхнулся, снова откашлялся, вздохнулъ и началъ:

себѣ Тараску: «Укради ты у меня шкатулку съ деньгами, и тогда она твоя, и отпущу я тебя на волю; а не съумѣешь украсть, тогда запорю до смерти и сдамъ въ солдаты». — Рады стараться! говоритъ Тараска и пошелъ въ свое мѣсто. Баринъ ходитъ, руки потираетъ: теперь-то я тебя сцапаю, думаетъ. Пришла пора спать ложиться, взялъ онъ шкатулку съ деньгами и—въ спальню. Въ спальнѣ жена его започивала уже; разбудилъ, совѣта спрашиваетъ: гдѣ лучше спрятать. «Давай ее ко мнѣ, у меня не отыщетъ». Ну, и отдалъ онъ, а самъ подлѣ нея легъ, и положилъ на столъ пистолеты вмѣстѣ съ саблею, и не спитъ—дожидается ночныхъ приключеньевъ. Тараска межь-тѣмъ ободралъ барана и сдѣлалъ изъ него чучелу, потомъ налилъ кровью бутылку, а товарища своего, дядю жоха, одѣлъ въ исправницкое платье, послѣ чего, въ половинѣ ночи, отправились они къ барскому дому. Дѣло было лѣтнее, окно раскрытое; Тараска и ну, потихонько въ окно баранью чучелу казать. Баринъ взялъ саблю, подкрался къ косяку: «ишь ты, чортово рыло, думаетъ, бараномъ вырядиться вздумалъ! Нѣтъ, братъ, теперь не надуешь, покажись только—такъ и хвачу по башкѣ чтобы разлетѣлась въ дребезги; этимъ, покрайности, думаетъ, отдѣлаюсь отъ тебя». Только что показалась затѣмъ чучела, баринъ его трахъ саблею по головѣ! за чѣмъ послѣдовалъ страшный стонъ. — «Что такое случилось?» закричалъ дядя жохъ, въ исправницкомъ платьѣ, и подошелъ къ окну: «послушайте, молъ подъ вашимъ окномъ человѣка убили, а вы помочь оказать не хотите? Не угодно ли вамъ пожаловать сюда?» Нечего дѣлать, надо барину выдти на улицу. Видитъ полицію, видитъ чучелу: верхъ бараній, низъ человѣчій—ну, и думаетъ взаправду человѣка зарубилъ, а дядя жохъ крови-то изъ бутылки порядкомъ и на землю и на башку баранью полилъ. Перепугался баринъ, что и отвѣчать не знаетъ. «Ступайте въ земскую избу, говоритъ жохъ, приготовьте все, чтобы показанья дѣлать да актъ составить, а я за понятыми пойду въ деревню». А Тараска тѣмъ часомъ пробрался въ домъ, одѣлъ въ кабинетѣ бариновъ халатъ, да и въ спальню. Ночь, извѣстное дѣло—темно, онъ и ну, шопотомъ успокоивать барыню: «ничего-де, душенька, не бойся». Самъ ласкаетъ ее, да цалуетъ, а самъ спрашиваетъ: «подай мнѣ шкатулку, теперь ужь воръ Тараска не украдетъ». Барыня намиловамшись то вволю, и отдала. Тараска ей и говоритъ: «я пойду, душенька, въ кабинетъ отнесу ее».—«Ступай, душенька, да приходи скорѣй, а то мнѣ скучно одной». Тараска тѣмъ часомъ, халатъ за дверью долой да черезъ окно къ себѣ на кухню! и спрятавши шкатулку, завалился себѣ спать, какъ ни въ чемъ не бывало. Барину, межъ тѣмъ, наскучило ждать, потому, видитъ—никто нейдетъ: «дай, схожу, посмотрю, цѣла ли шкатулка?» Приходитъ.—«Гдѣ, душенька, шкатулка?»—«Да вѣдь ты же взялъ ее, душенька, на-

VI

Ванька-горюнъ горегорькая голова

Въ нѣкоторомъ огромномъ и могучіемъ царствѣ, жилъ парешокъ-мужичокъ. А жилъ онъ ужь болѣе ста лѣтъ назадъ. И былъ онъ бобыль, такой бѣдный, такой бѣдный, какихъ и теперь очень много. И звали его Ванькой-горюномъ и горегорькой головой, а хозяйства у него—всего навсего одна лошаденка да одна тележонка. Промышлялъ онъ извозомъ, жимши близко города, изъ коива купцы ѣздили по базарамъ, въ разныя села торговать. Возилъ Ванька-горюнъ одного скареда сѣдого и зналъ, что у него казна куды богатая водилась! И казну ту скаредъ всегда при себѣ, на тѣлѣ содержалъ.

Любилъ Ванька-горюнъ одну дѣвку на селѣ, а она ему: «не пойду замужъ за бѣднаго, пойду за богачея. Накопи казны, да добра всякаго, тогда и повѣнчаемся».

Повезъ однажды горюнъ своего скареда на ярмонку. Дорога шла лѣсомъ—верстъ съ десятокъ, если не болѣ. И вдругъ, пришла ему благая фантазія—убить старика. Дрожь беретъ Ваньку — страшно. А дьяволъ шепчетъ въ лѣвое ухо: «убей да убей — у него казна богатая; а и Парашка — дѣвка красивая». Призадумался Ванька. «Что жь, думаетъ: вѣдь скаредъ куды старъ да древенъ, скоро помретъ—на что ему деньги? а я человѣкъ молодой, мнѣ онѣ попригоднѣе будутъ». А духъ добра анделъ-божій шепчетъ въ правое ухо: «грѣхъ, Ванька-горюнъ, великій грѣхъ! человѣкоубійцей наречешься! Анаѳема-проклятъ тебѣ будетъ и отъ людей, и отъ бога!» А дьяволъ-то шепчетъ: «убей да убей, ты парень молодой, жизнь-то еще большая, грѣхъ замолить успѣешь, въ монахи на старости можешь пойдти! А отъ людей—бѣдности не ждать почёту; любовь—и та, за бѣдность не любитъ!»—«И то правда!» думаетъ Ванька. Соскочилъ онъ съ облучка, ровно бы въ облегченіе лошадкѣ, и

миловавшись со мною».—«Ахъ, я старый баранъ!» схватился тутъ баринъ за голову: «такъ этотъ распроканальскій воръ Тараска укралъ у меня шкатулку съ деньгами, да ему же, вору Тараскѣ, на придачу пошли и жонкины ласки! Важно!...» Видитъ баринъ, что ничего не подѣлаешь; наградилъ Тараску—только молчи, значитъ, и отпустилъ его на волю. Съ тѣхъ поръ Тараска вольнымъ воромъ слыветъ.

идетъ себѣ сзади телеги, кнутомъ цвѣтики лазоревы постегиваетъ. А старикъ сидитъ да дремлетъ. «Валяй! подтолкнулъ дьяволъ: — не то проснется сейчасъ!» Скочилъ Ванька на задокъ и набросилъ петлю старику на шею. На темную пошелъ, значитъ. А петля изъ кнута у него приготовлена была. Лѣсъ зашумѣлъ, старикъ захрапѣлъ, а вороньё-то, воронье закаркало — сила! не приведи ты господи, страсть какая! Тутъ заразъ къ старику и курносая подкатила [1]). Схватилъ Ванька теплый трупъ, бросилъ его на дорогу и два раза нарочито переѣхалъ телѣгой поперегъ старика. Потомъ обратно вскинулъ его на телегу, и ну, шарить подъ сибиркой да подъ сорочкой! Нащупалъ гайтанъ, на гайтанѣ крестъ крещоный да шмель золоченый виситъ [2]). Его-то Ванькѣ и надо! Оборвалъ этта гайтанчикъ-то, да какъ развернулъ — батюшки-свѣты! Радужныя, пестрыя, красныя, синія, золото чистое, серебро звонкое — такъ все это и посыпалось на шмеля!

Дрожитъ, трясется убійца проклятый, а везетъ свою жертву въ городъ. Объявилъ. «Уснулъ, говоритъ, дорогой, да и упалъ съ передка подъ колёса». Глянулъ на Ваньку исправникъ и позвалъ въ кибинетъ свой. Ни много, ни мало они тамъ поговоримши, выходятъ оттудова вмѣстѣ. «Поѣзжай себѣ, мужичокъ, съ богомъ домой—говоритъ исправникъ—а дня черезъ два я тебѣ вызовъ дамъ». Только призывалъ ли его, либо нѣтъ — и по сей день неизвѣстно.

Зажилъ Ванька на славу. Праздникъ былъ на Ванькиномъ селѣ, дѣвки хороводы водили. Гуляетъ и Ванька-Горюнъ; самъ гуляетъ, а самъ Паранькѣ на ухо шепчетъ: «приходи ужотко на задворки, къ старому дубу». — Приду, безпремѣнно.

Вотъ стала, этто, теметъ. Устали парни, уморились дѣвки—разошлись себѣ, кто по домамъ, кто по кабакамъ, а кто и по горо̀хамъ, да по старымъ овинамъ...

Стоитъ древній дубъ, словно великанъ какой, стоитъ да сучьями по̀ вѣтру качаетъ—ни дать, ни взять, какъ будто руками самъ съ собой о чемъ разсуждаетъ.

---

[1]) *Курносая*—смерть.

[2]) *Гайтанъ*—тесьма, на которой виситъ натѣльный крестъ или натѣльная киса съ деньгами.

А подъ дубомъ—Иванъ-горюнъ горе-горькая голова, съ Параней расприкрасной.

— Пойдешь, что ли, за меня?

— Не пойду я, дѣвка, за бѣднаго, пойду за богачея. Накопи казны да добра всякаго, тогда и повѣнчаемся.

И показалъ тутъ ей Ванька-горюнъ казну свою богатую, приступленіемъ добытую. Пристала: «скажи, душа, не утай, откуда взялъ экую кучу?» Крѣпился Ванька, крѣпко крѣпился, однако, облапила дѣвка, лаской всю правду подноготную вывѣдала. А вывѣдамши, сама говоритъ Ивану:

— Потоль не пойду за тебя, поколь на могилу купца не сходишь, и всю ночь до зори тамъ не промолишься, и тѣмъ прощеніе себѣ отъ Бога и отъ убіеннаго выпросишь.

Согласился горюнъ горе-горькая голова, и пошолъ въ городъ на кладбище. Ночь—ни зги божіей не видать. Спотыкнулся объ могилу, объ свѣжую. Въ могилѣ — жертва, надъ жертвою — крестъ новъ-тесовъ деревянный поставленъ. Дрожь проняла убійцу окаяннаго. Съ трепетомъ сталъ Иванъ на колѣнки и молится. Самъ молится, а самъ шепчетъ:

— Прости ты меня, жертва бѣдная, кровь неповинная, что я тебя убительски убилъ!

Какъ сказалъ онъ это—земляной бугоръ на могилѣ осѣлся.

— Отпусти ты мнѣ грѣхъ анаѳемскій! Я затѣмъ къ тебѣ пришелъ помолиться, чтобы душу свою облегчить. Прости ты меня, жертва, потому и убійцѣ даже зла за гробомъ не помнятъ.

Какъ сказалъ онъ это—черкнула по небу молнья, взгрянулъ громъ и крестъ на могилѣ покачнулся.

Не земля стономъ стонетъ, не вѣтеръ воемъ воетъ — то гудитъ изъ могилы голосъ:

«Кровь за кровь, голова за голову! Черезъ пятьдесятъ лѣтъ ты будешь наказанъ, со всѣмъ родомъ и потомствомъ твоимъ».

И тутъ сдѣлалось землетрясеніе. Горемыка ничкомъ лежитъ на могилѣ безъ всякаго чувствія, а какъ пришелъ въ себя — утро красное настало. И пошла горе-горькая голова домой—и что головушка думала, то знаютъ только мысли тайныя.

Женился Ванька на Парашѣ. А стали звать его ужь не Ваньк-

кой-горюномъ горе-горькой головой, а Иванъ-свѣтъ-Иванычемъ. Сосѣди и начальство — всякое уваженье и великатность ему показываютъ, на житье его завидуютъ. Всего-то у Иванъ-свѣтъ-Иваныча вволю: домъ—не домъ, хоромы—не хоромы; самъ въ лисьей шубѣ купецкой щеголяетъ, и жена въ парчѣ, да въ атласѣ. Ну, и дѣти чередомъ пошли—славные ребята, просто заглядѣнье. Патріархомъ въ семьѣ, головой мудрилой на міру сталъ Иванъ-свѣтъ-Ивановичъ. Не житье ему, а масляница. Держитъ онъ, между прочимъ, дворъ постоялый.

Заѣзжаетъ къ нему однажды какой-то священникъ, старичокъ сѣденькій, благочестливый:

— Ну, хозяинъ, обогрѣй, накорми, напои меня, человѣка заѣзжаго!

Пока пошли ему пищію приготовить, старикъ сидитъ за столомъ и книжку божественную читаетъ, а книжка та называется «Требникъ».

Вдругъ, этта, взгрянулъ громъ съ молоньей и послышался съ улицы голосъ:

— Отецъ Іоаннъ! Выдь изъ сего дома!—домъ сей анаѳема-проклятъ есть!

Поблѣднѣла хозяйка, почернѣлъ хозяинъ.

Священникъ глянулъ въ окно—теметь, хуже осенней ночи—и опять-себѣ тихо за книгу.

Пуще громъ, пуще молонья, а того пуще голосъ:

— Отецъ Іоаннъ! Вонъ изъ дома каинскаго, да не погибнетъ доброе съ недобрымъ! Пятьдесятъ лѣтъ прошло!

Вышелъ священникъ со своимъ извощикомъ изъ дому, и поѣхали они, не оглянумшись, куда имъ слѣдовало. А ѣхали они за требой.

Вдругъ дорогой и вспомнилъ старецъ, что Требникъ-то забылъ второпяхъ на дворѣ на стояломъ.

Вернулись, глядитъ—а на томъ мѣстѣ, гдѣ стоялый дворъ стоялъ, теперича стоитъ огромное казенное зданіе, съ желѣзными рѣшотками. У желѣзныхъ воротъ часовые съ ружьями ходятъ. А недалече отъ часовыхъ—столъ и на столѣ книга лежитъ, та самая, что старикомъ позабыта была.

И лежитъ эта книга, раскрыта на той самой страницѣ, гдѣ читалъ священникъ.

И въ этой самой книгѣ огненными буквами написана, невѣдомо кѣмъ, эта самая повѣсть.

И при ней сказано:

«Убійцы, душегубцы, святотатцы, воры, обманщики, негодяи и всѣ подобные имъ люди, должны жить въ такихъ мрачныхъ домахъ, какъ этотъ самый.

«И гдѣ есть такіе люди, тамъ должны быть и такіе дома.

«И дома эти должны называться острогами и тюрьмами, а люди въ нихъ сидящіе—арестантами» [1]).

На этихъ словахъ Кузьма Облако скончалъ свою сказку.

VII

Палестины забугорныя

— Это-что ваши-то сказки! потирая поясницу, обратился къ слушателямъ Дрожинъ, пятидесятилѣтній старикъ, который только что отошелъ отъ играющей въ углу группы, гдѣ онъ продулъ все, до послѣдней копейки, и даже *будущую* подаянную сайку. Дрожинъ—высокій и лысый старикъ, съ крѣпко-сѣдою, жидковатой бородкой-клиномъ, казался гораздо старѣе своихъ лѣтъ. Морщинистое лицо его носило на себѣ слѣды многихъ страстей и несчастій, хотя и до сихъ поръ сохраняло такую-то удалую осанку. На лбу и на щекахъ его можно было разглядѣть слѣды каторжныхъ клеймъ; а спина—ею въ иныя минуты любилъ съ гордостью похваляться этотъ старикъ—носила на себѣ буровато-синія перекрестныя полосы—печать палача, которую онъ, по словамъ Дрожина, неоднократно прикладывалъ къ этой выносливой спинѣ человѣческой. Дрожинъ отличался силой, и эта сила, вмѣстѣ съ печатями палача и богатою приключеніями жизнью, давали ему какое-то нравственное превосходство передъ остальными товарищами по камерѣ и право на первенство между ними, на общее ихъ уваженіе. Многіе, не шутя, побаивались Дрожина за его силу.

---

[1]) *Варіантъ*: «когда священникъ воротился, то на томъ самомъ мѣстѣ увидѣлъ большущее озеро воды, и на тыемъ озерѣ плаваетъ столикъ, на столикѣ лежитъ та самая книга-требникъ, въ которой, на раскрытой страницѣ, напечатано огненными словами и т. д.

— Это что ваши-то сказки! заговорилъ онъ: —одно слово—тьфу нестоющее!... Сидятъ въ тюряхѣ, что бабы на печи да побасками займаются! Нашъ братъ-варнакъ сказокъ не сложитъ, потому наша бывальщина, что твоя сказка! Чудно да и только!

— На то ты и жиганъ [1]), чтобы всю суть тебѣ произойти; такая, значитъ, планида твоя, замѣтилъ ему на это Облако, нѣсколько задѣтый за живое этимъ высокомѣрнымъ отношеніемъ къ его сказкамъ.

— Жиганъ... Не всякъ-то еще жиганомъ и можетъ быть!... Ты поди да дойди-ка сперва до жигана, а потомъ и толкуй, съ гордостью отвѣтилъ, въ свою очередь задѣтый Дрожинъ: —ты много ли, къ примѣру, душъ хрестьянскихъ затемнилъ?

— Отъ этого пока Господь Богъ миловалъ.

— Ну, стало быть, и молчи!

— А ты нешто много?

— Я-то?... Что хвастать—мнѣ не доводилось, не привелъ Господь, а вотъ есть у меня на томъ свѣтѣ, у Бога пріятель, тоже стрѣлецъ савотѣйный былъ за буграми [2]), такъ тотъ не хвалючись, самъ покаялся мнѣ въ двадцати-семи. Вотъ это ужь жиганъ—такъ жиганъ, на всю стать!

— Для-чего же каяться въ этакомъ дѣлѣ? возразилъ чухна изъ-подъ Выборга.

— А для-того, что передъ смертью исповѣдь держалъ. Поди, чай, на томъ свѣтѣ, къ чертямъ-то тебѣ тоже вѣдь не хочется на крюкъ, ась?... Вотъ то-то же и есть!... А впрочимъ, вы—нехристи, чухны, вамъ вѣдь все едино, не то, что хрестьянамъ!... Н-да, братцы вы мои, это не то, что ваша тюрашняя жисть! продолжалъ Дрожинъ, послѣ минутнаго раздумья, медленно поглаживая рукой по колѣну и сосредоточенно уставя взоръ свой на пальцы вытянутой ноги, словно бы передъ нимъ проносились теперь картины прошлаго.—Я вотъ теперь—куклимъ четырехугольной губерніи [3]),

---

[1]) *Жиганъ*—сибирское прозваніе каторжниковъ.

[2]) *Бугры*—Уральскія горы, и горы вообще. *Сюрпть въ бугры*—уйти въ Сибирь. *Савотѣйки*—сибирскія булки. *Стрѣлять савотѣекъ*—отправиться въ бѣги по Сибири. *Стрѣлецъ савотѣйный или савотѣйникъ*—бѣглый, сибирскій бродяга.

[3]) *Куклимъ четырехугольной губерніи*—бродяга непомнящій родства.

и всегда былъ и есть куклимомъ; въ томъ и всѣ мои вины состоятъ государскія. Спородила меня мать подъ ракитовымъ кустомъ, сказывали добрые люди, а кто такова—про то и вѣдать невѣдаю. Стало быть, я—божій. Забрили мнѣ было лобъ, а я не будь глупъ, да и въ бѣги! Изымали. Кто таковъ? спрашиваютъ.—«Иванъ, непомнящій родства». Пытали, пытали—ничего не допытались. Ну, постебали маненько и отправили съ посельской за бугры. Поселили меня по край тайги сибирской. Голодно, холодно, рукъ зацѣпить незашто—я и убѣгъ. Опять же изымали и плетьми постебали, и положили такую ризалюцыю, чтобы мнѣ ужь не въ посельцы, а на каторгу. Тутъ и пошла моя жисть прогульная. Кажиную вёсну бѣгали изъ каторги на охоту—савотѣекъ стрѣлять. Изымали опять, и опять постебали, да спровадили опять, и опять постебали, да спровадили за море, въ Нерчинской...

— Экъ, тебя часто какъ! перебилъ его Облако, чувствовавшій себя въ нѣкоторомъ родѣ оскорбленнымъ, такъ-какъ Дрожинъ перехватилъ теперь его монополію—занимать общество:—это человѣку помереть надо!

— Не бойсь, щеня, отъ миногъ курносая не сгрёбаетъ! похвальбой отвѣтилъ Дрожинъ:—я ужь, почитай, и счетъ позабылъ, сколько разъ меня тово...

— Да вѣдь страсть? съ живымъ сочувствіемъ возразилъ молодой арестантъ, что помѣщика изъ ружья стрѣлилъ.

— Никакой страсти тутъ нѣту, съ компетентнымъ видомъ авторитета отвѣтствовалъ Дрожинъ:—первые раза, съ непривычки—точно что... щекотно. А потомъ—я даже люблю, какъ эдакъ по спинушкѣ-то пробирать начнутъ—жарко, покрайности!

— Ну, ври, дядя жиганъ!

— Чего «ври»?—Вотъ какъ передъ истиннымъ!... Потому—привычка. Сказывали, будто скоро народъ пороть не будутъ: это нехорошо, потому, больше помирать станутъ, а поротый невпримѣръ выносливѣй. Да вотъ, хошь я теперь, къ примѣру: меня ни зима студеная, ни жары горючія, ни лихоманка голодная — ништo, ни кая тоись болѣзнь не возьметъ. А потому-што—поротый. Такъ-то оно! и ты, младъ-человѣкъ, исперва старшаго послушай, да потомъ и спорь, поучившись-то!

Вересовъ невольно приподнялся на своей подушкѣ, и во всѣ глаза, съ изумленіемъ сталъ глядѣть на стараго жигана. Теперь ему во очію сдѣлалось ясно, до какого моральнаго и физическаго отупѣнія и безчувственности можетъ доводить человѣка страшное наказаніе плетьми, если въ этомъ истязаніи человѣкъ мало-по малу становится способнымъ видѣть какой-то родъ своеобразнаго сладострастія и находитъ пріятнымъ ощущеніе тяжкой боли. Вотъ она гдѣ высшая ступень уродливой порчи и нравственнаго омертвенія!

— Да ты, дядя жиганъ, про Сибирь разскажи, потому не равно кому туды въ гости на побывку смахать придется, такъ чтобы, по крайности, знатье было, замѣтилъ кто-то изъ слушателей.

— Сибирь... Про которую Сибирь? возразилъ жиганъ:—у насъ, по настоящему, Сибири-то двѣ. Первымъ дѣломъ—батюшка Сибирь-тобольскій, а второе — мать Сибирь-забайкальская. Такъ я тебѣ, милый человѣкъ, про матушку нашу разсказывать стану.

...Широки, братъ, эти палестины забугорныя!... Рѣки у насъ широкія — Волга супротивъ нашихъ — тьфу! Горы наши, слышно, самъ чортъ громоздилъ, какъ мѣсиво мѣсилъ, чтобы стѣны въ аду щукатурить, а лѣса-то, лѣса — ухъ, какіе потёмные, привольные! Иной на двѣсти верстъ, словно черная туча, тебѣ тянется, и скончанья, кажись, ему нѣтъ. И дерево ростетъ тамъ крѣпкое да высокое; всякое дерево, а больше все кедръ. Этотъ самый кедръ напередъ всѣхъ взращенъ былъ у Бога; потому, слышно, ему и прозваніе такое по писанію есть: кедра ливанскій.

... Сидимъ мы, братъ, по зимамъ-зимскимъ въ острогахъ, жремъ пищію казенную, сѣрую, да и съ той умудрямся жиру да силы себѣ набираться, чтобы, значитъ, къ веснѣ бѣжать посподручнѣе было. А какъ придутъ этта веснòвки, снѣга сибирскіе таять почнутъ, рѣки потопъ на десятокъ верстъ тебѣ пустятъ, ты, значитъ, и выжидай своего случаю. Выгонятъ куда ни на есть на работу изъ острога, въ поле дерну копать, али въ лѣсъ ломать вѣники—тутъ ты и удирай. Такое ужь у насъ абнакновеніе, чтобы по веснѣ безпремѣнно савотѣекъ стрѣлять. И утекаемъ мы партіями: два-три товарища. Запасся хлѣбушкомъ дня эдакъ на четыре порцыей — и правъ. Въ Нерчинскомъ-то работа чижолая: руду копать, а на волѣ хоть и съ голоду мрёшь, да все-жь она, какая ни на есть, а воля

прозывается. Главная статья—до моря [1]) добраться, потому нашъ братъ-жиганъ въ бѣгахъ, все больше къ Иркутскому путь держитъ, чтобы поближе, значитъ, къ Рассѣюшкѣ любезной. Только до моря-то неблизкій путь. Перво-на̀-перво черезъ яблоновые бугры перебираться нужно — глушь такая, что не приведи ты Господи! Однѣ ноги-то — во какъ поискалечишь себѣ! а потомъ, какъ значитъ, перевалился за бугры—тутъ тебѣ еще того хуже пойдетъ — самое распроклятое мѣсто братская степь. За степью лѣса непродо̀рные. А ты все больше по лѣсамъ этимъ самымъ скитаешься, потому иначе изымаютъ. Нашему же брату ловля по осени нужна, а весной она совсѣмъ не резонтъ. Господи боже ты мой, мука-то мученская какая! Иное мѣсто буряты эти — самый что ни есть разсибирный народъ!—словно супротивъ звѣря лютаго облаву на тебя держатъ. А ты, знай, иди-хоронись себѣ по лѣсамъ потемнымъ. Другой разъ, гдѣ опасливо, и на дерево влѣзешь, да ночь просидишь, потому—звѣрье. Много нашего брата звѣрь лютый потравляетъ, кабанъ да медвѣдь, потому онъ, звѣрь этотъ до мозговъ человѣчьихъ лакомъ, ну и до тѣла тоже, значитъ, жретъ: мясо-то наше сладкое, говорятъ, ровно что голубиное. А пуще чѣмъ отъ звѣря еще, съ голоду мретъ савотѣйникъ. Пищіи никакой, окромя черемши—трава̀ такая вонючая по лѣсамъ ростетъ — водой больше питаешься, а съ воды брюхо пучитъ; ну, и слабѣетъ человѣкъ. И какъ только пошагалъ ты на бугры, такъ тебѣ рѣдкій день безъ того не пройдетъ, чтобы на мертвеца не наткнуться. И на степи, и въ лѣсу потомъ, и по берегу морскому все мертвецы попадаются. И это все голодный мертвецъ. Лежитъ-себѣ синь-синешенекъ, оскалимшись, ровно бы смѣется надъ тобою... Иной ободранный, это значитъ, звѣрь его глодалъ: срадъ идетъ... Страсти, прости!... Перекрестишься за упокой да и продираешь себѣ мимо. «Вотъ, не нынче-завтра, думаешь, самому то же будетъ!» а самъ все да̀лѣ и далѣ бредешь. Обувь порвалась, никуда-негожая — нужды нѣтъ, потому ужь планида твоя такая, чтобы муку эту пріймать.

...Вотъ такъ-то разъ и шли мы съ Коряевымъ, пріятель-то мой. Девять денъ не ѣмши были. Я-то еще пободрѣй, а онъ совсѣмъ

[1]) Озеро Байкалъ извѣстно у сибиряковъ и, особенно у ссыльныхъ, подъ именемъ моря.

ужь черезъ силу ноги двигаетъ. На восьмой день, сѣлъ подъ дерево и... не видалъ бы, не повѣрилъ!—горько всплакался. «Видно, говоритъ, помирать мнѣ тутъ! Не могу больше идти». Взглянулъ ему я на ноги: въ кровь поязвлены, распухли всѣ, и самъ-то отъ голоду пухнуть началъ. Защемило во мнѣ—жаль его, бѣднягу стало; бросить живьемъ—совѣсть зазрѣла: человѣкъ вѣдь, опять же и товарищъ. Что̀ тутъ дѣлать? Самъ слабъ, того гляди, свалишься; одначе, сгребалъ я его въ охабку, взвалилъ на плечи да и поволо̀къ... Ка̀къ ужь воло̀къ, худо ли, хорошо ли, а только, съ роздыхами, день протащилъ на себѣ. Заночевали въ лѣсу. Наутресь полегчало ему—«самъ, говоритъ, пойду, спасибо за послугу». Ну, и пошли. А кругомъ-то лѣсъ, трущоба такая, что ни тропинки нѣтъ, ни слѣда человѣчьяго. Нога во мху, что въ пуху тонетъ, трава высокая, почитай до носу тебѣ—колѣнки на руки захлестываетъ; путаешься въ ней на каждыемъ тоись шагу, а тутъ еще сучья эти сухіе да вѣтви колючія; все лицо хвоемъ поранишь... Упалъ мой Коряевъ — «помираю», говоритъ. Взглянулъ я—точно, какъ быть надо, взаправду помираетъ человѣкъ.—Что-жь, говорю, отходи себѣ съ богомъ, а я пойду. «Нѣтъ, постой, сповѣдаться передъ смертью желаю; будь ты мнѣ, говоритъ, замѣсто отца духовнаго, а потомъ на духу весь мой грѣхъ батюшкѣ передай; пущай его разрѣшитъ, коли можно... Я, говоритъ, убивца, я двадцать-семь душъ хрестьянскихъ загубилъ... мнѣ мѣсто у дьявола въ когтяхъ, потому кровь на мнѣ»... Сказалъ онъ это и померъ, мало времени спустя. А меня голодъ моритъ разъанаѳемскій, просто! И нашелъ тутъ на меня соблазнъ: топоръ при себѣ былъ—«дай, думаю, отрублю кусокъ мяса у покойника да поѣмъ»! Одначе, совѣсть зазрѣла. Все едино околѣвать-то придется, такъ по̀што, думаю, лишній грѣхъ великій на душу брать? Перекрестилъ я тутъ пріятеля и пошелъ. Не доходя дни за два до моря, встрѣнулся я съ товаріществомъ—тоже бѣглые были, восемь человѣкъ, и доплелись мы коекакъ до Байкала, побираючись съ голоду травой этой самою да лукомъ полевымъ. Скрали мы себѣ ночью лодку негожую. Что̀ будетъ, то̀ будетъ! Коли не скрѣпчаетъ вѣтеръ—переплывемъ, а подымутся волны — ко̀дну пойдемъ. Поплыли. Четверо гребутъ, пятеро воду выкачиваютъ, потому коли не выкачивать, въ минуту и

со скорлупой-то своей дырявой потонешь. Ну, добрались кое-какъ до другого берега—тутъ ужь повальготнѣе стало, полоднѣе и народъ-то все милосердый живетъ, свои православные. Только нѣтъ того, чтобы грабить, или разбойство чинить какое, а все имянемъ христовымъ просишь. И ежели украсть, или чего хуже ограбить, такъ свои же бродяги, не токмà что селенцы, убьютъ безпремѣнно, потому идешь не ты одинъ, а и за тобою, кажиное лѣто, много народу ходитъ, и стало быть изъ-за тебя всѣ другіе пристанища и хлѣба куска должны рѣшиться. Поэтому мы въ Сибири оченно смирны и любятъ насъ за то православные, савотѣйки, и деньгу подаютъ, и въ избу къ себѣ примутъ, а ты имъ за это на покосахъ, аль на жнитвѣ помогаешь, да бабы еще колдовать просятъ и подарки за то носятъ—мы тамъ за колдуновъ слывемъ—и всѣ много довольны. Такъ-то и бродимъ до осени, а какъ утреннички осенніе пойдутъ, тутъ ужь ты самъ наровишь, чтобы начальство тебя изымало да въ острогъ до весны засадило. Вотъ, таковы-то онѣ есть наши палестины забугорныя!

...Много разъ, этакимъ-то манеромъ, лататы задавалъ я по Сибири, кажинную весну почитай! Разъ я до Томскаго доходилъ, разъ до Перми, а вотъ на старости лѣтъ Господь привелъ и въ бѣлокаменной побывать, да и съ вами въ Питерѣ покоптѣть. Распроклятый этотъ Питеръ! Ужь какъ вѣдь кажется хоронился, анъ нѣтъ-таки, изловили звѣря матерова, полка сѣро-травленаго. Такъ-то оно, братцы!...

— Да какой чортъ тебя дергалъ бѣгать-то? Сидѣлъ бы себѣ смирно на каторгѣ! съ участіемъ проговорилъ Кузьма Облако.

— Э, милый человѣкъ, ужь и какъ тебѣ это сказать, самъ того не знаю! развелъ руками Дрожинъ: — вся жисть моя, почитай, въ бѣгахъ происходитъ, потому — люблю!... до смерти люблю это, и и голодъ, и холодъ, и страхъ-то, какъ облаявъ тебя нѐвпору, а ты хитростью, не хуже лисицы, хвостомъ виляешь — любо мнѣ все это, и только! Теперича меня опять на Владимірку, значитъ, безотмѣнно рѣшатъ, и я до матери-Сибири пойду. Я и дойду, а только съ первымъ случаемъ убѣгу — какъ Богъ святъ, убѣгу — не могу я иначе: человѣкъ ужь такой, значитъ, калѣный.

— Да что жь тебя это тянетъ въ бѣги-то?

— Какъ «что»? — воля! Теперича тебѣ хочется изъ тюрьмы-то этой на волю? Ну, и мнѣ тоже, потому, говорю, любезное это самое дѣло!

Мало-по-малу арестанты улеглись и скоро въ камерѣ настала сонная тишина, часто впрочемъ прерываемая азартными возгласами доразсвѣтныхъ записныхъ игроковъ.

— Хлюстъ!... Фаля!... Съ бардадымомъ! раздавались хриплые, осерчалые голоса, до самой утренней провѣрки, не давая ни на минуту сомкнуть глаза новому жильцу Вересову, который послѣ всѣхъ этихъ сценъ и разсказовъ находился подъ какимъ-то нервно-напряженнымъ, болѣзненнымъ впечатлѣніемъ.

VIII

Арестантскія игры

На другой день, послѣ тюремнаго обѣда, Вересовъ, по вчерашнему, лежалъ на своей койкѣ. Послѣ разговора съ Фаликовымъ, онъ ни слова ни съ кѣмъ не сказалъ, и съ нимъ никто не заговаривалъ. Онъ робѣлъ и дичился, а они, повидимому, не обращали на него ни малѣйшаго вниманія. Вересову какъ-то дико и странно казалось первому заговорить съ ними: какъ начать, что сказать имъ? потому, чувствовалъ онъ, что между нимъ и его товарищами по заключенію, словно стѣна какая-то поставлена, которая совсѣмъ отдѣляетъ его отъ ихъ міра, отъ ихъ интересовъ. Между ними, этими тридцатью заключенниками, какъ-будто есть что-то общее, единое, а онъ — круглый особнякъ посреди ихъ. И въ то же время это отчужденное одиночество среди людей, среди случайнаго общества, съ которымъ предстояло неразлучно прожить, быть можетъ, долгое время — начинало тяготить, и все больше и больше давило Вересова.

— А что, братцы, поиграть бы намъ, что ли, какъ? обратился Фаликовъ ко всей камерѣ: — скука вѣдь!

— Для-чего нѣтъ? Вотъ и жильцу-то новому тоже скучновато, кажись, лежать безъ дѣла, согласились нѣкоторые.

Вересову стало какъ-то легче, свободнѣе, когда услышалъ онъ этотъ первый знакъ вниманія къ своей особѣ.

— Эй, чудакъ, вставай!... полно дичиться — народъ-то все свой да божій, дернулъ его за рукавъ Дрожинъ.

— Ходи, что ли, поиграть съ ними, ласково обратился къ нему же и дневальный Сизой: — за одно съ ребятками познакомишься.

— А послѣ игры уже баста дичиться! прибавилъ Фаликовъ: — тогда мы всѣ съ тобой милыми дружками будемъ.

Вересовъ охотно поднялся съ койки.

— Чтó же, братцы, какъ присудите? снова обратился Фаликовъ ко всей камерѣ: — надо бы сперва, чтобы новый жилецъ присягу принялъ на вѣрноподданство по замку?

— Ну, это опосля! авторитетно порѣшилъ Дрожинъ: — сперва давай покойника отпѣвать! Правильно ли мое слово, ребята?

— Правильно, жиганъ; покойникъ не въ примѣръ занятнѣе будетъ, а присягу на закуску оставимъ, согласились почти всѣ остальные члены камеры.

— Кто же попомъ у насъ будетъ?

— Попомъ-та? А хоша Фаликовъ!

— Фаликовъ! — ну, ладно!... быть такъ, ребята?

— Быть!

— Стало-быть, коли на міру порѣшили. А упокойничкомъ кого положимъ?

— Да хошь тебя самаго, жигана стараго.

— Ладно! мнѣ все-едино помирать! Ну, теперича вы, пѣвчіе — по обѣ стороны становись: на два клира, значитъ. А ты, Сизой, какъ есть ты дневальный — человѣкъ начальный, такъ ты — къ форточкѣ на стрёму! Да зёмко стреми, чтобы начальство милосливе не тово...

Въ минуту вся камера раздѣлилась на двѣ половины, Фаликовъ свилъ себѣ изъ полотенца крѣпкій и толстый жгутъ, а на плечи накинулъ арестантское одѣяло, старому жигану бросили на полъ подушку, на которую онъ легъ головой, какъ покойникъ, сложивъ на груди руки, закрывъ глаза — и затѣмъ началось отпѣваніе.

— «Помяни, господи, душу усопшаго раба твоего!» заговорилъ на церковный распѣвъ Самонъ Фаликовъ, становясь въ ногахъ у покойника, и принимаясь кадить жгутомъ, какъ словно бы настоящимъ кадиломъ.

Присутствующіе набожно перекрестились.

— Умеръ родимый нашъ, умеръ нашъ Карповичъ, продолжалъ тѣмъ же речитативомъ Фаликовъ, обходя вокругъ лежащаго Дрожина — какъ обыкновенно дѣлается при отпѣваніи.

Государь ты нашъ батюшка, Сидоръ Карповичъ,
Какъ тебя, сударь, прикажешь погребать? —

затянулъ правый клиръ какимъ-то мрачнымъ, похоронным напѣвомъ.

Въ гробѣ, батюшки, въ гробикѣ,
Въ могилѣ, родимые въ могилушкѣ —,

дружно откликнулась лѣвая сторона.

А попъ все ходитъ вокругъ покойника, ходитъ, крестится съ поклонами да кадитъ своимъ жгутищемъ.!

Государь ты нашъ батюшка, Сидоръ Карповичъ,
Чѣмъ тебя, сударь, прикажешь зарывать? —

начинаютъ опять тѣмъ же порядкомъ правые.

Землею, батюшки, землицею,
Землицею, родимые, кладбищенскою —

подхватываетъ въ голосъ лѣвый клиръ, отдавая, при окончаніи каждаго стиха, поклонъ сторонѣ противоположной.

Государь ты нашъ батюшка, Сидоръ Карповичъ,
Какъ съ тобой прощаться-расставаться?
Все съ рыданьемъ, батюшки, съ надгробнымъ,
Съ цалованьемъ, родимые, съ разстанонным.

При этомъ послѣднемъ стихѣ попъ положилъ надъ покойникомъ земный поклонъ и поцаловалъ его лобъ. За нимъ поодиночкѣ стали подходить остальные арестанты. Каждый крестился, кланялся въ землю, и простираясь надъ Дрожинымъ, цаловалъ его лобъ или губы, смотря по своему личному вкусу, и сопровождая все это хныканіемъ, которое долженствовало изображать горькій плачъ и рыданіе.

А два клира, межъ тѣмъ, поочередно продолжаютъ свое мрачное, монотонное отпѣванье:

Государь ты нашъ батюшка, Сидоръ Карповичъ,
А и чѣмъ тебя, сударь, прикажешь поминать?

Водочкой, батюшки, водочкой,
Сивухою, родные, распрегорькою.

Государь ты нашъ батюшка, Сидоръ Карповичъ,
А и чѣмъ прикажешь намъ закусывать?

— Новаго жильца съ почетомъ! обратился къ двумъ сторонамъ Фаликовъ — и по слову его, два дюжіе арестанта взяли подъ руки Вересова, такъ что онъ даже — хоть бы и хотѣлъ — а не могъ шелохнуться въ ихъ мускулистыхъ лапищахъ — и подведя его къ покойнику, насильно положили ничкомъ на послѣдняго.

Миногами, батюшки, миногами,
Миножками, родимые, горячими —

fortissimo откликнулся лѣвый клиръ, и вслѣдъ за этимъ возгласомъ, покойникъ внезапно облапилъ Вересова за шею, цѣпко оплёлъ его ногами — и на спину новаго жильца посыпались частые нещадные удары жгута. Толпа хохотала. Многіе торопились наскоро свивать изъ полотенцевъ новые жгуты, стараясь принести и свою посильную лепту въ пользу спины несчастнаго Вересова.

— Это для того, чтобы вѣчная память была, наклонясь къ его уху, прокричалъ Фаликовъ, и вслѣдъ за тѣмъ, по его знаку, оба хора завыли «вѣчную память», подъ акомпаниментъ хохота остальной камеры.

Истязаніе продолжалось до тѣхъ поръ, пока всѣ не натѣшились въ волю.

— Это, милый, не бѣда, что вздули, сказалъ Дрожинъ, отпуская Вересова изъ своихъ медвѣжьихъ объятій: — потомъ самъ надъ другими будешь то же дѣлать.

Вересовъ все время не издалъ ни единаго звука, но теперь — весь блѣдный, дрожащій, поднялся съ полу и, какъ звѣрь, не разбирая, ринулся на перваго попавшагося арестанта.

— Го-го!... Да ты драться еще! весело воскликнулъ Фаликовъ.— Ребята! отабунься [1])! Колоколъ лить!

Въ то же мгновенье новаго жильца плотно окружили десять человѣкъ, сцѣпясь другъ съ дружкой руками — такъ что онъ очутился какъ-бы въ живой клѣткѣ — а къ нимъ вскорабкались на плечи еще трое арестантовъ — и вся группа образовала родъ акро-

[1]) *Отабуниться* - собраться въ кучу.

батической пирамиды. Это было дѣломъ одной минуты. Раздался пронзительный крикъ боли, тотчасъ же заглушенный пѣснею:

Попъ Мартынъ!
Попадья Маланья!
Спишь ли ты?
Звони въ колокольчикъ!
Бимъ! бамъ! бомъ!
Ти-ли, ти-ли, бомъ!

Верхніе трое, для ступней которыхъ сложили пьедесталомъ плечи десяти нижнихъ арестантовъ, вцѣпились въ волосы Вересова, и приподнявъ его такимъ образомъ кверху, на воздухъ, стали раскачивать въ стороны и постукивать объ полъ его ногами. Изъ глазъ несчастнаго сыпались искры и выбрызнули крупныя слезы. Волоса его трещали подъ руками мучителей; грудь выдавливала изъ себя глухіе, короткіе стоны, отъ нестерпимой боли этой чудовищной, варварской пытки.

— Лихо языкъ болтается, да и звонитъ-то гулко! острилъ Самонъ Фаликовъ: — пущай это ему за то, что дѣла моего купить не желалъ, окаянный!

— Вотъ, вѣдь оно тиранство — а люблю! диллетантически замѣтилъ Дрожинъ, съ разныхъ сторонъ любуясь на картину пытки: — право, люблю! Меня самого еще куды тебѣ жутче тиранили! Пущай и другой знаетъ, каково оно жарко!

— Двадцать-шесть [1])! громко выкрикнулъ Сизой, быстро отскочивъ отъ своего наблюдательнаго поста, у дверной форточки.

Верхніе мигомъ спрыгнули съ плечъ, нижніе подхватили почти безчувственнаго Вересова и, бросивъ его на койку, разбѣжались, какъ ни въ чемъ не бывало [2]).

---

[1]) *Двадцать-шесть!*—предостерегательное восклицаніе тюремнаго argot, то же самое, что у «вольныхъ» мошенниковъ «стрема» — берегись.

[2]) Вотъ перечень тюремныхъ игръ:

а) «*Киршинъ портретъ*». Новичка спрашиваютъ: «Хочешь Киршинъ портретъ поглядѣть?»—«Хочу».—«Ну, ладно, повыдь на минуту за двери». Новичекъ выходитъ, а въ это время арестанты вымазываютъ въ трубѣ сажею новичкову шапку и подкарауливаютъ у двери его возвращеніе. При входѣ, внезапно маранютъ шапкой лицо и подводятъ къ зеркальцу: «Смотри, молъ, вотъ онъ, киршинъ портретъ»! Новичекъ ругается, остальные смѣются. — Это — самая невинная и самая мягкая изъ арестантскихъ игръ.

IX

Рамза

Дверь въ камеру отворилась — и въ корридорѣ показался сидѣлый острожникъ, староста, вмѣстѣ съ дюжимъ приставникомъ и новымъ арестантомъ.

Это былъ человѣкъ высокаго роста; на видъ ему казалось года сорокъ-три-четыре, и вся наружность его: глубоко впалые, задумчивые глаза сѣраго цвѣта, высокій, нѣсколько лысый лобъ, широкая черная борода, подернутая значительною просѣдью — имѣла въ себѣ что-то душевное и въ то же время сановитое. Взглянувъ на него, нельзя было не угадать присутствія страшной, желѣзной физической силы въ этомъ сухомъ, мускулистомъ тѣлѣ; но вообще, въ немъ сказывался скорѣе человѣкъ духа, чѣмъ плоти.

---

b) «*Присяга на вѣрноподданство по замку*».

c) «*Пальто шить*»—двѣ игры до того циничныя, что нѣтъ ни малѣйшей возможности передать ихъ печатно.

d) «*Покойника отпѣвать*».

e) «*Колоколъ лить*».

f) «*На оленяхъ прокатить*». Становятся два человѣка, плотно другъ къ другу спиною, и около пояса связываютъ себя полотенцемъ, потомъ каждый наклоняется въ свою сторону. Ихъ накрываютъ одѣяломъ и—олени готовы. Старые арестанты садятся на нихъ поочередно и катаются по камерѣ. Доходитъ очередь до новичка, но чуть сядетъ онъ на оленей—связанные арестанты распрямляются и начинаютъ жать его какъ словно въ тискахъ, а остальные начинаютъ избивать его жгутами.

g) «*Голоса слушать*». Каждый становится на свою койку и начинаетъ издавать музыкальныя ноты. Очередь доходитъ до новичка—его схватываютъ, дерутъ за уши и за волосы, бьютъ и пинаютъ, и когда онъ начнетъ кричать, арестанты говорятъ, что у него голосъ лучше всѣхъ. «Такъ лихо поешь, что всѣмъ подольше послушать хочется». И бьютъ, покуда не натѣшатся. Арестанты до тѣхъ поръ не успокоиваются въ отношеніи новаго своего сочлена, пока не продѣлаютъ надъ нимъ всѣ вышеназванныя игры. Это какъ-бы своего рода искусъ: «арестантскія мытарства пусть каждый пройдетъ сперва, а потомъ уж будь ты намъ другъ и товарищъ».

h) «*Игра въ жгуты*» — общая арестантская. Одинъ садится на койку и кладетъ себѣ подушку на колѣни. Остальные кидаютъ «жеребья». Кому выпадетъ послѣднему, тотъ наклоняетъ голову въ подушку, а прочіе становятся вокругъ со жгутами. Кто нибудь ударяетъ «уткнутаго« по спинѣ; уткнутый долженъ отгадать—кто. Коли попалъ—угаданный становится на его мѣсто, а не попалъ—оставайся до тѣхъ поръ подъ жгутами, пока не угадаешь ударившаго.

Таковъ характеръ всѣхъ тюремныхъ, арестантскихъ игръ.

Вызвали дневальнаго Сизого, и вчетверомъ, по обычаю, отправились въ приставницкую.

— Ну, стало быть, двухъ теперь къ присягѣ поведемъ — любо, ей-богу! потеръ себѣ руки старый жиганъ.

— Къ присягѣ?... Почеши ногу [1]), братъ, этого къ присягѣ не подведешь! съ достоинствомъ прочнаго убѣжденія замѣтилъ молодой убійца «начальства свово».

— Ой ли? Что же онъ, воронъ какой, али нехристь?

— Ни воронъ, ни нехристь; а только не подведешь.

— Да ты чего?... Ты его знаешь, что ли?

— Не зналъ бы не сказывалъ.

— А что онъ за птица? какъ прозывается?

— Рамзя.

— Не слыхалъ таковской; надо такъ думать — заморская.

— Поближе маленько: олонецкая.

— Мм!:.. Каковъ же таковъ человѣкъ онъ есть?

— А ужь это, милость твоя — благодушный человѣкъ, не намъ чета: благодѣтель.

— Фу, ты, ну, ты — кочевряга! А ты какъ его знаешь?

— Рамзю-то? — Сами съ тѣхъ мѣстъ, олонецкіе.

— Олонецкіе? Это, значитъ, тѣ самые молодцы, что не бьются, не дерутся, а кто больше съѣстъ, тотъ и молодецъ? съ презрительной ироніей замѣтилъ Дрожинъ. Вообще, весь послѣдній разговоръ его отзывался какимъ-то весьма высокомѣрнымъ тономъ. На душѣ у стараго жигана какъ-то неспокойно и завистливо стало: онъ почти мелькомъ только видѣлъ вновь приведеннаго арестанта; но съ перваго же взгляда, разомъ почуялъ въ немъ нравственно сильнаго, могучаго человѣка, который невольно, хоть и самъ, быть можетъ, не захочетъ, а навѣрно возметъ первый голосъ и верхъ надъ камерой, вмѣстѣ со всеобщимъ уваженіемъ, которое до этой минуты попреимуществу принадлежало старому жигану.

— Что жь такое дѣлалъ Рамзя-то этотъ, что въ благодѣтели

---

[1]) «*Почеши ногу*» на тюремномъ argot почти то же, что на байковомъ «*труба*», а на обыкновенномъ русскомъ—выраженіе: какъ же, дожидайся! Дудки! не хочешь ли чего послаще! и т. п.

попалъ? спросилъ онъ прежнимъ тономъ, только съ значительной долей раздраженія, накопившейся послѣ минутнаго раздумья.

— А то дѣлалъ, что вотъ, примѣромъ, у меня теперича хоша бы коровенка пала, принялся объяснять олончанинъ, съ тѣмъ же достоинствомъ, прочнаго убѣжденія — онъ узнаетъ тамъ стороною, что вотъ, молъ, у Степки Бочарника коровенка пала, и ты, значитъ, черезъ это самое нужду терпишь — пойдетъ, купитъ коровку-то гдѣ ни на есть, да и приведетъ къ тебѣ: на, вотъ, владай теперь ею; а нѣтъ — вотъ тебѣ деньга; подь да купи. Во какой человѣкъ-то онъ!... кормилецъ, одно слово... Да это что: теперь хлѣбушка нѣту у мужика — мужикъ подь къ нему: онъ дастъ, а не то, опять же деньгу тебѣ дастъ. Совсѣмъ благодѣтель нашъ былъ, по всему, какъ есть, право!

— Коли такъ, за что же его опосля этого въ тюряху-то забили? раздумчиво, но уже безъ желчи, спросилъ дядя жиганъ.

— А вѣрно ужь за то за самое и забили, предположилъ Степка Бочарникъ:—потому человѣкъ господамъ согрубленіе дѣлалъ; опять же и супротивность всякую... А только онъ благодѣтель намъ вѣчно Бога молить станемъ, право...

Сизой ввелъ уже переодѣтаго арестанта. Рамзя вошелъ съ тѣмъ кротко-строгимъ, сдержаннымъ видомъ, который всегда отличалъ его сановитую фигуру: первымъ дѣломъ, перекрестился на образъ и молчаливо отдалъ степенный поклонъ на обѣ стороны.

Арестантамъ, непривычнымъ къ такого рода вступленію въ тюремную жизнь, показалось донельзя страннымъ благочестивое движеніе Рамзи. Многіе фыркнули, а многіе и прямо захохотали. Рамзя словно бы и не слыхалъ, и съ полнымъ достоинствомъ, спокойно обратился къ Сизому за указаніемъ своей койки.

— Сизой! перебилъ его жиганъ: — ты что это, лѣшій; изъ-за чортъ-знаетъ чего двадцать-шесть орешь? Мы думаемъ: начальство, а тутъ всего-то навсе какого-то мазуру оголтѣлаго привели.

Эта выдержка, и строгое достоинство, которыя съ перваго шагу проявилъ въ себѣ Рамзя, снова подняли въ старомъ жиганѣ всю желчь раздраженія и боязнь за утрату своего первенства. Онъ чувствовалъ, что если самымъ убѣдительнымъ способомъ не поддержать все свое вліяніе и значеніе теперь же, на первыхъ порахъ, то —

того и гляди — утратишь ихъ безвозвратно. Поэтому-то Дрожинъ и пустилъ въ бнику дерзкую, оскорбительную выходку противъ Рамзи.

Но этотъ послѣдній, не удостоя своего противника ни однимъ словомъ, только оглядѣлъ его тихимъ, спокойнымъ взглядомъ своимъ, и помѣстился на указанное ему мѣсто, рядомъ съ Вересовымъ.

— Ну, что жь, теперь пора и за присягу, предложилъ Фаликовъ.

— Вотъ, за одно и другого жильца приведемъ, откликнулся Дрожинъ, съ ироніей кивнувъ на Рамзю. — Булочка! становись-ко по правилѣ, да крестъ на спину! продолжалъ онъ, обратясь къ молодому, ожирѣлому арестантику, съ бабьимъ лицомъ, который пользовался особеннымъ и даже ревнивымъ покровительствомъ стараго жигана.

Булочка снялъ съ себя все верхное платье, растегнулъ воротъ сорочки, закинувъ съ груди на спину свой натѣльный крестъ, сталъ среди камеры, упираясь въ полъ руками и ногами.

— Ну, вставай, дѣвчонка!

Дрожинъ сдернулъ съ койки ослабѣвшаго Вересова.

— Фаликовъ, вяжи ему глаза полотенцомъ.

— Братцы!... не бейте меня... помилуйте... христа-ради! черезъ силу простоналъ Вересовъ. На глазахъ его показались слезы.

— Бить не станемъ, только подъ присягу подведемъ—и конецъ, утѣшилъ его Дрожинъ.

Фаликовъ подошелъ уже къ нему со сложеннымъ полотенцемъ.

Вересовъ тревожно обвелъ вокругъ камеры взоръ, помучбнный тоскою... Положеніе было безъисходно. Случайно, съ робкою мольбой и смутной надеждой скользнули его глаза по вновь приведенному арестанту и, словно обезсиленные, опустились къ землѣ, вмѣстѣ съ поникшею на грудь головою.

Рамзя поднялся со своей койки.

— Оставь его, сказалъ онъ ровнымъ, тихимъ, спокойнымъ голосомъ, взявъ за руку Дрожина.

Жиганъ никакъ не ждалъ такого внезапнаго и прямого подхода. Въ неожиданности онъ даже оторопѣлъ нѣсколько, въ первую минуту.

Вся камера, живо заинтересованная началомъ столь необыкновеннаго столкновенія, стала въ напряженномъ, молчаливомъ вниманіи.

— Да ты что мнѣ за указчикъ? азартно поправился Дрожинъ;— что хочу, то и дѣлаю!

— Самъ надъ собой дѣлай что хочешь, а этому — не бывать, съ прежней спокойной увѣренностью сказалъ Рамзя, отводя отъ него Вересова, котораго заслонилъ собою.

— Да ты что́? ты чего? бо́бу захотѣлъ, что ли? взъѣлся жиганъ, показавъ ему свой кулачище:—кишки выпущу!... Проходи лучше, незамай!... Видали мы и не таковскихъ!

— Видали-ль, не видали-ль — про то вамъ знать. А надъ слабымъ человѣкомъ не велика честь свою силу казать; ты надъ ровней покажи.

— Это правильно!... Что дѣло—то дѣло?... Резонтъ говоритъ! замѣтили нѣкоторые изъ арестантовъ.

Для Дрожина наступилъ роковой моментъ: его значеніе начало колебаться.

— Да ты что ко мнѣ съ проповѣдями-то? Ты мнѣ смёртный конецъ, аль духовный отецъ? Прочь, мразь! Плевкомъ разшибу — не попахнетъ! Пусти его! бѣшено кинулся Дрожинъ на Вересова.

Рамзя схватилъ его за кисть руки и, не выпуская, опустилъ ее книзу.

Жиганъ съ размаху шибко хватилъ его въ грудь кулачищемъ: но противникъ, пошатнувшись немного, только сдвинулъ слегка свои брови и сжалъ суховатой, жилистой рукою кисть руки Дрожина.

На лицѣ послѣдняго мгновенно промелкнуло чувство страданія: но онъ пересилилъ себя, скрывъ свою боль, и ради постороннихъ глазъ, заставилъ свои личные мускулы принять мрачно-спокойное выраженіе.

Между тѣмъ желѣзная рука Рамзи сжимала все сильнѣй и сильнѣе.

Глухо раздался второй ударъ въ грудь—и Дрожинъ заскрежеталъ, съ какимъ-то давящимся отъ бѣшенства рыканьемъ, какъ раненый звѣрь; но противникъ, попрежнему слегка пошатнувшись, твердо стоялъ на своемъ мѣстѣ. Только чуть замѣтное судорожное движеніе передёрнуло его спокойныя брови.

Въ камерѣ царствовало глубокое, напряженное молчаніе—слышно было, какъ тяжело, перерывчато дышалъ старый жиганъ, какъ изрѣдка похрустывали суставы его пальцевъ. По лицу разлилась болѣзненная блѣдность, а онъ еще старался улыбнуться.

— Ишь ты... жарко... черезъ силу проговорилъ онъ, захлёбываясь хриплыми звуками своего голоса, и кривя ротъ насильственной улыбкой — ради поддержанія своего достоинства въ глазахъ всѣхъ арестантовъ. Рука его снова замахнулась, но описавъ по воздуху какое-то безсильное движеніе, какъ плеть опустилась книзу. Рамзя, ни на йоту не измѣняя своему сосредоточенному спокойствію, постепенно все болѣе и болѣе усиливалъ свое сжиманье. Казалось, эта рука, съ каждой минутой, какъ-то цѣпко впивалася въ руки жигана, словно какая-то высшая, нервная сила управляла силой его могучихъ мускуловъ.

Изъ-подъ ногтей Дрожина просочились алыя капли крови.

А блѣдность все сильнѣй и сильный покрывала его лицо зеленовато-мертвеннымъ оттѣнкомъ; налитые кровью глаза начинали безжизненно тускнуть; посинѣлыя губы кривило конвульсивною дрожью.

Съ глухимъ стономъ онъ упалъ предъ Рамзей на колѣна, и надорванно прошепталъ: «руку... руку:.. христа-р...ади»—безъ чувствъ повалился на полъ.

Рамзя тихо разжалъ свои пальцы, тихо отошелъ къ своей койкѣ, и сѣлъ на нее, въ спокойномъ раздумьи, подперевъ ладонями лобъ.

Рука безчувственнаго Дрожина была разможжена, и налилась синебагровыми полосами — тамъ, гдѣ приходилось сжимавшіе ее пальцы.

Изъ арестантовъ никто не шелохнулся. Надъ ними еще всевластно царило впечатлѣніе нежданной сцены. Они были изумлены, поражены, раздавлены спокойною силой и волей незнакомаго имъ человѣка — и теперь, стоя отъ него въ почтительномъ отдаленіи, безъ словъ, но общимъ единодушнымъ сознаніемъ, каждый про себя, признали его первенство. Одинъ Фаликовъ перетрусилъ до смерти, и — тише воды. ниже травы — дрожалъ и прятался за спинами товарищей.

— Плесните, братцы, водой на старика-то, кротко кивнулъ головой Рамзя, бросивъ взглядъ на все еще безчувственнаго Дрожина.

— Эко дѣло какое... вѣдь мнѣ, пожалуй, теперь отвѣчать за него, пробурчалъ себѣ подъ-носъ дневальный Сизой, смачивая водою темя и виски жигана.

— А за этого не отвѣчать? строго спросилъ Рамзя, указавъ ему глазами на Вересова.

— Да что̀ жь... мы, ваша милость, его не били: мы съ нимъ маненько играли только, оправдывался Сизой.

— Знаю я ваши игры—хорошія игры!... И вамъ не совѣстно, братцы? вскинулъ онъ свой глубокій, неотразимый взоръ на всю камеру.

Бо̀льшая часть арестантовъ потупили головы; кто почесалъ въ затылкѣ, а кто ухмыльнулся какою-то застѣнчиво-оправдательной ухмылкой.

— Жаль мнѣ васъ, братья... забыли вы, что людьми прозываетесь, вздохнулъ Рамзя, съ грустной укоризной покачавъ головою.

— Да вѣдь скука, ваша милость, несмѣло замѣтилъ кто-то изъ болѣе шустрыхъ арестантовъ: — сидишь-сидишь — индо одурь возьметъ; со скуки больше и бѣсимся.

— А ты какой вѣры? внушительно задалъ ему вопросъ Рамзя.

Арестантъ смутился.

— Вѣры-то?... Да тутъ всякой есть, ваша милость... А мы всѣ, почитай, больше русской... вѣры-то.

— Русской... Слыхалъ я, что точно, всякія вѣры бываютъ на свѣтѣ, а экого закона, чтобы ближняго своего ради потѣхи мучить—не слыхалъ ни въ одной вѣрѣ человѣческой... Волкъ волка— и тотъ не зарѣжетъ мучительски занапрасно, а вы—люди, братцы!

— Какіе мы люди!... мы — арестанты! съ горечью вырвалось у Кузьмы Облака.

Строгое, простое и прямое слово Рамзи, казалось, видимо подѣйствовало на человѣческія струны заключенниковъ. Многіе не шутя задумались надъ его укоромъ.

— А за старика не бойся, прибавилъ Рамзя, обратясь къ Сизому:—за него, коли что, я самъ своей головой отвѣчу.

Между тѣмъ Дрожина привели въ сознаніе. Не смѣя глазъ под-

нять на людей, отъ жгучаго чувства стыда и оскорбленнаго самолюбія, онъ какъ-то стѣсненно, неловко сѣлъ на первую койку, словно бы ощущая устремленные на него взоры всей камеры — и мрачно задумался.

Этотъ человѣкъ, стоически переносившій на своей спинѣ удары палача и еще наканунѣ искренно похвалявшійся неестественной любовью къ плети, удовольствіемъ при процессѣ полосованія своего собственнаго мяса—сегодня, въ глазахъ тридцати товарищей, упалъ въ обморокъ отъ пожатія руки. Но... обезсилѣло его не столько чувство страшной и совсѣмъ еще невѣдомой доселѣ боли, сколько невозможность сломить своего противника, обезсилѣло сознаніе нравственнаго превосходства этого противника, сознаніе потери своего первенства, значенья и вліянія на своихъ сотоварищей. Вотъ чего не вынесла закаленая душа стараго жигана! Коса нашла на камень—и камень сломилъ ее.

— Охъ, кабы топоръ!... съ глубокой, тоскливой горестью, глухо и словно бы самъ съ собою заговорилъ понурый Дрожинъ:—взять бы мнѣ теперь эту самую руку да и отхватить ее пó локоть!... Не выдержала, проклятая—выдала старика... Сведите, братцы, въ больницу: немóжется... А не то, пожальтесь лучше на меня приставнику, хоть за буйство, примѣрно—пущай меня въ карцыю запрутъ.

Дрожину невыносимо тяжело было оставаться на глазахъ товарищей, свидѣтелей его пораженія—хотѣлось замкнуться наединѣ, съ самимъ собою, чтобы не видѣть лица человѣческаго, пока не перегоритъ это чувство стыда, пока не угомонится уязвленное и униженное самолюбіе—а угомонится оно вѣрно нескоро.

— Пойдемъ, что-ли, я сведу тебя, подошелъ къ нему Сизой.

Дрожинъ поднялся медленно, тяжело, какъ человѣкъ, подавленный исключительно своимъ глубоко-горькимъ чувствомъ, и не подымая глазъ, обратился ко всей камерѣ:

— Коли ежели что—начальство, такъ скажите, что самъ невзначай чѣмъ нибудь... ну, хоть дверью прищемилъ. Слышите?

— Ладно, дядя жиганъ, скажемъ.

— То-то, не забудьте, да... Простите, коли чѣмъ изобидилъ кого...

Послѣ этихъ словъ, Дрожинъ замедлился въ какомъ-то нерѣшительномъ раздумьѣ.

— Прости ужь что-ль и ты, добрый человѣкъ! поклонился онъ Рамзѣ, весь зардѣвшись при этомъ поклонѣ.

Рамзя отвѣтилъ ему тѣмъ же.

— Не попомни, братъ и ты на мнѣ, отпусти зло мое, совѣстливо и тихо сказалъ онъ:—что̀ жь дѣлать, не хотѣлъ я тебя обидѣть—самъ того пожелалъ... А мнѣ теперь, можетъ, еще тяжельче твоего... Прости братъ.

И послѣ этихъ словъ его, дядя жиганъ, избѣгая взглянуть на кого либо, вышелъ изъ камеры.

X

Исторія Рамзи

Черезъ нѣсколько дней и Вересовъ, и Рамзя свыклись съ обиходомъ тюремной жизни. Старый жиганъ все еще не показывался въ камеру: ему лечили въ больницѣ переломленные суставы. Арестанты безусловно уважали Рамзю, но не боялись, какъ прежде стараго жигана: они полюбили его. Ни въ споры, ни въ карты никогда не мѣшался Рамзя. Никто не слыхалъ отъ него ругательства, насмѣшки или празднаго скоромнаго слова: со всѣми онъ былъ тихъ и ласковъ, никого не чуждался, никого не презиралъ. Это именно было спокойное благодушіе великой силы. Объ одномъ только скучалъ онъ, что праздно время коротать приходится, потому что изъ татебнаго отдѣленія не гоняютъ ни на какую тюремную работу, а кабы дрова пилить или воду качать — онъ бы одинъ за троихъ справлялся—такова ужь натура у человѣка была. Въ церкви, отъ которой никогда не увертывался Рамзя, онъ не молился, а если и молился, что весьма вѣроятно, то наружно не показывалъ виду, но стоялъ все время съ глубокимъ, строгимъ и сосредоточенно-благоговѣйнымъ вниманіемъ. Голосъ былъ у него высокій и чистый, симпатичный. Часто въ садикѣ, или сидя на своей койкѣ, погруженный въ какую-то грустно-свѣтлую, мечтательную задумчивость, онъ негромко затягивалъ пѣсню, не тюремную пѣсню, а изъ тѣхъ, что

пѣвалъ когда-то на широкой волѣ. Любилъ онъ также *стихи* пѣть, что калики-перехожіе по Руси разносятъ—про книгу голубиную, про Асафа-царевича, да про Іосифа странника прекраснаго:

Ты поди, младъ юношь, во чистò полѣ,
Ты поди, прекрасный, ко своей братьи,
Снеси ты имъ хлѣба на трáпезу
Снеси имъ родительско прощенье
Ты прощенье имъ, благословенье,
Чтобы жили братья во совѣтѣ,
Во совѣтѣ жили бы во любови,
Другъ друга они бы любили,
За едино хлѣбъ-соль вкушали.

Такъ-какъ случай привелъ его заступиться за Вересова въ первую миниту своего вступленія въ жизнь острожную, то Рамзя и на все послѣдующее время приголубилъ его около себя. Больше всѣхъ любилъ онъ водить разговоры съ нимъ да еще съ Кузьмой Облакомъ и съ олончаниномъ Степкой Бочарникомъ, котораго еще прежде знавалъ когда-то на волѣ.

Часто ночью, когда у майданщика Мишки Разломая море идетъ разливанное, и «три листика» въ полномъ разгарѣ соберутъ въ «игральный уголъ» многочисленную кучку любителей — они въ четверомъ усядутся себѣ на двухъ койкахъ, наиболѣе отдаленныхъ отъ этого завѣтнаго угла — и пойдутъ у нихъ тихіе разговоры. Рамзя потому удалялся отъ Разломая, что водки онъ не пилъ и табачнаго духу сильно-таки недолюбливалъ.

— Ахъ, ужь скоро-ли меня рѣшатъ-то! съ затаенною тоскою, вырвался у него однажды вздохъ, во время одной изъ такихъ полуночныхъ бесѣдъ: — кажись, самъ вѣдь во всемъ повинился, ни одного своего преступленья не стаилъ — чего бы еще? — Нѣтъ-таки, въ Питеръ вотъ пригнали зачѣмъ-то; здѣсь еще, слышно, слѣдоваться да судиться будемъ. А ужь мнѣ — хоть бы и въ Сибирь скорѣй!...

— Чай, нехочется? замѣтилъ Кузьма Облако.

— А пòшто не хотѣться-то? возразилъ Рамзя: — вѣстимò дѣло, родного мѣста жалко, да вѣдь и въ Сибири люди — живи только любожески, вездѣ сподручно будетъ... Срокъ каторги отбудешь, а тамъ на поселеніе...

— Да вѣдь идти-то долго и тяжело: въ кандалахъ вѣдь, сказалъ Вересовъ.

— Эхъ, родимый!... Намъ ли еще о тѣлесахъ своихъ таку заботу принимать!... Отцы святые во все житіе свое въ желѣзныхъ веригахъ ходили, и Господа еще славословили; а тутъ, намъ-то, нешто по грѣхамъ своимъ и въ кандалахъ не пройдти? — Пройдемъ!... на то и испытаніе.

— За что жь тебя погонятъ? Зла вѣдь ты никому никакого не сдѣлалъ?

— Нѣтъ, видно, что сдѣлалъ, коли вотъ забрали. Безъ того — по совѣсти надо полагать — не погонятъ въ Сибирь нашего брата... Работалъ я на міръ, продолжалъ Рамзя, съ какимъ-то, свойственнымъ одному ему спокойнымъ увлеченіемъ: — однихъ отъ обиды огорожалъ, а другихъ въ обиду вдавалъ — на томъ-то и зло мое... Знаю и самъ, что рукомѐсло мое съ одного бока непохвальное, да что́ станешь дѣлать? Видно ужь, на что́ душа родилася, того богъ и далъ.

— Ты господскій былъ, аль нѣтъ? спросилъ Облако.

— Господскій...

— Что жь ты не жилъ въ ладу съ господами? жилъ бы себѣ почтеннымъ образомъ до старости лѣтъ; дѣтей бы, внуковъ выросталъ, съ участіемъ заговорилъ Вересовъ:

— Хм... это точно что такъ... А вотъ ты, чай, въ книжкахъ читаешь, такъ тамъ сказано... Божественныя читаешь?

— Случается.

— А читалъ, что сказано: «никто же можетъ двема господиноиа работати: любо единого возлюбитъ, а другого возненавидитъ, или единаго держится, о друземъ же нерадѣти начнѐтъ». — Это великое слово — такъ ты и знай!... Работалъ я на міръ, и міръ возлюбилъ, а мамонѣ ужь опослѣ этого и работать не приходится.

Вересова порядкомъ-таки озадачилъ этотъ смышленый отвѣтъ, который показывалъ въ Рамзѣ глубокую силу убѣжденія.

— Ты вотъ — хоть и никогда еще самъ не сказывалъ — а я такъ думаю, что надо быть, грамотный, Акимъ Степанычъ? спросилъ Облако.

— Грамотный. Съ измаламальства еще къ грамоти въ наукъ

пошелъ, отвѣчалъ Рамзя.—Отецъ у насъ былъ, покойникъ, старецъ благочéсливый, и домъ въ страхѣ божіемъ соблюдалъ, и какъ готовилъ насъ больше по торговой части, такъ и грамотѣ безпремѣнно учиться наказалъ: — перво, говоритъ, божественное дѣло будешь смыслять, а второе дѣло — по торговой части безъ грамоты нонѣ ни шагу ступить... Тàкъ я и обучался у дьячка у приходскаго...

— Ну, и какъ же ты отъ отца остался? жилъ-то послѣ какъ? съ любопытствомъ подсѣлъ къ нему поближе Вересовъ.

Рамзя поглядѣлъ на него тихимъ, благодушнымъ взоромъ и слегка улыбнулся.

— Тебѣ, вижу я, началъ онъ: — исторію мою послушать хочется?... Не столь-то я охочь разсказывать исторію-то эту. Ну, да вы люди простые, незлобные; опять же и свой братъ-заключенникъ не начальство какое. Да съ чего же начать-то — никакъ не сообразишь... Нешто про тò, какъ я на свою дорогу вышелъ?...

И онъ, на нѣсколько времени, задумчиво подперся рукою.

— Это самое дѣло, какъ-бы припоминая, съ глубокимъ вздохомъ, началъ Рамзя: — почитай, что съ измальства пошло... Былъ у насъ дѣдко — ужь лѣтъ подъ сто старику было, одначе бодрый, и въ памяти... Бывало, какъ подойдетъ это весна, станетъ древо листвою одѣваться, цыкорей замахровѣетъ — такъ дѣдко тотчасъ въ лѣсъ, и въ лѣсу это у него пчельникъ... Пчѐлка жужитъ, тишина такая и благоуханіе!... Тамъ и келейка была у него срублена, и мѣсто изгородью огорожено — хорошо было объ вешнюю пору!... Перво-на-перво, молитву сотворитъ; отецъ Гервасій молебенъ ему отслужитъ и все мѣсто на четыре страны, и кажинный улей пѣтой водой окропитъ, затѣмъ, чтобы пчѐлка роилась благодатливо...

Тамъ, бывало, мы съ дѣдкой и днюемъ, и почуемъ, вплоть до самыхъ заморозковъ, какъ ульи въ амшаникъ хоронить время приспѣетъ.

И такъ мнѣ полюбился душевно этотъ самый лѣсъ, что, кажется, и не вышелъ бы оттолѣ никогда: такъ вотъ и тянетъ, такъ вотъ и тянетъ!... Моченьки моей нѣтъ въ деревнѣ — все бы мнѣ это къ лѣсу да къ лѣсу! все бы мнѣ это на тишь да благодать лѣсную очами своими дивоваться и время такъ провождать...

Пустыня ты, мати прекрасная!
Ты прими меня, мати возлюбленная!
Какъ придетъ на свѣтъ весна красная—
Одѣнутся дре́весы райскими листьями,
Запоютъ птицы голосами архангельскими—
И я изъ пустыни вонъ не выду,
А тебя, мати пустыня, я не покину.
Разгуляюсь я, младъ вьюношъ, во дубравушкѣ,
Частыя дрова со мной будутъ думу думати,
Мелкіе листья со мной станутъ говорити,
Райскія птицы станутъ распѣвати—
Меня, млада вьюноша, потѣшати.

Вотъ эта самая пѣсня въ тѣ поры у меня съ ума не сходила— все, бывало, съ дѣдкой и поёмъ ее. Оттоль-то я и *стихи* пѣть полюбилъ, какъ у него научился.

И одно время такое это было, что просто и не вѣсть что́ со мной сдѣлалось: сталъ ровно полоумный какой — по шестнадцатому году было. Какъ взыгралася только эта весна, такъ меня ровно силой какой въ лѣсъ да въ поле! Сбѣжалъ парень съ села, совсѣмъ сбѣжалъ; куда и про что — того и самъ не разумѣетъ, а и на селѣ никто не вѣдаетъ.

Дня черезъ два отыскали меня наши ребята, къ отцу привели. Засадилъ меня онъ дома за работу. Работаю день, работою два, а самого такъ и томитъ истома какая-то, словно тошно становится— ажно обомлѣлъ весь: и все-то бы мнѣ къ лѣсу... Палъ я отцу въ ноги — «пусти, говорю, батюшка-осударь, отпусти во пчельникъ, на дѣдкино мѣсто! Пчёлка безъ присмотру, безъ прихолы, а мнѣ не въ моготу дома»! (Дѣтко-то объ егорьевѣ днѣ богу душу отдалъ). Подумалъ отецъ, да и отпустилъ меня въ лѣсъ. Такъ и лѣто цѣльное въ лѣсу провождалъ, за пчёлкой ходилъ. И вотъ мнѣ это занятіе не скучно было: взялъ я съ собою книжекъ божественныхъ разныхъ; читаю, какъ свободное время выдастся, а свободнаго времени въ лѣсу-то много...

Читаю это я, а самому словно чудятся это обители всякія благословенныя, иноки благообразные, и древа, и цвѣтики тутъ всякіе; кресты на обителяхъ позлащённые, и житіе мирное, и спасоблаговое... Все это въ юности моей такое помышленіе на умѣ у меня было, чтобы мнѣ это безпремѣнно въ иноки идти; и кажинный

праздникъ я все, бывало, на клиросѣ пою и читаю — значитъ, такъ ужь самъ собою, съ измальства къ божественному житію пріобычался... Ну, а потомъ и ничего: къ торговому дѣлу все приглядку имѣлъ — отецъ въ городъ посылалъ торговать, значитъ.

Велъ это самое дѣло я умѣючи. Не поставьте, братцы, въ похвальбу, а только скажу, не хвастаясь: не оболгалъ никого насчетъ товару, и въ обманъ, али въ сумленіе какое, никого не вводилъ, а велъ дѣло по цѣнѣ, на чистоту — и потому самому больше — купцы въ городѣ любили со мною эту камерцыю водить.

Только отецъ объ зимнемъ Миколѣ преставился. Мы съ братомъ въ раздѣлъ пошли. Раздѣлили добро честно, похристіански, и на томъ порѣшили промежь собой, чтобы мнѣ — какъ я, значитъ, холостой — жить съ братомъ вкупѣ. Къ женитьбѣ я тогда пристрастія не имѣлъ никакого — такъ и жили мы. Лѣто я на пчельникѣ, а зиму въ торгахъ; а братъ при домашнемъ обиходѣ.

Надъ отцомъ я и псалтирь читалъ, и опослѣ этого сталъ больше еще къ божественному чтенію приникать — потому сожалѣніе и печаль въ ту пору такая меня брала, что въ томъ все свое и утѣшеніе полагалъ. Сталъ читать я евангеліе святое — и напало тутъ на меня такое раздумье горькое, что я тебѣ, милый человѣкъ, и сказать не умѣю. И все-то изъ сердца у меня пейдетъ то, что тамъ сказано: «аще хощешь совершенъ быти — иди, продаждь имѣніе твое и даждь нищимъ» — вотъ все это и мерещется мнѣ; потому, знаю, какъ самъ Господь сказалъ: «аще кто хощетъ по мнѣ идти, да отвержется себѣ, и возьметъ крестъ свой и по мнѣ грядетъ»— такъ и не могу спокойно дома сидѣть...

— Вѣдь вотъ ты, Иванъ Осипычъ, и въ книгахъ лучше нашего читаешь, прибавилъ Рамзя, относясь къ Вересову, со своей обычной строгой и въ то же время привѣтно-кроткой улыбкой: — а знаешь ли, что хоть бы это значило: «возьми крестъ твой и по мнѣ гряди»? Такъ вотъ и не кори меня за то, что пошелъ я по своему пути...

А на ту пору неурожай былъ, да погорѣло у насъ на селѣ дворовъ съ тринадцать. Сталъ я смекать, что тутъ на міръ поработать надо — ну, и продалъ имѣніе свое, и роздалъ нищимъ.

Такъ вотъ отъ той поры это самое дѣло и пошло со мной...

Сталъ братъ домекать, что я свое добро расточаю. Изъ этого самаго въ семьѣ у насъ эта сва̀ра пошла. Думаю себѣ: непригоже намъ, братьямъ единокровнымъ, ровно псамъ какимъ, нечестиво лаяться. Нечего дѣлать, въ раздѣлъ идти надобно. Пошли въ раздѣлъ. Я свои остатки забралъ, и въ годъ съ двумя мѣсяцами самъ остался нищъ и убогъ.

Думалъ я себѣ это насчетъ монастыря, чтобы, значитъ, въ иноки идти; однако, послѣ такое размышленіе на меня нашло, что думаю: человѣкъ я мірской и міру пользу приносилъ, равно брату единоутробному; про что же мнѣ отщетить себя отъ міра? Въ иночествѣ мнѣ для своей души спасеніе, а міру помощи никакой нѣтъ. И надумалъ я себѣ, чтобы сначала на міръ порадѣть, а потомъ, коли Богъ грѣхамъ потерпитъ, о душѣ своей грѣшной помыслить. Еще пуще навело меня на эту мысль то безобразіе, которое надъ міромъ чинилось.

Работа на міръ — дѣло хорошее: «и сынъ человѣческій не пріиде да послужатъ ему, но послужити и дати душу свою избавленіе за многихъ». Ты вотъ это уразумѣй!...

А безобразіе вижу я такое, что вотъ хоть бы иной мужикъ, раздобрѣвши да разбогатѣвши, своего же брата мужика тѣснитъ да презираетъ—потому стяжаніе имѣетъ многое и самъ въ купцы норовитъ.

Придетъ къ нему разорѐнный за помочью, а онъ насмѣется ему и прогонитъ, а не то на жидовскихъ процентахъ отпуститъ. А что теперича буржистры, гòловы эти самые чинятъ худа нашему брату, мужику сѣрому, особенно который побѣднѣй да побезотвѣтнѣй — и исчислить-то, такъ просто нѣтъ тому конца.

За что̀ же, думаю, терпитъ мужикъ ото всѣхъ? ужь не говорю, отъ господъ иныхъ, либо отъ земскихъ, а то отъ своего же брата мужика? Какая тому причина есть, и за что одинъ кичится, а другой преклоняется, когда и въ писаніи сказано: «довлѣетъ ученику да будетъ яко учитель его, и рабъ, яко господь его»?... Вижу я, что все это въ мірѣ противу божескихъ писаній творится, дьявольскимъ попущеніемъ; ибо забыли люди, что сказано: «иже бо возвысется — смирится, и смиряйся — возвысется... Всякая гора да унизится и всякъ долъ да возвысится»...

Вотъ, господинъ ты мой, такъ я и попамятовалъ себѣ про то, что Господь низложитъ сильныя со престолъ и вознесетъ смиренныя; а позабылъ Христовы же слова великія: «претерпѣвый до конца, той спасенъ будетъ». За то-то вотъ за самое и терплю я теперь, по грѣхамъ своимъ.

— Ну, а преступленье же ты какое сгрѣшилъ? перебилъ разсказчика Кузьма Облако, которому совсѣмъ чуднымъ дѣломъ казалось, что такой человѣкъ попалъ къ острожникамъ на татебное отдѣленіе, какъ тяжкій преступникъ.

— А такое преступленіе, пояснилъ ему Рамзя:—что ужь больно мнѣ стало отвратно все это несчастіе да безобразіе глазами своими зрѣть, и слова единаго не измочь вымолвить противу него. Помочь ужь ничѣмъ не могъ я, по той причинѣ, что самъ былъ нищъ и убогъ, и опять же на себя великое нареканіе за то за самое отъ брата и отъ господъ своихъ принималъ, что имѣніе свое расточилъ понапрасно и глупо...

Смиренія во мнѣ мало было, а больше все удаль бродила и гордость: озлился я противу всего — да во темны лѣса!...

Отъ тѣхъ поръ и сталъ рукомесломъ своимъ заниматься.

Рамзя опустилъ свою голову и задумался. Когда же черезъ минуту онъ поднялъ ее снова, глаза его стали еще свѣтлѣе, задумчивѣе и кротче. Онъ вздохнулъ, облегчающимъ грудь, глубокимъ вздохомъ и продолжалъ:

— Только не загубилъ я ни одной души человѣческой, и не уворовалъ тайно и подло, яко тать въ нощи, ни у кого даже зерна единаго, а шелъ на прямую!... И все больше именемъ Христовымъ вымогалъ, потому наставить на путь истинный всегда желалъ, и ужь рѣдко-рѣдко когда кистенемъ пригрозишь — и то ужь на такого ирода, который многу пакость чинитъ, да еще тою пакостью похваляется и о имени Христовомъ въ соблазнъ вводитъ. Да и то самого потомъ за кистень-то совѣсть мучаетъ-мучаетъ—индо мѣста нигдѣ не найдешь.

И не было у меня разбору никому: господинъ ли ты, земской ли, священнаго ли ты званія, али воинъ, али нашъ же братъ мужикъ — это все едино... Памятовалъ я только одно: «вси же вы братья есте. И отца не назовите себѣ на земли, единъ бо есть

отецъ вашъ, еже на небесехъ». Одно слово: коли ты обидчикъ, лихоимецъ или тѣснитель—повиненъ есть! И никого я не опасался. Одно только, что жить ужь мнѣ открыто на деревнѣ было нельзя, а принужденъ былъ больше по лѣсамъ скитаться — а лѣса-то мнѣ куды какъ милы вѣдь! либо у мужиковъ тайно притонъ имѣлъ, и то больше на зиму. Любили они меня, потому какъ и я ихъ всѣмъ сердцемъ своимъ и помышленіемъ возлюбилъ, и на пользу міру животъ свой радъ былъ положить.

И какъ прослышу, бывало, что такой-то господинъ изобидѣлъ, къ примѣру, мужика своего, такъ я выберу часъ посподручнѣе — и шасть къ нему! разузнавши нà перво, какъ и чѣмъ изобиженъ мужикъ.

— Войду такъ, чтобы не запримѣтилъ меня никто и чтобы онъ, значитъ, тревоги какой поднять не могъ. Войду, перво нà перво, по обычаю, на образъ перекрещусь трижды, потомъ самому поклонъ, и говорю: «здравствуй, господинъ честной! я, молъ, Рамзя». Какъ узнаетъ онъ, что — Рамзя, такъ ажно и обомлѣетъ весь! Потому имя мое далече страшно было, и слухъ такой обо мнѣ повсюду прошолъ, что золъ человѣкъ имени одного моего трепеталъ и слышать не могъ.

«Такъ и такъ — говорю, бывало — ты, молъ, мужика своего тѣмъ-то и тѣмъ обидѣлъ».

— Грѣшенъ, говоритъ, изобидѣлъ.

«А коли такъ, подавай мужику то, чѣмъ изобидѣлъ ты его». Ну, и прочту тутъ ему натацыю-то эту... А который шумъ подымать захочетъ, да заупрямится, такъ ты ему кистенемъ пригрозишься — ну, и примолкнетъ...

Возьму деньгами съ него, сколько тамъ понадобиться, а не то хлѣбомъ, или скотинкой, глядя по тому, чѣмъ изобидѣлъ. Ну, и отдастъ, и не перечитъ; такъ и проводитъ съ поклономъ. На глазахъ у всей дворни проводитъ вѣдь — вотъ оно что̀!... И хоть бы кто пальцемъ тронулъ — ни одинъ! потому, значитъ, дворня чувствовала и любила меня по простотѣ. Муки, бывало, куля три отложу, такъ вѣдь, что̀ бы ты думалъ? — подводу дастъ и человѣку еще проводить прикажетъ. Вотъ каковы-то дѣла дѣлывались!

Такимъ-то родомъ всѣ и боялись меня, а мужики благодарствовали.

Денегъ водилось у меня много, только не про себя, а держалъ больше про тотъ случай, какъ понадобится кому, такъ чтобы тутъ же ему и помочь безотмѣнно. На себя же ни единой копѣйки, ни единаго зерна не потратилъ, а кормили Богъ-да люди добрые; они же и одѣвали, и обували доброхотно, у кого отъ достатковъ своихъ хватало; а коли нѣтъ — я не спрошу, и хожу себѣ въ чемъ Богъ сподобилъ. И не одну зиму студеную въ дырявомъ зипунишкѣ зубами прощелкалъ, одначе же ничего: живъ и здравъ, потому путро у меня крѣпкое. Опять же, па то Господь и испытаніе человѣку посылаетъ.

Но такъ-какъ чувствовалъ я, что рукомесло мое, съ одного бока все-таки непохвальное, такъ я старался тѣло свое изнурять стужей и гладомъ, и молитвою — тѣмъ и въ печали своей облегченіе получалъ...

Такимъ-то способомъ, девять лѣтъ промышлялъ я—до прошлой зимы, пока не изловили меня.

Сталъ ужь больно лютъ я обидчикамъ нашимъ, и положили они на томъ, чтобы духу Рамзи не было. Такимъ-то манеромъ, исправникъ Глотовъ образъ со стѣны снималъ, что ужь во что̀ ни стало бы, а изловить меня, живого или мертваго, безпремѣнно — ну, и изловилъ...

Была у меня мазанка въ лѣсу — дѣло-то зимой было. Сплю я это въ мазанкѣ, и вижу такой странный-престранный сонъ, будто лики небесные невидимо поютъ: «блажени плачущіе, яко тіи утѣшатся», а я невѣсть гдѣ обрѣтаюсь, и за облакомъ распознать ничего не могу... И вдругъ, вельми громкій гласъ съ небеси возглашаетъ: » воспряни отъ сна, рабе Акиме! се, часъ твой приблизися»!

И воспрянулъ я, и тутъ же восчувствовалъ, что нынѣ быть мнѣ взяту. Перекрестился — да будетъ по слову твоему! — и выхожу изъ мазанки, чтобы волю господню на счетъ себя исполнить — гляжу, а тутъ исправникъ съ командой во̀инской. Я поклонился, да прямо и пошелъ къ нимъ: я, молъ, Рамзя. Тутъ меня взяли; потомъ въ острогъ, съ годъ таскали по разнымъ мѣстамъ, по слѣдствіямъ да по судамъ, валили на меня то, чего и во снѣ-то мнѣ не грезилось — это все во̀роги-то; а теперь, вотъ, какъ самъ

видишь: въ семъ видѣ, межь вами обрѣтаюсь. Вотъ и вся моя исторія.

Конечно, кабы жилъ я въ свое токмо удовольствіе, такъ ничего бы этого не было; жилъ бы я на селѣ, и самъ бы всякое безобразіе чинилъ, и потакалъ ему... Конечно, не наше дѣло самимъ творить судъ и расправу, да вѣдь и то же опять вспомнить надо, что въ писаніи сказано: «всякое убо древо, еже не творитъ плода добра, посѣкаютъ е̂ и во огнь вметаютъ—тѣмъ же убо отъ плода ихъ познаете ихъ». Ну, да авось, богъ-дастъ, все перемѣнится! Слышно, мужикамъ царская воля, не нынче — завтра выйдетъ, стало быть, моему дѣлу скончаніе пришло. Я такъ понимаю. Пословица говоритъ: все перемелится — мука будетъ, да недаромъ же и самъ Христосъ-то сказалъ: «мнози же будутъ перви — послѣдніе, а послѣдни — первіи». Когда же нибудь и это время настанетъ.

— Ну, да вѣдь много, чай, и тебѣ претерпѣть-то пришлося? раздумчиво замѣтилъ Облако.

— А мнѣ что̀ терпѣть? съ силой глубокаго убѣжденія возразилъ Рамзя:—мнѣ терпѣть нечего. Сказано: «не убойтеся отъ убивающихъ тѣло, души же не могущихъ убити» — стало быть, тутъ и терпѣть-то нечего.

XI

Выводъ изъ предъидущихъ главъ

Ктобъ ни былъ ты, мой читатель — лицо ли властное и вліятельное, филантропъ, или нравоизучатель, или же наконецъ, просто такъ себѣ, честный человѣкъ; но еслибы тебѣ пришла охота посѣтить тюремный замокъ, ради ли простого любопытства, или съ какой-нибудь предвзятою цѣлью — ты ничего не увидишь тамъ, кромѣ внѣшней, офиціальной обстановки, да блѣдно-сѣрыхъ, дрябловатыхъ лицъ арестантскихъ. Поразитъ тебя тяжелый воздухъ, остановятъ вниманіе нѣсколько характерныхъ, достопримѣчательныхъ физіономій, взглянувъ на которыя, ты, подъ вліяніемъ новаго для тебя впечатлѣнія, конечно, не замедлишь, съ проницательнымъ вни-

домъ, воскликнуть: «какой отъявленный, записной злодѣй! по лицу уже видно!» — и что же? почти навѣрное ошибешься, потому что, можетъ быть, двѣ трети поразившихъ тебя физіономій будутъ принадлежать очень добрымъ, мирнымъ и честнымъ людямъ, попавшимъ сюда случайно, въ силу несчастнаго стеченія обстоятельствъ. Конечно, есть исключенія: но въ большинствѣ своемъ, физіономіи самыхъ тяжкихъ злодѣевъ, кромѣ тупой апатіи, или голой животненности съ какимъ-то оттѣнкомъ разврата — ничего болѣе не выражаютъ, ибо мрачно-картинныя, такъ сказать, академически-злодѣйскія физіономіи, суть величайшая рѣдкость.

Какъ бы ни напрягалъ ты свое вниманіе и свою наблюдательность, желая проникнуть въ *суть* тюремной жизни, тюремнаго быта, тюремныхъ нравовъ — тебѣ едва-ли удастся подмѣтить какую либо дѣйствительно-характерную, существенную черту. При обходѣ твоемъ, равно какъ и при обходѣ каждаго начальственнаго, или филантропическаго посѣтителя, все будетъ обстоять благополучно, и благодѣтельный порядокъ будетъ царствовать—словомъ, тебѣ останется только умилиться духомъ твоимъ, посѣтовать, пожалуй, о «несчастныхъ» и затѣмъ—уѣзжать-себѣ съ богомъ, на чистый воздухъ. Внутренняя *суть*, то-есть все то, что ревниво укрывается отъ офиціальныхъ взоровъ начальства, для тебя останется неизвѣстно, оборотной стороны медали ты не увидишь, потому, арестантъ—человѣкъ скрытный, и поболѣе тебя проницательный (неволя учитъ), человѣкъ себѣ на умѣ и, стало быть, вѣчно настороже. И такъ, посѣщай ты тюрьму хоть десять разъ сряду, хоть и больше, тебѣ, волей-неволей, придется отложить всякое попеченіе: все и всегда передъ тобой, повторяю, будетъ обстоять благополучно.

А между тѣмъ, это—цѣлая жизнь; цѣлый своехарактерный міръ кроется подъ оборотной стороной медали: здѣсь найдется своя исторія, свои преданія, пѣсни, сказки, пословицы, свои нравы и законы, свой языкъ, который нѣсколько отличается отъ языка «вольныхъ» мошенниковъ, и наконецъ, своя тюремная литература, тюремное искусство.

Да, литература и искусство! Тутъ вращаются тюремныя пѣсни арестанта Симакина, рисунки образного чеканщика Нечевохина. Вотъ

передо мною лежитъ теперь одна довольно толстая, отчетливо написанная рукопись: «Домъ позора. Панорама безъ картинъ и стеколъ. Тайныя записки арестанта. Соч. Г. Сущовскаго. Тюремный замокъ. 1863. Спб.».

Таково ея заглавіе. Вещь весьма оригинальная, тѣмъ болѣе, что будучи всецѣло созданіемъ тюрьмы, она совершенно наивно, непосредственно, хотя и весьма ярко передаетъ почти все нравственное міровоззрѣніе арестантовъ. Въ этомъ заключается ея главный интересъ. Читатель прочелъ уже изъ нея маленькій отрывокъ въ стихахъ «о зеленомъ садикѣ» *). Конечно, циклъ этой вполнѣ изолированной литературы, пословицъ и сказокъ и менѣе изолированныхъ пѣсенъ весьма невеликъ и немногообразенъ; но тѣмъ не менѣе, онъ есть, онъ существуетъ, онъ, какъ органическій продуктъ нашей тюрьмы, отражаетъ въ себѣ ту нравственную сторону жизни и души заключенника, которую не раскроютъ никакія формальныя слѣдствія, никакія присяги съ увѣщаніемъ и безъ онаго.

Въ самомъ дѣлѣ, странная эта нравственная сторона, и невольно призадумаешься надъ нею. Какой-нибудь старый жиганъ Дрожинъ, на шестомъ десяткѣ готовящійся къ третьему пѣшеходно-кандальному путешествію въ Сибирь. Поневолѣ остановишься надъ такою личностью. Вся жизнь человѣка проходитъ въ томъ, что онъ бѣгаетъ изъ какой-то необъяснимой любви къ бѣгамъ, изъ смутной, инстинктивной жажды «воли вольной». И онъ не лжетъ, когда говоритъ, что въ этомъ только всѣ вины его государскія заключаются. Врать ему нечего, потому что сидѣлые и бывалые арестанты любятъ скорѣе наклепать на себя въ камерѣ какое-нибудь небывалое и непремѣнно жестокое преступленіе, ради пущаго значенія межъ товарищами, чѣмъ прикидываться смиренниками и «ничевошными». Человѣкъ, въ теченіе многихъ лѣтъ, каждогодно рискуетъ своей спиной, мало того—рискуетъ умереть голодною смертью, потонуть въ Байкалѣ, быть растерзану звѣремъ лютымъ—и все-таки бѣжитъ.

---

*) Впослѣдствіи, въ отдѣльныхъ, самостоятельныхъ статьяхъ, авторъ надѣется гораздо ближе и основательнѣе познакомить читателя какъ съ воровскимъ языкомъ, такъ и съ тюремной литературой, причемъ главную роль будетъ играть интересная рукопись «Домъ позора».

У иного съ бѣгами соединяется надежда на что нибудь, на перемѣну состоянія, что ли; у Дрожина ничего этого нѣтъ: онъ бѣжитъ для того, чтобы только бѣжать. Что это за странная потребность? Какъ хотите, но—потребность чисто-психологическая, а можетъ быть—и психіатрическая, и притомъ весьма-таки сродная русскому человѣку. Вѣдь Дрожинъ не одинъ—Дрожиныхъ цѣлыя сотни, если не тысячи. Не живется на мѣстѣ; въ лѣсу поймаютъ, затѣмъ обычная судейская процедура, затѣмъ, бывало, спину всполосуютъ. И вотъ, дополосовался человѣкъ до дикой, неестественной, чудовищной любви къ плети, до сладострастья истязаній. Фактъ невѣроятный, а между тѣмъ, все-таки, къ сожалѣнію, фактъ. Въ немъ сильно развиты какіе-то своего рода кровожадные инстинкты: онъ съ наслажденіемъ, дилеттантически любуется на пытку человѣка, наслаждается воплями страданья. Вѣдь казалось бы, это извергъ, чудовище, въ которомъ ничего нѣтъ человѣческаго—неправда: какъ бы ни былъ нравственно безобразенъ, онъ все-таки человѣкъ. Тотъ же самый жиганъ, когда разсказываетъ про свои палестины забугорныя, вспоминаетъ мрачную поэзію своихъ бѣговъ — человѣкомъ становится. Тотъ же самый жиганъ, больной и голодный, сталобыть въ томъ положеніи, когда каждое существо наиболѣе склонно къ эгоизму и самохраненію — волочилъ на себѣ цѣлый день умирающаго товарища потому только, что человѣка пожалѣлъ въ немъ. Онъ же смягчается на мгновеніе, когда услышалъ короткій разсказъ Степки Бочарика про дѣянья Рамзи. Въ немъ же заговариваютъ человѣческія струны, послѣ его пораженія, при отходѣ въ больницу, при прощаньѣ съ Рамзею. Нѣтъ, старый жиганъ все-таки человѣкъ и не совсѣмъ еще заглохли въ немъ хорошія движенья. Но онъ человѣкъ надорванный, порченный, и бездна въ немъ привитаго, наноснаго варварства. Онъ до сихъ поръ еще не былъ убійцей, но легко можетъ имъ сдѣлаться — и по холодному разсчету, и по наслажденію убить человѣка. А какая причина тому? что изъ него выработало этакого звѣря? Полосованье, и только одно полосованье.

Замѣчательно то, что полосованные являются звѣрьми по преимуществу; отъ нихъ это качество, какъ зараза, переходитъ мало-по-малу на остальныхъ товарищей по заключенію. Главная при-

чина, стало-быть—сообщество; потомъ есть еще и другія, столь же, пожалуй, немаловажныя причины. Вообще въ объективномъ характерѣ арестантовъ является странное сліяніе этого звѣрства съ чѣмъ-то дѣтскимъ, наивнымъ, довѣрчивымъ. Звѣрство же, само по себѣ, есть прямой продуктъ нашей русской системы общаго заключенія. Понятно, почему первую роль въ камерахъ играетъ физическая сила, здоровый кулакъ и прошлое арестанта, богатое ловкими приключеніями и, главное, отчаяннымъ злодѣйствомъ. Такой человѣкъ, который и въ тюрьмѣ готовъ рѣшиться на все, что угодно, которому нипочемъ дальнѣйшая его судьба, всегда становится большакомъ нетолько по своей камерѣ, но и по всей тюрьмѣ. Онъ играетъ первую роль, пользуется общимъ уваженіемъ и почти безусловнымъ вліяніемъ на нравственную, непоказную офиціально сторону арестантовъ, которые, въ маскѣ своей, необыкновенно склонны подчиняться вліянію силы. Читатель видѣлъ уже, какъ слѣдила вся камера за исходомъ борьбы Дрожина съ Рамзею и какъ подчинилась она силѣ и авторитету послѣдняго, тотчасъ же послѣ окончанія единоборства. Но Рамзи попадаются очень и очень рѣдко, чаще же всего господствуютъ по камерамъ Дрожины—ну, а каковъ попъ, таковъ и приходъ, по пословицѣ. Рядомъ съ этимъ вліяніемъ идетъ общее озлобленіе арестантовъ на свое незавидное положеніе, лишеніе свободы и наконецъ, на суды, на эту часто невозможную медленность рѣшеній. Есть примѣры, что сидятъ по семи, восьми и болѣе годовъ. Эти уже на столько свыкаются со своей жизнью, что имъ даже тюрьма успѣетъ полюбиться; и вотъ они уже сами начинаютъ всячески затягивать дѣло, отдаляя срокъ рѣшенія, лишь бы только не расставаться со своимъ «дядинымъ домомъ». Большая часть дѣлали это тоже изъ страха плетей и длинной Владиміркѣ. Вообще же, арестантъ, недавно посаженный, томится своей неволей, томится до болѣзненной тоски, на которую, разумѣется, никто не обращаетъ вниманія, томится до ожесточеннаго сдавленнаго озлобленія. На комъ всего безопаснѣе сорвать свое зло? — Конечно, на своемъ же братѣ, арестантѣ, и пуще всего, на новичкѣ, съ которымъ еще не опредѣлились нравственныя связи и отношенія. Отсюда и вошли въ обыкновеніе ихъ игры, звѣрски-жестокія и полныя возмутительнаго цинизма, которыя служатъ имъ однимъ изъ

любимѣйшихъ развлеченій, представляя собою своего рода зрѣлища, спектакли.

Въ тюрьмѣ вѣдь скука смертная, работы почти никакой; а тамтебное отдѣленіе и совсѣмъ отъ нея избавлено. Это называется строгостью присмотра за «тяжкими» преступниками. Сидятъ-сидятъ-себѣ люди въ полнѣйшей праздности и бездѣйствіи—ну, и точно, бѣсятся со скуки, колоколъ льютъ, пальто шьютъ, покойника отпѣваютъ. Эта праздная скука доводитъ иногда до весьма печальныхъ результатовъ. Вотъ примѣръ: однажды изъ окна былъ пущенъ «дождевикъ» въ одного изъ тюремныхъ начальниковъ. Къ счастію, булыжникъ только сильно контузилъ его. Но какъ вы полагаете, ради чего былъ пущенъ камень? Одинъ арестантикъ подержалъ со скуки пари съ пріятелемъ, на полтинникъ, что онъ убьетъ «дождевикомъ» перваго, кто пройдетъ, въ подходящемъ разстояніи, по двору. Скука убиваетъ на пари, за пятьдесятъ копѣекъ, безъ мести, безъ злобы, перваго попавшагося человѣка! Вѣдь ужь это, какъ хотите, фактъ такого аномалическаго свойства, который прямо указываетъ человѣку мѣсто не въ тюрьмѣ, а въ больницѣ умалишенныхъ.

Прямой результатъ изъ всего этого—лѣнь, отвычка отъ работы, за тѣмъ уже идетъ боязнь труда и, наконецъ, неспособность къ труду. Выпустятъ изъ тюрьмы съ волчьимъ видомъ — что дѣлать? Легче всего—воровать. И это тѣмъ болѣе сподручно, что арестантъ въ тюрьмѣ необходимо пріобрѣлъ всѣ нужныя знакомства, теоретическое знаніе дѣла, юридическую снаровку въ казуистикѣ полицейскихъ и судейскихъ формальностей—словомъ, все, чтобы сдѣлаться отмѣннымъ воромъ. Недаромъ же вѣдь тюремные мазы почитаются высшими мазами, а самъ «дядинъ домъ» слыветъ у воровъ «мазовой академіей».

А результаты гигіеническіе?—Разстройство груди, тюремный тифъ, скорбутъ и неестественный тайный развратъ и порокъ, явно убивающій душу и тѣло.

Удивляются иные добрые, филантропическіе люди, почему это достаточно пробыть въ тюрьмѣ весьма незначительный срокъ, чтобы человѣкъ слабохарактерный, или безъ предварительной и прочной закваски нравственной, вышелъ оттуда формальнымъ негодяемъ,

готовымъ на каждый низкій поступокъ и преступленіе? Удивляются добрые, филантропическіе люди и находятъ это страннымъ—потому, кажется, и заботы надлежащія о нравственности арестантской они прилагаютъ, и въ церковь-то арестантовъ гоняютъ, пастырь поученія читаетъ имъ, книжки душеспасительныя и назидательныя выдаетъ на руки. Нѣтъ, хоть что хочешь, ни что не беретъ!—Книжекъ этихъ арестанты почти не читаютъ, а читаютъ свои, «которыя позанятнѣе», поученій уразумѣть не хотятъ—вообще народъ къ религіи холодный, хотя промежь себя и вѣруетъ въ Бога—и къ пастырямъ особеннаго довѣрія не оказываютъ.

— Ты гляди, на исповѣди не открывайся, учатъ они своихъ новичковъ:—неравно потомъ бѣды какой не вышло бы: вѣдь онъ для того и наручниковъ не надѣваетъ.

Вотъ и поди тутъ съ ними!

А между тѣмъ, какой-нибудь Акимъ Рамзя однимъ своимъ взглядомъ, однимъ своимъ словомъ, смѣло-прямымъ, хоть и негромко сказаннымъ, сразу повліяетъ въ тысячу разъ болѣе и благотворнѣе, чѣмъ всевозможныя поученія и предупредительно - нравственныя мѣры—«потому свой братъ, а не начальство», говорятъ арестанты.

Но, повторяемъ, Гамзя—очень рѣдкое исключеніе и, единственно благодаря его вліянію, Иванъ Вересовъ не сдѣлался негодяемъ и успѣлъ сохранить свои честныя начала. Сама судьба какъ будто послала тутъ на выручку крѣпкаго человѣка Рамзю, а безъ того быть бы ему невинною жертвой нашей системы общаго заключенія. Впрочемъ, и наше одиночное вполнѣ стоитъ общаго, если даже не почище его, хотя, конечно, въ другомъ совершенно родѣ.

Но объ этомъ послѣ. Настоящая и безъ того уже длинная глава приняла неподходящій къ романамъ характеръ публицистической замѣтки. Я вижу, какъ хмурится лицо иного читателя, и потому спѣшу принести его благосклонности мое чистосердечное извиненіе.

XII

Въ слѣдственной камерѣ

Мы въ слѣдственной камерѣ. Обстановка извѣстна: это—обстановка любого присутственнаго мѣста средней руки. Комнаты, оклеенныя неопредѣленнаго цвѣта обоями, шкафы съ бумагами, столы съ кипами дѣлъ и геморроидальными чиновничьими физіономіями, три-четыре солдата въ каскахъ и съ ружьями, подлѣ темныхъ личностей съ сѣро-затхлымъ, болѣзненнымъ цвѣтомъ лица, съ которыми читатель познакомился уже въ «дядиномъ домѣ»; затѣмъ—всякаго званія и состоянія люди обоихъ половъ и всѣхъ возрастовъ, отъ воришки и нищенки до элегантнѣйшаго, великосвѣтскаго денди.... Тутъ поэтъ смѣло бы могъ воскликнуть:

Какая смѣсь одеждъ и лицъ
Племенъ, нарѣчій, состояній!

И все это ждетъ очереди своего дѣла, все это притянуто къ слѣдствію: иной—какъ истецъ, другой—какъ отвѣтчикъ, третій—какъ свидѣтель, всѣмъ есть мѣсто, до всѣхъ есть дѣло.

Вводятъ изъ передней комнаты мужичонку, въ арестантскомъ сѣромъ костюмѣ. Мужичонка на видъ—маленькаго роста; волоса каштановаго цвѣта, длинные, взбитые въ безпорядкѣ; безусое и безбородое лицо добродушно до того, что выраженіе его переходитъ даже во что-то дѣтское, безпечное, во что-то безконечно невинное и свѣтлое.

— Кто таковъ? раздается голосъ слѣдователя.

— Изъ господскихъ... робко начинаетъ, озираясь по угламъ, мужичонко.

— Какъ зовутъ, сказывай; какой губерніи, уѣзда какого? подшептываетъ ему сзади вольнонаемный писецъ, стоящій тутъ, для того, чтобы выслушать допросъ и послѣ записать показаніе со словъ мужичонки.

— Крестьянинъ... Калужской губерніи, Козельскаго уѣзда, Иванъ Марковъ, поправляется мужичонко, однако все еще робкимъ голосомъ.

— Сколько лѣтъ? спрашиваетъ слѣдователь.

— Двадцать-три.

— За что взятъ?

— Милостыньку просилъ, вашеско благородіе.

— По какому виду живешь?

Мужичонко заминается и молчитъ, уставя въ слѣдователя свои глаза, которые при этомъ вопросѣ вдругъ сдѣлались глупыми, безсмысленными и какъ-бы ровно ничего непонимающими изъ того, что спрашиваютъ у ихъ обладателя. Вообще, видно, что послѣдній вопросъ слѣдователя больно ему непопутру.

— Что жь молчишь-то? или *безъ глазъ ходишь**)?

Мужичонко при этомъ вопросѣ вздрагиваетъ, и словно очнувшись отъ забытья какого-то, встряхиваетя всѣмъ тѣломъ.

— Ну, что же? точно? безъ глазъ!

— Есть воля ваша, вашеско благородіе!

— На исповѣди и у святого причастія бываешь?

— Нѣ, не бываю...

— Почему такъ?

— На исповѣдь не ходилъ — потому раскаяваться не въ чемъ, значитъ, коли пашпорта нѣтъ.

— Такъ что жь, что нѣтъ.

— Да какъ же безъ пашпорта каяться-то? знамо дѣло, безъ пашпорта и каяться нельзя.

— Зачѣмъ въ Петербургъ пришелъ?

— На заработки пришелъ... А какъ вышелъ срокъ пашпорту, домой собрался, продолжалъ арестантъ, немного пріободрившись и оправившись отъ перваго смущенія.—Двадцать-пять рублевъ денегъ имѣлъ, да на серскасѣльской машинѣ украли и мѣшокъ, и деньги— я тамъ жилъ, значитъ... Ну, домой вернуться не съ чѣмъ—я такъ и остался...

— И давно безъ паспорта?

— Поболѣ года уже... да годъ по пашпорту жилъ.

— Женатъ, или холостъ?

— Женатъ... жену въ деревнѣ оставилъ...

— Какъ же она тамъ безъ тебя живетъ? поди, чай, избалуется?

---

*) *Безъ глазъ ходить*—безъ паспорта; *темный глазъ*—фальшивый паспортъ.

— А пусть ее балуется!... мнѣ же лучше!...

Этотъ отвѣтъ не мало изумляетъ слѣдователя.

— Какъ такъ? спрашиваетъ онъ: — да коли она тамъ съ другимъ парнемъ слукавится?

— Что жь, въ этомъ худа никакого нѣтъ. Пущай ее слукавится... покрайности, какъ ежели домой вернусь, такъ авось, богъ-дастъ, работника лишняго въ сѐмью родитъ — мнѣ же подспорье будетъ... Это ничего, это хорошо, коли слукавилась.

— Ну, конечно, это твое дѣло!... Какъ же ты безъ глазъ-то больше года прожилъ? Чѣмъ занимался!

— Въ поденной работѣ жилъ... То у того, то у другого хозяина, пока держали, гдѣ день, гдѣ два, а гдѣ и недѣлю—такъ вотъ и жилъ.

— А милостыню зачѣмъ сталъ просить?

— А вотъ — лѣтось жилъ я у хозяина на обводной канавѣ; порядившись были дрова къ Берендякѣ на лѣсной дворъ таскать; да заболѣлъ я тутъ. Хозяинъ не сталъ держать на фатерѣ; говоритъ: «помрешь, пожалуй, а мнѣ съ тобой и тягайся тогда!—иди, благо, куда знаешь!... Ну, я и пошелъ...

— Куда же пошелъ-то?

— А въ кусты...

— Какъ въ кусты?

— А такъ, въ кусты... за московскую заставу—тамъ и жилъ, въ кустахъ тѣхъ.

— Больной-то?

— Да, нездоровый; такъ и жилъ.

— А ночевалъ-то гдѣ?

— А все тамъ же, въ кустахъ... былъ на мнѣ зипунчикъ такой въ тѣ поры; такъ вотъ имъ-то прикроешься отъ холоду, и спишь-себѣ.

— А кормился гдѣ и какъ?

— Да ѣсть-то въ ту пору оченно мало хотѣлось мнѣ... Ну, снѣжата коѣ-какія пустяшныя были; выйдешь на дорогу — тамъ лавочка была—купишь себѣ булочку да и кормишься день, а иной два... А то вотъ тоже травкой питался...

— Какою травкой!

— А кисленькой... Травка такая есть... щавелёкъ прозывается-ею и питался... Ну, а тамъ ягодка поспѣвать стала — такъ шо вотъ ягодки, àлибо листиковъ тамъ разныхъ пощиплешь — ну, и ѣшь-себѣ...

Мужичонко на минуту пріостановился и о чемъ-то грустно раздумался.

— А потомъ въ здоровьѣ чуточку поправился, продолжалъ онъ:— вышелъ изъ кустовъ, только въ силу еще не вошелъ — работать не могъ и мѣста не сыскалъ себѣ—по той причинѣ и милостыню сталъ просить.

— И долго въ кустахъ ты прожилъ?

— Да за полтора мѣсяца прожилъ-таки—не очепно долго!

— И ты не врешь, братъ?

Мужичонко остался очень удивленъ этимъ послѣднимъ вопросомъ. Дѣйствительно, онъ разсказывалъ все это столь простодушно и съ такою дѣтски-наивною откровенностью, что трудно было тутъ подмѣтить неискренность и ложь.

— Пóшто вртать! заговорилъ онъ на вопросъ слѣдователя:—я должóнъ со всѣмъ усердіемъ открываться; какъ это было, такъ и разсказываю... Ужь соблаговолите, ваше благородіе, отправить меня на родину! прибавилъ онъ, послѣ нѣкотораго размышленія.—Надоскучило мнѣ тутотко безъ глазъ-то мотаться... Дома отецъ, àлибо міръ хоть и всыплютъ сотню — другую, а все же оно легче, потому — дóма; значитъ, въ своей сторонѣ. А чужая сторона, какая она? — безъ вѣтру сушитъ, безъ зимы знобитъ. — Ужь это самое послѣднее дѣло.

И мужичонку уводятъ въ другую комнату — записывать его показаніе, а на мѣсто его появляются двѣ новыя личности.

— А!... божіи странички, мірскіе ходебщики! добро пожаловать! опривѣтствовалъ вошедшихъ слѣдователь.

Тѣ по поклону.

— Одинъ изъ нихъ — ражій, рыжебородый, длинноволосый и сопящій мужичина, въ послушническомъ подрясникѣ, съ чернымъ стальнымъ обручемъ вмѣсто пояса. Другой — нѣчто ползущее, маленькое, низенькое, горбатенькое и на видъ очень несчастненькое

и смиренное. Вползло оно, вмѣстѣ съ ражимъ своимъ сотоварищемъ, и забилось въ уголъ, какъ ёжъ, оттуда подозрительно поводило своими глазками, словно тараканъ усиками.

Читатель, конечно, узналъ уже обоихъ.

— Кто таковъ? обратился слѣдователь съ обычнымъ форменнымъ вопросомъ къ Ѳомушкѣ-блаженному.

— Кто? я-то?

— Да, ты-то!

— Самъ по себѣ! отрывисто прожамкалъ блаженный, съ нахальствомъ глядя своими быстрыми, плутовскими глазами прямо въ глаза слѣдователю.

— Вижу, что самъ по себѣ; да каковъ ты человѣкъ-то есть?

— Божій.

— Всѣ мы божьи; а ты мнѣ объявись, кто ты-то собственно?

— Я-то?

— Да, ты-то!

— Я — птица.

— Гм... вотъ оно что!... Какая же птица?

— Немалая!...

— Однако, какая же?

— Да высокаго-таки полёта...

— А какого бы, желательно знать?

— А по крайности будетъ — соколиного...

— Ого, какъ важно!... Ну, такъ вотъ, ваша милость, желательно бы знать чинъ, имя и фамилію.

— Чью фамилію, мою?

— Ну, разумѣется!

— У меня фамилія важная...

— Тѣмъ то вотъ оно и интереснѣе.

— Да интересъ — не интересъ, а только важная. При всѣхъ посторонних не объявлюсь, а на секретѣ — пожалуй, ужь такъ быть, уважу!

— Ну, это, положимъ, вздоръ вы изволите говорить. А вы, мой милый, безъ штукъ: фамилія!

— Сказано разъ, что важная... А впрочемъ — ну ихъ! пущай всѣ знаютъ! тотчасъ же раздумалъ блаженный.

— Вотъ эдакъ-то лучше!... Ну, такъ какая же?

— Князь Волконской! дерзко и громко брякнулъ Ѳомушка, и съ самодовольствіемъ окинулъ глазами всю комнату, какъ-бы желая поглядѣть, какой это эфектъ произвело на присутствующихъ.

— Ну, а паспортъ вашъ гдѣ, князь Волконской? съ улыбкою допытываетъ его слѣдователь:

— А нешто у князьевъ есть пашпорты? съ увѣренностью стойкаго и законнаго права вздумалъ вдругъ авторитетно диспутировать Ѳомушка, заложивъ руки за спину. — Насъ каждый знаетъ! Какіе у насъ пашпорты? Никакихъ такихъ пашпортовъ мы не знаемъ, да и знать не должны! Мы страннымъ житіемъ занимаемся, потому какъ мы это самое странное житіе возлюбили, такъ по немъ и ходимъ... А что касается званія и фамиліи, то такъ и пиши: князь, молъ, молъ, Волконской!

— Ну, а товарищъ-то твой, спросилъ слѣдователь, кивнувъ головой на ежа, крестившагося и копошившагося въ углу: — тотъ ужь вѣрно князь Трубецкой.

— Это ужь пущай онъ самъ объявляется, отвѣтилъ странникъ, лихо встряхнувъ своею рыжею гривою и отступилъ въ сторону, какъ человѣкъ сознающій, что вполнѣ покончилъ свое дѣло и ждать отъ него больше нечего. Ѳомушка явно билъ на изображеніе изъ себя юродиваго, сумасшедшаго, не безъ основанія полагая, что это поможетъ ему отъ бѣды отвертѣться.

— Ну, отвѣчай, кто таковъ? слѣдуетъ тотъ же вопросъ къ горбатому ежу.

— Господи Исусе!... слышится изъ угла, вмѣсто отвѣта, какой-то свистящій, фистуловый шопотъ, причемъ искалеченная рука какъ-то тревожно и торопливо мотается, творя крестное знаменіе.

— Да отвѣчай же, кто таковъ? понукая, подсказываетъ ему рядомъ стоящій писецъ.

— Не знаю, батюшко, не могу знать совсѣмъ, скорбно отвѣтствуетъ ёжъ.

— Ну, а имя какъ? допрашиваетъ слѣдователь, котораго, очевидно, развлекательнымъ образомъ занимаютъ эти два интересные субъекты

— Не знаю, батюшка, ничего не знаю... Люди зовутъ Касьянчикомъ-старчикомъ, а самъ я не знаю, отецъ мой... Господи Исусе, помилуй насъ грѣшныхъ! Мати пресвятая!...

И опять та же исторія.

— Такъ не знаешь, какъ тебя зовутъ?

— Не знаю, батюшко, запамятовалъ!... Вотъ-те Христосъ—запамятовалъ!

— Говоришь, что Касьяномъ? а?

— Сказываютъ людишки добрые, что надобно быть Касьяномъ, сказываютъ, словно бы такъ, родненькій...

— А можетъ, и не Касьяномъ, а по другому какъ? играетъ съ улыбкой слѣдователь.

— Можетъ, и не Касьяномъ, родимый, все можетъ! охотно соглашается старчикъ: — можетъ, и по другому какъ, а мы объ эфтимъ безвѣстны... безвѣстны, родненькій!...

— На исповѣди и у святаго причащенія бываешь?

— Бываю, батюшко, бываю, четырежды въ годъ бываю... По манастырямъ, отецъ мой..,

— Сколько лѣтъ тебѣ?

— Не знаю, отецъ мой, ничего не знаю. И гдѣ хрещёнъ, и гдѣ рожонъ — и того не знаю!

А на видъ старичку лѣтъ около пятидесяти, если не больше.

— Гдѣ же ты проживалъ, чѣмъ занимался? Этого не упомнишь ли?

— Ничего не помню, родненькій, ничевошеньки! А вотъ съ малолѣтствія, какъ себя только запомню, какъ все больше по манастыріямъ, да по обителямъ честнымъ въ странномъ житіи подвизался — а что до всего остальнаго — ничего не помню...

— Ну, а какъ же вы, голубчики, за всенощной, на паперти у купца Верхобрюхова изъ кармана бумажникъ вытащили? Какъ онъ у тебя очутился за пазухой, да какъ его тебѣ товарищъ твой — его-то сіятельство, передалъ? Это какъ случилось, разскажи-ка ты мнѣ?

— Ничего не знаемъ, родители вы наши, ничевошеньки!... Это все по извѣту злыхъ людей, отъ діавола, иже плевелы посѣваетъ, внушенному на насъ, странныхъ людей, честнымъ и сподобливымъ житіемъ изукрашенныхъ.

— Ого, какимъ книжникомъ заговорилъ!... Впрочемъ, другъ любезный, вѣдь ничего не подѣлаешь: свидѣтели есть... съ поличнымъ пойманы.

— Ничего не знаемъ, ничевошеньки, отецъ мой! А что если лжесвидѣтельствовать — такъ это можно! И супротивъ апостоли — эллини нечестивіи лжесвидѣтельствовали; такъ это намъ же душѣ своей ко спасенію... А мы, какъ есть ничего, и знать не знаемъ, и вѣдать не вѣдаемъ — хоть подъ присягу святую идти!

— Да какъ же бумажникъ-то за пазухой вдругъ очутился?

— Золъ человѣкъ подсунулъ, нарочито подсунулъ, по злобѣ своей лютой, чтобы насъ-то странныхъ людей, лихой пагубой погубить. Я знаю, кто и подсунулъ-то: это молодецъ Ворхобрюховскій, прикащикъ его съ нимъ рядомъ выходилъ, и пока значитъ, его степенство милостыню честную творилъ намъ, молодецъ мнѣ и супь — толпа-то вѣдь большая — а самъ и схватись за меня съ товарищемъ вкупѣ, а товарищъ-то мой — христа-ради юродивый, блаженный, онъ и воды не замутитъ объ оную пору, не токмà что... А теперь этотъ самый молодецъ лжесвидѣтелемъ супротивъ насъ поставленъ. Онъ мало ли чего наскажетъ! потому у него супротивъ насъ—злоба,— злоба, родитель мой, лютая!

Такимъ образомъ Ѳомушка, въ качествѣ сумасшедшаго, сопитъ да отмалчивается, а Касьянчикъ-старчикъ, не взирая на всѣ очевидности, упорно стоитъ на своемъ «ничевошеньки» и дѣлаетъ отводъ свидѣтеля, потому знаетъ и вѣдаетъ онъ, что съ помощію этихъ двухъ закорюкъ — пусть будетъ дѣло ясно, какъ дважды-два-четыре — онъ все-таки выйдетъ сухъ изъ воды.

Начинается затѣмъ очной сводъ со свидѣтелями кражи, причемъ конечно обѣ стороны остаются при своихъ показаніяхъ.

На сцену выступилъ привезенный изъ тюрьмы, для неоднократно повторяющихся допросовъ, Иванъ Вересовъ и съ нимъ — Осипъ Грѣчка, который пока еще содержался при части, въ секретной. Грѣчка не отступался отъ первыхъ своихъ показаній, данныхъ при составленіи полицейскаго акта, на мѣстѣ преступленія. Онъ все еще надѣялся, что Мордепко одумается, что въ немъ прорвется кровное чувство отца, которое не допуститъ его довести дѣло до уголовной

палаты. А Морденко межъ тѣмъ упорно стоялъ на своемъ убѣжденіи въ виновности Вересова, доказывая, что онъ давно уже подозрѣвалъ «въ пріемномъ сынѣ своемъ» злостные умыслы противъ себя, что этотъ пріемный сынъ всегда былъ грубъ, дерзокъ, непочтителенъ и безнравственъ.

Показанія свидѣтелей, точно также, говорили далеко не въ пользу Вересова — все это составляло явныя улики противъ него, такъ что для окончательнаго обвиненія недоставало только собственнаго сознанія его въ преступленіи.

Слѣдователь рѣшительно становился въ тупикъ. Съ одной стороны, эта полная гармонія въ показаніяхъ кухарки Христины Ютсола, домового дворника и мелочного сидѣльца, подкрѣпляемая «чистосердечнымъ» сознаніемъ самого Грѣчки и доводами Морденки, казалось, ярко указывала на слишкомъ очевидныя тѣсныя сношенія молодого человѣка съ преступникомъ, а слѣдственно и на участіе его въ преступномъ замыслѣ. Съ другой же стороны, одинъ взглядъ на честное, открытое лицо обвиненнаго, на ту неподдѣльную искренность, которая звучала въ его словахъ, на ту короткую, безропотную покорность, съ которой склонялся онъ передъ постигшей его бѣдой — невольно поселяли въ душѣ слѣдователя какое-то безотчетное убѣжденіе въ его невинности. Онъ свелъ его на очную ставку съ Зеленьковымъ—Зеленьковъ показалъ, что хотя и видалъ Вересова раза два у Морденки, въ прежнее еще время, но что онъ, сколько ему извѣстно, въ замыслѣ на убійство не участвовалъ — даже имени его почти не было произнесено въ Сухаревкѣ, гдѣ происходила при Зеленьковѣ первая стачка. Слѣдователь, думалъ-было ухватиться за это показаніе, видя въ немъ фактъ, говорящій въ пользу обвиненнаго; но все-таки долженъ былъ тотчасъ же придти къ убѣжденію, что показаніе Зеленькова, при настоящемъ положеніи дѣла, не имѣетъ ни малѣйшаго значенія, такъ-какъ по его словамъ первая сухаревская стачка происходила въ пятницу, а Грѣчка настаивалъ на томъ, что встрѣтясь случайно съ Вересовымъ, держалъ съ нимъ уговоръ въ субботу, и уговоръ этотъ держалъ внизу, на лѣстницѣ Морденкиной квартиры. Спросили еще у Зеленькова, упоминалъ ли Грѣчка имя Вересова въ субботу, когда послѣ закладa жилетки, вернулся въ Сухаревку, доложить о своей

рекогносцировкѣ?—Оказалось, что не упоминалъ. Но и это обстоятельство могло только указывать на возможность того факта, что Грѣчка нашелъ болѣе удобнымъ и выгоднымъ для себя сдѣлать преступленіе въ сообществѣ Вересова, чѣмъ въ сообществѣ Ѳомки блаженнаго и Зеленькова — поэтому, быть можетъ, онъ такъ настойчиво и отклонялъ при допросахъ всякую солидарность этихъ двухъ людей съ совершеннымъ преступленіемъ. Такъ думалъ слѣдователь. Грѣчка же, въ сущности, не запутывалъ ихъ потому, во-первыхъ, что далъ слово блаженному, въ случаѣ неудачи, принять все дѣло исключительно на себя, а во-вторыхъ — если не забылъ еще читатель—онъ, возвращаясь изъ Сухаревки, пришелъ къ соблазнительному заключенію, что лучше одному, безъ раздѣла, воспользоваться плодами убійства, тѣмъ болѣе, что по условію отвѣчать-то все-таки одному придется. Наконецъ доносъ Зеленькова оставался для Грѣчки полнѣйшею тайной: онъ могъ имѣть подозрѣніе столько же на него, сколько и на Ѳомушку, и на всякаго другого, кто бы какъ-нибудь случайно подслушалъ ихъ уговоръ, и потомъ донесъ полиціи. У Грѣчки былъ все-таки своего рода гоноръ, воровской point d'honneur: коли ужь разъ на стачкѣ далъ такое слово, не выдавать — такъ держись, значитъ, крѣпко этого самаго слова, чтобы и напредки всякій другой товарищъ вѣру въ тебя имѣлъ.

— Вы соглашаетесь съ показаніями кухарки, дворника и сидѣльца? спрашивалъ слѣдователь у Вересова.

— Вполнѣ.

— Эти показанія почти несомнѣнно доказываютъ ваше прямое соучастіе въ дѣлѣ.

— Я знаю, и ихъ, можетъ быть, достаточно для суда, чтобы приговорить меня, сказалъ Вересовъ съ тѣмъ кроткимъ, покорнымъ спокойствіемъ, которое является слѣдствіемъ глубокаго и безъисходнаго горя. — Можетъ быть, меня и дѣйствительно приговорятъ, какъ тяжкаго преступника, добавилъ онъ съ тихой улыбкой, въ которой сказывалась все та же безропотная покорность.

Слѣдователь поглядѣлъ на него съ участіемъ.

— Но, Бога-ради, сообразите, что̀ можете вы сказать въ свое оправданіе! предложилъ онъ.

Вересовъ только пожалъ плечами.

— Я уже сказалъ, какъ въ дѣйствительности было дѣло. Но... у меня вѣдь нѣтъ свидѣтелей; слова мои безсильны... Все — противъ меня. — Что же мнѣ дѣлать?!

Въ комнату вошелъ священникъ, и поклонился слѣдователю, мягко разглаживая свою бороду.

— Вы меня оповѣщали. — Не запоздалъ?

— Нѣтъ, батюшка, въ пору. Вотъ — стулъ. Увѣщаніе одному молодцу сдѣлать нужно; потрудитесь, пожалуйста.

— Могу! поднялъ брови свои батюшка, опускаясь на предложенный стулъ.—Могу... А какого рода увѣщанье-то?

— Да вотъ, кажется, понапрасну оговариваетъ въ сообществѣ.

— Неповиннаго?

— Кажется, что такъ.

— Вотъ оно что!... Могу, могу!—А гдѣ же молодецъ-то?

Въ комнату привели Грѣчку. Конвойный солдатъ, съ ружьемъ у ноги, остался въ дверяхъ; священникъ отодвинулъ свой стулъ на другой конецъ комнаты, подозвалъ къ себѣ арестанта и съ разстановкой, методически понюхавъ табаку, началъ вполголоса свое пастырское увѣщаніе.

— Сынъ мой—нехорошо... надо покаяться, надо... покаяніе душу очищаетъ... десять праведниковъ не столь угодны Господу, сколь одинъ раскаявающійся грѣшникъ.

Въ этомъ родѣ длилась его назидательная бесѣда; но Грѣчка слушалъ съ какимъ-то безсмысленнымъ видомъ — да и слушалъ ли еще!—онъ тупо устанавливалъ свои глаза то на уголъ изразцовой печки, то столь же тупо переводилъ ихъ на окно, сдерживалъ зѣвоту, переминался съ ноги на ногу, и видимо скучалъ и тяготился продолжительностью своего стоячаго положенія. Вотще употреблялъ батюшка весь запасъ своего краснорѣчія, стараясь текстомъ, примѣрами и назиданіемъ пронять его до самаго сердца—сердце Грѣчки—увы! осталось непронятымъ.

— Да вы, батюшка, это насчетъ чего же говорите-то мнѣ проклямацыю эту всю? перебилъ онъ наконецъ увѣщателя. — Я вѣдь ужь все, какъ есть, по совѣсти, показалъ ихъ благородію. А ихъ благородіе, это значитъ, пристрастные допросы дѣлать желаютъ; такъ опять же насчетъ этого будьте, батюшка, свидѣтелемъ; а я

стряпчему за эдакое пристрастіе па ихъ благородіе жалиться могу! Чай, сами знаете, по закону то духовное увѣщаніе—прежняя пытка!

— Зачерствѣлое сердце, зачерствѣлое... соболѣзную, покачалъ головой священникъ, подымаясь съ мѣста и не относясь собственно ни къ кому съ этимъ послѣднимъ замѣчаніемъ. — Мой пастырскій долгъ, по силѣ возможности, исполненъ; извольте начинать вашъ, юридическій, гражданскій, прибавилъ онъ, съ любезной улыбкой обращаясь къ слѣдователю, и отдавъ поклонъ, удалился изъ камеры такъ же, какъ и вошелъ, мягко разглаживая бородку.

Началась очная ставка. Грѣчка съ наглымъ безстыдствомъ, въ глаза уличалъ Вересова въ его соучастіи.

— Что же, другъ любезный, врёшь? гдѣ же у тебя совѣсть-то, безстыжіе твои глаза? говорилъ онъ, горячо жестикулируя передъ его физіономіей:—вмѣстѣ уговоръ держали, а теперь на попятный? Это ужь нечестно; добрый воръ такъ не виляетъ. Вѣдь ты же встрѣнулъ меня внизу на лѣстницѣ!

— Да, подтвердилъ Вересовъ.

— Вѣдь я же сидѣлъ и плакался на батьку-то твоего?

— Да, повторилъ Вересовъ.

— И ты же сталъ меня разспрашивать, что̀ это, дескать, со мною?

— Да, разспрашивалъ.

— А я же тебѣ говорилъ, что спасите, молъ, меня—съ голоду помираю, съ моста да въ воду броситься хочу?

— Говорилъ...

— А ты мнѣ что̀ сказалъ на это?... Ну-ка-ся, припомни!

— Я къ отцу позвалъ; сказалъ, что выручу.

— Ну, да! это правильно! Только прежде чѣмъ къ отцу-то звать, ты сказалъ, что выручишь, буде помогу тебѣ ограбить, а не то, добрымъ часомъ и убить его. Вотъ оно какъ было! Ты же мнѣ разсказалъ, что и фатера у него завсегда при замкахъ на запорѣ состоитъ, и что деньги онъ при себѣ на тѣлѣ содержитъ.

— Это ложь! горячо вступился Вересовъ.

— А!... теперь вотъ ложь! перебилъ Грѣчка. — Ахъ, ты Іуда іудейская! Аспидъ ты каинскій!... Ишь вѣдь святошей-то какимъ суздальскимъ прикидывается, сирота казанская!... А откуда жь я могу знать, что деньги-то батька твой въ кожаномъ поясѣ подъ

сорочкой носитъ? Кто жь, окромя тебя, сына евойнаго сказать бы мнѣ могъ про это?... Что? замолчалъ, небойсь?... Пишите, ваше благородіе, обратился онъ къ слѣдователю: — что остались, молъ, оба при своихъ показаніяхъ. — Видите, замолчалъ! Сказать-то ему больше нечего.

Вересовъ отвернулся къ окну, чтобы скрыть отъ постороннихъ глазъ навернувшіяся слезы—тихія, но горькія слезы безъисходнаго безпомощнаго, придавленнаго горя.

— Чтó же вы скажете на это, Вересовъ? участливо отнесся къ нему слѣдователь.

— Видитъ Богъ—невиноватъ я!... Ну, да что жь... судьбы не уйдешь вѣдь!... съ безнадежнымъ отчаяніемъ махнулъ онъ рукою, и голосъ его не выдержалъ, трепетно порвался. Онъ еще больше отвернулся къ окну, чтобы скрыть свою новую слезу, невольную и жгучую.

— Позвольте мнѣ, ваше благородіе, въ тюрьму! сталъ между тѣмъ просить Грѣчка: — что жь меня теперича занапрасно въ секретной держать? я вѣдь во всемъ, какъ быть должно, со всѣмъ усердіемъ моимъ открылся вашему благородію: начальство къ намъ тоже вѣдь навѣщать наѣзжаетъ, я могу начальству сказать, потому лишній народъ, сами знаете, безъ дѣла содержать по частямъ въ секретныхъ не приказано: а я открылся... такъ ужь, стало быть позвольте въ тюрьму.

Слѣдователь махнулъ рукою—и конвойный увелъ Грѣчку съ его мнимымъ сотоварищемъ.

Въ тотъ же день черный фургонъ привезъ въ подворотню тюремнаго замка новыхъ обитателей. Это были: Осипъ Грѣчка, Ѳомушка-блаженный и Касьянчикъ-старчикъ.

XIII

Секретная

Бероева нескоро пришла въ сознаніе. Она рѣшительно не помнила, какъ ее увозили изъ ресторана, какъ доставили въ одну изъ частей, какъ на утро, за неимѣніемъ тамъ мѣста, перевели въ другую часть, куда по сдѣланному въ тотъ же день экстренному распоряженію, было отдано для слѣдствія ея дѣло. Все это время мысль ея не дѣйствовала, нервы словно закоченѣли, потерявъ способность впечатлительности; ее не пронималъ ни уличный холодъ, ни спертая, удушливая духота женской сибирки, гдѣ она очутилась на нарѣ, въ обществѣ уличныхъ воровъ, нищенокъ, самыхъ жалкихъ распутницъ и пьяныхъ бабъ, подобранныхъ на панели. Она глядѣла, дышала и двигалась, какъ автоматъ, вполнѣ машинально, вполнѣ безсознательно; ни въ одномъ взглядѣ ея, ни въ одномъ вздохѣ, ни въ одномъ движеніи не промелькнуло у нея ничего такого, что бы напомнило хоть легкую тѣнь какой-либо мысли, хотя бы малѣйшій признакъ отчетливаго сознанія и чувства. Душа и мысль ея были мертвы, скованы какою-то летаргіей — одно только тѣло не утратило способности жить и двигаться.

Очнулась она уже «въ секретной», послѣ долгаго, мертвецкаго сна, который одолѣлъ ее всею своей тяжестью, побѣдивъ наконецъ это болѣе чѣмъ суточное, напряженно-закоченѣлое состояніе.

Секретныя по частямъ отличаются видомъ далеко непрезентабельнымъ. Это обыкновенно — узкая комната, сажени въ полторы длиною, да около сажени въ ширину, съ рѣшотчатымъ, тусклымъ окномъ и кислымъ нежилымъ запахомъ. Мало свѣту и мало воздуху, а еще меньше простору; пройдтись, расправить кости, размять члены свои ужь рѣшительно негдѣ, потому на полуторасаженномъ разстояніи небольно-то разгуляешься.

Бероева смутно очнулась и оглядѣлась вокругъ. Сѣроватый и словно сумеречный полусвѣтъ западалъ въ ея окошко. Передъ нею стоялъ убогій столикъ, грязный, пыльный, богъ-вѣсть съ которыхъ поръ немытый и нескобленный. Тутъ же кружка съ водою, на поверхности которой тоже плавала пыль да утонувшая муха. Въ углу стояло ведро подъ стѣннымъ умывальникомъ — и эти

предметы, за исключеніемъ постели, составляли все убранство секретной.

Бероева чувствовала какую-то усталость и ломъ въ костяхъ, и жгучій зудъ по всему тѣлу. Она оглядѣла себя и свое ложе—убогую деревянную кровать съ грязной подстилкой, съ соломеннымъ мѣшкомъ вмѣсто тюфяка и такою же подушкой. Брезгливое содраганіе невольно передернуло ея члены, когда увидала она то, что̀ служило ей изголовьемъ... Міріады насѣкомыхъ, клоповъ и даже червей какихъ-то повысыпали сюда изъ своихъ темныхъ щелей, почуявъ съ голоду новую и свѣжую добычу. Она стала прислушиваться - все тихо, глухо, не слыхать ни говора, ни отголосковъ уличной жизни; только крысы пищатъ да возятся за печкой. Одна изъ этихъ подпольныхъ обитательницъ торопливо пробѣжала по полу и вильнула чешуйчатымъ хвостомъ, мгновенно улизнувъ подъ половицу, въ свою маленькую норку.

Съ нервическимъ трепетомъ поднялась она съ кровати и толкнулась въ дверь: но плотно запертая, крѣпкая дверь даже и не шелохнулась отъ ея толчка — словно бы толчокъ этотъ пришелся въ каменную стѣну. Она постучалась еще, и на этотъ разъ посильнѣе — отвѣта нѣтъ какъ нѣтъ, и все по прежнему тихо да глухо. Бероева тоскливо прошлась по своей тюрьмѣ — подъ ея ступней слегка скрыпнула половица — и пискливая возня за печкой, казалось, будто усилилась отъ этого скрыпу да отъ ея шаговъ, нарушившихъ тишину карцера. Изъ подполья снова выглянула большая рыжая крыса, и словно котёнокъ, нетрусливо проползла до середины комнаты, понюхала воздухъ, поводила усиками, и, спугнутая новымъ движеніемъ арестантки, шмыгнула въ темноту, подъ ея кровать, гдѣ и скрылась уже безвозвратно.

Бероева смутно сообразила теперь свое положеніе, собрала свои мысли, на сколько это было возможно въ ея состояніи, вспомнила все, что̀ случилось съ нею — и тутъ-то, при этомъ страшномъ воспоминаніи, которое въ сущности и было для нея прямымъ, настоящимъ пробужденіемъ, возвратомъ къ дѣйствительной жизни, при видѣ всей этой мрачной, отвратительной обстановки, которая, словно могила, оковала ее своей безжизненностью въ настоящую минуту — на нее напалъ какой-то ужасъ, почти инстинктивно раз-

разившійся невольнымъ, отчаяннымъ крикомъ. Она судорожно и что есть мочи стала колотиться въ дверь, не переставая кричать ни на минуту — и чрезъ нѣсколько времени надзирательская форточка отворилась. Въ ней показалось апатичное лицо полицейскаго солдата.

— Чего орёшь-то? что надо? кажись, все вѣдь есть, по порядку! просипѣлъ онъ крайне недовольнымъ тономъ.

— Пусти меня, пусти, Бога-ради! кричала она, совсѣмъ почти обезумѣвъ въ этотъ мигъ отъ отчаянія.

— Куды пусти!?... Что ты, чего бьешься-то?

— Дѣти... гдѣ дѣти мои?... Пусти!... Я въ судъ пойду... я къ царю пойду... я скажу ему! все скажу, всю правду!... Отпирай же двери!...

— Ладно!... никакъ съ ума спятила... Пусти да пусти, а куды я пущу?... Начальство не велитъ, съ насъ тоже взыскивать будутъ... Сиди лучше добромъ, коли посадили.

— Да отворишь ли ты, бездушный!

— Какой я бездушный? я не бездушный, а только что намъ неприказано — ну, значитъ, и нельзя. Вотъ погоди, скоро обѣдъ изъ тюрьмы привезутъ; я-те обѣдать принесу, поѣшь себѣ съ Богомъ; а чего ужь нельзя, такъ и нельзя?... Не моя воля; а будешь бунтовать дежурному скажу—ей-богу скажу! пущай его самъ, какъ знаетъ, такъ и вѣдается съ тобою!

Бероева съ воплемъ грохнулась безъ чувствъ подлѣ двери.

Солдатъ поглядѣлъ: видитъ — лежитъ, не кричитъ и не дышетъ.

— Экая барыня какая несообразная, проворчалъ онъ, покачавъ головою, затѣмъ крикнулъ подчаска, отомкнулъ дверь — вдвоемъ перетащили ее на кровать.

— Вспрысни водой малость—може, и прочухается, а не то дежурному да дохтуру доложить придется, сказалъ онъ подчаску, который исполнилъ все сполна по данному приказанію.

— Бероева очнулась — и солдаты снова заперли дверь ея камеры.

Она увидала, что ужь тутъ ничего не подѣлаешь, что это — сила, которая неизмѣримо превышаетъ ея собственныя силы и воз-

можность, которая—Богъ-вѣсть что́ еще будетъ впереди — а пока, въ настоящую минуту, давитъ, уничтожаетъ собою ея волю — и она смирилась въ какомъ-то тупомъ, деревянномъ отчаяніи.

Привезли изъ тюрьмы обѣдъ; а развозятъ его по всѣмъ петербургскимъ частямъ, для содержащихся тамъ арестантовъ, обыкновенно въ продолговатыхъ черныхъ ящикахъ, куда вставляются сосуды, въ родѣ деревянныхъ коробокъ; въ эти коробки опускаются плотно-закрытые баки съ похлебкой, кладется хлѣбъ, въ нужномъ количествѣ порцій, и затѣмъ ящики отправляются въ ежедневное свое путешествіе.

Бероева почти и не взглянула на эту холодную, мутно-сѣрую похлебку, которую солдатъ такъ и вынесъ нетронутой изъ ея нумера. Голодъ побудилъ ее только прожевать нѣсколько комковъ арестанскаго хлѣба, да запить ихъ стоялою водою изъ своей кружки. Да и это-то пища, при ея тяжеломъ нравственномъ состояніи, показалась горькой и противной.

Въ этотъ день ее никто не тревожилъ, кромѣ добровольныхъ и неофиціальныхъ обитателей ея камеры. Начинало темнѣть—и подъ свѣтомъ петербургскихъ сумерокъ, стѣны секретной становились еще мрачнѣй, холоднѣй и непривѣтнѣе. Одинъ только солдатъ полицейскій время отъ времени отмыкалъ свою форточку и наблюдалъ, чѣмъ занимается арестантка. Часовъ около семи вечера, когда совсѣмъ уже стемнѣло, онъ принесъ ночникъ, распространившій новую вонь отъ свой копоти и дряннаго деревяннаго масла, и затѣмъ, на всю уже ночь, до утра, замкнулъ на ключъ, секретную камеру.

Бероева кое-какъ застлала своимъ салопомъ грязную подстилку съ изголовьемъ и, не раздѣваясь, легла на свое скрыпучее, арестантское ложе, тщетно стараясь какъ-нибудь забыться.

Воцарилась опять мертвая тишина и глухое молчаніе. Только изрѣдка потрескивалъ нагорѣлый ночникъ, а въ окно мелкій, зимній дождь барабанилъ; петербургскій вѣтеръ иногда съ какимъ-то стономъ завывалъ въ трубѣ, да крысы бѣгали по полу и отчетливо грызли зубами половицу... Въ камерѣ сдѣлалось холодно и сыро.

Среди ночи тревожно раздались вдругъ частые удары колокола и поднялся шумъ на съѣзжемъ дворѣ. Въ тишинѣ камеры ясно

донесся до нея торопливый говоръ людей, понуканья, возгласы и конскій топотъ, затѣмъ, черезъ какія-нибудь пять минутъ, тяжелый грохотъ многочисленныхъ колесъ, затихавшій мало по малу въ отдаленіи — и все опять смолкло.

Бероева заглянула съ постели въ свое окошко, подняла вверхъ глаза и увидѣла въ непроницаемой чернотѣ ненастной ночи, какъ на высокой каланчѣ зловѣщіе фонари подымались.

«Пожаръ гдѣ-то въ городѣ», подумала она: «можетъ быть, въ нашемъ домѣ... можетъ, мои дѣти горятъ»...

И душа ея сжалась мучительной, смертельной тоскою, а фантазія неотвязно и ясно стала рисовать ужасный кроваво-огненный образъ пожара и двухъ ея малютокъ, задыхавшихся въ ѣдкомъ дыму и жаркомъ пламени.

На утро дверь ея тюрьмы отворилась.

— Гдѣ былъ пожаръ? стремительно бросилась она къ вошедшему солдату.

— На охтѣ... амбары, слышно, какіе-то горѣлу, съ обычной апатіей отвѣтствовалъ сторожъ.

— Слава тебѣ Господи! отлегло у нея отъ сердца.

— Эка баба какая, нашла чему радоваться! замѣтилъ про себя полицейскій, покачавъ головою.

Бероева взглянула за дверь—тамъ, въ корридорѣ, стоялъ солдатъ съ ружьемъ и въ каскѣ. Ее повели къ слѣдственному допросу.

XIV

ДѢЛО

о покушеніи на убійство гвардіи корнета князя Шадурскаго женою московскаго почетнаго гражданина Юліею Бероевою

— Вы — Юлія Николаевна Бероева? началъ слѣдователь обычнымъ офиціальнымъ порядкомъ, съ предварительныхъ формальныхъ вопросовъ.

Арестантка подтвердила.

— Ваше званіе? продолжалъ онъ.

— Жена бывшаго студента.

— Это не составляетъ званія. Кто вашъ мужъ — дворянинъ, купецъ или изъ мѣщанъ.

— Изъ почетныхъ гражданъ.

— Хорошо-съ; такъ и запишемъ. На исповѣди и у святого причастія, конечно, бываете... Подъ слѣдствіемъ и судомъ не состояли?

— Нѣтъ.

— Прекрасно-съ. Теперь я, какъ слѣдователь, долженъ васъ предупредить, что чистосердечное раскаяніе преступника и полное его сознаніе смягчаетъ вину, а потому смягчаетъ и степень самаго наказанія. Фактъ вашего покушенія на убійство князя Шадурскаго засвидѣтельствованъ подъ присягою достаточнымъ количествомъ разныхъ лицъ. Я отобралъ уже показанія отъ прислуги ресторана—и показанія ихъ всѣ до одного совершенно сходятся. Потрудитесь, пожалуйста, объяснить, чтó именно побудило васъ рѣшиться на это убійство?

Краска—быть можетъ стыда, быть можетъ оскорбленной гордости—выступила на лицо Бероевой.

Въ это время кошачьей, мягкой походочкой, приглаживая височки рыженькаго паричка и уснащая физіономію улыбочкой самаго благодушно-богобоязненнаго и сладостнаго свойства, вступилъ въ камеру Поліевктъ Харлампіевичъ Хлѣбонасущенскій. Сіяющій Станиславъ украшалъ его шею, а медалька «да непостыдимся» съ двадцатилѣтнимъ безпорочіемъ—бортъ его синяго фрака; спина его изображала согбеніе самаго пріятнаго свойства — согбеніе, въ которомъ, однако, кромѣ нѣсколько почтительной пріятности, сказывалась еще и подобающая его лѣтамъ солидность, вмѣстѣ съ соотвѣтственнымъ званію и рангу чувствомъ собственнаго достоинства. Онъ очень любезно, какъ знакомому, протянулъ руку слѣдователю, и обратился къ нему съ любезнымъ же ослабленіемъ:

— Вы, кажется, ужь начали допросъ подсудимой? Извините, что имѣлъ неосторожность прервать... Продолжайте — я вамъ не мѣшаю.

Слѣдователь довольно сухо кивнулъ ему головою изъ-за кипы бумагъ, а Поліевктъ Харлампіевичъ усѣлся на стулѣ и приготовился слушать. Онъ еще вчерашній день явился въ слѣдственное отдѣленіе съ поклонами о позволеніи присутствовать при производствѣ дѣла.

— Потому его сіятельство князь Шадурскій, по тяжкой болѣзни своей, очень желаютъ знать ходъ причинъ и обстоятельствъ.

Слѣдователь поморщился, но отвѣтилъ:

— Какъ вамъ угодно.

Бероева собралась съ мыслями, призвала на помощь весь запасъ своихъ силъ и воли, и начала обстоятельный разсказъ о происшествіи. Она не забыла ни визита генеральши фон-Шпильце, явившейся въ образѣ эксцентрической любительницы брильянтовъ, ни своего посѣщенія къ ней на другой день, ни угощенія кофеемъ, ни внезапнаго появленія молодого князя, ни своего страннаго припадка, слѣдствіемъ котораго была беременность.

— Это все очень заманчиво и занимательно, ввернулъ свое словцо Поліевктъ Харлампіевичъ, съ обычно-пріятнымъ осклабленіемъ:— но юридическія дѣла требуютъ точности. Вы можете подтвердить чѣмъ-нибудь справедливость своихъ показаній? у васъ есть факты, на основаніи коихъ вы живописуете намъ?

— У меня есть ребёнокъ отъ князя, застѣнчиво, но твердо отвѣчала арестантка.

— Хе-хе... ребёнокъ... Но гдѣ же доказательства, что это ребёнокъ ихъ сіятельства? И гдѣ же онъ у васъ находится?

— Это уже, извините, до васъ не касается, сухо обратился къ нему слѣдователь.—Вы можете, пожалуй, наблюдать, сколько вамъ угодно, за правильнымъ ходомъ дѣла; но предлагать вопросы предоставьте мнѣ. Показаніе это слишкомъ важно, и потому извините, если я васъ попрошу на время удалиться изъ этой комнаты.

Поліевктъ Харлампіевичъ закусилъ губу и окислилъ физіономію, однако—дѣлать нечего—постарался скорчить улыбочку и, несолоно похлебавши, съ сокрушеннымъ вздохомъ вышелъ въ смежную горницу.

Бероева сообщила адресъ акушерки, который тотчасъ же и былъ записанъ въ показаніе.

— Кромѣ повивальной бабки зналъ еще кто-нибудь о вашей беременности? спросилъ ее слѣдователь.

Подсудимая подумала и отвѣтила:

— Никто. Я отъ всѣхъ скрывала это.

— Какія причины побудили васъ скрывать даже отъ мужа, если вы—какъ видно изъ вашего показанія — были убѣждены, что обстоятельство это есть слѣдствіе обмана и насилія!

Бероева смутились. Какъ, въ самомъ дѣлѣ, какими словами, какимъ языкомъ передать въ сухомъ и краткомъ офиціальномъ актѣ, вполнѣ вѣрно и отчетливо всѣ тѣ тонкія, неуловимыя побужденія душевныя, тотъ женскій стыдъ, ту невольную боязнь за подрывъ своего семейнаго счастія и спокойствія, однимъ словомъ все то, что побудило ее скрыть отъ всѣхъ обстоятельства беременности и родовъ? Она и сама-то себѣ едва-ли бы могла съ точностью опредѣлить словами всѣ эти побужденія, потому что она ихъ только чувствовала, а не называла. Однако, несмотря на это, Бероева все-таки, по возможности, постаралась высказать эти причины. Обстоятельство съ нашей формальной, юридической стороны, являлось темнымъ, бездоказательнымъ и едва-ли могло служить въ ея пользу.

— Вы хорошо были знакомы съ княземъ? продолжалъ слѣдственный приставъ.

— Нѣтъ, я его видѣла всего только три раза, отвѣтила арестантка: — въ первый разъ на вечерѣ, гдѣ мнѣ его представили, потомъ у генеральши и наконецъ, въ маскарадѣ.

— Вы говорите, что написали ему анонимное письмо по совѣту акушерки?

— Да по ея совѣту.

— Хорошо, такъ мы и запишемъ. Если показаніе подтвердится, то обстоятельство это можетъ отчасти послужить потомъ въ вашу пользу.

Затѣмъ слѣдователь перевернулъ нѣсколько листковъ изъ дѣла, прочелъ какую-то сѣрую четвертушку и снова обратился къ подсудимой:

— Медицинское свидѣтельство говоритъ, началъ онъ, держа передъ собою бумагу:—что нанесены двѣ довольно глубокія раны:

одна въ горло съ лѣвой стороны, на полдюйма лѣвѣе отъ сонной артеріи; другая—въ грудь, непосредственно подъ лѣвой ключицею, глубиною около трехъ-четвертей дюйма. Точно ли вы нанесли эти раны, какъ показываютъ свидѣтели, нашедшіе васъ съ вилкою въ рукѣ?

Бероева слегка поблѣднѣла и выпрямилась. Въ ея глазахъ на мгновеніе мелькнулъ отблескъ гордаго достоинства женщины.

— Да, это правда! съ необыкновенной твердостью проговорила она:—я не отрекаюсь, я дѣйствительно хотѣла его убить — я защищалась отъ новаго насилія.

Слѣдственное дознаніе было все сполна прочтено Бероевой, которая каждый отвѣтъ по предложеннымъ вопроснымъ пунктамъ скрѣпила своею подписью, и затѣмъ ее снова увели въ секретную подъ военнымъ конвоемъ.

Поліевктъ Харлампіевичъ, откланявшись слѣдователю, проскользнулъ въ смежную горницу, гдѣ работали вольнонаемные писцы съ «короннымъ» письмоводителемъ, и проходя мимо стола того субъекта, которому только-что сдано было на руки «для подшитія» дѣло Бероевой, незамѣтно, но многозначительно мигнулъ ему глазкомъ на прихожую.

Субъектъ заглянулъ въ комнату слѣдователя, и видитъ — что тотъ прилежно занялся-себѣ другими спѣшными дѣлами. Вслѣдствіе этого субъектъ потянулся и воздыхнулъ, словно бы отъ тяжкой усталости, вынулъ изъ кармана папироску и прошмыгнулъ на цыпочкахъ, съ рессорнымъ качаніемъ въ корпусѣ, за дверь слѣдственной камеры, сказавъ мимоходомъ письмоводителю:

— Покурить пойду.

Дока-письмоводитель только ухмыльнулся, да головой мотнулъ: «понимаемъ, молъ!» И точно, онъ понималъ, потому былъ жареный и пареный человѣкъ, прошедшій огнь и воду и мѣдныя трубы и, по чистой совѣсти, съ гордостію могъ бы назваться «пройдисвѣтомъ».

Субъектъ вслѣдъ за Поліевктомъ Харлампіевичъ вышелъ на лѣстницу.

— Вы, милый мой, доставьте мнѣ нужную справочку, началъ

,послѣдній, пожимая руку субъекта, которая ощутила на своей ладони прикосновеніе свернутой государственной депозитки.

— Какую прикажите-съ? поклонился субъектъ въ любезно-благодарственномъ родѣ.

— Адресъ акушерки, что̀ показывала Бероева.

— Это могу! И всегда готовъ съ моимъ усердіемъ...

— Да только поскорѣе! Нынче же, какъ кончится присутствіе, такъ прямо ко мнѣ и бѣгите. Вотъ вамъ моя карточка: тутъ мѣсто жительства обозначено. А я ужь вамъ буду *еще* благодаренъ.

— Будьте безъ сумлѣнія-съ! успокоилъ субъектъ: — потому я людскую благодарность очень сердцемъ своимъ цѣню и завсегда понимаю... До свиданья-съ!

И къ пяти часамъ въ бумажникѣ Поліевкта Харлампіевича уже покоился адресъ акушерки, а въ карманѣ субъекта лежала новая синенькая бумажка, въ придачу къ таковой же утрешней.

XV

Семейная горесть и общее сочувствіе

Княгиня Татьяна Львовна Шадурская разъигрывала роль нѣжной, любящей матери, и потому считала нужнымъ раза три въ день просиживать по часу и даже болѣе у изголовья своего сына. Она, по случаю трагическаго происшествія, уже второй день сряду облекала себя въ черное бархатное платье — какъ извѣстно, привилегированный цвѣтъ унынія и печали — и находила, что черный бархатъ къ ней необыкновенно идетъ, сообщая собою всей фигурѣ ея нѣчто печально-грандіозное, и втайнѣ весьма сожалѣла о томъ только, что возлюбленный рыцарь ея сердца, Владиславъ Карозичъ (Бодлевскій тожь) лишенъ возможности восхищаться ею въ этомъ нарядѣ, который столь гармонировалъ съ унылой блѣдностью лица блекнущей красавицы. Блѣдность же она устраивала тѣмъ, что въ эти два дня румянъ вовсе не употребляла, ограничась одною пудрой и очень тонкими, дорогими бѣлилами. Она находила, что особенно интересна въ то время, когда, облокотясь на ручку кресла, съ такой необычайной нѣжностью и скорбью устремляла томный взоръ свой на лежа-

щаго сына, не забывая почти ежеминутно, съ подобающей граціей подносить изящный флаконъ съ освѣжающимъ спиртомъ къ обѣимъ ноздрямъ своего аристократическаго носа. Княгиня, кромѣ шутокъ, любовалась собою въ этой новой для нея роли скорбящей матери, хотя, въ сущности-то, скорбѣть было вовсе не о чемъ, потому что раны князя не представляли никакой опасности ни для его жизни, ни даже для его дальнѣйшаго здоровья. Онъ бы весьма удобно могъ и не лежать, но — лежанье его входило въ тонкія, юридическія соображенія Поліевкта Харлампіевича, и потому надлежало безпрекословно покориться сему тягостному искусу. Князь Владиміръ даже и въ первую минуту катастрофы былъ вовсе не на столько слабъ и боленъ, какъ это казалось окружающимъ и ему самому: онъ просто-на-просто струсилъ и перепугался; а трусость, соединенная съ этимъ внезапнымъ испугомъ и подкрѣпленная винными парами, въ конецъ разстроила его изнѣженные нервы. Князь и вообразилъ, что онъ очень опасно раненъ и еще опаснѣе боленъ. Старый Шадурскій, нашъ разслабленный гаменъ, ради конвенабельности, тоже присутствовалъ порою у постели сына, особенно въ то время, когда пріѣзжали навѣщать его и освѣдомляться о «катастрофѣ» разныя особы обоего пола. Княгиня внушила гамену, что онъ долженъ казаться опечаленнымъ отцомъ, и гаменъ точно, во время этихъ визитовъ, добросовѣстно старался казаться таковымъ, и вставляя въ глазъ свое стеклышко, кисло взиралъ сквозь него на больного, уныло покачивая головою.

Quelle grande malheur, quelle catastrophe tragique! въ минорномъ тонѣ восклицали навѣщавшія особы. — Скажите, Бога-ради, какъ это все случилось?

— Не понимаемъ! печально пожимала плечами интересная въ своемъ горѣ княгиня. Гаменъ тоже пожималъ плечами, по примѣру супруги, и тотчасъ же вбрасывалъ въ глазъ свое стеклышко. Молодой князь, съ своей стороны, въ качествѣ тяжко больного, предпочиталъ въ этихъ случаяхъ полное молчаніе, предоставляя полк краснорѣчія либо матушкѣ, либо—въ ея отсутствіе—Поліевкту Харлампіевичу.

— Не понимаемъ! говорила княгиня: — анонимное приглашеніе въ маскарадъ... какая-то женщина... Богъ-знаетъ, какая она и кто

она!... Онъ такъ опрометчивъ, молодъ... маскарадная интрига... поѣхалъ съ нею ужинать куда-то—и вдругъ она вонзила ему вилку...

Въ этомъ мѣстѣ разсказа, на глазахъ княгини обыкновенно навертывались материнскія слезы и она спѣшила поднести флаконъ къ своему носу.

Посѣтители прилично вытягивали физіопоміи и вмѣстѣ съ гаменомъ сочувственно качали головами.

— Для чего же это сдѣлано? съ какою цѣлью? вопрошали они.

И въ этомъ случаѣ, по большей части, дальнѣйшимъ коментаторомъ являлся Поліевктъ Харлампіевичъ. Онъ съ большою обстоятельностью разсказывалъ все событіе и приводилъ дальнѣйшее объясненіе на предложенные вопросы.

— Цѣль очень ясна, почтительнѣйше докладывалъ онъ: — эта женщина — жена какого-то мѣщанина, что ли, принадлежитъ, по всѣмъ вѣроятіямъ, къ извѣстной категоріи: акула-съ, какъ есть акула алчная!... Разыграла все это затѣмъ, чтобы сорвать съ ихъ сіятельства изрядную сумму, будто бы за свое безчестіе по поводу мнимаго насилія... Насиліе!... Развѣ насильно при всей публикѣ поѣдетъ кто-нибудь изъ маскарада ужинать въ ресторацію?... А анонимное посланіе ея тоже должно быть насиліе? Помилуйте-съ!— Возмутительный фактъ, который слѣдовало бы въ настоящее время благодѣтельной гласности по всѣмъ журналамъ предать... Теперь слѣдствіе идетъ, надо будетъ на одну доску съ этой женщиной становиться! И такъ, можно сказать, оскорблены какою-то тварью честь и достоинство имени ихъ сіятельства, гербъ оскорбленъ! За это—Сибирь-съ и кандалы, по закону!... Вѣдь бѣдный князь теперь, такъ-сказать, жертва, мученикъ неповинный!...

И въ этомъ убѣдительномъ родѣ катился дальнѣйшій потокъ краснорѣчія Поліевкта Харлампіевича, сладостные глазки котораго тоже подчасъ увлажнялись слезою искренно преданнаго и чувствительнаго сердца.

Посѣтители разъѣзжались въ благородномъ негодованіи и развозили по городу толки о «катастрофѣ» съ коментаріями во вкусѣ Хлѣбонасущенскаго. Нѣкоторые, впрочемъ, какъ водится всегда, не могли обойтись и безъ злословія: говорили съ ироническими улыбками о силѣ побѣдителя женскихъ сердецъ, котораго побѣдила вил-

кой какая-то маска; но вообще князь Владиміръ гораздо болѣе обыкновеннаго обратилъ теперь на себя общее вниманіе; о немъ заговорили всѣ, и барыни, и камеліи, всѣ немедленно признали его очень интереснымъ, сочувствовали его положенію и находили самое происшествіе весьма трогательнымъ, ужаснымъ и романическимъ. Вся пучина презрѣнія, порицаній и самыхъ безобразныхъ толковъ съ отвратительными заключеніями, въ великосвѣтскомъ и demi-mond'номъ приговорѣ выпадала, конечно, на исключительную долю *какой-то* госпожи Бероевой.

XVI

Фамильная честь затронута

Послѣ допроса Бероевой, Поліевктъ Харлампіевичъ вернулся прямо къ княгинѣ, весьма смущенный и озабоченный. Княгиня только-что проводила нѣсколькихъ посѣтителей, и потому пока еще находилась въ комнатѣ сына, вмѣстѣ съ разслабленнымъ гаменомъ.

— Ну, что? какія вѣсти? подняла она томные взоры на вошедшаго.

— Недоброкачественныя, матушка ваше сіятельство, недоброкачественныя-съ! кисло сообщилъ Хлѣбонасущенскій. — Надо поговорить серьёзно, посовѣтываться всѣмъ вкупѣ, съ откровенностію... Я, ужь извините, распорядился, пока что, до времени, никого не принимать изъ постороннихъ.

— Что́ же такое? что́ тамъ еще, Бога-ради! говорите скорѣе! встревожилась Татьяна Львовна.

Молодой князь весьма бодро и быстро поднялся со своей подушки, вовсе несоотвѣтственно положенію тяжко больного.

— Да вотъ что-съ! съ нѣкоторымъ затрудненіемъ отъ щекотливости предстоящаго разговора началъ Хлѣбонасущенскій, откашлявшись и потирая руки: — тварь-то вѣдь эта показываетъ, будто у нея имѣется плодъ преступной любви, и будто виновникъ плода-то — ихъ сіятельство...

— Какъ-такъ?! изумилась опѣшенная княгиня.

— Не могу доподлинно знать, а только она показываетъ это очень настойчиво, отвѣтствовалъ почтенный адвокатъ и ходатай.—Указываетъ даже мѣсто жительство той акушерки, у которой этотъ плодъ хранится на воспитаніи.

Молодой Шадурскій измѣнился въ лицѣ.

— Ежели оно истинная правда, продолжалъ Хлѣбонасущенскій:— то дѣло можетъ принять весьма зловредный оборотъ касательно личности и чести ихъ сіятельства, потому живая улика на лицо, опять же буде акушерка покажетъ соотвѣтственное, то на ихъ сіятельство непремѣнно ляжетъ юридическая тѣнь подозрѣнія... Это можетъ повредить карьерѣ и гербу...

И вслѣдъ за этимъ вступленіемъ, Поліевктъ Харлампіевичъ передалъ всю главную сущность показаній Бероевой.

Мать и сынъ остались подъ сильнымъ впечатлѣніемъ этого разсказа; княгиню онъ даже вконецъ поразилъ своею новостью; одинъ только старый гаменъ, какъ ни въ чемъ не бывало, вставилъ въ глазъ стеклышко, и какъ-то старчески облизываясь, спросилъ съ улыбкой плюгаваго сатира:

— Et dites donc, est-elle jolie? Хороша она собою?

Но на его неумѣстный вопросъ даже и Хлѣбонасущенскій не обратилъ въ эту минуту достодолжнаго вниманія, а княгиня смѣрила гамена своимъ строгимъ и холоднымъ взглядомъ.

— Я ужъ тамъ подмазалъ кой-какія колёса; мнѣ сегодня же сообщатъ адресъ акушерки, съ хитростнымъ подмигиваніемъ сообщилъ Хлѣбонасущенскій:—ужъ вы, значитъ, ваше сіятельство, для ясности дѣла, признайтесь-ка мнѣ, какъ-бы отцу духовному, правду ли она показываетъ-то? было у васъ такое дѣло, или не было?

— Было, нехотя процѣдилъ сквозь зубы Шадурскій и тотчасъ повернулся лицомъ къ стѣнѣ, чтобы не встрѣтиться съ глазами матери и управляющаго. Въ эту минуту, вмѣстѣ съ сдѣланнымъ сознаніемъ, въ немъ заговорилъ слабый отголосокъ совѣсти.

Надолго ли только?

— Ну, стало-быть, все отмѣнно хорошо теперь! самодовольно потирая руки, заключилъ ходатай: — ужъ вы, значитъ, ваше сіятельство, на очной ставкѣ съ Бероевой говорите на всѣ ея улики, что знать ничего не знаете и никогда никакой интриги съ ней не

имѣли; а остальное — въ руцѣ Божіей! Надо надѣяться и не унывать, а мы ужь механику нашу подведемъ! будьте благонадежны-съ!

Шадурскій ничего не отвѣтилъ, а княгиня позвала Хлѣбонасущенскаго и вышла вмѣстѣ съ нимъ изъ комнаты.

— Послушайте, мой милый, начала она ласково, но серьёзно:— вы понимаете сами, какое это дѣло... кончайте его, не жалѣя денегъ—мы ужь вамъ отдадимъ... Тутъ фамильняя честь затронута.

— Ужь будьте благонадежны-съ, матушка ваше сіятельство! повторилъ ходатай, чередуя поклоны съ улыбками: — Поліевктъ Хлѣбонасущенскій недаромъ ужь по этой части мудрецомъ у самыхъ опытныхъ юристовъ слыветъ! будьте благонадежны!

— Вольдемаръ!... что жь, она хороша собою?... а?... Quel est le genre de sa beauté, blonde ou brune? разскажи-ка ты мнѣ, пожалуйста! приставалъ межъ тѣмъ гаменъ къ своему сыну, шаловливо поигрывая своимъ стеклышкомъ.

Но Вольдемаръ не почелъ за нужное отвѣчать ему что-либо и, лицомъ къ стѣнѣ, лежалъ все въ прежнемъ положеніи.

XVII

Дѣльце почти обдѣлано

Отпустивъ отъ себя, съ надбавочной пятирублевой благодарностью субъекта, принесшаго адресъ акушерки, Поліевктъ Харлампіевичъ тотчасъ же было-приказалъ закладывать въ пролетку пару своихъ рыженькихъ шведокъ; но тутъ же одумался и отмѣнилъ это приказанье. «На грѣхъ мастера нѣтъ, сообразилъ онъ съ присущей ему предусмотрительностью: — еще, пожалуй, кто нибудь замѣтитъ, что пріѣзжалъ, молъ, на своихъ лошадяхъ, да какъ, да что, и зачѣмъ пріѣзжалъ? да потомъ какъ-нибудь лишнюю закорюку въ показанія того-гляди влѣпитъ!... Все-таки оно сомнѣніемъ называется—а лучше на извощикѣ поѣду». И точно, уложивъ въ бумажникъ полновѣсную пачку ассигнацій и застегнувъ съ аккуратностью на всѣ пуговицы свой синій фракъ и пальто, онъ взялъ на улицѣ перваго попавшагося ваньку и отправился по данному адресу.

— Я имѣю къ вамъ нѣкоторое порученіе отъ госпожи Бероевой, началъ Хлѣбонасущенскій, оставшись наединѣ съ акушеркой, въ ея гостиной: — мы одни, кажется?.,. можно говорить спокойно?...

— Совершенно одни; здѣсь никто не услышитъ.— И она вплотную приперла обѣ двери въ комнатѣ. — Вы это насчетъ чего же?

— А насчетъ того обстоятельства, которое вамъ извѣстно...

— То-есть что-же, именно?

«Эге! да ты, матушка, видно себѣ-наумѣ!» подумалъ Хлѣбонасущенскій: «надо полагать, нашего поля ягода, старый воробей».

— Именно, насчетъ ребёнка, отвѣтилъ онъ, наблюдая косвенно, какое впечатлѣніе производятъ на нее эти слова. Но дѣйствіе словъ никакими внѣшними признаками не обнаружилось.

— Что̀ же такое на счетъ ребёнка? уклончиво спросила акушерка, которая думала: «ужь не подсылъ ли отъ мужа?»

— А вотъ... касательно дальнѣйшаго обезпеченія жизни и воспитанія, пояснилъ Хлѣбонасущенскій.

— Вы, стало-быть, родственникъ?

— Нѣтъ-съ, но... я посредникъ въ этомъ дѣлѣ, беру участіе, потому мнѣ поручено... Вѣдь госпожа Бероева, какъ вамъ очень хорошо извѣстно, не имѣетъ средствъ сама платить за воспитаніе.

— Ну, такъ что̀ же?

— Такъ вотъ... эту заботу принимаетъ на себя одно лицо... которое поручило собственно мнѣ это дѣло и уполномочило переговорить съ вами...

— Стало-быть, вы хотите, чтобы я взяла на себя воспитаніе?

— Да, чтобы его продолжали, такъ-какъ онъ ужь находится у васъ, и такъ-какъ въ этомъ дѣлѣ необходимо сохранить полнѣйшее инкогнито.

Хлѣбонасущенскій полагалъ, что эти слова заставятъ какъ-нибудь прорваться сдержанную акушерку; но та предпочла полнѣйшее молчаніе.

«Экой кремень-баба» съ досадой помыслилъ онъ въ это мгновеніе: «ничѣмъ-то ее не проберешь, проклятую!»—И вслѣдъ за своей мыслію, продолжалъ дальнѣйшіе подходы:

— Средства ея очень ограничены; вы сами знаете, что она не могла даже уплатить вамъ за послѣднее время, такъ что вы со-

вершенно справедливо отказывались отъ содержанія младенца... Теперь это неудобство устранено, благодаря вашему доброму совѣту, котораго она послушалась.

Кремень-баба увидѣла, что посреднику извѣстны такіе факты и отношенія, какихъ, по всѣмъ логическимъ видимостямъ, не могъ знать мужъ, и потому уразумѣла, что Хлѣбонасущенскій долженъ быть дѣйствительно посредникомъ и повѣреннымъ Бероевой.

— Что жь, если вамъ угодно — я, пожалуй, могу принять на себя воспитаніе, согласилась она.

— Очень обяжете, поклонился Поліевктъ Харлампіевичъ: — только помните, подъ условіемъ строжайшаго инкогнито... нужно какъ можно тщательнѣе скрывать отъ мужа.

— Это ужь конечно, подтвердила акушерка.

— И такъ, если вы согласны, заключилъ онъ: — то я буду имѣть удовольствіе каждый мѣсяцъ, считая съ нынѣшнаго числа, привозить вамъ слѣдующую сумму. Угодно вамъ теперь же получить впредь за мѣсяцъ?

— Съ большимъ удовольствіемъ.

— Сколько прикажете-съ?

— Да такъ, какъ было условлено, двадцать-пять рублей.

«Наконецъ-то прóрвало», подумалъ великій законникъ.

— Потрудитесь получить, прибавилъ онъ вслухъ, вынимая деньги: — да кстати, тамъ есть еще должокъ за госпожею Бероевой, такъ заодно ужь, для очистки, и его прикинемъ! Сколько именно?

— Пятьдесятъ.

— Итого, семьдесятъ-пять рублей. Отмѣнно-съ!... Перечтите и потрудитесь выдать мнѣ росписочку въ полученіи. Оно, въ сущности, можно бы и безъ этого, но мнѣ собственно для бóльшаго удостовѣренія того лица, которое...

— Извольте, я напишу, согласилась акушерка, и тутъ же настрочила все, что потребовалось, подъ диктовку Хлѣбонасущенскаго.

— Могу я поглядѣть младенца? любезно спросилъ онъ, пряча въ карманъ «документъ».

— Отчего же, сколько угодно. — И она крикнула въ дверь: — Дарья, принеси ребенка!

Среднихъ лѣтъ служанка, по типу лица — очевидно, жидовка, внесла на рукахъ спелёнатаго мальчика.

Хлѣбонасущенскій поглядѣлъ на него съ невинно-нѣжной улыбкой, даже слегка пощекоталъ мизинцемъ по щечкѣ, пролепетавъ при этомъ: «у, ти, дусинька какой, калапузикъ!» и отпустилъ съ Богомъ жидовку.

Едва затворилась дверь, какъ великій юристъ и ходатай измѣнилъ свою позу, свою улыбку, все выраженіе лица и началъ строго-холоднымъ, офиціальнымъ и даже отчасти злорадно-торжествующимъ и инквизиторскимъ тономъ:

— Ну-съ, теперь, когда я лично удостовѣрился въ тайномъ нахожденіи у васъ незаконнорожденнаго ребенка госпожи Бероевой, въ чемъ у меня даже и форменный документъ имѣется, гдѣ вы особо росписались въ полученіи долга за прошлое время, я вамъ долженъ сообщить, что госпожа Бероева — уголовная преступница, и теперь находится подъ судомъ и слѣдствіемъ въ тюрьмѣ.

Эта неожиданная перемѣна тона и еще болѣе неожиданное сообщеніе произвели такой эфектъ, что кремень-баба измѣнилась въ лицѣ, и почувствовавъ, какъ подкашиваются у нея ноги, опустилась на кресло.

Передъ нею круто выпрямясь стоялъ и строго глядѣлъ въ упоръ торжествующій практикъ.

— Госпожа Бероева, продолжалъ онъ въ томъ же родѣ: — сдѣлала покушеніе на жизнь князя Шадурскаго, ее схватили на мѣстѣ преступленія; и вотъ, она не далѣе какъ сегодняшнаго числа объявила, что задумала преступленіе по вашему совѣту и наущенію, что вы первая подали ей мысль написать къ князю анонимное письмо. А знаете ли, чѣмъ это пахнетъ?

— Господи-Боже мой!... да что же я-то тутъ?... я вѣдь ни при чемъ, заговорила огорошенная женщина.

— Нѣтъ-съ, извините, при чемъ! и даже очень при чемъ! Вы, ни болѣе, ни менѣе, какъ сообщница убійцы; и вы не отвертитесь, потому у меня въ карманѣ доказательство сообщества — ваша росписка. Вы уже тѣмъ прикосновенны къ дѣлу, что тайно приняли въ себѣ родильницу, тайно оставили у себя ея незаконный и преступный плодъ, вы—потворщица гибельнаго разврата; а все это — позвольте вамъ сообщить—пахнетъ лишеніемъ всѣхъ правъ состоянія и ссылкой въ Сибирь, въ каторжныя работы.

— Ну, до Сибири-то еще сколько-то тамъ тысячъ верстъ считается! возразила кой-какъ собравшаяся съ мыслями кремень-баба:— оно нѣсколько далеко!... А я что́ жь?... я ничего!... и никакихъ совѣтовъ не давала, а только по своей добротѣ душевной дала ей пріютъ... Опять же, по христіанству, я никакой роцильницѣ въ помощи отказать не могу, на то я и бабушкой называюсь... Стало-быть, я тутъ ни при чемъ-таки.

—А все-таки она васъ въ дѣло запутала—и дѣло-то скверное, смягчилъ нѣсколько тонъ Поліевктъ Харлампіевичъ:—пойдутъ таскать по судамъ да слѣдствіямъ, да по полиціямъ; оно — гляди — и станетъ въ копѣйку... Да еще, пожалуй, въ подозрѣніи оставятъ. А скандалъ-то, скандалъ! вѣдь это разойдется по городу, вы на-много практики своей лишитесь, а это ужь и сколь невкусно!...

Кремень-баба призадумалась: въ послѣднихъ словахъ ея нежданнаго гостя была-таки существенная доля справедливости.

— Это, пожалуй, что и такъ, подтвердила она въ раздумьѣ:— да что́ жь съ этимъ дѣлать-то!

— А вотъ въ томъ-то и штука, что́ дѣлать-то!... подхватилъ еще болѣе умягченный Хлѣбонасущенскій:—я знаю, что̀ нужно дѣлать тутъ; а вы вотъ хоть и куды какая дока тоже по своимъ частямъ, а не знаете!... То́-то оно и есть!...

— Да вамъ-то что до этого! чего вамъ нужно? зачѣмъ вы явились ко мнѣ? что это за роли вы разыгриваете? взъѣлась акушерка, придя наконецъ въ сильную досаду.

Поліевктъ Харлампіевичъ, какъ ни въ чемъ ни бывало, улыбнулся и многозначительно потеръ свои ручки.

— Хе-хе... милая барыня!... въ ярость пришли... а вы не яритесь: это я только съ разныхъ сторонъ ощупывалъ васъ, испытать желалъ, съ кѣмъ то-есть дѣло имѣю — ну, и проникъ теперь всю вашу суть... Вѣдь вы дока, барыня, какъ я вижу, ухъ, какая дока!... Ну, такъ давайте-ка говорить всерьёзъ! Хотите вы хорошія деньги получить?

— Кто жь отъ денегъ прочь! ухмыльнулась милая барыня.

— Ну, конечно никто, въ комъ мозговъ хоть на золотникъ имѣется! скрѣпилъ Хлѣбонасущенскій. — Такъ вотъ въ чемъ дѣло! продолжалъ онъ:—это госпожа точно—оговорила васъ и запутала; вы

это сами увидите черезъ день-два на дѣлѣ. Стойте вы на одномъ: что и знать-то ее не знаете, и въ глаза никогда невидали, и дѣлъ съ ней никакихъ не имѣли, и ребёнка у васъ никогда нѣтъ и не было! чѣмъ бы ни уличала она—отвѣчайте одно: вздоръ, ложь, оговоръ, ничего не знаю, ни къ чему непричастна!—Понимаете?

— Какъ не понять!... Только что̀ жь изъ этого?

— А то, что извольте получить теперь три радужныхъ, да еще одну—на прислугу вашу, съ тѣмъ, чтобы вы внушили прислугѣ-то: пускай то же самое говоритъ, что и вы — понимаете? объяснилъ Поліевктъ Харлампіевичъ, вынимая изъ толстаго бумажника четыре сотенныхъ. — Въ этихъ ужь я росписки не потребую, продолжалъ онъ съ величайшей любезностью:—потому онѣ только въ задатокъ идутъ, а буде исполните удачно мое порученіе, то и вновь получить имѣете!... Ну, что̀, теперь питаете еще все такую же симпатію къ Бероевой? шутя подмигнулъ Хлѣбопасущенскій.

— Какая тамъ симпатія? много ихъ таковскихъ-то! подхватила милая барыня, вконецъ очарованная двоякой выгодой: деньгами, и успѣшнымъ выходомъ изъ предстоящаго дѣла.

— Въ прислугѣ-то вы увѣрены? заботливо освѣдомился ходатай.

— Ой, да что̀ прислуга! — въ ней — какъ въ самой себѣ! особенно, если вы впослѣдствіи еще что-нибудь для нея прикинете успокоила акушерка, — А младенца-то, я полагаю, лучше бы было какъ можно скорѣе съ рукъ сбыть, посовѣтывалась она въ заключеніе.

— Всенепремѣнно!... Совсѣмъ долой его, и какъ можно скорѣе!

Затѣмъ, Поліевктъ Харлампіевичъ приступилъ къ подробному и самому обстоятельному обученію — какъ и что̀ говорить противъ всѣхъ показаній Бероевой; а послѣ этой назидательной лекціи, поскакалъ «къ матушкѣ ея сіятельству» съ увѣдомленіемъ, что подкупъ акушерки съ прислугой обошелся якобы въ четыре тысячи рублей серебромъ—просила, дескать, пять, да уторговалъ тысченку, ради выгодъ княжескаго семейства, и что за симъ дальнѣйшее дѣльце, по неизреченной милости Господа, почти совсѣмъ ужь улажено.

XVIII

Еврейская берлога

Въ Петербургѣ нѣтъ и не было офиціально «жидовскаго квартала»: но съ тѣхъ поръ, какъ евреямъ дозволено селиться въ столицахъ, они сами по себѣ завели нѣчто въ этомъ родѣ. Центръ еврейскаго населенія въ Петербургѣ—какъ мы уже говорили гораздо раньше—представляютъ Подъяческія улицы, Садовая—отъ Кокушкина переулка до Никольскаго рынка — и набережная Екатерининскаго канала, близъ Вознесенской церкви.

Затѣмъ, нѣкоторая часть этого населенія уклонилась отъ своего главнаго центра и перебросилась за Фонтанку, у Обухова моста, по Обухову же проспекту. Тутъ, въ одномъ домѣ она осѣлась такъ прочно, что самое мѣсто, въ средѣ знающихъ людей, получило названіе «еврейскаго двора» или «жидовскаго подворья», подобно тому, какъ подъ Невской Лаврой существуетъ «чухонское подворье» — сборный пунктъ пріѣзжихъ чухонъ и «желтоглазыхъ» [1]), откуда, между прочимъ, можно добывать лучшихъ лошадей-шведокъ, такъ-какъ торговля ими составляетъ спеціальность «чухонскаго подворья».

Въ центрѣ импровизированнаго квартала есть цѣлые дома, сплошь заселенные одними только евреями; ихъ легко отличишь по особенному характеру грязи и запустѣнія: снаружи въ окнахъ—ни шторъ, ни занавѣсокъ, а завѣшиваются они отъ солнца какимъ-нибудь камзоломъ или юбкой, отъ холоду же затыкаются бебехомъ, то-есть подушкой или перинкой дѣтскою. На черныхъ лѣстницахъ и во дворѣ подъ окнами вы почти всегда можете найти въ изобиліи рыбью шелуху, срѣзанную кожицу картофеля и лука, которыя такъ и выкидываются куда ни попало.

Узкая, темная и сильно грязная лѣстница огромнаго и грязнаго же дома, то зигзагами, то спирально вела на чердакъ, выше четвертаго этажа. По этой лѣстницѣ осторожно нащупывала ступени жен-

---

[1]) Ночные зимніе извощики изъ чухонъ—такъ окрестила ихъ своя же братья, извощики православные, у которыхъ это слово, направленное противъ товарища по ремеслу, получаетъ смыслъ брани, весьма презрительнаго и оскорбительнаго свойства.

щина съ ребенкомъ на рукахъ, котораго она кутала въ салопъ доотпопной конструкціи съ длиннымъ капишономъ. Въ настоящее время эти салопы-антики встрѣчаются только у кой-кого изъ кумушекъ-сердобольницъ съ Выборгской стороны, да у бѣдныхъ, заѣзжихъ изъ провинцій евреекъ; но лѣтъ пятнадцать тому назадъ ихъ можно было видѣть еще на многихъ изъ зажиточныхъ купчихъ стараго склада.

Пройдя въ конецъ по темному чердачному корридору, женщина уткнулась наконецъ въ низенькую дверь и постучалась.

— Кто тамъ? возвысился рѣзкій, скрыпучій, «недовольный» голосъ женщины, сопровождавшійся плачемъ и крикомъ ребятъ да ворчаливымъ тараторствомъ взрослыхъ.

За дверью была слышна возня; казалось, что-то прибирали торопливо на скорую руку, какъ-то тревожно шмыгали туфлями, хлопнули крышкой сундука, и наконецъ успокоились. Одинъ только дѣтскій гамъ да пискъ раздавались.

— Да кто же тамъ? съ досадой повторилъ нетерпѣливый женскій голосъ, приближаясь къ двери.

— Свои, откликнулась поеврейски пришедшая женщина.

— Кто свои?—своихъ много тутъ! Назовися!...

— Да я, я—Рахиль! не узнала развѣ?

— Что жь ты молчишь? давно бы сказала! возразила хозяйка, отворивъ ей двери.

— Божья помощь, божья благодать надъ вами! поклонилась пришедшая, не скидавая своего салопа.

— Спасибо, Рахиль... Садись, раздѣвайся...

Боковая дверь въ стѣнѣ, ведущая въ темную и маленькую каморку, чуть-чуть пріотворилась, и изъ нея на половину высунулась озабоченно-внимательная физіономія мужчины, лѣтъ сорока, въ порыжѣлой атласной ермолкѣ и круглыхъ очкахъ на кончикѣ длиннаго, остренькаго носа.

— Божья помощь! снова поклонилась пришедшая, приподнявшись съ убогаго кожанаго стула.

— Ты одна? осторожно спросили круглыя очки.

— Одна, какъ перстъ...

— А никто не шелъ за тобою сзади?

— Никого не видала.

— Ну, то-то!... Сара, запри же дверь на крюкъ! вѣрно, опять позабыла!

Хозяйка досадливо махнула ему рукой—дескать, успокойся, все уже сдѣлано.

Пришедшая спустила съ плечъ свой салопъ, перевела духъ отъ усталости и оглядѣлась.

Это была низкая, чердачная комната, съ закоптѣлою русской печью въ углу, и со скошеннымъ къ серединѣ потолкомъ—сообразно кровельнымъ стропиламъ; комната тѣсная, полутемная, грязная, съ явными признаками неряшливаго безпорядка и бѣдности. Подъ двухстекольнымъ маленькимъ оконцемъ приткнулся кое-какъ столъ, съ одной стороны котораго Сара, болѣзненно-желтолицая, среднихъ лѣтъ женщина, въ какомъ-то подобіи чепца, съ разноцвѣтными слинялыми лентами, поверхъ шелковаго чернаго парика съ противнымъ бѣлымъ швомъ на мѣстѣ пробора — приготовляла къ обѣду какую-то рыбу; а съ другой стороны присѣлъ на табуретъ мальчуганъ лѣтъ десяти, и болтая ногами, съ явнымъ неудовольствіемъ пронзительно монотонилъ въ долбёжку заданный урокъ по засаленной еврейской книгѣ въ древнемъ черномъ переплетѣ. Рядомъ съ нимъ, угрозливо держа наготовѣ розгу, возсѣдала совершенная сова въ образѣ старушечьемъ—почтенная, беззубая, крючконосая бабка этой семьи, съ тупо-старческими свинцовыми глазами, въ волосяномъ парикѣ, затхло-рыжаго цвѣта, надъ которымъ торчали желтые и лиловые банты, въ какихъ-то лохмотьяхъ, вмѣсто одежи—и все время неугомонно ворчала, съ мелочной, затаенно-старческой злостью ворчала то на своего ученика, то на болѣзненно-желчную хозяйку—невѣстку свою, то на полунагихъ замарашекъ-жиденятъ, которые ревѣли, пищали и дрались на полу за право обладанія замученнымъ котенкомъ, валяясь какъ попало по разбросаннымъ вонючимъ бебехамъ. Позеленѣлая мѣдной окисью люстра о семи подсвѣчникахъ, прикрѣпленная посерединѣ сильно закоптѣвшаго потолка, сырость, грязь и нестерпимая вонь чесноку да сырой рыбы дополняли обстановку этой мрачной берлоги. Въ полураскрытую дверь отъ темной каморки было видно, какъ при свѣтѣ сальнаго огарка круглые очки

пересыпали что-то въ родѣ сухой травы съ большого жестяного противня въ маленькіе тюрички изъ бумаги.

— Берко что́ дѣлаетъ? спросила пришедшая, кивнувъ на каморку.

— А что и всегда: чай фабрикуетъ, отвѣчала Сара тѣмъ тономъ, который показывалъ, что занятіе Берки не составляетъ тайны для ея гостьи.

— Капорскій?

— Да, капорка!... Впрочемъ нынче не голый: онъ теперь изъ одного трактира — тутъ по близости — покупаетъ отъ мальчишки спивной чай... Вотъ, и теперь еще сушится на печкѣ... потомъ мѣшаемъ съ капоркой... такъ-то лучше выходитъ, и сбытъ ничего.

— А сбытъ попрежнему, все загородъ?

— За городъ... Маймисты перекупаютъ.

— Помогай богъ, помогай! вздохнула пришедшая и развернула принесеннаго ребёнка.

— Чье это у тебя дитя? спросила хозяйка, не безъ удивленія оглядѣвъ его, потому что пока оно было закрыто салопомъ, Сара полагала, что это — вещи, которыя Рахиль принесла для сбыта, въ качествѣ «темнаго» товара.

— Дитя-то?... христіанское, улыбнулась Рахиль, показывая ребёнка.

— Зачѣмъ оно у тебя?

— Къ вамъ принесла...

— Ой, полно говорить загадки!... у насъ и своего писку довольно... Берко! Берко! стала она кликать своего мужа: — брось копорку! ступай сюда! — Рахиль дитя принесла, говоритъ — христіанское!..

Берко вышелъ изъ своей каморки; старуха-бабушка, не выпуская розги, тоже подошла и злобно наклонилась къ младенцу.

— Христіанское... христіанское... повторяла она, почти безсознательно, хотя все съ тою же брюзгливо-старческой злостью, и разглядывала съ разныхъ сторонъ ребёнка, будто необыкновенную невиданную диковину.

— Зачѣмъ у тебя христіянское дитя? любопытно спросилъ вошедшій Берко.

Маленькіе, чумазые замарашки тоже поднялись съ полу, оставя своего котёнка, почесываясь, обступили пришедшую, словно лисенята, которымъ матка только что принесла въ берлогу на завтракъ вновь украденную курицу.

— Сбыть его надо — мнѣ хозяйка поручила... не поможешь ли? обрататись Рахиль къ еврею.

— Куда же сбыть?... Какъ его сбытъ? изумился Берко, поправляя очки и ермолку.

— Куда-нибудь... все равно... Я не знаю, куда мнѣ съ нимъ теперь?... говорила Рахиль: — хозяйка мнѣ приказала: «какъ хочешь, только чтобъ его не было; сейчасъ же, куда знаешь, неси со двора» — я и понесла... Помоги мнѣ, Берко! Ты разумный человѣкъ, ученый человѣкъ — ты сбудешь!

Берко прицмокнулъ языкомъ и раздумчиво поглядѣлъ въ окно.

— Ты не солгала? строго спросилъ онъ, минуту спустя.

— Ой, боже мой! зачѣмъ я буду лгать?... я прошу, помоги мнѣ!

— Херимъ? еще строже вопросилъ еврей.

— Херимъ! открыто подтвердила женщина.

Берко съ важностью погрозилъ ей пальцемъ:

— Смотри, женщина!... не будь клятвопреступницей!... Херимъ — великое слово, великая клятва!... по закону — смерть за ложную клятву...

— Херимъ, херимъ! съ твердымъ убѣжденіемъ и настойчиво повторила Рахиль.

Берко медленно прошелся по комнатѣ, между разбросанными бебехами и, словно соображая что-то, заложилъ за спину руки.

Сара и сова бабушка внимательно наблюдали каждое его движеніе.

— Хорошо! остановился онъ передъ Рахилью:—посиди здѣсь—я сбуду христіанскаго ребёнка—сейчасъ же сбуду... Сара! подай мой картузъ, да убери лишнее въ каморкѣ.

И Берко, накинувъ на себя, поверхъ длиннаго суконнаго сюртука, коричневую камлотовую шинель, надѣлъ рыжую котиковую

шапку, безсмѣнно служащую ему зиму и лѣто—и вышелъ за дверь квартиры, оставя въ полномъ недоумѣніи касательно своихъ намѣреній все свое семейство и пришедшую гостью.

XIX

Притонъ нищей братіи

На Фонтанкѣ, между Обуховымъ и Измайловскимъ мостами, есть одинъ узкій, кривой переулченко, который тремя неравномѣрными зигзагами выводитъ путника съ набережной на Большую Садовую улицу, какъ разъ напротивъ управы благочинія. Здѣсь когда-то находились дома и бани купца Малкова, отчего и самый переулченко офиціально получилъ названіе Малковскаго. Теперь эти дома давно уже принадлежатъ другимъ владѣльцамъ, но имя переулка напоминаетъ и до сихъ поръ о владѣльцѣ первоначальномъ, который по плану и расположенію своихъ построекъ, быть можетъ, былъ даже и основателемъ его.

Но, во всякомъ случаѣ, это—очень скверный переулченко, и для хожденія въ глухо-ночное время далеко небезопасный, ибо для кармановъ, боковъ и одежды прохожаго можетъ быть весьма убыточенъ. Съ лѣвой стороны его (если идти отъ Фонтанки) во всю длину тянется глухая, заплесневѣло-черная стѣна огромнаго зданія бывшей питейной конторы. Эта безоконная и безворотная стѣна въ устьѣ переулка на Садовую кончается низенькимъ зданіемъ преобширнаго и прегрязнѣйшаго кабака, который, и по наши дни, здравствуетъ вполнѣ благополучно. Съ правой (отъ Фонтаки же) стороны, послѣ бань, весьма непрезентабельнаго вида, тянется древній, расшатавшійся и довольно высокій заборъ, который на серединѣ переулка обрывается воротами и затѣмъ вновь продолжается до угла каменнаго стараго дома, гдѣ лѣпится и громоздится другъ на друга, въ духотѣ, грязи и копоти, густое населеніе рабочаго мастерового люда. Еслибы вы зашли въ ухабистый Малковскій переулокъ и заглянули въ тѣ ворота, что прорѣзали собою старый, покривившійся заборъ, то взорамъ вашимъ представилось бы весьма картинное (безъ шутокъ!) безобразіе. Представьте себѣ трехъэтажный,

разрушающійся домъ на тяжелыхъ, глубокихъ и узкихъ сводахъ, надъ которыми лѣпятся животрепещущія деревянныя галлереи, а за ними видны каменныя лѣстницы, съ обвалившимися перилами въ видѣ точеныхъ деревянныхъ столбиковъ. Какъ еще до сихъ поръ не рухнули эти галерейки и лѣстницы — одинъ Господь только вѣдаетъ! Посрединѣ этого безфасаднаго зданія выдается каменная пристройка, съ очень картинно обвалившейся штукатуркой, и тремя или четырьмя темными, безстекольными оконцами — пристройка, напоминающая собою снаружи нѣчто въ родѣ старой, неуклюжей башеньки. Обокъ съ этой башенькой, подъ низкимъ и глухимъ сводомъ, притаился почти незамѣтно сквозной и узкій коридорчикъ, который есть не что иное, какъ проходецъ на сосѣдніе закоулочные дворы и задворки, гдѣ представляется царство навозу, дровъ, ломаныхъ телегъ и дровней, старыхъ ящиковъ изъ-подъ водки, бочекъ, гнилыхъ досокъ и тому подобнаго хламу. Иныя изъ галерей и балкончиковъ этого странной конструкціи дома сохранили кое-гдѣ сплошныя рамы въ мелкую клѣтку, съ битыми, разнокалиберными стеклами, на другихъ — свободно-гуляющій вѣтеръ пестро колышетъ развѣшанную на протянутыхъ веревкахъ разноцвѣтную домашнюю рухлядь по части бѣлья и носильнаго платья; тутъ и сорочки, и зипуны, и платки ковровые, и юбки ситцевыя, и все, что только можетъ напялить человѣкъ на свои плечи. Въ ясный солнечный день, яркіе лучи необыкновенно живо и тепло освѣщаютъ эти древнія лохмотья, инде сквозь ихъ дыры и прорѣхи проникая на заплѣсневѣлую стѣну, гдѣ, колеблясь, ложатся ярмозолотистыми пятнами.

И вотъ, въ такой-то солнечный день, особенно если это будетъ праздникъ, на эти галлерейки и на дворъ высыпаетъ много народу— сидятъ—себѣ на солнышкѣ да калякуютъ. Тутъ, попреимуществу, сходятся два возраста—старческій и дѣтскій, и все это толчется въ дырявыхъ лохмотьяхъ и пестрыхъ заплатахъ, играя въ орлянку да въ бабки. Средній человѣческій возрастъ по большей части пребываетъ въ трактирахъ: онъ, ради праздника, сбрасываетъ лохмотья, наряжается въ хорошія чуйки и платья и занимается чаепитіемъ, «кофіями» да водочкой помалости балуется. По двору бродятъ тощія собаки, которыя поставляютъ себѣ въ священнѣйшую

обязанность кидаться на каждаго посторонняго, еслибы таковой вздумалъ завернуть во дворъ этого страннаго дома.

Странный домъ, между прочимъ, служитъ притономъ для нищей братіи.

Еслибы наблюдатель взглянулъ на дворъ, со двора подъ навѣсы каменныхъ арокъ да на галлерейки, а оттуда переступилъ за порогъ нищенской квартиры—ему бы во всѣхъ этихъ пунктахъ представились картинки совершенно въ теньеровскомъ вкусѣ.

— Маврушка! старушка ты, красоточка, игриво мѣлетъ коснѣющимъ языкомъ раскраснѣвшійся отъ водки беззубый старичонко, похотливо обнимая и трепля по морщинистой щекѣ сѣдую нищенку, обнажившую отъ лохмотьевъ свою грудь и костлявыя плечи: — я тебя облюбилъ, Маврушка, и завсегда съ нашимъ почтеніемъ оченно тоись облюбилъ, а ты, падалина дохлая, на Слюняя заглядываешься!... а?... не срамно тебѣ это!... нѣтъ?...

— Что̀ мнѣ Слюняй!... невидаль какая!... съ нѣжной истомой и своего рода кокетствомъ цѣдитъ сквозь зубы захмѣлѣвшая старуха: — я соблюдаю себя, чтобы завсегда, какъ была есть и буду... Я, значитъ, вѣрность тоже имѣть желаю... и чувствую, значитъ... (Старуха начинаетъ пьяно всхлипывать и плачетъ) и ты меня не обидь... никогда ты меня не обидь..: а не то̀ наплюю...

— Да!... вѣрность!... бормочетъ малковскій Отелло: — а с ам Слюняю подмигивала... Зачѣмъ за обѣдней шепталась съ нимъ? Не видѣлъ я, что ли!... Это нехорошо... я тебѣ другъ и полюбовникъ есть—такъ ты и понимай это, песья дочка, подлюка!... Цо-цалуемся... Ну!... п-цалуемся же!

— Душенька... миленькій... поднеси шкальчикъ... одинъ только шкальчикъ!... не вяжетъ лыка вконецъ ужь размякшая Дездемона.

И эти безобразныя сцены почти на каждомъ шагу разыгриваются въ странномъ, разрушающемся домѣ.

Вотъ, подъ навѣсомъ, старый солдатъ нещадно лупитъ ремнемъ по спинѣ мальчика и дѣвочку, направляя попеременно то на того, то на другую свои удары. И на пронзительные крики этихъ дѣтей никто не обращаетъ ни малѣйшаго вниманія: они не раздираютъ ничьего уха, не коробятъ ничьихъ нервовъ, не смущаютъ ничьего

сердца — потому каждый занятъ тутъ самъ по себѣ, своимъ дѣломъ, своей подругой, своею бесѣдой пріятной, и своимъ еще болѣе пріятнымъ полуштофомъ. — Старый солдатъ въ полную волю даетъ моціонъ своей расходившейся рукѣ. Самому лѣнь было идти на улицу просить подаянья — «потому праздникъ, всякая тварь, по писанію, отдыхать должна» — онъ и послалъ двухъ сиротъ, доставшихся ему на попеченіе отъ его подруги, что померла въ Калинкинской больницѣ. Показалось ему, съ пьяныхъ глазъ, что дѣти мало принесли подаянья, надо бить ихъ — гачѣмъ мало значитъ — выручили; подозрѣваетъ, что себѣ утаили и добивается, куда и какъ оно утаено.

Безобразная лупка ремнемъ продолжается долго — пока дѣти не упадутъ замертво, пока не устанетъ рука ихъ мучителя. Посмотритъ тогда онъ на ихъ синяки съ кровавыми рубцами, и подумаетъ: «ладно! съ язвами-то, надо полагать, больше творить имъ станутъ милостыню христову — это дѣло, значитъ, намъ на руку!» и пойдетъ заливать водкой остатокъ своей расходившейся злости.

А тамъ вонъ, на кучѣ навоза, подъ опрокинутыми телегами, за грудой пивныхъ ящиковъ, притаились къ бочкѣ двое жалкихъ, болѣзненно-исхудалыхъ существъ и жадно тянутъ водку изъ горлышка косушки, заѣдая ее грошовымъ пряникомъ да паточными леденцами. Это — мальчикъ лѣтъ тринадцати, и дѣвочка лѣтъ десяти. Хозяева ихъ, которымъ онѣ нужны для тѣхъ же цѣлей, какъ и солдату побиваемыя дѣти, напились сегодня пьяны до безчувствія — и этимъ обстоятельствомъ воспользовалась укрывшаяся пара, чтобы украсть у нихъ нѣсколько денегъ и косушку водки. Эти дѣти съ годъ уже какъ сдружились между собою, у нихъ все общее, они — мужъ и жена. И пьяная Дездемона со своимъ Отелло, и побиваемыя мальчикъ съ дѣвочкой, и вся остальная артель очень хорошо знаютъ, что черпавка Катька — полюбовница Гришки косого, и что Гришка косой, вчера напропалую билъ свою Катьку, за то, что та грошъ христорадный отъ него утаила. Но сегодня Гришутка съ Катюшкой въ согласіи живутъ — пойти поглядѣть, нешто, что они тамъ въ бочкѣ-то дѣлаютъ! — И вотъ, человѣкъ шесть, осторожно, на цыпочкахъ подкрадываются къ кучѣ навоза, приманивъ за собою двухъ-трехъ тощихъ собакъ-дворняшекъ.

— Ату ихъ!... Жучка! Арапка!... у-сю-сю!... у-лю-лю! Бери ихъ! рви ихъ!... раздаются вдругъ азартныя восклицанія въ подравшейся кучкѣ: — А, черти! вы тутъ цаловаться!... Глядикося, бабонька, обнимаются!... Ахъ вы, провалъ васъ дери!...

И начинается травля собаками влюбленной пары, сопровождаемая утѣшительнымъ хохотомъ и весельемъ охотниковъ. Гришка косой уже храбро борется въ повалку ногами, руками и зубами съ псомъ Арапкой, проникнувшимъ въ его бочку, а Катюшка успѣла какъ-то выскочить изъ своего тайнаго убѣжища, и съ крикомъ удираетъ по двору — только босыя пятки мелькаютъ — отъ двухъ собакъ, хватающихъ ее за икры да за лохмотья убогой юпчонки, сквозь которую въ огромныхъ прорѣхахъ бѣлѣется ее худенькое дѣтское тѣло.

И эта травля устраивается не потому, чтобы орава нищихъ находила предосудительными отношенія Гришки косого къ Катькѣ-черпавкѣ, а просто ради потѣхи: дай, дескать, помѣшаемъ да потравимъ ихъ маленько, шутки ради; притомъ же и собаки не злыя — такъ только погрозятъ, а чтобы порвать — никогда непорвутъ своего, домашняго человѣка.

И будь на мѣстѣ этой малолѣтней пары дряхлый Отелло со своей беззубой Дездемоной — травля учинилась бы и надъ ними въ точно такихъ же размѣрахъ, и изъ такихъ же побужденій. Но къ чести малковскихъ сердецъ надо прибавить, что ни одна такая потѣха не доходитъ до черезчуръ серьёзныхъ послѣдствій, потому что въ средѣ обитателей страннаго дома, каждый разъ у кого-нибудь возникаетъ горячій протестъ противъ травли, особенно на малолѣтнихъ.

Эти темные закоулки въ чуланчикахъ и сараяхъ, на погребахъ и чердакахъ, подъ телегами, въ бочкахъ за дровами и во всѣхъ подобныхъ мѣстахъ — служатъ, равно и зимой и лѣтомъ, удобнымъ мѣстомъ для дѣлежа затаенныхъ денегъ, и для любовныхъ отношеній нищимъ-малолѣткамъ; а нищіе взрослые пользуются ими съ другою цѣлью: забившись въ такой укромный уголокъ, втайнѣ отъ всѣхъ артельныхъ и постороннихъ глазъ, какая-нибудь баба или солдатъ подпарываетъ тамъ свою жилетку или юбку и зашиваетъ деньги, размѣнявъ ихъ предварительно на асигнаціи.

XX

Жеребья на закладку

Къ этому притону направлялъ свои стопы еврей Берко, тщательно завернувшись въ камлотовую шинель, отъ пронзительной снѣжной завирухи, и нахлобучивъ на глаза неизмѣнную котиковую шапку.

Сопровождаемый лаемъ собакъ поднялся онъ на лѣстницу и вошелъ въ квартиру, гдѣ обитала нищая братія.

Духота жарко натопленной печи, дымъ махорки и паръ отъ ежеминутно растворяемой выходной двери, общая грязь, и сырость, пискъ грудныхъ младенцевъ и руготня бабъ, говоръ мужчинъ и пьяные возгласы — человѣкъ двадцать разнаго народа и всякаго возраста, въ полной безцеремонности, по домашнему, кто какъ попало и въ чемъ попало, штопаютъ, пьютъ, ѣдятъ, спятъ, дерутся, обнимаются, въ карты играютъ — вотъ та картина, которую увидѣлъ вошедшій Берко.

— А гдѣ зе васъ бо́льсій? спросилъ онъ, съ обычно-еврейскимъ гнусливымъ распѣвомъ, остановясь въ дверяхъ.

— Какого тебѣ большаго? старосту, что ли?

Еврей утвердительно покачалъ головою.

— Слюняй! а, Слюняй! Подь къ жиду — тебя кличетъ!...

Косоглазый и криворукій Слюняй лѣниво поднялся съ кровати, на которой, поджавъ подъ себя ноги, игралъ въ кости съ благочестивымъ ходебщикомъ на мнимое построеніе храмовъ.

— Чего тебѣ, гамоно ухо? зачѣмъ мою милость тревожишь? въ шутливо-грозномъ тонѣ подступилъ онъ къ еврею.

— Сэкрэтъ... великій сэкрэтъ, сообщилъ ему Берко, мигнувъ глазами на дверь, за которую тотчасъ же и вышелъ со старостой.

Минутъ черезъ пять они воротились.

— Гей!... артель! на сходку! Полно ругаться! Ходи сюда всѣ, да слушай! возвысилъ голосъ косоглазый Слюняй, становясь посрединѣ комнаты.

Вся братія безпрекословно, тотчасъ же бросила свои занятія, и обступила набольшаго.

— Кто хочетъ младенца купить? Кому младенца надо? предложилъ наибольшій.

— Мнѣ!... Намъ!... Я хочу!... Тёткѣ Маврѣ надо! Аксиньѣ надо!... Матрёшка, ты, кажись, хотѣла?

— Пошто Маврѣ?... Мавра и съ полѣномъ питается...

— У ёй кукла изъ тряпья сверчена—замѣсто живого сходитъ...

— Да!... Ты, лѣшій, знаешь — нужно-ли, нѣтъ-ли! про то мое знатье!

Такого рода возгласы и замѣчанія градомъ посыпались со всѣхъ сторонъ, вслѣдъ за предложеніемъ старосты.

— Цыцъ, народъ! повелительно поднялъ онъ вверхъ свою руку, вытянувъ указательный палецъ: — кому нужно — вались направо, кому нѣтъ — на мѣстѣ стой!...

Пять-шесть бабъ, молодыхъ и дряхлыхъ, отдѣлились на правую сторону.

— Ты, Аксюха, куда это навалилась? обратился къ одной изъ нихъ староста: — у тебя ужь одинъ младенецъ есть вѣдь! — чего жь те еще надо?

— Я другого еще желаю! вступилась за себя старуха.

— Да куды-те съ двумя дѣваться-то!

— Обѣихъ на руки сгребу: одного на правую, другого на лѣвую — такъ и промышляться буду.

— А подаянье, сталъ-быть, зубами пріймать станешь?

— Зубами-ли, другимъ-ли чѣмъ — про то ужь наше дѣло.

— Ну, ладно, по мнѣ — все равно! тягайся, пожалуй, и ты съ другими!... согласился староста, махнувъ на нее рукою, и вслѣдъ затѣмъ провозгласилъ во всеобщее свѣдѣніе:

— Младенецъ мужескій, третій мѣсяцъ идетъ, здоровый, сказываетъ жидъ. Кто можетъ — тягайся, а кто нѣтъ — отступись сейчасъ же — потомъ отступаться ужь не дамъ... Ну — разъ!... отступайся... Два!...

Одна бабёнка, послѣ минутной нерѣшительности, торопливо, но съ неудовольствіемъ отошла въ сторону.

— Три! махнулъ Слюняй: — Сталъ-быть пятеро тягаться будутъ? — ну, ладно, теперь жеребья закладывать! Тащи жеребья на закладку!... сюда!... живо!

Оставшіяся женщины бросились къ своимъ сундукамъ, и поспѣшно закопошились тамъ въ разномъ тряпьѣ и свертках. Всѣ онѣ принесли свои жеребья — какую-нибудь старую копѣйку съ рубцомъ, надкусленнымъ на ней съ помощью зуба, какой-нибудь погнутый грошъ съ особой отмѣтиной — и всѣ эти монетки опустились въ шапку, которую обѣими руками держалъ передъ собою староста. Каждая баба непремѣнно сама, собственноручно клала въ эту шапку принадлежащій ей жеребій.

— Кого желаете въ Соломоны-цари?. . Кто выймать станетъ? Ребёнка, чтó-ли, какого взять?

— Нѣтъ, пущай сегодня слѣпышъ выймаетъ! Слѣпыша желаемъ! Онъ — божескій человѣкъ, честный, потому — незрячій, затараторили тягальщицы.

— Слѣпышъ, такъ слѣпышъ! Ведите сюда Миколу!

Къ шапкѣ подвели слѣпого старика, и онъ, по слову старосты, осторожно сталъ вынимать изъ нея одинъ за другимъ брошенные жеребья. Послѣ каждой вынутой монеты, которую тотчасъ же съ рукъ на руки получала владѣлица, Слюняй непремѣнно встряхивалъ свою шапку.

— Послѣдній чей? вопросилъ онъ, когда на днѣ ужь ничего не осталось.

— Мой! стремительно подступила къ нему обрадованная Мавра— поэтическая Дездемона малковскаго Отелло.

— Ну, сталъ-быть, и робёнокъ твой! порѣшилъ Слюняй, хлопнувъ ее по ладони. — Теперича литки съ тебя на артель надо! Вали на четверть, да ходи получать покупку!

Женщина отдала ему деньги на четверть ведра водки, и мигнувъ своему Отелло, поспѣшно стала одѣваться. Отелло вышелъ вонъ изъ квартиры, а одновременно съ нимъ удалился и староста съ продавцомъ-евреемъ, который въ сѣняхъ вручилъ ему, по условію, обѣщанный во время предварительныхъ переговоровъ процентъ, хотя сумму еще предстояло ему самому получить у себя на квартирѣ, при окончательной отдачѣ ребёнка.

Между тѣмъ, вернувшійся съ чердака Отелло, гдѣ онъ, изъ подпоротой жилетки, доставалъ свои общія съ Маврой деньги, сунулъ ихъ въ руку Дездемонѣ, а та тщательно завязала бумажку въ по-

нецъ платка, и отправилась вмѣстѣ съ Беркой за полученіемъ опкупки,

XXI

Явленіе

Когда Мавра возвратилась домой съ пріобрѣтеннымъ младенцемъ, въ нищенской артели кипѣло разливанное море. Четверть была уже роспита, что́ совершилось необыкновенно быстро, словно бы всю эту артель томила жажда Сахары; малковскаго Отелло общимъ приговоромъ заставили раскошелиться еще на четверть — и хмѣльной старичонко выложилъ до копейки свои послѣднія деньги.

— Ты не тужься, не жмись! ублажали его товарищи: — теперь Маврушка, знаешь ли, какихъ дѣловъ понавертитъ? Прибыль-дѣла̀ пойдутъ, потому теперь младенецъ у васъ—во что!

— Поязвить бы его надо, замѣтилъ старичонка.

— Можно и поязвить, согласились нѣкоторые: — теперича малёшенекъ еще: пущай пока Мавруха и такъ походитъ съ нимъ, а потомъ для-ча не поязвить? Поязвимъ!...

— Нѣ! я теперь желаю! настаивалъ старичонка.

— Ну, мало-ль чего ты желаешь! пообождешь!

— Не желаю ждать!... *мой* молоденецъ, *я* платилъ деньги, а не вы платили—значитъ, и молчи!

— Да гляди, пёсъ, не вынесетъ—помретъ.

— Не смѣетъ помирать!... Никакъ онъ этого не можетъ, потому, деньги за него заплачены!...

— Да, какъ же!... Такъ онъ у тебя и спроситъ: «позвольте, молъ ваше ничевóшество, Калина Силантьевичъ, помереть мнѣ!» Позволенье возьметъ!...

— Онъ этого не должóнъ — помирать-то!... Аксюха двухмѣсячнаго на острой водкѣ травила, да вотъ живъ-живёхонекъ... и я потравлю!...

Голоса въ артели раздѣлились: одни, хоть и пьяные, настаивали, что никакъ не должно язвить и нельзя допущать до этого, потому рано еще; а другіе относились индиферентно: дескать, пущай его,

коли ужь охота есть такая! Намъ-то что?—не нашъ младенецъ, не мы вѣдь, и въ самдѣлѣ, деньги за него платили. Пусть его травитъ! Индиферентная сторона, по большинству своихъ голосовъ, одерживала верхъ; а когда принесли изъ кабака вторую четверть, на которую такъ великодушно изволилъ раскошелиться Калина Силантьевичъ — пьяная арава и въ конецъ махнула на него рукой: твори, молъ, чтó знаешь—твое добро! И старичонка немедленно же пожелалъ приступить къ явленію.

Мавра сначала колебалась, но потомъ одолѣло ее такого рода корыстное соображеніе: «случается, что и моложе травятъ, да не помираютъ же; авось, и этотъ не помретъ!... А съ язвленымъ-то какъ пойдешь завтра побираться—глядикося, сколько надаютъ! За двѣ недѣли въ барышахъ будешь!» И старуха не поперечила настойчивому желанію своего возлюбленнаго.

Силантьевичъ освѣдомился, есть ли у нея деньги—оказалось что ни гроша.

— Ну, и у меня ни копѣйки! съ досадой развелъ онъ руками:— пойдти, нешто, попросить у кого... Братцы!... Займите кто до завтра полтину!

— Нà что тебѣ?

— Да вотъ острой водки малость самую купить... Мнѣ тутъ, по знакомству—съ одной мускательной лавки добудутъ... Одолжите, братцы!

— Это тѣ нà што жь? Младенца травить? Нѣ, братъ, трави самъ, какъ знаешь, а отъ артели нѣтъ тебѣ на это соглашенья раньше мѣсяца!...

— Эки черти, зàвидно вамъ, что ли, что младенцемъ раздобылся!... Займите, милые, разлюбезные!... Поспособствуйте!...

— Отъ артели, сказано, нѣтъ тебѣ ничего!... Твое добро; оплѣетъ—на насъ пенять станешь; а ты самъ, какъ знаешь, такъ и орудуй!... Вонъ Дыринъ ногу себѣ травитъ—попроси у него, може и дастъ!...

Одинъ изъ нищихъ, менѣе прочихъ пьяный, сидѣлъ на печи и растравлялъ себѣ къ завтрашнему дню руку и ногу. Наливъ изъ пузыречка въ черепокъ острой водки, онъ опускалъ въ нее мѣдную гривну, и потомъ, обернувъ свои пальцы въ тряпицу, приклады-

валъ эту гривну къ голому тѣлу. Минутъ черезъ десять, на этомъ самомъ мѣстѣ образовывалась отвратительная, зіяющая язва.

— Дырушка, батюшка, одолжи-ка на минутку гривенку свою, заискливо обратился къ нему Калина.

Дыринъ, вмѣсто всякаго отвѣта, молча, но выразительно показалъ ему шишъ.

Калина плюнулъ къ нему нà печь и отошелъ съ великой досадой.

— Ладно же, и безъ васъ обойдемся!... Маврушка! наставь-ко самоварчикъ...

Пьяная арава, межъ тѣмъ, стала пѣсни играть, и поэтому никто не обратилъ достодолжнаго вниманія на дальнѣйшія намѣренія хмѣльного Калины; а онъ, тѣмъ часомъ, все похаживалъ, шатаясь, изъ угла въ уголъ, да поваркивалъ себѣ подъ носъ: «ладно, ужо увидимъ, черти!... и безъ васъ потравимъ».

Ахъ ты, теща моя,
Доморощенная!

раздавалось въ средѣ гульливой аравы, когда старуха Мавра пронесла кипящій самоваръ за калинины ширмы, въ его уголъ, который они вдвоемъ занимали въ артели.

Вдругъ, черезъ нѣсколько минутъ, оттуда послышался пронзительный, неестественный крикъ младенца и руготня Калины съ Маврой:

— Перепустилъ, чертъ! говорю, перепустилъ!... Будетъ...

— Молчи, ноздря!... не твое дѣло!...

— Батюшки!... отымите!... раздался ея крикъ, сопровождаемый горичнымъ воплемъ младенца.

Слюняй и нѣсколько человѣкъ бросились за ширмы.

Калина, захвативъ подъ спинку ребёнка, держалъ его подъ отбытымъ краномъ самовара и ошпаривалъ крутымъ кипяткомъ щоки, шею и плечи. Мавра силилась отнять свою покупку; но Силантьичъ цѣпился ей въ воротъ свободною рукою и не допускалъ до младенца. Хмѣль разобралъ его ужь окончательно—онъ самъ почти не понималъ, что дѣлаетъ.

Ребёнка вырвали у него изъ рукъ—Калина пошелъ въ амбицію, умалъ сопротивляться и полѣзъ-было въ драку. Его повалили—на пьянаго старичишку посыпался градъ пинковъ и ударовъ. Ма-

вра выла, а Силантьичъ, валяясь по полу, сипѣлъ хриплымъ голосомъ:

— Бейте!... ну, бейте меня!... А все жь таки поязвилъ!... А все жь таки поязвилъ!

И, наконецъ, завопилъ неистовѣйшимъ образомъ: «Караулъ! грабятъ!» Послѣ чего арава отступила, оставивъ на произволъ судьбы избитаго сочлена.

Мавра, не переставая выть и жаловаться на свое бездолье горемычное, подняла его съ полу и уложила спать. Арава же, сознавъ свою побѣду надъ Калиной, казалось, еще съ большимъ одушевленіемъ продолжала пить и горланить «тѣщу доморощенную», со звуками которой мѣшались стоны и кашель старичишки, всхлипыванья его подруги, да надрывающій душу, непрестанный крикъ поязвленнаго младенца.

XXII

Концы въ воду

Была уже глухая ночь, когда Силантьичъ проснулся, и кряхтя да охая, попросилъ испить водицы. По всей комнатѣ раздавался повальный храпъ нищей братіи. Лампадка передъ темными образами, въ переднемъ углу, слабо озаряла спящій въ повалку народъ. Все это, перепившись вконецъ, валялось какъ попало, на лавкахъ и подъ лавками, безъ разбора пола и возраста. Не спала за ширмами одна только старуха Мавра. Сидя на табуретѣ, передъ своимъ убогимъ столишкой, она бережно держала на рукахъ младенца и все еще вздыхала да плакалась на то, что пропадомъ пропали теперь ея денежки кровныя, христорадныя, потому младенецъ совсѣмъ ужъ кончается.

Ребёнокъ точно кончался. Онъ уже не кричалъ, а только хрипѣлъ да корчился въ предсмертныхъ конвульсіяхъ.

Старикъ, напившись изъ кадки, вернулся за ширмы и выпучилъ глаза на младенца.

— Что съ нимъ? спросилъ онъ у Мавры.

— Отходитъ, прошептала та съ новыми слезами и ругательствами на своего возлюбленнаго.

Силантьичъ, проспавшись изрядное время и, стало-быть, нѣсколько протрезвясь, припомнилъ теперь, хотя и смутно все, чтó натворилъ за нѣсколько часовъ передъ этимъ. Онъ съ ярою досадой схватился за свои виски и началъ дергать жидкіе, сѣдые волосенки, шопотомъ пѣняя самому себѣ на давшее безобразіе.

— Прысни на него водою, пущай встрепохнётся, съ сердцемъ посовѣтовалъ онъ Маврѣ.

— Чего встрепохнётся!... Онъ уже померъ, гляди... не дышетъ, не шелóхнется... двадцать-пять рублевъ мои! плакалась въ отвѣтъ старуха.

Старикъ поднялся съ кровати, положилъ руку на грудь младенца и чутко сталъ прислушиваться.

— Холодѣетъ, прошепталъ онъ, нѣсколько минутъ спустя: — пуще холодѣетъ... померъ...

— Что жь теперь дѣлать намъ?! со страхомъ откликнулась Мавра.

Калина понуро молчалъ, свѣсивъ ноги съ постели. Онъ, казалось что-то соображалъ и раздумывалъ.

— Надоть бы старосту взбудить, домекнулась старуха.

— Нишни!... не теперь, поутру шеппемъ... А ты молчи, знай ни гугу!... Слышь?... Чтобы никто тоись ни-ни!... понимаешь?

Мавра утвердительно кивнула головой.

— То-то!... подай-ка мнѣ веревку, что ль, какую!... Да вотъ что еще, шопотомъ распоряжался старикъ:—выдь на дворъ, поищи тамъ кирпичика, аль булыжника, потяжельче который, да тащи сюда живѣе... гдѣ у насъ кулекъ-то?

— Подъ кроватью, кажись...

— Ну, добро, отыщу ужь!... Ступай за камнемъ!...

Старуха осторожно вышла за дверь. Калина приготовилъ веревку да рогожный кулекъ, и въ ожиданіи своей возлюбленной, прилегъ на кровать, о бокъ съ изуродованнымъ, мертвымъ ребенкомъ. Онъ все еще раздумывалъ, какъ бы половчѣе дѣло это обстроить.

Слюнявю безпремѣнно надо будетъ всю правду сказать, размышлялъ Калина: — онъ, собака, хоша и слупитъ за молчокъ рублевъ пять-шесть, да нечего дѣлать! Артели, для виду скажемъ, что ночью

Мавруха назадъ отнесла его къ жидамъ: раздумала молъ... догадаются, ироды!... Ну, да пущай догадаются! коли Слюняй накажетъ, чтобы ни гу-гу, значитъ, такъ и молчи! дѣло полюбовное... Водки за молчокъ вѣдь потребуютъ... нѣчего дѣлать, и водки поставить придется!... Разоренье, да и только! Послѣдніе двадцать-пять капули!... Охо-хо!... знать, за грѣхи наши тяжкіе...

Скрыпнула дверь — Мавра принесла кирпичъ подъ полою.

— Страсти, просто... бо́язно какъ-то... на чердакъ вѣдь за проклятымъ бѣгала, сообщила она, еле переводя духъ отъ волненія:— а на чердакѣ-то, гляжу — въ углу зелёное что-то свѣтится... я было назадъ, а онъ какъ порстнётъ мимо меня — индо обмерла вся... думала — чортъ, а это гляжу — кошка... Перепужала до смерти, чтобъ ей пусто было!

— Тс... молчи, народъ еще перебудишь! унялъ ее Калина, погрозивъ рукою.—Привязывай, что-ль, скорѣе кирпичъ-то къ нему!... я одѣнусь тѣмъ часомъ...

Онъ сталъ обуваться, натянулъ на себя кой-какую одежонку и стащивъ съ гвоздя чужую широкую шинель, накинулъ ее на плечи. Старуха межъ тѣмъ плотно подвязала веревкой кирпичъ подъ спину младенца и вдвоемъ съ Калиной опустила въ кулекъ его маленькій трупикъ.

Нищій нахлобучилъ шапку и спряталъ подъ полой шинели свою необычную ношу.

Кто-то забредилъ въ просонкахъ... Кто-то со стономъ на другой бокъ перевернулся...

Старики вздрогнули и на нѣсколько мгновеній замерли на мѣстѣ. Они стояли не шелохнувшись, пока все умолкло и заснуло.

— Господи, помоги!... Пронеси счастливо, царица небесная! покосился Калина на лампадку, мутно кидавшую свое мерцаніе на мертвецки-пьяный сонъ безобразной оравы.

— Кулекъ-то, гляди, не брось тоже!... Лучше назадъ принеси— вещь годящая, наказывала Мавра, отпуская изъ-за ширмъ Калину Силантьевича.

Ночь была глуха и черна. По безлюдному Малковскому переулку слабо мигали залѣпленные снѣгомъ два-три фонаря, да и въ тѣхъ-

то масло горѣло словно бы нехотя, какимъ-то убогимъ, тощимъ свѣтомъ, который ничего не озаряетъ, а только еще усиливаетъ окружающій мракъ. Прямо въ лицо гудѣла холодомъ мелко-снѣжная завитуха и вѣтеръ порывисто развѣвалъ полы одежды.

Старикъ, одинъ-одинешенекъ, шагалъ по переулку, старательно запахивая свою шинель. Кулекъ съ кирпичомъ и младенцемъ оттягивалъ ему руку и все выставлялся наружу, къ крайней досадѣ нищаго, у котораго сердце колотилось далеко неспокойнымъ ёканьемъ: — «ну, какъ на хожалаго натинешься, да остановитъ тебя?»

— Борони Господи, пронеси владычица! бормоталъ онъ старческими губами и все шелъ далѣе...

Вотъ наконецъ и набережная Фонтанки.

Силантьевичъ сталъ, прислушался и оглядѣлся вокругъ. Нигдѣ ни души, все пусто и глухо, одна только завитуха сыплетъ нескончаемымъ снѣгомъ, да шальной вѣтеръ еще порывистѣй гуляетъ на просторѣ.

Старикъ спустился на рѣку и въ сѣрыхъ потёмкахъ наткнулся на три елочки и жердяную огородку.

«Прорубь»... подумалъ онъ: «тебя-то намъ и надо». Тонкая ледяная кора, которой за ночь затянуло эту прорубь, звучно хрустнула подъ тяжестью опущеннаго кулька, затѣмъ сквозь нее вода хлынула — и ноша Силантьедича благополучно пошла-себѣ ко дну.

Концы въ воду! махнулъ онъ рукою, подымаясь по оледенѣлому спуску.

XXIII

Очныя ставки

Прошла недѣля съ тѣхъ поръ, какъ съ Бероевой снятъ былъ первый допросъ у слѣдственнаго пристава. Въ теченіе всего этого времени, ее никуда не вызывали — она безвыходно сидѣла въ своемъ секретномъ нумерѣ. Тоска, упорная и долгая, непрестанно глодала ея грудь своими тихо-ноющими захватами. У нея сжималось сердце при мысли о дѣтяхъ; о своемъ положеніи она менѣе думала, даже съ воспоминаніемъ о нихъ и совсѣмъ забывала его порою. Да и

притомъ у нея все-таки еще мелькала впереди смутная надежда на свободу, на полное оправданіе себя при слѣдствіи и передъ судомъ. «Вѣдь есть же на свѣтѣ правда!» старалась она увѣрить себя, и все ждала и ждала исхода.

Но тянулись дни за днями, тянулись долгія безсонныя ночи — и на душѣ арестантки становилось все мрачнѣе и тяжелѣе; надежда, мелькая уже гораздо рѣже, съ каждымъ днемъ и съ каждымъ часомъ слабѣла все больше, а съ ней вмѣстѣ слабѣли и силы Бероевой. Мрачная комната, со своей суровой обстановкой, подпольными обитательницами, вѣчной сыростью и холодомъ по ночамъ; отсутствіе сколько нибудь мыслящаго лица человѣческаго, за исключеніемъ сонливой физіономіи молчальника-сторожа, и неизвѣстность о дальнѣйшемъ ходѣ своего дѣла — все это непрестаннымъ гнетомъ своимъ ложилось на душу заключенницы, надавило на ея мозгъ такого рода впечатлѣнія, что она уже крайне близка была къ умопомѣшательству; блуждающіе глаза, потерянный видъ, нервно-боязливыя движенія — являлись признаками, обличающими начало болѣзненной машіи, къ которой такъ располагаетъ постоянное одиночное заключеніе. Въ теченіе этой недѣли, казалось, всѣ забыли о ея существованіи кромѣ сторожа, приносившаго ей утромъ обѣдъ да воду, а вечеромъ вонючій ночникъ. Грязная копоть этого ночника мутила обоняніе и першила въ горлѣ; клопы и черви безпрепятственно ползали по ея платью и бѣлью, о перемѣнѣ котораго никто не заботился, такъ-какъ при съѣзжихъ домахъ арестанты, по большей части, содержатся въ собственномъ костюмѣ, причемъ неоднократно бываютъ случаи, что женщины, въ секретныхъ, остаются въ одномъ и томъ же одѣяніи бѣлья, безъ перемѣны по три четыре мѣсяца, если даже не больше, до такой степени, что оно, порождая міазмы истлѣваетъ и вконецъ расползается на тѣлѣ.

Затхлый воздухъ, насыщенный нежилою сыростью и отсутствіе движенія въ трехъ-четырехаршинномъ пространствѣ, успѣли уже наложить свое болѣзненное клеймо на организмъ заключенной. Грудь я подалась во внутрь, плечи слегка осунулись, равно какъ и всѣ черты ея красиваго лица; члены отощали, во всемъ тѣлѣ появилась какая-то вялость; глаза поблекли и окружились буроватою синевою, загораясь перебѣгающимъ блескомъ только во время ночныхъ пароксизмовъ

сизмовъ нервной лихорадки, которою, подъ вліяніемъ условій своего заключенія, начинала уже страдать арестантка. Еще двѣ-три недѣли такого существованія—и въ исходѣ для Бероевой представилась бы только больница умалишенныхъ съ послѣднимъ путешествіемъ въ болота котораго нибудь изъ петербургскихъ кладбищъ.

Но смутная надежда на доброе окончаніе дѣла все еще тлѣла въ ней слабѣющей искоркой. Каждое утро она начинала ожиданіемъ, что сейчасъ раскроется дверь и ее поведутъ въ слѣдственную камеру, гдѣ она уличитъ своихъ противниковъ во всѣхъ ихъ гнусныхъ замыслахъ и спутанной интригѣ противъ нея — въ интригѣ, затаенныя нити которой однако до сихъ поръ еще оставались для нея темнѣйшею загадкой.

И наконецъ, она дождалась.

Одурманенная струею свѣжаго воздуха, которымъ пахнуло на нее изъ надворнаго корридора, вышла она, вмѣстѣ съ вооруженнымъ солдатомъ, въ слѣдственную камеру, шатаясь и еле различая затуманеннымъ взоромъ группы какихъ-то постороннихъ лицъ, какъ будто нѣсколько знакомыхъ, но какихъ именно—Бероева не успѣла ясно разглядѣть и составить себѣ о нихъ какое-либо представленіе.

Она съ трудомъ переводила дыханіе, казалась очень слабою и больною, такъ что слѣдователь предложилъ ей сѣсть и оправиться.

Онъ былъ очень угрюмъ, съ оттѣнкомъ крѣпко озабоченной мысли въ лицѣ, какъ-бы говорившей, что обстоятельства слѣдствія становятся очень темны и запутаны. Первые знаки участія его къ арестанткѣ подѣйствовали на нее нѣсколько ободряющимъ образомъ, но затѣмъ видъ этой угрюмой, досадливой озабоченности снова мучительнымъ завываньемъ оледенилъ и сжалъ ея сердце. Оно забилось тоской ожиданія.

— Вамъ надо дать теперь очную ставку съ госпожею фон-Шпильце и другими лицами, обратился къ ней слѣдственный приставъ:—вы должны уличить ихъ и подтвердить справедливость своихъ показаній.

Бероева тихо взглянула на него взглядомъ безмолвной благодарности. Эти слова зажгли въ ней надежду и убѣжденіе, что ея пра-

вота восторжествуетъ, но отъ ея послѣдняго взгляда брови слѣдователя, казалось, еще больше нахмурились.

— Госпожа фон-Шпильце! потрудитесь войти въ эту комнату! возвысилъ онъ голосъ—и на порогѣ появилась блистательная генеральша, въ дорогой шали, съ сверкающими кольцами на толстѣйшихъ короткихъ пальцахъ. За нею, въ обычно-почтительномъ согбеніи, кошачьей выступкой пробирался Поліевктъ Харлампіевичъ Хлѣбонасущенскій.

— Я не какая нибудь! рѣзко и съ самоувѣренной гордостью начала Амалья Потаповна своимъ нѣсколько крикливымъ полиглотическимъ акцентомъ, къ слѣдователю въ особенности:—je suis une noble dame, monsieur!... Я извѣстна баронъ фон-Шибзикъ графъ Оксенкопфъ, генералъ Пупковъ, сенаторъ Пшесиньскій... я знакома со всѣ князья графы... Я до шеф-жандарма пойду... Меня нельзя оскорблять—я сама генеральша!...

— Да васъ никто еще не оскорбилъ, попытался прервать ее слѣдователь; но генеральша не унималась.

— Нѣтъ, оскорбиль, оскорбиль! ви оскорбиль! возвысила она голосъ, жестикулируя руками:—меня до полиціи призываютъ, на одна доска со всяки мошенникъ ставятъ! Я—благородна генеральша, я ничего не знай, я будетъ жаловаться! графъ Оксенкопфъ, сенаторъ Пшесиньскій...

— Это вы можете, а теперь—успокойтесь... У меня мало времени...

— Вы, monsieur, на моя квартиръ могли пріѣзжать, а не меня звать въ police...

— Ну, благодаря вамъ, и то цѣлую недѣлю тянули, вѣдь вы на третью только повѣстку отозвались... у меня, повторяю, времени нѣтъ! возвысилъ голосъ и тотъ въ свою очередь.

Генеральша, получивъ отпоръ, поугомонилась, и погрозивъ еще разъ, но уже какъ-бы про себя и притомъ вполголоса: «о, я будетъ жаловаться!» затихла и приняла видъ недоступнаго достоинства.

На очной ставкѣ съ Бероевой, генеральша фонъ-Шпильцѣ показала, что даже и не знала о ея существованіи до того времени, какъ однажды женщина по имени Александра (имянія и фамиліи не

упомнитъ), лѣтъ пять тому назадъ проживавшая у нея въ услуженіи и по отходѣ отъ мѣста изрѣдка посѣщавшая ее, генеральшу, явилась къ ней въ прошломъ году и стала разсказывать о томъ, что она, Александра, узнала про бѣдственное положеніе нѣкоей Бероевой, ищущей продать свои брильянты, и предложила генеральшѣ сдѣлать эту покупку, причемъ сообщила и адресъ Бероевой. Горничная обвиняемой, солдатская дочь Аграфена Степанова, повторила при этомъ свое показаніе о томъ, какъ и гдѣ она познакомилась съ Зеленьковымъ и какъ встрѣтила однажды у него на квартирѣ женщину Александру, которую онъ называлъ своею тѣткою, и которую она послѣ случайнаго разговора съ нею и Бероевой нигдѣ и никогда больше съ того вечера не видала. Показаніе ея, невольнымъ образомъ — конечно, во многомъ не разнилось съ тѣми обстоятельствами, что передавала теперь генеральша фон-Шпильце. Зеленьковъ же повторилъ, что съ тѣткой своей Александрой (въ показаніяхъ, онъ вымышленно назвалъ ее Ивановой) видѣлся вообще очень рѣдко, но что въ то время онъ имѣлъ намѣреніе жениться на дѣвицѣ Аграфенѣ Степановой, и встрѣтивъ какъ-то на улицѣ свою тѣтку, пригласилъ къ себѣ, какъ единственную свою родственницу, чтобы она посмотрѣла его невѣсту и дала ему необходимые совѣты. Далѣе показывалъ онъ, что послѣ этого вечера тѣтка заходила къ нему одинъ только разъ, и то ненадолго, при чемъ объявила, что пришла простится, такъ какъ она нашла себѣ мѣсто въ отъѣздъ заграницу, куда именно — не сказывала, но обѣщала писать, однакоже писемъ до сихъ поръ не присылала еще, называла также и фамилію господъ, на которую онъ мало тогда обратилъ вниманіе, и теперь, за давностію времени, позабылъ совершенно.

Справки о мѣстопребываніи Александры Ивановой, которыя еще раньше, основываясь на показаніяхъ Зеленькова, наводилъ слѣдователь въ канцеляріи генерал-губернатора, не привели ни къ какимъ результатамъ, такъ-какъ по спискамъ оказалось нѣсколько Александръ Ивановыхъ, проживающихъ съ господами за границей.

Въ эту минуту Поліевктъ Харлампіевичъ внутренно торжествовалъ, при видѣ плодовъ своего разносторонняго и предусмотрительнаго генія. Колейные уроки и наущенія его, которые, за исключеніемъ дѣ-

вушки Груши, давалъ онъ, вмѣстѣ съ деньгами, всѣмъ прикосновеннымъ къ дѣлу лицамъ, не пропали даромъ. Цѣль совокупныхъ показаній ихъ развивалась вполнѣ стройно и согласно съ планомъ, заранѣе имъ предначертаннымъ.

Вслѣдъ за переспросомъ горничной Аграфены и Зеленькова, Амалія Потаповна фон-Шпильце въ своихъ доводахъ продолжала показывать, что имѣя свободныя деньги и страсть къ хорошимъ вещамъ, надѣялась она въ то же время сдѣлать доброе дѣло, оказать христіанскую помощь нуждающейся, и поэтому поѣхала по сообщенному ей адресу. Брильянты ей понравились, и она пригласила госпожу Бероеву пріѣхать къ себѣ на другой день для окончательной сдѣлки. Когда госпожа Бероева явилась по приглашенію, то минутъ пять спустя съ нею сдѣлался болѣзненный припадокъ, кончившійся продолжительнымъ обморокомъ, причина котораго ей, генеральшѣ, неизвѣстна. Она распорядилась тотчасъ же послать за своимъ домашнимъ врачомъ, господиномъ Катцелемъ, который тщетно старался привести въ чувство больную, и не успѣвъ въ этомъ, долженъ былъ увести ее въ безчувственномъ состояніи на ея квартиру, въ каретѣ, одолженной генеральшею. Брильянты по этому случаю остались некупленными и находились при продавщицѣ. Былъ ли въ то время у генеральши фон-Шпильце князь Владиміръ Шадурскій, она за давностію времени не упомнитъ, но кажется, что не былъ. Гдѣ находится въ настоящее время проживавшая у нея женщина Александра—ей неизвѣстно, ибо съ того самаго времени она о ней не имѣетъ никакихъ извѣстій. Самоѣ Бероеву генеральша не знаетъ, и о томъ кто она, равно какъ и объ образѣ ея жизни, свѣдѣній никакихъ сообщить не можетъ.

Амалія Потаповна говорила все это съ такою твердостію и непоколебимымъ убѣжденіемъ, что казалось, будто сама истина глаголетъ ея устами. На всѣ доводы и возраженія Бероевой она только пожимала плечами да улыбалась тою убійственной ироніей, которая показываетъ, что предметъ, вызывающій эту улыбку снизу вверхъ, до того уже стоитъ неизмѣримо ниже насъ, что въ отношеніи его нѣтъ мѣста человѣческому слову, а существуетъ одна лишь выразительная гримаса. Вслѣдъ за генеральшей выступила къ столу слѣдственнаго пристава маленькая черненькая фигурка, въ

изящнѣйшемъ черномъ фракѣ, съ еврейски-элегантной физіономіей въ золотыхъ очкахъ. Это былъ Herr Katzel, который объяснилъ, что будучи призванъ генеральшей фон-Шпильце, нашелъ у нея въ обморокѣ неизвѣстную женщину, въ которой нынѣ узнаётъ подсудимую арестантку, подалъ ей необходимое медицинское пособіе, и потомъ пользовалъ больную, уже у нея на дому, въ теченіе пяти или шести дней. Симптомовъ своей болѣзни она ему не могла объяснить, равно какъ не могъ онъ отъ нея добиться и свѣдѣній о предварительныхъ причинахъ. Полагаетъ же по тѣмъ признакамъ, какими сопровождался припадокъ, что это было когнестивное состояніе мозга, вслѣдствіе обморока. Признаковъ беременности усмотрѣно имъ не было, въ теченіе того недолгаго времени, пока паціентка пользовалась его искусствомъ.

— Но у меня есть факты, есть доказательства! воскликнула наконецъ внѣ себя арестантка, побиваемая на каждомъ шагу грапитной наглостью доктора и генеральши. — Пусть акушерка подтвердитъ все, что́ я расказывала вамъ, у нея ребенокъ мой!...

Вошла акушерка и за нею служанка ея Рахиль. Бероева, съ мольбой и надеждой, кинулась къ нимъ на встрѣчу.

— Бога-ради!... проговорила она, едва удерживая рыданіе:— бога-ради!... спасите меня!... Вы однѣ только можете!... Докажите имъ!...

Но двѣ вошедшія особы, съ недоумѣніемъ отстранясь отъ ея порыва, глядѣли на нее сухимъ и холоднымъ взглядомъ, какъ-бы совсѣмъ не понимая, что̀ это за женщина и о чемъ это говоритъ она?

— Какой я вамъ спаситель?... Я васъ и знать-то не знаю, кто вы такая, и вижу-то въ первый разъ бтроду! заговорила акушерка, бойко вымѣривая глазами Бероеву.

— Какъ, въ первый?!... Боже мой, да гдѣ жь это я?!... А ребёнокъ мой?

— Никакого ребёнка я отъ васъ не принимала и не понимаю даже, о чемъ это разговоръ идетъ вашъ... Я по своему ремеслу занимаюсь, продолжала она тономъ оскорбленнаго достоинства:—и никогда въ этакихъ конфузахъ не стояла, чтобы по полиціямъ меня таскать да небывалыя дѣла наклёпывать... Я человѣкъ сторонній и

дѣла мнѣ до васъ никакого нѣтъ, потому какъ я, господинъ приставъ, никогда и не знаю ихъ, обратилась она въ разсудительно заискивающемъ тонѣ къ слѣдователю, для большей убѣдительности жестикулируя руками: — и теперича изъ-за такой, можно сказать, марали, на много практики своей должна лишиться, а у меня, господинъ приставъ, практика все больше по хорошимъ домамъ — у генеральши Вейбархтовой, у полковницы Ивановой тоже завсегда я принимаю; такъ это довольно безсовѣстно со стороны этой госпожи (энергическое указаніе на Бероеву) порочить такимъ манеромъ порядочную женщину.

Подсудимая собрала весь запасъ своихъ силъ и твердости: она рѣшилась бороться, пока ее хватитъ на это.

— Ребёнокъ окрещенъ въ церкви Вознесенья—вы сами мнѣ это говорили—названъ по крестному отцу Михаиломъ, наконецъ онъ у васъ и теперь находится, я узнаю его! изъ сотни дѣтей узнаю! говорила она, энергично подступая къ акушеркѣ.

Эта состроила притворно-смиренную рожу, явно желая издѣваться надъ своей противницей.

— Во-первыхъ, я вамъ ничего и никогда не говорила, потому что Господь избавилъ отъ чести знать вашу милость! дала она отпоръ:—во-вторыхъ, никакого ребёнка у меня нѣтъ и не было; господинъ приставъ на этотъ счетъ даже обыскъ внезапный у меня дѣлали и ничего не нашли; а что у Вознесенія точно крестить мнѣ многажды доводилось, такъ это сущая правда—на то я и бабушка. А вы ужь если такъ сильно желаете запутать меня въ свои хорошія дѣла (не знаю только, для чего), такъ вы потрудитесь назвать господину приставу крестнаго отца; господинъ приставъ могутъ тогда по церковнымъ книгамъ справку навести: тамъ вѣдь ваше имя должно быть записано; ну, опять же и крестнаго въ свидѣтели поставьте—пускай уличитъ меня, ежели я въ чемъ причастна.

Бероева тяжко вздохнула и понурила на грудь свою голову: она не помнила въ точности числа и дня, въ которые окрестила младенца, не знала также, кто его крестные отецъ и мать, потому что въ то время предоставила это дѣло исключительно на волю акушерки и наконецъ сама же просила ее скрыть отъ священника свое настоящее имя и фамилію подъ какимъ-нибудь другимъ, выдуманно-

нымъ, что акушерка исполнила, въ видахъ сохраненія полнѣйшаго инкогнито родительницы.

— Ну съ, матушка, говорите, доказывайте на меня! приступила она межъ тѣмъ къ Бероевой:—вотъ я вся, какъ есть, передъ вами!... Что жь вы не уличаете? видно, что нечѣмъ?... Да-съ, матушка, я не даромъ ко святой присягѣ ходила теперь изъ-за васъ, я какъ передъ Господомъ-Богомъ моимъ, такъ и передъ начальствомъ нашимъ, господиномъ приставомъ, противъ совѣсти не покажу! Я—человѣкъ чистый, и дѣла мои всѣ, и сердце мое—на чистоту передо всѣми-съ! А я развращенія не терплю и нравамъ такимъ не потворщица! Это ужь вы, матушка, другихъ поищите, а меня при моей амбиціи покорнѣйше прошу оставить.

Бероеву одолѣлъ внутренній ужасъ отъ этого наглаго цинизма лжи и безсовѣстности. Она почти въ полномъ изнеможеніи опустилась на стулъ и долго сидѣла, закрывъ помертвѣлое лицо обѣими руками.

Рахиль вполнѣ подтвердила показанія акушерки, объявивъ, что личность Бероевой вполнѣ ей неизвѣстна, и видитъ ее она только впервые передъ слѣдственнымъ приставомъ, что при ней Бероева никогда не приходила въ квартиру ни за совѣтами, ни для разрѣшенія отъ бремени, и что, наконецъ, никакого ребёнка она къ нимъ не приносила и на воспитаніе не отдавала.

Эти два показанія являлись самымъ сильнымъ аргументомъ противъ Бероевой, потому что обвиняя фон-Шпильце, Катцеля и Шадурскаго, она въ защиту себя и въ подтвержденіе истины своихъ словъ, приводила свидѣтельство акушерки и ея прислуги. То и другое оказалось противъ нея—значитъ, всѣ шансы на добрый исходъ дѣла съ этой минуты уже была проиграны.

Теперь оставалось дать ей еще одну и уже послѣднюю очную ставку.

— Карету привели, ваш-бо-родіе! возгласилъ приставу дежурный солдатъ, вытянувшись въ дверяхъ камеры.

— Не угодно ли вамъ одѣваться, предложилъ вслѣдъ за этимъ слѣдователь обращаясь къ арестанткѣ.

Поліевктъ Харлампіевичъ поднялся со стула, посеменилъ да повертѣлся на мѣстѣ, какъ-бы отыскивая или припоминая что-то, об-

дернулъ борты своего синяго фрака, и раза два кашлянувъ въ руку, улизнулъ изъ комнаты.

Черезъ минуту шибко задребезжали по мостовой колесы его «докторскихъ» дрожекъ, пара рыженькихъ шведокъ быстрѣй обыкновеннаго задробила копытами, направляясь къ дому его сіятельства князя Шадурскаго.

Вскорѣ послѣ него отъѣхала отъ части и наемная карета, въ которой помѣстились: Бероева съ слѣдователемъ и его письмоводитель со стряпчимъ, да на козлахъ—дежурный городовой, во всей форменной амуниціи.

Бероева, накинувъ на лицо густой вуаль, всю дорогу старалась прятаться въ уголъ кареты, чтобъ не обращать на себя мимолѣтнаго вниманія встрѣчныхъ людей. Ей не хотѣлось въ присутствіи двухъ свидѣтелей разспрашивать пристава, куда и зачѣмъ везутъ ее: она и сама догадывалась о цѣли этой поѣздки.

Карета въѣхала во дворъ богатаго барскаго дома, предназначеннаго не для отдачи въ наемъ подъ жильцовъ, но для широкаго житья на большую ногу одного только аристократическаго семейства, и остановилась у маленькаго, непараднаго подъѣзда, въ одномъ изъ уголковъ образцово-чистаго двора, куда указалъ извощику ливрейный лакей въ красномъ камзолѣ и коричневыхъ штиблетахъ.

Подымаясь по узенькой, изящно-витой мраморной лѣстницѣ, Бероева сообразила, что ей, повидимому, предстоитъ свиданіе съ самимъ Шадурскимъ, въ его собственной отдѣльной квартирѣ. Это посѣщеніе, по заранѣе данному распоряженію Хлѣбонасущенскаго, было обстановлено всею возможной келейностью, чтобы не подать о немъ ни малѣйшей догадки случайнымъ, постороннимъ людямъ, которые, пожалуй, могли бы еще перетолковать его какъ-нибудь не въ пользу обитателей барскаго дома, потому этихъ обитателей непріятно коробило при одной уже мысли, что домъ ихъ будетъ посѣщенъ «полиціей», и что «съ этой полиціей» придется формальное дѣло имѣть.

Сердце Бероевой медленно, но упруго колотилось въ груди съ судорожнымъ захватомъ дыханія, при мысли, что черезъ минуту

она станетъ съ глазу на глазъ съ человѣкомъ, который былъ первый и наиболѣе тяжкимъ виновникомъ всѣхъ ея несчастій, разрушившихъ ея тихій семейный очагъ, ея миръ душевный, и котораго она ненавидѣла всѣми силами своей души, презирая такъ, какъ только можетъ презирать кровно-оскорбленная, честная женщина.

«Что-то будетъ?... Какъ-то встрѣтимся?... Чѣмъ-то кончится это свиданіе?» смутно думала она, съ трудомъ подымаясь на лѣстницу, потому что ноги не слушались ея и дрожа подкашивались на каждой ступени.

Городовой остался въ прихожей, а Поліевктъ Харлампіевичъ вмѣстѣ съ княгиней Татьяной Львовной встрѣтили прибывшихъ въ гостиной молодого князя. Хлѣбонасущенскій былъ офиціально-серьёзенъ и въ высшей степени спокоенъ; княгиня—блѣдна и сильно взволнована. Скользнувъ бѣглымъ и холоднымъ взглядомъ по привезенной арестанткѣ, она съ поклономъ, полнымъ тонкаго аристократическаго достоинства и любезности, обратилась къ слѣдователю:

— Бога-ради, будте съ нимъ какъ можно осторожнѣе!... Онъ такъ нервозенъ... Эта сцена сдѣлаетъ на него сильное впечатлѣніе... Докторъ сейчасъ уѣхалъ и говоритъ, что опасность еще не миновалась и можетъ возвратиться... Au nom du ciel! Я умоляю васъ!...

И при этихъ словахъ, княгиня съ сокрушеннымъ видомъ великой материнской горести, не безъ граціи поднесла батистовый платокъ къ своимъ когда-то прекраснымъ глазамъ.

— Будьте покойны, сударыня, коротко и сухо поклонился слѣдователь, въ отвѣтъ на ея материнскую тираду.

Поліевктъ Харлампіевичъ, съ величайшей осторожностью, будто въ присутствіи тяжко больного, на цыпочкахъ пробрался за дверь смежной комнаты.

— Приготовьтесь, пріѣхали! шепнулъ онъ Шадурскому: — да смотрите же, говорите такъ, какъ я васъ училъ, а иначе все дѣло пропало и вамъ не миновать уголовной палаты!... Слышите?

Князь Владиміръ, въ отвѣтъ ему, скорчилъ очень кислую гримасу, и махнувъ рукой, принялъ видъ и положеніе тяжко больного.

— Пожалуйте, господа!... а вы, матушка, ваше сіятельство, уйдите, удалитесь отсюда! вполголоса проговорилъ Хлѣбонасущен-

скій, высунувшись изъ-за двери, ведущей въ спальню молодого князя.

— Господинъ Хлѣбонасущенскій! Очной сводъ этотъ слишкомъ важенъ, для того чтобы при немъ могъ присутствовать кто либо посторонній, обратился къ нему слѣдователь, не переступая еще порога княжеской опочивальни: — потрудитесь выйдти изъ комнаты его сіятельства и не входить туда, пока мы не кончимъ.

Княгиня, стоявшая позади всѣхъ, слегка поблѣднѣла при этомъ; но Хлѣбонасущенскій наружно остался невозмутимъ.

— Если такъ *угодно вамъ*, господинъ приставъ, отвѣтилъ онъ съ удареніемъ, и съ вѣжливой почтительностью сгибая свой корпусъ: — то я могу исполнить ваше *желаніе;* но... позвольте сообщить вамъ, что его сіятельство слишкомъ еще слабъ: съ нимъ дѣлаются безпрестанные обмороки; неравно еще случится что-нибудь — нуженъ ежеминутный присмотръ и бдительность, а это свиданіе, того и гляди, не пройдетъ даромъ для его здоровья — таково, по-крайней-мѣрѣ, убѣжденіе доктора.

Члены прибывшей комиссіи переглянулись между собою.

Я бы попросилъ ея сіятельство княгиню присутствовать при этомъ продолжалъ Хлѣбонасущенскій, сомнительно пожавъ плечами: —но... княгиня и безъ того уже такъ разстроена... ея печаль, ея слезы — все это еще болѣе подѣйствуетъ на нашего больного... Притомъ же не думаю, чтобы мое присутствіе въ качествѣ домашняго человѣка, присматривающаго за болящимъ, могло принесть какой-нибудь ущербъ для дѣла: я вѣдь не позволю себѣ вмѣшаться въ него ни единымъ словомъ.

— Можно послать на это время кого либо изъ людей, хоть лакердинера, что ли, замѣтилъ слѣдователь.

Хлѣбонасущенскій въ своей улыбкѣ, соединенной съ пожатіемъ плечъ, выразилъ и нѣкоторое оскорбленіе и собственное достоинство

— Мнѣ кажется, господинъ приставъ, я не подалъ вамъ поводовъ къ подобному оскорбительному недовѣрію, сухо замѣтилъ онъ: — впрочемъ, если опять таки *вамъ* такъ уже *угодно*, то.. конечно. .

— Нѣтъ, бога-ради!... я ни на кого не полагаюсь, кромѣ его! съ нѣкоторой стремительностью воскликнула княгиня, обращаясь къ

слѣдователю: — сынъ мой привыкъ къ нему съ дѣтства, онъ какъ родной ухаживаетъ за нимъ во все время этой болѣзни... Бога-ради!... я умоляю васъ, если только возможно... И княгиня опять приложила платокъ къ своимъ рѣсницамъ.

Приставъ снова переглянулся со стряпчимъ. Этотъ послѣдній незамѣтно махнулъ рукою и тихо проговорилъ:

— Пускай его!... вреда вѣдь особеннаго не будетъ — въ дѣло не позволимъ вмѣшаться.

— Итакъ, пожалуйте, господа!... А вы, ваше сіятельство, все-таки удалитесь лучше отсюда; коли что случится, я ужь прибѣгу, увѣдомлю, говорилъ Поліевктъ Харлампіевичъ, вводя прибывшихъ въ княжескую спальню.

Въ этой спальнѣ пахло уксусомъ и отсвѣчивало синеватымъ полусумракомъ, который значительно скрадывалъ оттѣнки цвѣта и выраженій лицъ присутствовавшихъ. Предусмотрительный Хлѣбонасущенскій, до пріѣзда пристава, предупредилъ княгиню, самъ опустилъ оконныя шторы и гардины, и приказалъ — будто бы для освѣженія воздуха — окурить всю комнату уксусомъ, для чего собственноручно даже поливалъ его на раскаленныя плитки, направляя съ ними лакея въ разные углы княжеской опочивальни. Словомъ, вся обстановка соотвѣтствовала какъ нельзя болѣе положенію трудно-больнаго человѣка.

Письмоводитель помѣстился съ походной своей чернильницей и портфѣлемъ у туалетнаго столика, а Хлѣбонасущенскій сталъ въ ногахъ у князя, за спинами слѣдователя, стряпчаго и обвиненной, чтобы удобнѣе, въ случаѣ надобности, телеграфировать съ нимъ глазами и маленькими жестами.

Князь приподнялся на подушкѣ, причемъ сдѣлалъ видъ, будто это ему стоило тяжелаго усилія; онъ избѣгалъ частыхъ встрѣчъ со взорами слѣдователя и, въ особенности, Бероевой, говорилъ тихо, медленно, съ частыми и тяжелыми переводами духа, такъ что Хлѣбонасущенскій, въ глубинѣ души своей, весьма умилялся, при видѣ этой удачно выполняемой роли.

Бероева почти уже не имѣла силъ сама продолжать доводы и улики: она была слишкомъ разстерзана и пришиблена нравственно въ одно это утро цѣлымъ рядомъ предшествовавшихъ очныхъ ставокъ.

Шадурскій казался очень взволнованнымъ, голосъ его дрожалъ, и порою совсѣмъ перерывался, причемъ Хлѣбонасущенскій каждый разъ очень заботливо обращался къ нему съ успокоительными замѣчаніями.

— Не волнуйтесь, князь... вамъ это вредно.. Конечно, такое страшное воспоминаніе, но... выпейте воды, успокойтесь...

И князь прихлебывалъ глотками воду изъ стакана, и на время принималъ видъ болѣе спокойный. Положеніе его въ самомъ дѣлѣ, было трудное, щекотливое, потому что совѣсть немножко скребла за сердце при видѣ женщины, которую онъ топитъ, ради спасенія собственной репутаціи. Но князь утѣшался почему-то мыслью, что Хлѣбонасущенскій вѣроятно и ей не дастъ совсѣмъ ужь погибнуть, что тутъ, какъ говорится, и волки будутъ сыты, и овцы цѣлы, а потому, на очной ставкѣ, его сіятельство собственноустно подтвердилъ, что обвиненіе, будто онъ былъ у генеральши фон-Шиллер одновременно съ Бероевой - ложь, что никогда и ни въ какія отношенія съ Бероевой онъ не вступалъ, и намѣреній къ этому не выказывалъ, что видѣлъ ее не болѣе двухъ разъ: впервые на вечерѣ у Шиншѣева, гдѣ былъ даже представленъ ей, но знакомства не продолжалъ, находя его для себя излишнимъ; во второй же разъ въ ресторанѣ, во время внезапнаго покушенія на его жизнь, когда онъ выразилъ сомнѣніе въ принадлежности ему какого-то неизвѣстнаго ребёнка, и теперь, со своей стороны, полагаетъ, что эта женщина — сумасшедшая, почему вѣроятно и покушеніе было совершено ею въ припадкѣ умопомѣшательства. О жизни, занятіяхъ и поведеніи Бероевой князь никакихъ свѣдѣній, по совершенному незнанію, сообщить не можетъ, и въ маскарадѣ ее не узналъ; поѣхалъ же съ нею ужинать потому, что получивъ предварительно вызывающее анонимное письмо, находящееся нынѣ при дѣлѣ, счелъ ее за обыкновенную искательницу приключеній.

Таковъ былъ смыслъ этихъ показаній, послѣ которыхъ всѣ присутствовавшіе невольно нашли князя сильно усталымъ и взволнованнымъ. Онъ въ изнеможеніи опустился на подушку, и даже застоналъ немного.

Хлѣбонасущенскій съ материнской заботливостью бросился подавать ему воды и запихивать одѣяло. Бероева ничего не отвѣчала но только посмотрѣла на князя взглядомъ столь тихимъ, пристальнымъ

и неотразимымъ, какъ суровая совѣсть, какъ послѣдній приговоръ преступнику, что мнимо-больнаго взаправду ужь бросило въ жаръ и ознобъ. Онъ не могъ вынести этихъ безмолвно карающихъ глазъ опозоренной имъ женщины, и поспѣшилъ сомкнуть свои вѣки.

Минутъ восемь спустя, когда снова пришедшій въ себя князь, съ великимъ усиліемъ подписалъ свои показанія и очной сводъ — наемная карета, съ пятью экстраординарными посѣтителями ѣхала уже обратно въ часть, изъ княжескаго дома.

XXIV

Заботы княгини о судьбѣ Вероевой и ея благочестивыя побужденія

Княгиня пошла на встрѣчу Хлѣбонасущенскому.

— Радуйтесь, матушка, ваше сіятельство, радуйтесь! въ припрыжку возвѣстилъ онъ ей, потирая ладони:— теперь уже дѣлу конецъ, и Богу слава! чистенько вышло, чистенько!... больше ужь не будутъ тревожить ихъ сіятельство, и значитъ, этакъ черезъ недѣльку они могутъ благополучно отправиться за границу, для поправленья въ здоровьѣ своемъ... Такъ-то-съ, матушка, такъ-то-съ!... Поліевктъ Хлѣбонасущенскій — уладилъ.

Въ тѣхъ экстренныхъ случаяхъ, когда княжеское семейство ощущало настоятельную нужду въ великомъ юристѣ и практикѣ, Поліевктъ Харлампіевичъ, чувствуя силу свою — что безъ него, значитъ, ничего не подѣлаешь — всегда позволялъ себѣ на это время нѣкоторую халуйственно-игривую фамильярность въ разговорѣ и обращеніи съ Шадурскими; но все-таки эта фамильярность не превышала предѣловъ извѣстной почтительности. Словомъ, это была фамильярность молодаго пуделька, котораго ласкаютъ за понёску, а впрочемъ и поколотить могутъ — и пуделекъ, про себя, очень хорошо это понимаетъ и чувствуетъ...

— Скажите, пожалуйста, что́ эта несчастная женщина? освѣдомилась княгиня, почувствовавъ состраданіе къ Вероевой.

— А ничего-съ! какъ есть, ничего! съ нагло-паяснической ухмылкой мотнулъ головой Хлѣбонасущенскій.

— Бѣдная!... Мнѣ очень жаль ее, продолжала соболѣзновать княгиня: — она такъ несчастна... горя у нея столько въ лицѣ...

— Ничего, пройдетъ-съ!... «Кто горя не пыталъ, тотъ жизнью не живалъ», сказалъ одинъ стихотворецъ.

— Скажите, что же съ ней теперь сдѣлаютъ?

— На конную повезутъ.

— Куда? съ удивленіемъ переспросила княгиня, не понявшая этого выраженія.

— На конную площадь, Рождественской части 2-го квартала, гдѣ ихняго брата обыкновенному публичному позору предаютъ, пояснилъ великій юристъ, котораго все еще ни покидало свѣтлое настроеніе духа, по поводу удачнаго окончанія «малопріятной исторіи».

Слабонервную княгиню не шутя покоробило отъ этого объясненія дальнѣйшей преспективы, какая предстояла Бероевой.

— Нѣтъ, это ужъ слишкомъ!... быстро воскликнула она, въ волненіи поднявшись съ кресла: — это наказаніе вѣдь все-таки будетъ связано съ нашимъ именемъ?... Я не хочу этого, положительно не хочу!... Да и для нея тоже слишкомъ жестоко... Она и безъ того ужь наказана...

— Хе, хе, хе!... Сострадательное сердце имѣть изволите, матушка! — И Хлѣбонасущенскій, при сей оказіи, отправилъ въ обѣ ноздри добрую понюшку душистаго табаку, слегка отвернувшись бочкомъ отъ княгини. — А вы не тревожьте себя понапрасну, продолжалъ онъ, отряхая пальцы: — мы ей другой благополучный исходъ придумаемъ; мы ее сумасшедшею сдѣлаемъ!

— Какъ сумасшедшею! пуще прежняго измѣнилась княгиня.

— А такъ-съ, какъ обыкновенно бываютъ сумасшедшіе.

— Я не понимаю васъ, мой милый...

— Хе, хе, хе!... Оно точно что, хитрая штука, ваше сіятельство; ну, да вѣдь на то мозги у человѣка? Я ужь эту удочку успѣлъ закинуть въ показаніяхъ его сіятельства князя Владиміра Дмитріевича. — Внушилъ-съ! внушилъ, то-есть, что покушеніе и все это прочее, такъ-сказать, содѣяно въ потемнѣніи разсудка, что

Бероева, значитъ, сумасшедшая и оттого понапрасну оговариваетъ себя и другихъ въ противозаконной связи, и въ ребёнкѣ какомъ-то... Это, значитъ, ей все въ мечтахъ преставлялось, а она за дѣйствительность принимаетъ... Съ таковымъ моимъ взглядомъ и медицинское показаніе доктора Катцеля отчасти согласуется.

Княгиня слушала великаго юриста съ возрастающимъ изумленіемъ и любопытствомъ.

— А если эта женщина въ здравомъ разсудкѣ? возразила она.

— Ну, такъ чтó жь, что въ здравомъ? Ну, и пущай её на здоровье!... Мы въ этомъ ей не препятствуемъ!... Съ Богомъ!

— Такъ какъ же сумасшедшей ее послѣ этого сдѣлать?!

— А ужъ у насъ на то мастера есть такіе... Черезъ освидѣтельствованіе обыкновенно это дѣлается; ну, и медики при семъ случаѣ тоже... Да это ужь пустячное дѣло, статья третьестепенная!

— И чтó же потомъ съ нею сдѣлаютъ?

— Обыкновенно, чтò! — въ сумасшедшій домъ посадятъ, лечить будутъ...

— Но это ужасно! какъ-бы про себя, замѣтила княгиня, съ содроганіемъ, нервно шевельнувъ плечами.

— Ничего тутъ ужаснаго нѣту, ваше сіятельство, невозмутимо возразилъ Хлѣбонасущенскій: — чтó жь такое? Тамъ очень хорошо содержатъ, и притомъ даже очень благородные люди сидятъ... гимнастикой развлекаютъ ихъ; чтеніе, музыка даже... пища хорошая, и все такое — въ отмѣнномъ видѣ содержатся!... А ежели супругъ пожелаетъ взять ее къ себѣ обратно, то и въ этомъ ему препятствія не окажется: можно будетъ устроить такъ. Это даже, я нахожу, прекрасный исходъ всему дѣлу! заключилъ Поліевктъ Харлампіевичъ: — потому иначе ея репутація сильно пострадала бы, да и въ ссылку еще отправили бы, съ семействомъ навѣки разлучили бы; а теперь это дѣло будетъ и для насъ и для нея безобидно: и законъ утолёнъ и граждане помилованы. Такъ-то-съ!

На княгиню, однако, эта картина благоденствія въ сумасшедшемъ домѣ мало произвела утѣшительнаго дѣйствія. Она сидѣла, погрузясь въ серьезную задумчивость. Изъ разсказа Хлѣбонасущенскаго

и изъ признаній, вынужденныхъ ею у сына, она знала почти вполнѣ настоящую исторію, въ томъ видѣ, какъ происходило дѣло въ дѣйствительности, и какъ извернули его на слѣдствіи. Съ настоящаго же часа, послѣ того, какъ сама увидала убитую горемъ Бероеву, ей стало жаль эту женщину: голосъ совѣсти мучительно заговорилъ въ душѣ княгини, борясь съ чувствомъ страха за честь ея сына, и ея фамиліи. Ей сильно бы хотѣлось теперь сдѣлать что-нибудь хорошее для Бероевой, чтобы облегчить ея дальнѣйшую судьбу, и тѣмъ успокоить внутренняго червяка, который съ этой минуты сталъ сосать у нея подъ сердцемъ.

Хлѣбопасущенскій посвоему объяснилъ себѣ это тяжелое раздумье.

— Вы, матушка, ужь объ ихъ сіятельствѣ не извольте больше безпокоиться, говорю вамъ! приступилъ онъ къ новымъ утѣшеніямъ:—теперь, значитъ, дѣлу этому данъ самый правильный ходъ. А что если ихъ сіятельство и пошалили маленько, такъ, вѣдь, что жь съ этимъ дѣлать! — молодость, кровь у нихъ горячая, не уходились еще!... Съ кѣмъ грѣхъ не случался? — Быль молодцу не укоръ, говоритъ пословица, а конь о четырехъ ногахъ да спотыкается; кто Богу не грѣшенъ? Лишь бы передъ царемъ быть чисту, а Богъ проститъ, понеже милосердію его нѣсть конца — неисчерпаемый кладезь, учитъ насъ премудрость. Поліевктъ Харлампіевичъ, вспомнивъ свою семинарскую старину, заговорилъ наконецъ въ любимѣйшемъ своемъ высоко-назидательномъ тонѣ. Но и этотъ поучительный тонъ не произвелъ на княгиню желаемаго дѣйствія, и потому опытный практикъ тотчасъ же сообразилъ, что время ему удалиться, такъ-какъ ея сіятельство не чувствуетъ болѣе охоты предаваться съ нимъ дальнѣйшимъ измышленіямъ и разговорамъ. Крякнувъ раза два въ руку и по обыкновенію оодернувъ борты фрака, онъ посеменилъ на мѣстѣ и взялся за шляпу.

— Позвольте пожелать полнаго успокоенія, проговорилъ онъ уже болѣе почтительнымъ, оффиціальнымъ тономъ: — а мнѣ пора-съ... Надо тутъ еще кой-какія колеса подмазать у бабки-голанки и у прочихъ...

Поліевктъ Харлампіевичъ откланялся и удалился. Вслѣдъ за нимъ поднялась и княгиня. Отдавъ приказаніе никого не принимать, она медленно и задумчиво прошла въ свою образную.

Опустясь тамъ въ готическое кресло, обитое темно-зеленымъ бархатомъ, княгиня долгое время безсознательно какъ-то созерцала блуждающимъ взоромъ дубовыя рѣзныя стѣны этой маленькой молельни и ея темно-зеленыя бархатныя драпировки, отдѣланныя золотой бахрамой и кистями, въ византійско-русскомъ вкусѣ. Потомъ наудачу раскрыла богато-переплетенное евангеліе и стала читать.

Чтеніе это благотворно подѣйствовало на впечатлительные нервы Татьяны Львовны, такъ что она опустилась на колѣни и стала молиться передъ изящнѣйшимъ дубовымъ кіотомъ, гдѣ теплилась день и ночь хрустальная неугасимая лампада передъ рядами большихъ и малыхъ образовъ, сверкавшихъ золотыми ризами, яхонтомъ, рубиномъ, алмазами и унизанныхъ прошивными нитями старого жемчугу. У благочестивой владѣлицы этой маленькой изящной молельни были соединены въ одной и той же комнатѣ самые разнообразные предметы христіанскаго поклоненія: древній, фамильный тѣльникъ съ мощами и тончайшей работы католическія мраморныя мадонки, пріобрѣтенныя ею въ Римѣ и Неаполѣ, которыя прихотливая фантазія княгини помѣстила обокъ съ темными ликами старо-суздальскаго, православнаго письма, въ богатѣйшихъ, старинныхъ окладахъ; дорогія іерусалимскія чотки обвивались вокругъ заздравной московской просфоры, а одинъ изъ великолѣпныхъ экземпляровъ французскихъ библій былъ украшенъ скромнымъ восковымъ херувимомъ и засохшею лозой, которыя хранились тутъ съ прошлогодней вербной недѣли. Княгиня долго молилась и усердно клала земные поклоны. Вскорѣ глаза ея увлажнились слезами

Случайно напавъ сегодня на изреченіе о любви къ врагамъ и прощеніи ненавидящихъ насъ, она тепло молилась за Бероеву, за облегченіе ея горя и судьбы, а еще болѣе того молилась и благодарила за чудесное избавленіе отъ смерти ея сына и затѣмъ паче чудесное избавленіе его отъ пятна гражданскаго и позора уголовнаго.

Въ головѣ княгини, рядомъ со скорбными помыслами объ арестованной женщинѣ, сіяла теперь отрадная мысль: «Наша фамильная честь спасена, наше имя не запятнано!»

Молитва немного утѣшила и облегчила ея душу. Княгиня вмѣстѣ съ тѣмъ приняла твердое намѣреніе облегчить и судьбу Бероевой, даже и совсѣмъ избавить ее отъ грядущей суровой развязки,

даже помочь ей матеріально и нравственно, по мѣрѣ своихъ силъ и возможности. Какъ и когда и посредствомъ чего долженствуетъ произойти это облегченіе, избавленіе и помощь — княгиня не могла еще сообразить и отчетливо представить себѣ ни въ деталяхъ, ни даже въ главныхъ чертахъ; но только была твердо и тепло увѣрена, что все это воспослѣдуетъ непремѣнно, и притомъ очень скоро. И таковое убѣжденіе, успокоивъ сосущаго ея червяка, болѣе всего способствовало облегченію ея сердца и утѣшительному успокоенію духа. Поднявшись съ колѣнъ, она подошла къ зеркалу—оправиться и поглядѣться. Капли слезъ оставили грязноватые слѣды своихъ потёковъ на очень тонкой и дорогой штукатуркѣ ея физіономіи. Вслѣдствіе этого, тотчасъ же ощутилась безотлагательная надобность въ благодѣтельной помощи бѣлилъ и прочихъ молодящихъ косметиковъ, почему просвѣтленная духомъ княгиня немедленно же и удалилась, на весь уже нынѣшній день, изъ своей уютной и располагающей къ религіозному настроенію молельни.

XXV

Пріѣздъ Бероева

Егоръ Егоровичъ Бероевъ еще въ Москвѣ, почти наканунѣ своего отъѣзда въ Петербургъ, прослышалъ темныя, нескладныя вѣсти о какомъ-то романическомъ убійствѣ, сдѣланномъ будто бы какою-то дамою въ маскарадѣ; говорили, что эта дама имѣла продолжительную связь съ какимъ то аристократомъ и убила его изъ ревности, и т. д. На этотъ мотивъ разъигрывались дальнѣйшія варьяціи въ подобномъ же родѣ. На желѣзной дорогѣ, за Чудовской уже станціей, онъ снова и совершенно случайно наткнулся на тотъ же самый разсказъ, только въ формѣ болѣе упрощенной и ближе подходящей къ дѣйствительности. Во время трехминутной остановки на одной изъ станцій промежуточныхъ, когда еще спали почти всѣ пассажиры въ вагонѣ, Бероевъ услышалъ, что упомянули его фамилію, называя женщину, сдѣлавшую убійство. Онъ поневолѣ отлянулся. Говорили два гвардейскіе офицера — драгунъ и гусаръ. Одинъ разсказывалъ другому, какъ новость, полученную имъ изъ письма, объ ихъ общемъ знакомомъ — князѣ Шадурскомъ.

— Кто же эта маска? спрашивалъ другой.

— Какая-то Бероева... дама, замужняя... Говорятъ, удивительно хороша собою.

— Ну, а мужъ-то что же?

— Да его нѣтъ въ Петербургѣ... вѣроятно, раньше еще разошлись.

— Странное обстоятельство!

— Дѣйствительно, очень странное.

Но страннѣе всего оно показалось невольно слушавшему Егору Егоровичу, такъ-какъ довольно громкій разговоръ этотъ происходилъ непосредственно за его спиною. Что-то острое болѣзненно ударило его въ сердцѣ, послѣ этихъ случайно пойманныхъ налету фразъ... Бероева... очень хороша собою... отсутствіе мужа — обстоятельства, довольно близко подходящія къ нему и его женѣ. Притомъ же онъ зналъ, что есть на свѣтѣ нѣкто князь Шадурскій, и что этотъ субъектъ былъ даже случайно какъ-то представленъ Юліѣ Николаевнѣ на вечерѣ у Шиншѣева. Но — связь любовная, убійство и его жена — все это такъ неладило между собою, представляя такія діаметрально-противоположныя понятія, что ему сдѣлалось стыдно, больно и досадно на самого себя за эту возможность минутнаго сближенія, которое пробѣжало въ его головѣ. «Странная случайность, совпаденіе фамилій — не болѣе», подумалъ онъ и постарался разсѣяться Но какое-то летучее, безпокойное ощущеніе, нѣчто похожее на темное, неясное предчувствіе, время отъ времени, врывалось непрошеннымъ въ его душу и начало копошиться въ мозгу. Онъ тотчасъ же съ негодованіемъ старался отгонять его; но чуть только поѣздъ подошелъ къ дебаркадеру петербургской станціи, имъ овладѣло какое-то нервное нетерпѣніе: съ лихорадочною поспѣшностью выпрыгнулъ онъ изъ вагона, торопливо схватилъ свой чемоданъ, проклиная медленность багажныхъ приставниковъ и, уже не помня себя отъ мучительно-жаднаго нетерпѣнія — увидѣть наконецъ свой уголъ, жену и дѣтей, приказалъ извощику гнать что-есть мочи въ Большую Подъяческую. Чѣмъ ближе подвигался онъ къ этой улицѣ, тѣмъ больше усиливались его лихорадка и тревожное колоченье сердца— ощущенія, которымъ подъ конецъ ужь онъ поддался безотчетно, будучи не въ силахъ совладать съ ними. Чуть не вывихнувъ ручку

дверного звонка, переступилъ онъ порогъ своей квартиры, и первое, что̀ представилось ему — испуганно-встревоженное, растерявшееся лицо курносой дѣвушки Груши — показалось ему вѣстникомъ чего-то недобраго.

— Гдѣ жена, что̀ дѣти? спросилъ онъ голосомъ, который вдругъ какъ-то застрялъ у него въ горлѣ.

Груша — показалось ему — очень смутилась и неопредѣленно отвѣтила: «тамъ», мотнувъ головою на внутренніе покои.

Стремительно бросился онъ въ женину комнату — пусто... Онъ въ дѣтскую — двое ребятишекъ съ радостнымъ крикомъ повисли у него на шеѣ. Тутъ только, послѣ первой ошеломляющей минуты свиданія, замѣтилъ онъ, что глаза дѣтей заплаканы и даже красновато-припухли отъ продолжительныхъ слезъ, а личики осунулись и поблѣднѣли какъ-то. Жарко обнимая дѣтей и ничего еще не успѣвъ различить, кромѣ ихъ, въ этой комнатѣ, Бероевъ однако инстинктивно чувствовалъ, что въ ней никого больше нѣтъ, и мгновенно желая удостовѣриться, точно ли это такъ, не обманули-ль его глаза, окинулъ взоромъ всю дѣтскую, но видитъ — опять-таки нѣтъ жены. Мучительная тревога его усилилась.

— А гдѣ же мама? пытливо обратился онъ къ обоимъ.

Дѣти горько, не подѣтски какъ-то заплакали.

— Что̀ съ вами, дѣтки? о чемъ вы? чего вы плачете?

— Мамы нѣтъ, едва смогли они отвѣтить, всхлипывая отъ обильно-подступившихъ рыданій.

— Ка̀къ нѣтъ!?... Да гдѣ жь она?...

— Не знаемъ...

У него опустились руки и помутилось въ глазахъ.

«Боже мой... да неужели жь это правда»? подумалось ему.

Въ дверяхъ появилась и стала въ отупѣлой нерѣшительности смущенная и блѣдная Груша. На добродушныхъ глазахъ ея тоже виднѣлись капли.

— Аграфена! что̀ все это значитъ?

Та и совсѣмъ ужь расплакалась; дѣти, увидя это, пуще ударились въ слезы и обхватили руки и колѣни отца.

— Гдѣ Юлія Николаевна?... Ну что же ты молчишь!?. Отвѣчай же мнѣ, бога-ради? Не мучьте вы меня!...

— Да какъ и сказать-то—не знаю... Нѣтъ ихъ...

— Ушла она куда, что ли?... Давно ее нѣту?

— Больше недѣли уже...

— Такъ гдѣ же она? Говорила вамъ что-нибудь, какъ уѣзжала отсюда?

— Ничего не сказали, а только часу въ девятомъ вечера стали одѣваться! я имъ платье черное шелковое достала, мантилью тоже... Онѣ пока дѣтей спать уложили и приказали ждать къ часу ночи... только не вернулись... На третій день дворникъ объявку въ часть подалъ, а въ части сказали, что барыня не пропали, а что тамъ уже знаютъ, гдѣ онѣ находятся... А какъ, и что̀?—про то мы неизвѣстны... Меня тоже звали въ часть... спрашивали, только все постороннее, а про дѣло ихнее ничего не спросили... и не сказывали мнѣ...

Этими словами для Бероева уже все было сказано. Голову его словно какой раскаленный обручъ желѣзный охватилъ кругомъ и сжималъ своими жгучими тисками: «значитъ, правда... значитъ, все это такъ, все это *было*»... Колѣни его сами собой подогнулись, какъ у приговореннаго къ смерти, когда палачъ взводитъ его на ступеньки эшафота — и онъ въ какомъ-то безсмысленномъ, тупомъ оцѣпененіи опустился на дѣтскую кроватку, ничего не чувствуя и ничего больше не видя предъ собою. Испуганныя и потому затихшія дѣти со страхомъ и недоумѣніемъ глядѣли на него во всѣ глаза, прижавшись въ сторонѣ другъ къ дружкѣ и не понимая, что это значитъ, что̀ стало вдругъ съ ихъ отцомъ. А онъ межъ тѣмъ сидѣлъ неподвижно, ни на что не глядя, ничего не замѣчая; наконецъ, словно бы проснувшись послѣ тяжелаго сна, съ усиліемъ провелъ по лицу рукою, осмотрѣлся, и весь разбитый, пошелъ вонъ изъ дому, не сказавъ ни кому ни слова.

XXVI

Петля

Послѣ очной ставки съ Шадурскимъ, Бероева снова очутилась въ своемъ затхломъ и тѣсномъ карцерѣ. Пока впереди для нея еще мелькала кой-какая смутная надежда на добрый исходъ, она ста-

ралась поддерживать въ себѣ слабѣющую бодрость. Теперь же надежда исчезла окончательно, а съ нею вмѣстѣ исчезъ и остатокъ этой бодрости. Едва лишь миновала первая, деревянно-ошеломляющая минута послѣдняго удара, нанесеннаго послѣднимъ свиданіемъ съ Шадурскимъ, едва лишь снова охватили ее четыре голыя стѣны секретнаго нумера—передъ ея глазами со всей осязательно отчетливостью раскрылся весь ужасъ ея положенія, вся грозная сторона будущей развязки: приговоръ суда, признающій въ ней убійцу, публичный позоръ, эшафотъ, Сибирь и вѣчная разлука со всѣмъ, что такъ завѣтно и дорого ея сердцу...

Ничто не дѣйствуетъ столь пагубно на мозгъ и душу человѣческую, какъ одиночное заключеніе: притупляя разсудочныя и нравственныя силы, оно до чрезвычайности развиваетъ воображеніе на счетъ всѣхъ другихъ способностей, и притомъ развиваетъ въ самую мрачную, болѣзненную сторону. Все и вся начинаетъ казаться ужаснымъ, темнымъ, иперболическимъ—и человѣкъ безотчетно поддается самой послѣдней степени безъисходнаго отчаянія. Это—такое положеніе, съ которымъ никакая пытка не сравнится.

Бероева долго лежала на своей убогой кровати, а въ головѣ ея, среди какого-то звона, шума и безконечнаго хаоса, всплывали, тонули и снова выныряли, развертываясь во всей безпощадной наготѣ, самыя тяжелыя картины и образы. Она ни о чемъ не думала, ничего больше не соображала, потому что совсѣмъ лишилась даже возможности мыслить, а эти картины и образы какъ-то сами собою безъ всякой воли съ ея стороны, какъ нѣчто внѣшнее, постороннее, вставали передъ ея нравственнымъ взоромъ и проносились безконечной, хаотической вереницей...

И это длилось цѣлыя сутки. Еслибъ у нея было зеркало, то поглядѣвшись въ него, она навѣрное не узнала бы себя и съ ужасомъ отскочила, словно бы вмѣсто своего лица ей показалось чьенибудь другое. Отъ бровей, поперегъ лба прорѣзалась у нея суровая складка; широко-раскрывшіеся, безжизненно-тусклые глаза ушли глубоко въ глазныя впадины; скулы осунулись, а въ длинной, роскошной косѣ сильно засеребрились сѣдыя нити, и волосы стали падать съ каждымъ днемъ все больше и больше. Тюрьма разрушала здоровье и красоту женщины, разрушала и душу живую.

Она не плакала, только вѣки ея были сухо воспалены и ощущалась въ нихъ рѣзь, если сомкнуть ихъ или внезапно посмотрѣть на свѣтъ. Да тутъ и не могло быть мѣста слезамъ, которыя, какъ бы то ни было, но все-таки облегчаютъ и даже освѣжаютъ душу; а это глухое отчаяніе сушитъ и давитъ все въ человѣческомъ организмѣ.

Полицейскій приставникъ два раза входилъ, по обязанности, въ ея нумеръ, приносилъ обѣдать и потомъ поставилъ и зажегъ ночникъ, каждый разъ, по обыкновенію, кидая ей мимоходомъ два-три слова; но Бероева не понимала, что̀ и о чемъ говоритъ онъ ей, даже почти не разслушала ни словъ, ни шаговъ его, потому что всѣ звуки сливались теперь въ ея ушахъ въ какой-то смутный, безразличный шумъ. Погруженная въ омутъ обуявшихъ ее образовъ, она почти и не различала даже присутствія посторонняго человѣка въ своей комнатѣ. Можно бы было подумать, что это не женщина, а какое-то существо изъ другого міра, либо покончившее всѣ разсчеты съ землею, либо никогда и неимѣвшее съ нею ничего общаго.

Среди ночи нагорѣлая свѣтильня въ истощившемся шкаликѣ начала трещать, помигала съ минуту умирающими вспышками, затѣмъ отдѣлился отъ нея кверху послѣдній синій огонекъ — и въ карцерѣ мгновенно разлилась непроницаемая, густая темнота вмѣстѣ съ горьковатымъ смрадомъ дымящейся копоти.

Въ эту самую ночь, еще въ блаженномъ невѣдѣніи, мужъ Бероевой на всѣхъ парахъ мчался къ Петербургу.

Арестантка не спала. Цѣлый день и всю ночь затѣмъ, до этой минуты, она почти неподвижно лежала въ одномъ и томъ же положеніи. Но теперь, вмѣстѣ съ могильною темнотою, когда фантазія еще ярче стала рисовать образы сиротъ-дѣтей и мужа, разлуку съ ними и палача на эшафотѣ среди конной площади, межъ густой толпы равнодушно-любопытныхъ зрителей— ею овладѣла мутящая тоска, а вмѣстѣ съ тоскою мелькнулъ и слабый проблескъ какого-то сознанія.

«Нѣтъ, могила лучше... не будешь мучиться, позора не увидишь... лучше, лучше, лучше...»

И вмѣстѣ съ этой мыслью, Бероева торопливо опустила руку въ карманъ, достала носовой платокъ и сѣла на постели.

Въ мрачномъ и сосредоточенномъ спокойствіи, свертѣла она изъ платка жгутъ, накинула его себѣ на шею, и завязавъ подъ горломъ узелъ, медленно, но сильно стала затягивать его обѣими руками.

Однака операція эта не удалась: она была мучительна, но не привела къ счастливой цѣли, такъ-какъ въ ослабѣвшей рукѣ Бероевой не оказалось теперь на столько силы, чтобы можно было удобно задушиться.

Но разъ напавши на мысль о самоубійствѣ — Бероева уже не покидала ее. Въ этой мысли для нея теперь являлся единственный выходъ изъ своего положенія — и она твердо рѣшилась покончить съ собою.

Надо было только придумать легчайшій способъ; но за этимъ дѣло не стало: Бероева нашла, что повѣситься будетъ, кажись, всего удобнѣе, надобно только дождаться свѣту, чтобы высмотрѣть нѣтъ ли гдѣ въ окнѣ или у печной заслонки подходящаго зацѣпа, который бы выдержалъ тяжесть ея тѣла. А пока, чтобы не терять даромъ времени, она въ темнотѣ принялась за работу: прогрызая зубами подолъ своего шелковаго платья, отрывала кайму за каймою, и изъ этого матеріала старательно сплетала себѣ веревку, то-и-дѣло пробуя, крѣпко ли связаны узелки на ней.

Часа черезъ два работа была кончена; поэтому тщательно запихавъ къ себѣ за лифъ импровизированную веревку, Бероева стала нѣсколько спокойнѣе, какъ человѣкъ, опредѣлившій себѣ окончательную цѣль, и только ждала желаннаго разсвѣта.

Но съ разсвѣтомъ по корридору заходили полицейскіе солдаты— того и гляди, приставникъ или подчасокъ въ форточку заглянетъ и дверь отомкнетъ—время, стало быть, неудобное, придется обождать, пока угомонятся, пока арестантскій день войдетъ въ свою обычную колею.

И точно, приставникъ не заставилъ долго ждать своего обычнаго утренняго визита въ форточкѣ. Замѣтивъ сквозь нее на арестанткѣ изорванное платье, онъ отперъ ея дверь и подозрительнымъ окомъ окинулъ всю комнату. Въ подобныхъ случаяхъ, у бывалыхъ полицейскихъ, по опыту, иногда развито чутье удивительное.

Бероева притворилась спящей. Солдатъ постоялъ надъ нею, по-

глядѣлъ на ободранныя полы платья, заглянулъ подъ кровать, подъ тюфякомъ и подъ подушкой, безъ церемоніи пошарилъ рукою, и рѣшилъ про себя, что дѣло, молъ, неспроста. — «Надо приглядывать почаще, чтобъ чего еще не скуролѣсила надъ собою, а то вѣдь своей спиной отдуваться придется, коли эдакъ за нее да взбучку зададутъ».—И принявъ таковое рѣшеніе, солдатъ удалился изъ нумера.

Часъ спустя, корридорная дѣятельность полицейскихъ угомонилась: все затихло, не слыхать ни говору, ни шаговъ — удобная минута наступила.

Арестантка внимательно стала оглядывать комнату—нигдѣ нѣтъ подходящаго крючка или гвоздя; въ окнѣ только выдается головка желѣзной задвижки; окно высоко — въ ростъ человѣческій не достанешь, но та бѣда, что какъ разъ противъ дверной форточки приходится. Не смущаясь этимъ, она затянула петлю, вскочила на столъ и стала уже закрѣплять у оконной задвижки свободный конецъ своей веревки, какъ вдругъ дверь быстро распахнулась и полицейскій приставникъ ухватилъ ее за руку.

— Эге-ге, барынька!... дѣло-то не тово... Зачѣмъ на столъ влѣзла?... Что̀ это въ рукахъ?... Петля?... Э-э, вонъ оно что̀!... Гусёнокъ! а Гусёнокъ! Подь-ка, позови ихъ благородіе, дежурнаго; скажи, молъ: приключеніе!

Подчасокъ побѣжалъ-было за дежурнымъ, но въ концѣ корридора вдругъ остановился и вытянулся въ струнку: дежурный самолично входилъ сюда вмѣстѣ съ другимъ «партикулярнымъ» человѣкомъ.

— Приключеніе, ваше благородіе!

— Какое?

— Не могу знать, ваше благородіе!

— Куда жь ты бѣжалъ.

— Доложить вашему благородію, что, молъ, такъ и такъ—приключеніе.

Поравнявшись съ полурастворенной дверью Беросвой, дежурный указалъ на нее своему спутнику:

— Здѣсь.

— Ваше благородіе! пожалуйте сюда поскорѣе! отойти никакъ

не могу: приключеніе! въ свою очередь кричалъ дежурному приставникъ извнутри нумера.

Бероева уже стояла на полу, когда въ дверяхъ остановились два посѣтителя: солдатъ не отпуская держалъ ее за руку, на томъ основаніи, что «неровёнъ часъ, затылкомъ, алибо лбомъ объ стѣну съ неудачи хватится, потому примѣры-то бывали». Арестантка же, словно бы не понимая, что̀ около нея творится, стояло глубоко потупивъ глаза и голову: двѣ неудачи еще упорнѣе разожгли теперь ея мономаническое исканіе смерти.

— Что̀ здѣсь? лаконически спросилъ, войдя въ нумеръ, дежурный.

Приставникъ еще лаконичнѣе, молча указалъ ему пальцемъ на окно, съ котораго спускалась приготовленная петля.

— Васъ желаетъ видѣть... супругъ вашъ... сегодня пріѣхалъ только, наклонился къ Бероевой дежурный.

Та подняла глаза и отступила въ величайшемъ изумленіи. Она не чувствовала въ себѣ смѣлости ни броситься къ нему на шею, какъ бы сдѣлала это прежде, ни даже сказать ему что либо, и потому, какъ будто подсудимая въ ожиданіи рѣшенія своей судьбы, снова стала передъ нимъ, потупя взоры и опустивъ голову.

Дежурный вышелъ изъ комнаты и мигнулъ за собою приставнику.

— Притвори-ка дверь, да стань у форточки, пусть ихъ одни поговорятъ тамъ, распорядился онъ въ корридорѣ.

Бероевъ, оставшись съ глазу на глазъ съ женою, подошелъ къ ней, кротко взялъ за руку, поднялъ ея голову и тихо поцаловалъ беззвучнымъ, долгимъ и любящимъ поцалуемъ.

Это движеніе сдѣлало въ ней переворотъ и мгновенно вызвало къ жизни все существо ея, она не одна теперь, она не потеряла еще любви человѣка, которому разъ навсегда отдала свою душу— и, зарыдавъ съ невыразимымъ, но тихимъ стономъ, опустила на грудь къ нему свою горемычную голову.

Прошла минута какого-то жгуче-радостнаго и жгуче-тоскливаго забытья.

Наконецъ, она нервно и словно бы испуганно отшатнулась и спѣшно отвела отъ себя его руки.

— Нѣтъ, стой... отойди, не прикасайся ко мнѣ! заговорила она черезъ силу, глухимъ, рыдающимъ голосомъ: ей было больно, тяжело отталкивать отъ себя любимаго человѣка, тяжело разстаться съ этимъ тоскливо-радостнымъ забытьемъ на его груди; однако пересилила себя:

— Не прикасайся... Скажи мнѣ прежде, ты вѣришь въ меня? говорила она, ожидая и боясь его отвѣта. Этимъ отвѣтомъ порѣшалось ея нравственное быть или не быть — судьба ея нравственнаго и даже физическаго существованія: коль вѣритъ, такъ нестрашна дальнѣйшая судьба, какова бъ она ни была; не вѣритъ — смерть, и смерть какъ можно скорѣе.

— Къ чему этотъ вопросъ? вѣдь я съ тобою, вѣдь я люблю тебя! сказалъ Бероевъ, снова простирая къ ней свои руки.

— Нѣтъ! это не тò; мнѣ не того отъ тебя надо! снова отшатнулась она: — мало ли чтò любятъ на свѣтѣ!... любятъ, такъ и прощаютъ, а меня прощать нѐ въ чемъ. Ты мнѣ скажи одно: вѣруешь ли ты въ меня, какъ прежде вѣровалъ, или нѣтъ?

Да! открыто и честно подтвердилъ ей Бероевъ.

— Спасибо... спасибо тебѣ! тихо вымолвила она, сжимая его руку и снова бросилась на шею, какъ за минуту передъ тѣмъ, и долго и сильно рыдала. Но это уже было благодатное, спасительное рыданіе, въ которомъ разрѣшалась вся чорствая засуха безнадежнаго отчаянія, накопившагося въ груди этой женщины.

— Ну, теперь слушай, проговорила она съ тяжелò-вырвавшимся, судорожнымъ вздохомъ, послѣ того, какъ успѣла въ волю наплакаться.

— Я знаю, я уже все знаю! прервалъ ее Бероевъ: — мнѣ все уже разсказалъ слѣдователь и показалъ все дѣло.

— Это еще не все; ты знаешь дѣло, да души-то моей не знаешь пока; перестрадала да передумала-то я сколько — вотъ чего ты не знаешь!... Да Боже мой, какъ и разсказать-то все это! говорила она, хватаясь за голову, словно бы для того, чтобы собрать и удержать свои мысли: — я и сама хорошенько не понимаю, кàкъ оно случилось, и не знаю, кàкъ и чтò это они сдѣлали тогда со мною!... Но... вотъ видишь ли, продолжала она, кротко и ласково, съ безконечной любовью смотря въ его глаза: — теперь вотъ, по-

слѣ того какъ ты сказалъ, что вѣруешь въ меня попрежнему — я виновата передъ тобою... Прости меня!... Я виновата тѣмъ, что скрыла отъ тебя, что раньше не сказала; тогда бы ничего этого не было... Я усомнилась въ твой вѣрѣ... Прости меня!

И она, съ новыми слезами, покрыла его руки долгими, любящими поцалуями.

— Зачѣмъ ты скрыла отъ меня? тихо, но безъ укора, и любовно прошепталъ Бероевъ, склоняя къ ея щекѣ свою голову.

Арестантка горько усмѣхнулась; но эта горечь относилась у нея не къ вопросу мужа, а единственно лишь къ самой себѣ: это былъ укоръ, который внутренно она дѣлала себѣ за свои прежнія сомнѣнія и недовѣріе.

— Боялась, отвѣтила она, вслѣдъ за своей горькой улыбкой:— и за себя, и за ребёнка, и за счастье наше, за вѣру твою боялась. Прости, но... что̀ жь съ этимъ дѣлать теперь? Выслушай меня!

И Бероева слезами и любовью вылила передъ нимъ всю свою душу, всѣ тѣ сомнѣнія и страхи, которые со времени беременности и до послѣднихъ дней неотступно терзали ее; разсказала все дѣло, на сколько она помнила и понимала его, и—передъ Бероевымъ со всею осязательностью внутренняго, глубокаго убѣжденія встала теперь ея безусловная чистота, неповинность, и то эгоистическое, но высокое чувство любви, которое побудило ее скрыть отъ него всю эту исторію и ея послѣдствія.

— И вотъ — видишь ли, до чего было довело меня все это! закончила она, указавъ на висѣвшую на стѣнѣ и несорванную еще петлю.

Бероевъ, при видѣ этой петли, ясно почувствовалъ, какъ отъ внутренняго ужаса холодкомъ мураши у него по спинѣ побѣжали.

— Пять минутъ позже—и всему бы конецъ! смутно прошепталъ онъ, подъ тѣмъ же впечатлѣніемъ и даже со страхомъ какимъ-то покосясь на̀ стѣну.

— Но — теперь уже этого не будетъ! съ вѣрой и увлеченіемъ глубокой любви прервала его арестантка: — оправдаютъ ли они меня, или не оправдаютъ — мнѣ все-таки легче будетъ, чѣмъ до этой минуты. Въ Сибирь... что̀-жь и въ Сибирь пойду, лишь бы ты да дѣти со мною! Тамъ ужь, дастъ-Богъ, одни мы будемъ, тамъ, но-

жеть, губить уже некому будетъ! Хуже чѣмъ тутъ — вѣдь ужь едва-ли гдѣ можно, а мнѣ и здѣсь теперь ничего, я и съ этимъ вотъ помирилась... Ты, мой милый, добрый, ты теперь со мною— больше мнѣ нечего бояться?!

XXVII

Пройди-свѣтъ

Бероевъ пришелъ сюда отъ слѣдственнаго пристава, который разрѣшилъ ему свиданіе. Слѣдствіе было почти окончено, стало быть препятствій видѣться съ арестанткой уже не имѣлось. Уличный холодокъ освѣжилъ его и придалъ бодрости, когда онъ вышелъ изъ своей квартиры на воздухъ. Онъ поѣхалъ въ часть — узнать обстоятельно все дѣло; но въ части не сообщили ничего положительнаго, а послали въ другую, при которой содержалась арестантка и гдѣ производилось слѣдствіе. Приставъ, съ глазу на глазъ, въ своемъ кабинетѣ разсказалъ ему всѣ факты, имѣвшіеся у него въ рукахъ, и потребовалъ къ себѣ изъ канцеляріи самое дѣло.

Это обстоятельство весьма заинтересовало собою двухъ смышленыхъ господъ: доку-письмоводителя, и того писца, который сообщилъ Хлѣбонасущенскому «справочку» объ адресѣ акушерки и на рукахъ у котораго хранилось самое дѣло, такъ-какъ онъ, по прямому своему званію и назначенію, велъ въ немъ всю письменную часть, записывалъ показанія свидѣтелей, очные своды и прочее. Одно уже тò, что Бероевъ, прося доложить о себѣ приставу, назвалъ свою фамилію, показалось этимъ господамъ весьма интереснымъ: «новый гусь — новый пухъ», помыслили про себя оба, и рѣшились наблюдать, «въ акуратъ и по пункту, чтó бы, молъ, это значило и чтò изъ того произойдетъ»?

Дока-письмоводитель педаромъ называлъ себя жаренымъ и паренымъ Пройди-свѣтомъ. Онъ умѣлъ очень ловко принимать разные виды и образы, за что отъ почтенныхъ сотоварищей и благопріятелей своихъ удостоился даже разъ навсегда особаго прозванія.

— Кузька Герасимовъ — э, братъ, это не пёсъ и не человѣкъ, это — оборотень, сущій оборотень! выражались о немъ упомянутые сотоварищи, когда, бывало, соберутся всѣ вкупѣ, въ какомъ-нибудь трактирчикѣ, ради братственныхъ прохожденій по очищенной и путешествій по пунштамъ: — Кузька Герасимовъ — это такой человѣкъ, что просто вó!... Кого хочешь проведетъ и выведетъ; въ чернила по маковку окунется и сухъ выйдетъ, и чистъ — и еще, гляди, паче снѣга убѣлится. А ужь какъ пристава своего закрутилъ— малина!... Такимъ смиренствомъ и чистотой передъ нимъ форситъ, что тотъ и по гробъ жизни своей въ томъ убѣжденіи скончаетъ, что Кузька Герасимовъ — воплощенная честность и добродѣтель!... Такъ, братъ, ловко прикидываться умѣетъ!... Тонко ведетъ дѣла свои, бестія, очень тонко! Приставъ-то его молодо-зелено еще, къ тому же изъ правовѣдскихъ, а этотъ—орелъ-чиновникъ, ну, и значитъ, знаетъ подходъ! Кусай его кто хочетъ, какъ орѣхъ на зубахъ— въ три вѣка не раскусишь, чтò онъ за человѣкъ есть—столь это умѣетъ тонко честностью своею прикидываться, потому—мозги!

Дѣйствительно, мозги у жаренаго Пройди-свѣта отличались какимъ-то особеннымъ канцелярски-крючкотворнымъ устройствомъ и весьма тонкою сметливостью, которая собственно и помогала ему очень успѣшно разъигрывать роли честнаго, добропорядочнаго, надежнаго и неподкупнаго чиновника, въ глазахъ тѣхъ, передъ кѣмъ, по его соображеніямъ, таковыя роли надлежало разъигрывать.

Когда приставъ такъ внезапно, во время келейнаго разговора своего съ Бероевымъ, потребовалъ къ себѣ слѣдственное дѣло о его женѣ — орелъ-чиновникъ собственноручно понесъ его въ кабинетъ своего непосредственнаго патрона.

— Тамъ просятъ справочку одну, началъ онъ, вручивъ приставу бумаги и называя одно изъ текущихъ дѣлъ:—оно, я знаю, у васъ на столѣ находится... Позвольте мнѣ переглядѣть, я въ залѣ на минутку присяду, чтобы не мѣшать вамъ... поищу тамъ-себѣ...

И взявъ со стола цѣлую кипу бумагъ, Пройди-свѣтъ удалился въ смежную комнату, приперевъ, ради благовидности, и дверь слегка за собою. Близь этой двери онъ, какъ-бы ненарокомъ, помѣстился у столика и навострилъ уши: ладно, все какъ есть, дочиста слышно, чтò говорится, а этого только ему и требовалось.

Послѣ трехъ часовъ, едва слѣдователь кончилъ свои занятія и уѣхалъ куда-то, Кузьма Герасимычъ Герасимовъ, вмѣсто того, чтобы отправляться въ нѣдра семейства своего и садиться за мирную трапезу, махнулъ на извощикѣ къ Поліевкту Харлампіевичу Хлѣбонасущенскому.

— Что́ скажете, батенька? Нѣтъ ли чего хорошенькаго? озабоченно усадилъ его великій юристъ и практикъ, прочтя на физіономіи оборотня нѣчто такое, что̀ ясно говорило, будто приходъ его неспроста и непремѣнно заключаетъ въ себѣ какую-нибудь мерзопакостную закорючку.

— Да все помаленьку двигается... А вотъ — арестантка наша чуть не повѣсилась нынче, пробурчалъ тотъ сквозь зубы, напуская на себя соотвѣтственную мрачность.

Физіономія Хлѣбонасущенскаго изобразила вопросъ и холодное удивленіе.

— Однако, не совсѣмъ вѣдь, чтобы ужь до смерти? присовокупилъ онъ.

— Помѣшали, сообщилъ письмоводитель: — вовремя захватили, потому въ этотъ самый моментъ къ ней мужъ пріѣхалъ... И, я вамъ скажу, тонкая-съ иголка, мужъ-то ея; можетъ, еще и другой какой оборотъ въ дѣлѣ выйдетъ.

— А вы развѣ слыхали что́? съ живымъ интересомъ перебилъ Хлѣбонасущенскій.

— Нѣтъ-съ... я только такъ, между прочимъ, уклонился Пройди-свѣтъ, крякнувъ въ руку и созерцая карнизъ потолка.

Но великій практикъ сразу уже понялъ, что дѣло тутъ вовсе не «такъ» и не «между прочимъ», а что Пройди-свѣтъ только фальшивыя траншеи ведетъ, потому душа его нѣкотораго елею жаждетъ и требуетъ необходимой смазки.

— Славная у васъ квартирка! снова крякнувъ, началъ оборотень.

— Н-да-съ, квартирка такъ-себѣ, ничего, живетъ понемножку.

— Отмѣнная-съ... Вѣдь это, поди-ко даровая у васъ, по положенію слѣдуетъ въ княжескомъ домѣ?

— По положенію... А что́?

— Нѣтъ, я только такъ это... къ тому веду рѣчь свою, что

необыкновенное счастіе въ наше-то трудное время казенной квартирой заручиться.

— А у васъ развѣ не казенная?

— Пользовался прежде, но семейство меня удручаетъ: каждый годъ почти приращеніе... ну, и тѣсновато стало, на вольную пришлось перебираться... А ужь это что́ за житье на вольной!—званія того настоющее... Къ тому жь и жалованье наше маленькое... трудновато жить, по нынѣшнему-то времени, трудновато-съ!...

— А вы бы приватныхъ занятій какихъ-нибудь искали себѣ? въ видѣ благого совѣта попытался увильнуть Хлѣбонасущенскій.

— Хм!... Помилуйте-съ! Какія ужь тутъ приватныя! и служебныхъ—по горло, сами изволите знать... Трудно, очень трудно... Просилъ-было онамедни взаймы у одного денежнаго человѣка, да нѣтъ, не даетъ!... говоритъ, безденежье всеобщее... Ну, оно конечно...

— Взаймы?... какъ бы безсознательно повторилъ Хлѣбонасущенскій, глядя ему въ переносицу и затѣмъ пріостановился. — А вѣдь это можно устроить, пожалуй! присовокупилъ онъ вдругъ, принявъ видъ самаго родственнаго участія къ Пройди-свѣту.

Тотъ быстро вскинулъ на него свои вглядчивые глаза.

— Вы полагаете?

— Полагаю... Это я съ большимъ удовольствіемъ могъ бы устроить для васъ.

— То-есть какъ же оно?... тово...

— А изъ собственнаго источника... Впослѣдствіи, Богъ-дастъ, сочтёмся какъ-нибудь... Не такъ ли?

— Оно, конечно... и я... тово... чувствительнѣйше благодаренъ...

За симъ наступило пріятное, но немножно неловкое молчаніе.

— Такъ позвольте—мы уклонились нѣсколько отъ предмета бесѣды: вы, кажись, про мужа что-то говорили?

— Такъ-съ. Пріѣзжалъ онъ нынче къ слѣдственному о дѣлѣ справляться и—я вамъ доложу — отмѣнно принятъ былъ въ кабинетѣ; очень образованный и даже, надо полагать, ученый человѣкъ, свѣдѣніями обладаетъ, ну, и... разговоръ былъ-съ. Нашъ-то говоритъ ему: по моему, говоритъ, внутреннему убѣжденію, она невинна; она защищалась отъ насилія. Это насчетъ князя-съ. А

только тутъ, говоритъ, дьявольская интрига, надо полагать, подведена подъ нее; и я, говоритъ, имѣю основаніе думать, что подводитъ интригу-то князь Шадурскій, то-есть собственно господинъ Хлѣбонасу-щен-скій. Вотъ оно что-съ! Я, говоритъ, пытался всячески устранить его, да ничего не подѣлаешь, пока нѣтъ у насъ ясныхъ фактовъ и доказательствъ; потому теперь сила у нихъ—и въ рукахъ, и свыше: только нахлобучку за этого барина получилъ, будто за пристрастныя мои дѣйствія противъ князя, да и дѣло отнять хотѣли для передачи другому лицу, и никакихъ, говоритъ, резоновъ моихъ во вниманіе не взяли. Вотъ оно какъ-съ! Я, говоритъ, всѣ силы употреблялъ—и все ничего! Давайте, говоритъ, вмѣстѣ дѣйствовать, ищите, розыскивайте, помогайте мнѣ; можетъ, что́ и окажется. И кажись, у этого Бероева есть въ рукахъ какія-то нити... Горяченько хочетъ приняться за пружинки, горяченько-съ...

Лицо Хлѣбонасущенскаго немножко вытянулось. «А чѣмъ черти не шутятъ?» подумалъ онъ въ эту минуту, и рѣшился принять свои мѣры, какія, по соображеніямъ, окажутся нужными.

Кузьма Герасимычъ, по относительной маловажности своего сообщенія, получилъ только «сѣренькую взаймы» и забожился, что буде окажется нѣчто, то увѣдомитъ, не медля ни минуты.

И точно, въ тотъ же самый день, часовъ около шести вечера, Поліевктъ Харлампіевичъ получилъ отъ него увѣдомленіе весьма важнаго свойства, которое заставило уже не шутя вытянуться его физіономію.

XXVIII

Надежда еще не потеряна

Успокоивъ и утѣшивъ, на сколько хватило силы и умѣнья, свою жену, Бероевъ вышелъ изъ ея нумера съ невыразимой болью и злостью въ душѣ. Часа два бесѣды съ нею помогли окрѣпнуть несокрушимому уже теперь убѣжденію въ томъ, что она, отъ начала до конца, послужила неповинною жертвой—сперва гнусной прихоти князя Шадурскаго, а потомъ — еще болѣе гнусной его трусости и подлой, подпольной интриги. Височныя жилы и глаза его налива-

лись кровью, грудь высоко и тяжело подымалась отъ судорожнаго дыханія, и ногти невольно впивались въ ладони крѣпко сжатыхъ кулаковъ, когда онъ сходилъ съ лѣстницы полицейскаго ареста. Вся злоба, ненависть и жажда мести, какія только могутъ существовать въ сердцѣ человѣка, кипѣли теперь у него противъ Шадурскаго. Но въ то же время, воспоминаніе о петлѣ, которую такъ неожиданно увидѣлъ онъ на стѣнѣ карцера своей жены, это лицо, изможженное глубокимъ страданіемъ, эти посѣдѣвшіе въ столь короткое время волосы, и наконецъ, та скорбь и отчаяніе, которыя звучали въ каждомъ словѣ ея разсказа — надрывали его сердце болью и жалостью, почувствовать какія можетъ только безгранично-любящій, близкій человѣкъ. Эта скорбь говорила ему, что нечего терять ни минуты времени, что надо дѣйствовать и спасать—какъ можно скорѣе спасать ее отсюда, пока еще уцѣлѣли въ ней жизнь и разсудокъ.

Не составивъ себѣ никакого опредѣленнаго плана о томъ, какія принять теперь мѣры, и какъ именно начать дѣйствовать — онъ какъ-то наобумъ поѣхалъ прямо къ акушеркѣ. Но посѣщеніе это вышло вполнѣ неудачно. Ни мольбы, ни угрозы — ничто не заставило ее признаться въ истинѣ дѣла. Кулакъ-баба тотчасъ же сообразила, во-первыхъ, что съ этого барина взятки гладки, тогда какъ Хлѣбонасущенскій уже далъ, да и еще дать обѣщался, а во-вторыхъ—измѣненіе показанія пахнетъ теперь тюрьмою, если чѣмъ не похуже, такъ-какъ ребенокъ скраденъ, а за это, да еще за ложное свидѣтельство она сама становится участницей уголовнаго дѣла. Вслѣдствіе такихъ соображеній, она какъ и передъ приставомъ, заперлась во всемъ, очень сухо отвѣчала Бероеву, плакалась, что ее, неповинную и темную женщину, хотятъ, Богъ-знаетъ почему, запутать въ какое-то скверное дѣло, и наконецъ, безъ дальнихъ церемоній, настоятельно стала требовать, чтобы Бероевъ тотчасъ же вышелъ вонъ изъ ея квартиры.

Дѣлать было нечего; надежда лопнула, исхода не видать—и Бероевъ совсѣмъ упалъ духомъ.

Выйдя отъ нея на дворъ, онъ чувствовалъ, какъ у него подкашивались ноги, какъ закружило и одурманило голову... Ему сдѣлалось дурно. Съ трудомъ дотащился онъ до подворотни и, въ из-

неможенія и отчаянія, опустивъ на руки свою голову, оперся ими объ стѣну. Иначе онъ бы не выдержалъ, и упалъ бы на мѣстѣ.

Дворникъ, который до той минуты, сидя на приворотной деревянной тумбѣ, флегматически покачивалъ ногою, въ ладъ какой-то пѣсни, что̀ мурлыкалъ-себѣ подъ носъ, обернулся и поглядѣлъ на него съ изумленіемъ.

— Что̀ за притча такая?... Нѐкогда, кажись бы, надрызгаться... Шелъ къ бабкѣ-голландкѣ—совсѣмъ, какъ быть надо тверёзый человѣкъ, а вышелъ — словно три полштофа сразу хватилъ... Пойтить поглядѣть, нешто?

И онъ, разглядывая, неторопливо подошелъ къ Бероеву.

— Эй, сударь!... нехорошо... съ утра-то!... Право, нехорошо. Ну, что̀ стоять-то такъ?... Ступайте-ко лучше... пойдемъ, я провожу—извощика кликну... потому, не резонтъ. Э-э!... да онъ никакъ боленъ!... а я думалъ пьянъ, сообразилъ онъ, заглянувъ въ поблѣднѣлое лицо Бероева: — эй, баринъ... слышьте, что̀ съ вами? Больны вы?... ась?... Воды бы испить, что-ли... Пойдемъ, сведу въ дворницкую, передохните чуточку, а здѣсь—нехорошо... народъ ходитъ.

И подхвативъ больного подъ руку, онъ осторожно спустился съ нимъ въ свою «дворницкую», низенькая дверь которой выглядывала тутъ же, въ подворотнѣ.

Выпивъ стаканъ воды, Бероевъ пришелъ въ себя.

— Надо быть, разговоръ какой у васъ вышелъ, принялся толковать съ нимъ дворникъ:—это, что ни на есть сволочь послѣдняя—эта самая бабка-голландка. Въ христовъ день съ проздра̀вкой придешь — гривенникъ, сука, отвалитъ, а больше и не жди... Вотъ, въ полицію теперь таскаютъ — тамъ, надо быть, въ партмуне-то заглянуть ей...

Бероеву явилась внезапная мысль.

— Послушай, братъ, началъ онъ:—не замѣчалъ ты, мѣсяца три съ небольшимъ назадъ, была ли у нея одна женщина... родить къ ней пріѣзжала, и жила потомъ нѣсколько дней?

— Да здѣсь ихъ много приходятъ къ ней... это случается. А какая-такая женщина изъ себя-то?

Бероевъ какъ можно подробнѣе и понятнѣе старался описать ему примѣты своей жены.

Дворникъ раздумался.

— Н-да... этта, помнится, кажись, что была... Какъ же, какъ же — помню!... Точно что, пріѣзжала и родила тутъ... мальчика, сказывали, родила... Она и опосля того пріѣзжала сюда сколько-то разовъ... Это я теперичи доподлинно вспомнилъ.

— Гдѣ теперь этотъ ребенокъ?

— Да у ей, у бабки же должонъ быть, коли тамъ оставленъ... Она этимъ дѣлами займается, воспитываетъ тоже.

— Его нѣтъ теперь тамъ... вѣрно отдала куда-нибудь... Ты не знаешь?

— Не знаю; можетъ, и отдала... у нихъ всяко случается!

— Онъ съ недѣлю назадъ еще былъ тутъ — это я знаю положительно.

— Съ недѣлю?... Постой-ка, братъ... съ недѣлю...

Дворникъ потупился и снова сталъ припоминать. У Бероева чуть духъ въ груди не захватило отъ ожиданія и надежды.

— Съ недѣлю... Н-да, точно... Теперь вотъ помню... оно и въ самомъ-дѣлѣ, не дольше какъ дёнъ шесть минуло. Стою я этта часу въ шестомъ у воротъ, а дѣвка ейная — жидовка — вышла съ младенцемъ — на рукахъ у ей младенецъ въ салонѣ завернутъ былъ. А я еще шутемъ окликнулъ ее: куды, молъ, несетъ-те нелегкая съ дитемъ-то? а она ухмыляется: — гулять, говоритъ, иду. Постояла малость, поглазѣла такъ насторони, да и пошла. А потомъ черезъ сколько-то времени вернулась, только ужь одна, безъ ребенка. Я себѣ и подумалъ: «вѣрно, снесла куда ни-на-есть, аль можетъ у родителевъ оставила».

— И этого ребенка ты больше не видѣлъ?

— Не видѣлъ, точно не видѣлъ... Да и зачѣмъ мнѣ? Мнѣ оно ровно что ни кчему.

— А не помнишь, онъ одинъ въ то время былъ у нея на воспитаніи?

— Кажись, что одинъ... Другого-то не чуть было, а по крику надо бы услышать; ну, и видишь иной разъ тоже, какъ воду, аль дрова принесешь. А видалъ-то я, раза два эдакъ случаемъ, точно — одного только.

— И вотъ, въ эту недѣлю его тамъ не было?

— Надо быть, и въ самомъ дѣлѣ, не было; потому, коли бываютъ у нея эти самыя робятки на спитаніи, такъ съ ними завсегда жидовка эта ейная водится, а всѣ эти дни, кажись, не при дѣлѣ она; такъ-себѣ попусту валандается.

По мѣрѣ этихъ разспросовъ, лицо Бероева прояснялось: надежда еще есть — спасеніе возможно. Это придало ему новую бодрость.

— Ты не замѣтилъ ли, продолжалъ онъ наводить на дальнѣйшій слѣдъ словоохотливаго собесѣдника: —не пріѣзжалъ сюда около этого же времени одинъ господинъ, пожилой, небольшого роста, съ бакенбардами.

И онъ постарался напомнить ему фигуру Хлѣбонасущенскаго, хотя и самъ былъ знакомъ съ этой фигурой только по разсказу слѣдственнаго пристава.

Дворникъ опять потупился, и сталъ соображать.

—Какъ же, какъ же!... три раза былъ... точно. Эге, да вотъ-оно что! Теперь вспомнилъ! внезапно воскликнулъ онъ, оживляясь глазами и улыбкой: —впервой-то, помнится, пріѣхалъ онъ на извощикѣ въ тотъ самый разъ, какъ жидовка дитю со двора унесла. Послѣ него, только-что уѣхалъ, она чуть не слѣдомъ и унесла— съ полчаса времени прошло опосля того, не больше. А потомъ онъ два раза на своихъ лошадяхъ, пріѣзжалъ, парой — рыженькія еще эдакіе лошадки, шведочки — хорошія лошадки. Не знаю ужь для какихъ дѣловъ, а только точно что былъ; третева-дни послѣдній разъ этта пріѣхалъ, и долго сидѣлъ; я еще къ кучеру подошелъ: чьи, молъ, такія лошади? а онъ, песъ, облаялъ: господскія, говоритъ; а чьего господина? — мово, говоритъ; а какъ его зовутъ, молъ? — зовутъ, говоритъ, зовуткой, бабиной дуткой, да еще нехорошее слово такое ввернулъ, лядъ его дери! А больше съ того разу и не пріѣзжалъ.

Бероевъ поразмыслилъ надъ этимъ фактомъ. День послѣдняго пріѣзда совпадалъ съ кануномъ очной ставки акушерки съ его женою. Очевидно, Хлѣбонасущенскій училъ ее, какъ и чѣмъ уличать обвиненную.

— А передъ этимъ разомъ когда еще пріѣзжалъ, не упомнишь ли? спросилъ онъ.

— Дня-то теперичи доподлинно не упомню, а только, кажись, въ тотъ самый вечеръ, какъ бабкѣ надо бы первую повѣстку получить, значитъ этта, позывъ къ приставу въ часть. Я вѣдь и городового приводилъ къ ней съ повѣсткою-то. А послѣ повѣстки, часа этакъ черезъ два, коли не поболѣ, и баринъ, значитъ, пріѣхалъ, и долго опять-таки сидѣлъ онъ тутъ; я ему потомъ и калитку отворялъ, какъ выпускалъ-то. Это такъ, вѣрно будетъ, это я доподлинно помню.

Новое сообщеніе дворника опять-таки навело Бероева на мысль, что и это посѣщеніе не спроста сдѣлано, а имѣло цѣлью подготовить акушерку къ первому допросу. Всѣ эти факты—еслибы дворникъ не отказался подтвердить ихъ формальнымъ образомъ, подъ присягой — могли бы имѣть очень хорошее значеніе и повліять на благопріятный исходъ для Бероевой. Заручившись такъ неожиданно столь важными и драгоцѣнными свѣдѣніями, онъ откровенно высказалъ этому дворнику все свое горе, показалъ ему въ довольно наглядныхъ чертахъ всю главную суть дѣла, затѣяннаго важнымъ бариномъ противъ его жены — и дворникъ простымъ своимъ разумомъ понялъ, что дѣло это больно неладное. Видно, въ словахъ Бероева звучало много искренняго и глубокаго горя, которое само собою, помимо его воли, выливалось наружу, потому что разсказъ этотъ видимо прошибъ до самаго сердца его собесѣдника.

— Ахъ они ироды лютые! да это что жь такое? да я первый хошь подъ присягу пойду—потому могу улику на лицо предоставить. Коли надо—я для этого дѣла не прочь, не отступлюся, значитъ. Вѣрно! Такъ точно вы, судырь, теперичи по начальству объ эфтимъ самомъ объявку подайте, что Селифанъ, молъ, Ковалевъ такъ и такъ, заявить, значитъ, можетъ. И барыню-то вашу я въ лицо признаю, коли показать мнѣ ее, да и господина-то энтого самаго не позабылъ еще: рожа-то, хоша и подъ-вечеръ было дѣло, а памятна-таки, потому—что дворники, что извощики на это самое дѣло больно горазды, на рожи-то, значитъ; ужь это служба наша, почитай, такая.

На прощанье Бероевъ, не разбирая, сунулъ дворнику въ руку первую попавшуюся ассигнацію, на которую тотъ поглядѣлъ съ

видимымъ замѣшательствомъ, но не безъ внутренняго удовольствія.

— Это вы что же, сударь?... Это ужь лишнее... Я, значитъ, не для-того, а по совѣсти, какъ есть, такъ и говорю, а депозитку еще не за што бы пока жаловать вамъ...

Селифанъ немножко ломался, желая для виду и амбицію свою нѣсколько показать.

— Ну, братъ, бери! откликнулся Бероевъ, взволнованный нетерпѣніемъ и радостью неожиданной надежды:—ты вѣдь мнѣ точно гору какую съ плечъ свалилъ... Только спасай, бога-ради! поддержи меня! покажи все, какъ знаешь, по правдѣ!...

— Да ужь на счетъ эфтихъ дѣловъ будьте безъ сумленія: мы и безъ денегъ постоимъ... баринъ-то вы, вижу я, хорошій — ну, и значитъ конецъ!... Ужь я энту сволочь—голанку-то—допеку, потому скареда ехидная: ни коли-то съ нее—каковъ онъ гривенникъ есть—такъ и того-то не увидишь, хошь бы въ самый великій праздникъ христовъ! А за депозитку, значитъ, коли ужь вамъ охота такая, благодарствуемъ.—Выпьемъ малость самую за вашу милость; дай-богъ здоровья!...

И дворникъ съ поклонами проводилъ его за ворота.

Бероевъ, прыгнувъ въ санки перваго случившагося извощика, отправился немедля въ часть — передать приставу вновь собранныя свѣдѣнія и порадовать жену доброю надеждой. Онъ былъ слишкомъ взволнованъ въ эту минуту, которая казалась ему цѣлымъ вѣкомъ, отъ нетерпѣнія разъяснить поскорѣй всю истину запутаннаго дѣла.

Дворникъ постоялъ у воротъ, поглядѣлъ ему вслѣдъ, потомъ развернулъ ассигнацію.

— Ишь ты—синяга! не безъ удовольствія мотнулъ онъ головою:—чудакъ, шальной баринъ-то какой синягу, почитай, ни за што отвалилъ. Ну, да вѣдь и тò — теперичи, значитъ, въ часть меня тягать станутъ, отъ дѣла своево отбивать—такъ оно за труды ништобы. Да гляди, потомъ и сотнягу, можетъ, отвалитъ, коли покажу, значитъ, какъ оно есть, по совѣсти — это, сталъ-быть, на руку намъ!... Синяга... Эко дѣло какое! надо-быть, горе-то не свой братъ... Пойдти нешто въ харчёшку, хлебнуть малость за его здоровье... Право, пойдти бы!... Можно!...

И онъ, махнувъ рукою, весело зашагалъ по направленію къ ближайшей харчевнѣ.

XXIX

Хлѣбонасущенскій и К° порятъ горячку

И-распрекрасная столица,
Славный городъ Питимбрюхъ;
Шелъ по Невскому Пришпехту
Самъ съ перчаткой разсуждалъ—

пошатываясь, выводилъ залихватскія нотки дворникъ Селифанъ Ковалёвъ, возвращаясь къ своимъ воротамъ изъ харчевни, около часу спустя по уходѣ Бероева.

У воротъ повстрѣчался онъ съ Рахилью, которая шла изъ мелочной лавочки, съ какими-то покупками въ рукахъ, и остановилась, посмѣиваясь на веселый видъ захмѣлѣвшаго Селифана.

— Ты чего это, песья дочка?... а?.. Ты что? Для-че бѣльмы-то вылущила на меня?... Хмѣленъ я? — ну, такъ что жь, что хмѣленъ?... Слабъ человѣкъ, грѣшенъ человѣкъ—потому, значитъ, и пьянъ... А вамъ смѣшно?... Вотъ погоди, завтра тѣ, вмѣстѣ съ голанкой твоей, обѣихъ къ Исусу потянутъ—такъ ты тамъ зубы-то поскаль!

— Куда-а? ухмыльнулась, прищурясь на него еврейка.

— А туда, гдѣ тебѣ Кузьмину тёщу покажутъ да попотѣть заставятъ—въ часть, значитъ, къ слѣдственному. Аль забыла, какъ намедни звали?

— Зачѣмъ въ часть? недовѣрчиво спросила Рахиль.

— А тамъ ужь обозначится, зачѣмъ!... Тамъ ужо довѣдаютъ, куда вы съ голанкой робенка-то скрали.

— Какого ребёнка?

— А того, что барынька-то у васъ на спитаніи оставила.

По лицу еврейки пробѣжало безпокойное облачко.

— Чего похмырилась?... аль не вкусно?... ась? продолжалъ межъ тѣмъ Селифанъ, загораживая ей дорогу:—ты думаешь, вам оно съ рукъ такъ и сойдетъ? — Нѣтъ, братъ, шалишь! Ошибнёшься!... Неповиннаго человѣка не моги запорочить! — Правда-ч

божья выплыветъ!... Вы думаете тамъ, вашихъ дѣловъ никто и не знаетъ?—анъ, нѣтъ, врешь, шельма!—Я знаю, Селифанъ Ковалёвъ и докажетъ, значитъ!

— Что̀ ты знаешь-то? ну, что̀ ты знаешь? пьяная твоя рожа! безпокойно наступила на него еврейка.

— А то̀ и знаю, что у васъ ребёнокъ былъ, а теперь нѣтути! а ты его со двора снесла, а теперича передъ слѣдственнымъ обѣ зарекаетесь: знать, молъ, не знаемъ. А мнѣ оно извѣстно; я на васъ, продовъ-кровопивцевъ, и докажу начальству; потому баринъ-то добрый—вона, синягу низа̀што далъ... а отъ васъ каковъ онъ гривенникъ есть—и того не жди!... А я выпилъ, дай Богъ ему здоровья... и самъ завтра съ вами пойду... Вотъ оно что!...

Хмѣльной Селифанъ долго еще бормоталъ на эту тэму, только уже самъ съ собою, потому что Рахиль, послѣ этихъ словъ, озабоченно и поспѣшно шмыгнула мимо его—поскорѣй сообщить своей барынѣ, что дворникъ, молъ, болтаетъ недоброе что-то.

У страха глаза велики. Акушерка, выслушавъ, и раза три внимательно переспросивъ свою служанку, во всей подробности — на сколько та могла передать ей разговоръ свой — очень встревожилась, и немедленно послала ее къ дворнику, съ порученіемъ, чтобы тотчасъ залучить его къ себѣ на квартиру. Ей хотѣлось самой разузнать отъ него, въ чемъ дѣло, и задобрить какою-нибудь подачкой. Она высунулась въ форточку — дворникъ бродилъ-себѣ по̀ двору, и все еще бормоталъ про гривенникъ и синягу.

— Селифа̀пушка! а Селифа̀пушка! подымись-ко сюда, голубчикъ!

— Для-че вамъ?

— Надо... Подымись, я тебя чайкомъ попою...

— Ладно! теперичи такъ и чайкомъ, а то и гривенника николды не дождешься! Нѐкогда ходить мнѣ по чаямъ... Вотъ ужо̀ въ части повыда̀емся!

Маневръ не удался; кулакъ-баба спѣшно стала одѣваться и, встревоженная, поскакала прямо къ великому юристу и практику, за надлежащими совѣтами — потому, дѣло такое, что и ума не приложишь.

Едва успѣла она, запыхавшись, передать ему всю неясную суть полученнаго ею извѣстія, которое немало-таки озадачило Поліевкта

Харлампіевича, какъ вдругъ туда явился новый, нежданный посѣтитель.

У Хлѣбонасущинскаго ёкнуло сердчишко чѣмъ-то нерадостнымъ.

— Ну, что́ скажете, милѣйшій мой Кузьма Герасимычъ?

— Нехорошо-съ... дѣло тово... весьма экстраординардый оборотъ! съ внушительной важностью шевельнулъ бровями Пройди свѣтъ-письмоводитель:—позвольте объясниться конфиденціально-съ?

Хлѣбонасущенскій удалился съ нимъ въ кабинетъ.

— Оно, изволите видѣть, дѣла у насъ много, началъ ему разсказывать письмоводитель:—я прихожу нынче въ канцелярію, послѣ обѣда, соснувши этакъ съ часикъ. Позаняться надо было бумажонками тамъ кой-какими спѣшными. Вдругъ, прилетаетъ этта, господчикъ — Бероевъ-то этотъ. — Гляжу я, словно бы муха его укусила, себя не чуетъ человѣкъ отъ полноты душевной. «Дома, говоритъ, господинъ приставъ»? — Уѣхавши. — «Скоро будетъ»?— Къ ночи, говорю, надо полагать, вернется, а раньше едва-ли. Да вамъ что́, говорю, угодно? ежели какая-нибудь экстренность по дѣламъ, то либо написать ему потрудитесь, либо мнѣ, говорю, сообщите для паредачи, а мы ужь немедленно же и зависящее распоряженіе сдѣлаемъ, коли это важная экстренность. Далъ я ему тутъ письменную принадлежность, а онъ вотъ что-съ изобразить изволилъ! Не угодно-ли пробѣжать? заключилъ Пройди-свѣтъ, вытаскивая изъ бокового кармана свернутый листъ бумаги.

Хлѣбонасущенскій поморщился, и сталъ читать, сначала довольно хладнокровно, но потомъ руки его невольно дрогнули, и физіономія потеряла всякую пріятность, ибо значительно вытянулась и поблѣднѣла.

Дѣло казалось нешуточное. Это было формальнымъ образомъ изложенное письмо на имя пристава, о всѣхъ обстоятельствахъ, узнанныхъ Бероевымъ отъ дворника, гдѣ между прочимъ и о Полевктѣ Харлампіевичѣ упоминалось.

— Что же вы теперь намѣрены дѣлать? слабо спросилъ онъ Пройди-свѣта.

— Въ ихнюю часть телеграфировать будемъ, чтобы дворника этого на завтра къ допросу предоставить.

— А нельзя ли какъ-нибудь сдѣлать отводъ этого свидѣтеля?

— М-м..- трудновато-съ, призадумался письмоводитель, потирая палецъ о палецъ.—Примѣты экипажа вашего явственно обозначены, а также и число посѣщеній, объяснилъ онъ: — могли, значитъ, кромѣ его, еще и другія лица видѣть—мелочной сидѣлецъ, напримѣръ — и ежели на повальномъ обыскѣ окажется, что точно запримѣтили этихъ шведочекъ, то я вамъ доложу-съ — для вашей амбиціи, мораль подозрительная можетъ произойти. Притомъ же, и вы тогда къ слѣдственному дѣлу всенепремѣнно будете притянуты. А эту самую персону, что въ гостиной у васъ теперь сидитъ, завтра же арестуютъ, вмѣстѣ съ жидовкой, и по секретнымъ упрячутъ. «Можетъ», и до сознанія доведутъ; особливо, какъ ежели дворникъ уличать-то ихъ станетъ.

Практикъ въ сильномъ волненіи зашагалъ по комнатѣ:—«Господи! все-было такъ хорошо устроилось, все было-ѣхало, какъ по маслу, можно сказать, къ счастливому финалу приближались, Рубиконъ перешли, и вдругъ — дворникъ какой-нибудь, съ этимъ осломъ Бероевымъ всѣ труды и усилія за одинъ махъ похѐрятъ. Оскорбительно»!

— Задержите телеграмму! стремительно повернулъ онъ къ Пройдисвѣту, озаренный новой мыслью.

Тотъ замялся, и ничего не отвѣтивъ, только за ухомъ почесалъ, улыбкой весьма сомнительнаго качества.

— Непремѣнно, во что бы то ни стало — задержите! настойчиво приступилъ Поліевктъ Харлампіевичъ, который въ эту минуту не безъ основанія собразилъ, что въ дальнѣйшемъ дѣлѣ, при таковомъ его оборотѣ, будетъ страдать уже его собственная шкура, не говоря объ остальныхъ, а въ томъ числѣ и о шкурѣ князя Шадурскаго.

— Ну, нѣтъ-съ, оно довольно затруднительно, на счетъ пріостановки! вздохнулъ письмоводитель, словно бы послѣ сытаго обѣда, во всю широкую грудь: — Боже борони, еще что-нибудь окажется— самъ подъ судъ попадешь, продолжалъ онъ: — а у меня — жена да дѣти, и человѣкъ я, къ тому же, недостаточный, какъ вамъ небезъизвѣстно: такъ мнѣ-то оно не тово-съ...

— Сколько вамъ надо? рѣшительно и безъ всякой ужъ церемоніи спросилъ его Хлѣбонасущенскій.

Тотъ замялся: очевидно, хотѣлось хватить цифру покруннѣе.

— Вы ужь лучше на этотъ счетъ сами извольте почувствовать и сообразить, сколько бы за такое дѣло можно положить, безъ обиды, по совѣсти, отвѣтилъ онъ Поліевкту.—Вы мнѣ, напримѣръ, назначьте, а я — коли мало — скажу: «мало»; а коли много — я «много» скажу. Такъ мы это дѣло по чести, промежду себя, и обстроимъ.

Хлѣбонасущенскій подумалъ.

— Радужную... желаете? предложилъ онъ.

Пройди-свѣтъ уперъ въ него свои глаза, выражавшіе очень ясно: «гусь ты, братецъ, точно что гусь, да напалъ-то на лебедя!»

— Желаете? повторилъ тотъ.

— Мало.

— А двѣ — тоже мало?

— Всеконечно-съ... Да ужь коли сами спросили, стало быть, чувствуете, что мало!

— Ну, а три?

— Мало! съ сокрушеннымъ вздохомъ опустилъ онъ глаза свои въ землю.

— Ну, а четыре?

— М-м... почти что мало, къ сожалѣнію: дѣло рискованное...

— Пять?

— Это будетъ достаточно.

— Но я нахожу, что пять уже много.

— Взгляды, знаете ли, бываютъ различны, и мнѣнія разнорѣчивы — это даже и въ англійскомъ парламентѣ случается. А княжская касса богата: ее пятьсотъ рублей на бѣднаго человѣка не разорятъ, полагаю.

Хлѣбонасущенскій согласился съ этимъ аргументомъ, и заплатилъ Онъ самъ очень хорошо сознавалъ, что послѣднее сообщеніе Пройдисвѣта весьма и весьма-таки важно и стоитъ, пожалуй, даже побольше, чѣмъ пятьсотъ рублей; но не могъ не поторговаться — по-тому, таковъ ужь обычай, такова натура. Условились — до утра скрыть бумагу отъ слѣдственнаго пристава и, стало быть, отсыпку вызова предоставить, обычно-формальнымъ образомъ, на его собственное благоусмотрѣніе. По такому разсчету, времени у Хлѣбонасущен-

скаго все-таки оставалось немного — даже менѣе сутокъ; поэтому, онъ немедленно отправился на генеральный совѣтъ къ ея превосходительству Амальѣ Потаповнѣ фон-Шпильце. Обсудивъ дѣло, генеральша въ ту же минуту послала за своимъ вѣчнымъ фактотумомъ Сашенькой-матушкой, мнимой теткой господина Зеленькова, которая попрежнему благополучно продолжала проживать на своемъ скверномъ пепелищѣ. Хлѣбонасущенскій, однако, по своей предусмотрительности и осторожности, счелъ за лучшее уѣхать ранѣе прихода этой достойной особы, которой немедленно были сообщены, лично самою Амальей Потаповной, очень важныя и секретныя инструкціи. Результатъ этихъ инструкцій, равно какъ и общій результатъ чрезвычайнаго совѣта, читатель узнаетъ непосредственно изъ главъ послѣдующихъ.

XXX

Старый знакомый подъ новою личиной

Проснулся на утро Селифанъ Ковалевъ, часу въ пятомъ, и долго сна своего не могъ одолѣть, къ великому неудовольствію водовоза, который, стоя съ своей бочкой у воротъ, разъ восемь уже принимался дергать за ручку дворницкаго звонка. Первыхъ четырехъ Селифанъ Ковалевъ и не почувствовалъ; пятый кой-какъ отдался въ его ухѣ; на шестомъ онъ смутно подумалъ себѣ сквозь сонъ: «надо быть, звонятъ» — и на этомъ вполнѣ справедливомъ предположеніи, снова было-упокоился сномъ блаженнаго; но седьмой звонокъ привелъ его къ сознательному подтвержденію предшествовавшей мысли. что точно, молъ, звонятъ.

— Коего чорта несетъ тамъ спозаранокъ?... Встать нѐшто отомкнуть ворота, али еще соснуть малость? пущай его звонится!

Наконецъ пронзительный звонъ въ осьмой разъ вполнѣ уже заставилъ его проснуться. Вскочилъ Селифанъ съ горячей лежанки, Господа-Бога мимоходомъ помянулъ бормотаньемъ, почесался, прочухался, и слышитъ — трещитъ его головушка, больно трещитъ—опохмѣлья, значитъ, требуетъ.

Пошелъ онъ, по утреннему обыкновенію, босикомъ отворять ворота.

— Ты што, лѣшій, не отпираешь? Инда кляча промерзла!

— Трещить, братъ, тово...

— Шибко?

— Шибко... не приведи Богъ, тоись...

— Зашибся, значитъ?

— Было дѣло, помалости...

— Опохмѣлиться надо.

— Это точно что...

— Пойдемъ?!

— Никакъ этого невозможно, потому рано еще: въ фарталъ надо сбѣгать въ девять часовъ, панель тоже скребсти, дрова таскать... опосля фарталу смахаю.

— Эвана, фарталъ!... Нешто, пущай трещитъ башка до тѣхъ-то поръ?

— Пущай ее!..

— Пройдетъ до девяти-то, буде тово—хватишь!

— Никакъ нѣтъ; знаю я въ себѣ эти ризолюцыю: хуже, гляди сдѣлаешь; лучше, какъ ни наесть, обождать; опосля хвачу.

— Ну, шутъ-те дери! Орудуй самъ по себѣ, коли такъ?

Селифанъ постоялъ-постоялъ, зѣвнулъ разъ пятокъ на острогъ холодкѣ—все-таки трещитъ, окаянная.—«Такая, значитъ, линія и такой предѣлъ, что ничего не подѣлаешь, окромя того, что опохмѣлиться человѣку безпремѣнно надо».

На этомъ онъ и порѣшилъ самъ съ собою.

Справилъ, какъ быть надо, всю свою должность дворницкую: воды да дровъ по жильцамъ натаскалъ, лѣстницы кой-гдѣ для виду подмахнулъ, панель поскребъ и въ кварталѣ совершилъ обычное утреннее посѣщеніе съ книгой да съ отмѣтками — а все-таки трещитъ, проклятая, ни чуть не желаетъ затихнуть и похмѣльную чарку настойчиво требуетъ—просто моченьки нѣту, хоть ложись да помирай на мѣстѣ.

Нечего дѣлать, противъ линіи не пойдешь — и Селифанъ Ковалёвъ спустился въ преисподняя ближайшей распивочной. Хватилъ косушку, закусилъ капусткой кислою и вышелъ, съ твердымъ намѣреніемъ за работу приняться. И точно, принялся—только горитъ его душа; какъ ни ретиво старается онъ грязно-ледяныя глыбы съ

мостовой желѣзнымъ ломомъ скалывать, а она горитъ да горитъ и словно бы все подмываетъ его: «не спуститься ли, молъ, Сѐлюшка?»—«Нишни, не балуй!» строго выговариваетъ онъ самому себѣ, а душа и знать не хочетъ этихъ строгостей:—«ой, спустимся, Сѐлюшка! ублажимся, голубчикъ»!—Поддался Селифанъ на это лукавосладкое искушенье и передъ обѣдомъ снова спустился и снова хватилъ. — «Вѣдь вотъ каковъ человѣкъ я есть окаянный»! укоризненно мыслитъ онъ самъ собою: «и знаю, что не резонтъ, что коли побѣжишь по этой самой дорожкѣ, такъ и удержу на тебя не будетъ, а не могу, потому—тянетъ... Лучше бы ужъ было не ходить и не пить совсѣмъ, чѣмъ такъ-то... Эхъ, грѣхи наши тяжкіе; слабъ человѣкъ, прости Господи!»

Рѐзобрало-таки Селифана и чувствуетъ онъ, что на взводѣ состоитъ и что цѣлый день-деньской ему такимъ манеромъ промаяться придется — ту, и опять-таки ничего, значитъ, не подѣлаешь, потому—линія...

Часу въ четвертомъ, только что прилегъ-было Селифанъ Ковалёвъ на свою лежанку, задать добраго храпака и затѣмъ стряхнуть съ себя всю эту блажь похмѣльную—надъ ухомъ его раздался звонокъ. Хожалый принесъ ему повѣстку—явиться на завтра къ одинадцати часамъ утра въ ***скую часть къ слѣдственному приставу, и при семъ удобномъ случаѣ, заодно ужь, для порядку ругнулъ его за пьяный образъ, причемъ далъ добраго подзатыльника, въ качествѣ добраго начальника, и удалился съ гражданскимъ сознаніемъ вѣрно исполненнаго долга. Послѣ его ухода, едва Селифанъ опять успѣлъ-себѣ сладко растянуться на своемъ нехитромъ ложѣ, раздался вдругъ новый звонокъ. — «Экъ ихъ расшатала нелёгкая...»!—Кого вамъ надо?

У воротъ стоялъ человѣкъ, въ бекешѣ съ мѣховымъ воротникомъ и нетерпѣливо постукивалъ о сапогъ своей тросточкой.

— Какая здѣсь, любезный, квартера отдается? спросилъ онъ.

— Да вамъ какую надо?

— Да ту вонъ, что у воротъ билетъ наклеенъ.

— Та фатера—двѣ комнаты и кухня съ чуланомъ.

— А много-ли ходитъ?

— Триста въ годъ.

— Дорогонько... А покажи-ка ее?

— Сичасъ... Вы ступайте на ту вонъ лѣстницу, а я только ключи захвачу.

Господинъ въ бекешѣ осмотрѣлъ квартиру и остался ею доволенъ.

— Хорошо; я сегодня же переѣзжаю сюда, сразу рѣшилъ онъ на мѣстѣ:—ты ужь, другъ любезный, никому больше не показывай ее. На вотъ тебѣ задатокъ—довольно будетъ три рубля?

— Очинно даже довольно.

— Ну, и прекрасно. А это вотъ тебѣ, для перваго знакомства.

И господинъ сунулъ ему въ руку рублёвую ассигнацію. Дворникъ замѣтилъ, что бумажникъ у него непустъ.—«Надо быть, исправный жилецъ будетъ», рѣшилъ онъ про-себя и пожелалъ освѣдомиться, какъ фамилья будущаго постояльца?

Господинъ слегка замялся; но это было одно только мгновенье, послѣ котораго онъ съ предупредительной поспѣшностью отвѣтилъ:

— Петровъ... Иванъ Иванычъ... Петровъ.

— Такъ-съ. Чиновники-съ, полагается?

— Нѣтъ... по торговой части—на коммерческой конторѣ служу.

Дворникъ поклонился и проводилъ съ лѣстницы господина, который, спускаясь, повторилъ свое обѣщанье переѣхать сегодня-же, часу въ седьмомъ вечера — «потому, человѣкъ я холостой, одинокій», объяснилъ онъ: — сборы у меня невелики — всего на одинъ возъ только хватитъ, такъ у меня дѣло недолгое, горячее дѣло».

И они разстались, въ ожиданіи переѣзда.

XXXI

Байковый лозунгъ

Часовъ около шести вечера, когда Селифанъ Ковалёвъ ощущалъ попрежнему еще нѣкоторое пріятное кружеціе въ головѣ и непріятную трескотню въ затылкѣ—къ воротамъ дома, хранимаго его бдительностью, подъѣхалъ на простомъ ванькѣ давишній наниматель, а за нимъ шагахъ въ тридцати остановился бойкій и сильный рысакъ одного изъ петербургскихъ лихачей. Высокаго роста плотный

человѣкъ, завернутый, что называется, по старо-купечески, въ хорошую лисью шубу; быстро отстегнулъ богатую полость изящныхъ, легкихъ санокъ, и осторожно оглядясь во всѣ стороны, неторопливо пошелъ вслѣдъ за господиномъ въ бекешѣ, стараясь не упустить его изъ виду. Лихачъ, въ нѣкоторомъ разстояніи, тоже подвигался за этимъ послѣднимъ.

— Погода... тихо и какъ-бы самъ съ собою проговорилъ человѣкъ въ лисьей шубѣ, проходя мимо господина въ бекешѣ, который, разочтясь со своимъ ванькой, въ эту минуту дергалъ за ручку звонка.

— Пока сѣро́ еще... столь же тихо и тоже будто самъ собою промолвилъ господинъ въ бекешѣ.

— Кажись, снѣгъ будетъ...

— Нишни; стырься! откачивай далѣ [1])!

Лисья шуба, словно совсѣмъ посторонній прохожій, прошла себѣ впередъ—и лихачьи санки за ней потянулись.

Въ воротахъ показался дворникъ.

— Кого вамъ?... А, это вы, сударь?

— Я, братецъ, я... Квартера моя готова?

— Да что̀ ей дѣлается? — вѣстимо готова; стоитъ-себѣ.

— Ну, это хорошо... Стало быть, я вотъ и переѣзжаю.

— А небиль-то ваша гдѣ же!

---

[1]) Отойди, проходи далѣе. Если какая-либо мошенническая операція производится на улицѣ, или во дворѣ, или же вообще въ такомъ мѣстѣ, гдѣ одинъ сообщникъ можетъ подойдти къ другому и пройдти мимо его, какъ посторонній человѣкъ, то въ этихъ случаяхъ употребляется особенный лозунгъ, и употребляется онъ преимущественно тогда, когда надо узнать, каково подвигается дѣло въ началѣ: хорошо ли, удачно ли идетъ оно, или же предвидится опасность? Лозунгомъ обыкновенно служитъ какъ-будто бетотносительно сказанное замѣчаніе о погодѣ, смотря по времени и обстоятельствамъ. Слово *погода*, сказанное однимъ, непремѣнно вызываетъ подходящій отвѣтъ другого. Такимъ образомъ, если въ отвѣтѣ на «погоду» скажется *сыро*, то это означаетъ, что пока еще неизвѣстно, какъ пойдетъ дѣло. *Мокро* и *вода* выражаютъ полную опасность. *Снѣгъ* и *дождь*, смотря по времени года, служатъ лозунгомъ не опасности, но неудачи, а *ясно* показываетъ совершенно противное. Иногда же и *погода* служитъ отвѣтомъ на *погоду*, сказанную проходящимъ и освѣдомляющимся сообщникомъ, и въ этомъ послѣднемъ случаѣ, смотря по тону, какимъ была произнесена «погода», она служитъ отвѣтомъ на удачу или неудачу дѣла.

— А тамъ еще... ѣдетъ... при ней кухарка моя осталась съ лакомикомъ—укладываются, а я вотъ впередъ ихъ проѣхалъ, чтобы встрѣтить, значитъ...

— Такъ-съ оно... Сталъ-быть, проводить на фатеру прикажете?

— Нѣтъ, братецъ, что тамъ въ пустырѣ-то одному мнѣ дѣлать?... Они вѣдь съ возомъ придутъ не раньше, какъ черезъ часъ еще—а мнѣ вотъ холодно что-то... прозябъ я малость—такъ какъ бы эдакъ тово... чайку бы хватить, что ли?... Нѣтъ ли здѣсь трактира по близости?

— Какъ не быть?—вонъ онъ, на перепутьи!

— А!... ну, такъ вотъ что, другъ любезный! необыкновенно ласково и задушевно обратилась бекеша къ Селифану Ковалёву: — я ужь тебѣ поклонюсь—помоги ты хозяйство мое наверхъ перетащить, какъ возъ-то пріѣдетъ.

— Отчего же... Это мы завсегда, съ нашимъ почтеніемъ... это очинно можно.

— Ну, и прекрасно!... За труды на чай получишь; а пока они тамъ ѣдутъ, сходи-ка ты мнѣ въ трактиръ да принеси чайку, а я пока въ дворницкой у тебя что-ли посижу, попьёмъ да покалякаемъ малость, промежду себя; ты мнѣ про сосѣдей поразскажи—новому жильцу вѣдь все это надо знать—самъ ты понимаешь... Сбахай-ко! На, вотъ и деньги!

— Да мнѣ недосугъ... никакъ невозможно отъ воротъ отлучиться замялся дворникъ.

— Ну, вотъ вздоръ какой!... Толкуй про ольховую дудку! Отлучиться!... Вѣдь не на цѣлый вечеръ, а всего-то на пять минутъ. Махай! — Я, братъ, человѣкъ негордый, простой, изъ мѣщанства тоже, и своимъ братомъ никакъ, значитъ, не гнушаюсь и не брѣзгаю. Какъ сдачу получишь, такъ хвати тамъ себѣ осьмушку: разрѣшаю, значитъ? добавилъ новый постоялецъ.

Дворникъ, съ пьяныхъ глазъ, почесалъ задумчиво за ухомъ, улыбнулся при перспективѣ чайку и осьмушки и—слабъ человѣкъ—не устоялъ противъ искушенія.

Отправился. Высокій мужчина въ лисьей шубѣ, все время внимательно слѣдившій издали за дѣйствіями бекеши, пошагалъ теперь на другую сторону улицы и продолжалъ оттуда свои наблюденія за

шедшимъ Селифаномъ. Лихачъ межъ тѣмъ оставался на прежнемъ мѣстѣ.

Господинъ въ бекешѣ выждалъ минуты двѣ и тоже отправился вслѣдъ за дворникомъ. Проходя мимо лихача, онъ промолвилъ: *«ясно»*, и вслѣдъ за этимъ словомъ, тотъ повернулъ своего коня на другую сторону, къ человѣку въ лисьей шубѣ.

XXXII

Утѣшительная

Бекеша вошла въ дверь «ристарацыи» подъ фирмой «Македонія».

— А я, братъ, раздумалъ, сказалъ онъ, подходя къ Селифану, который стоялъ у буфета, въ ожиданіи двухъ чайниковъ съ кипяткомъ и прѣлымъ трактирнымъ настоемъ.

— Чтó жь такъ? отозвался, повернувшись, дворникъ.

— Да такъ вишь... пока что до чаю, водки рюмку захотѣлось: прозябъ я больно. Ты еще не хватилъ?

— Не хватилъ пока.

— Ну, такъ вмѣстѣ, значитъ. Эй, почтенный! двѣ большія рюмки бальсаминчику, аль померанчику—чтó у васъ тутъ позабористѣй? распорядилась бекеша къ буфетчику: — да вотъ что: тебя какъ зовутъ-то, братецъ?

— Крещенъ Селифантомъ.

— Ну, такъ вотъ что, Селифанушка, продолжалъ онъ, хватая вмѣстѣ съ дворникомъ по огромной рюмкѣ, отъ которой послѣдняго видимо огорошило: — присядемъ-ко мы въ той-отъ комнатѣ да побалуемся, помалости, чаями.

Тотъ раздумчиво прицмокнулъ языкомъ.

— Недосугъ бы мнѣ это... не равно что по дому случится...

— Ой, чему тамъ случиться! вѣдь намъ тутъ не часъ часовать— въ одинъ секундъ будемъ готовы! ублажала его бекеша: — пойдемъ, по пунштикамъ слегка продернемъ!... Ну?... Да и все жь оно въ трактирѣ невпримѣръ антереснѣе, чѣмъ въ дворницкой. Такъ ли?

«Пунштики» побѣдили раздумье. Очень ужь соблазнительны показались они Селифану.

— Пусти-ка, братъ, машину — кадрель изъ русскихъ пѣсенъ — да изобрази намъ два стакана пуншту, позабористѣй! распорядился господинъ въ бекешѣ, пріютившись съ Селифаномъ у крайняго, угольнаго столика въ смежной комнатѣ.

Тамъ и сямъ возсѣдала обычная «публика»: извощики съ чайкомъ да солдатъ съ «душенькой»; грязнецъ-чинушка изъ самыхъ замотыжныхъ; отставной сюртукъ съ мѣдными пуговками и краснымъ воротникомъ, да отдѣльная группа личностей, напоминавшихъ своею внѣшностью и пріемами гулящихъ прикащиковъ изъ-подъ Шукина и купеческихъ артельщиковъ.

Машина еще не докончила своей «кадрили изъ русскихъ пѣсенъ», а дворникъ Селифанъ съ новымъ жильцомъ, опорожнивъ по стакану, едва лишь успѣли приняться за вторые, какъ въ Македоніи появился высокій плотный человѣкъ въ лисьей шубѣ, и осмотрѣвшись по сторонамъ направился прямо къ столику новыхъ пріятелей.

— Ба-ба-ба!... Иванъ Иванычъ! Дружище! Вотъ гдѣ встрѣнулись!... Ну, какъ живешь?... Семъ-ко, братъ, и я къ твоему столу примажусь. Эй малецъ!... Тащи-ко намъ сюда бутылку лисабончику! Аль можетъ, ты Иванъ Иванычъ, тенерифцу желаешь?

— Можно и лисабончику, и теперифцу, согласился Иванъ Иванычъ: — да ты, Лука Лукичъ, съ чего это натуру-то свою изображаешь такъ?

— А мы нонѣ кутимъ, потому мы нонѣ подрядъ одинъ съ торговъ за себя взяли.

Селифанъ поднялся съ намѣреніемъ откланяться своему угощателю.

— Нѣтъ ужь, другъ, будемъ сидѣть всѣ вкупѣ! удержала его заруку лисья шуба: — это не модель такимъ манеромъ дѣвствовать, и ты, значитъ, компанства намъ не рушь.

Селифанъ не нашелся чѣмъ и какъ поперечить столь неожиданному и настойчивому заявленію новаго гостя. Онъ грузко опустился на стулъ и принялся за стаканъ «лисабончику», который любезно преподнесъ къ нему Лука Лукичъ, приставъ со своего мѣста и ради почету примолвивъ: «пожалуйте-съ». Роспитъ былъ и лисабончикъ, роспита и тенерифцу бутылочка, промежъ пріятныхъ разговоровъ. Купецъ казался сильно захмѣлѣвшимъ, но въ сущности

было совсѣмъ другое: глаза его, когда онъ мелькомъ, исподтишка значительно взглядывалъ на своего собесѣдника въ бекешѣ, были совершенно ясны и трезвы.

Селифанъ поднялся-было вторично, съ намѣреніемъ поблагодарить да и отправиться восвояси.

Лука Лукичъ всталъ передъ нимъ, заградивъ дорогу, и съ ухорьски-сановитой повадкой распахнулъ свою шубу.

— Проси ты у меня, милый человѣкъ, чего только душа твоя пожелаетъ — и Лука Лукинъ — моей матери сынъ — все это тебѣ съ нижающимъ удовольствіемъ предоставитъ. Хошь сладкой водки? Могу!... Эй, малецъ! Сладкой водки французской графинчикъ предоставь на сей столъ по эштафетѣ! А можетъ, денегъ хошь? И денегъ могу, сколько потребуетца. На, получай, доставай себѣ самъ изъ моего кредитнаго общества!

И онъ, выложивъ на столъ замасляный, толстый бумажникъ, усердно сталъ совать его подъ носъ хмѣльному Селифану.

— Ты, говорю, получай на свой пай, сколько тебѣ потребуетца; въ эфтимъ разѣ препятствія отъ насъ нѣтъ! продолжалъ онъ, напуская на себя размашистый экстазъ широкой натуры: — ты все, что хошь, то и бери за себя; только, говорю, компанства не рушь; потому я изъ себя такой человѣкъ есть, что никакъ безъ того мнѣ невозможно — люблю!... Ужь какъ я, значитъ, загулялъ, да загулямши на компанію напалъ — послѣднюю нитку съ себя спущу, лишь бы эта самая компанія пребывала со мною вкупѣ! Ты объявись мнѣ: каковъ ты человѣкъ есть? званіе твое и продчая?

— Двор...н-никъ, едва-едва смогъ пролепетать ему коснѣющимъ языкомъ Селифанъ Ковалёвъ, и опустилъ на ладони свою отяжелѣвшую голову.

Шуба съ бекешей многозначительно переглянулись.

— Ну, дядя мой тоже въ дворникахъ живалъ, продолжалъ Лука Лукичъ: — стало-быть, мы съ тобою на одномъ солнышкѣ онучи сушили. Вѣрно! Ты — дворникъ, а я—подрядчикъ, и я, значитъ, желаю съ тобою компанство имѣть, потому Лука Лукинъ — моей матери сынъ — нониче гуляетъ. Сторонись душа? третья миралтейская скачетъ!

И съ этими словами, онъ ухорьски опрокинулъ въ глотку довольно крупную дозу спиртуозной жидкости и поставилъ стаканъ къ себѣ наголову — ради очевиднаго доказательства, что въ немъ не осталось ни капли.

— Чтó здѣсь коптѣть!... продолжалъ онъ, окинувъ глазами комнату: — отдернемъ лучше на Крестовскій, къ Беркѣ Свердлову въ гости. Ходитъ, что ли?

— Ходитъ! охотно согласился Иванъ Ивановичъ.

— Ну, а коли ходить, хватай его подъ руку! скомандовалъ Лука Лукичъ, кивнувъ на угасшаго Селифана, котораго подхватили они вдвоемъ подъ-мышки и поволокли изъ харчевни.

— Карчàкъ! подкатывай! свиснулъ высокій своему лихачу, и усадилъ рядомъ съ собою почти безчувственнаго дворника. Иванъ Ивановичъ ловко вскочилъ на облучокъ — и добрый конь шибко тронулся съ мѣста.

Но вмѣсто Крестовскаго острова, компанія очутилась близь Сѣнной площади, недалеко отъ устья большого и широкаго проспекта. Съ одной стороны этого проспекта, вблизи названныхъ мѣстъ, высится громадный домище, съ колонами, нишами и широкимъ балкономъ, надъ которымъ большая вывѣска гласитъ, что въ этомъ домищѣ обрѣтается пространная гостинница, а непосредственно подъ этой вывѣской—другая только болѣе скромныхъ размѣровъ, извѣщаетъ, что тутъ же имѣется и «учебное заведеніе для дѣвицъ», такъ что желающій можетъ, пожалуй, читать обѣ вывѣски разомъ, совокупя ихъ въ одну. Но это не болѣе какъ курьёзная частность, о которой мы упомянули мимоходомъ, и которая нисколько не касается сущности нашего разсказа. По другой сторонѣ проспекта, немножко наискосòкъ отъ этой гостинницы, нѣсколько лѣтъ тому назадъ, тянулся старый каменный заборъ, къ которому съ внутренней стороны примыкали ветхія деревянныя пристройки, гдѣ помѣщались конюшни ломовиковъ и ванекъ-извощиковъ. Такъ, по крайней-мѣрѣ, гласитъ изустное преданіе, хотя оно отнюдь не относится ко днямъ давно минувшимъ. Нашелся ловкій антрепренёръ, который воспользовался фасадомъ кирпичнаго забора, то-есть значительной частью его, продѣлалъ въ этомъ заборѣ цѣлый рядъ окошекъ, и на развалинахъ конюшенъ воздвигъ животрепещущее зда-

ніе, чуть ли не изъ барочнаго лѣса, которому торжественно далъ соотвѣтственное наименованіе. Это наименованіе, въ одно прекрасное утро, возвѣстила окружному люду Сѣнной площади блистательная вывѣска золотомъ по голубому полю, съ изображеніемъ чайника и прочей трактирной принадлежности. Съ первыхъ же дней существованія, новая харчевня эта пріобрѣла огромную популярность и образовала свою собственную публику, которая придала ей свое собственное неофиціальное имя—«Утѣшительная». Такъ она съ тѣхъ поръ «Утѣшительною» и прозывается. О причинахъ такой популярности ея нетрудно будетъ догадаться читателю, если онъ послѣдуетъ за двумя пріятелями, которые, подкативъ на своемъ лихачѣ къ наружнымъ «показнымъ» дверямъ этого «заведенія», втащили туда вмѣстѣ съ собою и дворника Селифана. Зданіе это напоминаетъ нѣчто въ родѣ манежа: налѣво—ходъ въ кабакъ, направо—длинная зала, освѣщенная газомъ и раздѣленная тонкими перегородками десятка на два чисто-лошадиныхъ стойлъ. Устройство этихъ перегородочныхъ отдѣленій вполнѣ напоминаютъ конюшню, даже общій проходъ посерединѣ, во всю длину залы, еще болѣе увеличиваетъ такое сходство. Въ каждомъ стойлѣ помѣщается кой-какъ сколоченный столишко съ двумя деревянными скамьями; за каждымъ столишкой непремѣнно возсѣдаютъ любезные дуо, тріо, квартеты и т. д. Прямо же изъ главнаго, уличнаго входа открывается въ глубину широкая, длинная и низкая постройка, тоже носящая наименованіе «залы» и сплошь заставленная такими же столами и скамейками. Эта послѣдняя зала является любимѣйшимъ пунктомъ обычныхъ здѣшнихъ посѣтителей: каждый вечеръ она, буквально, биткомъ набита, такъ что вы съ величайшимъ трудомъ должны продираться изъ конца въ конецъ, буде только пожелаете вступить въ это веселое отдѣленіе «Утѣшительной». А вступить туда можно не иначе, какъ заплативъ гривенникъ за марку, которая вмѣстѣ съ пропускомъ за рѣшотку, даетъ посѣтителю право потребовать, за счётъ ея, чего либо съѣдомаго, либо испиваемаго, буде стоимость сихъ продуктовъ не превыситъ десяти копѣекъ. Это отдѣленіе «Утѣшительной» вполнѣ играетъ роль своеобразнаго café chantant для обитателей Сѣнной, Вяземской лавры [1]) и всѣхъ вообще примыкающихъ и близлежа-

[1])Такъ, между прочимъ, называютъ мошенники домъ кн. Вяземскаго.

щихъ трущобъ. Въ «Утѣшительной» удовлетворяется эстетическое чувство подпольнаго, трущобнаго міра.

Паръ, духота, въ щели вѣтеръ дуетъ, по стѣнамъ въ иныхъ мѣстахъ, у краевъ этихъ самыхъ щелей, на палецъ снѣгу намерзло, а потолокъ — словно въ горячей банѣ, весь, какъ есть, влажными каплями унизанъ, которыя, время отъ времени, преспокойно падаютъ себѣ на голову посѣтителей, а не то въ стаканы ихъ пива или чашки чая, и вмѣстѣ со всѣми этими прелестями — чадъ изъ кухни, тѣснота и смрадъ — нужды нѣтъ! И что за дѣло ко всѣхъ этихъ неудобствъ, лишь бы жару поддать пѣсенникамъ! И вотъ, народъ наваливаясь на спину и плечи одинъ другому, ломитъ массою въ самый конецъ развеселой залы, гдѣ на особой эстрадѣ, подъ визгъ кларнета и громыханье бубенъ, раздается любимая «Утѣшительная» пѣсня:

Полюбила я любовничка,
Полицейскаго чиновничка,
По головкѣ его гладила,
Чертоплѣшину помадила.

И публика выходитъ изъ себя отъ нездержимаго восторга, ревѣтъ, рукоплещетъ и требуетъ на сцену Ивана Родивоныча.

Быть можетъ, вы помните еще этого призѣмистаго костромича, который во время оно отхватывалъ пѣсню: «ахъ, ерши, ерши», въ достолюбезномъ заведеніи того же имени. Мно лѣтъ прошло съ тѣхъ поръ, а «коротконожка макарьевскаго пригона» — какъ обзываютъ въ сихъ мѣстахъ Ивана Родивоныча — нисколько не измѣнился: все такъ же поетъ и пляшетъ, передергиваясь всѣмъ тѣломъ и пудуномъ ходя во всѣхъ суставахъ — только глаза какъ будто больше еще подслѣповаты стали. Иванъ Родивонычъ — поэтъ и пиитистъ Малинника и «Утѣшительной». Въ нашихъ трущобахъ пользуется большою популярностью его пѣсня:

Почему можно признать
Евнаральскую жену? —

пѣсня, дѣйствительно, очень остроумная, особенно когда дѣло начинаетъ касаться жены протопоповой.

И вотъ, по требованію своей публики, Иванъ Родивонычъ появляется на эстрадѣ и отвѣшиваетъ низкій поклонъ, съ граціей учнаго медвѣдя.

— Шаль!... Черную шаль! кричитъ ему публика.

Иванъ Родивонычъ снова кланяется и запѣваетъ съ уморительными ужимками:

Гляжу я безумно на черную шаль
И хладную душу терзаютъ печаль;
Когды лигковирѣнъ и молодъ я былъ,
Младую дѣвицу я страшно любилъ.
Младая дѣвчонка ласкала меня —
Одначе жь дожилъ я до черного дня —

— Когда, значитъ, полтора рубли шесть гривенъ въ карманѣ осталося. Вѣрно! прерываетъ онъ самаго себя въ поясненіе, и вслѣдъ за тѣмъ обращается къ публикѣ: — полтора рубля шесть гривенъ — сколько составитъ?

Смѣхъ и молчаніе.

— Два рубли десять кипѣекъ — умныя головы! отвѣчаетъ одинъ за всѣхъ Родивонычъ — и публика остается какъ нельзя болѣе довольна объясненіемъ.

— А какъ ты смѣкаешь служивая голова, вдругъ неожиданно обращается онъ къ какому-нибудь солдатику изъ толпы: — почему это, сказываютъ бабы, быдто пасъ съ тобой въ крымску компанью англичанинъ маненько пощипалъ?

Смѣхъ и ожиданіе отвѣта. Солдатикъ слегка конфузится.

— Потому это, другъ любезный, такъ оно случилось, что у ево ружья-то аглецкія, а у насъ —казенныя. Вѣрно! А Христосъ тогдысь на горѣ Араратѣ глядѣлъ, какъ воруютъ въ комисаріатѣ. И это вѣрно!

Восторгъ толпы доходитъ до своего апогея.

А въ это самое время ловкія карманщики не теряютъ минуты и торопятся пустить въ ходъ свое искуство, пока публика столь единодушно занята пѣснями развеселаго хора «московскихъ національныхъ пѣвцовъ», да ѣдкимъ балагурствомъ Ивана Родивоныча. Воруютъ ужь тутъ безъ разбора: и у своихъ, и у чужихъ, и у брата роднаго, и вообще у кого придется, по пословицѣ — всѣмъ сестрамъ по сергамъ, потому что толпа-то ужь больно густа да и минута удобная для практики въ искуствѣ.

Послѣ пѣсенниковъ на эстраду вступаетъ нѣмецкій «бальный оркестръ», изъ пяти-шести человѣкъ, и исполняетъ этотъ «оркестръ

извѣстнѣйшія и любимѣйшія публикой піэсы», какъ гласятъ о томъ обыкновенно маленькія, сѣрыя афиши.

Но этихъ злополучныхъ артистовъ, которые и много дерутъ, и въ ротъ хмѣльное берутъ, никто почти и слушать не хочетъ, ибо публика на сіе время предпочитаетъ стойла въ залѣ направо. Тамъ обыкновенно помѣщается бродячая лотерея — промышленникъ съ корзинкой, наполненной всяческой дрянью по части «галантерейныхъ» бездѣлушекъ.

— Латарея безъ проиграша! билетъ по двѣ копѣйки? возглашаетъ онъ монотоннымъ речитативомъ — и публика тотчасъ же обступаетъ «латерейщика», глядя, какъ кто-нибудь изъ охотниковъ пытаетъ свою фортуну. А въ это время, точно такъ же какъ и при пѣсняхъ, производится ловкая и незамѣтная охота на карманы.

Но публика почему-то мало обижается таковою охотой, и какъ ни въ чемъ ни бывало продолжаетъ усердно посѣщать концерты «Утѣшительной», которые часто устраиваются тамъ ею же самою. Особенно въ этомъ отношеніи замѣчателенъ одинъ *жоржъ*. Голосъ у него удивительный: высокій и очень симпатичный теноръ. Какъ засядетъ этотъ «жоржъ» къ столу, да подопретъ уныло голову ладонью, да какъ затянетъ русскую пѣсню, нѣжно вибрируя и разливаясь голосомъ на верхнихъ ноткахъ — такъ толпа и потянется сразу къ нему, обступитъ и слушаетъ, слушаетъ долго, внимательно, ни одного звука мимо ушей не уронитъ — и только тихія восклицанія порою изъ массы вырываются: «Ай, да лядъ его дери! лихо поетъ, распроединственный другъ!» А пріятели жоржа-тѣмъ часомъ не дремлютъ и производятъ старательныя рекогносцировки въ карманахъ заслушавшихся и увлеченныхъ меломановъ.

Лука Лукичъ съ двумя сочленами своей компаніи, направился непосредственно въ «нумера» Утѣшительной, не заглядывая въ раскселую залу, и какъ человѣкъ знакомый да бывалый—выбралъ для себя одну изъ отдаленныхъ и отдѣльныхъ комнатокъ. Столъ съ грязною салфеткой, кривое зеркало, клоповный диванъ да грязная постель составляли убранство «нумера», въ которомъ помѣстились вновь прибывшіе посѣтители.

— Нутко, Сенюшка! предоставь-ка намъ сюда бутылку самодуринскаго [1])! пріятельски подмигнулъ половому Лука Лукичъ, незамѣтно передавая ему изъ руки въ руку что-то, завернутое въ бумажкѣ.

Сенюшка побѣжалъ исполнять приказаніе, и минутъ черезъ десять притащилъ на подносѣ откупоренную бутылку — повидимому, хересу — вмѣстѣ съ тремя налитыми стаканами, которые онъ, ради почету и уваженія, собственноручно поставилъ передъ каждымъ изъ трехъ собесѣдниковъ.

Бесѣда, впрочемъ, вязалась не особенно ладно, и преимущественно шла со стороны Луки Лукича, заключаясь въ сладкихъ приставаньяхъ къ Селифану Ковалеву, чтобы тотъ «опрокинулъ», во зравіе его, принесенный стаканчикъ.

Хмѣльной дворникъ съ трудомъ, наконецъ, исполнилъ эту неотступную просьбу, и минутъ черезъ пять безчувственнымъ пластомъ повалился на полъ.

Два пріятеля тотчасъ же перетащили его на постель — Иванъ Иванычъ сталъ прислушиваться.

— Дышетъ? спросилъ Лука.

Тотъ утвердительно кивнулъ головою.

— Стало-быть, надо темную накрыть [2])?

— Надо.

— Щипанцами за горлецъ нешто? На храпокъ его взять [3])?

— Ни-ни!... знаки будутъ—дѣло мокрое.

— Ну, такъ мякотью дыхало принакроемъ [4]).

---

[1]) Такъ обыкновенно называется на воровскомъ argot водка или вино, въ которое мошенники подмѣшиваютъ дурманъ, для безчувственнаго и скорѣйшаго поенія избранной жертвы.

[2]) *Идти на темную*—покуситься на убійство и преимущественно на удушеіе: для этого послѣдняго рода насильственной смерти существуетъ, впрочемъ, це болѣе спеціальный терминъ: «накрыть темную», что особенно употребляется ь тѣхъ случаяхъ, когда человѣку, избранному для удушенія, накидывается на що и голову какая-нибудь вещь въ родѣ платка, подушки, шинели, одѣяла и п., сквозь которую производится самое смертоубійство.

[3]) Пальцами за горло. *Взять на хропокъ*—терминъ, означающій особенный дъ удушенія, который подробно уже описанъ въ третьей части настоящаго мана, въ примѣчаніи къ главѣ «Голову на рукомойникъ».

[4]) *Мякоть*—подушка, *дыхало*—ротъ и ноздри.

— Это, пожалуй, что получше будетъ.

— Лады! по мнѣ — все едино... Затягивай-ко, братъ, пѣсню, да погромче: не ровно очнется да заоретъ, либо барахтаться станетъ. — Все-таки оно маленько посуше выйдетъ. А то, гляди, какъ ни-на-есть, услышитъ изъ хозяевъ кто, да прибѣжитъ, чего добраго — тогда напляшешься! поблажки, чай, не будетъ; ни зѣнто сгоришь! на грѣхъ мастера нѣту!

Иванъ Иванычъ откашлялся и громко затянулъ:

Ахъ дербень, дербень Калуга,
Дербень Ладога моя!

Лука Лукичъ тотчасъ же подхватилъ ему въ голосъ басомъ, даже подпѣвая каблуками притопнулъ, а самъ, межъ тѣмъ, положилъ пластомъ на постели безчувственнаго Селифана, и плотно накрылъ подушкою его лицо. Онъ сѣлъ подлѣ него, съ полнѣйшимъ хладнокровіемъ, словно бы исполняя какое-либо обыденное дѣло, и осторожно надавливалъ подушку, стараясь, чтобы въ легкія его не могла проникнуть ни малѣйшая струя воздуха.

По мѣрѣ того, какъ длилась эта операція, оба пріятеля становились сосредоточеннѣе; Лука нажималъ уже молча, вполнѣ серьезно и озабоченно, «чтобы дѣло въ акуратъ пришлось», а лицо Ивана Ивановича все больше и больше покрывалось томительной блѣдностью; голосъ дрожалъ и обрывался, такъ-что ему съ трудомъ приходилось пересиливать себя, чтобы допѣть до конца «дѣла» свою пѣсню, подъ акомпаниментъ которой совершалось это тихое, оригинальное убійство. По выраженію его глазъ, и по той дрожи, которая кривила мускулы его лица, видно было, что ему впервые еще приходится быть свидѣтелемъ и участникомъ такого дѣла, и что при видѣ это систематически производимой насильственной смерти, его проникаетъ невольный холодъ ужаса. Сидя у стола, онъ отвернулся отъ своего товарища и пѣлъ «дербень-Калуга», заткнувъ уши и прикрывъ лицо руками, чтобы не видѣть этой страшной сцены, и не услышать какъ-нибудь стона ихъ общей жертвы, или ея послѣдняго, глухаго хрипѣнья въ подушку. Ему было страшно при мысли, что человѣкъ умираетъ, умираетъ насильственной смертью — «безъ покаянья, сердечный, словно пёсъ какой — слава тебѣ господи, что хоть не отъ моей руки, что не я его покончилъ!» думалъ онъ,

боясь оглянуться на пріятеля, для котораго подобнаго рода профессія, очевидно, давно уже была дѣломъ привычнымъ.

Прошло минутъ семь. Селифанъ Ковалёвъ сдѣлалъ нѣсколько безсознательныхъ, конвульсивныхъ движеній и содраганій всѣмъ тѣломъ—но рука, державшая на его лицѣ подушку, была тверда и безмилостна: черезъ двѣ-три минуты послѣ этихъ конвульсій, на на постели уже лежало безжизненное тѣло.

— Сварганено! промолвилъ Лука, подымаясь съ постели:—теперь, братъ, беремъ его подъ руки да и лататы поживѣе [1])!

На лицо покойника нахлобучили шапку, и подхвативъ его подъ мышки, поволокли на улицу, въ качествѣ безчувственно пьянаго человѣка.

— Эка, нализался, скотъ любезный! Какъ его теперича домой сволочить?... До безчувствія, почитай... А тутъ еще—ишь на дворѣ, завируха какая поднялася!—Такъ и мететъ снѣжище! Ну, ползи же, что ль, чижало вѣдь тащить тебя! приговаривалъ все время Лука Лукичъ, усаживая трупъ Селифана рядомъ съ собою въ лихачовскія санки, и бережно обхватывая его рукою. Иванъ Иванычъ поакуратнѣе застегнулъ полость, попрежнему вскочилъ на облучокъ—и рысакъ стрѣлою помчался по улицѣ, направляясь къ набережной большой Невы.

— Ухъ ты!... Фю-ю-ю!... Кати-малина!... Лихо!... кричали и гаркали оба пріятеля, изображая собою гулящую братію, и когда они спустились на ледяную дорогу большой Невы—до слуха полицейскаго солдата, что стоитъ на гагаринскомъ спускѣ, долго еще долетала пѣсня:

Какъ по питерской по тверской ямской
По дороженькѣ...

У мытнинскаго перевоза поднялись на берегъ Петербургской стороны не трое, а только двое живыхъ сѣдоковъ въ саняхъ лихача-извощика.

---

[1]) Удеремъ, скроемся.

XXXIII

Тырбанка сламу

Эти двое сѣдоковъ немедленно же возвратились въ тотъ самый нумеръ «Утѣшительной», гдѣ за часъ было совершено убійство. Къ нимъ также присоединился теперь и лихачъ Карчакъ, который поставилъ своего коня на кормежъ, во дворѣ трактира.

— Оглядѣть бы, братцы, испéрва-то комнату хорошенько, чтобы намъ потомъ какъ-нибудь нижайшей благодарности не оказали [1]), предложилъ Лука, снимая свою лисью шубу.

— Это ты въ правилѣ, согласился лихачъ:—«береженаго и Богъ бережетъ», говорится...

— То-то. Однова былъ этта — случай такой, что сварганили молодцы дѣло — продолжалъ первый, какъ-бы для пущей убѣдительности въ своемъ предложеніи: — и совсѣмъ бы, кажись, чисто сварганили, такъ-что и концы въ воду, да лихъ — комнату забыли оглядѣть, а въ комнатѣ-то комисія опослѣ на розыскѣ и найди двѣ вещицы: галстукъ потемнаго [2]) (родные сразу признали), да пуговку отъ пальта. Прикинули этта пуговку-то на мàза [3]) — какъ разъ, значитъ, къ пальтишкѣ евойному подъ остальныя приходится, даже намѣсто ее и новую-то, дурень, не догадался пристегнуть. — Такъ, отъ этой самой бездѣлицы, и дѣло все раскупорилось — ни зàпто сгорѣлъ человѣкъ. Оглядит-ко, Карчакъ, на постели да пò полу пошарь!

Но Карчакъ и безъ того, самъ-по-себѣ догадался сдѣлать осмотръ, еще по первой мысли объ этой предосторожности!

— Чисто! увѣдомилъ онъ, обшаривъ углы, вмѣстѣ съ мебелью, и подымаясь съ пола.

— Ну, а коли чисто, значитъ, и за тырбанку [4]) можно приняться.

---

[1]) *Оказать нижайшую благодарность*, или *отпустить съ нижайшимъ почтеніемъ*—значитъ, оставить преступника, по суду и слѣдствію, въ сильнѣйшемъ подозрѣніи.

[2]) *Потемный* или *потемненный*—убитый и преимущественно, задушенный.

[3]) Старшій воръ, заправляющій дѣломъ.

[4]) Дѣлежъ добычи.

Вали-ко, братъ, Зеленьковъ, рыжую Сару на столъ! Аль у тебя, подикось, чай, все финажками [1])?

— Финага — барская бабка [2]), замѣтилъ Иванъ Ивановичъ, вынимая бумажникъ изъ кармана.

— То-то, онѣ, видно, отъ баръ и достались тебѣ на дѣло, подмигнулъ Лукичъ, ласкательно похлопывая по бумажнику.

— Отъ крали [3])! съ самохвальной удалью мотнулъ тотъ головою.

— Это для насъ все-едино, потому, мы — люди нанятые: сварганили заказъ твой чисто — значитъ, и плати, по стачкѣ. Только ты вѣдь, братъ, плутяга не послѣдняго разбора — значитъ, этта, воръ не нашего закалу — какъ разъ, гляди, надуешь.

— Для чего жь ты мараль такую, ни зашто, ни прошто, на человѣка взводишь? Это бы ужь и обидно, кажися! оскорбился за себя Иванъ Ивановичъ.

— Ну, обидно не обидно—будь хоть по твоему—а только, братъ, не взыщи, коли попросимъ тебя, по великатности нашей, разуться да платьишко до́ чиста перещупать. Ты не красная дѣвушка, да и мы не молодухи, стало быть—не стыдись, душа, раздѣвайся живѣе!

— Да для-чего жь это... конфузъ такой?

— А для-того, что мы ревизовать тебя желаемъ, не скралъ ли ты отъ насъ малую толику деньжишекъ? Можетъ, они у тебя на пальцѣ гдѣ ни-на-есть у мозоля въ тряпицѣ завернуты, али въ пальтишкѣ за подкладкой прихоронены—почемъ знать!... Можетъ, тебѣ на дѣло больше было отпущено, а ты икономію въ свой карманъ соблюлъ.

— Ну, ужь это дѣло лишнее! вступился лихачъ: — по мо́ему—сколько было на стачкѣ выговорено, столько и получай, а до остальнаго какое намъ дѣло? То ужь его монета, значитъ; а этакъ-то, по тво́ему, ни въ одномъ хороводѣ спокоинѣку не дѣлается, потому оно не въ правилѣ и никакого закону нѣтъ на это.

— Закону... Я самъ себѣ законъ и воля! Намъ вѣдь за экой

---

[1]) *Рыжая Сара*—золото, имперіалы; *финажки*—ассигнаціи.

[2]) Ассигнація—барскія, то-есть собственно господскія, или дворянскія деньги.

[3]) *Краля*—благородная дама.

клей [1]) того-гляди сгорѣть придется; такъ хоть, по крайности, было бы за что́! Твоего всего и дѣла-то только на рысакѣ прокатить, а я — почти что руки кровянилъ. Это задача неровная. Ты вѣдь, поди-ко, ежели что у ключая [2]) касательство какое выйдетъ, такъ скажешь, что и знать, молъ, ничего не знаю, стоялъ себѣ у панели на улицѣ, а садилъ на себя троихъ думамши, что они пьянаго въ безчувствіи волокутъ — такъ ли?

— Такъ-то-такъ, это что́ говорить! На себя кто жь охочъ показывать? согласился извощикъ.

— Ну, такъ ты и молчи. А я, какъ ни-на-есть, пуще всѣхъ въ отвѣтѣ состою; значитъ, мнѣ и тырбанкой распоряжаться. Разувайся-ко, Зеленьковъ! Нечего тутъ задаромъ бобы на печи разводить!

Зеленьковъ съ большимъ неудовольствіемъ исполнилъ требованіе Лукича, потому чувствовалъ себя въ амбиціи своей оскорбленнымъ за столь явное недовѣріе. Сотоварищъ его произвелъ самую внимательную рекогносцировку, перещупалъ все платье, пошарилъ внутри сапоговъ и наконецъ, послѣ всѣхъ этихъ эволюцій, пришелъ къ убѣжденію, что затаённыхъ денегъ у Зеленькова нигдѣ не имѣется.

Совершенная безцеремонность въ отношеніи къ товарищамъ и полное презрѣніе ко всякимъ хороводнымъ обычаямъ и законамъ — были всегда отличительными кечествами Луки Лукича, по прозванію Летучаго. Самъ онъ не принадлежалъ исключительно ни къ какому хороводу, хотя водилъ знакомство почти со всѣми мошенниками, и подчасъ не отказывался отъ общихъ дѣлъ съ ними, если находилъ это удобнымъ и выгоднымъ для своей особы. Онъ былъ очень силенъ; прошедшее его отличалось великою темнотою; на лбу его, при внимательномъ изслѣдованіи, можно бы было набрести на слѣдъ каторжныхъ клеймъ, которыя на щекахъ скрадывались черными волосами густо-заросшей бороды. Поговаривали, будто Летучій сперва былъ военнымъ дезертиромъ, за нѣсколько убійствъ наказанъ шпицрутеномъ и сосланъ въ каторгу, откуда дважды бѣжалъ и нынѣ разгуливаетъ по бѣлу-свѣту въ образѣ купца прав-

---

[1]) За такое дѣло.

[2]) *Клюй*, *ключай*—слѣдственный приставъ.

славнаго. Мелкіе мошенники съ нимъ не имѣли дѣлъ; они его побаивались и, показывая знаки великаго уваженія, старались все-таки держаться отъ него подальше, въ сторонѣ, да и Лука Летучій относился къ этой мелкой сошкѣ съ полнѣйшимъ презрѣніемъ. «Ужь если плавать, такъ плыви съ большою рыбой—съ Петромъ-осетромъ да съ Матреной-бѣлужиной, говаривалъ онъ:—а эта мелкая сельдь намъ не подъ пару: съ нею лишь конфузомъ замараешься, и только!» Но и крупные мазы недолюбливали Летучаго, за его наглую безцеремонность и неуваженіе къ обычнымъ законамъ, почему и обзывали его за глаза «каиномъ» и «грабителемъ». Иванъ Ивановичъ Зеленьковъ, получивъ свыше непремѣнное повелѣніе — во что бы то ни стало, какъ можно скорѣе и ловче покончить дворника Селифана Ковалёва—въ первую минуту нашелся въ страшнѣйшемъ затрудненіи касательно исполненія такого экстреннаго дѣла. Черезъ мнимую тётушку Александру Пахомовну ему было сообщено приказаніе отыскать и нанять надежныхъ исполнителей, для чего тутъ же вручена и сумма на эти расходы, да заодно ужь объявлено, чтобы за самого себя и за свою судьбу онъ не боялся, ибо на случай непріятныхъ послѣдствій найдется надежная сила, которая съумѣетъ выпутать и отстоять его передъ закономъ. Иванъ Ивановичъ, заручившись послѣднимъ обѣщаніемъ, дѣйствительно, не очень-то опасался за свое будущее, ибо уже и въ прежнее время, исполняя различныя темныя порученія свыше, неоднократно имѣлъ случай убѣдиться въ чародѣйственномъ могуществѣ этой выручающей силы. Сашенька-матушка вмѣстѣ со своимъ quassi-племянникомъ составляли одно изъ самыхъ надежныхъ звеньевъ обширнаго министерства генеральши фон-Шпильце. И такъ, въ первую минуту этотъ племянникъ нашелся въ большомъ затрудненіи: какъ и кого половчѣе да понадежнѣе можно выбрать на такое рискованное дѣло?— Но вскорѣ онъ успокоился, ибо сметливая сообразительность его натолкнула эти помыслы на Луку Летучаго. Человѣкъ во всѣхъ статьяхъ былъ подходящій, который за хорошія деньги не откажется по найму придушить кого-либо. Это было тѣмъ удобнѣе, что у Летучаго постоянно имѣлся надежный другъ и сотоварищъ — лихой извощикъ Карчакъ, который обыкновенно сопровождалъ его во всѣхъ отчаянныхъ экспедиціяхъ. Иванъ Ивановичъ не ошибся въ

своихъ разсчетахъ: торгъ былъ покончень въ одной изъ квартиръ Летучаго [1]), сразу, съ перваго объясненія, заручонъ задаточной радужной ассигнаціей и запитъ надлежащимъ количествомъ крымской.

Теперь все дѣло заключалось въ окончательной делёжкѣ.

Летучій развернулъ бумажникъ Зеленькова и вынулъ оттуда пачку ассигнацій.

— Четыреста семьдесятъ-три рубля серебромъ, возвѣстилъ онъ, аккуратно пересчитавъ эту толстую пачку: — двадцать-семь рублевъ отъ пятисотъ, значитъ, замотырилъ? Проюрдонилъ, песъ?! [2])

— На расходы пошли, оправдался Зеленьковъ.

— Ну, инъ быть по твоему! махнулъ рукою Летучій:—теперича, по стачкѣ, мнѣ слѣдствуетъ триста; сто получилъ уже задаточныхъ, стало-быть, двѣсти осталось, давай ихъ сюда! Тебѣ, Карчакъ, по уговору, капчукъ [3]) идетъ, продолжалъ онъ, обращаясь къ лихачу и переходя съ нимъ на барышничій argot конной площади: — загребай свое, да не нудь калымàну [4]), потому больше ни кафи [5]) не получишь! Сенькѣ-половому за самдуринское жирмабешь [6]) положить придется, а то коли меньше дать—обидится, да еще, гляди, часомъ, буфетчику здѣшнему, либо другому кому изболтнетъ, что мы-де тутъ клей варили да сламъ тырбанили, а оно и пойдетъ этта лишній слухъ бродить пò людямъ да скипидарцемъ попахивать [7]), вѣдь это все шельма народъ: вѣры въ него нисколько нельзя имѣть; а толко одно и спасенье, коли глотку потуже за-

---

[1]) Мошенники высшей и средней руки, для большей безопасности и отвода глазъ полиціи, обыкновенно стараются имѣть по нѣскольку квартиръ въ разныхъ частяхъ города и на имя разныхъ лицъ: жены или любовницы, или на свое собственное, которое въ одной части является настоящимъ, а въ другой случается—и благопріобрѣтеннымъ, по чужому, краденому или хорошему фальшивому виду. Во всякомъ случаѣ они стараются имѣть никакъ не менѣе двухъ квартиръ. Мошенники же мелкой руки, по большей части, перекочевываютъ съ мѣста на мѣсто, по «ночлежнымъ».

[2]) *Кроюрдонить*—промотать, прокутить, спустить.

[3]) Сто.

[4]) *Калыманъ*—прибавка; употребляется также въ барышничьемъ argot конной площади въ равносильномъ значеніи *сламу*, то-есть доли, добычи.

[5]) *Кафи*—копейка.

[6]) Двадцать-пять.

[7]) *Скипидарцемъ попахиваетъ*—выраженіе, означающее подозрѣніе на человѣка въ какомъ либо потайномъ дѣлѣ или намѣреніи.

кнуть! Тебѣ, Зеленьковъ, по этому разсчету, значитъ, остаточныхъ сто-сорокъ-восемь рублевъ приходится, заключилъ онъ, вручивъ сотоварищу бумажникъ съ его долею денегъ: — получай и провались отселѣ поскорѣй, потому рыло твое очинно ужь мнѣ противно!

Иванъ Ивановичъ со всею тщательностью запряталъ свой бумажникъ, и не кивнувъ головою, тотчасъ же вышелъ изъ комнаты, окончательно уже оскорбленный послѣднею выходкой и пренебрежительнымъ тономъ Летучаго. Иванъ Ивановичъ почиталъ себя человѣкомъ «амбиціоннымъ и великатнымъ въ обращеніи», потому и обидѣлся такъ скоро.

Летучій въ ту же ночь безпутно спустилъ заработанныя деньги.

XXXIV

Наканунѣ еще одного дѣла новаго и краткія свѣдѣнія о дѣлѣ только поконченномъ

Было уже около полуночи, когда Иванъ Ивановичъ Зеленьковъ поднялся по темной, грязной лѣстницѣ грязно-желтаго дома въ Среней Мѣщанской и постучался въ дверь мнимой тётушки своей Александры Пахомовны. Онъ былъ блѣденъ, взволнованъ и вообще казался сильно разстроеннымъ.

— Чего дрожишь-то? или трусу празднуешь, по обнаковенію?... Охъ, ужь ты мнѣ, горе-богатырь, храбрость несказанная, оприветствовала Пахомовна своего жданнаго гостя: — говори толкомъ: покончили?

— Охъ, матушка!... покончить-то—покончили, да робость что-то больно беретъ меня... Запропащая теперь моя головушка...

— А ты не робѣй.

— Вамъ-то хорошо говорить «не робѣй», а мнѣ-то оно каково?... Ни въ жисть еще такого порученья у меня не бывало. Вѣдь я теперь бубновый тузъ въ кандалахъ [1]).

---

[1]) Такъ между прочимъ, мошенники называютъ приговоренныхъ къ ссылкѣ въ Сибирь и въ каторгу. Мотивомъ этого юмористическаго прозвища послужилъ желтый четыреугольникъ въ видѣ бубноваго туза, на спинѣ суконной одежи ссыльно-каторжныхъ арестантовъ.

—Да вѣдь я жь тебѣ русскимъ языкомъ толковала, что за свою шкуру бояться тебѣ нечего; кто бъ тамъ ни былъ въ отвѣтѣ, а ты въ сторонѣ останешься! вспылила на него Пахомовна.

— Да такъ-то оно такъ, а все-жь... какъ вспомнишь этта, какъ онъ его, сердечнаго, подушкой принакрылъ, да какъ мы его потомъ мертваго, замѣсто пьянаго поволокли—такъ столь это страшно становится, что вотъ—сами изволите видѣть—какъ оно трясетъ меня теперича: вѣдь убить—не обокрасть, матушка; моей душѣ, значитъ, на томъ свѣтѣ прямо въ адъ идти надобно.

— И безъ того угодилъ бы — это все-единственно.

— Сперва-началу-то оно словно бы и ничего не чувствовалъ, никакого, значитъ, угрызенія этого самаго, продолжалъ Иванъ Ивановичъ:—а вотъ теперь, чѣмъ больше, часъ отъ часу все хуже да страшнѣе становится: мутитъ меня, какъ вспомнишь—все это передъ глазами словно бы на яву представляется... Иду я къ вамъ, примѣромъ взять, по лѣстницѣ подымаюсь, а самому все чудится, будто покойникъ-то меня по пятамъ нагоняетъ.

— Это пройдетъ, успокоила Сашенька-матушка: — это такъ только покамѣсть—блажь одна съ непривычки, невры эти разстроились.

— Нѣтъ-съ, гдѣ ужь пройдетъ! горестно вздохнулъ Зеленьковъ:— не пройдетъ, душа моя чувствуетъ....

Сашенька-матушка презрительно скосила на него глаза.

— Что жь ты, небось, повѣсишься, или пойдешь да на самого себя доказывать станешь? съ явнымъ недовѣріемъ и не безъ ироніи спросила она.

— Да ужь и право не знаю, какъ сказать-то вамъ... затруднился тотъ пожавъ плечами.

— Небойсь, братъ! возразила ему собесѣдница, вполнѣ увѣреннымъ, положительнымъ тономъ, какъ человѣкъ, до тонкости знающій зеленьковскую натуру: — небойсь, братъ! руки ты на себя не наложишь, потому нехватитъ тебя на это; опять же и начальству доказывать не пойдешь, потому — трусъ ты большой руки: спинищи своей пожалѣешь; вѣдь ужь я тебя знаю, какъ свои пять пальцевъ: такъ только, помалодушествуешь для близиру, а тамъ и забудешь.

Зеленьковъ не возражалъ и сосредоточенно раздумывалъ о чемъ-то.

— А и запью же я теперь, съ горя! ухъ, какъ запью! словно бы самъ съ собою заговорилъ онъ черезъ минуту, уныло качая головою: — то-есть вотъ какъ!... Ни въ жисть еще такъ не пьянствовалъ, какъ теперь начну! Пущай хоть винищемъ залью это сумнѣнье свое неотвязное.

— Ну, это статья иная, согласилась Пахомовна: — только ты, братъ, погоди — виномъ заниматься успѣешь и опослѣ, а напередъ надобно будетъ для ея превосходительства еще одно дѣльцо состряпать.

— Чего тамъ еще? Мало ей одной души, что ли? съ недоумѣніемъ и досадой уставился онъ въ нее глазами.

— Не о душѣ рѣчь! угомонись ты, храбрость подпечная!... Дѣло такое, что одна ловкость да хитрость нужна, и только; и опять же совсѣмъ на счетъ другой персоны касающее.

— Что жь такое?

— А вотъ завтра узнаешь: утро вечера мудренѣй, говорится; да мнѣ и самой-то пока вполовину только извѣстно, отвѣтила она: — ужо вотъ поутру въ Морскую сбѣгаю, такъ и рецептъ во всей подробности принесу. А теперь вались-ко спать-себѣ. На вотъ подушку, дрыхни! Я, братъ, тебя не выпущу — на ключъ замкну, потому ежели съ цѣпи спустить — въ кабакъ упорхнешь, а тамъ тебя и съ собаками не отыщешь! заключила Сашенька-матушка, удаляясь за свои ширмы.

На слѣдующее утро приставъ совершенно напрасно ожидалъ къ себѣ дворника Селифана для отобранія отъ него новыхъ показаній: Селифанъ Ковалёвъ, конечно, лишенъ уже былъ возможности явиться, самъ по себѣ, куда-либо. Слѣдователь написалъ новый вызовъ, на который черезъ день получилъ отвѣтъ, что подлежащее лицо пропало, молъ, безъ вѣсти. Эта пропажа безъ вѣсти, независимо отъ дѣла Бероевой, немедленно же вызвала розыски мѣстной власти, въ непосредственномъ вѣдѣніи которой состоялъ пропавшій, какъ дворникъ. При этомъ розыскѣ, нѣкоторые изъ жильцовъ того дома заявили, что наканунѣ, а равно и въ самый день исчезновенія, видѣли Селифана Ковалёва въ весьма нетрезвомъ видѣ, что, впрочемъ, случалось съ нимъ довольно рѣдко.

На третій же день послѣ сего послѣдняго разслѣдованія, которое не привело ни къ какимъ экстраординарнымъ результатамъ — въ полицейской газетѣ, подъ рубрикой «Дневникъ приключеній», появилось извѣстіе, что такого-то, молъ, числа на Большой Невѣ, близъ Мытнинскаго перевоза, въ мѣстѣ, гдѣ обыкновенно сбрасываются груды сколотаго учичнаго льда, усмотрѣно было неизвѣстнаго званія и состоянія мертвое тѣло, предавшееся гніенію. Тѣло было занесено снѣгомъ, изъ-подъ котораго обнаружилось оно частію во время наступившей оттепели, а эта оттепель собственно и поспособствовала разложенію. Центральная полицейская власть, сообразя донесенія о двухъ изложенныхъ приключеніяхъ и имѣя въ виду, что найденное мертвое тѣло, быть можетъ, есть не кто иной, какъ пропавшій безъ вѣсти дворникъ, распорядилась послать въ Петербургскую часть городового сержанта, подъ вѣдѣніемъ котораго состоялъ пропавшій — съ тѣмъ, что не признаетъ ли его сержантъ въ найденномъ трупѣ!

И точно: посланный сразу призналъ Селифана Ковалёва.

Засимъ, по освидѣтельствованіи его полицейскимъ врачомъ, послѣдовало заключеніе такого рода: такъ-какъ на найденномъ тѣлѣ наружныхъ знаковъ насильственной смерти не оказалось, за исключеніемъ незначительнаго подкожнаго изліянія крови на правой щекѣ, что могло быть слѣдствіемъ ушиба объ лёдъ при паденіи въ минуту смерти, и такъ-какъ по вскрытіи оказалось уже разложеніе трупа, которое не допустило возможности опредѣлить, съ полною достовѣрностію, присутствіе въ организмѣ какихъ-либо веществъ, кои бы могли служить причиною смерти неестественной, то, по всей вѣроятности, дворникъ Селифанъ Ковалёвъ умеръ отъ апоплексическаго удара, происшедшаго вслѣдствіе чрезмѣрнаго, двухдневнаго пьянства, о чемъ, между прочимъ, свидѣтельствуютъ и показанія жильцовъ-такихъ-то и такихъ-то.

Засимъ, дѣло о найденномъ тѣлѣ оставалось только предать волѣ божіей и забвенію.

Но не такъ взглянулъ на это обстоятельство Егоръ Егоровичъ Бероевъ.

Исчезновеніе и внезапная смерть Селифана наканунѣ того самаго дня, когда онъ долженъ былъ сообщить столь важныя показанія—

явилось въ глазахъ Бероева, а также и въ глазахъ слѣдственнаго пристава, дѣломъ далеко не случайнымъ. Они подозрѣвали въ этомъ фактѣ продолженіе той же самой замысловатой интриги, которая такъ удачно опутала Юлію Николаевну.

Въ этомъ смыслѣ была составлена Бероевымъ новая формальная бумага, гдѣ онъ требовалъ нарядить отдѣльное слѣдствіе о всѣхъ тѣхъ обстоятельствахъ, что́ ближайшимъ образомъ предшествовали этой внезапной смерти.

Между тѣмъ, не теряя времени, онъ самъ принялся за розыскъ. Кидаясь туда и сюда, распрашивая лавочнаго сидѣльца и нѣкоторыхъ жильцовъ, онъ не пропустилъ безъ вниманія ни одного сосѣдняго кабака, ни одного трактира и, наконецъ, въ харчевнѣ подъ фирмою «Македонія», ему удалось-таки набрести на кой-какой слѣдъ. Въ этой харчевнѣ и половые и буфетчикъ знавали покойнаго Ковалёва, ибо онъ почти ежедневно захаживалъ туда пить чай. Они припомнили теперь, что въ послѣдній разъ сидѣлъ онъ тамъ, хмѣльной, съ какими-то двумя неизвѣстными людьми, которые, напоивъ его вконецъ, увели съ собою подъ руки. Были разсказаны и примѣты этихъ людей.

Такое начало розысковъ могло бы обѣщать и возможность дальнѣйшаго успѣха, тѣмъ болѣе, что энергія, съ которой дѣйствовалъ Бероевъ, служила ручательствомъ, что онъ до послѣдней возможности станетъ преслѣдовать свою конечную цѣль, но...

Среди этихъ розысковъ и хлопотъ, его самого внезапно постигло столь неожиданное обстоятельство, которое сразу прекратило для него всякую возможность къ дальнѣйшему раскрытію истины.

XXXV

. . . . . .

XXXVI

. . . . . .

Означенныя главы, по особеннымъ обстоятельствамъ, не могутъ быть напечатаны; но чтобъ читатель не потерялъ совершенно нити романа и имѣлъ хотя нѣкоторое понятіе о ходѣ событій разсказа, мы должны сказать, что Бероевъ,

вслѣдствіе происковъ, о которыхъ читатель узнаетъ ниже, былъ, наконецъ, поставленъ въ такое положеніе, что уже не могъ болѣе вредить ни Хлѣбонасущенскому, ни генеральшѣ фон-Щпильце, въ уголовномъ дѣлѣ князя Шадурскаго: онъ былъ арестованъ.

XXXVII

Какимъ образомъ все это случилось

Иванъ Ивановичъ Зеленьковъ очень дурно провелъ ночь на жесткомъ диванѣ Сашеньки-матушки. Но не диванъ былъ тому причиной, а словно бы страхъ да совѣсть пощипывали за сердце Ивана Ивановича.

— Александра Пахомовна! милостивая вы моя государыня! Не нудьте вы души человѣческой, позвольте слетать... Въ одинъ секундъ предоставлясь къ вамъ самолично... Коли забожиться — такъ правда будетъ!

Такими словами, на разсвѣтѣ дня, разбудилъ Зеленьковъ Александру Пахомовну. Но та, съ перваго просыпу, только погрозилась на него весьма гнѣвными глазами, и отвернулась.

— Матушка вы моя!... Не *я* прошу — душа моя проситъ! Она, грѣшница, чувствуетъ, значитъ, и горитъ... продолжалъ Зеленьковъ, тоскливо озирая комнату: — щемитъ мнѣ это преступленіе мое, какъ змѣя сосетъ за душу... Не съ веселья, а съ горя великаго желаю я напитка этого самаго... Дайте вы мнѣ грѣхъ залить: вопіетъ вѣдь онъ, анаѳемскій!... Хоть чуточку-то позабыть себя позвольте вы мнѣ!

Пахомовна молчала, закрывши глаза, и дѣлала видъ, будто не слышитъ.

— Охъ, ты Господи!... лучше ужь разрази ты меня, окаяннаго!... Нудитъ меня за душу — смерть, какъ нудитъ!... Охъ, батюшки, тошнёхонько!... Ой, тоска какая! время отъ времени стоналъ Зеленьковъ, то вскакивая и садясь на диванѣ, то вдругъ кручинно принимаясь бродить по комнатѣ; тёръ себѣ грудь и голову, тоскливо озирался во всѣ стороны, словно человѣкъ, изнемогающій отъ жажды, ищучи въ безплодной пустынѣ хоть единую каплю спасительной воды, и снова, въ великой скорби и томленіи, кидался на свое жесткое ложе.

Минутъ съ десять молчитъ Зеленьковъ, только вздыхаетъ глубоко порою, а тамъ опять вскочитъ и снова за бхонья свои принимается.

— Ой, матушки мои, помираю!... Голубушка вы моя, добродѣтельница!... Взвбю я, сейчасъ вотъ какъ пёсъ какой слезами взвою, не выдержу!... Отпустите вы меня, отпустите!...

И онъ, наконецъ, пришелъ въ какое-то дикое изступленіе, сталъ рыдать и колотиться затылкомъ объ стѣну. Александра поглядѣла на него съ изумленіемъ, и видитъ, что дѣло это плохое и ужь какъ-то чудно больно выходитъ, да скорѣй давай напяливать на себя юбчонку съ кацавейкой и сама побѣжала за водкой для Зеленькова, не забывъ, однако, замкнуть его въ квартирѣ, на время недолгаго своего отсутствія.

Водка уходила кричавшую совѣсть, Иванъ Ивановичъ выпилъ съ такою жадностью и наслажденіемъ, какъ никогда еще ему не случалось; а воспивши, тотчасъ же повеселѣлъ, поправился и сталъ совсѣмъ «человѣкомъ». Пахомовна, при видѣ сего, самодовольно осклабилась и даже нѣжность къ нему почувствовала.

— Вотъ теперь какъ есть мужчина, во всѣхъ пріятностяхъ своихъ! замѣтила она, стрòя ему отвратительно нѣжные глазки и зажигая въ зубахъ папироску: — только ужь больше и въ умѣ не держи пока о винищѣ этомъ, потому — говорю тебѣ — дѣла намъ съ тобой ныньче еще по горло хватитъ. Скоро вотъ бѣжать въ Морскую надо.

И часовъ около восьми утра, снова замкнувъ на ключъ Ивана Ивановича, она побѣжала съ докладомъ къ Амальѣ Потаповнѣ фонШпильце, а къ десяти — Ивану Ивановичу были уже сообщены новыя инструкціи.

Кому изъ петербуржцевъ не была знакома знаменитая «Толкучка», до-тла сгорѣвшая въ духовъ день 1862-го года? Хоть она и возродилась теперь, какъ фениксъ изъ пепла, но это еще фениксъ молодой, неоперенный, и притомъ фениксъ, во многомъ уже безвозвратно утратившій свою прежнюю «прелесть» и свой допожарный характеръ. Не случись этого пожара, толкучка навѣрное просуществовала бы еще, во всей своей неприкосновенности, многіе десятки,

если даже не сотни лѣтъ. А теперь приходится изобразить ея картину по однимъ лишь воспоминаніямъ.

Мѣсто, гдѣ ютилась она, осталось то же; это — все прежній неправильной формы четыреугольникъ, занимающій чуть ли не болѣе четверти квартала, да ужь видъ-то толкучки далеко не тотъ. Въ былое время, на этомъ пространствѣ, во всевозможныхъ направленіяхъ, по всевозможнымъ лабиринтообразнымъ, кривымъ и ломанымъ линіямъ, шли узенькія улички, переулченки, проходцы, по обѣимъ сторонамъ которыхъ возвышались животрепещущія деревянныя постройки, самой отчаянной, невообразимой архитектуры: верхніе этажи были гораздо шире нижняго, служившаго имъ основаніемъ, и подпирались всевозможными подпорками, бревнами, досками, и въ этихъ постройкахъ гнѣздились тысячи лавокъ и лавчонокъ, а въ промежуткахъ между ними, равно какъ и площадочкахъ и вдоль переулченковъ, лѣпилось, другъ возлѣ друга, въ вѣчной тѣснотѣ и давкѣ, множество прилавковъ, ларей, лотковъ, столовъ— и все это было буквально завалено всяческимъ хламомъ, о существованіи котораго вамъ, пожалуй, можетъ быть, и въ голову не пришло бы, но который здѣсь извѣстенъ искони подъ именемъ «товара», мѣнялся, продавался, покупался и проходилъ сквозь всѣ двадесять мытарствъ и девять круговъ преисподней, на потребу люда петербургскаго, на разживу торгашамъ да на похмѣлье мазурикамъ, для коихъ блаженной памяти толкучка была истинной матерью-кормилицей. Всѣ эти лавки и лавчонки сооружались по традиціонной, толкучно-апраксинской системѣ: всѣ онѣ, вопервыхъ, проходныя, для того, чтобы, въ случаѣ надобности, можно было «сквозняка задавать»; во вторыхъ, свѣту дневнаго онѣ недолюбливаютъ; внизу-то еще ничего, свѣтъ, пожалуй, и допускается, ибо тутъ, для виду, предполагается торговля «съ зазывцомъ и на чистоту»; но чѣмъ выше подымались вы—во второй и третій этажи, тѣмъ сильнѣй начиналось господство полумрака, и сей полумракъ, для знающаго человѣка, могъ служить признакомъ того, что здѣсь, по близости, гдѣ нибудь «тёмный товарецъ» находится; а тёмный товарецъ попреимуществу пользуется уваженіемъ толкучниковъ. Въ тѣхъ мѣстахъ, гдѣ между лавчонками остается сколько нибудь пустаго пространства, образующаго маленькую площадочку, а также

и по всѣмъ этимъ уличкамъ и проходцамъ, вѣчно снуётъ взадъ и впередъ тотъ особенный людъ, который вы можете встрѣтить единственно лишь на толкучемъ рынкѣ. Тутъ ужь идетъ толкотня въ полнѣйшемъ и буквальнѣйшемъ смыслѣ этого слова. Этотъ людъ, отъ перваго до послѣдняго, составляетъ совсѣмъ особенный видъ петербургскаго пролетаріата и извѣстенъ, въ своихъ сферахъ, подъ именемъ продавцовъ и покупателей «съ рукъ». Одинъ несетъ сюртучонко ветхій или такіе же штаны, другой сломанную бритву, третій башмаки или калоши съ изъянцемъ, четвертый предложитъ вамъ лампу какую-нибудь, у пятаго вы найдете на рукахъ и за пазухой двѣ-три какія попало книжонки, безъ заглавій и переплетовъ: шестой отзоветъ васъ съ таинственнымъ видомъ въ сторону и, озираясь, осторожно вынетъ изъ кармана какую-нибудь серебряную ложку или цѣпочку золотую, съ объясненіемъ, что продается, молъ, по несчастію, потому жена или тёща померла — хоронить надо, такъ, молъ, не купите ли, Христа-ради? И если вы, сжалившись надъ таковымъ злосчастнымъ положеніемъ продавца, заплатите ему сумму, которая покажется вамъ дѣйствительно вполнѣ ничтожной, сравнительно съ настоящей стоимостью золотой или серебряной вещи—то пришедъ домой, будете пріятно изумлены неожиданнымъ сюрпризомъ: цѣпочка вдругъ окажется мѣдной, ложка—оловянною. Профессія эта называется «обшачкою», то есть подмѣномъ. Этотъ народъ почти всю свою жизнь проводитъ «на толкучкѣ»; по крайней-мѣрѣ, день его сполна принадлежитъ этому рынку, начинаясь открытіемъ торговой дѣятельности раннимъ утромъ, и кончаясь съ прекращеніемъ ея къ вечеру. Ѣсть захочется—тутъ же подъ бокомъ и «обжорный рядъ» къ его услугамъ; спать захочется—въ Апраксиномъ переулкѣ «ночлежныя» имѣются: заплатили за ночь двѣ-три копѣйки—и спи-себѣ съ Богомъ. Такимъ образомъ, всѣ насущныя, житейскія потребности удовлетворяются тутъ же, на мѣстѣ, и вслѣдствіе этого, продавцы и перекупщики «съ рукъ» составляютъ непосредственный и характерный продуктъ толкучки: они—ея прямое порожденіе. Но что́ было всего замѣчательнѣе въ старой, допожарной толкучкѣ, это—нѣкоторое мѣсто, скрывавшееся въ одномъ изъ грязнѣйшихъ угловъ и носившее названіе «развала». На развалѣ шла, бывало, совсѣмъ особенная торговля: тутъ уже не было

ни лавокъ, ни ларей, ни столовъ, а просто-на-просто товаръ разваливался по землѣ, на рогожкахъ. Тутъ было сборище самаго непригоднаго, стараго, завалящаго хламу, всевозможныхъ родовъ и качествъ: черенья отъ ножей и вилокъ, сломанныя рамы отъ картинъ, битая посуда и стекло, рваныя книги, полусгнившіе лоскутья, безпалыя перчатки, облупившіеся портреты, костыли изъѣденное ржавчиной желѣзо, каска безъ шишака и такъ далѣе, словомъ сказать—тысяча самыхъ разнообразныхъ, но никуда негодныхъ предметовъ по всѣмъ отраслямъ житейскаго обихода. Этотъ развалъ обрамлялся цѣлымъ рядомъ шкафовъ, ларей и лавокъ безъ оконъ и дверей, представлявшихъ самую пеструю и яркую картину: тутъ на каждомъ шагу бросались въ глаза зеленые, желтые, синіе, красные лоскутья, перемѣшанные съ инымъ тряпьемъ всевозможныхъ цвѣтовъ и оттѣнковъ; и все это любезно развѣвалось по вѣтру, все это перетасовывалось между собою, и являя изъ себя какой-то невообразимый хаосъ и кутерьму, особенно когда оно сочеталось съ вѣчнымъ гамомъ, толкотней и юркимъ движеніемъ толкучаго рынка. Тутъ помѣщался такъ называемый «лоскутный рядъ», гдѣ обрѣтались изношенные фраки, юбки, драпри, бурнусы и всяческіе остатки матерій и суконъ отъ жилетовъ, отъ платья и прочаго. Но лучшее и оригинальнѣйшее украшеніе лоскутнаго ряда составляли безобразныя жидовки. Напяливъ на плечи до десятка самыхъ разнородныхъ кацавеекъ, бурнусовъ, манто и салоповъ, перекинувъ на руку нѣсколько кисейныхъ и иныхъ юбокъ, а на головѣ у себя воздвигнувъ цѣлую пирамиду изъ женскихъ шляпокъ, насаженныхъ одна на другую—эти жидовки, неподвижно сидящія длиннымъ рядомъ, другъ подлѣ дружки, тараторили, штопали и вязали чулки, а не то—тихо прохаживались взадъ и впередъ по «развалу», изображая собственной своею особою цѣлый ходячій магазинъ тряпья и лоскутьевъ. Глядя на всю эту ветошь, вы, быть можетъ, подумаете, что всѣ эти содержатели подобныхъ лавчонокъ перебиваются изъ одного лишь куска хлѣба, изъ насущнаго дневнаго пропитанія, что это все бѣднякъ—народъ, достойный всякаго сожалѣнія и поддержки — и вы жестоко ошибетесь: бо́льшая часть этихъ торговцевъ — люди весьма богатые, которые черезъ нѣсколько лѣтъ подобной торговли подъ толкучимъ, случается, наживаютъ себѣ дома и дачи,

выдаютъ дочерей замужъ за «енераловъ» и «енералы» эти дерутъ со своихъ тестюшекъ огромное приданое, не гнушаясь тѣмъ, что тестюшки разъ по пятнадцати, коли не больше, бывали подъ слѣдствіемъ будто бы «по оговору» въ пріемѣ и покупкѣ краденыхъ вещей, на которыхъ собственно они и все благосостояніе-то свое построили.

На одномъ концѣ «развала» пріютилась небольшая лавчонка, снизу до верху заваленная книгами, ландкартами и эстампами. Хозяинъ ея, маленькій горбунъ, съ сморщеннымъ лицомъ въ родѣ печонаго яблока, напоминалъ своею наружностію подземнаго крота. Напяливъ на кончикъ носа круглыя очки, онъ по цѣлымъ днямъ молчаливо рылся въ грудахъ своихъ книжекъ, перебирая ихъ, прочитывая заглавія, и сортировалъ по полкамъ. Какихъ только книгъ ни возможно было достать посредствомъ этого горбуна, и чего только ни хранилось на пыльныхъ полкахъ его лавчонки! И онъ каждую свою книжонку, хотя бы это была самая послѣдняя и завалящая, зналъ, какъ свои пять пальцевъ, зналъ, что она въ себѣ заключаетъ, въ какомъ мѣстѣ она у него хранится и какую цѣну можно запросить за нее съ покупателя.

Горбунъ съ сосредоточеннымъ любопытствомъ, внимательно переглядывалъ картинки въ одной старопечатной французской книжкѣ, и все ухмылялся да потряхивалъ головой, словно бы эти гравюрки представляли сюжеты черезчуръ ужь игриваго свойства.

— Здорово, дѣдушка! оприветствовалъ его, хлопнувъ по плечу, высокаго роста, видный старикъ, съ букинистскимъ мѣшкомъ за плечами. Горбунъ между букинистами прозывался дѣдушкой.

— Здорово, внучекъ, съ невозмутимой ровностью отвѣтилъ онъ, продолжая перелистывать картины, хотя этотъ внучекъ скорѣй бы могъ назваться ему братцемъ.

— Какая это у тебя? ткнулъ ему въ книгу пришедшій.

— Отмѣнная, внучекъ, могу сказать — антикъ!... антикъ-книжица!—*Лекон-фесьонъ ссн-серъ* прозывается, *дюнь ьсль аббесъ*... Вонъ оно что; а дальше-то ужь и не разберу: глазами сталъ плохъ. По картинкамъ судить—должно, на счетъ духовенства: ишь ты, все попахи съ попашенками изображены.

— Чудно! ухмыльнулся внучекъ, разсматривая картины:—право чудно, и токмо соблазнъ одинъ выходитъ... А я къ тебѣ съ пріятелемъ; вонъ онъ, гляди каковъ!... Да войди жь ты къ намъ Иванъ Иванычъ! кликнулъ онъ Зеленькова, который у наружнаго прилавка разглядывалъ «божественное» въ кучѣ литографированныхъ эстамповъ.

— Слышь-ко, дѣдушка! ты какъ меня, къ примѣру, понимаешь? При этомъ пришедшій букинистъ снова хлопнулъ по плечу хозяина.

— Ну, какъ тамъ еще понимать тебя! Всѣ мы стрекачи-трубо-лёты, одно слово! отшутился горбунъ, съ благодушной улыбкой.

— Нѣтъ, ты, дѣдушка, говори не морально, а всурьёзъ, по-истинному: какъ ты понимаешь Максима Ѳедулова? Каковъ я, по твоему, есть человѣкъ?

— Ништо, человѣкъ-то ты былъ бы хорошій, да бѣда — Богъ смерти не даётъ, а то ничего бы!...

— Ну, вотъ, опять ты только на смѣхъ ведёшь! А ты скажи мнѣ: много ли—мало ли ты со мной камерцыю свою водишь?

— Да годовъ съ двадесять будетъ, пожалуй.

— Надувалъ я тебя коли? аль заставлялъ кашу полицейскую расхлёбывать? говори ты мнѣ!

— Это что говорить?—Николи этого за тобой не водилось.

— Ну, и сколькихъ я литераторовъ на своемъ вѣку перезнавалъ? Отъ сколькихъ сочинителевъ книжонокъ въ твою лавчонку переправилъ?

— И это многожды случалось.

— Ну, и стало быть, я человѣкъ вѣрный?

— Да ты это какъ, всурьёзъ? пытливо вскинулъ на него глаза сви хозяинъ лавчонки.

— Съ тѣмъ и пришелъ! съ достоинствомъ подтвердилъ Максимъ Ѳедуловъ.

— Ну, какъ ежели всурьёзъ, то конешное дѣло — вѣрный, согласился горбунъ.

— И можешь ты на меня положиться?

— Сказано: «не надѣйтеся убо на князи»...

— Да я не князь, перебилъ его букинистъ.

— А не князь, такъ грязь—и тово, значитъ, хуже, опять отшутился «дѣдушка».

— Коли грязь, пущай грязь, будь хоть по твоему! шутя же согласился Ѳедуловъ:—оба мы книжники, и значитъ—одного поля ягода.

Старикъ лукаво усмѣхнулся и головой покачалъ: отрѣзалъ, молъ, здорово.

— Ну, да ладно, что̀ тутъ тары-бары точить! порѣшилъ онъ, ударивъ его ладонью въ ладонь: — конешное дѣло, положуся!... Да ты на счетъ чего же это?

— А на счетъ заграничнаго звону, подмигнулъ ему Ѳедуловъ. Старикъ зорко и осторожно покосился на Зеленькова.

— Чего-съ? протянулъ онъ, цѣдя свое слово сквозь зубы.

— Ты, дѣдушка, не бойсь его, кивнулъ Максимъ на Зеленькова: — не сумлѣвайся; это — человѣкъ вѣрный, старинный мой благопріятель.

Дѣдушка еще пытливѣй и зорче поглядѣлъ, сперва на того, потомъ на другого, и наконецъ успокоился.

— Чего, «заграничнаго», говоришь ты? переспросилъ онъ, словно бы еще не вникнулъ.

— Звону, дѣдушка, звону; съ лондонской колокольни.

— Нѣтъ у меня такого товару, и не соображу, о чемъ ты это говоришь, зарёкся горбунъ, отрицательно закачавъ головою.

— Ну, врешь! еще намедни́сь самъ же просилъ, не подыщется-ль молъ у меня покупателевъ? Вотъ я тебѣ и подыскалъ. У меня есть ужь два экземплярца! показалъ онъ изъ бокового кармана свертокъ печатной бумаги, повернувшись спиною ко входу—«чтобы не было соблазну посторонним глазамъ».—Одинъ свой былъ, другой у товарища добылъ, за третьимъ къ твоей милости пришелъ. Уважь, дѣдушка, потому безпремѣнно три надо: въ отъѣздъ, слышь ты, взять желаютъ, для пересылки.

— За какое время? освѣдомился горбунъ, сдѣлавшись посговорчивѣй.

— За прошлый годъ, полугодіе полное требуется.

— Можно! пятьдесятъ на серебро, а меньше въ цѣнѣ—ни копѣйки.

Максимъ Ѳедуловъ сталъ маклачить, прося «уважить на счетъ спуску»; но горбунъ упорно и крѣпко стоялъ на цѣнѣ, заявленной

имъ съ перваго разу. Нечего дѣлать, пришлось Ивану Ивановичу раскошелиться и дать. Горбунъ внимательно переглядѣлъ на свѣтъ каждую ассигнацію, провѣрилъ нумера, пересчиталъ раза два всю сумму на томъ основаніи, «деньга̀, молъ, допрежь всего, счетъ любитъ», и наконецъ, послѣ всей этой процедуры, систематически уложилъ полученныя деньги въ большой, сафьянный и отчаянно замасленный бумажникъ.

— Ты, Ѳедуловъ, постой-ка тутъ съ пріятелемъ за мѣсто меня, а я пойду пошарю; можетъ здѣсь, а можетъ и дома схоронено; не упомню что-то.

Ѳедуловъ на это только головой кивнулъ.

— Хитри, молъ, «не упомню»! знаемъ мы тебя!

И горбунъ удалился въ самый темный уголокъ своей лавчонки. Разобравъ цѣлую груду книгъ на нижней полкѣ, которая плотно примыкала къ самому полу, онъ осторожно сталъ выдвигать ее. Эта полка, имѣвшая особенное, потайное назначеніе, подавалась у него взадъ и впередъ на двухъ желобкахъ, незамѣтныхъ для постороннаго глаза. Выдвинувъ ее, старикъ приподнялъ приходившуюся въ томъ самомъ мѣстѣ часть половицы, и очутился передъ своими тайными и въ высшей степени интересными сокровищами. Тутъ были у него и массонскія, и раскольничьи книги, и рукописи безпоповщинскія, и книжки зело нескромнаго свойства, и вмѣстѣ со старопечатными, древними и запрещенныя политическія изданія. Все это хранилось подъ половицей, въ особаго рода деревянномъ футлярѣ, или ящикѣ, и все это — увы! сдѣлалось жертвой толкучаго пожара 62-го года...

Старикъ—слышно—не пережилъ своего несчастія и тоже отправился къ праотцамъ, унеся съ собою необычайную любовь къ книгамъ и громадную библіографическую память.

Отыскавъ, что̀ требовалось, онъ тѣмъ же порядкомъ замаскировалъ свой тайникъ и мигнулъ Ѳедулову:

— Это, что̀-ли?

— Во, во, во!... Оно самое! давай его сюда!...

— Тс... хорони половчѣе, молокососъ!...

— Не вамъ, хрычамъ, учить нашего брата!... Ладно, этакъ-то теперь не запримѣтить.

— Добро, проходите отсель поскорѣе! Нечего вамъ тутъ задаромъ разсиживать!... Купилъ товаръ, и уходи своею дорогою... Да слышь, прибавилъ онъ озабоченно и торопливо:—коли попутаетъ лукàнька, что въ недобрый часъ попадетесь вы съ этимъ добромъ — я не продавалъ, и вы у меня не покупали, и знать я ничего не знаю. Слышишь?

— Это ужь вѣстимое дѣло! Прощай, братъ, дѣдушка!

— Ну, то-то... Проваливай, внучекъ!

И спровадивъ своихъ покупателей, старикъ снова напялилъ очки и снова принялся за конфесьонъ сенсеръ, только что пріобрѣтенную имъ отъ какого-то гимназиста.

Иванъ Ивановичъ долго еще бродилъ по толкучему рынку, заходилъ во множество лавчонокъ, справляясь, не имѣется ли гдѣ литографскаго камня, и наконецъ, къ немалому своему удовольствію, отыскалъ и его, между всяческимъ сбродомъ и хламомъ, рядомъ съ бюстомъ Каратыгина и заплесневѣлой полуаршинной пушкой.

Пока генеральша фон-Шпильце сообщала Сашенькѣ-матушкѣ инструкціи для Ивана Ивановича Зеленькова, и пока тотъ приводилъ ихъ въ исполненіе, Поліевктъ Харлампіевичъ не дремалъ и усердно работалъ надъ дальнѣйшими деталями своего обширнаго плана. Теперь уже онъ непрестанно памятовалъ, что дѣло зашло слишкомъ далеко, особенно послѣ убійства дворника Селифана, что буде маломальски успокоишься и сядешь сложа руки — то дамокловъ мечъ, того и гляди, упадетъ ему на голову, да и не ему одному, а пойдетъ скакать, что называется, по всѣмъ по тремъ, не минуя ни Амальи Потаповны, ни Шадурскаго, ни Пройди-Свѣта, ни акушерки и всѣхъ прочихъ прикосновенныхъ къ дѣлу лицъ.

Но — «дамокловъ мечъ только виситъ и никогда не падаетъ», какъ весьма остроумно замѣтила одна французская книжица, и хотя Поліевктъ Харлампіевичъ тоже былъ не прочь отъ согласія съ этой мыслью, однако, будучи человѣкомъ предусмотрительнымъ и заботливымъ, пользуясь образцовой репутаціей честнаго и добропорядочнаго гражданина, онъ неусыпно продолжалъ работать.

«Вѣдь вотъ они, люди, сами себѣ портятъ и сами себя топятъ!» разсуждалъ онъ относительно обоихъ Бероевыхъ: «а все что вино-

вато?—гордость ихъ сатанинская и высокомѣріе! христіанскаго смиренія передъ судьбой, передъ рокомъ своимъ у этихъ людей ни на волосъ нѣтъ; а это-то и вредитъ!... Я желалъ уладить безобидно, сумасшедшей ее сдѣлать хотѣлъ — и все бы это отмѣнно покончилось — такъ нѣтъ же! Муженёкъ заварилъ кашу! Ну, а коли ужь заварилъ, такъ не взыщи, если больно солоно придется расхлебывать!... Я — видитъ Всевышній создатель мой — я спасти хотѣлъ! заключилъ Поліевктъ свои разсужденія: — я, на сколько возможно, даже добра имъ обоимъ желалъ; но... обстоятельства приняли иное теченіе: теперь уже спасать ихъ — значитъ губить и рѣзать самихъ себя. Пускай же оба идутъ по своему надлежащему теченію!»

И онъ глубокомысленно засѣлъ къ своему письменному столу, долго тёръ лобъ свой, долго кусалъ перо, строчилъ на большомъ листѣ бумаги, зачеркивалъ, переправлялъ, и снова строчилъ, пока наконецъ изъ-подъ пера его не вышло новое произведеніе. Это было нѣчто въ родѣ воззванія къ русскому народу, написанное хотя и весьма витіевато, но неглупо и очень красно.

«Посмотримъ, голубчикъ, какъ-то ты отъ этого отвертишься!» злорадно помыслилъ Хлѣбонасущенскій, перечитывая свое произведеніе. «Прибавить развѣ еще немного красноты и возмутительнаго духу этого, или и такъ оставить?... Нѣтъ, хорошо, кажись, будетъ и такъ... Теперь остается только два-три письмеца подходящихъ состряпать, якобы тутъ цѣлый заговоръ и цѣлая тайная агенція имѣется, а за симъ—и дѣло почти готово!...»

И Поліевктъ снова принялся за писанье. Вскорѣ и письма были готовы. Тогда онъ повезъ ихъ къ Амальѣ Потаповнѣ фон-Шпильце, съ тѣмъ чтобы та отдала ихъ переписать надежному человѣку, на обыкновенной почтовой бумагѣ. Генеральша обѣщала исполнить. Она во всемъ этомъ дѣлѣ принимала живѣйшее участіе, чувствуя, подобно Хлѣбонасущенскому, и надъ своей головою точно такой же дамокловъ мечъ; поэтому всѣ тѣ обстоятельства, которыя мы передаемъ теперь читателю, являются результатомъ ея секретныхъ аудіенцій и совѣтовъ съ великимъ юристомъ и практикомъ. «Чортъ знаетъ, изъ-за какихъ пустяковъ и дѣло-то все началося!» думалъ въ иныя минуты Хлѣбонасущенскій: «а ничего, кромѣ сей тактики

не придумаешь... отступать нельзя, потому зашло-то оно ужь чересчуръ далеко... надо дѣйствовать»!...

И они, какъ уже убѣдился читатель, точно что дѣйствовали.

Пріѣхавъ отъ генеральши, Поліевктъ Харлампіевичъ снова заперся въ своемъ кабинетѣ и старательно сталъ переписывать по транспаранту извѣстное уже возмутительное воззваніе, стараясь придать своей рукѣ возможно большій обще-писарскій почеркъ. Переписавъ экземпляровъ около осьми, онъ остановился, справедливо подумавъ, что и того будетъ вполнѣ достаточно для ясной улики.

На другой день послѣ этого, Сашенька-матушка принесла къ генеральшѣ литографскій камень и три экземпляра «Колокола», уложенные и запакованные сѣномъ въ корзинѣ изъ-подъ вина; а Поліевктъ Харлампіевичъ явился туда же съ пакетомъ своихъ прокламацій.

— Что письма? спросилъ онъ.

— Schon fertig.

— Вы ужь, матушка, по православному объясните мнѣ, по россійски, а то я не понимаю.

— А зачѣмъ непонимай?

— Да ужь такъ. Я всегда желалъ полнымъ патріотомъ остаться, потому и не захотѣлъ учиться...

Генеральша удовлетворилась симъ патріотическимъ аргументомъ и объявила, что, молъ, все ужь готово, что она сама скопировала письма эти, и притомъ буква въ букву съ оригинала, только руку свою нѣсколько измѣнила, ибо всегдашній почеркъ ея отчасти и «тамъ» извѣстенъ: пожалуй, еще какъ-нибудь вспомнятъ или догадаются. Поліевктъ Харлампіевичъ отъ глубины души своей поцаловалъ ея пухлую, потную ручку, за эту раціональную предосторожность.

— Вы добрый союзникъ, ваше превосходительство! вы — дипломатъ искусный! восторженно и сладостно воскликнулъ онъ, сопровождая этимъ восклицаніемъ свой поцалуй генеральской ручки.

Теперь, вся предварительная подготовка уже исполнена: камень, «Колоколъ», два письма и восемь экземпляровъ воззванія состоятъ налицо. Главное суть остается, стало быть, въ томъ, какимъ образомъ втайнѣ подсунуть все это въ квартиру Бероева?

— Надо скорѣй, и какъ можно скорѣй это сдѣлать! настаивалъ Хлѣбонасущенскій: — этотъ человѣкъ намъ положительно вреденъ! Посмотрите, какъ хлопочетъ онъ, какія тѣни подозрѣнія старается на насъ-то набросить! Каждый день онъ шибко подвигается впередъ; каждый день вѣдь хоть что-нибудь, да ужь непремѣнно откроетъ новенькаго въ свою пользу—меня обо всемъ этомъ досконально извѣщаютъ... Ждать, говорю вамъ, невозможно-съ: надо сократить этого барина, а иначе — сами сократимся!...

Амалія Потаповна подумала и взяла на себя отъ исканіе средствъ къ тайной подброскѣ. И она дѣйствительно отъискала—отъискала, какъ всегда и во всемъ, при посредствѣ своихъ вѣрныхъ, драгоцѣнныхъ и незамѣнимыхъ агентовъ.

Хотя Иванъ Ивановичъ Зеленьковъ давнымъ-давно уже съѣхалъ съ квартиры, занятой имъ въ томъ самомъ домѣ и по той самой лѣстницѣ, гдѣ жили Бероевы, однако знакомства своего и нѣжныхъ отношеній съ курносою дѣвушкой Грушей не прерывалъ и о-сю пору, находя это знакомство лично для себя весьма пріятнымъ. Курносая дѣвушка Груша отличалась умомъ не особенно прочнаго свойства и сердцемъ очень чувствительнымъ; поэтому, не вдаваясь въ невозможный для нея анализъ, что́ за человѣкъ есть этотъ Иванъ Ивановичъ, она беззавѣтно прилѣпилась къ нему всѣмъ своимъ нѣжнымъ и добрымъ, простоватымъ сердцемъ, будучи вполнѣ убѣждена, что «душенька ея Иванъ Ивановичъ распрекрасный человѣкъ и оченно даже смирнаго нрава». Иногда она отпрашивалась у барыни «со двора» и летѣла на это время къ Ивану Ивановичу, а иногда и Иванъ Ивановичъ къ ней захаживалъ; впрочемъ, послѣднее случалось несравненно рѣже перваго, и такимъ образомъ, съ самаго начала этого знакомства въ мелочной лавочкѣ, до самыхъ послѣднихъ событій нашего повѣствованія, нѣжныя отношенія Ивана Ивановича къ дѣвушкѣ Грушѣ непрекращались. И это, какъ нельзя болѣе кстати, послужило теперь цѣлямъ Амаліи Потановны и Хлѣбонасущенскаго.

Когда Амалія Потаповна, на секретномъ совѣщаніи своемъ съ Александрой Пахомовной, передала ей о крайней необходимости подброса извѣстныхъ уже вещей въ квартиру Бероева и о крайней за-

трудпительпости этого пассажа, мысль генеральши упала на всегдашняго исполнителя ея порученій — Зеленькова, и вдругъ, Сашенька-матушка, къ великой радости ея превосходительства, объявила, что это дѣло болѣе легкое, чѣмъ кажется. При семъ, она съ нѣкоторой горечью стала разсказывать о нѣжныхъ отношеніяхъ генеральскаго агента къ бероевской служанкѣ, и эта горечь служила признакомъ тѣхъ затаённыхъ, но тѣмъ не менѣе весьма нѣжныхъ чувствъ, какія Александра Пахомовна не переставала сама питать къ Ивану Ивановичу Зеленькову. Узнавши всѣ эти обстоятельства, генеральша снова посовѣтовалась съ Поліевктомъ Харлампіевичемъ и затѣмъ отдала новыя инструкціи своему фактотуму.

Результатомъ послѣднихъ было то обстоятельство, что Иванъ Ивановичъ немедленно же пріобрѣлъ себѣ, для бо́льшаго удобства, широкую шинель, схоронилъ подъ сюртукомъ, у самаго сердца, пакетъ съ завѣтными бумагами, а свертокъ «Колокола» вмѣстѣ съ камнемъ опустилъ въ очень вмѣстительный карманъ шинели, и на слѣдующій день, съ восьми часовъ утра, отправился пить чай въ одну изъ харчевень Подъяческой улицы, которая приходилась почти какъ разъ противъ дома, гдѣ жилъ Бероевъ. Хотя чаепитіе Зеленькова продолжалось очень долгое время, однако онъ не столько занимался чаемъ, сколько пристальнымъ глазѣньемъ въ окошко. Иванъ Ивановичъ дѣлалъ свои наблюденія. Онъ перемѣнилъ чай на пиво, а пиво на селянку, что̀ заняло у него добрыхъ часа два времени, а самъ межъ тѣмъ ни на шагъ не отходилъ отъ своего стола и частенько продолжалъ поглядывать на улицу.

Въ одинадцатомъ часу онъ замѣтилъ, что изъ знакомаго дома вышелъ человѣкъ съ двумя дѣтьми и сѣлъ на извощика.

Человѣка этого онъ видѣлъ только пвервые, но дѣтей призналъ тотчасъ же: это были дѣти Бероевой, которыхъ Иванъ Ивановичъ неоднократно встрѣчалъ, во время житья своего въ этомъ домѣ, когда они выходили гулять вмѣстѣ съ матерью, или съ Грушей. По дѣтямъ нетрудно было догадаться ему, что незнакомый человѣкъ—ихъ отецъ, Егоръ Егоровичъ Бероевъ; поэтому Зеленьковъ поспѣшилъ расплатиться за всѣ истребленныя имъ питія и снѣди, и сейчасъ же направился по знакомой лѣстницѣ въ знакомую квартиру. Его встрѣтила Груша.

— Ты одна, Груша?

— Одна.

— А кухарка-то гдѣ же?

— На рынокъ только что вышла.

— А баринъ дома?

— Никого нѣтъ дома — одна, какъ есть.

— Ну, здорово, коли такъ... позволь присѣсть малость: усталъ я нынче... ходьбы было много.

И онъ присѣлъ въ кухнѣ на табуретъ, не скидая шинели.

Минутъ пять прошло въ обыкновенной перекидкѣ словами. Иванъ Ивановичъ началъ какъ-будто мяться немного.

— Самъ-то съ дѣтьми, нешто уѣхалъ?... Куда это? спросилъ онъ.

— А къ барынѣ... видѣть она ихъ очень желала, бѣдная — онъ и повезъ.

— Ну, это дѣло хорошее. Жаль мнѣ твою барыню; ужь такъ-то жаль!... подумаешь, бѣда какая стряслася... А вотъ что, Грушенька! перебилъ онъ самаго себя: — смерть мнѣ что-то пить хочется... Какъ-бы этакъ пивка хватить, что-ли, стаканчикъ?... ась?... Не возможно-ли?

— Отчего жь невозможно? это — пожалуй....

— Да идти въ пивную не хочется: усталъ я что-то... будь-ка ты такая хорошая, смахай!... Вотъ тебѣ и денегъ на пару пива, а я пока посижу — фатеру покараулю.

Груша была очень рада, что можетъ хоть чѣмъ-нибудь услужить своему возлюбленному, и потому не заставила повторить его просьбу: мигомъ накинула на голову платокъ и побѣжала. А Иванъ Ивановичъ, тѣмъ часомъ, не теряя ни минуты, шмыгнулъ въ смежную горницу, оглядѣлся и видитъ, что печка тутъ какъ нельзя удобнѣе пришлась ему на помощь для исполненія заказаннаго дѣла: благо взбираться не трудно, потому рядомъ съ ней умывальный шкафчикъ стоитъ. Взобраться на него да положить за карнизъ желѣзной печи бумаги и камень — было дѣломъ одной минуты, послѣ чего Иванъ Ивановичъ, какъ ни въ чемъ ни бывало, вернулся въ кухню и сталъ поджидать прихода Груши съ парою пива.

Покалякавъ съ ней минутъ десять онъ простился и пошелъ, какъ было назначено, къ Александрѣ Пахомовнѣ.

— Ахъ, ты Господи, Боже мой! скорбѣлъ онъ, идучи своею дорогой: — и что̀ это я за человѣкъ-то анаѳемскій?!... Вертятъ мною, какъ хотятъ, а я молчи... Вѣдь теперь это, значитъ, барину этому какая ни на есть бѣда черезъ меня, подлеца, приключится: безъ того ужь и не подослали бы. И за что̀, подумаешь? Добро бы онъ худо что̀ сдѣлалъ мнѣ, изобидѣлъ бы, какъ ни-па-есть; а то вѣдь ровно ничего... и не знаю-то я его совсѣмъ... Опять же вонъ онамедни убить человѣка заставили... Э-эхъ! нехорошо, Иванъ Иванычъ, нехорошо!... А что подѣлаешь? — ужь, знать, судьба моя такая: и не желаешь, а варгань... И что это за сила у нихъ надо мною? съ чего они заполонили меня? Совѣсть-то проклятая, поди-ко, измучаетъ теперь! И ничего больше не придумаешь, окромя того, что получить мнѣ теперь съ ихъ превосходительства зарабочія деньги, да загулять... Ухъ, какъ!... мертвую съ горя запью, право!...

И межь-тѣмъ, Иванъ Ивановичъ хотя и скорбѣлъ въ душѣ своей, а все-таки шелъ къ Сашенькѣ-матушкѣ съ отчетомъ о благополучно исполненномъ порученіи.

Теперь читатель знаетъ уже на половину, какъ все это случилось. Другую половину замысловатаго фокуса взялся исполнить уже новый механикъ.

Механикъ этотъ...

Но нѣтъ! — Насѣкомое сіе столь достолюбезно, столь достопримѣчательно и на столько является продуктомъ петербургской жизни, что авторъ намѣренъ проштудировать его подъ микроскопомъ, въ надеждѣ, что любознательный читатель и самъ не прочь бы познакомиться (только не въ жизни, а по портрету) съ этимъ санктпетербургскимъ инсектомъ. Для сей цѣли авторъ даже начинаетъ отдѣльную главу, изъ коей, между прочимъ, читатель, въ надлежащемъ мѣстѣ, окончательно уже уяснитъ себѣ вопросъ о томъ, ка̀къ произошли всѣ описанныя нами въ предшествовавшихъ главахъ происшествія, и — смѣю надѣяться — уяснитъ все сіе даже безъ всякихъ коментаріевъ со стороны автора.

Итакъ приступаю.

XXXVIII

Одинъ изъ вездѣсущихъ, всевѣдущихъ всеслышащихъ и т. д.

Насѣкомое это, по родовымъ и видовымъ своимъ признакамъ, называется... Но нѣтъ, опять-таки нѣтъ! авторъ, право, затрудняется «въ настоящее время, когда и проч.», назвать его «настоящимъ» именемъ. Историческое происхожденіе его теряется во мракѣ вѣковъ. Авторъ не знаетъ, упоминаютъ ли о немъ Зороастръ и книги «Ведъ» (надо полагать — да), но библія напримѣръ, даетъ уже нѣкоторыя указанія на его существованіе въ библейскій періодъ. У римскихъ историковъ временъ упадка тоже находимъ довольно обстоятельныя свѣдѣнія объ этомъ видѣ, и затѣмъ, чѣмъ ближе подходитъ дѣло ко временамъ новѣйшимъ, тѣмъ все болѣе можно убѣждаться въ повсемѣстномъ его распространеніи. Можно сказать, съ бо́льшей или меньшей достовѣрностію, что подъ всѣми градусами земной широты и подъ всѣми меридіанами, гдѣ только обитаетъ двуногая порода, водятся и виды означеннаго насѣкомаго. Но чѣмъ страна «цивилизованнѣе», тѣмъ болѣе шансовъ для его существованія. Въ настоящее время наиболѣе совершенственный видъ его водится во Франціи и преимущественно въ Парижѣ. Однако, опытные изслѣдователи утверждаютъ, что и остальная Европа не обижена на сей счетъ: такъ, напримѣръ, между германскими странами, говорятъ они, будто бы благословенная Австрія представляетъ соединеніе условій, особенно благопріятныхъ для акклиматизаціи сего насѣкомаго. Одни находятъ его положительно полезнымъ, другіе — положительно вреднымъ; но еслибы послѣдніе, вслѣдствіе какого-нибудь coup d'état, очутились на мѣстѣ первыхъ, то авторъ никакъ не поручится за то, что они тотчасъ же не примутся за разведеніе означеннаго насѣкомаго, подобно тому, какъ разводится шелковичный червь, изъ видовъ политико-экономическихъ.

Насѣкомое это не вездѣ одинаково: оно принимаетъ свои оттѣнки, качества и бо́льшую или меньшую степень развитія и совершенства, сообразно условіямъ климата, жизни и обстоятельствъ какой-либо страны. Русская почва не можетъ похвалиться выработкой вполнѣ удовлетворительнаго вида сего насѣкомаго, да и слава-богу, тѣмъ

паче, что оно приходитъ къ намъ въ качествѣ нѣмецкаго товара. По крайней-мѣрѣ, въ большинствѣ случаевъ, это бываетъ такъ.

Еслибы кто спросилъ меня, что́ за человѣкъ Эмилій Люціановичъ Драпгъ? — я бы отвѣтилъ просто названіемъ настоящей главы: я бы сказалъ, что это человѣкъ вездѣсущій, всевѣдущій, всеслышащій и т. д.

Эмилій Люціановичъ Драпгъ (самъ онъ, для пущей звучности и громоносности, произносилъ свою фамилію не иначе какъ *Дрраннгъ*)— молодой человѣкъ лѣтъ тридцати-двухъ, одаренный пріятною наружностію, а притомъ, надо замѣтить, что эта наружность — самаго независимаго свойства. Въ обществѣ такихъ людей обыкновенно называютъ «пріятными во всѣхъ отношеніяхъ». Эмилій Люціановичъ бѣлокуръ, но не то, чтобы очень, а такъ-себѣ, средственно; ростомъ невысокъ и пенизокъ, а тоже этакъ средственно; носитъ англійскій проборъ впереди и сзади, что уже служитъ признакомъ извѣстнаго рода фешенёбльности, закручиваетъ усы и холитъ пушистую бороду. По внѣшнему виду его можно принять за все, что угодно, только это «все, что угодно» непремѣнно будетъ «цивилизованное» и «либеральное». Можно его принять и за либеральнаго пропріэтера-помѣщика, и за либерально-отставного военнаго, а, пожалуй, и за либеральнаго литератора, если не за либеральнѣйшаго человѣка; словомъ — это наружность, годящаяся для сцены на «цивильныя» роли средняго возраста, но никакъ не на «пейзанскія». Одѣтъ онъ всегда благоприлично и даже щеголевато, и усвоилъ себѣ маперы, вполнѣ соотвѣтственныя костюму. Происхожденіе свое скрываетъ подъ мракомъ неизвѣстности, говоря изрѣдка, при случаѣ, что онъ «сынъ благородныхъ родителей». Воспитаніе получилъ «въ какомъ-то» заведеніи, гдѣ отличался любовію къ секретнымъ аудіенціямъ съ начальствомъ, за что неоднократно бывалъ битъ своими товарищами. Ходятъ слухи, будто служилъ онъ въ такомъ-то полку, но получивъ за свои пріятныя качества нѣсколько непріятныхъ прикосновеній къ физіономіи, долженъ былъ разстаться съ мундиромъ и избрать другой родъ общественной дѣятельности. Въ настоящее время, одни утверждаютъ, будто онъ служитъ или «числится» гдѣ-то; другіе же утверждаютъ, будто нигдѣ не служитъ и не числится, а самъ Эмилій Люціановичъ на этотъ счетъ ровно ничего не утверж-

даетъ. Онъ просто-напросто «пользуется жизнью» и потому «журуетъ». Гдѣ бы, когда бы и какой бы ни вышелъ либеральный протестъ, онъ всегда становится на сторону протеста и старается вникнуть, въ чемъ тутъ кроется самая суть дѣла, какія его нити и пружины, и кто вожаки. Въ нравственномъ отношеніи — онъ атеистъ, въ экономическомъ — комунистъ, въ политическомъ — республиканецъ, въ соціальномъ — поборникъ «святого труда», женской эманципаціи, коммунъ и артелей и вообще самыхъ радикальныхъ мѣръ и salto mortale. Таковымъ, по крайней-мѣрѣ, старается онъ изображать себя при случаѣ, въ разговорѣ, до дѣла же и до душевной искренности — въ Петербургѣ кому какое дѣло!... Пріятный, милый человѣкъ — и баста!

Эмилій Люціановичъ Драгъ — вездѣсущъ. Объ этомъ мы сообщили уже читателю. Куда бы вы ни пошли — можно смѣло поручиться, что дѣло не обойдется безъ встрѣчи съ прекраснымъ Эмиліемъ. Лѣтомъ вы его встрѣтите на елагинской стрѣлкѣ, у Излера, у Ефремова, и въ Павловскѣ, и въ Петергофѣ, и на вечерахъ во всевозможныхъ клубахъ; зимою — то на Невскомъ, то въ Лѣтнемъ саду, то на Дворцовой набережной. Загляните въ любое изъ питательныхъ заведеній: къ Палкину, къ Доминику, къ Дюссо — и вы непремѣнно узрите Эмилія Люціановича, питающаго себя если не обѣдомъ или завтракомъ, то ужь навѣрное какимъ-нибудь слоёнымъ пирожкомъ или бутербродомъ. Эмилій Люціановичъ непремѣнно любитель просвѣщенія и цѣнитель изящныхъ искуствъ. Ни одно литературное чтеніе, ни одна публичная лекція не обходится безъ Эмилія Люціановича, и особенно безъ того, чтобы онъ не задалъ самой яростной работы своимъ каблукамъ и ладонямъ въ ту минуту, когда вдругъ кого-либо изъ фигурирующихъ авторовъ дернетъ нелегкая ввернуть что-нибудь «либеральное». Въ театрахъ вы точно такъ же столкнетесь съ господиномъ Драгомъ, который особенно предпочитаетъ тѣ пьесы, гдѣ взяточниковъ порицаютъ, рутину и порокъ бичуютъ громовыми монологами, и вообще гдѣ новѣйшіе драматурги изображаютъ себя на счетъ своихъ благородныхъ и возвышенныхъ чувствъ касательно прогресса и прочаго. Онъ даже самъ иногда порывается играть на сценѣ Жадова, Надимова, мыловара изъ устряловой комедіи и вообще роли подобныхъ либеральныхъ

и благонравныхъ юношей. Для удовлетворенія своимъ сценическимъ порываньямъ, Эмилій Люціановичъ даже самъ устраиваетъ иногда «любительскіе» спектакли «съ благотворительною цѣлью» и черезъ то вступаетъ въ конкурренцію съ извѣстнымъ мостакомъ по этой любительской части, который повсюду знаемъ и вѣдаемъ подъ именемъ «всеобщаго дядички». Паче же всего къ маскарадамъ стремится духъ прекраснаго Эмилія. Маскарадъ—его жизнь, его сфера и какъ-бы отечество его. Сколько можно въ этой густой, говорливой толпѣ невольно подслушать любопытнаго! сколько отъ иной болтливой и глупенькой маски можно, яко-бы непарокомъ, выпытать интереснаго!... Да, Эмилій Люціановичъ Драпгъ принадлежитъ къ числу неизмѣнныхъ членовъ-завсегда таевъ всевозможныхъ петербургскихъ маскарадовъ!

Спрашивается, чѣмъ же существуетъ Эмилій Люціановичъ? на какія средства доставляетъ онъ себѣ всѣ эти разнообразныя удовольствія? изъ чего онъ фланируетъ и жуируетъ? Гдѣ источникъ его доходовъ и какіе его рессурсы! Для большинства смертныхъ города Петербурга, всѣ сіи вопросы суть сфинксова загадка, и авторъ можетъ разъяснить только одинъ изъ нихъ, да и то лишь отчасти. Для входа во всѣ публичныя увеселительныя мѣста, а также на чтенія и концерты, Эмилій Люціановичъ Драпгъ постоянно имѣетъ либо «почетные», либо просто безплатные билеты. Но ради какихъ уважительныхъ причинъ таковые имѣются у него и притомъ постоянно — мы объяснить не беремся и считаемъ за лучшее заблаговременно уже поставить на семъ мѣстѣ благодѣтельную точку.

Кругъ знакомства Эмилія обыкновенно обширенъ. Онъ въ особенности обладаетъ тонкимъ искуствомъ втираться въ семейные дома, дѣлаться, что называется своимъ домашнимъ человѣкомъ, пріобрѣтать благорасположеніе старушекъ, становиться на пріятельское *ты* съ мужьями и братьями и подлаживаться къ молодымъ бабёнкамъ и дѣвчонкамъ, которыя, называя его своимъ искреннимъ другомъ, посвящаютъ его во всѣ домашнія тайны и секреты и вообще конфидируютъ иногда о такихъ предметахъ, на счетъ которыхъ, въ иныхъ случаяхъ, слѣдовало бы держать языкъ за зубами.

Онъ обладаетъ также особенной способностію заводить и случайныя знакомства: въ вагонѣ попроситъ отворить или затворить окошко,

потому что дуетъ, или потому что жарко, привяжется къ этому казусу и разговоръ затѣетъ, а потомъ при встрѣчѣ любезно кланяется; на легкомъ невскомъ пароходѣ непремѣнно первый подыметъ либеральный протестъ насчетъ того, что долго не отчаливаютъ отъ пристани, или противозаконное число пассажировъ напѣхиваютъ, причемъ необходимо отпуститъ гражданскую фразу въ родѣ того, что «и о чемъ это полиція думаетъ!» и что «этакая мерзость, этакое послабленіе только *у насъ* возможно», затѣмъ опять-таки по сему поводу примажется съ разговоромъ къ сосѣду, и опять-таки при встрѣчѣ любезно раскланяется съ нимъ. Однимъ словомъ, это — необыкновенный мастеръ на уловленіе знакомства.

Но кромѣ обширности, кругъ знакомствъ Эмилія Люціановича отличается еще и необыкновеннымъ разнообразіемъ. Онъ знакомъ рѣшительно съ цѣлымъ городомъ. Прослѣдите за нимъ изъ конца въ конецъ, хоть на Невскомъ проспектѣ — и вы увидите, что шляпа его то и дѣло отчеканиваетъ поклоны, на которые ему отвѣчаютъ, по большей части, то любезными, то пріятельскими осклабленіями. Люди съ титуломъ и происхожденіемъ, купцы, мѣщане, попы, чиновники, аферисты, студенты, семинаристы, актеры и артисты—со всѣмъ этимъ, можно сказать, повально знакомъ Эмилій Люціановичъ. Но преимущественно предпочитаетъ онъ студентовъ, академическихъ офицеровъ и паче всего — артистовъ съ тераторами. Эти послѣдніе почему-то пользуются особенною его симпатіею. Со многими онъ *на ты*, со многими *на вы*, съ остальными просто на поклонахъ; но такъ или иначе, вы можете быть увѣрены, что только отъищется какое-нибудь теплое мѣстечко, гдѣ мало-мальски осядется и начнетъ ежедневно собираться постоянный пріятельскій кружокъ—Эмилій Люціановичъ Драпгъ уже тутъ какъ тутъ! Сначала въ сторонѣ держится, а потомъ завяжетъ какъ-нибудь случайное знакомство, по вышеписаннымъ примѣрамъ, и непремѣнно успѣетъ примазаться къ пріятельскому кружку—таковы уже свойства его вкрадчивости и умѣнья. Такимъ образомъ, въ прежніе, но впрочемъ недавніе, годы онъ постоянно тёрся въ ресторанѣ Еремѣева, который тогда служилъ сборнымъ пунктомъ для всѣхъ почти русскихъ актеровъ, для многихъ артистовъ, литераторовъ и тому подобнаго народа. Во времена ближайшія, онъ показывался зачастую у «дяди Зеста», въ малень-

комъ деревянномъ домишкѣ, близъ Александринскаго театра, и тамъ изображалъ себя якобы влюбленнымъ, въ числѣ многихъ, въ толстую буфетчицу «Густю». Толкаясь, такимъ образомъ, вездѣ и втираясь повсюду, Эмилій Люціановичъ зналъ и видѣлъ всѣхъ и вся. Никто, напримѣръ, лучше, обстоятельнѣе и подробнѣй его не могъ бы разсказать какую-нибудь сплетню, какой-нибудь уличный или общественный скандалъ, какое-нибудь городское происшествіе—онъ какими-то непонятными, неисповѣдимыми судьбами, зналъ все это подробнѣе всѣхъ и раньше всѣхъ; только строго различалъ при этомъ, что именно можно и слѣдуетъ разсказывать и чего нельзя и не слѣдуетъ. И вотъ, такимъ-то образомъ, кромѣ явной и всеобщей своей характеристики «милаго и пріятнаго во всѣхъ отношеніяхъ человѣка», Эмилій Люціановичъ Драгъ вполнѣ вполнѣ могъ еще назваться существомъ вездѣсущимъ, всевѣдущимъ, всеслышащимъ и т. д.

Когда Александра Пахомовна доложила генеральшѣ фон-Шпильце, что и послѣднее, самое трудное порученіе выполнено Зеленьковымъ въ точности, Амалія Потаповна немедленно же позвонила своего лакея.

— Бери извошикъ и катай на Маховая улицъ, и Пантелеймонъ! озабоченно отдала она ему приказаніе: — ты знаешь Эмилій Люціаничъ господинъ Драгъ!

— Знаю, ваш-псходительство.

— Говори ему, пускай сейчасъ летайтъ на меня, отшинь, отшинь нужда большая—дѣло. Да скорѣй ты, а то дома уже не будетъ!

— Амалія Потаповна, какъ видно, хорошо знала привычки прекраснаго Эмилія; его, дѣйствительно, только утромъ и можно было застать въ своей квартирѣ; во все же остальное теченіе дня и ночи—вездѣсущій порхалъ по всему городу, уподобляясь то рѣзвому папильону, то гончей собакѣ.

Генеральскій лакей, слава-богу, успѣлъ захватить его какъ-разъ въ ту самую минуту, когда нашъ гончій папильонъ юркнулъ въ сани извощика, и вполнѣ уже приготовился искать по свѣту, гдѣ есть уголокъ и пища для его любознательности.

— Дѣло... А, дѣло! Дѣло — прежде всего, это, такъ-сказать, нашъ долгъ, обязанность, рѣшилъ Эмилій Люціановичъ и поскакалъ къ генеральшѣ.

— Н-ну-съ, пани генералова!... Цалую ручки-ножки паньски... Что скажете, моя блистательная фея?

Такъ началъ Драгъ, вступая въ обольстительный будуаръ госпожи фон-Шпильце. Онъ былъ на сей разъ въ добромъ юморѣ, и очевидно, искони пользовался извѣстнаго рода фамильярностью въ отношеніяхъ своихъ къ этой особѣ.

— Фуй! шилунъ какой! скокетничала генеральша, ударивъ его слегка по ладонѣ:—хотійтъ фриштыкать? вина какого?...

— Отъ яствій и питія никогда не прочь, охотно согласился онъ, принимая при этой фразѣ позу и интонацію горбуновскаго «батюшки».

— Фуи-и, шилунъ! еще кокетливѣе повторила генеральша, съ примѣсью какой-то благочестивой укоризны во взорѣ.

Тотчасъ же принесли холодный завтракъ. Генеральша любила-таки покушать власть и вплотную, а потому приналегла на снѣди и вина свои, вмѣстѣ съ прекраснымъ Эмиліемъ, который, во время процесса питанія, казалось, содѣлался еще благодушнѣе.

— Ну-съ, моя прелестная сослуживица, повѣствуйте на вашихъ двунадесяти языцѣхъ, какое такое у васъ дѣло до меня имѣется? сказалъ онъ, откинувшись въ глубокую спинку кресла и принимаясь ковырять въ зубахъ.

Генеральша впослѣдніе улыбнулась игриво-кокетливымъ образомъ и тотчасъ же сообщила себѣ солидный и вполнѣ дѣловой уже видъ. Она необыкновенно таинственно сообщила ему, что имѣетъ положительныя свѣдѣнія относительно зловредности нѣкоего Бероева.

— Откуда жь вы ихъ имѣете? нѣсколько скептически спросилъ ее Драгъ.

— А черезъ мой агентъ...

— Хм... въ чемъ же заключается эта зловредность-то?

Генеральша разсказала, будто ея агентъ давно уже знакомъ съ прислугой Бероева, ходилъ часто къ нему въ домъ, и однажды, то-есть на дняхъ, получилъ отъ этого Бероева приглашеніе къ участію въ подпольномъ распространеніи возмутительныхъ воззваній,

которыя Бероевъ будто бы намѣревается литографировать въ своей квартирѣ. Все это показалось Драгу несообразнымъ какъ-то.

— Кто этотъ Бероевъ? спросилъ онъ съ прежнимъ скептицизмомъ.

— У Шиншѣевъ служійтъ.

— Гм... понимаю! Это, значитъ, благовѣрный той дамы, у которой теперь на шейкѣ уголовщина сидитъ; а въ уголовщину эту, кажись, и моя блистательная фея einbisschen замѣшана—такъ ли-съ? прищурился онъ на нее пытливымъ глазомъ.

Генеральшу непріятно передернуло.

— Ну-у, што ишшо тамъ? процѣдила она съ неудовольствіемъ:— это завсѣмъ сюда не идетъ.

— А нейдетъ, такъ чего же вы ждете? Знаете чуть ли не о цѣломъ заговорѣ и молчите, да за мной посылаете!—А вы дѣйствуйте сами—вѣдь не впервой-съ?

— Ай, мнѣ неловко! замахала руками генеральша.

— Отчего же до этого разу всегда ловко было?

— Ай, какъ же!... Тутъ это дѣло mit seine Frauen — мнѣ завсѣмъ неловко, завсѣмъ неловко!

— Н-да-съ, то-есть, вы боитесь, что ваши дѣйствія по этой причинѣ не будутъ приняты въ должное вниманіе—такъ ли-съ?

— Certes, mon bijou, certes! comme de raison!

— Понимаемъ-съ. Но если вамъ неловко, то мнѣ еще неловче: я вѣдь его не выслѣживалъ, не знаю никакихъ подробностей; этакъ, пожалуй, того и гляди, какъ куръ во щи влопаешься.

Генеральша объяснила и подробности.

Драгъ—руки въ карманы—прошелся по комнатѣ и плутовски въ упоръ остановился передъ генеральшей.

— Вы ужь лучше признайтесь-ка мнѣ какъ-бы передъ либеръ-готтъ! началъ онъ, слѣдя за движеніями ея физіономіи:—Бероевъ-то, должно быть, очень опасенъ для васъ по тому дѣлу—такъ вы этакъ тово... на время устранить его желаете, а инымъ путемъ — никоимъ образомъ устранить вамъ его невозможно — не такъ ли?

Генеральшу снова стало коробить и ёжить: она имѣла дѣло съ очень наглымъ, очень умнымъ и проницательнымъ господиномъ.

— Ну, а еслибы и такъ? попыталась она косвенно согласиться въ видѣ вопроса.

— А коли такъ, то и работайте сами, какъ знаете! откланялся Эмилій Люціановичъ:—что я, о двухъ головахъ, что ли? За ложный доносъ — доносчику первый кнутъ—вы это знаете? Этакъ-то, коли начнется слѣдствіе да откроется настоящее дѣло—вы думаете, насъ-то съ вами пощадятъ за наши заслуги? Нѣтъ-съ, ваше превосходительство: на казенный коштъ полярную географію изучать отправятъ: въ гости къ моржамъ да къ пушному звѣрю на побывку прокатимся! — Вотъ оно что-съ!

Генеральша погрузилась въ досадливыя размышленія: дѣло срывается и — того гляди — совсѣмъ, пожалуй, лопнетъ. Скверно! А надобно бы работать поживѣе, потому что Бероевъ не дремлетъ и сильно хлопочетъ о раскрытіи истины запутаннаго дѣла.

Драгнъ, межъ тѣмъ, продолжалъ расхаживать по мягкимъ коврамъ генеральскаго будуара и, судя по улыбкѣ, обдумывалъ что-то небезъинтересное.

— Вотъ, что̀ я вамъ скажу, моя королева! остановился онъ передъ Шпильце, скрестивъ на груди свои руки: — вѣдь дѣло съ Бероевымъ, такъ или иначе, разъиграется пустяками, непремѣнно пустяками! Ну, подержатъ-подержатъ, увидятъ, что вздоръ, и выпустятъ, даже съ извиненіемъ выпустятъ; а я-то что же? только себя черезъ то скомпрометирую, кредитъ свой подорву.

Генеральша слушала его во всѣ уши и глядѣла во всѣ глаза.

— И это еще самое легкое, продолжалъ Эмилій Люціановичъ:— хорошо, если только этимъ все кончится; а если дѣло разъиграется такъ, что самого къ Іисусу потянутъ—тогда что̀? Вѣдь я, понимаете ли, долженъ буду все начальство въ заблужденіе ввести, обмануть его, а вѣдь это не то, что взять да обмануть какого-нибудь Ивана, Сидора, Петра; это дѣло обоюдуострое, какъ разъ нарѣжешься— и похерятъ меня, раба божьяго, а вы-то вѣдь въ сторонѣ останетесь, вамъ оно ничего!

— Н-ну? по обычаю своему, цѣдя, протянула генеральша.

— Н-ну, передразнилъ ее Драгнъ:—поэтому если ужь рисковать, такъ хоть было бы за что. Я вѣдь матеріалистъ, человѣкъ XIX вѣка и въ возвышенныя чувствованія не вѣрую, а служу тельцу златому.

— Н-ну? повторила генеральша.

— Н-ну, опять передразнилъ ее Дрангъ: — понять-то вѣдь, кажется, нетрудно! Если ужь вамъ такъ приспичило во что бы то ни стало припрятать на время Бероева, то выкладывайте сейчасъ мнѣ пять тысячъ серебромъ—и нынче же ночью онъ будетъ припрятанъ самымъ солиднымъ, тщательнымъ и деликатнымъ образомъ.

Генеральша помялась, поторговалась — нѣтъ, не сдается прекрасный Эмилій: какъ сказалъ свою цифру, такъ ужь на ней и стоитъ. Нечего дѣлать, послала она за Хлѣбонасущенскимъ, посовѣтовалась съ нимъ наединѣ, и порѣшили, что надобно дать. Пришлось по двѣ съ половиной тысячи на брата—и Дрангъ помчался обдѣлывать порученіе, въ первый разъ въ жизни ощущая въ своемъ карманѣ цѣликомъ такую полновѣсную сумму и поэтому чувствуя себя легче, благодушнѣе и веселѣе, чѣмъ когда-либо.

XXXIX

. . . . . .

XL

. . . . . .

XLI

У дяди на дачѣ

Правую сторону тюремнаго фасада, вдоль Офицерской улицы, занимаетъ женское отдѣленіе. Центръ его—круглая башня на углу тюремнаго переулка. Оно составляетъ какъ-бы нѣчто въ родѣ status in statu, въ общемъ строѣ и порядкѣ «дядина дома», и потому въ средѣ арестантовъ слыветъ подъ именемъ «дядиной дачи».

Дядина дача почти совсѣмъ изолирована отъ общей тюремной жизни, и только одна контора является звѣномъ, вполнѣ равносильнымъ, какъ для «дядина дома», такъ и для «дядиной дачи». Высокій, острый частоколъ отдѣляетъ маленькій дворикъ женскаго отдѣленія отъ большого двора. Этотъ дворикъ представляетъ весьма унылый видъ: тамъ и сямъ произрастаютъ на немъ два-три убогіе,

тощіе, полузасохшіе кустишки, отъ которыхъ ни красы, ни тѣни. На протянутыхъ веревкахъ бѣлье арестантское сушится. Съ одной стороны частоколъ съ вѣчно-запертыми воротами, съ другой—угрюмаго вида наружныя галлереи женской тюрьмы. Высокія сѣрыя стѣны, черныя окна за желѣзными и сѣтчатыми рѣшотками, а по-ту сторону частокола — будка да штыкъ часового — на всѣмъ какой-то безцвѣтный колоритъ давящаго мрака, на всемъ какое-то клеймо, невольно уже говорящее всякой грядущей сюда душѣ человѣческой, что это домъ унынія—«домъ позора». На общемъ дворѣ да по мужскимъ отдѣленіямъ видно еще хоть какое-нибудь движеніе, слышится хоть какая-нибудь жизнь, хоть какіе-нибудь звуки-то жизни доносятся оттуда до уха посторонняго наблюдателя, на женскомъ же дворикѣ—пустота, и въ женскихъ камерахъ—тишина, да пришибленность какая-то, какъ будто вошелъ сюда когда-то робкій, болѣзненно-скорбный испугъ, да такъ и остался навѣки.

А между тѣмъ условія тюремнаго существованія на женскомъ отдѣленіи не въ примѣръ лучше и комфортабельнѣе, чѣмъ на мужскихъ; но... тó, чтò порою легко и спокойно можетъ выносить мужчина, является трудно и тяжело переносимымъ для женской души. Если—говоря примѣрно—изъ десяти мужчинъ одинъ способенъ почувствовать *нравственно позорный* гнётъ тюрьмы (другіе, по большей части, чувствуютъ только *неволю*), то изъ десяти женщинъ развѣ одна только не почувствуетъ его. Вѣрно, ужь таковы коренныя свойства женской натуры, что тутъ является совсѣмъ обратная пропорція. Входитъ, напримѣръ, въ любое изъ мужскихъ отдѣленій стряпчій, прокуроръ, или какое ни на есть «начальство»—арестанты не выказываютъ никакихъ признаковъ смущенной робости: они такъ же спокойны, какъ и до этого прихода, развѣ только съ мѣстъ иные вскочутъ, ради «почтительности»; на женскомъ же—во взорѣ каждой почти заключенницы вы сразу и легко прочтете какой-то недоумѣлый испугъ, болѣзненное смущеніе, и во всякомъ движеніи ея, въ эту мунуту, здѣсь невольно скажется вамъ страдальчески-пришибленная, приниженная робость. Начнутъ ли разспрашивать про дѣло, по которому содержится арестантка—она невольно потупится, и какъ будто застыдится, какъ-будто ей совѣстно становится раскрывать передъ человѣкомъ свой грѣхъ, свою душу.

И поневолѣ вамъ покажется, что въ тюрьмѣ, болѣе чѣмъ гдѣ-либо женщина чувствуетъ и сознаетъ свое печально-пассивное, беззащитное, безпомощное соціальное положеніе. Тутъ она какъ-будто живѣе понимаетъ свое бѣдное и общее женское безсиліе.

Мы сказали, что условія женской тюремной жизни (по крайней-мѣрѣ въ нашей тюрьмѣ) лучше и комфортабельнѣе, чѣмъ мужской. Это оттого, что о женщинѣ-заключенницѣ заботится женщина же. Женская душа скорѣе и больнѣе, ближе къ сердцу почувствуетъ горе и нужду ближняго, особенно же нужду женщины — матери, жены, дочери; а быть можетъ, ничто благотворнѣе не подѣйствовало бы на арестанта, какъ мягко-теплое человѣческое отношеніе къ его личности и судьбѣ—отношеніе, въ которое именно женщина способна становиться въ тысячу разъ болѣе, чѣмъ любой филантропъ-мужчина. Арестантъ любитъ и чтитъ это отношеніе: только фарисейски-чорствой, и какъ-бы казенной филантропіи да офиціально начальственной сухости не переваривaетъ онъ. И вотъ гдѣ именно хорошее, доброе поле для женскаго дѣла, для человѣчески-женской благотворительности! И это будетъ настоящая благотворительность, а не одна модная, свѣтская филантропія, которая — увы! по преимуществу господствуетъ въ этомъ дѣлѣ. Слава-богу еще то, что между свѣтскими нашими филантропами есть нѣсколько счастливыхъ человѣческихъ исключеній, которымъ собственно и обязана женская тюрьма тѣмъ, чѣмъ она является на дѣлѣ. Пусть не исключительно одинъ мужчина, а и женщина, даже пускай по преимуществу женщина войдетъ въ наши тюрьмы, да только не рисуясь ролью ангела-утѣшителя, а съ искреннимъ желаніемъ добра и пользы, пусть она протянетъ человѣческую руку помощи и примиренія отверженцу общества, пусть она чуткимъ и мягкимъ сердцемъ своимъ почувствуетъ его боль и нужду, его великую скорбь арестантскую!—Это будетъ хорошее, честное дѣло, достойное *женщины-человѣка*. А у насъ-то на широкой Россіи оно даже болѣе, чѣмъ гдѣ-либо необходимо и насущно, потому — какого только народа, и винно, и безвинно, не перебываетъ ежегодно по нашимъ отвратительнымъ тюрьмамъ! Недаромъ же у насъ и пословица въ народѣ сложилась: «отъ сумы да отъ тюрьмы не зарекайся»—пословица, горькій и страшный смыслъ имѣющая: она — безнадежный

плодъ бѣдности, горькой нужды съ нищетою, но еще болѣе того — отчаянный плодъ безправья и произвола.

XLII

Бероева въ тюрьмѣ

Солдатъ тюремной команды вывелъ изъ конторы вновь прибывшую арестантку, и повелъ ее корридоромъ «на дачу». Внизу позвонилъ онъ у низкой двери, довольно дубоватой конструкціи, которую отомкнула пожилая и, повидимому, мускулисто-сильная придверница.

— Получите дачницу, шутливо обронилъ онъ ей слово. Та кликнула одну изъ надзирательницъ.

На ея зовъ, въ ту же минуту спустилась съ темноватой лѣстницы маленькая старушка съ добрымъ, благодушнымъ лицомъ, одѣтая весьма скромно въ темное шерстяное платье.

— Получите-съ, повторилъ, обращаясь къ ней, провожатый, только ужь безъ шутливаго тона: — приказано сдать въ татебное.

Старушка добродушно поклонилась приведенной арестанткѣ, и посмотрѣла въ ея убитое печалью лицо.

— Пойдемъ, милая, сказала она, подымаясь на лѣстницу: — какъ зовутъ тебя?

— Бероева...

— Тебя исъ части прислали, вѣрно?... У насъ будетъ получше, полегче, чѣмъ въ части-то: здѣсь еще ничего, можно сидѣть... ну, и товарки все-таки будутъ, и повольнѣй немножко. Ты не печалься: что дѣлать, съ кѣмъ бѣды не случается!

Надзирательница привела ее въ маленькую комнату, и достала тюремное платье. Бероева переодѣлась и пошла вмѣстѣ съ нею въ назначенную камеру.

Это была длинная комната, окна которой выходили на галлерею. Въ концѣ ея чернѣлись рядомъ двѣ двери, съ надписью на каждой «карцеръ». Мѣбель этой комнаты была весьма незатѣйлива: два-три длинные стола, да простыя скамейки, на которыхъ сидѣло нѣсколько арестантокъ, занимаясь шитьемъ грубаго холста. Съ лѣвой сто-

роны шли четыре двери со стеклами, которыя вели въ четыре отдѣльныя комнаты. Три изъ нихъ тускло и скудно освѣщались рѣшетчатыми окнами, по одному въ каждой; четвертая была темна совершенно. Въ этихъ комнатахъ помѣщались желѣзныя кровати арестантокъ, очень аккуратно застланныя чистымъ бѣльемъ, и покрытыя буро-верблюжьими одѣялами. Во всемъ, съ перваго взгляду, кидалась въ глаза такая же чистота и порядокъ, только воздухъ въ низкой комнатѣ былъ какъ-то больнично тяжолъ и тепелъ, отъ нещадно-натопленной печи. Впрочемъ, «паръ костей не ломитъ, а холодъ руки знобитъ да работать не велитъ», говорятъ на этотъ счетъ арестантки.

Старушка помѣстила Бероеву въ первую отъ входа «татебную» комнату, гдѣ уже сидѣли три-четыре арестантки, одѣтыя точно также, какъ и она. Оглядясь и попривыкнувъ нѣсколько къ своему новому положенію, новая жилица замѣтило, что ея «камера» рѣзко отличается своимъ костюмомъ отъ всѣхъ остальныхъ арестантокъ. Тѣ были одѣты въ полосатыя тиковыя платья съ бѣлыми косынками на шеѣ, нарядъ же Беросвой и ея камерныхъ товарокъ отличался какимъ-то траурнымъ характеромъ: такая же бѣлая косынка и черное платье.

— Отчего это? спросила она свою сосѣдку.

Та горько усмѣхнулась.

— Оттого, милая, что мы татебныя; «по тяжкимъ», значитъ.

— Это, милая, затѣмъ, чтобы позору больше было, чтобъ и здѣсь ты не забыла его, да чтобы всякъ видѣлъ, какая-такая ты преступница есть! подхватила другая со столь же горькой и ѣдкой улыбкою.

— Этотъ хорошій нарядъ «татебнымъ капотомъ» прозывается, замѣтила третья, тряхнувъ свою чорную полу.

При этихъ словахъ четвертая — молодая, хорошенькая дѣвушка — приникла лицомъ въ подушку и вдругъ тихо, но горько заплакала.

— Эхъ, Акуля!... опять ты!... Полно, дѣвушка! полно, милая!... Слезами не поможешь — себя только надорвешь! соболѣзнуя отнеслась къ ней первая арестантка.

Бероева съ участіемъ и любопытствомъ смотрѣла на горючія слезы молодой, хорошенькой дѣвушки.

— Вотъ, бѣдняга-то! обратилась къ ней другая товарка, участливо кивнувъ на дѣвушку: — четвертый мѣсяцъ сидитъ, а все еще къ татебному капоту своему не можетъ привыкнуть; какъ заговоришь только про этотъ нарядъ прикрасный — она и въ слезы, индо вся душа выпоетъ, глядючи...

— Къ позору, мать моя, не сладко привыкать! со вздохомъ замѣтила первая.

Молодая дѣвушка поспѣшно, и какъ-то нервически вытерла свои рѣсницы и, вся зардѣвшись быстро вышла изъ комнаты. Въ ту жъ минуту, помѣстясь у стола, поближе къ свѣту, она энергично принялась за арестантское шитье, какъ будто этою работой хотѣла заглушить взволновавшую ее скорбь и свое горькое горе.

— За что она сидитъ? спросила Бероева, которую сразу и какъ-то любовно расположили къ этимъ «тяжкимъ» преступницамъ ихъ общительность къ ней самой, и это человѣческое отношеніе къ горю молодой дѣвушки.

— Эхъ, милая! горько махнула рукой одна изъ татебныхъ: — и разсказывать-то, такъ индо сердце сожмется!... Вѣдь она, что? вѣдь она малолѣтокъ почти: шестнадцать годковъ едва минуло. Она изъ Сестрорѣцка, вишь ты, и родителевъ имѣетъ; только, слышно, въ большой ужь очинно строгости родители-то соблюдали ее — ну, а извѣстно, сердце дѣвичье — волюшки хочется. Сталъ тутъ къ нимъ писарёкъ одинъ антилеристкій похаживать, ну и... въ тайную любовь вовлекъ молодую дѣвушку, жениться, конешное дѣло, обѣщался, и все такое. Она отъ родителевъ скрыла; говоритъ теперича, что и сама не вѣдала, въ антересномъ ли она, али не въ антересномъ. Пошла однажды это въ погребъ за молокомъ, что ли — на четвертомъ мѣсяцѣ дѣло-то было — пошла да оступилась, да и бухнулась съ лѣстницы. Какъ бухнулась — боль сразу же почувствовала, ну и... выкинула мертваго младенца. Родителевъ дома-то не случилось на ту пору, а она, дурочка, со страху да съ боязни гнѣву отцовскаго, возьми младенца-то да и зарой въ углу, во дворѣ подъ колотыми щепками. Сосѣдка ихняя мимоходомъ видѣла все это, ну и по злобѣ, али такъ ужь просто, только возьми да и объяви начальству. Вотъ Акуля-то наша и сидитъ теперь, а судятъ-то, вишь, ее — за дѣтоубивство. Сказывала она, будто и вох-

туръ далъ отписку отъ себя, что ребёнокъ-то мертворожденный былъ, однакоже, слышно такъ, будто Акулю то теперь въ Сибирь рѣшаютъ. Вотъ оно что́, милая!... А и дѣвушка-то какая хорошая! Смирная, богобоязливая, грамотейница такая — и все вотъ плачетъ да убивается. На минутку словно полегчаетъ ей, повеселѣетъ чуточку, а тамъ — какъ вспомнитъ про свое горе — опять за слезы по старому!

— А то у насъ другая тоже есть «благородная» — такъ той уже была и «вычитка» — рѣшили, значитъ, словоохотливо сообщила другая арестантка. Всѣ онѣ какъ-будто хотѣли сразу же выказать Бероевой доброе, товарищецкое общеніе, не косились, не дичились ея, а напротивъ того, сами дѣлали первый шагъ къ сближенію. Да и какъ тутъ не желать сблизиться, несмотря на всю разнородность характеровъ, былого положенія въ жизни, и наконецъ, самыхъ проступковъ или преступленій, если всѣхъ этихъ женщинъ общая ихъ недоля да неволя свела подъ одну кровлю и заставила жить въ одной и той же комнатѣ, дѣлить одно и то же тюремное существованіе и одни и тѣ же тюремные интересы. Вообще, въ средѣ женщинъ-арестантокъ, не смотря на дикость и порочность нѣкоторыхъ, выказывается неизмѣримо болѣе, чѣмъ у арестантовъ-мужчинъ, человѣческаго участія, теплоты и общительности въ отношеніи «ноыхъ жильцовъ». Здѣсь нѣтъ ни тѣхъ цинически-безчеловѣчныхъ игръ, ни того презрительнаго отношенія, которое у мужчинъ встрѣчаетъ каждаго «новичка», если только этотъ новичокъ съ перваго же разу не выкажетъ себя чѣмъ-нибудь въ родѣ Акима Рамзи. Эта общительность и человѣчность происходитъ, во-первыхъ, отъ мягкости, вообще присущей женской натурѣ, а во-вторыхъ, оттого, что женщинъ-арестантокъ несравненно менѣе заѣдаетъ тюремная скука и бездѣйствіе, такъ-какъ всѣ онѣ занимаются большей частію шитьемъ да вязаньемъ, то-есть работой, попреимуществу женской, наиболѣе привычной для нихъ, за которую вдобавокъ арестантка получаетъ и плату.

— За что же эта благородная содержится? спросила Бероева.

— А ужь такъ судьи разсудили, милая. Она, вишь ты, замужняя женщина, продолжала арестантка: — и хорошая жена мужу своему, и дѣти есть, даже теперь ее тамъ наверху въ лазаретѣ

вмѣстѣ съ ребятницами [1]) содержатъ, потому что младенецъ при ней: тутъ въ тюрьмѣ и разрѣшилась. Жили они, слышно, мирно да честно, только грѣхъ такой съ ней случается, что и сама не вѣдаетъ, откуда и какъ онъ приходитъ. Какъ только затяжелѣетъ она, такъ ее и тянетъ что̀ ни на есть украсть, словно сила нечистая толкаетъ неодолимо. Оно, конечно, съ нашей сестрой въ этакую пору всякая блажь случается: иная на одну какую-нибудь пищу накинется, иная, ни съ того ни съ сего, гляди—либо мѣлъ, либо извѣстку, а не то уголья ѣстъ; ну, потомъ сама, чай, знаешь—обноковенно и проходитъ это; а у нея, милая ты моя, тоже надо полагать—блажь на воровство. Ну, и украла, а ее поймали, да въ нашъ монастырь засадили — тутъ она и родила. Отсидѣла свой срокъ, и выпустили. Опять затяжелѣла, и опять украла. Ну —засадили, да стали судить, а тѣмъ часомъ она у насъ разрѣшилась. И таперича за вторительную кражу ее, по строгости, да и по закону, присудили въ Сибирь. Ужь что̀ тутъ слезъ да горя-те было, батюшки мои!... И вспомнить больно... Мужъ у нея служилъ; такъ вотъ, слышно теперь, службу свою бросилъ и съ нею вмѣстѣ, заодно ужь, тоже въ Сибирь идти пожелалъ, и дѣтей съ собою забираютъ, чтобы всѣмъ семействомъ не разлучиться, значитъ. Такъ вотъ оно, милая, каковы дѣла у насъ бываютъ [2]).

Бероеву проняло чувство, близко подходящее къ ужасу, отъ страннаго смысла этихъ разсказовъ: если подобные факты рѣшаются такимъ образомъ, то какого же рѣшенія должна она ожидать себѣ — въ дѣлѣ, гдѣ извѣстныя уже обстоятельства дѣлали ее положительно виновной!

Она нескоро оправилась отъ тяжолаго впечатлѣнія, въ которое глубоко погрузили ее эти невеселыя думы.

---

1) *Ребятницами* женскій тюремный argot называетъ матерей, при которыхъ находятся въ тюрьмѣ ихъ дѣти, отъ грудного и до трехлѣтняго возраста. Ребятницы обыкновенно содержатся въ особой лазаретной камерѣ.

2) Это фактъ. Особа, имя которой мы не назовемъ, но исторію которой въ точности разсказали устами арестантки, такъ, какъ сами слышали ее, уже два года сослана въ Сибирь. Этотъ фактъ весьма краснорѣчиво показываетъ, какія понятія господствуютъ у насъ въ области судебной медицины и особенно психіатріи. Впрочемъ, что жь, еще недавно вѣдь одни изъ нашихъ мудрецовъ со всѣмъ отвергли одноредметное помѣшательство.

Подъ вечеръ вошла къ ней въ комнату старушка-надзирательница и сѣла у нея на кровати: ей хотѣлось поближе познакомиться съ новою арестанткой. Вынувъ изъ кармана шерстяной чулокъ, она принялась за вязанье и понемногу затѣяла разговоръ. Арестантки любили Мавру Кузьминишну, потому хорошаго да честнаго и богобоязненнаго человѣка въ ней видѣли. «Николи-то она тебя ничѣмъ не изобидитъ, николи и крику да брани не подыметъ, а все по тихости, по простотѣ да по любовному, и про горе твое, про печаль порасспроситъ, и пожалѣетъ, сердобольная, да еще при случаѣ и начальству доброе слово за тебя замолвитъ». И замѣчательно, что на женскомъ отдѣленіи нашей тюрьмы существуютъ болѣе близкія и добрыя отношенія между арестантками и ихъ ближайшимъ, непосредственнымъ женскимъ «начальствомъ», чѣмъ на мужской половинѣ относительно приставниковъ.

Бероева тоже съ перваго взгляду какъ-то почувствовала хорошаго человѣка въ этой старушкѣ, и душевно расположилась къ ней. Незамѣтно разговоръ свелся на ея дѣло, въ которомъ арестанткѣ нечего было таиться, и она подмѣтила двѣ-три слезинки, тихо смигнутыя старушкой, во время ея грустнаго разсказа.

— Вотъ что̀ я скажу тебѣ, моя милая! утѣшила ее Мавра Кузьминишна:—дѣло твое, дастъ-богъ, и иначе еще можетъ окончиться. Къ намъ вотъ иногда благотворительницы наши пріѣзжаютъ—разскажи ты это все которой-нибудь; можетъ, и къ сердцу примутъ, хлопотать начнутъ: случаи такіе бывали у насъ; да жаль вотъ, одной-то нѣтъ теперь—уѣхала, а то бы она приняла это близко... Ну, да и другія авось неоста вятъ... Сдѣлай же это, за свою судьбу неповинную не стыдно просить—право, сдѣлай!

Бероева, умягченная этимъ теплымъ участіемъ, которое встрѣтила она и въ старушкѣ, и въ тюремныхъ товаркахъ, въ первый разъ со времени своего заключенія, заснула болѣе тихимъ и спокойнымъ сномъ. Теперь уже кончилось для нея могильное, глухое одиночество, теперь она хоть и въ тюрьмѣ, но *съ людьми*—благо, всю гуманную, воскрешающую силу котораго вполнѣ глубоко можетъ почувствовать только человѣкъ, перенесшій долгое одиночное заключеніе.

На слѣдующій день она незамѣтно стала освоиваться съ незатѣйливымъ тюремнымъ бытомъ, и вглядываться въ другихъ нетатебныхъ заключенницъ. Тутъ были всякія женщины, всякіе характеры и всякіе возрасты отъ двѣнадцатилѣтней дѣвочки, непомнящей родныхъ и взятой за бродяжничество, и до странной старухи-нѣмки, которая содержится въ тюрьмѣ уже нѣсколько мѣсяцевъ. На первый же день, какъ только привели ее, она избрала себѣ помѣщеніе въ темной комнатѣ, и съ тѣхъ поръ безвыходно сидитъ тамъ на своей кровати, да головой тихо покачиваетъ, но ни съ кѣмъ ни одного слова не сказала, такъ что никто изъ арестантовъ не знаетъ, какъ и за какое дѣло она содержится. Пріѣдетъ ли стряпчій или товарищъ прокурора справиться о дѣлахъ арестантокъ, да узнать: нѣтъ ли у нихъ какихъ-либо просьбъ по судамъ—старуха нехотя отвѣчаетъ, что просьбы никакой у нея нѣтъ, и что въ настоящемъ своемъ положеніи она счастлива совершенно:—«ich bin hier ganz glücklich, ganz glücklich, mein Herr!» бормочетъ она, а больше ничего отъ нея не добьешься.

Тутъ были и молодыя женщины, которыя, вполнѣ помирившись съ тюремнымъ бытомъ, постарались устроить въ немъ для себя даже нѣкоторыя пріятности, и завели совершенно невинные, вполнѣ платоническіе романы съ такъ-называемыми «любезниками» мужской половины. Убогому и далеко некрасивому наряду, онѣ умудряются придать какое ни на есть убогое, тюремное кокетство: иная волосы какъ-нибудь помудренѣе причешетъ, иная, покрасивѣе, бѣлый платочекъ на голову прикинетъ, и ходятъ между арестантками, вполнѣ довольныя своимъ незатѣйливымъ убранствомъ. Одна изъ нихъ съ затѣйливо-лукавой улыбкой подошла къ Березовой и таинственно спросила:

— Вы грамотная?

— Грамотная...

— И писать тоже умѣете?

— Умѣю... А что?

— У меня, душечка, просьба, большая просьба къ вамъ: прочтите пожалуйста, мнѣ записочку одну—только такъ, чтобы надзирательницы не видѣли, и изъ товарокъ мало бы кто примѣтилъ: это у меня отъ душеньки моего — тоже въ арестантахъ тутъ содержится... а сама то я не разберу... Прочтите, пожалуйста!

— Извольте.

И онѣ вошли вмѣстѣ въ татебную комнату, гдѣ Бероева у окна тихо прочла ей:

«Я тебя тоже очень люблю, только пришли мнѣ денегъ тридцать копѣекъ, а можешь больше, то и больше пришли».

— Вотъ и все, сказала она, отдавая клочокъ бумажки.

— Все?... Ахъ, онъ злодѣй мой, злодѣй! — такъ мало... покачала головой «нарядница»: — надо послать ему, нѐчего дѣлать...

— А вы часто посылаете ему? спросила Бероева.

— Часто... Вотъ, что̀ заработаю здѣсь на шитьѣ, то̀ все почти и посылаю, да еще Галилееву даю за доставку — солдатъ это у насъ есть такой, что записки наши переправляетъ. — А онъ, злодѣй, хоть бы написалъ-то побольше... хоть бы словъ-то любовныхъ какихъ-нибудь!... Какъ подумаешь, такъ и не стоило бы нашей сестрѣ любить-то ихъ, мужчинъ этихъ противныхъ.

— А вы давно его любите?

— Нѣтъ, не очень-то давно. Здѣсь же въ тюрьмѣ полюбила.

— Да ка̀къ же это? изумилась Бероева: — развѣ тутъ видятся съ арестантами?

— Нѣтъ, какъ можно видѣться!... А мы за обѣдней переглядываемся. Они съ одной стороны на хорахъ стоятъ, а мы напротивъ — ну, вотъ этакъ и видимъ другъ дружку; а потомъ либо они, либо мы ихъ какъ ни на есть узна̀емъ и напишемъ сейчасъ записочку, а больше и ничего. Они намъ свои новости иной разъ описываютъ, а мы имъ свои; ну, и опять же вотъ разныя любовныя слова—и только, да деньги когда бываютъ, посылаемъ тоже; однако, это ужь больше мы имъ, а не они намъ. Потомъ, случается, какъ выйдутъ изъ тюрьмы, такъ отыщутъ другъ дружку и кивутъ вмѣстѣ а иной женится; только это рѣдко, а больше, бываетъ та̀къ, что пишемъ записки, да переглядываемся издали, а какъ выпустятъ на волю, то никогда и не встрѣтишься больше, такъ что это промежъ насъ одна только тюремная любовь.

Арестантка потупилась на минутку, и затѣмъ снова приступила къ Бероевой, съ прежней застѣнчиво-лукавой улыбкой:

— Душечка моя, что̀ я васъ попрошу еще... сдѣлайте вы мнѣ

божеское одолженіе такое—ужь я вамъ заслужу, чѣмъ ни на есть, а ужь безпремѣнно заслужу!

— Что̀ же вамъ надо? спросила Бероева.

— Отвѣтикъ написать... Сама-то дура, неученая—такъ вотъ и не могу, а хочется, очень хочется написать ему что-нибудь...

— Да развѣ у васъ тутъ никто не умѣетъ? попыталась немного уклониться Юлія Николаевна.

— Какъ вамъ сказать!... Умѣть-то, пожалуй, и умѣютъ, да только одна кара̀кули пишетъ такъ, что и не разберешь ничего, а другая—все на̀ смѣхъ. Ты ее попросишь почувствительнѣе что нибудь, а она возьметъ нарочно до такого нагоро́дитъ, что только срамъ одинъ: засмѣютъ товарки, опять же и душенька выбранитъ въ отвѣтѣ: что́ ты, молъ, за глупости мнѣ писала! Скажешь ей это, а она потѣшается; только обида одна выходитъ. А то тоже третья есть у насъ французинка, то-есть она не то чтобъ совсѣмъ французинка — она русская, а только у актёрки французской въ горничныхъ жила и бральянты у нея украла... Теперь какъ изъ начальства ежели кто пріѣзжаетъ, такъ она все норовитъ безпремѣнно пофранцузскому заговорить съ начальствомъ-то, ну, и кочвряжется этимъ передъ нашею сестрою. Такъ вотъ эта французинка очень хорошо умѣетъ письма писать, и даже со стишками съ разными, такъ что очень даже чувствительно и хорошо, да одна бѣда: не пишетъ даромъ, а все ты ей заплати; а изъ чего тутъ заплатишь, если вотъ ему, злодѣю, тридцать копѣекъ надо послать!... Наши заработки не богъ-вѣсть какіе!... Такъ ужь я къ вамъ! заключила она со вздохомъ: — будьте вы такая добрая, не откажите мнѣ!...

Юлія Николаевна, не́чего дѣлать, согласилась.

— Что̀ же вамъ написать-то? спросила она.

— Что-нибудь такое... поласковѣе... Со стишками нельзя ли... Вы не знаете ли какихъ-нибудь стишковъ такихъ, чтобы жалостнѣе были?

— Нѣтъ, голубушка, такихъ не знаю...

— Не знаете?... Ахъ, какая жалость, право! Французинка у насъ, такъ та̀ очень много знаетъ... Ну, да все равно!... Вотъ вамъ, душечка, бумажка и карандашикъ—ужь не взыщите, какіе есть!

И она вынула ей изъ-за пазухи оборвышъ бумаги вмѣстѣ съ обгрызаннымъ кусочкомъ карандаша.

— Вы постойте-ка! шепнула она, какъ-то сметливо подмигнувъ ей:—я вотъ попрошу товарку одну покараулить, чтобы кто не вошелъ часомъ, а сама стану говорить вамъ—вы этакъ со словъ-то моихъ и пишите!

«Нарядница» мигомъ привела въ исполненіе свой планъ, и стала около Бероевой въ углу, у небольшого стола, на которомъ обыкновенно обѣдаютъ татебныя [1]).

— Вы пишите ему такъ, начала диктовать арестантка:—«милому другу моему Грѣчкѣ — мой усердный поклонъ, и посылаю тебѣ я, Катюша Балыкова (это меня Катюшей Балыковой зовутъ), посылаю я тебѣ, тирану моему, тридцать-пять копѣекъ серебра деньгами, а больше не могу, потому — нѣтъ у меня. Люблю я тебя, душа моя, крѣпко, а ты, злодѣй, не любишь меня». На этихъ словахъ арестантка задумалась.

— Эхъ, хорошо бы что-нибудь пожестче написать ему! воскликнула она:—что я, молъ, страдаю и мученья принимаю, что-нибудь этакое... ну, и «пишу тебѣ эту тайную записку отъ сердца моего», и все такое... Любовныхъ бы словечекъ какихъ-нибудь подобрать? Не можете ли вы? — Подберите-ка? обратилась она къ Бероевой.

— Да какихъ же это? Я не знаю... не умѣю я, отозвалась Юлія Николаевна.

— Ахъ, какая обида!... Ну, да нечего дѣлать, и такъ будетъ хорошо! Вѣдь хорошо будетъ? а?

— Прекрасно.

— Бероева прочла ей написанное—и Катюша Балыкова осталась очень довольна, сожалѣя впрочемъ о любовныхъ словахъ, которыя она сердцемъ чувствуетъ и очень бы хотѣлось ей написать ихъ, да одна бѣда: подобрать сама никакъ не умѣетъ, чтобы этакъ складно выходило.

---

[1]) «Татебныя» или «тяжкія» преступницы не ходятъ обѣдать въ общую столовую.

Потому, это точно что трудно, разсудила она въ заключеніе:— иное дѣло, если любишь котораго человѣка, такъ тутъ можно еще словцо такое задушевное найдти: душа сама напишетъ; а для другой писать, какъ вы вотъ для меня, когда, значитъ, самъ не чувствуешь, это точно что даже очень трудно.

За симъ благодарностямъ и радостямъ не было конца, и Юлія Николаевна, черезъ свою маленькую услугу, пріобрѣла себѣ добрую и любящую товарку въ лицѣ Кати Балыковой.

— Вотъ мое горе какое! вы знаете ли, за что я сижу-то здѣсь? сказала она однажды Бероевой:—вѣдь я отъ мужа своего убѣжала, за что и сужуся теперь!

— Какъ же это такъ случилось? спросила та, видя что Балыковой хочется высказать свое горе.

— А такъ вотъ. Вы не думайте, что я воровка, или распутница какая, начала она: — я совсѣмъ по другому содержуся... Мой тятенька, видите ли, ундеръ департаментскій и выдалъ меня замужъ тоже за ундера: вмѣстѣ съ тятенькой служатъ. Только муженекъ-то мой любезный и захоти, чтобы я иксикутору нашему полюбовницей была, въ этой надеждѣ собственно и женился на мнѣ. «Нашъ, говоритъ, съ тобой тогда не въ примѣръ лучше жить будетъ, потому къ дровяной части, говоритъ, приставятъ, а тутъ доходы и все такое, и мнѣ, говоритъ, самъ иксикуторъ на этотъ счетъ словцо такое замолвилъ. А я этого никакъ не пожелала, потому хоть и не особенно любъ былъ мнѣ мужененекъ-то мой, однакоже лучше хотѣла я по божескому въ законѣ себя соблюдать. Сталъ онъ меня бить за отказъ мой, да цѣлые дни, бывало, пóѣдомъ ѣстъ и все пристаетъ-то, все пристаетъ, такъ что даже противенъ мнѣ сталъ за это самое. «Какой ты, говорю, мужъ есть, коли законную свою жену на этакое непутное дѣло толкаешь»! Ну, сказать-то ему на эти слова мои конечно нéчего, кромѣ какъ кулачищемъ... что ни день, то пуще бьетъ да ругаетъ... И самъ иксикуторъ сталъ ужо тутъ прямо ко мнѣ приставать; чуть только встрѣтится со мной въ дворѣ, или въ калидорѣ, сейчасъ съ любезностями: «полюби, говоритъ, а не то хуже будетъ; покаешься — да ужь тогда самъ за захочу». Я было тятенькѣ пожаловалась, тятенька сталъ мужа корить, а тотъ говоритъ: «не твое отцовское дѣло промежъ мужа съ

женою становиться; ты, говоритъ, нашихъ дѣловъ не знаешь, да и знать не долженъ». Надоѣло мнѣ все это, такъ надоѣло, что хоть съ мосту да въ воду! Я и убѣжала—изъ городу совсѣмъ убѣжала, куда глаза глядятъ. Въ Петергофскомъ уѣздѣ меня поймали, да въ станъ. Кто такая? спрашиваютъ, а я себѣ и думаю: назваться мнѣ своимъ именемъ — къ мужу отправятъ; лучше, думаю себѣ, назовусь по другому, и объявилась, что звать меня Лукерьей Сидоровой. А иззикуторъ съ мужемъ, тѣмъ часомъ, объявку подали о моей пропажѣ. Начальство подвело такъ, что очную ставку дали: не окажется ли молъ такая-то бродяга Лукерья Сидорова Катериной Балыковой? Ну, и оказалась. Я говорю свою причину, а муженекъ съ иззикуторомъ доказываютъ на меня, что и воровка-то я, и распутница-то, и все такое... Богъ имъ судья за это!... Вотъ и гощу теперь «у дяди на дачѣ». Да лучше пускай куда ни на есть рѣшатъ меня — хоть на каторгу — только бы не къ мужу!... Къ мужу опять ни за что не пойду я, лучше сгнію весь вѣкъ свой въ тюрьмѣ проклятой, потому противенъ онъ мнѣ—хуже смерти самой!... Да, вотъ такимъ-то манеромъ загубилъ меня мой тятенька родной, а жила-то я у тятеньки такой хорошей да веселой дѣвушкой... А впрочемъ, я и тутъ вотъ веселая, ей-богу веселая! добавила она съ улыбкой сквозь слезы и засмѣялась: — вотъ Грѣчку со скуки полюбила... Онъ хоть тоже немолодой, далеко немолодой, а полюбила почему-то... И Богъ его вѣдаетъ, какой такой онъ человѣкъ; можетъ, еще почище муженька моего будетъ — не знаю вѣдь я его совсѣмъ, а вотъ такъ это, люблю себѣ сдуру — ей-богу! закончила она, отирая слезу и весело засмѣялась, махнувъ беззаботно рукою.

Такимъ образомъ, поневолѣ и мало-по-малу входя въ изгибы и глубь этой жизни, Бероева становилась къ ней лицомъ къ лицу— и эта замкнутая сама въ себѣ жизнь незамѣтно открывала ей многія свои тайны. Тутъ узнала она и характеръ нашихъ женскихъ преступленій — по большей части, горькій плодъ невѣжества относительно законовъ, черезъ что эти несчастныя зачастую, не вѣдая что̀ творятъ, играютъ часто пассивную роль въ какомъ-либо преступленіи гражданскомъ; плодъ нужды съ нищетою, породившихъ

порокъ и развратъ, и наконецъ плодъ невыносимаго гнёта — разнаго гнёта, котораго не искать-стать у русской женщины: есть его вдоволь! Тутъ и былой барскій гнётъ, и семейный, и мужній, и общественный... Не пересчитать всѣхъ этихъ горькихъ и ядовитыхъ плодовъ, или иначе пришлось бы, можетъ, исписать цѣлые томы. И это нисколько не преувеличено, это все такъ, все оно есть, все существуетъ на дѣлѣ — надо только приглядѣться немножко да одуматься. Были тутъ и бродяги бѣглыя, и воровки, и женщины «за вѣру правую свой крестъ несущія», и участницы въ поддѣлкѣ фальшивыхъ бумагъ да денегъ; были и такія, что на жизнь мужей посягали — и замѣчателенъ тотъ фактъ, что на мужей посягается чаще, чѣмъ на жизнь любовниковъ. Были и дѣтоубійцы — изъ страха общественнаго позора да власти родительской покрывшія дѣю тайной любви своей, жестокимъ преступленіемъ. Наконецъ и просто убійцы были; но эти послѣднія между женщинами весьма нечасто случаются, онѣ уже — очень рѣдкія исключенія въ женской тюрьмѣ, такъ-какъ женщину вообще очень рѣдко влечетъ къ преступленію ея личная, преступно и злобно направленная воля. Женщина по-преимуществу преступница пассивная, причемъ у нея зачастую служитъ мотивомъ любовь. Ее вовлекаетъ въ злое дѣло, въ качествѣ сообщницы, либо ослѣплённое подчиненіе волѣ любимаго человѣка, либо оскорбленное, обманутое чувство, либо же, наконецъ, несчастно-сложившіяся обстоятельства угнетающей жизни да развратъ, который начался, быть можетъ, ради насущнаго куска хлѣба, потомъ убилъ въ ней нравственную сторону и затянулъ подъ конецъ въ омутъ, доведшій ее до тюрьмы и ссылки. Вотъ каковы, по-преимуществу, мотивы женскихъ преступленій.

Тихо и глухо тянется жизнь на женскомъ отдѣленіи. Утромъ раньше всѣхъ поднимутся съ постели стряпухи да камерная «старостиха»; подвяжетъ она присягу свою [1]) и вмѣстѣ съ помощни-

---

[1]) *Примѣчаніе.* Старостихи выбираются точно такъ же, какъ у арестантовъ этапные старосты, и обязанности ихъ почти одинаковы. Когда выборъ сдѣланъ, то на старостиху надѣвается бѣлый передникъ, который, по положенію, только ей одной присвоенъ—другія уже не имѣютъ права носить его, и этотъ передникъ служитъ для арестантокъ въ нѣкоторомъ родѣ символомъ того, что

цами приведетъ въ должный порядокъ наружный видъ подчиненныхъ ей комнатъ. Затѣмъ — тотъ же «кипятокъ», что̀ и на мужской половинѣ, и начинаются работы. Однѣ садятся за шитье арестантскаго бѣлья да военныхъ палатокъ, либо на разныя казенныя заведенія такіе же заказы швейные исполняютъ; другія опускаются въ подвальный этажъ, гдѣ помѣщается мрачно-сводная, темноватая прачешная, по которой прѣлый и горячій паръ вѣчно ходитъ густымъ и тяжелымъ облакомъ. И такимъ образомъ дотягивается до вожделѣннаго вечера тюремный день арестантки.

А вечеромъ соберутся въ кружки, да по кучкамъ на кроватяхъ разсядутся. Тутъ идетъ бесѣда, тамъ «сказочку про козочку» разсказываютъ, здѣсь четь-минеи читаютъ [1]), а тамъ вонъ тихо пѣсню затянула какая-то. Пѣсни здѣсь тѣ же самыя, тюремныя, что̀ на мужской половинѣ; впрочемъ «пѣсельницы» предпочитаютъ больше «романцы разные».

Происшествій такого рода, которыя взволновали бы чѣмъ-нибудь камерную жизнь, здѣсь почти не случается. Рѣдко даже нарушается когда обычно-глухая тишина и порядокъ. Разъ только та арестантка, что̀ любитъ письма насмѣхъ писать, устроила тюремную штуку. Подозвала она къ себѣ одну изъ «новенькихъ», молодую и какъ-то придурковатую дѣвушку.

— Хочешь я тебѣ сказку скажу? чудесная сказка!

— Скажите, тётушка!... Я очинно даже люблю...

— Ну, ладно! Я буду говорить, а ты за мною все *ну* повторяй; непремѣнно же, повторяй, говорю, а то и сказка не выйдетъ— такъ и не доскажется. Такъ непремѣнно же *ну*, слышишь?

старостиха, въ качествѣ отвѣтчицы передъ начальствомъ за состояніе своей камеры и въ качествѣ старшей между арестантками, должна быть стоятельницей за ихъ нужды и интересы. Поэтому онѣ и ея бѣлый передникъ называютъ «присягой», а самое надѣваніе его, при выборѣ въ старостихи—«подвязываньемъ присяги»: «Давайте, молъ, ей присягу подвязывать». Полагается въ нашей тюрьмѣ обыкновенно четыре старостихи—по одной на камеру; онѣ получаютъ пятьдесятъ копѣекъ въ мѣсяцъ казеннаго жалованья и обѣдаютъ отдѣльно, вмѣстѣ съ «благородными» арестантками.

[1]) На женскомъ отдѣленіи, которое снабжается книгами черезъ своихъ благотворительницъ, находятся книги исключительно религіозныя да духовно-нравственнаго содержанія. Все же остальное не допускается.

— Непремѣнно, тётинька, непремѣнно!

— Ну, такъ слушай: «жилъ себѣ дѣдъ да баба»...

Арестантка замолкла на минутку, въ ожиданіи *ну* со стороны слушательницы.

— Что жь ты *ну*-то не говоришь? балбѣнь ты этакой!... говори: *ну*!

— Ну, тётинька! ну! ну!

— «Была у нихъ внучка, а у внучки — сучка», продолжала пересмѣшница.

— Ну?! подхватила дѣвушка.

— Вотъ теперь хорошо, въ акуратъ! Такъ и повторяй!... «И посѣялъ дѣдъ горошекъ».

— Ну?!

— «Растетъ горошекъ до скамейки».

— Ну?!

— «Сломалъ дѣдъ скамейку—ростетъ горошекъ до окна».

— Ну?!

— «Высадилъ дѣдъ окошко—горошекъ до потолка».

— Ну?!

— «Проломилъ дѣдъ потолокъ — ростетъ горошекъ до крыши».

— Ну?!

— «Разломалъ дѣдъ крышу — горошекъ до самого неба. Какъ тутъ быть съ горошкомъ?»

— Ну?!

— «Поставилъ дѣдъ лѣстницу—поднебесницу»...

— Ну?!

— «Полѣзъ по ней дѣдъ—добывать горошку».

— Ну?!

— «За дѣдомъ баба на ту жь дорожку».

— Ну?!

— «За бабой внучка—за внучкой сучка».

— Ну?!

— «Вотъ только дѣдъ лѣзетъ-лѣзетъ не долѣзетъ—баба лѣзетъ—не долѣзетъ.—Досада обоихъ взяла».

— Ну?!

— «Отъ великой отъ досады дѣдъ плюнулъ бабѣ».

— Ну?!

— «Баба внучкѣ»...

— Ну?!

— «Внучка сучкѣ»...

— Ну?!

— «А сучка тому, кто говорилъ *ну*».

Дѣвушка обидѣлась и въ отвѣтъ—сама плюнула на разсказщицу, затѣмъ уже обѣ «въ цѣпки» принялися—и поднялася женская драка, самая упорная изъ всѣхъ возможныхъ дракъ, доходящая до мелочного, шпилько-булавочнаго, но тѣмъ не менѣе ужаснаго ожесточенія. Розняли, какъ прибѣжала надзирательница, и обѣихъ засадили въ «темныя», откуда долго слышались потомъ ихъ горькія всхлипыванья.

И вотъ, изрѣдка, только подобными приключеніями нарушается приниженная тишина въ средѣ обитательницъ дядиной дачи; да еще филантропическіе наѣзды кое-когда бываютъ; но объ этихъ читатель узнаетъ въ надлежащемъ мѣстѣ.

И среди такой-то жизни Бероева нашла себѣ искренняго, теплаго друга, къ которому привязалась почти съ перваго шага своего въ женской тюрьмѣ. Этимъ другомъ была для нея благодушная, сердобольная старушка-надзирательница Мавра Кузьминишна. Съ ней одной по душѣ дѣлила арестантка неисходное горе, и она одна только своей тихой, голубиной мягкостью да безпредѣльной и покорною вѣрой въ божескую правду, могла иногда, хоть на время, утѣшить, разсѣять и утолить измученную мысль и душу заключенницы.

XLIII

Тюремныя свиданія

— Бероева! ступайте внизъ: къ вамъ посѣтители, объявила надзирательница, входя въ камеру.

Юлія Николаевна поспѣшно оставила урочное шитье толстой арестантской рубахи и, наскоро накинувъ платокъ, побѣжала въ назначенное мѣсто. Это былъ часъ свиданій. Въ рѣдкія минуты такихъ внезапныхъ вызововъ, она оживала душою, потому что эти

минуты приносили ей жгуче-горькія, но вмѣстѣ съ тѣмъ и глубоко-отрадныя ощущенія: она видѣла своихъ дѣтей, которыхъ приводила къ ней Груша; она ласкала, цаловала ихъ, она живѣе чувствовала себя матерью въ эти мгновенья, всецѣло и до мелочей отдавалась на короткое время материнской заботѣ.

Но на нынѣшній разъ, казалось, арестантка спѣшила болѣе чѣмъ когда-либо. Она знала, что это пріѣхала ее старая тётка, что она теперь привезла дѣтей проститься, въ послѣдній разъ, передъ завтрашнимъ отъѣздомъ ихъ въ Москву, гдѣ они будутъ жить подъ ея крыломъ — богъ-вѣсть до коихъ поръ, пока не настанутъ лучшія времена для обоихъ заключенныхъ. Тётка, вызванная сюда письмомъ Бероевой, отлучилась отъ своихъ домашнихъ на короткій срокъ, не болѣе какъ дней на пять, собрала въ дорогу дѣтей и уже торопилась восвояси; но все-таки прежде всего успѣла выпросить себѣ разрѣшеніе на это время ежедневно видѣться съ арестанткой. Видѣться съ Бероевымъ — нечего было и думать; однако добрая старуха каждый разъ брала грѣхъ на душу и лгала, ради утѣшенія, что она ѣздила къ разнымъ властямъ и власти будто бы сказали ей, что дѣло его идетъ очень хорошо, что все окончится одними пустяками и притомъ, по возможности, постараются окончить скорѣе. Она и точно что ѣздила; только ничего подобнаго ей не говорили.

— Да въ чемъ же дѣло-то его? съ тоскливымъ недоумѣніемъ спросила ее однажды арестантка.

Старушка нѣсколько смутилась.

— Да Господь святой знаетъ, въ чемъ дѣло!... Этого ужь они вѣдь не скажутъ, а говорятъ только, что ничего...

Хотя всѣхъ этихъ вымышленныхъ извѣстій было очень недостаточно, чтобы успокоить Бероеву, и хотя каждый разъ послѣ такихъ сообщеній, она только съ тоскливою досадой плечами пожимала — однако и эти скудныя вѣсти все же хоть сколько-нибудь придавали ей бодрости и надежды. Старуха видѣла это и потому лгала, основывая свои добродушныя выдумки на письмѣ самого же Бероева, которое прочла ей Юлія Николаевна еще въ первое посѣщеніе.

Тюремная контора, между часомъ и двумя пополудни, представляетъ зрѣлище весьма разнообразнаго свойства. Мрачная, большая комната кажется еще болѣе непривѣтной отъ частыхъ, желѣзныхъ рѣшотокъ, которыми, для пущей безопасности, снабжены ея окна. Одни окна выходятъ на Офицерскую улицу и за ними ежеминутно мелькаетъ автоматически-расхаживающая фигура часоваго съ ружьемъ на плечѣ; другія смотрятъ во внутренній надворный корридоръ, такъ что въ этой половинѣ комнаты отъ нихъ идетъ еще менѣе свѣту, чѣмъ отъ уличныхъ оконъ. Деревянная балюстрада дѣлитъ всю камеру на двѣ половины. Въ первой — столы подъ черной клеёнкой, канцелярскія чернильницы съ обрызганными, исписанными перьями и тюремныя книги да отчеты, надъ которыми корпятъ служебныя физіономіи весьма непривѣтливаго свойства и далекó некрасиваго образа. Вторая половина — окнами въ надворный корридоръ — отведена для свиданія заключенныхъ съ навѣщателями. Во входныя двери то-и-дѣло шмыгаютъ туда и обратно тюремные сторожа да вооруженные солдаты, которые конвоируютъ арестантовъ по вызову конторы, ради всяческихъ канцелярскихъ надобностей. Въ первой половинѣ поминутно и отрывисто раздаются сиплорѣзкіе голоса съ начальственнымъ тембромъ: «а?... что̀?... за какимъ нумеромъ?... Маршъ въ камеру»! и т. п. Во второй половинѣ тихо, тутъ разговариваютъ робкимъ полушопотомъ: каждому хочется наговориться о своихъ кровныхъ, домашнихъ, семейныхъ дѣлахъ, которыя, по большей части, жутко бываетъ человѣку выставлять на показъ, во всеобщее свѣдѣніе, потому что̀ эти дѣла домашняго очага, уже какъ-то невольно хочется ревниво хранить у сердца. Вся эта половина сплошь занята самыми разнообразными группами. Вонъ блѣдная, истощенная трудомъ да тяжелою думой женщина, въ убогомъ платьишкѣ, пришла навѣстить заключенника-мужа: не хочется ей плакать при людяхъ, дѣлаетъ она усилія чтобы задержать свои слезы, а тѣ то-и-дѣло навертываются на рѣсницы — и неловко ей отъ этого становится, и старается она пониже потупить свою голову, чтобы застѣнчиво смигнуть эти непрошенныя слезы. Цѣлую недѣлю работала она да по грошамъ урывала отъ насущнаго хлѣба, чтобы снести нѣсколько копѣекъ мужу да купить ему сайку на гостинецъ. И мужу-то какъ будто не по себѣ.

Посадилъ онъ на колѣни ребёнка, смущенно гладитъ его по головкѣ, а двое другихъ ребятишекъ буками прижались къ матери и съ угрюмой тупостью озираются по сторонамъ. Взглянетъ онъ любовно на этихъ ребятокъ — и словно еще жутче станетъ ему... «Вотъ, молъ — дѣти, а поди-ка, смыслятъ, что отецъ въ тюрьмѣ», невольно читаешь на его смущенномъ лицѣ: — «а подростутъ, и того-пуще домекнутся тогда... Э-эхъ, нехорошо»!... И начинаетъ онъ какъ-то учащеннѣе гладить волосики своего ребёнка. А подлѣ этой группы — другая: къ старику-нѣмцу съ простовато-благочестивымъ лицомъ пришли его взрослыя дѣти и тоже съ гостинцемъ: яблоковъ принесли—и старикъ съ ребячьимъ наслажденіемъ, по маленькимъ ломтикамъ кусаетъ свой гостинецъ, словно хочется ему продлить это вкусное удовольствіе: въ тюрьмѣ по преимуществу познается цѣна вольной, домашней пищи, какова бъ она ни была. А далѣе рыжая купеческая бородка ведетъ съ навѣщателемъ своимъ — судя по выраженію физіономій — какіе-то переговоры на счетъ «коммерческихъ дѣловъ» весьма шильническаго свойства: надо полагать, за злостное банкротство содержится. За нимъ — крѣпко прижавшись другъ къ дружкѣ, усѣлась новая пара: молодой человѣкъ въ арестантскомъ пиджакѣ и молодая, хорошенькая дѣвушка; шопотомъ говорятъ они что-то между собою, но такъ энергично, такъ быстро и вмѣстѣ, такъ безотрадно — «вѣрно, любятъ другъ-дружку» — со вздохомъ замѣчаетъ про-себя вдова-купчиха съ-подъ Ивана Предтечи ямскаго, которая пріѣхала сюда воданнье внести въ нищію заключеннымъ христа-ради, на поминъ «души раба Власія». Тутъ же сидитъ и «франтъ» изъ породы «аферистовъ», съ нафабренными усами и въ розовомъ галстухѣ, который тщится улучить удобную минутку, чтобы передать секретно-оплаченный уже въ подворотнѣ фунтъ табаку своему товарищу— такому же франту, въ черномъ «дворянскомъ» пиджакѣ. Словомъ, куда не обернись, вездѣ размѣстились самыя разнообразныя группы: тамъ тихо, одушевленно разговариваютъ, здѣсь — понуро-уныло молчатъ, пришибленные горемъ; въ третьемъ углу скользитъ беззаботная улыбка и слышенъ сдержанный веселый смѣхъ; въ четвертомъ — вдругъ прервалось накипѣвшее рыданье, въ прощальную минуту — и во всѣхъ почти углахъ и концахъ этого отдѣленія

идетъ ѣда и угощенье: тутъ и пироги, и ветчина, и булки, и лакомство всякое. Для заключенныхъ это самыя свѣтлыя, самыя душевныя минуты въ ихъ однообразно-скучной тюремной жизни. Но не всѣ заключенные пользуются правомъ свиданія въ конторской комнатѣ. Это счастливое исключеніе принадлежитъ по преимуществу арестантамъ привиллегированныхъ классовъ: дворянамъ, купцамъ, почетнымъ гражданамъ, вообще тѣмъ, «къ кому ходятъ почище»; классы же непривиллегированные подъ это исключеніе, по большей части, подводитъ какая-нибудь тюремная протекція. Всѣ же неимущіе таковой пользуются инымъ мѣстомъ свиданія, которое способно навѣять на любого посѣтителя самое мрачное впечатлѣніе: въ подворотнѣ зàмка, въ правой отъ входа стѣнѣ, есть довольно пространная ниша, отдѣленная отъ проѣзда толстой, желѣзной рѣшоткой съ таковою же дверцой. Сквозь эту дверцу посѣтитель подымается на нѣсколько ступеней и входитъ въ длинноватую и полутемную камеру, которая посерединѣ перегорожена вдоль двумя мелко-сѣтчатыми рѣшотками, въ разстояніи аршина одна отъ другой. Въ промежуткѣ между ними расхаживаетъ часовой, а двѣ зарѣшоточныя половины камеры наполняются: одна — посѣтителями, другая — арестантами. Сквозь эту двойную желѣзную вуаль кое-какъ можно еще разглядѣть знакомое лицо, но пожать ему руку, сказать тихое слово по душѣ да по сердцу, или передать изъ кармана въ карманъ какую-нибудь булку — нѐчего уже и думать: зоркое око и ухо «дежурнаго», который, помимо часового, долженствуетъ присутствовать при свиданіяхъ, рѣшительно не допуститъ ни до чего подобнаго.

На женскомъ отдѣленіи это дѣло идетъ нѣсколько сноснѣе. Тамъ вмѣсто двухъ рѣшотокъ ограничиваются одной. Съ одной стороны стоитъ толпа родственниковъ и знакомыхъ, съ другой — прильнули лицомъ къ окошку заключенницы. Идетъ смѣшанный гулъ и говоръ, на многихъ грустныхъ и убитыхъ глазахъ виднѣются слезы...

— Прощайтеся!... время прощаться! восклицаетъ надзирательница, и растворивъ дверь рѣшотки, отдѣляющей посѣтителей отъ заключенницъ, становится въ этой двери, протянувъ свою руку. Черезъ ея руку идетъ торопливое прощанье, поцалуи и благосло-

венья, торопливое потому, что сзади еще цѣлая толпа дожидается своей очереди проститься и передать какой-нибудь пирогъ да сайку.

— Матери могутъ остаться — мужьямъ и братьямъ нельзя!... Матери оставайтесь! снова покрываетъ прощальный гулъ толпы громкій голосъ надзирательницы — и нѣсколько старухъ, крестясь изъ чувства благодарности, спѣшатъ отдѣлиться въ сторонку, чтобы потомъ, когда опустѣетъ камера, вдосталь и подушѣ, наговориться лицомъ къ лицу, безъ ненавистной рѣшотки, со своими заключенными дочерями.

— Ну, Юлинька, я тебѣ радостную вѣсточку привезла, начала старуха, расцаловавшись съ Бероевой, когда та вошла въ контору: — вотъ поздоровайся съ дѣтками — и разскажу.

— Какая вѣсточка? стремительно бросилась къ ней арестантка, предчувствуя, что тётка вѣрно что-нибудь про мужа скажетъ ей.

Старушка отвернулась въ сторону: она боялась, чтобы глаза какъ-нибудь не выдали ея невинной лжи, потому очень ужь неловко было ей смотрѣть на Бероеву: хоть и ради добраго дѣла привирала, а все-таки неловко.

— Да вѣдь я Егора-то Егорыча видѣла, промолвила она, и чтобъ занять чѣмъ-нибудь глаза да руки, принялась поправлять на внучкѣ шейную косынку.

— Видѣла!... воскликнула Бероева:—ну, что же онъ? говорите мнѣ! Говорите бога-ради все, скорѣе!

— Видѣла, повторила старуха: — говорила съ нимъ... ну, ничего... надѣется, что скоро выпустятъ...

— О, дай-то Господи!... Что же онъ, исхудалъ? измучился? боленъ онъ?—не скрывайте отъ меня; умоляю васъ, ничего не скрывайте! порывисто наступила на нее Бероева, хотя вся бесѣда, по обычаю конторскихъ свиданій, шла тише чѣмъ вполголоса.

— Ну, вотъ ужь ты сейчасъ и «боленъ»! — ничего, здоровъ и бодрый такой, не убивается... Одно только сильно крушитъ его: думаетъ все, что ты-то тутъ убиваешься. — Не велѣлъ онъ тебѣ этого... Люди вы еще молодые, да и ребята есть — такъ вотъ для нихъ-то надо поберечь себя; вотъ онъ что́ сказать тебѣ велѣлъ-то!

Старушка говорила все это потому, что всѣми силами и всей

любовью души своей желала, чтобы Бероева легче, мужественнѣе перепосила свою убійственную судьбу. Она знала, что добрая вѣсть о мужѣ сильно подкрѣпила бы и ободрила ее на будущее время, и потому, въ послѣдній разъ передъ разставаньемъ съ дѣтьми, на богъ-вѣсть какой срокъ, рѣшилась даже на болѣе крупную ложь— сказала, что видѣлась съ Бероевымъ.

«Доселѣ-то хоть съ дѣтками видалась, размышляла старуха:— все же утѣшеніе было; а теперь, какъ увезу-то ихъ, такъ и послѣдней радости лишится — еще пуще затоскуетъ, совсѣмъ убьетъ себя... Лучше ужь еще разъ солгать, прости Господи—да лишь бы утѣшить покрѣпче, чтобы подольше-то хоть надежда какая-нибудь была у нея; а тамъ, богъ-дастъ, можетъ, и счастливо все обойдется».

— Говорилъ онъ съ вами что-нибудь о своемъ дѣлѣ? нетерпѣливо спросила Бероева.

— О дѣлѣ-то... н-нѣтъ, слегка замялась старушка: — о дѣлѣ тамъ-то вѣдь нельзя разсказывать: тайна вѣдь это; а только и сказалъ, что все пустяки, и скоро все кончится, что, главное, убиваться тебѣ отнюдь не слѣдуетъ. И начальство вѣдь про дѣло-то его то же самое говорило—такъ чего жь тебѣ крушиться? въ видѣ послѣдняго убѣдительнаго аргумента, заключила старуха. — А вотъ я тебѣ денегъ да бѣлья привезла, присовокупила она, передавая ей нѣсколько ассигнацій вмѣстѣ съ полотнянымъ узелкомъ: — все, что было тамъ у тебя получше, все захватила; пускай у тебя ни въ чемъ тутъ недостатка не будетъ.

XLIV

Старый рубль

Пробило два часа—конецъ тюремнымъ свиданіямъ. Надо было разстаться. Бероева крѣпко обняла и долго цаловала обоихъ дѣтей своихъ—словно бы ужь ей не суждено было увидѣться съ ними. Нѣсколько крупныхъ, горячихъ слезъ упало изъ ея глазъ на ихъ печальныя личики. Дѣти тоже плакали; но какъ-то странно и больно становится глядѣть на эти тихія слезы: жизнь хотя и без-

сознательно, но рано научила этихъ двухъ дѣтей неподѣтски какъ-то плакать.

— Глянь-ко, Дюжикова, замѣтила, кивнувъ на нихъ, одна арестантка другой: —глянь-ко, дѣти-то, дѣтки божіи, плачутъ-то какъ... словнобъ и понимаютъ, что сиротами, почитай, остаются.

— А тó не понимаютъ?—извѣстно, чувствуютъ: не чужую отняли вѣдь, а мать родную...

— Мàма... тихо и грустно проговорила дѣвочка, прильнувъ къ плечу Бероевой: — чтó я тебѣ скажу, мàма... только ты не откажешь мнѣ? ты сдѣлаешь это?

— Чтò, милая?

— Нѣтъ, скажи прежде, ты не откажешь?... Ну, милая, хорошая милая, не откажи ты мнѣ! умоляла дѣвочка, охвативши ручонками ея шею.

Бероева пообѣщалась.

— Ты помнишь, мàма, цѣлковый тотъ старинный, чтò въ рожденье подарила мнѣ? говорила дѣвочка, вынимая изъ кармана завѣтную монету: —я его съ собой привезла... Возьми его, мàма; ты себѣ булку купишь...

— Полно, дурочка! съ грустной, любящей улыбкой прервала ее Бероева.

— Нѣтъ, мàма, нѣтъ! стремительно перебила дѣвочка: —ты обѣщала мнѣ!... Если любишь меня, такъ возьми... Добрая, милая, голубушка ты моя, отчего же ты не хочешь?... Вѣдь я видѣла— тутъ всѣмъ роднымъ приносятъ—вонъ и той мàмѣ тоже дочка принесла; а ты не хочешь... Возьми; тебѣ вѣдь пригодится онъ.

И дѣвочка рѣшительно положила монету въ руку матери.

— Спасибо, Лиза... тихо промолвила Бероева, чуткимъ сердцемъ угадавшая душевное движеніе дѣвочки — и съ новыми, горькими слезами, какъ-то судорожно стала расточать обоимъ дѣтямъ свои послѣднія ласки и благословенья. Тревожное чувство говорило ей, что казенный предѣлъ тюремнымъ свиданьямъ кончился, и ужь надзирательница поглядываетъ въ ихъ сторону, съ намѣреніемъ подойти и сказать, что пора, молъ, потому иначе—безпорядокъ... начальство... и прочее—и она не могла оторвать отъ дѣтей свои взоры, прекратить свои поцалуи—ей мучительно хотѣлось подольше

и вдоволь, досыта наглядѣться на нихъ въ послѣдній разъ, и въ тоже время болѣзненно чувствовалось, что это «вдоволь и досыта» слишкомъ еще далеко отъ нея, что оно никогда не придетъ и даже невозможно для матери.

Потрясенная до глубины души, возвратилась она въ камеру, зашила въ лоскутокъ завѣтный подарокъ и бережно спрятала его на груди, повѣсивъ на одну тесьму со своимъ шейнымъ крестомъ. Съ этой минуты старинный рубль сдѣлался для нея величайшей драгоцѣнностью, самой завѣтной святыней, съ которой соединилась безконечная материнская любовь и живое воспоминаніе о послѣднихъ прощальныхъ мгновеніяхъ.

— Гдѣ бы я ни была, что̀ бы со мной ни случилось—я не разстанусь съ нимъ! рѣшила она въ эту минуту величайшей скорби, чувствуя, что среди наступившаго для нея душевнаго сиротства и нравственнаго одиночества—эта вещь является уже единственнымъ звеномъ, связующимъ ея жизнь и душу съ дѣтьми и со днями прошлаго, свѣтлаго и улетѣвшаго счастья.

XLV

Опять на мужскомъ татебномъ

Немного прошло времени съ тѣхъ поръ, какъ мы покинули Ивана Вересова подъ честной эгидой Рамзи, на татебномъ отдѣленіи; но много прибавилось тамъ постояльцевъ въ этотъ промежутокъ. Жизнь—все та же, что̀ и прежде, съ тою только вѣчно-повторяющейся разницей, что на мѣсто нѣкоторыхъ старыхъ «жильцовъ», угодившихъ либо на волю, либо на Владимірку въ палестины забугорныя—прибываютъ день отъ дня «жильцы» новые, съ тою же, по большей части, перспективой воли — «съ подозрѣніемъ», да длинной Владимірки и уральскихъ бугровъ; такъ что въ сущности можно сказать, что на татебномъ отдѣленіи, равно какъ и на прочихъ, ничто не измѣнилось.

Дрожинъ, послѣ знаменитаго рукопожатія Рамзи, недѣль съ шесть провалялся въ лазаретѣ, пока ему залечили размозженную кисть. Начальству показалъ, что по нечаянности, самъ причиненъ въ своемъ

несчастіи: дверью, молъ, невзначай ущемилъ. Начальство недовѣрчиво головою покачало; однако, удовлетворилось такимъ объясненіемъ — по очень простой причинѣ: другого, истиннаго ему никогда не дождаться отъ арестанта, пока оно остается «начальствомъ» и взираетъ на него исключительно какъ на субъектъ, за каждый, малѣйшій проступокъ подлежащій исправительнымъ внушеніямъ, кои суть весьма разнообразны и строги.

Смутно было на душѣ стараго Жигана, пока онъ раскидывалъ умомъ-разумомъ — какъ ему быть, и какъ держать себя при вторичномъ появленіи въ средѣ камерныхъ сотоварищей? Какъ пройдетъ первая минута встрѣчи съ ними, и вернется ли къ нему все то вліяніе, на какое онъ присвоилъ себѣ право до роковаго появленія Рамзи? — все это были кровные, близкіе сердцу вопросы, которые долго тревожили стараго Жигана въ лазаретѣ. Почти все время своего леченья онъ былъ необыкновенно мраченъ, ни съ кѣмъ слова не проронилъ, и по большей части лежалъ отвернувшись къ стѣнѣ отъ лазаретныхъ товарищей.

— Что, дядя Жиганъ, съ тобой — слышно — здорово поздоровался новый благопріятель? иронически подошелъ къ нему однажды кто-то изъ больныхъ.

Жиганъ, какъ тигръ, мгновенно поднялся на кровати и такъ грозно сверкнулъ на подошедшаго своими налившимися кровью глазами, что того чуть ли не на сажень отбросило отъ его постели, словно молніей обожгло, и сразу ужь отбило впередъ всякую охоту тревожить Жигана какими бы ни было вопросами, да и для остальныхъ послужило достаточно внушительнымъ примѣромъ.

Наконецъ, Дрожинъ надумался, какъ ему быть по выходѣ.

Пришелъ однажды въ лазаретъ одинъ арестантикъ изъ дрожинской камеры — попросить какой-то примочки въ аптекѣ, и вмѣстѣ съ тѣмъ навѣстить одного больнаго. Дрожинъ благодушно кликнулъ его къ своей постели.

— Ну, какъ тамъ у насъ, благополучно? спросилъ онъ.

— Ништò живетъ, дядя Жиганъ!

— А что креститель-то мой здравствуетъ? освѣдомился онъ съ осторожной и не то надменной, не то добродушной усмѣшкой.

— Это Рамзя-то? домекнулся арестантикъ: — ништo, соблюдаетъ себя, какъ быть должнò.

— Чтò же, какъ тамъ онъ у васъ, на какомъ положеніи?

— Большакомъ, дядя Жиганъ, голова цѣлой камерѣ.

— Хм... И не обижаетъ?

— Грѣхъ сказать — этого за нимъ не водится.

— Хм... Ну, это хорошо... Это хорошо, что не обижаетъ... такъ и слѣдъ! раздумчиво повторялъ Дрожинъ. — А за товариство, за всю ватагу-то стоятель?

— Уважаетъ... Хоша и строгъ, а лучшаго ватàмана и днемъ съ фонаремъ не сыщешь. Въ старосты по этажу выбираемъ.

— Хм... Ну, чтò жь, тàкъ-дакъ-тàкъ! порѣшилъ онъ, какъ-бы самъ съ собою: — коли выше всѣхъ головою взялъ, стало быть— сила. Снеси ему поклонъ мой; скажи: старый-де Жиганъ челомъ тебѣ бьётъ.

И съ этой минуты его уже не тревожили неотвязные, прежніе вопросы.

Вернулся онъ въ камеру осанистый, бодрый и какъ-то серьёзно-веселый.

— Здорово-живете, братцы!

— А!... Дядя Жиганъ!... Выписался!... Чтò граблюха-то [1]) щемитъ?... Здорово! оприветствовала его цѣлая камера; но въ этихъ возгласахъ и въ тонѣ, которымъ они произносились, Дрожинъ, увы! уже не разслышалъ былой почтительности, внушаемой уваженіемъ къ его прошлому и страхомъ къ его силѣ. Очевидно, сила новая и болѣе крѣпкая взяла здѣсь нравственный верхъ.

На мгновеніе его личные мускулы передернуло что-то нехорошее, какъ-будто досада на настоящее и сожалѣніе о прежнемъ значеніи своемъ; но старый Жиганъ въ ту жь минуту преодолѣлъ свое чувство, и съ спокойно-серьёзнымъ видомъ подошелъ къ Рамзѣ.

Молча поклонился. Тотъ отвѣтилъ выжидательнымъ, но въ высшей степени спокойнымъ поклономъ.

— Вотъ тебѣ моя рука — та самая! началъ Дрожинъ: — старъ человѣкъ я, годы осилили мою силу; а и въ былое время не стать

[1]) Рука.

бы съ тобою мѣряться: больно ужь дивная сила, братъ, у тебя. Будь же и мнѣ ты ватаманъ, а я тебѣ — слуга, заключилъ онъ, и снова поклонился.

— Не то, братъ, ты говоришь, отвѣтилъ ему Рамзя. — Я, по своему разуму, такъ полагаю, что по единой токмо силѣ не надо быть старшему промежь людьми; а всѣ мы есть братья, и возлюбимъ другъ друга побратски. Вотъ моя вѣра. Хочешь ты мнѣ быть не слугой, а другомъ и братомъ? — Изволь! А не хочешь — Господь съ тобою!

Они поцаловались. На душѣ у Дрожина посвѣтлѣло, словно бы грузъ какой съ нея свалился. Онъ сознавалъ, что съ честью вышелъ изъ затруднительнаго положенія, что такимъ образомъ значеніе его, быть можетъ, не вовсе еще потеряно, а съ удаленіемъ Рамзи — всецѣло опять къ нему же возратится, и старый Жиганъ попрежнему станетъ дядей Жиганомъ, большакомъ и силой на всю камеру и на весь этажъ. «Мы еще, авось, вернемъ свое! Богъ не выдастъ — свинья не съѣстъ»! подумалъ онъ, и весело, соколинымъ взглядомъ окинувъ всѣхъ товарищей, остановился на Вересовѣ.

— Ты, братъ, не сердись на меня, старика! подошелъ онъ къ нему: — ты еще младъ-человѣкъ, а я тебѣ чуть не въ дѣдушки гожуся; стало быть, тебѣ и не слѣдъ на мнѣ зло мое помнить; да и зла мы тебѣ не желали, а только такъ въ шутки играли съ тобой; ну, а точно что шутка шуткѣ рознь бываетъ. Это ужь такое у насъ заведеніе.

И онъ слегка поклонился Вересову, но не поцаловался, и руки не протянулъ, потому памятовалъ, что онъ старикъ, а тотъ — молокососъ еще, и передъ молокососомъ, значитъ, достоинство свое непремѣнно надо соблюсти, чтобы онъ это чувствовалъ, да и другіе тоже.

— Да тутъ, кажись, безъ меня новыхъ жильцовъ поприбавилось? продолжалъ Дрожинъ, оглядывая товарищей: — тебя, милый человѣкъ, какъ обзывать, къ примѣру? ась?

— Какъ случится, да какъ понадобится. Гдѣ Петромъ, гдѣ Иваномъ, а гдѣ и капитаномъ. А крещенъ-то я Осипомъ, по прозванію Грѣчкой, да содержусь-то не въ этой камерѣ, а сюды собственно визитацыю, вишь ты, сдѣлалъ — въ гости къ пріятелямъ.

— Бойкая птица! одобрительно замѣтилъ Дрожинъ: онъ мало-помалу, исподволь намѣревался войти въ свою прежнюю роль.—А ты кто, милый человѣкъ? Рожа-то твоя какъ быдто малость знакома мнѣ — можетъ когда на мимоѣзжемъ трахтѣ встрѣнулись, какъ оба съ дубовой иголкой портняжили? Ты не изъ савотѣйниковъ ли?

— Что̀ было, то̀ проѣхало и быльёмъ поросло: бабушка моя про то сказывать вовѣки заказала, отрѣзалъ вопрошаемый: — и мнѣ вишь тоже рожа твоя знакомой сдается, да ничего-себѣ, помалчиваю; а въ мірѣ семъ Ѳомушкой-блаженнымъ прозываюсь.

— Те-те-те!... Старый знакомый! Наслышанъ, братъ, я о тебѣ много былъ, про странствія, да про похожденія твои! А что̀ Нерчинскій не забылъ еще?—вмѣстѣ вѣдь разъ лататы задавали оттелева!

И онъ, весело хлопнувъ по плечу блаженнаго, вѣско потрясъ его громадную лапищу.

— А тутъ еще что̀ за звѣрь сидитъ мотнулъ онъ головой на товарища Ѳомушки.

— Се убо горбачъ! весело промолвилъ блаженный, ткнувъ указательнымъ перстомъ въ темя Касьянчика-старчика.

Оказался на лицо и еще одинъ старый знакомый — новый, временной жилецъ дядина дома — бѣглый солдатъ Абрамъ Закорюкъ, который содержался тутъ пока, до близкаго отправленія своего въ арестантскія роты Финляндіи.

Дрожинъ остался очень доволенъ какъ двумя этими встрѣчами, такъ и вообще своими новыми знакомствами. Требовалось только въ конецъ ужь показать себя и свое достоинство.

— Эй, Мишка Разломай! отнесся онъ къ этажному ростовщику, маркитанту и майданщику: — отпусти ты мнѣ въ долгъ мать нашу косуху! шесть недѣль въ ротъ ни капельки не бралъ, индо нутро все пересохло. За первой идетъ вторая, за второй третья, а тамъ — какъ Богъ на душу положитъ; потому безпремѣнно надо мнѣ геперича новоселье на старую койку справить.

XLVI

Завѣтныя думы

Веселая компанія гуляла. На тюремной гауптвахтѣ съ часъ уже пробили вечернюю зорю; по камерамъ кончилась повѣрка, стало-быть безпокоить до утра не кому. Въ майданномъ углу затѣвалась обычная трынка да три листика, а пока — Абрамъ Закорюкъ непотѣшалъ бойкими росказнями.

— Чудный былъ, братцы, у насъ въ полку солдатикъ, повѣствовалъ онъ, руки въ боки, молодцоватымъ фертомъ стоя середь камеры: — наѣзжаетъ разъ ишпехтырь-инералъ, икзаметъ, значитъ, производитъ. Вызываетъ онъ этого самаго солдатика къ черной доскѣ. «Ну, говоритъ, какъ бы ты, любезный, поступилъ, коли-бы на войнѣ непріятеля встрѣнулъ»? Солдатикъ ни гу-гу, только знай себѣ въ струнку тянется. «Ну, говоритъ, ты бы его, понятное дѣло, прикололъ, потому, говоритъ, для расейскаго солдатика одного непріятеля приколоть немудреная штука». — «Прикололъ бы, ваше превосходительство»! — «Ну, молодецъ, говоритъ, такъ и слѣдуетъ. А кабы двухъ, али трехъ встрѣнулъ, тогда бы какъ»? Солдатикъ опять ни гу-гу, только бѣльмами похлопываетъ. «Ну, говоритъ, для расейскаго солдата и двухъ-трехъ,. говоритъ, тоже пожалуй, не штука приколоть». «Такъ точно, прикололъ бы, ваше превосходительство!» — «Молодецъ! А кабы, говоритъ, двадцать, али тридцать встрѣнулъ—тогда бы какъ»?—«Прикололъ бы, ваше превосходительство»! — «Ну, братецъ, врешь, говоритъ: — тридцати не приколешь; тогда въ эвдакомъ случаѣ благородно ретировался бы». — «Такъ точно, ваше превосходительство, благородно ретировался бы»!—«Это значитъ, наутекъ бы пошелъ. Молодецъ! говоритъ: — а кабы ты меня на войнѣ встрѣнулъ, тогда бы какъ»?—«Прикололъ бы, ваше превосходительство»!—«Ну, братецъ, врешь, говоритъ; меня-то, начальства свово, нельзя колоть; а ты, говоритъ, подумай хорошенько, какъ бы ты поступилъ, встрѣнувши меня»?— «Благородно ретировался бы, ваше превосходительство»!—Тутъ его раба божьяго, взяли да и тово—вѣникомъ маненько попарили. Не ретируйся, значитъ, и не коли! Такъ-то оно, братцы, наша служба

такая, что повернулся—тово, и не довернулся—тоже тово, а впрочимъ очинно вальготно.

— Ваше дѣло — военное, а наше дѣло — священное, замѣчаетъ ему на это Ѳомушка:—потому какъ я изъ дьячковскихъ сыновей, и премудрость, значитъ, уразумѣлъ. Мнѣ бы теперь, по настоящему, архипастыремъ надо быть, кабы не враги наши... а я вотъ — въ блаженныхъ только состою.

— Это чиномъ выше, вставилъ словечко Закорюкъ.

— Выше ли, ниже ли, а только я хочу повѣствованье нѣкое разсказать, возразилъ ему Ѳомушка. — Былъ я еще малолѣткомъ, при отцѣ на селѣ состоялъ; и поѣхали мы всѣмъ причтомъ на христовъ день со славленьемъ въ сосѣднюю деревню, верстъ за семь. Цѣльный день, ажъ до ночи славили; ну, и наславились; ужь такъ-то наславились — до утробы-пресыщенія. Сложили насъ всѣхъ въ тележку, стебанули меринка, онъ и потрусилъ себѣ: не впервой, вишь — дорога-то знакомая. На утро пономарь идетъ за благословеньемъ заутреню благовѣстить. Приходитъ къ отцу, а отца нѣтути!—Что жь, говоритъ, должно, мы батюшку-то вчерась гдѣ-нибудь по дорогѣ невзначай обронили. — Надо быть, что обронили, говоритъ, потому оченно ужь дѣло-то грузно было. Поѣдемъ искать, говоритъ; можетъ, и найдемъ гдѣ-нибудь. Поѣхали. Смотримъ — а отецъ-то какъ разъ за селомъ, у кирпичнаго завода, въ канавкѣ лежитъ, ликомъ горѣ, и солнышко въ ликъ ему припекаетъ; и свиніи нечестивіи обступили его, сердечнаго, да во уста, во уста-то такъ и лобызаютъ. А онъ, голубчикъ мой, очесами-то не узритъ, а только лежитъ-себѣ, козелкомъ потряхиваетъ да бормочетъ: «много благодаренъ! много благодаренъ! во истину, молъ, во истину!»

Дружный и веселый хохотъ камеры покрываетъ окончаніе какъ того, такъ и другого разсказа. Одинъ Рамзя только сидитъ поодаль отъ другихъ, сохраняя невозмутимое спокойствіе и серьезность. Ему, кажись, не совсѣмъ-то по душѣ приходились такіе разсказы; но протестовать противъ нихъ какимъ-либо рѣзкимъ или поучащимъ словомъ онъ не сталъ, потому что зналъ цѣну каждому своему слову, умѣлъ угадывать минуту, когда оно можетъ вліять своей нравственной силой, и вдобавокъ отлично зналъ этотъ народъ, съ которымъ теперь приходилось ему имѣть дѣло. Тутъ именно все

зависитъ отъ минуты, потому что это—народъ порыва; иногда хорошаго, иногда дурного, но непремѣнно порыва; это — капризное, своенравное дитя; на него обаятельно дѣйствуетъ только фактъ или примѣръ, совсѣмъ выходящій вонъ изъ ряда, поражающій либо своей грандіозностью, силой, либо своей смѣшной, комической стороною. На сколько легко подчиняется онъ обаянію всякой силы, на столько же легко и развѣнчиваетъ свой кумиръ, отнимаетъ отъ него съ разу все добровольно данное ему уваженіе, при первой оплошности, при первомъ случаѣ, когда эта сила неловко станетъ въ смѣшное положеніе. А Рамзя чувствовалъ, что выступи онъ теперь, въ данную минуту, передъ полупьяной ватагой, настроенный на сатирическій и смѣшливый ладъ, ему вся эта ватага отгрянула бы только дружнымъ уничтожающимъ смѣхомъ, который въ тотъ же мигъ свергнулъ бы его съ того пьедестала, на который сталъ онъ съ перваго появленія въ эту среду. А Рамзя дорожилъ своимъ значеніемъ. «Мало-ль что мнѣ не по нраву! разсуждалъ онъ мысленно въ эту минуту: — не всяко лыко въ строку; тутъ еще грѣхъ невеликъ, что погалдятъ промежь себя да пересмѣхомъ позаймутся; а вотъ коли какое дѣло въ сурьёзъ пойдетъ да недобрымъ для нихъ же самихъ запахнетъ — ну, тогда встань и затяни возжу, тогда поймутъ, что ты, молъ, за дѣло, а не за пустяковину ратуешь». И онъ засвѣтилъ у своей койки сальный огарокъ, заслонилъ его бумагой со стороны окна, чтобы со двора свѣту незамѣтно было, и кивнулъ Бересову:

— Почитать бы, что-ль, книжку занятную, предложилъ онъ ему вытаскивая изъ-подъ подушки растрепанную книжицу:—присядь-ко, Иванъ Осипычъ, призаймемся малость.

И черезъ минуту по камерѣ тихо, но внятно раздался его ровный, пѣвучій голосъ:

Не гулялъ съ кистенемъ я въ дремучемъ лѣсу,
Не лежалъ я во рву въ непроглядную ночь —
Я свой вѣкъ загубилъ за дѣвицу-красу,
За дѣвицу-красу, за дворянскую дочь.

И... къ концу этого стихотворенія, около Рамзи мало-по-малу собралась уже тѣсная кучка; буйный смѣхъ замолкъ, уступя мѣсто серьёзному, чуткому вниманью. Въ майданномъ углу, тѣмъ же

часомъ пошли въ ходъ три листика, и вся камера раздѣлилась на двѣ группы: одна жадно и любопытно слѣдила за игрою, другая — жадно и любопытно слушала некрасовскіе стихи.

Рамзя обвелъ глазами свою группу, и довольная улыбка мелькнула на его губахъ: онъ зналъ, какъ и чѣмъ въ иную минуту нужно дѣйствовать на этотъ народъ—и внутренно улыбнулся этому сознанію.

Осипъ Грѣчка содержался на томъ же татебномъ отдѣленіи, только въ другой камерѣ, гдѣ, съ нѣкоторыми варьяціями, совершалось почти то же самое: та же игра и подобные же разсказы; но онъ межъ тѣмъ угрюмо лежалъ на своей койкѣ, закинувъ за голову руки и все время ни въ рóзсказняхъ, ни въ игрѣ, ни въ чтеніи не принималъ участія. Онъ думалъ крутую, серьёзную думу... Надоѣлъ ему душный острогъ, надоѣло уголовное дѣло, по которому теперь его судятъ, надоѣла вся эта жизнь сидячая, скучная, подневольная, и—охъ, какъ хотѣлось бы ему попытать теперь вольной воли, погулять безъ надзора по бѣлому свѣту. Хорошо бы убѣжать отсюда—да только какъ убѣжишь-то?... А надобно, безпремѣнно надобно, во что бы то ни стало! потому очень ужь опротивѣло все это, тоска по прежней горемычно-беззаботной жизни вконецъ загрызла. Какъ быть-то?... надо подумать.

И вотъ онъ думаетъ да передумываетъ разныя мысли.

«Запуталъ я ни зашто и энтово щенка, мыслилъ онъ на счетъ Вересова:—ну, вотъ и терпитъ, страдаетъ человѣкъ... Коли виноватому скверно, каково же оно невинному-то... Душа-то у него чистая; вѣдь тогда низашто помогъ мнѣ—отъ добраго только сердца своего, значитъ, а не изъ чего-либо продчаго. И не гадалъ, чай, что влопается въ такую передрягу!... А и скаредъ же этотъ Морденко, батька-то его!... Думалъ я этта, что кровь не выдержитъ, заговоритъ свое; думалъ, что не захочетъ дѣтище родное подъ уголовщину вести; помилуетъ, думалъ, дѣло замнетъ, да потушитъ; анъ нѣтъ, живодѣрина! ему и кровь своя ровно что ничего, и сына роднова топитъ!... Не выгорѣла у меня, значитъ, эта задача, ошибся... А коли не выгорѣла, что жь и щенка-то задаромъ томить?... Выгородить его нешто изъ дѣла, объявить начальству, что такъ, молъ, и такъ—въ эвдакомъ разѣ впутывалъ его занапрасну,

на сердце родительское, молъ, разсчетъ въ мысляхъ своихъ держалъ и потому оговорилъ неповиннаго... Мнѣ вѣдь все равно; потому какъ ни на есть, а ужь удеру отселева безпремѣнно: либо панъ, либо пропалъ. Только какъ удрать-то?... Нешто надежнаго товарища подыскать бы да вмѣстѣ хватить?...

И мысль Осипа Грѣчки сама-собою возвращалась все къ той же первоначальной и завѣтной думѣ о побѣгѣ.

Нѣсколько дней таилъ онъ про себя эти мысли, все выглядывалъ да придумывалъ умомъ-разумомъ—кого бы ему посподручнѣе выбрать въ товарищи, и наконецъ рѣшилъ, что надежнѣе всѣхъ, кажись, будетъ Дрожинъ, а буде Дрожинъ откажется, то можно за Ѳомку-блаженнаго приняться.

Однажды, улучивъ минуту, онъ при встрѣчѣ, по секрету, сообщилъ свои намѣренія старому Жигану.

Старый Жиганъ раздумчиво потупилъ голову и наконецъ махнулъ рукой, какъ на дѣло совсѣмъ ему неподходящее.

— Нѣтъ, братъ; помогай тебѣ Микола святитель одному бѣжать, а меня ужь не замай! отвѣтилъ онъ Грѣчкѣ:—я ужь лучше, какъ быть должно по закону и во всей правилѣ въ Сибирь пройдусь.

— Какъ!... нешто такъ-таки какъ голодная [1]) рѣшитъ?! изумился Грѣчка.

— И впрямь. Какъ рѣшитъ, такъ и будетъ.

— Да что жь это такое??... Али ужь такъ, по вѣмъ свой покаяться задумалъ?

— Для-чево каяться? смертный конецъ не пришолъ еще.

— Такъ рази начальству поблажать?

— А что жь? Для-чего не поблажить ему маленько? Хотитъ меня въ Сибирь, примѣрно — что жь, это удовольствіе можно имъ сдѣлать: пущай, какъ малые ребятки, побалуютъ со мною — ужь такъ и быть, потѣшу ихъ, прогуляюсь; а изъ Сибири убѣгу. Авось, либо тамъ, либо здѣсь повидаемся еще съ тобою, милый человѣкъ ты мой!

---

[1]) Уголовная палата.

Грѣчка только плечами пожалъ.

— А эдакъ-то что́ бѣжать! продолжалъ пояснять ему Дрожинъ:— убѣжишь, а тутъ тебя, того-гляди, и принакроютъ, не хуже русака подъ кочкой. Этакъ бѣжать никакого удовольствія нѣту. А вотъ — дойти до мѣста, да оттелева дёрнуть, ну, это точно что дѣло! раздолье, покрайности, будетъ; а иначе я не люблю и не согласенъ.

Онъ опять потупился и подумалъ съ минуту.

— А мы вотъ какъ, братъ, устроимся съ тобою, коли хочешь! предложилъ старый Жиганъ, набредя на подходящую мысль: — пущай насъ прежде, какъ слѣдъ, рѣшатъ по закону да на Владимірку погонятъ; а какъ перевалимся за Бугры — дѣло-то тамъ обнаковенно повольготнѣе пойдетъ — ну, такъ вотъ тамъ ужь гдѣ-нибудь за Тобольскимъ, при подходящемъ случаѣ, мы и ухнемъ вмѣстѣ. Сторона-то, братъ, тамъ привольная, богатѣющая сторона. Идетъ, что́-ли, на это?

— Н-нѣтъ, не ходитъ, дядя Жиганъ — неподходящее...

— Ну, а инакъ я несогласенъ! Да и что́! съ вами-де водиться, что въ крапиву садиться! порѣшилъ бывалый варнакъ, отходя отъ Грѣчки.

Тотъ остановилъ его за рукавъ.

— Только чуръ, дядя, языкъ-то у колокола подвяжи про энтотъ случай; чтобы никто изъ товариства ни-ни!

Дрожинъ скосилъ губы въ пренебрежительную улыбку.

— Что́ я, просвирня тебѣ, аль посадская баба? возразилъ онъ слегка-оскорбленнымъ тономъ:—слава-те, Господи, не первый годъ варначить: колокольню въ исправности привыкъ держать, да и тебя еще, дурня, поучить могу.

И онъ отошелъ отъ Грѣчки съ чувствомъ нѣкоторой обиды на его неумѣстное предостереженіе.

Дѣло съ Ѳомушкой обошлось нѣсколько проще.

— Вотъ, что́ скажу я тебѣ, пріятель, отвѣтилъ онъ на Грѣчкино предложеніе: — мнѣ пока еще не рука ухать изъ Дядина Домика, потому, неизвѣстенъ я, какъ меня рѣшатъ. Вѣрнѣй, что съ нижающей благодарностью отпустятъ [1]); а коли проще, старую зо́лу

[1]) Въ сильномъ подозрѣніи оставятъ.

разгребать начнутъ—ну, такъ не грѣхъ и попытаться, а то, гляди, себѣ только хуже натворишь. Хочешь пообождать малость—считай меня за барина [1]); одначе жь, я все-таки напередъ желаю другого манеру попытать—можетъ, и склѣется.

— Какого такого манеру?

— Э, братъ, лакома тётка до орѣхъ, да зубовъ нѣтъ! возразилъ ему Ѳомушка: — никакъ невозможно въ томъ открыться, потому всякъ Еремѣй про себя разумѣй! А вотъ поживи, такъ можетъ и увидишь, какой такой этотъ манеръ мой.

Такимъ образомъ и въ отношеніи блаженнаго, Грѣчка могъ разсчитывать только вполовину, да и то не навѣрное. Неудачи подмывали его еще болѣе, разжигая неугомонную жажду воли-вольной. Онъ былъ упрямъ, и что разъ, бывало, задумаетъ, то ужь наровитъ во что бы ни стало исполнить. Снова началъ Грѣчка выгадывать себѣ подходящаго товарища, и раздумывать о средствахъ къ побѣгу. Слышалъ онъ, какъ одному хвату, нѣсколько лѣтъ тому назадъ, въ темную ночь удалось пробраться на тюремный чердакъ, съ чердака на крышу, а съ крыши — по веревкѣ на улицу — въ тюремный переулокъ спуститься. Ходили межъ арестантами тоже слухи и о томъ, будто подъ пекарней есть подземный проходъ, который спускается въ водосточную трубу, впадающую въ Крюковъ каналъ, и будто этотъ проходъ исподволь, весьма долгое время прорывали три арестанта-хлѣбопёка; да бѣда: въ то же время говорили, что начальство однажды пронюхало про эту потайную работу подземныхъ кротовъ, когда она была уже доведена почти что до самаго конца, и немедленно же снова засыпало землею да грузомъ кротовую нору, а самихъ кротовъ послало рыть другія норы въ мать-Сибирь забайкальскую.—«Ройся, молъ, тамъ невозбранно, сколько душѣ твоей захочется!»

Однако всѣ эти способы представляли слишкомъ мало удобствъ—надо было изобрѣсти какой-нибудь новый, свой собственный — и Грѣчка цѣлые дни и цѣлыя ночи безсонныя строилъ въ головѣ своей разные проекты.

Наконецъ, способъ придуманъ—оставалось только ждать удобной

---

[1]) *Баринъ*—товарищъ.

минуты для выполненія этой страстной, недающей покою мысли, да подыскать товарища. За этимъ все дѣло стало. Грѣчка рѣшилъ побѣгъ, какъ единственную задачу своей жизни въ данную минуту, и оставался твердо, стойко убѣжденъ, что такъ оно должно быть, и такъ непремѣнно случится.

Разъ онъ отправился въ тюремную контору и объявилъ, что желаетъ открыть всю истину своего дѣла. И дѣйствительно, разсказалъ стряпчему со всей откровенностью непреложной правды, какъ было задумано и совершено имъ намѣреніе убить и обобрать Морденку, и какимъ образомъ онъ воспользовался случайными обстоятельствами, чтобы оговорить Вересова, въ разсчетѣ, что въ Морденкѣ «кровь заговоритъ на жалость къ родному дѣтищу», и заставитъ его замять все дѣло; а теперь, видя, что оговоръ этотъ рѣшительно не привелъ къ желаемому результату, объявляетъ о невинности Вересова, «чтобы, значитъ, человѣкъ не терпѣлъ понапрасну.

Однако, признаваясь во всѣхъ обстоятельствахъ дѣла, касающихся лично его самого, онъ ни полусловомъ, ни полунамокомъ не выдалъ того, что у него были сотоварищи, вмѣстѣ замышлявшіе убійство. Грѣчка обвинялъ исключительно себя—и послѣднее признаніе его было принято во вниманіе судебною властью.

XLVII

Филантропки

Въ Петербургѣ есть совсѣмъ особенная коллекція великосвѣтскихъ дамъ, поставившихъ задачею своей жизни — филантропію. Онѣ какъ будто взяли исключительную привиллегію на благотворительность, и такимъ образомъ составили нѣчто въ родѣ цѣха филантропокъ. Великосвѣтскія филантропки подраздѣляются на многіе разряды. Однѣ изъ нихъ памятуютъ реченіе писанія о скотолюбцахъ: «блажени, молъ, иже и скоты милуютъ» — и на этомъ основаніи всѣмъ сердцемъ возлюбили своихъ кинг-чарльзовъ и левретокъ, при чемъ однако стремятся къ учрежденію общества скотолюбцевъ; но только «стремятся» покамѣсть, и больше ничего. Другія понаслышались

кое-какихъ верхушекъ о женскомъ трудѣ, и мечтаютъ о составленіи общества поощренія швейныхъ, переплетныхъ и иныхъ мастерскихъ; гдѣ бы онѣ могли быть «предсѣдательницами» и оказывать начальственное вліяніе на весь ходъ избраннаго дѣла. Третьи заботятся о «падшихъ» (но объ этихъ мы будемъ говорить впослѣдствіи). Четвертыя избрали ареной своей филантропической дѣятельности остроги, тюрьмы и вообще всѣ наши мѣста заключенія. Пятыя... Но если пересчитывать всѣхъ, то, пожалуй, и цѣлой главы будетъ недостаточно для самаго краткаго упоминанія многоразличныхъ отраслей нашей жизни, дающихъ пищу праздночувствительной дѣятельности великосвѣтскихъ филантропокъ. Полезнѣй всѣхъ изъ нихъ, безспорно, четвертыя, иже унаслѣдовали заповѣдь писанія о посѣщеніи во узахъ заключенныхъ. Эти, между множествомъ чудачествъ, хорошее творятъ, насущную пользу иногда приносятъ: а прочія...

Прежде всего, каждая свѣтская филантропка отличается своею превыспренной набожностью, которая у иныхъ переходитъ даже фарисейское ханжество; но этакъ вѣдь гораздо замѣтнѣе, и потому, значитъ, гораздо почтеннѣе: говору и благоудивленія больше. Какъ тутъ не сотворить добраго дѣла, когда заранѣе знаешь, что сотни голосовъ будутъ превозносить тебя паче облака ходячаго, будутъ называть тебя своимъ ангеломъ-хранителемъ, спасителемъ, утѣшителемъ, цѣлителемъ и проч.; станутъ повѣствовать о твоихъ великихъ добродѣтеляхъ вездѣ и повсюду; вынимать частицы за твое здравіе. Какъ хотите, а вѣдь очень лестно и соблазнительно.

Дама-филантропка, кромѣ непремѣннаго благочестія, всегда стремится занять въ свѣтѣ такое мѣсто, которое давало бы ей вѣсъ и значеніе. Она въ ладахъ со всѣми сильными іерархическаго міра — и сильные міра постоянно изъявляютъ ей знаки своего почтенія. Она непремѣнно надоѣдаетъ каждому изъ нихъ своими еженедѣльными и безпрестанными ходатайствами, просьбами, справками и проч. сильные міра хотя и морщатся про себя, хотя и досадливо губами прицмокиваютъ, тѣмъ не менѣе, въ глаза ей показываютъ предупредительную готовность исполнять малѣйшее ея желаніе, даже капризъ — ну, и исполняютъ, иногда «по силѣ возможности», а иногда и по силѣ невозможности. Стало быть, такъ или иначе,

дама-филантропка достигаетъ своей цѣли; иногда она счудачитъ, а иногда и дѣйствительно, доброму, честному дѣлу поможетъ. Только это иногда выходитъ у нея какъ-то безъ разбору, безъ нравственной оцѣнки качествъ патронируемаго дѣла — точно ли оно хорошее и честное, или плутяжное, которое только прикидывается честнымъ? — лишь бы списокъ «добрыхъ дѣлъ» ея пополнялся все болѣе, лишь бы увеличивалось число «благословляющихъ» ея добродѣтели.

Каждая дама-филантропка очень любитъ проявленія набожности въ покровительствуемыхъ субъектахъ. Набоженъ — стало быть хорошъ; почтителенъ къ ея особѣ — и того еще лучше, а коли къ тому же да бойкимъ языкомъ благодарственныя восклицанія разсыпаетъ — тутъ ужь конецъ всѣмъ разсужденіямъ: филантропка беретъ его подъ свое покровительство, и зачастую, во что бы то ни стало, стремится создать новаго молельщика за себя предъ Господомъ [1]).

XLVIII

Арестанты въ церкви

Интересный видъ представляютъ арестантскія камеры въ утро передъ обѣдней какого-либо праздника или воскреснаго дня.

Народъ какъ будто пріободрился, вымылся, прихолился и каждое затхло-сѣрое, арестантское лицо невольно какъ-то праздникомъ смотритъ. У кого есть своя собственная ситцевая рубаха, попавшая

---

[1]) Изъ числа подобныхъ филантропокъ, справедливость требуетъ однако выгородить одну почтенную и всѣми уважаемую особу, которой наша тюрьма дѣйствительно обязана многими существенными улучшеніями. Одинъ ужо пріютъ для дѣтей заключенныхъ, который даетъ теперь имъ возможность безбѣдно существовать и воспитываться подъ одной кровлей съ отцомъ или матерью, устраняя отъ всѣхъ вредныхъ вліяній тюрьмы—одинъ этотъ пріютъ, говоримъ мы, достаточно свидѣтельствуетъ о безкорыстномъ и христіанскомъ служеніи этой особы нравственнымъ и матеріальнымъ нуждамъ заключенниковъ. И если вмѣстѣ съ этою почтенной особой, мы выгородимъ еще пять-шесть столь же достойныхъ лицъ, то тѣмъ разительнѣй выйдетъ контрастъ съ остальными представительницами нашей свѣтской филантропіи.

сюда какими ни на есть судьбами, помимо казеннаго контроля, тотъ надѣлъ ее на себя, подпоясался мутузкой, аккуратно складки обдернулъ и сидитъ она на немъ невпримѣръ ловче и парядпѣе, чѣмъ грубо-холщевая сорочка изъ тюремнаго цейхгауза — все-таки волювольную хоть какъ-нибудь напоминаетъ. У кого галстухъ или гарусный вязаный шарфъ обрѣтается, тотъ его вокругъ шеи обмотаетъ и ходитъ-себѣ щеголемъ по камерѣ.

— Ишь ты, праздникъ, замѣчаютъ иные, съ оттѣнкомъ какого-то внутренняго удовольствія.

— Н-да-съ, праздникъ, въ томъ же тонѣ откликается какой-нибудь другой арестантикъ. И всѣ они очень хорошо знаютъ, что праздникъ сегодня, а замѣчанія, подобныя только-что приведеннымъ, вырываются у нихъ какъ-то невольно, отъ нѣкоторой полноты душевной.

Мишка Разломай да татаринъ Бабай глядятъ серьёзно, хотя они чуть ли не довольнѣе всѣхъ остальныхъ: знаютъ, что ради праздника иному лишнюю рюмочку хватить хочется, лишнюю ставку въ кости да въ карты прокинуть, лишнюю трубочку табаку въ печную заслонку вытянуть—а это все имъ на руку, потому къ нимъ же придетъ всякъ за такими потребами; кто чистыми заплатитъ, а кто и самъ еще въ долгъ на процентъ прихватитъ; стало быть, въ концѣ концовъ, у Разломая съ Бабаемъ скудныя арестантскія деньжишки очутятся.

— Можетъ, братцы, пищія, для праздника христова получше сготовится, замѣчаютъ нѣкоторые.

— Авось либо приварокъ не сухожильный положатъ да по порціямъ на столы подѣлятъ.

— Эвопча чево захотѣлъ.

— Что жь, иной разъ случается. Опять же и по закону...

— Толкуй-ты по закону!... Нешто на арестанта есть закон? На тò, братъ, мы и люди беззаконные прозываемся.

— По всей Рассеѣ законъ есть.

— Это точно! Законъ полажòнъ, да въ ступѣ истолчòнъ — вотъ онъ-те и законъ!

— Никакъ безъ закону незозможно; почему ежели что расказнить меня, такъ статья и пункта должна быть на это.

— Ну, то не законъ, а пятнадцатый томъ прозывается.

— А не слыхалъ-ли кто, милые, подаяньемъ нонче будутъ одѣлять?

— Будутъ. Саекъ, сказывали, иперальша какая-то прислала.

— Ой-ли!?... Кто хочетъ, братцы, сайку на табакъ вымѣнять?— Съ почтеніемъ отдамъ.

— А много ли табаку-то?

— Да что... немного: щепоть, на три затяжки.

— Ходитъ! Давай, по рукамъ! Для праздника можно.

Среди такихъ разговоровъ разстворяется дверь и входитъ приставникъ.

— Эй, вы! живѣе!... въ церковь! въ церковь маршъ! всѣ, сколько ни есть, отправляйся! возглашаетъ онъ съ торопливой важностью.

Иные поднялись охотно, иные на мѣстахъ остались.

— Ты чего статуемъ-то усѣлся? Не слышишь, развѣ? обращается то къ одному, то къ другому приставникъ.

— Да я, бачка, татаринъ... мугамеда я.

— Ладно, провалъ васъ дери! Стану я тутъ еще разбирать, кто жидъ, а кто нѣмецъ. Сказано: маршъ — и ступай, значитъ.

— Да нешто и жидамъ съ татарами тоже? замѣчаетъ кто-то изъ православныхъ.

— Сказано: всѣмъ, сколько ни есть! Начальство такъ приказало—чтобы народу повиднѣе было — нечего баловаться-то... Ну, вали живѣе! гуртомъ, гуртомъ!

— Ну-у!... Пошло, значитъ, гоненіе къ спасенію! махнули рукою въ толпѣ—и камера повалила въ тюремную церковь [1]).

---

[1]) Мотивъ этотъ заимствованъ нами изъ лично слышанныхъ розсказовъ арестантовъ, и основанъ на замѣчательной арестантской рукописи: «*Домъ позора*» о которой мы уже сообщили читателю. Въ этой рукописи есть, между прочимъ, глава подъ названіемъ «*Гоненіе къ спасенію*». Начинается она слѣдующими стихами.

Въ церковь гонитъ насъ приставникъ
И молиться онъ велитъ
Богу. Этакой забавникъ!
Хоть еврея притащитъ.
За рѣшотку и на хоры

Арестантскій хоръ въ своихъ сѣрыхъ пиджакахъ который съ часъ уже звонко спѣвался въ столовой, наполнилъ клиросъ; начетчикъ Китаренко помѣстился рядомъ съ дьячкомъ у налоя. Вонъ показались въ форточкахъ за сѣтчатыми рѣшотками угрюмыя лица секретныхъ арестантовъ, а на хоры съ обѣихъ сторонъ тюремная толпа валитъ съ какимъ-то сдержаннымъ гуломъ, вѣчно присущимъ всякой толпѣ людскаго стада. Тамъ и сямъ озабоченно шныряютъ при-

---

Насъ, несчастныхъ, притащатъ: —
Ну, молитеся вы, воры!
Такъ солдаты говорятъ.
Всѣ стоятъ по отдѣленьямъ,
Тутъ и женскій есть отдѣлъ.
Всякъ разрядъ по преступленьямъ —
И за множество тутъ дѣлъ.

За версификацію—ужь не взыщите! Тутъ важно дѣло, а не стихи. Но особенно интересно примѣчаніе, которое авторъ-арестантъ дѣлаетъ подъ этими стихами. На сколько оно справедливо, пусть отвѣчаетъ рукопись.—И относится ли оно къ настоящему, или только къ прошедшему—не можемъ рѣшить. Вотъ что́ говоритъ онъ:

«Еще есть обязанность у приставника. Эта обязанность состоитъ въ томъ, чтобы выгонять въ церковь болѣе арестантовъ — и какъ можно болѣе. И онъ старается изо всѣхъ силъ, онъ готовъ выгнать и евреевъ, и татаръ, и поляковъ, и нѣмцевъ, и всѣхъ—чтобы только угодить волѣ тюремнаго начальства. И тюремное начальство старается всѣми силами выгонять арестованныхъ въ церковь. И посмотрите: ихъ гонятъ, какъ овецъ — гонятъ молиться Богу, гдѣ нужно быть съ чистымъ сердцемъ и спокойною мыслію, и оставить всѣ земные помыслы. Тутъ нужна добрая воля, а не палка. Тутъ вмѣсто молитвы слышится проклятье, богохульство, матерныя слова.—Проклинаютъ все тюремное начальство, проклинаютъ неволю; и невольно услышишь хулу на нашу святую церковь. Хорошо; приходятъ они въ церковь, и шопотомъ слышатся тѣ же гадкія слова. Кто же за все это будетъ отвѣчать передъ Богомъ? Сами ли арестованные, или благочестивое тюремное начальство? — Это разсудитъ одинъ Богъ. А вѣдь между ними есть такіе, которые сами добровольно ходятъ съ чистымъ сердцемъ, молиться Богу. Ну, такъ посудите, послѣ того пойдетъ ли молитва на умъ?»

Тонъ этого арестантскаго разсужденія слишкомъ очевидно непосредственъ и звучитъ неподдѣльной искренностью и благочестивымъ негодованіемъ для того, чтобы заподозрить въ немъ какую-либо умышленную ложь, напраслину, клевету. Тѣмъ болѣе, что самое сочиненіе «Домъ позора» никогда не предполагалось ни для печати, ни для благоусмотрѣнія тѣхъ, «кому вѣдать надлежитъ», а просто писалось потому, что арестанту душу свою хотѣлося какъ-нибудь излить, и предполагалось исключительно для негласнаго обращенія въ средѣ своихъ же тюремныхъ заключенниковъ.

ставники, водворяя порядокъ и стараясь установить людей рядами.

— Ну, молитесь вы, воры, молитесь! начальственно убѣждаетъ одинъ изъ нихъ.

— Да нешто мы воры?... Воры-то на волѣ бываютъ, а мы здѣсь въ тюрьмѣ; значитъ, мы—арестанты, обидчиво бурчатъ нѣкоторые въ отвѣтъ на приставничье убѣжденіе.

Вотъ показалась и женская толпа, въ своихъ полосатыхъ тиковыхъ платьяхъ. Тутъ замѣтнѣе еще болѣе, чѣмъ въ будничные дни по камерамъ, нѣкоторое присутствіе убогаго, тюремнаго кокетства: иная платочекъ надѣла, иная грошовыя сережки—и всѣ такъ аккуратно причесаны, на губахъ играетъ воскресная улыбка, и глаза бѣгло отыскиваютъ въ мужской толпѣ кого-то — вотъ отыскали и съ усмѣшкой поклонъ посылаютъ. Пожилыя держатся болѣе серьёзно, солидно, и на лицахъ ихъ ясно изображается женское благочестіе, а иныя стоятъ съ какой-то угрюмой апатичностью, ни на что не обращая вниманія. Въ этой толпѣ нерѣдкость впрочемъ и горячую, горькую слезу подмѣтить порою, и усердную молитву подглядѣть.

Мужчинъ размѣщаютъ по отдѣленіямъ, которыя и здѣсь сохраняютъ офиціальную классификацію по родамъ преступленій и проступковъ; но во время первоначальной легкой суматохи, по приходѣ въ церковь, такъ называемые «любезники» ловко стараются изъ своихъ отдѣленій затесаться незамѣтно либо на «первое частное», либо на «подсудимое», чтобы стать напротивъ женщинъ, съ которыми тотчасъ же заводятся телеграфическія сношенія глазами и жестами. «Любезники» обыкновенно стараются на это время отличиться какъ-нибудь своею наружностью и являются по большей части «щеголями», то-есть—пестрый платокъ или вязанный шарфикъ на шею повяжетъ да волосы поаккуратнѣе причешетъ — другое щегольство здѣсь уже невозможно—а многія изъ нихъ, особенно же «сидѣлыя», достигаютъ необыкновеннаго искуства и тонкаго понимапія въ этомъ условномъ, нѣмомъ разговорѣ глазами, улыбкой и незамѣтными жестами. Началась обѣдня. Внизу было совершенно пусто: инде у стѣнъ ютился кое-кто изъ семей тюремной команды, да начальство на видномъ мѣстѣ помѣщалось. Ждали къ обѣднѣ

графиню Долгово-Петровскую, на которую двое заключенныхъ возлагали много упованія.

Эти заключенные были: Бероева и Ѳомушка-блаженный.

Наконецъ, въ началѣ херувимской внизу закопошилось нѣкое торопливое и тревожно-ожидательное движеніе въ офиціальной средѣ. Церковный солдатъ почему-то счелъ нужнымъ поправить коврикъ и передвинуть немного кресло, предназначавшееся для ея сіятельства, а начальство все косило слегка назадъ, на церковныя двери, которыя наконецъ торжественно растворились — и графиня Долгово-Петровская, отдавъ начальству, пошедшему ей навстрѣчу, полный достоинства поклонъ, направилась къ своему креслу и благочестиво положила три земныхъ поклона.

XLIX

Ѳомушка пускаетъ въ ходъ свой «манеръ»

— Братцы, не выдайте!... дайте доброе дѣло самому себѣ устроить! — всѣ деньги, что есть при себѣ, на водку вамъ пожертвую: не выдавайте только! не смѣйтесь! шопотомъ обратился Ѳомушка-блаженный къ окружающимъ товарищамъ.

— Нашто тебѣ? освѣдомились у него нѣкоторые.

— Въ томъ все мое и спасеніе; на волю хотца! объяснилъ имъ Ѳомушка:—коли сіятельство спрашивать станетъ, скажите, по товариству, что точно, молъ, христа-ради юродивый.

— А на счетъ могарыча не надуешь?

— Избейте до смерти, коли покривлю! Избейте—и пальцемъ не шелохну!... Человѣкъ я вѣрный.

— Ну, ладно, не выдадимъ, скажемъ, согласились нѣкоторые.

— А ты, Касьянушка-матушка, ласкательно обратился онъ къ безногому ежу:—размажь ей по писанію, при эфтомъ случаѣ, какъ топсь насъ съ тобой за правду божію судіи неправедно покарали...

— Смекаю! шепнулъ ему старчикъ, догадливо кивнувъ головою.

Ѳомушка самодовольно улыбнулся, хитростно подмигнулъ окру-

жающимъ товарищамъ: глядите, молъ, начинаю!—и выбравъ удобный моментъ, когда передъ выходомъ съ дарами замолкла, среди всеобщей тишины, херувимская—грузно бухнулся на колѣни съ глубоко-скорбнымъ, тихимъ стономъ и давай отбивать частые земные поклоны, сопровождая ихъ бормотаньемъ вполголоса различныхъ молитвъ, и такими же вздохами.

Арестанты едва удерживались отъ смѣховныхъ фырканій, взирая на эти «занятныя» эволюціи.

Графиня обратила на него вниманіе и съ удивленіемъ повернула вверхъ на хоры свою голову.

Ѳомушка истерически взвизгнулъ и бія себя въ перси кулачищемъ, съ тихимъ рыданіемъ простерся ницъ, какъ будто въ религіозномъ экстазѣ.

Графиня продолжала смотрѣть. Начальство, замѣтивъ это, тотчасъ же засуетилось и отдало-было приказъ — немедленно убрать Ѳомушку изъ церкви; но благочестивая барыня милостиво остановила это усердное рвеніе и просила не тревожить столь теплой и глубокой молитвы.

Желаніе ея, конечно, было исполнено.

Ѳомушка межъ тѣмъ до самаго конца обѣдни, время отъ времени, продолжалъ выкидывать подобныя колѣнцы — и графиня каждый разъ съ удивленіемъ обращала на него свои благочестивые взоры.

Бероева же все время стояла прислонясь къ стѣнѣ, такъ что снизу ея не было видно. Она вся погрузилась въ какую-то унылую думу и казалось, будто ожидала чего-то.

— Ah, comme il est religieux ce pauvre prisonnier, comme il pleure, comme il souffre! мыслитъ графиня: — надо будетъ разспросить его, за что онъ страдаетъ... надо облегчить участь...

И по окончаніи обѣдни, она обратилась къ начальству:

— За что у васъ содержится этотъ несчастный, который такъ тепло молился всю службу?

— По подозрѣнію въ кражѣ-съ, ваше сіятельство.

— Можетъ ли это быть!... Я рѣшительно не хочу вѣрить.

— Такъ аттестованъ при отсылкѣ къ намъ. Состоитъ подъ слѣд-

ствіемъ, вмѣстѣ съ сообщникомъ своимъ—можетъ быть, ваше сіятельство, изволили примѣтить — горбунъ безногій.

— А, какъ же, какъ же — примѣтила!... Такъ это, говорите вы, сообщникъ его... Но можетъ ли это быть!—Такая вѣра, такое умиленіе... Я желала бы видѣть обоихъ.

— Слушаемъ-съ, ваше сіятельство.

И къ графинѣ были приведены оба арестанта.

Ѳомушка, еще въ ту самую минуту, какъ только сдѣлали ему позывъ къ сердобольной филантропкѣ, умудрился состроить юродственную рожу, и предсталъ передъ лицо ея сіятельства съ выраженіемъ безконечно-глупой улыбки. Касьянчикъ, напротивъ того, выдерживалъ мину многострадательную и всескорбящую.

— Гряди жено благословленная, гряди, голубице, на чортово пепелище! забормоталъ блаженный, улыбаясь и крестясь, и въ то же время издали крестя графиню.

Послѣдняя никакъ не ожидала такого пассажа и — не то испугалась немного, не то смутилась.

— Какъ тебя зовутъ? справилась она кроткимъ вопросомъ.

— Добродѣтель твоя многая, передъ Господемъ великая — царствіе славы тебѣ уготовано, продолжалъ крестить себя и ее блаженный, ни мало не обративъ вниманія на вопросъ графини.

— Что̀ ты такое говоришь, мой милый, не понимаю я, замѣтила она, стараясь вслушаться въ Ѳомушкино бормотанье.

— Да воскреснетъ Богъ и расточатся врази его! юродствовалъ межъ тѣмъ блаженный, со всевозможными ужимками: — раба Анастасія — новый Юрусалимъ, узорѣшительница милосердая!... Ѳомушка-дуракъ за тебя умолитель, царствія отца тебѣ упроситель... Живи сто годовъ, матка! Сто годовъ жирѣй; не хирѣй! Господь съ тобою! Господь съ тобою, аллилуя ты наша, сіятельство ваше!... сіятельство!...

— Mais il est fou, ce malheureux! домекнулась графиня и обратилась съ вопросомъ къ Касьянчику:

— Что̀ онъ, юродивый?

— Юродивенькій, матушка, христа-ради юродивенькій, жалостно запищалъ убогій старчикъ!

Графиня поглядѣла на Ѳомушку удивленнымъ взглядомъ. Она

была черезчуръ уже благочестива, такъ-что злые языки титуловали ее даже «сіятельной хапжою», и очень любила посѣщать Москву съ ея сорока-сорокàми. Каждое такое посѣщеніе не обходилось безъ усердныхъ визитовъ къ знаменитому Ивану Яковлевичу Корейшѣ. Московскій блаженный всегда отличалъ отъ прочихъ свою сіятельную гостью и, какъ говорятъ, постоянно давалъ ей знаменія своего благоволенія къ ея особѣ: откусывая кусокъ просфоры, онъ влагалъ его въ уста графини. Разсказываютъ также, будто, для вящаго изъявленія своего благоволенія къ графинѣ, онъ еще и не такіе курьѣзы продѣлывалъ надъ нею. Чествуя Ивана Яковлевича, она, конечно, чествовала и другихъ юродивыхъ.

— Какъ тебя зовутъ, мой милый? повторила она прежній вопросъ.

— Дурачокъ, дурачокъ, матка! дурачкомъ зовутъ, Ѳомушкой. А у тебя утробу-то благостью вспучило, благостью, матка; а я за тебя умолитель, душа милосердливая: Ѳомку дурака любитъ Господь, Ѳомушка — божій дуракъ, только въ обидѣ отъ силы мірстей...

— По господней заповѣди, ваше сіятельство, началъ пояснять многострадательный Касьянчикъ: — яко же апостоли отъ Эллины нечестивіи гоненія претерпѣвали, такожде и онъ, божій человѣкъ, за напраслину нынѣ крестъ несетъ на раменахъ... А только онъ неповиненъ: онъ — христа-ради юродивый, мухи — ниже клопа ползучаго николи не обидитъ, а не токмо что отъ человѣка татебно уворовать вещію! Ему, коли и подаянье-то сотворятъ во имя спасителево, такъ онъ и то, дурачокъ, возметъ да тутъ же на нищую братію раздѣлитъ, а самъ — ни-ни, тошь ни полушечки себѣ не оставитъ...

Ѳомушка, во время этого монолога, только улыбался наибезсмысленнѣйшимъ образомъ, съ безпрестанными поклонами, творилъ крестныя знаменія, осѣняя таковыми же и графиню.

— За что́ же васъ взяли? за что́ вы терпите? спросила Настасья Ильинишна.

— По злобѣ людстей, ваше сіятельство! Золъ человѣкъ оговоръ возвелъ, пояснилъ ей Касьянчикъ и разсказалъ исторію о томъ, какъ прикащикъ купца Толстопятова, имѣя на Ѳомушку злобу за

то, что блаженненькій уличеніе въ грѣсѣхъ ему многожды творилъ, мимоходомъ — взялъ да и подсунулъ-де намъ толстопятовскій бумаженникъ, а самъ тутотко же и завопилъ: «воры-де вы, хозяина мово обокрали».

— Тутъ насъ и взяли, продолжалъ онъ разсказывать: — воззрился я только къ небеси, на церковку божію, воздыхнулъ и прегорестно залился слезами: «Господи! испытаніе на вѣру нашу насылаеши — буде по восхотѣнію твоему»! и сдали насъ въ темницу, въ темницу, матушка, вашіе сіятельство!... Охо-хошеньки!... А какіе мы воры?—Мы въ странныемъ-убогомъ житіи подвизаемся, имя христово славословимъ; а насъ злоба-то людская вона въ кои наряды нарядила...

— Помилуй, матушка! заступись! слезно взмолился онъ послѣ короткой паузы, пригибая свою убогую голову къ обрубкамъ ногъ:— ты наша защита, аньялъ небесный ты нашъ!... Одна только ты и можешь!... Божій человѣкъ по вѣкъ свой молитвенникъ за тебя будетъ, продолжалъ онъ, указывая на улыбающагося Ѳомушку: — его молитва юродственная, что тимьянъ ко престолу взыдетъ!... Защити, огради насъ, государыня ты наша милосливая!

Это скорбно-слёзноя воззваніе вконецъ растрогало графиню: на ея рѣсницахъ показались даже слезы.

Вынувъ изъ кармана изящную записную книжку, она отмѣтила въ ней имена двухъ арестантовъ съ нумеромъ ихъ дѣла, и приступила къ утѣшеніямъ:

— Будьте покойны, мои милые, будьте покойны!... Я употреблю всѣ усилія — сама поѣду, стану просить...

— Аньялъ ты тѣлохранитель нашъ! съ чувствомъ нагнулъ Касьянчикъ свою голову, изображая земной поклонъ, а Ѳомушка-блаженный, слегка подпрыгивая, вполголоса завылъ: *величитъ душа моя!*

— Ваше сіятельство, это вѣдь выжига-съ... одно притворство-съ, рискнулъ замѣтить ей кто-то изъ тюремнаго начальства.

Графиня съ неудовольствіемъ воззрила на возразившаго:

— Пожалуйста, оставьте при себѣ ваши замѣчанія! произнесла она явно недовольнымъ тономъ:—я умѣю понимать людей и очень хорошо различаю правду и искренность.

Начальство опѣшило и уже не дерзало больше соваться съ замѣчаніями.

— Ступайте теперь, мои милые, ступайте! съ кроткимъ благодушіемъ обратилась она, межъ тѣмъ, къ арестантамъ: — я за васъ буду ходатайствовать; надѣйтесь и молитесь... Прощайте!...

— Оба заключенника удалились. Касьянчикъ знаменовался крестнымъ знаменіемъ и возсылалъ горѐ сокрушенные вздохи, а Ѳомушка глупо улыбался и еще глупѣе подпрыгивалъ.

— Теперь я хочу *къ моимъ* пройдти; проводите меня, изъявила желаніе графиня, и направилась въ женское отдѣленіе.

L

Графиня очень хорошо умѣетъ различать правду и искренность

— Надо молиться и работать, назидала графиня почтительно стоявшихъ вокругъ ея арестантокъ, обращаясь ко всѣмъ вообще и ни къ кому въ особенности:—Богъ создалъ насъ всѣхъ за тѣмъ, чтобы мы молились и трудились...

— Надо быть, ты и трудишься-таки, шепнула на счетъ графини одна арестантка своей сосѣдкѣ.

— Что ты говоришь, моя милая? спросила графиня.

— Я, ваше сіятельство, къ тому это, что истинну правду господню разсуждать вы изволите, смиренно отвѣтила ей хитрая арестантка.

— Хорошо, моя милая; похвально, что ты чувствуешь, одобрила графиня:—вамъ надо болѣе, чѣмъ кому либо, молиться, поститься и трудиться, продолжала она: — потому что постомъ, трудомъ и молитвой усердною вы хотя частію можете искупить передъ Господомъ ваши заблужденія, грѣхи и преступленія ваши. Старайтесь исправиться и принимайте со смиреніемъ свою кару. Не ропщите на начальство: строптивымъ Богъ противится — вы это знаете?...

— Знаемъ, ваше сіятельство.

— Ну, то-то. Въ часы досуга занимайтесь не разговорами соблазнительными, а чтеніемъ душеспасительныхъ книжекъ и христіанскимъ размышленіемъ — слышите?

— Слышимъ, ваше сіятельство.

— Ну, то-то. Хорошо вамъ тутъ жить? Всѣмъ ли вы довольны?

— Хорошо жить, ваше сіятельство, и всѣмъ даже очинно много довольны.

— Это похвально; неудовольствіе даже и грѣхъ было бы заявлять въ вашемъ положеніи, да и не на что: мы все, что только можемъ, съ охотой дѣлаемъ для васъ и вашей пользы. Ну, прощайте, мои милыя! Очень рада видѣть васъ. Молитесь же, трудитесь и старайтесь раскаяться и исправиться. Прощайте!

Въ эту минуту къ графинѣ, которая осталась довольна собою и своимъ поученіемъ, робко и смущенно подступила Бероева.

— Что тебѣ надо, моя милая, о чемъ ты? матерински обратилась къ ней графиня.

— Выслушайте и защитите меня! тихо вымолвила арестантка, глотая подступившія горькія слезы.

— Я готова, моя милая, изложи мнѣ свое дѣло. Ты кто такая? какъ зовутъ тебя?

— Юлія Бероева.

— Бероева... протянула, прищурясь на нее, филантропка: — что-то знакомое имя... помнится, какъ будто слыхала я... Ну, такъ что же, моя милая, въ чемъ твое дѣло?

Юлія Николаевна кратко разсказала ей свое дѣло и внезапный арестъ ея мужа.

— Ну, такъ что же собственно нужно тебѣ?

— Нужно мнѣ... вашей защиты!... Мой мужъ невиненъ — клянусь вамъ — невиненъ!... Гади моихъ дѣтей несчастныхъ, умоляю васъ, войдите въ это дѣло!... Облегчите ему хоть немного его участь! Вы это можете — вашу просьбу примутъ во вниманіе. Господь вамъ заплатитъ за насъ!

Эти слова какимъ-то тихимъ воплемъ вырывались изъ наболѣлой и надорванной души. Графиня слушала и въ затруднительной нерѣшительности пережевывала губами. Она считала княгиню Татьяну Львовну Шадурскую въ числѣ своихъ добрыхъ знакомыхъ и уже раньше кое-что слышала отъ нея о дѣлѣ молодого князя.

— Моя милая, начала она тѣмъ самымъ тономъ, какимъ за ми-

нуту читала назидательныя поученія о трудѣ и молитвѣ: — моя милая, что касается твоего мужа, то я ничего не могу тутъ сдѣлать. Я вообще этихъ... идей не люблю. Я знаю, къ чему ведутъ всѣ эти идеи; поэтому никакъ не стану просить за него.

— Но онъ невиненъ! Они сами это знаютъ! Его напрасно взяли! стремительнымъ порывомъ прервала ее Беросва.

— Хм... Какія, мой другъ, несообразности говоришь ты! съ укоромъ покачала графиня.—Если они знаютъ, что онъ дѣйствительно невиненъ, такъ зачѣмъ же стали бы его держать-то тамъ? Чтó ты это сказала?! Опомнись! О комъ ты это говоришь!... Ай, ай, ой, ой: нехорошо, нехорошо, моя милая!... Какъ это ты не подумавши рѣшаешься говорить такія вещи! *Напрасно*! вѣрно, ужь не «напрасно»; да и притомъ въ твоемъ собственномъ дѣлѣ ты не совсѣмъ-то правду сказала мнѣ.

— Какъ несовсѣмъ-то правду!? вспыхнула Бероева.

— Такъ. Я вѣдь знаю немножко твое дѣло — слыхала про него. Нехорошее, очень-очень нехорошее дѣло! недовольнымъ тономъ продолжала филантропка: — ты употребляешь даже клевету — это ужь совсѣмъ не по христіански... Я знаю лично молодого князя Шадурскаго: это благородный молодой человѣкъ. Я знаю его: онъ неспособенъ на такой низкій поступокъ; онъ тутъ былъ только несчастной и невинной жертвой.

Графиня сдѣлала два-три шага и снова обернулась къ Бероевой.

— Впрочемъ, если ты считаешь себя правою, и если ты права въ самомъ дѣлѣ — то судъ вѣдь нашъ справедливъ и безпристрастенъ: онъ, конечно, оправдаетъ тебя, и тогда я первая, какъ христіанка, порадуюсь за тебя; а теперь, моя милая, совѣтую тебѣ трудиться и раскаяться. Лучше молись-ко, чтобъ Богъ простилъ тебя и направилъ на путь истинный. А по дѣлу твоему трудно что-нибудь сдѣлать, трудно, моя милая.

— Да, потому что это князь Шадурскій, потому что это баринъ! съ горечью и желчью вырвалось горячее слово изъ сердца арестантки: — а будь плебей на его мѣстѣ, такъ ваше сіятельство, быть можетъ, горячѣе приняли бы мое дѣло къ сердцу! Благодарю васъ— мнѣ больше не нужно вашей помощи.

Графиня остановилась, какъ кипяткомъ ошпаренная такимъ не-

справедливымъ подозрѣніемъ, и измѣрила Бероеву строгимъ взглядомъ.

— Ты дерзка и непочтительна! Ты забываешься! сухо и тихо отчеканила она каждое слово и, повернувшись, съ достоинствомъ вышла изъ камеры.

— Въ темную! строго шепнуло приставницѣ тюремное начальство, почтительно слѣдуя за графиней.

Дрожащую отъ гнѣва арестантку отвели въ узкій, тѣсный и совсѣмъ темный карцеръ, который въ женскомъ отдѣленіи тюрьмы служитъ исправительнымъ наказаніемъ. Сидя на голомъ, холодномъ полу, Бероева переживала цѣлую бурю нравственныхъ ощущеній. Тутъ было и отчаяніе на судьбу, и злоба съ укоризнами и презрѣніемъ къ самой себѣ за то малодушіе, которое дозволило ей увлечься нелѣпою надеждой. Она чувствовала себя кроваво оскорбленной и сознавала, что сама же вызвала оскорбленіе. «Подѣломъ, подѣломъ! такъ тебѣ и нужно»! злобно шептала она въ раздраженіи и нервически ломая себѣ руки: «не унижайся, не проси! умѣй терпѣть свое горе, умѣй презирать ихъ! Развѣ ты еще недостаточно узнала ихъ! Развѣ ты не знаешь, на что они всѣ способны? О, какъ я глубоко ихъ всѣхъ ненавижу! Какой стыдъ, какое униженіе! Зачѣмъ я это сдѣлала, зачѣмъ я обратилась къ ней»!?... И она въ какомъ-то истерически-изступленномъ состояніи, безъ единой капли слезъ, но съ однимъ только нервно-судорожнымъ перерывчатымъ смѣхомъ, злобно и укоризненно издѣвалась надъ собою, продолжая ломать свои руки, но такъ-что только пальцы хрустѣли, и злобно суровыми какъ буря глазами — зловѣще смотрѣла въ темноту своего карцера.

Къ вечеру ее выпустили оттуда.

LI

На поруки

Вскорѣ послѣ посѣщенія филантропки, судьба нѣкоторыхъ заключенныхъ измѣнилась, и прежде всего, конечно, измѣнилась она для Ѳомушки съ Касьянчикомъ. Графиня Долгово-Петровская рѣшилась ходатайствовать за «божьихъ людей». Дѣло о бумажникѣ купца

Толстопятова, за отводомъ единственнаго свидѣтеля—прикащика—должно было и безъ того предаться волѣ божіей, съ оставленіемъ «въ сильномъ подозрѣніи» обвиняемыхъ. Поэтому, когда подоспѣли ходатайства графини, то въ уваженіе этой почтенной особы, и порѣшили, не мѣшкая, чтобы дѣло двухъ нищихъ, за недостаткомъ законнаго числа свидѣтелей, уликъ и собственнаго ихъ добровольнаго сознанія—прекратить, освободя обвиняемыхъ отъ дальнѣйшаго суда и слѣдствія и предоставя ихъ на попеченіе ходатайницы. Ходатайница тотчасъ же помѣстила обоихъ въ богадельню—«пускай, молъ, живутъ себѣ на волѣ, съ миромъ и любовью, да за меня, грѣшную, Бога молятъ».

— Вотъ, братъ, тебѣ и манеръ мой! сказалъ блаженный на прощанье Грѣчкѣ: — расчухалъ теперь, въ чомъ она штука-то? Стало быть, и поучайся, человѣче, ка̀ко люди мыслете сіе орудовать слѣдуетъ!... Нынѣ, значитъ, отпущаеши, владыко, раба твоего съ миромъ.

— Такъ-съ, это точно «отпущаеши», перебилъ его Грѣчка, снѣдаемый тайной завистью: — да только кабы на волю, а то подъ надзоръ въ богадельню!... Выходитъ, тѣхъ же щей да пожиже влей.

— Эвона что́!... Хватилъ, братъ! мимо Сидора, да въ стѣну,- съ ироническимъ подсмѣиваньемъ возразилъ блаженный: — въ богадельни-то живучи, никакой воли не нужно: ходи-себѣ со двора куда хошь и къ кому хошь, и запрету тебѣ на это не полагается. А мы еще, авось, промежъ хрестьянами сердобольными какую ни на есть роденьку названую подыщемъ; въ братья или въ дядья возведемъ. Ну, и значитъ, отпустятъ насъ совсѣмъ, какъ водится, на сродственное попеченіе; такимъ-то манеромъ, и богадельнѣ-матушкѣ скажемъ «адьё»! и заживемъ попрежнему, по раздольному. Понялъ?

— Н-да... теперича понялъ...

— Вотъ-те и «тѣхъ щей да пожиже влей»!... подхватилъ торжествующій Ѳомушка:—тамъ-то хоть и жидѐль, да все жь не арестантскимъ сѣрякамъ чета; а ты, милый человѣкъ, пока что́, и сѣряковъ похлебай; а на волѣ, дастъ-Богъ, встрѣнемся—такъ ужь соляночкой угощу—московскою!

— А хочешь, опять засажу съ тюряху? Какъ пить дамъ—засажу! въ сей же секундъ въ секретную упрячутъ? съ задорливо-вызывающей угрозой прищурился на него Грѣчка, разудало, руки въ боки, отступивъ на два шага отъ блаженнаго.

— Чего жь ты мнѣ это пить-то дашь? Ну, давай! Чего ты мнѣ дать-то можешь? харахорясь и ершась, передразнилъ тотъ его голосъ и манеру.

— Чего? мѣрно приблизился Грѣчка къ самому уху Ѳомушки, и таинственно понизилъ голосъ:—а вотъ чего! Не вспомнишь ли ты, пріятельскій мой другъ, какъ мы съ тобою въ Сухаревкѣ на Морденку умыселъ держали, да какъ ты голову ему на рукомойникъ совѣтывалъ! ась?... Вѣдь щепокъ-то у меня запапрасно тутъ томится, добавилъ онъ на счетъ Вересова:—а по настоящему-то, по божескому, это бы не его, а твое мѣсто должно быть!

Ѳомушка поблѣднѣлъ, и заморгалъ лупоглазыми бѣльмами.

— Тс... Нишни, нишни! замахалъ онъ на него своей лапищей, и тотчасъ же оправился.

— Э! Зубы заговариваешь! мотнулъ онъ головой, самоувѣренно улыбаясь:—николи ты этого не сдѣлаешь, потому — подлость, и уговоръ опять же былъ на то. Чтó, неправильно развѣ?

На губахъ Грѣчки въ свою очередь появилась улыбка самодовольная.

— То-то! знаешь, пёсъ, на какую штуку взять меня! сказалъ онъ:—въ самую центру попалъ... Значитъ, теперича, другъ, прощай! Ну, а... хоша оно и противно помалости, одначежь, поцалуемся на разставаньи, для тово, ежели встрѣнемся, чтобы опять благопріятелями сойдтися.

И они простились до новаго свиданія—гдѣ Богъ приведетъ, или гдѣ потёмная ночка укажетъ.

Слѣдователь раздумался надъ послѣднимъ показаніемъ Грѣчки, гдѣ онъ дѣлая чистосердечное сознаніе, выпутывалъ изъ своего дѣла Ивана Вересова. Оба подсудимые сидѣли хотя и на одномъ и томъ же «татебномъ» отдѣленіи, но въ разныхъ камерахъ; значитъ, трудно было предположить о какой-либо стачкѣ между ними; затѣмъ, послѣднее показаніе Грѣчки во всѣхъ подробностяхъ совпадало съ пер

вымъ показаніемъ Вересова, подтверждая его вполнѣ и безусловно; наконецъ, нравственное убѣжденіе слѣдователя заставляло его видѣть въ Грѣчкѣ, съ перваго до послѣдняго взгляда, только опытнаго «травленаго волка», у котораго въ послѣднемъ лишь признаніи зазвучала человѣчески искренняя струнка, а въ Вересовѣ, напротивъ того, съ самаго начала и до конца, рѣшительно все изобличало хорошаго, честнаго и неповиннаго человѣка, запутаннаго въ дѣло случайно, посредствомъ стеченія несчастно-сгруппировавшихся для него фактовъ и обстоятельствъ. Это-то нравственное убѣжденіе и заставило слѣдователя, взвѣсивъ безпристрастно всѣ эти данныя, выпустить Вересова на поруки. Онъ вызвалъ къ себѣ Морденку.

Старый ростовщикъ явился по первой же повѣсткѣ: онъ какъ-то еще больше осунулся и осурбвѣлъ за все это время, и вошелъ къ слѣдователю тихой, осторожной походкой, съ угрюмой недовѣрчивостью озираясь по сторонамъ, словно бы тутъ сидѣли все его личные и притомъ жестокіе враги.

— Вотъ что, почтеннѣйшій, началъ ему слѣдователь: — вы изъявили подозрѣніе въ зломъ умыслѣ противъ себя на вашего пріемнаго сына.

— Изъявлялъ и изъявляю, утвердилъ Морденко своимъ старчески-глухимъ, безжизненнымъ голосомъ.

— Но это, видите ли, оказывается совсѣмъ несправедливо: вашъ пріемный сынъ тутъ вовсе не участвовалъ.

Морденко медленно, однако удивленно, поднялъ свои брови, и уставился на слѣдователя совиными, круглыми очками.

— А почему вы это такъ изволите полагать? медленно же и недовѣрчиво отнесся онъ къ приставу.

— А вотъ, дайте прочту вамъ эти бумаги, такъ сами увидите, отвѣтилъ тотъ, подвигая къ старику первое показаніе Вересова и послѣднее Грѣчки.

— Нѣтъ, ужъ позвольте... я лучше самъ... я самъ прочту...

— Какъ вамъ угодно. По мнѣ, пожалуй, и сами.

Старикъ сухой и дрожащей отъ волненія рукою взялъ бумагу, протеръ очки, и сморщивъ сѣдыя брови, съ трудомъ сталъ разбирать написанное.

— Что жь это такое?... Я въ толкъ не возьму, съ недовѣрчивымъ недоумѣніемъ отнесся онъ къ слѣдователю, прочтя оба показанія.

— То, что вы напрасно подозрѣваете Вересова, сказалъ тотъ.

Старикъ сомнительно покачалъ головою.

— Нѣтъ, не напрасно, сухо и отрывисто пробурчалъ онъ въ отвѣтъ.

— Не напрасно?... Но на чемъ же вы основываете ваше убѣжденіе? Или все еще по прежнему на ясновидѣніи какомъ-то?

— На ясновидѣніи, рѣшительно подтвердилъ Морденко:—Господь вседержитель черезъ ясновидѣніе ниспослалъ мнѣ это откровеніе, среди сна полунощнаго.

«Эге, да ты, батюшка, видно, и въ самомъ дѣлѣ тово... тронувшись», подумалъ слѣдователь, оглядывая старика тѣмъ пытливо-любопытнымъ взглядомъ, какимъ обыкновенно смотримъ мы впервой на сумасшедшаго человѣка. Морденко тоже глядѣлъ на него, съ абсолютнымъ спокойствіемъ и увѣренностью, своими неподвижными глазами.

— Ввести сюда арестанта Грѣчку! распорядился слѣдователь, который для этого случая нарочно выписалъ его изъ тюремнаго замка.

Вошла знакомая фигура и какъ-то смущенно вздрогнула, увидя совсѣмъ внезапно старика Морденку.

Иногда случается, что самые закоренѣлые убійцы не могутъ равнодушно выносить видъ трупа убитаго ими, или внезапной, неожиданной встрѣчи съ человѣкомъ, на жизнь котораго было сдѣлано ими неудачное покушеніе.

Грѣчка на минуту смутился, обугрюмился и потупилъ въ землю глаза. Морденко, напротивъ, пожиралъ его взорами, въ которыхъ отсвѣчивало и любопытство, и злоба къ этому человѣку, и даже легкій страхъ при видѣ того, который чуть-было не отправилъ его къ праотцамъ.

«Боже мой, Боже мой»! угрюмо мыслилъ старикъ въ эту минуту: «убей онъ меня тогда — и вся моя мысль, вся надежда моя, всѣ тяжкія усилія и кровавые труды цѣлой жизни, все бы это прахомъ пошло, недокончепное, недовершенное!... Вотъ онъ промыслъ-

то! вотъ онъ перстъ-то Божій невидимый!... Господь помогаетъ мнѣ, Господь не покинулъ раба своего»...

— Ну, любезный, обратился приставъ къ арестанту: — разскажи-ка теперь, вотъ имъ, все дѣло поистинѣ, какъ онамедни мнѣ разсказывалъ.

Грѣчка поморщился да брови нахмурилъ, и затруднительно почесалъ въ затылкѣ.

— Нѣтъ, ужъ слобоните, ваше благородіе!

— Почему такъ?

— Не могу, съ трудомъ проговорилъ Грѣчка.

— Почему не можешь?

— Да какъ же этта... Вы — совсѣмъ другое дѣло, а тутъ... Нѣтъ, не могу, ваше благородіе!

— Ну, полно кобениться-то! некчему, право же некчему!

— Претитъ мнѣ это, словно бы жжетъ оно какъ-то... Больно ужъ заворно выходитъ, ваше благородіе, да и незачѣмъ. Не травите ужъ человѣка понапрасну, оставьте это дѣло! взволнованно сказалъ Грѣчка.

— Да вотъ вишь ты, старикъ-то у насъ не хочетъ вѣрить, что Вересовъ тутъ ни въ чемъ не причастенъ, объяснилъ ему приставъ: — все говоритъ что онъ злой умыселъ вмѣстѣ съ тобой держалъ на него. Можетъ, какъ отъ тебя самого услышитъ, такъ повѣритъ, авось. Вотъ зачѣмъ оно нужно.

Грѣчка крѣпко подумалъ съ минуту, какъ будто рѣшаясь на что-то, и все время упорно смотрѣлъ въ землю.

— Н-да-а, этта... статья иная, процѣдилъ онъ сквозь зубы, и быстро встряхнувъ головою, сказалъ — словно очнулся:

— Извольте, я готовъ, ваше благородіе!

И онъ разсказалъ Морденкѣ все дѣло, попрежнему не путая настоящихъ соучастниковъ, но за то не упуская и малѣйшихъ подробностей на счетъ того, какъ выслѣживалъ онъ старика отъ самой церкви до воротъ его дома, какъ подслушалъ въ двухъ-трехъ шагахъ разговоръ его съ сыномъ, какъ встрѣтился съ тѣмъ внизу на лѣстницѣ, за тѣмъ — весь дальнѣйшій ходъ дѣла, и всѣ побужденія да разсчеты свои, которые заставили его впутать въ уголовщину «неповинную душу».

Мордепко слушалъ, то подымая, то опуская свои брови и съ каждой минутой становясь все внимательнѣй къ этому новому для него разсказу. По всему замѣтно было, что на его душу онъ производитъ сильное и какое-то странное впечатлѣніе.

— Видишь ли ты, старый человѣкъ, что я скажу тебѣ! обратился уже непосредственно къ нему Грѣчка, одушевленный своимъ разсказомъ и впервые заглянувъ прямо въ глаза Морденки, отчего тотъ сразу смущенно потупился: взглядъу арестанта на эту минуту былъ недобрый какой-то. — Видишь ли ты, говорилъ онъ: — мыслилъ я самъ въ себѣ, что ты человѣкъ есть, что кровь да сердце взбунтуются въ тебѣ по родному дѣтищу: болитъ вѣдь оно это дѣтище не токмо что у человѣка, а почитай и у собаки кажинной: и та вѣдь, какъ ни будь голодна, а своего щенка жрать не станетъ. А ты сожралъ: подъ уголовную единоутробу свою подвелъ. А я думалъ, ты дѣло потушишь. Нехорошій ты, братъ, человѣкъ, и очепно жаль мнѣ, что неудалось тогда пристукнуть тебя на мѣстѣ.

Мордепко заёжился на своемъ стулѣ и часто заморгалъ глазами: ему сдѣлалось очепь неловко отъ жесткихъ словъ арестанта, котораго слѣдователь остановилъ въ дальнѣйшемъ монологѣ на ту же самую тэму.

— Да что, ваше благородіе, коли пѣть пѣсню, такъ пѣть до конца! махнулъ рукою Грѣчка, и, по окончаніи разсказа, былъ уведенъ изъ камеры.

Послѣ его ухода, Морденко почти неподвижно остался на своемъ стулѣ и сквозь свои совиные очки глядѣлъ куда-то въ сторону, какъ будто кромѣ его никого тутъ не было.

— Ну, что жь вы теперь на это скажете, почтеннѣйшій? какъ бы разбудилъ его приставъ.

— Ничего, отрицательно мотнулъ головой Морденко.

— Кажется, ясно вѣдь?... А впрочемъ, и я еще постараюсь побольше нѣсколько разъяснить вамъ. Присядьте-ка сюда поближе!

И приставъ привелъ ему всѣ тѣ факты и соображенія, которые могли служить въ пользу невинности Вересова. Старикъ слушалъ такъ же молча и такъ же внимательно — время отъ времени шевеля бровями своего черство-неподвижнаго лица.

— Такъ сынъ мой, стало-быть, невиненъ? раздумчиво спросилъ онъ послѣ того, какъ слѣдователь истощилъ уже всѣ доводы.

— Я полагаю — такъ.

— Хм... Жаль, произнесъ онъ, въ томъ же раздумьѣ.

— Чего жаль? изумился приставъ.

— Жаль, что онъ не тово... не вмѣстѣ... пояснился Морденко.

— Какъ жаль?!... Да вы должны быть рады!

— Я радъ, сухо подтвердилъ Морденко, попрежнему глядя куда-то въ сторону.

— Не понимаю, пожалъ тотъ плечами.

— Я радъ, точно такъ же и тѣмъ самымъ тономъ повторилъ старикъ.

— А я его выпускаю на поруки, объявилъ приставъ.

— Зачѣмъ?

— Затѣмъ, что незачѣмъ его даромъ въ тюрьмѣ держать.

— Хм... Какъ хотите, выпускайте, пожалуй.

— А вы желаете взять его на свое поручительство? спросилъ слѣдователь.

— Я? поднялъ Морденко изумленные взоры:—я не желаю.

— Да вѣдь вы сами же видите, что онъ невиненъ?

— Вижу.

— Такъ почему же не хотите поручиться? Вѣдь вы, между нами говоря, отецъ ему.

— Отецъ, безстрастно подтвердилъ Морденко: — а ручаться не желаю. Человѣкъ и за себя-то, по истинѣ, поручиться на всякъ часъ не можетъ; такъ какъ же я за другого-то стану?...

Онъ думалъ про себя: «взять на поруки—значитъ при себѣ его держать, кормить, одѣвать да еще отвѣчать за его поведеніе... Да это бы еще ничего—кормить-то, а главное, теперь онъ съ разнымъ народомъ въ тюрьмѣ сидѣлъ, вѣрно въ конецъ развратился... Если тогда былъ невиненъ, то теперь убьетъ, пожалуй... И мое дѣло, вся надежда жизни моей пропала тогда... Все же онъ — барская кровь... барская... Нѣтъ, ужь лучше Господь съ нимъ и совсѣмъ!

Пускай его какъ знаетъ, такъ и дѣлаетъ, а я — сторона!... я — сторона»!

И старикъ, въ отвѣтъ на свою тайную мысль, замахалъ руками, будто отстраняя отъ своего лица какое-то привидѣніе.

— А видѣть его хотите?... онъ здѣсь вѣдь, у меня, предложилъ ему слѣдователь.

Морденко подумалъ, поколебался немного и отрывисто отвѣтилъ:

— Не хочу.

И откланялся слѣдователю, боясь втайнѣ, чтобы не встрѣтиться какъ-нибудь съ Грѣчкой, или, что ему еще хуже казалось, съ сыномъ.

— Господинъ Морденко убѣдился, кажется, что вы невинны, но отказался взять васъ на поруки, объявилъ приставъ Ивану Вересову, когда тотъ былъ приведенъ къ нему: — если хотите выйти изъ тюрьмы, ищите себѣ поручителя.

Арестантъ вскинулъ на него радостно-благодарный взоръ и молча поклонился.

LII

Фармазонскія деньги

Но недолга была радость Вересова. Гдѣ и какъ найдти ему поручителя? да и кто захочетъ брать на свою шею такую обузу? Вересовъ очень хорошо зналъ, что масса нашего общества весьма склонна смотрѣть съ дурнымъ предубѣжденіемъ на человѣка, сидѣвшаго въ тюрьмѣ, не разбирая виновенъ ли онъ, или невиненъ: одно слово—въ тюрьмѣ былъ, и баста! — Этого уже довольно для составленія извѣстнаго приговора. Да и кромѣ того, ему рѣшительно не къ кому было обратиться. Теперь онъ начиналъ чувствовать себя одинокимъ болѣе, чѣмъ когда либо, болѣе чѣмъ въ тюрьмѣ: тамъ у него была хоть одна крѣпкая, надежная душа человѣческая, былъ честный другъ и товарищъ—Гамзя; а на волѣ что ему оставалось?

И все-жь-таки, хоть и безсознательно, а почему-то хотѣлось на волю...

Грустно сидѣлъ онъ въ арестантскомъ ящикѣ, называемомъ тюремнымъ фургономъ, который имѣетъ назначеніе возить заключенныхъ изъ тюрьмы и обратно, на слѣдствія, судъ и къ экзекуціи. Противъ него помѣщался Грѣчка, а обокъ съ ними еще два арестанта.

— Ну, мàлецъ, ты меня прости, что я маленько тово... поприперъ тебя, откровенно обратился онъ къ Вересову:—я же за то и выпуталъ, а ты не гнѣвися. Что жь дѣлать! такъ ужь случилось: линія!...

— Я не сержусь... Господь съ тобою, кротко и просто отвѣтилъ Вересовъ.

— Ну, и спасибо! На нашего брата вѣдь что сердись, что не сердись — это все едино. Сердитъ да несилѐнъ, говорится, такъ знаешь — чему братъ? А по мнѣ, хоть и силенъ, все равно наплевать!... А ты, другъ, лучше вотъ что скажи: тебя на поруки отпущаютъ?

— Да, на поруки.

— А батько-то, слышно, отказался!

Вересову не хотѣлось распространяться насчетъ отца, и поэтому въ отвѣтъ, онъ только коротко кивнулъ головою.

— Ну, значитъ, надо нанять поручителя, замѣтилъ Грѣчка.

— Какъ это нанять? спросилъ его Вересовъ.

— Ахъ ты, простота-простѐцкая!... Обнаковенно, кàкъ! подсмѣхнулся тотъ:—какъ завсегда промежь насъ творится, за деньги.

— Да гдѣ жь его взять-то? Я никого не знаю.

— А зачѣмъ тебѣ и знать? Этого вовсе не требуется. Дай полтину въ зубы приставнику, либо подчаску—онъ тебѣ всю эту штуку мигомъ и обваргàнитъ.

— Да коли поручитель-то меня не знаетъ? возразилъ Вересовъ.

— Да и нѐкчему ему знать.—Это ужь такая ихняя прàхтика; съ того только и хлѣбъ жуютъ.

— Да вѣдь много, пожалуй, заплатить придется.

— Фю! презрительно свиснулъ Грѣчка, махнувъ рукою:—за три алковыхъ кого хошь возьметъ, хоть самого Ланцòва [1]), а не тó—

[1]) Извѣстный арестантъ, «многократный» убійца, про котораго даже пѣсня тюремная сложена. Эта пѣсня уже извѣстна читателю.

самъ Ванька Каинъ изъ гроба возстань —и отъ того не откажется.

— Нѣтъ, ужь видно въ тюрьмѣ придется досиживать! вздохнулъ Вересовъ послѣ грустнаго раздумья.

— Зачѣмъ въ тюрьмѣ!? изумленно спросилъ его Грѣчка: — аль ужь она, сударушка, такъ полюбилась тебѣ?

— Гдѣ полюбиться!—Денегъ нѣтъ, признался Вересовъ.

— Эвона!... Только-то и всего!... Деньги отыщемъ! Деньги—дѣло нажитое, утѣшилъ Грѣчка:—да хоть я, пожалуй, дамъ тебѣ! Три съ полтиной—куда ни шло! Больше не проси, потому не дамъ: больно жирно будетъ, а три-то могу — значитъ, только чтобъ на выкупъ хватило.

Вересовъ поглядѣлъ на него съ немалымъ недоумѣніемъ. Его изумлялъ этотъ порывъ великодушія въ человѣкѣ, который принесъ ему столько зла и несчастій. Но къ такимъ порывамъ иногда весьма бываютъ склонны непосредственныя и—что казалось бы очень страннымъ—глубоко и грубо испорченныя натуры. Въ злодѣѣ цивилизованномъ и утонченномъ несравненно труднѣе отъискать признаки сердца и совѣсти, чѣмъ въ злодѣѣ грубомъ, простомъ и необразованномъ. Первый часто совсѣмъ теряетъ эти нравственныя свойства, тогда какъ второй болѣе бываетъ способенъ сохранять искру чего-то человѣческаго подъ грубой корой разврата и преступленія. Въ непосредственномъ человѣкѣ чаще пробуждается и непосредственное человѣческое чувство. Таковы, по крайней-мѣрѣ, выводы изъ тѣхъ фактовъ, которые мнѣ лично доводилось наблюдать въ людяхъ этого рода. И понятно, почему оно такъ бываетъ: простой, непосредственный человѣкъ дѣлается жертвой преступленія, по большей части, изъ трояких побужденій: либо это несчастная, психіатрически врожденная наклонность, либо негаданный-недуманный прежде, страстный порывъ, либо же наконецъ экономическія и соціальныя условія жизни и быта. Эти послѣднія, къ несчастію, служатъ наиболѣе частой, почти общей, характеристической причиной преступленій изъ задавленнаго, бѣднаго и необразованнаго класса. Стало-быть, если гнётъ да голодъ заставляютъ человѣка становиться преступнымъ, то по удаленіи той или другой причины, онъ бываетъ болѣе, чѣмъ цивилизованный, утонченный негодяй, способенъ къ порывистымъ возвратамъ хорошаго человѣческаго чувства. Что же касается до

негодяевъ цивилизованныхъ, то читатель въ теченіе нашего длиннаго разсказа, вѣроятно могъ уже уяснить себѣ, какія именно пружины чаще всего являются тутъ двигателемъ преступленій. Да и самый характеръ-то преступленія тутъ ужь совсѣмъ иной, противоположный нищетѣ и голоду.

Дѣло клонилось къ вечеру, и на татебномъ отдѣленіи не ждали экстренныхъ посѣщеній какого-либо начальства. Поэтому камеры не были замкнуты, и арестанты свободно могли переходить изъ одной въ другую, въ гости къ товарищамъ—посидѣть да покалякать часъ-другой, до вечерней повѣрки. Осипъ Грѣчка явился въ камеру, гдѣ содержался Вересовъ, и направился прямо къ нему.

— Вотъ тебѣ три съ полтиной! Считай, вѣрно ли? сказалъ онъ, подавая три истертыя бумажки вмѣстѣ съ крупными мѣдяками.

Вересовъ стоялъ въ замѣшательствѣ: ему не хотѣлось принять деньги, напоминавшія что-то въ родѣ подаянья.

— Да ну, бери же, что ль! Не жгутся! грубо сунулъ тотъ ему въ руку.

— Да что жь ты мнѣ это... христа-ради, что ли, тихо возразилъ онъ смущеннымъ голосомъ.

— Зачѣмъ христа-ради!—по товариществу! объяснился Грѣчка:— сочтемся какъ-нибудь. Разбогатѣешь—отдашь, а не отдашь—такъ и самъ, не спросясь, возьму, темной ночью, да еще съ процентой. Такъ ли, ребята?

— Такъ-то такъ, согласился Жиганъ: —да только что жь это у тебя шальныя деньги, что ли?

— Шальныя не шальныя, а даромъ нажитыя: въ трынку опомнясь выстукалъ.

— Вѣрно шальныя, что непутно кидаешь, продолжалъ Дрожинъ:— лучше бы плепорцію угощенья на товариство выставилъ.

— Ну, ужь путно ль, непутно ль — про то наше знатьё! оборвалъ его Грѣчка: — это я мальцу взаймы: поруку ему надо напять.

— А, ну, это статья иная!... А только все жь, надо такъ полагать, деньги это у тебя, братъ, фармазонскія.

— Какія? недовѣрчиво прищурился Грѣчка на жигана.

— Фармазонскія.

— Это что́ жь такое значитъ?

— А ты и не зналъ? поддразнилъ его Дрожинъ: — эхъ вы!... А еще матерыми ворами-убивцами туды же похваляются!

— Не слыхали, неохотно и отчасти смущенно сознался Грѣчка, искоса какъ-то глядючи въ землю. Ему было досадно и на то, что Жиганъ при всѣхъ пристыдилъ его, и на то, что не знаетъ, какая, молъ, это штука — фармазонскія деньги? А любопытно бы довѣдаться!...

— А ты разскажи, коли знаешь, предложилъ онъ Дрожину.

— А что́ дашь за сказъ? — Даромъ не стану.

— Чего тебѣ дать? Шишку еловую, что ли? Ты коли, значитъ, старъ-человѣкъ есть и притомъ Жиганъ, такъ ты молодымъ-то въ поученье это скажи.

— Даромъ не стану, подтвердилъ Дрожинъ.

— Ну! вѣрно и самъ не знаешь! Есть, молъ, звонъ, да не вѣсть гдѣ онъ! Слыхали, значитъ, что бываютъ какія-то фармазонскія, а какія-такія?—про то неизвѣстны.

Это замѣчаніе подстрекнуло стараго Жигана, который вездѣ и во всемъ любилъ пощеголять своей опытностью и бывалостью.

— Анъ врешь же вотъ, пёсій огрызокъ! окрысился онъ на Грѣчку: — видно, и всамъ дѣлѣ, учить вашего брата приходится! Это вотъ какія деньги, началъ онъ, окинувъ глазами всю камеру:— коли станешь ты на нихъ что покупать, али кому отдавать, такъ онѣ сами собою, значитъ, опять къ тебѣ же въ мошну вернутся.

— И скоро вернутся? съ живымъ любопытствомъ перебилъ Грѣчка.

— Съ разу же, какъ только отдашь. И моргнуть не успѣешь, а онѣ ужь у тебя лежатъ — потому, сила въ нихъ нечистая, и раздобыться ими никакъ иначе невозможно, какъ только черезъ тяжкое приступленіе: надо либо младенца убить, либо надъ мертвымъ какъ покойникомъ, значитъ, надругаться и ограбить его, либо святотатство какое ни на есть сдѣлать. Тогда только человѣкъ достоинъ будетъ [1]).

---

[1]) Между бывалыми преступниками, дѣйствительно есть такое повѣрье. Мнѣ доводилось слышать о немъ, и даже я знаю одинъ уголовный фактъ, гдѣ имѣ-

— А иначе никакъ невозможно? спросилъ его Грѣчка.

— Невозможно! съ видомъ авторитета отвѣтилъ Дрожинъ: — и добыть ихъ всѣ пути заказаны, акромѣ двухъ: либо убить того человѣка, который владаетъ ими, либо черезъ нечистую силу.

— Хм... Штука мудреная... раздумался Грѣчка.

— Вотъ коимъ манеромъ, сказываютъ, раздобылся ими одинъ Жиганъ савотѣйный! продолжалъ межъ тѣмъ старый Дрожинъ: — есть такая книга древняя, и писаніе въ этой самой книгѣ отъ халдейскихъ мудрецовъ. Запечатана она семью печатями, черными, и прозваніе ей положено отъ Гóга и Магóга — «Сивила египетская» — такъ и прозывается. И есть на Бѣломъ морѣ камень-алатырь, и подъ этотъ самый камень-алтырь заложилъ книгу ту императоръ Пётра-Первый. Какъ заложилъ, такъ и зарокъ положилъ, чтобы никто книгу ту *сивилу египетскую* не досталъ, а достанетъ ее разбойщикъ разбойщицкой сынъ, который во младенческой утробѣ руки свои покровянитъ и крови той напьется, и тотъ разбойщикъ разбойщицкой сынъ будетъ и книгой тою повѣкъ свой владать. Вотъ Жиганъ-то прослышалъ про эту статью. Продралъ онъ съ палестинъ забугорныхъ да на Бѣлое море и нашелъ тотъ самый камень-алатырь, а на камнѣ, видитъ, младенецъ сидитъ и ножикъ съ образкóмъ въ ручкахъ-то держитъ. Жиганъ взялъ отъ него этотъ ножикъ, и какъ было по зароку заказано, пропоролъ ему младенчéскую утробу, руки окровянилъ и крови напился. Тутъ передъ нимъ и камень-алатырь съ мѣста сдвинулся. Какъ сдвинулся, такъ ему книга и обозначилась. И вычиталъ онъ тамъ писаніе насчетъ фармазонскихъ денегъ — какъ тоись раздобыться ими: рецепта, значитъ, такая приложена. Онъ такъ и сдѣлалъ. Пошелъ на торжище и купилъ гусака. Что запросили за птицу, то сразу и далъ, безъ торгу. Принесъ гусока этого домой, печку распрежарко затопилъ и крѣпко давнулъ его за шею. Тотъ и задохся у него подъ рукою. Не ощипля, не обчистя, метнулъ его въ печку-то и сталъ жарить. А въ книгѣ обозначено, чтобы жариться гусаку до полуночи. Вотъ въ саму полночь досталъ онъ это жáрево смердячее изъ печи калёной и вышелъ съ нимъ

это повѣрье, вызвавшее страстное исканіе фармазонскихъ денегъ, послужило мотивомъ цѣлаго преступленія.

въ поле на развалъ четырехъ путей. Самъ стоитъ, а самъ кричитъ: «продается гусакъ продажный, цѣна — рубль запропажный!» Смотритъ — по всѣмъ четыремъ путямъ — атъ востёка и атъ запада, атъ моря и атъ горъ идутъ къ нему спѣшно четыре епишки — четыре эфіопа. Одинъ давалъ гривну, другой алтынъ, третій полтину, а четвертый рубль. Страшно Жигану стало, хоть сквозь землю провалиться, такъ впору бы, а самъ одначеже помнитъ, что въ книгѣ прописано: «въ эфдакомъ разѣ, молъ, будь твердъ, человѣче, а не будешь твердъ — сила нечистая задушитъ тебя, какъ ты гусака задушилъ». Онъ и выдержалъ, значитъ, карафтеръ свой. Отдалъ жарево за рубль и пошелъ домой неоглянувсь и слова ни единаго не промолвя. А нечистой силѣ, значитъ, хочется рубль-то вернуть; она и кричитъ ему вдогонку: «продавалъ гусака живаго, а продалъ мертваго! Зачѣмъ, значитъ, чорта надулъ»? А жиганъ зналъ все это, потому оно такъ въ книгѣ Сивилѣ прописано и пришелъ домой цѣлъ и невредимъ, а рубль этотъ всю жисть его продовольствовалъ. Такъ вотъ, такимъ-то манеромъ добываются эти фармазонскія деньги! Либо черезъ гуся жаренаго, либо, коли уже ты знаешь, у кого онѣ есть, то черезъ тяжкое преступленіе», съ авторитетной упочительностью заключилъ Дрожинъ [1]).

— А много ли такихъ рублевъ-то есть? спросилъ его крайне заинтересованный Грѣчка.

— Да гуляютъ-таки по бѣлу свѣту! Въ одной Рассеѣ, сказываютъ, на кажиную губернію по одному такому рублю полагается, да кромѣ того, не въ счетъ: одинъ на Архангельской городъ, одинъ

---

[1]) Мы привели это странное повѣрье такъ, какъ сами слышали его отъ арестанта, не измѣняя въ немъ ровно ничего. Оно отчасти сходится съ народнымъ нашимъ повѣрьемъ о неразмѣнномъ рублѣ (см. «Сказанія русскаго народа». Сахарова. Томъ I. Отдѣлъ: «Чернокнижіе» стр. 55. Изданіе третье 1841). Въ повѣрьѣ о фармазонскихъ деньгахъ, быть можетъ, невольно отразился гнетъ той нищеты, безпомощной и безъисходной, которая наконецъ дошла до мрачныхъ мечтаній о безусловномъ благополучіи и спокойной жизни, которыхъ возможно достигнуть либо черезъ тяжкое преступленіе, либо черезъ запродажу чорту души своей. Странное дѣло: существуетъ у насъ общая мысль, даже отчасти въ видѣ пословицы, что «на Руси съ голоду еще никто не умиралъ» и въ то же время существуетъ подобное повѣрье.

на Москву бѣлокаменную, одинъ на Питеръ, да одинъ на Нерчинской.

— Вотъ она, штука-то! задумался Грѣчка.—А какъ же, тоись, распознать-то его? освѣдомился онъ.

— Распознать можно, потому примѣта на немъ положена, объяснилъ Дрожинъ: — фармазонскій рубль завсегда стариннаго чекану — еще отъ самаго императора Пётры перваго. И сказываютъ, быдто на немъ такая печать антихристова приложена, почему-што и рубль-то этотъ съ тѣхъ самыхъ поръ на свѣту появился, какъ въ Перми, али въ Вологдѣ, что-ли народился антихристъ.

— Э, такъ вотъ какъ!... А хорошо бы и въ сам-дѣлѣ раздобыться фармазонскими деньгами! съ какою-то лихорадочной мечтательностью воскликнулъ Грѣчка: — ежели бы онъ да попался въ мои руки, воровать бы повѣкъ закаялся; не сталъ бы больше, дѣтямъ и внукамъ заказалъ бы, ей-богу.

Дрожинъ только головой мотнулъ на это, да недовѣрчиво усмѣхнулся.

Грѣчка ушелъ изъ камеры подъ сильнымъ впечатлѣніемъ дрожинскаго разсказа. Цѣлую ночь ему грезились фармазонскія деньги, и на утро въ горячей головѣ его, наряду съ неугомонной мыслью о волѣ и побѣгѣ, гвоздёмъ засѣла теперь еще новая мысль: какъ бы сдѣлать такъ, чтобы этимъ самымъ рублемъ раздобыться?

LIII.

Отпѣтый да непохороненный

Въ извѣстную пору дня, этакъ отъ десяти утра до третьяго пополудни, по близости тюрьмы и около полицейскихъ частей, вы можете встрѣтить на улицѣ неизмѣнно однѣ и тѣ же личности. Въ одномъ мѣстѣ — это какая-нибудь клинообразная, бойко-плутяжная бородка, въ чуйкѣ; въ другомъ — извѣстный небрито-усатый типъ, съ кокардой на красномъ околышѣ засаленной фуражки, съ коимъ необходимо соединяется представленіе о «женѣ-вдовѣ и шести сиротахъ малъ-мала меньше»; въ третьемъ — вы непремѣнно наткнетесь на подобный же типъ, только другого оттѣнка: засаленный же

виц-мундиръ гражданскій, съ оборванными кой-гдѣ болтающимися пуговками, такая же неумытость и небритіе и такой же букетъ сивушнаго масла, имѣющій свойство, подобно китайскимъ *пачули*, давать знать о себѣ за три, за четыре шага.

Съ десяти утра до третьяго пополудни, эти господа, неизбѣжно какъ смерть, появляются въ означенныхъ мѣстахъ и фланирующей походкой, мѣрно, степенно прохаживаются, на разстояніи сорокапятидесяти шаговъ, по тротуару. Они ужь тутъ какъ-бы habitués этого тротуара; проходитъ такой господинъ, напримѣръ, мимо молочной лавки — сидѣльцу поклонъ, какъ знакомому; проходитъ мимо распивочной — и кабатчику поклонъ, только еще втрое любезнѣе. А вотъ на углу стоитъ ходячій латокъ съ различною перекуской вродѣ печонки съ рубцами да печоныхъ яицъ—съ этимъ ужь «при-тюремный» или «при-частный» фланеръ состоитъ въ самыхъ дружескихъ отношеніяхъ: походитъ-походитъ себѣ по тротуару и подойдетъ къ рубцамъ — постоять, «передохнуть» да поплякать. Яйцо за копѣйку пріобрѣтетъ, методически, съ наслажденіемъ облущитъ его и кушаетъ, промежь пріятныхъ разговоровъ.

— Что̀, какъ дѣлами шевелишь? освѣдомляются рубцы.

— Тихо, почтенный мой, тихо... вздыхаетъ при-частный: — ни вчерась, ни третёва дни, самъ чай видѣлъ, ни единаго не взялъ... не знаю, что̀ ныньче Богъ дастъ.

— Дрянь-дѣла! равнодушно замѣчаютъ рубцы: — эдакъ вѣдь, пожалуй, сапожишекъ больше задаромъ изшарыгаешь, чѣмъ дѣлокъ настряпаешь.

— Всенепремѣнно такъ, почтенный мой, всенепремѣнно! глубоко и грустно вздыхаетъ въ заключеніе при-частный.

Вотъ вышелъ изъ части полицейскій солдатъ; при-частный, словно щука на карася, кидается за нимъ въ догонку.

— Михей Кондратьичъ! а, Михей Кондратьичъ! (онъ чуть-ли не всю полицію знаетъ по имени и отчеству). Вы не за мною-ли, Михей Кондратьичъ? съ переполохомъ ожиданія допытываетъ при-частный.

— Нѣтъ, не за вами... А что?

— Пожалуйста, почтенный мой! (при-частный искательно при-

поднимаетъ свою шапку) ужь ежели, что... не полѣнитесь сбѣжать, кликните—я вотъ все тутъ-вотъ и буду ходить.

— Ланно, пожалуй мы выкликнемъ, съ благосклоннымъ достоинствомъ соглашается вѣстовой слѣдственнаго пристава.

— А ужь послѣ присутствія, ежели ныньче Богъ милость свою пошлетъ—позвольте просить на пару пива! заманиваетъ при-частный.

— Могимъ и на эфтотъ сортъ... отчего же! снова соглашается полицейскій, уходя по своей надобности.

При-частный еще разъ искательно берется за козырекъ, еще разъ сокрушенно вздыхаетъ и попрежнему принимается неторопливо шагать по тротуару.

Всѣ эти господа «при-частные» и «при-тюремные» фланеры — суть непосредственное порожденіе нашихъ судовъ и слѣдствій. Это— наши присяжные свидѣтели о чемъ угодно (плата, смотря по важности и поручители за кого угодно (плата тоже смотря по важности и обстоятельствамъ).

Иные изъ нихъ, завидя утромъ подходящаго субъекта (нюхъ такой ужь есть у нихъ), который подъѣзжаетъ къ воротамъ частнаго дома, стремительно направляютъ къ нему шаги свои и съ подобающей таинственностію предлагаютъ:

— Не нужно ли вамъ свидѣтеля, милостивый государь? — могу быть къ вашимъ услугамъ.

Ежели подходящій субъектъ обладаетъ извѣстною гибкостью относительно осьмой заповѣди, какъ извѣстно, воспрещающей послушествовать на друга своего свидѣтельство ложно, то онъ соглашается на любезное предложеніе при-частнаго, и отправляясь съ нимъ въ первый трактиръ или пивную, излагаетъ подробно обстоятельства, о коихъ надлежитъ свидѣтельствовать—за извѣстный гонораръ, конечно.

При выходѣ же подобныхъ субъектовъ изъ частнаго дома, при-частный точно такъ же является съ предложеніемъ своихъ услугъ:

— Не требуется ли, милостивый государь, прошеньице изобразить или отзывъ какой либо, или протестацію?—позвольте рекомендоваться, къ вашимъ услугамъ!

И, въ случаѣ согласія, точно такъ же отправляются вмѣстѣ въ пивную, гдѣ при-частный давно уже пользуется ролью завсегдатая— своего, домашняго человѣка, и удалившись въ отдѣльную, уеди-

нетную комнатку, принимается строчить по заказу. Въ этомъ занятіи, обыкновенно проходитъ почти весь остальной день при-частнаго, по окончаніи утренняго фланёрства у полицейскаго дома.

Полицейскимъ и особенно тюремнымъ солдатамъ очень хорошо извѣстно мѣсто жительства этихъ поручителей, которые обыкновенно стараются пріютиться гдѣ-нибудь по близости тюрьмы или части, такъ что въ случаѣ надобности, не отыскавъ поручителя ни на тротуарѣ, ни въ пивной, солдатъ бѣжитъ уже прямо къ нему на квартиру: «пожалуйте, молъ, ручаться»!

Около одной изъ частей похаживалъ, обыкновенно, въ качествѣ такого при-частнаго, красноносый старичонко, въ безпуговномъ вицмундирѣ и старенькой камлотовой шинели. Какова бы ни стояла на дворѣ погода—іюльскій ли зной, осенній ли дождикъ, или крещенскіе холода—вы неизмѣнно могли бы встрѣтить коричневую шинелишку съ теплой котиковой шапкой, изъ подъ которой пробивались жидкія космы желтовато-сѣдыхъ волосьевъ. Старичонкѣ этому стукнуло уже подъ семьдесятъ лѣтъ, но для такихъ преклонныхъ годовъ онъ былъ еще достаточно бодръ тѣломъ и еще бодрѣе духомъ, особенно когда, бывало, хватитъ извѣстную дозу очищенной; неподвижно-рыбьи тусклые глаза его отличались необыкновенной зоркостью и намѣткой угадывать алчущихъ и жаждущихъ писанія крючкотворныхъ прошеньицъ, свидѣтельства ложна, поручительства и тому подобныхъ предметовъ.

Это ходячее memento mori—своего рода вѣчный жидъ съѣзжинскаго тротуара, уже болѣе двадцати лѣтъ появлялся на своемъ тротуарномъ посту, гдѣ онъ былъ именно какъ смерть неизбѣженъ, и вѣчно въ одномъ и томъ же, неизмѣнномъ ни при какихъ обстоятельствахъ, костюмѣ. Время отъ времени онъ мѣнялъ тротуаръ одной части на другую, другой на третью, третьей на четвертую, и по прошествіи извѣстнаго періода опять появлялся на прежнемъ мѣстѣ. Впрочемъ, для него въ теченіе столь долгаго и неуклоннаго служенія одному и тому же дѣлу — всѣ подобныя мѣста равно могли назваться прежними и давно пахоженными.

Прозваніе этому старичонкѣ было «отпѣтый да непохороненный», а имя, отчество и фамилія—Пахомъ Борисовичъ Пряхинъ. Онъ уже отчасти извѣстенъ читателю, который познакомился съ нимъ еще

въ «Ершахъ», въ знаменитой «квартирѣ для трынки и темныхъ глазъ», гдѣ Пахомъ Борисовичъ Пряхинъ въ то время занимался невинной фабрикаціей фальшивыхъ видовъ и паспортовъ, и снабдилъ подобными же Казиміра Бодлевскаго, тогда еще гравёрскаго ученика, и горничную княжны Анны Чечевинской, Наташу — нынѣ блистающую баронесу фон-Дёрингъ. Хотя съ тѣхъ поръ надъ «отпѣтымъ да непохороненнымъ» Борисычемъ пронеслось двадцать годовъ слишкомъ, и хотя эти годы попригнули-таки его немножко къ землѣ, ожелтили и повыщипали волосы, да неподвижно какъ-то орыбили глаза, однако Пахомъ Борисовичъ Пряхинъ по духу своему остался все тѣмъ же, отпѣтымъ да непохороненнымъ человѣкомъ, и какъ воспоминаніе о былыхъ временахъ, какъ символъ неизмѣнности своимъ вѣчнымъ симпатіямъ и привычкамъ, сохранилъ свой носъ сизовато-клюквеннаго колера вмѣстѣ съ обычнымъ «приношеніемъ посильной пользы страждущему человѣчеству».

Лѣтъ пятнадцать прошло уже съ тѣхъ поръ, какъ Пахомъ Борисычъ покинулъ навсегда свою выгодную фабрикацію видовъ. Почувствовалъ онъ, по преклоннымъ годамъ своимъ, нѣкоторую привязанность къ мѣсту, къ родному городу Петербургу, въ которомъ онъ уже такъ давно и такъ прочно осѣлся, и не захотѣлось ему ради выгодъ мірскихъ заниматься рискованной поддѣлкой, за которую, пожалуй, пришлось бы перемѣнить мѣсто жительства и отправиться на колонизацію странъ зауральскихъ. Старъ сталъ Пахомъ Борисычъ и возжелалъ покою, возжаждалъ болѣе мирнаго бытія, а потому и перемѣнилъ прежній родъ дѣятельности на болѣе спокойный, менѣе рискованный и приличествующій его лѣтамъ и званію. Нельзя сказать, чтобы и до сего окончательнаго рѣшенія онъ не занимался тѣмъ же—нѣтъ, Пахомъ Борисычъ и въ тѣ времена еще точно такъ же похаживалъ по тротуарамъ около съѣзжихъ домовъ въ качествѣ «при-частнаго» фланера и точно такъ же строчилъ прошеньица да бралъ на поруки, чему много благопріятствовали также и тогдашнія приватныя занятія его въ конторѣ квартальнаго надзирателя; но собственно пятнадцать лѣтъ назадъ онъ составилъ себѣ уже окончательное рѣшеніе посвятить свою жизнь и мирныя, спокойныя занятія на посильное служеніе страждущему человѣчеству; въ качествѣ «при-частнаго строчилы и поручителя».

Къ этому, для окончательной полноты свѣдѣнія о Пахомѣ Борисычѣ Пряхинѣ, мы должны сообщить и то обстоятельство, что Пахомъ Борисычъ Пряхинъ былъ родителемъ достаточно уже извѣстной читателю особы, Александры Пахомовны или Сашеньки-матушки, quasi-тётушки господина Зеленькова и неизмѣнно-вѣрной агентши генеральши фон-Шпильце. Впрочемъ, Сашенька-матушка никакого уваженія и дочернихъ чувствъ къ родителю не оказывала, даже не при всякомъ случаѣ и не при всякомъ постороннемъ человѣкѣ «тятинькой» удостоивала назвать его, и еще въ лѣта своей юности прогнала съ квартиры, на томъ основаніи, что къ ней «благородные кавалеры пріѣзжаютъ, а тятинька очинно ужь безобразенъ и только въ конфузъ ее вводитъ». Тятенька вздохнулъ, связалъ свой узелокъ и, завернувъ въ первый же кабакъ, хотя и слезно, однако смиренно покорился горестной своей участи. Съ тѣхъ поръ онъ только въ случаяхъ крайней нужды являлся «къ барышнѣ» и робко выпрашивалъ у нея гривенничекъ «на баньку», да коли милость будетъ чаишкомъ грѣшнымъ утробу попарить. Сашенька-матушка морщилась, ругала на чемъ свѣтъ стоитъ, родителя и на гривенники далеко не всегда раскошеливалась.

Такъ протекли дни отпѣтаго да непохороненнаго Пряхина, и таковы были отношенія его къ дочери.

LIV

Вересовъ на волѣ

— Что́ же мнѣ дѣлать теперь съ этими деньгами? въ смущенномъ раздумьѣ и не зная на что рѣшиться, спросилъ Вересовъ Рамзю.

— Возьми ихъ, непремѣнно возьми! съ убѣдительной положительностію присовѣтовалъ Рамзя: — это онъ грѣхъ свой противъ тебя чувствуетъ, совѣсть въ немъ завопіяла, такъ онъ хоть чѣмъ-нибудь хочетъ помириться съ нею; хочетъ, чтобы ты злости на него не питалъ. Значитъ, эти деньги надо принять, заключилъ Акимъ: — потому, примирить человѣка съ совѣстью его — это, братъ мой, великое есть дѣло христіанское.

— Да на дѣло-то такое далъ... почти что на обманъ, еще смущеннѣе возразилъ Вересовъ.

Рамзя весьма серьёзно углубился въ минутную думу.

— Хм... на обманъ... тихо заговорилъ онъ среди своего раздумья: — человѣку вѣдь воли хочется... нельзя, чтобы каждый человѣкъ первѣе всего воли себѣ не хотѣлъ... Апостолъ-то что̀ говоритъ? «Идеже духъ Господень, ту свобода». А кто есть сосудъ Духа Божія? гдѣ Духу Божію приличествуетъ пребывать?—въ разумѣ, въ сердцѣ, въ душѣ человѣческой, братъ мой!... Посему, выходитъ, человѣкъ, а наипаче того христіанинъ, первѣе всего къ волѣ, къ свободѣ долженъ устремляться.

И Рамзя на минуту снова погрузился въ свое раздумье.

— Обманъ... въ чемъ же обманъ?... Отецъ твой, Богъ ему судья, отказался ни за̀што отъ сына единокровнаго̀... Ты человѣкъ неповинный — таково вѣдь и судія твой слѣдственный мыслитъ о тебѣ; самъ же онъ сказалъ тебѣ: «ищи, молъ, по себѣ поручителя». У тебя нѣтъ ни друга, ни ближняго, ни знаемаго, къ кому бы ты могъ обратиться въ нуждѣ своей и въ печали — «коиждой самъ о себѣ да промыслитъ». — Ну, и промысли!... Вѣдь ты не убѣжишь, не уворуешь и зла ниже какого не сдѣлаешь, а будешь же вѣдь мирно да тихо жить на волѣ — поручителю черезъ свое азарство тоже зла не принесешь ни мало; отчего жь тебѣ и не нанять его?... Дѣло полюбовное, добровольное... Обманъ... хм... Обманъ, друже мой, тамъ, гдѣ человѣкъ черезъ обманъ зло творитъ себѣ и ближнему! съ силой искренняго убѣжденія заключилъ Рамзя.

Вересовъ крѣпко задумался. Онъ былъ побѣжденъ своеобразной логикой Рамзи, слова котораго дышали такой энтузіастической вѣрой и убѣжденіемъ, да притомъ воли-то вольной ужь больно сильно хотѣлось ему—и онъ рѣшился.

Выписавъ на клочкѣ бумажки свое имя и званіе, онъ вручилъ его, вмѣстѣ съ полтинникомъ, тюремному солдату и объяснилъ свою надобность.

— А въ какой части дѣло-то? спросилъ тотъ.

Вересовъ назвалъ.

— То̀-то!... это надо знать, потому поручитель допрежь того въ часть долженъ объявиться о желаніи своемъ. Ладно, будетъ сдѣлано!

утѣшилъ его тюремный воинъ и въ тотъ же день, улучивъ удобную минуту, смахалъ къ Пахому Борисычу Пряхину.

— Арестантъ-то бѣдный, или богатенькій? освѣдомился поручитель.

— Голякъ! махнулъ рукою воинъ.

— Э, братъ, это выходитъ игра свѣчъ не стоитъ!

— Чево не стоитъ!... Деньги все едино получите: три-то рубля на улицѣ вѣдь не являются.

— Да что... Кабы онъ богатенькій былъ, такъ можно-бы этакъ взять, черезъ мѣсяцъ отказаться: не ручаюсь, молъ, по неблагонадежности.

— Да нàшто же это?

— А на то, что онъ тогда опять заплатитъ, только не отказывайся, значитъ. Этакъ бы и тянуть съ него оброчекъ за каждый то мѣсяцъ.

— Такъ-съ, губа-то у васъ недура, да все же это не рука нашъ. Коли не хотите, такъ и не надо: къ другому пойду. Вашего брата вѣдь довольно шатается! А отъ такого арестанта никто не откажется, потому человѣкъ онъ смирный, обиды отъ начальства ужь за него-то не наживешь. Это вѣрно.

Пряхинъ опѣшилъ отъ столь крутого поворота и тотчасъ же согласился, на томъ основаніи, что три рубля, и въ самомъ дѣлѣ, на улицѣ не валяются.

Дня черезъ четыре Вересову приказали сдать казенное сѣрое платье, взамѣнъ котораго выдали ему изъ цейхауза его собственное, и тюремный фургонъ въ послѣдній уже разъ отвезъ арестанта къ слѣдственному приставу.

— Который изъ васъ тутъ на поруки-то просится? таинственно и украдкой спросилъ Пахомъ Борисычъ, когда конвойный привелъ Ивана Вересова вмѣстѣ съ другимъ подслѣдственнымъ въ прихожую слѣдственной камеры.

— Я... А что?

— Пріятно познакомиться... Я — твой поручитель: господинъ Пряхинъ, губернскій секретарь въ отставкѣ. Деньги-то теперь заплатишь мнѣ, что-ли?

— Не давай теперь, толкнулъ подслѣдственный локтемъ своего

острожнаго сотоварища: — это, братъ, стрикулистъ; возьметъ, пожалуй, да и поминай какъ звали; а онъ пущай прежде поручится, тогда и отдашь.

— Ишь, тюремная крапива... злобственно прошипѣлъ поручитель, отходя въ сторону.

— Эва какъ окрысился! вѣрно въ самую центру попалъ! самодовольно ухмыльнулся подслѣдственный.

Четверть часа спустя, Пахомъ Борисовичъ далъ подписку въ поручительствѣ и вмѣстѣ съ освобожденнымъ Вересовымъ спустился съ лѣстницы частнаго дома.

— Ну, давайте же теперь условленное! нетерпѣливо остановилъ онъ внизу своего порученника, вдругъ мѣняя съ нимъ *ты* на *вы* Тотъ съ благодарностью отдалъ ему деньги.

Хи, хи хи... слюняво и съ присвистомъ засмѣялся старичонко, ощущая необыкновенную пріятность при видѣ ассигнаціи:—а еслибы вы мнѣ не отдали, я бы сейчасъ вернулся и отказался бы отъ поручительства. Хи, хи, хи... такъ-то-съ!... А теперь — вотъ вамъ для памяти адресъ мой для того, что если вы себѣ изберете мѣсто жительства, то немедленно увѣдомьте: я долженъ это знать, на всякій случай.

Вересовъ обѣщалъ ему.

— Ну-съ, желаю наслаждаться всѣми благами! приподнялъ старичонко свою котиковую шапку. — Смотрите же, ни обидьте меня, старичка безпомощнаго! Я, по христіанскому чувству, сжалился надъ вами, потому это мой долгъ, въ нѣкоторомъ родѣ для души спасенія... посильная помощь страждущему человѣчеству... ну, и... прочее... Такъ ужь вы, пожалуйста, обитайте-себѣ смирненько, тихѐнько, богобоязненно, чтобы меня тово... подъ отвѣтственность какъ-нибудь не подвести. Прощайте-съ!

И они разошлись въ разныя стороны.

Вересовъ радостно вздохнулъ полною грудью, когда наконецъ остался одинъ-одинъ совершенно. Онъ только теперь почувствовалъ свободу. Не въ силахъ сдержать широкой радостной улыбки, пошелъ онъ безъ цѣли, куда глаза глядятъ, и пошелъ такимъ твердымъ и быстрымъ шагомъ, какъ будто его подталкивала и влекла

какая-то сверхъестественная сила. Ему весело идти куда хочетъ, идти безъ отчету, по своей собственной волѣ, весело ощущать даже самое это движеніе, глядѣть на свободныя, здоровыя лица встрѣчныхъ людей, окунуться въ этотъ водоворотъ уличной жизни и совсѣмъ потеряться, исчезнуть въ немъ. На каждую улицу, на каждый домъ онъ глядѣлъ теперь какъ на нѣчто новое, или какъ на стариннаго своего друга, съ которымъ богъ-вѣсть сколько времени не видался. А и времени-то, въ сущности, немного вѣдь прошло съ тѣхъ поръ, какъ арестовали его—неболѣе какого-нибудь мѣсяца, но какъ однако въ этотъ мѣсяцъ измѣнился Вересовъ, какъ его пришибла и принизила недобрая доля!... Теперь это были первыя минуты, когда онъ забылся, подъ обаяніемъ радостнаго, счастливаго чувства свободы. Онъ все шелъ и шелъ, и улыбался, и глядѣлъ на все такими любопытными глазами, будто жаждалъ наглядѣться на весь міръ божій, и весь этотъ міръ божій желая обнять какъ брата, радостно кинуться ему на встрѣчу, и любить, любить его крѣпко и много... Но усталость наконецъ взяла-таки свое. Вересовъ остановился и оглядѣлся вокругъ. Присѣсть хочется—негдѣ присѣсть, надо идти, поневолѣ. Голодъ почувствовалъ—нечѣмъ утолить его... въ карманѣ ни копейки, а даромъ ѣсть не дадутъ... Жаль тюрьмы: тамъ была своя койка и щи-сѣряки тоже были. Здѣсь теперь—воля, и нѣтъ ни того, ни другого.

Онъ опять пошелъ безъ цѣли, только уже не такъ радостно и быстро, какъ за нѣсколько часовъ передъ этимъ.

Начинало темнѣть; по улицамъ фонари зажигались. Тысячи роскошныхъ, блестящихъ магазиновъ заблистали газовыми огнями. Вотъ цѣлый рядъ фруктовыхъ и бакалейныхъ лавокъ, сквозь стекла которыхъ такъ вкусно и заманчиво глядятъ всевозможныя роскошныя снѣди, сыры, копченое, жирныя пате и маринады, а тамъ — анисы да кустики земляники въ горшечкахъ да фрукты разные. Хорошо жить на свѣтѣ! съ горькой улыбкой промелькнуло въ головѣ Вересова, когда остановился онъ передъ соблазнительнымъ окномъ такой лавки, и долго разсматривалъ всѣ эти вкусности, одинъ видъ которыхъ голодно поводилъ мускулы его губъ и щекъ и сдавливалъ скулы, заставляя глотать слюнки, вызываемыя волчьимъ аппетитомъ. Вересовъ стоялъ, глядѣлъ и дрогнулъ на вѣтру, а голодъ

межъ тѣмъ все сильнѣй и сильнѣй начиналъ допимать его. По улицамъ проносилось множество экипажей. Сыны Марса въ бѣлыхъ и красныхъ шапкахъ и привилегированные сыны биржи да изящныхъ салоновъ въ бобрахъ и соболяхъ гнали во весь духъ своихъ статныхъ рысаковъ, стараясь во что бы то ни стало обогнать другъ друга и паче того—обогнать какую-нибудь блестящую камелію, которая, съ шикомъ закутавшись въ богатую черпобурую медвѣжью полость, нагло мчится сломя голову, и развалясь въ своемъ экипажѣ.

Въ воздухѣ становилось холоднѣе—къ ночи должно быть добрый морозецъ станетъ, а у Вересова пальтишко однимъ божьимъ вѣтромъ подбито... Остановился онъ посреди тротуара и съ мутящей, голодной тоской оглядѣлся во всѣ стороны. Куда жь идти, что̀ дѣлать, гдѣ пріютиться, гдѣ обогрѣться ему? Идти—куда хочешь, а пріютиться... тоже гдѣ хочешь: городъ великъ и пространенъ.

Голодный человѣкъ почувствовалъ ужасъ.

Среди этого шума, блеска, движенія и многолюдства — онъ одинокъ и безсиленъ... И ему почудилось, что этотъ пышный городъ—его холодная, суровая могила.

LV

Ѳемида надѣваетъ повязку и поднимаетъ свои вѣсы

Въ залѣ одного присутственнаго мѣста, обстановка котораго была украшена всѣми атрибутами современной Ѳемиды, гдѣ мечъ замѣняется гусинымъ перомъ, гири вѣсовъ—пудами исписанной бумаги, хранящейся въ видѣ дѣлъ, по судейскимъ шкафамъ, а достославная повязка... Впрочемъ, одни говорятъ, будто повязка осталась та же самая, а другіе сомнѣваются, чтобы она когда-либо существовала на глазахъ суровой богини. Итакъ, въ залѣ, украшенной атрибутами современной Ѳемиды, засѣдалъ ареопагъ ея вѣрныхъ жрецовъ и обсуживалъ нѣкое уголовное дѣло. Называлось оно «Дѣломъ о покушеніи на жизнь гвардіи корнета князя Шадурскаго, учиненномъ женою московскаго почетнаго гражданина Юліей Николаевой Бероевой».

— Дѣло сомнительное, замѣтилъ, пожевавъ губами, одинъ изъ членовъ.

— Вы находите? возразилъ другой, который былъ неизмѣримо солиднѣе перваго, и при этомъ авторитетно вскинулъ на него юпитеровскіе взоры.

— Полагаю, такъ.

— Почему же, любопытно знать?

— А хотя бы свидѣтельство мужа ея, который сообщилъ о дворникѣ... Дворникъ-то вѣдь показалъ бы иное.

— Н-да-съ, то-то вотъ и есть, что показалъ бы, побѣдоносно прервалъ Юпитеръ:—но въ дѣлѣ такого показанія нѣтъ; дворникъ давнымъ-давно умеръ-съ.

— Это-то и странно: смерть наканунѣ дачи показанія, диспутировалъ первый.

— Воля судебъ, провидѣніе! пожавъ плечами, фаталистически поникнулъ головою первый: — опять же и страннаго ничего нѣтъ: дворникъ былъ пьяница и, какъ видно изъ медицинскаго осмотра, умеръ скоропостижно отъ опоя, а пьяницу можно и подкупить... Наконецъ, чье же свидѣтельство должно быть больше принято во вниманіе: акушерки ли и прочихъ лицъ, или какого нибудь дворника?

— Да, можетъ быть, и дворникъ былъ бы столь же достовѣрно-законный свидѣтель?

— Допустимъ, хотя въ этомъ случаѣ мы толчемъ воду въ ступѣ, соглашается Юпитеръ:—но статья 333-я II-й книги Законовъ Уголовныхъ гласитъ, что при равной степени достовѣрности законныхъ свидѣтелей, въ случаѣ противорѣчія ихъ, судья долженъ давать преимущество: мужчинѣ передъ женщиною, знатному передъ незнатнымъ, ученому передъ неученымъ и духовному передъ свѣтскимъ. Замѣтьте-съ, милостивый государь: знатному передъ незнатнымъ — стало быть, тутъ и говорить не о чемъ. Акушерка имѣетъ дипломы—значитъ, и знатнѣе и ученѣе какого-нибудь пьяницы-дворника. Притомъ же свидѣтельство одного не можетъ считаться полнымъ и удовлетворительнымъ, если на него не ссылаются обѣ противныя стороны.

— Но Бероева слишкомъ упорно стоитъ на томъ, что она защищалась только отъ насилія, отвѣтствовалъ между тѣмъ первый.

— Гм... изнасилованіе!... ухмыльнулся солидный жрецъ Ѳемиды:—на тѣлѣ ея боевыхъ знаковъ не оказалось—это одно. А второе — какое же тутъ можетъ быть насиліе, если она сама и притомъ собственноручнымъ письмомъ вызывала Шадурскаго въ маскерадъ, да потомъ поѣхала съ нимъ ночью въ ресторацію, въ отдѣльный кабинетъ? Помилуйте, что̀ это вы говорите!... И потомъ эта выдуманная исторія о ребёнкѣ, оговоръ постороннихъ лицъ, которыя ее и въ глаза-то никогда не видали, продолжалъ солидный чиновникъ: — все это, по моему мнѣнію, есть не что иное, какъ желаніе сорвать съ богатенькаго князька изряднепькій кушикъ — она же, притомъ, женщина далеко недостаточная: неудалась удочка съ ребёнкомъ — такъ давай, молъ, поддѣну его на насиліе, авось на мировую пойдетъ да за безчестіе заплатитъ, чтобъ отвязаться отъ суда и слѣдствія; по-крайней-мѣрѣ, другихъ побудительныхъ нравственныхъ причинъ я не усматриваю... Барынька-то, видно, не промахъ. Да-съ, тутъ былъ своекорыстный разсчетъ, заключилъ авторитетный жрецъ Ѳемиды: — а по смыслу 343-й статьи той же книги, сила уликъ умножается, когда обвиняемому отъ совершенія преступленія могла послѣдовать прибыль.

— Но это вѣдь только ваши личныя соображенія, замѣтилъ спорщикъ, принадлежащій къ числу еще неопытныхъ служителей богини.

— Допустимъ и это, пожалуй, великодушно согласился опытный:—но и однихъ голыхъ фактовъ достаточно для полнаго обвиненія: вопервыхъ, подсудимая найдена на мѣстѣ преступленія, съ орудіемъ въ рукѣ; вовторыхъ, есть законные свидѣтели; втретьихъ, медицинское свидѣтельство утверждаетъ, что раны были нанесены именно острымъ орудіемъ, и при томъ одна изъ нихъ всего только на полдюйма отъ сонной артеріи, стало быть, могла имѣть весьма серьёзныя послѣдствія и даже самую смерть. Будь эти раны нанесены въ руку, въ ногу, въ лицо — ихъ можно было бы отнести къ разряду увѣчья, но рана въ грудь и въ горло, на полдюйма отъ сонной жилы, въ которую орудіе не попало, быть можетъ, только вслѣдствіе невѣрнаго удара, тогда какъ самая близость къ этой жилѣ показываетъ намѣреніе ударить именно въ нее—все это, по моему убѣжденію, должно быть разсматриваемо, какъ покушеніе

къ убійству. Наконецъ, подсудимая и сама не отпирается отъ своего преступнаго дѣйствія, только выставляетъ въ оправданіе причину, ничѣмъ недоказанную; на очныхъ же ставкахъ ровно никого не могла уличить — все это, какъ хотите, вполнѣ доказываетъ ея полную преступность и притомъ умыселъ.

— А нравственное убѣжденіе слѣдователя? попытался еще разъ возразить ему спорщикъ, окончательно побитый на всѣхъ пунктахъ.

— Слѣдователь, какъ видно, еще порядочный молокососъ! тономъ безусловнаго приговора отвѣтилъ солидный мужъ, и при этомъ съ достоинствомъ поправилъ на шеѣ регалію:—ему бы, по настоящему, надо за это порядочный выговоръ сдѣлать... Нравственное убѣжденіе!... Законъ не спрашиваетъ отъ слѣдователя его личнаго нравственнаго убѣжденія; законъ требуетъ, чтобы онъ изслѣдовалъ только факты и обстоятельства, каковые бы и представлялъ, а нравственнаго убѣжденія ему, по настоящему-то, и по закону не полагается.

— Однако, господа, что жь это мы все болтаемъ! заключилъ онъ черезъ минуту: — дѣло-то вѣдь не ждетъ — у насъ еще вона какая кипа накопилась!

И приговоръ подсудимой черезъ часъ уже былъ составленъ.

LVI

Вычитка рѣшенья

Прошло уже нѣсколько мѣсяцевъ, а Бероева все еще содержалась въ тюрьмѣ, не зная и не вѣдая, какъ идетъ ея дѣло. Сказано ей было только, что пошло уже въ судъ и на рѣшеніе. Раза два и ее вытребовали туда для дачи показаній, но это ни на каплю не подвинуло дѣла въ ея пользу, потому что съ ея стороны были одни только голословныя, бездоказательныя показанія, а со стороны ея противниковъ—и значеніе, и вѣсъ и, паче всего, хитрая механика Хлѣбонасущенскаго. Впрочемъ, на это дѣло она давно уже безнадежно махнула рукой, покорясь своей участи — какова бы она ни была и что бы тамъ ей ни предстояло впереди. Въ ней теперь не-

исходно жила одна только мысль, одна болящая дума о мужѣ да о дѣтяхъ.

Но о судьбѣ мужа—ни слуху, ни духу, и за все это время ни одна строчка отъ него не доходила до арестантки, такъ что живъ ли, сосланъ ли онъ, или безслѣдно исчезъ, умеръ — для нея оставалось ничѣмъ неразрѣшимымъ вопросомъ. Только изъ Москвы, отъ тётки доходили къ ней письма, съ каракульками, которыя постоянно вставляла въ припискахъ ея дочь Лиза, начинавшая учиться писать. Каждое такое письмо стоило Бероевой многихъ нравственныхъ мученій, тоски и слезъ, живо напоминая разлуку со всѣмъ, что̀ было такъ дорого и свято въ ея жизни; но каждое изъ нихъ, въ то же время, и поддерживало ее, придавая силы и рѣшимость на дальнѣйшее перенесеніе своей темной доли: Бероева знала, что рано ли, поздно ли окончится этотъ судъ и ея тюремное заключеніе, освободятъ, или сошлютъ ее—она, во всякомъ случаѣ, соединится опять со своими дѣтьми, будетъ жить съ ними и для нихъ — и эта мысль много поддерживала ея твердость своимъ ободряющимъ вліяніемъ.

Былъ августъ въ началѣ. До Бероевой дошли слухи, что дѣло ея скоро уже рѣшится, и точно: незадолго послѣ этого, ее отправили въ обычно-тюремномъ ящикѣ, который на тюремномъ argot весьма характерно именуется «мышеловкой» — выслушать рѣшеніе.

У человѣка всегда какъ-то является невольный трепетъ передъ тою роковой минутой, которая должна на вѣки рѣшить его дальнѣйшую судьбу. Но трудно было бы вполнѣ выразить то глухое чувство, которое испытывала Бероева съ того самаго мгновенія, какъ только ей было приказано отправляться къ «вычиткѣ» рѣшенья. Оно охватывало ее все сильнѣй и сильнѣе, чѣмъ ближе подвигалась мышеловка къ мѣсту назначенія. Тамъ, въ этомъ огромномъ домѣ, казенной архитектуры, готово уже рѣшеніе ея судьбы. Какое это рѣшеніе? Освободятъ, или засудятъ? оставятъ въ подозрѣніи, или сошлютъ?...

«Въ подозрѣніи... Нѣтъ, это — гнусное состояніе для честнаго человѣка!... Пустъ уже лучше ссылаютъ»! думалось арестанткѣ, въ то время, какъ черный фургонъ подскакивалъ и трясся на жосткой, булыжной мостовой: «а дѣти?... мать-преступница.,. ссыль-

пая арестантка... Нѣтъ, дѣти будутъ со мною — вездѣ и всегда со мною! дѣти потомъ узнаютъ, виновата ли я была... Но этотъ несчастный ребёнокъ — гдѣ онъ теперь? гдѣ они спрятали, куда украли его и что съ нимъ сталось теперь, что за судьба его»?

Цѣлая вереница такихъ тяжелыхъ мыслей отрывочно проносилась въ головѣ подсудимой женщины; но неотступнѣе всѣхъ остальныхъ возвращался къ ней все одинъ и тотъ же вопросъ: оправдаютъ, или обвинятъ? Она знала — почти навѣрное знала, что обвинятъ; и все-таки смутная надежда мгновеньями невольно закрадывалась въ ея сердце: «а можетъ, и оправдаютъ»? Однако, Бероева превозмогла эту надежду и нарочно не давала ей разыгрываться, нарочно старалась въ возможно худшемъ свѣтѣ представить себѣ грядущую судьбу, такъ что ею, наконецъ, безотчетно овладѣло даже какое-то суевѣрное чувство: «не надо думать, что все окончится хорошо да счастливо, лучше думать на худое, тогда авось»...

И она не смѣла, она страшилась выговорить это ободряющее слово; потому что, «всегда оно такъ случается, когда думаешь на хорошое, тутъ тебѣ судьба какъ будто нарочно худое-то и сдѣлаетъ». И бѣдная женщина, въ виду своего приговора, старалась убаюкивать себя такою суевѣрной и дѣтски-наивной мыслью, которую безсознательно порождало въ ней чувство надежды. Въ подобномъ состояніи человѣкъ уже лишается возможности строго мыслить путемъ здравой и холодной логики, потому что слишкомъ трудно человѣку разомъ помириться съ независящей отъ его воли грозной развязкой своей судьбы — и онъ невольно поддается здѣсь инстинкту какъ-бы самохраненія: «никто же плоть свою возненавидитъ, но по природѣ питаетъ и грѣетъ ее», сказалъ еще болѣе чѣмъ за тысячу лѣтъ мыслитель первыхъ вѣковъ христіанства.

Въ такомъ-то мрачномъ состояніи страха, ожиданій и суевѣрно-инстинктивной надежды, поднялась Бероева на темноватую лѣстницу присутственнаго мѣста. Сердце ея такъ сильно и часто колотилось, чуть не до дурноты, что ей пришлось, отшатываясь къ стѣнѣ или къ периламъ, останавливаться по нѣскольку разъ на ступенькахъ, чтобы перевести духъ и собрать свои силы. Она поминутно хвата

лась рукою за грудь, словно бы хотѣла сдержать и утишить это усиленное сердцебіеніе.

Конвой привелъ ее въ прихожую, гдѣ обыкновенно, сидя на скамейкахъ, арестанты ожидаютъ, пока позовутъ ихъ «на вычитку къ открытымъ дверямъ».

Здѣсь пришлось дожидаться болѣе часу, и въ это время разные чиновники, нѣсколько разъ по двѣ, по три физіономіи, высовывались въ дверь, либо же проходили мимо, съ любопытствомъ оглядывая привезенную арестантку и тихо перекидываясь между собою какими то замѣчаніями, очевидно на ея счетъ и особенно на счетъ ея наружности, которая, несмотря на всѣ невзгоды, перенесенныя этою женщиной, все-таки оставалась еще какъ-то грустно, могильно-прекрасной... Въ это самое время Бероевой пришлось впервые испытать на себѣ то, оскорбительное, для нравственнаго достоинства человѣческаго, состоянія любопытнаго, заморскаго звѣрька, на котораго всякій считаетъ долгомъ взглянуть, какъ на диковинку — состояніе, каждый разъ испытываемое человѣкомъ въ подобномъ положеніи. Чиновники знали и слышали про интересное дѣло Бероевой — и потому многимъ изъ нихъ было весьма любопытно посмотрѣть на «интересную героиню» уголовнаго преступленія.

Наконецъ ее позвали въ присутствіе, гдѣ сторожъ указалъ ей надлежащее мѣсто, а два конвойные солдата, съ ружьями у плеча, стали по бокамъ арестантки. Это мѣсто приходилось какъ разъ передъ дверями, которыя черезъ минуту распахнулись, обнаруживъ въ глубинѣ другой комнаты большой столъ, подъ краснымъ сукномъ съ золотой бахрамой и кистями, на столѣ — золотое зерцало съ четырекрылымъ орломъ на верхушкѣ, а вокругъ сидятъ чиновники въ мундирахъ съ высокими, шитыми воротниками до ушей.

Обстановка торжественная.

Секретарь, въ точно такомъ же мундирѣ, взялъ со стола приготовленный заранѣе листъ и остановился въ открытыхъ дверяхъ, не переступая порога. Мотнувъ головою, чтобы оправить мѣшавшій ему воротникъ, онъ откашлялся и торжественно-звучнымъ, офиціальнымъ голосомъ началъ читать приговоръ подсудимой.

Этотъ приговоръ осуждалъ ее на лишеніе всѣхъ правъ состоянія и ссылку на поселеніе въ Томскую губерніи.

— Довольны ли вы рѣшеніемъ? формально спросилъ секретарь, по окончаніи.

Бероева взглянула на него взоромъ, исполненнымъ такой горькой ироніи, на какую только и можетъ быть способенъ невинный человѣкъ, котораго ведутъ на плаху и спрашиваютъ: нравится-ль ему эта прогулка?

Она внятно отвѣтила:

— Довольна.

— Въ такомъ случаѣ подпишитесь—здѣсь вотъ, такъ требуетъ законъ, предложилъ ей чиновникъ.

Арестантка подписала, подъ диктовку, поднесенную ей бумагу, но все это исполнила какъ-то машинально, безсознательно, потому что и мысли въ головѣ, и ощущенія на сердцѣ начинали путаться и мѣшаться между собою.

LVII

Недѣля приготовленій

По возвращеніи въ тюрьму, Бероева уже не видѣла болѣе своихъ тюремныхъ товарокъ: ее немедленно отдѣлили отъ прочихъ и заперли въ особый, секретный нумеръ, потому что она съ этой минуты считалась уже «рѣшенною» преступницей.

Одна изъ надзирательницъ принесла ей евангеліе и объявила, что въ эту недѣлю заключенная должна говѣть, исповѣдываться и причаститься передъ предсдоящимъ послѣднимъ актомъ ея трагикомедіи.

Съ этой минуты Бероева какъ-будто переродилась. Надежды уже не было, но не было, и слезъ и отчаянія. Постигшее ее горе было слишкомъ тяжело и громадно, для того чтобы разрѣшаться ему слезами, воплями и напраснымъ сѣтованіемъ на судьбу и людей; оно жило въ ней, висѣло надъ нею какъ страшная свинцовая туча, которая, медленно надвигаясь со всѣхъ концовъ горизонта, кажется какъ-будто все опускается ниже и ниже, кажется какъ будто вотъ-

вотъ наляжетъ она на грудь земли и задавитъ ее собою; а между тѣмъ не разрѣшается грозою, и если ужъ разразится, то моментально, чѣмъ-то ужаснымъ и неслыханнымъ. Такъ было на душѣ Бероевой. Она какъ-будто даже стала совсѣмъ спокойна, даже вполнѣ владѣла собою, словно бы въ нормальномъ человѣческомъ состояніи; но это самообладаніе и спокойствіе заключало въ себѣ нѣчто гордое, роковое, непримиримое и грозное. При внимательномъ взглядѣ сдѣлалось бы страшна за такое спокойствіе.

Первымъ дѣломъ, она выпросила себѣ бумаги и перо и написала всего только нѣсколько словъ:

«Снарядите обоихъ дѣтей въ дорогу; они идутъ со мною въ Сибирь. Недѣли черезъ три меня вѣрно уже привезутъ въ Москву — пусть къ этому времени будутъ готовы».

Попросивъ объ отправкѣ письма, она уже никого и ни о чемъ не просила болѣе, даже ни съ кѣмъ не говорила все время. Когда, по какой-либо надобности, входили въ номеръ заключенницы, ее находили постоянно за чтеніемъ евангелія; но читала она какъ-то машинально, безучастно къ мысли этой книги, а такъ — потому что нечѣмъ больше наполнить безконечно-долгое, однообразное время. Приходили звать ее въ церковь — она молча повиновалась, молча выстаивала службу и точно такъ же возвращалась оттуда въ свою комнату, ни на кого не глядя, ни на что не обращая даже самаго мимолетнаго вниманія. Она только безпрекословно исполняла то, чего отъ нея требовала обычная формальность.

Наступилъ день исповѣди — Бероева стала передъ священникомъ.

— Чувствуешь ли ты всю глубину и весь ужасъ твоего преступленія? Раскаялась ли вполнѣ и откровенно всѣмъ сердцемъ и помышленіемъ своимъ, чтобы быть достоною приступить къ сему великому таинству? тихо сдѣлалъ онъ вступленіе, передъ началомъ своего пастырскаго увѣщанія.

Эти почти формальныя въ подобныхъ случаяхъ слова показались Бероевой величайшею ироніей, какою только могла судьба издѣваться надъ нею — и она не сдержала горькой усмѣшки, которая легкою тѣнью пробѣжала по ея лицу.

Священникъ, исполняя подобнымъ вопросомъ только надлежащій

приступъ, и потому съ нѣкоторой разсѣянностью глядя на предстоящую арестантку, которыхъ, быть можетъ, не первая уже тысяча предстояла передъ нимъ въ точно такомъ же положеніи, не замѣтилъ ея горькой улыбки, но взглянувъ на ея склоненную голову, счелъ это за утвердительный отвѣтъ и продолжалъ свое увѣщаніе.

— Надо надѣяться на милость божію... И разбойникъ на крестѣ сподобился, а мы, христіане, и того наипаче, говорилъ онъ, съ благочестивымъ воздыханіемъ:—участь, предстоящая тебѣ, положимъ, и весьма горестна, однакоже не печалься... Я, какъ пастырь, желаю дать тебѣ духовное утѣшеніе... Ты разрываешь нынѣ всѣ узы съ прошлою жизнью и передъ началомъ жизни новой...

Бероевой стало невыносимо горько и тяжело.

— Да, батюшка! съ этими людьми и съ этою жизнью всѣ мои счеты покончены, прервала она, съ печальнымъ одушевленіемъ вскинувъ не него свои взоры:—что̀ бы тамъ ни ждало впереди—теперь уже все равно!—Къ чему утѣшенія?... Мнѣ ужь не надо ихъ больше!... Начинайте исповѣдь.

Священникъ поглядѣлъ на нее съ удивленіемъ; но видно въ этихъ глазахъ сказалось ему слишкомъ уже много замкнутаго въ самомъ себѣ горя, для того чтобы еще растравлять его какимъ-либо посторонним прикосновеніемъ, и потому, помолчавъ съ минутку, онъ прямо уже началъ предлагать ей обычные пастырскіе вопросы.

На другой день, передъ обѣдней, арестанткѣ перемѣнили костюмъ: черное платье замѣнилось полосатымъ тиковымъ, въ какомъ обыкновенно ходятъ «нетяжкія» заключенницы, для того, чтобы она не прячащалась въ своемъ «позорномъ татебномъ капотѣ».

Два утра слѣдовавшихъ за симъ двухъ дней, Бероева постоянно находилась въ нервной ажитаціи. Она смѣло глядѣла въ глаза грядущей судьбѣ, но страшилась единственно лишь послѣдняго спектакля, не могла помириться съ мыслью о томъ позорѣ, который неминуемо ждетъ ее на прощанье съ покидаемой жизнью.

Каждый звукъ шаговъ, приближавшихся къ ея двери, каждый поворотъ ключа въ замкѣ заставлялъ ее блѣднѣть и вздрагивать, и холодѣть, а сердце колотиться мутящей тоской ожиданія — но обѣ эти мучительныя утра ей суждено было обманываться, и это, наво-

нецъ, истомило ее такъ, что въ ожиданіи слѣдующаго дня и тѣхъ же неизмѣнныхъ ощущеній, она уже тоскливо спрашивала себя:

— Да скоро ли же, наконецъ, скоро ли?... Хоть бы кончали уже!...

Послѣ долгой и почти безсонной ночи, для осужденной наступилъ и разсвѣтъ ея третьяго утра.

LVIII

Прогулка на фортункѣ къ Смольному затылкомъ

Во второмъ часу ночи, на Конную площадь грузно ввалились три скрыпучія телеги, наполненныя грудою какихъ-то досокъ и бревенъ. Остановились посерединѣ, а рабочіе люди стали скидывать на землю привезенный матеріалъ, а другіе въ это самое время, на квадратномъ разстояніи вырыли четыре ямки, куда были вкопаны четыре столба. По глухой и безлюдной окрестности гулко раздавалось постукиваніе топоровъ да обуховъ и—кой-когда доносился до слуха соннаго сторожа разный говоръ съ восклицаніями, то энергическаго, то веселаго свойства.

— Ну. Андрюха, прилаживай чёртохвостъ, прилаживай доситу! Что̀ осовѣмши сидишь, словно тетеревъ какой?—Работа пишто-себѣ, веселая.

— Что̀ въ ёй веселаго!... Все едино, какъ ни есть, а все она работа значитъ.

— А тебѣ какъ?! только бы въ распивочной на счетъ косушекъ работа̀ть бы? Ишь ты, персуля какая важная!

— Терентьичъ! Кобылу-то утверждать, аль нѣтъ?

— Кобылу ни для чево—потому пороть, значитъ, не будутъ, а только такъ для близиру одного, чтобы публикѣ, значитъ, примѣръ...

— А кого это, мужика, аль бабу?

— Бабу, сказывали... Люблю я это, братцы!

— Хреста на тебѣ нѣту, что̀ ли?... «Люблю!»... Эки слова-то говоритъ какія!

— А что̀ жь, мы ничево, мы, значитъ — слова, какъ слова; что жь дурнова?...

— Да и хорошаго ни хера — спина, чай, искупленная.

— Чужая не своя.

— Погоди маленько; можетъ, когда и до твоей доберутся!

— А что жь такое? — Мы, какъ есть, этта, одно слово, что ничево... И для меня тогда, значитъ, тоже амвонъ этотъ самый поставятъ.

Подошли мимоходомъ какія-то три неизвѣстныя личности, вида полунощно-подозрительнаго. Подошли, остановились и на работу поглазѣли.

— Чтó это, братцы, строится?

— А нешто не знаете?... Штука-то вѣдь, поди чай, про вашего брата работана. Кому и знать, коль не вамъ!

— Да ты что жь лаешься? Ты говори, коль спрашиваютъ!

— А что вамъ говорить!? Вы вотъ погуляйте поболѣ по карманамъ; можетъ, и отвѣдаете... Да ладно, отваливай отсéдова! Нéчего вамъ тутъ! Ишь ты, мазурà оголтѣлая!

Три полунощника отходятъ, весьма недовольные такимъ нелюбезнымъ пріемомъ рабочихъ.

— А можетъ, и въ самъ-дѣлѣ, когда нибудь достукаешься [1]), братцы, до этого цырмуньялу? раздумчиво замѣчаетъ на пути одинъ изъ нихъ своимъ товарищамъ.

— Волковъ бояться, такъ и въ лѣсъ не ходить! откликается другой: — а ты, ребята, вотъ что смекай: это дѣло намъ очинно на руку. Толпа-то вѣдь большая будетъ — только не зѣвай да трéкай бойчѣе, а рабатить граблюхамъ по ширманамъ вволю, значитъ, можно, при эфтомъ случаѣ — самое разлюбезное дѣло! [2]).

И три полунощника исчезаютъ въ темнотѣ громадной площади.

— Ну, ребятки, теперича, значитъ, столбушку только приладить— и шабàшъ! совсѣмъ готово будетъ! раздается голосъ рабочаго, среди звякапья и стука топоровъ; а въ это самое время дежурный городовой обходитъ окрестные дома и оповѣщаетъ дворниковъ, что на утро «наказывать будутъ, такъ чтобы съ каждаго дома народу побольше, а коли нельзя, такъ ужь хоть бы по одному человѣку

---

[1]) *Достукаться*—дожить.

[2]) *Трекать*—производить нарочно давку въ толпѣ, чтобъ удобнѣе воровать; *граблюха*—рука, *ширманъ*—карманъ.

согнать на площадь — потому начальство велитъ, чтобы смотрѣли, значитъ».

Часа черезъ два веселая работа была кончена; телеги, съ тѣмъ же скрыпомъ, рысцой удалились восвояси, и на пустынной площади, въ передрасвѣтномъ сѣроватомъ мракѣ, неясно чернѣясь, осталась одна только безобразная масса эшафота.

Въ пять часовъ, на разсвѣтѣ, дверь секретнаго нумера тихо отворилась, и въ комнату осторожной походкой вошла, съ узломъ въ рукѣ, старушка-надзирательница.

Ночникъ на стѣнѣ тускло домигивалъ свой огонекъ, едва боровшійся съ бѣловато-сѣрымъ королитомъ утра, слабо проникавшимъ за рѣшотки тюремнаго окошка.

Осужденная спала глубокимъ сномъ. Истомленный организмъ ея наконецъ поддался натурѣ; тяжелыя мысли и черное горе, словно наболѣлая рана, ненадолго угомонились наконецъ, послѣ нѣсколькихъ безсонныхъ ночей, въ этомъ опьяненномъ забытьи, которое одолѣло не болѣе какъ за часъ до прихода старушки.

Подойдя на цыпочкахъ къ постели Бероевой, она остановилась въ нерѣшительности и долго стояла надъ нею, глядя въ сонное лицо своимъ безконечно-добрымъ и грустно-сострадательнымъ взглядомъ. Ей было жаль будить ее.

«Спитъ... Поди-ко, во снѣ и не чуетъ, бѣдная, что уже все готово»... подумала она, покачавъ своей старою головою, и тихо дотронулась до спящей.

Бероева вздрогнула и широко раскрыла испуганные глаза.

— Вставайте... пора... Ужь тамъ ожидаютъ васъ, сказала Мавра Кузьминишна, кротко взявъ ее за руку.

— Кто ожидаетъ?... зачѣмъ?... смутно спросила арестантка, позабывъ и не разобравъ еще со сна, какой смыслъ имѣетъ этотъ приходъ въ необычную пору.

Старушка смущенно насупилась, не находя какимъ бы образомъ полегче и въ какихъ именно словахъ объяснить ей наступившую роковую минуту.

Но Бероева все уже поняла. Еще не дальше, какъ наканунѣ вечеромъ, она такъ тосклиро желала, чтобы съ ней поскорѣе кончали,

чтобы не мучили ее долѣе этой неизвѣстностью и томительнымъ ожиданіемъ развязки; а теперь, когда наконецъ такъ внезапно наступила послѣдняя рѣшительная минута — ей вдругъ сдѣлалось страшно — въ головѣ опять проснулся и безпощадно всталъ этотъ грозный призракъ публичнаго позора, и она, усѣвшись на своей арестантской постели, затрепетала всѣмъ тѣломъ, нервически и сильно вздрагивая повременамъ и неподвижно уставя на опечаленную старушку свои помучённые тоскливымъ ужасомъ и какъ-бы совсѣмъ одурѣлые глаза.

— Бррр... какъ здѣсь хóлодно... хóлодно... болѣзненно-слабымъ голосомъ и словно безсознательно произнесла она, такъ что звукъ этого голоса даже нѣсколько испугалъ старушку: ей показалось, будто осужденная не то въ горячкѣ, не то помѣшалась.

— Нѣтъ, это вамъ такъ кажется, заботливо поторопилась она успокоить ее: — давайте-ка, я вамъ помогу одѣться — теплѣе будетъ... я вотъ и платье вамъ принесла.

Бероева, съ помощью ея, поднялась съ постели.

— Вотъ вамъ чистая рубаха — надо ужь непремѣнно во все чистое одѣться, говорила старушка, помогая ей при этомъ эшефотномъ туалетѣ: — вотъ умоемся сейчасъ — водица-то холоднепькая, освѣжитъ немножко...

И Мавра Кузьминишна старалась какъ можно болѣе разговорить осужденную, желая всѣмъ сердцемъ отвлечь и разбить посредствомъ этого ея мрачныя мысли. Бероева одѣла наконецъ «позорное» платье чернаго цвѣта — и туалетъ ея былъ конченъ.

— Мнѣ дурно... черезъ силу проговорила она со стономъ и, мертвенно блѣдная, опустилась на руки старушки.

Та усадила ее на кровать, суетливо подала напиться кружку воды да виски смочила.

Бероевой черезъ минуту нѣсколько полегчало.

— Тоска... Ахъ, какая тоска... Подъ сердцемъ гложетъ... снова болѣзненно заговорила она, въ изнеможеніи хватаясь рукою то за грудь, то за голову: — страшно... страшно мнѣ... О, если бы можно было умереть въ эту минуту!... Господи! Боже мой! дай ты мнѣ это счастіе, пошли ты мнѣ смерть истерически воскликнула она и тяжко зарыдала.

— Мавра Кузьминишна!... Голубушка!...

И съ этимъ воплемъ, арестантка, словно въ предсмертной, мечающейся тоскѣ, поникла головою на грудь неотступно стоявшей передъ нею старухи и обвила ее своими безсильными руками. Добрая женщина, при видѣ такого раздирающаго душу горя, и сама страдала въ эту минуту, хотя много и много разъ на своемъ старушечьемъ вѣку доводилось ей снаряжать на эшафотъ осужденныхъ. По щекамъ Мавры Кузьминишны неудержимо текли слезы, но она все-таки не переставала ободрять арестантку.

— Перестаньте, вы убьете себя, сказала она ей рѣшительно и строго.

— Да, убью!... Я хочу убить себя! съ какою-то мрачной, полупомѣшанной восторженностью откликнулась Бероева.

— Опомнитесь: у васъ есть дѣти... Грѣшно вамъ желать этого! еще больше возвысила та голосъ — и эти слова, словно электрическій ударъ, пронзили все существо осужденной. Она встрепенулась, быстро обтерла свои слезы и выпрямилась съ необыкновенно энергической рѣшимостью.

— Такъ!... да, это правда — спасибо вамъ! сказала она голосомъ, которому усиливалась придать всевозможное спокойствіе, и съ благодарностію посмотрѣла въ глаза старухи.

— Добрая моя!... Да вы плачете?... Вамъ жаль меня?... Мавра Кузьминишна, вы — честный, хорошій вы человѣкъ! Вотъ все, чѣмъ я могу отплатить вамъ за это...

И она крѣпко пожала ей руки.

— Ну, теперь я спокойна... Пойдемте, Мавра Кузьминишна — я готова.

Арестантка сдѣлала нѣсколько твердыхъ шаговъ къ своей двери, но передъ нею замедлилась.

— Впрочемъ, нѣтъ, промолвила она, возвращаясь: — простимся прежде... Вы мнѣ были здѣсь и другомъ, и матерью—благословите меня.

И старушка медленно, и набожно стала осѣнять крестнымъ знаменіемъ ея благоговѣйно-склоненную голову.

Бероева тихо и долго приникла губами къ благословившей ее

рукѣ и съ твердымъ спокойствіемъ вышла за дверь секретнаго нумера.

Семь часовъ утра. На улицахъ еще мало движенія; снуётъ только чернорабочій людъ, кухарки торопливо шлёпаютъ на рынокъ, горничныя шмыгаютъ въ булочную, мѣщанка-ремесленница проскользнула въ мелочную лавочку — взять на гривну топлёныхъ сливочекъ къ кофейкѣ грѣшному, дворники панель подметаютъ, да шныряютъ изъ воротъ въ ворота разнощики, съ криками «рыба живà, сигерши живыи, огурцы зелены, говядина свѣжая». Въ воздухѣ носится тотъ утренній гулъ, который обыкновенно возвѣщается начало движенія и жизни пробудившагося города.

Но вотъ, среди этого гула послышался на перекресткѣ рѣзкій грохотъ барабана — любопытные взоры прохожихъ внимательно обращаются въ ту сторону.... Чтó тамъ такое? — Толпа народа валитъ... солдаты, штыки... надъ толпою чернѣется что-то... Изъ всѣхъ подъѣздовъ и подворотень, изъ всѣхъ дверей мелочныхъ лавчонокъ на встрѣчу выскакиваетъ всевозможный рабочій и черный людъ, привлеченный барабаннымъ боемъ.

Приближается торжественный поѣздъ.

Шаговъ на тридцать опередивши его, богъ-знаетъ зачѣмъ и для чего ковыляетъ, широко размахивая руками, полицейскій солдатъ: каска, отъ торопливости и ходьбы, какъ-то комично сдвинулась у него на бокъ, лицо выражаетъ начальственную строгость и озабоченность: видно, что полицейскій чувствуетъ, будто и онъ тоже власть имущій, поэтому отгоняющимъ образомъ помахиваетъ порою на встрѣчную скучившую толпу и все ковыляетъ, все ковыляетъ такъ торопливо, словно чувствуетъ, что спѣшитъ по необычайно важному дѣлу.

Вотъ на статныхъ и рослыхъ коняхъ, плавно покачиваясь, выступаютъ жандармы, съ обнаженными саблями, а за ними—гарнизонный офицеръ и два барабанщика, которые на каждомъ перекресткѣ начинаютъ выколачивать тотъ отвратительно дѣйствующій на нервы бой, который обыкновенно раздается, когда разстрѣливаютъ или вѣшаютъ человѣка, или когда ведутъ его къ позорному столбу на эшафотѣ. За барабанщиками — каре штыковъ, а по бо

кимъ процессіи — опять-таки статные кони жандармовъ, и посреди этого конвоя медленно подвигается впередъ, слегка покачиваясь въ стороны, позорная колесница, на которой высоко утвержденъ досчатый черный помостъ, на помостѣ столбъ и скамейка, а на скамейкѣ сидитъ человѣческая фигура — затылкомъ впередъ — въ черной шапочкѣ и въ безобразномъ сѣромъ армякѣ, безъ воротника— для того, чтобы лицо было больше открыто, чтобы нельзя было какъ нибудь спрятать хоть нижнюю часть его. Руки этой фигуры, позади туловища прикручены назадъ, а на груди повѣшена черная доска съ крупною бѣлою надписью: *за покушеніе къ убійству*. За позорными дрогами ѣдутъ два аплечные мастера: одинъ—приземистый и молодой, другой — рыжебородый, высокій и плечистый — оба въ надлежащемъ костюмѣ, приличномъ этому обстоятельству, и везутъ они съ собою, для проформы, «скрипку» — узенькій черный ящикъ, въ которомъ хранится «инструментъ», то-есть изженные клейма съ принадлежностію и ременныя плети; за палачами ѣдутъ — полицейскій приставъ, исполняющій казнь, и секретарь со стряпчимъ, а позади ихъ священникъ въ эпитрахилѣ и скуфейкѣ, съ крестомъ въ рукѣ; и наконецъ все это шествіе замыкается толпою любопытно-глазѣющаго народа, который валомъ-валитъ вслѣдъ колесницѣ и порывается, во что бы то ни стало, заглянуть въ лицо преступницѣ, чтобы поглядѣть, «какая-такая она есть изъ себя-то?»

Бросьте взглядъ на физіономіи этой бѣгущей толпы — и сколько различныхъ оттѣнковъ мысли и чувства уловите вы въ одномъ этомъ бѣгломъ обзорѣ! Тутъ найдется и тупое, овечье любопытство, и недоумѣло-запутанный страхъ, и своего рода фланерское равнодушіе, и какой-то тоскливый болящій оттѣнокъ въ движеніи глазъ и личныхъ мускуловъ; но болѣе всего, какъ самое характерное проявленіе отношеній толпы къ преступнику, прочтете вы на лицахъ сострадающее, грустное, христіански-человѣческое чувство. Попадется прохожій на встрѣчу, взглянетъ, остановится, и какъ-то невольно вырывается у него безъотносительный вопросъ: «что это такое?»

— «*Несчастную*» везутъ! отвѣчаютъ мимоходомъ въ толпѣ — и прохожій набожно крестится, молясь и за несчастную, и за себя

и за всяку душу живую, чтобы Господь помиловалъ и избавилъ ихъ отъ этой ужасной доли.

Не любитъ русскій человѣкъ подобныхъ церемоній.

Между тѣмъ тихо и долго тянется позорный путь осужденной отъ литовскаго замка до конной площади, по которому надо проѣхать, съ подобнымъ тріумфомъ, цѣлыя пять верстъ, а эти пять верстъ покажутся за цѣлую вѣчность человѣку, сидящему на высокомъ, черномъ помостѣ, и проѣхать ихъ надо по самымъ большимъ и люднымъ улицамъ — отъ Офицерской, пересѣкая Вознесенскій проспектъ на Большую Мѣщанскую, оттуда вправо по Гороховой, затѣмъ на Загородный проспектъ и по Владимірской площади черезъ Колокольную на Николаевскую, а тамъ — вдоль Невскаго къ московской желѣзной дорогѣ; откуда уже поѣздъ заворачиваетъ влѣво, по Лиговкѣ, къ своей конечной цѣли — на Конную площадь — цѣлыя десять людныхъ улицъ, избранныхъ для увеличенія позора осужденнаго преступника.

Но на этой площади, покрытой народомъ, ни эшафота, на немъ стоящаго, не могла видѣть Бероева: она сидѣла лицомъ назадъ — ради удовлетворенія любопытства бѣгущей толпы.

Наконецъ поѣздъ остановился посрединѣ Конной. Два палача отвязали руки Бероевой и, сведя съ помоста, ввели ее въ каре военнаго конвоя, передъ эшафотъ, окруженный съ четырехъ сторонъ штыками, за которыми волновалась прихлынувшая отовсюду толпа народа.

Секретарь, въ гражданскомъ мундирѣ, выступилъ впередъ и вынулъ изъ кармана свернутый листъ бумаги.

— Слушай, на кра-улъ! раздалась воинская команда — и руки конвоя отчётисто-рѣзко звякнули въ воздухѣ. Барабаны ударили «походъ», и черезъ минуту, когда замолкъ ихъ грохотъ, до слуха толпы отрывочно стали долетать слова читаемой секретаремъ бумаги: «по указу... судъ... за покушеніе къ убійству... на основаніи статей... положили»... И далѣе — все, что обыкновенно читается въ этихъ случаяхъ.

— Слушай, на пле-чо! — и священникъ въ послѣдній разъ приблизился къ Бероевой.

— Да благословитъ тебя Богъ и да дастъ тебѣ крѣпость и вѣру.

сказалъ онъ, осѣняя ее крестомъ. — Теперь, умирая политическою смертью, ты окончательно уже разрываешь всѣ узы съ симъ міромъ... Да благословитъ и направитъ тебя Богъ на путь истины въ открывающейся нынѣ предъ тобою жизни новой.... Господь съ тобою!»

И приложивъ къ губамъ ея распятіе, онъ отошелъ въ сторону. Тогда два палача, въ своихъ традиціонныхъ красныхъ рубахахъ, и въ чорныхъ, плисовыхъ шароварахъ, съ высокими сапогами, взяли осужденную подъ руки и по лѣстницѣ взвели ее на помостъ чернаго эшафота. Барабаны снова заропотали ужасающій живую душу бой къ экзекуціи.

Толпа заколыхалась еще болѣе, и еще слышнѣе пошелъ по ней какой-то смѣшанный, тысячеголосный гулъ.

Бероеву подвели къ высокому, черному столбу, продѣли ея руки въ желѣзныя кольца, прикрѣпленныя къ этому столбу цѣпями, и надвинувъ ихъ до самыхъ плечъ, подмышки, оставили ее на позорномъ мѣстѣ. Осужденная, слегка приподнятая этими кольцами кверху, какъ-то повисла всѣмъ тѣломъ у своего столба. Вѣтеръ слегка колыхалъ ея черное платье и полы сѣраго армяка. Толпа уже въ нѣмомъ молчаніи глядѣла теперь на эту сѣрую фигуру съ доской на груди. Многія головы обнажились, многія руки поднялись къ челу, творя крестное знаменіе. Эти люди молились за своего ближняго — за «несчастную», голова которой все время была поднята кверху, глаза тоже устремлены въ пространство, и пристально смотрѣли въ лѣтнѣе небо, слегка подернутое туманомъ, чтобы не видѣть ни эшафота, ни толпы-свидѣтельницы позора — и никого и ничего въ цѣломъ мірѣ...

Но вотъ утренній лучъ солнца пробился на мгновеніе сквозь бѣлесоватый туманъ, заигралъ на прорѣзныхъ крестахъ знаменской церкви и ярко ударилъ въ лицо осужденной.

Прошло минутъ около пяти — и голова ея безсильно-тихо опустилась на грудь, и повисла у края доски съ бѣлою надписью.

Казалось, будто къ позорному столбу привязана мертвая женщина.

Въ свѣжемъ и тепломъ воздухѣ далеко пронеслась густымъ своимъ звукомъ, протяжная волна перваго удара въ колоколъ — у Знаменья заблаговѣстили къ ранней обѣднѣ.

Вставало тихое, безмятежное лѣтнее утро.

По прошествіи десятиминутнаго срока, актъ политической смерти былъ исполненъ. Уголовную преступницу, Юлію Николаеву дочь Бероеву, сняли съ эшафота. Военная команда, послѣ отбоя, удалилась съ площади, гдѣ остались одни полицейскіе — и народъ, не видя уже передъ собою сдерживающаго оплота, волнами отовсюду хлынулъ къ арестанткѣ. На многихъ женскихъ глазахъ виднѣлися слезы — и трудовыя, убогія гривны да пятаки со всѣхъ сторонъ посыпались къ ногамъ Бероевой.

— Прими, христа-ради!... прими, несчастненькая! то и дѣло слышались въ толпѣ сочувственныя, сострадающія восклицанія. Кто находился ближе всѣхъ къ осужденной, тотъ поднималъ съ земли эту мірскую лепту, и старался всунуть то въ руку, то въ карманъ ей подобранныя деньги; сама же Бероева стояла, поддерживаемая солдатомъ, смутно сознавая окружающіе предметы, въ какомъ-то апатическомъ, безсильномъ состояніи, весьма близкомъ къ безчувственности.

— Богъ-вѣсть, можетъ, еще и занапрасно, можетъ, она и невиновата еще — всяко вѣдь бываетъ! толковали въ народѣ.

— Надысь, сказываютъ, тоже одного безвиннаго наказали...

— До ужь теперича виновата ли, нѣтъ ли — дѣло поконченное...

— Не приведи Господи!... Сохрани и помилуй, заступница-матушка! слышится слезливо-сокрушенный бабій голосъ.

— А для-ча-жь не пороли ее? раздается въ другомъ концѣ голосъ мужской.

— Потому — благородная, надо быть, откликаются ему.

— Да, и слава-богу... Что хорошо?... Страсть вѣдь и глядѣть на это, потому — человѣкъ вѣдь...

— Нѣтъ, ничево: мы привыкши къ эфтимъ дѣламъ!

— Привыкши!... Да ты откелева?

— А здѣшніе... Обыватели, значитъ, съ самой съ Копной—тутъ и живемъ.

— Ну, это точно что... А мы деревенскіе, такъ какъ оно въ диковину.

— По настоящему, по божескому то-есь разсудить теперича, такъ хорошенькой душѣ и глядѣть-то на это не слѣдъ бы, да ужь такъ только, прости Господи...

— Любопытственно, Дарья Савельевна, очинно ужь любопытственно!...

— Я доседова съ самой Гороховой бѣжала все... думаешь-себѣ — хоть грошикъ подать ей: со всякимъ вѣдь это можетъ случиться.

— А изъ себя-то она какая хорошая — и смотрѣть-то жалость беретъ.

— Гей, ребята! Подѣмъ глядѣть: палачей повели въ кабакъ водку пить.

— Это ужь завсегда палачамъ по положенію, опосля шафота.... Пойдемъ робя!

— Да чево тамъ глядѣть-то? абнаковенно—пьютъ... Нешто, кабы самимъ хватить по малости?

— Эка, «чево»!... Поглядимъ! Цаловальникъ съ нихъ и денегъ николи не беретъ?

— Зачѣмъ не брать?

— А такъ ужь испоконвѣку ни одинъ не возьметъ—это вѣрно! и какъ только выпьетъ палачъ, такъ онъ сейчасъ, вслѣдъ за нимъ и посудину, и шкальчикъ объ землю хрепнетъ, разобьетъ, значитъ, чтобы никто ужь опосля изъ него и не пилъ болѣ.—А иной даже такъ и въ кабакъ не впуститъ, а возьметъ да вынесетъ къ порогу— тутъ и пей-себѣ!

— Это точно; потому какъ палачъ по начальству присягу такую даетъ, что отъ отца-матери отрицается; коли бы и ихъ пороть — онъ все жь-таки долженъ безпремѣнно — отказаться не моги! и значитъ, онъ отъ Бога проклятой есть человѣкъ за это.

— Какъ же проклятой, коли ему отъ начальства приказаю такъ?

— Приказано! — Силой вѣдь никто въ палачи не тянетъ; развѣ ужь коли самъ человѣкъ добровольно пожелаетъ тово, а насильно идти начальство не заставляетъ.

— Это ужь самый, что ни на есть анафема значитъ; хуже послѣдней собаки — почему, что даже не каждый убивца-разбойникъ въ палачи пойдетъ!

— А и достается же этимъ самымъ цаловальникамъ, коли ежели который попадетъ въ ихъ лапы — на кобылу!

— Еще бы недостаться! потому — злость...

И среди такихъ разговоровъ, народъ расходится въ разныя стороны.

Но замѣчательно нравственное отношеніе этого народа къ палачу и преступнику: послѣдній для него только «несчастный», за котораго онъ молится и подаетъ ему свои скудные гроши, тогда какъ о первомъ у него свои повѣрья имѣются, и кромѣ презрительной ненависти, онъ ничего къ палачу не чувствуетъ. Фактъ знаменательный и полный глубоко-гуманнаго смысла: въ этихъ повѣрьяхъ, въ этомъ битьѣ стакана и посудины, въ этомъ презрѣніи къ исполнителю кары, быть можетъ, самымъ яркимъ образомъ выразилось отвращеніе народа нашего и къ самой казни.

Потому что много страданій, много боли и крови лежитъ на его прошломъ... Ужъ и безъ того преступникъ, тяжкимъ лишеніемъ правъ и предстоящею каторгой, несетъ искупительную кару закона. — «Съ одного вола двухъ шкуръ не дерутъ», говоритъ народный разумъ.

LIX

Хлыстовщина-сладкоѣдушка [1]).

Къ Митрофаніевскому кладбищу съ нѣкоторыхъ сторонъ прилегаютъ обширные огороды, за которыми далѣе пойдетъ уже поле, да кое-гдѣ мелкій кустарникъ.—Мѣстность, вообще, смотритъ какимъ-то голымъ пузыремъ и отличается вѣчнымъ безлюдьемъ. Изрѣдка развѣ пройдетъ тамъ какая-нибудь «капорка-огородница», или сермяга прошагаетъ, да проскрипитъ телега, нагруженная огороднымъ навозомъ, либо овощью — и только.

Среди этихъ огородовъ уединенно стоятъ, на далекомъ разстояніи, двѣ-три избы, которыя смотрятъ чѣмъ-то покинутымъ, пустынимъ нежилымъ.—Кажется, какъ будто онѣ заброшены тутъ людьми на спокойное разрушеніе.

---

[1]) Послѣдователей хлыстовской секты въ народѣ называются лядами и сладкоѣдушками—послѣднее на томъ основаніи, что они любятъ ѣсть сладкое и особенно медъ.

Въ одной изъ нихъ, отличавшейся тѣмъ, что стѣны ея были, аршина на полтора, со всѣхъ сторонъ весьма плотно окопаны землею—почти никогда не было замѣтно движенія и жизни. Вечеромъ вамъ не мигнулъ бы въ глаза огонекъ въ ея оконцахъ; днемъ — вы не отыскали бы около нея живого человѣка, и только одинъ дымокъ, вылетавшій порою изъ трубы, заставлялъ предполагать, что тамъ внутри копошатся какіе-то обитатели.

И точно: каждый день на разсвѣтѣ, ползучею, дряхлой походкой, медленно выходилъ изъ дверей согбенный старецъ, въ длинной бѣлой рубахѣ ниже колѣнъ, крестился на востокъ, отдавая въ то же время по поклону на всѣ четыре страны свѣта, и затѣмъ, отворивъ ставеньки, удалялся вовнутрь избы, чтобы точно такимъ же порядкомъ снова появиться подъ вечеръ, когда посумерничаетъ въ небѣ и въ воздухѣ—и затворить ставни до новаго разсвѣта.

Порою показывалась около избы и какая-то пожилая женщина— въ черномъ. Справляла она кой-какую хозяйственную работу и, покончивъ дѣло, тотчасъ же удалялась въ свою нору.

И эти внѣшнія проявленія какой-то таинственной, уединенной жизни, среди огородныхъ пустырей, не подвергались ни чьимъ наблюденіямъ, по той простой причинѣ, что наблюдать тамъ рѣшительно некому.

Въ этой избѣ только и было двое обитателей: Паисій Логинычъ— согбенный старецъ, съ маленькимъ сухощавымъ лицомъ, словно бы оно было вылито изъ желтовато-бѣлаго воску, и съ большою лысиной, которую обрамляли длинные, серебрянные и мягкіе какъ шолкъ волосы, неволнисто падавшіе ему на уши, изсохшія плечи. Одѣтый въ свою обычную длинную и бѣлую рубаху, онъ напоминалъ скорѣй катакомбнаго христіанина первыхъ вѣковъ, чѣмъ человѣка, принадлежащаго нашему времени, и это характерное сходство усиливали въ немъ его старчески-свѣтлоголубые и какъ-бы водянисто-выцвѣтшіе глаза безконечно кроткаго, почти дѣтскаго выраженія. Паисію Логинычу шелъ уже чуть-ли не девятый десятокъ, и однако, для этихъ лѣтъ, онъ былъ довольно еще бодръ и тѣломъ и духомъ.

Сообитательница его звалась Устиньей Самсоновной. Это была женщина лѣтъ гораздо за сорокъ, постная, строгая — таковою, по

крайней-мѣрѣ, представлялась она по внѣшности, съ перваго взгляда. Сутуловато-высокая, сухощавая и вѣчно одѣтая въ черное, съ головною повязкой чернаго же цвѣта, какъ обыкновенно носятъ женщины хлыстовской секты — она казалась болѣе монахиней, чѣмъ мірянкою. Оба они—и старецъ Паисій, и матушка Устинья—принадлежали къ таинственно-темному, религіозному согласію, которое извѣстно въ народѣ подъ именемъ «хлыстовщины», и оба играли довольно важныя роли въ мѣстномъ петербургскомъ «кораблѣ» этой секты.

Никогда никто не слыхалъ отъ Устиньи Самсоновны блажнаго, пустячнаго слова, сказаннаго зря и на вѣтеръ; даже улыбалась она рѣдко; но никогда не случалось съ ней и того, чтобы облаять, или оборвать человѣка ни зачто, ни прочто. Отношенія ея съ людьми, которыхъ почитала она *своими да божьими*, то есть близкими къ сектѣ, постоянно отличались сановитой радушностью; съ посторонними же, особенно съ *сынами антихристовыми*, она была весьма чутко и осторожно сдержанна и никогда не обмолвливалась лишнимъ, невзвѣшеннымъ словомъ.

Устинья Самсоновна хотя и была баба фанатически-придурковатая, однако знала себѣ цѣну и поэтому пользовалась въ «согласіи» величайшимъ уваженіемъ: ее постоянно не иначе называли, какъ «матушкой» и даже «пророчицей». И точно: для мѣстнаго хлыстовскаго согласія — какъ мы уже сказали — она являлась необыкновенно важной и необходимой особой, потому что живя среди пустынной мѣстности, держала у себя тайную молельню.

Хотя «Верховный Гость — Данило Филипповичъ», явившись на землю, побросалъ всѣ свои книги, за ненужностью, въ Волгу, и установилъ—не имѣть книжнаго ученія, а ходить по его преданію и по вдохновеніямъ пророковъ; однако Устинья Самсоновна была великая начотчица и держала у себя старопечатныя книги и кой-какія рукописанія нѣкоторыхъ постороннихъ сектъ: она любила узнавать, какія иныя вѣры есть на свѣтѣ и, зная догматы этихъ иныхъ вѣръ, очень успѣшно могла диспутировать въ пользу вѣры хлыстовской. Сама она, въ былое время, жила келейницей въ скиту у Филиппоновъ, въ Ярославской губерніи, гдѣ и произошла всю книжную премудрость; но потомъ, ища всѣмъ хотѣніемъ и помы-

шленіемъ своимъ—которая вѣра правая? — послѣ долгихъ шатаній во тьму кромѣшной, познала наконецъ вѣру хлыстовскую и перешла въ нее. Это была женщина «искавшая и обрѣтшая» — женщина, вполнѣ искренно убѣжденная въ избранномъ догматѣ и крѣпко стоявшая «на правилѣ» хлыстовскомъ. Во время своей дѣвической келейной жизни, ей пришлось много и много, во всю широкую вольную волю предаваться любовнымъ страстямъ, грѣху и соблазну, такъ что сама натура ея запросила и заалкала наконецъ иной жизни—болѣе строгой, суровой и постнической.

И тутъ-то новымъ наставникомъ ея явился старецъ Паисій Логиновичъ, изъ «братьевъ-богомоловъ», который вразумилъ ее, что всѣ прочія согласія поступаютъ отъ писанія, но не отъ духа божія, тогда какъ XII заповѣдь верховнаго гостя Данилы Филипповича гласитъ: «святому Духу вѣрьте». И очень по душѣ Устиньѣ Самсоновнѣ пришлися V-да VI заповѣди, въ коихъ божьимъ людямъ дому Израилева говорится: «Хмѣльнаго не пейте и плотскаго грѣха не творите. Не женимые не женитесь, а женимые разженитесь, и съ женою, какъ съ сестрою живите». Прежняя бурная жизнь опротивѣла ей вдосталь, такъ что она, лишь бы покончить со своимъ прошлымъ, всею душой прилѣпилась къ вѣрѣ хлыстовской; взяла свой скопленный капиталецъ и вмѣстѣ съ наставникомъ Паисіемъ Логинычемъ направилась во мрачное гнѣздо сѣвернаго Вавилона—съ тѣмъ чтобы спасать и соединить вкупѣ божьихъ людей, своихъ «братцевъ и сестрицъ по духу». И среди этого Вавилона антихристова—гдѣ застаетъ ее въ данную минуту читатель—Устинья Самсоновна пребывала уже по день своей смерти; а подъ конецъ жизни своей суждено было попытать еще одну, новую вѣру, отчего и пала тайно-содержавшаяся ею хлыстовская молельня. Но читателю придется еще короче познакомиться съ жизнію и дѣятельностію по вѣрѣ этой замѣчательной женщины, и потому теперь мы оставляемъ ее, ограничиваясь пока тѣми краткими свѣдѣніями, которыя только что сообщили.

LX

Нѣчто о хлыстахъ

Многочисленная тайная секта хлыстовъ всегда оставалась, да чуть-ли и по сей день еще не остается чѣмъ-то страннымъ и загадочнымъ для нашего офиціальнаго міра. Основанная еще при царѣ Алексіѣ Михайловичѣ, она постоянно стремилась захватывать въ нѣдра свои людей всѣхъ классовъ и сословій, не ограничиваясь, подобно прочимъ, однимъ только крестьянствомъ да купечествомъ. Въ 1734 году Анна Ивановна издала указъ, изъ котораго ясно можно замѣтить, что въ то уже время хлыстовская секта начинала сильно тревожить этотъ офиціальный міръ своимъ необычайно быстрымъ развитіемъ. «Разнаго званія духовныхъ и свѣтскихъ чиновъ люди обоего пола — писалось въ этомъ указѣ—князья и княгини, бояре и боярыни и другіе разныхъ чиновъ помѣщики и помѣщицы, архимандриты и настоятели монастырей, а также и цѣлые монастыри обоего пола, какъ напримѣръ, Ивановскій и дѣвичій въ Москвѣ, все это сполна принадлежало къ хлыстовской сектѣ, все это составляло «согласіе божьихъ людей, поклоняющихся Богу живому».

Поповщинскія и безпоповщинскія согласія, по преимуществу, тяготѣютъ въ Москвѣ; вѣры же «божьихъ людей», то-есть хлысты со скопцами облюбили Петербургъ, хотя первымъ и Москва тоже «многолюбезна». Но облюбили они этотъ «Питеръ-градъ», вѣроятно, на томъ основаніи, что хлыстовское согласіе составляетъ какъ-бы переходную степень къ болѣе совершенной вѣрѣ «божьихъ людей», къ согласію скопческому, у котораго всѣ симпатіи—въ Петербургѣ. Можно сказать почти съ достовѣрностью, что скопчество естественнымъ путемъ истекло изъ хлыстовщины въ прошломъ вѣкѣ. Однако, несмотря на эту болѣе совершенную вѣру; несмотря на то, что скопцы давно уже помышляли о слитіи своихъ кораблей съ кораблями хлыстовскими, эти послѣдніе продолжаютъ жить вполнѣ самостоятельною жизнью. Прошло болѣе восьмидесяти лѣтъ со времени указа Анны Ивановны, а хлыстовскія общины растутъ и крепнутъ, пріобрѣли все болѣе новыхъ адептовъ, такъ что въ 1817 году Михайловскій замокъ въ Петербургѣ сдѣлался однимъ изъ

важнѣйшихъ сектаторскихъ пунктовъ. Тамъ, въ квартирѣ полковницы баронессы Б., устроилось тогда постоянное молитвенное сборище сектантовъ, между которыми было очень много гвардейскихъ офицеровъ. Душою и чуть-ли не «богиней» этого дѣла явилась женщина энергическая, какъ говорятъ, весьма умная, стойкая характеромъ и сильная фанатичка. Это была нѣкто подполковница Т.—Какъ Б., такъ и Т. принадлежали къ очень извѣстнымъ, даже отчасти аристократическимъ фамиліямъ. Никакія офиціальныя раскрытія сборищъ, никакія офиціальныя внушенія не могли остановить стремленій этой пропагандистки — и въ 1838 году ее снова накрываютъ и схватываютъ вмѣстѣ со всѣмъ согласіемъ, находившимся въ сборѣ, въ одномъ уединенномъ домѣ, близъ московской заставы. Но тутъ для захватившихъ вышелъ скандалъ неожиданный: кромѣ лицъ, участвовавшихъ въ собраніяхъ семнадцатаго года, здѣсь было значительное число новыхъ. Тамъ были гвардейскіе офицеры, здѣсь — дѣйствительные статскіе и даже тайные совѣтники, между коими особенно выдавался извѣстный П. А. въ это же самое время богатый русскій баринъ, многоземельный помѣщикъ разныхъ губерній, отставной подполковникъ Д., является вдругъ самымъ ревностнымъ пропагандистомъ хлыстовщины, становится апостоломъ, наставникомъ и соединяетъ въ своей пространной аудиторіи крестьянъ и дворянъ, мужчинъ и женщинъ, православныхъ русскихъ и лютеранъ-нѣмцевъ. Такимъ образомъ пропаганда не умираетъ — и въ 1849 году опять открываются общества хлыстовъ, которыхъ называли, на сей разъ, адамистами; и тутъ опять-таки тѣ же самыя лица, которыя участвовали въ сборищахъ баронессы Б, и подполковницы Т., а между ними были особы весьма даже значительныя, такъ что по поводу нѣкоторыхъ особенныхъ обстоятельствахъ, дѣло о раскрытіи тайнаго общества адамистовъ болѣе не продолжалось.

Но трудно было офиціальному міру проникать «во внутренняя» этихъ собраній, въ самый смыслъ загадачнаго для него ученія, потому, вопервыхъ, что заповѣдь хлыстовская воспрещаетъ имѣть что либо «писаное» относительно догматовъ согласія, живущаго однимъ только устнымъ преданіемъ и вдохновеніемъ; а вовторыхъ потому, что каждый проселитъ, послѣ долгихъ и трудныхъ испы-

таній, но прежде совершенія при немъ какихъ либо обрядовъ, клянется присягою «соблюдать тайну о томъ, что̀ увидитъ и услышитъ въ собраніяхъ, не жалѣя себя, не страшась ни кнута, ни огня, ни меча, ни всякаго насильства». Принципъ секты — духовное единеніе и братская любовь — соединяетъ въ одну молельню лицъ, несоединенныхъ ни на какихъ ступеняхъ общественной лѣстницы. «Бояринъ», напримѣръ, въ православной церкви—de facto все-таки остается «бояриномъ», а здѣсь онъ только «братъ», и больше ничего; поэтому-то вмѣстѣ съ тайными совѣтниками, генералами, полковниками, князьями, купцами и помѣщиками—въ одной и той же молельнѣ собирались воедино лакеи и служанки, кучера и дворники, солдаты и крѣпостные. Всѣхъ этихъ людей соединяла вѣра въ грядущаго пророка, въ торжество своего ученія и надежда на *лучшее будущее*.

Этою-то сектой, или лучше сказать — собственно мѣстомъ сборища ея задумала воспользоваться, для собственныхъ и совсѣмъ особенныхъ цѣлей, одна петербургская компанія, которую составляли все лица, уже знакомыя читателю. Это были: докторъ генеральши фон-Шпильце, Herr Катцель, интимный другъ княгини Шадурской, Владиславъ Карозичъ (онъ же и Бодлевскій), Сержъ Ковровъ и загадочный венгерскій графъ—Николай Каллашъ. Но для того, чтобы читатель уяснилъ себѣ, какія были цѣли названной компаніи и какимъ образомъ она воспользовались хлыстовскимъ тайнымъ пріютомъ, мы необходимо должны будемъ вернуться нѣсколько назадъ и отчасти начать дѣло, что называется, ab ovo.

LXI

Чудной гость

За̀ годъ до послѣднихъ событій нашего разсказа, по разнымъ темнымъ притонамъ Сѣнной площади, началъ, время отъ времени, показываться новый и нѣсколько странный посѣтитель. Темный людъ не могъ не обратить на него нѣкотораго вниманія и отчасти заинтересовался этою личностью, которая была вполнѣ загадочна,

ибо появлялась постоянно одна, безъ товарищей, и внѣшностью своею ни мало не походила на привычныхъ обитателей сѣнныхъ трущобъ, а напротивъ того сильно смахивала на хорошаго, благовоспитаннаго барина. Нельзя было предположить въ этомъ посѣтителѣ полицейскаго агента, ибо темнымъ людямъ очень хорошо извѣстно, что наши тайные полицейскіе агенты никогда не появляются среди трущобъ «въ такихъ видахъ», а прикидываются обыкновенно либо солдатами, либо мужичонками, либо лаксишками и тому подобнымъ народомъ, а тутъ передъ тобой сидитъ «баринъ», который ни мало и не думаетъ скрывать, что онъ «баринъ», да и опять же не было слышно, чтобы кто либо попался по дѣлу раскрытіе котораго, по какимъ либо соображеніямъ, можно бы было хотя отчасти приписать загадочному посѣтителю.

Это былъ высокій, стройный мужчина, съ матово-блѣднымъ и отчасти истомленно-красивымъ лицомъ, который казался на видъ молодымъ человѣкомъ. Появленіе его въ средѣ подпольнаго міра постоянно вызывало общее любопытство и приковывало къ нему много внимательно наблюдающихъ взоровъ; но онъ какъ-будто не замѣчалъ ни этого любопытства, ни этихъ наблюденій и всегда проходилъ одѣтый въ весьма изящный костюмъ, обличавшій въ немъ болѣе чѣмъ достаточнаго человѣка. Молчаливо и скромно усѣвшись за какой-нибудь уединенный столикъ, онъ спокойно вынималъ золотой портсигаръ, закуривалъ свою гаванну и спрашивалъ себѣ стаканъ водки или бутылку пива. Посидѣвъ около часу, загадочный посѣтитель взглядывалъ на свои дорогіе часы и подзывалъ полового, чтобы расплатиться. При этомъ онъ ни мало не стѣснялся вынимать бумажникъ, въ которомъ покоились весьма крупные кредитные билеты. Однажды половой не могъ ему дать сдачи съ пятидесятирублевой бумажки.

— Ну, пусть за вами будетъ; потомъ сочтемся, спокойно отвѣтилъ ему молодой человѣкъ, и этотъ отвѣтъ замѣтно произвелъ впечатлѣніе на любопытныхъ наблюдателей.

Посидѣвъ немного въ одной трущобѣ, онъ удалялся въ другую, изъ другой въ третью, а дня черезъ три-четыре снова появлялся въ первой. Въ Парижѣ или въ Брюсселѣ его непремѣнно приняли бы за эксцентрика-англичанина, ищущаго приключеній; но нашъ тру-

щобный людъ объ «аглячанахъ» имѣетъ весьма слабое понятіе, а и объ эксцентризмѣ ни малѣйшаго, потому рѣшительно недоумѣвалъ, за какую птицу надлежитъ ему принимать «чудного гостя».

Голодная трущобная женщина, вообще, оказалась предпріимчивѣе относительно этого чудного гостя. Иныя изъ нихъ подсѣдали-было къ его столику и пробовали заговаривать съ нимъ. Дѣло начиналось обыкновенно съ того, что женщина просила угостить ее.

— Чего же ты хочешь? спрашивалъ ее молодой человѣкъ, не измѣняя тому спокойному выраженію своего лица, которое никогда не выдавало его сокровенныхъ думъ и ощущеній.

— Да мнѣ бы сперва поѣсть чего, отвѣчала голодная, чувствуя какое-то смущеніе отъ того, что вотъ посторонній человѣкъ видитъ теперь ея нищенскій голодъ. И онъ точно видѣлъ его.

— Можетъ быть, и твои пріятельницы тоже хотятъ... Пригласи и ихъ; спросите тамъ себѣ, чего хотите.

И всѣ почти наличныя женщины, воспользовавшись предложеніемъ, немедленно, какъ голодная стая собакъ, спѣшили накинуться на всякую пищу. Одна, въ нетерпѣніи, рвала кусокъ у другой; другая торопилась поскорѣе залпомъ выпить спрошенную за буфетомъ посудину водки; третья выхватывала отъ нея эту посудину; четвертая съ жадностью накидывалась на пироги и селедки, выставленные за буфетомъ, и въ довершеніе всего, подымался крикъ, перемѣшанный съ крупной руганью; иногда женщины эти въ цѣпи бросались другъ съ дружкой, дѣло доходило до драки; но странный посѣтитель относился ко всему происходящему передъ его глазами совершенно безучастно, какъ будто даже ничего не замѣчая, и въ заключеніе только расплачивался по счету, поданному за буфетомъ.

— Зачѣмъ вы къ намъ сюда ходите? спрашивала его порою какая-нибудь женщина: — вы такой богатый баринъ, а ходите въ эку мерзость? Зачѣмъ это?

— Затѣмъ, что мнѣ такъ нравится, отвѣчалъ загадочный посѣтитель, и болѣе сказаннаго—ни полуслова не прибавлялъ въ поясненіе своихъ поступковъ, которые какъ будто постоянно клонились къ тому, чтобы только дразнить хорошею приманкой воровъ и мошенниковъ, чтобы вызвать съ ихъ стороны какое-нибудь внезапное нападеніе.

И вскорѣ, подобное приключеніе, дѣйствительно, послѣдовало съ загадочнымъ посѣтителемъ.

Ѳомка-блаженный вмѣстѣ съ Осипомъ Грѣчкой (дѣло было мѣсяца за два до ареста послѣдняго, по дѣлу Морденки) не на шутку прельстились хорошею поживой, какая могла бы приплыть въ ихъ руки, еслибы удалось ограбить чудного гостя. Задумываться надъ подобнымъ дѣломъ было, конечно, не въ характерѣ обоихъ пріятелей, и потому, улучивъ однажды минуту, когда онъ, позднею ночью, вышелъ изъ одного притона въ Таировомъ переулкѣ, Ѳомушка накинулъ ему сзади на голову большой платокъ, снятый передъ этимъ съ трущобной женщины, а Грѣчка спереди ухватилъ его за воротъ. Но едва успѣлъ онъ сдѣлать это движеніе, какъ ударъ на отмашь повалилъ его на земь. Чудной гость билъ рукою, вооруженною стальнымъ инструментомъ, извѣстнымъ подъ поэтическимъ названіемъ *sortie du bal*, который постоянно хранился въ его карманѣ, и въ этомъ же карманѣ постоянно обрѣталась правая рука чудного гостя, при входѣ и выходѣ изъ трущобъ Сѣнной площади. Грѣчка никакъ не ожидалъ такого пріема, а сила удара была столь велика, что онъ безъ чувствъ покатился на мостовую. Менѣе чѣмъ въ одну секунду, чудной гость сорвалъ съ головы платокъ, и въ свою очередь схватилъ за горло Ѳомушку.

— Караулъ! прохрипѣлъ, задыхаясь, блаженный.

— Молчи, любезный, сейчасъ отпущу, спокойно промолвилъ давившій, и сжавъ еще разъ на столько, чтобы сразу ослабить грабителя, отнялъ отъ его шеи свою сильную руку.

Тотъ было-ударился бѣжать, но чудной гость на первомъ же шагу опять схватилъ его за горло.

— Нѣтъ, мой другъ, постой: бѣжать тебѣ отъ меня некуда да и незачѣмъ, а если побѣжишь или закричишь—сейчасъ же положу на мѣстѣ.

Молодой человѣкъ былъ очень силенъ; хотя Ѳомушка, не говоря уже о Грѣчкѣ, быть можетъ, былъ и гораздо посильнѣе его, такъ что справиться съ чуднымъ гостемъ для него не считалось бы особенно мудрою задачей; но онъ безусловно покорился теперь его волѣ, потому, вопервыхъ, что передъ нимъ замертво лежалъ уже на зем-

лѣ его товарищъ, а вовторыхъ, это спокойствіе, рѣшимость и настойчивость молодаго человѣка, въ столь критическую минуту, и наконецъ, эти загадочные появленія и поступки его въ трущобномъ мірѣ — въ глазахъ блаженнаго, невольно окружили теперь его личность какимъ-то внушающимъ почтительность ореоломъ. — Не даромъ же онъ у нихъ и «чуднымъ гостемъ» прозывался.—«Чортъ его знаетъ, можетъ, это такая силища, что и десятерыхъ на мѣстѣ пришибетъ», мелькнуло въ ту жь минуту въ глазахъ блаженнаго— и онъ вполнѣ покорно и безмолвно сталъ передъ своимъ сокрушителемъ.

— Вы меня ограбить хотѣли? спокойно и незлобно спросилъ тотъ.

— Есть, ваша милость!... весь грѣхъ нашъ передъ вами! раскаянно поклонился Ѳомушка.

— Вамъ нужны деньги?... Сколько вы хотите?

— Ничего не хотимъ, милостивецъ; отпусти только! ничего не желаемъ—прости ты насъ!

— Богъ проститъ, а я не сержусь; только отвѣть же мнѣ, сколько тебѣ нужно денегъ?—Я дамъ, не бойся.

Ѳомушка раздумчиво почесался за ухомъ, и униженно ухмыляясь, промолвилъ:

— Сколько милость ваша будетъ.

— Ну, да сколько же, однако? настаивалъ межъ тѣмъ молодой человѣкъ.

— Да сколько пожалуете... Вѣчно Бога молить за васъ буду...

— Ну, на вотъ, бери, сколько тебѣ нужно.

И молодой человѣкъ подалъ изумленному Ѳомушкѣ свой толстый бумажникъ.

— Да вы шутить изволите, ваша милость? недовѣрчиво пробормоталъ блаженный, порываясь и не смѣя коснуться предлагаемаго бумажника.

— Зачѣмъ шутить?... Нисколько не шучу. Вѣдь если ты грабишь, стало быть, тебѣ нужны деньги — не такъ ли?

— Нужны-то нужны, ваше... Ужь какъ и назвать-то, не знаю сіятельство, что ли?

— Это все равно, какъ ни зови. Ты, пожалуйста, безъ чиновъ, а говори попроще и покороче: нужно тебѣ?

— Такъ точно, ваша милость!

— А нужно, такъ и бери!

И оставя въ рукахъ блаженнаго бумажникъ, молодой человѣкъ отвернулся, и тихо прошелся въ сторону.

Ѳомушка, межъ тѣмъ, совсѣмъ не зная, что̀ и подумать обо всемъ происходящемъ, вынулъ трепетной рукою пачку банковыхъ билетовъ, и раздумчиво, подъ вліяніемъ какого-то чувства совѣстливости, взялъ только одну двадцати-пятирублевку.

— Ну, кончилъ, что̀ ли? спросилъ тотъ, приближаясь.

— Кончилъ, ваша милость!—и Ѳомушка почтительно подалъ ему бумажникъ, который, тотъ, даже не заглянувъ въ него, небрежно сунулъ въ свой карманъ, и взялъ блаженнаго за руку.

— Теперь ступай со мною, сказалъ онъ, направляясь къ Садовой улицѣ.

— Отпустите, ваше сіятельство!... Ни денегъ вашихъ, ничего мнѣ не надо!... Простите, христа-ради! взмолился Ѳомушка, упираясь на мѣстѣ.

— Чего ты, дуракъ?! остановился чудной гость:—чего ты?! Не бойся, въ полицію не поведу тебя, и дурного ничего не сдѣлаю.

— Да куды жь вы меня тащите?

— Къ себѣ на квартиру — ты нуженъ мнѣ; понимаешь-ли? — нуженъ!

— Да нѣтъ, вы вѣрно по начальству желаете...

— Зачѣмъ по начальству, если я могъ просто на мѣстѣ—взять да убить тебя?... Ступай, зла тебѣ никакого не будетъ, порѣшилъ онъ, и снова потащилъ его за руку.

Ѳомушка не противорѣчилъ болѣе, рѣшась покорно идти съ нимъ и только недоумѣвая, что̀ изъ этого выйдетъ.—Онъ оглянулся на задъ, на Грѣчку, но тотъ уже поднялся, и прихрамывая, поволо̀къ свои ноги въ противную сторону.

У одного изъ подъѣздовъ на Садовой улицѣ, ожидала барская карета. Молодой человѣкъ втолкнулъ въ нее Ѳомушку, и самъ сѣлъ подлѣ. Пріѣхали къ небольшому каменному домику, щегольской наружности. Сонный дворникъ, при видѣ кареты, поспѣшно дернулъ за ручку звонка—и въ ту-жь минуту, съ лѣстницы сбѣжалъ лакей

со свѣчою. Дворникъ снялъ шапку, лакей почтительно поклонился, когда молодой человѣкъ проходилъ мимо. Ѳомушка не понималъ, ни гдѣ онъ, ни съ кѣмъ онъ, и еще пуще пришелъ въ изумленіе, когда очутился съ глазу на глазъ съ «чуднымъ гостемъ», въ его роскошно-отдѣланномъ кабинетѣ. — «Кого дьявола нужно ему отъ меня?» думалось въ это время блаженному: «вѣдь коли начнешь разсказать—не повѣрятъ, черти, ей-ей не повѣрятъ!»

— Хочешь ѣсть, или пить? спросилъ его молодой человѣкъ: — ты не церемонься; хочешь, такъ и говори: хочу, молъ.

— Ежели, теперича, такая милость ваша есть... можно и насчетъ напитку...

— Вина, или водки?

— Намъ, по простотѣ, ваше сіятельство; намъ, эдакъ, водочки бы...

Хозяинъ распорядился — и человѣкъ принесъ на серебряномъ подносѣ муравленный кувшинчикъ и двѣ золотыя чарки.

Ѳомушка выпилъ, и вскочилъ съ мѣста: у него ротъ зажгло и глаза выпучило отъ крѣпости поданнаго напитка.

— Съ роду не пивалъ, а пьяница, кажись, добрый! пробормоталъ онъ, крякнувъ и отряхиваясь головою.

— Ну, теперь давай, о дѣлѣ потолкуемъ, началъ хозяинъ, снова оставшись одинъ на одинъ съ блаженнымъ: — тебя какъ звать-то? По виду — не то на церковника, не то на нищаго смахиваешь?

— Отъ святыя церкви, во святомъ крещеніи Ѳомою нареченъ, ваше сіятельство, а мірскіе людишки — блаженнымъ прозываютъ, отвѣтилъ Ѳомушка: — и какъ я теперича въ странномъ житіи подвизаюся...

— Нечего сказать, хорошее житіе! усмѣхнулся молодой человѣкъ. — Что жь, ваша милость, такая ужь линія, значитъ, прописана— надо полагать — по небесному.

— А если эта линія по земному, да доведетъ тебя до Сибири?

— А что жь такое? Не столь страшенъ чортъ, какъ его малюютъ, говорится.

— Ну, а какъ ты полагаешь, если ужь идти въ каторгу, то такъ лучше идти: за бездѣлицу ли, али ужь за такую штуку, которую не всякій и выдумать сможетъ?

— Ужь всеконечное дѣло, ваше сіятельство, за плевокъ не стоитъ и конфузъ пріймать на спину, да на ликъ-то свой — потому, все же онъ, ликъ-то этотъ человѣческій, по писанію — образъ есть и подобіе божіе. А за важнецъ-дѣло пропадать, не въ примѣръ вальготнѣе; покрайности, знаешь, за что.

— Это такъ, это ты разумно разсуждаешь, одобрительно замѣтилъ ему хозяинъ. — Но вѣдь тебѣ, поди-ка, не особенно хорошо на свѣтѣ жить?

— Ништо, ваше сіятельство, валандаемся, по малости.

— А ежелибы тебѣ предложили жить бариномъ, въ полное свое удовольствіе, дали бы квартиру хорошую, да хозяйку красивую, да въ купцы записали, да рысака на конюшню поставили бы, да денегъ полонъ карманъ — согласился бы ты на такое житье!

— Колибъ-то не согласился! облизнулся Ѳомушка, широко улыбаясь: — помирать не надо; да гдѣ его добудешь, экого счастья-то!

— Ужь это не твоя забота. И ежелибы въ расплату за такое житье, пришлось потомъ по Владимірке прогуляться — тоже не прочь бы?

— А зачѣмъ прочь? Вѣдь все едино и безъ того, рано-ль, поздно-ль, достукаешься.

— Резонъ, мой милый, совершенный резонъ! А слыхалъ ты, есть хохлацкая пословица: «питы — вмерты и не питы — вмерты, такъ лучше вже питы и вмерты». Понимаешь?

— Какъ не понять, ваше сіятельство! Это ужь вѣстимое дѣло, что коли пропадать, такъ зналъ бы покрайности, что было, молъ, вкраснѣ пожито, широкимъ ковшомъ попито, да въ алыемъ бархатѣ похожено.

— Ну, стало быть, теперь можно и къ самой *сути* приступить! рѣшительно поднялся съ мѣста хозяинъ.

— Слыхалъ ты, началъ онъ, близко подойдя къ Ѳомушкѣ и въ упоръ глядя въ его глаза: — слыхалъ ты, что есть на свѣтѣ фальшивыя деньги?

— Коли не слыхать! И слыхалъ, и видывалъ даже, да все же ее отъ настоящей отличить-то можно.

— Можно оттого, что дураки этимъ дѣломъ занимаются, поддѣ-

лать хорошо не умѣютъ; а вотъ я тебѣ покажу сейчасъ двѣ синенькія; отличи, которая изъ нихъ съ фальшью?

И молодой человѣкъ, вынувъ изъ бюро двѣ пятирублевки; подалъ ихъ Ѳомушкѣ, и подвинулъ къ нему лампу.

— Шутки шутить изволите, ваше сіятельство! недовѣрчиво ухмыльнулся блаженный, внимательно разглядывая бумажки: — какъ есть однѣ только шутки, и больше ничего! обѣ онѣ настоящія.

— Нѣтъ, одна фальшивая, говорю тебѣ, а ты вотъ угадай-ка мнѣ, которая?

— Эта, что ли? неувѣренно спросилъ Ѳомушка, подавая ему ассигнацію, которую молодой человѣкъ внимательно разглядѣлъ у лампы.

— Нѣтъ, любезный, ошибся: эта настоящая, улыбнулся онъ: — а та вотъ—поддѣлка.

Ѳомушка только головой покачалъ отъ удивленія.

— Это заграницей, въ Лондонѣ у англичанъ сработано, пояснилъ ему хозяинъ: — я одну только и захватилъ съ собою для примѣра.

— Ссс... Ишь ты! удивлялся блаженный:—правильно, значитъ, говорятъ, что тамъ народъ-то — все ученый мазурикъ... Нашему брату не потягаться съ ними; нашъ братъ все больше на чистоту ломитъ да на простоту норовитъ.

— Вотъ то-то же и есть! А какъ ты думаешь, хорошо бы и у насъ въ Петербургѣ завести такую фабрику?

— Еще бы нехорошо!—извѣстное дѣло...

— И ты не отказался бы поработать для такого дѣла?

— Я-то?... Э, я хоть что хошь! Я это все могу, значитъ.

— А можешь, такъ дѣлай; въ накладѣ не останешься.

— Да какъ же это дѣлать-то, ваше сіятельство?

— Какъ дѣлать! — руками! Руками, любезный мой, какъ и все на свѣтѣ дѣлается—руками да башкой; только въ этомъ дѣлѣ все равно какъ на заводѣ, всякому работнику своя должность дана. Такъ-вотъ и ты свою должность получишь.

— А моя какая будетъ?

— На первый разъ вотъ какая, приступилъ хозяинъ къ объяс-

ненію: — прежде всего надо за городомъ, гдѣ-нибудь въ пустомъ уединенномъ мѣстѣ, отыскать подходящій домикъ или избу, чтобы лишніе глаза не глядѣли.

— Смекается, ваше сіятельство!... Это—могимъ! — есть подходящее на примѣтѣ.

— А есть—и того лучше! Ну, потомъ ты подыщешь надежныхъ товарищей, продолжалъ чудной гость: — чтобы вѣрные да честные люди были.

— И это, значитъ, могимъ! охотно согласился Ѳомка.

— А затѣмъ время отъ времени тебѣ будутъ выдаваться на руки деньги, а ты вмѣстѣ съ товарищами пускай ихъ въ оборотъ — покупайте себѣ что̀ знаете и мѣняйте фальшъ на настоящія деньги. Ты будешь отбирать отъ нихъ и ко мнѣ приносить, а я вамъ жалованье хорошее стану платить за это. Только, кромѣ тебя, изъ нихъ ни одна душа не должна знать ка̀къ, что̀ и кто̀, и откуда идетъ все это дѣло. Согласенъ?

— Согласенъ, ваше сіятельство! рѣшительно и весело откликнулся блаженный.

Хозяинъ, для поощренія на первый разъ, далъ ему еще одну двадцати-пятирублевку, и приказалъ приступить, безъ лишнихъ проволочекъ, къ отысканію за городомъ помѣщенія, которое вполнѣ соотвѣтствовало бы необходимымъ условіямъ.

— А ежели отыщешь, приходи прямо ко мнѣ, сюда вотъ, распорядился онъ въ заключеніе: — будешь допущенъ ко мнѣ безпрепятственно.

Затѣмъ позвонилъ человѣка, и приказалъ ему проводить съ лѣстницы блаженнаго.

На дворѣ уже разсвѣло на столько, что Ѳомушка мимоходомъ хотѣлъ бы прочесть фамилію на дверной доскѣ, но таковой не оказалось.

— Какъ барина зовутъ-то? спросилъ онъ у лакея.

— Va tu, coquin! съ презрительнымъ неудовольствіемъ фыркнулъ на него сквозь зубы французъ-лакей.

— Ишь ты, настранный подданный, значитъ, пробормоталъ Ѳомка подъ носъ, и у воротъ обратился съ тѣмъ же вопросомъ къ дворнику.

— Барина-то? Извѣстное дѣло, барина барономъ и зовутъ.

— А фамилья ему какъ?

— Графъ Каллашъ, отвѣчалъ тотъ, завертываясь въ зипунишко.

— Одинъ живетъ, что ли?

— Одинъ, цѣльный домъ занимаетъ. Баринъ хорошій, какъ есть на всю стать, значитъ, баринъ.

Блаженный удовольствовался этимъ объясненіемъ, и пошелъ своею дорогой.

«Ишь ты химикъ какой?... графъ!... Шутка-ль сказать теперича—графъ!» размышлялъ онъ, подавляемый чувствомъ безмѣрнаго удивленія ко всему, что произошло съ нимъ въ эту ночь: «живетъ-то какъ!... А тоже, значитъ, нашево поля ягода... И изъ князьевъ-графовъ, стало-быть, тоже жоржи бываютъ... А дѣло клейкое!» размышлялъ онъ далѣе: «и за такимъ человѣкомъ, какъ за каменной стѣною, не пропадешь... И надо значитъ послужить ему, потому эта служба для своего же кармана».

LXII

Ѳомушка-дѣятель банка темныхъ бумажекъ

Бывалый человѣкъ Ѳомушка зналъ, какъ свои пять пальцевъ, всю подноготную многоразличныхъ трущобъ петербургскихъ — саму собою не тѣхъ, въ которыхъ дѣйствующими лицами являются жоржи высшаго полета, съ многоразличными образцами коихъ уже достаточно познакомленъ читатель; но тѣ трущобы, гдѣ прячется темный людъ, подобный самому Ѳомушкѣ. Пораскинувъ умомъ-разумомъ, онъ остановилъ свой выборъ на глухой мѣстности за Митрофаніевскимъ кладбищемъ, гдѣ одиноко торчала огородная изба Устины Самсоновны. Блаженный очень хорошо зналъ всѣ удобства этого помѣщенія, ибо на своемъ многошатальномъ и проидошномъ вѣку чего-чего только ни доводилось ему перезнавать и переиспытывать! Сынъ деревенскаго дьячка, поступилъ онъ въ семинарію, откуда былъ изгнанъ въ качествѣ нечестиваго козлища; затѣмъ удалось ему подладиться къ настоятелю нѣкоей пустыни и втереться туда

послушникомъ; но за добрыя дѣла изъ этого убѣжища мірскихъ отшельниковъ онъ попалъ уже непосредственно на владимірскую дорогу, которая и довела своего избранника прямёхонько до завода нерчинскаго; тамъ судьба столкнула его съ архіереемъ раскольничьимъ, и насобачившись около него въ дѣлахъ старой вѣры, Ѳома не преминулъ, при первой же оказіи, улизнуть изъ каторги. Наслышанъ былъ онъ много о разныхъ столпахъ раскола и зналъ почти всѣхъ ихъ заочно, такъ-что изъ нерчинскаго завода очутился въ ѳедосѣевскомъ скиту, а оттуда уже съ хорошимъ фальшивымъ видомъ, въ качествѣ торговца, пошелъ махать по широкой Руси, да по разнымъ молельнямъ архіерейскія службы править. Но душа у Ѳомушки черезчуръ ужь была златолюбива и многостяжателна; захотѣлось этой душѣ побольше денегъ позагребать въ свои лапы— и сталъ онъ поэтому къ разнымъ согласіямъ примазываться. Въ Сибири то съ ѳедосѣевцами, то съ хлыстами водился, въ Саратовской губерніи съ молоканами, въ Нижегородской съ филиппонами, въ Ярославской — у бѣгуновъ-сопелковцевъ важнымъ наставникомъ сдѣлался; а въ Костромскомъ уѣздѣ снова съ хлыстами сошелся и объявилъ себя пророкомъ боговдохновеннымъ. Затѣмъ около года привиталъ въ странно-архіерейскомъ образѣ въ слободахъ и посадахъ Черниговской губерніи, пока наконецъ раскольники не провѣдали его безчинные по вѣрѣ поступки и пока не огласили его посланіемъ, яко хищнаго волка въ стадѣ христовѣ, и вора-обманщика. Тогда-то уже онъ и принялъ юродственный образъ, нарекъ себя Ѳомушкой-блаженнымъ, сошелся съ Макридой-странницей да съ Касьянчикомъ-старчикомъ и утвердился въ Питерѣ, сохранивъ изъ всѣхъ прежнихъ своихъ сектантскихъ связей, нѣкоторыя отношенія только къ хлыстовскому согласію, въ силу прежняго знакомства своего съ матушкой Устиньей Самсоновной. Однако здѣсь онъ избѣгалъ близкихъ и тѣсныхъ сношеній съ петербургскимъ согласіемъ, потому что V-я заповѣдь Верховнаго гостя Данилы Филипповича гласитъ: «хмѣльнаго не пейте и плотскаго грѣха не творите», изгоняя вмѣстѣ съ тѣмъ безусловно куреніе поганаго зелія, еже отъ нечестивыхъ галловъ и сарацынъ табакомъ нарицается, да и на употребленіе мяса хлыстовскій законъ смотритъ не совсѣмъ благосклонно, и члены согласія строго наблюдаютъ, чтобы «братья и сестры» не-

укоснительно и вполнѣ слѣдовали правиламъ, завѣщаннымъ отъ Верховнаго гостя. Ѳомушка же, по природѣ своей, былъ чрево-угодникъ: «какъ ни тщусь, а воздержаться не измогу, чтобы діавола не потѣшить и мамону не угобзить зѣло!» говаривалъ онъ въ покаянныя минуты. Поэтому онъ предпочиталъ жить въ довольно прибыльномъ образѣ юродиваго и обращался къ согласію только въ рѣдкихъ и совсѣмъ экстраординарныхъ обстоятельствахъ. Ѳомушка зналъ, что изба Устиньи Самсоновны, служащая, въ качествѣ молельни, мѣстомъ сборища и «радѣній» сектантовъ, устроена съ различными тайниками, даже съ тепнымъ и жилымъ подъизбищемъ, вырытымъ въ землѣ, въ качествѣ будто бы подвала для храненія на зиму огородныхъ овощей, но собственно играющимъ роль молельни; а зная все это, ему нетрудно было сообразить, что эта изба, во всѣхъ отношеніяхъ, можетъ служить удобнымъ и, главное, потайнымъ пріютомъ для дѣла, проектируемаго графомъ Каллашемъ.

Хотя графъ Каллашъ, живя на барскую ногу, и нанималъ совершенно особенный домъ, какъ нельзя лучше приноровленный для комфортабельной жизни одного только семейства, однако ни онъ, ни прочіе сочлены задуманнаго предпріятія не рискнули завести фабрику въ своихъ квартирахъ, среди люднаго города, гдѣ на каждомъ шагу могутъ совсѣмъ непредвиденно подглядѣть что либо посторонніе взоры. Почтенные сочлены слишкомъ дорожили своимъ спокойствіемъ и своей репутаціей, поэтому въ проэктъ банка темныхъ бумажекъ непремѣннымъ условіемъ входилъ тотъ пунктъ, чтобы пріуготовленныя ассигнаціи отнюдь и никогда не пускать въ обращеніе собственными руками, а вести это дѣло черезъ надежныхъ темныхъ людишекъ, которые если и попадутся, то не бѣда. Одно только затрудняло компаньоновъ — это именно выборъ подходящаго мѣста. Графъ Каллашъ тщетно ѣздилъ по разнымъ окрестностямъ, высматривалъ загородные дома и дачи, но все это оказывалось мало удобнымъ: чужіе глаза и здѣсь-таки были; могли, стало быть, видѣть, что вотъ, молъ, въ извѣстные дни и часы на такую-то дачу собираются какіе-то люди, сидятъ тамъ запершись, что-то дѣлаютъ, потомъ уѣзжаютъ. Все это могло возбудить излишнее любопытство, всегда, какъ извѣстно, подмывающее человѣка удовлетворить его, болѣе или менѣе, положительнымъ образомъ; а вслѣдъ за такимъ удов-

летвореніемъ могутъ пойдти богъ-вѣсть какіе сомнительные толки, особливо же если въ это самое время начнутъ чаще обыкновеннаго попадаться въ обращеніи фальшивыя кредитки. И вотъ всѣ такія соображенія поневолѣ заставляли компанію безплодно проволачивать золотое время. Наконецъ графу Каллашу надоѣли эти тщетныя искапья и высматриванія, такъ что онъ, уже самъ по себѣ, не предваряя остальныхъ сочленовъ, рѣшился попытать счастія въ иномъ направленіи. Слѣдствіемъ такого намѣренія были его посѣщенія трущобъ Сѣнной площади. Энергически-рѣшительный, самоувѣренно-сильный и предпріимчивый человѣкъ не задумался на рискѣ стать, какъ онъ есть, лицомъ къ лицу съ этимъ мало кому извѣстнымъ, подпольнымъ міромъ. Онъ рѣшился на это тѣмъ болѣе, что рано ли, поздно ли, компаніи необходимо предстояло запасаться надежными людьми для размѣна и сбыта будущихъ фальшивыхъ бумажекъ. — «Попригляжусь къ этому народу» думалъ графъ, намѣреваясь приводить въ исполненіе свою новую мысль: «попытаю его, да и выберу одного или двухъ головорѣзовъ, которые не призадумались бы рискнуть на такое дѣло, да на которыхъ бы положиться можно было, а такихъ молодцовъ, вѣроятно, только тамъ и поискать-то; да авось, съ этимъ народомъ и помѣщеніе скорѣе найдется, потому — кому же, какъ не имъ и знать про такія трущобы, гдѣ самъ чортъ ногу переломитъ»? И послѣ двухнедѣльныхъ посѣщеній различныхъ притоновъ, въ которыхъ Каллашъ умышленно дѣлалъ все, чтобы только вызвать противъ себя грабительское нападеніе — исканія его увѣнчались успѣхомъ, уже достаточно извѣстнымъ читателю. Онъ расчелъ, что одного такого дошлаго барина, какъ Ѳомушка блаженный, необходимо нужно приблизить къ себѣ въ извѣстномъ отношеніи и напрямикъ открыться ему въ настоящихъ своихъ намѣреніяхъ и цѣляхъ, сдѣлавъ его такимъ образомъ однимъ изъ ближайшихъ членовъ компаніи и какъ-бы переходнымъ звеномъ связующимъ высшихъ членовъ съ низшими агентами исполнителями, которые должны были знать только его одного; тогда какъ всѣ главные дѣятели оставались бы для нихъ совершенно темною, миѳическою загадкой. Таковы были планы графа Каллаша, и онъ вполнѣ достигъ осуществленія ихъ, единственно лишь благодаря своей смѣлой рѣшимости и наглой, самоувѣренной откровенности, которою, въ иныхъ подходя-

щихъ случаяхъ, необыкновенно кстати и ловко умѣлъ пользоваться этотъ замѣчательный человѣкъ. Крутое обращеніе его съ Ѳомушкою, спокойная передача ему бумажника во время ночного грабежа и наконецъ этотъ привозъ его прямо-таки въ собственную квартиру — все это было дѣломъ разсчета, который въ свой чередъ былъ дѣломъ необыкновенно быстраго и, можно сказать, геніально-сметливаго соображенія со стороны графа. Онъ зналъ, что весь эксцентризмъ подобныхъ дѣйствій — сразу, ошеломляющимъ и обаятельнымъ образомъ повліяетъ на грубую и непосредственную натуру трущобнаго обитателя. И дѣйствительно: предшествовавшія загадочныя появленія въ трущобахъ чудного гостя, его неожиданный ударъ, безъ чувствъ поваливший Грѣчку, и потомъ рядъ послѣдовавшихъ въ эту ночь поступковъ — показались Ѳомушкѣ чѣмъ-то больно ужь чуднымъ, блистательнымъ, могуче-сильнымъ и вовѣки еще невиданнымъ и неслыханнымъ, такъ что онъ сразу восчувствовалъ величайшее уваженіе, страхъ и какую-то рабскую почтительность къ этому человѣку, ибо ничто такъ не дѣйствуетъ на человѣка непосредственнаго, какъ соединеніе силы физической съ силою нравственной. — «Съ этимъ бариномъ не пропадешь, это не нашему брату чета; съ такимъ дьяволомъ ухъ какъ важно можно клей варить! потому — сила и смѣлость, да и разума, какъ видно, палата!» рѣшилъ онъ, на разсвѣтѣ шествуя отъ него восвояси, и съ той же ночи, подчинилъ свою волю вліянію и силѣ этого человѣка.

LXIII

Ѳомушка-пророкъ, по откровенію ходящій

Въ тотъ же день утромъ, сообразивъ всѣ обстоятельства и не теряя времени, онъ отправился къ Устиньѣ Самсоновнѣ.

— А что, братецъ, не слышно ли, какъ скоро гоненіе будетъ? вопросила его, промежъ посторонняго каляканья, хлыстовская матушка.

— Гоненіе? Како-тако гоненіе? откликнулся Ѳомка.

— А отъ антихриста и аггеловъ его на вѣрныхъ слугъ дому

Израилева, пояснила Устинья Самсоновна, очень ужъ любившая книжно выражаться по писанію.

— А что тебѣ въ томъ гоненіи, матка?

— Какъ, братецъ мой, что! — Пострадать за вѣру правую хотѣлось бы: претерпѣть желаю.

— Желаешь?... Ну, Богъ сподобитъ тебя современіемъ, коли есть на то хотѣніе твое такое.

— Да долго ждать, мой батюшка, а мнѣ хорошо бы поскорѣй это пріяти, потому человѣкъ я уже преклонный: можетъ, Богъ ни сегодня — завтра по душу пошлетъ.

— Можно и поскорѣй доставить, согласился блаженный, съ видомъ человѣка, который знаетъ и вполнѣ увѣренъ въ томъ, что говоритъ.

— О-ли, мой батюшка!? да какимъ же способомъ это? воскликнула обрадованная фанатичка.

— А ужъ я знаю способъ... Духъ. черезъ откровеніе свыше сообщилъ мнѣ, съ таинственной важностью понизилъ. блаженный голосъ. Устинья Самсоновна ожидательно вперила въ него взоры и приготовилась слушать.

Ѳомушка началъ съ обычною у него, въ такихъ случаяхъ, широковѣщательностью:

— Преданіемъ святыхъ отецъ нашихъ, верховнаго гостя Данилы Филипповича и единороднаго сына его, христа Иванъ Тимофеича, про всѣхъ вѣрныхъ братьевъ-богомоловъ отъ поколѣнія Израилева — ты знаешь, мать моя, что именно завѣщано?

— Ну? тихо вымолвила старуха, пожирая его глазами и боясь пропустить безъ глубокаго вниманія хоть единое слово изъ Ѳомушкина откровенія.

— Тыемъ преданіемъ завѣщано намъ: живучи среди новыхъ Вавилоновъ; сирѣчь городовъ нечестивыхъ, кои бо суть токмо гнѣздилища мрашиныя, боротися непрестанно противу силы антихристовой, «доидеже не побидите», сказано.

И вслѣдъ за этимъ приступомъ, онъ вынулъ изъ-за пазухи и показалъ ей полученную отъ Каллаша ассигнацію.

— Зри сюда! Что убо есть сіе?

— Деньги, мой батюшка... робко произнесла недоумѣлая старуха.

— Не деньги, а сѣмя антихристово, авторитетно поправилъ ее Ѳомушка.—Но зри еще: чье изображеніе имѣтся на тыемъ сѣмени?

— Не вѣдаю, батюшка... Ужь ты повѣдь-ко мнѣ, голубчикъ: ты—человѣкъ по откровенію просвѣщенный.

— На то и просвѣщенъ, чтобы повѣдать во тьмѣ ходящимъ, съ важностью и достоинствомъ согласился Ѳомка: — тутъ бо есть положено изображеніе печати антихристовой — уразумѣй сице матка моя, коли имѣши разумѣніе!

— Уразумѣла, батюшко, уразумѣла, касатикъ мой... Да только... какъ же это мы-то, вѣрные, и вдругъ... печатью и семенемъ пользуемся?

— Руки свои оскверняемъ, потому никакъ иначе невозможно, доколѣ въ мірѣ семъ живемъ и доколѣ антихристъ воцаряется. А намъ надлежитъ всяку потраву и зло ему творити, дондеже не исчезнетъ. А ты знаешь ли, матка, чѣмъ духъ-то святый повелѣлъ мнѣ въ откровеніи зло ему учинять? таинственно и даже отчасти грозно спросилъ ее Ѳомушка.

— Неизвѣстна о томъ, наставниче, неизвѣстна... Человѣкъ я тепный, сокрушаясь, помотала головой хлыстовка.

— А вотъ чѣмъ! пристально уставился на нее блаженный: — въ этомъ сѣмени и печати есть его главная сила, и коли эту самую силу сокрушить, то и врагъ ископный сокрушится и уйдетъ обратно въ греческую землю, гдѣ первично и народися, по писанію. А какъ сокрушить эту силу вражію?

— Неизвѣстна, батюшко, и о томъ неизвѣстна...

— Я тебѣ открою сіе, только внимай со тщаніемъ. Есть у нихъ законъ такой грозный, что буде кто это самое сѣмя и печати его поддѣлывать станетъ, тотъ да будетъ біенъ много и нещадно, и въ палестины сибирскія на каторгу ссылаемъ. Про это, чай, слыхала?

— Слыхала, родненькій, какъ не слыхать! Запрошлымъ лѣтомъ еще одного за это самое, сказывали, быдто очинно жестоко на Конной стебали.

— А почему стебали-то? Потому самому и стебали, что отъ поддѣлки, вѣры люди не имутъ въ сѣмя и печати его, а коли вѣры не имутъ, стало быть, и сила его сокрушается, а коли сила со-

крушается стало быть, и самъ онъ яко воскъ отъ лица огня исчезнетъ съ лица земли. Вотъ оно что, матка моя. Поэтому духъ божій и найде на мя, окаяннаго и недостойнаго, и повеле: да ни чѣмъ иныемъ, какъ токмо отъ единаго сѣмени побивать нынѣ антихриста!

Старуха, въ мозгу которой глубоко засѣли и перемѣшались всякія преданія и вѣрованія многоразличныхъ толковъ, какіе она перепытала, и улеглись у нея въ какой-то фанатическій сумбуръ, только головою своей благоговѣйно покачивала да съ вѣрою впивалась глазами въ блаженнаго.

— Стало быть, божьи люди побѣдятъ, только зѣвать да времени упущать не надо намъ, да пока до поры крѣпко языкъ за зубами придерживать! заключилъ онъ весьма многозначительно и съ великимъ глубокомысліемъ

— А вотъ ты, матка, пострадать за вѣру ангельское хотѣніе возымѣла, неожиданно поддѣлъ онъ старуху, послѣ минуты религіозно-раздумчиваго молчанія: — это опять же не кто иной, какъ токмо азъ, многогрѣшный, могу предоставить тебѣ.

— Ой, батюшко! да неужто же и вправду-ти можешь? встрепенулась Устинья Самсонова.

— Могу, потому это все въ нашей власти, съ непоколебимой увѣренностью похвалился онъ.

— Да что же сотворить мнѣ для экой благодати-то надобно?

— Твори волю пославшаго, а я научу тебя. Аще хощеши спасенна быти, началъ плутъ съ подобающей таинственностью: — открой свой домъ избранникамъ духа, помѣсти ихъ въ тайницѣ своей, въ подъизбищѣ... Мы заведемъ здѣсь фабрику, и станемъ потайно творить фальшивыя печати и сѣмя.

Старуха поняла его мысль и по лицу ея пробѣжалъ оттѣнокъ боязни и недоумѣнія, что какъ же, молъ это вдругъ у меня такъ устроится?

Ѳомушка сразу подмѣтилъ ея внутреннее движеніе и поспѣшилъ строго и увѣщательно прибавить:

— Мужайся, мать моя, если хочешь спасенье пріяти! Неподдавайся страху іудейскому: это антихристъ тебѣ въ уши-то шепчетъ теперь; это онъ, проклятый, въ сердце твое вселяется!

Старуха испугалась еще пуще прежняго, ибо уразумѣла, что Ѳомушка — божій человѣкъ проникъ въ ея сокровенные помыслы, и что, стало быть, поэтому онъ воистинну есть избранникъ духа.

— Вотъ видишь ли ты, маловѣрная, съ укоризной приступилъ онъ къ новымъ поясненіямъ:—если мы понадѣлаемъ великое множество этого сѣмени и разсѣемъ его по свѣту потайно, такъ что про насъ не догадаются аггелы нечестивіи, то сила антихристова тутъ же и сокрушится и настанетъ царствіе духа; а ты, раба, въ тѣ-поры божьей угодницей вживѣ содѣлаешься за свое великое подвижничество, за то что силу вражію побороть пособляла.

— Такъ-то такъ, мой голубчикъ, согласилась Устинья:—да все же .. коли не успѣемъ, да накроютъ насъ.

— О томъ не пецыся! перебилъ ее Ѳомушка:—это ужь я такъ обдѣлаю, что никакъ не накроютъ—у меня ужь и людишки такіе ловкіе подобраны; а мы ихъ въ наше согласіе, дастъ-богъ обратимъ, ну, и значитъ, къ тому времени какъ Духъ къ намъ прикатитъ, мы себѣ черезъ то самое еще болѣе благодати подлопимъ, ко спасенью души своей, значитъ.

Старуха согласилась и съ этимъ многозначительнымъ аргументомъ.

— А ежели, божіимъ попущеніемъ, и накроютъ насъ слуги вражіи, вразумительно продолжалъ блаженный: — то опять же таки этому радоватися подобаетъ; потому, коли накроютъ — сейчасъ же и гоненіе будетъ на насъ: въ кандалы забьютъ, въ остроги засадятъ, бить много почнутъ и въ Сибирь ссылать станутъ — ну и значитъ, ты мученическій вѣнецъ пріяти, мать моя, сподобишься: за вѣру претерпѣніе понесешь, и царствіе славы за это самое безпремѣнно будетъ тебѣ уготовано.

Старецъ Паисій Логинычъ, строго безмолвствовавшій во все время этого увѣщанія, но тѣмъ не менѣе внимавшій Ѳомушкѣ, неожиданно поднялся теперь съ своего мѣста и съ рѣшительнымъ, повелѣвающимъ жестомъ подошелъ къ Устиньѣ.

— Соглашайся, Устиньюшка, соглашайся! прошамкалъ онъ разбитымъ и дряхлымъ своимъ голосомъ:—братецъ нашъ правду тебѣ говоритъ, великую правду!... Полно-ка, и въ самъ-дѣлѣ, терпѣть намъ покорственно отъ силы антихристовой! Время и слобониться...

Міру скоро конецъ, и всей твари скончаніе—часъ приспѣваетъ!... Не мысли лукаво, соглашайся скорѣе!

Но своеобразная и ловкая логика смышлённаго мошенника и безъ того уже вконецъ проняла фанатическую старуху, такъ что она тутъ же порѣшила съ нимъ на полномъ своемъ согласіи.

LXIV

Докторъ Катцель

Планы компаніи были весьма широки. Она не намѣревалась ограничить кругъ своей дѣятельности предѣлами одного только Петербурга; напротивъ того, впослѣдствіи, при развитіи дѣла, когда оно уже прочно стало бы на ноги, предполагалось завести своихъ агентовъ въ Москвѣ, въ Ригѣ, въ Нижнемъ, въ Харьковѣ, въ Одессѣ и въ Варшавѣ. Herr Катцель предлагалъ было основать фабрику не въ Петербургѣ, а въ Лондонѣ или въ Парижѣ; но Каллашъ рѣшительно воспротивился этой мысли.

Здѣсь! говорилъ онъ: — и нигдѣ болѣе какъ только здѣсь, въ Петербургѣ можно взяться за такое дѣло. Развѣ вы не знаете, что такое лондонская полиція?... Тамъ, какъ ни хитри, но едва-ли намъ, иностранцамъ, удастся провести англійскихъ сыщиковъ! Въ Парижѣ—то же самое; а здѣсь—мы все-таки у себя дома, здѣсь мы пользуемся извѣстнымъ положеніемъ въ свѣтѣ, хорошею репутаціей; наконецъ, на случай обыска, ни при одномъ изъ насъ, а также и въ квартирахъ нашихъ, никогда не будетъ найдено ничего подозрительнаго.

Побѣда, въ этомъ случаѣ, осталась на сторонѣ графа, тѣмъ болѣе, что всѣ почти необходимые матеріалы были уже тайно провезены изъ-за границы докторомъ и графомъ, въ ихъ послѣднюю поѣздку.

Роль главнаго фабриканта-производителя взялъ на себя Катцель, который, въ сущности, былъ господинъ весьма замѣчательнаго свойства. Типъ лица не оставлялъ ни малѣйшихъ сомнѣній въ чисто-еврейскомъ происхожденіи доктора; а его вглядчивые, слегка прищуренные глаза и высокій лобъ ручались за обиліе ума и способ-

ностей. Возвратясь въ Россію съ докторскимъ дипломомъ вѣнскаго университета, онъ первымъ дѣломъ, подвергъ себя экзамену въ присутствіи медицинскаго совѣта и, выдержавъ его блистательнымъ образомъ, получилъ право леченія въ Россіи. Это была необходимая заручка со стороны законныхъ препятствій, и стоило только преодолѣть ихъ, чтобы начать уже дѣйствовать широко и обильно, съ полной увѣренностью. Докторъ, между прочимъ, былъ очень хорошій химикъ, любилъ науку, любилъ свое призваніе и свое лекарское дѣло; но при всемъ этомъ—странная вещь! Онъ находилъ какую-то сласть, какое-то увлекательное упоеніе въ томъ, чтобы посвящать свои знанія и свою жизнь мошенническимъ продѣлкамъ. Онъ самъ очень хорошо сознавалъ въ себѣ эту наклонность и называлъ ее неодолимою страстью, болѣзненнымъ развитіемъ воли — словомъ, какою-то маніей, чѣмъ-то въ родѣ однопредметнаго помѣшательства.

— По своему развитію, по своимъ убѣжденіямъ, говорилъ онъ однажды Каллашу, въ одну изъ интимныхъ, откровенныхъ минутъ: — я постоянно стараюсь быть очень гуманнымъ человѣкомъ: но инстинкты, природные-то инстинкты во мнѣ отвратительны. Я знаю это, хотя и не всякому другому дамъ ихъ въ себѣ замѣтить. Но что же мнѣ дѣлать, если кромѣ самого себя, я никого не люблю!...

— А человѣчество? замѣтилъ съ улыбкою Каллашъ.

— Да, человѣчество я точно люблю, но это какая-то абстрактная, безразличная любовь... И какое дѣло человѣчеству, люблю ли я его, или нѣтъ?... Вотъ, напримѣръ, деньги — это другое дѣло! Деньги я люблю до обожанія, во всѣхъ ихъ видахъ и качествахъ. Это ужь во мнѣ, я полагаю, наслѣдственная черта, свойственная вообще сыну израилеву, какимъ я имѣю счастіе быть. И для добычи денегъ, говорилъ онъ съ увлеченіемъ:—я ни надъ чѣмъ не задумаюсь, ни передъ чѣмъ не остановлюсь!

— Какъ? воскликнулъ Каллашъ:—даже и передъ шпіонствомъ, даже передъ продажею брата своего!... Но вѣдь такимъ образомъ, извините за откровенность, наше сообщество съ вами можетъ быть небезопасно.

— Мм... могло *бы*, произнесъ Нетт Катцель, упирая на частицу *бы*, и нимало не смутившись восклицаніемъ графа: — но вотъ

видите ли, мой милый другъ, этотъ путь, полагаю, менѣе выгоденъ: на немъ никогда не заработаешь столько денегъ, сколько, при добромъ успѣхѣ, мы можемъ заработать на нашемъ предпріятіи; поэтому я его презираю, тѣмъ болѣе, что это и не сходствуетъ съ моими убѣжденіями. Нельзя въ одно и то же время быть волкомъ и лисицею.

— Но этотъ путь гораздо спокойнѣе, безопаснѣе, тогда-какъ нашъ основанъ на ужаснѣйшемъ рискѣ, возразилъ Каллашъ.

— Спокойствіе... рискъ... Да знаете ли, что я презираю какое бы то ни было спокойствіе, и страстно боготворю одинъ только рискъ! воскликнулъ онъ съ неподдѣльнымъ порывомъ увлеченія. — Рискъ!... да вѣдь въ рискѣ для меня все! въ рискѣ — жизнь, въ немъ—страсть!... А спокойствіе... Помилуйте, да еслибы я хотѣлъ только спокойствія и безопасности, мнѣ не для чего было бы дѣлаться мошенникомъ — pardon за откровенный цинизмъ этого выраженія! Для спокойствія мнѣ было бы совершенно достаточно моей науки, моихъ знаній, моего докторскаго диплома, наконецъ; но въ томъ-то и дѣло, что даже въ наукѣ я люблю ея таинственную, ея тёмную сторону, которая ни на минуту не даетъ успокоиться человѣку, а держитъ его въ вѣчно-напряженномъ, лихорадочномъ состояніи и заставляетъ изслѣдовать, пытаться, доискиваться тѣхъ тонкихъ, неуловимыхъ своихъ сторонъ, которыя, на первый взглядъ кажется, недоступны человѣку. А знаете ли вы, продолжалъ докторъ, подъ наитіемъ какого-то вдохновеннаго экстаза: — знаете ли вы, что это за гордо-разумное, что за упоительное блаженство кроется въ томъ мгновеніи, когда вы, послѣ столь долгихъ изслѣдованій, послѣ такихъ мучительныхъ нравственныхъ страданій, послѣ нѣсколькихъ лихорадочно-безсонныхъ ночей, убѣждаетесь наконецъ, что вы точно, воистину доискались до того, чего вы искали, что вы сдѣлали открытіе?... Пусть оно будетъ мало, пускай незначительно, ничтожно это открытіе, но все же и оно вѣдь вноситъ свою лепту въ общую массу знаній, все же и въ него вѣдь вы полагали свою душу, свою страсть, свою разумную волю! — о, это—минуты высшаго нравственнаго удовлетворенія, которыя я не промѣняю ни на какое спокойствіе въ мірѣ!

— Стало, вы можете быть вполнѣ удовлетворены одною вашею страстью къ наукѣ? возразилъ ему Каллашъ.

— Нѣтъ, не могу! рѣшительно воскликнулъ Катцель:— не могу потому, что въ моей безобразно-страстной натурѣ лежатъ еще иные инстинкты. Теоріи Лафатера и Галля до сихъ поръ еще неизслѣдованы, какъ должно, хотя многіе признаютъ ихъ только научнымъ пуфомъ. Я мало занимался этимъ предметомъ, продолжалъ докторъ; —но весьма былъ бы склоненъ думать, что во мнѣ развита шишка тонкаго злодѣйства, и шишка пріобрѣтенія. — По крайней-мѣрѣ, я знаю, что страсть къ этимъ двумъ началамъ составляетъ во мнѣ какую-то болѣзненную манію, и какъ ни старался — я никогда не могъ одолѣть ее, поэтому я ей покоряюсь.

— Убить человѣка, ради того только, чтобъ убить — я никогда неспособенъ, говорилъ онъ, самымъ искреннимъ тономъ, остановясь передъ графомъ: — но убить его во имя науки, во имя таинственныхъ процессовъ и законовъ органической жизни — готовъ каждую минуту, особенно когда мнѣ за это хорошо заплатятъ. Съ первыхъ самостоятельныхъ шаговъ моихъ на поприщѣ науки, меня всегда какъ-то тянуло къ изслѣдованіямъ всевозможныхъ ядовъ—и я добился таки кое-какихъ счастливыхъ результатовъ; но я люблю дѣлать окончательный, такъ-сказать, полный генеральный анализъ не надъ животными, а надъ людьми, и—я вамъ скажу между нами— что мнѣ удалось такимъ образомъ, въ разныхъ мѣстахъ Европы, изучить четыре превосходныхъ яда, и каждый разъ не безъ матеріальной пользы для своей собственной особы, а однажды, во время моего путешествія по Италіи, отправилъ ad padres, посредствомъ очень тонкаго и медленнаго яда, одного весьма богатаго, но черезчуръ уже долговѣчнаго дядю, за что отъ единственнаго мота-наслѣдника его получилъ, по условію, полновѣсный гонораръ—ни болѣе, ни менѣе, какъ пятьдесятъ тысячъ лиръ, то-есть—двѣнадцать тысячъ пятьсотъ рублей серебромъ на русскія деньги.—Вы—человѣкъ порядочный, человѣкъ безъ предразсудковъ, и притомъ же мой товарищъ и компаньонъ по общему предпріятію, поэтому я съ вами и откровенсенъ такъ—благо ужь нашла на меня такая откровенная минута.

— Ну, а здѣсь, въ Петербургѣ вамъ не приходилось еще производить такія изслѣдованія? спросилъ его графъ.

— Пока еще нѣтъ, спокойно отвѣтилъ докторъ:—но здѣсь удалось мнѣ изслѣдовать одинъ новый, изобрѣтенный собственно мною, составъ, который имѣетъ свойство производить быструю и въ высшей степени сладострастную экзальтацію. Я наблюдалъ его на одномъ изъ цѣломудреннѣйшихъ и красивѣйшихъ экземпляровъ двуногой породы, и результатъ вышелъ безподобный. Вы слыхали когда нибудь о Бероевой? неожиданно спросилъ Herr Катцель.

— Мм... кое-что слышалъ... Это, кажется, та, что̀ хотѣла убить молодого Шадурскаго? отнесся къ нему Каллашъ.

— Она самая, подтвердилъ докторъ:—и она-то была моимъ экземпляромъ.

Тотъ поглядѣлъ на него съ изумленіемъ.

— Ничего мудренаго нѣту, возразилъ Катцель, какъ-бы въ отвѣтъ на его мину: — я большой пріятель съ извѣстной вамъ генеральшей фон-Шпильце, и притомъ же ея постоянный домашній докторъ: у нея почти нѣтъ отъ меня секретовъ.

— Но... послушайте! перебилъ его графъ:—я вотъ чего не понимаю: съ такой головой, съ такимъ характеромъ, съ такими знаніями, вы—служите какой-нибудь фон-Шпильце, исполняете ея заказы и тому подобное, тогда-какъ не вы, а она, по настоящему, должна бы быть у васъ, что-называется, въ услуженіи.

Докторъ горько-иронически усмѣхнулся.

— Это все должно бы быть такъ, и могло бы быть такъ! проговорилъ онъ, съ глубокимъ вздохомъ:—да, могло бы быть, еслибъ... еслибъ мнѣ прихватить гдѣ-нибудь немножко побольше характеру относительно собственной своей особы... Знаете ли, мнѣ сдается, что я вѣчно—вѣчно буду въ зависимости отъ какой-нибудь Шпильце, наперекоръ здравой логикѣ. Это потому, опять-таки, что характеру для самого себя не хватаетъ. Вы знаете ли, что̀, напримѣръ, дѣлалъ я до сихъ поръ со всѣми денежными кушами, которые получалъ за границей? — Тотчасъ же спускалъ въ рулетку — и оставался нищимъ... Въ послѣдній разъ, передъ пріѣздомъ въ Россію, я помышлялъ уже о томъ, чтобы отправить ad padres самого себя, какъ вдругъ случай столкнулъ съ Амаліей Потаповной, она меня выручила — ну, и... закабалила. Она мнѣ дала первыя средства жить, черезъ свои заказы... Разбогатѣй я сегодня — я сегодня же знать

ее не захочу, я самъ закабалю ее; а завтра спущу все до нитки— и снова въ зависимости отъ какого-нибудь подобнаго субъекта — все равно, будетъ ли онъ въ юбкѣ или въ панталонахъ... Въ концѣ концовъ выходитъ только то, что я ихъ всѣхъ ненавижу и презираю, но болѣе чѣмъ ихъ — клянусь вамъ! — презираю и ненавижу самого себя.

Графъ Каллашъ, хотя и самъ былъ изъ людей бывалыхъ и мало чему удивляющихся, однако, не безъ нѣкотораго содроганія, послѣ всѣхъ этихъ признаній, поглядѣлъ на доктора Катцеля. «А вѣдь фигурка-то — маленькая, мизерненькая, и такая невинная, безобидная», невольно пришло ему на умъ въ ту минуту, когда нашъ ученый, покончивъ свою исповѣдь, которою онъ нимало не рисовался и не бравурничалъ, взялъ и спокойно закурилъ графскую сигару.

«Таковъ-то нашъ оберъ-фабрикантъ», не безъ улыбки подумалъ, въ заключеніе, графъ Каллашъ, внимательно созерцая фигуру доктора.

LXV

Фабрика темныхъ бумажекъ

Въ сѣняхъ Устиньи Самсоновны находилась, отъ полу до потолка, сплошная перегородка имѣвшая видъ досчатой стѣны. Четыре доски этой перегородки задвигались за остальныя четыре, по той же самой системѣ, какъ въ иныхъ магазинахъ стеклянныя рамы у витринъ. Отодвижныя доски служили потайною дверью въ темный тайничокъ, гдѣ собственно и крылась важнѣйшая суть хлыстовскаго пріюта. Полъ этого тайничка подымался на скрытыхъ петляхъ, въ видѣ люка, и открывалъ подъ собою деревянную лѣстницу, которая вела въ подъизбище, гдѣ постоянно господствовала непроницаемая темнота. Однажды въ сутки, Устинья Самсоновна зажигала восковую свѣчу, и спускалась въ это подполье. Тамъ таилась хлыстовская молельня. Помѣщеніе было довольно просторное, земляной полъ весьма плотно утрамбованъ; стѣны, служившія

фундаментомъ самой избы, сложены изъ плитняка известковаго и имѣли слишкомъ сажень вышины. По стѣнамъ стояли скамьи, а въ переднемъ углу была прилажена большая полка и на ней, между двумя канделябрами, помѣщались четыре намалеванные образа хлыстовской секты: посерединѣ, въ видѣ Саваоѳа, изображенъ былъ вышній гость Данило Филипповичъ; вправо отъ него—стародубскій богочеловѣкъ, спаситель Иванъ Тимофеевичъ, а по лѣвой сторонѣ—ликъ «богородицы», матери Ивана Тимофеевича — Ирины Нестеровой. Этотъ послѣдній образъ представлялъ древнюю старуху, написанную въ видѣ извѣстнаго православнаго знаменія пресвятой богородицы. Далѣе виднѣлся еще одинъ женскій ликъ, называемый «богинею» или «дочерью бога».

Устинья Самсоновна зажигала канделябры, вздувала уголёкъ въ ручной мѣдной кадильницѣ и начинала свое «моленіе»: — «Дай къ намъ Господи, дай Исуса Христа»!

Это подъизбище было перегорожено на двѣ половины: большую, гдѣ собственно и находилась молельня, и малую, представлявшую комнатку въ сажени двѣ длиною и около сажени въ ширину. Въ этой послѣдней совершались «переболочёнья» братій, то-есть передѣванья передъ началомъ общихъ «радѣній», съ которыми впослѣдствіи познакомится читатель. Тутъ же, къ одному боку была прилажена небольшая желѣзная печь, доставлявшая въ зимнюю пору достаточное количество тепла на цѣлое подъизбище. И вотъ, въ этомъ то-маломъ отдѣленіи хлыстовской молельни, въ одно утро появилась, о бокъ съ желѣзною печкой, еще одна, тоже желѣзная, небольшая химическая печь, которую, съ помощію Ѳомки блаженнаго, приладили здѣсь Нетт Катцель и графъ Каллашъ. Всѣ необходимые матеріалы переправлялись сюда посредствомъ Ѳомушки и самихъ членовъ, день за день, почти незамѣтно въ разную пору дня и ночи, и притомъ разными путями, и приносились порознь, то разобранные по составнымъ своимъ частямъ, то упакованные въ какой-нибудь ящикъ, дорожный сакъ и тому подобное. Эта переноска заняла болѣе двухъ недѣль времени, и такимъ образомъ исподволь и мало-по-малу все увеличивалось тутъ количество весьма разнообразныхъ предметовъ, которые обратили наконецъ подземную комнату въ маленькую химическую

лабораторію. Тутъ сталъ рабочій столъ съ химическими вѣсами по серединѣ, заставленный разными фарфоровыми ступками, пробирными трубочками, лампой Берцеліуса и тому подобными предметами; на потолкахъ помѣстились реторты да колбы, и ящикъ съ анилиновыми красками; другой уголъ занялъ прессъ, вальки для накатыванія этихъ красокъ и литографскіе камни, а за ними — изящная прочная шкатулка, съ секретомъ, хранила въ себѣ металлическія плитки, съ выгравированными на нихъ изображеніями русскихъ кредитныхъ билетовъ, начиная съ трехъ и кончая сторублёвымъ достоинствомъ. Отъ одной стѣны до другой протянулись тонкіе шнурочки, на которыхъ должны были просушиваться пріуготовленныя бумажки — и посреди всѣхъ этихъ предметовъ, какъ нѣкій магъ и волшебникъ, предстоялъ докторъ Катцель, въ сѣрой блузѣ и красной фескѣ, то вычисляя на грифельной доскѣ эквиваленты, то съ глубокимъ, сосредоточеннымъ вниманіемъ слѣдя за реактивомъ какого-нибудь состава; наблюдалъ осадки, или растиралъ въ ступкѣ необходимую ему краску. Докторъ не рѣшался сразу приступать къ выдѣлкѣ ассигнацій — онъ все выискивалъ и добивался такихъ результатовъ, которые устраняли бы всякое подозрѣніе въ фальши его произведеній, и потому долгое время занимался одними только изслѣдованіями красокъ и составовъ, стараясь въ то же время довести бумагу до того вида и свойства, какимъ отличаются неподдѣльныя русскія кредитки. Часто даже по цѣлымъ суткамъ и болѣе, онъ безвыходно оставался въ своей лабораторіи, упорно преслѣдуя свою цѣль, забывалъ и сонъ, и пищу, терялъ даже потребность въ свѣжемъ воздухѣ, пока наконецъ въ голову не начиналъ ударять страшный приливъ крови и организмъ изнемогалъ отъ столь долгаго напряженія. Тогда Катцель переодѣвался въ обычное платье и, пославъ предварительно либо Устинью Самсоновну, либо Пансія Логиныча оглядѣть мѣстность — нѣтъ ли тамъ лишняго прохожаго народу—выходилъ на свѣжій воздухъ и пробирался къ своей городской квартирѣ, стараясь избирать по возможности различные пути для того, чтобы не примелькалась кому-нибудь его физіономія, что́ могло бы, пожалуй, случиться при путешествіи постоянно одной и той же дорогой. Три-четыре дня отдыха придавали доктору новыя силы, съ запасомъ которыхъ онъ снова спускался въ свою подзем-

ную лабораторію. Остальные члены, то порознь, то вмѣстѣ, посѣщали его разъ въ недѣлю и приносили съ собою добрый запасецъ краснаго вина, которымъ обер-фабрикантъ, въ минуты усталости, подкрѣплялъ свои силы.

Обитатели огородной избы, благодаря Ѳомушкѣ, познакомились и даже сблизились на столько съ членами будущаго темнаго банка, на сколько являлось это необходимостью, при дѣлѣ, которое производилось съ ихъ вѣдома и притомъ въ ихъ собственномъ домѣ. Устинья Самсоновна, при встрѣчѣ своихъ гостей каждый разъ не не переставала сердобольно обращаться къ нимъ въ вопросами: «что же, батюшки-братцы, скоро-ль гоненіе-то на насъ будетъ? Поскорѣй бы хотѣлося»! или освѣдомлялась, когда именно думаютъ онъ сѣмя антихристово разсѣять по лицу земли? Старецъ Паисій, въ этихъ случаяхъ, больше все помалчивалъ, только улыбался имъ съ великимъ благодушіемъ, да отвѣшивалъ поклонъ, исполненный большого достоинства.

Между тѣмъ, одно время Ѳомушка совсѣмъ исчезъ куда-то и очень долго не показывался ни у графа Каллаша, ни въ избѣ Устиньи Самсоновны. Обстоятельство это немало-таки озаботило графа, ибо Ѳомушка былъ для него весьма нужнымъ подспорьемъ въ затѣянномъ дѣлѣ, какъ извѣстно уже читателю. И только впослѣдствіи было узнано что рабъ божій Ѳома обрѣтается въ тюремномъ замкѣ, по подозрѣнію въ кражѣ.—Время этого отсутствія совпадало съ его арестомъ. Какимъ образомъ могъ приключиться съ Ѳомушкой такой неладный фокусъ—графъ Каллашъ не могъ себѣ съ точностію представить, потому что Ѳомушка въ ожиданіи будущихъ благъ, получалъ отъ него по мелочамъ весьма изрядное количество денегъ, которыхъ вполнѣ хватило бы для него, чтобы жить не нуждаючись и даже съ нѣкоторой, возможной для него, роскошью.

— Мой милый графъ, разсудительно возразилъ ему однажды Катцель, когда тотъ развилъ передъ нимъ подобныя соображенія свои касательно Ѳомушки: — мы съ вами имѣемъ, конечно, средства, чтобы жить ненуждаючись и даже съ *не*возможной для насъ роскошью, и однакожь... однакожь мы продолжаемъ мошенничать, изъ желанія имѣть какъ можно больше, чтобы жить еще роскошнѣе.—

То же самое и вашъ милый Ѳомушка, котораго я вполнѣ уважаю.

— Такова уже натура, и противъ натуры не пойдешь! заключилъ Негт Катцель.

И онъ былъ правъ. Дѣйствительно, такова уже была у Ѳомушки натура, что отказаться отъ одного мошенничества ради другаго, онъ чувствовалъ себя не въ состояніи. Ему бы хотѣлось обоимъ разомъ предаваться. Видитъ онъ, что дѣло съ бумажками еще только подготовляется, что заработки отъ него принадлежатъ пока будущему, и думаетъ: «что же я стану задаромъ время-то золотое терять»? — и поэтому отнюдь не терялъ его даромъ. Хотя онъ и точно, получалъ отъ графа порядочные деньжишки, однако подобнаго рода полученія какъ-то мало удовлетворяли блаженнаго. «Это, что за деньги! размышлялъ онъ порою: — это все равно, что ты ихъ на улицѣ нашелъ: сами собою, задаромъ, въ твой карманъ приплываютъ. Это, по настоящему, не деньги; а вотъ деньги — которыя ты самъ себѣ своей смѣткой, своими мозгами да своими руками добудешь себѣ — ну, тутъ ужъ выйдетъ статья иная»! Старыя привычки брали-таки свою силу надъ Ѳомушкой-блаженнымъ. Безшабашная, проидошная натура его не могла помириться съ тѣмъ, относительно, спокойнымъ и довольственнымъ существованіемъ, какое доставляли ему подачки графа Каллаша. Эти старыя привычки тянули его на свою сторону, заставляли, попрежнему, простаивать, купно съ Макридой и Касьянчикомъ, на паперти Сѣннаго Спаса, корчить изъ себя юродиваго, таскаться по перекусочнымъ да по разнымъ трущобамъ, сговариваться съ Грѣчкой объ убійствѣ ростовщика Мордонки, и наконецъ ни съ того, ни съ сего, ради одной только привычки, украсть при выходѣ отъ всенощной бумажникъ купца Верхобрюхова—обстоятельство, какъ извѣстно, доведшее его до «дядина дома», изъ коего освободился онъ благодаря лишь ходатайству великосвѣтской сердобольницы. Тутъ ужь именно дѣйствовала одна только «натура», одни лишь привычные инстинкты, и больше ничего.

По выходѣ изъ тюрьмы, живя въ богадельнѣ, онъ навѣдывался къ графу Каллашу, но — увы! — банкъ тѣмныхъ бумажекъ не приносилъ еще никакихъ положительныхъ результатовъ. Докторъ Катцель все еще дѣлалъ опыты, достигая разныхъ усовершенствованій,

изготовлялъ пробныя ассигнаціи, но... эти ассигнаціи все еще не подходили къ искомому идеалу. Хотя каждая новая проба значительно приближалась къ нему, однако, до тѣхъ поръ пока этотъ завѣтный идеалъ неудовлетворенъ въ совершенствѣ, докторъ Катцель не рѣшался выпустить ни одного экземпляра изъ своей лабораторіи. Онъ упорно боролся съ нетерпѣніемъ своихъ соѣоварищей, особенно же съ Каллашемъ; дѣло доходило до крупныхъ и горячихъ разговоровъ, и все-таки, въ концѣ концовъ, настаивалъ на своемъ — и тѣ ему уступали.

— Если ужь дѣлать, то дѣлать такъ, чтобы это было достойно порядочнаго человѣка! убѣждалъ онъ ихъ, въ минуты подобныхъ споровъ:—иначе возьмите вашего Ѳомку, и пускай онъ, а не я, занимается въ этой лабораторіи! Грубыхъ поддѣлокъ и безъ того довольно гуляетъ по свѣту, а я хочу сдѣлать такъ, чтобы потомъ въ случаѣ печальнаго исхода, мнѣ, ученому химику, не пришлось бы краснѣть за свое издѣліе и за свое знаніе. Для васъ же будетъ лучше, говорилъ онъ:—если потомъ вы сами не отличите ихъ отъ настоящихъ: тогда мы будемъ свободно и смѣло являться съ ними хоть въ государственный банкъ для размѣна!

Этотъ энергическій жаръ и увѣренность, съ которыми приводилъ докторъ свои доказательства, и это совершенствованіе, замѣчавшееся въ кредиткахъ, послѣ каждаго новаго опыта, убѣждали членовъ въ справедливости его словъ и доводовъ, такъ что они единодушно рѣшались ждать того времени, когда наконецъ труды и усилія оберфабриканта увѣнчаются полнымъ успѣхомъ.

Приходилось ждать и Ѳомушкѣ, хотя онъ и не былъ посвящаемъ въ эти споры и успѣхи доктора. Но столь долгое ожиданіе погоды, сидя у моря, начинало уже немножко надоѣдать ему. «Видно, дѣло не путёвое, и надо такъ полагать, что ни хера изъ него не вытресется! Ничего клёваго не выйдетъ»! сталъ иногда подумывать Ѳомушка, съ кислой улыбкой сомнѣнія, близкаго къ полному разочарованью.

LXVI

Послѣдняя просьба—послѣдняя мысль

Когда въ обыкновенной тюремной мышеловкѣ арестантку привезли съ Конной площади обратно въ тюрьму, она была уже очень слаба, и едва-едва лишь на ногахъ держалась.

Минуты, пережитыя ею въ послѣднее утро, казалось совокупили въ себѣ всѣ тѣ страданія, которыя перенесла она, со времени первой катастрофы до того мгновенья, пока дверца фургона не скрыла ее, наконецъ, отъ тысячи глазъ любопытной толпы. Но ко всему, что въ теченіе долгаго времени накопилось въ груди этой женщины—путешествіе на Конную площадь надбавило теперь послѣднюю гирю, которую уже не въ состояніи былъ выдержать организмъ ея. Нервическое потрясеніе оказалось столь велико, что изъ тюремной конторы Бероеву прямо отправили въ лазаретъ, который для женщинъ помѣщается въ верхнемъ этажѣ ихъ «дядиной дачи».

Вскорѣ у нея начался значительный упадокъ силъ и съ каждымъ часомъ все шелъ прогрессивнѣе. Сознаніе, впрочемъ, ни на минуту не покидало больную — разсудокъ ея былъ совершенно ясенъ.

Пришелъ докторъ, пощупалъ пульсъ и весьма сомнительно покачалъ головою.

— Ну, что?... Какъ? спросила его тутъ же у постели лазаретная надзирательница.

— Да что... Очень плохо.

Бероева открыла глаза, и жадно старалась ловить ихъ полушопотъ.

— Но все-таки есть надежда? спросила надзирательница.

— Мм...н-да, пожалуй... однако, очень мало.

— Вы полагаете, стало быть, что умретъ?

— Н-да... мнѣ кажется, не вынесетъ... Упадокъ силъ черезчуръ ужь великъ.

— Да и какъ быстро наступилъ-то онъ!... И все сильнѣе, все сильнѣе вѣдь!

— Это-то и скверно.

— Что жь тутъ дѣлать теперь?

— Ну, пропишемъ что-нибудь... посмотримъ... можетъ быть... только едва-ли.

Бероева слышала кое-что изъ этого разговора — объ остальномъ она догадалась, и сердце ея сжалось тоскою и холодомъ. Смерть... она не думала, чтобы смерть была такъ близко... она не чувствовала и не ждала ее. Смерть! — эта мысль испугала больную.

Мысли ея стали мѣшаться, путаться, въ ушахъ за звенѣлъ какой-то смутный шумъ, глаза смыкаются невольно, какъ-бы подъ обаяніемъ неодолимой дремоты, и наконецъ, наступаетъ какое-то сладкое, дурманящее забытье.

Сынъ Эскулапа, для успокоенія совѣсти, прописалъ какое-то снадобье, съ которымъ, часа полтора спустя, сидѣлка подошла къ постели Бероевой и растолкала спящую.

Та съ усиліемъ открыла глаза. Пробужденіе отъ этого сна показалось ей тяжкимъ и сопровождалось тѣмъ нудящимъ ощущеніемъ тошноты, которое подымается въ груди передъ обморокомъ, и иногда въ первыя мгновенья послѣ него.

— Лекарство прими, предложила сидѣлка-арестантка.

— Не надо... слабо проговорила больная, которую отъ этого чувства дурноты еще болѣе клонило ко сну: организмъ просилъ полнаго успокоенія.

— Да всежь таки прими, моя милая; вѣдь дохтуръ приказалъ, убѣждала сидѣлка, продолжая тревожить ее расталкиваньемъ.

— Послѣ... чуть слышно отвѣтила Бероева.

— Да какъ же такъ?... Я, право, не знаю.... Я надзирательшу кликну —пущай она сама, какъ знаетъ.

— Оставь, Христа-ради... Дай ты мнѣ покой!

— Да вѣдь приказано!

Встрѣтя столь настойчивое сопротивленіе, Бероева нервно, хотя и весьма слабо заметалась на своей койкѣ. Это требованіе только сильнѣе раздражало ее, произведя конвульсивно-лихорадочныя содраганія во всемъ тѣлѣ.

— Бога въ тебѣ нѣтъ, что ли! укоризненно накинулись на сидѣлку нѣсколько больныхъ арестантокъ: — не видишь развѣ?—все равно помретъ... Оставь ты ее, не мучь напослѣдокъ—ужь и безъ того ей вдосталь пришлось сегодня... Совсѣмъ помираетъ вѣдь.

Общая укоризна подѣйствовала: сидѣлка, поставивъ стлянку на столъ, отошла отъ постели.

Но зловѣще въ ушахъ Бероевой раздались слова арестантокъ:

— Все равно помретъ... совсѣмъ помираетъ.

Ужасная мысль о близости смерти снова мелькнула въ ея умѣ пугающимъ призракомъ—и на этотъ разъ больная рѣшилась собрать всѣ скудныя силы, какими владѣла въ эту минуту.

— Мавру Кузьминишну... голубушка, Мавру Кузьминишну ко мнѣ, слабо пролепетала она, обративъ молящій взоръ къ своей лазаретной сосѣдкѣ, лежавшей на рядомъ-стоящей койкѣ:—Бога-ради, Мавру Кузьминишну! умоляющимъ стономъ повторила она.

И черезъ нѣсколько минутъ надзирательница уже держала ея холодѣющія руки.

— Мавра Кузьминишна... тутъ у меня въ ладонкѣ, на шеѣ... вы знаете... вмѣстѣ съ крестомъ старинный рубль зашитъ... старинный рубль... отъ дочери... Снимите съ меня...

Старушка исполнила ея желаніе—и Бероева слабою рукою поднесла къ губамъ свою завѣтную память. На глазахъ ея показались слезы.

— Бѣдныя мои дѣти! горько прошептала она, продолжительно прильнувъ къ этой ладонкѣ:—не увижу больше...

Мавра Кузьминишна и больная сосѣдка поддерживали слегка ея голову. Остальныя, внимательно и въ какомъ-то благоговѣйномъ молчаніи, слѣдили, со своихъ кроватей, за этою грустною сценой.

— Я умру, говорятъ они... Нѣтъ... Боже мой, нѣтъ!... Неужели... Смерть... Но... если я умру, продолжала больная, въ борьбѣ съ этою мыслью, тихо взявъ руку надзирательницы: — напишите къ роднымъ—вы знаете, куда... Живъ ли *онъ*, и что съ нимъ?... Если онъ живъ — мужъ мой — пускай ему скажутъ, что я и въ послѣднюю минуту о немъ да о дѣтяхъ несчастныхъ поминала... Онъ любитъ насъ... А тѣмъ, врагамъ нашимъ—Богъ съ ними!... Я прощаю имъ... Пусть и онъ проститъ...

И новыя слезы полились изъ глазъ умирающей.

— Теперь—моя послѣдняя просьба... послѣднее желанье... Бога-ради, сдѣлайте это... Для умирающаго человѣка можно, продолжала она, поднявъ на старушку молящія взоры:—это капризъ; но... въ

немъ теперь *есе*, чтó осталось мнѣ дорого отъ прошлаго... Этотъ рубль — подарокъ дочери моей — я не хочу съ нимъ разстаться... Умоляю васъ! Не откажите моей послѣдней волѣ!... Положите его со мною въ гробъ... Вы сдѣлаете это? Дайте мнѣ слово!

Мавра Кузьминишна пообѣщалась, и на лицѣ умирающей, словно тихая тѣнь весенняго облака, легла свѣтлая, довольная улыбка.

— Благодарю васъ... прошептала она:—благодарю... Теперь я умру спокойнѣе... Не отходите отъ меня... Будьте хоть вы со мною—все же легче какъ-то: не одна хоть буду въ послѣднюю минуту... Сядьте здѣсь... поближе...

Старушка сѣла подлѣ нея и все держала ея руки, такъ нѣжно и любовно, какъ могла бы развѣ одна только мать держать своего умирающаго ребёнка.

Но за то, послѣ столькихъ усилій, послѣ минутнаго напряженія столькихъ нравственныхъ и физическихъ способностей, которыми сопровождалась эта сцена — организмъ Бероевой совсѣмъ уже истощился, и начался окончательный упадокъ силъ.

Она слабо дышала, лежа навзничь на своей постели. Глаза были закрыты, пульсъ едва уже бился и рука, сжимавшая у груди завѣтную ладонку, холодѣла все болѣе. Черезъ полчаса это состояніе почти незамѣтно перешло въ какой-то окоченѣлый сонъ, такъ что ни пульса, ни дыханія уже не было слышно.

LXVII

Между жизнью и смертью

Слабѣе, слабѣе становится тѣло—съ каждой секундой силы угасаютъ все больше. За минуту Бероева могла еще двинуть по своей волѣ рукой или пальцемъ—теперь ей уже трудно сдѣлать это: она не можетъ даже шелохнуть ни единымъ суставомъ, да ей и не хочется, она чувствуетъ, что ей было бы болѣзненно-трудно шевельнуть чѣмъ-нибудь. Какъ хорошо лежать ей теперь неподвижно въ этомъ разслабляющемъ оцѣпененіи! Словно бы великая лѣнь разлилась по всему тѣлу, по всѣмъ суставамъ и жиламъ, и держитъ ее подъ своимъ обаяніемъ. «Ахъ, кабы не будили! ахъ, кабы они

оставили меня»! смутно промелькнуло въ головѣ Бероевой, такъ смутно, какъ иногда въ ярко-солнечный день мелькнетъ на прибрежномъ чистомъ пескѣ тѣнь отъ крыла пролетѣвшей птицы. Но ее не будятъ, она какъ будто чувствуетъ, что руку ея держитъ чья-то другая, дружелюбная рука — это была рука Мавры Кузьминишны—ее не будятъ, и она довольна, она рада этому: ей такъ хорошо лежать въ этомъ забытьи, сковывающемъ тѣло.

Глаза смыкаются все больше и больше, и пока они совсѣмъ еще не сомкнулись, Бероева, будто сквозь голубоватый туманъ, почти безсознательно и блѣдно различаетъ около себя какія-то фигуры — не то это люди, не то деревья. Фигуры эти мелькаютъ и рябятъ передъ ея глазами, какъ рябятъ иногда печатныя строчки у человѣка, засыпающаго надъ книгой.

Но вотъ голубоватый свѣтъ тумана перешелъ въ какой-то мглисто-сѣрый, и фигуры исчезли...

Вмѣсто ихъ появляются новыя ощущенія.

Тяжко-сладкая дремота долитъ и долитъ все сильнѣе, и уже нѣтъ того сознанія, которое за минуту еще мелькало въ ея умѣ, выражаясь желаніемъ, чтобы ее оставили въ этомъ покоѣ и не будили бы больше. Теперь уже нѣтъ никакого сознанія окружающей дѣйствительности, потому что на мѣсто его появилось сознаніе какихъ-то призрачныхъ грезъ и ощущеній.

Въ ушахъ раздается неопредѣленный шумъ. Какой это шумъ? Не тò, тысячи колоколовъ гудятъ во тьмѣ... Кремль и московскіе соборы въ полночь во время христовской заутрени... Гудятъ и звонятъ все сильнѣе, все ближе—гулъ и звонъ со всѣхъ сторонъ охватываютъ Бероеву. Боже мой, какой это ужасный, какой нестерпимый звонъ!... А въ глазахъ, въ глазахъ-то, чтò за дивный свѣтъ ударяетъ въ нихъ сверху! Это яркое солнце ослѣпительно, нестерпимо рѣжетъ глаза своимъ колючимъ блескомъ. Цѣлые снопы золотыхъ, брильянтовыхъ лучей отовсюду, миріадами кидаются въ глаза и жгутъ, и слѣпятъ ихъ собою.

Не тò звуки плохого, разстроеннаго фортепіано раздаются въ ушахъ—словно по клавишамъ безъ толку и смыслу ударяетъ чья-то невѣрная, дѣтская рука; не то грохотъ барабановъ раздается, шумъ и крики толпы; а въ глазахъ колёсами ходятъ и сплетаются между

собою, будто въ дивной фантасмагоріи, какіе-то огненные круги, играющіе всѣми цвѣтами радуги — и эти круги являются въ разныхъ размѣрахъ — большіе и малые, а между ними, на темномъ фонѣ, дождемъ падаютъ, сыплются и скачутъ, и прыгаютъ, и вьются и кружатся миріады свѣтлыхъ точекъ, брильянтовыхъ искорокъ, снѣжинокъ... Радуги налетаютъ на нее со всѣхъ сторонъ, съ непостижимой быстротою свиваются вокругъ ея тѣла, опоясываютъ ее сверкающимъ обручемъ—и она лежитъ вся въ огнѣ, вся въ блескѣ и трескѣ, подъ нескончаемымъ дождемъ свѣтлыхъ искорокъ, въ нескончаемомъ шумѣ и звонѣ какихъ-то странныхъ голосовъ, какихъ-то дикихъ инструментовъ.

Но вотъ стихаютъ этотъ блескъ и шумъ, становясь все глуше и глуше... Теперь уже будто не барабаны, не колокола и не голоса толпы, а словно бы шумъ и кипѣніе безконечнаго моря. И это не море, а цѣлый океанъ шипитъ, волнуется и клубится. Холодно. Плескъ волнъ все тише и слабѣе—будто она, заснувшая, медленно и плавно опускается на дно морское. Тусклый свѣтъ едва-едва проникаетъ своими слабыми, преломляющимися лучами сквозь холодныя массы воды—и это именно подводный свѣтъ, съ зеленоватымъ отливомъ... большія, безобразныя рыбы медленно двигаются въ безднахъ океана, тихо раскрывая и смыкая свои страшныя пасти, машутъ плавательными перьями и смотрятъ на утонувшую своими холодно-стеклянными, неподвижными глазами. А она опускается все глубже и глубже, и чѣмъ глубже, тѣмъ все холоднѣе становится ей. И вотъ, этотъ водяной холодъ равномѣрно разливается по всѣмъ членамъ ея тѣла. Наконецъ она совсѣмъ уже опустилась на дно морское—навзничь лежитъ недвижимо, и не чувствуетъ больше холода: здѣсь уже нѣтъ ей ни холода, ни теплоты, а есть только одно оцѣпененье. Рыбы тоже исчезли и тусклый, зеленовато-подводный свѣтъ улетучился кверху.

Наступили мракъ и тишина — полнѣйшая тишина и мертвенное спокойствіе. Прошло нѣсколько долгихъ минутъ среди такого ничѣмъ невозмущеннаго состоянія.

«Кажись, умерла», вдругъ послышался оцѣпенѣвшей Бероевой

шопотливый голосъ Мавры Кузьминишны, и показалось ей, будто въ этомъ голосѣ былъ легкій оттѣнокъ испуга.

«Надо быть, умерла», шопотомъ же отвѣтилъ голосъ больной сосѣдки.

Нѣсколько арестантокъ тихо, осторожною походкой, въ своихъ сѣрыхъ халатахъ, подошли къ постели Бероевой, и долго, съ чувствомъ нѣмого благоговѣнія, которое всегда бываетъ инстинктивно присуще человѣку передъ одромъ только что отошедшаго брата, глядѣли въ строго-спокойное, синевато-блѣдное лицо умершей.

— Умерла... невольно промолвили нѣкоторыя изъ нихъ — и это слово, точно такъ же какъ и полушопотъ Мавры Кузьминишны, достигло до слуха Бероевой.

«Умерла?... Какъ, умерла?! Что это онѣ говорятъ»? мелькнуло въ ея слабомъ сознаніи, которое вмѣстѣ съ наступившею тишиной и мракомъ, мало-по-малу начало снова возвращаться къ ней. Но съ возвратомъ внутренняго сознанія, къ ней не воротилась способность проявить его внѣшними признаками: звукомъ, взглядомъ, движеніемъ. Физическія силы совсѣмъ оставили это мертвенно-неподвижное тѣло.

«Что это вы говорите!?... Я жива! жива!... Поглядите вотъ»! Бероевой, въ ея исключительномъ положеніи, показалось, будто она нетолько произнесла, но даже громко выкрикнула эти слова: и ей хотѣлось, всѣми силами своего слабаго сознанія хотѣлось выкрикнуть ихъ громче, чтобы разувѣрить окружающихъ въ своей мнимой смерти. Но странно: окружающіе какъ будто и не слыхали ея словъ: они продолжали относиться къ ней, какъ къ мертвой.

— Надо бы позвать надзирательшу да дохтура — пущай поглядятъ, вполголоса предложила сидѣлка и на цыпочкахъ вышла изъ комнаты.

«Ну, вотъ! слава-Богу! докторъ придетъ... онъ увидитъ, онъ разувѣритъ ихъ», прокрался у Бероевой лучъ надежды.

Пришелъ докторъ, взглянулъ на застывшую женщину, приподнялъ ей большимъ пальцемъ зрачокъ и въ тусклый глазъ заглянулъ, затѣмъ пощупалъ пульсъ и кивнулъ головою: готова, молъ!

— Умерла? спросила его Мавра Кузьминишна.

— Конечно. Развѣ вы не видите?

«Да нѣтъ же! нѣтъ!... Я жива!... Я слышу»! силилась закричать Бероева, и снова показалось ей, будто она дѣйствительно крикнула — но нѣтъ, не слышатъ... Хочетъ она хоть чѣмъ нибудь подать имъ знакъ о присутствіи въ ней жизни, хочетъ приподнять опущенныя вѣки — и не можетъ поднять ихъ; силится шевельнуть пальцемъ — безжизненные мускулы не поддаются невѣроятно-упорнымъ усиліямъ ея воли, а между тѣмъ она все яснѣй начинаетъ слышать движеніе окружающей ее жизни, даже отдѣльные людскіе голоса различаетъ, сознавая, когда и что́ говоритъ докторъ и когда Мавра Кузьминишна.

При этомъ въ ней поднялось то́ смутное, невыносимо-тяжкое чувство, которое наплываетъ на грудь и голову человѣка во время сознаго кошмара.

«Да это сонъ, это кошмаръ» думаетъ Бероева: «онъ сейчасъ кончится, только сразу никакъ не могу я проснуться... этого ничего нѣтъ, это все только снится мнѣ».

Но кошмаръ не проходитъ и, несмотря на всѣ усилія воли — проснуться она не можетъ.

— Накройте ее и уберите койку, да въ контору дайте знать о смерти, распорядился докторъ, удаляясь изъ комнаты, ибо за симъ ему уже нечего было дѣлать въ лазаретѣ.

— Какъ быть-то? вѣдь по закону, кажись, нельзя класть къ покойнику въ гробъ драгоцѣнныя вещи? съ озабоченной сомнительностью обратилась старушка къ бывшей сосѣдкѣ Бероевой.

Мнимо-умершая разслышала и эти послѣднія слова. «Неужели она не положитъ? неужели не исполнитъ моей просьбы»?

— Такъ что жь, это вѣдь не бральянтъ какой, а просто на́ просто старая деньга́ — чай, сами слышали! подумавши, возразила арестантка: — опять же послѣдняя воля—просила-то вѣдь какъ!... Слёзно просила!... Вѣдь грѣхъ не́ сдѣлать-то!

— То́-то что грѣхъ, со вздохомъ согласилась Мавра Кузьминишна: — это на совѣсти будетъ... боюсь только, отъ начальства чего бы не вышло, если узна́ютъ... Ну, да ужь что́ объ этомъ думать, коли по христіанству должно исполнить! махнула она рукою: — послѣдняя воля — великое дѣло.

Бероева, во внутреннемъ сознаніи своемъ, просвѣтлѣла отъ послѣднихъ словъ старушки.

Еслибы воля ея повиновалась ей, то на лицѣ ея отразилась бы улыбка самой искренней, самой теплой благодарности; но теперь— лицо осталось мертво и безвыразительно.

И вскорѣ послѣ этого, Бероева, хотя и черезчуръ слабо, однако ощутила-таки, какъ ее всю — отъ головы до ногъ — покрыли чистою простынею и какъ два солдата подняли ее вмѣстѣ съ койкой и понесли изъ больничной палаты.

Арестантка Катя Балыкова, та самая, которой Бероева иногда писала письма къ ея Осипу Грѣчкѣ, провѣдавъ теперь о смерти Юліи Николаевны, слёзно обратилась къ Маврѣ Кузьминишнѣ, допустить ее обмыть покойницу. «Хоть этимъ-то отблагодарить за душевность ея»! прибавила она въ поясненіе своего желанія. Надзирательница согласилась, и вмѣстѣ съ Катей, сама обмыла, сама одѣла Бероеву и, разжавъ ея пальцы, вынула изъ руки ладонку и надѣла ей на шею, подъ смёртную, арестантскую рубаху.

Послѣ того, тѣло, до слѣдующаго дня, вынесли въ «мертвецкую».

Близится ночь. Покойница лежитъ на столѣ въ тюремной «мертвецкой», покрытая все тою же чистой простынею. Передъ образомъ мерцаетъ лампада; въ головахъ у нея восковая свѣчка теплится, и кидаетъ на стѣну поперечную тѣнь отъ лежащей женщины. Эта тѣнь рисуетъ неправильный профиль головы, бугорокъ, въ томъ мѣстѣ, гдѣ на груди сложены руки, и острый, выдающійся уголъ пальцевъ ногъ подъ простынею.

Тихо. Только сверчокъ уныло и робко цвирикаетъ подъ половицей, да изрѣдка треснетъ нагорѣлая свѣтильня восковой свѣчки—и монотонно-глухо раздается внятный голосъ читальщика Китаренко, который «ради спасенья души» выпросился почитать псалтирь надъ покойницей.

«Святый боже, святый крѣпкій, святый безсмертный, помилуй насъ», смутно звучится въ ушахъ Бероевой — и въ мозгу ее копошится новая тѣнь мысли:

«Надъ кѣмъ это читаютъ?... Надо мной читаютъ?... Да, надо мной читаютъ»!

«Со святыми упокой, Христе, душу новопреставленныя рабы твоея Юліи», продолжаетъ межъ тѣмъ монотонно-тягучій голосъ псаломщика: «идеже нѣсть болѣзнь, ни печаль, ни воздыханіе, но жизнь безконечная».

... «Но жизнь безконечная»... Я умерла, шевельнулась новая мысль въ сознаніи Бероевой:—смерть... А, такъ вотъ она смерть!... Я не вижу, не двигаюсь, но я слышу... Умерло тѣло — душа жива... «Но жизнь безконечная» — сознаніе, значитъ, останется: оно — жизнь безконечная. Страшно. Но это теперь, пока я на землѣ пока меня люди окружаютъ; а дальше-то что же»?

«Земніи убо отъ земли создахомся, и въ землю туюжде пойдемъ, якоже повелѣлъ еси создавый мя и рекій ми: яко земля еси и въ землю отыдеши, аможе вси человѣцы пойдемъ, надгробное рыданіе творяще пѣснь: аллилуія».

«Но дальше, что̀ же дальше-то будетъ»? неотвязно замелькала передъ мнимо-умершей все та же пытливая и ужасающая мысльe «теперь я слышу жизнь, а когда закопаютъ въ могилу — тамъ уже нѐчего будетъ слышать... Какіе звуки тамъ, подъ землею?... Сознаніе осталось... А когда тѣло сгніетъ и кости истлѣютъ? Тогда же что̀»?

— «Чудна дѣла твоя, и душа моя знаетъ зѣло. Не утаися кость моя отъ тебе, юже сотворилъ еси въ тайнѣ», звучитъ голосъ читальщика; а ночь, межъ тѣмъ, растетъ и разстилается надъ неугомоннымъ городомъ.

Порою, будто туманъ непроницаемо заложитъ голову Бероевой, и одолѣваетъ ее какое-то обморочное, мертвенное состояніе: слухъ притупится и мысль застынетъ; но потомъ опять начинаютъ раздаваться въ ушахъ какіе-то неясные звуки, которыхъ нельзя еще различить; однако изъ этихъ самыхъ звуковъ, черезъ нѣсколько времени, начинаютъ выдѣляться слова, изъ словъ цѣлыя фразы читаемой псалтири — и смутное сознаніе снова пробуждается, и ясно выростаетъ въ немъ роковой вопросъ: «что̀ же дальше будетъ»? пока и мысль и слухъ опять не погаснутъ въ новомъ наплывѣ какихъ-то призрачныхъ грезъ, тающихъ подъ конецъ въ этомъ обморочномъ, всепоглощающемъ туманѣ.

LXVIII

Тюремныя вѣсти и новости.

Тюремныя новости разносятся необыкновенно быстро. Это своего рода телеграфъ, въ которомъ, впрочемъ, электрическая проволока и всѣ другіе аппараты весьма успѣшно замѣняются однимъ только языкомъ. Въ тюрьмѣ, среди одуряющаго однообразія жизни, каждое приключеніе — въ родѣ того, что двѣ арестантки за что нибудь подрались, или одинъ арестантъ стащилъ у другого рубаху — считается уже новостью, которая тотчасъ передается на другіе этажи и отдѣленія. Оно и понятно: хотя драка или мѣстное воровство—явленія самыя обыкновенныя въ подобной средѣ, но все же и они, въ тюрьмѣ, отчасти выдаются изъ скучно-монотоннаго уровня скучнѣйшей жизни, гдѣ одинъ день ни на іоту не отличается отъ другого, гдѣ завтра тянется — какъ вчера, а вчера — какъ сегодня, и такъ цѣлыя недѣли, мѣсяцы и даже годы. При этихъ условіяхъ — понятное дѣло — такое обстоятельство, на которое въ иной обстановкѣ никто изъ заключенныхъ и малѣйшаго вниманія не обратилъ бы—«не плюнулъ бы», какъ говорятъ они— здѣсь уже пріобрѣтаетъ своего рода важность, значеніе новости или приключенія и, какъ новость, разносится по всѣмъ камерамъ, съ достодолжною быстротою.

Утромъ этого дня новость заключалась въ отправкѣ Бероевой на площадь — «къ Смольному затылкомъ на фортункѣ покатили марушку [1]) одну съ дядиной дачи», передавали арестанты другъ другу; а къ вечеру всеобщею новостью для тюрьмы стала внезапная смерть этой самой марушки—и разсказъ о томъ, какъ умирала и что̀ говорила, что̀ дѣлала при этомъ арестантка, быстро перелетала изъ устъ въ уста въ варьяціями, дополненіями и измѣненіями—каждый присовокуплялъ къ нему что̀ хотѣлъ, по своему личному вкусу и соображенію: лазаретная сидѣлка передала придверницѣ, придверница стряпухамъ и прачкамъ, тѣ разнесли по женскимъ камерамъ, а женщины, въ свою очередь, передали мужчинамъ.

---

[1]) *Маруха*—женщина; *Марушка*—уменьшительное и отчасти ласкательное измѣненіе того же слова, что-то въ родѣ молодки или бабенки.

Есть въ тюрьмѣ одинъ пунктъ, въ которомъ деревянная тонкая стѣна отгораживаетъ мужское отдѣленіе отъ женскаго. Этотъ пунктъ и служитъ главною станціей устныхъ депешъ отъ мужчинъ къ женщинамъ и обратно. У всѣхъ почти заключенныхъ, которые имѣютъ свои тюремные, платоническіе романы, условлены извѣстные часы для свиданій съ дамами сердца. Лица не видно, за то голосъ можно хорошо слышать, стало быть, есть возможность разговаривать. Точно такой же условный часъ свиданія существуетъ и у Грѣчки съ арестанткой Катей Балыковой.

— Что у васъ, померъ кто-то, слышно? спросилъ голосъ Грѣчки.

— Ахъ, ужь и не говори!... Такое это у меня горе!... Вѣдь самая душевная моя, любимая моя померла-то! встосковалась Катя Балыкова:—сколько разъ, бывало, попросишь письмо къ тебѣ написать—никогда отказу не было.

И арестантка, со всѣми подробностями, на сколько сама знала, передала ему разсказъ о послѣднихъ минутахъ Бероевой.

— Ты говоришь, деньги приказала положить съ собою? очень серьёзно и очень тихо спросилъ Грѣчка, видимо измѣнившимся голосомъ.

— Ахъ, ужь такъ то просила!... Со слезами, говорятъ... Это, молъ, самая завѣтная вещица моя, приказывала имъ, ни за что, молъ, разстаться съ ней не желаю.

— Гм... И ты не врешь, что сама видѣла какъ оно въ ладонкѣ зашито?

— Зачѣмъ врать! своими глазами видѣла. Потому какъ я очинно любила покойницу, объясняла Балыкова: — такъ я выпросилась у Мавры Кузьминишны, чтобъ взяла меня вмѣстѣ съ собою обмывать да убирать ее—тутъ вотъ и видѣла, какъ она, значитъ, на шею надѣла ей.

— Гм... А деньга-то самая, рубль старинный, что ли?

— Старинный, точно старинный — тяжельше нонѣшнихъ.

— Да это вѣрно?

— Что сама видѣла да слышала, то и говорю, подтвердила Катя.—Мавра Кузьминишна и допрежь того знала про этотъ самый рубль, продолжала она: — потому, сказывала она, что покойница ей не разъ говорила про него: онѣ со старушкой-то нашей

словно дочка съ матерью жили. Такъ вотъ это она и сказывала что рубль-то петровскій какой-то... вѣрно, особенный... въ семьѣ у нихъ издавна хранился.

Еслибъ Катя Балыкова могла видѣть грѣчкино лицо, то она увидила бы, какъ измѣнилось, какъ просіяло оно въ эту минуту.

— Ну, прощай, душа, спасибо за новость! торопливо промолвилъ Грѣчка.

— Да куда жь ты, лиходѣй мой!... И слова-то еще по душѣ не сказали! укорила Катя.

— Некогда... Ужо поговоримъ, а теперь не время. Да слышь ты, внезапно онъ прибавилъ:—не знаешь, когда ее хоронить будутъ?

— А сказывали, будто завтра хотятъ.

— Завтра?... гм... Эка штука... раздумчиво процѣдилъ озабоченный Грѣчка: — ну, да ладно: завтра, такъ завтра! Прощай!

И Катя слышала, какъ удалился онъ поспѣшными шагами.

Въ головѣ Осипа Грѣчки горячо кипѣло множество мыслей, такъ что онъ видимо находился въ лихорадочномъ состояніи.

«Старинный рубль... петровскій — значитъ этта, императора Петра перваго, какъ сказывалъ жиганъ», размышлялъ онъ самъ съ собой: «издавна въ семействѣ хранился и въ ладонкѣ зашитъ... да еще слезно приказывала въ могилу положить съ собою... Это фармазонскія деньги — они! безпремѣнно они! безпремѣнно фармазонскія»! рѣшилъ арестантъ, и еще жутче погрузился въ свои думы. «Надо, во чтобъ то ни стало, добыть эти деньги!... Во чтобъ то ни стало!.. Въ часовню забраться, нешто?... Не заберешься: укараулятъ... Одна штука — бѣжать — да бѣжать, какъ можно скорѣе!... А какъ раздобудешься завѣтнымъ рублемъ неразмѣннымъ — Господи? что за жизнь-то пойдетъ счастливая»! упоительно предался онъ мечтаньямъ: «живи, ни о чемъ не тужи, ни о чемъ не заботься, одѣтъ-обутъ, и пищія тебѣ тутъ всякая, и напитокъ хорошій!... Любо, ухъ какъ любо... ажно духъ захватываетъ!... Фатеру хорошую найму, сударушка своя собственная будетъ—бариномъ жить стану... И воровать ужь не буду — незачѣмъ... Ни за что не буду — ни-ни! и дѣтямъ закажу — экого богачества по весь вѣкъ за глаза вѣдь хва-

тить... На спокоѣ да на волюшкѣ заживемъ тогда? Одно только скверно, чортъ побери! очинно ужь скверно»! пріостановился онъ въ дальнѣйшемъ порывѣ: «чтобы добыть-то ихъ, эти фармазонскія денежки, надо будетъ надъ мертвецомъ надругательство сдѣлать... Иначе не достанутся, сказывалъ жиганъ, то-ись никакъ не достанутся... Эхъ, доля наша, доля горемычная! Каково-то оно есть это счастье людское — и за что нашему брату приходится чорту запродать свою душу навѣки, а даромъ и не добудешь этого счастья... Ну, да что жь такое? Запродать — такъ запродать»! рѣшилъ онъ, послѣ минуты раздумья: «мнѣ, что теперь, что послѣ, по писанію — все едино пропадать вѣдь надо... За наши добрыя дѣла, сказываютъ, будто на томъ свѣтѣ въ рай ко святымъ не пущаютъ, а прямо въ огненную рѣку волокутъ — такъ, значитъ, это для насъ все равно, что ничего, потому и безъ того сволокли бы; потому, хоть и убѣгу, хоть и на волѣ буду — а хлѣбъ жевать надо — ну, и значитъ, безпремѣнно воровать надо: безъ того уже нашему брату невозможно какъ-то: съ волчіимъ видомъ ни въ какую иную работу не примутъ. Такъ ужь лучше, коли пропадать — пропаду, по крайности за счастье свое; по крайности, узнаешь, каково таково это самое счастье на свѣтѣ бываетъ»!

И Грѣчка окончательно уже рѣшился.

LXIX

Побѣгъ арестантовъ.

— «Жилъ-былъ на свѣтѣ добрый молодецъ, а прозваніе молодцу было Хмѣлинушка-бездѣльный», разсказывалъ Кузьма Облако собравшейся вокругъ него по обычаю, кучкѣ арестантовъ, когда Грѣчка вошелъ въ эту камеру, непосредственно послѣ своего рѣшенія о скоромъ побѣгѣ. Онъ пришелъ сюда съ цѣлью окончательно сговорить себѣ подходящаго товарища, котораго онъ намѣтилъ уже гораздо раньше, и недѣли за три до описанныхъ происшествій, успѣлъ даже раза два намекнуть ему о возможности побѣга. Грѣчка зналъ, что это человѣкъ рѣшительный и предпріимчивый, со стороны кото-

раго едва-ли встрѣтится отказъ. Вошелъ онъ въ камеру въ началѣ седьмого, спустя около двухъ часовъ послѣ смерти Бероевой.

— «Задумалъ Хмѣлинушка жениться — крестьянскимъ хлѣбомъ кормиться, продолжалъ Облако: — оженился Хмѣлинушка — жонка вышла неудачливая: гдѣ бы печь истопить да варева наварить, а она въ грѣчку скакать, въ конопли хорониться да съ чужими парнями водиться. Задумалъ Хмѣлинушка нову-тесову избу поставить — жить хозяиномъ да Господа славить. Поставилъ — пришелъ огонь, повыгналъ Хмѣлинушку вонъ: погорѣла изба. Пошелъ Хмѣлинушка въ поле — полоску боронить — назиму хлѣбушки накопить.

— «Уродило яровое да пришелъ градъ небесный — повыбилъ Хмѣлинушкину ржицу. Видитъ Хмѣлинушка, во всемъ ему незадача. Пошелъ Хмѣлинушка куда глаза глядятъ, а на встрѣчу ему Горе идетъ — на клюку опираючись, надъ Хмѣлиною насмѣхаючись. Само Горе лыкомъ подпоясано, а ноги мочалами изопутаны. Испужался Хмѣлина Горя безобразнаго, да въ темны-лѣса отъ него поскорѣй! Глядитъ — а Горе прежде его въ темный лѣсъ зашло: на встрѣчу идетъ да поклонъ отдаетъ. Пуще того испужался Хмѣлинушка, бѣжать ударился да и прибегъ въ почестный пиръ христіанскій: нѣтъ мѣста во пиру Хмѣлинушкѣ, потому — Горе раньше зашло да на его мѣсто усѣлось. Тутъ Хмѣлинушка отъ Горя — во царевъ кабакъ, а Горе встрѣчаетъ, ужь и водку-пиво тащитъ да востеръ-булатный ножъ подаетъ. Подружился Хмѣлинушка съ Горемъ, брательски съ нимъ побратался и говоритъ ему Горе-великое: «дамъ тебѣ я, доброму молодцу, путь пространный, дорогу широкую, дамъ тебѣ я хоромину крѣпкую да теплую, дамъ тебѣ я хлѣба да одежу богатую. Дорога моя — Володимірка, хоромина — сибирскій острогъ, а хлѣба да одежина — казенныи, не простые казенныи, а клейменыи, арестантскіи.

— Это ровно, какъ въ нашей тетрадѣ списано, замѣтилъ на это одинъ арестантикъ изъ грамотныхъ: — тамъ тоже эдакъ про горе говорится:

Горе плачетъ и смѣется,
Горе вьется вертеномъ,
Какъ осина горе гнется —
Горе ходитъ съ топоромъ [1]).

---

[1]) «Домъ позора». Глава, подъ названіемъ: *Распрегорькая жизнь*.

— Что, братъ, хороша̀ пѣсня? подмигнулъ Грѣчка одному арестанту, который третій мѣсяцъ содержался въ тюрьмѣ, по дѣлу, грозящему неминучею каторгой.

— Одно слово арестантская, пробурчалъ вопрошаемый.

— А сказка? тоже, поди-ко, недурна?...

— Ништо себѣ, живетъ...

— Точно, братъ, живетъ. Это твое вѣрное слово. Только ты постой, ты сначала почувствуй, братъ! распространялся, передъ нимъ Грѣчка: — это еще не сказка, а только малая присказка, а сказка-то самая будетъ намъ съ тобой впереди, какъ вотъ въ Конномъ трактирѣ даромъ порцыю миногъ отпустятъ да клеймовою тройцой благословятъ, чтобы не потерялся, и чтобы мать родная признала, значитъ, да вотъ какъ съ желѣзной музыкой, въ браслетикахъ, прогуляться пошлютъ — ну, это тогда точно, что ужь сказка будетъ!

Тотъ съ невкуснымъ выраженіемъ въ лицѣ, почесалъ у себя за ухомъ.

— А вотъ *я* тебѣ сказку скажу — моя получше выйдетъ! какъ то двусмысленно предложилъ ему Грѣчка:—пока что̀—и моя авось пригодится... Хочешь послушать, что ли?

— Болтай, пожалуй.

— Постой, кума! въ Саксоніи не бывала! отшутился Грѣчка, и совсѣмъ спокойно усѣлся подлѣ избраннаго субъекта—повидимому, намѣреваясь только праздное время убить въ пріятной компаніи, да послушать, о чемъ тутъ люди гуторятъ?

Арестанты межъ тѣмъ пѣсню запѣли. Началъ Фалиповъ, а нѣсколько голосовъ подтянули:

Вòтъ какъ мужъ жену любилъ,

выводилъ онъ весёлые переливы, избоченясь и изображая разными ужимками и всею фигурой, ка̀къ именно мужъ любилъ жену свою.

Ужь онъ та̀къ ее любилъ —
Щепетненько водилъ,
По морозу нагишомъ,
По крапивѣ босикомъ
А жена его любила —
Щепетнѣй того водила,
Щепетнѣй того водила,
Въ тюрьмѣ мѣсто откупила,

Откупила, снарядила —
Пятьдесятъ рублёвъ дала.
Вотъ тебѣ молъ, мужненёкъ,
Вѣковѣчный уголокъ!
Не толки, не мели —
Только руку протяни,
Только руку протяни,
Да... вспомяни,
Ты... вспомяни
И готовое прими!

Подъ шумокъ этой пѣсни, Грѣчка незамѣтно толкнулъ въ бокъ избраннаго товарища и пересѣлъ съ нимъ подалѣ.

— Вѣрный ты человѣкъ? многозначительно спросилъ онъ его вполголоса.

— Это отъ случаю; каковъ, значитъ, случай; а впродчимъ, для товарищей—вѣрный.

— И голова твоя забубенная?

— Семи смертямъ не бывать, одной не миновать, въ жизни да въ смерти одинъ Господь волёнъ да повинепъ.

— Такъ-то, такъ! да дѣло твое, слышно, очинно ужь скипидарцемъ попахиваетъ и скоро, значитъ, рѣшатъ.

— Сказываютъ, быдто такъ.

— Н-да... Я вотъ и самъ рѣшенья жду себѣ. Тоже, поди чай, не помилуютъ... Ежели бы удрать-то можно отсѣлева!

— Кабы-то удрать!... Не удерешь.

— А нешто хотѣлъ бы?

— Кабы не хотѣть-то!... да ничего не подѣлаешь.

— Одинъ не подѣлаешь, а вдвоемъ—выгоритъ!

Арестантъ поглядѣлъ на Грѣчку недоумѣлымъ и недовѣрчивымъ взглядомъ.

— Хочешь въ товарищи? съ онику предложилъ ему Грѣчка: — я удеру безпремѣнно.

— Да ты ужь мнѣ болталъ объ этомъ, только, пока еще все ничѣмъ-ничего! Удрать... Да какъ удрать-то? кабы зналъ, такъ и самъ бы давно ужь ухнулъ!

— А ужь про то — мое дѣло!... Ты мнѣ скажи только: хочешь, аль нѣтъ?... Человѣкъ-то ты, сдаётся мнѣ, подходящій; съ тобой эту штуку можно обварганить.

— А подходящій, такъ работи: согласенъ! Только когда же?

— Да сейчасъ! Чего ждать-то?

— Ну, полно врать!

— Какъ передъ Истиннымъ!... Деньги есть у тебя?

— Семь рублёвъ припрятаны, съ собою.

— Да у меня двадцать: онамедни на картахъ взялъ — значитъ, хватитъ про обоихъ. Теперь ступай къ Мишкѣ Разломаю, да водки два полштофа купи... И вотъ еще что... Какъ бы самдуринскаго обыть?

— У него есть, да не отпуститъ, шельмецъ, дёшево; а я знаю, что есть... Ему тутъ одинъ благопріятель съ воли протаскиваетъ.

— Вымоли хоть христа-ради, что ли... Вѣдь онъ на тотъ случай, ежели кому въ лазаретъ идти вздумаетъ — за тѣмъ только и держитъ.

— Извѣстно, а то зачѣмъ же больше? Такъ сказать ему пешто, что мы съ тобой на бѣлыхъ хлѣбахъ съ недѣльку проваляться задумали, ну, и вотъ, молъ, болѣзнь передъ дохтуромъ оказать надо.

— Вѣрно, голова, вѣрно! Такъ и звони ему, только торгуйся, а то съ разу заломитъ цѣну, собака. Больше двухъ рублей не давай.

— Ладно!

И подговоренный отправился исполнять порученіе.

Прозывался этотъ арестантъ Китаемъ. Фамилія, или кличка у него была такая — неизвѣстно, только кличка, въ этомъ случаѣ, совсѣмъ пришлась по шерсти. Китай былъ сухощавый, сутуловатый и долговязый дѣтина, а узкіе глаза да широкія скулы, дѣйствительно, придавали его физіономіи нѣчто среднеазійское, дикое и отважное. На сей разъ Грѣчка не ошибся въ выборѣ товарища: онъ держалъ разсчетъ на то, что плети и путешествіе за бугры для этого человѣка дѣло еще новое, непривычное, отъ котораго онъ весьма не прочь бы увильнуть — лишь бы представился случай; а эта дикая отвага и служила для него нѣкоторой надеждой, что Китай не призадумается надъ исполненіемъ предложеннаго предпріятія. Такъ и случилось. Мишка Разломай отпустилъ ему, за пять рублей, требуемое количество водки, и подъ величайшимъ секретомъ добрую щепоть дурману. Въ уединенномъ мѣстѣ, Грѣчка поставилъ на ка-

раулъ Китая, а самъ тѣмъ часомъ высыпалъ порошокъ въ одинъ изъ полуштофовъ, взболталъ его хорошенько, и запихавъ свою фабрикацію въ правый карманъ шароваръ, а нефабрикованную воду въ лѣвый, отправился вмѣстѣ съ Китаемъ исполнять задуманное дѣло.

— Ты ужь только помалчивай - гляди да смекай, что́ я стану творить, а самъ не разсуждай — неровно еще напортишь, замѣтилъ онъ, отправляясь къ корридору, гдѣ помѣщались арестантскіе карцеры татебнаго отдѣленія.

Въ нѣкоторыхъ изъ этихъ карцеровъ вольные слесаря замки починяли. Всѣхъ ихъ было три человѣка.

— Куда вы? чего вамъ тутъ надо? крикнулъ одинъ изъ нихъ, замѣтивъ, какъ Грѣчка съ Китаемъ проскользнули въ одинъ изъ затворенныхъ карцеровъ. Грѣчка чуть-чуть выставилъ голову изъ-за притворенной двери, и сдѣлавъ подмастерью предупредительный знакъ къ молчанію, сталъ осторожно манить его рукою.

— Чего-те надобно? спросилъ его слесарь, подойдя къ двери.

— Тихо!... Тихо ты!... шепнулъ ему Грѣчка: — чего горлянить-то?

— Да ты зачѣмъ, говорю?!

— А вотъ съ пріятелемъ... два полштофа роспить желательно бы... Я нонѣ имянинникъ.

— Проваливай! Вамъ тутъ пить, а съ насъ взыскивать станутъ скажутъ: зачѣмъ, молъ, дозволили да не довели... Уходи, что ли, пока добромъ-те просятъ!

— Эхъ, пріятель, хорошо тебѣ такъ-то разсуждать, а мы—люди подневольные. Ты, чай, имянины-то не день, а три дня справлять себѣ будешь, а нашему брату-заключеннику ужь и рюмчо́нку украдучись хватить невозможно!... Душа твоя христіанская, вѣдь и мы человѣки есть тоже!

— Да коли нельзя!... Ну, ступай въ другое мѣсто!

— Эхъ, милый человѣкъ! нѣтъ у насъ другого мѣста. А ты вотъ что: хочешь вмѣстѣ съ нами хватить да заодно и товарищевъ кликни. Ужь мы, такъ и быть — куда ни шло!—одинъ полштофъ на троихъ пожертвуемъ; только не горланьте да не гоните, братцы, а мы эдакъ потиху-послѣдку, чтобы, значитъ, никому не обидно

Подмастерье кликнулъ двухъ остальныхъ работниковъ, и всѣ впятеромъ заперлись въ темномъ карцерѣ. Грѣчка запустилъ руку въ правый карманъ, и отдавая подмастерью посудину, еще разъ потрясъ ее въ воздухѣ:

— Эвона какая! Гляди, ребята: помаранчикъ горестный!... А это намъ, братъ, съ тобою, прибавилъ онъ, вынувъ второй полуштофъ.

— За здоровье имянинника!... Съ ангеломъ!... чтобы недолго коптѣть, поскорѣй улетѣть! поклонился Китай и сталъ медленно, всласть тянуть черезъ горлышко.

Слесаря не заставили просить себя вторично, и обрадовавшись нежданному и притомъ даровому полущтофу, съ жадностью послѣдовали примѣру Китая.

Порція дурману была весьма достаточна для того, чтобы всѣхъ троихъ ошеломило почти сразу. Черезъ пять минутъ одинъ изъ нихъ повалился безъ чувствъ, другой начиналъ уже засыпать въ углу, а третій, безъ языка и движенія, столбомъ стоялъ на мѣстѣ, въ состояніи мухи, опившейся табачнымъ настоемъ.

Повалить его на полъ, раздѣть двоихъ, и всѣмъ троимъ завязать рты платками, а руки да ноги крѣпко перепутать снятымъ съ себя арестантскимъ платьемъ — было дѣло какихъ нибудь шести-семи минутъ для двухъ арестантовъ. Сполна облекшись въ костюмъ опоенныхъ слесарей и захвативъ съ собою весь ихъ инструментъ, Грѣчка съ Китаемъ, какъ ни въ чемъ не бывало, бойко и бодро пошли по корридору татебнаго отдѣленія. Одну только жилетку свою. пріобрѣтенную какъ-то въ тюрьмѣ, не скинулъ съ себя Грѣчка, потому что въ подкладкѣ ея были зашиты его деньги, да въ боковомъ карманѣ оставлены про запасъ, на всякій случай, двѣ рублевыя ассигнаціи.

На дворѣ начинало уже темнѣть, а подъ тюремными сводами и подавно господствовалъ вожделенный для бѣглецовъ сумракъ.

— Тамъ подмастерье нашъ остался еще: кончаетъ... Онъ и разсчетъ въ конторѣ долженъ получить, мимоходомъ отнесся Грѣчка къ корридорному подчаску, проходя мимо его въ двери и нарочно измѣнивъ свой голосъ.

— А вы-то куда же, недождамшись? полюбопытствовалъ тотъ, пропуская обоихъ.

— А мы зашабашили... въ баню нонче хотимъ, отозвался Грѣчка, не обертываясь и прехладнокровнѣйшимъ образомъ спускаясь съ лѣстницы.

Точно такъ же неторопливо и, повидимому, беззаботно вступили они на большой тюремный дворъ. Но что перечувствовали оба, и особенно Грѣчка, для котораго въ эту минуту осуществлялись долгія, завѣтныя и самыя страстныя мечты его! Сердце билось до того, что духъ захватывало, колѣни дрожали и подкашивались отъ тревожнаго страха и опасеній, что вотъ сейчасъ накроютъ и отъ жгучей радости передъ вольною волей, которая ожидаетъ впереди— и всего-то черезъ нѣсколько шаговъ за воротами! Грѣчка сосредоточилъ теперь весь свой умъ, характеръ, всю твердость и силу воли, чтобы вполнѣ хорошо разыграть принятую роль, чтобы не выдать себя тюремщикамъ. Въ этотъ рѣшительный и сильно-страстный моментъ сдержано-скрытыхъ, но самыхъ разностороннихъ ощущеній, Грѣчка усиленно чувствовалъ жизнь, усиленно переживалъ ее всѣмъ существомъ своимъ.

Вдругъ на дворѣ повстрѣчался одинъ долго-сидѣлый арестантъ, проходившій изъ конторы на свое отдѣленіе. Арестантъ зналъ въ лицо Осипа Грѣчку, и Грѣчка точно такъ же зналъ арестанта.

Не дойдя два шага до бѣглецовъ, послѣдній остановился, и пропуская ихъ мимо себя, изумленно и вглядчиво всматривался въ физіономію Грѣчки.

Этотъ почувствовалъ, какъ по спинѣ побѣжали холодныя мурашки.

— Кажись, какъ быдто Грѣчка! пробурчалъ арестантъ сквозь зубы, но на столько внятно, что бѣглецы могли разслушать его слова.

Они прошли мимо, будто не замѣтя встрѣчнаго и не относя на свой счетъ его замѣчанія.

— Эй!... Пріятель!... Грѣчка! окликнулъ ихъ вдогонку знакомый.

Тѣ продолжали идти, но въ ту жь минуту услыхали за собою быстро приближавшіеся шаги.

— Стой! не то закричу тревогу! въ обыкновенный голосъ, сказалъ арестантъ, нагоняя.

Хочешь, не хочешь — пришлось остановиться.

— Ты что это, пріятель?... Пошто нарядъ обмѣнилъ? аль лататы задаете?

— Бога въ тебѣ нѣтъ!... Иди, знай, своею дорогой! Не замай насъ! съ укоризной и мольбою прошепталъ ему Грѣчка.

— Нѣтъ, братъ, самъ не замай! Дай прежде сламъ сорвать. Ты вѣдь мнѣ не другъ, не закадыка — такъ мнѣ что за разсчетъ жалѣть тебя! Деньги есть?

— Самая малость...

— Давай половину! И за себя и за барина [1])—да скорѣе!

— На, грабитель! съ ненавистью сказалъ Грѣчка, поспѣшно сунувъ ему въ руку рублевую ассигнацію изъ запасныхъ.

— Ладно! Самъ таковъ же! нагло усмѣхнулся арестантъ: — съ паршивой овцы хоть шерсти клокъ. Ну, теперь махайте себѣ съ Богомъ! Мое дѣло сторона.

Вся эта сцена разыгралась менѣе чѣмъ въ одну минуту. Грѣчка съ Китаемъ пошли-было далѣе, но едва отмѣривъ съ десятокъ шаговъ, опять услышали за собою повелительное: «стойте!»

Они продолжали идти, не оборачиваясь, а въ это время одинъ изъ тюремныхъ солдатъ, видѣвшій издали всю предъидущую сцену, бѣжалъ навстрѣчу арестанту, сорвавшему сламъ, захватилъ его на пути и кричалъ теперь: «стойте!» махая рукой часовому, чтобы тотъ остановилъ идущихъ. Но такъ-какъ все это происходило у нихъ за спиною, то они слышали только крикъ, не зная его причины, и дѣлая видъ, будто онъ вовсе не къ нимъ относится, продолжали идти, стараясь придать своей походкѣ спокойствіе и твердость, какъ вдругъ выступившій изъ за будки часовой быстро взялъ ружье на руку и штыкомъ перегородилъ имъ дорогу.

Опять поневолѣ пришлось остановиться и даже изумленнымъ видомъ замаскировать свое положенье.

А время удобное для побѣга, межь тѣмъ, все уходитъ и уходитъ,

---

[1]) *Барина* — товарищъ.

тогда какъ до главныхъ воротъ остается какихъ нибудь шестьдесятъ шаговъ.

— Вы что̀ за народъ! накинулся на нихъ догнавшій тюремный солдатъ, приведя съ собою за рукавъ и арестанта получившаго деньги.

— Народъ мы божій, господинъ служба, по слесарской части, собравъ все присутствіе духа, отвѣтилъ Грѣчка.

— А зачѣмъ съ арестантомъ останавливались? что̀ у васъ съ нимъ за дѣла?

— Да мы... мы это такъ... мы, собственно, ничего, проговорилъ бѣглецъ, не зная что̀ отвѣчать на заданный вопросъ.

— Вы ничего?... А что̀ вы ему въ руку сунули?

Грѣчка въ мигъ сообразилъ, что, быть можетъ, этотъ самый вопросъ былъ уже раньше сдѣланъ имъ попавшемуся арестанту, который, весьма вѣроятно, что-нибудь ужь и нашелся отвѣтить ему, а что̀? — про то пока Богъ святый вѣдаетъ! И скажи теперь Грѣчка что-нибудь другое, да скажи невпопадъ съ прежнимъ отвѣтомъ — дѣло его испорчено вконецъ — и прости-прощай самая мысль о побѣгѣ, а главное, о завѣтной цѣли его! Сообразивъ это положеніе, онъ поневолѣ замялся и медлилъ отвѣчать на прямой и настойчивый вопросъ солдата.

— Что̀ жь ты бѣльмы-то выпучилъ? аль языкъ застрялъ въ глоткѣ? Говори, что̀ ты ему въ руку сунулъ?

Положеніе съ каждымъ мгновеніемъ становилось все болѣе критическимъ, еслибы въ ту минуту захваченный арестантъ не догадался выручить — впрочемъ, изъ совершенно своекорыстной цѣли: скажи онъ, что содралъ съ нихъ рубль, такъ и рубля бы лишился, и въ отвѣтчики по дѣлу о побѣгѣ попалъ бы — потому, зналъ, молъ, и не остановилъ, и тотчасъ не донесъ по начальству.

— Я, ваша милость, христа-ради попросилъ у нихъ, отвѣтилъ онъ, скорчивъ смиренно-жалкую рожу: — они мнѣ — спасибо! — семитку подали.

— Семитку?... А вотъ я погляжу, какая такая семитка! можетъ, замѣсто семитки, да ножикъ, аль другое что̀. Вы вѣдь народъ-то дошлый!... Выворачивай карманы!

— Ваша милость! мы люди служащіе... намъ время — отпустите

насъ! обратился къ солдату Грѣчка, и въ ту самую минуту, пока солдатъ, слушая эти слова, глядѣлъ на говорившаго — арестантъ незамѣтно и ловко сунулъ себѣ въ ротъ рублевую бумажку, а на ладонь выложилъ, дѣйствительно, мѣдную семитку, составлявшую вѣроятно его прежнюю собственность.

Тѣмъ не менѣе, солдатъ ощупалъ его платье, осмотрѣлъ всѣ вывороченные карманы, и удостовѣрясь, что кромѣ семитки у арестанта ничего больше не имѣется, отпустилъ его.

— А вы, дружки, маршъ въ контору! прибавилъ онъ, относясь къ бѣглецамъ: — и васъ вѣдь тоже осмотрѣть надобно.

— Да за что́ же насъ? Нешто мы воры какіе? Мы не знали, что здѣсь нельзя милостыню подавать; онъ вѣдь христа-ради просилъ.

— Нѐчего толковать! Ступай!

Со стороны тюремнаго солдата — это, безъ всякаго сомнѣнія, была одна только придирка, на которую, быть можетъ, и онъ имѣлъ какіе-нибудь свои разсчеты, хотя и нимало не сомнѣвался, что двѣ стоящія передъ нимъ личности—дѣйствительно слесаря.

— Да намъ что̀ жь, мы, пожалуй, пойдемъ, нѐхотя согласился Грѣчка: — а только это совсѣмъ понапрасну. Обыскивайте здѣсь, коли угодно; при насъ ничего нѣтъ.

— Ну, мы тамъ это увидимъ.

— Эхъ, бѣда наше горе! И милостыню-то грѣхъ подать!... Намъ время-то дорого: мы вотъ тутъ дѣла свои справили, а теперь бы намъ своею вольной работой призаняться.

— Въ конторѣ, чай, ждать заставятъ, пока начальство, пока что̀, ввернулъ слово Китай.

— И подождешь—не бѣда!

— Ну, вечеръ, стало быть, и упустишь! съ досадливымъ сожалѣніемъ цмокнулъ Грѣчка, почесавъ затылокъ:—слышите, кавалеръ? Ужь не держите вы насъ! Ей-богу, недосугъ—мы бы теперь-то на себя кое-что поработали, а эдакъ-то занапрасно и время уйдетъ, а деньгу не зашибешь.

— Ужь мы васъ поблагодаримъ, ублажалъ Китай, въ свою очередь:—только, значитъ, нельзя-ли отпустить!

— Какая съ васъ благодарность! усумнился тюремный солдатъ, однако не безъ нѣкоторой надежды на ея осуществленіе.

— Да вотъ—все, что̀ есть съ собою — двѣ гривенки; примите, не побрезгуйте! сказалъ Китай, вынимая изъ кармана два мѣдяка:— мы, значитъ, на благодарности не стоимъ, потому нынче ежели только время не упустить, такъ мы свое наверстаемъ.

Солдатъ на ходу принялъ изъ руки въ руку благопредложенную благодарность, и отвязался.

«Господи! сколько времени-то ушло изъ-за этого дьявола!» съ досадой и замираніемъ сердца думалъ Грѣчка, приближаясь къ тюремнымъ ворота̀мъ.

— Стой!... Вы куда? остановилъ ихъ подворотня, уже у самаго выхода.

— Чего «стой»?! смѣло встрѣтился глазами съ нимъ Грѣчка. Потеря времени и страхъ, и досада на всѣ эти препятствія, придали ему еще болѣе дерзкой рѣшимости. — Чего «стой»?! — ты, братъ-служба почтенная, *стойка-то* эдакъ на своихъ, на арестантовъ, а мы люди вольные.

— Какіе такіе люди-то? Что̀ вы за̀ люди? Эдакъ-то, пожалуй, часомъ, и бѣглаго пропустишь.

— Какіе люди... Не видишь развѣ? — Майстровые... слесаря... Пусти же, что ли, чортъ!... Въ баню пора.

— Ты, любезный, не чертыха̀йся. Надо на̀перво узнать, да дѣло толкомъ сдѣлать. Кто тамъ съ вами разтаба̀рывалъ? Сѣдюковъ, кажися... Эй, Сѣдюковъ! поди-ко сюда! — Дѣло есть! махнулъ подворотня, крикнувъ черезъ дворъ тому самому солдату, который только-что получилъ благодарность. Опять пришлось дожидаться, пока Сѣдюковъ неторопливымъ шагомъ, съ того конца двора направляется къ подворотнѣ.

А время все идетъ да идетъ и каждая минута становится все болѣе опасной для бѣглецовъ—могутъ хватиться ихъ, могутъ наткнуться въ карцерѣ на опоённыхъ слесарей—тотчасъ же тревога, погоня— и все пропало отъ одной какой нибудь минуты, когда чувствуешь уже, такъ сказать, запахъ этой желанной воли, когда ясно уже различаешь движеніе и гулъ и уличный грохотъ городской вольной жизни:

Это были для Грѣчки жуткія, кручинныя, сокрушительныя мгновенья.

— Вотъ, ваша милость, не хотятъ пропущать, поторопился Грѣчка обратиться къ подошедшему Сѣдюкову, желая предупредить излишніе вопросы подворотни и разныя дальнѣйшія объясненія, которыя только оттянули бы время.

— Пропусти ихъ, это слесаря, какъ-бы мимоходомъ вступился Сѣдюковъ такимъ увѣреннымъ тономъ, который не допускалъ сомнѣній. Подворотня удовольствовался его заявленіемъ — и тюремная калитка въ воротахъ безпрепятственно отворилась передъ бѣглецами.

Половина тяжкаго груза свалилась съ Грѣчки. «Слава-те Господи! двое дураковъ повѣрили да одинъ выручилъ», помыслилъ онъ съ невольной улыбкой великаго удовольствія, почувствовавъ, что калитка захлопнулась за ними.

— Вы слесаря? остановилъ ихъ внезапный вопросъ, едва лишь они успѣли сдѣлать какихъ нибудь два шага по тротуару.

Бѣглецы нежданно-негаданно, у самыхъ воротъ, столкнулись къ носу съ однимъ изъ тюремныхъ начальниковъ, возвращавшимся домой въ тюремное зданіе.

— Вы изъ тюрьмы, съ работы, что ли?

— Съ работы, ваше высокоблагородіе, замки у карцыевъ поправляли.

— Знаю, знаю. Вы гдѣ же работали, на какомъ отдѣленіи?

— На татебномъ, ваше высокоблагородіе.

— А на первомъ частномъ кончили?

Грѣчка немного замялсь отъ неожиданнаго вопроса и хватилъ на удалую:

— Кончили, ваше высокоблагородіе.

— Ну, хорошо, ступайте себѣ...

Тѣ сдѣлали еще два-три шага.

— А впрочемъ, нѣтъ!... Постойте-ка минуту. Тамъ у меня въ квартирѣ на окошкѣ одномъ больно ужь задвижки ослабли — нисколько не дѣйствуютъ: не запираются даже, а по ночамъ дуетъ. Вернитесь-ко, поправьте заодно ужь. Я заплачу.

— Позвольте, ваше высокоблагородіе, ужь мы бы завтра пораньше... въ лучшемъ видѣ справимъ, отбоярнвался Грѣчка.

— Ну, вотъ вздоръ! Это такіе пустяки—на десять минутъ работы, не больше. Ступайте-ко, ступайте!

Нечего дѣлать — пришлось снова обратно переступить за порогъ тюремной калитки.

У Грѣчки уже мучительно стало ныть сердце, вмѣстѣ съ глохнущей болью подъ ложечкой.

Но лишь пошли они по корридору, какъ къ офицеру подошелъ фельдфебель тюремной команды, съ донесеніемъ о какихъ-то хозяйственныхъ надобностяхъ.

— А кстати. На первомъ частномъ уже справлены замки; завтра надо оглядѣть по всѣмъ остальнымъ отдѣленіямъ, отнесся къ нему офицеръ, между прочимъ подходящимъ разговоромъ.

— Никакъ нѣтъ, ваше высокоблагородіе, нынче еще не справлены, возразилъ фельдфебель.

— Какъ такъ? А ты же мнѣ сказалъ, что уже кончили? обернулся тотъ непосредственно къ Грѣчкѣ.

— Помилуйте-съ, тамъ самая малость осталась, отвѣтилъ этотъ, стараясь стать въ тѣни, чтобы фельдфебелю нетакъ удобно было разглядѣть его физіономію.

— Расчетъ вы получили? спросилъ начальникъ.

— Нѣтъ, не получали еще...

— Такъ зайдемъ въ контору—заодно ужь, чтобы потомъ не возвращаться. Да постойте однако, снова обернулся онъ къ двумъ сотоварищамъ: — вѣдь васъ, кажется, троеѣ было? Третій-то гдѣ же?

— Позвольте, ваше высокоблагородіе, вмѣшался фельдфебель, съ нѣкоторой подозрительностью оглядывая бѣглецовъ: — сдается мнѣ, какъ будто это не тѣ, что утромъ были, а какіе-то другіе...

Для Грѣчки и Китая наступила самая опасная минута: возбуждено уже два сомнѣнія, изъ которыхъ послѣднее, того и гляди, въ состояніи разрушить весь маневръ и выдать ихъ головою. Надо было снова собрать все огромное присутствіе духа, измученнаго уже тѣмъ рядомъ тревожныхъ впечатлѣній, которыя только что были перечувствованы; надо было сильное умѣнье владѣть собою, чтобы

не потеряться въ первый моментъ сомнѣнія, чтобы умно и ловко извернуться и отпарировать ударъ, столь опасно направленный.

— Тѣ двое ушли еще съ послѣ-обѣда, спокойнымъ голосомъ объяснилъ Грѣчка:—а насъ хозяинъ на смѣну прислалъ: тѣ у него хорошіе подмастерья, такъ онъ ихъ къ князю Юсупову въ домъ на работу справилъ: требовали нонче. А третій товарищъ кончаетъ еще на татебномъ, онъ и разсчетъ должонъ получить.

— Да какъ же это вы проходите въ тюрьму, когда никто и не знаетъ объ этомъ? нѣсколько строго спросилъ начальникъ.

— Никакъ нѣтъ-съ, ваше высокоблагородіе, поспѣшилъ возразить ему Грѣчка: — насъ давича подъ воротами пропустили, какъ слѣдуетъ: и опрашивали, и осмотрѣли всѣхъ... Мы объявились тамъ...

— Ваше высокоблагородіе! запыхавшись вбѣжалъ въ корридоръ одинъ изъ приставниковъ:—двое арестантовъ убѣжали... Грѣчка съ Китаемъ со страху чуть было на землю не присѣли и въ мигъ сдѣлались бѣлѣе полотна.

— Какъ убѣжали?! встревожился начальникъ.

— Убѣжали съ подсудимаго отдѣленія въ пекарню и тамъ въ кровь изодрались.

— У бѣглецовъ немножко отлегло отъ сердца.

— Что жь ты, дуракъ, пугаешь только понапрасну!... Я думалъ, и не вѣсть что случилось... Запереть обоихъ въ карцеръ!... Или нѣтъ: я самъ пойду туда, а вы обождите здѣсь! примолвилъ офицеръ, обращаясь къ Грѣчкѣ и Китаю, за исключеніемъ которыхъ всѣ трое поспѣшно удалились изъ корридора.

Грѣчка выждалъ съ минуту и, рѣшительно мигнулъ своему товарищу:

— Идемъ!

— Ну, что, покончили? безучастно, ради одного только чесанья языка, окликнулъ ихъ передъ калиткой подворотня.

— Слава те Господи, наконецъ-то отдѣлались! махнулъ рукою бѣглецъ, вторично переступая порогъ литовскаго замка.

Тюрьма и неволя остались позади. Но пока виднѣлось это неуклюжее зданіе со своими плотными, приземистыми башнями, Грѣчка

не смѣлъ предаться радости; онъ ощущалъ только *волю*, и радоваться было еще рано: погоня могла послѣдовать каждую минуту. Хотѣлось бы скорѣй и скорѣй бѣжать ему—мчаться прытче лошади, летѣть быстрѣе птицы, а между тѣмъ нужно было идти спокойно, ровной походкой, чтобы не навлечь на себя какихъ либо случайныхъ подозрѣній.

У Никольскаго рынка Грѣчка остановился.

— Ну, братъ Китай, теперича мнѣ налѣво, тебѣ направо, либо тебѣ направо, а мнѣ налѣво, понялъ? обратился онъ, рѣшительнымъ тономъ къ своему спутнику:—можетъ, доведетъ Господь, гдѣ-нибудь и повстрѣчаемся... Денегъ-то у тебя маловато, такъ на тебѣ слесарскій инструментъ въ придачу: продашь, авось пустяковину какую выручишь, а теперь—спасибо за компанію!... Прощай, братъ!

И онъ, круто повернувшись отъ своего товарища, быстро зашагалъ по направленію къ Сѣнной площади.

LXX

Грѣчка встрѣчаетъ старыхъ знакомыхъ

Очутившись на этой площади, бѣглецъ остановился въ раздумьи. Куда теперь направиться и что предпринять? Прежде всего ѣсть, какъ некормленной собакѣ хотѣлось, поэтому Грѣчку обуялъ великій соблазнъ, полакомиться пищей вольной, выбранной по собственному вкусу и прихоти, послѣ столькихъ мѣсяцевъ скудной арестантской ѣды—и онъ направился въ «Утѣшительную». — «Покрайности пожрешь въ самую сласть и пѣсельниковъ съ музыкой послушаешь въ придачу».

Какъ-то странно и дико почувствовалъ онъ себя на первый разъ, послѣ долгаго заключенія, среди «вольныхъ» людей и въ «вольномъ» мѣстѣ; опять же и опасался нѣсколько, какъ бы его не призналъ кто-нибудь, какъ бы молва не пошла промежь темнаго люда о его внезапномъ появленіи: первое время бѣглый всѣхъ и всего опасается, пока не попривыкнетъ къ своему положенію.

Скромно усѣвшись въ одинъ изъ темныхъ угловъ, онъ принялся уже за соображенія, чего бы лучше съѣсть: поросенка ли залив-

ного, или яичницу съ вѣтчиной? какъ вдругъ къ столу подошелъ посторонній человѣкъ и пристально сталъ противъ него.

— Да нѐшто это ты, Осюшка? спросилъ онъ тихо и удивленно: —какими вѣтрами занесло?!

Передъ Грѣчкой стоялъ сановитый, сѣдобородый старецъ, съ благочестивымъ и благодушно строгимъ выраженіемъ лица.—Это былъ патріархъ мазовъ.

— Провъ Викулычъ!... батюшка!... воскликнулъ Грѣчка, простирая къ нему обѣ руки: — присядь, благодѣтель! да только не кричи: я вѣдь здѣсь пока еще подъ секретомъ.

— Какъ подъ секретомъ? сдвинулъ старикъ свои сѣдыя брови:— али ты лататы отъ дяди задалъ?

Грѣчка утвердительно кивнулъ головой.

— Юрокъ, братъ, юрокъ! не безъ удовольствія закачалъ головой и Викулычъ:—какъ же теперича жить-то? Бирка [1]) нужна!

— Точно, нужна. Липовый глазокъ надобно добыть [2])...

— Да это тебѣ не штука, а покамѣсть-то какъ, до картинки [3])? Не гопать же, чтобы влопаться [4])!

— Да ужь я къ твоей милости! просительски поклонился Грѣчка:—ужь такъ-то радѐшенекъ, что встрѣнулись!...

— Чего жь те надоть? спросилъ Викулычъ.

— Затынь [5]) ты меня, отецъ, хоть до завтрева! Оглядѣться на волѣ надобы спервоначалу... Оболочься тоже—накидалище какое ни на есть, опять же и голубей, да шифтанъ [6]), а въ этомъ нарядѣ —того и гляди—признаютъ!

— Это могу, охотно согласился патріархъ мазовъ:—такъ нѐчего тебѣ тутъ ухлить задаромъ, а хряй-ко скорѣй на мою домовуху: тамъ не мокрò [7]), покрайности! предложилъ онъ.

---

[1]) *Бирка*—видъ, паспортъ.

[2]) *Липовый глазъ*—поддѣльный паспортъ.

[3]) *Картинка*, равно какъ и *бирка*—письменный видъ вообще.

[4]) *Гопать* — шататься безпріютно по улицамъ, гдѣ ни попало; *влопаться* — попасться.

[5]) *Затынить*—спрятать, скрыть, заслонить.

[6]) *Накидалище*—верхняя одежда, шинель, плащъ и т. п., *голуби*—бѣлье; *шифтанъ*—кастанъ, сибирка, или что-нибудь въ родѣ пальтишка.

[7]) *Ухлить*—глазѣть; *хряй*—уходить, удирать; *домовуха*—домъ, квартира; *мокро*—опасно.

— Похрястать хочу, замѣтилъ Грѣчка.

— Туда и хрястанья и кановки закажу принести, а здѣсь говорю, нечего тебѣ скипидариться: — зенекъ-то чужихъ тутъ не занимать стать [1])!

И едва старые знакомцы успѣли выдти изъ комнаты, направляясь ко внутреннимъ закоулкамъ «Утѣшительной», чтобы оттуда «невоскреснымъ» ходомъ проюркнуть на квартиру патріарха, какъ вдругъ имъ перегородилъ дорогу еще одинъ старый знакомецъ.

— Аль мерещится мнѣ? воскликнулъ Ѳомушка-блаженный, растопыривъ свои лапища навстрѣчу Грѣчкѣ: — друже мой! Се ты ли еси? Тебя ли зрю очесами своими?

— Брысь ты, окаянный! строго притопнулъ на него старецъ.

— Іерархъ! шутовски воскликнулъ Ѳомушка, приложивъ руку ко лбу, и вытягиваясь во фронтъ, посолдатски:—тебѣ убо и честь, по чину патріаршему, дондеже подобаетъ, а подобаетъ сія во вѣки! примолвилъ онъ, отвѣшивая низкій поклонъ Викулычу.

— Начнетъ звонить, пожалуй... Нѐшто и его пристегнуть съ собой? суше дѣло будетъ, тихо посовѣтовался Викулычъ съ Грѣчкой и кивнулъ Ѳомушкѣ — идти вмѣстѣ съ ними.

— Ты мелево-то подвяжи, нѐчемъ болтать промежъ народу, обратился къ нему патріархъ:—дѣло вѣдь тайное!

— Э, э, э!... Сталъ-быть, кума отъ ткачà задала стрекача!... Ладно! Смекàемъ!

— А ты, любезный, кàкъ живешь-можешь? освѣдомился Грѣчка у блаженнаго.

— Мы-то?... Э, мы живемъ припѣваючи! разудало вздернулъ свою голову Ѳомка: — спасибо тюремной сердобольницѣ! въ богадельню помѣстила — тамъ и проживаемъ, да кажинную недѣлю съ роднымъ и знакомымъ отпрашиваюсь у начальства. Ну, и ничего: отпущаютъ. Я, первымъ дѣломъ, родныхъ себѣ подыскалъ да прикупилъ; а замѣсто родныхъ попрежнему валандаешься промежъ тѣлыхъ людишекъ. Ино и день, ино и два, и три проживешь.

— А не взыскиваютъ за отлучку! спросилъ его бѣглый.

---

[1]) *Хрястать*—ѣсть; *хрястанье*—ѣда, пища, кушанье; *кановка* или *канноводка*; *скипидариться*—быть въ подозрѣніи, рисковать попасться, находиться въ опасности; *зеньки*—глаза.

— Чего тамъ взыскивать?! Имъ же лучше: покрайности порцыя моя остается въ карманѣ. Мнѣ что? мнѣ теперь ничего, одно слово: благоденствую!

Пришли въ квартиру Викулыча, въ которой слегка припахивало ладономъ, а передъ яркими образами неугасаемая лампадка теплилась, и во всемъ кидались въ глаза чистота и порядокъ съ чисто-русскимъ характеромъ. Патріархъ прежде всего переодѣлъ Грѣчку въ иное платье, потомъ заставилъ его сходить къ цирюльнику, чтобы радикально измѣнить свою физіономію, и затѣмъ уже, снова придя къ Викулычу, Грѣчка засталъ у него на столѣ и пиво съ водкой, и поросенка съ яичницей.

Викулычъ, покалякавъ нѣкоторое время о грѣчкиныхъ дѣлахъ да о томъ, какими судьбами удалось ему удрать изъ тюрьмы, откланялся и снова ушелъ въ «Утѣшительную». «Вы молъ, хоронитесь тутъ, а я пойду на людей поглазѣть да всякую новость послушать». Хитрый Викулычъ, между прочимъ, про себя сообразилъ и то обстоятельство, что ежели бы какими ни на есть судьбами, двоихъ благопріятелей накрыли у него въ квартирѣ, или же если бы какъ нибудь потомъ оказалось, что у него тотчасъ же послѣ побѣга привиталъ пріятель Грѣчка, такъ я, Викулычъ, ничего, молъ, не знаю не вѣдаю, меня, молъ, и дома тогда не было, а былъ я въ это самое время въ «Утѣшительной», и все, молъ, сіе произошло въ мое отсутствіе помимо моей воли и вѣдома. Такимъ образомъ, бѣглецъ очутился съ глазу на глазъ съ блаженнымъ, въ уединенной квартирѣ, гдѣ можно было о чемъ угодно говорить, на стѣсняясь.

Въ головѣ Осипа Грѣчки тотчасъ же вспыхнули новыя мысли и предположенія.

«Одному идти на кладбище... страшно, да и несподручно работать-то будетъ», размышлялъ онъ самъ съ собою: «захороводить [1]) нешто Ѳомку? Вдвоемъ все же вальготнѣе какъ-то, и дѣло скорѣй да споръе пойдетъ».

«А ежели навѣки навяжешь себѣ на шею этого дьявола?» мыслилъ онъ далѣе на счетъ блаженнаго: «вѣкъ съ нимъ не развя-

---

[1]) *Захороводить*—подговорить, принять въ сообщество.

жешься даромъ! Кому тогда владѣть фармазонскими деньгами? Вѣдь онъ, пожалуй, захочетъ? Да и навѣрняка захочетъ, такъ что и не открестишься отъ него: коли работили вмѣстѣ — значитъ, и слалъ дѣли на двухъ!... Это правильно».

«А изъ-за какихъ великихъ благъ и милостей стану я дѣлиться, да и какъ тутъ подѣлищься, коли это. значитъ, рубль неразмѣнный — *одинъ* только рубль?... Даромъ не пойдетъ — посулить придется, потому ежели одному идти... боязно какъ-то; вѣдь не на живого человѣка пойдешь, а на мертваго.»

«Сказать ему нешто такъ вонъ: одинъ мѣсяцъ—я пользуюсь, другой—ты, а тамъ опять-таки я. Этакъ-то согласится.»

«Ну, а затѣмъ-то какъ у насъ будетъ дѣло? не отдавать же ему и въ самомъ дѣлѣ!... Что жь!... Затѣмъ... затѣмъ, коли больно ужь станетъ приставать—затемню его [1]) да и баста! И нечего будетъ ждать, чтобы сталъ приставать, а просто въ ту же ночь, либо на другой день и покончу его!»

Все это было соображено въ головѣ Грѣчки, конечно, неизмѣримо быстрѣе, чѣмъ мы успѣли передать. И принявъ такое рѣшеніе, онъ весьма таинственно сообщилъ Ѳомушкѣ свои намѣренія, касательно добычи фармазонскихъ денегъ. Блаженный выслушалъ его очень внимательно, вспомнилъ разсказы Дрожина — бывалаго и дошлаго человѣка въ подобныхъ дѣлахъ, и немедленно же, съ великою радостью, далъ свое полное согласіе. Онъ уже гораздо раньше подумывалъ, что дѣло съ фальшивыми бумажками графа Каллаша, должно быть, совсѣмъ неудастся, что большихъ барышей тутъ вѣрно не жди, а потому и не отказался отъ предложенія Грѣчки, которое показалось ему гораздо привлекательнѣе.—«Стоитъ только разжобыться этими фармазонскими денежками», сообразилъ онъ самъ съ собою: «а тамъ ужь мнѣ никакихъ бумажекъ не надо!»

---

[1]) *Затемнить* — лишить жизни, убить.

LXXI

Митрофаніевское кладбище

Было время, когда Петербургъ боялся холеры. То были дни всеобщаго упынія и скорби. По всѣмъ улицамъ города то и дѣло тянулись черныя, погребальныя дроги, дымились факелы, мелькали траурныя ризы духовенства при «богатыхъ» похоронахъ — при бѣдныхъ же ничего не мелькало и не дымилось, потому что изъ всѣхъ городскихъ больницъ, два раза въ день, рано утромъ и передъ вечеромъ, отправлялись ломовыя телеги, нагруженныя, словно перевозной мебелью, простыми тесовыми гробами. Народъ въ ужасѣ метался по улицамъ, подозрѣвалъ измѣну, громко говорилъ объ отравахъ, останавливалъ экипажи докторовъ, въ которыхъ, безъ исключенія, подозрѣвалъ жидовъ и нѣмцевъ, съ яростью кидался на злосчастныхъ сыновъ Эскулапа, такъ что «блюстительница общественнаго спокойствія» ровно ничего не могла подѣлать — и все это разразилось наконецъ волненіемъ, извѣстнымъ подъ именемъ «бунта на Сѣнной», гдѣ, передъ церковью Спаса, раздалось тогда знаменитое *На колѣни!* императора Николая. Холера была новою гостьей, которую народъ считалъ почти что чумою, если еще не хуже; боялись хоронить холерныхъ на общихъ городскихъ кладбищахъ, и потому за городской чертою, въ уединенной и пустынной мѣстности, между двухъ тріумфальныхъ арокъ — московской и нарвской — назвали новое кладбище «холернымъ».

Это было въ 1830 году.

Ровная, низменная мѣстность, съ петербургски-болотистой почвой, и безъ того представляла видъ, наводящій скуку и уныніе, а съ тѣхъ поръ какъ по ней замелькали низенькіе, бѣлые кресты — стала еще угрюмѣе. «Нива Смерти» приумножалась съ каждымъ днемъ, и съ тѣхъ поръ все растетъ и растетъ непрестанно, утучняемая петербургскими тифами, чахотками, возвратной горячкой и тысячью иныхъ эпидемій, которыя составляютъ существенное свойство климата.

Въ 1830 году, на мѣстѣ холернаго кладбища не было ни церкви, ни даже часовни, а просто стоялъ высокій деревянный крестъ. Передъ этимъ крестомъ ставили на землю длинные ряды

гробовъ, священникъ наскоро отпѣвалъ заупокойную литургію, и вслѣдъ затѣмъ носильщики торопливо разносили своихъ вѣчныхъ гостей по глубокимъ мокрымъ ямамъ, зарывая ихъ чаще всего въ одну общую пространную могилу.

Жила въ то время въ Петербургѣ одна женщина, по имени Хавронія, крѣпостная Шереметевская крестьянка села Павлова. Этой женщинѣ пустынная мѣстность обязана существованіемъ самаго кладбища и постройкой при немъ бѣдной деревянной церкви. Съ неутомимою дѣятельностію и энергіей ходила она по разнымъ присутственнымъ мѣстамъ, кланялась, просила, подавала бумаги, и, наконецъ, выхлопотала дозволеніе причислить отверженное «холерное» къ числу прочихъ городскихъ кладбищъ и право построить тамъ церковь, которая соорудилась на счетъ доброхотныхъ подаяній, собранныхъ ею по городу. Хавронія похоронена на этомъ же кладбищѣ, но гдѣ?— съ точностью неизвѣстно: кладбищенскіе старожилы говорятъ, не то—около церкви гдѣ-то, а не то—и въ самой церкви, кажися; но нигдѣ не видать надписи съ именемъ основательницы, которая говорила бы о ея посильной услугѣ кладбищу, да и самая-то память о ней, съ каждымъ годомъ утрачивается все больше.

Теперь уже кладбище называется не холернымъ, а Митрофаніевскимъ; недалеко отъ убогой желтой, деревянной церкви, возвышается новая—каменная, златоверхая, гдѣ обыкновенно отпѣваютъ «парадныхъ» покойниковъ, а вокругъ нея возвышаются мавзолеи, которые гласятъ мимоходящимъ любителямъ эпитафій — о рангахъ, доблестяхъ и заслугахъ отечеству разныхъ здѣлежащихъ «богатыхъ» мертвецовъ. О тѣхъ же, кои не отличались ни рангами, ни достаткомъ, мавзолеи ничего не говорятъ, по той простой причинѣ, что мавзолеевъ надъ ними не полагается: даже не всегда и желтый либо бѣлый крестъ указываетъ убогую могилу, бо́льшая часть которыхъ тѣсно стелется по землѣ, другъ подлѣ друга, чуть примѣтными бугорочками. И все жь таки Митрофаніевское кладбище представляетъ довольно оригинальный видъ, особенно въ ясный солнечный день. Если вамъ случалось проноситься мимо его съ той или съ другой стороны въ вагонѣ варшавской, либо петергофской желѣзной дороги, вы не могли не замѣтить, что это плоское, обширное поле

кажется какимъ то пестрымъ, необыкновеннымъ лугомъ, бѣлый, желтый, красный, синій, зеленый цвѣта во всевозможныхъ сочетаніяхъ такъ и мелькаютъ вамъ въ глаза своей рябящей пестротою — до такой степени усѣяно поле это надгробными крестами. Вдали виднѣется роща, надъ рощей—золоченые купола; но здѣсь, на этой пестрой плоскости—хоть бы одно свѣжее тѣнистое деревцо пріютилось! За то самое кладбище тѣмъ болѣе выигрываетъ во внѣшнемъ сходствѣ своемъ съ весеннимъ клевернымъ лугомъ. Каждый годъ почти къ веснѣ отрѣзываютъ новое пространство земли подъ могилы и каждый годъ почти, къ слѣдующей веснѣ, оно уже является обильно засѣяннымъ буграми и крестиками.

Митрофаніевское кладбище — попреимуществу кладбище демократическое: тутъ хоронится петербургскій пролетарій, тутъ же указано мѣсто и преступнику, и тюремному арестанту.

На другой день послѣ побѣга двухъ арестантовъ, часу въ первомъ дня, по дорогѣ, ведущей къ Митрофаніевскому кладбищу, плелась лѣнивымъ шагамъ ломовая кляча, въ телегѣ съ тремя сѣдоками. Первый сѣдокъ, конечно, былъ ломовой извощикъ, который лѣниво потягивалъ махорку изъ носогрѣйки и еще лѣнивѣе постёгивалъ изрѣдка свою лошадёнку; второй сѣдокъ не составлялъ собственно сѣдока, а только поклажу: это былъ простой сосновѣй гробъ слегка мазнутый водяною охрой и привязанный веревкою къ телегѣ; въ гробу лежало тѣло Бероевой, а на крышкѣ его помѣщался третій сѣдокъ — тюремный инвалидъ съ казенною книгой подъ мышкой.

— Они! шепнулъ Грѣчка, осторожно толкнувъ подъ бокъ Ѳомушку, когда ломовикъ поровнялся съ первымъ питейнымъ заведеніемъ, что̀ стоитъ на кладбищинской дорогѣ. Неторопливо расплатясь у стойки, пріятели направились къ кладбищу, издали слѣдя за этимъ нехитрымъ погрѣбальнымъ поѣздомъ.

— Ты, братъ Ѳома, какъ привезутъ ее — войди въ притворъ, да гляди, куда поставятъ, распорядился Грѣчка: — а мнѣ оно не тово... не равно признаетъ селитра [1]), такъ ужь для меня-то посуше будетъ межъ могилками побродить пока

---

[1]) *Селитра*—солдатъ, и преимущественно такъ называются солдаты этапныхъ командъ, конвоирующіе преступниковъ.

— Что поздно приволокли? отнесся къ пріѣхавшимъ могильщикъ, который калякалъ со сторожемъ, закусывая печенкой, у съѣстной лавочки, обвѣшанной миховыми вѣнками и крестиками.

— Чего «поздно»? Какъ, значитца, отпустили, такъ и приволокли. — Не рысью же скакать къ вамъ! отгрызнулся инвалидъ, слѣзая съ гроба.

— Все же ко времени надо, чтобы покойникъ за обѣдню поспѣвалъ.

— И опосля вечерень похоронитe, пишто!

— Знаемъ сами, что опосля, да все же это непорядокъ: теперь, подикася, надо для его отдѣльную яму копать, денегъ-то намъ за такихъ покойниковъ не платятъ.

— Врешь, пёсъ! отъ казны тридцать копѣекъ полагается.

— Тридцать копѣекъ... велики деньги! да еще лается!... Тащи его, что ли, въ притворъ-то — пущай погрѣется.

— И здѣсь не холодно.

— А не холодно, такъ тамъ въ тѣни постоитъ; у насъ чего хочешь, того и просишь — ихнему брату всяко удоблетворенье есть. А кто покойникъ-то мужикъ, аль баба?

— Арестантка.

— Это впрочимъ, чтó мужикъ, что баба — все одно покойникъ... А когда померла-то?

— Вчерася днемъ.

— Ну, вотъ опять-таки не по времени! больно ужъ рано привезли! Трехъ сутокъ еще нѣтъ ей.

— Пущай у васъ постоитъ, а намъ не держать же у себя-то.

— А намъ нешто держать — стать?!... Ихъ тутъ и безъ того иной разъ не знаешь, куда и поставить — какъ куличей объ христовой заутренѣ...

— Ну, да чтожь толковать! мертвый—все равно не живой вѣдь! порѣшилъ инвалидъ. — Коли померъ, значитъ, не встанетъ; днемъ ли раньше, аль позже — все едино, въ ту же землю закопать придется.

И гробъ внесли въ притворъ деревянной церкви, который примыкаетъ къ ней стеклянной галлереей. Поставили на скамѣйку и заперли до вечерни. Инвалидъ получилъ изъ кладбищенской кон-

горы росписку въ пріемѣ тѣла арестантки Юліи Николаевной Бероевой и поскакалъ съ ломовикомъ въ попутное «заведеніе».

Въ шестомъ часу, послѣ вечерень, священникъ отчиталъ литію и двое могильщиковъ понесли на плечахъ гробъ Бероевой на самый конецъ кладбища, въ послѣдній «разрядъ», гдѣ обыкновенно хоронится въ общихъ могилахъ тотъ людъ, за который не полагается особенной платы. Въ этомъ послѣднемъ разрядѣ рѣже чѣмъ въ прочихъ торчатъ намогильные кресты, за то ряды бугорковъ несравненно чаще. Тутъ лежатъ бобыли, умершіе въ больницахъ, нищіе, арестанты, и люди неизвѣстнаго имени и званія, подобранные полиціей на улицѣ, послѣ скоропостижной смерти. «Больше все потрошоный народъ», говорятъ про нихъ могильщики, намекая этимъ на медицинское вскрытіе: — «дружный народъ: вмѣстѣ ихъ за одно отпѣваютъ, вмѣстѣ въ одну яму и кладутъ—помяни, молъ, Господи, рабовъ твоихъ, имя же ихъ самъ вѣси»!

Недалеко отъ кладбищенскаго забора, была вырыта свѣжая и весьма неглубокая яма, на дно которой успѣла уже просочиться болотная вода. Когда гробъ опустили, и на крышку глухо и грузко бухнулась первая глыба сырой земли, за которую въ раздробь посыпались и застучали объ дерево комья, мозгъ Бероевой пронизался подобіемъ того ощущенія, которое у живого человѣка называется страхомъ. Ей снова захотѣлось крикнуть, чтобы не зарывали ее, чтобы вѣчно оставили ее на землѣ, а не подъ нею, чтобы открыли крышку гроба; но глинистыя глыбы и комья быстро валятъ одни за другими, удары ихъ слышатся все глуше, потому что земля рухаетъ уже на землю, а не на дерево гробовой крышки; но пока былъ слышенъ хоть кое-какой звукъ ея паденія, Бероева все еще напрягала свой слухъ, жадно силясь доловить эти послѣдніе намеки надземной, живой жизни, сознавая, что каждая новая глыба могильной насыпи все больше и больше отдѣляетъ ее отъ этого покинутаго міра. И когда земля перестала наконецъ падать въ яму, зарытую женщину обуялъ наплывъ новыхъ грезъ и ощущеній, вызванныхъ, быть можетъ, все тѣмъ же роковымъ вопросомъ: ну, что же, молъ, теперь-то будетъ, когда все уже кончено?

И грезится ей, будто она давно уже лежитъ въ этой могилѣ, будто нѣсколько дней, нѣсколько недѣль, нѣсколько мѣсяцевъ прошло съ тѣхъ поръ, какъ ее зарыли — и лежитъ она-себѣ, и слышитъ какъ могильный червь непрестанно точитъ гробовыя доски, какъ земляная мышь прогрызла въ крышкѣ маленькую норку и побѣжала по ея тѣлу да въ кожаный башмакъ засѣла и грызётъ подошву, желая полакомиться гнилою юфтою; какъ пауки по ея лицу —отъ бровей къ губамъ и отъ губъ къ волосамъ густыя нити паутины заткали; какъ наконецъ корни какихъ-то травъ и растеній проросли сквозь щели гроба и мало-по-малу опутываютъ ее своими усцами, впиваются въ тѣло, заползаютъ въ уши, съ подошвы, въ ротъ... наконецъ вростаютъ во все это тѣло и втягиваютъ въ себя его питательные соки.

Но снова миновался кошмаръ и снова наступаетъ проблескъ самаго ужаснаго сознанія. Въ щели гроба стала просачиваться понемногу болотная вода, которою было покрыто дно могилы, и охватила уже своею холодною сыростью спину мнимо-умершей. Это уже не были не грезы, а дѣйствительность. Когда же наконецъ сознаніе погребенной получило бо́льшую степень ясности, какую только можетъ допустить это исключительное физическое состояніе—Бероевой явилась самая ужасная мысль: «а что, если это не смерть, если я заживо похоронена»? На землѣ она считала себя мертвою, но подъ землею, когда слухъ ея не возмущали уже никакіе звуки жизни, а сознаніе, межъ тѣмъ, все-таки проявлялось—ей пришла въ голову почти полная увѣренность, что она жива, что это не болѣе, какъ летаргія. Бероева почувствовала весь ужасъ трагической мысли, что, быть можетъ, ее скоро ждетъ пробужденіе здѣсь, подъ землею, что она проснется, станетъ кричать о помощи, колотиться головой, руками и ногами въ тѣсную крышку гроба—и на землѣ никто, никто не услышитъ и никогда не узнаетъ про это. А быть можетъ, ей суждено будетъ прожить такимъ образомъ не нѣсколько мгновеній, но нѣсколько минутъ, прежде чѣмъ задохнуться отъ недостатка воздуха. О, еслибъ можно было не просыпаться болѣе, еслибъ летаргія прямо перешла въ настоящую смерть! А если ужъ суждено проснуться, то Господи! пусть это пробужденіе придетъ какъ можно позднѣе, пусть дольше и дольше длится летар-

гическій сонъ! Инстинктъ жизни подъ землею преобладалъ болѣе, даже, чѣмъ на землѣ. И отъ этой печеловѣчески ужасной мысли для погребенной снова наступилъ переходъ въ обморочную безсознательность.

Могильщики опускали и закапывали гробъ, а въ это самое время издали незамѣтно слѣдили за ними два человѣка, которые, будто прогуливаясь, разбирали намогильныя надписи.

Когда же, окончивъ свою работу, могильщики удалились, два человѣка, не измѣняя своему фланерскому виду, подошли къ только что засыпанной могилѣ и въ головахъ воткнули высохшій сукъ, на одной вѣтви котораго моталась привязанная тряпочка.

— Мѣсто хорошее, удобное... тихо проговорилъ Грѣчка, вглядываясь въ сосѣдніе кресты, чтобы получше замѣтить, гдѣ именно находится свѣжая могила и внимательно озирая всю окружающую мѣстность.

— Хорошо-то оно хорошо: тихо, далекò, сторожа, поди чай, и не заглядываютъ сюда, отозвался блаженный: — да одно только неладно: заборъ этотъ больно высокъ... Откуда перебираться станемъ? — Подумай-ко!

— Погоди, погляжу получше—можетъ, и отыщемъ подходящее...

Невдалекѣ отъ этого мѣста перерѣзывала кладбище неглубокая канавка, вдоль по которой, въ направленіи къ забору, тихо направились теперь двое товарищей.

— Эге-ге! вотъ оно самое и есть! самодовольно воскликнулъ Грѣчка, дойдя до самого забора, подъ которымъ канавка уходила за черту кладбища, въ сосѣдніе огороды. Въ этомъ мѣстѣ, между нижней линіей забора и дномъ канавки, пространство аршина въ два ширины и около полутора высотою было весьма слабо загорожено кое-какъ приложенными досками.

—Тебя-то намъ и надо! ухмыльнулся Грѣчка:—давнуть легонько плечомъ—оно и подастся. И въ канавѣ-то сухо—лужицы совсѣмъ, братъ, нѣту, продолжалъ онъ, дѣлая дальнѣйшую рекогносцировку.

— Это значитъ, что изъ воды сухъ выйдешь, знаменіе такъ показуетъ, ты это такъ и понимай! шутливо сообразилъ блаженный.

— По крайности не запачкаешься, замѣтилъ Грѣчка.

— А мнѣ это все-единственно, что чисто, что нѣтъ — была бы душа моя чиста, а въ тѣлѣ чистоты не люблю.

— Стой-ка ты, чистота! перебилъ его сотоварищъ: — гляди сюда! вѣдь по ту сторону забора Сладкоѣдушкины огороды выходятъ!

— Ой-ли?... Да и въ самомъ дѣлѣ, такъ!... Вотъ любо-то! ударилъ Ѳомушка объ полы своей хламиды: — вотъ удача-то!... И возрадовася духъ мой — значитъ, сила вышняго споспѣшествуетъ!

— Ну, ужь ты отъ божества-то оставь — тутъ дѣло отъ Луканьки пойдетъ, а ты съ божествомъ некстати! замѣтилъ ему Грѣчка.

— Главная причина въ томъ, продолжалъ Ѳомушка? — что ходить далеко не надо: прямо отъ Сладкоѣдушки и перелѣземъ — чужіе зеньки не заухлятъ [1]).

— Да къ ней теперича и пошагаемъ, порѣшилъ Грѣчка, выходя на дорожку, ведущую извилинами черезъ все кладбище до самой церкви: — баба знакомая, и въ пріютѣ отказу не будетъ, а тамъ у нея, значитъ, и схоронимся до урочной поры.

И Грѣчка съ Ѳомушкой удалились съ кладбища.

LXXII

Въ ожиданіи полночи

Оба пріятеля вскорѣ пришли на пустынные огороды, къ избѣ хлыстовской «матушки» Устиньи Самсоновны.

Въ маленькихъ сѣнцахъ, надъ входною дверью, виднѣлся небольшой мѣдный восьмиугольный крестъ, а подъ нимъ на верхнемъ косякѣ была начертана мѣломъ затершаяся надпись: «Христосъ уставися съ нами».

— Господи Іисусе-Христе, сыне божій, помилуй насъ! проговорилъ Ѳомушка, постучавшись въ дверь.

— А кто-ся тамъ? послышался изнутри разбитый старческій голосъ.

---

[1]) Чужіе глаза не увидятъ, не замѣтятъ.

— Все мы же — богомолы-братья, люди божіи: свой народъ.

— Аминь! отвѣтилъ тотъ же голосъ — и Ѳомушка съ Грѣчкой вошли въ чистую и просторную горницу, съ одной стороны которой стояла большая русская печь, съ другой — помѣщалась кровать старика за ситцевою занавѣской, потомъ — широкій дубовый столъ и широкія скамьи по стѣнамъ, а въ переднемъ углу — образная полка, съ выглядывающими оттуда темными, древняго письма ликами, на которые, прежде всего, трижды перекрестились вошедшіе, и затѣмъ уже отдали по поклону хозяевамъ.

— Устиньѣ Самсоновнѣ!.... Паисію Логинычу! проговорили оба — и получили точно такой же почтливый поклонъ отъ хозяевъ.

Паисій Логинычъ подсыпалъ тлѣющихъ угольевъ въ мѣдную кадильницу съ деревянной ручкой и заходилъ съ нею по всѣмъ угламъ комнаты. Воздухъ наполнился тонкими струйками синеватаго дыма и запахомъ ладона.

— Отче! да ты это никакъ для насъ, худородныхъ, росной ладонъ изводишь? замѣтилъ ему Ѳомушка.

— Дому израилеву ѳиміамъ благочестія подобаетъ, отвѣтствовалъ старецъ докторально-богословскимъ тономъ, ни на кого не глядя и продолжая тихо колебать въ рукѣ свою кадильницу.

— Съ чѣмъ Богъ принесъ, братцы мои? Что́ скажете? обра́тилась къ нимъ хозяйка, оставляя шитье какого-то длиннаго бѣлаго пла̀та.

— Да что вотъ... подъ твой, матушка, покровъ притекли, со вздохомъ отвѣтилъ блаженный: — вы христолюбцы у насъ именитые, а мы люди малые... отъ аггеловъ антихристовыхъ изъ Вавилона треклятаго спасаемся... Въ темницѣ вѣдь тоже за вѣру правую гоненіе принимали, во юзехъ заключе́нны были. Укрой насъ, пока что, до странствія нашего — въ Верховную страну [1]) на время пока переправляю новообращеннаго — чай, человѣкъ-то знакомый тебѣ? добавилъ онъ, указывая на Грѣчку: — ко столпамъ нашимъ усылаю: пущай поживетъ тамъ, да въ вѣрѣ укрѣпится. А ты прими пока!

— Охота — моя, а домъ — божій, отвѣтила на это Устинья

Верховною страною своей хлысты называютъ городъ Кострому.

Самсоновна: — для брата нѣтъ отказу; хоронитесь-себѣ, сколько нужды вашей будетъ. Милости просимъ!

— Спасибо, матушка!... «Голоднаго напитай, гонимаго пріюти» — по закону, значитъ, поступаешь.

— Пáужинать, можетъ, хотите? предложила хозяйка.

— Нѣту, матушка! до ѣды ли намъ теперь!... Опосля поѣдимъ, чего Богъ пошлетъ; а пока, отведи ты намъ келейку уединенную — цѣлу ночь не спали, сонъ сморилъ совсѣмъ.

Устинья Самсоновна не заставила просить себя вторично и съ охотою провела обоихъ пришлецовъ, чрезъ сѣни, подъ лѣстницу, ведущую на чердакъ.

Здѣсь отодвинула она досчатый щитъ, который былъ устроенъ по той самой системѣ, какъ потайная дверь, ведущая въ подъизбище — и снаружи совершенно казался стѣною, такъ что постороннему человѣку невозможно бы было и догадаться о его существованіи. Ѳомушка съ Грѣчкой очутились въ тѣсномъ и темномъ тайникѣ, въ которомъ они могли, впрочемъ, весьма удобно разлечься на большихъ мѣшкахъ, въ родѣ перинъ, набитыхъ сѣномъ.

— Ну, почивайте-себѣ съ Богомъ, а проснетесь — потрапéзуемъ всѣ вкупѣ, сказала имъ Устинья Самсоновна, и снова задвинула вплотную потаённый щитокъ.

— Дѣло на лады пошло; кажись, клей будетъ, шопотомъ сказалъ Грѣчка, потирая руки.

— А чтó, бойко хлыстомъ прикинулся? также шопотомъ вопросилъ блаженный, ощущая внутреннюю потребность въ товарищескомъ одобреніи.

— Ужь что и говорить!... Я только дивлюсь, откуда ты насобачился?

— Э, братъ! главная причина, чтобы премудрость произойти, а тогда ужь всякая штука передъ тобою сама раскупорится! съ сознаніемъ своего достоинства похвалился блаженный: — я вѣдь тоже и самъ хлыстомъ-то былъ, и по сей день у нихъ въ согласіи числюсь; даже перекрещенъ былъ въ Сибири-матушкѣ — потому дѣла у нихъ важнецкія можно обварганивать.

— Это точно, согласился Грѣчка: — и самъ вотъ я не думалъ

не гадалъ, какъ свѣлъ-было знакомство съ Устиньей, а вотъ оно и пригодилося!

— Тебя-то они сманивали? спросилъ Ѳомушка.

— Было дѣло!... Да и какъ имъ не сманивать? — человѣкъ я тоже на всѣ руки годящій! Только въ тѣ поры я ни да, ни нѣтъ не сказалъ, а все приглядывался.

— Э, братъ, дурень же былъ? заключилъ Ѳома, съ укоризной: — а ты бы по мóему, коли ты есть ловкій жоржъ да человѣкъ разумный. Я вотъ даже архиерейскія, братецъ ты мой, службы правилъ! И деньга же перепадала—ухъ, какая деньга-то обильная!... было, другъ любезный, пóжито!... было! со вздохомъ предался онъ воспоминаніямъ: — да одна бѣда: зарвался! Провѣдали добрые людишки, что и у попóвщины за архирея правлю, и у бѣгунóвъ наставникомъ состою; оповѣстили, собаки, окружнымъ посланіемъ, что воръ-де я и самозванецъ не хиротанный; потому и вѣры имать не стали въ архирейство мое. Съ тѣхъ поръ вотъ и пошелъ по мірскому ужь православію во блаженныхъ юродствовать!

— Это статья особая, перебилъ его Грѣчка: — а ты мнѣ теперича лучше вотъ чтó скажи: ты знаешь ли, гдѣ у сладкоѣдушки струментъ захоронепъ?—безъ лопаты вѣдь тутъ не обойдешься.

— Знаю! махнулъ рукою блаженный, и перевернувшись на другой бокъ, черезъ мýнуту захрапѣлъ безмятежнымъ сномъ праведника.

Но Грѣчкѣ не спалось. Его жгуче какъ-то донимала теперь обычная и столь долго лелѣянная дума о дѣлѣ, которое предстоитъ ему черезъ нѣсколько часовъ. Долго оно для него было страстной, но недосягаемой мечтою, и вдругъ — теперь, столь неожиданно, является возможность осуществить его.

«Храпи, Ѳома, храпи-себѣ всласть, голубчикъ»! подумалъ онъ, нервно улыбаясь на собственную мысль: «спать-то ты у меня, можетъ, и завтра будешь, да только ужь храпѣть тебѣ вовѣки не придётся»!

Пріятели выспались и поужинали вмѣстѣ съ двумя хлыстами.

— У тебя, мать, будутъ нынче наши ясные соколы въ подъизбицѣ работать? тихо спросилъ Ѳома Устинью, отозвавъ ее въ сторону.

— Хотѣли, братецъ, быть, точно хотѣли. А что́ тебѣ?

— Осипъ-то у меня ничего про то не знаетъ, мигнулъ онъ на Грѣчку:—такъ ты ужь, матка, отъ грѣха-то прихорони насъ лучше въ сараѣ у себя. Мы бы, значитъ, еще съ часикъ передохнули тамъ.

Хлыстовка провела ихъ въ надворный сарай, гдѣ у нея были сложены разныя овощи и, между прочимъ, желѣзныя лопаты, для огородной работы.

— Надо будетъ перегодить тутъ часа съ два еще, пока полночь не станетъ, замѣтилъ Грѣчка.

— Благо, лопаты подъ рукою, откликнулся Ѳомушка:—а ждать-то можно; для чего не ждать? Я вѣдь лишь изъ-за лопатъ и ублажилъ Устинью, чтобъ въ этотъ сарай насъ упрятала.

— Мозги! не безъ внутренняго удовольствія, хлопнувъ слегка по затылку, похвалилъ его Грѣчка.

— Эхъ, кабы водки теперя!... Жаль, недомекнулись утресь прихватить съ собою! спохватился блаженный.

— Н-да, хорошо бы хлобыстнуть передъ работой-то. Нешто сжахать?

— Далече. Ничего не подѣлаешь; и такъ ужь обойдется дѣло!

Грѣчка прилегъ на груду капустяныхъ кочней, подостлавъ подъ бокъ валявшуюся рогожу, а Ѳомушка все время похаживалъ-себѣ по сараю, мечтая о томъ, какихъ «вертуновъ» онъ настроитъ, раздобывшись фармазонскимъ рублемъ и, въ темнотѣ наступившаго вечера, видѣлъ, какъ съ нѣкоторыми промежутками времени и притомъ съ разныхъ сторонъ, въ избу хлыстовки осторожно прошли четыре человѣка. Всѣ четверо, болѣе или менѣе, были знакомы ему.

LXXIII

Гробокопатели

Съ дальней колокольни медленно потянулся въ ночномъ воздухѣ тихій гулъ, повременамъ глухо относимый вѣтромъ въ сторону, и эти удары колокола возвѣстили полночь.

Между грядками, украдучись, пробирались двѣ человѣческія тѣни, перерѣзывая огородъ въ направленіи къ кладбищенскому забору.

— Забирай къ канавкѣ!... къ канавкѣ норови!... шопотомъ говорилъ задній, указывая изъ-за плеча передовому, въ какую сторону держать ему путь.

Перешагнувъ черезъ нѣсколько грядокъ, два спутника спустились на дно неглубокаго рва и пошли вдоль его, стараясь какъ можно менѣе шлепать подошвами по вязковатой почвѣ и не шурстѣть въ густой и высокой сорной травѣ. Этотъ путь привелъ ихъ къ забору, который пересѣкалъ канавку, уходившую изъ-подъ него на кладбище. Оба остановились. Ѳомушка хотѣлъ уже было сразу принапереть плечомъ, чтобы выдавить слабо прилаженную подзаборную загородку, но Грѣчка поспѣшно остановилъ его.

— Тс... куды-те лѣшаго?! съ шопотомъ сдвинулъ онъ брови: — погоди... сперва послушать надо, не чуть-ли тамъ человѣка...

И выйдя изъ канавы, онъ легъ ничкомъ на землю, и въ глубокомъ молчаніи приложивъ ухо къ почвѣ, сталъ слушать.

Прошло минуты три.

— Ничего не чуть, кажися... шаговъ ничьихъ нѣту, промолвилъ онъ, поднявшись на ноги, и снова спустясь въ ровъ, приставилъ ухо къ одной изъ широкихъ щелей досчатой загородки.

— Дай-кось эдакъ прислушаюсь... по землѣ не отдаетъ, авось по вѣтру потянетъ.

— Да кого дьявола слушать еще?! съ неудовольствіемъ шепнулъ нетерпѣливый Ѳомушка.

— Голосу да шаговъ, значитъ... Вѣдь тутъ тоже могильщики чередуются — караулятъ: обходъ бываетъ, пояснилъ Грѣчка, который, въ эту рѣшительную минуту, въ совершенную противоположность Ѳомушкѣ, сдѣлался вдругъ необыкновенно сдержанъ, осмотрителенъ и остороженъ, какъ будто вопреки своей старой и страстной мечтѣ; но именно не что иное, какъ только страстная жажда осуществить вполнѣ счастливо и безъ посторонней опасной помѣхи эту самую мечту, заставила его теперь вести себя подобнымъ образомъ: такъ игрокъ, ставя на послѣднюю карту послѣдній рубль азартно проиграннаго состоянія, осторожно ждетъ и выслѣживаетъ удачную талію.

— И по̀ вѣтру не тянетъ... никого нѣтъ! удостовѣрился, наконецъ, Грѣчка, и осторожно, почти безъ звука сталъ медленно разбирать, одну за другою, дощечки канавочной загородки.

Вскорѣ проходъ во всю ширину канавки и въ полтора аршина вышины былъ готовъ совершенно. Тихо, съ лопатами въ рукахъ, переползли на кладбище двое сотоварищей, и еще тише, еще осторожнѣе, почти ползкомъ, пошли по̀ дну, круто согнувшись корпусомъ впередъ, изъ предосторожности, чтобы на поверхности земли сторожевой глазъ не могъ случайно подмѣтить движенія двухъ человѣческихъ фигуръ.

Но это была почти излишняя предосторожность: сторожамъ нѣчего караулить послѣдняго разряда—ихъ бдительность сосредоточивается далече отъ этихъ мѣстъ, направляясь къ ближайшимъ окрестностямъ кладбищенской церкви, гдѣ дѣйствительно можетъ найтись существенная пожива для мошенниковъ, которые имѣютъ иногда обыкновеніе сбивать и спиливать съ монументовъ бронзовые кресты и доски—товаръ, принимаемый отъ нихъ на фунты въ иныхъ желѣзныхъ и мѣдно-котельныхъ лавкахъ.

Въ воздухѣ стояла одна изъ тѣхъ сыровато-теплыхъ и совершенно черныхъ ночей, которыми иногда отличается петербургскій августъ, когда луна совсѣмъ почти не показывается на горизонтѣ. Небо было заволокнуто сплошными облаками, и эти облака еще усиливали ту мглистую темноту, которая разливалась надъ землею. Понемногу теплый дождикъ начиналъ накрапывать медленными и рѣдкими каплями. Все, повидимому, благопріятствовало дѣлу, задуманному Грѣчкой.

— Здѣсь... около энтого мѣста надо искать, промолвилъ онъ, вылѣзая изъ канавы:—тутъ вотъ, налѣво... девять шаговъ въ эту сторону... Кажись, кругомъ, точно, тѣ самые кресты видать... Ну, такъ: вотъ этотъ высокенькій — онъ почитай около самой могилы должонъ стоять, шепталъ Грѣчка, стараясь острымъ и зоркимъ взглядомъ различить замѣченные ранѣе признаки мѣстности, окружающей могилу Бероевой.

— Оно самое и есть, подтвердилъ Ѳомушка, наткнувшись на предметъ, служившій для нихъ уже ближайшей примѣтой. Это была старая могила, на которой, вмѣсто земляной насыпи, стоялъ, вмѣ-

стѣ съ крестомъ, покрашенный когда-то жолтою краской, деревянный ящикъ, аршина въ два съ половиной длины и въ полтора шириною. Подобнаго рода убогіе мавзолеи, долженствующіе, повидимому, изображать собою высокія, каменныя гробницы съ барельефами (кои суть принадлежность болѣе богатыхъ разрядовъ)—встрѣчаются довольно часто на петербургскихъ кладбищахъ и особенно въ послѣднихъ разрядахъ Митрофаніевскаго. Время сбросило погнившія доски, служившія крышкой тому скромному мавзолею, на который наткнулся теперь Ѳомушка, такъ что онъ и въ самомъ дѣлѣ представлялся открытымъ ящикомъ, въ аршинъ глубины, что̀, между прочимъ, при давишнемъ осмотрѣ, тоже не было упущено изъ виду обоими товарищами.

— Оно самое и есть! повторилъ блаженный:—теперича, значитъ, четыре шага влѣво—и готово!

— Нашелъ!... откликнулся Грѣчка:—вòтъ она, здѣсь!... И хворостинка наша въ головахъ не тронута... Постой-ка, братъ, примѣтинку пощупаю... Ну, такъ! — и примѣтинка вòна мотается.

— Значитъ, вѣрно! заключилъ Ѳомушка: — слава-те, Господи!

— Молчи, анаѳема! вѣдь сказано: въ экомъ дѣлѣ не поминать его! давнулъ его за руку суевѣрный Грѣчка:—черти скорѣй лопатой кругъ около могилы: зачураться надо.

Въ шопотѣ, которымъ произносилъ онъ эти слова, было необыкновенно много той всепреклоняющей, повелительной энергіи, которая вызываетъ безусловную покорность, и потому Ѳомушка, безъ разсужденій, тотчасъ же исполнилъ приказаніе Грѣчки.

— Чуръ меня!... чуръ меня! шепталъ, межъ тѣмъ, этотъ послѣдній, оборачиваясь на всѣ четыре стороны.

— Страшно, братъ... съ легкимъ содроганіемъ сорвалось съ языка Ѳомушка.

Тотъ покосился на него со злобою и только презрительно хмкнулъ.

— Копай вотъ тутъ, рядомъ со мною!

Желѣзныя лопаты разомъ врѣзались въ землю—и сырой глинистый комъ глухо бухнулся и откатился въ сторону.

При этомъ первомъ звукѣ Грѣчка невольно вздрогнулъ и еще усерднѣе приналегъ на лопату. Оба пріятеля переживали не совсѣмъ обыкновенныя мгновенья. Суевѣрный, свинцово-давящій страхъ,

помимо ихъ воли, закрадывался въ душу, въ груди захватывало духъ и кровь напирала въ височныя жилы, а сердце то замирало, то вдругъ начинало колотиться усиленными біеніями. Осторожная, безшумная работа шла среди глубокой тишины—ни слова не было уронено больше, только оба трудно и перерывчато дышали.

Вдругъ, вдалекѣ послышалось что-то неясное, какъ будто похожее на шаги человѣка.

Оба сильно вздрогнули, инстинктивно остановились и, напрягая ухо, пристально взглянули другъ на друга.

Тишина. Гдѣ-то вдали цѣпная собака хрипитъ и заливается. Вѣтеръ на минуту слегка, потянулъ по верхушкамъ кладбищенской рощи, обвѣявъ чѣмъ-то страшливымъ и холодненькимъ обоихъ гробокопателей. Прислушиваются — ничего не слыхать; только рѣдкія капли неровно перепадаютъ, шлёпаясь на пыльные листья лопушника.

Снова стали копать-копать и слушать—чутко, напряженно, чтобы не проронить ни вблизи, ни вдали ни единаго звука.

Ахъ ты степь моя, степь Моздокская

неожиданно послышалось позади ихъ, стовно бы изъ кладбищенской рощи.

— Обходъ!... хоронись живѣе! чуть слышно вымолвилъ Грѣчка, переставъ работать:—съ лопатой хоронись!

— Да куда же?... Наземь, что ли, ничкомъ?

— За мною!... да тише ты!... Полѣзай въ ящикъ, да ложись бокомъ, чтобъ обоимъ хватило...

И осторожно, безъ малѣйшаго шума, опустились они съ лопатами, и легли на дно сосѣдняго деревяннаго намогилья.

Голосъ, тянувшій моздокскую степь, межъ тѣмъ раздавался все ближе. Вотъ и шаги уже слышны — шаги смѣшанные, какъ будто два человѣка идутъ. Ближе и ближе — черезъ минуту, гляди, поровняются съ укрывшимися гробокопателями.

Вдругъ шагахъ въ пяти отъ ящика послышалось сдержанное рычанье большого пса.

— Полкашка! обозвалъ голосъ, напѣвавшій пѣсню.

Пёсъ продолжалъ озабоченно рыскать межъ могилами и глухо рычать.

— Чего брешешь, ну, чего брешешь-то?... Эка, дурень-собака! Брешетъ-себѣ зря—совсѣмъ дурень... Ну, что̀ ты тамъ слышишь?.. Полкашка!...

— Нѣтъ, братъ, ты его не обидь, послышался въ отвѣтъ другой голосъ:—онъ у насъ справедливый пёсъ. Это онъ вѣрно хорька слышитъ—хорекъ тутъ завелся гдѣ-то: намеднись у отца дьякона цыпленка утащилъ. Я третёвадни, какъ могилу копалъ, видѣлъ его, какъ онъ это по травѣ побёгъ. А Полкашку не обидь: онъ свою правилу собачью знаетъ—онъ это вѣрно.

— Можетъ, мазурики гдѣ забрамшись?...

— Какіе тутъ мазурики—чего имъ тутъ взять?

— Одначе жь пошарить бы?

— Пожалуй... для-че не пошарить?

И могильщики, разойдясь одинъ съ другимъ, свернули съ тропинки побродили между крестами. Одинъ даже мимо ящика прошелъ, мурлыча себѣ подъ носъ все ту же пѣсню.

— Ничего нѣту!... да и Полкашка побёгъ-себѣ! крикнулъ издали другой, и черезъ минуту оба удалились.

У Грѣчки отлегло отъ сердца: будь немножко почутче нюхъ у Полкашки, да караульщики посмышленѣй и поретивѣе — и вся завѣтная мечта его развѣялась бы дымомъ. Правда, онъ бы не дешево разстался съ нею: онъ уже рѣшилъ, что въ случаѣ накрытія—сразу бить на̀ смерть обоихъ; но... какъ знать чужую, неизвѣстную силу? Пожалуй, что и его бы скрутили, и тогда—прости прощай навѣки фармазонскій рубль!

«Степь моздокская» межъ тѣмъ совсѣмъ уже затерялась вдали за деревьми; но не прежде, какъ только вполнѣ убѣдившись, что опасность миновала совершенно — рѣшился Грѣчка выползти изъ намогилья.

Снова лопаты вонзились въ землю—работа закипѣла теперь еще рѣшительнѣй, еще энергичнѣе прежняго, и вскорѣ железо глухо ударилось о крышку гроба, а минутъ черезъ пять—она вся обнажилась.

На гробокопателей, при видѣ вырытаго гроба, повѣяло легкимъ холодкомъ нервнаго трепета.

— Вскрой крышку-то, запусти малѐнько лопату подъ нея, шопотомъ пролепеталъ блаженный.

Деревянныя заклѐпки заскрипѣли подъ напоромъ желѣза, и крышка соскочила.

Передъ глазами Грѣчки и Ѳомушки — вверхъ неподвижнымъ лицомъ, обрамленная бѣлымъ холщевымъ саваномъ, лежала мертвая женщина въ арестантскомъ капотѣ. — У обоихъ крупными каплями проступилъ холодный потъ на лбу.

— Гдѣ же деньги-то?... Не слыхать что-то... чуть слышно бормоталъ Ѳомушка, шаря по трупу своей трепещущей рукою.

— Больно прытокъ, съ худо-скрытою злостью прошипѣлъ Грѣчка, отстраняя прочь отъ тѣла руку блаженнаго, изъ боязни, чтобы тотъ первый не нашелъ какъ-нибудь завѣтнаго рубля: — больно прытокъ!... Забылъ, что̀ дядя жиганъ сказывалъ?—Исперва надо надругательство какое надъ нею сотворить, а потомъ уже деньги-то сами объявятся.

— Ну, какого тамъ еще надругательства? шопотомъ огрызнулся Ѳомушка:—далъ ей тумака добраго—и вся недолга! Вотъ-те и надругательство будетъ.

— Приподыми-ка ее! приказалъ Грѣчка тономъ, недопускавшимъ прекословья.

Ѳомушка взялъ покойницу за плечи и, придерживая рукою, посадилъ въ гробу. При этомъ движеніи, руки ея тихо опустились на колѣни.

— Братецъ ты мой! съ нѣкоторымъ ужасомъ изумился блаженный:—да она мягкая—не закоченѣвши совсѣмъ.

— Толкуй, баба!—Мерещется! отозвался Грѣчка, хотя самъ очень хорошо замѣтилъ то же.

Въ эту минуту невольный ужасъ мѣшался въ немъ съ чувствомъ, которое говорило: минута еще — и ты достигъ, и ты счастливый человѣкъ!—и потому онъ силился подавить въ себѣ этотъ суевѣрный страхъ: но нервы плохо покорялись усиліямъ воли и ходѐнемъ ходили, тряся его, какъ въ лихорадкѣ.

Наконецъ почувствовалъ онъ, что настала рѣшительная, роковая минута. Глаза его налились кровью, грудь высоко и тяжело вздымалась, а лицо было блѣдно почти такъ же, какъ лицо покойницы.

Закусивъ губу и задержавъ дыханіе, онъ сквозь зубы тихо простоналъ блаженному: «держи!» — и сильно развернувшись, съ ругательствомъ на отмашь ударилъ ее въ грудь ладонью. Въ эту минуту раздался короткій и слабый крикъ женщины.

Гробокопатели шарахнулись въ сторону—и трупъ упалъ навзничь, но въ ту жь минуту, съ усиліемъ и очень слабымъ стономъ, въ гробу поднялась и сѣла въ прежнее положеніе живая женщина.

Ѳомушка съ Грѣчкой, не слыша ногъ подъ собою отъ великаго ужаса, инстинктивно упали на карячки и поползли, не смѣя обернуться на разрытую могилу, и не въ силахъ будучи закричать, потому что отъ леденящаго страха мгновенно потерялся голосъ, какъ теряется онъ иногда въ тяжеломъ сонномъ кошмарѣ.

Проползя нѣсколько саженей, Грѣчка поднялся на ноги, а вслѣдъ за нимъ сталъ и Ѳомушка: въ эту минуту, послѣ перваго поражающаго потрясенія, у нихъ едва-едва мелькнули слабые проблески сознанья, и потому оба, подъ неодолимымъ обаяніемъ дико-суевѣрнаго страха, безъ оглядки пустились бѣжать съ кладбища. Инстинктъ самохраненія и этотъ блѣдный лучъ сознанья вели ихъ къ той же самой лазейкѣ, съ помощью которой удалось имъ, за часъ передъ этимъ, пробраться сюда; и теперь, спотыкаясь о кресты и могилы и падая на каждомъ шагу, дотащились они кое-какъ до разобранной канавочной загородки и прытко пустились, на перекоски, черезъ огородныя грядки, къ избѣ Устиньи Самсоновны.

LXXIV

Спасена

— Надо, государи мои милосливые, испѐрва отъ духа уразумѣть, сидя за пряжей, наставительно калякала хлыстовка съ двумя своими гостьми—Ковровымъ и Каллашемъ, тогда какъ Бодлевскій съ Катцелемъ работали въ подъизбищѣ, а эти—между дѣломъ—вышли наверхъ поглотать воздуха, непропитаннаго лабораторными запахами. Устинья Самсоновна каждый разъ норовила не упустить малѣйшаго случая и повода потолковать о вѣрѣ съ кѣмъ-либо изъ этихъ гостей, въ надеждѣ что авось кто-нибудь изъ нихъ, убѣжденный

ея рѣчами, обратится въ вѣру правую, за что она паки и паки сподобится благодати Вышняго.

— Надо отъ духа поучаться и ходить по духу, и вѣровать токмо по духу: какъ тебя духъ божій въ откровеніи вразумитъ, такъ ты и ходи, такъ и вѣрь, говорила хлыстовка:—вотъ, когда наша вѣра истинная стала шириться по землѣ, тогда на Москвѣ сидѣлъ царь Алексій со своимъ антихристомъ Никономъ и повелѣлъ онъ христа нашего батюшку Ивана Тимофеича изымать съ сорока учениками, для-того чтобъ они вѣру правую не ширили. Пытали ихъ много, а батюшкѣ Иванъ Тимофеичу дали столько батожья, сколько всѣмъ ученикамъ его вкупѣ, однакожь не выпытали отъ нихъ, какая такая наша вѣра есть. Исперва на Москвѣ самъ антихристъ допросы чинилъ имъ, а потомъ сдали ихъ, нашихъ батюшекъ страстотерпцевъ, на житный дворъ къ гонителю египетскому князю Одоевскому, и тотъ гонитель очинно ревнивъ былъ пытать Иванъ Тимофеича: жегъ его малымъ огнемъ на желѣзный прутъ повѣсивши, потомъ палилъ и на большихъ кострищахъ, и на лобномъ мѣстѣ пыталъ и затѣмъ уже роспяли его на стѣнѣ у Спасскихъ воротъ. Въ Москвѣ-то бывали вы, государи мои? спросила обоихъ Устинья Самсоновна.

— Случалось, подтвердилъ ей Ковровъ.

— И Спасскія ворота знаете?

— Какъ не знать!

— Ну, такъ вотъ, какъ идти-то въ Кремль, по лѣвой сторонѣ, гдѣ нынѣ часовня-то постановлена, тутъ его и роспинали. Я къ тому это и говорю, продолжала хлыстовка:—что значитъ духъ-то! Чего-чего ни перенесешь, коли духъ божій крѣпокъ въ тебѣ; к-тому и завѣтъ у насъ такой: аще побѣдити и спастися хощешь, имай, первѣе всего, духъ божій и вѣру въ духа.

— Ну, и что же съ нимъ потомъ-то было? спросилъ Каллашъ.

— Ой, много съ нимъ всякаго было! махнула хлыстовка:—когда испустилъ-то онъ духъ, то отъ стражи было ему со креста снято, а въ пятницу похоронили его на лобномъ мѣстѣ въ могилѣ съ каменными сводами, а съ субботы на воскресеніе онъ, нашъ батюшка, при свидѣтеляхъ воскресъ и явился ученикамъ своимъ въ Іерусалимѣ. И тутъ снова былъ ятъ, и пытку чинили ему жестокую и втори-

тельно роспяли на тыемъ самомъ мѣстѣ у Спасскихъ воротъ. И содрали съ него кожу вживѣ, но едина отъ учениць его покрыла батюшку простынею бѣлою и простыня та дала ему новую кожу. Поэтому мужики наши хлыстовскіе, въ воспоминаніе его и носятъ бѣлыя рубахи, а на радѣньяхъ «знамена» мы имѣемъ—полотенца, алибо платы такіе полотняные. И потомъ снова воскресъ нашъ батюшка и началъ проповѣдывать, а учениковъ ему, съ этого втораго воскресенія, прибавилось видимо-невидимо. И когда его въ третій разъ изыскали и обрекли на мученія — въ тѣ поры царица брюхата была и родами мучилась: никакъ не могла разродиться. И было ей тутъ пророчество, что тогда только разродится она благополучно сыномъ царевичемъ Петромъ, когда ослабонятъ Ивана Тимофеича. Тутъ его и слобонили, и сталъ онъ явно жить въ Москвѣ на покоѣ, проповѣдуя вѣру правую тридцать лѣтъ; а домъ, гдѣ жилъ, доселѣ цѣлъ и нерушенъ стоитъ и промежъ божьихъ людей «Новымъ Юрусалимомъ» нарицается...

Въ эту минуту разсказъ ея былъ прерванъ топотомъ неровныхъ торопливыхъ шаговъ, который послышался на крылечкѣ, словно бы туда прытко взбѣжали два человѣка. Раздался нетерпѣливый, тревожный стукъ въ наружную дверь.

Ковровъ и Каллашъ въ недоумѣніи вскочили съ мѣста, причемъ первый опустилъ свою руку въ карманъ, гдѣ у него имѣлся наготовѣ маленькій карманный револьверъ, который онъ постоянно бралъ съ собою, отправляясь въ загородную лабораторію.

— Господи Исусе!... кого тамъ?! встала изъ-за пряжи хозяйка, встревоженная этимъ шумомъ въ такую позднюю пору.

Старецъ Паисій взялъ свѣчу и пошелъ въ сѣни.

— Кто тамъ? окликнулъ онъ.

— Мы... я... пустите... отвѣчалъ перепуганный, задыхающійся голосъ Ѳомушки.

— Чего тебѣ?

— Христа-ради, впустите скорѣе... Бѣда!... съ отчаяніемъ воскликнулъ онъ, стучась въ дверь.

Старикъ отомкнулъ защелку — и въ комнату влетѣли ошалѣлые гробокопатели. Лица ихъ были въ кровь исцарапаны, одѣжа пере-

рвана и перепачкана землею—а сами они до того дрожали и казались перепуганными, что Ковровъ съ Каллашемъ поневолѣ отступили назадъ, изумленные этимъ неожиданнымъ появленіемъ.

Ѳомушка и Грѣчка, съ трудомъ переводя духъ, стояли посерединѣ комнаты и все еще не могли придти въ себя.

— Ты какъ здѣсь? подошелъ Каллашъ къ блаженному: — что случилось? съ чѣмъ вы? откуда?

— Ба... а... батюшка, страшно... съ усиліемъ выговорилъ дрожащій Ѳомушка.

— Полиція здѣсь? Накрыли васъ, или гнался за вами кто, что ли?

— По... покойникъ гнался... на кладбищѣ... изъ гроба... говорилъ блаженный, почти безсознательно давая свои отвѣты.

— Да они пьяны, замѣтилъ Ковровъ, переухмыльнувшись съ графомъ.

— Были бы пьяны — не были бы такъ перепуганы.

— А зачѣмъ носило васъ на кладбище? снова приступилъ послѣдній къ Ѳомушкѣ.

— Фармазонскія деньги... на ёй зашиты... могилу раскопали, безъ смыслу лепеталъ блаженный, страшливо озираясь во всѣ стороны.

— Могилу раскопали?... озабоченно сдвинувъ брови, повторилъ вслѣдъ за нимъ Каллашъ:—э, э!... шутки-то выходятъ плохія!...

— Послушай, отозвалъ онъ въ сторону Коврова:—этотъ дуракъ мелетъ чепуху какую-то; но очевидно одно: оба страшно перепуганы и одинъ обмолвился, что могилу раскопали. Это-то и есть причина паники.

— Ну, такъ что жь? спросилъ Ковровъ.

— Очень скверно. Разрытую могилу завтра же могутъ найдти, принялся Каллашъ развивать свою мысль: — поднимется слѣдствіе, розыски, обыски, «какъ да что»? — а до хлыстовской избы полиціи нетрудно будетъ добраться: вѣдь по сосѣдству стоитъ. Понимаешь?

Ковровъ кивнулъ головою и озабоченно закрутилъ свой великолѣпный усъ.

— Вы разрывали могилу? зачѣмъ? для чего это? наступили оба на Ѳомушку.

Грѣчка межъ тѣмъ успѣлъ уже придти въ себя, а съ возвратомъ полнаго сознанія, ему тотчасъ же явилась въ голову суевѣрная мысль, что это, должно быть, вражья сила подшутила надъ ними, и потому, желая предупредить Ѳомушку, чтобы тотъ не давалъ отвѣта, онъ толкнулъ его въ локоть; но это движеніе не скрылось отъ Коврова.

— Эге, да это, кажись, мой старый знакомый!... протянулъ онъ, пристально вглядываясь въ физіономію Грѣчки: — помнится, будто встрѣчалъ когда-то. Ты зачѣмъ толкнулъ его?

— Я?!... Мерещется, что ли! дерзко отвѣтилъ Грѣчка:—вольно ему съ дуру молоть ерундищу!

— Гдѣ вы были? отвѣчай мнѣ! начальнически и въ упоръ приступилъ къ нему Сергѣй Антоновичъ.

— Да вамъ-то что, гдѣ бы мы ни были? чего вы лѣзете?

Въ отвѣтъ на это послѣдовалъ истинно - командирскій ударъ по уху.

Грѣчка отшатнулся въ сторону, и упалъ на лавку, но въ ту жь минуту, поднявшись на ноги, хотѣлъ-было броситься на Коврова, какъ вдругъ, въ отвѣтъ на это движеніе, увидѣлъ онъ ловко приставленный къ своей груди револьверъ.

Его попятило назадъ: онъ живо вспомнилъ былыя времена и лихого капитана золотой роты.

Ковровъ, межъ тѣмъ, не отставалъ отъ него со своимъ пистолетомъ.

— Отвѣчай, мерзавецъ; гдѣ вы были и что вы дѣлали или сейчасъ же, какъ собаку, положу на мѣстѣ!

— Виноватъ, ваше... ваше сіятельство!... Простите, христа-ради! пробормоталъ оробѣлый Грѣчка, ибо вспомнилъ по старымъ опытамъ и слухамъ, что съ этимъ бариномъ вообще шутки плохія, особенно когда въ переносицу зловѣще смотритъ пистолетное дуло.

— Я не спрашиваю, виноватъ ли ты, а мнѣ нужно знать, гдѣ вы были и что дѣлали—понимаешь? съ разстановками надъ каждымъ словомъ возразилъ Сергѣй Антоновичъ, нещадно теребя его за ухо, словно мальчишку школьника.

— Виноватъ, ваше сіятельство... на кладбищѣ были пролепеталъ Грѣчка, окончательно потерявшись отъ столь неожиданнаго и столь безцеремоннаго отношенія къ своей особѣ.

— Зачѣмъ вы были на кладбищѣ? настойчиво наступилъ на него Ковровъ.

— Фармазонскихъ денегъ искали...

— Гдѣ вы ихъ искали?

— На покойницѣ... на арестанткѣ одной тутъ...

— И разрыли для этого могилу?

— Виноваты, ваше сіятельство...

— Ну, такъ пойдемте зарывать ее, сказалъ Ковровъ тѣмъ спокойно-сознательнымъ тономъ, который не допускаетъ возраженій. Для подпольной компаніи было необходимо нужно, чтобы могила была зарыта, потому что иначе, и въ самомъ дѣлѣ, могъ бы произойдти весьма невыгодный оборотъ для ихъ предпріятія, вслѣдствіе непремѣнныхъ обысковъ полиціи. Надо было немедленно же уничтожить всѣ слѣды преступленія двухъ гробокопателей.

— Ваше сіятельство!... слобоните! христа-ради!... Не могимъ вернуться на кладбище! взмолился Ѳомушка:—покойница вѣдь живая... стонала... сидѣла въ гробу... самъ видѣлъ своими глазами.

Это было еще одно новое открытіе для Каллаша и Коврова; теперь, стало быть, необходимо нужно было либо прикончить на смерть, либо спасти мнимую покойницу.

Ковровъ мигомъ накинулъ свой плэдъ, захватилъ маленькій потайной фонарикъ и вышелъ изъ горницы вмѣстѣ съ Ѳомушкой и Грѣчкой.

Онъ безпрекословно заставилъ ихъ идти съ помощью того же самаго убѣдительнаго аргумента, который за минуту передъ симъ развязалъ языкъ гробокопателей.

Въ глубокой тишинѣ, ненарушаемой ни единымъ словомъ, осторожно пробрались они прежнимъ путемъ на кладбище, и Грѣчка, весь дрожа отъ волненія и страха, снова нашелъ, въ темнотѣ, разрытую могилу.

Однако, странно: гробъ раскрытъ, но никого въ немъ нѣтъ — одинъ только саванъ лежитъ, брошенный въ двухъ шагахъ отъ крышки.

Ковровъ еще круче закусилъ свой усъ и озабоченно сдвинулъ брови. Что тутъ дѣлать теперь? Ясно, что мнимо-умершая выползла изъ гроба, но гдѣ искать ее по кладбищу, въ какую сторону направиться? Да и когда тутъ искать, если каждая минута дорога, если для собственной безопасности нужно было какъ можно скорѣе уничтожить признаки раскопанной могилы. Поиски, во всякомъ случаѣ, отняли бы время. Изъ двухъ золъ надо выбирать меньшее; а если мнимо-умершую найдутъ завтра гдѣ нибудь на кладбищѣ живой или мертвой, это все-таки менѣе опасно, чѣмъ разрытая могила: тамъ еще вопросъ темный, тамъ еще могутъ быть какія-нибудь сомнѣнія, недоразумѣнія, а здѣсь, эта разрытая могила и въ ней свидѣтель преступленія.

Ковровъ прислушался, приглядѣлся въ темноту — напрасно: не различишь никакого признака, да и не слыхать ни шороха, ни стона — мѣшкать было нечего.

— Бери, ребята, крышку—и снова на гробъ ее, шопотомъ распорядился онъ, не выпуская изъ руки револьвера, который держалъ все время наготовѣ, такъ что тѣ поневолѣ повиновались.

— Готово, ваше сіятельство.

— Теперь закапывай гробъ хорошенько! Гдѣ лопаты у васъ?

— А тутотки бросили вотъ...

— Ну, бери дружнѣе! да живо у меня, мерзавцы!

— Ой, страшно, ваше сіятельство... руки, словно въ лихорадкѣ... приняться страшно...

— Закапывай!

И безъ дальнихъ разговоровъ, онъ весьма убѣдительно приставилъ дуло ко лбу Ѳомушки.

Такой рѣшительный маневръ, въ особенности послѣ столькихъ потрясающихъ ощущеній, которыя немного обезсилили въ обоихъ гробокопателяхъ твердость и способность самостоятельно дѣйствовать своей силой и соображать своимъ разсудкомъ — такой маневръ, говоримъ мы, произвелъ свое рѣшительное дѣйствіе: они опустили накрытый гробъ въ могилу и проворно стали закапывать.

— Вали землю живѣе! живѣе, канальи, энергическимъ шопотомъ поощрялъ Сергѣй Антоновичъ: — за работу по пятирублевкѣ получите.

И минутъ въ пять могила быстро была засыпана въ присутствіи Коврова, лично наблюдавшаго за работой.

Они уже возвращались, прежнимъ путемъ, вдоль канавки, какъ вдругъ, шагахъ въ пяти, послышался слабый, болѣзненный стонъ. Ѳомушка съ Грѣчкой такъ и обмерли въ ужасѣ.

— Дальше ни съ мѣста! грозно приказалъ имъ Ковровъ, и осторожно выползъ изъ канавы, по тому направленію, откуда послышался стонъ. Дѣйствительно: пройдя пять-шесть шаговъ, онъ наткнулся на что-то живое. Это была женщина, почти въ безпамятствѣ, и по ея полулежащему положенію, можно было предположить, что она передъ тѣмъ ползла по землѣ.

Ковровъ на мгновеніе отодвинулъ щитокъ потайнаго фонарика, и первое, что́ бросилось ему въ глаза — это арестантскій капотъ. Лица онъ не успѣлъ разглядѣть, потому что оставить свѣтъ еще на нѣсколько секундъ—было бы не совсѣмъ безопасно. Что́ жь теперь дѣлать съ нею? Пришибить? — поздно: могила уже зарыта. Оставить на кладбищѣ? — нельзя: этотъ арестантскій капотъ мѣшаетъ? онъ, при слѣдствіи, пожалуй, все дѣло выдастъ, и, быть можетъ, поведетъ къ чортъ-знаетъ какой кутерьмѣ! Что́ же дѣлать однако съ этой женщиной? Время не терпитъ; надо самимъ, какъ можно скорѣе, уходить съ кладбища. Остается одно только средство: была-не была—взять ее съ собою! Если она за̀ ночь умретъ— можно будетъ снять съ нея этотъ предательскій капотъ, переодѣть въ другую одежину и тайно вывезти да бросить за чертой города, въ станѣ, на какомъ-нибудь пустырѣ; а если поправится., если выздоровѣетъ, то — сама арестантка! стало быть не выдастъ никого и ничего, а будетъ рада, что изъ гроба вынули да отъ тюрьмы спасли.

Ковровъ торопливо спустился въ канавку и приказалъ Ѳомушкѣ съ Грѣчкой идти за собою. Онъ послалъ по землѣ свой плэдъ, завернулъ съ головой найденную женщину и велѣлъ имъ нести.

Тѣ дрожали какъ осиновые листья, и не рѣшались взяться за страшную для нихъ ношу.

— Трусы! презрительно отнесся къ нимъ Сергѣй Антоновичъ:— не видите развѣ, это — живая женщина? Ее въ обморокѣ схорони-

ли! Ты неси лопаты и фонарь! приказалъ онъ Ѳомушкѣ: — и ступай впередъ, а ты — бери ее за ноги!

И, вмѣстѣ съ этимъ, осторожно поднялъ за плечи завернутую женщину, и вдвоемъ они понесли ее съ кладбища, къ подзаборной лазейкѣ. Хотя обоихъ гробокопателей все еще мучило чувство суевѣрнаго страха, однако видя такое хладнокровіе и энергію со стороны Коврова, они пріободрились нѣсколько, предполагая, что вѣрно и въ самомъ дѣлѣ это живая женщина, потому нечистая сила съ мертвечиной не такъ бы проявили себя.

Всѣ благополучно возвратились въ избу Устиньи Самсоновны.

Ковровъ приказалъ внести въ горницу найденную женщину, а самъ не теряя минуты, прямо спустился въ подъизбище и позвалъ Катцеля.

Докторъ развернулъ плэдъ, наклонился, чтобы разсмотрѣть ея лицо — и вдругъ быстро отшатнулся въ сторону, очевидно, подъ вліяніемъ какого-то невольно поразившаго его чувства.

— Боже мой!... да это она!... прошепталъ онъ, въ смущеніи.

— Кто она?

— Она... Бероева...

— Бероева?! изумленно повторили Ковровъ и Каллашъ, въ свою очередь нагибаясь къ ея лицу, чтобы удостовѣриться, точно ли это правда.

Для Сергѣя Антоновича не осталось болѣе сомнѣнія въ этомъ: онъ еще прежде знавалъ Бероеву, она какъ-то необыкновенно нравилась ему, какъ красивая женщина — а онъ боготворилъ красивыхъ женщинъ — онъ зналъ и ее, и ея мужа, встрѣчавшись съ ними у Шиншѣева, и вдобавокъ, ему очень хорошо была извѣстна настоящая, неподкрашенная исторія ея съ Шадурскимъ и судьба, постигшая эту женщину, и теперь, заглянувъ въ это истомленное страданіемъ лицо, онъ окончательно удостовѣрился, что передъ нимъ дѣйствительно лежитъ Бероева.

— Ее надо спасти! непремѣнно спасти! Слышите, Катцель — не-пре-мѣнно! съ одушевленіемъ и рѣшительно проговорилъ онъ.

— Но куда же мы съ нею дѣнемся? возразилъ Бодлевскій.

— Оставимъ здѣсь.

— Здѣсь... Она намъ будетъ мѣшать, она можетъ выдать насъ.

Ковровъ оглядѣлъ его съ нескрываемымъ презрѣніемъ и тихо, отчетливо промолвилъ ему:

— Не выдайте *ея* насъ, любезный другъ! а она — женщина, обязанная намъ спасеніемъ жизни, арестантка, приговоренная въ Сибирь — она насъ не выдастъ, лишь бы вы не проболтались въ нѣжную минуту вашей княгинѣ Шадурской.

Бодлевскій вспыхнулъ отъ негодованія, однако молчалъ и ушелъ въ подъизбище, не принимая болѣе никакого участія въ происходящемъ.

Бероева лежала на лавкѣ, попрежнему закутанная въ плащъ графа Каллаша.

— Эхъ, братъ, какъ же это ты такъ плошаешь! съ укоромъ замѣтилъ онъ Катцелю, и обратился къ хлыстовкѣ:

— Матушка Устинья! въ Бога ты вѣруешь?

— Штой-то, мой батюшка, еще бъ не вѣрить-то! — Вѣрую! — хрестьяне вѣдь!...

— Ой-ли?... Ну! коли «хрестьяне», такъ и поступай же похристіянски! Постель-то у тебя мягкая?

— Мягкая, батюшко, пуховичекъ ништо, хорошій.

— Пуховичокъ хорошій, а больного человѣка на голой лавкѣ допускаешь лежать! Эхъ ты, «вѣрую»! Уступи, что ли, христа-ради, постель свою.

— Бери, мой батюшко! бери, Христосъ съ тобой! — я рада. — «Болящаго, сказано, посѣти».

— То-то же! такъ вотъ и походи за нею, пока выздоровѣетъ.

Ослабѣвшую Бероеву перенесли въ другую горенку на постель Устиньи Самсоновны. Старуха раздѣла и укутала ее въ теплое одѣяло.

Ковровъ, межъ тѣмъ, озабоченно ходилъ по смежной горницѣ.

— Ее третьяго-дня на конную вывозили — я случайно прочелъ въ «Полицейскихъ», шопотомъ замѣтилъ графъ Каллашъ.

— Да? отозвался докторъ: — о, теперь я понимаю: это была летаргія отъ нервнаго потрясенія. Субъектъ для меня весьма интересный — поштудирую! заключилъ онъ, потирая отъ удовольствія руки.

— Мерзавцы... негодяи... барченокъ... шепталъ межъ тѣмъ про

себя Сергѣй Антоновичъ, хмуро сжимая брови отъ какой-то непріятной мысли и вдругъ круто подошелъ къ Катцелю.

— Слушай! началъ онъ ему совершенно серьезно и строго: — эта женщина, за всѣ свои несчастія, главнѣйшимъ образомъ обязана тебѣ. Ты ее убилъ — ты же и воскресишь ее! — Ступай къ ней!

Но Катцель и безъ того уже засуетился надъ изысканіемъ первыхъ пособій: приказалъ Устиньѣ нагрѣть самоваръ, спустился въ подъизбище и вытащилъ оттуда баночку спирту, да бутылку лафиту.

— Ну, а вамъ, ребята, спасибо за то, что вырыли! неожиданно обратился Ковровъ къ Ѳомушкѣ и Грѣчкѣ, которые почтительно стояли у дверей. Бывшій капитанъ золотой роты нагналъ-таки на нихъ порядочнаго страху.

— Вотъ вамъ обѣщанная водка! продолжалъ онъ, кидая имъ два имперіала: — а теперь скажите-ка мнѣ, какихъ это фармазонскихъ денегъ искали вы?

— Неразмѣннаго рубля, ваше сіятельство, повѣдалъ Ѳомушка-блаженный.

— Дурни! покачавъ головою, улыбнулся Сергѣй Антоновичъ:— тебѣ бы, собачій сынъ, о размѣнныхъ рубляхъ слѣдовало думать, а ты чортъ-знаетъ о какой чепухѣ!

— Грѣшенъ человѣкъ, ваше сіятельство, и плоть моя немощна, съ покаяннымъ сокрушеніемъ вздохнулъ блаженный.

— А ты, кажись, будешь человѣкъ годящій, обратился Ковровъ къ Ѳомкину товарищу: — хочешь на меня работать въ накладѣ не останешься, лучше всякихъ фармазонскихъ денегъ будетъ. Согласенъ, что ли?

— Ради стараться, ваше сіятельство! охотно согласился Грѣчка, который, впрочемъ, въ глубинѣ души своей подумалъ:

«А все же, чортъ-возьми, надо раздобыться фармазонскимъ рублишкой».

Въ душѣ его смутно и больно щемило отъ неудачи.

— Ну, теперича съ глазъ долой! ступайте дрыхнуть себѣ, отпустилъ обоихъ Сергѣй Антоновичъ и осторожно, на цыпочкахъ, отправился въ комнату, гдѣ лежала Бероева.

— Въ искуство ваше я вѣрю, шопотомъ обратился онъ къ Кат-

целю, горячо сжимая его руку: — и... если вы *человѣкъ*, умоляю васъ, спасите ее! у нея дѣти вѣдь!... А насъ она, повѣрьте, не выдастъ! За это ужь я берусь!

Докторъ улыбнулся, кивнулъ головой и, отвѣтно пожалъ руку Коврова, опять наклонился надъ больною, принявшись за свои скудныя наличныя средства помощи: для него она больше чѣмъ прежде, представляла теперь любопытный въ научномъ отношеніи субъектъ, и поэтому онъ съ великою охотой готовъ былъ упорно истощать надъ нею всѣ усилія и все свое искуство.

— Ну, что? опять войдя черезъ часъ времени, спросилъ его Сергѣй Антоновичъ.

Докторъ Катцель самодовольно вытянулся, и вскинувъ на него торжествующій взглядъ, промолвилъ тихо и внятно:

— Спасена!

КОНЕЦЪ ВТОРОГО ТОМА

ОГЛАВЛЕНІЕ ВТОРАГО ТОМА.

ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ.

		стран.
I.	Дядинъ домъ	3
II.	Тюремный день	16
III.	Продажа преступленія	25
IV.	Развеселая жизнь	28
V.	Сказка про вора Тараску	33
VI.	Ванька-горюнъ горегорькая голова	38
VII.	Палестины Забугорныя	42
VIII.	Арестантскія игры	49
IX.	Рамзя	54
X.	Исторія Рамзи	62
XI.	Выводъ изъ предъидущихъ главъ	72
XII.	Въ слѣдственной камерѣ	79
XIII.	Секретная	92
XIV.	Дѣло о покушеніи на убійство гвардіи корнета князя Шадурскаго женою московскаго почетнаго гражданина Юліею Бероевою	96
XV.	Семейная горесть и общее сочувствіе	101
XVI.	Фамильная честь затронута	104
XVII.	Дѣльце почти обдѣлано	106
XVIII.	Еврейская берлога	112
XIX.	Притонъ нищей братіи	117
XX.	Жеребья на закладку	122
XXI.	Явленіе	125
XXII.	Концы въ воду	128
XXIII.	Очныя ставки	131
XXIV.	Заботы княгини о судьбѣ Бероевой и ея благочестивыя побужденія	145
XXV.	Пріѣздъ Бероева	150
XXVI.	Петля	153
XXVII.	Пройди-свѣтъ	161
XXVIII.	Надежда еще не потеряна	165
XXIX.	Хлѣбонасущенскій и К° порятъ горячку	172
XXX.	Старый знакомый подъ новою кличкой	177
XXXI.	Байковый лозунгъ	180
XXXII.	Утѣшительная	183
XXXIII.	Тырбанка сламу	194

Стран.

XXXIV. Наканунѣ еще одного дѣла новаго и краткія свѣдѣнія о дѣлѣ только поконченномъ 199
XXXV. 203
XXXVI. 203
XXXVII. Какимъ образомъ все это случилось 204
XXXVIII. Одинъ изъ вездѣсущихъ, всевѣдущихъ, всеслышащихъ и т. д. 220
XXXIX. 229
XL. 229
XLI. У дяди на дачѣ 229
XLII. Бероева въ тюрьмѣ 232
XLIII. Тюремныя свиданія 247
XLIV. Старый рубль 253
XLV. Опять на мужскомъ татебномъ 255
XLVI. Завѣтныя думы 260
XLVII. Филантропіи 267
XLVIII. Арестанты въ церкви 269
XLIX. Ѳомушка пускаетъ въ ходъ свой «манеръ» 274
L. Граѳиня очень хорошо умѣетъ различать правду и неправдивость 279
LI. На поруки 282
LII. Фармазонскія деньги 290
LIII. Отпѣтый да непохороненный 297
LIV. Вересовъ на волѣ 302
LV. Ѳемида надѣваетъ повязку и поднимаетъ свои вѣсы . . 307
LVI. Вычитка рѣшенья 310
LVII. Недѣля приготовленій 314
LVIII. Прогулка на фортунѣ къ Смольному затыномъ 317
LIX. Хлыстовка-складнодушка 328
LX. Нѣчто о хлыстахъ 332
LXI. Чудной гость 334
LXII. Ѳомушка—дѣятель банка темныхъ бумажекъ 342
LXIII. Ѳомушка—пророкъ по откровенію ходящій 348
LXIV. Доктеръ Катцель 353
LXV. Фабрика темныхъ бумажекъ 358
LXVI. Послѣдняя просьба—послѣдняя мысль 364
LXVII. Между жизнью и смертью 367
LXVIII. Тюремныя вѣсти и новости 374
LXIX. Побѣгъ арестантовъ 377
LXX. Грѣчка встрѣчаетъ старыхъ знакомыхъ 392
LXXI. Митрофаніевское кладбище 397
LXXII. Въ ожиданіи полночи 404
LXXIII. Гробокопатели 408
LXXIV. Спасова 415

502828

502828